



Виктор
Александров

ПОСЛЕДНИЙ
ПОВЕЛЕНИЕ

Annotation

В очередной том серии «Проза века» вошла лирическая повесть в рассказах известного российского писателя В.Астафьева «Последний поклон». В ней писатель воссоздает жизнь своего народа на протяжении 30—90 годов XX века и рассказывает о собственной нелегкой судьбе.

- [Виктор Астафьев](#)
 - [КНИГА ПЕРВАЯ](#)
 - [Далекая и близкая сказка](#)
 - [Зорькина песня](#)
 - [Деревья растут для всех](#)
 - [Гуси в полынье](#)
 - [Запах сена](#)
 - [Конь с розовой гривой](#)
 - [Монах в новых штанах](#)
 - [Ангел-хранитель](#)
 - [Мальчик в белой рубашке](#)
 - [Осенние грусти и радости](#)
 - [Фотография, на которой меня нет](#)
 - [Бабушкин праздник](#)
 - [КНИГА ВТОРАЯ](#)
 - [Гори, гори ясно](#)
 - [Стряпухина радость](#)
 - [Ночь темная-темная](#)
 - [Легенда о стеклянной кринке](#)
 - [Пеструха](#)
 - [Дядя Филипп — судовой механик](#)
 - [Бурундук на кресте](#)
 - [Карасиная погибель](#)
 - [Без приюта](#)
 - [КНИГА ТРЕТЬЯ](#)
 - [Предчувствие ледохода](#)
 - [Заберега](#)
 - [Где-то гремит война](#)
 - [Сорока](#)
 - [Приворотное зелье](#)

- [Соевые конфеты](#)
 - [Пир после Победы](#)
 - [Последний поклон](#)
 - [Кончина](#)
 - [Забубенная головушка](#)
 - [Вечерние раздумья](#)
 - [Комментарии](#)
-

Виктор Астафьев
ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН
(Повесть в рассказах)

КНИГА ПЕРВАЯ

Далекая и близкая сказка

На задворках нашего села среди травянистой поляны стояло на сваях длинное бревенчатое помещение с подшивом из досок. Оно называлось «мангазина», к которой примыкала также завозня, — сюда крестьяне нашего села свозили артельный инвентарь и семена, называлось это «общественным фондом». Если сгорит дом, если сгорит даже все село, семена будут целы и, значит, люди будут жить, потому что, покудова есть семена, есть пашня, в которую можно бросить их и вырастить хлеб, он крестьянин, хозяин, а не нищерброд.

Поодаль от завозни — караулка. Прижалась она под каменной осыпью, в заветрии и вечной тени. Над караулкой, высоко на увале, росли лиственницы и сосны. Сзади нее выкуривался из камней синим дымком ключ. Он растекался по подножию увала, обозначая себя густой осокой и цветами таволги в летнюю пору, зимой — тихим парком из-под снега и куржаком по напользавшим с увалов кустарникам.

В караулке было два окна: одно подле двери и одно сбоку в сторону села. То окно, что к селу, затаило расплодившимися от ключа черемушником, жалицей, хмелем и разной дурниной. Крыши у караулки не было. Хмель запеленал ее так, что напоминала она одноглазую косматую голову. Из хмеля торчало трубой опрокинутое ведро, дверь открывалась сразу же на улицу и стряхивала капли дождя, шишки хмеля, ягоды черемухи, снег и сосульки в зависимости от времени года и погоды.

Жил в караулке Вася-поляк. Роста он был небольшого, хром на одну ногу, и у него были очки. Единственный человек в селе, у которого были очки. Они вызвали пугливую учтивость не только у нас, ребяташек, но и у взрослых.

Жил Вася тихо-мирно, зла никому не причинял, но редко кто заходил к нему. Лишь самые отчаянные ребяташки украдкой заглядывали в окно караулки и никого не могли разглядеть, но пугались все же чего-то и с воплями убегали прочь.

У завозни же ребяташки толкались с ранней весны и до осени: играли в прятки, заползали на брюхе под бревенчатый въезд к воротам завозни либо хоронились под высоким полом за сваями, и еще в сусеках прятались; рубились в бабки, в чику. Тес подшива был избит панками — битами, налитыми свинцом. При ударах, гулко отдававшихся под сводами завозни, внутри нее вспыхивал воробьиный переполох.

Здесь, возле завозни, я был приобщен к труду — крутил по очереди с ребяташками веялку и здесь же в первый раз в жизни услышал музыку — скрипку...

На скрипке редко, очень, правда, редко, играл Вася-поляк, тот загадочный, не из мира сего человек, который обязательно приходит в жизнь каждого парнишки, каждой девчонки и остается в памяти навсегда. Такому таинственному человеку вроде и полагалось жить в избушке на курьих ножках, в морхлом месте, под увалом, и чтобы огонек в ней едва теплился, и чтобы над трубою ночами по-пьяному хохотал филин, и чтобы за избушкой дымился ключ. и чтобы никто-никто не знал, что делается в избушке и о чем думает хозяин.

Помню, пришел Вася однажды к бабушке и что-то спросил у нос. Бабушка посадила Васю пить чай, принесла сухой травы и стала заваривать ее в чугушке. Она жалостно поглядывала на Васю и протяжно вздыхала.

Вася пил чай не по-нашему, не вприкуску и не из блюдца, прямо из стакана пил, чайную ложку выкладывал на блюдце и не ронял ее на пол. Очки его грозно посверкивали, стриженная голова казалась маленькой, с брюковку. По черной бороде полоснуло сединой. И весь он будто присолен, и крупная соль иссушила его.

Ел Вася стеснительно, выпил лишь один стакан чаю и, сколько бабушка его ни уговаривала, есть больше ничего не стал, церемонно откланялся и унес в одной руке глиняную кринку с наваром из травы, в другой — черемуховую палку.

— Господи, Господи! — вздохнула бабушка, прикрывая за Васей дверь. — Доля ты тяжкая... Слепнет человек.

Вечером я услышал Васину скрипку.

Была ранняя осень. Ворота завозни распахнуты настежь. В них гулял сквозняк, шевелил стружки в отремонтированных для зерна сусеках. Запахом прогорклого, затхлого зерна тянуло в ворота. Стайка ребяташек, не взятых на пашню из-за малолетства, играла в сыщиков-разбойников. Игра шла вяло и вскоре совсем затухла. Осенью, не то что весной, как-то плохо играется. Один по одному разбрелись ребяташки по домам, а я растянулся на прогревом бревенчатом въезде и стал выдергивать проросшие в щелях зерна. Ждал, когда загремят телеги на увале, чтобы перехватить наших с пашни, прокатиться домой, а там, глядишь, коня сводить на водопой дадут.

За Енисеем, за Караульным быком, затемнело. В распадке речки Караулки, просыпаясь, мигнула раз-другой крупная звезда и стала светиться. Была она похожа на шишку репья. За увалами, над вершинами гор, упрямо, не по-осеннему тлела полоска зари. Но вот на нее скоротечно

наплыла темнота. Зарю притворило, будто светящееся окно ставнями. До утра.

Сделалось тихо и одиноко. Караулки не видно. Она скрывалась в тени горы, сливалась с темнотою, и только зажелтевшие листья чуть отсвечивали под горой, в углублении, вымытом ключом. Из-за тени начали выкруживать летучие мыши, попискивать надо мною, залетать в распахнутые ворота завозни, мух там и ночных бабочек ловить, не иначе.

Я боялся громко дышать, втиснулся в зауголок завозни. По увалу, над Васиной избушкой, загрохотали телеги, застучали копыта: люди возвращались с полей, с заимок, с работы, но я так и не решился отклеиться от шершавых бревен, так и не мог одолеть накатившего на меня парализующего страха. На селе засветились окна. К Енисею потянулись дымы из труб. В зарослях Фокинской речки кто-то искал корову и то звал ее ласковым голосом, то ругал последними словами.

В небо, рядом с той звездой, что все еще одиноко светила над Караульной речкой, кто-то зашвырнул огрызок луны, и она, словно обкусанная половина яблока, никуда не катилась, бескорая, сиротская, зябко стекленела, и от нее стекленело все вокруг. Он завозни упала тень на всю поляну, и от меня тоже упала тень, узкая и носатая.

За Фокинской речкой — рукой подать — забелели кресты на кладбище, скрипнуло что-то в завозне — холод пополз под рубаху, по спине, под кожу. к сердцу. Я уже оперся руками о бревна, чтобы разом оттолкнуться, полететь до самых ворот и забренчать щеколдой так, что проснутся на селе все собаки.

Но из-под увала, из сплетений хмеля и черемух, из глубокого нутра земли возникла музыка и пригвоздила меня к стене.

Сделалось еще страшнее: слева кладбище, спереди увал с избушкой, справа жуткое займище за селом, где валяется много белых костей и где давно еще, бабушка говорила, задавился человек, сзади темная завозня, за нею село, огороды, охваченные чертополохом, издали похожим на черные клубы дыма.

Один я, один, кругом жуть такая, и еще музыка — скрипка. Совсем-совсем одинокая скрипка. И не грозитя она вовсе. Жалуется. И совсем ничего нет жуткого. И бояться нечего. Дурак-дурачок! Разве музыки можно бояться? Дурак-дурачок, не слушал никогда один-то, вот и...

Музыка льется тише, прозрачней, слышу я, и у меня отпускает сердце. И не музыка это, а ключ течет из-под горы. Кто-то припал к воде губами, пьет, пьет и не может напиться — так иссохло у него во рту и внутри.

Видится почему-то тихий в ночи Енисей, на нем плот с огоньком. С

плота кричит неведомый человек: «Какая деревня-а-а?» — Зачем? Куда он плывет? И еще обоз на Енисее видится, длинный, скрипучий. Он тоже уходит куда-то. Сбоку обоза бегут собаки. Кони идут медленно, дремотно. И еще видится толпа на берегу Енисея, мокрое что-то, замытое тиной, деревенский люд по всему берегу, бабушка, на голове волосья рвущая.

Музыка эта рассказывает о печальном, о болезни вот о моей говорит, как я целое лето малярией болел, как мне было страшно, когда я перестал слышать и думал, что навсегда буду глухим, вроде Алешки, двоюродного моего брата, и как являлась ко мне в лихорадочном сне мама, прикладывала холодную руку с синими ногтями ко лбу. Я кричал и не слышал своего крика.

В избе всю ночь горела привернутая лампа, бабушка показывала мне углы, светила лампой под печью, под кроватью, мол, никого нету.

Еще пот девочку помню, беленькую, смешливую, рука у нее сохнет. Обозники в город ее везли лечить.

И опять обоз возник.

Все он идет куда-то, идет, скрывается в студеньих торосах, в морозном тумане. Лошади все меньше, меньше, вот и последнюю скрал туман. Одиноко, как-то пусто, лед, стужа и неподвижные темные скалы с неподвижными лесами.

Но не стало Енисея, ни зимнего, ни летнего; снова забила живая жилка ключа за Васиной избушкой. Ключ начал полнеть, и не один уж ключ, два, три, грозный уже поток хлещет из скалы, катит камни, ломает деревья, выворачивает их с корнями, несет, крутит. Вот-вот сметет он избушку под горой, смочит завозню и обрушит все с гор. В небе ударят громы, сверкнут молнии, от них вспыхнут таинственные цветы папоротника. От цветов зажжется лес, зажжется земля, и не залить уже будет этот огонь даже Енисеем — ничем не остановить страшную такую бурю!

«Да что же это такое?! Где-же люди-то? Чего же они смотрят?! Связали бы Васю-то!»

Но скрипка сама все потушила. Снова тоскует один человек, снова чего-то жаль, снова едет кто-то куда-то, может, обозом, может, на плоту, может, и пешком идет в дали дальние.

Мир не сгорел, ничего не обрушилось. Все на месте. Луна со звездой на месте. Село, уже без огней, на месте, кладбище в вечном молчании и покое, караулка под увалом, объятая отгорающими черемухами и тихой струной скрипки.

Все-все на месте. Только сердце мое, занявшееся от горя и восторга,

как встрепенулось, как подпрыгнуло, так и бьется у горла, раненное на всю жизнь музыкой.

О чем же это рассказывала мне музыка? Про обоз? Про мертвую маму? Про девочку, у которой сохнет рука? На что она жаловалась? На кого гневалась? Почему так тревожно и горько мне? Почему жалко самого себя? И тех вон жалко, что спят непробудным сном на кладбище. Среди них под бугром лежит моя мама, рядом с нею две сестренки, которых я даже не видел: они жили до меня, жили мало, — и мать ушла к ним, оставила меня одного на этом свете, где высоко бьется в окно нарядной траурницей чье-то сердце.

Музыка кончилась неожиданно, точно кто-то опустил властную руку на плечо скрипача: «Ну, хватит!» На полуслове смолкла скрипка, смолкла, не выкрикнув, а выдохнув боль. Но уже, помимо нее, по своей воле другая какая-то скрипка взвивалась выше, выше и замирающей болью, затиснутым в зубы стоном оборвалась в поднебесье...

Долго сидел я в уголке завозни, слизывая крупные слезы, катившиеся на губы. Не было сил подняться и уйти. Мне хотелось тут, в темном уголке, возле шершавых бревен, умереть всеми заброшенным и забытым. Скрипки не было слышно, свет в Васиной избушке не горел. «Уж не умер ли Вася-то?» — подумал я и осторожно пробрался к караулке. Ноги мои пязнули в холодном и вязком черноземе, размоченном ключом. Лица моего коснулись цепкие, всегда студёные листья хмеля, над головой сухо зашелестели шишки, пахнущие ключевой водою. Я приподнял нависшие над окошком перевитые бечевки хмеля и заглянул в окно. Чуть мерцая, топилась в избушке прогоревшая железная печка. Колеблющимся светом она обозначала столик у стены, топчан в углу. На топчане полулежал Вася, прикрывши глаза левой рукой. Очки его кверху лапками валялись на столе и то вспыхивали, то гасли. На груди Васи покоилась скрипка, длинная палочка-смычок была зажата и правой руке.

Я тихонько приоткрыл дверь, шагнул в караулку. После того как Вася пил у нас чай, в особенности после музыки, не так страшно было сюда заходить.

Я сел на порог, не отрываясь глядел на руку, в которой зажата была гладкая палочка.

— Сыграйте, дяденька, еще.

— Что тебе, мальчик, сыграть?

По голосу я угадал: Вася нисколько не удивился тому, что кто-то здесь есть, кто-то пришел.

— Что хотите, дяденька.

Вася сел на топчане, повертел деревянные штыречки скрипки, потрогал смычком струны.

— Подбрось дров в печку.

Я исполнил его просьбу. Вася ждал, не шевелился. В печке щелкнуло раз, другой, прогоревшие бока ее обозначились красными корешками и травинками, качнулся отблеск огня, пал на Васю. Он вскинул к плечу скрипку и заиграл.

Прошло немалое время, пока я узнал музыку. Та же самая была она, какую слышал я у завозни, и в то же время совсем другая. Мягче, добрее, тревога и боль только угадывались в ней, скрипка уже не стонала, не сочилась ее душа кровью, не бушевал огонь вокруг и не рушились камни.

Трепетал и трепетал огонек в печке, но, может, там, за избушкой, на увале засветился папоротник. Говорят, если найдешь цветок папоротника — невидимкой станешь, можешь забрать все богатства у богатых и отдать их бедным, выкрасть у Кощея Бессмертного Василису Прекрасную и вернуть ее Иванушке, можешь даже пробраться на кладбище и оживить свою родную мать.

Разгорелись дрова подсеченной сухостоины — сосны, накалилось до лиловости колено трубы, запахло раскаленным деревом, вскипевшей смолой на потолке. Избушка наполнилась жаром и грузным красным светом. Поплясывал огонь, весело прищелкивала разогнавшаяся печка, выстреливая на ходу крупные искры.

Тень музыканта, сломанная у поясницы, металась по избушке, вытягивалась по стене, становилась прозрачной, будто отражение в воде, потом тень отдалялась в угол, исчезала в нем, и тогда там обозначался живой музыкант, живой Вася-поляк. Рубаха на нем была расстегнута, ноги босы, глаза в темных обводах. Щекою Вася лежал на скрипке, и мне казалось, так ему покойней, удобней и слышит он в скрипке такое, чего мне никогда не услышать.

Когда притухала печка, я радовался, что не мог видеть Васиного лица, бледной ключицы, выступившей из-под рубахи, и правой ноги, кургузой, куцей, будто обкусанной щипцами, глаз, плотно, до боли затиснутых в черные ямки глазниц. Должно быть, глаза Васи боялись даже такого малого света, какой выплескивался из печки.

В полутьме я старался глядеть только на вздрагивающий, мечущийся или плавно скользящий смычок, на гибкую, мерно раскачивающуюся вместе со скрипкой тень. И тогда Вася снова начинал представляться мне чем-то вроде волшебника из далекой сказки, а не одиноким калекою, до которого никому нет дела. Я так засмотрелся, так заслушался, что

вздрагнул, когда Вася заговорил.

— Эту музыку написал человек, которого лишили самого дорогого. — Вася думал вслух, не переставая играть. — Если у человека нет матери, нет отца, но есть родина, — он еще не сирота. — Какое-то время Вася думал про себя. Я ждал. — Все проходит: любовь, сожаление о ней, горечь утрат, даже боль от ран проходит, но никогда-никогда не проходит и не гаснет тоска по родине...

Скрипка снова тронула те самые струны, что накалились при давешней игре и еще не остыли. Рука Васина снова содрогнулась от боли, но тут же смирилась, пальцы, собранные в кулак, разжались.

— Эту музыку написал мой земляк Огинский в корчме — так называется у нас заезжий дом, — продолжал Вася. — Написал на границе, прощаясь с родиной. Он посылал ей последний привет. Давно уже нет композитора на свете. Но боль его, тоска его, любовь к родной земле, которую никто не мог отнять, жива до сих пор.

Вася замолчал, говорила скрипка, пела скрипка, угасала скрипка. Голос ее становился тише. тише, он растягивался в темноте тонюсенькой светлой паутинкой. Паутинка задрожала, качнулась и почти беззвучно оборвалась.

Я убрал руку от горла и выдохнул тот вдох, который удерживал грудь, рукой, оттого что боялся оборвать светлую паутинку. Но все равно она оборвалась. Печка потухла. Слаясь, засыпали в ней угли. Васи не видно. Скрипки не слышно.

Тишь. Темень. Грусть.

— Уже поздно, — сказал Вася из темноты. — Иди домой. Бабушка будет беспокоиться.

Я привстал с порога и, если бы не схватился за деревянную скобу, упал бы. Ноги были все в иголках и как будто вовсе не мои.

— Спасибо вам, дяденька, — прошептал я.

Вася шевельнулся в углу и рассмеялся смущенно или спросил «За что?».

— Я не знаю, за что...

И выскочил из избушки. Растроганными слезами благодарил я Васю, этот мир ночной, спящее село, спящий за ним лес. Мне даже мимо кладбища не страшно было идти. Ничего сейчас не страшно. В эти минуты не было вокруг меня зла. Мир был добр и одинок — ничего, ничего дурного в нем не умещалось.

Доверяясь доброте, разлитой слабым небесным светом по всему селу и по всей земле, я зашел на кладбище, постоял на могиле матери.

— Мама, это я. Я забыл тебя, и ты мне больше не снишься.

Опустившись на землю, я припал ухом к холмику. Мать не отвечала. Все было тихо на земле и в земле. Маленькая рябина, посаженная мной и бабушкой, нароняла остроперых крылышек на мамин бугорок. У соседних могил березы распустили нити с желтым листом до самой земли. На вершинах берез листа уже не было, и голые прутья исполосовали огрызок луны, висевший теперь над самым кладбищем. Все было тихо. Роса проступила на траве. Стояло полное безветрие. Потом с увалов ощутимо потянуло знобким холодком. Гуще потекли с берез листья. Роса стекленела на траве. Ноги мои застыли от ломкой росы, один лист закатился под рубаху, сделалось знобко, и я побрел с кладбища в темные улицы села меж спящих домов к Енисею.

Мне отчего-то не хотелось домой.

Не знаю, сколько я просидел на крутом яру по-над Енисеем. Он шумел у займища, на каменных бычках. Вода, сбитая с плавного хода бычками, вязалась в узлы, грузно переваливалась возле берегов и кругами, воронками откатывалась к стрежню. Неспкойная наша река. Какие-то силы вечно тревожат ее, в вечной борьбе она сама с собой и со скалами, сдавившими ее с обеих сторон.

Но эта ее неспкойность, это ее древнее буйство не возбуждали, а успокаивали меня. Оттого, наверно, что была осень, луна над головой, скалистая от росы трава и крапива по берегам, вовсе не похожая на дурман, скорее на какие-то расчудесные растения; и еще оттого, наверно, что во мне звучала Васина музыка о неистребимой любви к родине. А Енисей, не спящий даже ночью, крутолобый бык на той стороне, пилка еловых вершин над дальним перевалом, молчаливое село за моей спиной, кузнечик, из последних сил работающий наперекор осени в крапиве, вроде бы один он во всем мире, трава, как бы отлитая из металла, — это и была моя родина, близкая и тревожная.

Глухой ночью возвратился я домой. Бабушка, должно быть, по лицу моему угадала, что в душе моей что-то свершилось, и не стала меня бранить.

— Ты где так долго? — только и спросила она. — Ужин на столе, ешь и ложись.

— Баба, я слышал скрипку.

— А-а, — отозвалась бабушка, — Вася-поляк чужое, батюшко, играет, непонятное. От его музыки бабы плачут, а мужики напиваются и буйствуют...

— А кто он?

— Вася-то? Да кто? — зевнула бабушка. — Человек. Спал бы ты. Мне рано к корове подыматься. — Но она знала, что я все равно не отстану: — Иди ко мне, лезь под одеяло.

Я прижался к бабушке.

— Студеный-то какой! И ноги мокрющие! Опять болеть будут. — Бабушка подоткнула под меня одеяло, погладила по голове. — Вася — человек без роду-племени. Отец и мать у него были из далекой державы — Польши. Люди там говорят не по-нашему, молятся не как мы. Царь у них королем называется. Землю польскую захватил русский царь, чего-то они с королем не поделили... Ты спишь?

— Не-е.

— Спал бы. Мне ведь вставать с петухами. — Бабушка, чтобы скорее отвязаться от меня, бегом рассказала, что в земле этой далекой взбунтовались люди против русского царя, и их к нам, в Сибирь, сослали. Родители Васи тоже были сюда пригнаны. Вася родился на подводе, под тулупом конвоира. И зовут его вовсе не Вася, а Стася — Станислав по-ихнему. Это уж наши, деревенские, переиначили. — Ты спишь? — снова спросила бабушка.

— Не-е.

— А, чтоб тебе! Ну, умерли Васины родители. Помаялись, помаялись на чужой стороне и померли. Сперва мать, потом отец. Видел большой такой черный крест и могилу с цветками? Ихняя могила. Вася бережет ее, ухаживает пуще, чем за собой. А сам-то состарился уж, когда — не заметили. О Господи, прости, и мы не молоды! Так вот и прожил Вася около мангазины, в сторожах. На войну не брали. У него еще у мокренького младенца нога ознобилась на подводе... Так вот и живет... помирать скоро... И мы тоже...

Бабушка говорила все тише, невнятной и отошла ко сну со вздохом. Я не тревожил ее. Лежал, думал, пытаюсь постигнуть человеческую жизнь, но у меня ничего из этой затеи не получалось.

Несколько лет спустя после той памятной ночи мангазину перестали использовать, потому что построен был в городе элеватор, и в мангазинах исчезла надобность. Вася остался не у дел. Да и ослеп он к той поре окончательно и сторожем быть уже не мог. Какое-то время он еще собирал милостыню по селу, но потом и ходить не смог, тогда бабушка моя и другие старухи стали носить еду в Васину избушку.

Однажды бабушка пришла озабоченная, выставила швейную машину

и принялась шить сатиновую рубаху, штаны без прорехи, наволочку с завязками и простыню без шва посредине — так шьют для покойников.

Заходили люди, сдержанными голосами разговаривали с бабушкой. До меня донеслось раз-другой «Вася», и я помчался к караулке.

Дверь ее была распахнута. Подле избушки толпился народ. Люди заходили в нее без шапок и выходили оттуда вздыхая, с кроткими, опечаленными лицами.

Васю вынесли в маленьком, словно бы мальчишеском гробу. Лицо покойного было прикрыто полотном. Цветов в домовине не было, венков люди не несли. За гробом тащилось несколько старух, никто не голосил. Все свершалось в деловом молчании. Темнолицая старуха, бывшая староста церкви, на ходу читала молитвы и косила холодным зраком на заброшенную, с упавшими воротами, сорванными с крыши тесинами мангазину и осуждающе трясла головою.

Я зашел в караулку. Железная печка с середины была убрана. В потолке холодела дыра, по свесившимся корням травы и хмеля в нее падали капли. На полу разбросаны стружки. Старая нехитрая постель была закатана в изголовье нар. Валялись под нарами сторожевая колотушка, метла, топор, лопата. На окошке, за столешницей, виднелась глиняная миска, деревянная кружка с отломленной ручкой, ложка, гребень и отчего-то не замеченный мною сразу шкалик с водой. В нем ветка черемухи с набухшими и уже лопнувшими почками. Со столешницы сиротливо глядели на меня пустыми стеклами очки.

«А где скрипка-то?» — вспомнил я, глядя на очки. И тут же увидел ее. Скрипка висела над изголовьем нар. Я сунул очки в карман, снял скрипку со стены и бросился догонять похоронную процессию.

Мужики с домовиной и старухи, бредущие кучкой следом за нею, перешли по бревнам Фокинскую речку, захмелевшую от весеннего половодья, поднимались к кладбищу по косогору, подернутому зеленым туманчиком очнувшейся травы.

Я потянул бабушку за рукав и показал ей скрипку, смычок. Бабушка строго нахмурилась и отвернулась от меня. Затем сделала шаг шире и зашептала с темнолицей старухой:

— Расходы... накладно... сельсовет-то не больно...

Я уже умел кое-что соображать и догадался, что старуха хочет продать скрипку, чтобы возместить похоронные расходы, уцепился за бабушкин рукав и, когда мы отстали, мрачно спросил:

— Скрипка чья?

— Васина, батюшко, Васина, — бабушка отвела от меня глаза и

уоставилась в спину темнолицей старухи. — В домовину-то... Сам!.. — наклонилась ко мне и быстро шепнула бабушка, прибавляя шаг.

Перед тем, как люди собрались накрывать Васю крышкой, я протиснулся вперед и, ни слова не говоря, положил ему на грудь скрипку и смычок, на скрипку бросил несколько живых цветочков мать-мачехи, сорванных мною у моста-перекидыша.

Никто ничего не посмел мне сказать, только старуха богомолка пронзила меня острым взглядом и тут же, воздев глаза к небу, закрестилась: «Помилуй, Господи, душу усопшего Станислава и родителей его, прости их согрешения вольным и невольным...»

Я следил, как заколачивали гроб — крепко ли? Первый бросил горсть земли в могилу Васи, будто ближний его родственник, а после того, как люди разобрали свои лопаты, полотенца и разбрелись по тропинкам кладбища, чтобы омочить скопившимися слезами могилы родных, долго сидел возле Васиной могилы, разминая пальцами комочки земли, чего-то ждал. И знал, что уж ничего не дожидаться, но все равно подняться и уйти не было сил и желания.

За одно лето сопрела пустая Васина караулка. Обвалился потолок, приплюснул, вдавил избушку в гущу жалицы, хмеля и чернобыльника. Из бурьяна долго торчали сгнившие бревешки, но и они постепенно покрылись дурманом; ниточка ключа пробила себе новое русло и потекла по тому месту, где стояла избушка. Но и ключ скоро начал хиреть, а в засушливое лето тридцать третьего года вовсе иссох. И сразу начали вянуть черемухи, выродился хмель, унялась и разнотравная дурнина.

Ушел человек, и жизнь в этом месте остановилась. Но деревня-то жила, подрастали ребятишки, на смену тем, кто уходил с земли. Пока Вася-поляк был жив, односельчане относились к нему по-разному: иные не замечали его, как лишнего человека, иные даже и поддразнивали, пугали им ребятишек, иные жалели убогого человека. Но вот помер Вася-поляк, и селу стало чего-то недоставать. Непонятная виноватость одолела людей, и не было уж такого дома, такой семьи в селе, где бы не помянули его добрым словом в родительский день и в другие тихие праздники, и оказалось, что в незаметной жизни был Вася-поляк вроде праведника и помогал людям смиренностью, почтительностью быть лучше, добрей друг к другу.

В войну какой-то лиходея начал воровать с деревенского кладбища кресты на дрова, первым унес он грубо тесанный листовничный крест с

могилы Васи-поляка. И могила его утерялась, но не исчезла о нем память. По сей день женщины нашего села нет-нет да и вспомнят его с печальным долгим вздохом, и чувствуется, что вспоминать им его и благостно, и горько.

Последней военной осенью я стоял на посту возле пушек в небольшом, разбитом польском городе. Это был первый иностранный город, который я видел в своей жизни. Он ничем не отличался от разрушенных городов России. И пахло в нем так же: гарью, трупами, пылью. Меж изуродованных домов по улицам, заваленным ломью, кружило листву, бумагу, сажу. Над городом мрачно стоял купол пожара. Он слабел, опускался к домам, проваливался в улицы и переулки, дробился на усталые кострища. Но раздавался долгий, глухой взрыв, купол подбрасывало в темное небо, и все вокруг озарялось тяжелым багровым светом. Листья с деревьев срывало, кружило жаром вверху, и там они истлевали.

На горящие развалины то и дело обрушивался артиллерийский или минометный налет, нудили в высоте самолеты, неровно вычерчивали линию фронта немецкие ракеты за городом, искрами осыпаясь из темноты и бушующий огненный котел, где корчилось в последних судорогах человеческое прибежище.

Мне чудилось — я один в этом догорающем городе и ничего живого не осталось на земле. Это ощущение постоянно бывает в ночи, но особенно гнетуще оно при виде разора и смерти. Но я-то узнал, что совсем неподалеку — только перескочить через зеленую изгородь, обжаленную огнем, — в пустой избе спят наши расчеты, и это немного меня успокаивало.

Днем мы заняли город, а к вечеру откуда-то, словно из-под земли, начали появляться люди с узлами, с чемоданами, с тележками, чаще с ребятишками на руках. Они плакали у развалин, вытаскивали что-то из пожарищ. Ночь укрыла бездомных людей с их горем и страданиями. И только пожары укрыть не смогла.

Неожиданно в доме, стоявшем через улицу от меня, разлились звуки органа. От дома этого при бомбежке отвалился угол, обнажив стены с нарисованными на них сухощежими святыми и мадоннами, глядящими сквозь копоть голубыми скорбными глазами. До потемок глазели эти святые и мадонны на меня. Неловко мне было за себя, за людей, под укоряющими взглядами святых, и ночью нет-нет да выхватывало отблесками пожаров лики с поврежденными головами на длинных шеях.

Я сидел на лафете пушки с зажатым в коленях карабином и покачивал головой, слушая одинокий среди войны орган. Когда-то, после того как я послушал скрипку, мне хотелось умереть от непонятной печали и восторга. Глупый был. Маленький был. Я так много увидел потом смертей, что не было для меня более ненавистного, проклятого слова, чем «смерть». И потому, должно быть, музыка, которую я слушал в детстве, переломилась во мне, и то, что пугало в детстве, было вовсе и не страшно, жизнь припасла для нас такие ужасы, такие страхи...

Да-а, музыка та же, и я вроде бы тот же, и горло мое сдавило, стиснуло, но нет слез, нет детского восторга и жалости чистой, детской жалости. Музыка разворачивала душу, как огонь войны разворачивал дома, обнажая то святых на стене, то кровать, то качалку, то рояль, то тряпки бедняка, убогое жилище нищего, скрытые от глаз людских — бедность и святость, — все-все обнажилось, со всего сорваны одежды, все подвергнуто унижению, все вывернуто грязной изнанкой, и оттого-то, видимо, старая музыка повернулась иной ко мне стороною, звучала древним боевым кличем, звала куда-то, заставляла что-то делать, чтобы потухли эти пожары, чтобы люди не жались к горящим развалинам, чтобы зашли они в свой дом, под крышу, к близким и любимым, чтобы небо, вечное наше небо, не подбрасывало взрывами и не сжигало адовым огнем.

Музыка гремела над городом, глушила разрывы снарядов, гул самолетов, треск и шорох горящих деревьев. Музыка властвовала над оцепенелыми развалинами, та самая музыка, какую, словно вздох родной земли, хранил в сердце человек, который никогда не видел своей родины, но всю жизнь тосковал о ней.

Зорькина песня

Бабушка разбудила меня рано утром, и мы пошли на ближний увал по землянику. Огород наш упирался дальним пряслем в увал. Через жерди переваливались ветви берез, осин, сосен, одна черемушка катнула под городьбу ягоду, и та взошла прутиком, разрослась на меже среди крапивы и конопляника. Черемушку не срубали, и на ней птички вили гнезда.

Деревня еще тихо спала. Ставни на окнах были закрыты, не топились еще печи, и пастух не выгонял неповоротливых коров за поскотину, на приречный луг.

А по лугу стелился туман, и была от него мокра трава, никли долу цветы куриной слепоты, ромашки приморщили белые ресницы на желтых зрачках.

Енисей тоже был в тумане, скалы на другом берегу, будто подкуренные густым дымом снизу, отдаленно проступали вершинами в поднебесье и словно плыли встреч течению реки.

Неслышная днем, вдруг обнаружила себя Фокинская речка, рассекающая село напополам. Тихо пробежавши мимо кладбища, она начинала гуркотать, плескаться и картаво наговаривать на перекатах. И чем дальше, тем смелей и говорливей делалась, измученная скотом, ребятишками и всяким другим народом, речка: из нее брали воду на поливку гряд, в баню, на питье, на варево и парево, бродили по ней, валили в нее всякий хлам, а она как-то умела и резвость, и светлость свою сберечь.

Вот и наговаривает, наговаривает сама с собой, довольная тем, что пока ее не мутят и не баламутят. Но говор ее внезапно оборвался — прибежала речка к Енисею, споткнулась о его большую воду и, как слишком уж расшумевшееся дитя, пристыженно смолкла. Тонкой волосинкой вплеталась речка в крутые, седоватые валы Енисея, и голос ее сливался с тысячами других речных голосов, и, капля по капле накопив силу, грозно гремела река на порогах, пробивая путь к студеному морю, и растягивал Енисей светлую ниточку деревенской незатейливой речки на многие тысячи верст, и как бы живую жилой деревня наша всегда была соединена с огромной землей.

Кто-то собирался плыть в город и сколачивал салик на Енисее. Звук топора возникал на берегу, проносился поверх, минуя спящее село, ударялся о каменные обрывы увалов и, повторившись под ними, рассыпался многоэхо по распадкам.

Сначала бабушка, а за нею я пролезли меж мокрых от росы жердей и пошли по распадку вверх на увалы. Весной по этому распадку рокотал ручей, гнал талый снег, лесной хлам и камни в наш огород, но летом утихомирился, и бурный его путь обозначился до блеска промытым камешником.

В распадке уютно дремал туман, и было так тихо, что мы боялись кашлянуть. Бабушка держала меня за руку и все крепче, крепче сжимала ее, будто боялась, что я могу вдруг исчезнуть, провалиться в эту волокнисто-белую тишину. А я боязливо прижимался к ней, к моей живой и теплой бабушке. Под ногами шуршала мелкая ершистая травка. В ней желтели шляпки маслят и краснели рыхлые сыроежки.

Местами мы пригибались, чтобы пролезть под наклонившуюся сосенку, по кустам переплетались камнеломки, повилика, дедушкины кудри. Мы запугивались в нитках цветов, и тогда из белых чашечек выливались мне за воротник и на голову студеные капли.

Я вздрагивал, ежился, облизывал горьковатые капли с губ, бабушка вытирала мою стриженую голову ладонью или краешком платка и с улыбкой подбадривала, уверяя, что от росы да от дождя люди растут большие-пребольшие.

Туман все плотнее прижимался к земле, волокнистой куделею затянуло село, огороды и палисадники, оставшиеся внизу. Енисей словно бы набух молочной пеною, берега и сам он заснули, успокоились под непроглядной, шум не пропускающей мякотью. Даже на изгибах Фокинской речки появились белые зачесы, видно сделалось, какая она вилючая.

Но светом и теплом все шире разливающегося утра тоньше и тоньше раскатывало туманы, скручивало их валами в распадках, загоняло в потайную дрему тайги.

Топор на Енисее перестал стучать. И тут же залилась, гнусаво запела на улицах березовая пастушья дуда, откликнулись ей со двора коровы, брякнули боталами, сделался слышен скрип ворот. Коровы брели по улицам села, за поскотину, то появляясь в разрывах тумана, то исчезая в нем. Тень Енисея раз-другой обнаружила себя.

Тихо умирали над рекой туманы.

А в распадках и в тайге они будут стоять до высокого солнца, которое хотя еще и не обозначило себя и было за далью гор, где стойко держались снежные беляки, ночами насылающие холод и эти вот густые туманы, что украдчиво ползли к нашему селу в сонное предутрие, но с первыми звуками, с пробуждением людей убирались в лога, ущелья, провалы речек, обращались студеными каплями и питали собой листья, травы, птах,

зверушек и все живое, цветущее на земле.

Мы пробили головами устоявшийся в распадке туман и, плывя вверх, брели по нему, будто по мягкой, податливой воде, медленно и бесшумно. Вот туман по грудь нам, по пояс, до колен, и вдруг навстречу из-за дальних увалов полоснуло ярким светом, празднично заискрилось, заиграло в лапках пихтача, на камнях, на валежинах, на упругих шляпках молодых маслят, в каждой травинке и былинке.

Над моей головой встрепенулась птичка, стряхнула горсть искорок и пропела звонким, чистым голосом, как будто она и не спала, будто все время была начеку: «Тить-тьить-ти-ти-ррри...».

— Что это, баба?

— Это Зорькина песня.

— Как?

— Зорькина песня. Птичка зорька утро встречает, всех птиц об этом оповещает.

И правда, на голос зорьки — зорянки, ответило сразу несколько голосов — и пошло, и пошло! С неба, с сосен, с берез — отовсюду сыпались на нас искры и такие же яркие, неуловимые, смешавшиеся в единый хор птичьих голоса. Их было много, и один звонче другого, и все-таки Зорькина песня, песня народившегося утра, слышалась яснее других. Зорька улавливала какие-то мгновения, отыскивала почти незаметные щели и вставляла туда свою сыпкую, нехитрую, но такую свежую, каждое утро обновляющуюся песню.

— Зорька поет! Зорька поет! — закричал и запрыгал я.

— Зорька поет, значит, утро идет! — пропела благостным голосом бабушка, и мы поспешили навстречу утру и солнцу, медленно поднимающемуся из-за увалов. Нас провожали и встречали птичьих голоса; нам низко кланялись, обомлевшие от росы и притихшие от песен, сосенки, ели, рябины, березы и боярки.

В росистой траве загорались от солнца красные огоньки земляники. Я наклонился, взял пальцами чужь шершавую, еще только с одного бока опаленную ягодку и осторожно опустил ее в туесок. Руки мои запахли лесом, травой и этой яркой зарею, разметавшейся по всему небу.

А птицы все так же громко и многоголосо славили утро, солнце, и Зорькина песня, песня пробуждающегося дня, вливалась в мое сердце и звучала, звучала, звучала...

Да и по сей день неумолчно звучит.

Деревья растут для всех

Во время половодья я заболел малярией, или, как ее по Сибири называют, веснухой. Бабушка шептала молитву от всех скорбей и недугов, брызгала меня святой водой, травами пользовала до того, что меня начало рвать, из города порошки привозили — не помогло. Тогда бабушка увела меня вверх по Фокинской речке, до сухой росохи, нашла там толстую осину, поклонилась ей и стала молиться, а я три раза повторил заученный от нее наговор: «Осина, осина, возьми мою дрожалку — трясину, дай мне леготу», — и перевязал осину своим пояском. Все было напрасно, болезнь меня не оставила. И тогда младшая бабушкина дочь, моя тетка Августа, бесшабашно заявила, что она безо всякой ворожбы меня вылечит, подкралась раз сзади и хлестанула мне за шиворот ковш ключевой воды, чтобы «выпугнуть» лихорадку. После этого меня не отпускало и ночью, а прежде накатывало по утрам до восхода и вечером после захода солнца.

Бабушка назвала тетку дурой и стала поить меня хиной. Я оглох и начал жить как бы сам в себе, сделался задумчивым и все чего-то искал. Со двора меня никуда не выпускали, в особенности к реке, так как трясуха эта проклятая «выходила на воду».

У каждого мальчишки есть свой тайный уголок в избе или во дворе, будь эта изба или двор хоть с ладошку величиной. Появился такой уголок и у меня. Я сыскал его там, где раньше были кучей сложены старые телеги и сани, за сеновалом, в углу огорода. Здесь стеною стояла конопля, лебеда и крапива. Однажды потребовалось железо, и дед свез все старье к деревенской кузнице на распотрошенье.

На месте телег и саней коричневая земля с паутиной, мышьи норки да грибы поганки с тонкими шеями. А потом пошла трава ползунок. Поганки усохли, сморщились, шляпки с них упали. Норки заштопало корнями конопли и крапивы, сразу переползшей на незанятую землю. Я «косил» на меже огорода траву мокрицу обломком ножика и «метал стога», гнул сани и дуги из ивовых прутьев, запрягал в них бабки-казанки и возил за сарай «копны». На ночь я выпрягал «жеребцов» и ставил к сену.

Так в уединении и деле я почти одолел хворь, но еще не различал звуков и все смотрел-смотрел, стараясь глазами не только увидеть, но и услышать.

Иногда в конопле появлялась маленькая птичка мухоловка. Она деловито ощипывалась, дружески глядела на меня, прыгала по конопляне, точно по огромному дереву, клевала мух и саранчу, открывала клюв и неслышно для меня чиликала. В дождь она сидела нахохленная под листом лопуха. Ей было очень одиноко без птенцов. Под листом лопуха у нее гнездышко. Там даже птенцы зашевелились было, но добралась до них кошка и сожрала всех до единого.

Мухоловка тихо дремала под лопухом. С листа катились и катились капли. Глаза птички затягивало слепой пленкой. Глядя на птичку, и я начинал зевать, меня пробирало ознобом, губы мои тряслись.

Я засыпал под тихий, неслышный дождь и думал о том, что хорошо бы посадить на «моей земле» дерево. Выросло бы оно большое-пребольшое, и птичка свила бы на нем гнездо. Я закопал бы плоды шипицы под деревом: — шипица — дерево ханское, платье на нем шаманское, цветы ангельски, когти дьявольски — попробуй сунься, кошка!

В один жаркий, солнечный день, когда болезнь моя утихла и мне даже стало тепло, я пошел за баню и нашел там росточек с коричневым стебельком и двумя блестящими листками. Я решил, что это боярка, выкопал и посадил за сараем. У меня появилась забота и работа. Ковшиком носил я воду из кадки и поливал саженец. Он держался хорошо, нашел силы отшатнуться от тени сеновала к свету.

«Куда это ты таскаешь воду?» — маячила мне бабушка.

«Не скажу! Секрет!» — маячил я ей руками, будто и она была глухая.

Часами смотрел я на спой саженец. Мне он начинал казаться большой остроиглой бояркой. Вся она была густо запорошена цветами, обвита листвой, потом на ней уголочками загорались ягоды с косточкой, крепкой, что камушек. На боярку прилетала не только мухоловка, но и щеглы, и овсянки, и зяблики, и снегири, и всякие другие птицы. Всем тут хватит места! Дерево-то будет расти и расти. Конечно, боярка высокой не бывает, до неба ей не достать. Но выше сеновала она, пожалуй, вымахает. Я вон как ее поливаю!

Однако саженец мой пошел не ввысь, а вширь, пустил еще листья, из листьев — усики. На усиках маковым семечком проступили крупинки, из них вывернулись розоватые цветочки.

К этой поре я уже стал маленько слышать, пришел к бабушке и прокричал:

— Баб, я лесину посадил, а выросло что-то...

Бабушка пошла со мной за сеновал, оглядела мое хозяйство.

— Так вот ты где скрываешься! — сказала она и склонилась над

саженцем, покачала его из стороны в сторону, растерла цветочки в пальцах, понюхала и жалостно посмотрела на меня. — Ма-атушка. — Я отвернулся. Бабушка погладила меня по голове и прокричала в ухо: — Осенью посадишь...

И я понял, что это вовсе не дерево. Саженец мой, по заключению бабушки, оказался дикой гречкой. Обидно мне сделалось. Я даже ходить за сеновал бросил, да и болезнь моя шла на убыль, и меня уже отпускали бегать и играть на улицу с ребятами соседа нашего — дяди Левонтия.

Осенью бабушка вернулась из лесу с большой круглой корзиной. Посудина эта была по ободья завалена разной растительностью — бабушка любила повторять, что кто ест луг, того Бог избавит от вечных мук, и таскала того «лугу» домой много. Из-под травы и корней сочной рыбьей икрой краснели рыжики и на самом виду выставлен подосиновик, про который такая складная загадка есть: маленький, удаленький, сквозь землю прошел, красну шапочку нашел!

Я любил пошариться в бабушкиной корзине. Там и мята, и зверобой, и шалфей, и девятишар, и кисточки багровой, ровно бы ненароком упавшей туда брусники — лесной гостинец, и даже багровый листик с крепеньким стерженьком — ер-егорка пал в озерко, сам не потонул и воды не всколебнул, да еще эта модница осенняя, что под ярусом — ярусом висит, будто зипун с красным гарусом — розетка рябины. В корзине, как у дядюшки Якова — товару всякого, и про всякое растение есть присказка или загадка, складная, ладная.

В корзине обнаружилось что-то, завязанное в бабушкин платок. Я осторожно развязал его концы. Высунулась лапка маленькой лиственницы. Деревце было с цыпленка величиной, охваченное желтым куржаком хвои. Казалось, оно вот-вот заживкает и побежит.

Мы пошли за сарай, выкопали коноплю, крапиву и сделали для маленькой лиственницы большую яму. В яму я принес навозу и черной земли в старой корзине. Мы опустили лиственницу вместе с комочком в яму, закопали ее так, что остался наверху лишь желтый носок.

— Ну вот, — сказала бабушка, — глядишь, возьмется лиственка, правда, худо принимается от саженца, но мы ее осторожно посадили, корешок не потревожили...

И опять я начал видеть в мечтах высокое-высокое дерево. И опять жило на этом дереве много птиц, и появлялась на нем зелененькая, а осенью желтая хвоя. Но все же были у меня кое-какие сомнения насчет саженца.

И как только бабушка принималась за спокойную работу, садилась

прясть куделю, я приставал к ней с одними и теми же расспросами:

— Баб, а оно большое вырастет?

— Кто?

— Да дерево-то мое?

— А-а, дерево-то? А как же?! Непременно большое. Лиственницы маленькие не растут. Только деревья, батюшко, растут для всех, всякая сосна в бору красна, всякая своему бору и шумит.

— И всем птичкам?

— И птичкам, и людям, и солнышку, и речке. Сейчас вот оно уснуло до весны, зато весной начнет расти быстро-быстро и перегонит тебя...

Бабушка еще и еще говорила. В руках у нее крутилось и крутилось веретено. Веки мои склеивались, был я еще слаб после болезни и все спал, спал, И мне снилась теплая весна, зеленые деревья.

А за сараем, под сугробом тихо спало маленькое деревце, и ему тоже снилась весна.

Гуси в полынье

Ледостав на Енисее наступает постепенно. Сначала появляются зеркальные забереги, по краям хрупкие и неровные. В уловах и заводях они широкие, на быстрине — узкие, в трещинах. Но после каждого морозного утра они все шире, шире, затем намерзает и плывет шуга. И тогда пустынно шуршит река, грустно, утихомиренно засыпая на ходу.

С каждым днем толще и шире забереги, уже полоса воды, гуще шуга. Теснятся там льдины, с хрустом лезут одна на другую, крепнет шуга, спаивается, и однажды, чаще всего в студеную ночь, река останавливается, и там, где река сердито громоздила по стрежи льдины, остается нагромождение торосов, острые льдины торчат так и сяк, и кривая, взъерошенная полоса кажется непокорно вздыбленной шерстью на загровке реки.

Но вот закружилась поземка, потащило ветром снег по реке, зазвенели льдины, сдерживая порывы ветра; за них набросало снегу, окрепли спайки. Скоро наступит пора прорубать зимник — выйдут мужики с пешнями, топорами, вывезут вершинник и ветки, и там, где взъерошилась река, пробьют в торосах щель, пометят дорогу вехами, и вот уж самый нетерпеливый гуляка или заботами гонимый хозяин погонит робко ступающего меж сталисто сверкающих льдин конишку, сани бросает на не обрезанных еще морозами глыбах, на не умягченной снегами полознице.

Но как бы ни была круга осень, как бы густо ни шла шуга, она никогда не может разом и везде усмирить Енисей.

На шиверах, порогах и под быками остаются полыньи. Самая большая полынья — у Караульного быка.

Здесь все бурлит, клокочет, шуга громоздится, льдины крошатся, ломаются, свирепое течение крушит хрупкий припай. Не желает Караульный бык вмерзать в реку. Уже вся река застыла, смирилась природа с зимою, а он стоит в полой воде. Уже идут по льду первые отчаянные пешеходы, осторожно прощупывая палкой лед перед собой; появилась одинокая подвода; затем длинный, неторопливый обоз — но у быка все еще кольшется пар и чернеет вода.

От пара куржавеют каменистые выступы быка, кустики, трава и сосенки, прилепившиеся к нему, обрастают толстым куржаком, и среди темных, угрюмых скал Караульный бык, разрисованный пушистыми, до рези в глазах белыми узорами, кажется сказочным чудом.

Однажды после ледостава облетела село весть, будто возле быка, в полынье, плавают гуси и не улетают. Гуси крупные, людей не боятся, должно быть, домашние.

И в самом деле, вечером, когда я катался с ребятами на санках, с другой стороны реки слышались тревожные крики. Можно было подумать, что там кто-то долго, настойчиво и нестройно наяривал на пионерском горне. Гуси боялись наступающей ночи. Полынья с каждым часом становилась меньше и меньше. Мороз исподволь, незаметно округлял ее, припаивал к закрайкам пленочки льда, которые твердели и уже не ломались от вихревых струй.

На следующий день оравой мы перешли реку по свежей, еще чуть наметившейся тропинке и приблизились к быку. Один по одному забрались на выступы обледенелого камня и сверху увидели гусей.

Полынья сделалась с лесную кулижку величиной. Там, где вода выбуривала тугим змеиным клубком и кипела так, словно ее подогревали снизу громадным костром, еще оставалось темное, яростное окно. И в этом окне металась по кругу ошалевшая, усталая и голодная стайка гусей. Чуть впереди плавала дородная гусыня и время от времени тревожно вскрикивала, подплывала к хрупкому припаю, врезалась в него грудью, пытаясь выбраться на лед и вывести весь табун.

Мне и прежде доводилось видеть плывущих среди льдин гусей. Где-то в верховьях Енисея они жили себе, жировали и делались беспечны так, что и ночевать оставались на реке. Кончалось это тем, что ночью их, сонных, оттирало от берега настывшим закрайком, подхватывало шугой, выталкивало на течение, к утру они уже оказывались неведь где и в конце концов вмерзали в лед или выползали на него и мучительно погибали на морозе.

А эти все еще боролись. Их подбрасывало на волнах, разметывало в стороны, будто белый пух, и тогда мать вскрикивала коротко, властно. И мы понимали это так: «Быть всем вместе! Держаться ближе ко мне!»

Внезапно одного голошеего гуся отделило течением от стайки, подхватило и понесло к краю полыньи. Он поворачивался навстречу струе грудью, пытался одолеть течение, но его тащило и тащило, и когда пригнало ко льду, он закричал отчаянно о помощи. Мать бросилась на крик, ударяя крыльями по воде, но молодого гуся притиснуло ко льду, свалило на бок, и, мелькнув беленькой бумажкой под припаем, словно под стеклом, он исчез навсегда.

Гусыня кричала долго и с таким, душу рвущим, горьким отчаянием, что корбило спины.

— Пропадут гуси. Все пропадут. Спасти бы их, — сказал мой двоюродный брат Кеша.

— А как?

Мы задумались. Ребятишки-ребятишки, но понимали, что с Енисеем шутить нельзя, к полынье подобраться невозможно. Обломится припай — мигнуть не успеешь, как очутишься подо льдом, и закрутит, будто того гуся — ищи-свищи.

И вдруг разом, как это бывает у ребятишек, мы заспорили. Одни настаивали — подбираться к полынье ползком. Другие — держать друг дружку за ноги и так двигаться. Третьи предлагали позвать охотников и пристрелить гусей, чтобы не мучились. Кто-то из левонтьевских парней советовал просто подождать — гуси сами выйдут на лед, выжмет их из полыньи морозом.

Мы спустились с быка и очутились на берегу возле домов известкарей. Много лет мои односельчане занимались нехитрым и тяжелым промыслом — выжигали известку из камня. Камень добывали на речке Караулке, в телегах и на тачках возили в устье речки, где образовался поселок и поныне называющийся известковым, хотя известку здесь давно уже не выжигают. Сюда, в устье Караулки, сплавливались и плоты, которые потом распиливались на длинные поленья — бадюги. Какой-то залетный, говорливый, разбитной, гулеванистый народ обретался «на известке», какие-то уполномоченные грамотей «опра», «торгхоза», «местпрома», «сельупра», «главнедра» грозились всех эксплуататоров завалить самолучшей и самой дешевой известкой, жилища трудового человечества сделать белыми и чистыми. Не знаю, предпринимательством ли своим, умно ли организованным трудом, размахом ли бурной торговли, но известкари наши одолели-таки частника, с рынка его выдавили на самый край базара, чтобы не пылило шибко. До недавних считай что дней властвовала торговая точка на красноярском базаре, сбитая из теса, на которой вызывающе большая красовалась вывеска, свидетельствующая о том, что здесь дни и ночи, кроме понедельника, в любом количестве отпускается, не продается — продает частник-шкуродер, тут предприятие — вот им-то, предприятием, не продается, а отпускается продукция Овсянского из-го з-да. Со временем, правда, вывеску так запорошило белым, что никакие слова не угадывались, но торговая точка всей нашей округе была так известна, что, коли требовалось кому чего пояснить, наши односельчане весь отсчет вели от своего торгового заведения, для них в городе домов и магазинов главнее не было. «А как пойдешь от нашего ларька, дак на праву руку мост через Качу...», «От нашего ларька в гору

подымемся, тут тебе и почта, и нивермаг, и тياتр недалеко...»

Возле большого штабеля бревен, гулко охая, бил деревянной колотушкой Мишка Коршуков, забивая сухой березовый клин в распиленный сутунок, чтобы расколоть его на поленья — бадюги. Вообще-то он был, конечно. Михаил, вполне взрослый человек, но так уж все его звали на селе — Мишка и Мишка. Он нарядно и даже модно одевался, пил вино не пьянея, играл на любой гармошке, даже с хроматическим строем, слух шел — шибко портил девок. Как можно испортить живого человека — я узнал не сразу, думал, что Мишка их заколдовывает и они помешанные делаются, что, в общем-то, оказалось недалеко от истины — однажды этот самый Мишка на спор перешел Енисей во время ледохода, и с тех пор на него махнули рукой — отчаянная головушка!

— Что за шум, а драки нету? — спросил Мишка, опуская деревянную колотушку. В его черных глазах искрились удаль и смех, на носу и на груди блестел пот, весь он был в пленках бересты, кучерявая цыганская башка сделалась седой от пленок, опилок и щепы.

Мы рассказали Мишке про гусей. Он радушным жестом указал нам на поленья. Когда мы расселись и сосредоточенно замолкли, Мишка снял шапку, потряс чубом, выбивая из него древесные отходы, вынул папироску, постучал ею в ноготь — после получки дня три-четыре Мишка курил только дорогие папиросы, угощая ими всех без разбору, все остальное время стрелял курево — прижег папироску, выпустил клуб дыма, проводил его взглядом и заявил:

— Погибнут гуси. Надо им, братва, помочь.

Нам сразу стало легче. Мишка сообразит! Докурив папироску, Мишка скомандовал нам следовать за ним, и мы побежали на угор, где строился барак.

— Всем взять по длинной доске!

— Ну, конечно же, конечно! — ликовали парнишки. — Как это мы не догадались?

И вот мы бросаем доски, ползем меж торосов к припою. Под козырьком льдин местами еще холодеют оконца воды, но мы стараемся не глядеть туда.

Мишка сзади нас. Ему нельзя на доску — он тяжелый. Когда заканчивается тесина, он просовывает нам другую, мы кладем ее и снова ползком вперед.

— Стоп! — скомандовал Мишка. — Теперь надо одному. Кто тут полегче? — Он обмерил всех парней взглядом, и его глаза остановились на мне, вытрясенном лихорадкой. — Сымай шубенку! — я покорно

расстегивал пуговицы, мне хотелось закричать, убежать, потому что уж очень страшно ползти дальше. Мишка ждал, стоя на тесине, по которой я уже прополз, и наготове держал другую, длинную, белую, гибкую. Я опустил на нее животом и сквозь рубаху почувствовал, какая она горячая, а под горячим-то трещит лед, а подо льдом: «Господи! Миленький! Спаси и помилуй люди Твоя... — пытался я вспомнить бабушкину молитву... — Даруя... сохраняя крестом Твоим... Даруя... сохраняя... достояние...» — заклинал и молил я.

— Гусаньки, гусаньки! — звал я, глядя на сбившихся в кучу гусей. Они отплыли к противоположному от меня закрайку полыньи, встревоженно погагакивая. — Гусаньки, гусаньки... — не в силах двинуться дальше — лед с тонким перезвоном оседал подо мной, под доской, беленькие молнии метались по нему, пронзая уши, лопнувшей струной.

— Гусаньки, гусаньки! — плакал я.

Гуси сбились в плотный табунок, вытянув шеи, глядели на меня. Вдруг что-то зашуршало возле моего бока, я обмер и, подумав, что обломился лед, уцепился за доску и собрался уже заорать, как услышал:

— Держи! Держи! — Мишка приблизился, доску мне сует.

Доска доползла до воды, чуть прогнула закраек, раскрошила его. Кончиками онемевших пальцев я держал тесину, звал, умолял, слизывая слезы с губ:

— Гусаньки, гусаньки... Господи... достояние Твое есмь... Мать-гусыня поглядела на меня, недоверчиво гагакая, поплыла к доске. Все семейство двинулось за ней. Возле доски мать развернулась, и я увидел, как быстро заработали ее яркие, огненные лапы.

— Ну, вылезай, вылезай! — закричали ребятишки.

— Ша! Мелочь! — гаркнул Мишка.

Гусыня, испуганная криками, отпрянула, а гусята метнулись за нею. Но скоро мать успокоилась, повернулась грудью по течению, поплыла быстро-быстро и выскочила на доску. Чуть проковыляв от края, она приказала: «Делать так же!»

— Ах ты, умница! Ах, ты умница!

Гуси стремительно разгонялись, выпрыгивали на тесину и ковыляли по ней. Я отползал назад, дальше от черной жуткой полыньи.

— Гусаньки, гусаньки!

Уже на крепком льду я схватил тяжелую гусыню на руки, зарылся носом в ее тугое, холодное перо.

Ребята согнали гусей в табунок, подхватили кто которого и помчались

в деревню.

— Не забудьте покорми-ыть! — кричал вслед нам Мишка. — Да в тепло их, в тепло, намерзлись, шипуны полоротые.

Я припер домой гусыню, шумел, рассказывал, захлебываясь. махал руками. Узнавши, как я добыл гусыню, бабушка чуть было ума не решилась и говорила, что этому разбойнику Мишке Коршукову задаст баню.

Гусыня орала на всю избу, клевалась и ничего не желала есть. Бабушка выгнала ее во двор, заперла в стайку. Но гусыня и там орала на всю деревню. И выорала свое. Ее отнесли в дом дяди, куда собрали к ней всех гусят. Тогда гусыня-мать успокоилась и поела. Левонтьевские орлы как ни стерегли гусей — вывелись они. Одних собаки потравили, других сами левонтьевские приели в голодуху. С верховьев птицу больше не приносит — выше села ныне стоит плотина самой могучей, самой передовой, самой показательной, самой... в общем, самой-самой... гидростанции.

Запах сена

По сено собираются с вечера. Дедушка и дядя Коля, или Кольча-младший, как его зовут в семье, проверяют сбрую, стучат топоричами по саням, что-то там подвязывают, подтесывают, прикрепляют. Мы с Алешкой крутимся во дворе, чего-нибудь подаем, поддерживаем, но больше находимся не у дел — глазеем. На нас цыкают, прогоняют с холода домой, но мы не уходим, потому что уходить никак нельзя. У нас одна лошадь, саней подготавливается трое. Старые сани вытащили из-под навеса. К ним пристыла серая, летняя пыль, скоробились сыромятные завертки, порыжели полозья. Вот эти-то сани и колотят обухом, проверяют и подлаживают. Все ясно — еще две лошади запрягать. Их приведут от соседей или родственников.

Мы ждем. Вот Кольча-младший взял две оброти, закинул их на плечо, высморкался, подтянул опояску потуже, засвистел и двинулся со двора.

Мы за ним. Кольча-младший нас не прогоняет, но и не привечает. Он идет по улице, насвистывает. Концы холщовой опояски, выпущенные для форса, болтаются у него по бокам, шапка на левом ухе, чуб на правом. Хороший человек дядя Кольча-младший, он не прогонит нас домой. Кольчей-младшим его зовут оттого, что у бабушки и дедушки было много детей и всем разных имен не напридумывалось, вот и есть у нас Кольча-старший и Кольча-младший. Но все выросли, отделились, живут своими семьями, и остались в доме мы с Алешкой да Кольча-младший, не считая бабушки и дедушки. Мы оба сироты. У меня нет матери, у Алешки отца. Алешка в нашей семье особый человек — он глухонемой. Говорят, остался он будто бы дома один — бабушку унесло куда-то. И вздумалось ему полезть на угловик, где стояли тяжелые иконы и по случаю какого-то праздника светила лампадка. Угловик обрушился. Иконы повалились на Алешку. И ушибли они его или же испугался он нарисованных богов, но все старухи считали, мол, именно от этого греха Алешка онемел. А отчего он оглох — старухи объяснить не могли.

Алешку все жалеют, я его люблю, и мы с ним деремся. Сильный он и злой. Мы то играем, то деремся. Бабушка разнимает нас и мне дает затрецину, Алешке только пальцем грозит. Никто не трогает Алешку, кроме меня, потому что он и без того «Богом обижен», а мне-то наплевать! Поддаст мне Алешка, и я ему поддам, потому что никакой разницы между собой и им я не вижу. Мы спим вместе, едим вместе, играем вместе и вот за

конями идем вместе.

Коней этих, Лысуху и Гнедого, Кольча-младший выводит со двора дяди Вани, старшего бабушкиного сына. Мы ждем у ворот, Кольча-младший дает мне Лысуху. Я подвожу ее к заплоту, взбираюсь на него и уж оттуда, сверху, падаю брюхом на выгнутую широкою спину Лысухи. Она поводит левым ухом, недовольно косит на меня глазом и норовит поймать зубами за подшитый катанок. Я отдергиваю ногу — шалишь, кобыла, не тут-то было!

Алешка трусит впереди меня на Гнедке и хохочет, заливается — весело дурачку! Мы спускаемся по крутояру на Енисей. Кони скользят на облитом, заледенелом зимнике, скрежещут подковками. Алешка перестает повизгивать и хохотать, Кольча-младший маячит ему, чтоб он схватился за гриву лошади.

Кони сами идут к длинной проруби, огороженной елками и пихтами. Енисей в огромных торосах, сверкающих на морозном солнце, снежно кругом, остыло, неподвижно. Прорубь на широкой, заторошенной реке — что живой островок, к ней охотно и весело трусят кони.

Прорубь по-за огорожей толсто занесена снегом. За елками и сугробами — темная широкая щель. В ней клубится темная вода. Что-то спертое, непокорное ворочается подо льдом. Широко расставляя передние ноги, лошади осторожно подходят к проруби. Я не дышу. А ну как Лысуха ухнет в эту воду, бездонную, холодную?.. Конечно, Лысуха не пролезет в такую щель, но я-то запросто...

Лысуха пьет, и Гнедко пьет. У Алешки испуганное лицо, он уже, как видно, и не рад, что пошел за конями. И я не рад. Кольча-младший держит обеих лошадей за оброты, протяжно, медленно посвистывает, и под этот свист Лысуха с Гнедком тянут, тянут воду. Вот подняли головы, дышат, осматриваются. На темной морде Гнедка сейчас же белым светом загораются тонкие волоски. И у Лысухи тоже стекленеет от мороза волос, торчит вразнотырку.

Постояли, подумали лошади, еще раз ткнулись мордами в прорубь и ровно бы с сожалением отвернулись от нее, стали медленно поворачиваться.

Вот теперь-то наступило самое главное! Страшная прорубь осталась позади. Кольча-младший, отломав ветку от елки, хлещет по заду Лысуху и Гнедка. Лошади берут в рысь. Нас с Алешкой закидывает, и мы с трудом удерживаемся на конях, мы скачем, испуганно ухватившись за гривы и оброты, потом уже гарцуем смело, будто балуясь. Ребятишки катаются на салазках, останавливаются, смотрят нам вслед завидно, иные парнишки

бегут следом, кричат. А мы скачем, а мы скачем! Еще до дому далеко, еще только в переулок въехали, но я кричу что есть мочи:

— Деда, открывай ворота!

Алешка тоже что-то блажит.

Дедушка распахивает ворота, машет, чтобы мы пригнулись — иначе сшибет надбровником ворот. К великому нашему удовольствию, лошади на рыси вбегают во двор, и мы получаем сполна плату за все наши радости. Гнедко останавливается, за ним Лысуха, и сначала я, затем Алешка летим подшибленными воронами через головы лошадей в снег и барахтаемся там, ослепленные, задохнувшиеся.

Дед с ухмылкой уводит лошадей в теплый двор. Кольча-младший запирает ворота и хохочет. Бабушка, выглядывая в чуть оттаявшее кухонное окно, тоже беззвучно трясет головой и ртом. И мы начинаем похохатывать, будто и нам весело, да оно и на самом деле весело, по своей уж воле и охоте мы устраиваем свалку посреди двора и являемся домой так устряпанные, что бабушка всплескивает руками: «Да не черти ли на вас молотили?!»

В конюшне раздается визг, стук — это Лысуха устраивается, лягает нашего смиренного коня с грозным именем Ястреб.

— Я те, волчица ободранная! — кричит Кольча-младший. и Лысуха усмиряется.

Дед еще раз обходит сани, у которых связанные перетягой оглобли целятся в небо, пинает по завороткам, бросает в одни сани вилы деревянные и железные, грабли, Привязывает бастрыги, а в передок других саней вставляет звонкий топор, который я недавно лизнул, будто сахар, и оставил на нем лафтак языка.

Все. Надо идти в избу. Кольча-младший обметает голиком катанки, еще раз сморкается на сторону, и дед делает то же, мы уж следом все повторяем.

Ужинают сегодня рано и спать ложатся тоже рано. Нам спать еще не хочется, но мы послушно лезем на печь.

— Не забудешь, дедушка? — в который раз напоминаю я.

— Не-е, — гудит он снизу.

Дед самый надежный в этом доме человек. Он-то уж не обманет. Раз обещал взять по сено, значит, возьмет. Тихо в доме. Слышно, как ворочается на скрипучей деревянной кровати бабушка, которую ночами донимают «худые немочи». В горнице покуривает да покашливает Кольча-младший, не привыкший рано ложиться, потому что по вечеркам бегаёт на пару с Мишкой Коршуковым и домой является с петухами.

— Баб!

Бабушка не откликается, но я-то чую, что она не спит.

— Баб!

— Ну какого тебе дьявола?

— Ты катанки сушить положила в печку?

— Положила, положила, спи!

— И Алешкины тоже?

— И Алешкины. Спи!

Опять тишина. Окна закрыты ставнями, темнота в избе, точно в подполье. Шуршат тараканы на печи, щекочат ноги. Я зачихал их обе в голенище чьего-то валенка, задираю его, бухаю в стену.

— Баб!

Никакого отпета.

— Ба-аб!

— Я вот встану, я вот подымуся!

— А ты варезки зашила?

— Утресь зашью. Спите!

Алешка не дышит, вникает в разговор, и хоть ничего услышать не может, все же догадывается, что я беспокоюсь о завтрашней поездке по сено. Он обнимает меня и давит мою шею крепко-крепко — благодарит меня за все тревоги и хлопоты. И я не отталкиваю его. Если бы у него был язык, он сказал бы, а так обнимает, жмет, и все тоже понятно. Но вот Алешка глубоко вздохнул, руки его разнялись, ослабели. Уснул Алешка. Намаялся, набегался и уснул. Я еще ворочаюсь, шуршу лучиной, подкладываю под подушку старые дедовы катанки, чтобы выше было, удобнее, и бабушка снова приглушенным шепотом грозит:

— Ты будешь спать, окаянный?

Я затихаю, думаю о Лысухе, о которой бабушка плохого мнения. Будто продал ее дяде Ване человек из верховского, Курганского, селения с худым глазом, продавая, выдрал из Лысухи клочок шерсти, бросил ее за печь, она там сохнет, а кобыла мается, корм ей не корм — и пока ту шерсть не найдешь — не вестись на дворе скотине, и ведь велела, велела она вывести коня через задний двор — от сглаза — да посмотреть потихоньку, куда шерсть хозяин: схоронил — так зубоскалили только, просмеивали мать. И что получилось?

Передо мной появляется человек, на Кощея Бессмертного похожий, ведет он на поводу хромую лошадь и сам хромает, а впереди дорога меж торосов виляет, елки, пихты, вересинки коридорчиком стоят, кони трусят, пофыркивают — это мы уже едем по сено, и сани скрипят мерзлыми

завертками, полозья повизгивают, а Кольча-младший напевает себе под нос что-то. И все бежит, бежит зимник по Енисею, потом по лесу с горы на гору, с горы на гору.

По сено у нас ездят далеко. Покосов возле села нет. Наше село среди увалов и скал стоит. Покосы на Фокинской речке, на Малой и Большой Слизневке. А наш покос на Манской речке. Манская речка впадает в реку Ману, Мана в Енисей. Мы летом были с Алешкой на покосе, ловили хариусов в речке, гребли сено, купались. Зимой мы на покосе никогда не были. Далек и морозно. Какой он, покос, зимою? Кто там живет? Зайцы живуг, лисы живут. И медведи живуг. Они караулят наше сено и не пускают к нему диких коз. Если козы съедят зарод, что тогда останется корове? Но медведь их не пускает к зароду. Да и увезем мы сено. Сложим на сани в большой-большой воз, до неба, и увезем. Я буду сидеть на самом высоком возу, и Алешка тоже. А дедушка и Кольча-младший будут идти сзади, курить, на лошадей покрикивать.

Мы едем по сено. Едем, едем, едем...

— Бр-р-рам! — повалился я с воза, подскочил, во что-то головой торнул, аж искры из глаз брызнули. Но надо мной должно быть небо, как же так?

Я поднял голову, — а вместо неба — щелястый потолок, вместо саней — горячая русская печка, и никакого воза, никакого сена. Бабушка в кути уронила пустую подойницу, я с перепугу треснул башкой об потолок. Бабушка клянет кошку — всегда у нее кошка во всем виновата.

Я с печки долой, заглянул в горницу — кровать Кольчи-младшего закинута одеялом. Я на полати — деда нету. Глянул на вешалку —дох нету. И понял все. И запел. Бабушка занималась своими делами, гремела кринками, не слышала.

Я поддал громче — никакого толку. Тогда я кинулся на печку, ткнул сердито Алешку кулаком. Он с минутой пялился на меня.

— Ме-ме-ме! — показал я ему язык и еще свистнул, мол, наших нету, уехали.

И Алешка тоже ударился в голос. Ревел он протяжно, басовито: «Бу-бу-бу-у!»

— Ий-я вот вам поору! — наконец не выдержала бабушка. — Ишь чего удумали! По сено ехать! Сопли-то к полозьям приморозите, кто отдирать будет?

— А зачем тогда сулили-и-и?

Алешка поддерживает меня, тянет: «Бу-у-у!» Бабушка снова не обращает на нас внимания, а тут и слезы на исходе. Алешкино «бу-у-у»

звучит уже едва слышно. Пузырь, правда, выдулся из ноздрей у него сильный, да бабушка не видела пузыря.

Я высунулся из-за косяка средней:

— Зачем тогда сулили-и-и?

— Ты чего на бабушку, на родну, зубы выставляш, а?

— Ничего-о-о-о!

— Ступай стайку чистить и ори там.

— Не пойду-у-!

— Как это не пойдешь?

— Не пойду-у!

— Я вот тебе не пойду! — Бабушка вытянула меня полотенцем по спине, и не больно нисколько, но обидно. Я залез обратно на печку, завернулся в старый полушубок и сказал себе, что не слезу с нее, пока не помру.

— Трескать идите, обозники! — позвала бабушка.

Я не отзывался, Алешка тряс меня за плечо, я отбросил его руку. Пропадите все вы со своей едой!

— Я кому сказала — жрать ступайте! — повысила голос бабушка. — У меня делов по завязку, а оне тут распелись! А ну, слазьте с печки! — И она бесцеремонно стянула с печки Алешку, затем меня и еще тычка мне дала, несильного, правда.

Мы нехотя усаживаемся за длинный, как нары, кухонный стол. Сегодня мужиков дома нет и потому в средней не накрывают.

— А умываться кто будет? — поинтересовалась бабушка. — Ну, вы у меня достукаетесь, вы у меня достукаетесь! — пообещала она. — Эк ведь они, кровопивцы, урос завели! Шагом марш к рукомойнику.

Согнали сонную вялость ледяной водой, веселее сделалось. Ели картошки в мундирах, парным молоком запивали, и нас еще нет-нет да встряхивало угасающими всхлипами. Бабушка, пригорюнившись, глядела на нас.

— Дурачки вы, дурачки! Еще наробитесь, еще наездитесь. Какие ваши годы! Вот подрастете — и по сено, и по солому, и в извоз...

— На будущий год, да?

— На будущий год уж обязательно. На будущий год вы уж во какие большие будете!

Я показываю Алешке палец и толкую, что в будущем году нас уже точно возьмут по сено, и он кивает головой. Рад Алешка, и я тоже рад. Мы весело метнулись на улицу, убрали навоз из стайки, пехалом выталкивали снег со двора, разметали дорогу перед воротами, чтобы легче с возами

въезжать. Мы готовились встречать деда и Кольчу-младшего с сеном. Мы станем карабкаться на воз, таскать и утаптывать сено.

То-то потеха будет!

Бабушка отстряпалась, сунула нам по пирогу с капустой, загнала нас на печку, вымыла пол, вытрясла половики, в доме стало свежо и светло.

Целый день бабушка была в хлопотах, будто перед праздником. И только после того, как второй раз подоила корову, процедила молоко и на минуточку присела возле окна, буднично сказала:

— Господи-батюшко, умаялась-то как! — тут же она озабоченно поглядела в окно: — Ой, чё же мужиков-то долго нету? Уж ладно ли у них? — Она выбежала на улицу, поглядела, поглядела и вернулась: — Нету! Ох, чуёт мое сердце нехорошее. Может, конь ногу повредил? И эта Лысуха, эта ведьма с гривой! Говорила не покупать ее, дак не послушались, приобрели одра ошептанного! Теперь вот надсажаются небось...

Так бабушка ворчала, строила догадки, кляла каких-то, нечистых на руку, людей и то и дело выбегала на улицу. Потом у нее возникли новые дела, и она заставила нас встречать подводы. Когда же совсем завечерело, бабушка сделала окончательный вывод:

— Так я и знала! Так я и знала! Эта Лысуха хорошо везет, да часто копыто отряхивает! Покуль ее лупишь, потуль и везет. У её и глаз-то чисто у Тришихи-колдуньи! Ох, тошно мне, тошнехонько! Ладно, если на Усть-Мане заночуют, а что, как в лесу, в этакую-то стужу! Робятишки, вы какого дьявола задницы на пече жарите?! А ну ступайте на Енисей, поглядите. И сидят, и сидят! То домой не загонишь, а тут сидят...

Мы побежали на Енисей. Увидели обоз, тихий, мирный, усталый. Он поднимался по взвозу, к дому заезжих. А наших нет. Спросили обозников, не видели ли они дедушку и Кольчу-младшего? Но обозники верховские. Они ехали по другой стороне Енисея, по городскому зимнику, и против села переехали реку.

Бабушка встретила нас еще в сенках:

— Ну?

— Нету. Не видать.

— Ой, горе, горе! Да что же это такое! — Она посеменила в горницу, крестясь на ходу, под образами пала на колени: — Мать Пресвятая Богородица! Спаси и сохрани рабов Божьих, пособи им сено довести, не изувечь, не изурочь. И Лысуху, Лысуху усмири!

В доме наступило отчаяние. Полное. Бабушка всплакнула в фартук.

Мы было взялись поддержать ее, но она прикрикнула на нас:

— А вы-то чё запели? Может, еще и ничего такого худого и нету. Может, просто задержались, воз завалили либо что? И нечего накаркивать беду!..

Когда мы все изнемогли, устали ждать и зажгли лампу, утешаясь только тем, что наши заночевали на Усть-Мане, бабушка глянула в окно и порхнула оттуда к вешалке:

— Робятишки! Вы какова лешака смотрели? Мужики-то уж выпрягают!..

Нас как ветром сдуло с печки. Надернули валенки на босу ногу, шапчонки на головы, что под руку попало — на себя и выкатились во двор. А во дворе теснотища. Три воза сена загромоздили его, ворота настезь. Я с ходу к дедушке, ткнулся носом в его холодную, мохнатую собачью доху с одной стороны, Алешка — с другой. Бабушка ворота запирала и как ни в чем не бывало спрашивала:

— Чего долго-то?

— Дорога в замётах. В Манской речке версты две целик протаптывали, — ответил Кольча-младший тоже буднично. Он выпрягал Лысуху и покрикивал на нее. Дедушка молча потрепал нас по шапкам и отстранил.

— Деда, а деда, сено сегодня будем метать или завтра?

— Сегодня, сегодня, — ответил за него Кольча-младший, и мы от восторга завизжали и скорее, скорее унесли под навес дуги, сбрую. Мы лезли везде и всюду, на нас ворчали мужики и даже легонько хлопали связанными вожжами. Кольча-младший вилами один раз замахнулся. Но мы не боимся вил — это острая орудья, ею ребят не бьют, ею только замахиваются. И мы дурели, не слушались, карабкались на возы, скатывались кубарем в снег.

— Вы дождетесь, вы дождетесь! — обещали нам то бабушка, то Кольча-младший. Дед помалкивал.

Коней закинули попонами и увели в конюшню. Оглобли саней связали. Сыромятные завертки, растянутые возами, отходили, потрескивали. На санях белый-белый лесной снег. Все видно хорошо, потому что в небе, студеная, оцепенела луна, множество ярких звезд, снег повсюду мигал искрами.

Пришли дядя Иван и его сыновья, сродные братья нам, Ваня и Миша, да еще тетка Апроня. И началась шумная работа. Отвязали бастриг на первом возу. Он спружинил, подскочил и уцепился в луну, будто пушка. Воз темным потоком хлынул на снег и занял половину двора. Второй воз

свален, третий свален. Сена — гора! Откуда-то взялась корова. Ест напропалую. Отгонят с одного места, она из другого хватает — у нее тоже праздник. Собака забралась на сено. Ее вилами огрели. Нельзя собаке на сене лежать — корова сено есть не станет. Собака горестно взлаяла и убралась под навес. А мы уже на сеновале, и бабушка с нами. Нам дали самую главную работу — утапывать сено. Мы топтали, падали, барахтались. Мужики бросали огромные навильники в темный сеновал и ровно бы ненароком заваливали нас. Глухо, душно станет, когда ухнет на тебя навильник. Рванешься, словно из воды, наверх и поплывешь; поплывешь, но еще не успеешь отплеваться от сенного крошева, забившего рот, — снова ух на тебя шумный навильник. Держись, ребята, не тони!

— Ребятишки, вы живые там?

— Живы!

— Упрели небось?

— Не-е!

Но я уже весь мокрый и Алешка мокрый. Мы топчем сено, плаваем в нем, барахтаемся и дуреем от густого, урёмного запаха.

Перекур.

В изнеможении упали на сено, провалились в нем по маковку. Мужики курят во дворе, тихо говорят о чем-то. Бабушка стряхивает платок.

— Баб! — окликнул я ее. — Ты можешь траву узнать или цветок?

Бабушка у нас многие травы и цветки целебные знает, собирает их на зиму. И знает их не только по названиям, но и по запахам, и по цвету, и какую траву от какой болезни пользуют, доктора у нас на селе нету, так ходят к бабушке лечиться от живота, от простуды, от сердца. Вот только самой ей некогда болезни свои лечить.

— Ну где же я в потемках-то? — ответила бабушка, но таким тоном, что нам совершенно ясно — это она малый кураж напускает. Пошарив подле себя рукой, бабушка подозвала нас и показала при лунном свете, падающем в проем дверей: — Вот это осока. Легко отличается — жестка, с шипом, почти не теряет цвету. По Манской речке ее много. А вот эта, — отделяет она от горсти несколько былинки, — метличка. Ну, ее тоже хорошо знатко. Метелочки на концах. А это вот, видите, ровно спичка сгорелая на кончике. Это купальница-цветок.

— Жарок, да?

— По-нашему — жарок. Завял он, засох, краса вся его наземь обсыпалась. И люди вот так же, пока цветут, красивые, потом усохнут, сморщатся, что грибы червивые. Недолг век цветка, да ярлок, а человечья жизнь навроде бы и долгая, да цвету в ней не лишка...

Девятишар, орляк, кошачья лапка, ромашка, тимофеевка, овсяница, чина и много-много пырея переселилось из леса на наш сеновал, А я вот еще и земляничку нащупал, потом другую, третью. Свою я съел вместе со стебельком — ничего не случится. Ту, что бабушке отдал, она лишь понюхала и протянула Алешке. Алешка съел две ягодки, заулыбался.

А я вот помню, как летом проснулся на этом вот сеновале. Было душно, глухо и темно.

Во тьме полыхали молнии, но грома и дождя еще не было. Вдруг грохнуло над самой головой. Я подскочил и полез в глубь сеновала. Внизу, в стайке, с насеста сшибло кур, они закудахтали. Крышу осторожно, словно слепой человек голый подошвой ноги, пощупал дождь и, удостоверившись, что крыша на месте и я под нею, заходил, зашуршал по тесу, обросшему мхом по щелям и желобкам.

Меня отпустило. Курицы успокоились. Молнии сверкали, свет на мгновение вспыхивал, и все означалось: сено, грабли, старые веники на шесте, отчетливо выхватывало ласточек в гнезде, спокойно спящих. И снова ка-ак дало! И снова я подскочил с постеленки, пытался зарыться в сено, снова сшибло с насеста кур, и они разом заорали, забазарили — «ка-апру-ту-ту-какака». Одна курица, слышно было, летала по стайке, билась в стены и в углы, желала угодить на насест, но подружки ее, тесно сжавшиеся с вечера, сидели теперь вольно, какая к окошку головой и задом к открытой двери, какая наоборот — задом к окошку и головой к двери. Как застал слепой, вяжущий сон, так и сморились птахи. Та курица, что летала и «тпру-ту-ту» говорила, должно быть, уселась на пол.

К грому, к молниям все притерпелись, да и удалялись громы и молнии за горы. Пострацали всех: есть, мол, еще, есть небесные силы. и, если не будете старших слушаться, в первую голову бабушку, так они тут же явятся и покажут «кузькину мать».

Дождь размохнатился, загустел, будто шубой накрыл крышу и меня вместе с нею. Попадая на сучок, на шляпку гвоздя, на оцепину ли, редкие капли выбивались из все заполнившего шептания, трогали струну, натянутую над головой. Дышать стало легко. Ближе и свежее сделался запах веников, сухой травы. Село, подворье наше, и я вместо с ними, согласно и доверчиво погружались в глубину ночи, наполненную черным пухом, может, дряблой водой, запаренной вениками. Корова в стайке, во время грозы переставшая валять жвачку во рту, переступила, вздохнула, пробно скрипнула жвачкою, еще раз вздохнули и зажевала, зажевала...

Какой спокойный, какой глубокий сон наступил всюду...

Мне хотелось еще в сене пошарить, еще землянику сыскать, но в это

время проем дверей заткнули навильником, сделалось темно, и снова пошла работа до седьмого пота.

Тесней и тесней становилось на сеновале. Утрамбованное, затиснутое в углу и к задней стене сено набухало ввысь и уже задевало веники, свешанные попарно на следи и жерди. Крыша чем дальше, тем уже, и мы сшибали не раз шапки о поперечины, шарили в темноте, отыскивая их.

На самом верху, там, где тес крыши сходилась торцами, по стропилам лепились гнезда ласточек и по соседству с ними осиные пузыри. Я залез горячей рукой в луночку ласточкиного гнезда и почувствовал в ней снежок, под ним мокрые перышки. Где сейчас говоруньи ласточки? Тоскуют небось по своему дому, по этому вот сараю, по нашему селу.

Я забылся на минуту и услышал, как внизу, под нами, хрупают сено вымотавшиеся за дорогу кони. Хрупают, отфыркиваются, переступают тяжелыми копытами.

Внизу, во дворе, начался разговор:

— Ну, Иван, лошадку ты отхватил! Одной рукой ее лупи, другой крестись...

— Недаром говорят... лошадь за рекой купи.

— А я ее где купил-то, шорта? За рекой, за горой, почти у кыргызов.

— Нет, робята, — вмешалась в разговор бабушка, — деньгами коня не купишь, токо удачей...

На этом и утешились, про коней говорить перестали, на сено перешли. Кольча-младший сказал:

— Сена лесные, едкие, хватило бы до весны. А ну, как прикупать придется?

— Купило притупило! — снова вмешалась в разговор бабушка. — Соломы с заимки подвезем и обойдемся. Сено стравить — коров не доить...

— На соломе да на пойле не лишка надоишь.

— Нет, пойло не бракуйте. Пойло всему голова. Токо руками его ладить надо, теплое чтобы, с отрубями. Если оплосками поить, тогда, конечно...

Завязался разговор, значит, работе конец. Да и полон сеновал. Мы у самой створки топчемся. Под ноги нам швыряют клоки сена, из которых торчат вилы, — подскребают с саней. И хорошо это, славно, а то уж дух вон из нас с Алешкой.

И вот сани заведены под навес, корова водворена на место. Бабушка граблями подобрала раскрошенное по двору сено, кинула его лошади. Мужики составили вилы, грабли, забрали дохи и, постукивая о ступеньки

катанками, вошли в избу. Катанки мерзло повизгивали, скользя на крашеном крыльце.

Вместе с мужиками в дом ввалилось облако холода и ударилось в темные углы. Изба полна чужого запаха от собачьих дох. Но все эти запахи забивал сквозной, всюду проникающий запах сена. Дедушка обламывал сосульки с усов, с бороды и кидал их под рукомойник. Бабушка сбросила ему с печи старые, пыльные катанки. Тетка Апроня хлопотала у стола, и пока переодевались и переобувались дедушка и Кольча-младший, на столе уже накрыто. Кольча-младший полез было за кисетом, да бабушка заворчала:

— Хватит табачище-то жрать натошак. За стол ступайте, потом и жгите зелье клятое сколь влезет!

Мы уже за столом, в переднем углу оставили место деду. Это место свято — никто не имел права его занимать. Кольча-младший глянул на нас, рассмеялся:

— Видали, работнички-то уж начеку!

Все со смехом усаживались, гремели табуретками и скамьями. Исчез только дед. Он возился на кухне, и нетерпение наше возрастало с каждой минутой. Ох уж медлительный у нас дед! И говорит он пять или десять слов на день. Все остальное за него обязана говорить бабушка, так уж у них повелось.

Вот и дедушка. В руках у него холщовый мешочек. Он медленно запустил в него руку. Мы с Алешкой подались вперед, не дышим. Наконец дедушка достал обломок белого калача и с улыбкой положил перед нами.

— Это вам от зайца.

Я показал Алешке пальцами уши над головой, и он расплылся в улыбке: понял — это от зайца. Мы схватили калач. Он мерзлый, что камень. По очереди пытались откусить от него хоть крошечку.

— А это от лисы, — подал дедушка наливную зарыжелую шаньгу.

Кажется, наступила вершина наших чувств и восторгов, но это еще не все. Дедушка еще глубже залез рукою к мешочек и долго-долго не вынимал подарок, тихо улыбаясь в бороду, он хитровато поглядывал на нас.

А мы уж и без того готовы. У меня сердчишко сперва остановилось, потом затрепыхалось, потом опять остановилось, в глазах рябило от напряжения. А дед томил. Ох, томил! «Ну, дедушка! — хотелось крикнуть. — Да что же у тебя там еще, что?» Дед медленно выудил из мешочка кусок вареного, стылого мяса, облепленного крошками, и торжественно протянул его:

— А это от самого Мишки. Он там сено наше караулил.

— От медведя? — вскочил я. — Алешка, это от медведя! Бу-бу-бу! — показал я ему и надул щеки, насупил брови. Алешка понял меня, захлопал в ладоши — у нас с ним одинаковое представление о медведе.

Ломаем зубы, грызем мерзлый калач, шаньгу, мясо, оттаиваем лесные подарки языком, ртом, дыханием. Все дружелюбно поглядывают на нас, подшучивают и вспоминают свое детство. И только бабушка несердито выговаривает деду:

— Потеху потом бы отдал. Останутся без ужина. Да, мы так и не поели — некогда было и не хотелось вроде бы. С замусоленным огрызком калача и плиточкой шаньги залезли мы на полати. На печке сегодня спит дедушка — он с холода. Я держал в руке холодный, постепенно раскисающий кусочек калача, Алешка — кружок шаньги. Мы смеялись, толкали друг дружку, пугая один другого лесом, медведем. Полати под нами прогибались, тесины ходуном ходили, но никто на нас не кричал — все утомились, на морозе напеклись и крепко спали.

Уснули и мы с братаном в обнимку. Снились нам в ту зимнюю, тихую ночь дивно-дивные сны.

Конь с розовой гривой

Бабушка возвратилась от соседей и сказала мне, что левонтьевские ребятишки собираются на увал по землянику, и велела сходить с ними.

— Наберешь туюсок. Я повезу свои ягоды в город, твои тоже продам и куплю тебе пряник.

— Конем, баба?

— Конем, конем.

Пряник конем! Это ж мечта всех деревенских малышей. Он белый-белый, этот конь. А грива у него розовая, хвост розовый, глаза розовые, копыта тоже розовые.

Бабушка никогда не позволяла таскаться с кусками хлеба. Ешь за столом, иначе будет худо. Но пряник — совсем другое дело. Пряник можно сунуть под рубаху, бегать и слышать, как конь лягает копытами в голый живот. Холодея от ужаса — потерял, — хвататься за рубаху и со счастьем убеждаться — тут он, тут конь-огонь!

С таким конем сразу почету сколько, внимания! Ребята левонтьевские к тебе так и этак ласться, и в чижа первому бить дают, и из рогатки стрелнуть, чтоб только им позволили потом откусить от коня либо лизнуть его. Когда даешь левонтьевскому Саньке или Таньке откусывать, надо держать пальцами то место, по которое откусить положено, и держать крепко, иначе Танька или Санька так цапнут, что останется от коня хвост да грива.

Левонтий, сосед наш, работал на бадобах вместе с Мишкой Коршуковым. Левонтий заготавливал лес на бадоба, пилил его, колол и сдавал на известковый завод, что был супротив села, по другую сторону Енисея. Один раз в десять дней, а может, и в пятнадцать — я точно не помню, — Левонтий получал деньги, и тогда в соседнем доме, где были одни ребятишки и ничего больше, начинался пир горой.

Какая-то беспокойность, лихорадка, что ли, охватывала не только левонтьевский дом, но и всех соседей. Ранним еще утром к бабушке забегала тетка Васеня — жена дяди Левонтия, запыхавшаяся, загнанная, с зажатыми в горсти рублями.

— Кума! — испуганно-радостным голосом восклицала она. — Долг-от я принесла! — И тут же кидалась прочь из избы, взметнув юбкою вихрь.

— Да стой ты, чумовая! — окликала ее бабушка. — Сосчитать ведь надо.

Тетка Васеня покорно возвращалась, и, пока бабушка считала деньги, она перебирала босыми ногами, ровно горячий конь, готовый рвануть, как только приотпустят вожжи.

Бабушка считала обстоятельно и долго, разглаживая каждый рубль. Сколько я помню, больше семи или десяти рублей из «запасу» на черный день бабушка никогда Левонтьихе не давала, потому как весь этот «запас» состоял, кажется, из десятки. Но и при такой малой сумме заполошная Васеня умудрялась обсчитаться на рубль, когда и на целый трояк.

— Ты как же с деньгами-то обращаешься, чучело безглазое! — напускалась бабушка на соседку. — Мне рупь, другому рупь! Что же это получится?

Но Васеня опять взметывала юбкой вихрь и укатывалась.

— Передала ведь!

Бабушка еще долго поносила Левонтьиху, самого Левонтия, который, по ее убеждению, хлеба не стоил, а вино жрал, била себя руками по бедрам, плевалась, я подсаживался к окну и с тоской глядел на соседский дом.

Стоял он сам собою, на просторе, и ничего-то ему не мешало смотреть на свет белый кое-как застекленными окнами — ни забор, ни ворота, ни наличники, ни ставни. Даже бани у дяди Левонтия не было, и они, левонтьевские, мылись по соседям, чаще всего у нас, натаскав воды и подводу дров с известкового завода переправив.

В один благой день, может быть, и вечер дядя Левонтий качал зыбку и, забывшись, затянул песню морских скитальцев, слышанную в плаваниях, — он когда-то был моряком.

Приплыл по акияну
Из Африки матрос,
Малютку облизьяну
Он в ящике привез...

Семейство утихло, внимая голосу родителя, впитывая очень складную и жалостную песню. Село наше, кроме улиц, посадов и переулков, скроено и сложено еще и попесенно — у всякой семьи, у фамилии была «своя», коронная песня, которая глубже и полнее выражала чувства именно этой и никакой другой родни. Я и поныне, как вспомню песню «Монах красотку полюбил», — так и вижу Бобровский переулок и всех бобровских, и мураши у меня по коже разбегаются от потрясенности. Дрожит, сжимается сердце от песни «шахматовского колена»: «Я у окошечка сидела, Боже мой,

а дождик капал на меня». И как забыть фокинскую, душу рвущую: «Понапрасну ломал я решеточку, понапрасну бежал из тюрьмы, моя милая, родная женушка у другого лежит на груди», или дяди моего любимую: «Однажды в комнате уютной», или в память о маме-покойнице, поющуюся до сих пор: «Ты скажи-ка мне, сестра...» Да где же все и всех-то упомнишь? Деревня большая была, народ голосистый, удалой, и родня в коленах глубокая и широкая.

Но все наши песни скользом пролетали над крышей поселенца дяди Левонтия — ни одна из них не могла растревожить закаменелую душу боевого семейства, и вот на тебе, дрогнули левонтьевские орлы, должно быть, капля-другая моряцкой, бродяжьей крови путалась в жилах детей, и она-то размыла их стойкость, и когда дети были сыты, не дрались и ничего не истребляли, можно было слышать, как в разбитые окна, и распахнутые двери выплескивается дружный хор:

Сидит она, тоскует
Все ночи напролет
И песенку такую
О родине поет:
«На теплом-теплом юге,
На родине моей,
Живут, растут подруги
И нет совсем людей...»

Дядя Левонтий подбуровливал песню басом, добавлял в нее рокоту, и оттого и песня, и ребята, и сам он как бы менялись обликом, красивше и сплоченней делались, и текла тогда река жизни в этом доме покойным, ровным руслом. Тетка Васеня, непереносимой чувствительности человек, оросив лицо и грудь слезьми, подвывая в старый прожженный фартук, высказывалась насчет безответственности человеческой — сгреб вот какой-то пьяный охламон облизыянку, утащыл ее с родины невесть зачем и на че? А она вот, бедная, сидит и тоскует все ночи напролет... И, вскинувшись, вдруг впивалась мокрыми глазами в супруга — да уж не он ли, странствуя по белу свету, утворил это черно дело?! Не он ли свистнул облизыянку? Он ведь пьяный не ведает, чего творит!

Дядя Левонтий, покаянно принимающий все грехи, какие только возможно навесить на пьяного человека, морщил лоб, тужась понять: когда и зачем он увез из Африки обезьяну? И, коли увез, умыкнул животную, то

куда она впоследствии делась?

Весною левонтьевское семейство ковыряло маленько землю вокруг дома, возводило изгородь из жердей, хворостин, старых досок. Но зимой все это постепенно исчезало в утробе русской печи, раскорячившейся посреди избы.

Танька левонтьевская так говаривала, шумя беззубым ртом, обо всем ихнем заведении:

— Зато как тятка шурунет нас — бегишь и не запнешша.

Сам дядя Левонтий в теплые вечера выходил на улицу в штанах, державшихся на единственной медной пуговице с двумя орлами, в бязевой рубахе, вовсе без пуговиц. Садился на истюканный топором чурбак, изображавший крыльцо, курил, смотрел, и если моя бабушка корила его в окно за безделье, перечисляла работу, которую он должен был, по ее разумению, сделать в доме и вокруг дома, дядя Левонтий благодушно почесывался.

— Я, Петровна, слободу люблю! — и обводил рукою вокруг себя: — Хорошо! Как на море! Ништо глаз не угнетат!

Дядя Левонтий любил море, а я любил его. Главная цель моей жизни была прорваться в дом Левонтия после его полочки, послушать песню про малютку обезьяну и, если потребуется, подтянуть могучему хору. Улизнуть не так-то просто. Бабушка знает все мои повадки наперед.

— Нечего куски выглядывать, — гремела она. — Нечего этих пролетарьев объедать, у них самих в кармане — вошь на аркане.

Но если мне удавалось ушмыгнуть из дома и попасть к левонтьевским, тут уж все, тут уж я окружен бывал редкостным вниманием, тут мне полный праздник.

— Выдь отсюда! — строго приказывал пьяненький дядя Левонтий кому-нибудь из своих парнишек. И пока кто-либо из них неохотно вылезал из-за стола, пояснял детям свое строгое действие уже обмякшим голосом: — Он сирота, а вы всешки при родителях! — И, жалостно глянув на меня, взрывал: — Мать-то ты хоть помнишь ли? — Я утвердительно кивал. Дядя Левонтий горестно облакачивался на руку, кулачищем растирал по лицу слезы, вспоминая; — Бадуги с ней по один год кололи-и-и! — И совсем уж разрыдавшись: — Когда ни придешь... ночь-полночь... пропа... пропащая ты голова, Левонтий, скажет и... опохмелит...

Тетка Васеня, ребяташки дяди Левонтия и я вместе с ними ударялись в рев, и до того становилось жалостно в избе, и такая доброта охватывала людей, что все-все высыпалось и вываливалось на стол и все наперебой угощали меня. и сами ели уже через силу, потом затягивали песню, и слезы

лились рекой, и горемычная обезьяна после этого мне снилась долго.

Поздно вечером либо совсем уже ночью дядя Левонтий задавал один и тот же вопрос: «Что такое жисть?!» После чего я хватал пряники, конфеты, ребятишки левонтьевские тоже хватали что попадало под руки и разбегались кто куда. Последней ходу задавала Васеня, и бабушка моя привечала ее до утра. Левонтий бил остатки стекол в окнах, ругался, гремел, плакал.

На следующее утро он осколками стеклил окна, ремонтировал скамейки, стол и, полный мрака и раскаяния, отправлялся на работу. Тетка Васеня дня через три-четыре снова ходила по соседям и уже не взметывала юбкою вихрь, снова занимала до получки денег, муки, картошек — чего придется.

Вот с орлами-то дяди Левонтия и отправился я по землянику, чтобы трудом своим заработать пряник. Ребятишки несли бокалы с отбитыми краями, старые, наполовину изодранные на растопку, берестяные туески, кринки, обвязанные по горлу бечевками, у кого ковшики без ручек были. Парнишки вольничали, боролись, бросали друг в друга посудой, ставили подножки, раза два принимались драться, плакали, дразнились. По пути они заскочили в чей-то огород, и, поскольку там еще ничего не поспело, напластали беремья луку-батуну, наелись до зеленой слюны, остатки побросали. Оставили несколько перышек на свистульки. В обкусанные перья они пищали, приплясывали, под музыку шагалось нам весело, и мы скоро пришли на каменистый увал. Тут все перестали баловаться, рассыпались по лесу и начали брать землянику, только-только еще поспевающую, белобокую, редкую и потому особенно радостную и дорогую.

Я брал старательно и скоро покрыл дно аккуратненького туеска стакана на два-три. Бабушка говорила: главное в ягодах — закрыть дно посудыны. Вздохнул я с облегчением и стал собирать землянику скорее, да и попадалось ее выше по увалу больше и больше.

Левонтьевские ребятишки сначала ходили тихо. Лишь позвякивала крышка, привязанная к медному чайнику. Чайник этот был у старшего парнишки, и побрякивал он, чтобы мы слышали, что старшой тут, поблизости, и бояться нам нечего и незачем.

Вдруг крышка чайника забренчала нервно, послышалась возня.

— Ешь, да? Ешь, да? А домой чё? А домой чё? — спрашивал старшой и давал кому-то тумака после каждого вопроса.

— А-га-га-гааа! — запела Танька. — Шанька шажрал, дак ничо-о-о...

Попало и Саньке. Он рассердился, бросил посудину и свалился в

траву. Старшой брал, брал ягоды да и задумался: он для дома старается, а те вон, дармоеды, жрут ягоды либо вовсе на траве валяются. Подскочил старшой и пнул Саньку еще раз. Санька взвыл, кинулся на старшого. Зазвенел чайник, брызнули из него ягоды. Бьются братья богатырские, катаются по земле, всю землянику раздавили.

После драки и у старшого опустились руки. Принялся он собирать просыпанные, давленные ягоды — и в рот их, в рот.

— Значит, вам можно, а мне, значит, нельзя! Вам можно, а мне, значит, нельзя? — зловеще спрашивал он, пока не съел все, что удалось собрать.

Вскоре братья как-то незаметно помирились, перестали обзываться и решили спуститься к Фокинской речке, побрызгаться.

Мне тоже хотелось к речке, тоже бы побрызгаться, но я не решался уйти с увала, потому что еще не набрал полную посудину.

— Бабушки Петровны испугался! Эх ты! — закривлялся Санька и назвал меня поганым словом. Он много знал таких слов. Я тоже знал, научился говорить их у левонтьевских ребят, но боялся, может, стеснялся употреблять поганство и несмело заявил:

— Зато мне бабушка пряник конем купит!

— Может, кобылой? — усмехнулся Санька, плюнул себе под ноги и тут же что-то смекнул; — Скажи уж лучше — боишься ее и еще жадный!

— Я?

— Ты!

— Жадный?

— Жадный!

— А хочешь, все ягоды съем? — сказал я это и сразу покаялся, понял, что попался на уду. Исцарапанный, с шишками на голове от драк и разных других причин, с цыпками на руках и ногах, с красными окроветелыми глазами, Санька был вреднее и злее всех левонтьевских ребят.

— Слабо! — сказал он.

— Мне слабо! — хорохорился я, искоса глядя в туесок. Там было ягод уже выше середины. — Мне слабо?! — повторял я гаснущим голосом и, чтобы не спасовать, не струсить, не опозориться, решительно вытряхнул ягоды на траву: — Вот! Ешьте вместе со мной!

Навалилась левонтьевская орда, ягоды вмиг исчезли. Мне досталось всего несколько малюсеньких, гнутых ягодок с прозеленью. Жалко ягод. Грустно. Тоска на сердце — предчувствует оно встречу с бабушкой, отчет и расчет. Но я напустил на себя отчаянность, махнул на все рукой — теперь уже все равно. Я мчался вместе с левонтьевскими ребятами под гору, к речке, и хвастался:

— Я еще у бабушки калач украду!

Парни поощряли меня, действуй, мол, и не один калач неси, шанег еще прихвати либо пирог — ничего лишнее не будет.

— Ладно!

Бегали мы по мелкой речке, брызгались студеной водой, опрокидывали плиты и руками ловили подкаменщика — пищуженца. Санька ухватил эту мерзкую на вид рыбину, сравнил ее со срамом, и мы растерзали пищуженца на берегу за некрасивый вид. Потом пуляли камни в пролетающих птичек, подшибли белобрюшку. Мы отпаивали ласточку водой, но она пускала в речку кровь, воды проглотить не могла и умерла, уронив головку. Мы похоронили беленькую, на цветочек похожую птичку на берегу, в гальке и скоро забыли о ней, потому что занялись захватывающим, жутким делом: забегали в устье холодной пещеры, где жила (это в селе доподлинно знали) нечистая сила. Дальше всех в пещеру забежал Санька — его и нечистая сила не брала!

— Это еще чё! — хвалился Санька, воротившись из пещеры. — Я бы дальше побег, в глыбь побег ба, да босый я, там змеев гибель.

— Жмеев?! — Танька отступила от устья пещеры и на всякий случай подтянула спадающие штанишки.

— Домовнику с домовым видел, — продолжал рассказывать Санька.

— Хлопуша! Домовые на чердаке живут да под печкой! — срезал Саньку старшой.

Санька смешался было, однако тут же оспорил старшого:

— Дак тама какой домовой-то? Домашний. А тут пещернай. В мохе весь, серай, дрожмя дрожит — студено ему. А домовника худа-худа, глядит жалобливо и стонет. Да меня не подманишь, подойди только — схватит и слопает. Я ей камнем в глаз залимонил!..

Может, Санька и врал про домовых, но все равно страшно было слушать, чудилось — вот совсем близко в пещере кто-то все стонет, стонет. Первой дернула от худого места Танька, следом за нею и остальные ребята с горы посыпались. Санька свистнул, заорал дурноматом, поддавая нам жару.

Так интересно и весело мы провели весь день, и я совсем уже забыл про ягоды, но наступила пора возвращаться домой. Мы разобрали посуду, спрятанную под деревом.

— Задаст тебе Катерина Петровна! Задаст! — заржал Санька. — Ягоды-то мы съели! Ха-ха! Нарошно съели! Ха-ха! Нам-то ништяк! Ха-ха! А тебе-то хо-хо!..

Я и сам знал, что им-то, левонтьевским, «ха-ха!», а мне «хо-хо!».

Бабушка моя, Катерина Петровна, не тетка Васеня, от нее враньем, слезами и разными отговорками не отделаешься.

Тихо плелся я за левонтьевскими ребятами из лесу. Они бежали впереди меня гурьбой, гнали по дороге ковшик без ручки. Ковшик звякал, подпрыгивал на камнях, от него отскакивали остатки эмалировки.

— Знаешь чё? — проговорив с братанами, вернулся ко мне Санька. — Ты в туес травы натолкай, сверху ягод — и готово дело! Ой, дитяtko мое! — принялся с точностью передразнивать мою бабушку Санька. — Пособил тебе воспо-одь, сиротинке, пособи-ил. — И подмигнул мне бес Санька, и помчался дальше, вниз с увала, домой.

А я остался.

Утихли голоса ребятни под увалом, за огородами, жутко сделалось. Правда, село здесь слышно, а все же тайга, пещера недалеко, в ней домовниха с домовым, змеи кишмя кишат.

Повздыхал я, повздыхал, чуть было не всплакнул, но надо было слушать лес, траву, домовые из пещеры не подбираются ли. Тут хныкать некогда. Тут ухо остро держи. Я рвал горстью траву, а сам озирался по сторонам. Набил травую туго туесок, на бычке, чтоб к свету ближе и дома видать, собрал несколько горсток ягодок, заложил ими траву — получилось земляники даже с копной.

— Дитяtko ты мое! — запричитала бабушка, когда я, замирая от страха, передал ей посудину. — Восподь тебе пособил, воспо-дь! Уж куплю я тебе пряник, самый большущий. И пересыпать ягодки твои не стану к своим, прямо в этом туеске увезу...

Отлегло маленько.

Я думал, сейчас бабушка обнаружит мое мошенничество, даст мне что полагается, и уже приготовился к каре за содеянное злодейство. Но обошлось. Все обошлось. Бабушка унесла туесок в подвал, еще раз похвалила меня, дала есть, и я подумал, что бояться мне пока нечего и жизнь не так уж худа.

Я поел, отправился на улицу играть, и там дернуло меня сообщить обо всем Саньке.

— А я расскажу Петровне! А я расскажу!..

— Не надо, Санька!

— Принеси калач, тогда не расскажу.

Я пробрался тайком в кладовку, вынул из ларя калач и принес его Саньке, под рубахой. Потом еще принес, потом еще, пока Санька не нажрался.

«Бабушку надул. Калачи украл! Что только будет?» — терзался я

ночью, ворочаясь на полатах. Сон не брал меня, покой «андельский» не снисходил на мою жиганью, на мою варначью душу, хотя бабушка, перекрестив на ночь, желала мне не какого-нибудь, а самого что ни на есть «андельского», тихого сна.

— Ты чего там елозишь? — хрипло спросила из темноты бабушка. — В речке небось опять бродил? Ноги опять болят?

— Не-е, — откликнулся я. — Сон приснился...

— Спи с Богом! Спи, не бойся. Жизнь страшнее снов, батюшко...

«А что, если слезть с полатей, забраться к бабушке под одеяло и все-все рассказать?»

Я прислушался. Снизу доносилось трудное дыхание старого человека. Жалко будить, устала бабушка. Ей рано вставать. Нет уж, лучше я не буду спать до утра, скараулю бабушку, расскажу обо всем: и про туесок, и про домовнику с домовым, и про калачи, и про все, про все...

От этого решения мне стало легче, и я не заметил, как закрылись глаза. Возникла Санькина немытая рожа, потом замелькал лес, трава, земляника, завалила она и Саньку, и все, что виделось мне днем.

На полатах запахло сосняком, холодной таинственной пещерой, речка прожурчала у самых ног и смолкла...

Дедушка был на заимке, километрах в пяти от села, в устье реки Маны. Там у нас посеяна полоска ржи, полоска овса и гречи да большой загон посажен картошек.

О колхозах тогда еще только начинались разговоры, и селяне наши жили пока единолично. У дедушки на заимке я любил бывать. Спокойно у него там, обстоятельно, никакого утеснения и надзора, бегай хоть до самой ночи. Дедушка никогда и ни на кого не шумел, работал неторопливо, но очень уемисто и податливо.

Ах, если бы заимка была ближе! Я бы ушел, скрылся. Но пять километров для меня были тогда непреодолимым расстоянием. И Алешки нет, чтобы с ним вместе умотать. Недавно приезжала тетка Августа и забрала Алешку с собой на лесоучасток, куда она поступила работать.

Слонялся я, слонялся по пустой избе и ничего другого не мог придумать, как податься к левонтьевским.

— Уплыла Петровна! — ухмыльнулся Санька и цыркнул слюной в дырку меж передних зубов. У него в этой дырке мог поместиться еще один зуб, и мы были без ума от этой Санькиной дырки. Как он в нее цыркал слюной!

Санька собирался на рыбалку, распутывал леску. Малые его братья и сестры толкались подле, бродили вокруг скамеек, ползали, ковыляли на кривых ногах. Санька раздавал затрешины направо и налево — малые лезли под руку, путали леску.

— Крючка нету, — сердито буркнул он, — проглотил, должно, который-то.

— Помрет?

— Ништя-ак! — успокоил меня Санька. — Переварят. У тебя много крючков, дай. Я тебя с собой возьму.

— Идет.

Я помчался домой, схватил удочки, хлеба в карман сунул, и мы подались к каменным бычкам, за поскотину, спускавшуюся прямо в Енисей по-за логом.

Старшего дома не было. Его взял с собой «на бадogi» отец, и Санька командовал напропалу. Поскольку был он сегодня старшим и чувствовал большую ответственность, то уж не задирался зря и, мало того, усмирлял «народ», если тот начинал свалку.

У бычков Санька поставил удочки, наживил червяков, поклевал на них и «с руки» закинул лески, чтобы дальше закинулось, — всем известно: чем дальше и глубже, тем больше рыбы и крупней она.

— Ша! — вытаращил глаза Санька, и мы покорно замерли.

Долго не клевало. Мы устали ждать, начали толкаться, хихикать, дразниться. Санька терпел, терпел и прогнал нас искать щавель, береговой чеснок, дикую редьку, иначе, мол, он за себя не ручается, иначе он всем нам нащелкает.

Левонтьевские ребята умели пропитаться «от земли», ели все, что Бог пошлет, ничем не брезговали и оттого были краснорожие, сильные, ловкие, особенно за столом.

Без нас у Саньки в самом деле заклевало. Пока мы собирали пригодную для жратвы зелень, он вытащил двух ершей, пескаря и белоглазого ельчика. Развели огонь на берегу. Санька вздел на палочки рыб, приспособил их жарить, ребяташки окружили костерок и не спускали глаз с жарева. «Са-ань! — занули они скоро. — Уж изварилось! Са-ань!..»

— Н-ну, прорвы! Н-ну, прорвы! Ужели не видите, что ерш жабрами зеват? Токо бы слопать поскорейча. А ну как брюхо схватит, понос ешли?..

— Понос у Витьки Катерининога бывает. У нас не-эт.

— Я чё сказал?!

Смолкли орлы боевые. С Санькой не больно турысы разведешь, он, чуть чего, и навтыкает. Терпят малые, швыркают носами; норуют огонь

пожарче сладить. Однако терпенья хватает ненадолго.

— Ну, Са-ань, вон уж прямо уголь...

— Подавитесь!

Ребята сцапали палочки с жареной рыбой, разорвали на лету и на лету же, постанывая от горячего, съели их почти сырыми, без соли и хлеба, съели и в недоумении огляделись: уже?! Столько ждали, столько терпели и только облизнулись. Хлеб мой ребятишки тоже незаметно смолотили и занялись кто чем: вытаскивали из норок береговушек, «блинали» каменными плиточками по воде, пробовали купаться, но вода была еще холодная, быстро выскочили из реки — отогреться у костра. Отогрелись и упали в еще низкую траву, чтоб не видать, как Санька жарит рыбу, теперь уже себе, теперь его черед, и тут уж проси не проси — могила. Не даст, потому как сам пожрать любит пуще всех.

День был ясный, летний. Сверху пекло. Возле поскотины клонились к земле рябенькие кукушкины башмачки. На длинных хрустких стеблях болтались из стороны в сторону синие колокольчики, и, наверное, только пчелы слышали, как они звенели. Возле муравейника на обогретой земле лежали полосатые цветки-граммофончики, и в голубые их рупоры совали головы шмели. Они надолго замирали, выставив мохнатые зады, должно быть, заслушивались музыкой. Березовые листья блестели, осинник сомлел от жары, сосняк по увалам был весь в синем куреве. Над Енисеем солнечно мерцало. Сквозь это мерцание едва проглядывали красные жерла известковых печей, полыхающих по ту сторону реки. Тени скал лежали недвижно на воде, и светом их размыкало, рвало в клочья, будто старое тряпье. Железнодорожный мост в городе, видимый из нашего села в ясную погоду, колыхался тонким кружевцем, и, если долго смотреть на него, — кружевце истоньшалось и рвалось.

Оттуда, из-за моста, должна приплыть бабушка. Что только будет! И зачем я так сделал? Зачем послушался левонтьевских? Вон как хорошо было жить. Ходи, бегай, играй и ни о чем не думай. А теперь что? Надеяться теперь не на что. Разве что на нечаянное какое избавление. Может, лодка опрокинется и бабушка утонет? Нет уж, лучше пусть не опрокидывается. Мама утонула. Чего хорошего? Я нынче сирота. Несчастный человек. И пожалеть меня некому. Левонтий только пьяный жалеет да еще дедушка — и все, бабушка только кричит, еще нет-нет да поддаст — у нее не задержится. Главное, дедушки нет. На заимке дедушка. Он бы не дал меня в обиду. Бабушка и на него кричит: «Потатчик! Своим всю жизнь потачил, теперь этого!..»

«Дедушка ты дедушка, хоть бы ты в баню мыться приехал, хоть бы

просто так приехал и взял бы меня с собою!»

— Ты чего нюнишь? — наклонился ко мне Санька с озабоченным видом.

— Ничего-о-о! — голосом я давал понять, что это он, Санька, довел меня до такой жизни.

— Ништя-ак! — утешил меня Санька. — Не ходи домой, и все! Заройся в сено и притаись. Петровна видела у твоей матери глаз приоткрытый, когда ее хоронили. Бойтся — ты тоже утонешь. Вот она как запричитает: «Утону-у-ул мой дитятко, спокинул меня, сиротиночка», — ты тут и вылезешь!..

— Не буду так делать! — запротестовал я. — И слушаться тебя не буду!..

— Ну и лешак с тобой! Об тебе же стараются. Во! Ключуло! У тебя ключуло!

Я свалился с яра, переполошив береговушек в дырках, и рванул удочку. Попался окунь. Потом ерш. Подошла рыба, начался клев. Мы наживляли червяков, закидывали.

— Не перешагивай через удилице! — суеверно орал Санька на совсем ошалевших от восторга малышей и таскал, таскал рыбешек. Парнишонки надевали их на ивовый прут, опускали в воду и кричали друг на дружку: «Кому говорено — не пересыкай удочку?!»

Вдруг за ближним каменным бычком защелкали по дну кованые шести, из-за мыса показалась лодка. Трое мужиков разом выбрасывали из воды шести. Сверкнув отшлифованными наконечниками, шести разом падали в воду, и лодка, зарывшись по обводы в реку, рвалась вперед, откидывая на стороны волны. Взмах шестов, перекидка рук, толчок — лодка вспрыгнула носом, ходко подалась вперед. Она ближе, ближе. Вот уж кормовой двинул шестом, и лодка кивнула в сторону от наших удочек. И тут я увидел сидящего на беседке еще одного человека. Полушалок на голове, концы его пропущены под мышки и крест-накрест завязаны на спине. Под полушалком крашенная в бордовый цвет кофта. Вынималась эта кофта из сундука по большим праздникам и по случаю поездки в город.

Я рванул от удочек к яру, подпрыгнул, ухватился за траву, засунув большой палец ноги в норку. Подлетела береговушка, тюкнула меня по голове, я с перепугу упал на комья глины, подскочил и бежать по берегу, прочь от лодки.

— Ты куда! Стой! Стой, говорю! — кричала бабушка.

Я мчался во весь дух.

— Я-а-авишша, я-авишша домой, мошенник!

Мужики поддали жару.

— Держи его! — крикнули из лодки, и я не заметил, как оказался на верхнем конце села, куда и одышка, всегда меня мучающая, девалась! Я долго отдыхивался и скоро обнаружил — подступает вечер — волей-неволей надо возвращаться домой. Но я не хотел домой и на всякий случай подался к двоюродному братишке Кеше, дяди Ваниному сыну, жившему здесь, на верхнем краю села.

Мне повезло. Возле дяди Ваниного дома играли в лапту. Я ввязался в игру и пробегал до темноты. Появилась тетя Феня, Кешкина мать, и спросила меня:

— Ты почему домой не идешь? Бабушка потеряет тебя.

— Не-е, — ответил я как можно беспечнее. — Она в город уплыла. Может, ночует там.

Тетя Феня предложила мне поесть, и я с радостью смолотил все, что она мне дала, тонкошей Кеша попил вареного молока, и мать ему сказала с укором:

— Все на молочке да на молочке. Гляди вон, как ест парнишка, оттого и крепок, как гриб боровик. — Мне поглянулась тети Фенина похвала, и я уже тихо надеяться стал, что она меня и ночевать оставит.

Но тетя Феня порасспрашивала, порасспрашивала меня обо всем, после чего взяла за руку и отвела домой.

В нашей избе уже не было свету. Тетя Феня постучала к окну. «Не заперто!» — крикнула бабушка. Мы вошли в темный и тихий дом, где только и слышалось многокрылое постукивание бабочек да жужжание бьющихся о стекло мух.

Тетя Феня оттеснила меня в сени, втокнула в пристроенную к сеним кладовку. Там была налажена постель из половиков и старого седла в головах — на случай, если днем кого-то сморит жара и ему захочется отдохнуть в холодке.

Я зарылся в половики, притих, слушая.

Тетя Феня и бабушка о чем-то разговаривали в избе, но о чем — не разобрать. В кладовке пахло отрубями, пылью и сухой травой, натюканной во все щели и под потолком. Трава эта все чего-то пощелкивала да потрескивала. Тоскливо было в кладовке. Темень была густа, шероховата, заполненная запахами и тайной жизнью. Под полом одиноко и робко скреблась мышь, голодающая из-за кота. И все потрескивали сухие травы да цветы под потолком, открывали коробочки, сорили во тьму семечки, два

или три запутались в моих полосах, но я их не вытаскивал, страшась шевельнуться.

На селе утверждалась тишина, прохлада и ночная жизнь. Убитые дневною жарою собаки приходили в себя, вылазили из-под сеней, крылец, из конур и пробовали голоса. У моста, что положен через Фокинскую речку, пиликала гармошка. На мосту у нас собирается молодежь, пляшет там, поет, пугает припозднившихся ребятишек и стеснительных девчонок.

У дяди Левонтия спешно рубили дрова. Должно быть, хозяин принес чего-то на вареву. У кого-то левонтьевские «сбодали» жердь? Скорей всего у нас. Есть им время промышлять в такую пору дрова далеко...

Ушла тетя Феня, плотно прикрыла дверь в сенках. Воровато прошмыгнул ко крыльцу кот. Под полом стихла мышь. Стало совсем темно и одиноко. В избе не скрипели половицы, не ходила бабушка. Устала. Не ближний путь в город-то! Восемнадцать верст, да с котомкой. Мне казалось, что, если я буду жалеть бабушку, думать про нее хорошо, она об этом догадается и все мне простит. Придет и простит. Ну разок и щелкнет, так что за беда! За такое дело и не разок можно...

Однако бабушка не приходила. Мне сделалось холодно. Я свернулся калачиком и дышал себе на грудь, думая про бабушку и про все жалостное.

Когда утонула мама, бабушка не уходила с берега, ни унести, ни уговорить ее всем миром не могли. Она все кликала и звала маму, бросала в реку крошки хлебушка, серебрушки, лоскутки, вырывала из головы волосы, завязывала их вокруг пальца и пускала по течению, надеясь задобрить реку, умиловить Господа.

Лишь на шестые сутки бабушку, распутившуюся телом, почти волоком утащили домой. Она, словно пьяная, бредово что-то бормотала, руки и голова ее почти доставали землю, волосья на голове расплетались, висели над лицом, цеплялись за все и оставались клочьями на бурьяне. на жердях и на заплотах.

Бабушка упала среди избы на голый пол, раскинув руки, и так вот спала, не раздетая, в скоробленных опорках, словно плыла куда-то, не издавая ни шороха, ни звука, и доплыть не могла. В доме говорили шепотом, ходили ца цыпочках, боязно наклонялись над бабушкой, думая, что она умерла. Но из глубины бабушкиного нутра, через стиснутые зубы шел непрерывный стон, словно бы придавило что-то или кого-то там, в бабушке, и оно мучилось от неотпускающей, жгучей боли.

Очнулась бабушка ото сна сразу, огляделась, будто после обморока, и стала подбирать волосы, сплестать их в косу, держа тряпочку для завязки косы в зубах.

Деловито и просто не сказала, а выдохнула она из себя: «Нет, не дозваться мне Лиденьку, не дозваться. Не отдает ее река. Близко где-то, совсем близко держит, но не отдает и не показывает...»

А мама и была близко. Ее затянуло под сплавную бону против избы Вассы Вахрамеевны, она зацепилась косой за перевязь бон и моталась, моталась там до тех пор, пока не отопрели волосы и не оторвало косу. Так они и мучились: мама в воде, бабушка на берегу, мучились страшной мукой неизвестно за чьи тяжкие грехи...

Бабушка узнала и рассказала мне, когда я подросток, что в маленькую долбленную лодку набилось восемь человек отчаянных овсянских баб и один мужик на корме — наш Кольча-младший. Бабы все с торгом, в основном с ягодой — земляникой, и, когда лодка опрокинулась, по воде, ширясь, понеслась красная яркая полоса, и сплавщики с катера, спасавшие людей, закричали: «Кровь! Кровь! Разбило о бону кого-то...»

Но по реке плыла земляника. У мамы тоже была кринка земляники, и алой стружкой слилась она с красной полосой. Может, и мамина кровь от удара головой о бону была там, текла и вилась вместе с земляникой по воде, да кто ж узнает, кто отличит в панике, в суете и криках красное от красного?

Проснулся я от солнечного луча, просочившегося в мутное окошко кладовки и ткнувшегося мне в глаза. В луче мошкой мельтешила пыль. Откуда-то наносило заимкой, пашнею. Я огляделся, и сердце мое радостно подпрыгнуло: на меня был накинут дедушкин старенький полушубок. Дедушка приехал ночью. Красота!

На кухне бабушка кому-то обстоятельно рассказывала:

— ...Культурная дамочка, в шляпке. «Я эти вот ягодки все куплю». Пожалуйста, милости прошу. Ягодки-то, говорю, сиротинка горемышный собирал...

Тут я провалился сквозь землю вместе с бабушкой и уже не мог и не желал разбирать, что говорила она дальше, потому что закрылся полушубком, забился в него, чтобы скорее помереть. Но сделалось жарко, глухо, стало нечем дышать, и я открылся.

— Своих вечно потачил! — гремела бабушка. — Теперь этого! А он уж мошенничат! Чё потом из него будет? Жиган будет! Вечный арестант! Я вот еще левонтьевских, пятнай их, в оборот возьму! Это ихняя грамота!..

Убрался дед во двор, от греха подальше, чего-то тюкает под навесом. Бабушка долго одна не может, ей надо кому-то рассказывать о происшествии либо разносить вдребезги мошенника, стало быть, меня, и она тихонько прошла по сеним, приоткрыла дверь в кладовку. Я едва успел

крепко-накрепко сомкнуть глаза.

— Не спишь ведь, не спишь! Все-о вижу!

Но я не сдавался. Забежала в дом тетка Авдотья, спросила, как «тета» сплавала в город. Бабушка сказала, что «сплавала, слава Тебе, Господи, ягоденки продала сходно», и тут же принялась повествовать:

— Мой-то! Малой-то! Чего утворил!.. Послушай-ко, послушай-ко, девка!

В это утро к нам приходило много людей, и всех бабушка задерживала, чтоб поведать: «А мой-то! Малой-то!» И это ей нисколько не мешало исполнять домашние дела — она носилась взад-вперед, доила корову, выгоняла ее к пастуху, вытряхивала половики, делала разные свои дела и всякий раз, пробегая мимо дверей кладовки, не забывала напомнить:

— Не спишь ведь, не спишь! Я все-о вижу!

Но я твердо верил: управится по дому и уйдет. Не вытерпит, чтобы не поделиться новостями, почерпнутыми в городе, и узнать те новости, которые свершились без нее на селе. И каждому встречному и поперечному бабушка с большой охотой будет твердить: «А мой-то! Малой-то!»

В кладовку завернул дедушка, вытянул из-под меня кожаные вожжи и подмигнул: «Ничего, дескать, терпи и не робей!», да еще и по голове меня погладил. Я заширкал носом и так долго копившиеся слезы ягодой, крупной земляникой, пятнай ее, сыпанули из моих глаз, и не было им никакого удержу.

— Ну, што ты, што ты? — успокаивал меня дед, обирая большой рукой слезы с моего лица. — Чего голодной-то лежишь? Попроси прощенья... Ступай, ступай, — легонько подтолкнул меня дед в спину.

Придерживая одной рукой штаны, прижав другую локтем к глазам, я ступил в избу и завел:

— Я больше... Я больше... Я больше... — и ничего не мог дальше сказать.

— Ладно уж, умывайся да садись трескать! — все еще непримиримо, но уже без грозы, без громов оборвала меня бабушка. Я покорно умылся, долго возил по лицу сырым рукотерником и вспомнил, что ленивые люди, по заверению бабушки, всегда сырым утираются, потому что всех позднее встают. Надо было двигаться к столу, садиться, глядеть на людей. Ах ты Господи! Да чтобы я еще хоть раз сплутовал! Да я...

Содрогаясь от все еще не прошедших всхлипов, я прилепился к столу. Дед возился на кухне, сматывал на руку старую, совсем, понимал я, ненужную ему веревку, чего-то доставал с полатей, вынул из-под курятника топор, попробовал пальцем острие. Он ищет и находит заделье, чтоб только

не оставлять горемычного внука один на один с «генералом» — так он в сердцах или в насмешку называет бабушку.

Чувствуя незримую, но надежную поддержку деда, я взял со стола краюху и стал есть ее всухомятку. Бабушка одним махом плеснула молоко, со стуком поставила посудину передо мной и подбоченилась:

— Брюхо болит, на краюху глядит! Эшь ведь какой смирененькай! Эшь ведь какой тихонькай! И молочка не попросит!..

Дед мне подморгнул — терпи. Я и без него знал: Боже упаси сейчас перечить бабушке, сделать чего не по ее усмотрению. Она должна разрядиться и должна высказать все, что у нее на сердце накопилось, душу отвести и успокоить должна.

И срамила же меня бабушка! И обличала же! Только теперь, поняв до конца, в какую бездонную пропасть ввергло меня плутовство и на какую «кривую дорожку» оно меня еще уведет, коли я так рано взялся шаромыжничать, коли за лихим людом потянулся на разбой, я уж заревел, не просто раскаиваясь, а испугавшись, что пропал, что ни прощенья, ни возврата нету...

Даже дед не выдержал бабушкиных речей и моего полного раскаянья. Ушел. Ушел, скрылся, задымив сигаркой, дескать, мне тут ни помочь, ни совладать, Бог пособляй тебе, внучек...

Бабушка устала, выдохлась, а может, и почуяла, что уж того она, лишковато все ж меня громила.

Было покойно в избе, однако все еще тяжело. Не зная, что делать, как дальше жить, я разглаживал заплатку на штанах, вытягивал из нее нитки. А когда поднял голову, увидел перед собой...

Я зажмурился и снова открыл глаза. Еще раз зажмурился, еще раз открыл. По скобленому кухонному столу, будто по огромной земле, с пашнями, лугами и дорогами, на розовых копытцах, скакал белый конь с розовой гривой.

— Бери, бери, чё смотришь? Глядишь, зато еще когда омманешь баушку...

Сколько лет с тех пор прошло! Сколько событий минуло. Нет в живых дедушки, нет и бабушки, да и моя жизнь клонится к закату, а я все не могу забыть бабушкиного пряника — того дивного коня с розовой гривой.

Монах в новых штанах

Мне велено перебирать картошки. Бабушка определила норму, или упряг, как назвала она задание. Упряг этот отмечен двумя брюквами, лежащими по ту и по другую сторону продолговатого сусека, и до брюкв тех все равно что до другого берега Енисея. Когда я доберусь до брюкв, одному Богу известно. Может, меня и в живых к той поре не будет!

В подвале земляная, могильная тишина, по стенам плесень, на потолке сахаристый куржак. Так и хочется взять его на язык. Время от времени он ни с того ни с сего осыпается сверху, попадает за воротник, липнет к телу и тает. Тоже хорошего мало. В самой яме, где сусеки с овощами и кадки с капустой, огурцами и рыжиками, куржак висит на нитках паутины, и когда я гляжу вверх, мне кажется, что нахожусь я в сказочном царстве, в тридевятом государстве, а когда я гляжу вниз, сердце мое кровью обливается и берет меня большая-большая тоска.

Кругом здесь картошки. И перебирать их надо, картошки-то. Гнилую полагаются кидать в плетеный короб, крупную — в мешки, помельче — швырять в угол этого огромного, словно двор, сусека, в котором я сижу, может, целый месяц и помру скоро, и тогда узнают все, как здесь оставлять ребенка одного, да еще сироту к тому же.

Конечно, я уже не ребенок и работаю не зазря. Картошки, что покрупнее, отбираются для продажи в город. Бабушка посулилась на вырученные деньги купить мануфактуры и сшить мне новые штаны с карманом.

Я вижу себя явственно в этих штанах, нарядного, красивого. Рука моя в кармане, и я хожу по селу и не вынимаю руку, если что надо, положить — битую-бабку либо деньгу, — я кладу только в карман, из кармана уж никакая ценность не выпадет и не утерется.

Штанов с карманом, да еще новых, у меня никогда не бывало. Мне все перешивают старое. Мешок покрасят и перешьют, бабью юбку, вышедшую из носки, или еще чего-нибудь. Один раз полушалок употребили даже. Покрасили его и сшили, он полинял потом и сделалось видно клетки. Засмеяли меня всего левонтьевские ребята. Им что, дай позубоскалить!

Интересно знать мне, какие они будут, штаны, синие или черные? И карман у них будет какой — наружный или внутренний? Наружный, конечно. Станет бабушка нозиться с внутренним! Ей некогда все. Родню надо обойти. Указать всем. Генерал!

Вот умчалась куда-то опять, а я тут сиди, трудись! Сначала мне страшно было в этом глубоком и немом подвале. Все казалось, будто в сумрачных прелых углах кто-то спрятался, и я боялся пошевелиться и кашлянуть боялся. Потом осмелел, взял маленькую лампешку без стекла, оставленную бабушкой, и посветил в углах. Ничего там не было, кроме зеленовато-белой плесени, лоскутьями залепившей бревна, и земли, нарытой мышами, да брюкв, которые издали мне казались отрубленными человеческими головами. Я трахнул одной брюквой по отпотелому деревянному срубу с прожилками куржака в пазах, и сруб утробно откликнулся: «У-у-а-ах!»

— Ага! — сказал я. — То-то, брат! Не больно у меня!..

Еще я набрал с собой мелких свеколок, морковок и время от времени бросал ими в угол, в стенки и отпугивал всех, кто мог там быть из нечистой силы, из домовых и прочей шантрапы.

Слово «шантрапа» в нашем селе завозное, и чего оно обозначает — я не знаю. Но оно мне нравится. «Шантрапа! Шантрапа!» Все нехорошие слова, по убеждению бабушки, в наше село затащены Верехтиными, и не будь их у нас, даже и ругаться не умели бы.

Я уже съел три морковки, потер их о голяшку катанка и съел. Потом запустил под деревянные кружки руки, выскреб холодной, упругой капусты горсть и тоже съел. Потом огурец выловил и тоже съел. И грибов еще поел из низкой, как ушат, кадлушки. Сейчас у меня в брюхе урчит и ворочается. Это моркови, огурец, капуста и грибы ссорятся меж собой. Тесно им в одном брюхе, ем, горя не вем, хоть бы живот расслабило. Дыра во рту насквозь просверлена, негде и нечему болеть. Может, ноги судорогой сведет? Я выпрямил ногу, хрустит в ней, пощелкивает, но ничего не больно. Ведь когда не надо, так болят. Прикинуться, что ли? А штаны? Кто и за что купит мне штаны? Штаны с карманом, новые и уже без лямок, и даже с ремешком!

Руки мои начинают быстро-быстро разбрасывать картошку: крупную — в зевасто открытый мешок, мелкую — в угол, гнилую — в короб. Трах-бах! Тарабах!

— Крути, верти, навертывай! — подбадриваю я сам себя, и поскольку лишь поп да петух не жравши поют, а я налопался, потянуло меня на песню.

Судили девицу одну,
Она дитя была года-ами-и-и-и...

Орал я с подтрясом. Песня эта новая, нездешняя.

Ее, по всем видам, тоже Верехтины завезли в село. Я запомнил из нее только эти слова, и они мне очень по душе пришлись. Ну, а после того, как у нас появилась новая невестка — Нюра, удалая песельница, я наострил ухо, по-бабушкиному — наустаурил, и запомнил всю городскую песню. Дальше там в песне сказывается, за что судили девицу. Полюбила она человека. Мушшину, надеясь, что человек он путный, но он оказался изменшык. Ну, терпела, терпела девица изменшыство, взяла с окошка нож вострый «и белу грудь ему промзила».

Сколько можно терпеть, в самом-то деле?!

Бабушка, слушая меня, поднимала фартук к глазам:

— Страсти-то, страсти-то какие! Куды это мы, Витька, идем?

Я толковал бабушке, что песня есть песня и никуды мы не идем.

— Не-эт, парень, ко краю идем, вот что. Раз уж баба с ножиком на мужика, это уж все, это уж, парень, полный переворот, последний, стало быть, предел наступил. Остается только молиться о спасении. Вот у меня сам-то черта самого самовитее, и поругаемся когда, но чтоб с топором, с ножиком на мужа?.. Да Боже сохрани нас и помилуй. Не-эт, товаришшы дорогие, крушенье укладу, нарушение Богом указанного порядку.

У нас на селе судят не только девицу. А уж девицам-то достается будь здоров! Летом бабушка с другими старухами выйдет на завалинку, и вот они судят, вот они судят: и дядю Левонтия, и тетку Васеню, и Авдотьину девицу Агашку, которая принесла дорогой маме подарочек в подоле!

Только в толк я не возьму: отчего трясут старухи головами, плюются и сморкаются? Подарочек — что ли, плохо? Подарочек — это хорошо! Вот мне бабушка подарочек привезет. Штаны!

— Крути, верти, навертывай!

Судили девицу одну,

Она дитя была года-а-ами-и-и-и...

Картошка так и разлетается в разные стороны, так и подпрыгивает, все идет как надо, по бабушкиной опять же присказке: «Кто ест скоро, тот и работает споро!» Ух, споро! Одна гнилая в добрую картошку попала. Убрать ее! Нельзя надувать покупателя. С земляникой вон надул — чего хорошего получилось? Срам и стыд! Попадись вот гнилая картошка — он, покупатель, сбрындит. Не возьмет картошку, значит, ни денег, ни товару, и штанов, стало быть, не получишь. А без штанов кто я? Без штанов я

шантрапа. Без штанов пойдя, так все равно как левонтьевских ребят всяк норовит шлепнуть по голому задку — такое уж у него назначение, раз голо — не удержишься, шлепнешь.

Голос мой гремит под сводами подвала и никуда не улетает. Тесно ему в подвале. Пламя лампы качается, вот-вот погаснет, куржак от сотрясения так и сыплется. Но ничего я не боюсь, никакой шантрапы!

Шан-тра-па-а, шан-тра-апа-а-а-а...

Распахнув створку, я смотрю на ступеньки подвала. Их двадцать восемь штук. Я уж сосчитал давно. Бабушка выучила меня считать до ста, и считал я все, что поддавалось счету. Верхняя дверца в подвал чуть приоткрыта, чтоб мне не так боязно здесь было. Хороший все же человек — бабушка! Генерал, конечно, однако раз она такой уродилась — уж не переделаешь.

Над дверцей, к которой ведет белый от куржака тоннель, завешанный нитками бахромы, я замечаю сосульку. Махонькую сосульку, с мышиный хвостик, но на сердце у меня сразу что-то стронулось, шевельнулось мягким котенком.

Весна скоро. Будет тепло. Первый май будет! Все станут праздновать, гулять, песни петь. А мне исполнится восемь лет, меня станут гладить по голове, жалеть, угощать сладким. И штаны мне бабушка к Первомаю сошьет. Разобьется в лепешку, но сошьет — такой она человек!

Шантрапа-а-а, шантрапа-а-а!..

Сошьют штаны с карманом в Первый май!..

Попробуй тогда меня поймай!..

Батюшки, брюквы-то — вон они! Упряг-то я одолел! Раза два я, правда, передвигал брюквы поближе к себе и сократил таким образом расстояние, отмеренное бабушкой. Но где они прежде лежали, эти брюквы, я, конечно, не помню, и вспоминать не хочу. Да если на то пошло, я могу вовсе брюквы унести, выкинуть их вон и перебрать всю картошку, и свеклу, и морковку — все мне нипочем!

Судили девицу одну-у-у...

— Ну, как ты тут, чудечко на блюдечке?

Я аж вздрогнул и выронил картошки из рук. Бабушка пришла. Явилась, старая!

— Ничего-о-о! Будь здоров, работник. Могу всю овощь перешерстить — картошку, морковку, свеклу, — все могу!

— Ты уж, батюшко, тишей на поворотах! Эк тебя заносит!

— Пускай заносит!

— Да ты никак запьянел от гнилого-то духу?!

— Запьянел! — подтверждаю я. — В дрезину... Судили девицу одну-у...

— Матушки мои! А устряпался-то весь, как поросенок! — Бабушка выдавила в передник мой нос, потерла щеки. — Напасись вот на тебя мыла! — И подтолкнула в спину: — Иди обедать. Ешь с дедом щи капустные, будет шея бела, кудревата голова!..

— Еще только обед?

— Тебе небось показалось, неделю тут робил?

— Ага!

Я поскакал через ступеньку вверх. Поцелкивали во мне суставы, ноги хрустели, а навстречу мне плыл свежий студеный воздух, такой сладкий после гнилого, застойного подвального духа.

— Вот ведь мошенник! — слышится внизу, в подвале. — Вот ведь плут! И в кого только пошел? У нас в родове вроде таких нету... — Бабушка обнаружила передвинутые брюквы.

Я надал ходу и вынырнул из подвала на свежий воздух, на чистый, светлый день и как-то разом отчетливо заметил, что на дворе все наполнено предчувствием весны. Оно и в небе, которое сделалось просторней, выше, голубей в разводах, оно и на отпотевших досках крыши с того края, где солнце, оно и в чирикание воробьев, схватившихся врукопашную середь двора, и в той еще негустой дымке, что возникла над дальними перевалами и начала спускаться по склонам к селу, окутывая синей дремой леса, распадки, устья речек. Скоро, совсем скоро вспухнут горные речки зеленовато-желтой наледью, которая звонкими утренниками настывает рыхлой и сладкой на вид коркой, будто сахарная та корка, и куличи скоро печь начнут, краснотал по речкам побагровеет, заблестит, вербы шишечкой покроются, ребятишки будут ломать вербы к родительскому дню, иные упадут в речку, наплюхаются, потом лед разьест на речках, останется он лишь на Енисее, меж широких заберег, и, кинутый всеми зимник, печально роняя вытаивающие вехи, будет покорно ждать, когда его сломает на куски и унесет. Но еще до ледохода появятся подснежники на увалах, прыснет

травка по теплым косогорам и наступит Первый май. У нас часто бывают вместе и ледоход, и Первый май, а в Первый май...

Нет, уж лучше не травить душу и не думать о том, что будет в Первый май!

Материю, или мануфактуру, так называется швейный товар, бабушка купила, еще когда по санному пути ездила в город с торговлишкой. Материя была синего цвета, рубчиком, хорошо шуршала и потрескивала, если по ней провести пальцем. Она называлась треко. Сколько я потом на свете ни жил, сколько штанов ни износил, материи с таким названием мне не встречалось. Очевидно, было то трико. Но это лишь моя догадка, не более. Много в детстве было такого, что потом не встречалось больше и не повторялось, к сожалению.

Кусочек мануфактуры лежал в глубине сундука, на самом дне, лежал под как бы нечаянно наброшенным на него малоценным барахлом — под клубками из тряпочек, которые для тканья половиков заготавливаются, под вышедшими из носки платьями, лоскутками, чулками, коробочками со «шматьем». Доберется лихой человек до сундука, глянет в него, плюнет с досады и уйдет. Чего и ломился? Надеялся на поживу? Никаких ценностей в доме и в сундуке нету!

Вот какая хитрая бабушка! И кабы одна она такая хитрая. Все бабы себе на уме. Появится в доме какой подозрительный постоялец, либо «сам», то есть хозяин, допьется до того, что нательный крест пропить готов, тогда в тайном узелке, тайными лазами и ходами переправляется к соседям, ко всяким надежным людям — кусочек с войны хранившегося сукна; швейная машинка; серебро — две-три ложки и вилки, по наследству от кого-то доставшиеся, либо выменянные у ссыльных на хлеб и молоко; «золото» — нательный крестик с католической ниткой в три цвета, должно быть, с этапов, от поляков еще, какими-то путями в наше село угодивший; заколка дворянского, может, и «питинбургского» происхождения; крышка от пудреницы иль табакерки; тусклая медная пуговица, которую кто-то подсуропил вместо золотой, за золотую и сходящая; сапоги хромовые и ботинки, приобретенные на «рыбе», значит, ездил когда-то хозяин на северные путины, на дикую «деньгу», накупил добра, оно и хранится до праздников и до свадеб детей, до «выхода на люди», да вот наступила лихая минута — спасайся кто может, и спасай что можешь.

Сам добытчик с побелелыми от самогона глазами и одичалым лицом во мхе, бегают по двору с топором, норовя изрубить все в щепки, за

дробовик хватается — стало быть, не запомнят, баба, и патронташ унести, захоронить в надежное место охотничий припас...

В «надежные руки», частенько в бабушкины, волоклось «добро», и не только из дома дяди Левонтия находили здесь приют женщины. Топтались в отдалении, шептались по углам: «Дак смотри, кума, на горе нашем не наживись...» — «Да што ты, што ты? У меня перебивало... Место не пролежит...» — «Куда деваться, не к Болтухиным же, не к Вершкову нести?»

Весь вечер, когда и ночь, взад-вперед, взад-вперед шастают с чужого подворья парнишки. Пригорюнившаяся мать с подбитым глазом, рассеченной губой, прикрыв малых детей шалью, жмет их к своему телу в чужом доме, на чужих людях, вестей положительных ждет.

Парнишка явится из разведки — голова вниз: «Не уснул ишшо. Скамейки крушит. Осердился, што патронов нет, бердану об печку ломат...» — «И когда он подавится? Когда шары свои бесстыжие зальет? Зима на носу, дров ни полена, сено не вывезено, берданку порешит, в тайгу с чем белковать пойдет? Берданка что по зверю, что по птице. Семьдесят семь рублей за нее, и вот... Сколько мне мама говорила, не лезь в юшковскую, меченную каторгой, родову, не лезь, намаешься. Дак рази мы родительское слово слушаем? Брови у его соколиные, чуб огневой, голос — за рекой слышать. Вот и запели, завеселились... — И вдруг с ходу, круто на „разведчика“: — В папашу, весь в папашу своего золотого растешь! Чуть что — „тятюку не тронь!“. Вот и не тронь! Вот по чужим углам и шляемся, добрым людям спать не даем. О-хо-хо-хо-нюш-ки, да детоньки вы мои несчастные, да при отце-то вы без отца растете. Тонул он пять раз — не утонул, горел он в лесном пожаре — не сгорел, блудил в тайге — не заблудился... Ни черти, ни лесной, ни вода, ни земля не принимают его. Покинул бы, дак лучше бы нам без него, злодея, было... Сиротами бы росли да зато на спокойное, голодно, да не холодно...»

Из девчонок кто-нибудь матери подвоет, глядишь, и все ребятишки в голос.

«Да будет вам, будет. Уйметса же когда-то, не железный жа, не каменной...» — успокаивает горемычных постояльцев бабушка.

«Разведчик» опять шапку в охапку и в поиск. Раз по пяти, по десяти за ночь-то сбегает, пока явится с радостной вестью: «Все! Свалился посередь избы...»

И обычная, привычная молитва: «Слава Тебе, Господи! Слава Те... Прости нас, бабушка Катерина, надоедам...» — «Да чё там? Каки шшоты? Ступайте с Богом. А я ему, супостату, завтра баню с предбанником устрою.

Напарю, ох, напарю, до новых веников поминать будет!..»

И напарит! Будет стоять перед нею дрожащий, заросший волосом мужичонка и ловить штаны, спадающие с запашного, к спине за время пьянки приросшего брюха.

— Дак чего делать-то, бабушка Катерина? Она домой не пускает, сдохни, говорит, пропади, пьяница! Ты поговори с ей...

— Об чем?

— Ну, об этом. Прошшение, мол, просит, больше, значит, не повторится.

— Чего не повторится-то? Ты говори, говори. Ишь, и слов у него нету. Вчера вон какой речистый да храбрый был! На бабу свою, жану богоданную, с топором да и ружьишком. Воин! Мятежник!..

— Ну, дурак, дак чё? Пьяный дурак.

— И спросу с пьяного нету?

— Да какой спрос?

— А об стенку головой-то чего не бился? Пошто из ружьишка не в себя, в бабу целил? Пошто? Говори!

— О-о-ой, бабушка Катерина! Да штоб я такую безобразию допустил ишшо раз! Да исказни ты меня, исказни гада такова!..

Бабушка «ходит в сундук» — торжество души и праздник. Вон зачем-то открыла, шепчется сама с собой, оглянувшись на стороны, дверь поплотнее прикрыв, выкладывает добро наверх, мануфактуру мою, на штаны предназначенную, совсем отдельно от всякого добра отложила, кусочек старого, такого старого ситчика, что бабушка на свет его смотрит, зубом пробует, ну и по мелочи кое-чего, шкатулка, баночки из-под чая чем-то звенящие, праздничные вилки и ложки, в тряпицы завязанные, церковные книжки и кое-что из церковного припрятанное — бабушка верит, что церковь не насовсем закрыта и в ней служить еще будут.

С припасом бабушкина семья живет. Все, как у добрых людей. И на черный день кой-чего прибережено, можно спокойно смотреть в будущее, и помрет, так есть во что обрядить и чем помянуть.

Во дворе звякнула щеколда. Бабушка насторожилась. По шагам угадала — чужой человек, и раз-раз все добро рассовала, барахлишком и разной непотребностью прикрыла его, подумала повернуть ключ, да не стала. И на себя бабушка напустила вид убогий, почти скорбящий — припадая на обе ноги, охая, побрела навстречу гостю иль какому другому, ветром занесенному человеку. И ничего не оставалось тому человеку, как думать: живут здесь разбедным-то бедные, больные и убогие люди, коим и остается одно только спасение — по миру идти.

Всякий раз, когда бабушка открывала сундук и раздавался музыкальный звон, я был тут как тут. Я стоял у ободверины на пороге горницы и глядел в сундук. Бабушка отыскивала нужную ей вещь в огромном, точно баржа, сундуке и совершенно меня не замечала. Я шевелился, барабанил пальцами по косяку — она не замечала. Я кашлял, сначала один раз — она не замечала. Я кашлял много раз, будто вся грудь моя насквозь простудилась, — она все равно не замечала. Тогда я подвигался ближе к сундуку и принимался вертеть огромный железный ключ. Бабушка молча шлепала по моей руке — и все равно меня не замечала... Тогда я начинал поглаживать пальцами синюю мануфактуру — треко. Тут бабушка не выдерживала и, глядя на важных, красивых генералов с бородами и усами, которыми изнутри была оклеена крышка сундука, спрашивала у них:

— Што мне с этим дитем делать? — Генералы не отвечали. Я гладил мануфактуру. Бабушка откидывала мою руку под тем предлогом, что она может оказаться немойтой и запачкает треко. — Оно же видит, это дите, — кручусь я как белка в колесе! Оно же знат — сошью я к именинам штаны, будь они кляты! Так нет оно, пятнай его, так и лезет, так и лезет!.. — Бабушка хватала меня за ухо и отводила от сундука. Я утыкался лбом в стенку, и такой, должно быть, у меня был несчастный вид, что через какое-то время раздавался звон замка потоньше, помузыкальней, и все во мне замирало от блаженных предчувствий. Ма-ахоньким ключиком бабушка открывала китайскую шкатулку, сделанную из жести, вроде домика без окон. На домике нарисованы всякие нездешние деревья, птицы и румяные китайки в новых голубых штанах, только не из трека, а из другой какой-то материи, которая мне тоже нравилась, но гораздо меньше, чем моя мануфактура.

Я ждал. И не зря. Дело в том, что в китайской шкатулке хранятся наиценнейшие бабушкины ценности, в том числе и леденцы, которые в магазине назывались монпансье, а у нас попроще — лампасье или лампасейки. Нет ничего в мире слаще и красивее лампасеек! Их у нас на куличи прилепляли, и на сладкие пироги, и просто так сосали эти сладчайшие лампасейки, у кого они, конечно, велись.

У бабушки все есть! И все надежно укрыто. Шиша два найдешь! Снова раздавалась тонкая нежная музыка. Шкатулка закрыта. Может, бабушка раздумала? Я начинал громче шмыгать носом и думал, не подпустить ли голосу. Но тут раздавалось:

— На уж, окаянная твоя душа! — И в руку мне, давно уже ожидаательно опущенную, бабушка совала шершавенькие лампасейки. Рот

мой переполнен томительной слюной, но я проглатывал ее и отталкивал бабушкину руку.

— Не-е-е...

— А чего же тебе? Ремня?

— Штаны-ы-ы...

Бабушка сокрушенно хлопала себя по бедрам и обращалась уже не к генералам, а к моей спине:

— Эт-то што жа он, кровопивец, слов не понимает? Я ему русским языком толкую — сошью! А он нате-ка! Уросит! А? Возьмешь конфетки или запрю?

— Сама ешь!

— Сама? — Бабушка на время теряет дар речи, не находит слов. — Сама? Я т-те дам, сама! Я т-те покажу — сама!

Поворотный момент. Сейчас надо давать голос, иначе попадет, и я вел снизу вверх:

— Э-э-э-э...

— Поори у меня, поори! — взрывалась бабушка, но я перекрывал ее своим рёвом, и она постепенно сдавалась, принималась меня умашивать. — Сошью, скоро сошью! Уж, батюшко, не плачь уж. На вот конфетки-то, помусли. Сла-а-аденькие лампасечки. Скоро уж, скоро в новых штанах станешь ходить, нарядный, да красивый, да пригожий...

Поговаривая елейно, по-церковному, бабушка окончательно сламывала мое сопротивление, всовывала мне в ладонь лампасейки, штук пять — уж не обсчитается! Вытирала передником мне нос, щеки и выпроваживала из горницы, утешенного и довольного.

Надежды мои не сбылись. Ко дню рождения, к Первому мая штаны сшиты не были. В самую ростепель бабушка слегла. Она всегда всякую мелкую боль вынашивала на ногах и если уж свалилась, то надолго.

Ее переселили в горницу, на чистую, мягкую постель, убрали половики с полу, занавесили окно, засветили лампадку у иконостаса, и в горнице сделалось как в чужом доме — полутемно, прохладно, пахло там елейным маслом, больницей, люди ходили по избе на цыпочках и разговаривали шепотом. В эти дни бабушкиной болезни я обнаружил, как много родни у бабушки и как много людей, и не родных, тоже приходят пожалеть ее и посочувствовать ей. И только теперь, хотя и смутно, я почувствовал, что бабушка моя, казавшаяся мне всегда обыкновенной бабушкой, — очень уважаемый на селе человек, а я вот не слушался ее,

ссорился с нею, и запоздалое чувство раскаяния разбирало меня.

Бабушка громко, хрипло дышала, полусидя в подушках, и все спрашивала:

— Покор... покормили ли ребенка-то?.. Там простокиша... калачи... в кладовке все... в ларе.

Старухи, дочери, племянницы и разный другой народ, хозяйничающий в доме, успокаивали ее, накормлен, мол, напоен твой ненаглядный ребенок, беспокоиться ни о чем не надо и, как доказательство, подводили меня самого к кровати, показывали бабушке. Она с трудом отделяла руку от постели, дотрагивалась до моей головы и жалостливо говорила:

— Помрет вот бабушка, чё делать-то станешь? С кем жить-то? С кем грешить-то? О Господи, Господи! — Она косила глаза на лампадку: — Дай силы ради сиротинки горемышной. Гуска! — звала она тетку Августу. — Корову доить будешь, дак вымя-то теплой водой... Она... балованная у меня... А то ведь вам не скажи...

И снова бабушку успокаивали, требовали, чтобы она поменьше говорила и не волновалась бы, но она все равно все время говорила, беспокоилась, волновалась, потому что иначе жить не умела.

Когда наступил праздник, бабушка взялась переживать из-за моих штанов. Я уж сам ее утешал, разговаривал с ней про болезнь, про штаны старался и не поминать. Бабушка к этой поре маленько оправилась, и разговаривать с нею можно было сколько угодно.

— Чё же за болезнь такая у тебя, бабушка? — как будто в первый раз любопытствовал я, сидя рядом с нею на постели. Худая, костистая, с тряпочками в посекавшихся косицах, со старым гасником, свесившимся под белую рубаху, бабушка неторопливо, в расчете на длинный разговор, начинала повествовать о себе:

— Надсаженная я, батюшко, изработанная. Вся надсаженная. С малых лет в работе, в труде все. У тяти и у мамы я семая была да своих десятину подняла... Это легко только сказать. А вырастить?!

Но о жалостном она говорила лишь сначала, как бы для запева, потом рассказывала о разных случаях из своей большой жизни. Выходило по ее рассказам так, что радостей в ее жизни было куда больше, чем невзгод. Она не забывала о них и умела замечать их в простой своей и нелегкой жизни. Дети родились — радость. Болели дети, но она их травками да кореньями спасала, и ни один не помер — тоже радость. Обновка себе или детям — радость. Урожай на хлеб хороший — радость. Рыбалка была добычливой — радость. Руку однажды выставила себе на пашне, сама же и вправила, страда как раз была, хлеб убирали, одной рукой жала и косоручкой не

сделалась — это ли не радость?

Я глядел на мою бабушку, дивился тому, что у нее тоже были тятя и мама, глядел на ее большие, рабочие руки в жилках, на морщинистое, с отголоском прежнего румянца лицо, на глаза ее зеленоватые, темнеющие со дна, на эти косицы ее, торчащие, будто у девчонки, в разные стороны, — и такая волна любви к родному и до стоноты близкому человеку накатывала на меня, что я тыкался лицом в ее рыхлую грудь и зарывался носом в теплую, бабушкой пахнущую рубашку. В этом порыве моем была благодарность ей за то, что она живая осталась, что мы оба есть на свете и все-все вокруг нас живое и доброе.

— Видишь вот, и не сшила я тебе штаны к празднику, — гладила меня по голове и каялась бабушка. — Обнадежила и не сшила...

— Сошьешь еще, куда спешить-то?

— Да уж дай только Бог подняться...

И она сдержала свое слово. Только начала ходить, сразу же кроить мне штаны взялась. Была она еще слаба, ходила от кровати до стола, держась за стенку, измеряла меня лентой с цифрами, сидя на табуретке. Ее пошатывало, и она прикладывала руку к голове:

— О Господи прости, что это со мною? Чисто с угару!

Но все-таки мерила хорошо, чертила по материи мелом, прикидывала на меня раскроенный кусочек трека, раза два поддала уж, чтоб я не вертелся лишку, отчего мне сделалось веселей, — ведь это же первый признак возвращения бабушки к прежней жизни, полного ее выздоровления.

Кроила штаны бабушка почти целый день, шить их принялась назавтра. Надо ли говорить, как я плохо спал ночь и поднялся до свету. Кряхтя и ругаясь, бабушка тоже поднялась, стала хлопотать на кухне. Она то и дело останавливалась, словно бы вслушивалась в себя, но с этого дня больше в горнице не ложилась, перешла на свою походную постель, поближе к кухне и к русской печи.

Днем мы с бабушкой вдвоем подняли с полу швейную машинку и водворили ее на стол. Машинка была старая, со сработанными на корпусе цветками. Проступали от цветков отдельные лишь завитушки, напоминая гремучих огненных змеев. Бабушка называла машинку «Зигнер», уверяла, что ей цены нету, и всякий раз подробно, с удовольствием рассказывала любопытным, что еще ее мать, царство ей небесное, сходно выменяла эту машинку у ссыльных на городской пристани за годовалую нетель, три мешка муки и кринку топленого масла. Кринку ту, совсем почти целую, ссыльные так и не вернули. Ну да какой с них спрос — ссыльные и есть

ссылные — варначье да чернолапотники, а то еще и чернокнижники какие-то перед переверотом валом валили.

Стрекочет машинка «Зигнер». Крутит ручку бабушка. Осторожно крутит, будто с духом собирается, обмысливает дальнейшие действия, вдруг разгонит колесо и отпустит, аж ручки не видно делается — так крутится. Кажется мне, сейчас машинка все штаны мигом сошьет. Но бабушка руку на блестящее колесо приложит, остепенит машинку, укротит ее стрекот, когда машинка остановится, на грудь прикинет материю, внимательно посмотрит — так ли пробирает игла материю, не кривой ли шов получился.

Бабушка и разговаривала со мной про хорошее, про штаны:

— Комиссару без штанов никак нельзя, — перекусывая нитку и глядя в шитье на свет, рассуждала она. — Маленький комкссар да с пуговкой и лямка через плечо. Наган подвесить — и форменный ты комиссар Вершков будешь, а может, и сам Шшэтинкин!..

В тот день я не отходил от бабушки, потому что надо было примерять штаны. С каждым заходом штаны обретали все большие основы и глянулись мне так, что я уж ни говорить, ни смеяться от восторга не мог. На вопросы бабушки: не давит ли тут, не жмет ли вот здесь, мотал головой и задушенно издавал:

— Н-не-е-е!

— Ты только не ври, потом поздно будет поправлять.

— Правда-правда, — подтверждал я поскорее, чтоб только бабушка пороть штаны не принялась, не отложила бы работу.

Особенно сосредоточена и пристальна была бабушка, когда дело дошло до прорехи — все ее смущал какой-то клин. Если его, этот клин, неправильно поставить — штаны до срока сопреют, и «петушок» на улицу выглядывать станет. Я не хотел, чтобы так получилось, и терпеливо переносил примерку за примеркой. Бабушка очень внимательно ощупывала в районе «петушка», и мне было так щекотно, что я с визгом взлягивал. Бабушка поддавала мне по зашивку.

Так без обеда мы с нею проработали до самых сумерек — это я упрямил бабушку не прерываться из-за такого пустяка, как еда. Когда солнце ушло за реку и коснулось верхних хребтов, бабушка заторопилась — вот-вот коров пригонят, а она все копается, и вмиг закончила работу. Она приладила в виде лопушка карман на штаны, и хотя мне был бы желательней карман внутренний, я возражать не решился. Вот и последние штрихи навела бабушка машинкою, выдернула нитку, свернула штаны, огладила на животе рукою.

— Ну, слава Богу. Пуговицы уж после отпорю от чего-нибудь да пришью.

В это время на улице забренчали ботала, требовательно и сыто заблажили коровы. Бабушка бросила штаны на машинку, сорвалась с места и помчалась, на ходу наказывая, чтоб я не вздумал крутить машинку, ничего бы не трогал, не вредил.

Я был терпелив. Да и сил во мне никаких к той поре не осталось. Уже лампы засветились по всему селу и люди отужинали, а я все сидел возле машинки «Зигнер», с которой свисали мои синие штаны. Сидел без обеда, без ужина и хотел спать.

Как бабушка перетащила меня в постель, обессиленного и сморенного, не помню, но я никогда не забуду того счастливого утра, в которое проснулся с ощущением праздничной радости. На спинке кровати, аккуратно сложенные, висели новые синие штаны, на них стираная беленькая рубашка в полоску, рядом с кроватью распространяли запах горелой березы починенные сапожником Жеребцовым сапоги, намазанные дегтем, с желтыми, совершенно новыми союзками.

Сразу же откуда-то взялась бабушка, начала одевать меня, как маленького. Я безвольно подчинялся ей, и смеялся безудержно, и о чем-то говорил, и чего-то спрашивал, и перебивал сам себя.

— Ну вот, — сказала бабушка, когда я предстал перед нею во всей красе, во всем параде. Голос ее дрогнул, губы повело на сторону, и она уж за платок взялась: — Видела бы мать-то твоя, покойница...

Я хмуро потупился.

Бабушка прекратила причитания, прижала меня к себе и перекрестила.

— Ешь и ступай к дедушке на заимку.

— Один, баба?

— Конечно, один. Ты уж вон у меня какой большой! Мужик!

— Ой, бабонька! — От полноты чувств я обнял ее за шею и пободал голову.

— Ладно уж, ладно, — легонько отстранила меня бабушка. — Ишь, Лиса Патрикеевна, всегда бы такой был ласковый да хороший...

Разряженный в пух и прах, с узелком, в котором были свежие постряпушки для деда, я вышел со двора, когда солнце стояло уже высоко и все село жило своей обыденной, неходкой жизнью. Перво-наперво я завернул к соседям и поверг своим видом левонтьевское семейство в такое смятение, что в содомной избе вдруг наступила небывалая тишина, и он

сделался, этот дом, сам на себя непохож. Тетка Васеня всплеснула руками, уронила клюку. Клюка эта попала по голове кому-то из малых. Он запел здоровым басом. Тетка Васеня подхватила пострадавшего на руки, затутьшкала, а сама не сводила с меня глаз.

Танька рядом со мной оказалась, все ребята окружили меня, щупали материю, восхищались. Танька залезла в мой карман, обнаружила там чистый платок и сраженно притихла. Только глаза ее выражали все чувства, и по ним я мог угадать, какой я сейчас красивый, как она мною любит и на какую недостижимую высоту вознесся я.

Затискали меня, затормошили, и я вынужден был вырваться и следить, чтоб не выпачкали, не смяли бы чего и не съели бы под шумок шаньги — гостинец дедушке. Тут ведь только зевни.

Одним словом, я заторопился прощаться, сославшись на то, что спешу, и спросил, не надо ли чего передать Саньке. Санька левонтьевский на нашей заимке — помогал дедушке в пашенных делах. На лето левонтьевских ребят рассовывали по людям, и они там кормились, росли и работали. Дедушка уже по два лета брал с собою Саньку. Бабушка моя, Катерина Петровна, предсказывала, что каторжанец этот сведет старого с ума, пути из него не будет, произойдет полное крушение в работе, потом удивлялась, как это дед с Санькой ужились и довольны друг другом.

Тетка Васеня сказала, что передавать Саньке нечего, кроме наказа, чтобы слушался дедушку Илью и не утонул бы в Мане, если вздумает купаться.

К огорчению моему, в этот полуденный час народ на улице был редок, деревенский люд еще не окончил весеннюю страду. Мужики все уехали на Ману — промышлять маралов — панты у них сейчас в ценной поре, а уже надвигался сенокос, и все были заняты делом. Но все же кое-где играли ребятишки, шли в потребилровку женщины и, конечно же, обращали внимание на меня, иной раз довольно пристальное. Вот встречу семенит тетка Авдотья, бабушкина свояченица. Я иду, насвистываю. Мимо иду, не замечаю тетку Авдотью. Она свернула на сторону, и я увидел ее изумление, увидел, как она развела руками, услышал слова, которые лучше всякой музыки.

— Тошно мне! Да это уж не Витька ли Катеринин?

«Конечно, я! Конечно, я!» — хотелось надоумить мне тетку Авдотью, но я сдержал порыв и только замедлил шаги. Тетка Авдотья ударила себя по юбке, в три прыжка настигла меня, принялась ощупывать, оглаживать и говорить всякие хорошие слова. В домах распахивались окна, выглядывали бабы и старухи, все меня хвалили, все говорили про бабушку и про наших

хвалебное, вот, мол, без матери парень растет, а водит его бабушка так, что дай Бог иным родителям водить своих детей, и чтоб бабушку я почитал, слушался и, коли вырасту, так не забывал бы ее добра.

Большое наше село, длинное. Утомился я, умаялся, пока прошел его из конца в конец и принял на себя всю дань восхищения мною и моим нарядом и еще тем, что один я, сам иду на заимку к деду. Весь уже в поту был я, когда вышел за околицу.

Сбежал к реке, попил из ладошек студеной енисейской водицы. От радости, бурлившей во мне, бросил камень в воду, потом другой, увлекся было этим занятием, да вовремя вспомнил, куда я иду, зачем и в каком виде! Да и путь неблизок — пять верст! Пошагал я, даже сначала побежал, но смотреть же под ноги надо, чтобы не сбить о корни желтые союзки. Перешел на размеренный шаг, несуетливый, крестьянский, каким всегда ходил дедушка.

От займища начинался большой лес. Доцветающие боярки, подсоченные сосенки, березы, доля которым выпала расти по соседству с селом и потому обломанные за зиму на голики, остались позади. Ровный осинник с полным уже, чуть буроватым листом густо взнимался по кособогу. Ввысь вилась дорога с вымытым камешником. Серые большие плиты, исцарапанные подковами, были выворочены внешними потоками. Слева от дороги темнел распадок, в нем плотно стоял ельник, в гуще его глухо шумел засыпающий до осени поток. В ельнике пересвистывались рябчики, понапрасну сзывая самок. Те уже сели на яйца и не отзывались кавалерам-петушкам. Только что на дороге завозился, захлопал и с трудом взлетел старый глухарь. Он линять начал, но вот выполз на дорогу — камешков поклевать, теплой пылью выбить из себя вошей и блошек. Бая ему тут! Сидел бы смиренно в чаще, на свету сожрет его, старого дурака, рысь, да и лиса не подавится.

У меня сбилось дыхание — громко бухал крыльями глухарь. Но страху большого нет, потому как солнечно кругом, светло, и все в лесу занято своим делом. Да и дорогу эту я хорошо знал — много раз ездил по ней верхом и на телеге с дедушкой, с бабушкой, с Кольчей-младшим и с разными другими людьми.

И все же видел и слышал я будто заново, должно быть, оттого, что первый раз путешествовал один на заимку через горы и тайгу. Дальше в гору лес был реже, могучней, лиственницы возвышались над всей тайгой и вроде бы задевали облака. Вспомнилось, как на этом длинном и медленном подъеме Кольча-младший запевал всегда одну и ту же песню, конь замедлял шаги, осторожно ставил копыта, чтоб не мешать человеку петь. И сам наш

конь — Ястреб — на исходе горы, вверху встречал в песню, пускал по горам и перевалам свое «и-го-го-о-о-о», но тут же сконфуженно делал хвостом отмашку, дескать, знаю, что не очень у меня с песнями, однако выдержать не мог, очень уж все тут славно и седоки вы приятные — не хлещете меня, песни поете.

Затянул и я песню Кольчи-младшего про природного пахаря, по распадку мячиком катился, подпрыгивал на каменьях и осыпях мой голос, смешно повторяя: «Ха-халь!» Так, с песнею, я одолел гору. Сделалось светлее. Солнце все прибавлялось и прибавлялось. Лес редел, и камней на дороге попадалось больше, крупнее они были, и потому вся дорога извивалась в объезд булыжин. Трава в лесу сделалась реже, но цветов было больше, и когда я вышел на окраину леса, вся опушка палом горела, захлестнутая жарками.

Наверху, по горам, начались наши деревенские поля. Сначала они были рыжегато-черны, лишь кое-где мышасто серели на них всходы картошек да поблескивал на солнце выпаханный камешник. Но дальше все было залито разноцветной волнистой зеленью густеющих хлебов, и только межи, оставленные людьми, не умеющими ломтить землю, отделяли поля друг от друга, и, как берега рек, не давали им слиться вместе, сделаться морем.

Дорога здесь покрыта травой — гусиной лапкой, совсем неугнетенно цветущей, хотя по ней ездили и ходили. Подорожник набирался сил, чтобы засветить свою серенькую свечку, всякая былка тут зеленела, тянулась, плелась по бороздам от колес, по копытным ямкам, не задыхаясь дорожной пылью. Обочь дороги, в чищенках, куда сваливали камни с полей, колодник и срубленный кустарник, все росло как попало, крупно, буйно. Купыри и морковники силились пойти в дудку, жарки тут, на солнцепеке, уже сорили по ветру отгаром лепестков, сморенно повисли водосборы-колокольчики в предчувствии летней, губельной для них жары. На смену этим цветкам из чащобника взнялись саранки, и красоднев стоял уже в продолговатых бутончиках, подернутых шерсткой, будто инеем, ждал своего часа, чтобы развесить по окраинам полей желтые граммофоны.

Вот и Королев лог. В нем стояла грязная лужа. Я вознамерился промчаться по ней так, чтобы брызнуло во все стороны, но тут же опамятовался, снял сапоги, засучил штаны и осторожно перебрел ленивую, усмиренную осокой колдобину, истолченную копытами скота, разрисованную лапками птиц, лапками зверушек.

Из лога вылетел я на рысях и пока обувался, все смотрел на поле, открывшееся передо мной, и силился вспомнить, где я еще его видел?

Поле, ровно уходящее к горизонту, а середь поля одинокие большие деревья. Прямо в поле, в хлеба, уныривает дорога, быстро иссякая в нем, а над дорогой летит себе, чиликает ласточка...

А-а, вспомнил! Я видел такое же поле, только с желтыми хлебами, на картине в доме школьного учителя, к которому водила меня бабушка записывать на зиму учиться. Я пялился на ту картину, прямо впился в нее глазами, и учитель спросил: «Нравится?». Я потряс головой, и учитель сказал, что нарисовал ее знаменитый русский художник Шишкин, и я подумал, что он, поди-ка, много кедровых шишек съел. А говорить не мог от чудосотворения — пашня, земля, на нашу похожа, вот она, в рамке, но как живая!

Я остановился под самой толстой лиственницей, задрал голову. Мне показалось, что дерево, на котором где густо, где реденько бусила зеленоватая хвоя, плыло по небу, и сокол, приладившийся к вершине дерева, меж черных, словно обгорелых, прошлогодних шишек, дремал, убаюканный этим медленным и покойным плаванием. На дереве было ястребиное гнездо, свитое в развилке меж толстым суком и стволом. Санька как-то полез разорять гнездо, долез до него, собрался уже широкозевых ястребят выкинуть, но тут ястребиха как закричала, как начала хлопать крыльями, долбить злодея клювом, рвать когтями — не удержался Санька, отпустился. Был бы разорителю карачун, да наделся он рубахой на сук и ладно, швы у холщовой рубахи крепкие оказались. Сняли мужики Саньку с дерева, наподдавали, конечно. У Саньки с тех пор красные глаза, говорят, кровь налилась.

Дерево — это целый мир! В стволе его дырки, продолбленные дятлами, в каждой дырке кто-нибудь живет, трекает: то жук какой, то птичка, то ящерка, а выше — и летучие мыши. В травке, в сплетении корней позапрятаны гнезда. Мышиные, сусликовые норки уходят под дерево. Муравейник привален к стволу. Есть тут шипица колючая, заморенная елочка, круглая зеленая полянка возле лиственницы есть. Видно по обнаженным, соскобленным корням, как полянку хотели свести, запластать, но корни дерева сопротивлялись плугу, не отдали полянку на растерзание. Сама лиственница внутри полая. Кто-то давным-давно развел под небо огонь, и ствол выгорел. Не будь дерево такое большое, оно давно б уже умерло, а это еще жило, трудно, с маетою, но жило, добывая опухшими корнями пропитание из земли и при этом еще давало приют муравьям, мышкам, птицам, жукам, метлякам и всякой другой живности.

Я залез в угольное нутро лиственницы, сел на твердый, как камень, гриб-губу, выперший из прелого ствола. В дереве трубно гудит,

поскрипывает. Чудится — жалуется оно мне деревянным, нескончаемо длинным плачем, идущим по корням из земли. Я полез из черного дупла и притронулся к стволу дерева, покрытого кремнистой корой, наплывами серы, шрамами и надрубками, зажившими и незаживающими, теми, которые залечить у поврежденного дерева нет уже сил и соков.

«Ой, сажа! Ну и растяпа!» Но гарь выветрилась, и дупло не марается, чуть только на локте одном да на штанине припачкано черным. Я поплевал на ладошку, стер пятно со штанов и медленно побрел к дороге.

Долго еще звучал во мне деревянный стон, слышный только в дупле лиственницы. Теперь я знаю, дерево тоже умеет стонать и плакать нутряным, безутешным голосом.

От горелой лиственницы до спуска к устью Маны совсем недалеко. Я надал шаг, и вот уже дорога пошла под уклон между двумя горами. Но я свернул с дороги и осторожно начал пробираться к обрывистому срезу горы, спускавшейся каменистым углом в Енисей и ребристым склоном к Мане. С этого отвесного склона видны наши пашни, заимка наша. Я давно собирался посмотреть на все это с высоты, но не получалось, потому что ездил с другими людьми, и они то спешили на работу, то домой с работы. На гриве Манской горы сосняк был низкорослый, с закрученными ветром лапами. Будто руки старых людей, были эти лапы в шишках и хрупких суставах. Боярка здесь росла люто острая. И все кустарники были сухи, ершисты и зацеписты. Но здесь же случались ровные березнички, чистые осинники, тонкие, наперегонки идущие в рост после пожара, о котором напоминали еще черные валежины и выворотни. Пенья и валежины обметало всходами сладкой, в налив идущей клубники; костяника белела и наливалась соком, под соснами хрустел мелколистный, крепкий брусничник, а по склону пластал ромашечник — любимое его тут место — сиреневый, желтый, почти фиолетовый, местами — белый, целым венником, будто выплеснутая в осыпи кринка сметаны. Бабушка не обходит этот разлив ромашки, всегда нарывая «мигунка» на лекарство. Я пластал цветы под самый корень, набрал их столько, что едва в беремя поместились, и вот иду, а запах вокруг меня, словно в аптеке или в кладовке, где сушит бабушка травы, густо пылит и пахнет ромашка. особенно желтая, того и гляди, расчихаешься, как от лютого дедова самосада.

Над обрывом, где уже не было деревьев, только шипица, таволга, акация, колючки и выводки горной репы пятнали камня. Я остановился и стоял до тех пор, пока не устали ноги, потом сел, забыв о том, что здесь водятся змеи — змей я боялся больше всего на свете. Какое-то время я и не дышал вовсе, только смотрел и смотрел, сердце мое билось в груди гулко и

часто.

Впервые видел я сверху слияние двух больших рек — Маны и Енисея. Они долго-долго спешили навстречу друг дружке, а встретившись, текут по отдельности, делают вид, что и не интересуются одна другой. Мана побыстрее Енисея и посветлее, хотя и Енисей светел тоже. Белесым швом, словно волнорезом, все шире растекающимся, определена граница двух вод. Енисей поплескивает, подталкивает Ману в бок, заигрывает и незаметно прижимает ее в угол Манского быка, так наши деревенские парни прижимают девок к забору, когда балуются. Мана вскипает, на скалу выплескивается, ревет, но поздно — бык отвесен и высок, Енисей напорист — у него не забалуешься.

Еще одна река покорена. Сыто заурчав под быком, Енисей бежит к морю-океану, бунтующий, неукротимый, все на пути сметающий. И что ему Мана! Он еще и не такие реки подхватит и умчит с собою в студеные, полуночные края, куда и меня занесет потом судьбина, и доведется потом мне посмотреть родную реку совсем иную, разлиvisto-пойменную, утомленную долгой дорожкой. А пока я смотрю и смотрю па реки, на горы, на леса. Стрелка на стыке Маны с Енисеем скалиста, обрывиста. Коренная вода еще не спала. Бечевка осыпистого бережка еще затоплена. Скалы на той стороне в воде стоят, где начинается скала, где ее отражение — отсюда не разберешь. Под скалами полосы. Теревит, скручивает воду рыльями камней-опрядышей.

Но зато сколько простора наверху, над Маной-рекой! На стрелке каменное темечко, дальше вразброс кучатся останцы, еще дальше — порядок начинается: упалисто, волнами уходят горы ввысь от бестолочи ущелий, шумных речек, ключей. Там, вверху — остановившиеся волны тайги, чуть просветленные на гривах, затаенно-густые во впадинах. На самом горбистом всплеске тайги заблудившимся парусом сверкает белый утес. Загадочно, недостижимо синеют далекие перевалы, о которых и думать-то жутко. Меж них петляет, ревет и гремит на порогах Мана-река — кормилица-поилица: пашни наши здесь, промысел надежный тоже на этой реке. Много на Мане зверя, дичи, рыбы. Много порогов, росох, гор, речек с завлекательными названиями: Каракуш, Нагалка, Бежать, Миля, Кандынка, Тыхты. Негнет. И как разумно поступила дикая река: перед устьем взяла да круто свалилась влево, к скалистой стрелке, и оставила пологий угол наносной земли. Здесь пашни, избышки, заимки на берегу Маны, поля здесь. Они упираются в горы самыми дальними околками, межами и чищенками. Внизу подо мной Манская речка, ровно бы очертила границу дозволенного и гору не пускает через себя. Дальше от заимок,

туда, к изгибу Маны, за которым белеет утес, уже холмисто, там лес, тайга, на приволье растет много больших берез. Люди теснят этот лес, вырубая леторосные всходы, оставляют только те деревья, с которыми не могут совладать. Каждый год то на один, то на другой бугор выкидывают селяне наши зеленый плат крестьянской пашни, потеснили тайгу до Соломенного плеса.

Упорные люди работали на этой земле!

Я отыскал взглядом нашу заимку. Найти ее нетрудно. Она — дальняя. Каждая заимка — повторение того двора, того дома, который содержит хозяин в селе. Так же срублен дом, так же загорожен двор, тот же навес, те же сени, даже наличники на доме такие же, но все: и дом, и двор, и окна, и печь внутри — меньших размеров. И еще нет во дворе зимних стоек, амбаров и бань, а есть один широкий летний загон, крытый хворостом, по хворосту соломой.

За нашей заимкой змеится тропинка по каменному бычку, всегда мокрому от плесени. Из бычка в щель выбуривает ключ, над ключом растут кривая лиственница без вершины и две ольхи. Корни деревьев прищемило бычком, и они растут кривые, с листом по одному боку. Над нашей заимкой пушится дымок. Дедушка с Санькой варят чего-то. Мне разом захотелось есть. Но я никак не могу уйти, никак не могу оторвать взгляда от двух рек, от гор этих, мерцающих вдаль, не могу пока еще постигнуть своим детским умом необъятность мира.

Я встряхнулся, передернул плечами, заорал громче, чтобы отпугнуть навалившуюся на меня вяжущую, непонятную боязнь, почти кубарем скатился с горы, за мною с обвальным лязгом потек серый плитняк, крошка. Обгоняя поток, подскакивали круглые булыжины, которые впереди, которые вместе со мною ухнули в Манскую речку.

Поплыло беремя духовитых ромашек, узелок с постряпушками поплыл, на меня напала резвость — я бегал по холодной речке с хохотом, ловил узелок, цветы и внезапно остановился.

— Сапоги-то!

Я еще стоял и смотрел, как выше моих сапог бежит, завихряется речка, как мелькают в воде живыми рыбками желто-красные союзки.

«Растяпа! Недоумок! Сапоги спортил! Штаны замочил! Новые штаны!»

Я побрел на берег, разулся, вылил воду из сапог, разгладил руками штаны и стал ждать, когда наряд мой высохнет и снова обретет праздничный лоск.

Долог, утомителен был путь из села. Мгновенно и совершенно незаметно уснул я под шум Манской речки. Спал, должно быть, совсем немного, потому что, когда проснулся, в сапогах было еще сыро, зато союзки сделались желтее и красивше — смыло с них деготь. Штаны высушило солнцем. Они сморщились, потеряли форс. Я поплевал на ладони, разгладил штаны, надел, еще разгладил, обулся, побежал по дороге легко и быстро, так что пыль взрывалась следом за мною.

Деда в избе не было, Саньки тоже не было. Что-то постукивало за избой во дворе. Я положил узелок и цветы на стол, отправился во двор. Дед стоял на коленях под дощатым козырьком и рубил в корытце папухи табаку. Старенькая, латанная на локтях рубаха была выпущена у него из штанов, вздрагивала на спине. Шея дедушки засмолена солнцем. Сероватые от старости волосы спускались висюльками на шею в коричневых трещинах. На крыльцах рубаху оттопыривали большие, как у коня, лопатки.

Я загладил ладошкой волосы набок, подтянул шелковый с кисточками пояс на животе и враз осипшим голосом позвал;

— Деда!

Дед перестал тюкать, отложил топор, обернулся, какое-то время смотрел на меня, стоя на коленях, затем поднялся, вытер руки о подол рубахи, прижал меня к себе. Липкою от листового табаку рукою он провел по моей голове. Был он высок, не сутулился еще, и лицо мое доставало только до живота его, до рубахи, так пропитанной табаком, что дышать было трудно, свербило в носу и хотелось чихать. Но я не шевелился, не чихал, притих, будто котенок под ладонью.

Приехал Санька верхом на коне, загорелый, подстриженный дедушкой, в заштопанных штанах и рубахе, как я догадался по размашистой стежке — тоже починенных дедушкой. Санька есть Санька! Только загнал коня, еще и здравствуй не сказал, но уж огорошил меня:

— Монах в новых штанах! — Он и еще добавить чего-то хотел, да придержал язык, дедушки постеснялся. Но он скажет ехидное, потом скажет, когда деда не будет. Завидно потому что Саньке — сам-то сроду не нашивал новых штанов, а сапоги да еще с новыми союзками — и во сне ему не снились.

Оказалось, я поспел к самому обеду. Ели драчёну — мятую картошку, запеченную с молоком и маслом, ели харьюзов и жареных сорожек — Санька вечером надергал, после пили чай, заваренный типичным корнем, с бабушкиными подмоченными постряпушками.

— Плавал на шаньгах-то? — любопытствовал Санька.

Дед ничего не спрашивал.

— Плавал! — отшил я Саньку.

После обеда я спустился к ключику, вымыл посуду и попутно принес воды. В старую кринку с отбитым краем я поставил ромашки, были они уже сникшие, но скоро поднялись, закучерявились густой зеленью, насорили желтой пылью и лепестков на стол.

— Хы! Как ровно девчонка! — снова взялся ехидничать Санька. Но дед, укладывавшийся после обеда отдохнуть на печке, окоротил его:

— Не цепляй парня. Раз у него душа к цветку лежит, значит, такая его душа. Значит, ему в этом свой смысл есть, значенье свое, нам непонятное. Вот.

Всю недельную норму слов дед высказал и отвернулся. Санька сразу примолк. То-то, брат! Это тебе не с теткой Васеней зубатиться, либо с бабушкой моей. Дед сказал, и точка. Не поворачиваясь от стены, дед еще добавил:

— Овод схлынет, пасти погоним. Сапоги-то и штаны сыми.

Мы вышли во двор, и я спросил:

— Чё это дед сегодня такой разговорчивый?

— Не знаю, — пожал плечами Санька. — Обрадел, должно, при таком расфуфыренном внуке. — Санька поковырял ногтем в зубах и, глядя красными, сорожьими глазами на меня, спросил: — Чё будем делать, монах в новых штанах?

— Додразнишься — уйду.

— Ладно, ладно, обидчивый какой! Понарошке ведь.

Мы побежали в поле. Санька показывал мне, где он боронил, сказал, что дедушка Илья учил его пахать, и еще добавил, что школу он бросит, как поднатореет пахать, станет зарабатывать деньги, купит себе штаны не трековые, а суконные — так и бросит.

Эти слова окончательно убедили меня — заело Саньку. Но что дальше последует — не догадывался, потому что простофилей был и остался.

За полосой густо идущего в рост овса, возле дороги была продолговатая бочажина. В ней почти не оставалось воды. По краям гладкая и черная, будто вар, грязища покрылась паутиной трещин. В середине, возле лужицы с ладошку величиной, сидела большая лягуха в скорбном молчании и думала, куда ей теперь деваться. В Мане и Манской речке вода быстрая — опрокинет кверху брюхом и унесет. Болото есть, но оно далеко — пропадешь, пока допрыгаешь. Лягушка вдруг сиганула в сторону, шлепнулась у моих ног — это Санька промчался по бочажине, да так резво, что я и ахнуть не успел. Он сел по ту сторону бочажины и об

лопух вытер ноги.

— А тебе слабо!

— Мне-е? Слабо-о? — запетушился я, но тут же вспомнил, что не раз попадался на Санькину уду, и не перечесть, сколько имел через это неприятностей, бед со всякими последствиями. «Не-е, брат, не такой уж я маленький, чтоб ты меня надувал, как раньше!»

— Цветочки только рвать! — зудил Санька.

«Цветочки! Ну и что! Что ли это худо? Вон дед-то говорил как...» Но тут я вспомнил, как на селе презрительно относятся к людям, которые рвут цветочки и всякой такой ерундой занимаются. На селе охотников-зверобоев поразвелось — пропасть. На пашне старики, бабы да ребятишки управляют. Мужики все на Мане из ружей палят да рыбачат, еще кедровые орехи добывают, продают в городе добычу. Цветочки в подарок женам привозят с базара, из стружек цветочки, синие, красные, белые — шуршат. Базарные цветочки бабы почтительно ставят на угловики и на иконы цепляют. А чтобы жарков, стародубов или саранок нарвать — этого мужики никогда не делают и детей своих сызмальства приучают дразнить и презирать людей вроде Васи-поляка, сапожника Жеребцова, печника Махунцова и всяких других самоходов, падких на развлечения, но непригодных для охотничьего промысла.

И Санька туда же! Он-то уж не будет цветочками заниматься. Он пахарь уже, сеятель, рабо-о-отник! А я, значит, так себе! Придурок, значит? Размазня? Так я себя распалил, так разозлился, что с храбрым гиком ринулся поперек бочажины.

В середине ямины, там, где сидела задумчивая лягуха, я разом, с отчетливой ясностью понял — снова оказался на уде. Я еще попытался дернуться раз-другой, но увидел Санькины разлапистые следы от лужицы в стороне — дрожь по мне пошла. Съедая взглядом округлую Санькину рожу с этими красными, будто у пьянчужки глазами, сказал:

— Гад!

Сказал и перестал бороться.

Санька бесновался вверху надо мной. Он бегал вокруг бочажины, прыгал, становился на руки:

— Аа-а, вляпался! А-га-га-а, дохвастался! А-га-га-а, монах в новых штанах! Штаны-то ха-ха-ха! Сапоги-то хо-хо-хо!

Я сжимал кулаки и кусал губы, чтобы не заплакать. Знал я — Санька только того и ждет, чтоб я расклеился, расхныкался, и он совсем меня растерзал бы, беспомощного, попавшего в ловушку. Ногам холодно. Меня засасывало все дальше и дальше, но я не просил, чтоб Санька вытаскивал

меня, и не плакал. Санька еще поизмывался надо мною, да скоро уж прискучило ему это занятие, насытился он удовольствием.

— Скажи: «Миленький, хорошенький Санечка, помоги мне ради Христа!» Я, может, и выволоку тебя!

— Нет!

— Ах, нет?! Сиди тоды да завтрева.

Я стиснул зубы и поискал глазами камень или чурку. Ничего не было. Лягуха опять выползла из травы и глядела на меня с досадою, дескать, последнее пристанище отбили, злыдни.

— Уйди с глаз моих! Уйди, гад, лучше! Уйди! — закричал я и начал швырять в Саньку горстями грязи.

Санька ушел. Я вытер руки об рубаху. Над бочажинной, на меже шевельнулись листья белены — Санька в них спрятался. Из ямины мне видно только белену эту, репейника вершинку да еще часть дороги видно, ту, что поднимается в Манскую гору. По этой дороге я еще совсем недавно шел счастливый, любовался местностью и никакой бочажины не знал, никакого горя не ведал. А теперь вот в грязи завяз и жду. Чего жду?

Санька вылез из бурьяна, видно, осы его выгнали, может, и терпенья не хватило. Жрет какую-то траву. Пучку, должно быть. Он всегда жует чего-нибудь — живоглот пузатый!

— Так и будем сидеть?

— Нет, скоро упаду. Ноги уже остомели.

Санька перестал жевать пучку, с лица его слетела беспечность, понимать, должно быть, начинает, к чему дело клонится.

— Но ты, падина! — крикнул он, стягивая с себя штаны. — Упади только!

Стараюсь держаться на ногах, а они так отерпли ниже колен, что я их едва чувствую. Всего меня трясет от холода, качает от усталости.

— Безголовая кляча! — лез в грязь и ругался Санька. — Сколько я его надувал, он все одно надувается! — Санька пробовал подобраться ко мне с одной, с другой стороны — не получалось. Вязко. Наконец приблизился, заорал: — Руку давай! Давай! Уйду ведь! Взаправду уйду. Пропадешь тут вместе с новыми штанами!..

Я не дал ему руку. Он сгреб меня за шиворот, потянул, но сам колом пошел в жидкую глубь ямы. Он бросил меня, ринулся на берег, с трудом высвобождая ноги. Следы его тут же затягивало черной жижей, пузыри возникали в следах, с шипом и бульканьем лопаюсь.

Санька на берегу. Глядел на меня испуганно, молча, что-то пытаюсь сообразить. Я глядел мимо него. Ноги мои совсем подламывались, грязь

мне казалась уже мягкой постелью. Хотелось опуститься в нее. Но я еще живой до пояса и маленько соображаю — опущусь и запросто могу захлебнуться.

— Эй, ты, чё молчишь?

Я ничего на это не ответил погубителю Саньке.

— Иди за дедушкой, гадина! Упаду ведь счас.

Санька заныл, заругался, будто пьяный мужик, матерно и бросился выдергивать меня из грязи. Он едва не стащил с меня рубаху, за руку стал дергать так, что я взревел от боли и принялся тыкать кулаком Саньке в морду, раз-другой достал. Дальше меня не засасывало, я, должно быть, достиг ногами твердого грунта, может, и мерзлой земли. Вытащить меня у Саньки ни силенок, ни сообразительности не хватило. Он совсем растерялся и не знал, что делать, как быть.

— Иди за дедушкой, гад!

Стуча зубами, натягивал Санька штаны прямо на грязные ноги.

— Миленький, не падай! — сначала шептал, потом закричал не своим голосом Санька и помчался к заимке. — Не па-а-да-а-ай, миленький... Не па-а-ада-ай!..

Слова у него с лаем вырывались, с гавканьем. Заревел Санька с испуга. «Так тебе, змею, и надо!»

От злости во мне прибавилось сил. Я поднял голову, увидел: с Манской горы спускаются двое. Кто-то кого-то ведет за руку. Вот они исчезли за тальниками, в Манской речке. Пьют, должно быть, или умываются. Такая уж речка — журчистая, быстрая. Никто мимо нее пройти не в силах.

А может, отдохнуть сели? Тогда пропащее дело.

Но из-за бугра появилась голова в белом платке, даже сначала один только белый платок, потом лоб, потом лицо, потом уж и другого человека видно сделалось — это девчонка. Кто же идет-то? Кто? Да идите же вы скорее! Переставляют ноги ровно неживые!

Я не сводил взгляда с двух людей, размеренно идущих по дороге. По походке ли, по платку ли, по жесту ли руки, указывающей девчонке прямо на меня, скорее всего — на поле за бочажиной, узнал я бабушку.

— Ба-а-абонька! Ми-иленька-а!.. Ой, ба-абонька-а-а! — заревел я и повалился в грязь. Передо мной остались замытые водой скаты этой проклятой ямы. Даже белены не видно, даже лягуха упрыгала куда-то.

— Ба-а-аба-а-а! Ба-а-абонька-а-а! Тону я! Ой, тону-у-у!

— Тошно мне, тошнехонько! Ой, чуюло мое сердце! Как тебя, аспида, занесло туда? — услышал я над собой крик бабушки. — Ой, не зря сосало

под ложечкой!.. Да кто же это тебя надоумил-то? Ой, скорее!

И еще дошли до меня слова, задумчиво и осудительно сказанные левонтьевской Танькой:

— Уш не лешаки ли тебя туда заташшыли?!

Шлепнула доска, другая, я почувствовал, как меня подхватили и, ровно бы ржавый гвоздь из бревна, медленно потянули, слышал, как с меня снимались сапоги, хотел крикнуть, да не успел. Дед выдернул меня из сапог, из грязи. С трудом вытягивая ноги, он пятился к берегу.

— Обутки-то! Сапоги-то! — показала бабушка в яму, где колыхалась взбаламученная грязь, вся в пузырях и плесневелой зелени. Безнадежно махнув рукой, дед поднялся на межу и лопухами стал вытирать ноги. Бабушка дрожащими руками обирала с моих новых штанов пригоршнями грязь и торжествуя, ровно бы доказывая кому-то, высказывалась:

— Не-ет, сердце мое не омманешь! Токо кровопивец этот за порог, оно так и заныло, так и заныло. А ты, старый, куды смотрел? Где ты был? Если бы загинул робенок?

— Не загинул жа...

Я лежал, уткнувшись носом в траву, и плакал от жалости к себе, от обиды. Бабушка взялась растирать мне ладонями ноги. Танька шарила по моему носу лопушком, ругалась вперебой с бабушкой:

— Ох, каторжанец Шанька! Я тятке вшо-о рашшкажу, — и грозила пальцем вдаль: — Тятка, шур-шур-шур! — Разве у Таньки поймешь чего? Шуршит, как оса в меду.

Я глянул, куда она грозила, и заметил клубящуюся пыль вдали. Санька чесал во все лопатки от заимки к реке, чтоб укрыться в уремах до лучших времен. Теперь он будет жить воистину как беглый лесной разбойник.

Четвертый день лежу я на печке. Ноги мои укутаны в старое одеяло. Бабушка натирала их по три раза за день настоем ветреницы, муравьиным маслом и еще чем-то едучим и вонючим, отпаивала меня ромашкой и зверобоем. Ноги мои жгло и щипало так, что впору завывать, но бабушка уверяла, что так оно и быть должно, значит, вылечиваются ноги-то, раз жжение и боль чуют, и рассказывала о том, как и кого в свое время вылечила она и какие ей за это благодарствия были.

Саньку бабушка изловить не могла. Как я догадывался, дед выводил Саньку из-под намеченного возмездия. Он то наряжал Саньку в ночное — пасти скотину, то отсылал в лес с задельем. Бабушка вынуждена была поносить дедушку и меня, но мы люди к этому привычные, дед только

кряхтел да пуще дымил сигаркою, я похихикивал в подушку да перемигивался с дедом.

Штаны мои бабушка выстирала, сапоги так и остались в бочажине. Жалко сапоги. Штаны тоже не те, что были. Материя не блестит, синь слиняла, штаны разом поблекли, увяли, будто цветы, сорванные с земли. «Эх, Санька, Санька!» — вздыхал я — мне жалко Саньку сделалось.

— Опять рематизня донимат? — поднялась на приступок печки бабушка, слышав мое кряхтенье.

— Жарко тут.

— Жар кости не ломит. Ложилось дураку — по три чирья на боку. Терпи. А то обезножеешь — а сама к окну, Приложила руку, выглядывает. — И куда он этого супостата спровадил! Поглядите-ка, люди добрые! Говорила самому: ни от камня плода, ни от плута добра! Оне на меня союзом!.. Сам-от веху разбойнику дает, от меня спасат.

Тут — беда к беде — дед курицу проворонил. Курица эта пестрая вот уже лета по три норвила произвести цыплят. Но бабушка считала, что для этого дела есть более подходящие курицы, купала пеструшку в холодной воде, хлестала веником, принуждая нести яйца. Хохлатка же проявила прямо-таки солдатскую стойкость: где-то втихую нанесла яиц и, не глядя на бабушкин запрет, схоронилась и высиживала потомство.

Вечером засветилось в окне, замелькало, затрещало — это за ключом, на берегу реки запластал шалаш, сделанный по весне охотниками. Из шалаша с кудахтаньем выпорхнула наша хохлатка, не задевая земли, взлетела на избу, вся взъерошенная, клохчущая, дергала поврежденным зобом и головой.

Началось дознание, и выяснилось: Санька унес табачку из корыта деда, покуривал в шалаше и заронил искру.

— Он так и заимку спалит, не моргнет! — шумела бабушка, но шумела уж как-то негрозно, на исходе, должно быть, из-за курицы смягчилось ее сердце, может, и перекипела гневом внутри себя. Словом, она сказала деду, чтоб Санька не прятался больше, ночевал бы дома, и унеслась в село — дел у нее там много накопилось.

Дел у нее, конечно, всегда по горло, однако же главная забота — что без нее в селе, как без командира на войне — разброд, смятение, неразбериха, все сбилось с шагу, и надо направлять скорее строй и дисциплину.

От тишины ли, от того ли, что бабушка наладила замирение с Санькой, я уснул и проснулся на закате дня, весь светлый и облегченный, свалился с печи вниз и чуть не вскрикнул. В той самой кринке с отбитым краем

попыхал огромный букет алых горных саранок с загнутыми лепестками.

Лето! Совсем уж полное лето пришло!

У притолоки стоял Санька, на пол слюной циркал в дырку меж зубов. Он жевал серу, и слюны накопилось у него много.

— Откусить серы?

— Откуси.

Санька откусил шматок листовенничной серы. Я тоже принялся жевать ее с прищелком.

— Лиственницу со сплава к берегу прибило, и я наколупал. — Санька циркнул слюной от печки и аж до окна. Я тоже циркнул, но мне на грудь угодило.

— Болят ноги-то?

— Совсем чуточку. Я уж завтра побегу.

— Харюз хорошо стал брать на паута и на таракана. Скоро на кобылку пойдет.

— Возьмешь меня?

— Так и отпустила тебя Катерина Петровна!

— Ее ж нету!

— Припрется!

— Я отпрошусь.

— Ну, если отпросишься... — Санька обернулся ко двору, ровно бы приняхался, затем подлез к моему уху:

— Курить будешь? Вот! Я у дедушки стибрил. — Он показал горсть табаку, бумаги клочок и обломок от спичечного коробка. — Курить мирово! Слышал, как я вчерась салаш-то? Курица оттеда турманом летела! Умора! Катерина Петровна крестится: «Восподь спаси! Христос спаси!» Умора!

— Ох, Санька, Санька! — совсем уж все прощая ему, повторил я бабушкины слова. — Не сносить тебе удалой головы!..

— Ништя-аак! — с облегчением отмахнулся Санька и вынул из пятки занозу. Брусничкой выкатилась капля крови. Санька плюнул на ладонь и затер пятку.

Я смотрел на нежно алеющие кольца саранок, на тычинки их вроде молоточков, высунувшиеся из цветков, слушал, как на чердаке возились, наговаривали меж собой хлопотливые ласточки. Одна ласточка недовольна чем-то, говорит-говорит и вскрикнет, будто тетка Авдотья на девок своих, когда те с гулянья домой являются, или на мужа — Терентия, когда тот из плаванья придет.

Во дворе дедушка потюкивал топором да покашливал. За частоколом палисадника голубой лоскут реки виден. Я надел свои, теперь уже

обжитые, привычные штаны, в которых где угодно и на что угодно можно садиться.

— Куда ты? — погрозил пальцем Санька. — Нельзя! Бабушка Катерина не велела!

Ничего я не ответил ему, подошел к столу и дотронулся рукой до раскаленных, но не обжигающих руку саранок.

— Смотри, бабушка заругается. Ишь, поднялся! Храбёр! — бормотал Санька, отвлекая меня, зубы заговаривал. — Потом опять издыхать примешься...

— Какой дедушка добрый, саранок мне нарвал, — помог я выкрутиться Саньке из трудного положения. Он помаленечку, полегонечку выпятился из избы, довольный таким исходом дела. Я медленно выбрался на улицу, на солнце. Голову мою кружило, ноги еще дрожали и пощелкивали. Дедушка под навесом, отложив топор, которым обтесывал литовище, смотрел на меня, как только он и мог смотреть — все так понятно говоря взглядом. Санька скребком чистил нашего Ястреба, а тому, видать, щекотливо, и он дрожал кожей, дрыгал ногой.

— Н-н-но-о, ты, попляши у меня! — прикрикнул на мерина Санька. А что кричать на конягу, которой нет выносливей и терпеливей в селе, которую даже бабушка балует, иногда хлебцем-корочкой, и говорит с насмешкой, что наш конь жил у семи попов, по семи годов, а все ему семь лет от роду...

Старенький, старенький Ястреб! Ну и что? И дед старенький, да лучше его нет на свете человека. Цена не по летам, а по делам...

Как тепло вокруг, зелено, шумно, весело! Стрижи над речкой кружатся, падают встречь своей тени на воду. Плишки почиликивают, осы гудят, бревна вперегонки по воде мчатся. Скоро можно будет купаться — Лидии-купальницы наступят. Может, и мне позволят купаться. Лихорадка-то не возвернулась, чуть только голову обносит да ноги в суставах ломит. Ну а не разрешат, так я и сам потихоньку выкупаюсь. С Санькой умогаю на реку и выкупаюсь.

Мы с Санькой, держась с двух сторон за оброть, повели Ястреба к реке. Он спускался по каменистому бычку, опасно расставлял передние ноги скамейкой, тормозил себя изношенными, продырявленными гвоздем копытами. В воду забрел, остановился, тронул дряблыми губами отражение в воде, будто поцеловался с таким же старым пегим конем.

Мы брызгали на него водой. Конь передернулся кожей на спине и, громко бухая копытами по камням, удало мотая бородатой головой, побрел вглубь, мы за ним, охая, держась за гриву и за хвост, тащились. Выбрел

Ястреб на галечный мысок, остановился по брюхо в воде и отдался на волю течения.

Мы скребли голиком прогнутую, трудовыми мозолями покрытую спину, шею, грудь. Ястреб подрагивал кожей в радостной истоме, переступал ногами и даже пробовал играть, хватал нас отвислой губой за воротники.

— Н-не балуй! — громко кричали мы. Но Ястреб не слушался, да мы и не ждали, чтоб он слушался, орали просто так, по привычке, на конягу.

На спину коню норовили сесть плишки, чтобы склевать роящихся на потертостях конской кожи мух либо слепня-кровососа сцапать, припаявшегося к крупу лошади.

На бычке стоял дед в выпущенной рубахе, босой. Ветерок трепал его волосы, шевелил бороду, полоскал расстегнутую рубаху на выпуклой, раздвоенной груди. И напоминал дед российского богатыря во времена похода, сделавшего передышку, — остановился богатырь озреть родную землю, подышать ее целительным воздухом.

Хорошо-то как! Ястреб купается. Дед на каменном бычке стоит, забылся, лето в шуме, суете, в нескучных хлопотах подкатило. Каждая пичуга, каждая мошка, блошка, муравьишко заняты делом; Ягоды вот-вот пойдут, грибы. Огурцы скоро нальются, картошки подкапывать начнут, там и другая огородина поспеет на стол, там и хлеб зашуршит спелым колосом — страда подойдет. Можно жить на этом свете! И шут с ним, со штанами и с сапогами тоже. Наживу еще. Заработаю.

Ангел-хранитель

В тридцать третьем году наше село придавило голодом. Замолкли песни, заглохли свадьбы и гулянки, притихли собаки, не стало голубей. Шумные ватаги ребятишек не сыпались на санках с яра, скотина во дворах редела под ножом, кони начали падать среди улиц. Сразу захмурили и вроде бы состарились дома. Углы у них были, как челюсти у голодных людей, сухи и костлявы.

Кто как, кто чем добывал в эту пору пропитание. Охотники мяли снега в тайге, отыскивали диких коз, сохатых, маралов, медвежьи берлоги. Но снега в ту зиму были глубокие. Кроме того, есть поверье, будто людская беда чуетя и зверьем, якобы отходит зверь дальше в тайгу, в неприступные горы, словом, голод гонит и волка из колка.

Удачливый человек Александр Ярославцев все же добыл медведя. Братья Верехтины и Саламатин-старик привезли коз. Поделались охотники с соседями чем могли, но у каждого своя семья, родни и друзей не перечесть.

Город всегда был бедой и выручкой нашего села. Он потреблял сельскую продукцию: дрова, молоко, мясо, рыбу, овощи, ягоды. Он одевал и спаивал. Он был гостеприимен, пока получал из деревни что ему надо было. С пустыми руками и с порожними подводами город встречал мужиков неохотно. Он и сам был голоден, этот большой и теперь неприветливый город.

В тот год, именно в тот год, безлошадный и голодный, появились на зимнике мужики и бабы с котомками, понесли барахло и золотишко, у кого оно было, на мену, в «Торгсин».

Наша семья, ведомая бабушкой, изворотливой в хозяйстве, предприимчивой в делах, не раз голодавшей и бедовавшей за свою жизнь, мало-мало перебивалась. Бабушка усохла. Кость на ней выступила, характер ее, крутой и шумный, заметно смягчился.

— Ничего, мужики, ничего. До весны дотянем, а там...

Мужики — дедушка, Кольча-младший и я — слушали бабушку и понимали, что с нею не пропадем, лишь бы не сдала она, не свалилась. Снова пришел к нам жить еще один «мужик» — Алешка. Тетка Августа перешла с лесозаготовок на Усть-Манский сплавной участок. Заимки на Мане перестали существовать, на полях пошла работа другого порядка: катали и возили по ним лес, громоздили штабеля там, где росли картошка,

рожь и пшеница. Дед без пашни потерялся, не знал, куда себя девать и где сеять хлеб.

— Чего сделаешь, мужики? — толковала бабушка насчет Алешки. — Куда его денешь? Гуске паек давать на сплаву будут...

Она словно бы оправдывалась за Алешку. Но в нашей семье и раньше не принято было обсуждать бабушкины действия, теперь и по-прежнему.

Августа по воскресеньям приходила с Усть-Маны, приносила муки, крупы. Один раз консерву принесла — «поросенок в желе». Желе это самое, по-нашему студень, в банке было, но поросенка мы там не нашли. От него в банку запечатали шкурку с косточкой.

На Августин паек надеяться нечего, поняли мы после «поросенка в желе».

Бабушка затолкала в котомку вязаные праздничные скатерти, отнесла их в город и променяла на хлеб. Потом дедушкин новый полушубок отнесла, потом свою, бережно, по деревенской традиции хранимую — для смертного часа — одежду: платье, чулки, платок, чуваки и нижнюю бязевую юбку.

Есть надо было каждый день, а барахло на рынке все падало и падало в цене. Да и сколько барахла в крестьянской семье, которая никогда не жила в больших достатках?

Бабушка несколько раз снимала самодельный фанерный чехол с машины «Зигнер», оглаживала рукой ее изношенное тело так, будто та была живая и теплая. Но машинка была так стара, так некорыстна с виду, что за нее ничего бы и не дали. Кроме того, работала машинка только потому, что бабушка до тонкостей знала ее характер. Заурсит, бывало, машинка — нитки рвать станет или вовсе шить откажется — бабушка поднимет ее корпус, обнажит с исподу сложные механизмы, поглядит, поговорит с машинкой, пальцем ткнет в одно, в другое место, где из масленки помажет, где сметаной, дунет, плюнет — и, глядишь, застрочила машинка пулеметом, ожила на радость нашего и всех ближних домов. Машинка хотя и была бабушкина, но в то же время как бы принадлежала и многим другим людям. Бабушка обшивала на ней почти полсела. И хотя в голодный год шить никто ничего не приносил, бабы все же с беспокойством заглядывали в нашу горницу — здесь ли машинка? Всем им да и бабушке тоже верилось — пока есть машинка, стоит на своем месте — живы и надежды на то, что минуют беды, что поработает еще она, будут люди шить обновы. Бабушка и не прочь бы «оторвать от сердца машинку», да чтоб только не увозить ее из села, здесь бы кому променять и после либо выкупить ее обратно, либо знать, что тут она, поблизости, всегда на нее

посмотреть можно, даже пошить, и, таким образом, машинка как бы не совсем уйдет из бабушкиной жизни.

Но никто в деревне машинку не выменивал, а когда отказался от нее и заезжий ямщик, сказавши, что пока он ее довезет, так она и рассыплется, бабушка успокоилась.

— Да я лучше пересолю и выхлебаю, чем машины решусь...

Но пересаливать и хлебать совсем сделалось нечего. Начали и мы есть картофельные очистки, неободранное просо пополам с мякиной, всякую дрянь стали есть.

Я всегда был в семье на особом положении. И мне всегда отделялся самый лучший, самый сладкий кусок. И никто против этого не возражал — так должно быть, так положено. А после того как я переболел лихорадкой, да еще ревматизм меня донимал постоянно, все наши особенно заботились обо мне и отказывали себе во всем, только чтоб я был сыт, одет и не хворал.

Ослабел я скорее всех. Начал опухать. И ноги, худые мои ноги перестали меня слушаться, ходил я, шатаюсь, голова у меня кружилась.

Тягостно и угрюмо сделалось в нашем доме.

Стойко державшаяся бабушка хоть и наставляла нас, носи платье, не складывай, терпи горе, не сказывай, но сама все чаще и чаще смахивала с лица слезы, тревожный ее, иссушенный бедою взгляд все дольше задерживался на мне.

Однажды наелись мы мерзлых картошек. С молоком ели картошки, с солью, и вроде бы все довольны остались, но меня начало мутить и полоскало так, что бабушка еле отводилась со мною.

— Мужики! Надо что-то делать, мужики... — взревела она. — Пропадет парнишка, А он пропадет — и я не жилец на этом свете. Я и дня не переживу...

Мужики тягостно молчали, думали. Дед и прежде-то говорил только в крайней необходимости, теперь, лишившись заимки, вовсе замолк, вздыхал только так, что тайга качалась — по заключению бабушки. Добиться от него разговора сделалось совсем невозможно. Бабушка глядела на Кольчу-младшего, тоже осунувшегося, посеревшего. А был он всегда румян, весел и деловит.

Мне показалось, бабушка смотрела на Кольчу-младшего не просто так, со скрытым смыслом смотрела, ровно бы ждала от него какого-то решения или совета.

— Что ж, мама, — заговорил медленно Кольча-младший и опустил глаза. — Тут уж считаться не приходится... Тут уж из двух одно: или потерять парнишку, или...

Бабушка не дослушала его, уронила голову на стол. Не голосила она, не причитала, как обычно, плакала, надсадно, загнанно всхрипывая. Кости на ее большой плоской спине ходуном ходили, в то время как руки, выкинутые на стол, лежали мертво. Крупные, изношенные в работе руки, с крапинками веснушек, с замытыми переломанными ногтями, покоились как бы отдельно от бабушки.

Кольча-младший достал кисет, начал лепить сигарку, но отвернулся, ровно бы поперхнувшись, закашлял и с недоделанной сигаркой, с кисетом в руке быстро ушел из избы, бухая половицами. Дед крякнул скрипуче, длинно и вышел следом за Кольчей-младшим.

Состоялся какой-то важный и тягостный совет. Какой, я не знал, но смутно догадывался — касается он меня. Мне в голову взбрело, будто хотят меня куда-то отправить, может, к тетке Марии и к ее мужу Зырянову, у которых я уже гостил в год смерти мамы, но жить у бездетных и скопидомных людей мне не поглянулось, и я выпросился поскорее к бабушке.

— Бабонька, не отправляйте меня к Зырянову, — тихо сказал я. — Не отправляйте. Я хоть чего есть стану. И картошки голые научусь... Санька сказывал — сначала только с картошек лихотит, потом ничего...

Бабушка резко подняла голову, взглянула на меня размытыми, глубоко ввалившимися глазами:

— Это кто же тебе про Зыряновых-то брякнул?

— Никто. Сам подумал.

Бабушка подобрала волосы, вытерла глаза ушком платка и прижала меня к себе:

— Чё ж тебя, как худу траву с поля, выживают? Удумал, нечего сказать! Дурачок ты мой, дурачок!

Она отстранила меня и ушла в горницу. Там запел, зазвенел замок старинного сундука, почти пустого, и я не поспешил на этот приманчивый звон — никаких лампасеек, никаких лакомств больше в сундуке бабушки не хранилось.

Бабушки не было долго. Я заглянул в горницу и увидел ее на коленях перед открытым сундуком. Она не молилась, не плакала, стояла неподвижно, ровно бы в забытьи. В руке ее было что-то зажато.

— Вот! — встряхнулась бабушка и разжала пальцы. — Вот, — повторила она, протягивая мне руку.

В глубине морщинистой темной ладони бабушки цветком чистотела горели золотые сережки.

— Матери твоей покойницы, — пошевелила спекшимися губами

бабушка. — Все, што и осталось. Сама она их заработала, к свадьбе. На известковом бадогои с Левонтием зиму-зимскую ворочала. По праздникам надевала только. Она бережлива, уважительна была...

Бабушка смолкла, забылась, рука ее все так же была протянута ко мне, и и морщинах, в трещинах ладони все так же радостно, солнечно поигрывали золотом сережки. Я потрогал сережки пальцем, они катнулись на ладони, затинькали чуть слышно. Бабушка мгновенно зажала руку.

— Тебе сберегчи хотела. Память о матери. Да наступил черный день...

Губы бабушки мелко-мелко задрожали, но она не позволила себе ослабиться еще раз, не расплакалась, захлопнула крышку сундука, пошла в куть. Там бабушка завернула сережки в чистый носовой платок, затянула концы его зубами и велела позвать Кольчу-младшего.

— Собирайся в город, — молвила бабушка и отвернулась к окну. — Я не могу...

Кольча-младший надел старый полушубок, подпоясался, убрал сверток за пазуху. Все он делал медленно и молча, прятал глаза при этом. Кольча-младший плыл в лодке вместе с моей мамой, был кормовым, мама на лопашнях. Еще в той лодке была тетка Апроня и с ними семеро или восьмеро людей, но утонула моя мама. Когда лодка налетела на головку сплавной бонь и опрокинулась, маму затянуло течением коренной воды под бону, она зацепилась косой за перевязь. Ее искали девять дней. Под боной поискать никому в голову не приходило, и пока не отопрела коса, не выдернулись волосы, болтало, мыло молодую женщину, потом оторвало бревнами, понесло и приткнуло далеко уже от села, возле Шалунина быка. Там ее зацепил багром сплавщик, и ничего уж, видно, святого за душой бродяги не было — отрезал у нее палец с обручальным кольцом.

Горе было так велико, так оно всех раздавило, что наша родня, не пожаловалась на пикетчиков в сельсовет, лишь горестно, недоуменно качала головой бабушка:

— Зачем же над мертвой-то галились? Покарат Господь за надругательство. А я бы и так отдала кольцо, все бы отдала, что есть у меня...

Мамы нет больше года, но Кольча-младший не находит себе места, все старается лаской, добротой загладить какую-то вину, хотя он ни в чем не виноват — смерть причину найдет. Каково-то идти ему в город, сдавать в «Торгсин» мамины сережки?

— Ну, с Богом! — перекрестила бабушка Кольчу-младшего. — Хорошеньче смотри за платком-то. Жуликов да мазуриков в городе развелось тучи.

Ничего на это не сказал Кольча-младший. Закурил на дорожку, поднял воротник полушубка, надел собачьи лохмашки и с сигаркой в зубах вышел из избы.

— Ты тоже шел бы на улку, к дедушке, — отвернувшись, молвила бабушка пустым голосом, и я отправился к дедушке, под навес, где он вязал метлы, смолил табак, заглушая голодную, сосущую нудь в животе.

Бабушке хотелось остаться одной. Всегда ее тянуло к людям, всегда она была среди них, всегда в гуще всех событий и в курсе всех деревенских дел, но сегодня ей хотелось быть одной.

Мы с дедом не тревожили ее. Осторожно, словно воры, пробрались и избы. В доме тихо, сумрачно. Лампу мы в этот вечер не зажигали. Керосин у нас кончился, и ужина не просили. «Ехали весь день до вечера, хватились — ужинать нечего», — пошутила бы бабушка в другое время. Но она даже не подала голоса и головы не подняла. Пластом лежала бабушка на кровати и не шевелилась, не ругалась, не творила молитв, лишь глаза ее светились во тьме недвижимым, лампадным светом.

Кольча-младший принес из города пуд муки, бутылку конопляного масла и горсть сладких макух — мне и Алешке гостинец. И еще немножко денег принес. Все это ему выдали в заведении под загадочным названием «Торгсин», которое произносилось в селе с почтительностью и некоторым даже трепетом.

Бабушка завела квашню, намешала в муку мерзлых картошек, мякины, чтобы получилось побольше хлеба, и когда отстряпалась, половину плоских караваев, не вытронувшихся из-за примеси, засунула в котомку. Туда же бросила она узелок с солью, горсть луковиц, и Кольча-младший снова отправился в дорогу. С обозом он отбыл в верховские, богатые села. Верховскими у нас назывались села, расположенные в Ужурском, Новоселовском, Краснотуранском, Минусинском районах и прихакасских степях, потому как все это находилось в верховьях Енисея. И люди тамошние, и обозы, идущие оттуда, большие, длинные обозы с кладью, тоже звались верховскими.

Кольча-младший уехал наниматься на молотьбу. Он умел обращаться с молотилкой и, как утверждала бабушка, равных ему по ловкости и сноровке возле барабана не могло сыскаться. Что это за барабан такой, я не знал. Мне был известен лишь один барабан, в который колотят палками. Но на барабане Кольча-младший намеревался заработать хлеба, и мы стали его ждать.

Дедушка нанялся пилить дрова в сельсовет, и в большом нашем доме, где когда-то дополна было народу, сделалось тихо, пустынно, дверь в горницу заколотили, чтобы не жечь лишние дрова.

Мука из «Торгсина», как ее ни растягивала бабушка, вся до пылинки исстряпалась, надо было что-то снова есть. Дедушка испилил и сложил в поленницы дрова подле сельсовета, получил деньги. Получил он их немного, всего на булку хлеба, как определила бабушка. Она отправилась в город с деньгами, заработанными на дровах ослабевшим от голода дедушкой.

Возвратилась бабушка вечером, с черемуховым батогом в руке. Первый раз взяла она тогда батожок и до смерти с ним уж не расставалась в дальнем походе. В котомке бабушка принесла серый, в банный таз величиною, каравай.

— Отрежь скорее парнишке кусочек, — слабо сказала бабушка деду. — Замер вовсе парнишка. И себе отрежь.

Она сидела на скамейке не раздевшись, положив обе руки на черемуховую палку. И очень заметно бросилось мне в глаза, какая она стала старая и как согнулась в спине. Дед вынул каравай из котомки, взвесил его на руке и оглядел. Заросшее и без того хмурое его лицо запасмурнело совсем.

— Чего ж не поела-то? Дорогой свалилась бы. Лучше, што ль?

— Да я отколупнула корочку, пососала и дотащилась вот, слава Богу. Я что? — Я — ломовой конь. Режь, режь! Ждет ребенок. Алешка-то где?

Я сказал, что Алешка ушел к матери на Усть-Ману, там столовку открыли и кормят сплавщиков казенной пищей. Августа Алешку возле себя теперь прокормит. Они теперь без горя проживут.

— И ладно. И ладно. Ты чего, отец? Умер ли, чё ли? Прямо беда с тобой...

Дед стоял с ножом в руке над разрезанным караваем и не поворачивался к нам. Спина его, плечи, руки обвисали все ниже, ниже, будто сделался он весь тряпичный, будто и кости смололись в нем сразу, и стал он меньше ростом.

— Ты чего? — тревожно повторила бабушка.

— Омманули тебя на базаре, — глухо вымолвил дед и воткнул ножик за настенную дощечку, за которой торчали вилки, ложки.

— К-как омманули? — Рот бабушки вдруг начал беззвучно шевелиться, сделался черным. Я закричал и прикрыл глаза руками.

Дедушка схватил меня и понес к ручкомойнику.

— Ат жись! Ат чё деется! — бубнил он, нашаривая уголек за

kozyрьком рукойойника, чтоб умыть меня с уголька — от испуга и урочества. Уголек куда-то запропастился, дед набрал воды в глубокую ладонь. Всего деда трясло, он все бубнил, бубнил чего-то, и я, не слышавший от него больше трех или пяти слов за день, совсем испугался, попросил посадить меня на печь.

Каравай оказался с начинкой, туфтой, как на блатном языке говорилось. Он только сверху каравай, в середину же запечена мякина.

Бабушка проклинала себя: где были у нее глаза?! — спрашивала. Лучше бы ей помереть. Счастьем бы она посчитала, если б не дожидала до этих дней, не видела бы такого злодейства и жульничества.

Голосила и причитала бабушка долго. Причитая, она успела, между прочим, рассказать, как обрадовалась, когда узрела этот большой каравай, как ее насторожила спервоначала сходная цена, как она боялась, чтоб каравай не перехватили, оттого и не разломила его, полоумная, как выглядели продавцы — пристойно, на ее взгляд, выглядели, одеты в городское. Рассказала и о том, будто скоро все наладится, будто городским хлеб по карточкам начали выдавать и драк больших на базаре уж нету из-за продуктов.

По мере того как выговаривалась бабушка, легче становилось у меня на душе и дома не так уж страшно. Вот когда рот бабушки беззвучно шевелился и когда сидела она на скамье неподвижно, как каменная, тогда страшно. А так ничего. Так все наладится. Сейчас бабушка поголосит, облегчится и чего-нибудь сообразит.

И в самом деле бабушка скоро позвала меня в куть.

— Гложи корочку-то. Корочка у каравая, будь он неладен, хлебна. Мякину-то выковыривай и гложи. Всякой хлеб не без мякины. Отец, ты тоже поешь маленько. Чё сделаешь? Им, супостатам, отольются наши слезы. Кто бедного обижают, тот гибель себе накликают. А гляди-ко чего я принесла-а-а! — пропела бабушка, полезла за пазуху, и вынула черненький, мохнатый комочек. Он сразу запищал, начал тыкаться носом в бабушкину ладонь. — Тоже жрать хочет, пятнай его! — через силу улыбнулась бабушка и с непривычной, какой-то детской беспомощностью поглядела на меня, на деда. И было в этом взгляде: «Ну, дура я, старая дура! Можете судить меня, казнить, мне уж все едино. Только хотела я как лучше...»

Никто ее судить и казнить не собирался.

— Где это тебе такую чуду Бог послал? — мирно прогудел дедушка. Он взял за загривок щенка двумя пальцами и поднял в воздух. Щенок разом замолк и только дрыгнул задними лапками, отыскивая опору.

— Породистый, видать, холера! Не орет, — заключил дедушка.

Дед сроду охотником не был, в собаках ничего не понимал, однако мы согласились с ним — щенок породистый, уж очень он лохмат и уши у него большие, вислые.

— Тащусь это я у домов отдыха, — рассказывала бабушка, уже привычным, напевным голосом, — а он, горюшко, копошится в снегу, еле уж слышно скулит. Выбросили его на мороз — околевать. До собак ли? Остановилась это я, смотрю на горюна и плачу, про Витьку нашего думаю. Не будь нас, так же околевать бы его выбросили... — Бабушка вытерла платком уж летучие, жалостливые слезы и начала раздеваться. — Счас я, счас, мужики. Из коровенки вытяну молочка. Не надо бы доить ее. Теленок замрет во чреве. Ну да последний раз. А вы пока гложите корку-то, гложите. А щененку-то, Витька, палец дай. Он и уймется. Не омманешь — не проживешь, так выходит, — заключила бабушка и сердито покосилась на раскроенный каравай. — Я скоро. — Она схватила подойницу с полатей и поспешила во двор, мы с дедом стали выдергивать из каравая, из корочек мякину. Самую большую, выпуклую, будто крышка черепа, корку мы отложили бабушке.

Щенок чмокал, шибко прижимая мой палец к ребристому нёбу, постанывал и дрожал от голодной истомы.

Вернулась бабушка, принесла на дне подойницы молока и первым делом плеснула щенку. Затем она вынула чугунок из печи, налила всем кипятку и забелила его молоком.

Мы макали корки в чай. Ел дедушка, ела бабушка, ел я, ел лохматый щенок. Он побрякивал банкой и захлебывался.

— Ишь ведь, язва, жрет, жре-от! Жить хочет! — сказала бабушка, глядя на щенка, и тут вздохнула: — Каждой Божьей твари жить надобно. Ничего, мужики, ничего, крута гора, да забывчива, лиха беда, но избычива. Выкарабкаемся. Коровенка, Бог даст, скоро отелится. Кольча хлеба заробит. Нам бы до весны, до травочки дотянуть... Наелся, место ишшэт. — Щенок дохлопал молоко язычишком, ходил кругами по кути на расползающихся ногах. — Ты его с собой на нечь возьми, заколел он, за всю жизнь не отогреется.

И я забрал щенка с собой на печку. Он заполз мне под мышку, угнездился там и заснул, грея меня своим, еле ощутимым дыханием. А я гладил его по кудрявой шерстке и размягченно думал о том, что «супостатам» отольются бабушкины слезы и что щенок вырастет, собакой сделается.

— Баб, а баб, а как мы его звать будем?

— Щененка-то? Да так и будем звать — Шариком. Он ведь ровно

шарик. Так и будем. Дрыхнет?

— Спи-ит. Под мышку забрался и спит. Щекотно мне от него.

— Пусть спит. И человека, и животину жалеть надо, батюшко, потому как у животной тоже душа есть. Памятливая душа. Добро животная пуще человека помнит. Мы вот Шарика отогрели, покормили. Множко ли ему надо-то? А в дому сразу легче сделалось. И помяни ты мое слово... — Бабушка прервалась, прислушалась к чему-то в темноте настороженно и разом снялась с кровати: — Ой, больше, Кольча-младший приехал! Отец, ты ничего не слышал?

— Да навроде бы ворота скрипели.

— Кольча это, Кольча! — уверенным уже голосом подтвердила бабушка и зашуршала юбкой. — А я еще вечер подумала... Вот! Вот он, Шарик-то! Знамение это мне вышло, в образе его ангел-спаситель явился...

Когда мы вышли с дедом на улицу, бабушка уже успела расцеловаться с Кольчей-младшим, что-то говорила ему, плакала, помогала снять котомку.

— Витенька! Живой!.. — шагнул ко мне Кольча-младший, поднял на руки, прижал к небритой щеке. — Вот и ладно! Вот и ладно! А я тебе гостинец привез!..

Хотя беда приходит пудами, но уходит золотниками, до весны, до травки мы все-таки дотянули, однако с машинкой «Зигнер» пришлось разлучиться. Променяли ее за мешок картошек — садить было нечего. Первый раз в том году садили наши селяне разрезанную на две, где и на четыре половинки картофелину и шибко сомневались в будущем урожае. В том году вообще много чего происходило и делалось в первый раз. Когда выносили машинку, бабушка ушла из дому и голосила будто по покойнику.

От травки до свежего хлеба и овощей было еще далеко — и как далеко — ведь каждый голодный месяц, да что там месяц, день — вечность, но все же легче сделалось жить.

Кольча-младший вступил в колхоз и женился другорядь. В нашем доме появилась песельница и хохотунья Нюра, беловолосая, легкая нравом, быстрая на ногу. Она пришлась мне по душе, и мы с нею сделались друзьями. Но с бабушкой у них не ладилось. Бабушка самолично сосватала Кольче-младшему невесту, степенную, смиренную, телом дебелиую. Я и потом не раз замечал, что люди генеральского склада души не чают в тех, у кого характер ангельски-тихий. Но времена, когда женили, а не женились, к великому огорчению бабушки, прошли. Как-никак город от нашего села находился всего в восемнадцати верстах, и хотя отгораживали его от нас утесы, скалы да перевалы, все равно вольный, безбожный его дух долетал к нам и переворачивал все вверх дном.

Бабушка кляла городское поветрие, сулила глад и мор, — стращала людей тем, что будут по небу летать железные птицы и огненные змии, что льдом и холодом покроется земля, как сказано в каком-то Писании, которого она не читала и читать не могла, потому как грамоты совсем не знала.

Глад наступил. Мор, хоть и небольшой, тоже был, железные птицы — аэропланы, летали над горами. Все сбывалось по бабушкиному Писанию. Напуганный жуткими предсказаниями, я забивался под крыльцо или на печку, когда аэропланы пролетали над селом. Однако боялись железных птиц старухи, я да еще кое-какие ребяташки, послабей пупком. Орлы дяди Левонтия ничего не боялись, и когда аэроплан гудел над селом, они, голозадые, высыпали на улицу, кричали в небо:

Ироплап, ироплан!
Посади меня в карман!
А в кармане пуста,
Выросла капуста!..

Корова благополучно отелилась. Кольча-младший и Нюра работали на посевной, им выдавали понемножку жита. Августа на сплавном участке вышла в ударники, ей надбавили паек. Теперь она подсобляла и нам маленько — через день отправляла порцию каши из столовки.

Вместе с Августой работал на сплаве дядя Ваня. За харчем к нему бегал Кеша. Через гору бегал, через ту самую, которую одолел я когда-то в новых штанах, нам он тоже попутно кашу доставлял.

Ни один уважающий себя чалдон, будь он хоть какого возраста, если есть рядом река и несет она бревна — пешком не пойдет, твердо зная, что вверх везет беда, вниз несет вода.

В летнюю пору все наши селяне плавали на саликах — двух, трех или четырех бревнах, сколоченных скобами либо связанных проволокой. Чаще на двух. Четыре — это уж роскошь. Приезжие люди зажмуривались от страха, узрев человека на двух бревнах посреди бешеной реки. Иной раз спасать выплывали и возвращались обруганные, сконфуженные, разводили руками.

Получив на сплавном участке пайку отца и Августы, Кеша связывал или сколачивал два бревна, пристраивал на них кастрюлю с ухой, в кастрюлю — чашку с кашей, в кашу — горбушку хлеба. Затем выбирал доску, какая полегче, и с таким «веслом» отбивал к селу, где я, бабушка и

Шарик ждали его. Поскольку за харчем бегал не один Кеша и плавать все любили, то скобы со сплавного участка все перетаскали, добрую проволоку извели.

Раз Кеша связал два толстых бревна заваливающим концом веревки и сначала плыл ладно, песню пел: «Налеко в стране Иркутской». Салик шел ходко, бухал в боны, в бревна. Но вот поволокло салик к Манскому быку. Бык этот выступал в реку, вода била в его каменный угол. Здесь, как у Караульного быка, имелся унырыш, только еще глубже, провальней. Клокочет, бурлит вода в унырыше и, взлохмаченная, мятая, кругами выбрасывается оттуда, мчится под нависшим брюхом ржавого утеса.

Кеша под Манским быком проплывал много раз, ничего не боялся, еще громче песню орал, чтоб эхо под скалой эхало. Но беда настигла его в самый неподходящий момент. Лопнуло весло. Обломком доски Кеша не урулил салик, его затащило под бык, стукнуло — и бревна разошлись — лопнула веревка. Кеша не о себе и не о салике хлопотал в ту гиблую минуту, о кастрюле с пайкой. Кастрюлю он сграбастал, не дал ей утонуть. Меж тем ушла от него половина салика. Остался Кеша на одном бревне и, чтобы не сверзиться в воду, сел на бревно верхом, спустил ноги в реку — и понесло его, завертело, как хотело, потому что рулить совсем нечем, в руках кастрюля, ноги бревно удерживают.

Сидим мы на берегу: я, бабушка и Шарик, пайку ждем. Я камни и воду бросаю, бабушка о чем-то думает. Шарик умильно смотрит на нее, хвостиком по гальке колотит, шебаршит, рассыпается галька.

Вдали показался человек вроде бы на салике, но почему-то без весла. Таскает человека, кружит, поворачивает то передом, то задом, о боны стучает, но он не гребется и никаких признаков жизни не подает. Бабушка смотрела, смотрела, давай ругаться:

— Опеть какой-то сорванец на лесине катится! Опеть балуется! Ну жиганы! Ну сорвиголовы! Тонут, гинут — все нейметя!..

У меня глаз поострее, вижу — Кеша это наш в аварию попал, как сказать бабушке, не придумаю. Между прочим, шумела бабушка для вида и порядка. Сама тоже на салике плавает. Положит котомку на бревна, перекрестится на известковый завод, на солнце-восход, усядется на салик и скажет:

— Отталкивай, батюшко! Восподи, баслови! — И я оттолкну ее, и она поплывет себе к городу, веселком погребая. Как увидит катер или пароход, закрестится, веслом машет: «Ходу! Ходу сбавляй!» — чтоб не смыло ее с бревен.

Все суровой смотрит на реку бабушка, все ближе братан подплывает.

— Тошно мне! — охнула бабушка, и ноги у нее подломились. — Да это, больше, Кешка наш? Что это, каторжанец, плаваш на одном бревне?..

— Вож-ж-жа-а-а ло-о-опнула-а-а! — заревел Кеша. — Ловите меня-а, а то пайку утоплю-у-у-у!

Столкнули мы с берега чью-то лодку, поймали Кешу ниже села. Еле пальцы его разжали — так он крепко держал кастрюлю за дужки. Бабушка и ругалась, и смеялась, и крестилась, Кеша носом хлюпал, сидя на нашей печке. Бабушка лечила его и, передавая внука «шорту» — дяде Ване, наказывала, чтоб он в кузне наковал скоб и сам бы делал Кеше салик, не то жиган этот пайку угодит, не ровен час, и сам решится.

Спала коренная вода на Енисее. Жалица, щавель, дикая редька, медуница, петушки и много чего выросло на лугах. Хлеб наподобие кирпичей стали печь в церкви, приспособленной под пекарню, и выдавать понемногу на каждого едока. Бабушка причитала и ругалась: изничтожение-де не только храма Божьего, но и женской половины началось. От печки баб устранили, стало быть, их на мыло переделывать надо. Зачем они? Хлеб, кирпичом который, она ни за что есть не станет, потому как он машиной воняет да и на хлеб вовсе не похож.

— Не блажи-ко ты, не блажи, — урезонил ее дедушка, — давно ли корке были рады?

Бабушка сразу на него, конечно, безбожником, «коммунистом» и аспидом называла, корила, что крестится он для блезиру — перед едой, чтобы не подавиться, да перед севом и сенокосом, чтоб удача была, потому и хлеб казенный есть ему можно, ей же не пристало «скоромиться».

— Ну, не ешь! — бубнил дедушка в бороду. — Сердилась старуха три года на мир, а мир того не заметил.

Бабушка сделала вид, будто не расслышала дедушкиного ехидства, скоро, однако, и хлеб, кирпичом который, потихоньку да полегоньку пощипывать стала и незаметно к нему привыкла, оправдываясь:

— Люба пицца от Бога, а этот хлебушек в святом месте к тому же испеченный, стальной, вовсе пицца Божья...

Шарик, которого бабушка звала насмешливо ангелом-хранителем, внимательно ее слушал и со всем, как есть со всем, что она говорила, соглашался и, как бы подводя итог, стучал хвостиком: «Совершенная истина! Ну, из совершенных совершенная!..» Между Шариком и бабушкой шла постоянная, затяжная борьба, в которой победы чаще одерживал Шарик. Главная цель в жизни Шарика — пробраться в избу, вылакать у кошки молоко и помочиться на веник под рукомойником.

Когда Шарик рос, его все как попало обзывали, тискали, чесали ему

пузо. Он опрокидывался вверх лапами перед каждым встречным-поперечным, и никто не мог пройти мимо Шарика, любой и каждый чесал его сытое, пыльное пузо.

— Чтоб ты сдох! — говорили Шарiku. — Экая ты падла! Экая балованная тварь!

Шарик жмурился, высовывал кончик красного языка от блаженства, потешно дрыгал задней лапой. Не думаю, чтоб Шарик понимал, что ему говорили, но одно он усвоил твердо: чем глупей, чем придурковатей себя вести, тем выгодней и лучше прожить на нынешнем свете можно.

Однако в таком селе, как наше, одной придурью не обойдешься. Нужна еще и осторожность. Она пришла к Шарiku не сразу. Тот не охотник, тот не хозяин считался у нас, кто не держал свору собак. И каких собак! Во время голода поредела банда наших псов, но как только полегчало с едой, снова во дворах забрехали собаки, снова начали они шляться по селу. Собак у нас держали только лаек, на людей лайки не бросаются, зато меж собой грызутся постоянно.

Шарика отсталые сельские псы принимали за диковинную зверушку и постоянно дежурили у наших ворот, чтоб скараулить эту зверушку и разорвать. В подворотне все время торчали три-четыре собачьих носа. Псы втягивали воздух, рычали, скалились. Шарик, миролюбиво подергивая хвостиком, подползал на брюхе к воротам, чтобы поиметь знакомство и войти в собачью семью добрым другом и товарищем.

Добром это кончиться не могло. Однажды за нашими воротами поднялся страшный вой, визг, лай.

— Тошно мне! — закричала бабушка и помчалась из дому. — Шарика вертят! Шарика вертят!.. Цыть! Язвило бы вас! Цыть! Волки ободранные!..

Принесли Шарика из-за ворот на руках, почти бездыханного, слабо постанывающего. Бабушка облепила бедолагу опарой, листьями подорожника, завернула его в старую шубу. Несколько дней Шарик лежал на печи, больной и тихий.

— Я-ли тебе не говорила? Я ли тебя не упреждала? — выговаривала бабушка Шарiku. — Не лезь за ворота, не лезь! Так-то ты меня послушал? Так-то ты моему наказу внял?

Шарик слабенько колотил хвостом, что, дескать, поделаешь, промашка вышла. Хотел по-доброму в коллектив войти, вон люди и те в колхоз объединяются...

Вот тогда-то, во время болезни, донельзя изнеженный Шарик повадился есть у кошки молоко и ходить на веник. Уж как ни стерегла, как ни караулила бабушка Шарика, он все равно улавливал свой момент.

— Я те удозорю! Все едино удозорю и носом натычу! — грозились бабушка, и, надо сказать, настойчива она была в достижении цели.

Вот Шарик вылез из-под кухонного стола, потянулся — бабушка лук-батун в окрошку режет и на пса никакого внимания. Шарик ткнулся в кошачью посудину — нет там молока, он его уж подчистил. Шарик побренчал банкой и подался к рукомойнику. Бабушка лук режет, но вся она настороже. Понюхав веник, Шарик отошел от рукомойника, подумал, подумал и плюхнулся на брюхо среди кути, полежал, полежал, поднялся и снова к венику. Бабушка резко обернулась. На лице ее гнев и торжество. Шарик нюхал веник с невинной мордой. Повернувшись к бабушке, он подрыгал хвостиком: что тут такого особенного? Уж и веник не понюхай!

— Ну не бес ли? Не выжига?! — бессильно упала на скамейку бабушка.

Шарик смело протянул бабушке лапу.

— А подь ты к лешему? — оттолкнула она баловня. — Ловок ты, ловок! Да и я, брат, не лопуха! Я все едино тебя удозорю и натычу, натычу!..

Шарик полон внимания. Он слушал и в то же время поглядывал на жестяную банку — плеснула бы, дескать, молочишка, чем попусту болтать.

— Да на уж, облизень!

Через какое-то время дверь избы распахнулась настезь — это Шарик, разбежавшись, навалился на нее и был таков!

— Напрудил ведь! Напрудил! — простонала бабушка, глянув под рукомойку. И начинался поиск — под навесом, в амбаре, в стайке, под крыльцом. У бабушки в руке хворостина. Бабушка переполнена возмущением через край, но, смиряя себя, звала нежно, воркующе:

— Шаря, Шаря! Иди-ко, миленький, иди-ко, я те молочка дам, молочка-а-а-а! Шарик ни мур-мур. Шарик сквозь землю провалился.

— Тьфу! — плюнула бабушка и отбросила хворостину. — Лучше домой не являйся, нечистый дух!

Шарик объявлялся в ту пору, когда бабушка уж поостынет и гнев ее пойдет на убыль. Шарик вежливо скребется лапой в дверь, попискивает:

— Не пуцу я тебя, супостата, в избу! Не пуцу! — Шарик затих, успокоился. Ему главное сейчас — слышать голос, почуять, до какой степени еще раскален человек.

Управившись с делами, бабушка брала батог — для обороны и следовала по селу, проведать своих многочисленных родичей, нужно где чего указать, где в дела вмешаться, кого похвалить, кого побранить. В одном доме промолчат, в другом огрызнутся, в третьем, глядишь, и отпугат

бабушку, генералом обзовут. Часто прибывала она с причитаниями домой, клялась, что ноги ее не будет до скончания века в таком-то и таком-то дому, у таких-то и таких-то дочерей и зятьев.

— Отгостевала! — бурчал дедушка.

Следом за бабушкой из дома в дом таскался Шарик. Следом за ним крались деревенские псы, храпели издали, пугая Шарика. Но бабушка не давала своего ангела-хранителя в обиду. Если какой отчаянный пес и выкатывался из подворотни и, невзирая на батог, сшибал Шарика на землю, бабушка хватала его в беремья.

Были живы и не затухли в Шарике охотничьи страсти. Он все время пытался подобраться к курицам и, хотя не изловил ни одной, поползновения свои не оставлял. Когда появились во дворе цыплята, у бабушки возник новый участок борьбы.

Длинный летний вечер. Двери избы распахнуты, окна в горнице открыты. Дед, как всегда, что-то мастерил под навесом. Бабушка молилась, стоя на коленях перед иконостасом в горнице. Я видел сквозь листья герани и завесы красных сережек, как голова ее то возникала за цветками, то опускалась ниже окна.

— Мира Заступница, Мати всенежная, я пред Тобою, грешница, мраком одетая. Ты меня благодатью покрой, если постигнет скорбь и страдание... — Все чаще и чаще мелькала бабушкина голова в окне, слышно было, как она бухалась лбом об пол и голос ее уже на слезе. Мне казалось, бабушка знала, что дед слышал ее, и потому она прибавляла прыти в молитве, чтоб пронять его, доказать, какая она усердная в веровании, а он — грешник, но она по доброте своей и его грехи замолит. — Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющимся на тя. Да не погибнем мы, да избавимся от бед, ты бо еси спасение... Ша-а-рик, падина такая! Я вот тебе! — Забрэнчала бабушка в раму. Продолжая молиться, она торопливо бормотала, часто в замешательстве крестилась:

— Сбил ведь, сбил, нечистый дух! — Бабушка шевелила губами, вспоминая молитву, и вот громко, обрадованно попела дальше, перескакивая с пятого на десятое, толкуя молитвы на свои лад, приспособливая их к своей нужде.

— И рече ему Пресвятая Богородица: Сыне Мой и Бог Мой. Человеку, который аще похощет от чистого сердца... избавлю его вечные муки огня неугасимого, червю неусыпанного, ада преисподнего. Еще человек в дому своем в чистоте содержит, то в том дому будет рабам здравие, скоту прибиток, к тому дому не прикоснется ни огонь, ни тать...

Бабушка чем дальше, тем самозабвенней колотилась лбом об пол. При этом она одним глазом смотрела слезно на Мати Божию, другим сурово следила за Шариком, который полз меж срубом подвала и заплотом к цыпушкам, укрывшимся в жалице вместе с курницей-паруньей. Как только Шарик приближался, курица топорщилась, клохтала, дергаясь головой, и, взъерошенная, с индюшку почти сделавшаяся, налетала на Шарика, и он задавал стрекача.

Шарик устраивал спектакль, — не давал бабушке молиться. Он не мог долго быть без нее, выманивал бабушку на улицу. Не выдержав испытания, бабушка выскакивала на крыльцо, воздевала руки к небу, ругала подлую псину распоследними словами, топала ногою, плевалась. Шарик полз к ней на брюхе, колотил хвостом по земле: виноват, виноват, но ничего с собой поделать не могу...

И если эта история, так горько и печально начавшаяся, заканчивается по-другому, в том повинен тоже Шарик — лукавая, глупая и преданная собака.

Мальчик в белой рубахе

В том же тридцать третьем году случилась в нашей родне страшная и непоправимая беда.

Второе подряд лето выдалось засушливое. Рано вызорились, начали переспевать и осыпаться хлеба. Население села почти поголовно переселилось на заимки — убирать не везде убитую зноем рожь, поджаристую, низкорослую пшеницу с остистым колосом, уцелевшую в логах и низинах.

Улицы села обезлюдели. По ним беспризорно бродили мослатые телята, сипло блажили ссохшимися глотками плохо продоенные детишками и старухами коровы, которые шибко маялись тем летом и мало давали молока. В жару разводится много ос, тварь эту коровы сжевывают вместе с травой, и которую не дожуют, та шибко кусает кишки и брюшину, пока не сдохнет, корова дичает, дергается, перестает есть, теряет молоко. Бабушка стругала в пойло луковки борца, кормила корову с заслонки, чтоб «заслонить» от худого глаза и хворей. Вяло пурхались в пыли несколько куриц возле нашего двора. Шарик вырос и стал себя вести беспокойно, ночами за околицей выли одичавшие собаки, он подвывал им. порой переходя на горькое рыдание, — сердце рвало, вот как он рыдал, накликаая, по мнению бабушки, неминуемую беду.

И накликал.

Верстах в шести от села, на Фокинском улусе, страдовала тетка Апронья, оставив дома ребятишек: Саньку, Ванюху и Петеньку. Саньке весной пошел седьмой год, у Ванюхи на исходе шестой, Петеньке и четырех еще не минуло.

Вот эта-то компания, задичавшая без взрослого присмотра и стосковавшаяся по родителям, решила податься на пашню к матери. У мужчин такого возраста колебаний, как известно, не бывает, и коли они что замыслили, то уж непременно и осуществят.

Каким образом шла троица парней, где сил набралась и бесстрашия — объяснить трудно. Может, и впрямь Всевышний ей пособил добраться до места, но скорее всего — смекалка деревенских детей, сызмальства привыкших жить своим трудом и догадливостью.

На пути мальчишки преодолели горную речку, пусть и мелкую, но с завалами; затем — таежную седловину с каменными останцами и горбатинами, пока скатились по обвальному спуску в ущелье, где нет воды,

но дополна раскаленного острого камешника, принесенного потоками во время вешпеводья, миновали раскаленное ущелье, уморившее в камнях траву и все живое, кроме змей и ящерок. Ниточка дороги, разматываясь, привела их на убранные покосы, затем — в пыльные, проплешисто зажелтевшие овсы.

Долго еще оборачивались ребяташки назад, на тайгу, на ущелье, радуясь тому, что выбрались они на свет, и хотя их мучил зной, идти сделалось веселей. И они добрались-таки до заимки, попили студеной водицы, заботливо охлопали пыль с головы и с рубахи младшего братишки, присели отдышаться в холодке, под навесом, крытым чапыжником и соломой, да и задремали.

Очень устали Санька и Ванюха — поочередно несли в гору Петеньку на закукорках. А он такой тяжелый — долго грудь тянул, вот и набузовался пузан молочком-то мамкиным. Ближе к заимке, когда Петенька начал садиться в пыль и хныкать, отказываясь следовать дальше, мальчишки увлекали его разными штуковинами, виднеющимися впереди: то суслика показывали, попиком стоявшего у норы, то пустельгу, парящую над сухо шелестящим лугом, то дымящуюся в скалистом провале чистоводную Ману, в которой сколько хочешь холодной-прехолодной, сладкой-пресладкой воды, и надо только ноги быстрее переставлять, как сей же момент окажешься на берегу, попьешь и побрызгаешься.

Но настала пора, когда ребенок совсем выбился из сил и никакие уговоры и заманивания на него не действовали. Он плюхнулся на дорогу решительно и молча. И тогда смекалистые парнишки употребили последнее средство: они показывали ему на желто скатывающуюся с крутого косолобка полосу, где виднелись работающие люди: «Мама там. Она теплую шанежку и шкалик молочка Петеньке припасла».

Петенька сразу этому поверил, сглотнул слюну, поднялся, дал братьям руки и, с трудом переставляя разбитые ноги, двинулся к Фокинскому улусу.

Забыли братья обманную уловку, а Петенька помнил и про маму, и про шанежку, и про шкалик с молоком, и, когда братья сморенно заснули под навесом, он вышел за ворота заимки, подрубив ладошкой ослепляющий свет закатывающегося к вечеру солнца, высмотрел желтую полосу и потащился туда. Там и на самом деле жала рожь и вязала снопы его мать.

Не ведала, не знала она, что явились самовольно на заимку ее сыновья-разбойники и младшенький к ней потопал. И притопал бы, да попал он в водомоину, что тянулась вдоль дороги. В рытвине той было мягко ногам — песок в ней и мелкая галька. Чем выше поднималась водомоина, тем уже и глубже делалась она, и по подмытому ли,

обвалившемся закрайку, по вешнему ли желобку, пробитому снеговицей к придорожной канаве, Петенька убрел от дороги.

Не угодил он на расплеснувшуюся по горному склону полосу жита, где до звона в голове пропеченная солнцем, оглохшая от усталости хруско резала серпом ржаные стебли его мать, в узелке под кустиком хранилась припасенная Петеньке картовная шанежка и кринка пахучей лесной клубники, утром по росе набранной.

Скорей бы упряг одолеть, скорей бы солнце закатилось — и жница с поля напрямки побежит в село через гору — гостинец ребятишкам принесет. То-то радости будет! Как-то они там, соловьи-разбойники? Не подожгли бы чего. В реке не утонули бы...

Обычные крестьянские думы и тревоги, укорачивающие знойный день, гасящие время, скрашивающие нудь однообразного нелегкого труда. Нет, не предсказывало материнское сердце беды. Глохнут, притупляются чувства и предчувствия у тяжело уставшего человека. Лишь праздным людям снятся диковинные сны и мучают их сладкие, загадочные или тревожные предчувствия.

Она связала свою норму снопов, составила их в суслоны и выпрямилась, растирая задубевшую поясницу, думая о том, что в дороге, глядишь, разомнется, как к речке спустится, лицо и ноги ополоснет — совсем от одури очнется...

И тут она увидела Санькину кудлатую голову в недожатках, за Санькой и Ванюха вперевалку тащился. Рубаха у него будто выкушена на брюхе, даже криво завязанный пупок видать. Старшенького Мухой кличут — легкий он, жужливый, непоседливый. Ванюха воловат, добр, песни петь любит, но как разозлится — почернеет весь, ногами топает, руку себе кусает. Быком его дразнят. У младшенького нет пока ни характера, ни прозвища. У него еще и хрящик-то не везде окостенился. Он и грудь-то материнскую вот только-только перед страдой мусолить перестал...

— Парни-то мои идут! Ножонками чапают! Муха-то моя жужжит, ягоду медову ишшет. Бычок мычит — молочка хочет! — запела мать, встречая сыновей и на ходу выдавливая им носы, смахивала пыль со щек, рубашонки застегивала, узелок свой разобрала: шанежку разломил, по кусочку ребятам сунула, ягод в потные ладошки сыпанула — ешьте, милые, питайтесь, славные. Как там малый-то наш, несмышленьш-то, без матери живет-поживает?

— А он к тебе ушел...

Много дней кружила мать вокруг полей, кричала, пока не обезголосила и не свалилась без сил наземь. Колхозная бригада рыскала по всем

окрестным лесам. После всем селом искали Петеньку, но и лоскутка от рубахи мальчика не нашли, капельку крови нигде не увидели.

— Взял его, невинного и светлого, к себе во слуги-ангелы Господь Бог, — заверяли падкие на суеверия и жуткую небылицу старухи.

Тетка моя, потрясенная горем, заподозрила в худом соседей, якобы имевших на нее «зуб», вышел-де несмышленьш-парнишонка на покос, там собаки соседские, и бросился он от них бежать. А от охотничьих собак бегать нельзя. Разорвали они мальчика. Вот соседи-то шито-крыто и сделали; под зарод, который метали в те поры, ребенка положили, зимою, когда сено вывезли, в снег его перепрятали, и там уж его зверушки доточили.

Но мужики прежде, задолго до жатвы, к Ильину дню, ставили сена на место, и не могли соседи быть в лугах, да и лайки сибирские — разумные собаки, никогда на людей, тем более на детей, не бросаются, разве что бешеные.

Внуков вынянчила моя тетка от Саньки и Ванюхи: много повидала она за свою нелегкую жизнь, близких людей сколько теряла и хоронила — не счесть; двух мужей, отца, мать, сестер, братьев и малых детей приходилось провожать на тот свет. Однако поминает она их редко, оплачет, как положено, в родительский день на кладбище и успокоится. Оплаканы, преданы земле люди — значит, душа их успокоена, на своем вечном она месте.

Но где же, в каких лесах, в каких неведомых пространствах беспризорно бродит неприятная детская душа?..

Сорок с лишним лет минуло, но все слышит мать ночами легкие босые шажки, протягивает руки, зовет, зовет и не может дозваться маленького сына, и сон ее кончается всегда одинаково: ввысь, по горной дороге, меж замерших хлебов, осиянный солнечным светом, уходит от нее маленький мальчик в белой рубахе...

Осенние грусти и радости

На исходе осени, когда голы уже леса, а горы по ту и другую сторону Енисея кажутся выше, громадней, и сам Енисей, в сентябре еще высветлившийся до донного камешника, со дна же возьметса сонною водой, и по пустым огородам проступит изморозь, в нашем селе наступает короткая, но бурная пора, пора рубки капусты.

Заготовка капусты на долгую сибирскую зиму, на большие чалдонские семьи — дело основательное, требующее ежегодной подготовки, потому и рассказ о рубке капусты поведу я основательно, издалека.

Картошка на огородах выкопана, обсушена и ссыпана на еду — в подполье, на семена и продажу — в подвал. Морковь, брюква, свекла тоже вырезаны, даже редьки, тупыми рылами прорывшие обочины гряд, выдернуты, и пегие, дородные их тела покоятся в сумерках подвала поверх всякой другой овощи. Про овощ эту говорят в народе все как-то с насмешкой: «Чем бес не шутит, ныне и редька в торгу! В пост — редьки хвост!» Но вот обойтись без нее не могут, особенно после гулянок и при болезнях, когда требуется крепить дух и силу.

Хлеб убран, овощи при месте, ботва свалена в кучи, семя намято, путаные плети гороха и сизые кусты бобов с черными, ровно обуглившимися стручками брошены возле крыльца — для обтирки ног.

Возишь по свитым нитям гороха обувкой и невольно прощупываешь глазами желтый, в мочалку превращенный ворох, вдруг узрешь стручок, сморщенный, белый, с затвердевшими горошинами, и дрогнет, сожмется сердце. Вытрешь стручок о штаны, разберешь его и с грустью высыплешь ядрышки в рот и, пока их жуешь, вспоминаешь, как совсем недавно пасся в огороде на горохе, подпертом палками, и как вместе с тобою пчелы и шмели обследовали часто развешанные по стеблям сиреневые и белые цветочки, и как Шарик, всеядная собака, шнырял в гороховых зарослях, зубами откусывал и, смачно чавкая, уминал сахаристые гороховые плюшки.

Теперь Шарика на грязный, заброшенный огород и калачом не заманишь. Одна капуста на огороде осталась, развалила по грядкам зеленую свою одежду. В пазухи вилок, меж листьев налило дождя и росы, а капуста уж так опилась, такие вилки закрутила, что больше ей ничего не хочется. В светлых брызгах, в лености и довольстве, не страшась малых заморозков, ждет она своего часа, ради которого люди из двух синеватых листочков рассады выхолили ее, отпоили водою.

Среди огорода стоит корова и не то дремлет, не то длинно думает, тужась понять, почему люди так изменчивы в обращении с нею. Совсем еще недавно, стоило ей попасть в огород, они, как врага-чужеземца, гнали ее вон и лупили чем попало по хребту, ныне распахнули ворота — ходи сколько хочешь, питайся.

Она сперва ходила, бегала даже, задравши хвост, ободрала два вилка капусты, съела зеленую траву под черемухой, пожевала вехотку в предбаннике, затем остановилась и не знает, что дальше делать. От тоски, от озадаченности ли корова вдруг заушает, заблажит, и со всех огородов, из-за конопляных и крапивных меж ей откликнутся такие же, разведенные с коллективом, недоумевающие коровы.

Куры тоже днем с амбара в огород слетают, ходят по бороздам, лениво клюют и порошат давно выполотую траву, но больше сидят, растопорщившись, с досадою взирают на молодых петушков, которые пыжятся, привстают на цыпочки, пробуют голоса, да получается-то у них срамота, но не милая куриному сердцу, атаманская песня задиры петуха.

В такую вот унылую, осеннюю пору пробудился я утром от гула, грома, шипения и поначалу ничего разобрать и увидеть не мог — по избе клубился пар, в кути, будто черти в преисподней, с раскаленными камнями метались человеки.

Поначалу мне даже и жутко сделалось. Я за трубу спросонья полез. Но тут же вспомнил, что на дворе поздняя осень и настало время бочки и кадушки выбучивать. Капусту солить скоро будут! Красота!

Скатился с печки и в куть.

— Баб, а баб... — гонялся за угорелой, потной бабушкой. — Баб, а баб?..

— Отвяжись! Видишь — не до тебя! И каку ты язву по мокрому полу шлендаешь? Опеть издыхать начнешь? Марш на печку!..

— Я только спросить хотел, когда убирать вилки. Ладно уж, жалко уж...

Я взобрался на печь. Под потолком душно и парко. Лицо обволакивало сыростью — дышать трудно. Бабушка мимоходом сунула мне на печь ломоть хлеба, кружку молока.

— Ешь и выметайся, — скомандовала она. — Капусту завтра убирать, благословесь, начнем.

В два жевка съел горбушку, в три глотка молоко выпил, сапожишки на ноги, шапчонку на голову, пальтишко в беремя и долой из дому. По кути пробирался ощупью. Везде тут кадки, бочонки, ушаты, накрытые половиками. В них отдаленно, рокотно гремит и бурлит. Горячие камни

брошены в воду, запертые стихии бушуют в бочках. Тянет из них смородинником, вереском, травую мятой и банным жаром.

— Кто там дверь расхабарил? — крикнула бабушка от печки.

В устье печки пошевеливалось, ворочалось пламя, бросая на лицо бабушки багровые отблески.

На улице я аж захлебнулся воздухом. Стоя на крыльце, отпыхиваясь, рубаху тряс, чтоб холодком потную спину обдало. Под навесом дедушка в старых бахилах стоял у точила и одной рукой крутил колесо, другой острил топор. Неловко так — крутить и точить. Это ж первейшая мальчишеская обязанность — крутить точило!

Я поспешил под навес, дед без разговоров передал мне железную кривую ручку. Сначала крутил я бойко, аж брызгала из-под камня точила рыжая вода. Но скоро пыл мой ослабел, все чаще менял я руку и с неудовольствием замечал — точить сегодня много есть чего: штук пять железных сечек да еще ножи для резки капусты, и, конечно, дед не упустит случая и непременно подправит все топоры. Я уж каялся, что высунулся крутить точило, и надеялся тайно па аварию с точилом или какое другое избавление от этой изнурительной работы.

Когда сил моих осталось совсем мало и пар от меня начал идти, и не я уж точило крутил, точило меня крутило, звякнула щеколда об железный зуб и по дворе появился Санька. Ну прямо как Бог или бес этот Санька! Всегда появляется в тот миг, когда нужно меня выручить или погубить.

Насколько возможно, я бодро улыбался и ждал, чтоб он поскорее попросил ручку точила. Но Санька ж великая язва! Он сначала поздоровался с дедом, потолковал с ним о том о сем, как с ровней, и только после того как дед кивнул в мою сторону и буркнул: «Подмени работника». Санька небрежно перехватил у меня ручку, играючи, завертел ее, закрутилось, завертелось, зашипело точило, начало выхлестывать воду из корытца, дед приподнял топор:

— Полегче, полегче! Жало вывожу.

Я сидел на чурбаке. Мне все это немножко обидно было видеть и слышать.

— А мы скоро капусту рубить будем.

— Знаю. Катерина Петровна и наши бочки выпаривает. Мы помогать званы.

Да, конечно, Саньку ничем не удивишь. Санька в курсе всех наших хозяйственных дел и готов трудиться где угодно, с кем угодно, только чтоб в школу не ходить. Ему неуды за поведение ставят и записки учитель домой пишет. Прочитавши записку, тетка Васенья беспомощно хлопала глазами,

потом гонялась с железной клюкой за Санькой. Дядя Левонтий, если трезвый, показывал сыну руки в очугунелых мозолях, пытался своим жизненным примером убедить сына, как тяжело приходится добывать хлеб малограмотному человеку. Пьяный же дядя Левонтий неизменно спрашивал таблицу умножения у Саньки:

— Матрос! Братишка! — поднимал он палец, настраиваясь лицом на серьезное учительское выражение. — Сколько будет пятью пять? — и тут же сам себе с нескрываемым удовольствием отвечал: — Тридцать пять!

И бесполезно доказывать дяде Левонтию, что не прав он, что пятью пять совсем не тридцать пять. Дядя Левонтий обижался на какие-либо поправки, принимался убеждать, что он человек положительный, трудовой, моряком был, в разные земли хаживал и захудал маленько сейчас вот только, но прежде с ним капитан парохода за ручку здоровался, и какой-то большой человек часы ему со звоном на премию выдал, за исправную службу. Правда, потом с парохода его списали, и часы он с горя пропил, но все равно не переставал гордиться собою.

Санька меж тем потихоньку уматывал из дому. Дядя Левонтий с претензиями к тетке Васене повертывался — неправильно воспитывает детей, нет порядку на корабле! Васеня ж с претензией обратной, и пока шумели друг на дружку муж с женою, то уж окончательно забывали, с чего все возмущение вышло, и воспитание Саньки на этом заканчивалось.

Кого почитал и побаивался Санька в селе, так это моего дедушку, без которого он и дня прожить не мог. Санька всякую работу исполнял так, чтобы дедушка одобрительно кивнул или хоть взглянул на него, тогда он гору мог своротить, чтоб только деду моему потрафить.

И когда мы начали убирать капусту, Санька такие мешки на себе таскал, что дед не выдержал, укорил бабушку:

— Ровно на коня валишь! Ребенок все же!

Слово «ребенок» по отношению к Саньке звучало неубедительно как-то, бабушка, конечно же, дала деду ответ в том духе, что своих детей он сроду не жалел, чужие всегда ему были милее, и что каторжанца этого и жигана, Саньку, он балует больше, чем родного внука — меня, значит, — но вилок в мешок бросала поменьше. Санька потребовал добавить ношу, бабушка покосилась в сторону деда:

— Надсадишься! Ребенок все же...

— Ништя-а-ак! Наваливай, не разговаривай! — Нетерпеливо перебирая ногами, Санька жевал с крепким хрустом белую кочерыжку. Бабушка добавила ему вилок-другой и подтолкнула в спину:

— Ступай, ступай! Будет.

Санька игогокнул, взглянул и помчался с огорода во двор. На крыльцо он взлетел рысачком и, раскатившись в сенках, с грохотом вывалил вилки. Я мчался следом за ним с двумя вилами под мышками, и мне тоже было весело. Шарик катился за нами следом, гавкал, хватал за штаны зубами, курицы с кудахтаньем разлетались по сторонам.

Последние вилки вырубали уже за полдень и бросали их в предбанник. Бабушка убежала собирать на стол, мужики присели на травянистую завалинку бани отдохнуть и слышали в небе гусиный переклик. Все разом подняли головы и молча проводили глазами ниточку, наискось прошившую небо над Енисеем. Гуси летели высоко над горами, и мне почему-то чудилось, что вижу я их во сне, и, как будто во сне же, все невнятной, все мягче становился отдаляющийся гусиный клик, ниточка тоньшала, пока вовсе не истлела в красной, ветреную погоду предвещавшей заре.

От прощального ли клика гусей, оттого ли, что с огорода была убрана последняя овощь, от ранних ли огней, затлевших в окнах близких изб, от коровьего ли мыка, сделалось печально на душе. Санька с дедом тоже погрустнели. Дед докурил сигарку, смял ее бахилом, вздохнул виновато, как будто прощался не с отслужившим службу огородом, а покидал живого приболевшего друга: огород весь был зябкий, взъерошенный, в лоскутках капустного листа, с редкими кучами картофельной ботвы, с обнаженными, растрепанными кустами осота и ястребинника, с прозористыми, смятыми межами, с сиротски чернеющей черемухой.

— Ну вот, скоро и зима, — тихо сказал дед, когда мы вышли из огорода, пустынно темнеющего среди прясел. Он плотно закрыл створку ворот и замотал на деревянном штыре веревку. Забылся дед — нам ведь еще из предбанника вилки капусты брать, пускать корову пастись на объедках, она часами будет стоять недвижно среди захламленной земли и время от времени орать на всю деревню — тоскуя по зеленым лугам, по крепко сбитому рогатому табуну.

Утром я убежал в школу, с трудом дождался конца уроков и помчался домой. Я знал, что в нашем доме сейчас делается, что полна горница вольной вольницы, мне там быть позарез необходимо.

Еще с улицы услышал я стук сечек, звон пестика о чугунную ступу и песню собравшихся на помощь женщин:

Злые люди, ненавистные
Да хочут с милым ра-а-азлучи-ить...

Ведет голос тонкий, звонкий — аж в ушах сверлит. И вдруг словно обвал с горы:

Э-эх, из-за денег, из-за ревности
Брошу милова-а-а люби-и-ить...

Никакая помощь без выпивки не бывает. Оттого и поют так слаженно и громко женщины — дернули по маленькой, чтобы радостней трудилось и пелось.

В два прыжка вымахнул я на крыльцо, распахнул дверь в куть. Батюшки-светы, что тут делается! Народу полна изба! Стукоток стоит невообразимый! Бабушка и женщины постарее мнут капусту руками на длинном кухонном столе. Скрипит капуста, будто перемерзлый снег под сапогами. Руки у этих женщин до локтей в капустном крошеве, в красном свекольном соку. На столе горкой лежат тугие белые пласты, здесь же морковка, нарезанная тонкими кружочками, и свекла палочками. Под столом, под лавками, возле печи навалом капуста. На полу столько кочерыжек и листа, что и половиц не видно: возле дверей уже стоит высокая капустная кадка, прикрытая кружком, задавленная огромными камнями, из-под кружка выступил мутный свекольный сок. В нем плавают семечки аниса и укропа — бабушка чуть-чуть добавляет того и другого — для запаха.

Вязко сделалось во рту.

Я вознамерился хватанугь щепотку капусты из кадки, да увидел меня Санька, поманил к себе. Он находился не среди ребятни, которая, я знаю, ходит сейчас на головах в средней и в горнице. Он среди женщин. Взгляд Саньки солов. Видать, подали Саньке маленькую женщины, или он возбуждился от общего веселья. Колотит Санька пестиком так, что ступа колоколом звенит на весь дом, разлетаются из нее камешки соли.

Витька-титька — королек,
Съел у бабушки пирог!
Бабушка ругается,
Витька отпирается!.. —

подыгрывая себе пестиком, грянул Санька.

Я так спешил домой, так возгорелся заранее той радостью, которая, я

знал, была сегодня в нашей избе, а тут меня окатили песней этой насчет пирога, который я и в самом деле как-то унес и с этим же Санькой-живоглотом разделил. Но когда это было! Я уж давно раскаялся в содеянном, искупил вину. Но нет мне покоя от песни клятой ни зимой, ни летом. Хотел я повернуться и уйти, но бабушка вытерла руки о передник, погрозила Саньке пальцем, тетка Васенья смазала Саньку по ершистой макушке — и все обошлось.

Бабушка провела меня в среднюю, сдвинула на угол стола пустые тарелки, рюмки, дала поесть, затем вынула из-под лавки бутылку с вином, на ходу начала наливать в рюмку и протяжно, певуче приговаривать:

— А ну, бабоньки, а ну, подруженьки! Людям чтоб тын да помеха, нам чтоб смех да потеха!

Одна сечка перестала стучать, другая, третья.

— Штабы кисла, не перекисла, штабы на зубе хрустела!

— Штабы капуста была не пуста, штабы, как эта рюмочка, сама летела в уста!

— Мужичу моему она штабы костью в горле застревала, а у меня завсегда живьем катилась!.. — ухарски крикнула тетка Апроня, опрокинула рюмку и утерлась рукавом.

Бабы грохнули, и каждая из них, выпив рюмочку, сказала про своего мужика такое, чего в другой раз не только сказать, но и помыслить не посмела б.

Мужикам в эту избу доступа сегодня не было и быть не могло. Проник было дядя Левонтий под тем видом, что не может найти нужную позарез вещь в своем доме, но женщины так зашумели, с таким удальством поперли на него, замахиваясь сечками и ножиками, что он быстренько, с криком: «Сдурели, стервы!» — выкатился вон. Однако бабушка моя, необыкновенно добрая в этот день, вынесла ему рюмашку водки на улицу, и он со двора крикнул треснутым басом:

— Э-эй, пал-лундр-ра! Пущай капуста такая же скусная будет.

Я наскоро пообедал и тоже включился в работу. Орудовал деревянной толкушкой, утрамбовывал в бочонке нарубленную капусту, обдирал зеленые листья с вилок, толк соль в ступе попеременно с Санькой, скользил на мокрых листьях, подпевал хору. Не удержав порыву, сам затянул выученную в школе песню:

Распустила Дуня косы,
А за нею все матросы!
Эх, Дуня, Дуня, Дуня, я,

Дуня — ягодка моя!

— Тошно мне! — всплеснула бабушка руками. — Работник-то у меня чё выучил, а? Ну грамотей, ну грамотей! Я от похвалы возликовал и горланил громче прежнего:

Нам свобода нипочем!
Мы в окошко кирпичом!
Эх, Дуня, Дуня, Дуня, я,
Дуня — ягодка моя!..

Меж тем в избе легко, как будто даже и шутейно, шла работа. Женщины, сидя в ряд, рубили капусту в длинных корытах, и, выбившись из лада, секанув по деревянному борту, та или иная из рубщиц заявляла с громким, наигранным ужасом:

— Тошно мне! Вот так уработалась! Ты больше не подавай мне, тетка Катерина!

— И мне хватит! А то я на листья свалюсь!

— И мне!

— Много ль нам надо, бабам, битым, топтаным да изработанным...

— Эй, подружки, на печаль не сворачивай! — вмешивалась бабушка в разговор. — Печали наши до гроба с нами дойдут, от могилы в сторону увильнут и ко другим бабам прилипнут. Давайте еще споем. Пущай не слышно будет, как воем, а слышно, как поем. Гуска, заводи!

И снова вонзился в сырое, пропитанное рассолом и запахом вина, избыное пространство звонкий голос тетки Августы, и все бабы с какой-то забубенностью, отчаянием, со слезливой растроганностью подхватывали протяжные песни.

Вместе со всеми пела и бабушка, и в то же время обмакивала плотно спрессовавшиеся половинки вилок в соленую воду, укладывала их в бочку — толково, с расчетливостью, затем наваливала слой мятого, отпотевшего крошева капусты — эту работу она делала всегда сама, никому ее не передоверяла, и, приходя потом пробовать к нам капусту, женщины восхищались бабушкиным мастерством:

— А будь ты неладна! Слово како знаешь, Петровна? Ну чисто сахар!..

Взволнованная похвалой, бабушка ответствовала на это с оттенком скромной гордости:

— В любом деле не слово, а руки всему голова. Рук жалеть не надо. Руки, они всему вкус и вид делают. Болят ночами рученьки мои, потому как не жалела я их никогда...

К вечеру работа затихала. Один по одному вылезали из горницы и из средней ребятишки. Объевшиеся сладких кочерыжек, они сплошь мучились животами, хныкали, просились домой. Досадливо собираясь, женщины хлопали их и желали, чтоб поскорее они вовсе попропадали, что нет от них, окаянных, ни житья, ни покоя, и с сожалением покидали дом, где царили весь, такой редкий в их жизни день, где труд был не в труд, в удовольствие и праздник.

— Благодарствуем, Катерина Петровна, за угошшэние, за приятну беседу. Просим к нам бывать! — кланялись женщины. Бабушка, в свою очередь, благодарила подружек за помощь и обещала быть, где и когда потребуется делу.

В сумерках выгребли из кухни лист, кочерыжки, капустные отходы. На скорую руку тетки мыли полы в избе, бросали половики и, только работа завершилась, с заимки, где еще оставался наш покос, вернулись дедушка и Кольча-младший. Они там тоже все убрали и подготовили к зиме.

Бабушка собрала на стол, налила дедушке и Кольче-младшему по рюмочке водки, как бы ненароком оставшейся в бутылке.

Все ужинали молча, устало.

Мужики интересовались, как с капустой? Управились ли? Бабушка отвечала, что, слава Тебе, Господи, управились, что капуста ноне уродилась соковитая, все как будто хорошо, но вот только соль ей не глянется, серая какая-то, несолкая и кабы она все дело не испортила. Ее успокаивали, вспоминая, что в девятнадцатом или в двадцатом году соль уж вовсе никудышной была, однако ж капуста все равно удалась и шибко выручила тогда семью.

После ужина дед и Кольча-младший курили. Бабушка толковала им насчет погреба, в котором надо подремонтировать сусеки. Утомленно, до слез зевая, наказывала она Кольче-младшему, чтобы он долго на вечерке не был, не шлялся бы до петухов со своей Нюрой-гуленой, потому как работы во дворе невпроворот, и не выспится он опять. И, конечно же, добавляла еще кой-чего про Нюрку, которая то у нас жила, то убегала ко своим, не выдержав бабушкиного угнетения и надзора.

Кольча-младший согласно слушал ее, однако ж и он, и бабушка доподлинно знали, что слова эти напрасны и не вонмет им никто.

Кольча-младший уходил из избы и еще на крыльце запевал что-то беззаботное, отстраненное, ровно на пороге отряхнул с себя, как дерево

осенние листья, все бабушкины наказания.

— Эй, Мишка! Ты скоро там? — звал он за воротами.

Безродный Мишка Коршуков, призремый теткой Авдотьей и определившийся на временное жительство в ее доме, озоровато бросал: «Шшас! Гармошку починю, надиколонюсь, тетке Авдотье дров наколю, девок ее ремнем напорю, Тришихе окна перебью...»

Мишка Коршуков с Кольчей-младшим дерзко кричали под деревенскими окнами солоноватую частушку. Вслед парням, в украдкой раздвинутые занавески, смотрели завистливым оком тетки Авдотьины девки, которых она хотя и строго держит, однако часто удержать не может — сбегают они на мост, на вечерки. Тогда тетка Авдотья стремительно мчится по деревенским улицам, выглядывает их в укромных углах и тащит за волосы домой, срамя на весь белый свет, обзывая своих гулен распоследними словами.

Бабушка хукнула в стекло лампы и в темноте шептала, слушая тайно свершающуюся за окошком жизнь:

— Вот ведь сикухи! Вот ведь волосотряски! Нискоко мать не слушают! Не-е, мои девки ране... — Но не все, видать, и у ее девок было в ладу, таскала и она их за волосы, сколь мне известно. Перевернувшись на другой бок, бабушка и рассуждения распочинала с другого бока:

— Парни раздерутся опять! И эта, ни жена, ни невеста советская! Нет штабы дома посидеть, починяться, — на вечерку прибежит! Хоть бы Кольчу не подкололи. Народец-то ноне... Господи, оборони.

Ворочается, вздыхает, бормочет, молится бабушка, и мне приходит в голову — она ведь не об одном Кольче-младшем так вот беспокоилась. Те дядья мои и тетки, которые определились и живут самостоятельно, так же гуляли когда-то ночами, и так же вот ворочалась, думала о них и молилась бабушка. Какое же должно быть здоровое, какое большое сердце, коли обо всех оно, и обо мне тоже, болело, болит...

— Ах, рученьки мои, рученьки! — тихо причитала бабушка. — И куда же мне вас положить? И чем же мне вас натереть?

— Баб, а баб? Давай нашатырным спиртом? — Я терпеть не могу нашатырный спирт — он щиплет глаза, дерет в носу, но ради бабушки готов стерпеть все.

— Ты еще не угомонился? Спи давай. Без соплей мокро. Фершал нашелся!..

Ставни сделали избу глухой, отгородили ее от мира и света. Из кути тянет закисающей капустой, слышно, как она там начинает пузыриться, как с кряхтеньем оседают кружки, придавленные гнетом.

Тикали ходики. Бабушка умолкла, перестала метаться на кровати, нашла место ноющим рукам, уложила их хорошо.

С первым утренним проблеском в щелях ставней она снова на ногах, управляетя по дому, затем спешит на помочь, и теперь уже в другой избе разгорается сыр-бор, стучат сечки, взвиваются песни, за другие сараи бегают ребятишки, объевшиеся капусты и кочерыжек. Целую неделю, иногда и две по всему селу рассыпался стукоток сечек, шмыгали из потребиловки женщины, пряча под полушалками шкалики, мужики, вытесненные из изб, толклись у гумна или подле покинутой мангазины, курили свежий табак, зачерпнув щепотку друг у дружки из кисетов, солидно толковали о молотье, о промысле белки, о санной дороге, что вот-вот должна наступить, какие виды и слухи насчет базара и базарных цен в городе.

Зима совершенно незаметно приходила в село под стук сечек, под дружные и протяжные женские песни. Пока женщины и ребятишки переходили из избы в избы, пока рубили капусту, намерзали на Енисее забереги; в огородные борозды крупы и снежку насыпало: на реке густела шуга; у Караульного быка появлялся белый подбой, ниже которого темнела полынья. К этой поре и запоздалые косяки гусей пролетали наши скалистые, непригодные для гнездовой и отсидок места.

И однажды ночью неслышно выпадал снег, первый раз давали корове навильник пахучего сена, она припадала к нему, зарываясь до рогов в шуршащую охапку. Шарик катался по снегу, прыгал, гавкал, будто рехнулся.

Днем мужики выкатывали из куги бочонки и кадки с капустой, по гладким доскам спускали их в подвал. Сразу в кути делалось просторно, бабушка подтирала пол и приносила в эмалированной чашке розоватый, мокрый пласт капусты. Она разрежала его ножиком на слоистые куски, доставала вилки, хлеб.

Но мужики пробовали капусту без хлеба.

Кольча-младший хрустко жевал минуту-другую. Я жевал. Дедушка жевал. Бабушка напряженно стояла в отдалении, терпеливо ожидала приговору.

— Ельник, березник — чем не дрова? Хрен да капуста — чем не еда? Закуска — я те дам! — заключал Кольча-младший и, крикнув, цеплял на вилку кус побольше и хрустел вкусно, с удовольствием.

Дед говорил просто:

— Ничего. Ести можно.

Я пока еще не имел права изображать из себя хозяина и просто

показывал большой палец, мол, капуста на ять.

Бабушка облегченно бросала крестики на грудь, шептала: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Господи! Теперь прозимуем. Картошек накопили дивно — и себе, и на продажу хватит. Кольче катанки справим, самому полушубчишко бы надо. Витьке тоже чего-нито из одежонки бы прикупить. Дерет, язвило бы его, пластат все...»

Весь день бабушка резво, будто молодая, суетилась по избе, наговаривала с собою, покрикивала на меня, на Шарика, даже топала ногой. Но ни Шарик, ни я даже не собирались бояться ее в такой день, легкий, славный — бабушка сердилась на нас понарошке, пугала для виду.

Долгая, стойкая зима-прибериха снегами и морозами заклинивала деревенскую жизнь. Большею частью под крышами изб, во дворах шла эта жизнь, в амбарах, стайках, и если хозяева-старатели запаслись овощью, ягодами, капустой — одолевали зиму без нужды и горя, пощелкивая кедровые орехи, говорили вечерами сказки, с крещенских трескучих морозов принимались гулять, справлять свадьбы, именины и все праздники подряд.

И в каждой избе в центре стола, как главный фрукт, красовалась в тарелке, в чашке или в глиняной латке сельская беда и выручка — квашеная капуста, то выгибаясь горбом розового пласта, то растопорщившись сочным и мокрым листом, то накрошенная сечками.

И какая уж такая сила была в той капусте — знать мне не дано, однако смолачивали ее за зиму с картошкой, во щах, пареную, жареную и просто так целые бочонки, были здоровы, зубов и бодрости не теряли до старости, работали до самой могилы за двоих, пили под капусту за троих.

Фотография, на которой меня нет

Глухой зимою, во времена тихие, сонные нашу школу взбудоражило неслыханно важное событие.

Из города на подводе приехал фотограф!

И не просто так приехал, по делу — приехал фотографировать.

И фотографировать не стариков и старух, не деревенский люд, алчущий быть увековеченным, а нас, учащихся овсянской школы.

Фотограф прибыл за полдень, и по этому случаю занятия в школе были прерваны. Учитель и учительница — муж с женою — стали думать, где поместить фотографа на ночевку.

Сами они жили в одной половине дряхленького домишка, оставшегося от выселенцев, и был у них маленький парнишка-ревун. Бабушка моя, тайком от родителей, по слезной просьбе тетки Авдотьи, домовничавшей у наших учителей, три раза заговаривала пупок дитенку, но он все равно орал ночи напролет и, как утверждали сведущие люди, наревел пуп в луковицу величиной.

Во второй половине дома размещалась контора сплавного участка, где висел пузатый телефон, и днем в него было не докричаться, а ночью он звонил так, что труба на крыше рассыпалась, и по телефону этому можно было разговаривать. Сплавное начальство и всякий народ, спяну или просто так забредающий в контору, кричал и выражался в трубку телефона.

Такую персону, как фотограф, неподходяще было учителям оставить у себя. Решили поместить его в заезжий дом, но вмещалась тетка Авдотья. Она отозвала учителя в куть и с напором, правда, конфузливый, взялась его убеждать:

— Им тама нельзя. Ямщикова набьется полна изба. Пить начнут, луку, капусты да картошек напрутся и ночью себя некультурно вести станут. — Тетка Авдотья посчитала все Эти доводы неубедительными и прибавила: — Вшей напустят...

— Что же делать?

— Я чичас! Я мигом! — Тетка Авдотья накинула полушалок и выкатилась на улицу. Фотограф был пристроен на ночь у десятника сплавоконторы. Жил в нашем селе грамотный, деловой, всеми уважаемый человек Илья Иванович Чехов. Происходил он из ссыльных. Ссылными были не то его дед, не то отец. Сам он давно женился на нашей деревенской молодежи, был всем кумом, другом и советчиком по части подрядов на

сплаве, лесозаготовках и выжиге извести. Фотографу, конечно же, в доме Чехова — самое подходящее место. Там его и разговором умным займут, и водочкой городской, если потребуется, угостят, и книжку почитать из шкафа достанут.

Вздыхнул облегченно учитель. Ученики вздохнули. Село вздохнуло — все переживали. Всем хотелось угодить фотографу, чтобы оценил он заботу о нем и снимал бы ребят как полагается, хорошо снимал.

Весь длинный зимний вечер школьники гужом ходили по селу, гадали, кто где сядет, кто во что оденется и какие будут распорядки. Решение вопроса о распорядках выходило не в нашу с Санькой пользу. Прилежные ученики сядут впереди, средние — в середине, плохие — назад — так было порешено. Ни в ту зиму, ни во все последующие мы с Санькой не удивляли мир прилежанием и поведением, нам и на середину рассчитывать было трудно. Быть нам сзади, где и не разберешь, кто заснят? Ты или не ты? Мы полезли в драку, чтоб боем доказать, что мы — люди пропащие... Но ребята прогнали нас из своей компании, даже драться с нами не связались. Тогда пошли мы с Санькой на увал и стали кататься с такого обрыва, с какого ни один разумный человек никогда не катался. Ухарски гикая, ругаясь, мчались мы не просто так, в погибель мчались, поразбивали о камень головки санок, коленки поносили, вывалялись, начерпали полные катанки снегу.

Бабушка уж затемно сыскала нас с Санькой на увале, обоих настегала прутом.

Ночью наступила расплата за отчаянный разгул — у меня заболели ноги. Они всегда ныли от «рематизни», как называла бабушка болезнь, якобы доставшуюся мне по наследству от покойной мамы. Но стоило мне застудить ноги, начерпать в катанки снегу — тотчас нудь в ногах переходила в невыносимую боль.

Я долго терпел, чтобы не завывать, очень долго. Раскидал одежку, прижал ноги, ровно бы вывернутые в суставах, к горячим кирпичам русской печи, потом растирал ладонями сухо, как лучина, хрустящие суставы, засовывал ноги в теплый рукав полушубка — ничего не помогало.

И я завыл. Сначала тихонько, по-щенячьи, затем и в полный голос.

— Так я и знала! Так я и знала! — проснулась и заворчала бабушка. — Я ли тебе, язвило бы тебя в душу и в печенки, не говорила: «Не студишься, не студишься!» — повысила она голос. — Так он ведь умнее всех! Он бабушку послушат? Он добрым словам воньмет? Загибат теперь! Загибат, худа немочь! Мольчи лучше! Мольчи! — Бабушка поднялась с кровати, присела, схватившись за поясницу. Собственная боль действует на нее

усмиряюще. — И меня загибат...

Она зажгла лампу, унесла ее с собой в куть и там зазвенела посудой, флакончиками, баночками, скляночками — ищет подходящее лекарство. Припугнутый ее голосом и отвлеченный ожиданиями, я впал в усталую дрему.

— Где ты тутока?

— Зде-е-е-ся. — по возможности жалобно откликнулся я и перестал шевелиться.

— Зде-е-е-ся! — передразнила бабушка и, нашарив меня в темноте, перво-наперво дала затрещину. Потом долго натирала мои ноги нашатырным спиртом. Спирт она втирала основательно, досуха, и все шумела: — Я ли тебе не говорила? Я ли тебя не упреждала? — И одной рукой натирала, а другой мне поддавала да поддавала: — Эк его умучило! Эк его крюком скрючило? Посинел, будто на леде, а не на пече сидел...

Я уж ни гугу, не огрызался, не перечил бабушке — лечит она меня.

Выдохлась, умолкла докторша, заткнула граненый длинный флакон, прислонила его к печной трубе, укутала мои ноги старой пуховой шалью, будто теплой опарой облепила, да еще сверху полушубок накинула и вытерла слезы с моего лица шипучей от спирта ладонью.

— Спи, пташка малая, Господь с тобой и анделы во изголовье.

Заодно бабушка свою поясицу и свои руки-ноги натерла вонючим спиртом, опустилась на скрипучую деревянную кровать, забормотала молитву Пресвятой Богородице, охраняющей сон, покой и благоденствие в дому. На половине молитвы она прервалась, вслушивается, как я засыпаю, и где-то уже сквозь склеивающийся слух слышно:

— И чего к робенку привязалась? Обутки у него починеты, догляд людской...

Не уснул я в ту ночь. Ни молитва бабушкина, ни нашатырный спирт, ни привычная шаль, особенно ласковая и целебная оттого, что мамина, не принесли облегчения. Я бился и кричал на весь дом. Бабушка уж не колотила меня, а перепробовавши все свои лекарства, заплакала и напустилась на деда:

— Дрыхнешь, старый одер!.. А тут хоть пропади!

— Да не сплю я, не сплю. Чё делать-то?

— Баню затопляй!

— Середь ночи?

— Середь ночи. Экой барин! Робенок-то! — Бабушка закрылась руками: — Да откуда напасть такая, да за что же она сиротиночку ломат, как тонку тали-и-инку... Ты долго кряхтеть будешь, толстодум? Чс

ишшэш? Вчерашний день ишшэш? Вон твои рукавицы. Вон твоя шапка!..

Утром бабушка унесла меня в баню — сам я идти уже не мог. Долго растирала бабушка мои ноги запаренным березовым веником, грела их над паром от каленых камней, парила сквозь тряпку всего меня, макая веник в хлебный квас, и в заключение опять же натерла нашатырным спиртом. Дома мне дали ложку противной водки, настоянной на борце, чтоб внутренность прогреть, и моченой брусники. После всего этого напоили молоком, кипяченным с маковыми головками. Больше я ни сидеть, ни стоять не в состоянии был, меня сшибло с ног, и я проспал до полудня.

Разбудился от голосов. Санька препирался или ругался с бабушкой в кути.

— Не может он, не может... Я те русским языком толкую! — говорила бабушка. — Я ему и рубашечку приготовила, и пальтишко высушила, упочинила все, худо, бедно ли, изладила. А он слег...

— Бабушка Катерина, машину, аппарат наставили. Меня учитель послал. Бабушка Катерина!.. — настаивал Санька.

— Не может, говорю.. Постой-ко, это ведь ты, жиган, сманил его на увал-то! — осенило бабушку. — Сманил, а теперича?..

— Бабушка Катерина...

Я скатился с печки с намерением показать бабушке, что все могу, что нет для меня преград, но подломились худые ноги, будто не мои они были. Плюхнулся я возле лавки на пол. Бабушка и Санька тут как тут.

— Все равно пойду! — кричал я на бабушку. — Давай рубаху! Штаны давай! Все равно пойду!

— Да куда пойдешь-то? С печки на полати, — покачала головой бабушка и незаметно сделала рукой отмашку, чтоб Санька убирался.

— Санька, стой! Не уходи-и-и! — завопил я и попытался шагать. Бабушка поддерживала меня и уже робко, жалостливо уговаривала:

— Ну, куда пойдешь-то? Куда?

— Пойду-у-у! Давай рубаху! Шапку давай!..

Вид мой поверг и Саньку в удручение. Он помялся, помялся, потоптался, потоптался и скинул с себя новую коричневую телогрейку, выданную ему дядей Левонтием по случаю фотографирования.

— Ладно! — решительно сказал Санька. — Ладно! — еще решительней повторил он. — Раз так, я тоже не пойду! Все! — И под одобрительным взглядом бабушки Катерины Петровны проследовал в середнюю. — Не последний день на свете живем! — солидно заявил Санька. И мне почудилось: не столько уж меня, сколько себя убеждал Санька. — Еще наснимаемся! Ништя-а-ак! Поедем в город и на коне,

может, и на автомобиле заснимемся. Правда, бабушка Катерина? — закинул Санька удочку.

— Правда, Санька, правда. Я сама, не сойти мне с этого места, сама отвезу вас в город, и к Волкову, к Волкову. Знаешь Волкова-то?

Санька Волкова не знал. И я тоже не знал.

— Самолучший это в городе фотограф! Он хочь на портрет, хочь на пачпорт, хочь на коне, хочь на ероплане, хочь на чем заснимет!

— А школа? Школу он заснимет?

— Школу-то? Школу? У него машина, ну, аппарат-то не перевозной. К полу привинченный, — приуныла бабушка.

— Вот! А ты...

— Чего я? Чего я? Зато Волков в рамку сразу вставит.

— В ра-амку! Зачем мне твоя рамка?! Я без рамки хочу!

— Без рамки! Хочешь? Дак на! На! Отваливай! Коли свалишься с ходуль своих, домой не являйся! — Бабушка покидала в меня одежонку: рубаху, пальтишко, шапку, рукавицы, катанки — все покидала. — Ступай, ступай! Баушка худа тебе хочет! Баушка — враг тебе! Она коло него, аспида, вьюном вьется, а он, видали, какие благодарствия баушке!..

Тут я заполз обратно на печку и заревел от горького бессилия. Куда я мог идти, если ноги не ходят?

В школу я не ходил больше недели. Бабушка меня лечила и баловала, давала варенья, брусницы, настряпала отварных сушек, которые я очень любил. Целыми днями сидел я на лавке, глядел на улицу, куда мне ходу пока не было, от безделья принимался плевать на стекла, и бабушка стращала меня, мол, зубы заболят. Но ничего зубам не сделалось, а вот ноги, плюй не плюй, все болят, все болят.

Деревенское окно, заделанное на зиму, — своего рода произведение искусства. По окну, еще не заходя в дом, можно определить, какая здесь живет хозяйка, что у нее за характер и каков обиход в избе.

Бабушка рамы вставляла в зиму с толком и неброской красотой. В горнице меж рам валиком клала вату и на белое сверху кидала три-четыре розетки рябины с листиками — и все. Никаких излишеств. В средней же и в кути бабушка меж рам накладывала мох вперемежку с брусничником. На мох несколько березовых углей, меж углей ворохом рябину — и уже без листьев.

Бабушка объяснила причуду эту так:

— Мох сырость засасывает. Уголек обмерзнуть стеклам не дает, а

рябина от угару. Тут печка, с кути чад.

Бабушка иной раз подсмеивалась надо мною, выдумывала разные штуковины, но много лет спустя, у писателя Александра Яшина, прочел о том же: рябина от угара — первое средство. Народные приметы не знают границ и расстояний.

Бабушкины окна и соседские окна изучил я буквально-досконально, по выражению предсельсовета Митрохи.

У дяди Левонтия нечего изучать. Промеж рам у них ничего не лежит, и стекла в рамах не все целы — где фанерка прибита, где тряпками заткнуто, в одной створке красным пузом выперла подушка.

В доме наискосок, у тетки Авдотьи, меж рам навалено всего: и ваты, и моху, и рябины, и калины, но главное там украшение — цветочки. Они, эти бумажные цветочки, синие, красные, белые, отслужили свой век на иконах, на угловике и теперь попали украшением меж рам. И еще у тетки Авдотьи за рамами красуется одноногая кукла, безногая собака-копилка, развешаны побрякушки без ручек и конь стоит без хвоста и гривы, с расковыренными ноздрями. Все эти городские подарки привозил деткам муж Авдотьи, Терентий, который где ныне находится — она и знать не знает. Года два и даже три может не появляться Терентий. Потом его словно коробейники из мешка вытряхнут, нарядного, пьяного, с гостинцами и подарками. Пойдет тогда шумная жизнь в доме тетки Авдотьи. Сама тетка Авдотья, вся жизнью издерганная, худая, бурная, бегучая, все в ней навалом — и легкомыслие, и доброта, и бабья сварливость.

Дальше тетки Авдотьиного дома ничего не видать. Какие там окна, что в них — не знаю. Раньше не обращал внимания — некогда было, теперь вот сию да поглядываю, да бабушкину воркотню слушаю.

Какая тоска!

Оторвал листок у мятного цветка, помял в руках — воняет цветок, будто нашатырный спирт. Бабушка листься мятного цветка в чай заваривает, пьет с вареным молоком. Еще на окне алой остался, да в горнице два фикуса. Фикусы бабушка стережет пуще глаза, но все равно прошлой зимой ударили такие морозы, что потемнели листься у фикусов, склизкие, как обмылки, сделались и опали. Однако вовсе не погибли — корень у фикуса живучий, и новые стрелки из ствола проклюнулись. Ожили фикусы. Люблю я смотреть на оживающие цветы. Все почти горшки с цветами — геранями, сережками, колючей розочкой, луковицами — находятся в подполье. Горшки или вовсе пустые, или торчат из них серые пеньки.

Но как только на калине под окном ударит синица по первой сосульке и послышится тонкий звон на улице, бабушка вынет из подполья старый

чугунок с дыркой на дне и поставит его на теплое окно в кути.

Через три-четыре дня из темной нежилой земли проткнутся бледно-зеленые острые побеги — и пойдут, пойдут они торопливо вверх, на ходу накапливая в себе темную зелень, разворачиваясь в длинные листья, и однажды возникает в пазухе этих листьев круглая палка, проворно двинется та зеленая палка в рост, опережая листья, породившие ее, набухнет щепотью на конце и вдруг замрет перед тем, как сотворить чудо.

Я всегда караулил то мгновение, тот миг свершающегося таинства — расцветания, и ни разу скараулить не мог. Ночью или на рассвете, скрыто от людского урочливого глаза, зацветала луковка.

Встанешь, бывало, утром, побежишь еще сонный до ветру, а бабушкин голос остановит:

— Гляди-ко, живунчик какой у нас народился!

На окне, в старом чугунке, возле замерзшего стекла над черной землей висел и улыбался яркогубый цветок с бело мерцающей сердцевинкой и как бы говорил младенчески-радостным ртом: «Ну вот и я! Дождались?»

К красному граммофончику осторожная тянулась рука, чтоб дотронуться до цветка, чтоб поверить в недалекую теперь весну, и боязно было спугнуть среди зимы впорхнувшего к нам предвестника тепла, солнца, зеленой земли.

После того как загоралась на окне луковица, заметней прибывал день, плавилась толсто обмерзшие окна, бабушка доставала из подполья остальные цветы, и они тоже возникали из тьмы, тянулись к свету, к теплу, обрызгивали окна и наш дом цветами. Луковица меж тем, указав путь весне и цветению, сворачивала граммофончики, съезживалась, роняла на окно сохлые лепестки и оставалась с одними лишь гибко падающими, подернутыми хромовым блеском ремнями стеблей, забытая всеми, снисходительно и терпеливо дожидалась весны, чтоб вновь пробудиться цветами и порадовать людей надеждами на близкое лето.

Во дворе залился Шарик.

Бабушка перестала починяться, прислушалась. В дверь постучали. А так как в деревнях нет привычки стучать и спрашивать, можно ли войти, то бабушка всполошилась, побежала в куть.

— Какой это там лешак ломится?.. Милости просим! Милости просим! — совсем другим, церковным голосом запела бабушка. Я понял: к нам нагрянул важный гость, поскорее спрятался на печку и с высоты увидел школьного учителя, который обметал веником катанки и прицеливался, куда бы повесить шапку. Бабушка приняла шапку, пальто,

бегом умчала одежду гостя в горницу, потому как считала, что в кути учительской одежде висеть неприлично, пригласила учителя проходить.

Я притаился на печи. Учитель прошел в среднюю, еще раз поздоровался и справился обо мне.

— Поправляется, поправляется, — ответила за меня бабушка и, конечно же, не удержалась, чтоб не поддеть меня: — На еду уж здоров, вот на работу хил покуда.

Учитель улыбнулся, поискал меня глазами. Бабушка потребовала, чтоб я слезал с печки.

Боязливо и нехотя я спустился с печи, присел на припечек. Учитель сидел возле окошка на стуле, принесенном бабушкой из горницы, и приветливо смотрел на меня.

Лицо учителя, хотя и малоприметное, я не забыл до сих пор. Было оно бледновато по сравнению с деревенскими, каленными ветром, грубо тесанными лицами. Прическа под «политику» — волосы зачесаны назад. А так ничего больше особенного не было, разве что немного печальные и оттого необыкновенно добрые глаза, да уши торчали, как у Саньки левонтьевского. Было ему лет двадцать пять, но он мне казался пожилым и очень солидным человеком.

— Я принес тебе фотографию, — сказал учитель и поискал глазами портфель.

Бабушка всплеснула руками, метнулась в куть — портфель остался там.

И вот она, фотография — на столе.

Я смотрю. Бабушка смотрит. Учитель смотрит. Ребят и девчонок на фотографии, что семечек в подсолнухе! И лица величиной с подсолнечные семечки, но узнать всех можно. Я бегаю глазами по фотографии: вот Васька Юшков, вот Витька Касьянов, вот Колька-хохол, вот Ванька Сидоров, вот Нинка Шахматовская, ее брат Саня...

В гуще ребят, в самой середине — учитель и учительница. Он в шапке и в пальто, она в полушалке. Чему-то улыбаются едва заметно учитель и учительница. Ребята чего-нибудь сморозили смешное. Им что? У них ноги не болят.

Санька из-за меня на фотографию не попал. И чего приперся? То измывается надо мной, вред мне наносит, а тут восчувствовал. Вот и не видно его на фотографии. И меня не видно. Еще и еще перебегаю с лица на лицо. Нет, не видно. Да и откуда я там возьмусь, коли на печке лежал и загибала меня «худа немочь».

— Ничего, ничего! — успокоил меня учитель. — Фотограф, может

быть, еще приедет.

— А я что ему толкую? Я то же и толкую...

Я отвернулся, моргая на русскую печку, высунувшую толстый беленый зад в середнюю, губы мои дрожат. Что мне толковать? Зачем толковать? На этой фотографии меня нет. И не будет!

Бабушка настраивала самовар и занимала учителя разговорами.

— Как парнишечка? Грызть-то не унялася?

— Спасибо, Екатерина Петровна. Сыну лучше. Последние ночи спокойней.

— И слава Богу. И слава Богу. Они, робятишки, пока вырастут, ой сколько натерпишься с имя! Вон у меня их сколько, субчиков-то было, а ниче, выросли. И ваш вырастет...

Самовар запел в кути протяжную тонкую песню. Разговор шел о том о сем. Бабушка про мои успехи в школе не спрашивала. Учитель про них тоже не говорил, поинтересовался насчет деда.

— Сам-от? Сам уехал в город с дровами. Продаст, деньжонками разживемся. Каки наши достатки? Огородом, коровенкой да дровами живем.

— Знаете, Екатерина Петровна, какой случай вышел?

— Какой жа?

— Вчера утром обнаружил у своего порога воз дров. Сухих, швырковых. И не могу дознаться, кто их свалил.

— А чего дознаваться-то? Нечего и дознаваться. Топите — и все дела.

— Да как-то неудобно.

— Чего неудобного. Дров-то нету? Нету. Ждать, когда преподобный Митроха распорядится? А и привезут сельсоветские — сырье сырьем, тоже радости мало.

Бабушка, конечно, знает, кто свалил учителю дрова. И всему селу это известно. Один учитель не знает и никогда не узнает.

Уважение к нашему учителю и учительнице всеобщее, молчаливое. Учителей уважают за вежливость, за то, что они здороваются со всеми кряду, не разбирая ни бедных, ни богатых, ни ссыльных, ни самоходов. Еще уважают за то, что в любое время дня и ночи к учителю можно прийти и попросить написать нужную бумагу. Пожаловаться на кого угодно: на сельсовет, на разбойника мужа, на свекровку. Дядя Левонтий — лиходей из лиходеев, когда пьяный, всю посуду прибьет, Васене фонарь привесит, ребятишек поразгонит. А как побеседовал с ним учитель — исправился дядя Левонтий. Неизвестно, о чем говорил с ним учитель, только дядя Левонтий каждому встречному и поперечному радостно толковал:

— Ну чисто рукой дурь снял! И вежливо все, вежливо. Вы, говорит, вы... Да ежели со мной по-людски, да я что, дурак, что ли? Да я любому и каждому башку сверну, если такого человека пообидят!

Тишком, бочком просочатся деревенские бабы в избу учителя и забудут там кринку молока либо сметанки, творогу, брусники туесок. Ребеночка доглядят, полечат, если надо, учительницу необидно отругают за неумелость в обиходе с дитем. Когда на сносях была учительница, не позволяли бабы ей воду таскать. Один раз пришел учитель в школу в подшитых через край катанках. Умыкнули бабы катанки — и к сапожнику Жеребцову снесли. Шкалик поставили, чтоб с учителя, ни Боже мой, копейки не взял Жеребцов и чтоб к утру, к школе все было готово. Сапожник Жеребцов — человек пьющий, ненадежный. Жена его, Тома, спрятала шкалик и не отдавала до тех пор, пока катанки не были подшиты.

Учителя были заводилами в деревенском клубе. Играм и танцам учили, ставили смешные пьесы и не гнушались представлять в них попов и буржуев; на свадьбах бывали почетными гостями, но блюли себя и приучили несговорчивый в гулянке народ выпивкой их не неволить.

А в какой школе начали работу наши учителя!

В деревенском доме с угарными печами. Парт не было, скамеек не было, учебников, тетрадей, карандашей тоже не было. Один букварь на весь первый класс и один красный карандаш. Принесли ребята из дома табуретки, скамейки, сидели кружком, слушали учителя, затем он давал нам аккуратнo заточенный красный карандаш, и мы, пристроившись на подоконнике, поочередно писали палочки. Счету учились на спичках и палочках, собственноручно выструганных из лучины.

Кстати говоря, дом, приспособленный под школу, был рублен моим прадедом, Яковом Максимовичем, и начинал я учиться в родном доме прадеда и деда Павла. Родился я, правда, не в доме, а в бане. Для этого тайного дела места в нем не нашлось. Но из бани-то меня принесли в узелке сюда, в этот дом. Как и что в нем было — не помню. Помню лишь отголоски той жизни: дым, шум, многолюдье и руки, руки, поднимающие и подбрасывающие меня к потолку. Ружье на стене, как будто к коврику прибитое. Оно внушало почтительный страх. Белая тряпка на лице деда Павла. Осколок малахитового камня, сверкающего на изломе, будто весенняя льдина. Возле зеркала фарфоровая пудреница, бритва в коробочке, папин флакон с одеколоном, мамина гребенка. Санки помню, подаренные старшим братом бабушки Марьи, которая была одних лет с моей мамой, хотя и приходилась ей свекровью. Замечательные, круто выгнутые санки с отводинами — полное подобие настоящих конских

саней. На тех санках мне не разрешалось кататься из-за малости лет с горы, но мне хотелось кататься, и кто-нибудь из взрослых, чаще всего прадед или кто посвободней, садили меня в санки и волочили по полу сенок или по двору.

Папа мой отселился в зимовье, крытое занозистой, неровной дранью, отчего крыша при больших дождях протекала. Знаю по рассказам бабушки и, кажется, помню, как радовалась мама отделению от семьи свекра и обретению хозяйственной самостоятельности, пусть и в тесном, но в «своем углу». Она все зимовье прибрала, перемыла, бессчетно белила и подбеливала печку. Папа грозился сделать в зимовье перегородку и вместо козырька-навеса сотворить настоящие сенки, но так и не исполнил своего намерения.

Когда выселили из дома деда Павла с семьей — не знаю, но как выселяли других, точнее, выгоняли семьи на улицу из собственных домов — помню я, помнят все старые люди.

Раскулаченных и подкулачников выкинули вон глухой осенью, стало быть, в самую подходящую для гибели пору. И будь тогдашние времена похожими на нынешние, все семьи тут же и примерли бы. Но родство и землячество тогда большой силой были, родственники дальние, близкие, соседи, кумовья и сватовья, страшась угроз и наветов, все же подобрали детей, в первую голову грудных, затем из бань, стоек, амбаров и чердаков собрали матерей, беременных женщин, стариков, больных людей, за ними «незаметно» и всех остальных разобрали по домам.

Днем «бывшие» обретались по тем же баням и пристройкам, на ночь проникали в избы, спали на разбросанных пополах, на половиках, под шубами, старыми одеялишками и на всякой бросовой рямнине. Спали вповалку, не раздеваясь, все время готовые на вызов и выселение.

Прошел месяц, другой. Пришла глухая зима, «ликвидаторы», радуясь классовой победе, гуляли, веселились и как будто забыли об обездоленных людях. Тем надо было жить, мыться, рожать, лечиться, кормиться. Они прилепились к пригревшим их семьям либо прорубили окна в стайках, утеплили и отремонтировали давно заброшенные зимовья или времянки, срубленные для летней кухни.

Картошка, овощь, соленая капуста, огурцы, бочки с грибами оставались в подвалах покинутых подворий. Их нещадно и безнаказанно зорили лихие людишки, шпана разная, не ценящая чужого добра и труда, оставляя открытыми крышки погребов и подвалов. Выселенные женщины, ночной порой ходившие в погреба, причитали о погибшем добре, молили Бога о спасении одних и наказании других. Но в те годы Бог был занят чем-

то другим, более важным, и от русской деревни отвернулся.

Часть кулацких пустующих домов — нижний конец села весь почти пустовал, тогда как верхний жил справнее, но «задарили, запоили» верховские активистов — шел шепот по деревне, а я думаю, что активистам-ликвидаторам просто ловчее было зорить тех, кто поближе, чтоб далеко не ходить, верхний конец села держать «в резерве». Словом, живучий элемент начал занимать свои пустующие избы или жильё пролетарьев и активистов, переселившихся и покинутые дома, занимали и быстро приводили их в божеский вид. Крытые как попало и чем попало низовские окраинные избышки преобразились, ожили, засверкали чистыми окнами.

Многие дома в нашем селе строены на две половины, и не всегда во второй половине жили родственники, случалось, просто союзники по паю. Неделью, месяц, другой они могли еще терпеть многолюдство, теснотищу, но потом начинались раздоры, чаще всего возле печи, меж бабами-стряпухами. Случалось, семья выселенцев снова оказывалась на улице, искала приюту. Однако большинство семейств все же ужились между собой. Бабы посылали парнишек в свои заброшенные дома за припрятанным скарбом, за овощью в подвал. Сами хозяйки иной раз проникали домой. За столом сидели, спали на кровати, на давно не беленной печи, управлялись по дому, крушили мебелишку новожители.

«Здравствуйте», — остановившись возле порога, еле слышно произносила бывшая хозяйка дома. Чаще всего ей не отвечали, кто от занятости и хамства, кто от презрения и классовой ненависти.

У Болтухиных, сменивших и загадивших уже несколько домов, насмехались, ерничали: «Проходите, хвастайте, чего забыли?..» — «Да вот сковороду бы взять, чигунку, клюку, ухват — варить...» — «Дак чё? Бери, как свое...» — Баба вызволяла инвентарь, норовя, помимо названного, прихватить и еще чего-нибудь: половичишки, одежонку какую-никакую, припрятанный в ей лишь известном месте кусок полотна или холста.

Заселившие «справный» дом новожители, прежде всего бабы, стыдясь вторжения в чужой угол, опустив долу очи, пережидали, когда уйдет «сама». Болтухины же следили за «контрой», за недавними своими собутыльниками, подругами и благодетелями — не вынесет ли откудова золотишко «бывшая», не потянут ли из захоронки ценную вещь: шубу, валенки, платок. Как уличат пойманного злоумышленника, сразу в крик: «А-а, воруешь? В тюрьму захотела?..» — «Да как же воруую... это же мое, наше...» — «Было ваше, стало наше! Поволоку вот в сельсовет...»

Попускались добром горемыки. «Подавитесь!» — говорили. Катька

Болтухина металась по селу, меняла отнятую вещь на выпивку, никого не боясь, ничего не стесняясь. Случалось, тут же предлагала отнятое самой хозяйке. Бабушка моя, Катерина Петровна, все деньжонки, скопленные на черный день, убухала, не одну вещь «выкупила» у Болтухиных и вернула в описанные семьи.

К весне в пустующих избах были перебиты окна, сорваны двери, истрепаны половики, сожжена мебель. За зиму часть села выгорела. Молодняк иногда протапливал печи в домнинской или какой другой просторной избе и устраивал там вечерки. Не глядя на классовые расслоения, парни щупали по углам девок.

Ребятишки как играли, так и продолжали играть вместе. Плотники, бондари, столяры и сапожники из раскулаченных потихоньку прилаживались к делу, смекали заработать на кусок хлеба. Но и работали, и жили в своих, чужих ли домах, пугливо озираясь, ничего капитально не ремонтируя, прочно, надолго не налаживая, жили, как в ночевальной заезжей избе. Этим семьям предстояло вторичное выселение, еще более тягостное, при котором произошла единственная за время раскулачивания трагедия в нашем селе.

Немой Кирила, когда первый раз Платоновских выбрасывали на улицу, был на заимке, и ему как-то сумели втолковать после, что изгнание из избы произошло вынужденное, временное. Однако Кирила насторожился и, живя скрытником на заимке со спрятанным конем, не угнанным со двора в колхоз по причине дутого брюха и хромой ноги, нет-нет и наведывался в деревню верхом.

Кто-то из колхозников или мимоезжих людей и сказал на заимке Кириле, что дома у них неладно, что снова Платоновских выселяют. Кирила примчался к распахнутым воротам в тот момент, когда уже вся семья стояла покорно во дворе, окружив выкинутое барахлишко. Любопытные толпились в проулке, наблюдая, как самое Платошиху нездешние люди с наганами пытаются тащить из избы. Платошиха хваталась за двери, за косяки, кричала зарезанно. Вроде уж совсем ее вытащат, но только отпустят, она сорванными, кровящими ногтями вновь находит, за что уцепиться.

Хозяин, чернявый по природе, от горя сделавшийся совсем черным, увещевал жену: «Да будет тебе, Парасковья! Чего уж теперь? Пойдем к добрым людям...»

Ребятишки, их много было во дворе Платоновских, уже и тележку, давно приготовленную, загрузили, вещи, кои дозволено было взять, сложили, в оглобли тележки впряглись. «Пойдем, мама. Пойдем...» —

умоляли они Платошиху, утираясь рукавами.

Ликвидаторам удалось-таки оторвать от косяка Платошиху. Они столкнули ее с крыльца, но, полежав со скомканно задравшимся подолом на настиле, она снова поползла по двору, воя и протягивая руки к распахнутой двери. И снова оказалась на крыльце. Тогда городской уполномоченный с наганом на боку пхнул женщину подошвой сапога в лицо. Платошиха опрокинулась с крыльца, зашарила руками по настилу, что-то отыскивая. «Парасковья! Парасковья! Что ты? Что ты?..»

Тут и раздался утробный бычий крик: «М-м-маууу!..» Кирила выхватил из чурки ржавый колун, метнулся к уполномоченному. Зная только угрюмую рабскую покорность, к сопротивлению не готовый, уполномоченный не успел даже и о кобуре вспомнить. Кирила всмятку разнес его голову, мозги и кровь выплеснулись на крыльцо, обрызгали стену. Дети закрылись руками, бабы завопили, народ начал разбегаться в разные стороны. Через забор хватанул второй уполномоченный, стриганули со двора понятия и активисты. Разъяренный Кирила бегал по селу с колуном, зарубил свинью, попавшуюся на пути, напал на сплавщицкий катер и чуть не порешил матроса, нашего же, деревенского.

На катере Кирилу окатили водой из ведра, связали и выдали властям.

Гибель уполномоченного и бесчинство Кирилы ускорили выселение раскулаченных семей. Платоновских на катере уплавили в город, и никто, никогда, ничего о них больше не слышал.

Прадед был выслан в Игарку и умер там в первую же зиму, а о деде Павле речь впереди.

Перегородки в родной моей избе разобрали, сделав большой общий класс, потому я почти ничего не узнавал и заодно с ребятами что-то в доме дорубал, доламывал и сокрушал.

Дом этот и угодил на фотографию, где меня нет. Дома тоже давным-давно на свете нет.

После школы было в нем правление колхоза. Когда колхоз развалился, жили в нем Болтухины, опиливая и дожигая сени, терраску. Потом дом долго пустовал, дряхлел и, наконец пришло указание разобрать заброшенное жилище, сплавить к Гремячей речке, откуда его перевезут в Емельяново и поставят.

Быстро разобрали овсянские мужики наш дом, еще быстрее сплавили куда велено, ждали, ждали, когда приедут из Емельянова, и не дождались. Сговорившись потихоньку с береговыми жителями, сплавщики дом продали на дрова и денежки потихоньку пропили.

Ни в Емельянове, ни в каком другом месте о доме никто так и не

ВСПОМНИЛ.

Учитель как-то уехал в город и вернулся с тремя подводами. На одной из них были весы, на двух других ящики со всевозможным добром. На школьном дворе из плах соорудили временный ларек «Утильсырьё». Вверх дном перевернули школьники деревню. Чердаки, сараи, амбары очистили от веками скапливаемого добра — старых самоваров, плугов, костей, тряпья.

В школе появились карандаши, тетради, краски вроде пуговиц, приклеенные к картонкам, переводные картинки. Мы попробовали сладких петушков на палочках, женщины разжились иголками, нитками, пуговицами.

Учитель еще и еще ездил в город на сельсоветской кляче, выхлопотал и привез учебники, один учебник на пятерых. Потом еще полегчение было — один учебник на двоих. Деревенские семьи большие, стало быть, в каждом доме появился учебник.

Столы и скамейки сделали деревенские мужики и плату за них не взяли, обошлись магарычом, который, как я теперь догадываюсь, выставил им учитель на свою зарплату.

Учитель вот фотографа сговорил к нам приехать, и тот заснял ребят и школу. Это ли не радость! Это ли не достижение!

Учитель пил с бабушкой чай. И я первый раз в жизни сидел за одним столом с учителем и изо всей мочи старался не обляпаться, не пролить из блюда чай. Бабушка застелила стол праздничной скатертью и понаставила-а-а-а... И варенье, и брусница, и сушки, и лампасейки, и пряники городские, и молоко в нарядном сливочнике. Я очень рад и доволен, что учитель пьет у нас чай, безо всяких церемоний разговаривает с бабушкой, и все у нас есть, и стыдиться перед таким редким гостем за угощение не приходится.

Учитель выпил два стакана чаю. Бабушка упрашивала выпить еще, извиняясь, по деревенской привычке, за бедное угощение, но учитель благодарил ее. говорил, что всем он премного доволен, и желал бабушке доброго здоровья.

Когда учитель уходил из дома, я все же не удержался и полюбопытствовал насчет фотографа: «Скоро ли он опять приедет?»

— А, штабы тебя приподняло да шлепнуло! — бабушка употребила самое вежливое ругательство в присутствии учителя.

— Думаю, скоро, — ответил учитель. — Выздоровливай и приходи в

школу, а то отстанешь. — Он поклонился дому, бабушке, она засемила следом, провожая его до ворот с наказом, чтоб кланялся жене, будто та была не через два посада от нас, а невесть в каких дальних краях.

Брякнула щеколда ворот. Я поспешил к окну. Учитель со стареньким портфелем прошел мимо нашего палисадника, обернулся и махнул мне рукой, дескать, приходи скорее в школу, — и улыбнулся при этом так, как только он умел улыбаться, — вроде бы грустно и в то же время ласково и приветно. Я проводил его взглядом до конца нашего переулка и еще долго смотрел на улицу, и было у меня на душе отчего-то щемливо, хотелось заплакать.

Бабушка, ахая, убирала со стола богатую снедь и не переставала удивляться:

— И не поел-то ничего. И чаю два стакана токо выпил. Вот какой культурный человек! Вот чё грамота делает! — И увещевала меня; — Учись, Витька, хорошеньче! В учителя, может, выйдешь або в десятники...

Не шумела в этот день бабушка ни на кого, даже со мной и с Шариком толковала мирным голосом, а хвасталась, а хвасталась! Всем, кто заходил к нам, подряд хвасталась, что был у нас учитель, пил чай, разговаривал с нею про разное. И так разговаривал, так разговаривал! Школьную фотокарточку показывала, сокрушалась, что не попал я на нее, и сулилась заключить со в рамку, которую она купит у китайцев на базаре.

Рамку она и в самом деле купила, фотографию на стену повесила, но в город меня не везла, потому как болел я в ту зиму часто, пропускал много уроков.

К весне тетрадки, выменянные на утильсырье, исписались, краски искрасились, карандаши истрогались, и учитель стал водить нас но лесу и рассказывать про деревья, про цветки, про травы, про речки и про небо.

Как он много знал! И что кольца у дерева — это годы его жизни, и что сера сосновая идет на канифоль, и что хвоей лечатся от нервов, и что из березы делают фанеру; из хвойных пород — он так и сказал, — не из лесин, а из пород! — изготавливают бумагу, что леса сохраняют влагу в почве, стало быть, и жизнь речек.

Но и мы тоже знали лес, пусть по-своему, по-деревенски, но знали то, чего учитель не знал, и он слушал нас внимательно, хвалил, благодарил даже. Мы научили его копать и есть корни саранок, жевать листовенничную серу, различать по голосам птичек, зверьков и, если он заблудится в лесу, как выбраться оттуда, в особенности как спастись от лесного пожара, как выйти из страшного таежного огня.

Однажды мы пошли на Лысую гору за цветами и саженцами для

школьного двора. Поднялись до середины горы, присели на камень отдохнуть и поглядеть сверху на Енисей, как вдруг кто-то из ребят закричал:

— Ой, змея, змея!..

И все увидели змею. Она обвивалась вокруг пучка кремowych подснежников и, разевая зубастую пасть, злобно шипела.

Еще и подумать никто ничего не успел, как учитель оттолкнул нас, схватил палку и принялся, молотить по змее, по подснежникам. Вверх полетели обломки палки, лепестки прострелов. Змея кипела ключом, подбрасывалась на хвосте.

— Не бейте через плечо! Не бейте через плечо! — кричали ребята, но учитель ничего не слышал. Он бил и бил змею, пока та не перестала шевелиться. Потом он приткнул концом палки голову змеи в камнях и обернулся. Руки его дрожали. Ноздри и глаза его расширились, весь он был белый, «политика» его рассыпалась, и волосы крыльями висели на оттопыренных ушах.

Мы отыскали в камнях, отряхнули и подали ему кепку.

— Пойдемте, ребята, отсюда.

Мы посыпались с горы, учитель шел за нами следом, и все оглядывался, готовый оборонять нас снова, если змея оживет и погонится.

Под горою учитель забрел в речку — Малую Слизневку, попил из ладоней воды, побрызгал на лицо, утерся платком и спросил:

— Почему кричали, чтоб не бить гадюку через плечо?

— Закинуть же на себя змею можно. Она, зараза, обовьется вокруг палки!.. — объясняли ребята учителю. — Да вы раньше-то хоть видели змей? — догадался кто-то спросить учителя.

— Нет, — виновато улыбнулся учитель. — Там, где я рос, никаких гадов не водится. Там нет таких гор, и тайги нет.

Вот тебе и на! Нам надо было учителя-то оборонять, а мы?!

Прошли годы, много, ох много их минуло. А я таким вот и помню деревенского учителя — с чуть виноватой улыбкой, вежливого, застенчивого, но всегда готового броситься вперед и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь. Уже работая над этой книгой, я узнал, что звали наших учителей Евгений Николаевич и Евгения Николаевна. Мои земляки уверяют, что не только именем-отчеством, но и лицом они походили друг на друга. «Чисто брат с сестрой!..» Тут, я думаю, сработала благодарная человеческая память, сблизив и сроднив дорогих людей, а вот фамилии учителя с учительницей никто в Овсянке вспомнить не может. Но фамилию учителя можно и

забыть, важно, чтоб осталось слово «учитель»! И каждый человек, мечтающий стать учителем, пусть доживет до такой почести, как наши учителя, чтоб раствориться в памяти народа, с которым и для которого они жили, чтоб сделаться частицей его и навечно остаться в сердце даже таких нерадивых и непослушных людей, как я и Санька.

Школьная фотография жива до сих пор. Она пожелтела, обломалась по углам. Но всех ребят я узнаю на ней. Много их полегло в войну. Всему миру известно прославленное имя — сибиряк.

Как суетились бабы по селу, спешно собирая у соседей и родственников шубенки, телогрейки, все равно бедновато, шибко бедновато одеты ребятишки. Зато как твердо держат они материю, прибитую к двум палкам. На материи написано каракулисто: «Овсянская нач. школа 1-й ступени». На фоне деревенского дома с белыми ставнями — ребятишки: кто с оторопелым лицом, кто смеется, кто губы поджал, кто рот открыл, кто сидит, кто стоит, кто на снегу лежит.

Смотрю, иногда улыбнусь, вспоминая, а смеяться и тем паче насмехаться над деревенскими фотографиями не могу, как бы они порой нелепы ни были. Пусть напыщенный солдат или унтер снят у кокетливой тумбочки, в ремнях, в начищенных сапогах — всего больше их и красуется на стенах русских изб, потому как в солдатах только и можно было раньше «сняться» на карточку; пусть мои тетки и дядья красуются в фанерном автомобиле, одна тетка в шляпе вроде вороньего гнезда, дядя в кожаном шлеме, севшем на глаза; пусть казак, точнее, мой братишка Кеша, высунувший голову в дыру на материи, изображает казака с газырями и кинжалом; пусть люди с гармошками, балалайками, гитарами, с часами, высунутыми напоказ из-под рукава, и другими предметами, демонстрирующими достаток в доме, таращатся с фотографий.

Я все равно не смеюсь.

Деревенская фотография — своеобразная летопись нашего народа, настенная его история, а еще не смешно и оттого, что фото сделано на фоне родового, разоренного гнезда.

Бабушкин праздник

Вскоре после Ильина дня, как только заканчивался сенокос, в наш дом собиралась вся многочисленная родня — гостевать, точнее, праздновать день бабушкиного рождения. Случалось это раз в два-три года. Чаще-то накладно. Никто не сговаривал бабушкиных сыновей, дочерей, внуков и других родичей съезжаться в этом именно году, об эту пору, но они сами по какому-то наитию знали, когда им надо быть в родном доме, у матери и отца.

Бабушка и дедушка тоже как-то догадывались, что нынче нагрянут ребята, и заранее начинали готовиться к тому, чтобы принять и устроить уйму людей. Само собой, ребята приезжали не с пустыми руками, но все же главная тяжесть расходов ложилась на бабушку с дедушкой, и в доме нашем загодя, еще с зимы начинался великий пост и всевозможный прижим по части расходов харчей и денег — коли пировать, так и мудровать.

После отела коровы брали под особое наблюдение телку или бычка — на закол. На базайскую механическую мельницу по санной дороге увозили и мололи зерно на крупчатку, с весны копили яйца, сбивали сметану на масло — и все это убиралось в подвал, в кладовку, рассовывалось по каким-то никому, кроме бабушки, неведомым тайникам. Лишь мне она уделяла колотое яичко, снятого молока, кривой, ожелтевший огурец или завалиющую постряпушку.

Чем ближе подходил бабушкин праздник, тем напряженней шла жизнь в нашем доме. Бабушка все чаще роняла что-нибудь из рук или проливала и кричала неизвестно кому: «Сдохнуть бы мне сегодня же! Легче бы мне было!» И все же она входила в предпраздничную линию раньше и прочнее, чем дедушка и Кольча-младший. Тех сламывала напряженность, они «закусывали удила», и тогда уж сладить с ними было непросто.

Чаще всего бабушка сама же и доводила мужиков до бунта, взбаламутив и без того беспокойное течение жизни в доме наскоками, подозрениями, излишним подчеркиванием собственных стараний в хлопотах и в труде.

Перед тем праздником, который мне запомнился оттого, что был я уже в памятливых годах, дедушка взорвался в самый неподходящий момент. И довела его до крайности снова бабушка, из-за усталости не почуявшая той черты, за которой наступает предел дедушкиного терпения.

Бобылю Ксенофону надоедало сидеть одному в старой, наполовину засевшей в земле хибарке, и он вечером, после дневного труда и забот приходил на нашу завалинку. Сидели два брата, курили табак, передавая друг дружке кисеты. Иной раз просидят так вот весь вечер, единого слова не скажут и разойдутся, друг другом довольные. А иногда курят-курят молча и молча же куда-то улизнут. И не ищи их тогда — не найдешь. Дед явится поздно, выпивший, отяжелевший, тихий. Бабушка кинет ему подушку, и он успокоится, определившись на высоком курятнике в кути.

В тот злосчастный вечер, как обычно, пришел на завалинку Ксенофонт, выполз за ворота дедушка. Сидели дед и Ксенофонт, смолили табак и думали. Бабушку, издерганную, усталую, зудила неприязнь: таких вот двое мужичищев табак переводят, а она, забегавшаяся, крутится, крутится и дел своих никак не переделает. Ругалась во дворе бабушка, пнула Шарика, поймала курицу, усевшуюся спать в жалице, зашвырнула ее на сеновал,хватила об пол пустое ведро, подвернувшееся на пути, и ведро укатилось к воротам, бухнуло в створку.

Дед даже и ухом не повел.

На беду дед с Ксенофонтом с завалинки ушли, как потом выяснилось, выдернуть лодку повыше на берег, потому что начала в Енисее прибывать вода — от летнего жара потекли беляки в горах, и лодку Ксенофонта, страшного рыболова, могло унести. Бабушке же втемяшилось в голову, что они отправились выпивать, и она закипела пуще прежнего, ждала деда, чтобы обрушиться на него. Надо заметить — бабушка не трогала деда сразу после выпивки.

Никогда деда вдрызг пьяным не видели, и определить, сколько он выпил и в какой пропорции находится, никто не мог. На всякий случай надо было подождать, когда он проспится. Что и делала бабушка, блюдя осторожность и выдержку.

Но тут на нее нашло. Сначала она разорвалась в избе, потом во дворе, потом на улице и, наконец, понеслась к тетке Авдотье, чтобы перебить у нее все окна, если дед там обнаружится.

Тетка Авдотья, та самая, что жила от нас наискосок, младшая сестра дедушки — особая статья в нашей родове. Жизнь ее растрепана, как льняной сноп на неисправной мялке. Муж ее Терентий жил с нею набегами. И после каждого набега оставлял тетку Авдотью в тягостях. Родились у нее только девки. По причине нервности тетки Авдотьи, неустойчивого достатка и обихода девки мерли одна за другой, но трое выжили, на беду и радость матери. Девоч она растила по-чудному: то милует их, бантики из тряпочек в волосья приделывает, в баню чуть не каждый день таскает, в

доме половики настелет, все приберет, выскоблит. То забросит и дом, и девок, не кормит их, не поит, лупцует ухватом, обзывается. Попав в буйную полосу жизни, немытая, пьяная, орала тетка Авдотья матерщинные частушки под нашими окнами, да еще и приплясывала.

Девки подросли, и старшая — Агашка — пригуляла ребеночка. Тетка Авдотья прогнала дочь из дому «с в...ком», а сама побежала в Енисей бросаться, и бросилась, доплыла по-собачьи до сплавной боны, вылезла на нее мокрая, жалкая и выла среди реки протяжно, одиноко и жутко.

После этого тетка Авдотья вернула Агашку домой и стала жить смиренно-тихо. И стариться начала быстро, обвисла, ссутулилась, поседела. Дом она содержала теперь обиходно, даже форточку в раме проделала, чтоб вольный дух помогал расти дитенку. Наряжалась тетка Авдотья мыть и белить избы, копать огороды, нянчилась за плату с ребенком учителей и разную всякую работу делала, волоча за собой везде и всюду любимого внука Костеньку. Потихоньку приторговывала тетка Авдотья винцом и самогонкой. С деда и Ксенофонта платы за вино не брала, и не по родственным соображениям, а потому, что они доглядывали ее хозяйство — привозили дров, починяли домишко, ремонтировали печку.

Совсем наладилась жизнь тетки Авдотьи, как вдруг снова объявился Терентий. Он приплыл с севера, откуда-то из-под Гольчихи, в резиновых сапогах, еще невиданных в нашей деревне, с длинными голенищами, в шляпе, при часах, и привез бочонок соленого омуля.

Терентий открыл створку ворот и в качестве «суприза» катнул во двор пузатенький, ловконький такой бочонок, густо затянутый окислившимся в долгом пути обручами, под крышку забитый отборным омулем. Терентий, подбоченясь, победно оглядел деревню — знай наших, поминай своих! Рот его раскрылся, сморщился от самодовольной, блаженненькой улыбки. Зубов во рту Терентия не было, съело их цингой и водкой. Лишь один какой-то обломочек или корешок, может, и вновь просекшийся молочный зуб весело сверкал на дитячьих деснах, знаменуя собой радость обновления жизни, снова и снова наступающего первотворения, возобновления обеспеченной, семейной жизни под родной крышей.

Предчувствием счастливой встречи и бесконечной радости переполнено сердце вечного скитальца, еще одного беспечного и беспутного овсянского гробовоза.

Поскольку настил во дворе был внаклон и все хозяйство — дом, заплот, ворота — внаклон, и жизнь тетки Авдотьи внаклон, на солнце, на восход, то бочонок с омулем, постукивая по настилу, вспрыгивая на сучках и выбоинах, резво набирал ход и, не будь закрыта калитка в огород,

прокатился бы по грядкам, смял бы прясло, своротил бы весь нижний сельский посад, брыкнулся бы с яра в Енисей, и рыба в бочонке, пусть и соленая, пусть в бессознательном состоянии, поплыла бы в обратный путь, к родному устью, где была изловлена, лишена не только жизни, но и свободы, тесными рядками запечатанная в тугой бездушный бочонок.

Тетка Авдотья, хоть и встречу уклону, хоть и в гору, бочонок, торкнувшийся в огородную калитку, чуть было с петель ее не сорвавший, ногой катнула в обратную сторону, к воротам. Где и сила взялась? Видно, бабья неистовость сильнее всяких сил! Перекувыркнула бочонок, что поросенка с тугими боками через подворотню, поставила его на попа, прилепнула ладонью по сырому торцу, будто поставила печать на замаркированные доски.

После этого тетка Авдотья молча двинулась навстречу лучезарно улыбающемуся мужу, раскинувшему руки для объятий, молча же сорвала шляпу с его головы, кучерявящейся младенческим пушком, шляпу шлепнула оземь и принялась месить ее голыми ногами, втоптывать в пыль, будто гремучую змею. Топтала, топтала, сорвалась на визг. Без слов, без ругани был тот визг. Все в нем спеклось, в этом страшном визге — боль, ненависть, звериная тоска полужены-полувдовы, нужда, одиночество, борьба с девками, перемогание хворей и насмешек деревенских сплетников и блудников, пользующихся услугами мелкой спекулянтки, батрачки, вздорной бабы, позорной, дикой пьянчужки — все-все втоптывала в пыль, в грязь тетка Авдотья.

Натоптавшись до бессилия, навизжавшись до белой слюны, тетка Авдотья молча подняла с дороги шляпу, измызанную, похожую на недосохшую коровью лепеху или гриб-бздех, вялым движением, как бы по обязанности, доводя свою роль до конца, раз-другой хлопнула шляпой по морде мужа, напяливая ее на голову его до ушей, пристукнула кулаком сверху и удалилась во двор.

Весь нижний конец села упивался этой картиной. Задохнувшийся пылью, оглушенный налетом, Терентий долго отплевывался, утирался рукавом, растерянно наблюдая, как Авдотья запирает ворота, как пнула подвернувшегося на пути его любимого пса Мистера, как резко задернула занавески на окнах, даже веревочку порвала у одной занавески, как расшуровала из дому всех, даже девок, выдворила заспавшегося кота, не пощадила и курицу-парунью, сидевшую в сите на куделе, вместе с яйцами хряснула с крыльца и, матерясь, искала еще чего бы сокрушить и выкинуть.

— Во, штурела, курва, во штурела!.. — трусовато, чтоб народ слышал, а баба, впавшая в неистовство, не слышала, частил однозубым ртом

Терентий.

Когда тетка Авдотья выдохлась, поутихла, влезла на полати, как всегда, влезла надолго в привычное убежище, дети и внуки, спрятавшиеся в старом амбаре и не смеющие до темноты показываться в избе, наблюдали в щели амбара, как их папа Терентий сидел среди улицы на бочонке с омулем, бил себя кулаками по голове и со слезами взывал в пространство:

— Куда я денуся теперь, сирота несчастная? Где найду дом-пристань свою?

— А вот не бродяжничай, не бродяжничай! Эт-то что же ты за моду взял: наскочишь, бабу обрухатишь и как вихорь унесешься? — корила Терентия бабушка Катерина Петровна, которой до всего и до всех дело. — Ты подумал бы башкой своей удалой, — бабушка согнутым перстом стучала по покаянной голове Терентия, будто по тыкве, — как твои детки тут? Пить-есть чего у них имеется? Как жена твоя родная, жива или мертва? Загуляла или блюдет себя?.. Или тебе гори все огнем-полымем?

— О-о-ой! — мотал головой доведенный до полного отчаяния Терентий. — Убить меня мало, подлеца такого, тетка Катерина!

Кончилось все это тем, что Терентий и бочонок с омулем оказались у нас. Через день сломленная жалостью бабушка за руку, словно школьницу, привела тетку Авдотью, и в присутствии дедушки, Ксенофонта и бабушки Терентий ползал на коленях перед женою, клялся на образа, что покончит с «прошлым», будет как «андел» — тише воды, ниже травы, вина в рот не возьмет и никуда больше не уедет, потому как «осознал ошибку своей жизни».

Ничего Терентий не осознал. Недели через две он начал куролесить по селу, пропил часы, сапоги и шляпу, бил тетку Авдотью, и она его била, и однажды, будто печной угар, улетучился из дому и села Терентий, снова подался бродяжничать, «длинные, фартовые» рубли искать. Тетка Авдотья опять «налаживалась» и хорошо, что на этот раз Терентий не оставил ей девку на память, да и внуков надо было кормить и растить. Девкам понравилось делать и сплавлять внуков бесхарактерной матери.

После того, как снова и надолго исчезал Терентий, дом тетки Авдотьи являл собой подобие осеннего, полуубранного огорода или реку после ледохода: все перевернуто и опрокинуто, всюду валялись битые черепки, поленья, ломаные скамейки и табуретки, горшки с замертво выпавшими из них цветками, рванье всякое, распущенная подушка, по столу валялись и сохли ложки, чашки, с печи ссыпалась связка луковиц, из переполненной лохани текла зловонная жижа. Кошка куда-то сбежала, во дворе, возле разваленной поленницы, причитал всеми забытый кобелишка по имени

Мистер. Совершенно он сбит с толку превратностями жизни. Совсем недавно его от пуза кормили всевозможными яствами — мясом, мозговыми костями, жирными щами, остатками пирогов. Терентий даже пельменей выносил, один раз насильно засунул в рот конфетку. Испытывая отвращение, Мистер через силу счавкал конфетку вместе с бумажкой. Терентий поцеловал его в морду, назвал «вумницей» — и вот на тебе, морят живую душу голодом, не только не кормят, но и не поят, даже с цепочки не спускают, чтоб промыслить чего-нибудь по селу. Более того, распинав всякое битое и драное имущество, если подвернутся, и детей с внучатами распинав, тетка Авдотья, хоть летом, хоть зимой, босая, косматая, выскочив на крыльцо, орет:

— Сдохни! Околей! — и хватается за что попало. Тут уж прячься живей, влезай в какую-нибудь щель — зашибет!

Давно заведенная квашня оплыла по краям, нашлепались на стол серые ошметки. Тесто засыхало само по себе, и в нем, судорожно дергаясь, затихали налипшие мухи и тараканы. Квашня эта, кислый ее запах не давали тетке Авдотье покоя, хлебный дух тревожил ее и звал к печи. Спустившись с полатей, нащупывая ногой обутки, проклиная жизнь и все на свете, тетка Авдотья с трудом растопляла давно остывшую и оттого дымящую печь. Двигалась она словно бы во сне, расходилась словно после болезни, начиная творить привычную бабью работу, распиная и рассовывая по углам стекла, ломь всякую, тряпье, но, видя, что хлам и сор никуда не деваются, бралась за веник, потом и за тряпку, скребла, мыла, все еще ругаясь, всхлипывая, высказываясь.

Утром в более или менее прибранном доме пахло хлебом, на столе остывали плоские караваи из перекишшего горького теста.

— Жрите! — коротко бросала девкам и внукам, все еще опасливо выглядывающим из-за косяков дверей, из углов, тетка Авдотья: — Да собачонке не забудьте дать.

День, другой, третий, иногда и неделю налаживалась и входила в берега разлаженная, выбитая из колеи жизнь в доме тетки Авдотьи. Потихоньку, помаленьку девки, их дети, затем и сама тетка Авдотья начинали выходить за ворота, являлись селу и людям.

— Сошла луна с ущербу, — понарошке крестилась бабушка. — Чё не заходишь-то?

Тетка Авдотья, пробурчав: «Мы бедны, вы богаты», — отвернувшись, проходила мимо. Одевалась она в эту пору во все драное, старое, заношенное, чтоб треснутые пятки из обуток было видно, чтоб все понимали, какая она несчастная, отверженная, всеми брошенная.

Но вот в прибранном, угоенном доме, во время рукоделия или при починке изорванной одежды, теребления ли пера, а то и у прялки, тетка Авдотья тоненько, без слов принималась чего-то в забывчивости напевать, потом и на слова переходила. Ну, дети уж тут как тут, не отстанут от родимой матушки, радостно подхватят, поведут — заслушаешься. И дойдет у них дело до самой жалостной, самой близкой их сердцу песни про коварную и изменчивую любовь. Хотя и есть в песне предупреждение: «Не любите моряка, моряки оманут», — все равно не устоять слабому девичьему сердцу под напором страстей, и дело заканчивается известно чем: «Месяц светит за окном, дождь идет уныло, а в руках она несет матросенка-сына».

И как разольются по селу, отзвенят отчаянные голоса тетки Авдотьиных девок, долго еще смотрит в окно, в пространство слепыми от слез глазами сама тетка Авдотья. И чего она там видит, об чем думает и страдает? Спыхватится, встряхнется и с протяжным вздохом молвит тетка Авдотья, ловя рукой иголку или веретено:

— Ох, девки, девки! Блядишшы вы блядишшы, я пропаду, и вы пропадете.

Не встречал я людей на свете, кроме бабушки и тетки Авдотьи, которые бы так люто «считались», как у нас называют бабью перебранку, и все же так прочно дружили бы, жалели одна другую и подсобляли в трудные дни.

Вот к тетке-то Авдотье и подалась бабушка с намерением перебить у нее все окна, битые не раз уже и не два разными другими людьми. А пока она бегала, выясняла обстановку, дед вернулся с реки, забрался на свой курятник и спокойно уснул.

Неизрасходованный заряд сжигал бабушку, и утром она выпалила его в деда. Тот выслушал бабушку сдержанно, лишь поскорбел лицом, и борода его, под Пугачева стриженная, раза два прошла вверх-вниз, чего бабушка, к несчастью, не заметила и вовремя не застопорила. Не дослушав до конца бабушку — завелась она надолго, — дед пошел во двор, вывел коня Ястреба, вынул заворину из ворот, забросил ее в гущу крапивы, и, смекнувши, к чему клонится дело, я ринулся в избу:

— Баб, а баб! Дедушка уезжает!..

— И понеси лешак! — с прежним накалом в голосе крикнула бабушка.

Бунт деда дошел до такого накала, что он и не запер ворота, оставил их распахнутыми и, более того, не поднял доску в подворотне, разнес ее телегою в щепье.

— И не запирай! И не запирай! — кричала бабушка с крыльца. — И я

не запру! И я не запру! Стыдобушки-то! Сраму-то! Смотрите, люди добрые, как у нас ворота расхабарены! Дивуйтесь! Поло! Кругом поло! У тебя поло-то! У тебя!..

Так кричала бабушка, а сама поднималась на цыпочки, вытягивала шею, надеясь, что дедушка погром учинил сгоряча и одумается еще, воротится. Но за кладбищем телега загромыхала по камешнику Фокинской речки, с бряком, звяком пронеслась в гору и исчезла в сосняке. Ястреб, перепуганный тем, что смиренный и молчаливый хозяин, стоя во весь рост в телеге, рычал, хлестал его вожжами, мчался в гору прытче племенного жеребца, по направлению к заимке, где оставалась еще наша избушка, не занятая сплавщиками, потому как стояла далеко от запани.

Кольча-младший заменил на сенокосе дедушку, чтобы высвободить его в помощь бабушке. А помощник-то, вон он, был и нету!

— Ха-рашшо-о-о! Харр-ра-шо-о-о! Очень даже славно! — подбоченилась бабушка, когда звук телеги умолк в лесу. — Съедутся детки родимые, где тятя — спросят. Внуки, деточки малые — где наш дедушка родимый? А я скажу имя: милые мои деточки, ударила ему моча в голову, и умчался ваш Илья-пророк ко всем лешакам, токо телега загремела! И поймите вы, мои родимые, скажу я имя, какая моя жизнь была с таким человеком! Ведь он на лес глянет — и лес повянет! Сколько же мук приняла я, горемышна-а-а...

Попусту причитать и высказываться бабушке недосуг, она говорила, бранилась и напевала, управляясь по хозяйству, но ворота не закрывала и мне закрывать не велела. С уязвленностью и тайной болью она все повторяла: пусть люди посмотрят, пусть полюбуются и рассудят, какова ее жизнь и какие она страдания перенесла на своем веку.

До самой ночи порота были полыми, но когда стемнело, пришлось нам их все же закрывать. Надежд на возвращение дедушки больше не оставалось. Пока нашли мы в жалице заворину, пообстрекались оба с бабушкой. Она примачивала мои волдырями взявшиеся руки и уже вяло, на последнем накале грозилась:

— Посидишь вот голодом-то, посидишь!.. Ишь, сбрындил! Че и сказала-то! Ну, не выпивал, дак не выпивал. Я тоже нервная, тоже могу лишнее брякнуть... Конишку-то, конишку забьет! В ем, в крехтуне, зла этого... Ой, забьет...

Почти весь следующий день бабушка крепилась, сохраняя твердость, все разговаривала так, будто дед — вот он, рядом, но потом сдалась, наладила заплечный мешок с харчами, снарядила меня на заимку.

— Кольчу мне жалко, Кольчу, — толковала мне бабушка. — Сам-от

хоть седни, хоть завтра с голоду окочурься — не охну. И не единой слезы не уроню. Ни единой!.. — Бабушка притопнула и кулаком в сторону займки погрозила. Но за воротами начала переминаясь, поправлять на мне мешок и конфузливо просить: — Созови дедушку-то, созови. Бычка колоть надо. Делов полон двор... Созови. Он ндравный, но тебя послушат... Созови, батюшко...

Легко сказать — созови, а как созову? Затруднительно! Малейшая оплошность могла обернуться еще большим отчуждением дедушки от дома.

Дед встретил меня на займке хмуро, и перво-наперво надо было ликвидировать его мрачное настроение. Как ни в чем не бывало включился я в дела, схватил ведро, зазвенел им и побежал к ключу. Затем развел огонь, намыл картошек, заорал:

Распроклятая картошка,
Что ж ты долго не кипишь?
Гости все поцеловались,
Ты холодная стоишь!..

Эть, клюнуло! Дедушка потянул воздух широкой ноздрей и ухмыльнулся в бороду.

— Где соль, деда?

Он воззрился на меня с досадою: даже тут, вдалеке от постылого дома, ему покоя нет, даже тут, в тайге дремучей, не дают ему побыть в гордой уединенности, что ж ему — в землю закапываться?

— Где же ей быть? В избе...

Еще клюнуло! Выдавил из деда слово — это не так уж мало! Еще Кольча-младший скорее бы с покоса вернулся, тогда мы совсем быстро деда одолеем. Кольче-младшему не с руки поститься вместе с дедом, в деревню ему охота, по вечеркам шляться.

Соль соленая-ядренная,
Тра-та-та-та...

орал я громче прежнего и бухнул в картошку одну горсть соли, прицелился другую бухнуть, но тут:

— Соль-то покупная...

Ага-а-а, дедушка-соседушка, все же о добре-то печешься! Не наплевать, значит, тебе на хозяйство. Думаешь, стало быть, заботишься. Пока еще меня ни о чем не спрашиваешь, пока еще делаешь вид: мол, пусть все горит-полыхает — и не охну, и не загорюю, освободился от оков...

Картошки сварились. Я отлил воду, поставил чугунок на стол. Хлеб нарезал, шаньги картофельные из мешка вынул, простокваши две кринки выставил. Дед ни малейшего внимания, курит табак, ничего больше не делает. Сидит па чурбаке, смотрит вдаль, за Ману, полный презрения к хозяйству и труду, и от него дым, как от парохода.

— Позвать Кольчу-то?

— Зови. Мне што?

Я мчался в поле, издали махал рукой, кричал:

— Дя-а-а-а Коля-а-а! Дя-а-а-а Ко-о-оля-а-а-а!

Кольча-младший огораживал стог сена, вязал прутьями колья, зарубал жерди. Рубаха у него навывпуск, в волнистом чубе запутались сухие травинки и щепочки. Я упал в тенистое укрытие стога. Кольча-младший быстрее доделывал огорожу, расспрашивал про бабушку, про дом и как у нас дела идут. В пути от зарода до заимки мы договорились с ним о дальнейших действиях. Под видом неотложных дел он уберется после обеда с заимки. Дед, надо полагать, долго не выдержит одиночества и тоже, глядишь, соберется домой, в село.

— Только ничем ему тут не досаждай и не серди, — наказывал дядя. — Смотри, не сделай промашку!

Сполоснувшись в реке, Кольча-младший сел за стол и крикнул в открытую дверь:

— Тятя, ты чего ись-то не идешь! Ждем ведь!

— Бу-бу-бу.

Дед бубнит в бороду, чего бубнит — разбери попробуй! Наконец появился, строго и печально перекрестился на деревянную икону. Мы с Кольчей-младшим чистили картошки, стараясь не глядеть на него. Сначала нехотя, замедленно ел дед, выбирая из чугуна кособокие, маленькие, поврежденные картохи, долго, с кряхтеньем чистил, круто их солил. Сплошная скорбь наш дедушка. Кольча-младший отворачивался к окну, будто на коней смотрел, я держался из последних сил, чтобы не прыснуть. Все тогда пропало.

Постепенно дед разошелся в еде, и мы прикончили весь харч, привезенный из дому, — бабушка послала еды в обрез, чтобы раздражить мужиков домашней снедью и выманить их с заимки. Кругом тонкая политика.

После обеда я забрался на полати, Кольча-младший, как и договорено было, смотался с заимки в село. Дед ходил по двору, бубнил, постукивал топором.

Переломный сейчас момент. Дед может одолеть обиду, а может и окончательно раздумать возвращаться в село. Очень он характерный у нас. Но вот звякнули удила оброти, дед перестал колесить по двору. Ушел за конем.

Сломался дед!

Вскоре по деревянному настилу застучали копыта. Слышно было, как дед заводил в оглобли и пятаил к телеге неповоротливого Ястреба, затем собирал шмотки, шарился в сенках, отыскивал замок и ключ.

— Спать, што ли, сюда явился? — недовольно, в пространство обронил он.

Я нехотя спустился с полатей, потянулся, зевнул, будто разоспался.

В телеге свежее сено. Я плюхнулся на него брюхом и тронул со двора заимки. Дед закрывал ворота, я ждал. Долго закрывал ворота дед. Не раздумал бы. Нет. Сморкается, закуривает основательно — на дорогу.

Всю дорогу я видел непоколебимую дедушкину спину. Он не разговаривал со мной и не понукал Ястреба, ехал домой словно бы по повинности. На полпути, не оборачиваясь, мрачно любопытствовал:

— Сама послала?

Я прикинул — Королев лог проехали, скоро спуск к селу начнется и возвращаться на заимку никакого резона нет.

— Сама.

— А-а-а!.. То-то!

Из этих звуков, выдавленных дедом в бороду, я сделал заключение: дед наслаждался мстостью и торжествует. «А-а-а» — значит, достукались, довели человека до крайности — и что получилось? «То-то!» — значит, какой бы я ни был «толстодум» и «крехтун», но без меня не обойтись, потому как хозяином я в дому был и хозяином останусь. Сколько бы вы там ни фордыбачили. И праздник без меня не праздник, да и в будни я еще пригожуся...

— Н-но, Ястреб! Н-но, Ястребушко! — шевелил вожжами дед и к дому подкатил на рысях.

Бабушка ворота открывала. Ястреба под узду брала, по двору не ходила она, а прямо летала, на меня смотрела благодарно, на деда — заискивающе, и все разговаривала, разговаривала. Дед никакого пока ей ответа не давал.

— Может, с устатку выпьешь? — за ужином предложила бабушка и

примчала из горницы шкалик водки.

Дед вылил водку в фарфоровый бокал, опрокинул ее, крякнул одобрительно и принялся за щи.

В доме нашем наступил мир.

Гости съезжались по-разному. Кольча-старший приехал из города с женой своей Натальей на сплавщицкой моторке. В город они смотались во время коллективизации и жили там крестьянским хозяйством. Жили по-чуждому: работали день и ночь, торговали на базаре, рядились за каждую копейку, потом все накопленные деньги бесшабашно, весело прогуливали и начинали снова копить.

Дядя Вася с тетей Любой пришли из Базаихи пешком, через горы. Люди они очень похожие друг на друга — аккуратные, добрые, — бабушка души в них не чаяла. Оба работали в Лалетинском опытном саду, тетя Люба — садовницей, дядя Вася — рабочим. Они принесли с собой красных яблочек, еще терпких и горьковатых. Поскольку большинство ребят, в том числе и я, никогда не видели яблочек, то страшно обрадовались такому гостинцу и горькие, вяжущие эти яблоки съели за милую душу.

Маня — тетка — белая лебедка, как ее дразнили в семье, с мужем Зыряновым приплыли на лодке от Манского шивера, приплавляли стерлядей и таймененка и, вручая бабушке, говорили, мол, красна изба углами, а сибирский праздник — рыбными пирогами. Зырянов работал бакенщиком, и у него была грыжа, которую он подвязывал красным ремнем. Детей у тети Мани и Зырянова не было, поэтому жили они прижимисто, богатенько. Бабушка недолго любила Зырянова, звала его только по фамилии, тетку Марию жалела, но в жизнь их не вмешивалась. «Муж да жена — одна сатана» — скромно повторяла она, но касались эти слова лишь тети Мани и Зырянова, остальных детей бабушка и в супружестве тревожила своими решительными действиями.

Объявились, как всегда, новые родственники, и, как всегда, прибыл гость в пеленках — сын которой-то бабушкиной племянницы. Бабушка немедленно распеленала его, как бы между прочим осмотрела: пеленки чисты ли и не в рубцах ли. Провела рукой по грудке и по пузцу кривоногого мужика. В ответ на это действие молодой сибиряк блаженно потянулся, зажмурился, выдал крепкий звук, отчего все захохотали.

— Вот еще новожитель! — ворковала бабушка. — Нашего полку прибыло! Пупок узелком, ноги кругляшком, дух хлебной — па-а-ахарь будет, па-а-ахарь! — И человечешко заулыбался вдруг, молодая мама, наслышанная о том, что за характер у бабушки Катерины и каково ей потрафить, стоявшая до этого ни жива ни мертва, заткнула рот и нос

платком. Бабушка, и сквозь землю зрящая, прикрикнула:

— Расклеви парня-то!

Во дворе кружатся мужики, вспоминают, что и как тут было прежде, радуются тому, что мало чего изменилось и, перешибая один другого, вспоминают: то как он, Вася, свалился с крыши в загон и сел верхом на корову, отчего бабушка, доившая корову, едва умом не тронулась; то как они с Иваном лазили за огурцами к Тимше Верехтину и как он палил по ним из восьмикалиберного дробовика, заряженного дресвой; то как укусил Васю уросливый Карька, Вася обозлился и сам Карьку укусил, так после этого Карька лишь Васю к себе и подпускал, больше никого за людей не считал; то как купались в Енисее с утра до ночи, иной раз в заберегах еще начинали; то как зорили птичьи гнезда (дураки же были, ей-Богу!); то как на заимке работали и мать прибежит, бывало, на пашню, распушит и девок и парней за нерадивость, возьметса показывать трудовой пример — свяжет снопик-другой натуго и тут же мчится в село либо на соседнюю пашню, где тоже надо командовать, давать указания, но некому этим ответственным делом заниматься.

— А помнишь?

— А помнишь? — слышалось со всех сторон.

И седые мои дядья, тетки смеялись и молодели лицом. Были они почти все рыжеваты, конопаты и скуласты. Самые рыжие — Кольча-старший и дядя Ваня, дальше, как утверждали дядья и тетки, краски на всех не хватило и пошел цвет пожиже. Кольча-младший вовсе рус, и конопатин на его долю досталось всего ничего — щепотка.

Ворота почти не затворяются, щеколда бренчит праздничным набатом — родня прибывает и прибывает. То и дело слышится присказка: «Скок на крылечко, бряк во колечко — дома ли хозяева?» Соседи, друзья дядей и теток, давно не видевшиися, заходят поздороваться, перемолвиться словом. Их не очень настойчиво приглашают завтра быть гостями. Праздник семейный, и всяк в селе знает, что в таком празднике чужим быть незачем.

Жители нашего села состояли в основном из четырех колен родственников, и четыре фамилии главенствовали в нем. Самая распространенная фамилия — Фокины, затем — Шахматовы, затем наша — Потылицыны, а затем уже негустая, но отчаянная фамилия — Верехтины. Когда гуляла какая-нибудь из этих фамилий, ее никто не тревожил, хотя заведено у нас было гулять, перебираясь из дома в дом. Бывало, если человек слабоват, пока из одного конца села до другого доберется, то уж у него отпуск просрочен и ему зеленые чертики являются. Тогда тащили его в баню, отмывали, отпаривали, брызгали с помела водою

— чтобы чертей отогнать, — и таким образом возвращали семье и труду.

Драк в общих гулянках случалось шибко много, так много, что огороды, выходявшие на улицу, за зиму бывали разгорожены до основания, жерди и колья потрачены в битвах, как первейшее сподручное орудие.

Но в семейных праздниках гуляли основательно, спокойно и редко кто срывался, если и срывался тот или иной родственник, вспоминавший какую-либо давнюю обиду, его или уговаривали, или дружно связывали, не давали войти в распал.

Пожалуй, только Верехтины отличались неумным буйством. Они почти все жили в одном переулке, гуляли обычно в Троицу, и можно было слышать из верехтинского переулка хруст ломаемого дерева, крики: «Караул!», «Мама!», «Пусти меня!» Затем грохал восьмикалиберный дробовик, следом за ним слышался голос кривоногого Тимши Верехтина, самого старшего в родове:

— Пер-ры-стреляю-у-у! Всех уложу-у-у-у!..

Никто в верехтинский переулочек в эту пору не совался, хотя узнать хотелось, что и как там? И когда являлся из переулочка немой Кирила, родственник Верехтиных, его облепляли женщины и тормозили расспросами. Кирила плакал, и по его носатому, большому лицу на вышитую плисовую рубаху катились слезы. Очень жалели все люди трудягу мужика, угодившего в такую неподходящую для него родню.

— Па-па — пу-у-ух! — изображал Кирила, как из дробовика палил Тимша. — Мама — ой-ой-ой!.. Я — у-у-у!

И он показывал, как растаскивал братьев, но они порывали на себе рубахи, побили в избе посуду и на нем хотели порвать рубаху, да он ушел, устал потому что, и глаза его не глядели бы на такую жизнь. Пожалуй, пойдет он сейчас и утопится. Кирила отправлялся дальше, неся утробный, протяжный звук, бабенки, что побойчее, приближались к верехтинскому переулочку:

— Вот, достукались! Кирила топиться пошел!..

Из-за верехтинского заплота посылали всех подальше. Собирая на груди изодранную кофту, с вечным синяком под глазом, выскакивала из ворот «сама» — Платошиха, спрашивала, в какую сторону ушел Кирила, отбегала на безопасное расстояние и кричала:

— Всех он вас, бандитов, обрабливает! Вы его мизинцу не стоите! Чтобы вы сегодня же поиздыхали! Чтобы вы все по тюрьмам поизгнивали!..

Улица сочувственно расступалась перед женщиной, наша бабушка, вечно недовольная дедам, мною, детьми, не удержалась и как-то изрекла

признание:

— Нет, не скажу худого про своих ребят и про мужа свою. Синяка единого не нашивала. А эт-то чё жа, матушки вы мои, родну мать чуть чего — и в кулаки! Да распоследнее это дело! В сельсовет надо жаловаться. В сельсове-ет.

— Ага, поди пожалуйста, — поддакивали ей. — Митроха-то чьего корня отросток? То-то и оно-то!

Бабушка не раз говаривала, что ребят своих держала строго, даже излишне строго, зато имеет результат. Она и посейчас еще напускала на себя суровость, чтоб сыны ее и дочери — иные из них уже и сами деды! — не забывали, кто она и что она. «Робяты» охотно доставляли ей удовольствие властвовать над ними и гнету не испытывали. попавши под эту, как бы уж и невзаправдашнюю, кратковременную власть.

В сбившемся на ухо платке, бабушка выпорхнула во двор, прервала праздное времяпрепровождение.

— Робята! Мужики! Вы какво же дьявола сидите, табак переводите?

— А чё нам делать-то?

— Как это чё? В ночь поельцовали бы. Я бы вам такое жариво спроворила!..

— Да сети-то где ж?

— Сети? У мамы все есть! Мама все сбережет! — ударила бабушка себя в грудь кулаком, и мужики полезли на сарай, повторяя громко, чтоб бабушка слышала: «Ну, мама! Ну до чего бережлива! Ну радость нам!..»

Слышно, как бренчали кибасья сетей на сарае, как там довольно и возбужденно переговаривались мужики, женщины с безнадежностью требовали:

— Рубахи-то чистые хоть бы поскидывали! А тебя уж подхватит! — пеняли они бабушке сердито. — Перетонут ишшо...

Бабушка вознамерилась вступить в спор, по тут раздался звонкий, бесшабашный голос тетки Августы:

— Много вас, не надо ль нас?

— Я-ави-ила-ась, голубушка, я-а-ави-ила-ась! — обрушилась на нее бабушка. — Отчего же не завтра, прямо к столу бы...

Тетка Августа больше всех Потылицыных обижена судьбой. Мужа убили, сын немой, дома своего нет — мается по чужим углам. Она помогала бабушке в будни и в праздники. Бабушка без тетки Августы жить не может, но бранит ее постоянно. Вот уж сколько дней от окна к окну бегала — не случилось ли чего с Августой на сплаве, но стоило ей появиться — бабушка в претензию.

— Я ж на производстве, мама, на сплаву. Не свое — не бросишь, — уронила с горечью Августа, всем как-то неловко сделалось, и бабушка не знала, что дальше сказать. Но Августа сама же все и поправила:

— Тошно мне, Любанька! — протянула она руки, обняла и расцеловала Васину жену, ко всем одинаково ласковую, всеми нежно любимую. Затем тетка Августа обнялась с тетей Талей, с дядей Колей, что-то там сказала, засмеялась — и снова стало весело, дружно в доме.

Минут через десять Августа мчалась уже с подойницей под навес, потом сеяла муку и вся ушла в работу.

Робятня толкалась на крыльце. Алешка, явившийся к бабушке еще вечером, показывал и толковал мне, как рвет водою цинки на сплаве, какой дают сладкий кисель в столовке. Я переводил нашей малой и старой родне Алешкины разговоры. Люди дивовались.

— Ат смышленыш! Ат тебе и безъязыкай! Другому и с языком очки вставит!

— Он еще в шахматы играть научился! — после долгих Алешкиных разъяснений вдруг понял я и заорал об этом на весь двор. Бабушка возникла тут же, перепуганная.

— Чего-о-о?

— Алешка в шахматы играет!

— Вот горе-то! Проиграт с себя и с Гуски все!..

Дядя Вася пояснил бабушке, что такое шахматы. Не карты, мол, это, не очко.

— А-а, — успокоилась бабушка. — Все же не играл бы лучше. Мало ли чего.

Дяди Васина и тети Любина дочка Катенька, девочка с бантом, в матроске при якорях, скособочившись, почертила сандалией землю:

— Я штишок жнаю.

— Да ну?! — удивилась бабушка и присела перед балованной девчушкой на корточки, сделала умильное лицо:

— Ну-ко, ну-ко, милушка, скажи баушке стишок. — И платок с уха сдвинула бабушка, чтоб все расслышать, ничего не пропустить.

Катенька взобралась на крыльцо, будто на сцену. Дядя Вася потребовал тишины, тетя Люба вся напряглась и покраснела от переживания. Она не спускала глаз с дочки, шевелила губами следом за нею.

Ты, шорока-белобока,
Науси меня летать,

Недалеко, невысоко,
Штабы бабушку видать!

Подхалимский стишок произвел такое впечатление на всех собравшихся и особенно на бабушку, что я не могу этого и описать. Бабушка тут же исчезла с глаз долой, примчала полную горсть лампасеек. Со щедрой отчаянностью она высыпала все до единой конфетки в карманчик Катенькиной матроски, всю ее исцеловала, а дядья и тетки так хвалили Катеньку, такие о ней хорошие слова говорили, что чуть было и меня не проняли. Я тоже хотел взобраться на крыльцо и громко, с выражением прочесть выученный в школе стих:

В бою схватились двое:
Чужой солдат и наш...

Но бабушка пустит слезу: «Послушала бы да поглядела мать-то, покойница...», и посмотрит на дядьев и теток, чтоб они тоже мне посочувствовали, заодно и ее пожалели. У Кольчи-младшего и у крестной моей — тетки Апрони, которые были вместе с матерью в лодке, но спаслись, лица закаменеют, весь праздник они будут молчать. Женщины дальнего рода станут расспрашивать бабушку, и она примется рассказывать с подробностями, как и что было, как искали в реке мою мать и как нашли уж такую, что она только и узнала ее, да как потом ее хоронили, во что обрядили. Половина гостей загорюет, иные отправятся на кладбище реветь...

А я не хотел слез, потому как слезы еще впереди. Нет плаксивей народа, чем сибиряки в гулянке. Вот почему я не стал декламировать про чужого и нашего солдата, но ребятишкам, братанам своим двоюродным и троюродным, которых шибко много набралось, я все же пробормотал стих, и они очень этим остались довольны. Они тоже терпеть не могли, чтобы девчонки держали в чем-нибудь верх и пуще них глянулись бабушке.

Под вечер мужики с громким говором, возбужденные предчувствием рыбалки, требующей ловкости, сметки и быстроты, отправились на реку и отбыли в двух лодках к острову, чтобы от приверхи его сделать первый замет сетей. Никого из ребят мужики с собой не взяли, и это было мне сильно огорчительно. Любил я участвовать в азартной и хитрой рыбалке плавными сетями.

Но горевал я недолго. Народу наезжего было много, бабушка меня домой не требовала, и мы играли до темноты во всякие игры: и в городки, и в догонялки, и в прятки, и в чехарду. Играли до тех пор, пока не изнемогли. Бабушка вместе с Августой, Апроней и теткой Марией уже затопили печь, выкатывали на столе печенюшки, защищывали пироги, вязали калачи, резали орешки из теста и много чего они мастерили. Нас кормила тетя Люба и все потихоньку выпрашивала:

— Дядя Вася не выпивший поплыл? Не утонут они?

— Любанька! — крикнула из кути бабушка. — Ты гвардии-то в горнице стели. Всем в лежку — не перепутаются. Да сама-то, сама поспи, голубушка. Мы-то ведь привычные, а ты нежная, из хорошего дому...

— Да что вы, мама! Я тоже с вами буду. Как же я лягу? Вот постелю детям и присоединюсь.

— Нет уж, нет уж, Любанька, не перечь! Тут мой устав! Худой ли, какой ли, а мой! Штабы без разговору! И што это за дрожжи такие пошли? Раньше, бывало, на опаре заведешь, эва какие мягкие подымутся! Нонче и на дрожжах чисто рахитные, разъязвило бы их! Может, и удаль не та? Глаз и рука, может, сдали?

Тетки заверяли бабушку, что все нормально, что ни о чем не надо убиваться, и рассказывали друг дружке о том, как жили и живут они, кого встречали за это время, чем хворали они и дети, какая заработка на сплаве и скоро ли Зырянову грыжу вырежут?

Вот всегда бы, вечно так согласно и жили бы люди, Дружно. Так нет ведь, бабы и в первую голову старухи, а от них и молодухи отставать не хотят — все чепляют, чепляют друг дружку, в особенности мужика. Ровно бы мужик — это враг кровный и всегда поперек ее дороги лежит.

Вечер, покой благостный в дому, а она, баба, побрякивает да позвякивает посудой, пошвыривает да побрасывает поленья. В постель идет, в горницу, и одежду с себя не сымает — рвет. «Подвинься! — рычит на мужа. — Разлегся, как боров!»

По всем статьям мужик, если он истинный гробовоз, должен бабу шугануть, столкнуть ее с кровати, но он послушно подвигается, пускает жену под одеяло да еще и подтыкает под спину, чтоб теплее и мягче жене было. И она сразу усмиряется, притихает, старики поскорее уносят лампу в куть. На кровати вроде бы даже и баловаться начнут, шалить, что дети, смешки, шепотки, мир, лад, согласие...

И уяснил я еще в детстве, пусть не буквально-досконально, пусть не до самого дна, но уяснил, что днем, на свету, на народе люди и живут для народа, для других людей то есть, и к народу они оборачиваются угодным

тому обликом, отстраненным, сердитым, готовым к отпору, чтобы с отпором не опоздать, первые и набрасываются на всех, в особенности на тех, кто под рукой, кто поближе, но, оставшись наедине друг с другом, люди становятся сами собой и живут друг для друга, пусть и недолго, ночью лишь, но живут, как велит им сердце, сердце, на то оно и живое сердце, чтоб ему худа не было, оно спокой любит и чтоб хорошо было, злое сердце быстро изнашивается, рвется, словно на гвоздях, стирается, будто колесо о худую дорогу, оно и воистину не камень, хотя и камень поточи, подолби, так рассыплется.

Где-то в середине ночи ударило по избе ароматом стряпни, первыми печенюшками, вынутыми из печи, и тут же в горнице появилась бабушка.

— Ребятишки, вы не спите? — шепотом спросила.

— Не-э.

— А чтоб вам пусто было! Нате вот первеньких! Да легче, легче, горячие! Малых-то поразбудите. Любанька, отведай и ты, милая моя!

— Спасибо, мама! Ох, какая горячая!

— Ешь, ешь! — Бабушка присела на минутку к тете Любе. — Как живете-то с Васильем? Ладно ли?

— Ничего живем, не скандалим.

— И слава Богу, и слава Богу! Он ведь хороший, шибко хороший. Из всех парней разумница... — Бабушка замолкла, потянула носом: — Тошно мне! Заговорила! Девки, пятнай их, недосмотрят, завернут башку-то!.. — Бабушка выпорхнула из горницы и прикрыла обе створки дверей.

Когда приплыли мужики, мы не слышали. И тетя Люба тоже проспала, отчего угром конфузилась, дядя Вася подразнивал ее, стращая: в следующий раз с ельцовкой уплывет до города и такую там стерлядь заловит!..

— Будет болтать-то, будет! — крикнула из кладовки бабушка и протяжно, с подвывом зевнула. — Чего зарыбачили? Два тайменя: один с вошь, другой помене? — Она вышла из кладовой, где поспала часок или два на рассвете, глянула на корзину, полную ельцов, удивилась: — Гляди-ко, попалось!

— На твоего ангела закидывали, мама!

— Ничего ангел-то, рыбистай! — согласилась бабушка и приказала дяде Васе: — Не мылься коло Любы-то, не мылься, ступай с мужиками на сеновал, поспи. Ночь-то пробулькались и с первой рюмки под стол уйдете — с родней видеться... Тебе, Любанька, наказ: всю гвардию накормить и

удозорить, чтоб ни один в реку не упал и никуда не делся! Гуска, Апронька, Марея! Хватит дрыхнуть! Вставайте! Экие кобылицы! Солнце на обед.

— Вот ведь нечистый дух! — заворчала в кладовке тетка Мария. — Поднимется ни свет ни заря и никому спать не дает.

Ей чё! Ей дай покомандовать! — поддакнула Апроня.

— Генерал! — вставила Августа.

Одна за другой тетки выходят во двор, потягиваются, зевают, бренчат рукомойником, и через короткое время они уже снова в ходу, в работе, вялость слетает с них, мятые лица разглаживаются.

К полудню в горнице накрыты столы. Тетки и бабушка, исчезнувшие на время, явились немислимо нарядные, важные. Правда, важничает бабушка да еще тетка Мария. Апроня же и Августа — просмешницы, зубоскалки, хватает их серьезности ненадолго.

Дед распахнул одну створку дверей, бабушка другую и напевно, с плохо скрытым волнением стали приглашать гостей:

— Милости прошу, гостеньки дорогие! Милости прошу отведать угощения нашего небогатого. Уж не обессудьте, чего Бог послал.

А дед сам себе в бороду:

— Проходите, будьте ласковы, проходите!..

Церемонность его угнетала, не по сердцу она ему, но не раз уж коренный бабушкой за то, что и людей-то он приветить не умеет, и слова на них жалеет, дед выполнял обременительную обязанность до конца. Сыны проходили мимо деда, подмигивали ему, ободряли и даже предлагали бросить пост, отправляться за стол. Но бабушка бдила — и дед усмыгнуть к столу не решался.

После шутовой возни, короткой, шумной междоусобицы, стараясь не уронить чего и не облить наряд себе или соседу, расселось большое семейство — взрослые за двумя столами, дети за третьим. К столам еще приделаны подставки, и они совсем как в сплавщицкой столовой — от стены до стены. В конце того стола, который торцом упирался под божницу, два свободных места — дедушки и бабушки.

Стол накрыт по сибирскому закону: все, что есть в печи, в погребе, в кладовке, все, что скоплено за долгий срок, теперь должно оказаться на столе. И чем больше, тем лучше. Поэтому все на столах крупно, нарядно, все ядрено, все зажарено и запечено с красотой, большим старанием и умением.

Студень — гордость стряпух, чуть только жирком подернутый сверху, колыхнулся при появлении гостей в горнице и дрожью дрожит. Прозрачен студень, легок на вид, но резать его ножом надо. Капуста в пластах, капуста

крошевом. Соленые огурцы ломтиками. Петух отварной из чашки лапы выпростал. Рыжики с луком по всему столу на мелких тарелочках радужно улыбаются пестрыми губами. Рыжик у нас не моют перед засолкой, протирают тряпками каждый по отдельности, и от этого грибы не вянут, не темнеют и на зубу хрустят свежо. На двух больших чугунных сковородах зажаренные в русской печи ельцы. Они не пересохшие, но подрумяненные так, что есть их можно с головой — только похрумкивают. Перцу в них, листа лаврового впору, жиров к ним не добавляют — что за елец, если он своего соку не даст. Тут уж или елец плох, или стряпка никудышняя. Рыбный пирог из таймененка, привезенного Зыряновым. У нас пироги делают по величине рыбы — какая рыба, такой и пирог, лишь бы в печку влез. На сей раз пирог получился невелик, но запашист. Нет лучше пирога, чем из тайменя. Как и к ельцу, в пирог, кроме перца и лаврового листа, ничего не добавляют. Он сам даст сок, жир и аромат.

Шаньги, печенюшки, мясо так, мясо этак. Малосольная стерлядь, верещага-яичница, сладкие пироги, вазы с брусникой, еще прошлогодней, вазы с вареньем черничным, еще позапрошлогодним, хворост, печенье, сушки, орешки, из теста нажаренные!..

Все горой, всего много, все со стола валится. Сейчас бы есть и пить, да не тут-то было. В последний момент бабушка исчезла, и все сидели, томительно ждали. Дед потоптался, потоптался, буркнул что-то и определился под божницу, на свое место.

— Вечно выламывается!

Поднялись Кольча-старший и дядя Ваня. Они бережно ввели бабушку под локти. В горнице они подморгнули Августе и Апроне, чтоб те не прыснули и не нарушили бы церемониал. Дальним путем, мимо ребятишек, провели бабушку старшие сыновья в передний угол, отодвинули стул:

— Мама, тебе почет и место!

Бабушка знала, как трудно даются речи этим пятидесятилетним робятам, и на большее не рассчитывала.

Скромно так, застенчиво она опустила глаза и дрогнула губами.

— Спасибо, дети мои, спасибо за уважение.

Мимоходом она сразила деда взглядом за то, что нарушает он ритуал и цену себе не знает. Дед досадливо отвернулся, и борода его заходила вверх-вниз, вверх-вниз.

Это еще не все, далеко не все. Бабушка повернулась к божнице, однако позицию выбрала такую, чтобы все застолье охватить взглядом можно было. И начала креститься. Все задвигали стульями, скамейками, уронили вилку со звоном, зашикали друг на дружку, взрослые перекрестились на

образа, малыши и я вместе с ними, к неудовольствию бабушки, остались сидеть. Она ничего нам не сказала, поскольку тут все больше школьники.

Бабушка на месте. Ждет. В роль вступил дед. Из-под стола он выудил четверть с водкой и молча разлил ее по стаканам, тетя Люба наливала в рюмочки, которые мы охотно и наперебой подставляли, брусничной настойки. Четверти хватило лишь на один разлив. Дед поднял граненый стакан, негромко, стеснительно призвал:

— Ну, робята, со свиданьем, за здоровье старухи!

Он первым ударил стаканом о бабушкину рюмку. Над столом стеклянный звяк. Ребятишки тоже чокаются друг с другом. В горницу неслышно, робко втиснулся дядя Митрий, тот самый человек, о которых принято говорить: в семье не без урода. Дядя Митрий — бабушкино страдание, он горький пьяница. Незаметно ото всех бабушка переодела дядю Митрия в чистую дедушкину рубаху и штаны. Дядя Митрий меньше деда, и рубаха ему велика, порты висят у колен. Дядя Митрий наскоро умыт и причесан. Он одергивал рубаху суетливыми руками.

Дедушка ногой пододвинул к столу табуретку, бабушка поправила на груди кружевной шелковый платок и с вызовом обвела взглядом застолье: «И позвала! Вы как хотите, а я позвала!»

Татьяны, жены дяди Митрия, нет. Она к нам не ходит. Опять же из-за бабушки. Татьяна — пролетарья, по выражению бабушки, она активист и организатор колхоза. Все время заседает. Муж и дети ее до того запущены, что видеть это бабушка не может и срамит невестку везде и всюду, подрывает ее авторитет. Однажды бабушку каким-то ветром занесло в клуб, где шло собрание и на сцене держала речь Татьяна. Надо сказать, что достаток людей в нашем селе определялся по-чудному. Считалось, например, если у бабы нет штанов, то уж распоследняя это, никудышняя баба, и грош ей цена!

В середине речи бабушка прервала ораторшу:

— Хорошо высказываешься, Татьяна! А вот штаны-то есть ли на тебе?

Бабушка совершенно была уверена, что штанов на невестке нет. Но Татьяна подняла подол и показала всему народу штаны, холщовые, из мешка сшитые, но штаны. Бабушка убралась из клуба под громкий хохот, а Татьяна с тех пор не знает с нею и в доме нашем не бывает.

Дядя Митрий определился в стороне, на табуретке. Все переминались, ждали чего-то с посудой в руках, покашливали. Августа нашлась первая, расшибла напряжение:

— Ну, подняли, подняли! Рука-то не казенная! Мама, за твоё здоровье! Тятя, с именинницей тебя! — и бабушка поощрила деда;

— Пей по всей да привечай гостей!

Истомившиеся мужики быстренько опрокинули водку, и, пока женщины еще жеманились, пригубляли чуть, совестясь друг дружки, они принялись за дело: потащили со сковороды ельцов, студень, и никто, кроме бабушки, не замечал, что дядя Митрий спрятал руки под столом и не отпил даже глотка.

Возникла вторая четверть. Теперь уже сыны приняли ее от деда, хватит, мол, поработал на них, пора самим за ум браться. После второй застолье колыхнуло смехом, говором, вскорости ребятишек спросили, наелись ли, дали орехов, конфет и с гостинцами выдворили из-за стола, приставку убрали, чтоб в горнице посвободней было.

Бабушкин праздник начался!

Мы залезли на полати, оттуда все видно. Алешка представлял из себя вдребезги пьяного человека, и такой он был потешный, что все мы покатывались со смеху.

В горнице раздался властный и насмешливый голос Августы. Подражая Таньке-активистке, она стучала вилкой по пустой четверти:

— Мужичье! Тих-ха! Мама, заводи!

— Да где уж мне, девки? Обезголосела я.

— Помогнем!

— Ну уж, ладно уж, будь по-вашему, — смягчилась бабушка, голос у нее такой, будто она век всем уступала:

Тее-че-от ре-е-еченька-а-а-а-а...

Те-ече-т бы-ы-ыстрая-а-а-а...

Бабушка запевала стоя, негромко, чуть хрипловато и сама себе помахивала рукой. У меня почему-то сразу же начало коробить спину, и по всему телу россыпью колючек пробежал холод от возникшей внутри меня восторженности. Чем ближе подводила бабушка запев к общеголосью, чем напряженной становился ее голос и бледней лицо, тем гуще вонзались в меня иглы, казалось, кровь густела и останавливалась в жилах.

Он, да как по то-о-ой

По реке-е-е-е...

Сильными, еще не испетыми, не перетруженными голосами грянуло

застолье, и не песню, бабушку, думалось мне, с трудом дошедшую до сынов своих и дочерей, подхватили они, подняли и понесли, легко, восторженно, сокрушая все худое на пути, гордясь собою и тем человеком, который произвел их на свет, выстрадал и наделил трудолюбивой песенной душой.

Песня про реченьку протяжная, величественная. Бабушка все уверенней выводит ее, удобней делает для подхвата. И в песне она заботится о том, чтобы детям было хорошо, чтоб все пришлось им впору, будила бы песня только добрые чувства друг к другу и навсегда оставляла бы неизгладимую память о родном доме, о гнезде, из которого они вылетели, но лучше которого нет и не будет уж никогда.

Вот и слезы потекли по бабушкиному лицу, там и по Августинному, по тети Мариинному. Дядя Митрий, так и не притронувшийся к вину и к закуске, закрылся рукавом, сотрясался весь, ворот просторной дедушкиной рубахи на шее его подскакивал хомутом.

Бабушка хоть и плакала, но не губила песню, вела ее дальше к концу, и, когда звякнув стеклами, в распахнутые створки окон улетели последние слова «Реченьки» и повторились эхом над Енисеем-рекой, над темными утесами, в нашей избе началось повальное целование, объяснения в вечной любви, заглушаемые шмыганьем потылицынских носов, зацепившись за которые и большой ветер остановится и про которые, хвалясь, говорят: пусть небогаты, зато носы горбаты!

— Мама! Мамо-о-онька-а-а!

— А где тятя-то? Тятя-то где? Тя-а-атенька-а-а!..

— Брат ведь ты нам, бра-ат! — обнимали все подряд дядю Митрия.

Он согласно тряс головой и испуганно поглядывал по сторонам. Он совершенно трезв, потерян, одинок тут. Жалко дядю Митрия.

Я тоже плачу, затаившись в уголке, но негромко плачу, для себя, утираю со своего, тоже потылицынского, носа кулаком слезы.

В какой момент, какими путями появляются в нашем доме и оказываются за столом Мишка Коршуков — напарник дяди Левонтия по бадогам и сам дядя Левонтий, — объяснить невозможно. Мишка Коршуков с гармошкой, клеенной по дереву и мехам, дядя Левонтий со своей вечной улыбкой от уха до уха.

— Как у нашего соседа развеселая беседа! — приплясывая, шествовал к столу дядя Левонтий. — Гуси в гусли, утки в дудки, тараканы в барабаны! Ух, ах! Тарабах!

А Мишка Коршуков, вытаращив глаза, коротко доложил:

— Где блины — тут и мы!

— Левонтий! Мишка! Едрит-твою! А ну, сыграй!

— Дай обопнуться людям! — остановила бабушка заседающих на Левонтия и Мишку Коршукова сынов и, полагая, что раз занесло незваных гостей в дверь, глядишь, вынесет в трубу, налила им сразу по полному стакану, поскольку рюмки и прочая подобная посуда для такого народа — не тара — наперсток.

Дядя Левонтий и Мишка Коршуков, стоя рядом, чокнулись с бабушкой, с дедушкой.

— С ангелом, Катерина Петровна! С праздничком! Со свиданьем!

— Кушайте, гости, кушайте, дорогие!

Бабушка притронулась губами к рюмочке и отставила ее.

— Гостю — воля, имениннику — почет!

Мишка Коршуков и дядя Левонтий пили удаю, согласованно, будто бадюги кололи, кадюки у них громко, натренированно двигались, в горле звонко булькало.

— Хороша совецка власть, да горьковата! — возгласил дядя Левонтий и сплюнул под стол.

Мишка высказался, как всегда, следом за старшим товарищем:

— Нет той птицы, чтоб пила-ела, но не пела! — и поднял с пола гармошку, пробежал по пуговицам проворными пальцами.

Ребятишки столпились в дверях горницы, ждали музыки с замиранием сердца. И вот пошла она, музыка! Мишка Коршуков широко развел гармошку и тут же загнул ее немислимым кренделем. Оттуда, из заплатного этого кренделя, чуть гнусавая, ушибленная, потому как Мишка не раз уже разрывал гармонь пополам, вынеслась мелодия, на что-то похожая, но узнать ее и тонкому уху непросто.

Мишка дал направление:

Раз полосу Маша жала,
За-ла-ты снопы вязала-а-а-а,
Э-эх, мо-ло-да-ая-а-а-а...

И все радостно подхватили:

Э-эх, мо-ло-да-ая-а-а-а...

Сделав начин, Мишка наяривал, подпрыгивал на скамейке, будто на

лошади. Ему сунули в руку стакан с водкой, он выждал момент, когда можно отойти на второй план, когда песельники справятся и без него, подыгрывая одной рукой на басах, другой поднес стакан ко рту.

— Ты бы закусил, Мишка! — предлагала бабушка, но гармонист мотал головой; погоди, некогда. Августа поднесла ему кружок огурца на вилке. Он снял его губами, подмигнул Августе, она ему — и они ровно бы о чем-то уговорились. Мишка перекинул пальцы, и пока мужики, не разобравшись, что к чему, пели:

Мо-о-лода-а-ая-а-а... —

бабенки тряслись вокруг стола под «Барыню», выплескивались из горницы в простор средней. Гармошка со всхлипом, надрывом и шипом выдавала из дырявых мехов отчаянную плясовую.

Гулянка вошла в самый накал; народ распаялся от пляски, прибавлял шуму, визгу, топоту. Теперь уж всяк по себе и все вместе. За столом остались дедушка, старухи, тетя Люба-скромница и трезвый, все так же пеньком торчащий дядя Митрий, который боялся вынуть руки из-под стола, потому что грязны они, покорябаны, да как бы и не схватили сами собой стакан.

Объявилась тетка Васеня, суровым взглядом сразила она мужа, дескать, затесался, не обошлось без тебя. Дядя Левонтий, на крепком уже взводе, возгласил:

— А вот и жена моя, Васеня, Василиса Семеновна! Хар-роший человек! Ну, чё ты, чё ты уставилась? Судишь меня? А за что судишь? Я ж тут свой! Еще свой-то какой! Правда, тетка Катерина? — за этим последовал крепкий поцелуй и объятие такое, что бабушка взмолилась:

— Задавил, ой задавил, нечистый дух! Эко силищи-то! Вот бы на работу ее истратить...

— Л-люблю потылицынских! Пуще всякой родни! Из всего села выделяю!..

Васеню втащили за стол, усадили рядом с дядей Левонтием к уже разгромленному столу. Она для приличия церемонилась, двинула локтем в бок мужа. Он дурашливо ойкнул, подскочил. Все захохотали. Засмеялась и Васеня.

— Хочешь быть сыта — садись подле хозяйки. Хочешь быть пьяна — трись ближе к хозяину! — советовали Васене. на что она оживленно отозвалась:

— А я у обох!..

А бабье плясало и выкрикивало под Мишкину гармонь, которую он рвал лихо, нещадно, и, дойдя в пляске до полного изнеможения, гости валились за стол, обмахивались платками, беседовали разнобойно, всяк о своем.

— Што ж, гости дорогие! Хоть и много выпито, но опричь хлеба святого да вина клятого все приедливо, стальной, ошарашим еще по единой!

— Да-а, Катерина Петровна, беда учит человека хитрости и разумленью. До голодного года скажи садить резаную картошку — изматерились бы, исплевались.

— И не говори, сват. Темность наша.

— А назем взять? Морговали?

— Я первая диковала: «Овощ с дерьмом ись не буду!»

— Во-от! А нышло: клади назем густо, в анбаре не будет пусто!

— И не зря, сват, не зря самоходы сказывают — добрая земля девять лет назем помнит...

— Тятя. закури городскую.

— Не в коня корм, Вася. Кашляю я с паперес. Ну да одну изведу, пожалуй.

— Я ему шешнадцать, а он — десять! Я шешнадцать! Он десять! — рубил кулаком Кольча-старший.

— На чем сошлись?

— На двенадцати.

— Вот тут и поторгуй! Жизнь пошла, так ее!

— Н-на-а, лихо не лежит тихо, либо валится, либо катится, либо по власам рассыпается...

— ...И завались сохатый в берлогу! — рассказывал дядя Ваня, давно уже забросивший охоту, потому как прирос к сплавному пикету. — А он, хозяин-то, и всплыл оттуда! Я тресь из левого ствола! Идет! Тр-ресь из правого! Идет!

— Иде-от?

— Идет! Вся пасть в кровище, а он идет. Цап-царап за патронташ — там ни одного патрона! Вывалились, когда сохатого гнал...

— Биллитристика все это! — ехидно заметил грамотей Зырянов. — Со-чи-ни-тельство!

— Вякай больше! Чё ты в охоте понимаешь? Сидел бы с грыжей со своей и не мыкал...

Бабушка вклинилась меж Зыряновым и дядей Ваней — сцепятся за грудки, чего доброго...

— Не пьют, Митрей, двое: кому не подают и у кого денег нету. Но чур надо знать! Норму.

— И только поп за порог — клад искать, — а русский солдат шу-урх к пападье-еэ под одеяло-о-о!.. — напевал Мишка Коршуков Августе в ухо.

— Руки зачем суешь куда не следует? Убери! Вон она, мама-то... Все зрит!

— Вот рыба таймень, так? — уминал пирог и спрашивал у близсидящих бабенок дядя Левонтий, про которого, смеясь, говорили они, что-де где кисель, тут он и сел, где пирог, тут и лег. — Я когда моряком ходил, спрута жареного ел!

— Каво-о-о?

— Спрута! Чуда такая морская есть — змей не змей: голова одна, хвостов много. Скусная, гада, спасу нет!

— Тьфу, страмина! — плевались бабы. — И как токо Васеня с тобой целуется?

— Кто про чё, а вшивый все про баню! — махнул Левонтий.

— Такого заливалы ишшо не бывало! — смеялись и трясли головами гости.

— И што за девки пошли! Твои-то мокрошшэлки закидали тебя ребятишками, закидали! Распустила ты их, Авдотья, ой расппустила!

— Дакыть и мы не анделицами росли, Марея. Нас рано замуж выталкивали. Тем и спасались... Да ну их всех, и девок, и мужиков! Споем лучше, бабы?

Тонкий голос тетки Авдотьи накрыл и, точно пирог, разрезал разговоры:

Люби меня, детка, покуль я на воле,
Покуль я на воле — я твой.
Судьба нас разлучит, я буду жить в неволе,
Тобой завладеет другой...

Тетка Авдотья вкладывала в эту песню свой, особенный смысл.

Родичи, понимая этот смысл, сочувствовали тетке Авдотье, разжалобились, припев хватанули так, что стекла в рамках задребезжали, качнулся табачный дым, и казалось, вот-вот поднимется вверх потолок и рухнет на людей. Пели надрывно, с отчаянностью. Даже дедушка шевелил ртом, хотя никогда никто не слышал, как он поет. Гудел басом вдовый, бездетный Ксенофонт. Остро вонзался в песню голос Августы. На

наивысшем дребезге и слезе шел голос тетки Апрони, битой и топтанной мужем своим, который уже упился и спал в сарае. Сыто, но тоже тоскливо вела тетка Мария. С улыбкой и чуть заметным превосходством над всей этой публикой подвывал Зырянов. Ладно вела песню жена Кольчи-младшего Нюра. Она вовремя направляла хор в русло и прихватывала тех, кто норовил откачнуться и вывалиться из песни, как из лодки. Ухом приложившись к гармошке, чтоб хоть самому слышать звук, с подтрясом, словно артист, пел Мишка Коршуков.

Пели все, старые и молодые. Не пела лишь тетя Люба, городской человек, она не знала наших песен. Прижалась она к груди мужа безо всякого стеснения, и по ее нежному, девчоночьему лицу разлилась бледность, в глазах стояли жалость, любовь и сознание счастья оттого, что она попала в такую семью, к таким людям, которые умеют так петь и почитать друг друга.

Тетку Авдотью, захлебнувшуюся рыданиями среди песни, повели отпаивать водой. Однако песня жила и без нее. Тетка Авдотья скоро вернулась с мокрым лицом и, подбирая волосы, снова вошла в хор.

Все было хорошо, но когда накатили слова:

Я — вор! Я — бандит! Я преступник всего мира!
Я — вор! Меня трудно любить... —

дядя Левонтий застучал себя кулачищем в грудь, давая всем понять, что это он и есть вор, и бандит, и преступник всего мира. Еще в молодости, когда плавал дядя Левонтий моряком во флоте, двинул он там кому-то по уху или за борт кого выбросил, точно неизвестно, и за это отсидел год в тюрьме. Сидевших в тюрьме, ссыльных, пересыльных, бродяг и каторжанцев, всякого разного люду с запуганной биографией дополна водилось в нашем селе, но переживал из-за тюрьмы один дядя Левонтий. Да и тетка Васеня добавляла горечи в его раненую душу, обзывая под горячую руку «рестантом».

— Да будет тебе, будет! — увещевала мужа Васеня, залитого слезами с головы до ног. — Ну, мало ли чё? Отсидел и отсидел, больше не попадайся...

Дядя Левонтий безутешен. Он катал лохматую голову по столу среди тарелок. Вдруг поднял лицо с рыбьей костью, впившейся в щеку, и у всех разом спросил:

— Что такое жисть?

— Тошно мне! С Левонтием начинается! — всполошилась бабушка и начала убирать со стола вазы и другую посуду поценней.

— Левонтий! Левонтий! — как глухому, кричали со всех сторон. — Уймись! Ты чего это? Компания ведь!

Тетка Васеня повисла на муже. Кости на его лице твердели, скулы и челюсти натянули кожу, зубы скрежетали, будто тракторные гусеницы.

— Нет, я вас спрашиваю — что такое жисть? — повторял дядя Левонтий, стуча кулаком по столу.

— Мы вот тебя вожжами свяжем, под скамейку положим, и ты узнаешь, што тако жисть, — спокойно заявил Ксенофонт.

— Меня-а? Вожжами?

— Левонтий, послушай-ко ты меня! Послушай! — трясла за плечо дядю Левонтия бабушка. — Ты забыл, об чем с тобой учитель разговаривал? Забыл? Ты ить исправился!..

— С... я на вашего учителя! Меня могила исправит! Одна могила горькая!

Дядя Левонтий залился слезами пуще прежнего, смахнул с себя, словно муху, тетку Васеню и поволок со стола скатерть. Зазвенели тарелки, чашки, вилки. Женщины и ребятишки сыпанули из избы. Но разойтись дяде Левонтию не дали. Мужики у Потылицыных тоже неробкого десятка и силой не обделены. Они навалились на дядю Левонтия, придавили к стене, и после короткого, бесполезного сопротивления он лежал в передней, под скамейкой, грыз зубами ножку так, что летело щепье, тетка Васеня стояла над мужем и, тыча в пего пальцем, высказывалась:

— Вот! Вот, ресторан бесстыжой! Тут твое место! Какая жизнь с тобой, фулюганом, пушшай люди посмотрят...

На столе быстро прибрали, поправили скатерть, добыли новую четверть из подполья, и гулянка пошла дальше. О дяде Левонтии забыли. Он уснул, спеленатый вожжами, будто младенец, жуя щепку, застрявшую во рту.

В то время, когда угомоняли дядю Левонтия и все были заняты, взбудоражены, бабушка потихоньку поставила стакан перед дядей Митрием. все так же безучастно и молчаливо сидевшим в сторонке.

— На, выпей, не майся!..

Дядя Митрий воровато выплеснул в себя водку и убрал руки под стол.

— Да поешь, поешь...

Но дядя Митрий ничего не ел, а когда бабушка отвлеклась, цапнул чей-то недопитый стакан, затем еще один, еще. Его шатнуло, повело с табуретки. Бабушка подхватила дядю Митрия, тихого, покорного, увела и

спрятала в кладовку, под замок. Затем она наведальась на сеновал. Там вразброс спали и набирались сил самые прыткие на выпивку мужики. Когда-то успела оказаться здесь и тетка Авдотья. Она судорожно билась на сене, каталась по нему, порвала на груди кофту. Ей не хватало воздуха, она мучилась. Бабушка потеряла ей виски нашатырным спиртом, затащила в холодок, подальше от мужичья, прикрыла половиком и, горестно перекрестив ее и себя, спустилась к гостям.

Гулянка постепенно шла на убыль. Поздней ночью самых стойких мужиков дедушка и бабушка развели по углам да по домам. Затем бабушка обрядилась в фартук, убрала столы, подмела в избе, проверила еще раз, кто как спит, не худо ли кому, и, перекрестившись, облегченно вымолвила: «Ну, слава Те, Господи, отгуляли благополучно, кажись?..» Посидев у стола, отдышавшись, она еще раз помолилась, сняла с себя праздничную одежду и легла отдыхать.

Гуляки спали тяжело, с храпом, сгонами и бормотаньем. Иногда кто-нибудь затягивал песню и тут же зажевывал ее сонными губами.

Кто-то вдруг вскакивал и, натыкаясь на стены, бьась о притолоку, шарил по двери, распахивал ее и, громко бухая половицами, мчался во двор.

И почти до петухов, гнусава, бродила по деревне гармошка — завелся, разгулялся неугомонный человек — Мишка Коршуков, будоражил спящее село.

Дядю Левонтия, обожаемого человека, я караулил, не спал, не позволял себе спать, щипал себя за ногу. И он ровно бы знал, что я нахожусь на вахте, на утре сиплым голосом позвал:

— Ви-итя-а-а! Ви-итенька-а-а!

Мигом я оказался у скамьи. Слабо постанывая, дядя Левонтий лежал на подушке, подсунутой бабушкой.

— Развяжи меня, брат...

Узлы дядя Левонтии стянул, я долго возился, где зубами, где ногтями, где вилкой растягивал веревку. Дядя Левонтий кряхтел, подавая мне советы. Встал наконец, шатнулся, сел на скамью.

— Я чего-то наделал?

— Не успел. Связали тебя.

— Вот и хорошо. Порядок на корабле. Опохмелиться не найдешь? Башка прямо разваливается...

Я подал дяде Левонтию стакан с водкой, ровно бы ненароком оставленный на подоконнике бабушкой. Дядя Левонтий трудно, с отвращением выпил, утерся рукавом, посидел какое-то время оглушенно и

приложил палец ко рту:

— Ш-ша! Я пош-шел!.. Бабушке Катерине не сказывай...

— Ладно, ладно.

Неуклюже загребая ногами, будто на шатком корабле, стараясь идти так, чтобы ничего не скрипнуло, не звякнуло, удалялся дядя Левонтий по кути, громко ахнул лбом в набровник дверей, изругался и тут же сам себя окоротил:

— Ш-ша! Вахта спит!..

Во дворе, как на грех, проснулся любящий подрыхать и понежиться Шарик, напал на дядю Левонтия.

— Шаря! Шаря! — подал голос дядя Левонтии. — Ш-ша, брат! Тиха!

Утром бабушка нашла под скамейкой вожжи, повертела в руках пустой стакан.

— Это кто же его развязал, Левонтия-то?

Я пожал плечами, не знаю, мол.

— Вовремя, вовремя умотал соседушко! Я бы ему задала! Я б его пропесочила!..

Мужики хмуро опохмелялись. Бабушка сжалилась, велела позвать дядю Левонтия. Но тот еще до свету, минуя дом, уплыл на известковый завод. На той стороне Енисея его не вдруг достанешь! Дядя Левонтий, когда виноват, всегда так делает. Появится он дома к той поре, когда тетка Васеня остынет и бабушка тоже отойдет, забудется в делах и хлопотах.

Днем начались проводины. Собрались плыть в Базаиху дядя Вася и тетя Люба с Катенькой. Слезы, поцелуи, посошок на дорогу. Убежала на работу Августа. Ушли в своей лодке на шестах к Майскому шиверу Зырянов с теткой Марией. Кольча-старший отправился по тети Талиной родне, к шахматовским; другие приезжие родичи тоже разошлись, кто на кладбище попроведать своих, кто к знакомым и родным.

Но распал нашей гулянки не остывал совсем, еще несколько дней пробивались очаги ее то в одном, то в другом конце села, и отголоски песен слышались в одном, в другом дому.

В нашей избе как-то особенно заметно после праздника сделалось безлюдье, какая-то по-особенному тоскливая, сонная неподвижность охватила дом. Тетка Авдотья, смурная, осунувшаяся лицом, вымыла поды, дед прибрался во дворе и на сеновале, бабушка спрятала в сундук наряды и снова стала жить, как жила, в будничных долах и заботах.

Праздник кончился.

И никто еще не знал, что праздник этот во всеобщем сборе был

последний.

В том же году не стало дяди Митрия, он поместился в одной ограде с моей мамой. С того тихого, ничем не приметного лета оградка над Фокинской речкой все пополняется и пополняется. Кроме мамы, двух моих сестренок, дяди Митрия, Ксенофонта-рыбака, покоятся там дедушка, бабушка, тетя Мария, дядя Ваня и его жена, тетя Феня, дочка Кольчи-младшего Лидочка и мальчик его сыночек Володенька.

Старые и малые — все опять вместе, в тишине, в единстве и согласии — «там, где нет ни болезней, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная»...

КНИГА ВТОРАЯ

Гори, гори ясно

Таково ли свойство детства, что оно кажется сплошной игрой, или на самом деле мы в детстве так много играли, что нам не хватало дня и мы прихватывали вечера, порой и ночи. Матери принимались искать сорванцов по улицам, заулкам, дворам, а находили их за околицей деревни либо на берегу Енисея и прутом загоняли домой.

Их было много, тех далеких деревенских игр. И все они, будь то игра в бабки, в чижа, в солону, в лапту, в городки, в свайку, в прятки — требовали силы, ловкости, терпения. Существовали игры совсем уж суровые, как бы испытующие вступающего в жизнь человека на крепость, стойкость, излом; литературно выражаясь, игры были предисловием к будущей жизни, слепком с нее, пусть необожженным еще в горниле бытия, но в чем-то уже ее предваряющим.

И поныне, когда я вспоминаю игры детства, вздрагивает и сильнее бьется мое сердце, обмирает нутро от знобяще-восторженного предчувствия победы, которая непременно следовала, если не следовала, то ожидалась в конце всякой игры.

Хотелось бы начать с игры в лапту, но я переступлю через «личную заинтересованность» и затею рассказ с игры давней, распространенной в старину во всех русских деревнях и самой ранней в году — с игры в бабки.

Сражения разгорались с первооттепели, с Пасхи. Пасха каждый год бывает в разные сроки, то ранней, то поздней весной, но есть тут причина для игры самоглавнейшая — к празднику забивалось много скота, варились корыта, ушаты, колоды, тазы студня. Ребятам приваливала долгожданная утеха — пареные кости ног, среди которых природа поместила бабки — панка и рюшку.

Как готовят студень — рассказывать нет места, сообщу, однако, — это с виду нехитрое блюдо мало кому дается, ныне, по женской лености и занятости, редко и готовится — уж больно велика возня и канитель со студнем. В столовых же его готовят по присловью: «Мяса чан — вкуса нет».

К слову молвить: и в прежние времена студень получался не во всякой семье. Тетке Васене, сколь помнится, так ни разу и не довелось завершить производство кушанья, довести его «до ума». Она металась по избе, роняла

ухваты, опрокидывала чугуны с картошкой, ведра с водой и, делая вид, что всю поруху не она натворила, тут же чинила суд и расправу, раздавая налево и направо затрещины своему выводу.

Пение, рев, слезы, воинственные выкрики раздавались в избе дяди Левонтия с утра до поздней ночи, и случалось: в одном углу просторной, пустой и душной избы ревмя ревел ушибленный, ошпаренный либо побитый теткой Васеней боец, в другом в это время, что-то пластая ножами или руша топором, парни с уже выступившими на лице прыщами, ни на что не обращая внимания, блажили: «Мы с матаней мылись в бане...»

На бегу, на скаку тетка Васеня палила в печи ноги или голову скотины. Выхватив чадящую ногу с углем в раскопытье, она мчалась с нею к столу, распространяя по избе синий смрад. Швыряя носом, подбирая запястьем капли пота со лба, слипшиеся волосы с глаз, она шустро скоблила ножиком паленину, гремя ею по столу, постанывая, приплясывая. Руки тетке Васене жгло, дых забивало гарью. Надо бы в горячую воду сунуть паленую ногу, ошпарить, смягчить ее и спокойно, с толком, тоненько обснимать варом прикипелую к шкуре шерсть, снять нагар, роговицу с копыт и, чистенькую, желтенькую, неторопливо, чтоб не расцепать кости, порубить топором да и поставить, с Богом, варить. Но как с такой ордой технологию соблюдешь? Вот только что был таз с водою, хватать-похватать — его уж нету — в нем Танька чечу — куклу, стало быть, вытесанную братанами из полена, моет. У куклы той и пуп, и все обозначено, не кукла — хулиганство форменное, но Танька и такой забаве рада, тетешкает чечу, в тряпицы обряжает, мыть вот взялась.

— Пропasti на вас нету!

Таньку за волосья в угол, под лавку, Васеня кинула, кособокую куклу за единственную ногу — в печь. Танька кошкой метнулась из-под лавки, героически выхватила игрушку из загнеты, полыхающей горой угольев. Дымится кукла, Танька на нее плюет, слюной тушит и причитает:

— Дуня ты моя, Дуня! Больно-то тебе, больно! Лечить-то тебя надо, лечить... — И матери: — Самуе бы в печку шурунуть, дак хорошо?..

— Шурунуть, шурунуть! — базлает на весь дом тетка Васеня. — Я вот в праздник шуруну пусту чашку на стол!.. — И, орудуя ножом, обмакивая в таз где обожженную в уголь, где недоскобленную паленину, увоженная в саже, растрепанная, угорелая возле печи Васеня продолжает кричать о том, что праздник на носу, а у нее еще не у шубы рукав, и «арестанец» — дядя Левонтий, явится на развязях, потому как на известковом сегодня получка. Да и явится ли? Тресь по уху бесштанному парняге — понадобилось ему что-то в тазу, он залез туда рукой, Васеня отвлеклась, в ругани забылась и

чуть было палец ножом ему не отхватила... Паленина не доскоблена, печь пора закрывать — жар уйдет, тут перевязывай дитяню, сама порезала, сама и врачуй!..

— Да тошно мне, тошнехонько! — толсто обматывая тряпицей палец громко басившему орлу, завывала тетка Васеня, озираясь на печку, на разваленную по полу и по столу посуду, на черные ноги в недопаленной шерсти, одну из которых уже уволокли со стола, обрезали подгорелые шматки и, валяя во рту, поедали помощники, которые посмекалистей. Не закончив перевязки, Васеня всплеснула руками, бросилась к парням, они от нее наутек, едва настигла и, отняв ногу, замахнулась его, как булавой, но опомнилась — зашибет! — и от бессилия, от сознания, что ей опять не справиться с задачей, не соблюсти порядок, не изготавиться к празднику, как хотелось и мечталось, она упала на лавку, отрешилась от всякого дела, мол, как хотите, хоть пропадите все, и намаливала себе смерти — единственно мыслимого избавления от семейных напастей.

Но умереть ей не было времени. Порезанный боец тянул к ней раненую руку, и тетка Васеня доводила перевязку до конца и, заключая лечение, отвешивала еще одну оплеуху болящему и бросалась к печи, стараясь наверстать упущенное время, снова суетилась по избе, опрокидывала чугуны, роняла ухваты и орала, орала, орала, да так, под собственный ор и всеобщий погром управлялась с делом и недоверчиво, потерянно озиралась вокруг, ровно и не веря самой себе, что все дела на сегодня окончены.

Ночью, забывая дремучие, густо сплетенные запахи многодетного жилища, по избе расплывался дух прелого мяса, подгорелой шерсти и мреющих костей.

Заслышав крик бабушкиного красного петуха, зевая и неумело, как бы понарошке крестясь, стараясь не греметь заслонкой, тетка Васеня ухватом выдвигала на шесток объемистые чугуны, плотно закрытые сковородами, ладясь в безлюдном покое справить бабью работу, обобрать мясо с костей, изрубить его с луком, с чесноком, вывалить в корыто и поверху осторожно залить крошево жирной запашистой жижей да и выставить на остужение, чтобы потом, когда захряснет студень — отрада души, накормить им семейство, угостить соседкушку, Катерину Петровну, деда Илью и чтобы они ее похвалили за труд и ловкие руки.

Но любящие вытягиваться до обеда, отыскивающие в себе недуги и всякие причины, только чтоб не полоть огород, не пилить дрова, чтоб отлынить от всякого дела, пролетарьи дяди Левонтия не проспали ни одного утра, в которое мать собиралась творить таинство в кути. Когда

наступала пора опрастывать чугуны, по обе стороны стола выстраивались в две шеренги, почесываясь и зевая, поталкивая друг дружку, орлы, ждали свой миг. И как только мать вываливала сваренные кости в корыто, почти на лету выхватывали кто чего успевал, имея целью добыть бабку. Вариво так горячо и жирно, что даже не парило. Любой и каждый обварился бы, ожог получил, но обитателей этого дома ни пламя, ни вода не брали. Они обхватывали горячую кость губами, с треском отдирали с нее зубами хрящи, и кому попадалась бабка, да еще панок, тот издавал вопль:

— Чур, мой! Чур, мой! Паночек! Паночек! Крепенький пенечек! — и пускался в пляс: — Бабки-бубны, люди умны...

И что интересно: чаще всего бабки подпаливали не тем, кто больше всего зарился на них, не парням, а девкам. Особенно везло Таньке. Она принималась дразнить братьев бабкою или торговаться с ними. Дело заканчивалось свалкой. Надеюсь сохранить хоть остатки варева, тетка Васенья наваливалась на корыто, охватывала его, загораживала собою и, поскольку третьей руки у нее не было, чтоб обороняться и давать оплеухи, вопила:

— Матушка, Заступница Пресвятая! Помилуй и сохрани! Растащут, злодеи! Расхлещут!..

На всех сердитая, удрученная, приносила потом тетка Васенья корыто и, не желая даже пачкать чашки кисельно колеблющейся жижей, протестуя швыряя носом, стучала посудиною о стол: «Жрите!»

Никто не выражал никакого недовольства и досады. Семейство во главе с дядей Левонтием бралось за ложки, отламывало по куску хлеба и вперебой возило жижу, которая в ложках не держалась, высклизала, шлепалась на стол, и тогда едок нагибался, со смачным чмоком втягивал губами вкуснятину. крякал от удовольствия и продолжал дружную работу. Лишь долготыкая, шустро насытившаяся Танька пускалась в праздные рассуждения:

— Бабушка Катерина на святой неделе меня шаньгой, калачом и штуднем угошшала, дак у ей штудень хушь ножом решь...

— А кто хватат?! Кто хватат?! — взвивалась тетка Васенья, выскакивая из кути. — Витька хватат? Дед Илья хватат? — и, подвывая, высказывалась: — Мне бы условия создать, дак рази б я не сумела сготовить по-человечески-и-и.

Рубанув ложкой по лбу шебуршливую дочь, дядя Левонтий, пропивший половину полочки и дождавшийся момента, чтобы выслужиться перед женой, говорил с солидным хозяйским достоинством:

— Ну вот, сыт покуда, съел полпуда. Студень как студень. Очень даже

питательный, — и подмигивал: — Правду я говорю, матросы?

— Ску-у-уснай!

— Стальть, порядок на корабле! Иди, мать, и кушай! Рот болит, а брюхо ись велит... Тут ишшо на дне осталось, поскреби...

И тетка Васеня — слабая душа, утирая фартуком глаза и нос, прилеплялась бочком к столу. Ей подсовывали ложку, хлеб, будто чужой, и она, тоже, словно чужая, вежливо поцарапывала в корыте, щипала хлебца, но уже через минуту-другую снова брала руль над командой и первым делом выдворяла из-за стола Саньку, который, нахватавшись студня, «бродил» ложкой в корыте, и тут же Васеня прыскала, узрев набухающую шишку на лбу дочери:

— Это тебе благословенье к Паске!

— Премия за долгий язык! — благодушно поправлял супругу дядя Левонтий.

Семейство прокатывалось об Танькиной шишке, и она, показав язык, убегала на улицу, а совсем уж отмякшая мать дразнила парнишек:

— Я ишшо три бабочки заудила в чигунке! Две рюшечки да паночка! И кто мать будет слушаться, тот бабочки получит...

Парни единодушно сулились слушаться мать до скончания дней своих, таскались за нею по пятам, ныли:

— Мам, я дрова принес и ишшо сор от крыльца отгребал. Мне отдай!..

— Мам, ему не отдавай! Это я отгребал, он токо баловался.

— Мам, я те ишшо картошек в подполье нагребу.

— Мам, я по воду схожу? На... Анисей аж.

— Мам!.. Мам!.. Мам!..

Дело кончалось тем, что тетка Васеня, плюнув, вытряхивала из фартука бабки:

— Громом вас разрази!

Снова начиналась свалка. Бабками, как водится, овладевал Санька, который ни в каком труде не участвовал, перед матерью не финтил, но умел улавливать свой миг. Но в общем и целом вся праздничная маета заканчивалась полным успокоением, дом наших соседей, набитый до отказа народом, будто пароход пассажирами, клубя дым трубой, с воем, шумом, криками пер без остановок дальше, в будущее, и капитан — дядя Левонтий, хозяйски озревая родную «команду», горделиво отмечал: «На корабле полный порядок!»

Вразвалку, со жвачкой во рту, Санька являлся ко мне и встряхивал брюхом — под оттопыренной рубахой негромко побрякивало. Бабки у него всегда в лохмотьях неотопрелых хрящей, и Санька, когда скучно, доставал костяшку из-под рубахи, обрабатывал ее зубами, выгрызая пленку из раздвоенной головки панка иль из уха, в дырке которого маслянела хрящевина, но зачистить до лохматочка бабки не мог даже такой зубастый прожора, как Санька, и потому, когда мы играли на первых проталинах в кон или в сшибалку, его сырые рюхи и панки скорее всего делались грязными и, случалось, шли в полцены.

Как успела заявить на свою голову Танька левонтьевская, в приготовлении студня бабушка моя, Катерина Петровна, была большим спецом. И немудрено: на такую семьюцу варивала! Кости в студне у нее никогда не перепревали, но и сырыми их бабушка не вынимала, потому и бабки являлись свету голые, крепенькие, ничего в них не отскакивало. Дед за долгую жизнь так наторел рубить скотские ноги, что ни одной бабки топором не повреждал.

В доме нашем остался один игрок — я, и мне бабок доставалось изрядно. Однако был я в игре не в меру горяч, азартен, долго не мог запомнить, что выигрыш с проигрышем в одних санях ездят, жульничать наловчился не сразу и потому продувался в пух и прах.

Кто был искусник насчет бабок, так это наш Кеша. Каждую бабку он красил чернилами, разведенными из химического карандаша, или розовой краской, которой целая бутылка когда-то и зачем-то попала в дом дяди Вани. Ставши с возрастом смекалистей, Кеша наловчился красить бабки в два цвета — в фиолетовый и розовый. Кроме того, Кеша просверливал у панков донца и заливал их свинцом. Такие панки-биты шли за десять, а то и за двадцать бабок, потому как выбирался для заливки панок самый крупный и стойкий.

Зимой Кеша мастерил из ивовых прутьев и из черемухи сани, гнул дуги, шил сыромятные шлеи, хомуты и, разукрасив упряжь все в те же два цвета, полосками или сплошняком, запрягал «рысаков» в тройки, «рабочих лошадей» по одной и прицеплял к саням за оброть молодых, «необъезженных жеребчиков» — свиные или бараньи бабки. Тройка-панок под дугой, ноздри у него красные, челка-лоб фиолетовый, холки пестрые. По бокам рюшки-хрюшки или паночки поменьше корпусом. Мчит по полу тройка, и я, не владеющий никаким ремеслом, бегаю сзади — в мою обязанность входит кричать: «Й-е-го-го!»

Как жалко бывало мне Кешины бабки, когда, явившись на поляну, ставил он их одну за другой и... проигрывал. Чаще всего мы собирались у

платоновского заплота или возле мангазины, потому как здесь раньше обнажались проталины. Обутые и одетые кто во что, несколько подотвыкшие друг от друга, с беленькими, еще не бывавшими в битвах бабками в карманах и под рубахами, ребята поначалу обнюхивались, показывая — у кого сколько бабок накопилось, затем, для разгону, катали рюшки по вытаявшей травке, и которая рюшка, столкнувшись с другой, беспомощно опрокидывалась плоским брюшком кверху, становилась добычей хозяина бабки, взявшей верх. Рюха не каждый раз падала, как ей полагалось, случалось, она валилась набок, становилась на попа. когда и на голову в мочально спутанной, прелой прошлогодней траве. Вспыхивали споры, пока еще разрозненные, вялые, в драку не переходящие.

Но вот кто-нибудь из боевых, чаще всего самых неимущих парнишек ставил пару рюшек, сзади них кавалером пристраивался панок.

— А вот бабки! А вот кон! Тут напарничек нужен! — зазывал зачинщик кона, ровно бы ни к кому не обращаясь, в то же время всех будоража своим боевым кличем.

Напарничек-подставничек знает, как себя вести. Он потрется возле кона, помнется, поставит пару рюх и царапает затылок, соображает, ждет, а ты переживай: бабочки новенькие, беленькие, ни разу еще на кон не ставленные, не битые, не колотые, вот они, под рубахой, брюхо надуешь или тряхнешься — и заговорили, заворочались, телом твоим согретье, родимые тебе, живые, а на кон их выставишь, так неизвестно, что с ними будет, могут к тебе и не вернуться. Хлестанет оголец-удалец панком, весь кон свалит, никому и ударить больше не достанется...

Однако ж зачем-то они, бабки-то, существуют? Вставил их Боженька или еще кто скотине в ноги, люди придумали студень варить, чтоб эти бабки ослобонялись и к парнишкам попадали. Без пользы и умысла до последних времен никакая кость никому и никуда не засовывалась. Которая для еды, которая для сугреву и улучшения хода, которая и для потехи. Взять ту же бабку. Она только с виду бабка, но всмотришь в нее — и узрешь лик, подобный человеческому. Рюшки повяжи платочком — точь-в-точь старушки, панок — молодец! У иного вроде и картуз набекрень. В игру идет не всякая бабка. Огромной, сплющенной конской бабкой тешатся только распоследние люди, недоумки и косопузая малышня, еще ничего в жизни и в игре не смыслящая, капиталу своего не нажившая. Козьи, овечьи и поросячьи бабки тоже в кон не идут — мелки, да и перепревают они в печах, ими зуб крепить хорошо, схрумкать, как сахар — и вся недолга!

В ход и оборот идут бабки только от коров, нетелей и бычков. Но и тут не всякая бабка в кон. Есть бабки, при разделе поврежденные топором, у

иной половина головы отхвачена либо рыло, у которой жопка отопрела — изъян особенно серьезный. Есть бабки убогие, косорылые — они такими вместе со скотиной уродились. Словом, среди бабок тоже бывают калеки, уроды, недоделки, они мало чего и стоят.

В нашем селе кости вывозились на огороды и поля — для удобрения. Жирна, смолиста земля в наших местах, и ее надобно сдабривать золой, костями, известкой. Весной бабки, словно солдатики, выскакивали из-под плуга в борозду. Нам их собирать запрещалось, может, кость от больного,дохлого скота? Но мы нарушали запрет, и никто ни разу, помнится, не заразился от бабок, не захворал. Должно быть, пройдя «сквозь землю», бабка очищалась от всякой скверны. Попадались бабки еще ничего, но больше — иссушенные тьмой, подернутые той мертвой, бескровной белизной, за которой наступает тлен. По таким завезут разок-другой панком — башка долой, либо спину проломают, а то и в дым расшибут. Дырявые, увеченные бабки отдаются малышам, и те уж добивают их, навсегда разлучая с белым светом. Глянешь: лежит одноухая башка рюхи либо напополам перешибленный, чаще вдоль треснутый панок валяется под заплотом, и земля вбирает в себя сведенную со света бабку, опутывает ее травой, корнями жалицы — была бабка, играли ею, тешились — и вот ее нету.

Итак, потихоньку, полегоньку начиналась игра. Всяк норовил сперва сунуть в кон бабку заслуженную, увеченную в битвах, со сколком на башке, с трещиной от уха до уха, с выбоиной, которую, поплевав на ладонь, игрок загодя замазывал воском или жиром со щей. Но не один он такой тут хитрый. Тут все жохи — и зачинатель кона повелительно вышвыривал бабку с изъяном из строя — торопись, подбирай — шакалье кругом. Глазом не успеешь моргнуть — умыкнут.

— Йи-э-э-эх! Была не была! — Вынаю две пары рюшек и пару панков. Такой я человек рисковый. Кеша жметя со своим крашеным богачеством, рот у него от напряжения открылся, рука в кармане щупает, перебирает бабочки, пальцами их гладит.

— Ставь!

Братан жалостно лупит глаза, молит не искушать.

— Я потом, — переступает с ноги на ногу Кеша. — Куда торопиться-то?..

Мне легче, когда не один ставлю бабки и продуюсь не один, всей-то роднёю храбрей вступать в сраженье.

— Иди тогда с мульками играй, в гнилушки! Не выдержав моего ехидства и напора, слабодушный Кеша, сопя и чуть не плача, долго

шарился в кармане и, словно живых птенцов, нес в ладонях к концу крашенные бабки. Парни хоть и оторвы сплошь, однако на первых порах блюли справедливость — ставили Кешины бабки впереди кона и молча постановляли — бить Кеше первому.

Кеша отходил от заплота к месту, с которого назначено бить — там лежал камень, шапка или поясок, и, отставив левую ногу, защурился левый глаз, взявши панок указательным пальцем за раздвоенную головку, большим — под доньшко, долго, сосредоточенно целился. Лоб у Кеши делался бледным, исходил мокротью, будто резаная брюква соком, рот от напряжения искривлялся, почти доставая губой ухо. Публика цепенела. И тут из толпы явственно слышался тутой шепот:

— В огород, за заплот, в темну баню за полук, в жгучу жалицу — крапиву, на осьмининскую гриву! Заговор мой верный, я — человек скверный...

Кеша в изнеможении опускал руку:

— Чё заколновываете-то?

Испустив из грудей спертый дух, народ немедленно отыскивал колдуна — они у нас все наперечет. Из толпы выхвачен Микешка — сын ворожеи и пьяницы Тришихи. В мохнатой драной шубейке, надетой на ребристое тело, полы и рукава подшиты грязным мехом наружу, нестриженный, золотухой обметанный, в рассеченной губе клык светится, шеи нету, голова растет прямо из шубы — чем не колдун! И как ни стерегись, как ни открещивайся, — проникает ведь, затешется в игру нечистая сила! Микешкины рюхи с кона долой, сам колдун получил поджопника и с позором изгнан подальше от платоновского заплота — не озевывай!

Однако ж зараза есть зараза! Отбежавши на безопасное расстояние, Микеша продолжал злодействовать, накликал, чтоб не только у Кеши, но и у всех у нас панок летел бы за заплот, в огород, в баню на полук, в печку на шесток и еще куда-то... За Микешкой бросались вдогон, чтоб еще суровой наказать, и мигом настигали злодея, потому как он кривоног, да и шубейка, с которой он не расставался ни зимой, ни летом, путала ноги, убавляла резвости. Учинялся самосуд: бабки вытряхивались из-под завшивленной шубейки наземь, колдун получал добавку и запевал на всю улицу. На голос сына, сшибив с петли створку ворот, взбивая грязный, мокрый снег, в кожаных опорках, выскакивала Тришиха. Сама она была Микешку зверским боем, но стоило кому его тронуть, воспламенялась истовой материнской любовью и защищала его так рьяно, ровно хотела искупить свою вину перед сыном, враз, и уж никакой меры не знало тогда ее сердце

— Микешка под такой момент выманивал у матери деньги, сладости, хотелось — так и самогонки, да еще и куражился над родительницей, капризы строил. И ныне вот ткнулся в брюхо матери лицом, голосу прибавил. Тришиха, голопятая, с сигаркой в зубах, сердобольно утешая сына, гладила его по голове, просила о чем-то, а он вихлялся задом, лягался ногой и блеял: «Не-е-е, пушшай бабки отдаду-ут! Не-е-е, пушшай не дражнютца! Не-е-е-э-э-э, играть хочу-у... Не-е-е-э-э, пушшай лучше мимо не ходят... не-е-е-эээ... не-е-э-э-э... не-е-е-э-э-э...»

Это Микешка распалает мать, доводит ее до накала, подымает в ней смуту и нечистую жуткую силу. И поднял! Тришиха выплюнула сигарку, наступила на нее так, что опорок вдавился и остался в снегу, но, не замечая холода и мокроты, колдунья двигалась уже в одном опорке и, грозя кулаком, черной дырою рта изрыгала проклятья, пушила нас гнусаво, сулясь обучить Микешку такому наговору, что он всех нас обчистит или еще хуже устроит — напустит мор на скот, тогда бабок вовсе не будет, а если еще хоть раз Микешку тронут, хоть один-разъединственный волос с его головы падет и ее выведут из терпенья, она на все село черную немочь накличет...

Страсти-то какие! Ребята и сраженье прекратили, озираться начали, куда дерануть в случае чего. Поживи вот в таком селе! Поиграй в бабки! Попади в кон! Тришиха — она ботало, спьяну чего не намелет. Но душе беспокойно, хочется Микешку вернуть, умаслить, задобрить Тришиху. Но у Тришихи нога замерзла, она вернулась за опорком, и более сил у нее, видать, не осталось на громоверженье, она увела своего сыночка в избушку, правда, до самого лаза вскидываясь и грозя кулаком, но все же ушла с глаз долой.

— У-ух! — выдохнули все разом. Отпустило! Кеша снова начал целиться, но уже нет в нем прежней уверенности, сбили его с линии. Целился, целился — я аж весь извелся — братан как-никак, хоть и двоюродный.

Хлобысь! Мимо!

— Заколновали дак... — дрожая губой, Кеша отходил в сторону, но никто уж его не слышал и не замечал. Новый паночек, легонький, без свинца, свалил две пары лохматых, неряшливых бабок. Санькины. Домнинский Гришка бил. Этот по зернышку клюет да сыт бывает! Он почти никогда не вышибал кона, даже среднего, но на чердаке у него корзина бабок. Накопит и продает по копейке пару.

Мне, как всегда в начале игры, привалил фарт. Кешиним панком я сшиб шесть передних пар подчистую, в седьмой паре рюшка стояла-стояла, взяла и тоже упала. Если в паре падает одна бабка, забираются обе.

Отыграл я несколько Кешиных бабок, закатывался счастливо, возвращая их братану:

— Расколновали!

Но вскоре, опрокинув целиком кон, я вошел в азарт, впал в жадность, забыв мудрое правило: первому кону не верь, первому выигрышу не радуйся, перестал отдавать Кеше его бабки. За то он не давал мне больше бить своим панком. Я дерзко и опрометчиво послал его вместе с панком подальше, и со своим, мол, не пропаду, и своим уж вон сколько выбил народу из игры, подчистую вытряс Саньку. Да и чего вытрясать-то? У него и бабок-то велось четыре пары. Игроки, которые еще живы, осатанели, готовы перекусить меня пополам, некоторые подхалимничают, бабки подбирают и хранят, чтоб потом я уделил им пару-другую либо милостиво дал ударить по кону. А бабок, бабок у меня! Карманы трещат, под рубахой грохочет, будто на мельнице! Хоть и говорят, что в игре, как в бане, все равны, да все это ерунда на постном масле. Хитрован — домнинский Гришка, и тот, выиграв десяток бабок, домой подался, заявивши, что у них гости приехали, пироги пекли и велено ему быть дома.

Что мне Гришка?! Я братана своего не пощадил, ободрал как липку. Он стоит и глаза на меня лупит, не понимая, что произошло, как и когда это дорогой его братец — сиротинка горемычная — в этакую беспощадную зверину успел обратиться?

А мне все нипочем! Я в окошко кирпичом! И обедать не пойду! Коли биться до конца — без ужина дюжить стану, и пусть мне бабушка наподдает — до ночи рубиться буду, да хоть и до утра! Всех в прах поразнесу! Нет мне пределу! Круши гробовозов! У-ух, какой я человек!

Ставлю почти целый кон из одних панков. Где-то там, в конце кона, поредевший отряд игроков с содроганием в сердце лепил парочку-другую рюшек. Считай — дело безнадежное. У меня десяток ударов. Я хлещу, хлещу да загребаю бабки. Меня посещает удаля, а вместе с нею небрежность, зазнайство — вечные спутники слепой удачи. И, не понимая еще, какая темная сила подкарауливает меня, хряпнул по кону почти наудалую, не целясь — и промазал. Кто-то из игроков снял кон — экая беда. Я их, этих конов, сколько могу выставить?! Не перечеть!

Еще кон просвистел. Еще. Засосало повыше брюха, шевельнулась тревога в груди: в первый и последний раз посетила горячую мою голову мысль: отколоться от игры. уйти, ибо опять же есть заповедь: люби — не влюбляйся, пей — не напивайся, играй — не отыгрывайся. Да где там?! Занесло игрока, заело: что я, домнинский крохобор? Пеночник? Трус? Умру, но отыграюсь! Отчаяние, злость слепят человека, трясут, лихорадят

руки, даже глаз дергается. Изредка я еще попадал в кон, отыгрывал пяток-другой бабок, но раздражение уже делало свое дело — все неуверенней рука, все легче у меня в карманах. Я начал ругаться, спорить, толкнул кого-то из малых, будто он мешал бить, будто бы шептал мне под руку. Мальчик оказался из задиристого верехтинского рода, и Илюха Сохатый, мой одноклассник, крупный, носатый парень, заступаясь за племянша, посулился созвать старшего брата Ваньку и дать мне «пару».

— Мне? Пару? Да я!..

Р-раз! Мимо! Панка своего на кон. Совсем это распоследнее дело. К своей бите почтительность должна быть. Продуйся дотла, но главный «струмент» береги! Проиграть его — все равно что последнюю рубаху с тела пропить...

Протетерил и панка. Хоть кулаком бей. Да и ставить на кон, кроме души, нечего. Поставил бы, да не берут — цены душа никакой не имеет. Бросился к Кеше, просить займы бабок, десять штук. Шесть! Хоть пару!

— Не нам! — уперся Кеша. — Ини домой, весь вон трясеся, ишшо ронимец хватит...

— Ы-ых, рас... — Я назвал Кешу распаскудным словом. — Погоди, погоди, попросишь чего-нибудь...

По правде сказать, ничего он у меня не попросит, и давать ему мне ничего не приходилось, потому как живет он при родителях и все у него есть. Но сколько раз вступался я за брата, когда его били или пытались бить. Шишек сколь из-за него наполучал! Дрова пилить помогал, на сплаве пикете ночами с ним дежурил, чтоб одному ему не страшно было; снег во дворе разгребал, назем из стайки вычищал. Сегодня вот, сейчас, сколько я ему бабок отыграл!.. пока не раздухарился, пока в горячку не вошел?

— Чехотошная ты харя! — плюнул я в ноги братану и, поверженный, ползая от коня в сторону. Стоял на земле, холодной, сырой, неприятной, легкий, опростанный, будто сердце из меня вынули и вместе с ним все остальное, что было в середке. Хотелось зареветь или подраться. Я уж помаленьку натыриваться стал на ребятню, но Санька левонтьевский, не умеющий помнить зла, Санька, которого я выбил из игры. всегда ревниво относившийся к нашим с Кешей отношениям, чутко в них улавливал разлад, прислонился ко мне, сыро выдохнул в ухо:

— Идем на расхватуху!

Расхватуха — считай что грабеж среди бела дня. Люди ведут честную игру, ставят бабки на кон, старательно бьют, переживают, изнашивают сердца, все идет хоть и в горячке, в спорах, порой с потасовками, но удача

зависит от меткости, уменя, сноровки — за каждый промах выставляй пару бабок — кон иной раз солдатской колонной марширует от стены до дороги, перехлестывает ее, выпрыгивает на бугорок, шатнется по склону, отодвинет место, с которого били, притиснет биточков к огородам. Случалось, едет мужик на телеге и, если мужик он путевый, не шарпачня, никогда кона не переедет, обогнет его, лошадь в прошлогоднюю дурнину загонит, изматерится весь, но — таков древний закон — игры не нарушит. Часто случалось: натянет вожжи, коня остановит, глазеть начнет, а там и в игру встрянет, советом пособляет, показывать возьмется, какие он в ранешное время коны вышибал! — увлечется, забудет, куда и ехал. Застигнутый в игре женой либо тещей, спохватится мужик, утрет фуражкой пот со лба, нахлобучит ее на глаза и, ругнувшись безо всякого зла, погонит лошадь за речку, все оглядываясь, все вытягивая шею, все еще пребывая неостывшим сердцем в игре и в той счастливой поре, которую возможно достать близкой памятью, ведь не запекло еще и выбоины, сделанные его битой на платоновском заплоте.

До ста и до двухсот штук случалось в кону бабок! Волосы дыбом — во какая игра! И вот жук какой-нибудь, вроде Саньки, дождавшись несогласья среди игроков, шумной перебранки, вдруг бросал разбойный клич:

— Хвата-а-а-аай! — и валился брюхом на кон.

Часто налетчика схватывали и били в кровь, но еще чаще продувшийся народ подхватывала жажда хапнуть чужое, получалась куча мала, раздавались вопли: «Я те дам! Я те дам! А-пусти-и-и-и-и-и-и!», «Не тронь!», «Зубы выбью!..» — Парнишки кусались, царапались, били по зубам, по рукам, пинком в живот, в пах. Под шумок, не то сама собой, не то чьей-то вражеской рукой выдергивалась из-под штанов рубаха богатого человека — по земле широко раскатывались бабки. Хозяин рушился, сгребая под себя свое добро, защищая его горячим телом. Но верткие бабки выкатывались, сыпались, и кто посноровистей и ловчей из ребят чесал уже по заулкам, нервно похохатывая, иной пакостник еще и дразнился, травил честной народ, показывая захапанные бабки.

«Погоди! Погоди, падина! — кричали вслед ему. — Припомним мы тебе!..»

Деревенская жизнь вся на виду, никуда не скроешься. И когда шарапники являлись с захапанными бабками, их не принимали в игру, всячески поносили. Отторгнутые от честной игры, налетчики организовывали свой кон, но там уж добра не жди — рвачи играли рвачески, брали не мастерством, нахрапом больше. Кто-нибудь из совестливых малых, захваченный волной разбоя, минутой слепой стихии,

долго такой жизни и бесчестья не выдерживал, приносил бабки к «чистому» кону, покаянно их вытряхивал.

— Вот... — маялся, переступая с ноги на ногу. — Все до единой...

Ему ни слова, ни взгляда.

— Хоть пересчитайте!..

Тяжела, сурова мужицкая справедливость — наказав мошенника презрением, усостив словами, порой и до слезы доводя, со скрипом и недовольством стойкие игроки наконец-то разрешали:

— Ладно, ставь! Но штабы...

И не было счастливей и честней тогда человека, чем недавний шарапник. Перед всем миром виноватый, он всячески выслуживался, истово следил за порядком и справедливостью в игре, с особой бдительностью за мелким ворьем, которое пяткой откатывало выбитую бабку либо, меж пальцев ее зажимая, отхрамывало в сторону, якобы занозу вынуть из подошвы. В запал сражения вошедший боец не всегда и заметит, что его обирают, на ходу, можно сказать, подметки рвут...

Один раз Санька-злодей забрал в расхватухе почти все Кешины бабки, и тот с ревом явился к нам — игра шла на нижнем конце села. Бабушка, сострадая ограбленному внуку, сыскала где-то пяток заросших пылью рюшек, и мы их катали на деревянном настиле двора, ведя скучный и невзаправдашный счет выигранным бабкам. Зазвенела щеколда, растворились ворота. Почесываясь, кособочась, жуя ком серы, в наш двор протиснулся ухмыляющийся Санька.

Мы с братаном его не замечали. Наблюдая за нашей вялой игрой, Санька презрительно цыркал слюной, норовя попасть в рюшек. Мы не удостаивали вниманием разбойника, а это для Саньки острее ножа. Он ожег нас красными глазами, потрянул рубахой — под нею зазвякали бабки.

— Сыграм?

— На воровано не льстимся. Чеши отседова!

— Чё-о?

— Чеши, чеши по гладенькой дорожке на одной ножке!..

Кеша — откуда что взялось! — еще складнее добавил:

— На легком катере к еренной матери!..

Назревала драка. Союзно с братаном мы навтыкали бы Саньке, потому что накалились, нас испепеляла злость, придавая сил. Но задраться не успели, в окно выглянула бабушка и навалилась на Саньку:

— Эт-то что жа ты, каторжанец, делаешь? Чем же ты промышляешь? — и сокрушенно качала головой: — Не-ет, не будет из тебя пути! Ежели ты с этих пор людей обираешь, на чужо зарышься, шлепать тебе сибирским

этапом, вшить по тюрьмам да по острогам...

Натиска бабушки Санька долго не выдерживал, он еще почесался, поухмылялся, ужимочки построил, но потом понуро опустил голову, зачертил по настилу, острым, что лезвие топора, ногтем. Кеша, чувствовал я, собирается пособить бабушке, вот-вот скажет: «Чё своим копытом царапаш наши носки?» Я собрался накричать на Кешу и на Саньку, чтобы победить занимающуюся жалость, но Санька выдернул рубаху из-под штанов — посыпались бабки, запрыгали по настилу. Одну рюху Санька поддел ногой так, что она под навес укатилась. Засвистевши, завихлявшись, отправился налетчик со двора, возле ворот остановился — посмотреть, как мы с Кешей бросимся собирать бабки, — мы не бросились.

— Я ить понарошке, — сказал он.

И вот этот самый Санька, понарошке, видите ли, грабивший игроков, самый верткий в расхватухе и во всех темных делах, сманивал меня на лихой налет, заставляя отринуть бабушкин наказ: «Где наглость и похабство, там подлость и рабство». Хоть и с большим трудом, я подавил в себе нечистые устремления, пополам, можно сказать, себя переломил:

— Обчистили! — всплеснула руками бабушка, когда я приплелся домой. — Экой простодырай! — принялась она меня корить. — Я зиму-зимскую копила бабки, он их враз профукал!.. Ты бы не во всякой кон ставил. Где выгодней — смекал бы... Ладно, — утешала меня бабушка, — проиграл — не украл, хорошо, сам цел остался...

Тем же годом видел я большую игру в бабки. Играли на гумне взрослые парни, казавшиеся мне тогда мужиками. Гумно было повесенному пустое, просторное, лед под толстой соломенной крышей гумна еще «не отпустило», он был гладок, с прозеленью. Кон бабок ершился в дальнем от ворот конце гумна, возле поперечной стены. Стоял он не как у нас — зеленых игроков, попарно, солдатиками. Здесь бабки цепь за цепью шли в наступленье поперечным строем. В передних цепях реденько тащились прогонистые солдатикки — рюшки, за ними, строем поплотней — солдатикки попережку с унтерами, задний кон — по-боевому сплочен — в нем плечо к плечу маршировали отборные гренадеры-панки, что ни панок, то и боец, за одного, не дрогнув, десяток рюх выложишь!

Парни били по конам каменными плитками, отысканными на берегу Енисея. У нас от веку так было: лед еще стоит, на огородах и в лесу снег серыми тушами лежит, но по берегам уж камешник вытаял, обсох, играет чистой гладью на радугой выгнутом мысу реки — выбирай плитку какого

хочешь цвета. Есть у игроков и свинцовые биты, но их всего две-три штуки на деревню, и оттого редко пускают их в дело.

Был праздник Благовещенья или конец Пасхи — не помню. Деревня гуляла, пела и развлекалась на воле. В гумно наперло мужичья, ребятишек оттеснили, приплюснули к стенам — ничего не видать. Парнишки, как чивили, расселись по балкам, под самой крышей — сверху еще лучше видно.

Какая шла игра! Без жульничества, без споров, ора, гама и потасовок. Бабки принесены не под рубахами, не в дырявых карманах, а в мешочках, корзинках, старых пестерях и туесах. Бабки все бывалые, темные и седые от старости, сплошь в царапинах и увечьях, полученных в сражениях, но крепкие, потому что слабая бабка давно разбита, у слабой бабки век короток.

Били парни, как и мы, по-разному, соответственно характеру и уменью. Вот встал на одно колено парень в нарядной, черными нитками вышитой, бордовой рубахе, сидоровский Федор. У меня и сердце остановилось, хороший потому что парень, так просто мимо не пройдет, всегда по шапке потреплет, шутовское отмочит: «Ну, чё, жук навознай? Залез в амбар колхознай! Точишь точилку об зерно, манишь девок на гумно!» Правду сказать, я еще никого на гумно не манил, еще только собирался, но сердце все равно встрепенется в груди, отзываясь на неуклюжую мужскую ласку.

Федор ударил накатом, и поначалу гладкая, красноватая плитка в белых прожилках катилась в середину кона, однако на пути ее подшибло зернышком, плитка дернулась, пошла вкось и ударила по левому краю заднего, самого широкого кона. Дружок мой, Ленька сидоровский, облегченно выдохнул, и я тоже выдохнул — мы не дышали, пока Федор целился. Ладно, хоть попал Федор, пусть и неважнецки, да попал. Многие мажут. И кон широк, и плитки по льду ходовито катятся, да бьют-то чуть не за версту. Нам, парнишкам, в такую даль и не добросить плитку, да и в подпитии игроки, глаз неверен, горячатся лишка, иные кураж на себя нагоняют, а кураж тут ни к чему. Женись сперва, заведи жену и куражься над ней сколь влезет, игра — штука серьезная, обчистят и плакать не велят...

Играют парни с подковыром, с присказками: «Продул копейку, проиграешь и хруст», «Проиграл — не скрою, пропил — не спорю», «Бабку бей, как жену — под штуковину одну», «Рюху — по уху, панка по брюху», «Лупи в кон, как в закон — в самую середку!» Кто вышибает кон, тому ребятишки хлопают, будто в клубе, мужики дают фартовому игроку

глотнуть из шкаликов, принесенных в кармане, и сами порываются встрять в игру: «Э-эх, я, бывало!..» Иной и лопоть на лед, рукава у рубахи засучивает. Парни, перемигиваясь, снисходительно расступаются, но, потоптавшись, поприцелившись, мужик возвращает плитку со вздохом: «Нет, робяты, неча мараться. В глазе рябит... Я скоро и в бабу кулаком не попаду...»

Из толпы вывернулся пьяненький, вольно распахнутый Шимка Вершков.

— Рази так играют?! — закричал. Хвать плитку, бах не целясь. Она чуть было двух его сыновей, Ваську и Вовку, сидевших на слеге, не сшибла.

— За молоко-о-ом!

— За простокишей!

— Эт тебе не коммунией руководить! Тут ум нужен!

— Думал, в бабки играть, как наганом махать!..

С наганом этим смех и грех. Человек бесхарактерный, гулеванистый, моего папы закадычный друг, Вершков почти враз с моим папой и овдовел. Без жены, тихой, терпеливой, умевшей укрощать смирением даже такой пылкий характер, каков был у ее муженька, а главное, вести хозяйство, сводить концы с концами, — Шимка одичал и запил. Васька, Вовка и Люба росли сами собой. Отец их потихоньку да полегоньку из Ефима превратился в Шимку, да с тем званием и дни свои кончил. На войне он потерял ногу, в вырез деревяшки засовывал банную резиновую вехотку и, скрипя ею, шлялся по селу в заношенной шляпе. Дома он содержал квартирантов и вместе с ними пропивал квартплату. Одно время гонял моторку, переправляя через реку желающих, звал себя капитаном Вершковым, пока сын его Вовка не утонул прямо под окнами родного дома.

Последние годы, согнутый одиночеством и горем, он с утра до вечера сидел на скамейке подле ворот, слезящимися мутными глазами глядел на Енисей. Приехав в родное село, я непременно подходил к нему, и он, спросив: «Чей будешь-то?» — грузно наваливался на меня, целовал, царапая щетиной, плакал, колыхаясь тучным телом. Какая-то неприкаянность была и в его слезах, и в беспомощной старости. «Отец-то твой, Петра, живой ли? — Что-то похожее на улыбку трогало смятые бесцветные губы Вершкова, издали, из мокрых глаз прорезался живой отблеск. — Да-али мы на этом свете звону, да-али!..»

В тридцатых годах Вершков вышел в начальство, состоял в комбедо активистом, во время коллективизации был уполномоченным, обзавелся наганом, не то он купил оружие, не то на вино выменял, но сам Вершков

внушал всем, что ему, как лицу ответственному, выдали оружие личное. Будучи трезвым, оружие он прятал, пьяный же таскался с наганом и чуть что — руку в карман, черненькие, совсем незлые глазки еще более затемнит гневом, сомкнет губу с губой, выражая непреклонность и здоровое подозрение: «Какие такие р-р-разговор-р-рчики! — Добившись испугу внезапным налетом, добавлял страху: — Дар-рогу пролетарьяту, гр-р-робовозы!..»

Бабушка моя — ей до всего дело! — воззвала к мужикам: «Да отымите вы у него, у срамца, наган-от, отымите! Он у него не стрелят! Прет? Ну да я сама, пятнай вас! Сама отыму наган у супостата и в Анисей выброшу!..»

И вот ведь чудеса в решете: изловчилась как-то Катерина Петровна и оружие у Вершкова изъяла, то ли у пьяного из кармана выудила, то ли другим каким способом. «Не ваше дело! — бабушка глядела на мужиков орлом. — Сам отдал!..»

Вершков засылал к нам сына Ваську, просил вступить с ним в переговоры. Бабушка проявила непреклонность: «Пуцдай сам явится к ответу! Я ему, антихристу, такого перцу дам — не прочихается!» Поддав для храбрости, Вершков ворвался в нашу избу и от порога еще рывкнул так, что из трубы на шесток сыпанулась сажа:

— Против власти курс?!

Бабушку, видел я, потревожило слово «курс», однако она не дрогнула:

— Гляди, кабы я курс на город не взяла. Вот поплыву в Красноярску милицию, найду самоглавного минционерера, пошто фулюгану оружия выдается, спрошу!

Вершков и оплыл, шапку снял с головы, присел возле курятника на порог:

— Нехороший я выпимший. Знашь ведь, — глядя в пол, заговорил он. — А ты мне ишшо больше авторитет подрывашь... Возверни оружие!

— А будешь народишко пужать? Будешь?

Посопел, посопел Вершков на пороге, возле курятника и дал слово:

— Не буду!

Бабушка сходила в кладовку, вынула из-под половицы наган и, словно живого колючего ерша, несла его в ладонях.

«Да она же боится, кабы не стрельнуло!» — ахнул я.

Вершков слово сдержал — никого оружием больше не пугал, но кулачишком карман оттопыривал, ровно бы наган там у него. Васька, мой дружок, тем временем вынюхал — где наган, мы вынули его из заначки, взводили курок, чикали, целясь друг в друга: «К стене, контра!» Так мы тот наган и уходили: в лесу потеряли, в Енисее ли утопили — не помню.

Скала железные зубы, Шимка пытается доказать — он смазал по кону совершенно случайно и надо ему еще раз ударить, тогда все узрят, каков он игрок. Пока корячился Шимка да рядился, кто-то спрятал его вельветовую, подстеженную еще покойницей женой, толстовку с накладными карманами во всю грудь и по бокам.

— Где мое манто? — наступал на публику Шимка, ошарашивая городским словом односельчан. — Кто забрал имушшэство? Кто в кутузку желат?..

— Оно у тя како было?

— Срыжа.

— Начит, краситься пошло в черно.

Шимке холодно в одной рубахе, он перестал скалиться, трезвея, настаивал:

— Нет, я вполне сурьезно.

Васька с Вовкой, все сверху зрившие, принесли отцу лопотину, и он, одеваясь, с любовью смотрел на них замокревшими глазами:

— Дети мои. Золотые люди! И сыновья, и Люба — чистой пробы золото!

— В отца удались...

Бить по кону вышел Мишка Коршуков, и про Шимку все тут же забыли. У Мишки, у забубенной головы, и плитки своей нету, работает на бадобах, стало быть, на берегу целый день, по камням ходит. Наклонись, возьми! Так нет ведь, барином вышел, змей полосатый, скинул с себя новое суконное полупальто с пояском в талии, швырнул его комом на лед, кашне морковного цвета еще одним витком обернул вокруг шеи, чтоб не болталось, одернул шерстяной «жемпер», под которым кровенела атласная рубаха, вышитая трепетной рукой, — погибель девичья этот Мишка! Дунул на чуб, выбившийся из-под кожаной шапки-финки, которую у нас «фимкой» зовут, будто мешал ему и чуб, царственно протянул в сторону длань — и в эту прихотливую длань наперебой вкладывались плитки. Мишка, не глядя, взял одну. В полнейшей, благоговейной тишине уверенно прицелился и бацкнул по конам так, что брызнули бабки во все стороны.

Зная Мишку Коршукова, ребятня, не жалея костей, посыпалась сверху на лед, чтоб поскорее собрать бабки и услужить игроку. Я сгреб две горсти бабок и, запаленный, избившийся об лед, продирался сквозь толпу, протягивал бабки:

— Дядь Миша! Дядь Миша! — повторял, захлебываясь, и больше ничего не мог вымолвить, а когда пробился к Мишке, он небрежно болтнул чубом:

— Возьми себе!

Ну бывают же люди, которым ничего не стоит одарить человека счастьем. Я и поныне не могу забыть, как отвернулся к стене, растроганный, смятый, и заморгал часто-часто. Мишка Коршуков когда-то квартировал у нас и с тех пор не обходил наш дом ни в какой праздник, даже после того, как отошел от нас Кольча-младший, Мишкин друг по гуляньям. Может, бабушка рассказала Мишке, что меня обыграли, может, он сам догадался, может, и так просто отдал. Да меня и следовало обчистить, чтоб удостоиться потом такого подарка! И еще я подумал: вот Мишка — приезжий человек на селе, но его любят все, начиная с моей бабушки, Катерины Петровны, которая ох разборчива, ох привередлива в отношении к людям, и кончая дядей Левонтием, который в Мишке души не чаял.

Об девках и говорить не приходится. Мишка как выйдет на улицу, как растянет мехи гармошки: «Гармонист, гармонист, положи меня на низ! А я встану, погляжу, хорошо ли я лежу?!» — так девки со всех сторон, со всех дворов на его голос: «Милый мой, а я твоя, укрась полочку — замерзла я».

Мишка, Михаил Коршуков, у которого я даже отчества не знаю, погиб в войну на истребительном военном катере. Мне не надо гадать, как он погиб, такие люди и умирают лихо, со звоном, и не об этом я думаю, печалюсь, а вот о чем: сколько же удали, душевной красоты, любви к людям убыло и недостает в мире оттого, что не стало в нем Мишки Коршукова?

День большой, праздничной игры в бабки закончился и для ребятишек праздником: многие парни, зная, что им больше не играть — кто женится, кому в армию идти, кто возрастом перевалил через всякие забавы, раздавали бабки, и опять же раздавали по-разному, пакостники бросали их на «драку-собаку», и среди гумна открывалась битва, трещали локти, колени, кровенели носы, но больше парней было стоящих, степенных, отцом-матерью не зря кормленных и поенных. Они по счету отдавали нам бабки вместе с тусами, пестерями, кошелками, грустно напутствуя ребятишек:

— Мои бабки мечены — на огарке свечены!

— Этот панок что конек!

— Крещеных лупи, нехристи сами от страху свалятся!

— Бей по всему кону — двух да свалишь!

— А этот панок еще деда мово — Гаври! Помнишь деда-то Гаврю? Да он еще зимами прорубя чистил? Береги панок деда Гаври...

— Э-эх, отыгралась, отрезвилась, отсвистела жизнь! Теперя до самой смерти в тягло... Кому плитку, робяты? Беспромашная!..

— Р-расходись, парнишонки! Пить и плакать станем!..

Нагруженный бабками, со слезливым желанием всех обнимать, ввалился я в нашу избу и рассказывал, рассказывал бабушке о том, что творилось в гумне и какой я теперь богатый. Бабушка слушала, думая о чем-то своем, кивала и тихо уронила наконец:

— Почитай людей-то, почитай! От них добро! Злодеев на свете щепотка, да и злодеи невинными детишками родились, да середь свиней расти им выпало, вот они свиньями и оборотились...

Однако время веяло вперекос этим мудрым словам.

В тридцать третьем году наши солдатики-бабки стыдливо, потихоньку были испарены в чугунах, истолчены и съедены. После тридцать третьего скота в селе велось мало, бабка стала исчезать. Все чаще и чаще вместо бабок под панок или рюшку ставились денежка, две, пятак, игра сделалась корыстной, стало быть, и злой. Рядом с бабочниками у того же платоновского заплота завязывался другой кон — в чику, и скоро чика нас увела от бабок, и остались они забавой безденежной косорылой братве, еще не достигшей сноровистого возраста и неспособной зашибать копейку.

Добыть деньги в ту пору не так-то было просто, требовалась смекалка, надо было мыслить, изворачиваться. Мы собирали утильсырье, выливали водой сусликов из нор, ловили капканами крыс и оснимывали их. Иные парнишки начали шариться по карманам родителей, мухлевать со сдачей в лавке, тащить на продажу что худо лежит, приворовывать друг у дружки. Ребята сделались отчужденней, разбились на шайки-лейки, занялись изготовлением ножей, поджигов-пистолей и стыдились не только ввязываться в игру с бабочниками, даже и вспоминать стыдились о том, что когда-то могли забавляться такой пустяковой и постыдной игрой.

Кеша наш и тот в конце концов продал свои крашенные бабки, изладил поджиг из ружейного патрона, принялся поворовывать у отца спички, порох, чтобы, обмирая от страха, пальнуть в заплот или в пташку.

Но об этой забаве, от которой ребята оставались без пальцев либо без глаза, об опаленных бровях, ресницах и навечно запорошенных горелым порохом лицах мне рассказывать не хочется. Надо бы поведать о чистеньких, деликатных играх — в пятнашки, в фантики, в «тяти-мамы» или в чет-нечет, но я мало в них играл, и потому перекинусь сразу на игру, которая колуном врубилась в память, угрюмая, мрачная, беспощадная игра, придуманная, должно быть, еще пещерными людьми.

Деревце в кулак толщиной, чаще всего лиственничное, обрубалось в

полтора-два полена длиной и затесывалось на конце — получался кол. К нему колотушка, або тяжелый колун, лучше кувалда — вот и весь прибор для игры. Сама игра проще пареной репы — один из видов пряталки. Но кто в эти «пряталки» не играл, тот и горя не видал!

Игроки с колом и кувалдой выбирали затишный переулочек иль шли за бани, на поляну, чтоб от нее близко были амбары, заплоты, сараюхи, стайки, заросли дурнины либо кучи старых бревен, за которыми и под которыми можно надежно схорониться.

Кол приткнут в землю, к нему прислонена колотушка — кувалду редко удавалось раздобыть.

Настал самый напряженный и ответственный момент в жизни — выбор голящего. Здесь братва пускалась на всевозможные выдумки, и выборный ритуал то упрощался до крайности, то обставлялся такими церемониями, что еще в детстве можно было поседеть от переживаний.

«Бежим до митряшинских ворот. Кто последний прибежит, тот и голит», — предлагал кто-нибудь из сообразительных парнишек и первым рвал к намеченным воротам. Чаще всего прыть такую, конечно, проявлял Санька. Иной раз до тех же ворот скакали на одной ноге, ползли на корточках — и тут уж кто кого обжулит, потому-то всегда голил самый честный и тихий человек. Кеша наш не вылезал из голящих и в конце концов бросил играть в кол.

Был и другой способ выбора голящего: какая-нибудь девчонка — лицо постороннее, неподкупное, брала в одну руку белое стеклышко, в другую черное и ставила условие: кто отгадает руку с белым стеклышком — отходит в сторону, кому не повезло — становись вдругорядь.

Случалось, в игре набиралось душ до двадцати, и к рукам, твердо и загадочно сжатым, подходили по многу раз. С ужасом наблюдаешь, бывало — все меньше и меньше народу остается в строю. И наконец к заветной цели тащились два последних, разбитых, полумертвых человека. Они пытались улыбаться, заискивающе глядели на «полномошного человека», чтоб выборная девчушка качнула рукой с белым стеклышком, моргнула бы глазом или хоть мизинцем шевельнула, делая намек...

Мучительно вспоминали двое последних, какую и когда досаду они сделали выборному, какой урон ей нанесли, дразнились, может, гостинцем обделили?.. Прошлая жизнь за эти несколько шагов к заветной цели промелькнет перед мысленным взором, и выйдет, что была твоя жизнь сплошной ошибкой, и мучительно больно делается за бесцельно прожитые дни, за недостойные дела, и думаешь, что если повезет — дальше жизнь свою направишь ты по прямому и честному пути! И прежде

чем отгадывать стеклышко, молитву самодельную сотворишь, так как все наговоры и заговоры из головы вылетают. «Боженька, помоги мне...» А кругом злорадствует и торопит публика, уже пережившая свои страхи и желающая получить за это награду.

И вот одному из двоих открылось черное стеклышко. Вопль радости и торжества издавал шедший в паре счастливец. Он пускался в пляс, кувыркался, ходил по траве на руках, дразнил голящего, и без того уж убитого судьбою.

Начиналась игра.

Каждый из тех, кто удачлив в жизни, кто открыл ладонь с белым стеклышком, брал колотушку и бил разок по колу, бил, плюнув перед этим на ладони и яростно ахнув. Кол подавался в землю иногда сразу на несколько вершков, иногда чуть-чуть — это от ударов твоих закадычных друзей, тайно тебе сочувствующих.

Кол почти весь в земле, но впереди самое главное и страшное — матка — забойщик. На роль эту выбирали, как правило, самого сильного, самого злого и ехидного человека, навроде моего мучителя Саньки.

Он наносил по колу столько ударов, сколько душ принимало участие в игре. Колотил неторопливо, с прибаутками: «Ах, мы колышек погладим, дураков землей накормим!..», «Коли, кол, дурака на три четвертака!», «Кол да матка — вся отгадка!», «Кол да свайка, возьми, дурак, отгадай-ка!..»

Игроки умные-разумные, дурак один, и все против него. Зажмурясь от потрясения, считал дурак удары и по их помягчелости разумел: кол уже вколочен в землю, но забойщик беспощадно лупит и лупит колотушкой, вгоняя дерево глубже и глубже в земные недра.

Правило: пока голящий выдергивал кол, все должны спрятаться. Выдернув, притыкает его в цельное место на полянке, ставит к нему колотушку и отправляется искать погубителей. Нашел — скорей к колу! Лупи теперь сам по нему колотушкой, кричи победно: «Гараська килантый за бревном! Гараська килантый за бревном!»

Но как далеко до победного удара!

Кол забит так, что и верхка нету, щепка, корье и те в землю втоптаны. Вытаскивай кол руками, зубами, чем хочешь из того, что на себе и в себе имеешь. Посторонние инструменты никакие не допускались, за всякую хлюзду, то есть если струсишь, домой сбежишь либо забунтуешь, предусмотрено наказание — катание на колу и колотушке. Возьмут тебя, милого, за ноги, за руки, положат спиной на кол и колотушку да как начнут катать — ни сесть потом, ни лечь — все кости болят, спина в занозах.

Но вот шильце к бильцу подползло — срывая ногти, проклиная судьбу

и самого себя за то, что дома не сидится, за то, что суешься куда не следует, выколупываешь из земли кол, шатаешь его, тянешь, напрягаясь всеми жилами, а из жалицы, с крыш амбаров, из-под стоек и сараев несутся поощрительные крики, насмешки, улюлюканье.

Р-раз! — и все смолкло. Кол вытащен! Насторожен. Теперь любой из затаившихся огольцов может оказаться возле кола — надо только быть зорким, держать ухо востро! Стоит голящему отдалиться, как из засады вырывается ловкий, ушлый враг, хватает колотушку и вбивает кол до тех пор, пока ты не вернешься и не застукаешь его. Но такое удается редко. Очень редко. Чаще случается: вернешься, а кол снова забит по маковку и забивалы след простыл.

Вымотанный трясухой лихорадкой, я как-то три дня подряд голил в кол, не мог отголиться и снова захворал. Орлы дяди Левонтия, Васька Вершков, Леня Сидоров, Ваня и Васька Юшковы, Колька Демченко навещали меня, приносили гостинцы, с крестьянской обстоятельностью желали поскорее поправляться, чтобы отголиться, иначе не будет мне прохода, должником жить на селе не полагается, из должника не выйдет и хозяина-мужика.

И когда мне в жизни становилось и становится неважно, я вспоминаю игру в кол и, стиснув зубы, одолевая беду или преграду, но все же с облегчением заканчиваю я рассказ об этой игре — очень уж схожа давняя потеха с современной жизнью, в которой голишь, голишь да так до самой смерти, видать, и не отголишься.

Поскорее перейду-ка я к воспоминаниям об игре, которая в детстве доставила мне столько удовольствия и счастья — об игре в лапту.

От рождения был во мне какой-то изъян, технически выражаясь — дефект. В детстве я страдал одышкой и много бегать, особенно в гору, не мог, у меня подгибались ноги, распирало грудь кашлем, из глаз сыпались опилки. В лапте же главное — напор, быстрота, сообразительность и бег, бег, стремительный бег, чтоб ветер хлестал в уши.

Пока я был совсем маленький, одышка особой заботы мне не доставляла, я даже в лапту играл и довольно бойко лупил дощечкой по тряпичному или скатанному из коровьей шерсти мячу, прытко носился от «сала» к «салу», которые были в пяти-шести метрах друг от дружки, дыхание во мне быстро налаживалось, ноги-руки не дрожали, все шло ладно и складно.

Вошел я в нешуточный, парнишеский возраст той порой, когда в лапту играли резиновым, после и гуттаперчевым мячиком, и не просто играли, сражались, с соблюдением тонкой тактики и грубой практики. Дощечки в

наступившей новой эре лапты были с презрением отвергнуты. Ударный «струмент» делался из круглой, часто сырой и тяжелой палки, концом коей забивали мячик в самое небо. Матки почти не знали промаха, «ушивали» мячом так, что к спине иль к заду литым старинным пятаком прилипал синяк. Бегали игроки чуть ли не полверсты; неотголившегося, схлюздившего, ударившегося в бега парнягу, как и при игре в кол, катали на палках...

Серьезная пошла жизнь.

Я еще какое-то время играл в визгливой, смешанной стайке девчонок и парнишек, но чаще и чаще сорванцы — по годам моя ровня — дразнили меня «недотыкой», «нюнькой», напевали: «Витька-Витенок, худой поросенок, ножки трясутся, кишки волокутся...» Дальше — того чище. «Почем кишки? По три денежки...»

Так жить нельзя. Осмелев, я «делился» с кем-нибудь, загадывая всегда одно и то же: «Бочку с салом или казачка с кинжалом?» — меня безошибочно определяли — «Бочка с салом» — и заганивали до посинения, до хриплого кашля, и дело кончалось тем, что вытуривали в шею домой, на печку, к бабушке Катерине Петровне, чтоб «ехать с ней по бревна». Я лез в драку, мешал играть, мне однажды навешали как следует! Я отправился домой, завывая не столь от боли, сколь от обиды.

— Об чем поем? — спросила бабушка.

— Ни об че-о-о-ом!..

— Ни об чем дак ни об чем...

Я еще поревел, поревел и сообщил бабушке:

— Меня в лапту не беру-ут!

— Вот дак мошенники, пятнай их! Вот дак гробовозы! Пошто не берут-то?

— Обздышливый, говорят...

— Обздышливый?! — бабушка тряско засмеялась, открыв дыроватый рот, в котором вверху воинственно торчал одинокий зуб, но внизу их было побольше.

— Тебе бы хаханьки бы все, а я играть хочу! — набычился я.

— Дақ играй! Поди выбери палку покрепче и шшалкай камня, шшепки, стеклушки. Подбрось и шшалкни, подбрось и шшалкни. Выучишься в каждый предмет попадать, заявисся на поляну, возьмешь лапту да ка-ак подденешь! Во как шандарахнул! Во как я умею! А вы — зас...цы!

Не медля ни минуты, я отправился во двор, выбрал тяжелую палку и начал поддавать ею щепки, комки земли, чурбаки. Дело у меня ладилось, я

так увлекся, так размахался, что палка вырвалась из рук, перелетела через двор и вынесла полрамы в горнице.

— То-ошно мне! — схватилась за голову бабушка, чего-то делавшая в избе. — Эт-то он што жа комунис, вытворят? Вот дак шабаркнул! Вот дак научила я на свою головушку!..

Бабушка наладилась преследовать меня и выпороть, но я уже перевалился через заплот, пятками сверкал по переулку. На берегу Енисея я отыскал сырую палку и без усталости лупил ею, подбрасывая камни.

Дело дошло до того, что я уже не расставался с палкой и хлестал ею по чему попало. Бабушка не только раскаивалась в своей затее, но и в панику вошла, потому что, кроме своих стекол, я повысаживал их в прибрежных банях, добил в избе дяди Левонтия, у тетки Авдотьи и раму сокрушил. Приехавший в гости Зырянов вокруг этой рамы два дня ходил с карандашом за ухом, соображая, с какого боку начать починку, и на третий вынес решение: рама не поддается ремонту, придется делать новую.

Бабушка не успевала выслушивать жалобы и драть меня. Председатель сельсовета — Митрюха — напомнил о себе, передал бабушке еще одно строгое упреждение, но чем больше меня драли, чем чаще сулились принять крутые меры, тем упорней я добивался цели, и дело дошло до того, что сама бабушка, придя по воду на Енисей, заискивающе попросила:

— Ну-ко, шшалкни, шшалкни!

Я набрал в горсть камешков, отхукнул из себя лишней дух и так поддел глызину, что бабушка задрала голову и воскликнула:

— Эвон как зазвездил!

— Вовсе промазал! — соврал я бабушке, чтоб еще поддержать ее в напряжении — где упало в воду, она не видела.

— Да нет, кажись, попал! — настаивала бабушка, пытаясь уверить меня в том, что я могу отправляться играть в лапту и, глядишь, перестану крушить стекла.

— Вот теперь смотри! — Один за другим подбросил я пяток камней и, не давши им упасть, так поддел, что бабушка с облегчением закрестилась:

— Тут и сумлеваться нечего! Всех расколошматишь! Смело вступай в дело! — и, сокрушенно качая головой, вздохнула: — Изобьет, язвило бы его, испластат обутчонки! И сам испластатца!..

Обалдельный от удачи, я пластался в лапту до беспамьятства и в конце концов сделался маткой, выжив с этой должности левонтьевского Саньку. Он, конечно, жох по части бегать, увертываться от мяча, ловил «свечки» по настроению: то все подряд, то ни одной.

Санька, конечно же, надеялся вернуть себе утраченную должность,

снова сделаться главарем в игре. Утро, бывало, еще только-только займется, чуть ткнется солнце в стекла и распахнут в доме створки, Санька тут как тут.

— Эй, анчихрист! — кличет. — Выходи на улку! Отодвинув занавеску, бабушка напускалась на Саньку:

— Ты ково передразниваш, родимец тебя рашшиби! А? Этому тебя во школе-то учат?

— Еще ирихметике! — лупил Санька красные бесстыжие глаза.

— Ну, не язва? Не проходимец?! — хлопала себя бабушка по юбке и наваливалась на меня: — Хватай еду-то, хватай! Живьем заглатывай! Не успеешь набегаться! — и уже вдогонку: — До ночи носись! Башку сломи!..

Я уже не слышал бабушку. Мыслями был уже далеко от нее, все наказания сразу за воротами вылетали из моей головы, потому что внутри занималось, распяляло меня чувство схватки, и в то же время не покидала рассудительность перед дележкой: могут одной матке слабаки попасть, другой — наоборот, тогда до ночи не отголишься. Матке полагалось не только беспромашно лупить по мячу, но и быть хватким, изворотливым, дальновидным, даже суеверным.

Мне, например, всегда везло, если в дележке первым в мою команду попадал Колька Демченко, и потому творились козни, чтоб мне его точнее отгадать. Верный соратник по игре, он всегда шел мне навстречу, хотя первое время, пока я не избегал одышку, со мной рискованно было связываться. Творя намек, Колька ковырял пальцем в носу, чесал пятку, подбрасывал складник, втыкал его небрежно острием в землю либо задирали голову в небо.

«Бобра серого или носоря белого?» «Волка кусучего или зайца бегучего?», «Летчика с ероплана или с парохода капитана?». Ну и безотказную «Бочку с салом или казака с кинжалом»? Были загады и помудрей: «Свинка — золотая щетинка», «Иван-болван молоко болтал, да не выболтал», «Меч-кладенец — калена стрела, копье булатное, мурзамецкое!..» Что это за копье такое «мурзамецкое», ни сном ни духом никто не ведал, но и оно шло в оборот.

Часто противная сторона пресекала козни и с позором отправляла ловкачей делиться по второму разу, но снова и снова плелись заговоры, устраивались ловушки, фокусы и, бывало, ох бывало, канитель с дележкой растягивалась до свалки, команды разбежались, матка, схлопотав шишку на голову или фонарь под глаз, со своедельной, личной лаптой уныло топал в свое подворье, где его впрягали в работу — полоть огород, чистить в стайке, пилить дрова, носить воду.

Еще везло мне в игре, когда за горой солнце закатывалось в тучу и восходило не из тучи; когда корова наша Пеструха первой откликнулась на голос березовой пастушьей дуды; когда в печи головешки не оставались; когда дед Илья во дворе был и провожал меня взглядом; когда дядя Левонтий напивался, но не впадал в кураж, не диковал. Словом, много у меня было разных примет и причуд. Вызвав об этом, бабушка подняла меня на смех:

— Колдун у нас, девки! Свой, домодельный! И Тришиху перетопчет! Ты бы хоть денег наколдовал баушке...

Подружки ее — сударушки — туда же:

— То, я гляжу, все он у тебя чё-то нюхат, потом голову задирает...

— Это он приколдовывает!

— Да ну?! Чё приколдовывает-то?

— А штабы всех обыграть!

— Ак в небо-то зачем глядит?

— У его там свой антирес! Как там все по его расставлено: звезды, солнце, месяц — дак он всех и обчистит!

— Чё деетца-а-а! — поражались старушки. — Вот дак век наступил! Парнишонка парнишонкой, но уж с нечистой силой знатца!

— Учена голова! — подводила итог бабушка, и я взъерошенно налетал на нее;

— Чё боташ-то? Чё боташ?!

— Ты на ково, на ково с кулаком-то? На баушку родну? Спасибо! Вот спасибо!

— А чё дразнися? Я в школе учусь! Нет никакого колдовства! Никакой нечистой силы!

— А чё есь-то?

— Смрад! Суеверья! Поповские клику... клюку... шество...

— Чё-о?

— Клюкушество. Так учитель сказывал.

— Вот чему учат в школе-то! Вот! Церкву заперли, басловенья Божьего лишился люд, дичат помаленьку...

— Я, что ли, закрывал?

— А такие же бесы! Сонце ему не так упало да не эдак поднялось!.. Причепи его, ковды ученай...

Махнув рукой, я отправлялся на поляну мимо бобровского дома, и, если во дворе, в окне ли избы видел Катьку Боброву — мне тоже в игре везло! Катька лет на пять старше меня, но не задавалась и часто одаривала меня вниманием, брала с собой по ягоды на увал, не бултыхалась нарочно

возле удочек, как другие девчонки, которых хоть камнями бей, они все одно к удочкам лезут, нечисть всякую плетут. Катька подходила к рыбаку на цыпочках, присаживалась поодаль и тихим голосом спрашивала:

— Клюет?

Я молча поднимал из воды снастку с наздеванными на нее пескарями, сорожинами, ельчиками, ершами.

— Ого! — уважительно восклицала Катька. — Молодец какой!

Приятно и послушать хорошего человека! Украдчиво похрустывая камнями, Катька удалялась с берега, на ходу отжимала густые, нотемнелые от воды волосы.

Катька кормила кур, бросая горстью зерно с крыльца, вытянулась, напрягла шею и улыбнулась мне. Я подпрыгнул козлом, гикнул и, изображая из себя рысака, пошел чесать во все лопатки, чтоб видно было, что я уже не обздышливый.

За деревней на поляне либо в бобровском переулке, а то и на взвозе, у Енисея, подле хохловской бани расположилась братва, жует серу, бросает камни в воду, втыкает складник в землю, чешется, треплется, ждет, когда появится парнишка с мячиком. Двое уже явились, с отскоком колотят в стену бани мячиком, считают, сколько раз без остановки подпрыгнул мячик. Владелец мячика, хозяин ценнейшей вещи — ему почет, уважение и даже некоторые послабления в игре — зажмурившись, смотрят матки при дележке на то, как «хозяин» норовит попасть в команду покрепче, «ушивая», стараются не повредить его до синяков — еще обидится. Но коли владеющий мячиком преступал закон игры — хватал мяч в разгар сраженья и отправлялся медленным шагом домой, подбрасывая мяч и напевая: «ля-ля-ля», — парни за ним не гонялись, не упрашивали...

Хрена! Давно соску не сосем! Мы — мужики, пусть в игре, но мужики, и суд наш молчалив, а приговор суров: не брать хлюзду в игру! Вот и тешься сам с собой, забавляйся! Мы Кольку подождем. «Колька-хохол — восемнадцать блинов!» — вот его какое прозвище. Как-то играли мы в верхнем конце села, Колька жрать захотел, домой бежать далеко, он завернул к тетке своей — Степаниде Демченко. Она как раз блины пекла. И слупил парнечек восемнадцать блинов! — Блин не клин — брюха не расколет. И на войну Колька ушел с тем редкостным прозвищем, погиб смертью честного бойца, потому что и в игре никогда не хлюздил.

У Демченков есть мячик, гуттаперчевый, на двоих с братаном Мишкой. Но Мишка постарше, редко ему доводится играть, он помогает по

хозяйству, заготовливает дрова, рыбачит.

«И чего Колька не идет? Девятнадцатый блин доедает, что ли?» Гришка Домнин, тот самый, что больше всех накапливал бабок, паренек из богатенькой семьи, которого мы вчера вытурили с поляны, катнул нам мяч, идя на мировую, черный, резиновый, тугой. Васька Юшков ка-ак поддел мячик ногой — он и запрыгал по камешкам, катясь к Енисею, Гришка, будто рысь, метнулся, схватил мячик у самой воды.

— Больше мячик не получите! Я с вами не играю!

— А мы с вами! — отшили его.

— Иди с баушкой яички крашенные покатай заместо лапты, — советуют ему. — Або резни по мячику, как Витька Катеринин, чтоб в лоскутья!..

Это про меня! Я на седьмом небе от гордости. Было-было! В кои-то веки, пронятая моими мольбами — «Пристал, как банный лист к заднице!» — бабушка Катерина купила мне в городе мячик — первый и последний. Где уж она этакий сыскала — неизвестно — черный не черный, вроде бы как в пепле извоженный, липкий. Тетеньки и дяденьки, которые мячик такой делали, видать, думали, что аккуратные деточки будут его по травке катать, из ладошек в ладошки перебрасывать. Духом не ведали, знатем не знали они, что где-то есть сорванец, без промаху попадающий лаптой по любому камешку, отправляя его аж за сплавную бону.

— Купила я те мя-аачик! Разорилась, конечно, но уж делать нечего, владей! — сияя, что солнце вешнее, бабушка катнула мячик с крыльца, и он запрыгал по ступенькам, заподскакивал и живым сереньким котенком затих в моих ногах. — Ну-ко, шшалкни ево, шшалкни!

Надо ли говорить, как я затрепетал от радости, бросился встреч мячику, но тут же все во мне рухнуло, произошло крушение жизни: сырые эти мячики мы расшибали единым ударом. Я достал спрятанную под сенями увесистую лапту, до стеклянного блеска отшлифованную моей рукой, трудовой рукой матки, подбросил мяч и поддал!..

Выбирая слушателей постарше, кои никогда не играли ни в какой мяч, кроме шерстяного, самокатного, потому как фабричных мячей в их отсталый век не водилось, страдая всем сердцем, бабушка несколько лет подряд рассказывала:

...— От всей-то душеньки кидаю ему мячик: имай, внучек! Играй, дорогой робеночек! А он, язз-ва-то, арестанец-то, нет штабы баушке спасибо сказать...

— Хе-хе, чё захотела!..

— Послушай-ко, послушай-ко, кума! Глянул на меня мнученочек-то,

робеночек-то дорогой, ну чисто рублем подарил!

— Заместо спасибо!

— Ага. Дедушко и дедушко родимай! Тырлы вытарашшит, дак сразу руки вверх! Живьем сдавайся!.. Глянул эдак-то да ка-ак по мячику резнет стягом!.. Стя-гом, матушка моя, стягом! В ем, в мячике-то, аж че-то зачуфыркало! Зачуфыркало, кума, зачуфыркало, ровно в бонбе гремучей!..

— С нами крестная сила!

— Шипит мячик, пипка отвалилась... А этот, яз-зва-то, архаровец-то, облокотился на стяг, чё, дескать, ишшо расшибить?..

— Вот их до какой черты в школах да в клубах довели! Седни мячик потрошат, завтра за людей примутся... Дала бы ему баню!

— И дала! И дала! Как не дать? Пять гривен, как одну копейку, высадила! — Бабушка сморкалась в передник, и дальше, знал я, пойдет: «Какие наши недостатки? Где работники-то? Сама обезножела. Старик на курятнике крехтит, не то помират, не то забастовка опеть?..»

Тридцать третий год все подмел по сусекам, сундукам, по амбару и двору. Дед, как оказалось после, не бастовал, он отбывал свои последние сроки на земле. Держались лесом, огородом и тем, что изредка давали нам тетки и дядя, да и у них свои семьи и нужда своя.

На Усть-Мане расположилась сплавная контора, построен рейд с поперечной гаванью — для задержки леса. Среди редко рассыпанных избенок и широких загонов для скота, по-хозяйски широко и бесцеремонно втиснулись несколько барачков, столовая из теса, клуб из кругляка. Берег вдоль и поперек испластали тракторами, пашню опутали цинками. Вольный, дерганый люд, не знающий цену никому и ничему, земле и подавно, наторил по пашням дороги и тропы, повалил заплоты, пустил пристройки на дрова. В бараках жили от получки до получки, бурно, беззаботно, весело. За иные заимки, занятые сплавщиками, выплачены были какие-то суммы, но на большинстве заимок избы стояли заколоченные. Мужики и бабы растерянно замолкли по своим сельским дворам, на беспризорную землю от леса двинулась трава, боярышник, бузина и всякая лесная нечисть, Но, сопротивляясь одичанию, еще многие годы меж штабелей леса, где-нибудь на бугре, а то и на завалине барака, во дворе школы, возле помоек вдруг всходил и отделялся от дикой травы колосок ржи, пшеницы, метелки овса, кисточка гречи. Случалось, смятый, сваленный к воде, размичканный яр прошибал росток картошки, овощ пробовала цвести и родиться...

Землю заняли, не раскорчевав ни одной полосы взамен. И великим потом и мозолями отвоеванная когда-то у непроходимой тайги пашня скоро

пришла в запустение, исчезла, обратилась в ничто.

Существовал закон, защищающий интересы крестьян. Но мужики закона того не знали. Старые, вроде моего деда Ильи Евграфовича, люди махнули на все рукой, позабিরались в избы и начали заглухать без работы — от веку жившие землей, ничем другим жить они были не научены. Хозяева, кои были еще в силе, сделались межедомками: рыскали меж колхозом, сплавной конторой, известковым заводом, сшибая случайные подряды.

Земли колхозу не хватало. Какая в наших камнях земля? Там клочок, тут вершок, и при всем этом самые лучшие пашни пустили на распыл — на левой стороне Енисея, что по-за островом, оттяпало овсянскую землю подсобное хозяйство института, на фокинском улусе, том самом, где потерялся когда-то сын тетки Апрони, Петенька, расположилось подсобное хозяйство другого института — разохотились городские на дармовую землю, тем временем колхоз имени товарища Щетинкина, и без того едва теплящийся, чадил как восковая свечка, пока совсем не угас. И когда я ныне слушаю удивленные речи: откуда, мол, и как появилось варварское отношение к земле, равнодушие к ней? — могу точно указать дату: в родном моем селе Овсянке это началось в тридцатых годах, в те бурные, много нам бед причинившие дни.

Тем летом, как на грех, поссорился с бабушкой и ушел в другой дом Кольча-младший, оставив с нами первую жену. Какое-то время жена Кольчи-младшего пожила с нами, потом забрала ребеночка и тихо утащила домой.

Безлюдно, пусто сделалось в нашей избе. Бабушка, боясь лиходеев, не выставляла рамы в средней и в кути, а выставленные в горнице неряшливо, на скорую руку обмыла.

В одинокой скорби застыл лежавший на курятнике дед, никаких замечаний ей не делал, на поношения ее не отзывался, курил беспрестанно, редко и нехотя, с кряхтением сползал с лежанки своей, чтоб сходить до ветру или в баню.

Во дворе начала расти-путаться трава-мурава, подле заплотов — мокрица: меж тесаной стлани и за стайками, на старых кучах назьма. густо взошел овес, под навесом по углам ржавели плуг, борона, железные грабли; заплоты подернулись каменным мхом; даже ворота состарились, треснули, оцетинились серыми оцепинами, старчески скрипели, когда их пробовали отворять, — петли-то дегтем не мазаны.

Однако моя жизнь как направилась, так и шла отлаженно: хлеба кусок, молочишка плошку, пару картох — и готов к сраженьям боец, и потому я не

особенно понимал, что значит для нас пять гривен, считал, что бабушка подлиннее называла пятьдесят копеек для того, чтобы шибче уязвить меня.

— Его в утиль еще можно сдать! — презрительно процедил я сквозь зубы. — За две копейки.

— Ково это?

— Мячик.

— Видала, кума?! Видала, чё он умет?

— Да уж...

— Рощу его, из кожи лезу, во школу снарядила, а он?! Убирайся чичас же с глаз моих! Запорю до смерти!..

И я убирался с облегчением, ухмыляясь, поцыркивая слюной сквозь зубы, независимо, вразвалочку.

— Эко его родимец-то корежит! Это он, кума, дразнит меня! Изгалятца. Я ему мячик за пять гривен...

— Этому неслуху — мячик?! Ремня ему!..

Об мячике я возьми и расскажи братве. Изображая потеху, словно в клубе на спектакле, гримасничал, хлопал себя по бедрам, повторял, продергивая бабушку: «Пять гривен! Пять гривен!..»

Ребятня каталась по траве, а я старался, я старался!.. Вечером бабушка налила мне простокваши, экономно отрезала ломоть хлеба и, не как прежде — сначала за ухо иль за волосья, отойдя к печи, сложив руки на груди, с глубокой обидой сказала:

— И не совестно? Родну-то баушку худославишь? Мячик я ему, видишь ли, не такой купила! — И, помолчав, с горьким вздохом закончила: — Слышно, арестанец-то, папа твой, скоро воротитца, маму тебе нову заведет, передам тебя с рук на руки, ослобонюся: «Нате, дорогие родители! Сохранила, сберегла, грехов натерпелась, слезынок речку пролила... Одевайте, обувайте, мячики ему хороши покупайте!»

Меня обварило жаром, горело лицо, кололись толсто волосы на голове, сил не было поднять глаза. Мне бы, как раньше, прощенья у бабушки попросить — и ей бы, и мне, и деду — всем легче. Но я уже отведал зла, нажил упрямства, научился ощетиниваться против укоров.

— Жри уж, жри, покуль дают! Баушка побьет, баушка пожалеет... Новы родители, кто знат, чё сами кусать будут?..

Я рвал горбушку зубами, швыркал простоквашу, вперившись взглядом в кухонный бревенчатый угол незрячими от накипающих слез глазами. Всем я надоел, все неладно у меня и со мной, и отхожу я лишь в любимой игре — лапте, но и там чуть чего — замахиваюсь палкой...

— Избывай, избывай ребенка! — Я встрепенулся, перестал есть.

Дедушка с кряхтением сел на курятнике, отдышался. — Избывай постылово, избудешь милово... Всех разогнала, всех рассеяла, как вражеско войско...

Это и нужно было!

Я швырнул кусок на стол, оттолкнул кружку с простоквашей и, задавленно взрыдывая, бросился на улицу.

— Кругом я виновата! — вздохнула бабушка протяжно, со всхлипом. — Сдохнуть бы мне уж поскорее ли, чё ли? Штабы никому не мешать...

Не скоро дойду я умишком — мучилась бабушка памятью о своей дочери, моей маме, хотела и не могла представить себе другую женщину на ее месте, страшилась за меня, такого настырного, дерзкого. Терзания свои она пыталась таить в себе, да человек-то она какой? Шумный, вселюдный, молчать ей долго невыносимо, вот и прет: «Нова мама...»

В поздний вечер, заперев на засовы ставни и ворота, бабушка останавливалась на крыльце, поворачивалась к лесу, крестилась на закат, кланялась горам и со строгой печалью роняла в пространство:

— Чичас же ступай домой! Успешь натаскаться да навалиться по сараям, вышкам, по пристанским лавкам... В тятю удашься, дак и арестантских нар не минуешь...

Да-а, бабушка ведала, что ждет меня впереди, но я-то ничего-ничего не знал, как мячик от заплота, отскакивали от меня обиды — солнце поднялось ясное, повстречалась Катька Боброва, посмеялся над Гришкой домнинским, потешно скакавшим за мячиком, дождался Кольку Демченко — чего-то дожевывая на ходу, он брякнул воротами, бросил в народ гуттаперчевый, битый-перебитый, но все еще крепкий, тугой мячик — и с души горе долой.

Началась дележка, веселая, с подковыром, тайными ходами, немислимыми кознями. Нешуточные заботы матки — хозяйина команды — захватили меня. Санька левонтьевский норовил попасть в мою команду. Ничего не скажешь, игрок он бойкий, но нарывистый, спасу нет! С ним горя натерпишься. Я незаметно переталкивал его в другую команду, но там тоже не очень-то рады такому резвачу.

Идет Санька рука об руку с парнишкой, обязательно ведь выберет бесхитростного, безответного, вроде Леньки сидоровского. Издали еще Санька ужимается, хмыкает, подмаргивает красными глазами и жует, жует оковалок серы — вечно жует, облизень!

— Сайку с медом або пирог с г...м? — выпалил Санька с ходу. Дело ясное — сайка с медом — он, Санька левонтьевский. Все остальные — этот самый пирог...

— Перезагадаться! — отверг загад матка другой команды.

— Перезагадаться! — подтвердил я.

— Чё-о? Да я чичас у домнинского мячик возьму! Всех к себе переманю! Ишь, какие начальники! Без ручки чайники!..

— Не брать его никому в пару!

— И не берите! Не берите! Я вам нашшываю по отдельности!

Санька затягивал дележку и в наглости своей доходил до такого мухлеванья, что в конце концов с ним, если б матки и разрешили, никто не хотел становиться в дележную пару, и он оказывался «вне игры», валился на траву вместе с девчонками, с недоросшими до настоящих сражений парнишками, с увеченными, больными, убогими, каких в любом селе, тем паче в большом, сибирском, всегда было дополна.

— Х-хе! Летчик на ероплане! — измывался Санька над ребятами. — С бани летел, в назем угодил! Капитан на мостике?! На печке капитан, в заду таракан! Ха-ха-ха!

Кто-нибудь из смирных парней не выдерживал:

— Чё сорожина красноглаза дразнитца?

— Он дождется, дождется, на палках в лоскутья искатаем!..

— Попробуй, попробуй! Я те рожу растворожу, зубы на зубы помножу!..

Отчеркнули острым концом палки черту поперек переулка — для битья по мячу и подаванья его. Чуть сбоку и спереди черта покорооче — угонная, где стоят сделавшие удар игроки и нарываются, хотят удрать к голевому «салу» — к черте, которая делается по уговору маток и команд иной раз в полсотне сажен от угонного «сала», — все зависит от резвости игроков, от умения маток бить по мячу.

Все! Три «сала» намечены, игроки метнули вверх монетку, матки прокричали: «Орел!», «Решка!» — и одна из команд, матерно выражаясь и ворча, разбредается по переулку — голить.

— Не брался бы, слепешарый!

— Вечно рот разеват!

— Другой раз сам в поле пойдешь!

Матка все это должен выслушать, пережить, стерпеть и как можно скорее помочь своим отголиться. Для этого существуют тысячи хитростей и уловок в игре. Но и другого «хозяина» к месту приставили не ради шуток. Он тоже должен мозгой шевелить.

Счастливой маткой оказался я. Осмотрел свою команду, как всегда, сделал недовольный вид — не команда у меня, а колупай с братом! Сброд какой-то! Вон к другому матке попали люди как люди!.. Однако кураж не должен перейти ту границу, за которой наступило бы полное к себе презрение команды, и она, проникшись худым настроением, заранее упала бы духом. Не-ет, поворчав на одного-другого «бойца», дождавшись, когда разуются те, у кого есть обутки, помогши тем, у кого нет пуговиц и ремешков, подтянуть штаны и подвязать бечевками или закрепить булавками, матка пускает к бойкому «салу» тех парней, которые должны делать вид, будто бьют по мячу, на самом деле ни в коем разе в него не попадать. У них «крива рука». Нынешние теоретики спорта называют этот распространенный недостаток мудреней — слабо поставлен удар. От такого удара мяч летит сонно и куда попало. Его, голубчика, сцапают, и «ваша не пляшет!». Плюйся, проклинай пеночника-мазилу, отвесь ему пинкаря, но ступай в поле голить, где ты можешь отыгаться быстро, но если у противника все пойдет как по маслу, команда его будет играть все дружнее, бить по мячу хлестче, бегать резвее — изнервничаешься вконец, измотаешься, не отголишься до темноты и назавтра будь любезен без дележки, с остатками разбитой своей дружины доводить дело до победы, потому как непременно окажутся хлюзды, они выйдут из боя, то мама не пукает, то на пашню к тятке велено идти, то нога нарывает, то еще что. А матке нельзя отлынивать, никакой он тогда не главарь, и его впредь не выберут старшим. Если же он сам не доведет до конца игру — противная сторона имеет полное право накатать его на палках...

Но в сторону мысли — к лапте идет, подбирается Микешка-колдун, да кабы только колдун, он еще парень непослушный, дерзкий, за ним глаз да глаз нужен. Микешка метит взять лапту ударную, чтобы услатить мячик аж за деревню. Но я даю ему затесанную на конце, плоскую — «гасить» мячик, чтобы он ударился в землю и отскочил назад, вбок, куда угодно, только не в руки голящей команде.

Еще три паревана, схожих с Микешкой видом и характером, благополучно погасили мяч. Санька галился над пареванами, заключая каждый из таких ударов выкриком: «В сметану!», «В коровье пойло!», «Себе в хайло!»

Пошел игрок средней руки, самый-самый, из-за которого переживания одни — он может подцепить мячик, всем на удивление, и помчится тогда пробившая по мячу орда к дальнему «салу», с весельем и хохотом. Матка освобожденно выдохнет, распухнет мускулом — когда есть на дальнем «сале» хоть один игрок, да если он к тому же ловок, стремителен и

увертлив — легче вести игру — на дальнем «сале» нарываються, делают пробежки, доводят до злости и нервности команду противника — прорвись с дальнего «сала» игрок, добежи до лапты не ушитый — вся команда получает право на удар, матка — на три. Коли матка не использовал положенные три удара, накапливается у него их уже шесть — попробуй тогда отыграйся, да еще в нервности и упадке духа.

На сей раз мои «середнячки» — такие слово в Овсянке закрепилось после коллективизации — что-то не тае, никто из них не помог мне, больше того, главная надежа — Колька-хохол — чуть было не подарил мячик противнику в поле, меня аж пот прошиб! У Кольки честный, бойцовский характер. Теперь, когда я стану готовиться к удару, он, чтобы загладить вину, начнет нарываться, стало быть, еще до удара пробовать сорваться с места и бежать на дальнее «сало» — это опасно, очень опасно — матка может приотпустить его, и, если в поле стоит хороший ловила, а там сегодня не один такой, матка кинет мяч, Кольку перехватят, ушьют, а он перехватит ли кого — это вопрос! Я показал Кольке кулак. Он отошел к черте, нетерпеливо перебирая ногами.

Сказать по правде, последнее время игра у меня не ладилась, однако я не хотел себе в том признаться, из матки не выходил, но прежней удали и уверенности в себе не чувствовал. К бойкому «салу» шагал будто по углям, долго «прилаживал» к руке свою лапту, за мной ядовитым взглядом следит отторгнутый от игры вражина Санька. Надо бить, раз в игру ввязался. Плюнув на ладони, замахнулся, слышу, катит Санька поганство, чтоб сбить у меня удар:

— Кукаре-кукареку! Дрисни ему на руку!

Прежде я б усмехнулся, плюнул под ноги и так бы поддел мяч!.. А ныне чувствую — царапнуло нутро, заклинилось там что-то, голову злостью обнесло, и не по мячику, по Санькиной роже заехать тянет. Голящие уловили во мне перемену. Подбрасывая мяч, загольный вертанул им. В другой раз я бы пропустил удар, бей сам, сказал или бы что поехиднее: «Пусть твой тятя крученный верченую маму бьет», но, желая поскорее утереть Саньке нос, я изо всей-то силушки лупанул по «слепому» мячу — это когда его вроде бы на лапту подають, но закручивают так, что, пролетев подле твоего носа, мяч возвращается в руки загольного.

Подавать верченые мячи, слепые, отводные, низкие. до середины лапты наброшенные — такие проделки матка может позволить с игроками иного сорта, с Микешкой, скажем. Матка же к матке обязан относиться с почтением, хотя бы показным, иначе он плохо кончит — я его команду доведу до припадков.

И довожу! Загольный подбрасывает мяч, я поднимаю лапту, замахаясь, и опускаю ее. Я даже не говорю никаких слов ни насчет тяти, ни насчет мамы. Я просто стою, опершись на лапту, и скучно смотрю вдаль. Загольный подбрасывает мяч раз, другой, третий, он работает чисто, он весь внимание, но я не бью. И тогда следует приговор голящей команды:

— Смениться!

Полевой игрок выходит вместо матки, тот, сконфуженный, красный, бредет в поле, голить. Унижение-то какое! Я снисходительно окинул взглядом собравшуюся в переулке публику, скользнул глазами по примолкшим девчущкам, задержался взглядом на ухмыляющемся Саньке — на морде его такое выражение, словно он чего-то наперед знает и ухмыляется со значением: «Лыбься, лыбься! Счас увидишь!..» — Я размахнулся и... промазал по мячу, поданному по всем правилам.

Спину мою опажнуло холодом, под сердцем завязался мягкий узелок, маленький такой, с мышонка, но всего меня вместе с кишками и потрохами он повязал. Команда моя притихла. Санька приподнялся с травы, приплясывал, почесывая зад — забыл, что на ширинке штанов у него нету пуговиц, и, когда он так вот чешется, «скворешня» спереди открывается — закрывается, показывая мужицкого калибра, чумазенький, бодрый гриб боровичок, по которому мужики при случае звучно щелкали ногтем, заверяя, что с таким «струментом» Санька не пропадет.

Напряженный наступил момент — никто ничего не замечал, даже глазастые девчонки не прыскали, но матка все должен зреть.

— Скворешню-то застегни! — заранее зная, застегивать ее не на что, посоветовал я Саньке, и он пугливо прихлопнул ладонями прореху. Под шумок Колька-хохол рванул было в угон, но голящие начали перебрасывать мяч друг дружке с тем, чтобы в поле перенять моего напарника и ушить наверняка. Вылазка не удалась, пришлось вернуться.

Матка, свергнутый с поста, маячил загольному, чтоб он подбрасывал мяч выше — я не любил высокие подачи, бил точно и хлестко по мячу, поданному вровень с плечом, и потому пропустил высокоую подачу.

— Чё хлюздишь-то? — заволновались голящие. — Бить дак бей!..

— Подавать научитесь!

— Да подай ты ему, подай! Он все одно промажет! — кричал уязвленный Санька. — Я вчерась имя кошку дохлу под заплот бросил: ни в жись не попадет, пока кошку не сыщут!..

«Вот оно что! — похолодел я. — Заколдовал, паразит! Заколдовал! Но мне плевать. Я неверующий! Советский школьник! Бабушка комунисом меня зовет! Значит, все мне нипочем!..»

— Подавай!

— На! На! На! — словно собачонку, раздраживал меня загольный.

В этом случае надо дать не по мячу, по рукам — навсегда отпадет охота у загольного дразнить битока, но мне нужен удар, невысказанный удар, чтоб мячик пулей вонзился в небо, чтоб моя команда могла сбегать туда и обратно и, задохнувшись, взволнованная, кричала: «Ну, чё? Взяли? Взяли? Выкушали?! — Тогда бери супротивника голыми руками, уделывай его как хочешь: он растерян, пал духом и не скоро соберется...

— Н-на!

Я все сделал точно, выждал момент, выкинул лапту за спину и, чувствуя всю свою силу, как бы скатившуюся свинцом в наконечник лапты, нанес удар, но не ощутил ответного толчка, пружинистого, чуть отдающего палку назад, не услышал щелчка...

На что-то еще надеясь, я глянул в небо и не увидел там мяча, полого, почти по прямой и в то же время выше, выше летящего — вот он с воробьишку, с жучка, с тетрадочную точку — и все! Исчез! Улетел к Богу в рай! Даже недруги твои, даже такой змеина, как Санька, примолкнут, открыв рты, а ты стоишь после удара с опущенной лаптой и не дышишь, переживая миг жизни, с которым, не знаю, что может и сравниться, слышишь победный топот братвы. Кто-нибудь из парней, как бы не удержав ходу, боднет тебя башкой в живот, ответно бухнешь соратника кулаком по спине и отойдешь в сторону — победитель, герой, ошастлививший массы. Ватажка твоя теперь сплоченной семьей стала, твоей семьей и долго будет держать верх. Даже рахитный Микешка будет чувствовать себя богатырем и, словно это он добыл удачу, захлебываясь восторгом, прыгать и кричать станет: «От резанул так резанул! В небо! В небо мячик-та! Стрижом! Чё же это, а?! Мы их загоняем! Загоня-ам!..»

— Не-не по-а-па-а-ал! Н-не попа-а-а-ал! Свою мать закопал! — завопил Санька, кувыряясь через голову, он ходил на руках — верх его торжества наступил.

Есть еще один, говоря по-нынешнему, шанс, — последний: бросить лапту и бежать куда глаза глядят. Если тебя не ушьют или ушьют худо, ты овладеешь мячом, может, кого перехватишь в поле... Моя ватага сделала попытку кинуться врассыпную, однако я сам, без сопротивления протянул дрожащую руку, взял мяч и сказал матке, показывая на беснующегося Саньку:

— Возьми к себе! Не то я палку обломаю об эту падлу!..

— Че-о! Че-о-о! — взъелся Санька, но тут же потрусил к «салу» — зверина он чуткий, хорошо помнит, что имя матери-покойницы все

трепать нельзя, кроме того, он догадывается, что в нашем доме не все ладно и потешаться надо мной без меры не следует, к тому же Санька — игрок хотя и приткий, но ведает: я пропущу кого угодно, но его удозорю.

После первого же удара Санька начал нарываться, травить меня. Зря он это, зря! Я поставил в середину поля Кольку-хохла — ловило он будь здоров! — и сказал, чтобы он Саньку не ушивал, предоставил бы мне заслуженную месть. Я начал спорить с маткой, увлекся, в раж вошел, за Санькой мне вроде бы и некогда следить, он и купился, почапал! «Та-ак, — злорадно отметил я, — попался, который кусался!» — и резко бросил мяч Кольке. Тот погнал Саньку назад, все время замахиваясь и не сводя с него глаз.

Есть игроки с лешачьей верткостью — моргни только — и его Ванькой звали! Иного бьешь в упор, он выгнется, ровно змея, и... мимо! Игрок открытого боя не бросается наутек, тот, защученный в поле, раскинув руки, прет на сближение, не давая бить его со скользом, норовит поймать мяч, и не успеешь ты его ушить, как он тебе влепит ответно. Но встречаются такие пареваны — жохи, которые, помимо всех известных фортелей и уловов, выискивают неожиданные подвохи, смекают на ходу. К таким относился Санька! Гад! Паразит! Каторжанец! Немытая харя! И... не знаю, кто еще!

Вот он строчит вспять, к «салу». Колька швырк мне мячик. Заметался Санька, заплясал, вызывая поспешный удар. Я замахиваюсь раз — он приседает, замахиваюсь второй — он подскакивает. Публика начинает хихикать. Злоумышленник подло распялил рот: «Ну, бей! Бей! Прет, да? Прет?!» — Не пройдет на этот раз, Саня, не пройдет! Ты у меня и напляшешься, и наплачешься! Ближе, ближе Санька, никак ему не удастся прикупить меня, вывернуться — давно мы друг друга знаем. Вот уж шаг-друтой разделяют нас — на такой дистанции ничто не может спасти Саньку. Он прибегнет, я знаю, к последнему трюку — при ударе брякнется на землю, и мяч просвистит над ним. Тогда все! Тогда конец! И Санька, и команда его, и публика засвистит, заулюлюкает, добивая неудачника. И пусть не въяве, пусть мысленно, хвалой, одобрениями публика поднимает плута и ловкача на воздух, ликуя, понесет его на руках: говорил же я — в игре все, как в жизни.

Санька пятился от меня. Колька за его спиной взывал тугим шепотом: «Дай! Дай!» — Кольке ловчей ушить Саньку. Нет уж, нет! Я столько натерпелся от этого обормота...

— Р-рыз! — взвизгнул я и, подпрыгнув для удара, сделал бросок рукой, Санька бац в утрешнюю коровью лепеху и затих — нет ликующего

вопля, мяч остался у меня. Не давая опомниться поверженному супротивнику, я изо всей силы вlepил тугим, что камень, мячиком в бок Саньке, и его, будто притопнутую гусеницу, повело, изогнуло. Он беспомощно возился на земле, сучил ногами, ловил ртом воздух, вонзив грязные пальцы в траву...

— Вот! Додразнился... — растерянно топтался я. — В-вот...

Санька долго мочился под себя, бок у него больной. Бабушка Катерина Петровна пользовала его травками, поила теплой заячьей кровью, давала заячьего мяса, творила молитву, от всех скорбей и недугов: «Во имя Отца и Сына, и Святого Духа! Как Господь Бог небо и землю, и воду, и звезды, и сыро-матерной земли утвердил и крепко укрепил, и как на той сыро-матерной земле нет ни которой болезни, ни кровных раны, ни щипоты, ни ломоты, ни опухоли, так же сотвори, Господи, штабы у раба Божия, у Александра пусть укрепится водоточная жила и всякая кость в теле, штабы ходил он до ветру по-людски и спал по-ангельски! Он хоть мошенник и плут, Санька-то, а все же ребенок и Божий человек есть, ну как застудится... Никакой ведь сменки у парнишонки, опрудится — и в мокром на улку. Васеня рази за всей ротой углядит? Ей самой догляд нужон...»

Громко бухалась лбом об пол бабушка, напористо просила и разбудила, видать, небесную силу — Санька наладился, «водоточная» жила в нем укрепилась. Но нет-нет согнется Санька, схватится за бок, вытаращит глаза и дышит перебоисто, судорожно: «Чё ты, Санька, чё? — спросишь. — Болит?» — «Ни-и-иштя-ак».

Трудно поднимался с земли Санька, дышал прерывисто, словно бы пытаясь сглотнуть с блюдца горячий чай, на переносице его выступили капли. Не замечая, что рука измазана зеленой жижей, он прижал к боку рубаху, согнувшись, ковыльнул к заплоту и уперся в него лбом. А я упрямо талдычил:

— Будешь знать, как дразниться! Будешь знать...

— Самово бы так! — подала сварливый голос какая-то из девчонок. И все они принялись меня судить-пересуживать — бабы и бабы на завалинке:

— Самого лихоманка треплет, дак хорошо?

— Болесь, она не шшитається ни с кем...

— От болести, как от тюрьмы да от сумы, не зарекайся.

— Известно...

— Сказать бабушке Катерине, дак она ему вольет!

— Конечно, сказать...

— Чё развеньгались-то? Ме-ме-ме, баушке сказать!.. — встрял в

беседу Колька Демченко. — Тут не хохоньки да хаханьки! Игра! А в игре всяко бывает...

Санька отлепился от заплота, покорно ушел в поле голить. А я ждал, что он полезет драться или бросит в меня коровьей лепехой. Я стерплю — и смута рассеется. Но Санька лишь скользнул по мне взглядом, и сердце мое сжалось — в глазах его распаялись слезы, ими размыло-размазало красноту, сгустив ее в бурую, кирпичную жижу. Там, где у Саньки болело, — находятся почки, узнал я позже. Вот по больным-то почкам, ослепленный жестоким мальчишеским гневом, и врезал я ему в бобровском переулке и до сих пор не могу простить себе того подлого удара.

Из игры Санька не вышел, но больше не нарывался, меня не травил, бегал от «сала» к «салу» только после неверного удара. Я, хоть и не всякий раз, начал попадать по мячу, и, дети есть дети, пусть в переломном, задавалистом возрасте, — мы скоро забыли про распри, вошли в азарт игры, бегали, лупили по мячу, ловили его, пока было видно, потом сидели, прислонившись мокрыми спинами к стене хохловской бани, нагретой за день солнцем, отдыхались, лениво переговаривались, побрасывали камешки в Енисей. Промыслить бы подсолнух, пощелкать семечек, поплеваться, но они еще даже не зацвели, еще по-телячьи лопаухо висели над грядами. Но скоро, скоро воспрянут они, засветятся солнцами по всем огородам, иной через городьбу шею перегнет, и не хочешь, да рука его сама мимоходом вертанет, будто руль, туда-сюда — и под рубаху. Распласташь кругляк, на четвертинки разделишь и сперва выешь мякоть из серединки, после и за семечки примешься. К осени не житье — благодать: где гороху, где бобов, где морковки, где брюкву иль репу промыслить — подживление сил, интерес большой утянуть огородину. Пока же все тебе развлечение: надергать моху из пазов бани, подымить едучей горечью, которой не только глаза ест, но и в ушах от нее шумно, — да и разбредаться по домам.

В нашей избе не было свету. Бабушка уплыла в город продавать землянику. Возле ворот, на бревне, вдавленном в землю, заслеженном задами, белея исподиною, сидел дедушка Илья. На плечи его наброшена старая шубенка, на ногах катанки, взблескивающие пятнами кожаных заплат. На голове ничего нету. Редко уж в прохладные вечера выползал он за ворота. Сидел неподвижно, забывая отвечать на поклоны проходивших мимо односельчан. Батога он так в руки и не брал, но курить не мог бросить, хотя у него «харчало в груди» и бабушка прятала кисет с табаком.

Дед Илья услышал меня, хрустнув костями, стронулся, отодвигаясь в сторону, уступая мне, как это велось у него издавна, нагретое место. Мне захотелось прижаться к деду и поговорить о чем-нибудь. Но мы и раньше-

то не больно много разговаривали, теперь и подавно.

— Деда, принести тебе табаку? Я знаю, куда прячет бабушка кисет. — Не дожидаясь ответа, сбегал во двор и на лавке, под опрокинутым ведром, нашел старый, залоснившийся кисет с проношенной, пыльной подкладкой. В кисет завернуты бумага и спички.

Дед резко дернулся мне навстречу, но тут же тонкий, протяжный стон пронзил старика, отбросил спиной к заплоту. Минуту-другую белел он, распятый на темных бревнах заплота, только борода его мелко-мелко подрагивала от булькающего дыха да дергалось горло. Но вот отвалила, скатилась в кости боль, дед беззубо пожевал, борода его походила сверху вниз, утвердилась на месте, и он начал свертывать сигарку. Долго он ее крутил, усердно, весь ушел в эту работу. Я ждал со спичкой наготове. Совладал дед наконец и с сигаркой. Я чиркнул спичкой, поднес огонек к бороде деда, в которой белел хоботок сигарки. Великим усилием, смирив дрожание в пальцах, дед нащупал сигаркой огонек, ткнулся в него, будто пчелка в цветок, зачмокал по-детски жадно, захлебисто замычал от сладости, и при остатнем свете гаснущей спички увидел я — он пробует мне подмигнуть и улыбнуться, взяла, мол, старая...

Тут же тяжкий кашель сразил деда Илью, и долго он бился на бревне, бухая на всю улицу, отплевываясь под ноги, мучительно высвобождая из себя что-то застоявшееся, удушливое, ядовитое...

— Вот, слава Богу, про-хо-одит... Вот, слава Богу, ожива-аю, — перехваченным голосом известил он. Часто и все еще сорванно дыша, дед согнутым пальцем тыкал под глаза, сморкался громко, с чувством, вытирая пальцы о голенище катанка и уже без спешки, обстоятельно курил, не соря искрами, не захлебываясь дымом.

— Сама-то в городе, видать, заночевала, — не то спросил, не то сообщил дед, помолчал и мрачно прибавил: — Меньше гвалту в избе. И в деревне грохоту... — И стал жаловаться мне, что бабушка прячет табак, прячет и прячет, никаких слов не понимает... чисто дитя...

Кто из них теперь дитя — сказать трудно. Та прячет кисет, этот за ворота вылазки делает в надежде, что его кто-нибудь попотчует табачком, та разгоняет курцов, этот с ней сутками не разговаривает — забастовка!

С табаком у деда проруха — лишь в уголках кисета спеклась табачная пыльца, он и тому радехонек, тянет носом табачный запах. До свежего табаку далеко, он только еще зацветает на дальней, почти в жалицу оттесненной гряде. Я втихую помогаю деду, когда кто из мужиков оставит кисет — отсыплю горсть, но мужики к нам редко стали заходить, какой им интерес со стариками якшаться?

В нашем селе — так уж повелось — табачное дело стояло на парнишках. Бабы, зловредничая, ткнут табачишко на огородных выселках, не поливают зряшное, по их рассуждениям, растение, не полют, не пасынкуют. Грбовозы — мужики гордые, огород полоть и поливать не пойдут. Вот и крутись парнишка, поливай, щипли цвет, отростки, иначе вся крепость из листа уйдет. Пальцы слипаются, душина от рук, горечью рот дерет, а мужики только и соизволят, что срубить острым топориком табак, свалить его в борозды, поморить да связками на чердак поднять.

Выветрится табак, олютеет во тьме, и целое беремья его завалят в печь — сохнет он там дня три, и все домашние ходят ровно бы чумовые, клянут табакуров, малые дети головами маются и даже блюют. Зато парнишкам полная власть — они начинают сечь табак, просеивать, и редко какая хозяйка выдюживает бряк, стук, табачное удушье — сбегает из дома.

Поскольку в нашей семье из парнишек остался только я, на меня и перешла обязанность владеть табаком. Поначалу я отлынивал от этой томкой и пыльной работы, не понимая крупной от нее выгоды, — две-три горсти табаку в кармане — и ты уж ближе к народу, особенно к шпане, везде ты свой человек. А обмен? За табачок гони товары: серу, бабки, фантики, когда и пряник, и конфетка обломится. Однажды в клубе Мишка Коршуков, сроду своего табаку не имевший, хватился стрелнуть у одного парня, у другого — ни табачинки. А я р-раз в карман да всей-то горстицей самосаду Мишке. А он р-раз в карман да ответно всей-то горстицей конфеток!

У деда табачное корыто — хоть в нем купайся. Просечено корыто насквозь, и ко дну его пришита плаха, однако и плаха истоньшилась, по звуку чую — скоро и в ней проруб засветится. Но дед новое корыто не долбит: «Этого хватит на мой век», — и я берегу корыто, секу не со всего маху. Мне кажется, если корыто прорубится — и деду конец.

Ситечко у деда согнуто из старого ведерного железа, на нем дырки гвоздем набиты. Есть еще одно ситечко, из жести, на нем дырки шилем натыканы — для отсева табачной пыли. Мелким ситечком редко какой парнишка пользуется — кому охота лишнюю работу делать? Но я нарочно мелким ситечком трясу, бабушку чтоб изводить. Никакой от нее жизни мужику в доме не стало. Где ни расположишься табак рубить, все неладно, все она за корыто запинается. Забрав корыто, топор, я один раз отправился в горницу, уселся на пол, рублю табак, ору песни. Бабушка примчалась: «Ты чё тут делаешь?» — «Табак рублю!» — «Пошто ты при иконах, комунис, экое поганство утворяешь?» — «А где мне? На крыше?» Бабушка загорюнилась: «Чё токо из тебя и получится?..»

С тех пор я властвую в кути, рублю табак, припеваю под стук топора: «Моя милка как бутылка, а я сам как пузырек...» Просеваю табак, трясу ситечком так, что всех сплошь разрывает чихом. «Будьте здоровы!» — кричу я. «Штабы ты пропал!» — мне в ответ. Я и сам ка-ак чихну, аж сопля на щеку выскочит. Я ее не стираю, вытаращив глаза, пялюсь на народ.

— Артис из него, робяты, артис выйдет! — закатывалась бабушка. — Пропащая голова!

Разочка два меня подпутыпали с табачком, за ухо брали, но лупить особо не лупили — сирота потому что. Других дерут — изловят с табаком, штаны спустят и: «Ах вы, сени, мои сени!..» И вот что опять же непостижимо: сечет родитель парнишку, люто сечет, заранее зная — бесполезная это работа, — подрастет его парнишка, все одно курить станет.

Как я пошел в школу, деду легче с бумагой стало. Прежде вся деревня пользовалась газетами сапожника Жеребцова, но нет в селе ни Жеребцова, ни газет — увезли его со всем выводком бесплатно на север, за горы. Дед искурил исписанные мои школьные тетрадки. Промокашки остались, все в пятнах. Он как-то муслил, муслил, слепил сигарку кое-как из промокашки, а она не курится. Шлепнул дед сигарку оземь, вдаль уставился, борода у него заходила вверх-вниз, вверх-вниз — тогда-то я и увел из бабушкиного сундука церковную книгу. Дед ее полистал, полистал, посмотрел страшные картинки и испуганно прошептал: «Ташши обратно, от греха... — и через время смущенно добавил: — Да в ей, в этой божецкой книжке, и бумага на курево негодная». — Бога, конечно, боялся дед, но еще больше старух — чуть чего — и раскаркаются: «Покарат, покарат!..»

«У-у-у, шоптоницы! Деда в угол зажали! Бабушка в городе не раскошелится на пачку махорки да на книжечку бумаги...»

Докурив одну сигарку, дед тут же изладил вторую. Попала ему табачная пыль в нос, он жажнул чихом, утерся и, памятуя о примете, что если труднобольной человек чихнет — долго жив будет, сделался оживленным, толковал мне, что Иванов день наступает и что в ночь на этот праздник цветет разрыв-трава, но цвет держит во времени всего на три молитвы, только их успеешь прочесть — и отцвело! Разрыв-травой зовется та трава, об которую в Иванову ночь ломается коса. Бабы той травой мужей с женами разводят, злодеи разрыв-траву в кузнице бросают в горно — и шабаш! — ничего не горит, не калится, пока кузню не освятят...

— Кто е знат! Может, причуды все это — приметы наши, деревенские, токо за их спросу нет. Вот скалились мы ране над бурмистовской Секлетиной: она хлебы как сажат, подол подымет да приговариват: «Подымайся выше! Подымайся выше!» — Ан хлеб-то у ей завсегда удача

— пышный-пышный!.. Я вот гляжу: вертоголовай ты больно, все тебе игруньки, все хаханьки, а ты бы чё и запоминал из нашева, из старова. Под закат солнца, скажем, деньгами и хлебом никого не ссужай — обеднешь. После заката сор веником в избе не мети — разметешь богатство. При первой кукушке брякни деньгам, чтоб водились...

«Что же ты, дедушка, не брякал?!» — хотелось мне спросить, но дед невнятно уже наставлял, чтоб я до утренней зари не глядел в окошко — «невесту красивую сглазишь...».

«Эх, горе наше! — съезжился я в себе. — Правду мелют старухи, дед и в самом деле недолгий жилец, заговариваться вон начал, — и, ощутив беспомощность перед неотмолимой смертью, нащупал в темноте деда Илью, собрал в горсть на его груди полущубок, прижал к себе, и угрелся, утих возле меня дед, как я когда-то угревался подле него.

От Енисея поднимался слабый свет, с левой его стороны тревожное пламя известковых печей беззвучными сполохами пошевеливало небо. Из-за огородов и бань, с дальних хребтов накатывала прохлада. Ногам, побитым за день, телу, разгоряченному и потному, сделалось знобко. Я поджал ноги, нащупал ими иссохшую за день, жесткую травку и, растопырив пальцы, влез ими в кучерявины, будто в мягкую овчину, пятки вжал под бревно — прокаленная пыль ласкала кожу ног птичьим теплом.

Мелкая скотина загнана во дворы. Коров подоили и отпустили в ночное, чтоб овод не одолевал. За поскотиной слышалось грубое бряканье ботал и тилилюканье колокольцев. За заплотом нашего двора, под навесом зашевелились куры, одна упала с насеста, пробовала закудаhtать, но петух угрюмо на нее прорычал, и сонная курица, не решаясь взлететь, присела на землю. Не загнал я куриц в стайку, пробегал, завтра гляди да гляди — в огород заберутся, яйца в жалице снесут. Да подумаеть, хозяйство какое! Надо его бабушке — паси! А нам с дедом все пропадом пропади, мы сбросили оковы.

В щели заплота, из подворотни, из-под крыши и от самого дома томко грело — дерево отдавало тепло, накопленное за день. Тепло перебарывало еще слабо веющую прохладу, размягчало под рубахой тело, погружало все живое в разморенную дремотность. Начала видеться разрыв-трава — смесь крапивы, орляка, конопли и еще чего-то. На бурьяне том немислимом не то пестрые цветы, не то живые щеглы сидят, клювы открывают, в клювах зернышки катаются... Глядь, прямо по траве дядя Ваня босиком идет-бредет, ломаной косой машет, «шорт!» — говорит. Как можно в такую ночь

черта поминать! Только я так подумал, глядь — курица литовкой косит!.. А там, дальше, вроде бы уж и черти настоящие в лапту играют, и черти-то все как будто обликом знакомые...

Но только я начал пристальней вглядываться, как все во мне встrepенулось, видения отлетели, весь я подался в темноту вечера, чуть не уронил деда с бревна. Губы мои шевелились, ровно бы хватали что-то горячее, сладкое, на самом деле повторяли слова песни-игры, заполнившей разом и землю, и небо, и первую, оттого и густую такую, смоль вечера. Возле дома Ефима Вершкова, на травяной ли поляне в бобровском переулке, где мы еще так недавно сражались в лапту, собрались девчонки, вошедшие в тот возраст, когда пора помогать по хозяйству, но зато вечером можно им бегать сколь угодно, не подвергаясь строгому родительскому досмотру.

— Гори, гори ясно, чтобы не погасло! — заливались во тьме голоса, и чем далее уходил день, чем глубже становился вечер, чем плотнее подступала темная ночь, тем они громче звенели, захлебываясь теплым духом лета, плывущей из леса смесью запахов: хвои, цветов, трав, папоротников и какого-то пьянящего дурмана, ощутимо реющего над селом.

Движение зарева в небе от известковых печей, скольжение теней леса и гор в Енисее, беспроглядность лугов за поскотиной и в особенности темень, обступившая со всех сторон село, дома, пугали: девчонкам чудилось кругом волшебство, в груди от этого теснился страх. Но вот хиус с реки и распадков раздул пламя в печах, выбил из них искры, шевельнул тени в реке, взволновал траву на лугах, и задвигалась трава, чуть засеребрилась первой росой и тут же обмерла, — сладкую боязнь красоты ощутили девчонки и сами в себе почуяли легкость и отблеск этой красоты, прикрытой тайностью ночи, и каждая девушка думала, что это ощущение несет в пугливо вздрагивающем сердце только она, что тайна эта ее, но удержать в себе ту тайну нет сил, и легкую от предчувствия счастья, может, и беды, подхватило, понесло в ту бездонную пустоту, в которой что-то серебрилось, что-то дышало, что-то веяло, парило, и то совсем близко, у ног, на земле, то в звездной выси, в недоступном небе, пугая и маня, мерещилось что-то жуткое и отравно-сладкое, а еще выше, в непостижимой запредельности, не сердцем одним, всем телом предчувствовалось что-то и вовсе губительное, чему непременно надо было сопротивляться, но не было сил владеть собою.

Девчонок крутило, несло куда-то, и раскинутые руки казались им крыльями, земля под ногами — горячим облаком, звезда в небе —

манящим огоньком, кровь давила голову, волнами билась в ней и, перекипелая, скатывалась в грудь, кололась во всем теле, рвалась из жил и рвала жилы. Напуганные, ошалелые, озаренные манящим светом, сжатые зыбкой тьмою девчонки бегали и то пели, то, словно в больном бреду, звали: «Мамочка! Мама! Мамочка! Мама!», будто погружались в смертную глыбь.

Они, девчонки еще, не знали, что их начинает затягивать и кружить бездонный омут жизни, но уже молили оберечь их, помочь им справиться с собой и с этой страшной силой, слепящей разум, сминаящей сердце, но ничего, даже себя не слыша и не помня, — зачем и куда бегут, кого кличут, о чем заклинают, вперебой звенели девчонки: «Гори, гори ясно!..»

Я узнавал по голосам Нюру сидоровскую, Катю и Нюру Бобровых, Нину Шахматову, Лену Юшкову, Тоню Вычужанину — все девчонки одного возраста и в переходной поре — протяни руку — и нащупаешь порог бабьей жизни. Предчувствуя ее напрягшимся, встревоженным сердцем, одурманенные угарным чадом девчонки и живут тревожно, чувствуя: они не играют в горелки, они доигрывают все свои детские, беззаботные игры.

По-щенячьи взвизгивая, чего-то крича в бестолковом восторге, хватаясь за старших сестер, носятся слепо девчонки помладше: Лидка Боброва, Люба Вершкова, Шурка Юшкова, Танька дяди Левонтия, скоковские и верехтинские. Они взбудоражены игрой, тревогой, исходящей от «большух», но скоро темнота и прохлада вечера умиряет их, они отделяются от старших девонок, организуют свой хоровод, поют складно и ладно: «Сидит дрема, сидит дрема, сама дремлет, сама спит...»

Но я слышу их краем уха, мне не дает покоя игра старших девонок. Заранее обмирая сердцем, я представляю себя играющим вместе с ними в заветную игру: держась за девоночью горячую руку, чувствую — ходит-бродит в девчонке ошалелая куда-то устремленность. Завихрит, подхватит девка меня и унесет в неведомые дали и выси, и я буду тоже орать чего-то, не зная слов, не успевая их запомнить от голову кружащей обалделости. Но слова, правила игры, музыку песни, ароматы леса, колдовскую тишину летнего вечера я запомню, постараюсь запомнить потом и все то, что скрывается, не может не скрываться в темном настое летней ночи в канун Иваны Купалы, когда цветет в лесу разрыв-трава и волшебно светятся папоротники. Потом, потом я открою, непременно открою свою тихую тайну, постигну смысл волнующей игры, вкушу дурманности такого же тихого и дикого вечера.

В ту пору мне казалось, что я буду расти, а «моя» девочка станет меня

дожидаться. Но время шло и разводило людей по широкой земле. Увело оно куда-то и деревенскую голосистую девочку. Я забыл ее лицо, забыл имя, всю забыл. Осталась лишь песня, да и она звучит во мне без слов, только мелодией, да и мелодия стихает, стирается во мне, однако я все еще слышу голос, назначенный мне, он все еще достигает меня из темноты деревенского вечера, из пространства времени, разделившего нас, — голос загаданной мною, единственной девочки.

Теперь-то я знаю: самые счастливые игры — недоигранные, самая чистая любовь — недолюбленная, самые лучшие песни — недопетые.

И все-таки грустно, очень грустно и жаль чего-то.

Стряпухина радость

Блины, к ребячьей и мужицкой радости, пеклись на селе часто, в субботу или в воскресенье уж непременно. Особым разнообразием: гречневые там, овсяные, крупчаточные, какие пеклись издревле на Руси, — у нас они не отличались. Заводили блины из той же, что и на хлебы, молотой муки, просеяв ее на два раза, а если время гнало, черпали густую смесь из квашни, заведенной на общую домашнюю стряпню, и разводили «кислые» блины, стало быть, блины из квашеного теста.

Блин, он что и пельмень, в изготовлении спор, в еде ходок. Чалдоны говорят, коли последний блин или пельмень в рот вкладываешь, а на первом сидишь, значит, все, насытился человек. Однако ж, бывало, объедались, чаще всего пельменями, вареными в костном бульоне. Горячими блинами тоже объедались. Если пробегаешься, поработаешь, они как-то сами собой катятся и катятся на мягкое дно, мимоходом согревая нутро и радуя душу. Только дышать становится труднее, горячие и масляные пары скапливаются в тебе и «нутренность спирают», требуют выходу. Когда первый блин поспеет, макнешь его, не макнешь в масло, порой даже в трубочку его свернуть не успеешь и мятым лопушком пихаешь в рот. Там он уж сам собой ищет ходу и проваливается в какую-то радостно притихшую пустоту.

Но вот движения твои замедляются, глаза и нос не так остро ловят шум блина на сковороде, отмечая его зажаристость и духовитость. Праздничным платочком-уголочком складываешь блин и макаешь почти до пальцев в чашку с маслом, да еще и повалить его, а то и поплюхать в масле-то норовишь — так просто, на сухую он уже не идет, застревает в верхней части туловища. «Э-э, парень! — скажет бабушка. — Кажись, сверху глаз пошло!» — и, пощупав мое округлившееся брюхо, иногда и пошлепав по нему, как по сдобному караваю, отправляет досыпать, если это случалось в заговенье иль после поста, на праздники. Сам едок от тяжести шевелиться иль следовать в постель не мог, норовил здесь же, на месте истребляемых блинов, положить голову на стол. Тогда просмешницы-тетки говорили: «Во, ухряпался работник!» — и отводили меня на печь, но чаще в горницу, потому что от блинов всюду, особенно под потолком, плавал удушливый чад. Дедушка, тот и не вел, а нес меня, зажав, как котенка, под мышкой, и не ронял, не кидал в постель, как тетки, он осторожно опускал в нежно холодящую подушку, в притихшую, ласковую тишину, да еще украдкой

погладить масляной рукой по голове ухитрялся.

Но, постойте! Это я от сладостных, чревоугодных воспоминаний забежал вперед, сразу к столу, к блинам. Так дело не делается. Надо ж основательно, все по порядку, как и положено в крестьянском житье и в хозяйственном деле.

Что главное в блине? Тесто? Закваска? Масло? Соль? Стряпуха? Нет, дорогие товарищи, не угадали! Главное в блине — ско-во-ро-да! Ну и сковородник не последний инструмент.

В больших сибирских семьях сковород водилось несколько. Первая и главная сковородища, банному тазу округлостью не уступающая, с толстым бортом и с толстым же, основательным дном. Разогревается эта посудина уж надолго, стойко удерживая накал и температуру пищи. Такой сковородой можно убить, но самое ее истребить нельзя, разве что пустить под чугунную бабу, истолочь в куски, в крошево, употребить на заряды вместо пуль и картечи, что и делалось в гражданскую войну партизанами, да во время разорения крестьян в период коллективизации, когда мужики или парнишки, отбившись от дома, бедовали в тайге, кормились «с ружья».

Далее — одна или две сковороды ходовых, не на всю семью, лишь на работников рассчитанные, на заимку посылаемые. В них, в этих походных сковородах, упрятаны, в запечье сложены сковородки детские, почти игрушечные. Да они игрушечные и есть. В них или на них, как на испытательном стенде в век энтээра, девчонки пробуют постичь искусство стряпухи, испытывают себя, готовятся в настоящее дело, переходя от глиняных постряпушек в стеклянных черепушках, творимых на задах двора, к настоящей печи, к вечному огню, к всамделишному тесту. В этакой сковородке, если и случалась проруха, сожжены будут или испорчены оладьи, блины — мало теста изводится, кроме того, брак полагалось самой же стряпухе подъедать, значит, не очень пострадает ее живот, недолго ему ныть и болеть от некачественной продукции.

Среди этого грубого, на виду хранимого, чугунного литья у настоящей, уважающей себя хозяйки есть сковорода заветная, именная, по родству из поколения в поколение передаваемая, иногда уже с выломанным, и не в одном месте, бортом, но все же не выброшенная на свалку, не пренебреженная, суеверно хранимая — «Пока бабушкина да мамина сковорода в доме — и блин в печи не переведется!»

Тоненькая, изнутри всегда от масла блестящая, празднично сверкающая, цвета воронова крыла, она еще и многозвучна, музыкальна была, и сковородник для нее изготавливался отдельный, на тонком черенке, не для ведерной, семейной сковороды, а для того, чтоб, выпрыгнув, кого-то

схватить и унести да скушать.

Где, как хоронила и спасала от ребятни свою «заветную» хозяйка — спросить уже не у кого, примерли они, хозяйки-то наши, или доживают свой век в городах, на казенном грубом хлебе, черствеющем за полдня.

Ее, «заветную», знал весь дом по звуку, и, бывало, играешь в горнице иль спишь на печи, даже сквозь всякий содом и непробудный сон, заслышав и отличив звон, приостановишься в игре иль перебивку в ровном сне сделаешь, как бы вынырнешь из-под него поплавком наверх: «Во, бабушка блины будет печь!» — да и проглотишь враз возникшую слюну. Играешь уж как-то с перебоями, а спишь в полсна и слышишь, вот оно внизу-то припекло, жаром повеяло — протопилась русская печь, нагорели крупные угли из сухих березовых дров, непременно березовых, непременно сухих — хороший от них, ровный жар и угару мало...

Бабушка нагребла горстку углей ближе к шестку, разровняла их, пробно пока, чтоб «струмент» накалился, но не лопнул при этом, трещиной не повредился, в дело без помех вошел, держит сковороду некоторое время на угольях и ждет, помешивая в бывшей у нас посудине, какую нынче не встретишь и как ее называют — все позабыли — горшок не горшок, что-то наподобие его, только без затей он, горшок-то, без пузатостей, с ровным, устойчивым дном и готовно широко открытым жерлом.

«Ну, Господи, баслови!» — тихо роняет бабушка и вынимает из печи сковородником черную, пока еще беззвучную, неодушевленную сковороду и так вот, держа ее на весу, мажет изнутри рябеньким крылышком, макая его в масло. Сунув крылышко обратно в посудину с маслом, чуть наклонив левой рукой сковороду, льет на нее жидкое тесто — и сразу громкое «ш-ш-шах!» слышится в кути. Бабушка — дирижер, фокусник, мастер — сковородником так и этак поворачивает сковороду, расстилая по ней тонкий блин до самых краев, но не выше, не ближе, не дальше их — «ш-ш-ш-ша-а», — умиротворенно откликается сковорода, дескать, все, полный порядок. На минуту-другую, как курица на гнезде, приникает сковорода чутким дном к угольям, «насиживает» блин. Бабушка стоит, опершись на сковородник, возле чела печи и смотрит, как он вспухает пузырями и пузырьками, блин-то, дышит парами, шевелится сам в себе, набирается жаркого угольного свету, становясь и сам с исподу жарким, золотистым, словно золотой рубль, по краям еще не оббитый и не отшлифованный.

Уловив какой-то, ей лишь ведомый момент, бабушка выхватывает сковороду и, мотнув сковородником, подбрасывает кругляшок блина будто фокусник монету — и он ложится на сковороду обратной стороной, и снова, совсем уж на короткое время, обратно блину в печь надо, на жарку

и подсушку с обратной стороны. Было это уж архитектурным излишеством, форсом бабушкиным, который она позволяла себе, когда была поудалей и моложе да когда едоков в доме поубавлялось. Прежде-то ей некогда было фокусы показывать и баб-соседок поражать этакой вот ловкостью и разудалостью. «Ой, тетка Катерина!» — ахнут соседки. «Да уж!.. — важничает бабушка. — Жито, девки, стряпано, пито и пето... Теперь уж чё? Рука ломата, поясница надсажена, а тут ведь, коло печи, вся ты, как талинка, изгинаться должна... А нонеча подбросишь блин, он мимо сковороды шлеп на пол. Самоскоком питаюсь, совсем уж скус блина со сковороды забыла, давай ножиком блин переворачивать, нужда заставит свежие блины исти...»

Но, внимание! Первый блин, он как первый лист в тетрадке — начнешь его без помарки, на поля не залезать, ошибок не натворишь — пятерка тебе за труд, за аккуратность и прилежание.

Слышно его, слышно! Утих он и тем слышнее сделался. Нюхом уже слышен, не ухом. Первый блин, если он не комом, — мой блин. Я самый малый в доме, и, хоть варнак, баловать и радовать больше некого. Чаше-то всего сам я и являлся на запах первого блина, выглядывал из-за косяка передней, и бабушка вроде бы и не видела меня. Чтоб не быть забытым, я высовывался дальше, но «под руку» не лез — не дай Бог, блин клином пойдет, тогда получится, что я помешал, сбою в работе способствовал, вредил, а не помогал.

Однако памятнее всего, когда заспишься или разнежишься на печи, полуспишь, полудремлешь и вдруг услышишь прикосновение бабушки: «Батюшко! На-ко первенький, самый сладенький», — и в руках, в ладонях у тебя уютно усядется мягкой птичкой блин, легкий, воздушный. Осторожно егохватишь губами с хвоста, с крылышек нежных, помня, что там, внутри блина, таится горячая, яростная плоть, которая, если пустишь комком в нутро, по тебе что пуля иль пушечное раскаленное ядро прокатится, означив все кишки и закоулки. Остановившись в отдалении, на самом низу блин будет жечь тебя так, что запляшешь и завоешь. И поделом — не жадничай, не хватай, ешь и живи по заведенному в доме степенному порядку.

Но как его, первый блин, ни растягивай, ни паси, все равно исчезнет он незаметно, и тут уж искушение чрева, кухонный зов, набат сковороды снимут тебя с постели, спустят с печи. Не умываясь, зажимая позывы на улицу, сунешься к кухонному столу, а там, на «малированной» тарелке уж три блина тебя ждут. «Ух ты!» — обрадуется, запрыгает, заурчит внутри щенком что-то и кто-то, потому что самому и обрадоваться нет времени.

Раз! Раз! Раз! Куда-то они девались, блины-то, ведь вот же ж только что были!

«Вот так рабо-о-отник! Вот так ударник труда! — воркует бабушка, сбрасывая со сковороды четвертый блин. — Да не хватай! Не хватай! Никуда оне от тебя не денутся!..» Но есть сила превыше человека, позднее я узнаю — называется она страстью. Совладать с нею далеко не всегда удавалось даже генералам и царям.

Как и когда наступает пресыщение, происходит заторможение действий, накатывает сытая, сонная усталость — уловить и понять невозможно. Теребишь блин, обхватываешь по краям губами узкое жаристое кружевце, ничего уж никуда не летит, не проваливается, жаркая масляная отпышка, как дым после выстрела, кидает из тебя обратно жор, а все расстаться с блином не хватает духу и сил. Ешь ты его уже одними глазами, ешь и осоловело клюешь носом, на двор поманивает, но совсем сморило, шевелиться не хочется.

«Де-э-эвки! Де-э-эвки! Де-эдушко! Вы поглядите, поглядите на него! Скосопузился, вот-вот со скамьи скатится, но все же за блин держится! Упо-орнай старатель!» — бабушка потная, разгоревшаяся, довольная тем, что отстоловала главного работника, опершись на сковородник, отдыхивается после первого запала. На шестке печи вверх дном отдыхивается сковорода. Перекалилась посудина, начинает жечь блин, напоминает о пределе своем звонким потрескиванием, хлесткими щелчками — ей, сковороде, тоже передых требуется, может она от напряжения лопнуть.

Днем на большой семейной сковороде платочком свернутые, веером выложенные, запеченные в масле, подаются на стол блины. Они тоже очень аппетитные и вкусные, но не могут сравниться с теми блинами, что с пылу, с жару, огнем пышущие, живые. Ребячье счастье, стряпухина радость — праздник в доме, в душе и в брюхе торжество.

Ныне заветные сковороды в домах извелись. Вместо них продаются стандартные серые, словно бы из свинца литые изделия, да и стряпухи обленились, радости сотворения хлебов, сушек, блинов не знают и знать не хотят.

Говорят, как и многие редкостные товары, чугуны и сковороды в Сибирь через Китай попадали. Фарфор, эмалированная, хрустальная, керамическая, стеклянная посуда — тоже через Китай. И чего еще попадало через Китай, никто теперь уж не знает. А интересно бы узнать, как в бабушкин сундук железная шкатулка попала и как сами китайцы в Красноярске очутились и пережили все смутные времена.

С появлением флота на Енисее начался «якорно-машинный промысел». Изношенные чугунные корпуса и детали переплавлялись на домашнюю утварь. Воровали даже якоря. Больших хитростей достигли злоумышленники в уводе корабельных принадлежностей: обрезали и топили якоря в реке, заметив ориентиры, лапы у якорей ночной порой отпиливали и обламывали, а то и вовсе подменяли.

Нанялись будто бы однажды на енисейскую баржу матросами два вятских мужика. Как и все вятские мужики, были они мастера на все руки и, как всякие мастера, были они сильные выпивохи. Однажды вятские матросы пропили с баржи чугунные якоря, носовые два, потом и кормовой на опохмелку ушел. Но большие ж они хитрованы, вятские-то, взяли да вместо чугунных деревянные якоря изладили, сажей их промазали и подвесили на место. Вот потащило баржу в шторм на камни, шкипер кричит: «Отда-а-ать, пр-р-равай!» Отдали. Не держит. «Отдаа-ать левой, носовой!» Отдали. Не держит. «Отдать кормовой! Страховашнай!» Отдали. Не держит. «Как это не держит? Отчего не дё-оржит?» — орет в железный рупор шкипер. «Отчего, отчего? — озлились вятские матросы. — Разуй глаза — якоря-те всплыли!..»

Говорят, долго лечился в больницах бедный шкипер и на воду, на ответственную работу по причине поврежденности ума больше вернуться не смог.

Может, и бабушкина «заветная» сковорода из тех якорей отлита была? Кто дознается?

Но уж блины пекла, по субботам, бывало, да и в будни...

Все, все! Дальше не буду! У самого вон полон рот слюны и в брюхе, да и выше брюха что-то заскулило, хоть в деревню собирайся, — там одна моя родственница еще стряпает деревенские, «живые» блины. Ка-ак пойдет на древней, тонкозвучной сковороде кудесничать! Музыка! Головокруженье! Все еще вороновым крылом отливает сковорода, ни единой щелки на ней, ни единой выкрошенки, а лет ей двести, не меньше. Гору блинов она сотворила, версты славных и светлых воспоминаний людям подарила.

Кому-то достанется та музыкальная сковорода, кого-то порадует блинами? Скорей всего учащих школы. Поможет выполнить им план по сбору железного утиля. «Век иной, иные песни!..», и заделья иные, и радости новые. Печали вот только старые-престарые и воспоминания все те же и все о том же.

Ночь темная-темная

Рыбачить я начал рано, на пятом году. По берегу Енисея всегда лепилось полно ребяташек с удочками, и я страдал подле них, завидовал им. Иной раз мне давали поддержать удочку либо поручали уцепить на прут выуженного ерша, пескаришку, поплевать на червяка, вздетого на крючок.

Пристал я к бабушке, чтобы она мне удочку соорудила. Она сначала и слышать ничего не хотела, но я так прилип к ней, так ей надоел, что она плюнула, привязала к палке кудельную нитку, вместо грузила — ржавый гвоздь, на конце лески узлом прихватила червяка.

— На! Отвяжись!

— А крючок где-е?

— Какой тебе крючок? У хорошего рыбака и так клюнет.

Бабушка вытолкала меня за ворота, наказала левонтьевским ребятам, чтоб досматривали за мной, и я подался за деревню, гордый и взволнованный. Сидел я на яру, спустив ноги, и пяткой упирался в стриженую норку. Стриж налетал на меня, просился домой и мешал мне рыбачить.

У ребят удочки длинные, лески длинней того, моя удочка даже до дна не доставала. Смеялись надо мной ребята. «Тяни! — кричали. — Дергай! Вон как клюет! Деребанит!»

Я терпел и ждал. И дождался. Леска моя задрожала, задрожала — и в сторону ее повело. Я сначала обомлел, подвижности лишился. Затем хватил удочку через голову, на яр. На конце лески мелькнуло что-то, в траве зашевелилось, запрыгало. Сгрел я палку, леску, гвоздь и рыбину — да дуй — не стой — по улице.

— Добыл! Добыл! — вопил я на всю деревню, а когда во двор ворвался, бабушка мчалась навстречу мне ни жива ни мертва. Я слова не мог сказать. Смотрел на бабушку, смеялся, приплясывал.

— Батюшки светы! Я уж думала: чего стряслось! Ну, чё добыл-то? — и протянула было руку, но тут же брезгливо скривилась: — Пищуженец! Выбрось его, выбрось!

— Как выбрось? Рыба же! Клевала же! Вон как она леску-то...

Я разжал ладонь. В руке — еще живая, головастая, скользкая, пучеглазая рыбешка, ну прямо черт и черт водяной. Но меня это не удручало.

— Пищуженца поймал! Пищуженца поймал! — прыгал я и

рассказывал всем подряд, как он клюнул, как я дернул...

Пищуженца, иначе говоря — пищугу, в литературе подкаменщиком называют, а вообще — пресноводный бычок это. На Урале его зовут абакшей, чаще — и совсем непечатно. Рыбу эту, сколь мне известно, нигде по доброй воле не едят — уж очень она отвратна на вид. Зато пищуженец ест что попало и когда попало. Вот и позарился он на моего червяка, заглотив его вместе с узлом. А самого пищуженца отыскал во дворе бабушкин красный петух и «заклевал»... Потом он бегал по двору с леской во рту, пытался орать и волочил мою удочку. Петух затащил удочку в жалицу, порвал ее там, и я опять остался ни с чем.

Бабушка потешалась надо мной, разозлила меня, пробудила рыбацкое упрямство и предприимчивость. Я три дня подряд распутывал старый животник у дедушкиного брата Ксенофонта, полол гряды в его запущенном огороде, и за это он сотворил мне удочку с настоящим крючком, со свинцовым грузилом и даже поплавком из пробки.

С этого началась моя рыбацкая жизнь и кончился бабушкин покой. Я норовил все дальше и дальше убредать от села, потому как думал — чем дальше, тем рыбы больше, и, когда однажды потихоньку утянулся на мельницу и зарыбачил под плотиной пару хариусов, вышло у нас с бабушкой столкновение. Она хотела поломать мою удочку, я не давал. Рев и вой были на весь двор. Удочку я спас. Бабушка ходила проклинать Ксенофонта. Он ухмылялся в бороду.

— Не ори, — сказал, — и не свирепствуй! Раз его заманила река, то уж обратно не доревешься.

Ксенофонт же научил меня рыбацкой ворожбе, колдовству, приговорам и наговорам всяким, ну, чтоб у соседа не клевало, молви про себя, когда он удочку закидывает: «Клещ на уду, вошь за губу!» Или на червей пошепчи, или удилице переступи — уже совсем верное отворотное средство.

Однако таскать пескарей, сорожин и ельчишек мне скоро прискучило. Захотелось на настоящую рыбалку — поналимничать. Налима на Енисее зовут поселенцем. Ничего оскорбительного в таком прозвище нет, скорее этакое усмешливое похлопывание по купецкому пузу поселенца. Уха из налима в нашем селе почитается пуще всякой другой, хотя чалдоны в рыбе толк знают и чего с чем есть — очень даже хорошо разбираются. Говорят, для налима в верховьях Енисея особый нагул. Уже в низовьях он не тот, суховат он там, тиной припахивает. В других же местностях России налим вовсе не в почете, им даже брезгуют и рассказывают об этом водяном буржуе всякую неприличность. Зимой наши рыбаки ловили налима заездками — мордами, опущенными под лед среди загороди, по весне — на

уды и животники.

Какое это было счастье, когда брали меня мужики с собою налимничать! Да брали-то неохотно. Холодны еще весенние ночи, вода высокая — смочет малого рыбака с берега, унесет, и отвечай потом за него перед бабушкой и дедушкой. Да и побаивались, кабы не сморился к утру рыбак, не захныкал бы от холода, домой бы не запросился в разгар утреннего клева.

Дядя Ваня, старший бабушкин сын, поступил работать на пикетный сплавной пост и стал брать меня и своего сына Кешу с собою на дежурство. Пикетный пост — рубленая из бревен будка с печкой и нарами, располагался на займище, верстах в полтора от села вверх по Енисею. На ночь дядя Ваня и Кеша ставили животники с берега, я помогал им, и за труды иной раз кидали они мне налимишка.

Дядя Ваня унюхал, что при мне налимы будто бы попадают лучше, и впал в суеверие. А после того, как брат дедушки Ксенофонт взял меня с собою на рыбалку и добыл удачно стерляди, я пошел нарасхват. Северные народы делают деревянного идола и ставят его в нос лодки. Я был живым идиолом и шибко гордился тем, что способствую каким-то образом рыбацкому фарту. Бабушка уверяла, будто происходит подобное оттого, что на мою сиротскую долю Бог обращает особое внимание и потому милостиво шлет рыбу в ловушки.

Никогда не забыть мне весенние ночи у пикетного поста!

Гудит Енисей, хлещет, цепляется вода за каменные бычки, ударяясь чуть выше пикета; сплавные бревна гулко бухают об угесы и боны. На берегу костерок, и весь живой мир вместился в него — дальше темень, ночь, грозный рев реки. С грохотом и лязгом катятся камни в воду. Из распадков вырываются рычащие, взбесившиеся весенние речки. Иногда хрустнет, сломается и ахнет с подмытого берега сосна или в горах закричит, запричитает ночная птица так, что спину мою коробит страхом. Но я жду, когда дядя Ваня и Кеша примутся смотреть животники. Бодрюсь и от всех нечистых сил спасаюсь огнем, подшевеливаю его.

На рассвете из будки выходил дядя Ваня, ежился, выгребал уголек из костра, прикуривал.

— Ты так и не ложишься? — он раскуривал сигарку, чмокал, зевал, почесывался — лежебока наш старший дядя, оттого и в пикетчики затесался, и сам вроде налима сделался. — Н-ну посмотрим, поглядим, чего ты тут наколдовал.

Тянут животники. Мне к воде подходить не велено. Раз моя мать утонула, теперь всем родным блазнится, что я тоже утону, — мать призовет.

Плеск, возня, хлопанье рыбы — и к моим ногам падает брюхатый налим.

— Лови поселенца!

Налим изгибается колесом, пружинит, катится к воде. Я падаю на него, хватаю. Локти и колени поразобью о камни, а тут еще летит налим, еще...

— Лови-и-и-и!

— Ловлю-у-у-у! Ага, попался, живоглот пузатый! Счастья-то сколько! Радости! Аж сердце занимается и вот-вот разорвется от полноты чувств.

Когда я подрост, мне уж не хотелось быть на подхвате, возмечталось самому наворочать налимов, если не лодку, то хотя бы две корзины, и удивить всех наших, особенно бабушку, которая шибко недовольна была пробудившейся во мне страстью и считала, что ревматизм я добыл именно в те ранние свои рыбацкие годы. Кроме того, бабушка склонна была думать, что из того, кто стреляет и удит, ничего не будет, иначе говоря, не получится хозяина, и останусь я, как Ксенофонт, нестриженный и нечесаный, вечным бобылем и пролетарьем.

Словом, раз я такой везучий, то нечего пользоваться этим благом другим людям, думал я, надо самому за ум браться.

И я взялся.

Саньку дяди Левонтия не стоило большого труда увлечь. Он вольный казак. Потруднее пришлось с Алешкой — он боялся бабушки. Но и Алешка, после того как я ему втолковал насчет острова, где налимов, что грязи, — тоже сдался. Ему отставать от меня не хотелось. Со мною Алешке интересней, чем с бабушкой.

Потихоньку, еще когда на Енисее были забереги, я утянул у бабушки клубок кудельных ниток, и мы под видом ремонта скворечников забрались в сарай и сучили толстые тетивы для животников. Крючками запаслись еще с зимы — выменяли в кооперативе на крысиные шкурки, добывали зверьков капканами, оснимывали, выделывали шкуры своими руками.

Утром забереги курились дымком, и несмело плавилась в них рыбешка. Долго, очень долго не трогался в ту весну Енисей, рыбешка стосковалась по вольной воде. Мы пуляли камни в забереги и ждали, ждали.

Вот и плишки прилетели — расклевывать берега, и расклевали. Енисей постоял еще, постоял, лед покис, покис, захрустел сначала сонно, лениво, словно река потягивалась, но все же размялась, расшевелила себя, погнала стрежью полосу, взломала хребет, и сразу он бело обозначился вздыбленным, стиснутым льдом, и дохнула там паром спертая вода, и закружилась, и поперла по трещинам и разрывам к берегам, и сразу тесно сделалось реке, и начала она переть во все стороны, и уже выпихнула одну,

другую льдину на берег, там и торос громоздить начала на каменный бычок, и сломалась зимняя дорога, поплыли темные вешки, и желтые кренделя дороги крутило, крутило по стрежи, отламывая от них куски, с треском сжевывая клыками льда, и сверху, с дальних мест, хлынула еще более крутая и напористая вода, и чистый лед с чьими-то огороженными прорубями, тропинками, забытыми мостками, кучами назьма, со щепой — складывали на льду сруб и бревно с воткнутым в него топором — катали на берег сруб впопыхах и не успели выхватить бревно с топором, нет, успели, тащили, почти достигли забереги, но лед разгонялся, разгонялся, и пришлось попуститься добром, бросаться плотнику к лодке, а то и вплавь на берег.

Шуршит вода, хрустит лед, табунится на середке и под быками, спирает реку, выше, выше вода — на глазах ширится река, распирает ее мощь, всю зиму дремавшая подо льдом, вот уж в лога и расщелины завернуло и поволокло потоками мусор, где-то хрустнула городьба, словно спичек горстку сломали, где-то затрещало сильнее, скрипнули скобы или гвозди — ломает чей-то заплот, — оказалось, своротило баню Ефима-хохла. Ее сворачивало и ломало каждый год, но Ефим упрямо ставил баню на прежнее место.

Словом, поломало, искрошило, как всегда, прибрежные огороды, понатолкало льду на гряды, и он потом лежал на огородах белыми заплатами, рассыпался со звоном, и мы хрумкали тонкие сосульки. По берегам остались и парили высокие студеные гряды льда, дряхлеющего под солнцем. Теперь надо ждать, чтобы поднялась вода и унесла рыхлый лед, тогда лодки спустят на реку, и налим начнет брать, как шальной.

Вода, как ей полагается, поднялась, собрала и подчистила лед по берегам, затопила луговину ниже поскотины. Заревел и помчал мутную воду охмелевший от короткого водополя Енисей-батюшко. Лодки спустили и привязали их к баням и огородным столбам.

Наступила пора действовать. Забравши удочки, мы с Алешкой сделали вид, будто отправились удить к поскотине, и бабушка отпустила нас, не подозревая тайного умысла. Спросила, правда:

— Это куда же вы такую прорву червей накопили? Всю рыбу заудить удумали?

— Всю! — ответил я и многозначительно подмигнул Алешке, который вникал в разговор с тревожным лицом, опасался, как бы бабушка не разгадала наш заговор.

Лодку мы отвязали худую, чтобы не так скоро ее хватились, да и ответственности поменьше.

Остров против деревни, но вода высокая, стремительная, нужно было подниматься почти до дяди Ваниного пикета, чтобы прибиться к острову, а не угодить под Караульный бык, где так крутило и ревело, что оборони Бог оказаться там.

Долго скреблись мы на веслах, пока поднялись выше деревни. До пикета плыть не решались, там, чего доброго, дядя Ваня изловит нас и застопорит. Приткнувшись к берегу, вычерпали воду. Алешка все поглядывал на уютный бережок, по которому, качая хвостиками, бегали и играли серенькие плишки. Бережок с соснячком, с травкой, с выводками подснежников, медуницы и хохлаток, судя по всему, глянулся Алешке больше, чем остров, утюжком темнеющий за бурной, горбом выгнувшейся рекой. Алешке уже не хотелось на остров.

Санька решительно взял весло:

— Ну, осподи баслови, как говорит бабушка Катерина! — И оттолкнул лодку от берега.

Мы с Алешкой сели на лопашни. Работали враз, проворно, чтобы угодить в пролет между сплавных бон.

Вот в таком же пролете не удержалась лодка, споткнулась о головку боны, опрокинулась и... у меня не стало матери.

Скорей, скорей в пролет, за ним в реке не так будет страшно, надеялись мы. Стукают уключины лопашней, хлопает Санькино кормовое весло. Головка боны близко, рядом. Храпит на ней вода. Одавило головку, захлестывает. Хоть бы ничего не случилось. Не лопнуло бы весло, не вывалилась бы уключина, не подвернуло бы лодку льдинами или бревнами. «Господи помилуй! Господи помилуй!» — повторял я про себя и молотил веслом, памятуя заповедь: «Богу молись, а к берегу гребись».

Прежде бабушка силком не могла меня заставить молиться, но тут приперло — сам, без понуждения молился.

— Не мажь! Не мажь по воде! — закричал Санька. Он яростно бил своим веслом, чтобы удержать лодку носом наверх. — Уснули, что ли-и-и?..

Мы, где силенки взялись, налегли на весла, «черпая» всей лопаткой, лицо заливало потом — утереться некогда, одышкой раздирало грудь — передохнуть недосуг.

— Пор-р-рядок на корабле! — возликовал Санька, когда бона осталась сзади, нас подхватило и вынесло на речной простор. Кружилась, вскипала под лодкой густая от мути вода, гнала редкие льдины, швыряла их на боны. Лодку качало, подбрасывало, норовило развернуть и хрястнуть обо что-нибудь.

Первый раз пересекали мы Енисей в ту пору, когда переплыть его и взрослый-то не всякий решался.

Остров с реки казался совсем близким. Затопленные кусты по берегам его качались, били по воде, и напоминал остров птицу хлопунца: бежит, бежит вверх по воде лохматая птица и никак не может подняться на крыло.

Силенок наших не хватило. Выдохлись мы и за остров не поймались. От ухвостья острова так отбойно шла вода, что развернуло нашу лодку и поволокло к Караульному быку. Санька судорожно пытался развернуть лодку носом встреч течению, остепенить ее, направить куда нужно, но лодка мчалась, задравши нос, будто норовистая лошадь, и слушаться вовсе не хотела. Много натекло в лодку воды, отяжелела она.

— Алешка, таба-ань! — заорал Санька.

Но Алешка не слышал его, он молотил и молотил веслом по воде. Рот его был открыт, лицо побелело. Я перехватил Алешкино весло и мотнул головой на старое ведро, плававшее среди лодки. Алешка бросился отчерпывать воду, лодка шатнулась, черпнула бортом.

— Тиш-ша! — Алешка ровно бы услышал Саньку, оцепенел, но тут же спохватился, начал выхлестывать воду ведром.

Внизу мощно ревел Караульный бык. Разъяренная вода кипела под ним, катила в унырыш — пещеру, закручивалась воронками. В воронках веретеньями кружились бревна и исчезали куда-то. Серые льдины, желтую пену, щепье, корье, вырванные с корнем сосенки гоняло под быком. Сверху отваливались камни и бултыхались в воду. Лодка закачалась как-то безвольно и обреченно. Бык приближался, словно он был живой, и мчался на нас, чтобы подмять лодку, расхряпать ее о каменную грудь и выбросить в реку щепье, а нас заглотив в каменную пасть унырыша.

— Чего раз-зявил? Р-реби! — завизжал Санька, и я уже не силой, а страхом поднимал и бросал весла. Алешка все выхлестывал и выхлестывал воду. Лодка сделалась легче, поворотливей, и мы выбили ее из стрежня, выгреблись в затишек, сделанный ухвостьем острова. Лодку подхватило и понесло обратным течением к острову.

Я сложил весла и обернулся. Еще сажен сто-двести, и нам бы несдобровать, нас унесло бы, прижало к быку, и половили бы мы рыбки, поналимничали.

— Пор-рядок на корабле! — Санька в изнеможении опустил весло. Руки его дрожали. Он посмотрел на них, пошевелил пальцами и веселей прибавил: — Закуривай, курачи!

Санька и в самом деле закурил. Махру закурил, украденную у отца, и выпустил большой клуб дыма ртом и ноздрями. Мы с уважением глядели

на него.

Ухвостье острова было затоплено. Тальники и черемухи стояли в воде. Мы протолкнули лодку в кусты, спугнули с них крысу и чуть было не поймали щуренка, прикемарившего на мели, в траве. Покос, что был за кустами, залило по краям, и он казался бережком.

— Вот и все! А ты, дура, боялась! — подмигнул нам Санька, ступив на землю, и вальнулса вверх ногами. Мы на него. Возню подняли. Шум. Смех. Свобода!

— Хватит! — прервал веселую возню Санька. — Солнце на закат скоро. Самый клев. Алешка, ты костер спроворь, обсушиться надо к ночи. — И он передал Алешке спички. — Ты багаж перетаскай, — приказал он мне, — и разбрось на остожье. Я животники разматывать возьмуся.

В лодке Санька завопил;

— Кто червей опрокинул?

Черви плавали по всей лодке, позалезли в щели досок и под поперечины. Долго мы выбирали червей, ругались, кляли Алешку, но он ничего не слышал, мучился с костром, пытался из наносного сырья развести огонь. Червей уцелела горсть, остальных Алешка выхлестал за борт с водою. Санька дал мимоходом подзатыльника Алешке, и тот полез в драку, но ему показали банку с мокрыми червями, и он отступился.

Костер исходил удушливым белым дымом, огня не было. Санька раздувал его и ругался:

— Помощники! Толку от вас!..

В кустах я нашел скрученную бересту, и огонь мы все же развели. Хлеб и соль в мешке размокли. Телогрейка Санькина и наши с Алешкой тужурчонки — хоть отжимай.

— Луком питаться будем! — буркнул Санька и набросился на Алешку. — Чё стоишь? Червей-то сплавил! Так ищи давай теперича! — Алешка смотрел на Саньку внимательно, но понять, отчего тот ругается, не мог. Я показал Алешке: копать, мол, надо червяков, искать их на острове, и он послушно отправился куда велели. Санька уже примирительно пробурчал: — Стоит, чешется, а наживлять чё? Сопли? На их налим не клюет!..

Долго мы с Санькой распутывали животники, так долго, что завечерело совсем, когда мы управились с этим делом.

Алешка принес горсть белых рахитных червяков, на которых и нам-то смотреть не хотелось, не то что налиму — рыбе, любящей червяка ядрёного, наземного, и чем толще да змеистей, тем лучше.

Ставили животники в потемках. Казалось нам, чем больше груз на конце, тем дальше мы забросим животник. Санька раскачал груз, как било, и запустил вверх кустов. Я ждал, когда бухнется камень за кустами. Но вместо этого дурноматом заблажил Алешка. Он тихонько подошел к Саньке и стоял сзади, чтобы посмотреть и поучиться ставить животники. Крючок вошел выше Алешкиного колена. Кровища валила ручьем. Когда вынимали крючок при свете костра, Алешка сначала орал, но Санька ткнул ему кулак в нос, и он замолк, только кусал губы и вспотел.

— Надрезать кожу придется, — решил Санька и стал калить над огнем кончик складного ножа. Где-то он слышал, что перед операцией инструмент обезвреживают, уничтожают микробов на нем. Голова Санька! Все знает!

Алешка не мигая, с ужасом смотрел на Санькины приготовления, но не протестовал, потому что сам виноват кругом. Я сел верхом на братана, придавил его, Санька полоснул ножом по Алешкиной ноге. Алешка брыкнулся, двинул меня коленом в спину, взвыл коротко и дико.

— Порядок на корабле! — деловито произнес Санька. Крючок с кусочком Алешкиного мяса был у него в руке. — На мясо, говорят, поселенец — стервоза, пуще всего берет. Попробуем!

Я вымыл Алешкину ногу, перевязал ее тряпицей из-под соли, и хотя он все еще дрожал, но уже не хныкал, смиренно сидел возле костра. Смотреть, как ставят животники, он больше никогда не подходил.

С берега мы ни один животник так и не забросили — кусты мешали. Запутали только животники, порезали их, собрали кое-как один, крючков на двадцать, и закинули его с лодки, в улове за ухвостьем.

— Ништя-ак! И тут клюнет. Налима здесь пропасть, у острова-то, отец говорил, — заверил Санька.

Мокрые, обессиленные, явились мы к костру, возле которого неподвижно сидел Алешка и неотрывно глядел на другую сторону реки, на огни села.

— Ничего, Алеха! — хлопнул его по плечу Санька. — Заживет до свадьбы. Я вон один раз на ржавый гвоздь наступил, всю пятку промзил. Засохло.

Алешка не понимал, чего говорит Санька. Он глянул на меня глазами, полными слез, и сказал жалким голосом единственное слово, которое умел говорить:

— Ба-ба...

Я аж вздрогнул. Что сейчас дома делается? Потеряли нас с Алешкой. Ищут по всей деревне. Думают — утонули. Бабушка небось плачет и

кричит на всю улицу, зажав голову. Да-а, спроситься, пожалуй, надо было. Но тогда шиш отпустили бы налимничать. А мне так хотелось наворочать корзину или две поселенцев.

Я поглядел на другую сторону реки. В деревне светились огни. Между деревней и нами мчалась, шумела уверенно и злобно река. Дальним, высоким светом подравнивало вершины гор, размывая их, отблески высокого, невидного еще из-за гор и лесов месяца падали на середину реки. Застрявшая в кустах, шипела вода, набатным колоколом били бревна в грудь Караульного быка. Живой мир бушевал, ярился вокруг. Он отделен был от нас, недружелюбен к нам. Остров подрагивал. С подмытых яров его осыпалась и шлепалась глина. Непрочно все было вокруг.

Чем напряженней я вслушивался и всматривался, тем явственней ощущал, что остров уже стронулся с места, и до меня доносились голоса: бабушкин плач, мамин предсмертный крик, еще чьи-то, вроде бы звериные ревы, может, и водяного? Я поежился и ближе придвинулся к огню. Но страх не проходил. Остров вот-вот...

— Ба-а-аба! — заорал я на Алешку. — Тебе бы все баба! Изнежился, зараза! Попой еще, так я тебе!..

— Не тронь ты его, — остепенил меня Санька, — он ранетый — осознавать надо. Крючки-то вон какие? Налимьи! Вопьется, дак! Давай-ка поедим, а?

Поели мокрого хлеба с печеными картошками и луком. Без соли. Соль размокла. Алешка тоскливо вздохнул. Не наелся, живая душа, чаёт калача, и бабы рядом нет — калачика-то дать. Хлебало есть, а хлебова тью-тью! Набил зобок, чисти носок, Алеха!

Санька закурил, свалился на телогрейку, глядел в небо.

Там, в глубокой темноте, будто искры в саже, вспыхивали и угасали мелкие звезды. И была там беспредельная, как сон, тишина. А вокруг нас, совсем близко, бесновалась река, остров все подрагивал, подрагивал, будто от озноба или страха.

— Лаф-фа! — подбодрил себя и нас Санька и стал шевелить в костре, напевать негромко про малютку обезьяну.

А я думал про бабушку и про налимов. Про налимов больше. Меня так и подмывало скорее посмотреть животник. Я уверен был, что если не на каждом крючке, то через крючок непременно сидит по налиму.

— Санька, Са-ань! Давай животник посмотреть, — начал искушать я друга.

— Ну, посмотреть. Не успели поставить. — В голосе Саньки особой настойчивости не было, сопротивление его слабело, и я скоро его

сломил. — Набулькам токо, рыбу распугам... — Но я чувствовал, понимал — Саньке тоже не терпится посмотреть животник.

Мы оттолкнули лодку. Санька взял в руки тетиву животника, начал перебираться по ней.

— Не дергат? — пересохшим голосом спросил я. Санька ответил не сразу, прислушался:

— Да вроде бы нет. Хотя постой! Вот! Дернуло! Де-о-орнуло! — голос задрезжал, сорвался, и Санька начал быстро перебираться по тетиве, я захопал, забурлил веслом.

— Тиха! Крючки всадишь.

Но я не в силах совладать с собой.

— Здорово дергат?

— Из рук рвет! Таймень, должно, попался. Налим так не может...

— Тайме-ё-нь!

Батюшки светы! Ну, не зря говорят на селе, что я фартовый, что колдун! Только вот закинули животник, и готово дело — таймень попался!

— Большой, Санька?

— Кто?

— Да таймень-то?

— Не знаю. Перестал дергать.

— Ты выше тетиву-то задирай! Выше! Отпустишь тайменя к едрене фене! Давай лучше я! Я — везучий!

— Сиди, не дрыгайся! Везучий... Мотырнет дак...

— Дергат?

— Ага, рвет! — опять задрезжал голосом Санька. — Из лодки прямо вытаскиват!..

— О-ой, Санечка!.. — Больше я ничего сказать не мог и закричал в темноту во всю глотку: — Алешка! Алешка! Таймень попался! Здорову-ущий!.. — Как будто Алешка мог меня слышать.

— На последнем крючке, видать, у самого груза. Справимся ли?..

— Ос... осторожней, Са... Санька! — начал я заикаться, чего со мной сроду не бывало.

— Во! Блиско! Иди сюда!

Я бросил весла и ринулся к Саньке, схватился за тетиву. Веревку дергало, тукало по ней так, будто она к моему сердцу прикреплена. Не помня себя, начал отталкивать Саньку, тащить, и он кричал теперь уже мне:

— Тиха, миленький!.. Осторожней! Осторожней!

Рыба вывалилась наверх, грохнула хвостом. Таймень! И в самом деле таймень! Ну не везучий ли я! Не колдун ли?

— Ой! — вскрикнул Санька.

— Чё?

— Уду в руку всади! Во, зверина! Пуда на полтора, не меньше! Хрен с ней, с удой! Вырежем! Я хоть че стерплю! — Санька визжал, взрыдывал, а я боролся с рыбиной и никак не мог подвести ее к лодке.

— Это он в затишек со струи забрался. Пищуженец попался, он его и цапнул! — объяснил мне Санька рыдающим голосом, но я не слушал его. Мне сейчас не до Саньки было!

— Гребь к берегу! Здесь не управиться! — прохрипел я. Санька рванулся к веслам, запутался в животнике, забыл, что он ведь тоже на крюк попался, и тут в мои бродни вцепился крючок. Я тоже попался в животник.

— Уйде-от! — завопил я, когда почувствовал, что рыбина пошла под лодку. — Уйде-о-от!..

Санька упал на борт, сшиб меня, лодка черпанула бортом, медленно завалилась на бок, и меня обожгло холодной водой. Я забултыхался. Рядом бился Санька. Его запутало животником.

— А-а-а! — взревел Санька и пошел ко дну. Я успел схватить его за рубаху.

— Санечка, не тони! Санечка!.. — Я хлебнул воды. Скребнуло в носу, в горле, но я не выпускал Саньку. Меня дергала за бродень рыбина, тянула вглубь, на струю. Рука моя стукнулась обо что-то твердое. Льдина! Я вцепился пальцами в ее источенную, ребристую твердь.

— Са... Льдина!..

— Ба-а-ба! — разнесся вопль на берегу. Алешка или углядел, или почувствовал, что с нами стряслась оеда.

— Палку, Алеш!..

И Алешка понял меня, но хорошо, что не услышал моих слов, не побежал за палкой — не успел бы. Он ухнул в воду, наклонил черемуху. Я отпустился от льдины и схватился за куст одной рукой, затем подтянул к себе Саньку.

Мы перебирались по гибкому кусту руками. Корень у него оказался крепким, выдюжил. Алешка подхватил и выволок Саньку на берег, я вылез сам. Без бродня. Рыбина сняла с меня обуток. Дедушкин бродень. И ушла с ним. Никто уже не дергал животник. Я весь был им опутан и услышал бы рыбину. Санька оторвал крючок вместе с коленцем и выпутался из животника.

Санька клацал зубами. Алешка все звал бабу. Я упал на берег, стукнул кулаком по мокрой земле.

— От... отпустили!.. Такого тайменя отпустили-и-и!

— Ба-ба! Ба-ба! — кричал Алешка, глядя на редкие теперь уже огни в селе.

Я вскочил с земли и дал Алешке по уху. Он не ожидал этого, кувыркнулся на траву и сразу смолк.

— Обормот большеголовый! — орал я на Алешку. — Такой тайменище ушел! А он — баба! Ты чё сидишь? — взъелся я на Саньку. — Завяжи руку, и станем животник распутывать... Расселись тут... Рыбаки! Другой раз свяжусь я с вами!

Первый раз в жизни возвысился я над Санькой, командовал им, и он — куда что делось? — подчинялся мне, как миленький, и даже несмело попытался утешить, когда помогал распутывать животник.

— Может, это и не таймень вовсе. Может, налим... большой...

— Я не отличу вилку от бутылки! Оporок от сапога не отличу? Сам ты налим!

Распутывали животник. Руки порезало льдом, сводило пальцы стужей и мокром. Я дул на руки, пытаюсь согреть пальцы.

— Ты бы отжал лопоть, погрелся, — снова заговорил Санька, и снова робким, простеньким голосом. — Ноги у тебя рематизненные... Захвораешь.

— Не сдохну, не беспокойся! Ночь-то скоро пройдет! А рыба где? Плават по дну, хрен достанешь хоть одну!..

Санька потом не раз мне говорил, будто в ту темную-темную ночь он понял: характером я весь в бабушку свою Катерину Петровну, а не в деда, как утверждает она.

Но тогда он ничего не говорил. Помалкивал и дело делал. Алешка, получив оплеуху, дрова таскал, несмотря на боль и рану. Огонь поднял до небес. Живо навел я тут порядок. Разбаловались, понимаешь! Все бы им игруньки, бабы да мамы!..

Животник мало-мало наладили, наживили снова, я забрел в воду, привязал его к кусту и закинул недалеко. Санька ждал меня на берегу, к огню не уходил.

— Чего тут дрожишь? — прикрикнул я на него и пошел к стану. Санька тащился за мной, придумывал и не мог придумать, чего бы сказать дружеское, умягчающее отношения в беглой артели, оставшейся без транспорта, почти без харчей и обуви, — вор слезлив, плут болтлив.

Разделись, отжали рубахи, штаны. Нагишом прыгали у костра, пока сушилась одежда. Я помаячил Алешке, чтобы принес из старого остожья сена. Прелое было сено, одонье. Кто же доброе оставит? Доброе зимой вывезли. И все же не на голой земле плясать.

Сделалось совсем холодно. Мокрую траву на покосе подернуло изморозью, будто серебряные хвосты волшебных, сказочных птиц, да нам-то не до сказок! Не до красот! Напялили сырую одежку. Алешка почернел от боли, от знобкой стужи. Я оторвал от подола рубахи лоскут, перевязал еще раз ему ногу. Рана была мокрая, сочилась кровью. Санька грел у костра завязанную с крючком руку, то и дело принимался на нее дуть, но не выл. И Алешка не выл, бабу тоже больше не звал — артель сдавала, надо было что-то придумывать, так нам не выдюжить до утра.

— А ну, убирай костер! — скомандовал я, когда мочи уж никакой не стало от холода, зуб на зуб не попадал. Мигом перенесли костер на другое место, замели смородинным веником угли в сторону, на прогретую землю набросали веток, сена и тесно улеглись.

— Тепло?

— Маленько снизу пригреват, — отозвался Санька.

— Ксенофонт-рыбак всегда так делает, когда на берегу ночует.

— Надо было с ним попроситься. Может, бы взял?

— Ага, возьмет! И возьмет, дак поселенца дохлого уделит.

— Мы и такого не добыли.

— Постони!.. Тайменища вон какого прокрякали! Фартит таким недоумкам! В роте рыбина была!..

Санька засыпал. Уже на отходе ко сну вяло и безразлично выдохнул:

— Попадет нам и за лодку, и за все...

— Тайменя бы выволокли, тогда хоть сколько попадай...

Ребята заснули. А я ворочался и никак не мог забыться — недавно со двора, а уже тоска изняла! Явственно видел я, до боли ощущал каждой жилочкой краснохвостого тайменя — на полтора пуда! В серебряных пятнах по скатам толстой спины, с пепельно-серыми боками, с белым нежным брюхом. Огромного, открывающего огненные жабры, хлестко бьющего хвостом по доскам лодки. И еще толпу деревенского люда видел на берегу. Мужики, женщины, ребятишки смотрели, как я иду, согнувшись под тяжестью рыбины, хвост ее волочится и бьет по камням. Я бы уж обязательно его живого домой притартал — неживую если рыбу домой припловишь, ловиться впредь не будет — Ксенофонт говорил, И вот я иду, пружу домой тайменя, а про меня говорят, а про меня говорят... И только хорошее: что везучий я, что колдун и что такому удачливому человеку ничего не страшно будет в дальнейшей жизни...

Нет тайменя. Нет лодки. Ничего нет. Темная-темная ночь кругом. Ворчит река, плещется, буйствует, пьяная от половодья. И где-то в ней ходит таймень с оторванным крючком и с броднем. Ну что ему стоило?

Ведь все равно, если запутается животником за корягу или за камень — сдохнет. Так уж лучше бы...

А может, он зацепился крючком за куст! Ворочается там, бьется, а я лежу здесь колодой...

Быстро насунул я Санькины драные сапоги, поспешил к воде. Что-то шевелилось в кустах, поталкивало их. Льдины. Из подмытых яров острова все отваливалась, отваливалась земля, выпугивая из норок береговушек, и они молча, слепо выметывались в ночь, мчались от яра и пропадали во тьме, поодиночке, всегда птичьей толпой живущие, стайные, веселые птички, куда они одни-то? Будут летать, пока не упадут в воду либо ударятся в скалу. Никогда об этом не думал, не гадал, а вот увидел, и жалко сделалось пташек, спасу нет.

Заблудшие льдины привидениями кружились в темной воде, сталкивались, хрустели, шуршали, старчески рассыпались, даже шептались, охали едва слышно и куда-то исчезали. Но тут же белесое пятно возникало во тьме, надвигалось, резало, подминало кусты, утыкалось в глину, чавкало, жевало и, словно обожравшись, разламывалось или, огрузнув, тонуло в гуще воды и ночи. Нет тайменя! Ушел! Скрылся! Вон какая она, река-то. Иди куда хочешь. Везде дом.

На всякий случай я все же обошел хвостье острова — не тайменя, так лодку, может, притащило. Вода шла на убыль. Мокрые кусты поднимались по заплескам, распрямлялись, стряхивали с себя ил. В кустах плюхалось что-то живое — может, крысы, может, комья глины, может, и сами водяные? Из-под ног моих снялся куличиха-перевозчик, как ни в чем не бывало запиликал звонким голосом. Тут же ответно запел другой и пошел этому навстречу. И соединили кулики песню, и умчались за протоку, бегают по берегу, заигрывают.

Беззаботные, вольные птички. Куда захотят, туда и подадутся. А тут вот лодку унесло. Таймень ушел. И хоть вой, хоть молись — никто не услышит. Тут вроде бы и до Бога-то дальше — не докричатся, тут, как на чужбине — кости и те по родному берегу плачут.

Нет счастья на земле. И вовсе я невезучий. Никакой я не колдун. Если б колдун был, разве бы не приколдовал тайменя?

У моих ног взревела вода, и я очнулся. Не заметил, как оказался у приверхи острова. Кусты здесь измочалило, зачесало водою на обмысок, торчмя наставило под берегом бревна, вывороченные коряги, набило хлама и льда меж них. Все это шевелилось под напором воды, хрустело, ломалось. Приверху острова сдавливало, словно головку бонны, и казалось, вот-вот сорвет остров с якорей, закружит, изломает на куски, развеет по

реке этот земной каравай, рыбам его скормит и нас забьет, как мышат, захлещет.

Повернувшись, быстро побежал я от приверхи. Шум и гул воды отдалился. Я сел на подмытый яр, под которым в белых полосах пены ходила беспокойная вода, и стал глядеть на село. Возле дяди Ваниного пикета попрыгивал и метался костерок. Знал бы, ведал дядя Ваня, как таймень обошелся с нами и что кукуем мы без лодки, от мира и от людей отрезанные...

В селе огней нет. Спит село. Если и горит в нашем доме лампа, отсюда не увидеть, дом наш во втором посаде, и почти на задах. Бабушка молится сейчас, плачет, и дед горюет, молча. Мужики сети готовят, багры, неводы и кошки — ловить нас. Утром весть об утопленниках облетит село и взбудоражит его. Явится к нам Митроха, председатель сельсовета, о котором бабушка говорит, что если б ему песий хвост, так он бы сам себя до крови исхлестал, и крупный опять будет у Митрохи с бабушкой разговор — давно они уж только «по-крупному» говорят. Пока бабушка забивает Митроху, хоть он и шишка, но тот только и ждет случая, чтоб бабушку узвivity или выслать на север, как «злостный для общества элемент».

Что мы наделали! Как я додумался башкой своей до всего этого? Заест Митроха бабушку. Он и без того на нее зуб имеет. Митроха сватался в молодости к тетке Марии, но отчего-то дед и бабушка не согласились отдать за него дочь. Отдали бы, чего им стоило? Не самим ведь замуж-то. И не все ли равно, Зырянов — скупердяй и злыдень, да еще с грыжей, или горлопан Митроха? Однажды я заблудился на увале. Ходил по грибы и заблудился. Митроха нарезал там делянки дроворубам и услышал мой крик. Он взял меня за руку и привел домой. Конечно, я бы поорал, поорал и сам бы нашел дорогу домой. Не раз такое случалось. И вот надо же было Митрохе оказаться в лесу.

Митроха сказал бабушке властно и строго:

— Безнадзорный парнишка. А безнадзорные дети должны жить в детском доме, догляженные и обихоженные.

— А он не догляжон? Он не обихожен? Да у него имущества, может, больше, чем у других ребят, хоть они с матерями-отцами! Я вон ему сумку из своо фартука сшила. В школу еще осенесь, а я уж сшила, с ручками и с кармашком для чернильницы, как городскому...

— Мне не переговорить и не перекричать тебя, несуразная старуха! — не дослушав бабушку, замахал руками Митроха. — Но вот что запомни: если парнишка будет болтаться где попало, я меры приму!

С этими словами Митроха надел фуражку и вышел, бабушка так и

осталась посреди кути, расшибленная словами: «Меры приму!»

Во дворе Митроха нарвался на дедушку, который, видать, весь разговор слышал. Дед воткнул топор в чурбак и, как всегда, тихо, по увесисто сказал Митрохе:

— Вот что, Митрофан Фадеич! Ты мою старуху не пужай. Ребенок был при нас, при нас и останется. — Помедлил и добавил: — Не ровен час, сосед наш, Левонтий, услышит, да пьяный ежели... Кто тебя отбирать будет?

Митроха знал — дяде Левонтию хоть Бог, хоть царь, хоть какая власть — нипочем, если он напьется. К тому же дядя Левонтий меня любит так же, как и я его, и он село в щепки разнесет, в случае чего, из Митрохи душу вытрясет. И все же боюсь я Митрохи. И бабушку мне жалко. А ну как «примут меры» из-за нас с Алешкой?

— Бабушка! Ба-абонька-а! — задрожал я губами, но тут же вспомнил про Алешку и не позволил себе расклеиться. Мне было холодно, одиноко и жалко самого себя.

Вода засеребрилась от просвета, занявшегося в межгорье. В безостановочном, стремительном беге река. Но мне все казалось — не вода это, а остров, и я вместе с ним, все мы мчимся вдаль, среди ночи, среди реки, не имеющей берегов, остров теряет кусты, сыплет комья земли, будто подбитая птица перья. И не убывает вода вокруг острова, а прибывает, прибывает. Скоро она подберется к покосу, смоет костерок, нас унесет к Караульному быку, закружит, торкнет о камень...

Я тряхнул головой. Огонек на той стороне, у дяди Ваниного пикета, почти погас. Ночь, поздняя уже, глухая и студеная ночь.

Снова пришел на ум Митроха.

Рыбачил я как-то выше деревни, у этого самого пикета и засиделся допоздна.

Теплое тогда лето было, погожее. На реке межень, и Енисей не ревел, не свирепствовал, как сейчас, катился легко, светлый, облегченный, молодой. На закате солнца стал веселее брать елец на таракана и на кобылку, но как солнце закатилось — бросила клевать рыба, и я сидел на бревне просто так, глядел на реку, на привычные горы и не заметил, как наступила темень.

На реке показался огонек. Он словно бы блуждал по ней, кружился. Вот миновал Манский бык, угодил в проран между бонами, сделался ярче, краснее, стал надвигаться на займище.

— Какая деревня-а-а? — спросили из темноты. Я сложил руки трубочкой и охотно откликнулся, потому что было мне радостно сообщить

незнакомым людям о родном селе, о себе, о том, что есть мы на свете. Огонек поплыл на мой голос, и скоро я услышал:

— Приветствую вас, милое дитя!

Дитем, да еще милым, меня никто и никогда не называл. И я от удивления не знал, что сказать человеку на плоту, точнее, на салике из четырех бревен. Костерок шевелился на каменных плитах, выложенных очагом. Человек стоял с приподнятой шляпой, свет играл в его глазах и морщинах. Он улыбался мне, как ближнему родственнику.

— Здравствуйте! — сказал я и принял веревку. Человек сошел на берег, мы училили за камень салик. Пока училивали, незнакомец успел меня расспросить обо всем: и о селе, и обо мне, и о дедушке с бабушкой. Словно бы ехал этот человек на праздник, так был он оживлен, говорлив, приветлив. И мне тоже передалось его настроение, хотелось разговаривать, разговаривать. Я помог незнакомцу перенести костерок и мешочек с плота.

— И сейчас мы будем варить кулеш. Вы знаете, милое дитя, что такое кулеш?

Я почти с восторгом признался, что не знаю.

— Жизнь состоит из сплошных открытий. И вы сейчас узнаете, милое дитя, что такое кулеш. — При этом незнакомец снял шляпу и обнажил редковолосую голову.

Я бегал по берегу, собирал дрова, подкладывал их в костер. Человек хвалил меня за усердие и все улыбался беззубым, широким ртом и говорил мне, как в песне: «Милое дитя».

Кулеш сварился и оказался жиденькой пшенной кашей, приправленной береговым луком. Я нащипал луку на бычках. Незнакомец попробовал варево, зажмурился и тряхнул головой:

— Божественно!

Дал мне попробовать, и я сказал:

— Да-а-а!

Ложка была одна. Незнакомец складным ножиком быстро обстругал щепку, соорудил из нее черпачок, ложку отдал мне. Я начал отказываться, но незнакомец погладил меня по плечу:

— Хозяину этого мира, — он обвел гибкой рукой вокруг, — почет, уважение и ложка. А я, милое дитя, могу употреблять еду какую угодно, где угодно и чем угодно. Научен уважать пищу! — Он важно и смешно приподнял палец, после чего отхлебнул из черпака пищу, пригодную для беззубых, и продолжал: — Великий Горький сказал: «Человек выше сытости!» Но годы прозябания перевернули в моих глазах многие слова, и понял я, что словами, даже великими, не пропитаешься, понял я, что без

слов прожить можно, без пищи — нельзя, и что доброму человеку сухарь во здравие, а злomu — и мясо не впрок. Годы учат мудрости, милое дитя!

Он и еще много говорил мне непонятных слов, доверительно, как равному, близкому товарищу, и понял я: дяденьке этому долго пришлось жить без близких людей и молчать.

Мы дохлебали кулеш. Незнакомец вымыл котелок, ложку и убрал их в мешок, после чего свернул сигарку из казенной махорки, прикурил от уголька и блаженно вытянулся на камнях, чувствовалось, да и видно было по всему, да он этого и не скрывал, как вольно ему, как хорошо жить и наслаждаться жизнью.

У костра незаметно, будто тать, возник Митроха. Молча, сурово оглядел он дяденьку, меня, салик и потребовал документы. Незнакомец ответил: «Охотно!», засуетился, складничком подпорол подкладку шляпы, достал из-под нее бумажку.

Митроха нагнулся к огню, зашевелил толстыми губами. Читал он долго, затем выпрямился и заявил:

— Так я и знал!

— Что вы знали, молодой человек? — Незнакомец уже оправился от наскока Митрохи, не суетился больше, но и не улыбался. Лицо его сделалось мятым, усталым, досада была во всем его облике.

— Что ты за птица?

— Справка по всей форме. Я освобожден досрочно и, значит, заслужил право, чтобы ко мне обращались на «вы», так же, как я обращаюсь к вам.

Митроха смешался, переступил со здоровой ноги на хромую, прокашлялся громко и с новым напором продолжал:

— Кем был до изолирования?

— Капельмейстером.

— А-а, сразу видно придурка. У нас в партизанском отряде каптенармус был, тоже вертлявый, говорун, тожа под антелигента работал.

— Капельмейстер и каптенармус, смею вам заметить, слова несколько не идентичные.

— Чево-о-о?

— Не идентичные слова, говорю.

— Я б тебя раньше за такие слова!..

— О-о, в этом я не сомневаюсь. Верните мне справку.

— Куда путь держишь, брехло? — Митроха меж двух пальцев, брезгливо протянул старику бумажку.

— Видите ли, молодой человек, — все так же мягко, но не без презрительности в голосе заметил старик, убирая справку в шляпу, — я

досконально изучил вопросы, на которые обязан отвечать и на которые не обязан. Ваш последний вопрос я отношу к числу необязательных. — Старик нахлобучил шляпу и в упор глянул на Митроху. — В ответ на все ваши вопросы я позволю себе задать один-единственный вопрос: скажите, кто вас научил и кто вам поручил подозревать людей и допрашивать их?

— Никто. Я сам.

— Благодарю за откровенность. А сейчас, может быть, вы будете так любезны, что оставите нас? С мальчиком куда приятней беседовать.

— Этот мальчик! Этот мальчик дошляется! Я его спроважу в детский дом!

Старик вскочил, сжал кулачишки и, надвинувшись на Митроху запавшей грудью, прокричал срывающимся от гнева голосом:

— Детей-то, хоть детей-то оставьте в покое! — Старик тут же расслабился, плечи его опустились: — Уйдите! Прошу вас! Умоляю!

Митроха, дразнясь, прошамкал:

— Умоля-аю! Прошу-у! У-у, оглодыши! Поначитались, понаучились всяким словам! — и пошел, злобно загребая камешник хромой ногой. — Чтоб к утру духу не было! — уже с яра, из темноты гаркнул он. — А ты, гадючье семя, чтоб сейчас же домой!

Я сидел у костра раздавленный, убитый. Мне еще никогда не было так стыдно и больно за себя, за село родное, за эту реку и землю, суровую, но приветную землю. Я не мог поднять глаза на старенького дяденьку, который не разговаривал, не тараторил больше, а, согбенный, недвижимый, глядел в огонь. Потом, так ни слова больше не сказав, он перенес головешки на салик, мешок перенес, отвязал веревку и уплыл в темноту...

И долго колебался на реке одинокий огонек. Мне хотелось побежать за ним, догнать салик, попросить у незнакомца прощения, сказать, что село у нас хорошее, что к приезжим у нас люди приветливы. Вон хоть дядю Левонтия, хоть Мишку Коршукова спросить... Но огонек отдалялся, отдалялся, становился все меньше, меньше, пока совсем не затонул в безвестной темной дали.

Я не могу забыть ту ночь и старенького человека в шляпе, помню и огонек, приплывший ко мне по реке. Теплом и болью отражается его свет в моей душе. Что-то тревожное пришло в мою жизнь той ночью, и сам огонек с тех пор обрел в моем понятии какой-то особый смысл, он не был уже просто пламенем из дров, он сделался живою человеческой душою, трепещущей на мирском ветру...

— Я-а-а! А-а-а!.. — Я вздрогнул, услышав голос, почувствовал, как все во мне дрожит до последней кровинки, как стучат зубы — ох, не миновать

мне веснухи после такой простудной ночи.

По другому берегу Енисея метался огонек, и вроде бы на самом деле кто-то кричал. Вот от большого огня отделился язычок пламени и стал мотаться из стороны в сторону — нам махали — догадался я и заорал:

— Санька! Алешка! Скоро приплывут! Наш костер увидели!.. О-эй! — Я замахал руками, запрыгал, как будто меня могли увидеть.

— Э-э-эй! — закричал Санька, воспрянувший ото сна. Алешка тоже проснулся и повел свое:

— Бу-у-у-у!

Но приплыть к нам скоро не смогли. С рассветом наплыли туманы, затопили горы, реку, остров, и остался наш только костерок на свете да мы вокруг него, забытые, покорные, тихонькие.

— Надо животник посмотреть.

— А, пошел он! — плюнул я. Не хотелось мне уходить от огня в белую сырую наволочь, не хотелось брести в воду. Воспоминания о старом путнике и Митрохе разбередили меня. Домой мне хотелось, к бабушке. Спать мне хотелось, и не было ни малейшего желания даже шевельнуться.

— Ладно, я посмотрю, — храбро сказал Санька, но не поднялся, однако, от костра.

— Валяй! — сонно кивнул я.

Санька поежился, со свистом втянул синими губами воздух и, держась за бок, послушно побрел в туман.

— Во! Один попался! — Но меня даже это сообщение не обрадовало. Все было мне ни о чем, ничего я не боялся, ничему не радовался.

А Санька, видать, застудил больной бок, надо бы его вернуть, но сил не было даже на окрик, да и скрылся Санька с глаз.

Сошел туман с реки. Проглянуло мутное солнце в небе. От села отплыла лодка. Санька с Алешкой побежали на берег, замахали руками, я не поднялся от огня, сидел на сыром крошеве сена и смотрел, как затухают головни, обрастая дрожливым серым куржаком, как затягивает угли сырой шипучей дремой, и вспоминал тот огонек, того дяденьку. Уплыть бы с ним куда глаза глядят и нигде не останавливаться, плыть и плыть, до самого края земли, за ним исчезнуть, навсегда и от всех...

— Эт-то што вы удумали, разъявило бы вас, а? Эт-то кто жа вас надоумил, а? — еще с реки, из лодки закричала бабушка. Алешка заблажил, спрыгнул с яра, побрел встреч лодке, несмотря на рану. Бабушка подхватила его, отвесила мимоходом затрещину. Не переставая ругаться, она вымахнула на берег, схватила хворостину, погнала Саньку в лодку. — А вот тебе! А вот тебе! Не сманивай! Не сманивай!

Я подошел к лодке. На корме сидел Ксенофонт, в лопашнях Кеша, осудительно, с превосходством всегда правого человека смотревший на нас.

— Не трогай Саньку! Ему крючок в руку всадили. Это я сманил! Бей! — И с ненавистью посмотрел на ухмыльнувшегося Кешу.

— Т-ты-ы-ы? — Пока бабушка собиралась с духом, Санька вьюном скользнул в лодку и притаился. — Так я тебе и поверила! Так я тебе и поверила!..

Бабушка порола меня до тех пор, пока не сломался прут. Отбросив переломившуюся прошлогоднюю талину, от которой и больно-то несколько не было, она запричитала, выкашливая перехваченным сердцем:

— Да што за наказанье такое? Да за какие грехи на меня навязались кровопивцы?..

— В лодку идти, чё ли?

Кеша уже не улыбался, Ксенофонт подмигивал мне, маячил, прыгай, дескать, скорее в лодку да ко мне поближе — на корме не достанут...

Но я, набычась, стоял на берегу.

— Иди лучше в лодку! Запору! До смерти ведь запору! — затопала ногами бабушка. — Х-хосподи! Вот дедушко-то родимый! Забей его... Забей... — Она сцапала меня за ухо и повлекла к лодке.

Не медля ни минуты, Ксенофонт оттолкнулся, лодку качнуло, бабушка осела, схватилась за борта. Развернулись, поплыли. Бабушка черпнула рукой за бортом, приложила сырую ладонь к губам.

— Налим где, Санька?

— Ой, забыл! Вот гадство, забыл!

— Поворачивайте назад! — потребовал я.

— Я те поверну! Я те поверну! Так поверну, что своих не узнаешь!

— Поворачивайте лучше, а то всех перетоплю! — процедил сквозь зубы я со всем злом, какое скопилось во мне за эту проклятую ночь, и шатнул лодку.

— Сенофонт! — взмолилась бабушка. — Поворачивай, батюшко, поворачивай, родимый! Он ведь обернет лодку-то!.. Де-эдушко, дедушко вылитый... Сатана сатаной, как рассердится...

Ксенофонт ухмыльнулся и развернул лодку. Он ведь дедушкин брат, значит, мне сродни.

В одном бродне, в грязной и драной рубахе, в мокрых штанах, пошлепал я по берегу, по глине.

— Красавец какой! — сказала бабушка. — Тебе ишшо за обуток будет! Новые почти бродни уходил...

Налима я нашел в воде. Санька забил его и продел в жабру таловую

ветку с сучком. На ветке я и приволок налима.

— Налимище-то! — принялся измываться надо мною Кеша, но я смазал ему рыбиной по морде, и он заутирался рукавом: — Чё размахался-то? За ним еще приплыли, как за нобрым!..

— Как поселенца делить будете — повдоль или поперек? — Бабушка тоже насмехается, отошла, отдышалась.

— Разделим...

Переплыли реку в тягостном молчании. Вышли из лодки. Я потребовал у Саньки ножик, разрезал налима на три части. Голову мне, поскольку я оказался в конце концов главным ответчиком за все. Середину — Саньке, раз он вытащил налима, хвост Алешке — он только ныл, бабу звал, и никакого от него толку в промысле не было.

Бабушка сварила уху из двух кусочков налима и, не знаю уж, нарочно или с расстройства, пересолила ее. Но я все равно выхлебал уху и остатки выпил из чашки через край. Алешка несмело звал бабушку хлебать с нами — в нашем доме не принято было есть что-то по отдельности, да бабушка сердито замахала на нас обеими руками:

— Понеси вас лешаки с налимом вашим!

Вечером прибыл дедушка. Он пилил в лесу швырок — мужики наши сбивались в артели и заготовливали на продажу дрова веснами, пока было пустое время до пахоты и сева. Обо всех наших злодеяниях было ему доложено с подробностями и даже с прибавлениями.

— Чего же ты сводишь людей-то с ума? — укоризненно сказал дед. — Шутки тебе с водой?

Я молчал. Дедушкины укорные слова тяжелей бабушкиной порки. Но скоро деду, как всегда, жалко меня стало, и, дождавшись, чтоб бабушка скрылась с глаз, он участливо спросил:

— Лодку-то как отпустили?

— Таймень опрокинул.

— Так уж и таймень?

— Не сойти мне с этого места!..

— Ладно, ладно. Лодку вашу Левонтий поймал.

— А чё тогда бабушка талдычит: платить за лодку, платить за лодку!..

— Пужат. Ты знай помалкивай.

Дед потолковал еще со мной о том о сем, подымил табаком, затем протяжно вздохнул и повел меня в хибарку бобыля Ксенофонта.

— Вот тебе соловей-разбойник. Опекунствуй на рыбалке. До смерти он теперь пропащий человек. Пушшай хоть с тобой на реке болтается.

Дед и Ксенофонт закурили, как бы порешив дело, и сидели,

покашливая, изредка обмениваясь вялыми и неинтересными словами: «Пилы ныне дерьмо, зуб то крошится, то вязнет...» — «Н-на. разживетесь вы на этом швырке...» — «Разживемся. А тут ишло соку березового опилился, пообслабели. Едва ноги волочили...» — «Дак ить не маленьки! Посивели в лесу-то...» — «Посиветь-то посивели, да не поумнели...»

Старая, полутемная избушка наполнялась махорочным дымом, мухи в нем вязли. Я примостился возле кособокого, некрашеного окна, ловил на нем мух и запихивал их в спичечный коробок — про запас — летом на ельца и хариуса наживка. Ловил я мух, слушал, не заговорят ли о чем еще братья, но они уже выговорились и помалкивали, смотрел на Енисей, поблескивающий за домами, за заплотами и огородами, и не верил своей участи. Уж с Ксенофонтом-то мы половим рыбки! Уж потаскаем налимчиков! Может, и тайменя того сыщем? Ну, не того, так другого. Мухи все вязли в дыме, угорело тыкались в углах, лепились на стекло — отдышаться.

Вот жизнь какая извилистая! И несчастья, и счастье — все в ней об руку, все рядом ходит.

Легенда о стеклянной кринке

Об этой злосчастной кринке я уже поминал в одной из глав мимоходом, но давнее происшествие так глубоко внедрилось в память людей, такими подробностями и такими приключениями обросло, что требует особого к себе подхода и основательного отображения. Совсем недавно о знаменитой бабушкиной кринке со смехом вспомнила ослепшая тетка моя, Августа Ильинична, с годами все чаще и чаще вспоминая свою и нашу прошлую жизнь, да все со вздохом удивления от грузной, но не гнущей памяти, из которой помаленьку, полегоньку улетучилось все, что омрачало прошедшие дни и годы, и озарилась она легким грустным светом прошедшей, но никак не кончающейся радости, собранной пусть и из малых, редких осколочков тебе только дарованной, единственной жизни.

Кринка была одним из первых чудес прогресса — стеклянная! Прозрачная. Фигуристая, что молодая купчиха. Ближе всего по форме напоминала она ламповое стекло-пузырь, только поприсадистей, попузатей была кринка со льдистым доньшком-луночкой, с ободком возле жерла. Это тебе не громоздкая, тяжелая посуда, слепленная и отоженная из обыкновенной глины.

Бабы со всего, почитай, нижнего конца села, собравшиеся в нашей избе, смотрели кринку на свет — «Все-все как есть видать. Сметана сядет, простокиша, как на картинке срисована!» — хвасталась бабушка. Бабы брнчали по стенке ногтем, поражаясь тому, что она звенит, но не разваливается, не разбивается, спрашивали бабушку, где она взяла такую чуду и нет ли там еще таких криночек?

«Место надо знать», — посмеивалась и томила людей бабушка, но, как всегда, под конец раздобрившись, объясняла, что купила кринку по случаю, с рук, однако есть слух, будто криночек таких вскорости будет много, всем достанется, и вообще, на базаре сказывали, что все на свете скоро будет делаться из стекла — дома, машины, даже «еропланы» — летишь, и все видать. Скабрзник Терентий донес странную весть: «Опшественные нужники, и те будут стеклянными». Бабы ужасались, говорили — не зря по радио сказывали про светлое будущее. И какая-нибудь горемычная баба из описанных или попавших с семьей под «твердое» обложение, едко заключала:

— Имя чё? Раз уж начали над народишком изгаляться, дак уж не останоятся.

И мы с Алешкой поначалу радовались вместе с бабушкой этакому невиданному диву. Глупые, жизни не знающие, от прогресса не уставшие, мы и предположить не могли, сколько испытаний, невзгод выпадет на нашу долю с появлением неведомой посуды в нашем доме.

Прежде как было? Поставит бабушка кринки с молоком в кладовке и ждет, когда сметана настоится, чтоб потом слой сметаны ложкой снять в отдельную посудину, накопив ее изрядно, сбить из сметаны масло, из простокваши напарить в печи творогу.

Все это хорошо и прекрасно — поставить, накопить, снять, сбить, на рынке продать, обновку купить. Ну а мы-то, деревенские дети, сызмальства привыкшие к поиску, к охоте, зачем? Первый это ребячий соблазн в деревенском доме — слизать с кринок сметану — так и пошло от этого промысла позорное звание — криночные блудни. Стоят кринки в ряд на полке, темные, запотевшие, деревянными кружками да блюдцами прикрытые, и вроде как дразнятся: «Ну, тронь! Ну, попробуй! Ах, вкусно!» — Алешка пальцем мне грозит и по заду себя хлопает, показывая, какое возмездие ждет нас от бабушки. Ну и пусть — раз пальцем в кринку и облизываю его, да еще и жмурюсь от удовольствия. Алешка слюнки глотает и маячит мне, что палец грязный. Если уж черпать, так ловчее ложкой — и чище, и скорее.

В две руки, двумя ложками быстренько мы работаем — обрабатываем кринки. И тут же пугливо в себе замираем, начинаем раскаиваться в содеянном. Пройдет день-другой, наступит время снимать сметану с кринок. Что будет? Что будет? Изнемогший от внутренних борений, Алешка кается и зовет меня на правеж. Ему уже попало, он плачет и с облегчением чешет задницу. Я подношу ему под нос кулак: «Хлюзда! Доносчик!» — и чешу со двора. «Разбойник! Криночная блудня! Плачет по тебе, плачет красноярская тюрьма!» — несется мне вослед.

Пришел конец криночным блудням, наступил переворот, начался новый «этап» жизни, как утверждает активистка Татьяна. Бабушка нарочно на виду ставит стеклянную кринку с молоком, бахвалится: «Ходят мои сладкожки кругом, обливаются, но не смеют под крышку сунуться, потому как в кринке все будто в зеркале видать, и оне, субчики, тут же попадутся...»

Эту-то кринку, чтоб легче таскать, чтоб перед людьми выставиться, стала мне бабушка давать в лес, по ягоды, когда я уже вышел из мелкопосудного возраста. Прежде кружку либо чашечку с ручкой давали, и я вроде бы баловался на ягодах, больше их в рот клал, чем в посудину.

Наступили иные времена. Бабушка перехлестнула горло кринки

тряпочкой ниже ободка, к перехлесту тряпицу привязала вроде ручки, да еще и завила ее, как девичью косу, чтоб меньше мне ладонь резало. Потей теперь, ломай спину на увале, пока не наполнишь кринку земляникой. В древней-то, темной кринке или туеске ничего не видать, закроешь ягодами дно и пошло-поехало, ягодка по ягодке, горсточка по горсточке, глядишь, «незаметно» и полпосудины набрал, главное, пузатую середину ее прошел. Жерло-то криночное узкое и на исходе сил, преодолевая судороги в ногах, ломоту в пояснице, доберешь. А эта клятая фасонистая кринка так и манит взглянуть, сколько прибыло? Ни хрена не прибыло! Отчаяние берет. Скоблишь, скоблишь ягодку по ягодке, да и упадешь в траву — лупите, за волосья или за ухо таскайте, но кринку эту бездонную мне никак не набрать полную. Пойду купаться, пусть потом бабушка корит и лупит: «Экой удалец! Экой вертопрах! Бобровские девки, митряшинские ребяташки на тех же ягодах были и с горой посуду несуг. А мой-то, мой-то едва припер на доньшке ягод. Чисто левонтьевские пролетарьи, накупался, наотдыхался. То и жрать у меня будешь, то и носить. Оне голой задницей по деревне сверкают, чужие огороды чистят, и ты голожопиком с имя пропитанье смекай...»

Ягод на доньшке я не приносил, всегда чуть серединки посудыны выше, штаны у меня худо-бедно зашиты, по огородам я лазаю не больше всех остальных парней, работу, какую получаю, исполняю, но жизни нету. И все из-за этой кринки. Другая посуда бьется, трескается, этой кринке хоть бы что!

— Давай мне другую посудину! — кричу я бабушке. — Чё ты мне всякое говно суешь?

— Это?.. Это? Я те дам посудину! Я те покажу говно. Прут из метлы — вот тебе самая подходящая посудина! — и через малое время, несколько поостыв, поясняет, что кринка ею вымеряна, нисколько она не больше всех остальных посудин, просто я непутевый человек, изварлыженное дедом, ленивое дитя, и если я, увалень и лоботряс, и завтра явлюсь с пустой посудинной — она знает, какие меры ко мне принимать, какое воздействие для перевоспитания придумать.

Это случилось на чернике. На ближней. За первым увалом есть второй увал и далее Черная гора. Так вот, на исходе второго увала, по склону горы прежде росла черника, самая детям доступная, близкая таежная ягода. За «большой» ягодой ездили в горы на лошадях со вьюками, чаще поднимались на лодках вверх по Мане и привозили ее столько, что хватало семье на зиму, да и прилавки красноярского базара ягодным потоком залить хватало.

Вот к Черной-то горе, на первую чернику и подались мы небольшой ребячьей артелькой, кто с чем, большей частью с туесами, а я со своей знаменитой кринкой. Бабушка как чувствовала, как знала, что вот-вот наступит крах жизни, и, провожая меня до заднего прясла по огороду, все наказывала: «Мотри, не зазевайся, не заблудись, далеко седня идете (сейчас на этом месте дачи, и не только черничник, но и лес здесь выпластали беспощадные новожители), да кринку-то, кринку, мотри, не потеряй, не разбей!»

Не каркать бы старой, не озевывать меня, так, может, ничего бы и не страшлось, а то разошлась, понимаешь...

Черничник на Черной горе был высокий, с раскидистой шапкой. Ягода в нем редкая, но крупно налитая. Попадешь, бывало, на чистый кругляшок ягодника, мелким камешником окруженный, и притихнешь хитро, думая, что тебя не слышно, не видно, авось и не набегут, не обхватывают тобой найденную полянку сотоварищи твои, на дармовщинку падкие. Каждый деревенский житель этой «хитрости» был подвержен, за что потом его жадюгой, мироедом и еще как-то именовали и обличали да срамили люди, которым все нипочем. Хлеб у них на деревьях булками растет, ягоды им брать ни к чему, готовые, уже сваренные с сахаром па квартиру доставляют, к еде они привыкли магазинской, казенной, к продукту, порой гнилому, в пищу негодному, а то и вовсе вредному для внутренностей. Деревенскому люду некуда было деваться, все сами добывали, всему добытому сами радовались и своим горбом, руками сотворенное, добытое, было самое дорогое и сладкое.

И первая черника в то лето одарила нас радостью. Спелой черники было еще немного, пяток-десяток синеватых еще ягодок на кусте, остальные белоглазы либо с сизым отливом, но попадались кусты уже не просто в черном крапе ягод, но с седоватым налетом были ягоды. Кустики черники, отяжелев под ними, чубато клонились вбок.

Здесь, под Черной горой, зимами валили лес на дрова и еще не разбалованные, не извольничавшиеся, не разболтанные мужики вершинник и сучья складывали кучей. Давненько уже преют иные кучи, почернели, мохом поросли, мелким грибом и сырой плесенью их истратило, в труху отходы превратились, мурашки их да жучки источили, снега, ручейки и дожди в почву вмыли. Прель, теплота, мякоть. Ну как тут, в тенистой духовитости, ягоднику не расти, грибу не водиться. Растет ягодник и радуется себе, вольности своей таежной, уединенной, братству травяному, тихому и редкостному. У всех цветочков, у всякой травочки название есгь: вон по еланчику крупные цветы на согнутой ножке, меж двух

остроугольных сморщенных листьев, яркие рты их, молочно по губам подернутые, раскрылись под язычком-колпаком, подбородок как у молодого петуха. По-городскому они зовутся орхидеей, венериным башмачком, по-деревенски просто — бараньи медушки. Здесь тебе и грушанка пестро цветущая — из двух, тоже круглых листочков, наподобие цвета каштана вознесшись. Колокольцы, кукушкины слезки, майничек, таежная ветреница. Все тут цветы долговязы, зеленью бедны, к свету тянутся, зато уж в лекарство сплошь пригодные — рви да суши. Черничнику здесь самое место, самая благодать. «Ах вы, ягодки мои милые, ах вы, пташечки мои сизокрылые!» — как молитву, творю я радостную песню в честь своей удачи и тороплюсь, тороплюсь, марая пальцы, губы бросовой или недоспелой ягодой.

Нет, совсем это не жадность, совсем не азарт, даже, наконец, не опасение, что другие дети обсморгают кусты, оберут тебя, оторвут подметки на ходу. Нет, лесная находка воспринимается даже не как открытие, она как особое к тебе доверие этой Черной горы, этой тайги, в которой, конечно же, есть душа и еще что-то, что слышит, зрит и понимает тебя. И вот, за доверие, за старательность, за умение найти, открыть маленькую лесную тайну возникает между нами тоже тайна, мне, стало быть, только мне и назначенная, потому награда, она только мне и выпала. Никому не выпала, а мне вот выпала. Боязно мне и чуть жутковато, но я знаю, ничего со мной не стряется, потому что тайна моя во мне, я никому не передоверю своего секрета. Я нащупываю пальцами, быстро тереблю и ощипываю кусты, сыплю в кринку, подвязанную к пояску, крепенькие ягоды. Брюшками пальцев прирожденного ягодника я угадываю ягодку с изъяном, кособокою, сплюснутую, недозрелую и в рот ее. Коли радостно глазу, сердцу, голове, пусть и брюхо порадует. «Ах вы, ягодки мои расхорошенькие! Ах вы, ягодки мои, черные горошинки!»

Вдруг что-то остановило меня: складный шепот, руки мои замерли. Глаза еще ничего не увидели, но сердце почуяло опасность и тук-тук-тук в грудь колотится. Все кругом было спокойно и безмолвно, однако я почувствовал чье-то присутствие, чей-то взгляд и, с детства лесом вскормленный, дерево за деревом, камень за камнем, куст за кустом обегал, обшаривал тревожным взглядом.

Внезапная пронзила догадка — оно не там, не в отдалении, оно передо мной, возле моих ног. «Змея?!» — ужаснулся я, заранее умирая. Медленно перевел напряженный взгляд к ногам. Из прелой кучи сучков, уже искрошившейся понизу, из переплетений черных палочек, как из-за тюремной решетки, на меня глядел не моргая круглый глаз, в середине

которого, будто капля росы в углублении черничины, недвижной искрой горел свет. Совсем близко. В живой глаз вонзенная острием искра эта вот-вот должна была проколоть живую плоть глаза и взорваться в ней.

Полный ужаса глаз был вправлен в покатую, крупную голову черной птицы с тряпично выцветшей багровой бровью.

Тело птицы вжалось, вросло в землю под кучей хорошо ее скрывающего хвороста. Какое-то время мы смотрели друг на друга, не отрываясь, оцепенело, парализованно. Первый шаг назад я сделал совсем неосознанно. Коротенький, как бы пробный шаг-другой — отдалился бы я от пугающего места, с криком рванул бы ко вдали перекликающимся на ягодниках связчикам. Но мой шаг, мое шевеление вспугнули птицу. Она словно взорвалась черным дымом, шумно подняла над собой древесную лось, разворошила прелую кучу и рванулась бежать, волоча перебитую, почти уже отболевшую половину крыла.

От парнишки, с детства привыкшего гонять бурундуков в лесу, выливать сусликов из норы, губить крыс, кедровок и прочую птаху из рогатки, сызмальства мечтающего о таежном зверованье, собственной добыче, как от молодой собачонки, бестолковой, но уже с пробужденным охотничьим норовом, убежать не надо.

Дальше все помнится отдаленно, отрывочно. Я бегал за птицей сперва у подножия горы, метясь упасть на нее брюхом, выгнал ее на вершину, к известковому обвалу, над которым в редком соснячке, на белизне первого мха, кудрявился мелколистный брусничник. Поняв, что на чистине я быстро его настигну или заставлю упасть с обрыва в камни и убиться, глухарь, я разглядел, что это глухарь, линияющий, серый от пуха и подпушка, выступившего на месте выпавших перьев, с обнажившимися коленьями костей в изгибе крыльев, сделал круг по горе. Со спины глухарь ровно бы ржавчиной подернутый, под гнилушки, в которых таился, окрашенный, с крупной, на картошку похожей головой. Оттого, что с шеи птицы сошло перо и пеньки новых перьев разбродно торчали порознь на крапчатой голой коже, а в крыльях перья едва означились кисточками будущих синеватых перьев, никакого лету птице не было, и она не махала, она дергалась суставами костей, инвалидно волоча перебитое, беспомощное крыло.

С чистого места, с беломошника, с брусники глухарь крутанул назад. Вниз ему было уходить способней. Глухарь прыгал, подлетал, может, на целую сажень, помогая себе крыльями, одно из которых хотя и было повреждено, все равно пыталось шевелиться, да больше мешало оно телу птицы в полете, то и дело сламываясь.

Где, когда схватил я палку, леший ли таежный мне ее в руку сунул?

Сколько гонял я раненую птицу по увалу, то теряя ее из вида, то вновь вспугивая, — почти не помню. Настиг я глухаря и захлестнул его палкой уже за первым увалом, на спуске к огородам, в каменноузком ложке, куда глухарь заскочил, надеясь спрятаться в теснине камней, в кустарнике, которые он хорошо, видать, знал. Но, может, он решил заскочить в чей-нибудь огород и скрыться в межевом бурьяне, где тоже, наверное, бывал и жировал не одиножды. Однако я заступил тропку, не пускал глухаря вниз, и он пробовал взлететь на скалистые отвесы, царапаясь когтями о камни, сбивая листья, выбивая из себя последние старые перья. Но каждый подлет и прыжок отнимали у птицы остатние силы. Вот он обреченно осел, вжался меж двух черных камней, втянул голову в крупные кости плечей.

Как я его молотил палкой! Гонялся за птицей молча, слепо, задышался, терял силы и где-то снова находил их. И чем меньше во мне было сил, тем больше разгорался азарт и даже злость. Птицу я сперва бил тоже молча, но потом завизжал от накатившей вдруг жути, попадал сучком больше по камням, чем по кучке скомканного, уже бесформенного пера.

В руке остался кончик сучка, бить сделалось нечем. Я остановился, отдыхивался, глядя на мертвую птицу, робея до нее дотронуться. «Вот знать будешь, как убежать, вот... — беззвучно шевелил я губами, — разбежался!..»

Но тут я почувствовал землю под ногами, слышал звуки деревни, голоса внизу, и сразу ударило в голову: это ж я догнал птицу! Добыл птицу! Глухаря! Его и мужики-то, с ружьем-то не всяк может! А я добыл! Скорее, скорее домой! Скорей, скорей к бабушке, к дедушке, к Алешке — показать, рассказать!..

Я схватил еще теплое, но уже вялое тело птицы, прижал ко груди и помчался вниз, к загороди, заплетаясь в крыльях, в лапах ли глухаря. Не разнимая рук, я кубарем перевалился через городьбу нашего огорода и, увидев бабушку, полющую гряды, завопил: «Баба! Баба!»

Она распрямилась, подрубила глаза ладонью и что-то говорила, шевеля губами, скорее всего обычное, привычное: «Тошно мне! Опять чё-то стряслось... Змеи испужался?..»

А я мчался, не разбирая пути, выбиваясь из борозд, по картошке, по грядам, по жалице, и не успела бабушка остепенить меня, куда, мол, лешаки-то тебя тащат, пологорода вытоптал, как я ударился в нее, чуть не сшиб и уронил к ее ногам скомканную, изорванную птицу.

— Вот! — только и мог я выдохнуть. И тут же услышал:

— А кринка где?

«Что? Какая кринка?» — медленно доходило до меня, но руки уже

ощупывали поясок, хлопали по штанам до самых коленок и обратно. Кринки нигде не было. Даже вязочки от нее не обнаружилось, хотя поясок, обрывок холщовой опояски на месте, на животе.

— Кринка где, спрашиваю?

Я снова прошелся руками по животу до самого низа, до коленок, осмотрел себя: изорванная на животе и на локтях рубаша была вся в зелени, в слизи, в крови, в грязи, с локтей сбита, задранная лоскутьями, кровенела кожа, на коленях, сквозь грязные штаны багрово налились пятна.

— Вот, — залепетал я. — Глухарь попался. Бегат, бегат... Я тоже бегаю, бегаю...

— Тошно мнеченьки! — схватилась за голову бабушка. — Да ведь он уходил кринку-то, мошенник! — только теперь до ее сознания со всей отчетливостью начал доходить весь смысл содеявшейся трагедии. Потрясение и отчаяние совсем бы ее расшибли, но, на что-то еще надеясь, не веря в окончательное крушение, она тормозила меня. — Может, ты ее не разбил? Потерял?

— Не знаю, — приговоренно вымолвил я.

— Да как это не знаш? Как это не знаш? Ты где-ка был-то, вспомни...

— Што?

— Ходил-то куда? По ягоды-то? — будто глухонемому Алешке кричала бабушка, показывая на мою спину, на горы, продолжала меня тормозить. — На увале? На первом? На втором? На Черной горе?

— На Черной.

— Эко тебя лешаки-то угашшыли? Чё брали-то? Земляницу? Глубяницу? Черницу?

— Че-эрницу, — голос мой начинал дрожать и ломаться.

— На чернице не найти! — хлопнула себя по юбке бабушка. — Не-эт, не найти, робяты. Трава там, черничник, что веник. Чащобник, сучья. Да Господи, Господи, ну ни дня, ни часу не проживешь без переживаний...

Это уж бабушка дала мне по затылку, это уж она меня волокла за руку обратно в горы и в леса. Волочимый ею, я не оказывал никакого сопротивления, бляял, пел на весь огород, но возле заднего прясла уперся в жерди руками.

— Ты чё?

— Собаки добычу уташшат.

— Каку добычу?

— Глухаря!

— Опять он с этим глухарем! Да пропади ты вместе с им пропадом.

— Пока не спрячешь, не пойду.

— Как это не пойдешь?

— Не пойду!

— Да я с тебя шкуру спущу!

— Спушшай!

Бабушка плюнула, вернулась на гряды, подняла и хлопбыснула глухаря, будто драную сплавщицкую телогрейку, в баню, приперла двери колом.

— Теперь-то твоя охотничья душенька спокойна? — поспешая следом за мной, ругалась она. — Мамочка родимая! Это как же он с эким-то характером да середь людей жить будет? Де-эдушко! Да куды там дедушко? Похлеще будет...

Я перемахнул через заднее прясло огорода, непримиримо пер в горы в отдалении от бабушки. Не поспевая за мной, задыхаясь, она прерывисто поливала меня со стоном и кашлем, твердила, что я невесть в чью родову, что даже у крехтуна, стало быть у дедушки, эких вредин не водилось, что согрешила она со всеми нами и скорей бы ей подохнуть. Так легче бы ей было. Ну и так вот дальше и выше, все и всем давно известное.

Скоро, однако, бабушка сменила гнев на милость. Кружа по лесу, заискивающе просила припомнить, где я был, где глухаря клятого поднял, из какой кучи спугнул?

— Осилься, батюшко, осилься, напряги память! Ну вот он бежал, и ты, сломя голову, понесся за ним, вот ты на гору его загнал, кринка-то еще была с тобой?

— Навроде была... навроде нет...

— Навроде, навроде! — снова накаляясь, впадала в ярость и хватала меня за вихор бабушка.

Кружили мы с ней, кружили по увалам, по Черной горе. Попались нам спускающиеся с них ребята, хорошо набравшие черники. Заглянув в посудины ягодников, бабушка с новой волной возмущения, но уже притомленно запела:

— Вот люди добрые ягод набрали, и посудину не потеряли. Нашему ж кавалеру все клин да палка. То бабушку обдует, травы в туесок насует, то за пташками погонится. Задерет башку и валит. Куды? Зачем? Чё только с этим человеком будет? Какой из него хозяин получится?

Вернулись мы домой затемно. Я и есть не смог. Упал замертво в постель и уснул. Что мне снилось и снилось ли — не помню, но хорошо помню, что не хотелось мне просыпаться, с бабушкой встречаться и на свет белый глядеть.. Бабушка, как водится, жаловалась всем подряд на меня, на деда, на свою судьбу. Видно было из передней: налив в большой таз горячей воды, валяла в нем, драла, теребила ногастую птицу со

сведенными, в крючья загнутыми пальцами, со сбитыми когтями. Брезгливо фыркала бабушка, дохлятина и дохлятина птаха-то — говорила, — худющая, выболевшая, но готовить надо, раз такое голодное время пришло, да и добытчик прогневается, на приступ пойдет, он ведь во зле форменной дедушко родимый...

Я полежал, полежал, да ведь не улежишь весь день. Пролез к рукомойнику, побренчал им, боком подсел к кухонному столу, налил молока, отрезал горбушку хлеба. Бабушка, молча за мной наблюдавшая, кивнула головой на русскую печь, прикрытую белой заслонкой, оттуда доносило запахом мреющего мяса:

— Чё убоину-то не дожидаясь? Кто ее исти, акромья тебя, станет?

— Не беспокойся, съедим!

И съели. Я созвал левонтьевских орлов, тетки Авдотьинных девок и, облепив стол с проношенной на углах клеенкой, мигом мы счавкали глухаря, обглодали кости, вымакали хлебом жижку, сдобренную луком, чесноком, лавровым листиком и перцем, иначе, заверяла бабушка, отворотит от такой дохлятины, в ней и мяса-то почти нету, кожа да кости, крупные, как у барана, кости, грудина не меньше, чем у федотовского козла.

— Православные! — взревела бабушка, когда сковорода совсем опустела. Санька даже утолщения на костях, похожие на чесноковины, схрумкал. — Стрескали пташку-то под метелочку. Вот дак да-а. Вот дак едоки! И наш-то, наш-то кавалер, с имя, с пролетарьями, заодно ворочает. От доброй еды рыло воротит, убоины боится или моргует — не поймешь. А тут во весь рот ворочает и не морщится. Это он, штабы бабушке досадить. Ну не аспид, не кровопивец? — И другим, совсем уже отрешенным голосом, говорила, с тоской глядя за окно: — А криночка-то моя плакала. И не потерял он ее, не потерял. Это ее нашли митряшинские либо юшковские ухари...

...Ныне совсем уж редко поднимаюсь я по горной тропе на второй увал, еще реже хожу на Черную гору, подножье которой исполосовано тракторными гусеницами. Сами горы с чудовищными удавками на шее — нагло над миром вознесшимися электроопорами. Бредут они уверенно по широкой реке — просеке, и все перед ними расступается. Под опорами россыпью дачные дома причудливых форм, расцветок, с оградками из струганого штакетника. Идет бегство из задымленных городов на свежий воздух, к земляной работе, своя растет ягода, цветочки-ноготки. Вот и все, чего достиг трудящийся, тут все его богатство, светлое будущее в яве и в натуре. Ради него разорены села, разогнаны и уморены миллионы крестьян, порублены леса, искорежены, с места стронуты горы.

И на Черной горе вытоптаны дивные цветы, трава тракторами и машинами задрана, земля в проплешинах и язвах. Нет здесь не только черники, но даже терпеливая земляника выродилась, а капризная лесная клубника сама забыла, где росла. Битое стекло, банки, склянки, черепки, железяки кругом валяются. Не найти мне здесь вовеки бабушкину кринку, ничего уже не найти, светлые детские воспоминания и те негде становится искать, так исказилась местность, так измордовали, повитоптали тайгу. По увалам даже малая пташка редка сделалась, глухарей, рябчиков, тетеревов давно нет. Пришлые люди и не верят, что они здесь водились. Но еще в пятидесятых годах на первом увале, за лесничеством, стрелял я рябчиков и у провала на Черной горе спугнул с брусничника шалого глухаря, по древней привычке прилетевшего на дальний ток и там задержавшегося после весенних свадеб. Ныне там ни песен, ни пера, ни крылышков, одни транзисторы режут что-то заморское, здесь, в сибирской тайге, пусть и разгромленной, особенно дико и чуждо звучащее. По моим подсчетам, только в районе родного села, на увалах исчезло из-за губительных зимних туманов около тридцати ценнейших растений. Да и кому они нужны, растения те, пташки, бурундуки, букашки, реки, горы и леса, коли сама жизнь висит на волоске.

Ну а что касается глухаря, добытого мной, то скорей всего бобыль Ксенофонт далекой весной подбил его из своего дробовика-брызгалки. То было первое ружьишко, которое дали мне подержать в руках, чиненое-перечиненое, на ложе гвоздями жесть прибита, курок отпадает. И хотя заговаривала то ружье на святую пятницу колдунья Тришиха и по ее совету Ксенофонт-бобыль кровью ворона стволы промывал, промыв, хвастался: «Ноне я как торну, так и поминай как звали!»

И «торнул»! Пока черная туча порохового дыма рассеивалась и грохот от перегруженного заряда катился по горам, мясо убежало и спряталось, один пух остался.

То ли дело нынче! По рукотворному енисейскому морю на лихом катере или полуглиссере катит полупьяная куражливая компания, матрос в бинокль берега обшаривает и, как завидит на скале маралов, сигнал подает. Давя друг дружку, начальственные гости сыплются на палубу с карабинами. Тренированные, по банкам и пустым бутылкам без промаха бьющие, они ладятся за шестьсот сажен сшибить зверя со скалы, как серенького мотылька. Летит красавец зверь, ломая о камни ноги и рога, кости, но чаще в урман, в глушь помирать отбежит... Бахвалясь друг перед дружкой меткими выстрелами, ни в мясе, ни в шерсти, ни в шкуре не нуждающиеся люди велят матросам из камней и расщелин волочь зверя и

поскорее печенку жарить. А матросы какие еще и попадутся. Иные — в штопор, равноправие у нас в стране, говорят, холуев в другом месте поищите. «Ах, равноправие?! Ну мы вам покажем равноправие!..»

Булькает катер трубой, позванивает двигателем, мчится машина по захлавленной воде. Утес, под который маралы свалились, за кормой остался, в дымке исчез. И сразу над ним коршуны закружились, ворон с дерева крикнул, на пир сзывая, в глушине акаций, в каменистом шаражнике шарившийся медведь ноздрями мокрыми плотоядно шевелит, воздух цедит, кровавую струю нащупывает — пир долгий и сытный будет. Мыши, собольки и всякие зверушки да хмурые птицы здесь уже знают: где большая стрельба шла, насорено будет, вот и слетаются, сбегаются, тропки торят к гиблому месту, подъедают за медведем все до косточек. Мышки за долгую зиму и кости в порошок источат.

А я, ненормальный человек, все о каком-то бедном подраненном глухаре горюю, о прошлых временах, о кринке, об ягодах, об Енисее, о Сибири — зачем и кому это нужно?

Пеструха

Валентину Распутину

Холодны и коротки январские дни, длинны и тоскливы стылые ночи. Жизнь идет большей частью под крышей, в тесноте и духоте избы, оглохшей, ослепшей от толсто намерзшего на окне льда, от ставен, для сохранности тепла, может, и от сонной, одуряющей лени, не открывающихся и днем.

Но вот какое-то беспокойство поселяется в избе, все чаще бабушка вскакивает по ночам, накинув шубенку, какая попадет под руку на вешалке, спешит куда-то с фонарем — и долго ее нету. Приходит, гасит фонарь, крестится и сидит какое-то время на краю кровати, потом, сронив с ног катанки, не раздеваясь, приляжет поверх одеяла со словами: «О, Господи, Господи! Сохрани и помилуй нас» — и уж долго лежит в глухой тиши, поворачиваясь с боку на бок. По избе медленно растворяется запах горелого керосинового фитиля. Слышно, и дед не спит, кряхтит, громко сморкается на пол, и бабушка тут же берет его в оборот: «Ну чисто из пушки палит! Спят ведь люди-то, робятишки набегались, без задних ног свалились...» Дед: «Бу-бу-бу» — в ответ и начинает закуривать. Бабушка снова на него наваливается: «И жрет, и жрет этот клятый табачишша, ну ни дня ему, ни ночи!» Дед опять: «Бу-бу-бу», и все стихает. Потом уже дед с кряхтением, щелкая костями, слазит с курятника, нашаривает на шестке печи теплые катанки, засвечивает фонарь и тоже надолго исчезает. Появившись, заносит с собой и пускает в дверь морозного, сладкого воздуха, завывая, зевает и влазит на курятник. В избе снова поселяется тишина.

Спустя время между дедом и бабушкой начинается озабоченный разговор, совершенно недоступный нам, малым ребятишкам, упорно борющимся со сном. «Навымнуло, брюхо затужело, переступает чижало, беспокоится». — «Куда головой-то лежит?» — «Наполночь». — «Ну, стало быть, ночью и жди». — «Да-а, уж спать надо вполглаза». — «Все уж сроки навроде прошли». Бабушка шепотом считает во тьме и успокаивает деда: «Так-то, по дням-то, вроде бы и прошли, но она ж у нас барыня, всегда перехаживат... — И, подумав, продолжает как бы про себя, но с явным расчетом, чтобы и деду было слышно: — Я как поведу коровенку к быку — все как надо бывает — огуляется, завяжется. Как наш хозяин пойдет, так и

жди прорухи... Ну никакого ответственного дела не доверяй! Ну везде сама поспевай, досмотривай...»

Дед бубнить было начал, но потом закричал и утих, пуская во тьму реденькие, приглушенные вздохи. Переживает дедушка. Думает, отчего он такой бесталанный уродился, все у него идет через пень-колоду... ладно вот баба попалась удалая, пропал бы без нее, пропа-а-ал! Тут и говорить нечего и думать не об чем.

— Может, ее в город, к ригеринару свести?

— Стельну-то? В последнем-то сроке? Ну, хозяин у нас! Ну, голова!

— Дак сама же в сумленье. Может, говоришь, не завязалась?..

— Я не знаю? Я не знаю? У меня перва корова на дворе? У меня их перебыло больше, чем у тебя, у красавца такова, девок на повете!..

— Оно конечно... Так-то бык каченской, злой. Орет, глазом вертит, на Пеструху целится, аж слюна в роте закипела. Покрыл навроде справно, без промаху...

— У ково слюна-то?

— Да у быка! Пенной, холера така, брызгат, глаз кровью налитой. Копытом землю бросат! Я аж попятился.

— Испужался?

— Аха.

— Вот и попятился! Теперь живи не тужи, жди холоду в петровки...

— Ох-хо-хо-о-о... Живешь, живешь, одно переживанье за другим.

— Нет, надо эту барыню со двора сводить, надо нетель запускать.

— Дак и нетель избалуешь. Барыней сделаеш.

— Барыней... От барыни и молоко барско! Чье молоко красноярский базар выделяют?! То-то!

— Да так-то оно конечно...

— Ох-хо-хонюшки... Витька! А тебе чё не спится? Ты ково караулишь? Тоже Пеструху?

— Ага, тожа.

— Молочка охота? Замер. Ну, погоди, потерпи. Бог милостив...

И снова бдение в темноте, шептание молитв, хождение на улицу с фонарем. Днем к бабушке не подступись. «Да отвяжитесь вы, окаянные! — устало бранится бабушка. — Не до вас!»

И вот наступает еще одна ночь — чаще всего всякие таинства свершаются, как им и положено, ночью. И вот, стало быть, глухой ночью слышатся торопливые, грохочущие, по звуку даже радостные, добрую весть несущие шаги. Дедушка с высоко поднятым фонарем бухает дверью и еще от порога звонким, молодым даже голосом извещает:

— Ну, старуха, с телочкой!

Бабушка мигом вскакивает с кровати, нащупывает ногами катанки, сует в них ноги, крестясь, миротворно напевает:

— Слава, те, Господи! Слава те... — и тут же спохватывается, вспомнив, кто она есть и зачем на свете существует. — Дверь-то, дверь притвори! Холоду напустил... И разболакайся. Чё стоишь как столб телефонный! Вытер ли его? Вытер. Сухой ли тряпкой? Сухой. Облизала, говоришь? Хорошо кормить будет.

Дед раздевается взбудораженно, шумно и как бы между прочим ввертывает:

— А чё, старуха, по такому случаю...

— Да уж чё уж с тобой сделаешь? У тебя на все случаи один спрос...

На кухонный стол является из каких-то избяных недр извлеченная «четушка» в сургуче, похожая на молодого петушка с гребешком, чашка с капустой, растресканная эмалированная тарелка с хлебом. Слышно, как булькает сперва коротко, потом подлиньше. Коротко — бабушке глоток-другой, длинно — граненая рюмка всклень — в этих делах дед себя не обделит.

— Ну, старуха, дай Бог! — И, ахнув так, будто оступился голой пяткой в ледяную прорубь, отправляет дед злодейскую, жгучую зелью единым глотком в далекие места. — А-а-ах, хорошо-о-о! Вот и дождался! Вот и все тревоги кончились. Да и то сказать — так-то коровенка аккуратная, в теле, бык матер, не должно обсежки быть, думаю, но вот вишь ты — не живи, как хошь, а живи, как Бог велит! И день, и другой, и третий томит...

Ну, дед! Ну, оратор! Хлеще тетки Татьяны-активистки речь валит. Это он, посмеивается Кольча-младший, под бабку колеса передков подкатывает, точно под комель неподатливо-тяжелой лесины. И подкатил! И навалил!

— Уж допей. Чё зло-то оставлять?..

Утром — редкостная картина: все спят, словно в праздник, долго, успокоение. Дед под бочком у бабки, она «на его ручке» — так принято у нас говорить. Проснувшись, как всегда, первой, обнаружив неслыханный семейный союз, бабушка впадает в конфузию и вроде бы сердито сымает себя с дедовой «ручки», даже отталкивает ее. Дед, ублаженно вздохнув, почмокивает губами, отворачивается лицом к стене и продолжает сладко спать, глубоко и мощно дыша. Бабушка ворчит, повязываясь платком:

— Токо бы дрыхал. Токо бы дрыхал!.. И так уж проспал все царствие небесное, увалень! — А сама «незаметно» прикрывает его одеялом, подтыкает под спину и, махая перед лицом и перед грудью вялой еще рукой, говорит с будничной, привычной раскаянностью, просто так, для

перестраховки: — Прости наши грехи тяжкие, матушка Пресвятая Богородица! — и отправляется править утренние кухонные и хозяйственные дела.

Лад и склад царят в нашем доме, всем людям на зависть и на загляденье. Забегающим родственникам сообщается важная новость, и они, которые крестясь, которые просто так, говорят: «Вот и слава Богу! Вот и слава Богу! А наша — с первотелу, тута больна, дак боимся. А што как двойня?!» — «Да кто же об двойне печалится? Об двойне молятся! Молода, ниче в жизни не кумекаш», — журит бабушка какую-нибудь из своячениц, либо невесток, либо дочерей.

Малый деревенский народ тоже себе на уме — не говорят взрослые, что корова благополучно отелилась, только прорвется намеком у бабушки: «Ну, робятишки, скоро-скоро с молочком будете, а то замерли, совсем замерли...» — и мы делаем вид: слыхом не слыхали, видом не видали, какое беспокойство, почти паника были в доме, и, коли нам не велено ничего знать, мы и «не знаем». Из несмышленьшей, из малышни кто заведет разговор о теленочке — старшие ребята вытаращатся на него: «Ша! Сглазишь!» — суеверная, пугливая благоговейность, таинство ожидания сделают ребятишек на какое-то время послушными и даже раболепными...

Наступает день — помнится он, этот день, морозным, солнечным, озаренным не только ярким светом снегов и ломающихся на стуже солнечных лучей, но и обещанием торжественного праздника, хотя в явности происходят будни, однако предчувствие необычного не обманывает нас.

— Ну, робятишки! — поигрывая глазами, улыбающимся ртом начинает бабушка, малые обитатели избы и гости напряжены, в струнку вытянуты, ждут, что последует дальше, и, зная заранее, что последует, все-таки всякий раз соловеют, словно бы хмельными делаются от сотворяющегося в доме чудесного действия, сердчишки ребятишек обмирают от приближения к той тайне, которая должна открыться сейчас вот, на глазах, и, благодарные от приобщения к делам и секретам взрослых, готовы уж и смеяться, и любить всех. — Ну, робятишки, пойдемте телочку смотреть, имя ей придумывать.

— Ой! — исторгался стон радости из детских грудей. Детей брали на такое дело не только своих, но и соседских либо дружков ближних, и тут уж Санька левонтьевский непременно увяжется за нами, и Танька левонтьевская — у самих-то коровы нету, стало быть, и теленочка быть не

может, так хоть к нашему подмажутся.

В парной, прелой соломой и назьмом пахнувшей стайке мутнеет оконце, прорубленное в стене, застекленное на зиму. Обмерзло оконце с наружной стороны, и внутри оно обметано настывшим льдом по углам проруба и стесам бревен. Мутное, отпотелое в середине, пропускает оно едва ощутимый свет, куржак по потолку стайки тоже чуть отсвечивает блеклой пеленой. В стайке на морозы установлена печка, да топлена она с вечера, и в коровьем помещении заметно выстыло. Парно и зябко в стайке, желтая свежая солома, щедро наваленная на пол и в углы, источает сладкий, чистый запах овсяного поля. Солома и пахнет, и светится свежо в этом мрачноватом, дыханием большой доброй скотины, теплом навоза чуть согретом строении с низким, грубо тесанным потолком из напололам расколотых бревен. Пазы в потолке словно бы проконопачены белыми бечевками куржака. При нашем появлении потревоженный куржак заструился сверху мелкой пылью, коснулся едва ощутимым холодным дуновением напряженных ребячьих лиц, начал оседать на шапки, на одежду людей, затиснувшихся в стайку.

— Проходите, проходите проворней, — отчего-то вполголоса, вроде как боязливо поторопила нас бабушка, и от ее голоса мы, и без того присмирелые, оробели еще больше. — Холоду напустим, — пояснила она.

Дед вошел последним и поднял фонарь. Корова Пеструха лежала на свежей соломе, подобрал под большое, орыхлевшее, мягкое брюхо теленка, прикрыв его шеей, ногами и всем телом так, что у теленочка была видна лишь рыженькая головка со светлой проточиной на лбу. При появлении такого многолюдства корова забеспокоилась, стала подниматься, теленочек, поджавший под себя ножки и весь упрятавшийся в уютном прикрытии матери, все лежал с полузакрытыми глазами, плотно сжатыми бледно-белыми губами широкого рта, и хотя бабушка успокаивала корову, оглаживая ее и разговаривая: «Ну, что ты, что ты, Пеструха! Что ты! Успокойся, успокойся! Это ж робятишки. Попроведать тебя пришли, на дитю твоего полюбоваться, пожалеть тебя, полюбить ево...» — корова все же трудно поднялась, повернула голову и грустными, усталыми глазами поглядела на нас вроде как с досадой и недоверием.

Дедушка повесил фонарь на железный крюк, вбитый в потолок, и, бережно взяв под брюхо теленочка, начал поднимать его на ножки, напевно воркуя:

— Ну, подымайся, подымайся с Богом, рожоной. И когда теленочек нехотя, как бы с ленцой поднялся на длинные, узластые ножки со светлыми, будто игрушечными копытцами, дед все продолжал держать под

брюхо коровье дитя своими большими вытянутыми руками и что-то ворковал, ворковал, просветленно улыбаясь в бороду.

— Подойдите, подойдите к теленочку-то, подойдите, не бойтесь! Да по спине-то не гладьте теленочка, захредеет, — поощряла и наставляла ребятишек бабушка. И я, за мной Алешка, за ним уж «чужие», соседские, ребятишки осторожно приблизились к теленочку, окружили его. «Рожоной» смотрел на нас удивленным взглядом новожиителя земли, привыкал к нам, осваивался с народом. Я осторожно потрогал проточинку на лбу теленка, которая вверху как бы расцветала на светлом стебельке совсем ярким, на лучистую звездочку похожим цветком. Теленок потянулся к руке и лизнул мою ладонь теплым, ласковым, детски доверчивым языком, и, хотя мне было боязно и щекотно, я не отдернул руку, раскрыл ладонь еще шире, и теленок лизал ее или искал что-то на ладони.

— Баба, можно ему дать кусочек? — Я еще с вечера засунул в карман своего пальтишка кусочек хлеба, солью его посыпал, зная, догадываясь, что все равно скоро пойду знакомиться, родниться с ним, с нашим теленочком, которого сразу никому не показывают — «от сглазу» (слава Богу, никого у нас в родове и у левонтьевских тоже нету с урочливым, черным глазом, и вот мы, наконец, допущены к теленку).

— Ты и кусочек прихватил? Ну, молодец! Ну, добрая у тебя душа. Дай, дай, токо без корочки, штабы не подавился, он же ишшо совсем маленький, совсем крошка. Третий день на свету, на белом. Храни его и нас, Господи!

Теленок откликнулся на мое подношение. Сперва обнюхал ладонь с хлебом, втягивая воздух, потом шумно выдохнул, притронулся языком к кусочку, лизнул сольцы, пошлепал, пошлепал губами, распробовал сладь земную, против которой и дикий, осторожный зверь не устоит, и начал неумело, поспешно жевать хлебушек, крошить его на моей ладони.

— Баба, ест! — от радости дрожащим голосом сообщил я, будто невесть какую неожиданную новость, и от громкого голоса снова забеспокоилась Пеструха. Но бабушка, всезнающий, опытом наделенный человек, вынула тоже заранее приготовленное лакомство из-за пазухи, и корова успокоенно начала жевать ломоть хлеба с сольцой, шумно при этом и, как мне показалось, благодарно вздыхая.

Той порой, когда я кормил кусочком телочку, дед пальцами вытащил из ноздрей ее засохшую слизь. Корова-мама облизала дитя свое и мордочку ее обиходила, но лишь сверху, в носу у новорожденной все еще насыхали пробки и мешали ей дышать. И когда дед выскреб из носа ссохшееся мокро, высвободил ноздри телочки, она так вольно и шумно ими дохнула, что соль с хлебушка разлетелась и на кусочке сделалась луночка.

— Не балуй! — стукнул я пальцем по широкому и плоскому, как у кряквы, носу телочки. Она восприняла это как игру идохнула так, что соль белыми брызгами полетела вверх и по сторонам, словно бы синичьим клювом прошлась по стеклу, сыпко ударилась в лицо, одна солина попала в глаз, другая под рубаху. Кольнуло тело холодной искрой, зябкой струйкой черкнуло по животу, солинка застряла ниже его, защипало солью возле петушка и в глазу. Глаз заслезился, я начал тереть его рукавичкой. Тем временем солинка внизу отлепилась и упала в валенок. Я слышал ее пяткой до тех пор, пока она не впиталась в кошму валяной шерсти.

— Да ты навроде как нюнишь? — спросила бабушка.

— Не-е, маленько глаз щекотит. Не балуй! — уж легонько, ногтем щелкнул я телочку по носу. Она чуть попятилась и вроде как с разгона головой в меня ткнулась, боднула вроде бы. — Она уж играет! — обрадовался я и зажал ее голову под мышкой. — Будешь знать, как баловаться!

— Она ж дитя. Ей тоже поиграть охота. Телочка подергалась, подергалась головой, и я отпустил ее.

— Г-ме-е! — пожаловалась телочка.

— Поиграй! Ишшо с ней поиграй! — просили ребятишки и уже смелее окружили теленка, оглаживали его, ласкали. Танька левонтьевская вдруг обняла новорожденного за шею, припала щекой к его нежной, местами куржачком закучерявленной шерстке и прошептала, зажмурясь:

— О-ой, до чего же он хорошенька-ай! — И столько нежности, столько теплоты источалось из детской груди девчонки, что бабушка похвалила малую соседку:

— Хоть и в непутевой ты семье возрастаешь, Танька, а баба из тебя, видать, ладная получится, — подумала и добавила: — Душевная.

Скоро и сыр-бор начался в тесной, глухой стайке — мы взялись придумывать имя телочке, и хотя говорят, что творчество — дело тихое, да вот не всякое оно, выходит, тихое. Ласка, Звездочка, Мушка, Полька, Манька — все это было отвергнуто по тому мотиву, что под такими названьями уже бывали коровы на нашем дворе. Долго жили на свете бабушка с дедушкой, и все имена, как человеческие, так и скотские, извели, по этой причине у нас были два Кольчи — младший и старший; два Ивана — старший Иван и его сын, Иван Иванович, наш брат, а бабушке внук, — поэтому никаких подходящих имен на память не приходило.

В стайке после первой вспышки спора, предложений и ора повисла тишина, было слышно только, как жует и шумно вздыхает Пеструха. Напряженная вокруг работала мысль, ребятишки шевелили мозгами и

губами, перебирали всякие имена, но ничего на данный момент нужного, как нарочно, не являлось, бабушка с дедом на помощь ребятам не приходили.

— Хавронья! — с напряжением выдохнул левонтьевский Санька.

— Ну-у! — понеслось возмущение со всех сторон. — Чё те, свинья, чё ли? Ляпнул, как в лужу...

Санька сконфуженно умолк и больше, как ныне принято говорить, в конкурсе не участвовал, только гладил телочку, выбирал из ее шерстки соломинки и вытягивал губы трубочкой, говоря на ухо малышке какие-то нежности или пытаясь согреть ее своим дыханием.

Дело двигалось туго. Ребята снова громко расспорились, до грудков начали доходить, как бабушка, опять же бабушка, разрешила трудный вопрос жизни и нашего, набирающего силу, собрания.

— Чё Алешка — Божий человек велит, так тому и быть.

И мы все, и бабушка, и дедушка обратились взором к Алешке, который, как вошел в стайку, так все блаженно улыбался, то гладил теленочка, то смотрел на нас, пытаясь угадать — чего же все-таки мы решим, к какому результату придем?

Алешка перестал улыбаться, построжел, напрягся, рот его приоткрылся, и долго он был в оцепенении от скованности мысли, уж и слезы начали у него на глазах выступать, и несчастным лицо его делаться — как всегда, когда он пытался понять и не до конца понимал людей со слухом и языком. Почти догадываясь, но все же не веря, какое ответственное, равноправное со всеми нормальными людьми дело доверено ему, он еще раз настороженно обвел нас взглядом.

— Угха! — не языком, горлом, скорее даже чревом, с натугой выдохнул Алешка и стал рукой утирать с глаз слезы, от напряжения, потраченного на мысль, звук и слово возникшие.

— Ну что ж, — подвела итог бабушка. — Старшая Пеструха скоро сойдет со двора, появилась молодая Пеструха. И, как говорится, хорошему роду нет перевода.

Все мы от счастья запрыгали, заобнимали теленочка, затормошили Алешку, он цвел, улыбался, а по лицу его катились крупные светлые слезы радости: шутка ли — он придумал имя телочке, нашей будущей корове, с которой долго нам жить, любить ее, лелеять, кормить, она за это за все будет нас поить молоком, из которого можно будет добыть масло, настоять сметану, сделать простоквашу, творог, мороженые кружки молока с лучинкой в накипелой сливками середке, продать в Красноярске городским людям и за денежки, вырученные на рынке, купить материи на рубахи и на

штаны, платки, полушалки, карандаши и тетрадки, пряник конем и даже сладчайших в мире конфеток — «лампасеек».

Всегда, сколь я помню, в крестьянском дворе детишки приобщались к радости явления новой жизни, к нехитрому сотворчеству и никогда, ни за что не пускали на двор и под навес ребятишек, пока они не входили в серьезный возраст, где забивалась на мясо скотина. Ребят оберегали от вида крови и мучений, потому как они рождались не для истребления, а для мирного крестьянского труда и назначение их было: создавать жизнь, растить хлеб, любить все сущее вокруг.

Скупой, часто бессловесной, но вечной и взаимной любовью освещена была с виду будничная и простая крестьянская жизнь.

Молодая Пеструха, в отличие от меня, уверяла бабушка, была дитем нестроптивым, ласковым. С приближением невестинского возраста у нее выросли красивые рога ухватом, тело подобралось в талии, объявилось нежное, застенчивое вымечко с чуть приметными сосцами, охваченное легким пушком; словно отмытые в молоке, сделались ярче рыжие пятна; на ходу облаком шевелились и плавали белые проточки на боках и на лбу нетели; толстые длинные ресницы плотными щеточками прикрывали глаза, из которых исчезла сонливость, но появилось игривое беспокойство и девчоночье любопытство. Она принялась бодаться с подругами, приставать к матери, облизывать ее, ни с того ни с сего взбрыкивать задом и, запугивая меня или заигрывая, целилась в меня рогами, будто намеревалась боднуться со мной.

Поскольку Алешка жил у нас набегами, бабушка была день и ночь занята руководством двора и до предела захвачена бурными новостями и событиями, начавшимися в деревне в связи с коллективизацией, дед хранил мужское достоинство и ничего бабьего и ребяческого по двору не делал, да и делать не хотел, Пеструх с пастбища приходилось встречать мне. И дело это до поры до времени не угнетало меня, даже и нравилось. Соберется братва за поскотиной или возле первой росохи Фокинской речки, вальнется шайкой на траву и ждет стадо. Неторопливо приближается к селу стадо, позвякивая боталами, дзинькая колокольцами, с переполненными молоком вымями, мешающими шагать сонно переваливающим жвачку коровам. Я почему-то думал всегда, что коровы жуют рогожную мочалку, упертую из предбанника, и никак ее изжевать не могут. Пастух просто так, уж из одной привычки, щелкает кнутом, материт так же привычно и люто какую-нибудь непутевую скотину с обломанным рогом, ведь как человеческий, так и скотский коллектив без разнообразных личностей обходиться не может.

Все ближе, ближе стадо, все громче звук ботал и колокольцев, все реже хлопки бича и брань пастуха. Иная смиренная скотина, балованная хозяйкой, уловив ноздрями вечерний дым, подает голос, чтоб слышали, что идет она, идет домой в целостности-сохранности, несет ведро молока, и за это за все хозяйке надо ее встретить у ворот, погладить по шее и дать кусочек хлеба с солью, ну, если хлеба и соли нету, просто поговорить с нею по-человечески: «А, матушка ты наша! Кормилица ты родная! Ступай во двор, ступай с Богом». И она, дородная, малоповоротливая, все поймет и оценит и промычит ответно о взаимной своей симпатии ко двору, хозяйке, хозяйству, работникам, пояснит, что лучшего двора, лучших хозяев, ласковой доярки она не имела и иметь никогда не захочет.

Братва на полянке, ощущая брюхом или спиной ласковую теплоту прогретой за день земли, треплется кто о чем; постарше которые — курят, еще которые побольше — учат малых, что надо делать с девчонками, когда мы подрастем. Дух захватывало от волнующих красочных рассказов, застенчивых парнишек высмеивали и посрамляли за «неполноценность», за отсутствие мужской смекалки. В дополнение пелись еще частушки, не просто соленые, но пересоленные, и я их помню все до единой по сию пору — так они складны и выразительны, и когда был солдатом, да и по молодости лет, бродя в лесу, пел их с преобладающим удовольствием.

Но вот стадо. Коровы, они что люди, иные с пониманием, иные без него. Которые с пониманием — узнают своих встречающих, приветствуют их мычанием и сами выступают из стада, бредут впереди парнишки, помахивающего хворостиной. Иные вдруг, задрав хвосты, затрусят под гору, болтая выменем из стороны в сторону. Мои Пеструхи обязательно уж подойдут ко мне, шумно, сыро дохнут в меня, лизнут в лицо большими, зелеными от травы языками и ждут, когда я вытащу из кармана посоленный кусок хлеба и разломлю его пополам.

Так вот однажды встретил я возле речки Пеструх, благополучно препроводил их ко двору и жду, когда дед откроет ворота. Пеструхи устало уперлись дремотными головами в створки ворот. Дед не идет и не идет. Он последнее время, наслушавшись всякой всячины о будущей колхозной жизни, стал погружаться во все более длинные и отрешенные размышления, не реагируя порой уж ни на что, не встречая в текущую жизнь, только чаще и яростней вступал в перепалки с бабушкой, с маху всадив топор в чурку так, что мы вдвоем с Санькой левонтьевским не только вытащить его из чурки, но и расшатать не могли, рывкал: «Пропади все пропадом!» И борода его ходила вверх-вниз, вверх-вниз. Бабушка мелко, украдкой крестила себя под фартуком не там, где положено класть

кресты, и для себя только шептала: «Тошно мне! Сбесился! Совсем сбесился!..»

Дедушка пребывал в задумчивости или спал, бабушка шерстила по деревне, неустанно черпая новости, мне высоко доставать заворину, открывать ворота не хотелось. Коровы, покорно стоявшие рогами в ворота, начали мычать. Мычали, мычали да и заблажили, заухали бунтарски, за что той и другой тут же попало от меня по хребту хворостиной. Старшая Пеструха покорно снесла привычное наказание, блажить перестала. Младшая глянула на меня строптиво, будто Танька левонтьевская, когда ее за волосы дернешь, на морде и в глазах Пеструхи-малой появилось выражение протеста: «А-ах, так! В ворота не пускать! Да еще и хлестаться! Значит, если я скотина, то со мной обращаться можно, как с бесправным, угнетенным пролетарьятом?! Мироед ты! И элемент!..»

Тут Пеструха-меньшая как задрала хвост, как хватанула по улице аллюром — рога в землю, зад вверх, ногами взбрыкивает, чье-то ведро у ворот подцепила на рога, куриц, в пыли дремавших, подняла на крыло; собаки за ней из подворотен метнулись; бобыль Ксенофонт, понуро несший из лесу дрова, бросил вязанку и соколом взлетел на заплот. Не умеющий креститься, он все же на всякий случай вознес дрожащий кулак к плечу. Народы, скот, птицу — все разметала забунтовавшая Пеструха-меньшая и скрылась за кладбищем.

Я за ней. Бегом. Ласково уж зову:

— Пеструшка! Пеструшка! Ты чё?

Ни привета, ни отзвука. За речкой, в сосняке, мелькнуло раз-другой белое с рыжим и исчезло без следа.

— Пестру-уушенька-а-а-а! — заблажил я. — Где-ка ты? Я ить пошути-ыл...

Все! Пропала скотина. Сгинула. И что теперь мне будет? А главная Пеструха как? Если и ей вздумается в бега? Ой, батюшки-светы! Надо бежать домой. А меньшую-то Пеструху на кого бросать? Подвывая на ходу, я кинулся во весь дух домой. Гляжу: бабушка впускает корову в ворота и на меня поглядывает, ждет.

— А нетель где-ка? — спросила она вежливо. Хуже нет, когда бабушка так вот вежливо, почти печально спрашивает. Когда орет и грозитя — легче.

— Сбежала, — чуть слышно сообщил я.

— Хорошо-о, — сказала бабушка. — Тот партеец бока отлеживает, этот комунис скотину теряют! Вы об чем думаете? Вы чё исти будете? На кой-то часок ушла — развал в хозяйстве, полное расстройство... Показывай чичас

же, куда она убежала?

Я частил ногами впереди бабушки. Она, отмеряя саженьями шаги, продолжала крушить меня и дедушку, заодно Митроху-председателя, Таньку-активистку, по ее разумению породивших развал и смуту не только у людей, но и середь скотины.

Мы обшарили все заросли возле речки, поднялись до чищенки, до первых выбитых скотом покосов — Пеструхи-меньшой нигде не было. По второй, Осиновской россохе снова свалились под гору, в речку. Тут нам встретились бредущие с Фокинского улуса бабы и сказали, что на заимках медведь задрал корову, а русамага (росомаха) будто бы чью-то нетель исцарапала.

— О-о-ой! — запричитала бабушка. — Спаси и помилуй, мать — Пресвятая Богородица! — И на меня: — Ну чё, находзяевали?! Ходко у вас без бабушки дело-то идет! Я с тебя шкуру спущу, если што...

Долго мы метались по речке, по горам и косогорам. Бабушка за сердце хваталась, ноги ее начинали вянуть и заплетаться. Я упал на брюхо, стал хватать ртом воду из речки, болтанул мордой в холодной воде и, утираясь подолом рубахи, заявил:

— Я ее, курву, как найду, тут же и зарежу!

— Зарежешь? А потом че? — черпая ладонями воду и припивая со скрипом глоток с руки, задыхливо спросила бабушка.

— Съем!

— Эко, эко! Таку грозу да не дай Бог к ночи! Ты эдак-то разойдешься, глядишь, и всю деревню вырежешь, нас с дедушкой порешишь...

— Дедушку оставляю.

— Конешно-конешно. Союз у вас. Опчество. Бабушку уж на мыло пора переводить. Не любишь бабушку-то?

— Не знаю, — уклонился я от прямого ответа.

— Не любишь, не любишь. Да и за чё любить-то? Кормит, обстирывают, обмывают, хворово лечит и оплакивает. Всего и делов-то...

— Вот она, красавица, является! — кивнул я, увидев, как из лога бежит-трюхает Пеструха на голос бабушки и протяжно мычит, жалуясь ей на меня, искариота, истязателя, и радуясь ей.

— Да доча ты моя! Да золотко ты мое золотое! Да разумница ты из разумниц. Да красавица ты из красавиц!

Как только Пеструха приблизилась, я изо всей-то силушки пнул ее под брюхо и загнул такую матерщину, что бабушка и та оробела, сказала, уж спустя время, и не сказала — выдохнула:

— Вот, дорогие граждане, как мы умеем! Вот каку грамоту постигли!

Я еще раз пнул Пеструху.

— По вымечку попадешь, товды чё?

Я зашел сзади и пнул Пеструху, норовя угодить под хвост, но до цели не достал, угодил по костям. А ноги-то у меня босые. Я завыл, схватил с дороги черемуховую хворостину, начал вытягивать телку по хребту, гнал ее домой, наскакивал петухом и без устали лупцевал.

Бабушка, не поспевая за мной, ужасалась:

— Де-эдушко, де-эдушко родимай!.. Ой, забьет, ой, забьет коровенку!

Пеструха трусила впереди меня и орала-жаловалась: «Сам дак бродяжишь дни и ночи, мне дак уж и на часок нельзя отлучиться! Не зря бабушка тебя варнаком кличет. Не зря. О-ой, мамочка моя! О-ой, родимая! Забьет он меня, забьет!»

Ворота были открыты, двери в стайку полы и Пеструха-меньшая, набравши разгон, ворвалась в стайку, чуть не сшибла там маму Пеструху.

— Вот! Получайте свою красавицу в целости-сохранности! — сказал я бабушке, запиравшей ворота, и деду, пеньком торчащему на крыльце, с хрустом изломал об колено хворостину, бросил ее и, утирая злые слезы рукавом, пошел со двора, хватанув воротами так, что все задребезжало: и ворота, и стекла в рамах, и сам дом.

— Ты далеко ли это на ночь-то глядя? — окликнула бабушка.

Я не отозвался, ушел на берег Енисея, сел на яру и, уткнувшись лицом в колени, плакал до тех пор, пока не иссякли слезы.

Тем временем вечер прошел, в деревне все смолкло, с задов и от моста слышалась гармошка, гуще и чадней сделался запах горящего под ярами навоза, огни бакенов, засвеченные братаном Мишей, пустили тени бегучего света на воду, где-то, еще далеко-далеко, шлепал плицами пароход, правясь на их призывный свет; тупо стукались бревна, обреченно плывущие вдоль боны, спускаемые с Манской запани, сами боны поскрипывали и крякали в ночи дергачами, уже начавшими летовать в лугах, но отсюда, с реки, из-за огорода и домов, неслышимыми...

В переулке слышались шаги. Я узнал, чьи это шаги, но не повернулся. Сзади меня протяжно вздохнула бабушка.

— И долго тут сидеть будешь?

— Захочу, дак до утра.

— А простудишься? А рематизня опять загибать начнет?

— Пуцай загибат.

— Эко он. эко с бабушкой-то? Ласково да приветно как? Не жрамши

ведь.

— Не подохну.

— Ага, ага, не подохнешь. Это я, несчастна, скоро от вас подохну...

Я промолчал. Бабушка долго стояла, не двигаясь, позади меня, смотрела на реку, слушала ночь. Потом бросила к моим ногам лопотинку, обутки, фуражку, удочку и сказала:

— На, нечистый дух! Знаю ить, знаю, до утра не явишься, во зле кипеть будешь... — и тоненько запела: — Чё из тебя токо и будет?

— Каторжанец! Артист! Сама пророчишь...

— Не-э, токо каторжанец! Артисты — оне веселы и добры.

— Много ты понимаешь! Оне только изображают добрых да веселых. Вон Митряхин сынок — Бубен птичек мучат, крыс и мышов палит живьем, а в спектакле смешного попа продергивает. Это как по-твоему?

— Как? Да такой же безбожник, как и ты. Дак не пойдешь домой-то?

— Не пойду.

— Дедушка меня запилит, во ступе истолчет — «выгнала, заела бедного робенка...».

Я хотел сказать: «Тебя запилишь», но сдержался.

— Мотри, не вздумай на бону лезти, на бревнах вертеться. Утонешь — домой не являйся!

— И утону! И буду к тебе ночью утопленником являться! Ы-ы-ы! — оскалился я и попер на бабушку. Она аж отшатнулась от меня, потом смазала мне по затылку и ушла домой, на ходу ругаясь:

— Я ить смотрю, смотрю...

После возникновения колхоза имени товарища Щетинкина оставшиеся без молока, хлеба и мяса члены новой артели и единоличники села Овсянки постановили на собрании кормить ребятишек при школе, сбили столы из теса, снятого с крыши пустующего кулацкого дома, скамьи из заплота двора того же дома, собрали по селу ложки, кружки, чашки, назначили поварихой Василису Вахромеевну, из-за припадков негодную к работе на пашне и покосе, и она со своими девчонками пилила тут и колола дрова, мыла посуду и полы, скоблила столы и кормила нас, как помнится мне, не очень чтоб сытно, однако жить можно было.

Главное — тогда я узнал слова «общественно питанье», по привык к шумному ребячьему коллективу и выучил наставленья типа: «Когда я ем, то глух и нем», которые где-то услышала старшая дочь Василисы Вахромеевны, Зойка. Была она в мать статна, красива и строга. Нам

доставляло радость слушаться Зойку и повторять за нею хорошие слова — худых-то мы уже наслушались и запомнили до полна.

Однажды нам дали в чашках горячие щи, по одной котлете и по кусочку хлеба. От ребят в тот день по «куфне» дежурил Микешка, сын колдуньи Тришихи. Шубы на нем уже не было, подстрижен Микешка под гребень, и от этого волосья его тыкучие торчали во все стороны, и вся голова была, что осенний репей. На Микешке хоть и мятая, зато с галстуком, с пионерским, рубаха.

— Лопай, как свое! — оскалил клык в рассеченной губе Микешка, поставив передо мной чашку. — Мясо в супе и котлета — из Пеструхи!..

— Ка-ак? Из какой Пеструхи?

— Из вашей! Она не хотела доиться, оказывала сопротивление властям, легалась — ее и пустили на котлеты...

Не помню, как я выскочил из-за «общественного» стола и с ревом ринулся домой, к бабушке. Она прижала мое мокрое лицо к животу, гладила меня по голове.

— Ну вот ревешь... А сам говорил, нарежу и съем...

— Да-к я же понарошке-е-э-э.

— И оне: Ганька Болтухин, Шимка Вершков, Танька наша, да и все горлопаны — тоже понарошке, согнали скотину в одну кучу, думали, вокруг нее плясать да речи говорить будут, а коровы имя молока за это... Не-эт, не зря говорено: хозяйство вести — не штанами трясти. Вокруг скотины не токо напляшешься, но и напашешься, и наплачешься... Корова на дворе — харч на столе, да у ей, у коровы-то, молоко на языке, ее поить-кормить надобно, да штоб с руки, с ласковой, да штоб обиходно, штоб пастух не каторжанец, штоб сена зелены, солома ворохлива... О-хо-хо! Чё будет? Чё будет? Может, ты ошибился? Может, не нашу Пеструху?..

— На-ашу-у. Я шкуру видел.

— Ладно, ладно, не реви. Большой уж. Скотину грех оплакивать. Человеки ею возрастают, но ее же и съедают. Чисто волки свою матку аль отца... И нечево нюнить...

— Да как же это, ба-аб-а?

— А так вот. Поживешь — поймешь. Вся жизнь така.

— Я не хочу-у.

— Чё не хочешь-то?

— Жи-ыть так.

— А куда ж от ее, от жизни, денешься, батюшко? Никуда не денешься. И реветь нечево. Ишшо нареве-ошься, побереги слезы-то. Пригодятся...

Тогда, после ссоры с бабушкой из-за Пеструхи, просидел я всю ночь на

яру, почти до утра. Закинул удочку и сидел недвижно. О чем-то думал. Грустно мне было, и трогало сердце печалью, мне еще незнакомой, необъятной. Зло на Пеструху, на бабушку и на все на свете прошло у меня. Мне было и спокойно, и тревожно. Кажется, тогда я прожил самую незабываемую летнюю ночь и, может быть, что-то начал понимать или впервые ощутил прикосновение к сердцу огромного, загадочно и пугающе-прекрасного мира. Слава те Господи, что я не городское дитя, которое вовремя уторкают спать и вовремя подымут. Я вольный деревенский казак-рыбак, и видел я то, что никогда им не увидеть. Зарождение, нет, соединение дня вчерашнего и сегодняшнего видел.

Белых ночей в нашей местности нет, но есть, оказывается, промежуток времени — это в самой-самой середине июня, когда день вовсе не исчезает, не гаснет, он скапливается за Енисеем в треугольнике распадка над Караульной речкой.

Уже и вечер прошел, и в сон село погрузилось, и летучие мыши засновали в тени скал, все унялось, смолкло, даже коровы перестали брэнчать боталами, кони — колокольцами. Легли они в росную траву, обсушив своим боком пятнышко на поляне, согрев собою и для себя клочок земли, а в небе ночь все борется со днем и никак не может погрузить его в бездну темноты. Вот уж оттеснила тьма свет дня на закрайки, вдавила в распадок, вроде бы все обратила в серую мглу, утопила в сумраке немого безбрежья; но меж вершин все еще рдеют остатки зари, бледненькие, что лоскутки, оторванные от выцветшего платка на игрушечные девчоночьи пошивки. Но вот и от лоскутов зари лишь отсветы остались, сам свет прошедшего дня окончательно завял. Прозрачной зеленью, отсветом горных лесов и приречных трав наполнился треугольничек распадка, сделался похож на стеклянную воронку, в какую цедают молоко, мажет белым, нет даже бледновато-синим, снятым молоком стенки стекла, утягивая за собой и настой земли, и теплоту небесной синевы.

Внизу, в скалистом ложе речки Караулки, вроде бы все остановилось, не работало, не принимало в себя ничего — ни влаги земной, ни света небесного. Последние капли его как бы замерли, не пульсировали, не дышали на доньшке распадка. В сосце воронки притаенно и ненадежно, за прозрачной стенкой совсем тоненькой полоской держался отстоявшийся, кристально ясный свет, отражая в себе дальнюю, четко очерченную вершину горы, днем невидную, два-три деревца на голом останце, какую-то в другое время, в обычный час незримую даль. И эта частица дня вселяла на что-то надежду, ровно бы заставляла ждать, боязливо замирать от прикосновения к небесной тайне.

Но как не дано человеку увидеть, когда раскроется цветок, так и я не скараулил ту минуту, не увидел миг зарождения нового дня, лишь замечалось, что в воронке становилось прозрачней, и не вышняя даль, но ближний лес, склоны гор и каждая травинка возле меня начинали обозначаться отчетливей, а там, за Енисеем, в распадке речки Караулки, отуманивало зелень, отжимало темень обратно в тень лесов и склонов гор, и чем больше наполнялась воронка молочным светом, тем шире становилась земля, возносилась до неба своими главными вершинами, своей вечной высотой. И когда, переполнив воронку распадка, свет народившегося дня переплескивался через края и становился утром, ало-розовым светом зари — тогда заливало мир и все, что было в нем: небо делалось шире, необъятней, мир, вострепнувшись, радостно отряхивался, спешил со всех сторон навстречу утру и новому дню, затаившемуся в распадке красивой нашей речки Караулки и так незаметно оттуда вновь появившемуся.

Но я отчетливо помнил, зрел, когда и дню, и свету его оставалось жить лишь мгновение. Саму воронку, этот хрупкий сосудик, как бы раздавливало громадами скал, он вовсе исчезал, становился воздухом, от него оставался один только рожочек, но и рожочек сжимало тесниной тьмы, рассыпало по ущелью осколками, и уже не рожочек, лишь сосулька, вешняя льдинка, вся источенная, готовая вот-вот рассыпаться с неслышным мне звоном, провисала меж сдвинувшихся гор. Совсем-совсем крохотная капелька дрожала, готовая вот-вот сорваться, упасть в бездну ночи — и тогда уж все, тогда уж не будет никакого дня во веки вечные, тогда покроет всех и вся тьма небесная, только «адовы огни», коими всех пугает бабушка, будут полыхать из края в край, протыкая пространство, в котором и не поймешь: где верх, где низ, где земля, где небо.

Но именно в эти вот мгновенья, нет, в самый напряженный миг, когда дыхание в груди от страха и ужасного ожидания конца света должно было остановиться, вдруг за истаявшей льдинкой, за той остатней, едва пульсирующей капелькой света возникало видение гор, остановившихся дерев, означался намек на белое облако, открывался лоскут совсем уж дальнего неба, на котором недоступно светилась потусторонняя звезда. Кусочек небесной голубизны был столь нежен и прозрачен, что нельзя было не только кашлянуть — дохнуть во всю глубь и то боязно было, чтобы не прорвался, не улетучился, не исчез свет далекого неба.

И мне открылось внезапно: «тот свет!» Там живет Сам Бог, и что Ему захочется, то Он и сделает со всеми нами. Но раз по бабушкиным молитвам выходило, что творит Он дела лишь великие, добрые, то, мнилось мне,

оттуда, с «того света», из-за горных вершин распадка Караульной речки, мягко ступая по облаку, спустится Он, погладит меня по голове и скажет: «Пойдем со Мной, дитя Мое».

Зачем? Куда мы пойдем и как вознесемся на небо — я этого не ведал, но знал, что обязательно пойду за Ним со счастьем и страхом в сердце и узнаю, увижу что-то совершенно никому недоступное, испытаю доселе никем и никогда не испытанное счастье.

Никогда-никогда более я не был так близок к небесам, к Богу, как тогда, в те минуты соприкосновения двух светлых половинок дня, и никакая тайна не вселяла в меня столь устойчивого успокоения.

На исходе той памятной ночи я отправился домой, залез на сеновал и уснул, уверенный в том, что горы, земля, все-все на месте, что наступит день и веки вечные ему быть, потому что там, за горами, в распадке речки Караульной, никогда не гаснет свет будущего дня, а за высокой горою, в Царствии Небесном, есть Тот, кто хранит не только лад и мир на земле, но и думает о будущем рабов Своих, оберегает их покой и, значит, мой покой, мою жизнь от зла, скверны, геенны огненной...

Проспал я до высокого солнца, жарко нагретого крышу надо мной и прошлогоднее ломкое сено подо мной. Дверца на сеновал была открыта — дед проверял, дома ли я. В квадрате солнечного, почти бездонного провала плясали мошки, кружилась и билась, билась в ярком свету, играя сама с собой, нарядная бабочка, полоской тянуло щекощущую пыль от растревоженного сена.

— Учи его, учи, потач! Вон он сулится всю деревню вырезать! Одново, говорит, дедушку оставлю...

— И будем жить припеваючи!

Слышно было, как бабушка громко плюнула, ногой топнула и ушла со двора, причитая:

— Да тошно мне, тошнехонько! Да ковды Господь приборет меня, несчастну-у...

— Бу-бу-бу... Ишшо всех переживешь! — дед вдогонку ей. — Самово сатану в калач загнешь и на лопате в горячу печь посадишь.

Послышался скрип лестницы. На сеновал поднялся взъерошенный, воинственно-возбужденный дед и сказал:

— А ну, давай спускайся! Поедем на Усть-Ману. Избушка наша там покуль жива, откроем, будем дрова пилить, картошки варить, ты станешь рыбу удить, песняка драть. Пушшай оне тут! И Митроха, мать бы ево так, и

Ганя Болтухин со своим холхозом, и Танька с собраньям, и наша генеральша, и все сдохнут.

— Ой деда! — преданно глядя на него, сказал я. — Вот как я тебя люблю, даже не знаю. А когда ты помрешь, как я буду?

Дед смущенно закряхтел, запокашливал, веревку начал сматывать, вилы и грабли подбирать, сено к стене подпинывать.

— Да чё про это говорить? Все помрем. И я. Потом и ты. Думать про это не надо. И торопиться не будем, так?

Он поднял меня на руки, прижал к себе, пощекотал бородой и на руках спустил по лестнице вниз. Как в самую малую пору моей жизни, я приник к деду, притих на его груди, и сладко-сладко подтачивало мое нутро, заливало его такой волной тепла, что снова мне захотелось плакать, но я лишь крепче сжал руками шею деда, плотнее приник к нему и не отпускался до тех пор, пока не донес он меня до телеги, не опустил на клок сена. Разворотив Ястреба, дед уже за воротами сказал, кивая головой на холщовый мешок:

— Пожуй хлебушка. Ести будем уж на Усть-Мане, — и пошевелил вожжи: — Н-но, Ястреб, н-но-о, конишко наш, шевели ногам, пока ты на живодерню не свели...

Такого возбужденного, многословного дедушку я никогда еще не знал и сперва обрадовался, петъ начал, но после отчего-то мне тревожно стало; какое-то предчувствие коснулось меня, и предчувствие, как всегда, не обмануло — скоро дедушка надолго занедужил и больше уж не поднялся. На Усть-Ману, на заимку, оказалось, мы ездили с ним в последний раз. Избушку на заимке сплавщики нечаянно своротили трактором с бычка, и она, развороченная, с рыжим кирпичом и кишкой растянутыми пестрыми тряпками, лежала вдоль горы и под горою до зимы. Весной большой водою ее и вовсе разнесло, растащило, только долго еще краснел, обмытый водою, кирпич на берегу, но и он скоро погас.

После полувека жизни побывал я на месте нашей заимки. Там стояла, неприступно огороженная, дача в два этажа, с фасонистой крышей, вся в цветах, с теплицей средь огорода, с баней-сауной над обрывом, из трубы которой прямо в ключ, затем в Ману текла зловонная, мыльная вода. Средь стекла, грязи, банок я нашел обломочек старого кирпича, обожженного до керамической крепости и обмытого до стеклянного блеска, вытер его рукой и привез домой. На память.

А еще несколько лет спустя занесло меня в компании творческих людей, пристально вглядывающихся в современную действительность, на образцовый скотокомплекс, где тысячи коров отменной, продуктивной, по

науке селекционированной породы, цвета старинной меди, стояли на бетонном полу, в тесной железной изгороди. Перед мордами коров двигалась лента с кормом, сзади по канаве разматывалась другая лента и увозила наружу назем; если требовалось пить, скотина тыкалась мордой в железную заслонку, и в нос ей ударяла вода. Гуляли коровы на улице, тоже в тесной загороди, и ни одна из них не имела имени, все они были под номерами, все одного цвета, роста, характера, и все они доились аппаратами. Передние дойки-сосцы у коров, даже по науке созданных, короче задних, самые же жирные капли молока — остатные, и надо продаивать корову до конца, и когда задние дойки дают последнее молоко, из передних все уже выдоено, а неумолимый казенный аппарат терзает безответную и бессловесную скотину, и тонкие ниточки крови начинают прошивать по белым трубочкам текущее молоко.

Животное, которое на комплексе впадает в апатию или непослушание, начинает ли заигрывать друг с другом, а то и посасывать молоко у соседки, немедленно выбраковывается и отправляется на мясокомбинат. Живут активной, плодотворной жизнью, стало быть, едят, доятся и творят навоз на удобрения коровы на этом гиганте предприятии семь-восемь месяцев.

Я не сдержался и спросил у директора комплекса, не жалко ли ему животных?

— Я — крестьянский сын, — без зла, но хмуро ответил мне директор, — и такие вопросы, товарищ писатель, если вы считаете себя гуманистом, задавать жестоко.

Я сжал в кармане крошку кирпича с родной заимки, хранимую мной до сих пор, и подумал: не надо искать истоки жестокости людей современного мира только за морями-океанами, в войнах, в битвах, в горах, в лесах. И любовь, и жестокость часто находятся гораздо ближе, чем мы думаем, порой совсем они рядом с нами, а то и в нас самих. И всегда при виде спокойных и грустных животных, вековечных наших кормилиц, возникала передо мной блаженная пора деревенского предвечерья. Все дневные хлопоты, крики, звоны ботал и колокольцев, привычная ругань на непослушную или неповоротливую скотину, всякий стук и бряк обрывались — на селе начиналась дойка коров.

Бабушка не любила доить Пеструху на людях, на виду. Зимой доила корову в теплой стойке, усевшись на низенькую, желтой краской крашенную скамейку. Летом — чаще всего под хворостом крытым, односезонным навесом, приделанным к стойке, и только осенью, когда не было овода, народ не толкся во дворе, да веснами, чтоб корова побыла на вольном духу, дойка производилась во дворе.

Погладив корову по выпуклому боку, как бы подтолкнув ее легким хлопком по холке под навес, бабушка теплой водой ополаскивала фигурную подойницу с рожком. Якобы доставшуюся ей от покойной матери, плескала ковш-другой воды в плошку и неторопливо следовала под навес. Там она мыла вымя корове, долго прилаживалась на своей скамейке, готовясь к исполнению важного, можно сказать, главного дела во дворе, вполголоса творя молитву «Во благословение стада»: «Владыко — Господи Боже наш, власть имея и всякия твари, Тебе молимся и Тебе просим. Яко же благословил и умножил еси стада... Благослови и стадо скотов сих раба Твоего Ильи, и умножи, и укрепи, и сотвори... навета врагов и воздуха смертного и губительного недуга...»

После такой складной молитвы, которую дети повторяли за бабушкой, шевеля губами, все стихало, умиралось привычным, почти торжественным ожиданием. И ожидание это разрешалось слабым звоном. Как бы издалека, из лесов, с гор, может, из умолкшей церкви с сопрелой тесовой крышей, под которой висел еще на веревке один, фулюганами не обрезанный, небольшой колоколец, донесшимся.

После краткого перерыва, в который вмешался облегченный и благодарный вздох коровы, следовал звон протяжней и звучней, а там уж почти впритык друг к дружке — дзинь-журу, дзинь-дзжунь, дзинь-джуру. Звучит, что музыкальный инструмент, древняя, не раз паянная подойница, похожая на пухлый чайник, только сосок у нее покорооче и крышки нету. Пузатенькая, округлая, с ловким доньшком, выглядит она игрушечной посудинкой, но входит в нее больше ведра молока. И как же можно сменить эту подойницу, неизвестно из каких времен и краев к нам пришедшую, неведомо из какого металла сотворенную, на какое-то ведро? Пусть и на «малированное» или на современную цинковую посуду, что прижилась в колхозе. В ней и молоко-то железом отдает. К такой посуде даже коровы неуважительно относятся, молоко не все «отдают», лягаются, а если и отдают, так с неохотой, да и не продаивают их вертоголовые девки, на собрания да на вечерки торопят. Попробовали бы дома не продоить, так сполна получили бы премию от мамы и тяти, а в колхозе что ж — корова не своя и молоко в ней чужое.

В пору хорошей травы, доброго корма, коли еще и овода мало, из-за которого коровы плохо едят, сбавляют надои, бабушка, случалось, надаивала молока столько, что белая пена воздушной шапкой сбивалась над подойницей и нечасто, но приваливало такое счастье, когда дополнительно к подойнице и синюю кружку бабушка надаивала. Тогда уж все у бабушки, начиная с деда и кончая мной, были молодцы, старатели, всех она хвалила,

в первую голову корову, пастуха, потом меня и Алешку, если он тут случался. Ну и о бабушке роняла одобрительные слова, вскользь правда. Планы и мечты бабушки простирались далеко-о: если дело с надоем молока дальше так пойдет, накопит она сметаны, творогу наварит, может, и маслица собьет на зиму, да и на продажу смаракует — деньжонки никогда не лишние. Надо катанки к зиме всем починять, рубашонки самому и Витьке справить, обносились, чинить нечего, под иголкой рубахи расползаются, да и сена прикупать придется. Сынок-то, дорогой помощничек-надежда скрутился с разлучницей-невесткой да с колхозом аховым — глаз с заимок не кажет. Закукуешь зимой без кормов-то, решишься всего и коровы, упаси Бог, тоже. «На холхос кака надежда? Холхос, он еще себя покажет!..»

Планы и мечты эти чаще всего не сбывались. Наступала жаркая летняя пора, пауты, слепни, шустрая мошка, к вечеру комары гоняли стало, заедали скотину до того, что она не подчинялась пастуху, разбродно, как войско при отступлении, мчалась в панике к берегу, забредала в Енисей и погружалась в воду — одни рога да ноздри виднелись. Один раз Пеструха и вовсе расхворалась, слезами плачет, не доится. Бабушка установила: непутевая скотина съела с травой осиное гнездо, осы искусали ей язык, горло, кишки и брюшину, кабы колоть кормилицу не пришлось. Среди лета, в самую-то кормную пору! «Спаси и помилуй, Господи!» — причитала бабушка на коленях перед иконостасом. Не к пьянчуге же Болтухину, не к Татьяне-автивистке ей обращаться за помощью. Татьяну самые днями на ягодах оса жогнула под подолом, да так, что она полдня сидела задом в Фокинской речке и выла, как Авдотьяин неделю не кормленный Мистер. Травки, корешки, молитвы бабушкины, ругань вперемежку с ласками, доброе поило, тщание в уходе не раз и не два спасали Пеструху. И в то засушливое, жаркое лето, когда осы сожгли внутренности коровы, она тоже оклемалась и была уведена в стадо. Вялая, с подведенными боками, на которых ободьями выступали ребра, Пеструха, спотыкаясь, шла за ворота, бабушка крестила ее, двор, стадо, себя, напутствовала добрым словом, кормилицей и доченькой называла. Пеструха ухала — мычала, рассказывая подругам о своей болезни, о том, каково ей было без них, жаловалась на то, что жизнь — вообще штука серьезная.

Все утихло на селе и в миру. Лишь дальний крик сплавщиков слышен с Енисея да с улицы зов тетки Авдотьи, находящейся в постоянном напряжении, в поиске: «Агашка! Агашка! Где-ка ты, курва? Ну я те все волосья повытаскиваю!..» Агашка, вон она, у нас во дворе. Пришла со своим Костенькой по молоко. Малый пустую кринку, точно куклу,

молитвенно к сердцу прижимает, слышит запах молока, слюнки глотает. Агашка, тихая, простоволосая девка, зажав меж колен Костеньку своего, думает об нем, об себе ли, может, и подремывает после затянувшихся до петухов проводов с вечерки, может, отдыхает от вечного домашнего содома. Корову тетка Авдотья не держит, займки у них нету. Покосы у нас далекие, горные, на них только мужикам управляться, да и то сильным, умелым. Поставить сена, накопив их по склонам гор и в непролазных речках, да высушить в тайге и сметать в зароды — полдела, надо еще сено сплавить па плотях, либо в начале зимы, по мелкоснежью, успеть вывезти на крепких лошадях.

Мужики же овсянские нынче в разброде, на собраниях сидят, по бригадам бывших заимок толкуются да на мельнице пьянствуют. Их стали часто на какие-то комиссии да обследования вызывать. Несколько мужиков после вызовов в город домой не явились. Иные из тюрем через людей табаку закажут, которые и вовсе никаких вестей не подают. Нынче всем вызываемым в город бабы, на всякий случай, собирают котомки.

Тетка Авдотья давно и привычно пользуется молоком от нашей коровы — в счет будущих заработков: поможет избу вымыть, в огороде выполоть, по двору управиться, дом вести, когда «тетенька Катя хворат». Свой она человек, хоть и шалопутный и «куда ее денеш?» — вздыхает бабушка.

Бегают тетка Авдотья по деревне, ругается, ищет дочь со внуком, и наконец ее осеняет заглянуть к нам. Брякает щеколда, слышатся шустрые ноги по настилу. Из-под навеса строгий бабушкин голос: «И когда на тебя уем будет?!» «Дои, тетанька, дои с Богом!» — торопливо откликается тетка Авдотья и мимоходом, на всякий случай, смазав Агашку по голове, лепится рядом с нею, молча тянет внука к себе. Агашка молча его не отдает. Подергав ребенка туда-сюда, чувствуя, что он вот-вот разорется, обе женщины успокаиваются, ждут.

Подойница уже не звенит. Из-под навеса слышно журчание, умиротворяющее журчание глубокого молочного ручья. Вот и журчание перешло в короткие, едва слышные всплески — молоко в подойнице поднялось высоко, вспенилось, и пена глушит звуки струй.

И над селом ни звука, ни стука. Время дневного торжества и минуты ожидания сладкого парного молока. Дрема охватывает корову, исполнившую свое привычное и такое необходимое для жизни людей дело. Отдавая уже последние, самые жирные и самые короткие струйки наработанного, скопленного за день молока, корова почти спит, валяя во рту смачную жвачку. «Благодарствую тебя, доченька, спаси тебя Бог», — шепчет бабушка и легонько хлопает корову по крупу.

Слышно, как бабушка поднимается со скамейки, хрустят, щелкают траченные бабушкины кости. «Ох-хо-хо, Господи, совсем рассыпаюсь...»

Приседая на обе ноги, она выступает из-под навеса с подоymiцей, поддетой локтем за медную дужку. Тетка Авдотья легкой тенью снимается с крыльца, спешит навстречу бабушке, и та с заметным облегчением отдает ей подоymiцу.

Лицо бабушки торжественно и устало. Завершается день трудов и забот, вечных трудов, вечных забот. И словно бы сейчас вот, во время самой желанной женской работы, в уединении и в отрешенности от людей бабушка постигала какую-то, нам неведомую, истину, разгадала тайну земного бытия и ясновидяще зрела неизбежность, всех нас ждущую, тихую, печальную неизбежность, похожую на это деревенское предвечерье. Бабушка смотрит мимо или сквозь нас, дотрагивается до моей, до Костенькиной головы, словно бы удостоверяясь, что мы еще здесь, с нею. Детский легкий волос зацепляется мозолями ее корявой ладони.

Но пугающая отчужденность длится минуту, может, две. Бабушка очнется, начнет хлопотать, бранить тетку Авдотью. К удивлению и радости моей и Костенькиной, вынесена будет знаменитая синяя кружка парного молока, наполовину или почти полная: «Пейте, пейте, робятушки!» — и мы попеременно с Костенькой дуем из кружки духовитое, пенистое молоко, отмякнув от предвечерней благодати. Бабушка велит нести кринку молока левонтьевским пролетарьям. «Добрыми травами сегодня Пеструха покормилась, дивно молока дала, всем хватит». Журчит молоко, текущее из подоymiцы сквозь ситечко, журчит теплым молоком и бабушкин голос.

— Санька! Нинка! Митрей! Вовка! Данька! Толька! Ташшыте посуду какую ишшо не перебили, — кричит бабушка через двор во флигель дяде Митрию и Татьяниным «коммунистам».

Какой добрый наступает вечер! Так и хочется поделиться с соседями и всеми людьми на свете хлебом, молоком, солью и сердцем. Пеструха всех напоила, ублажила, надежду на завтрашний день подарила.

И знаю я: раньше всех поднявшись, бабушка осторожно опустится на колени перед иконостасом и, глядя на неподвижный синенький свет лампы, будет молиться и просить, чтобы все дни были похожи на прошедший благостный день. «Дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день... Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами... Дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, прощать и любить. Аминь».

Дядя Филипп — судовой механик

Из бабушкиных гостей мне больше других памятен дядя Филипп — судовой механик. Он был бабушкиным крестником и братом дяди Левонтия. Тот его «поднял» и пустил «на воду». Оставшись на суше, сам он вечно тосковал по морю. Однако из-за многодетства или из-за тетки Васени, которой негде было приютить гостя и потчевать нечем, дядя Филипп заезжал перво-наперво к нам. По окончании каждой путины, если не зимовал с судном на севере, он являлся гостить в село вместе со своей женой, теткой Дуней, и... коли принес Бог гостя, стало быть, и хозяевам пир.

Бабушка, всплеснув руками, выбегала на крыльцо, да так проворно, что забывала прихлопнуть дверь. На крыльце раздавались многократные охи, ахи, чмоканье, в момент возникшие женские всхлипы, бабушка на ходу напевала, что якобы точь-в-точь оправдались ее наблюденья и предположенья — вечер куры передрались и чья-то собака перед домом каталась — быть гостям, непременно быть! — порешила она, на всякий случай замесила квашонку и, как в воду глядела: квашонка-то сразу!

В сенках стоном стонали старые половицы под сапогами дяди Филиппа, проем двери заслонялся на секунду, и я взлетал к потолку с остановившимся сердцем.

— Растешь? — спрашивал меня дядя Филипп, держа под потолком, и опускал на пол с разрешением: — Ну, расти!

Он небрежно кидал на мою голову картуз с громадной «капустой», горящей невиданным золотоцветом, и поскольку картуза хватало до самых плеч, то я на секунду задыхался спертым воздухом, в котором смешались пот, одеколон, запах головы.

Все смеялись. Я осторожно щупал «капусту» и почтительно возвращал великолепный картуз дяде Филиппу. Поскольку в чинах тогда ходили немногие мои односельчане, с «капустой» был всего-навсего один человек — дядя Филипп, ему разрешались кое-какие вольности, как личности выдающейся. Забывшись, он сидел иной раз в картузе под божницей, и бабушка очень переживала. Хороший гость хозяевам в почет. Но после отъезда бабушка все же молилась, шептала святой деже: «Ну и что, что Филипп — человек от веры отрешенный? Работа у него ответственная, времени для Бога не выкраивается, вот почему простить бы его надо, а заодно и ее, потому что сама она ни в каком картузе под божницей не

сживала и не сядет, к тому же строго блюдет Великий пост».

Должно быть, Святая Дева была женщина сговорчивая, потому что до следующего приезда дяди Филиппа бабушка больше не напоминала ей о картузе, обращалась по разным другим вопросам, и мне иногда казалось, что дева эта, засиженная мухами, как-нибудь рассердится, скривит тонкие губы. «И до чего ты докучливая старуха! — скажет. — Одолела, допекла, нечистый дух!»

В последний раз дядя Филипп приехал к нам отчего-то ранней осенью, а не зимой, и тетка Дуня держалась совсем смиренно, глаза ее были красными от слез, она то и дело промокала их скомканным батистовым платочком.

Прежде, бывало, дядя Филипп сидел, занявши почти всю скамью, сбоку, на краешке лепилась тетка Дуня со спущенным на плечи платком. Узенькая, тонкошеяя, нервная, она все норовила показать характер и выглядеть строгой-престрогой женой. Дядя Филипп протягивал руку, на тыльной стороне которой была синяя змея, обвившая кинжал, к граненой рюмке с водкой — тетка Дуня тут как тут, накрывала рюмку. Дядя Филипп сурово взглядывал на жену, и она, ровно обжегшись, отдергивала руку. Выплеснув влагу в широкий рот, механик крякал и занюхивал хлебом так, что ломоть прогибался.

Бабушка пыталась угощать его. Стол ломился от снеди. Тут были и рыжики, и грузди соленые, и капуста, и огурцы, и малосольная сельдюшка «туруханская» — гостинец дяди Филиппа, — дивная рыбешка, ныне почти выведенная, как и многие ценные рыбы. Только черемшу соленую бабушка не ставила на стол. С черемшой этой происшествие было. Как-то бабушка все же настояла, чтобы дядя Филипп отведал хоть немножечко чего-нибудь. И чтобы не обидеть крестную, дядя Филипп сунул вилку в первую подвернувшуюся тарелку. Потом еще подцепил чего ни попало и жевал, несколько не интересуясь, чего он жует и зачем. Так вот рассеянно черпнул он черемшу из тарелки. А черемшу у нас солят с речной галькой, чтоб она не плесневела. Ну, жманул дядя Филипп черемшу зубами, хруст раздался такой, будто матица на потолке лопнула, и теперь у дяди Филиппа блестят два серебряных зуба.

Зубы эти сводят меня с ума. Если б хоть кто-нибудь знал, как мне хотелось вставить такие же зубы!

Меж солений и печений в наследственной бабушкиной вазе, хранимой до случая в сундуке, — черничное варенье. У нас в селе принято ставить варенье на стол, если у кого оно есть, сразу же, не дожидая, когда подадут чай. Пользуясь благостным моментом, я ложкою черпал варенье, обкапался.

Бабушка, стесняясь гостей, не очурывала меня, лишь с горестной безоружностью молила глазами: «Ну будет, будет!» А я будто ничего не понимал, возил себе и возил варенье. Тогда бабушка отыскивала под столом своей ногой мою ногу, мстительно и молча придавливала ее. Я утягивал ногу под себя и упорно работал ложкой. Тогда бабушка, подавляя в себе гневные чувства, льстиво предлагала мне:

— Шел бы ты на улку. Играл бы. Тут застолье, может, изругается кто или чё, а ты стесняш...

— Не-э, — бодро отвечал я, продолжая убавлять варенье в вазе, — чё-то неохота сёдня играть, — совершенно уверенный, что размякший от выпивки, бездетный механик непременно удержит меня в застолье.

— Ай, пятнай его! — хлопала себя по юбке обезоруженная бабушка. — То дак домой не заманишь.

Меж тем в застолье все шло своим чередом. Бабушка подливала водочки в рюмки, пригубляя сама, пригубляя тетка Дуня, после чего успевала накрыть рюмку дяди Филиппа. Он снова разил ее взглядом, и она снова отдергивала руку, и снова, булькнув, укатывалась водка в широко растворенный рот дяди Филиппа. От рюмки к рюмке он накалялся, будто самовар, багровела его шея у загривка, да в отличие от своего брата Левонтия мягчел взглядом дядя Филипп. Замечалось, что вот-вот он, не умеющий высказать свои чувства, всхлипнет, перецелует всех широкими губами, перетискает до хруста костей и отправится спать.

— Ты кушай, кушай, Филиппушка, — все насылалась с закуской бабушка и пододвигала к нему тарелку за тарелкой, помня, однако, что потчевать потчуй, а неволить не смей.

— Что «кушай»? Что «кушай»? Я без кушанья...

Эти слова дяди Филиппа мы понимали так: «Не за кушаньем я приехал, и не в угощении дело! А в приглашении. И вообще я всех вас очень даже люблю и стосковался я по тебе, крестная. И по брату стосковался. Не идет, горюн, гордится. А я к нему пойду. Вот погостю у тебя и пойду! Дунька пусть лучше не перечит и не докучает: ушибить могу. Кушать же мне совсем ни к чему, кушать я буду на судне, дома, а здесь я и так выпить могу, и ничего со мной не случится. Я человек не квельй, речник-механик, плаваю не первый год. Зимовал, бывало, и на Крайнем Севере, да судно мое все одно пар в сроки пуцало, хотя ни затону, ни притону там нету. Гайки к рукам зимою примерзали, когда судно к навигации готовили. А ты — „кушай!!!“

Вот как мы понимали ничего вроде бы не значащие слова дяди Филиппа. Бабушка даже слезу выжимала, оценивши их глубину и смысл.

— Работал бы на берегу, отчаянная ты головушка! — не раз советовала бабушка крестнику. — Порешишься либо утонешь. Шутка ли: утесы кругом, быки да камня. Страсть — наш Енисей-то! Не река, а Господь его ведаёт что.

— Х-хэ! — усмехался дядя Филипп и подмигивал мне — единственному мужчине за столом, кивая в сторону бабушки: дескать, занятая у тебя старуха, но в нашем деле ни черта не понимает. Я ему тоже подмигивал: не обращай ты, дядя Филипп, внимания. Я тоже, когда вырасту, в речники подамся, зуб, хоть один, да вставлю и «капусту» попрошу. Возьмешь меня к себе? «Знамо, возьму. Куда тебя девать-то?» — отвечал мне взглядом дядя Филипп и опрокидывал рюмку. Но тетка Дуня раз от раза становилась смелее и строптивее:

— Филипп, хватит! Хочешь как братец? Спиться хочешь?

Выведенный из терпения, дядя Филипп выразительно шмыгал носищем и смахивал со скамейки тетку Дуню.

— Э-э, крестничек! — грозила пальцем бабушка большеносому человеку в черном картузе. — Гляди у меня! Рукам волю не давай!

Дядя Филипп подхватывал тетку Дуню и шмякал рядом с собой. Он тут же выплескивал в себя рюмку водки, но уж как-то досадливо, без удовольствия, и не занюхивал даже хлебом.

— Вот так и живу, так и мыкаюсь я, тетенька Катя, — принималась жаловаться и причитать тетка Дуня. — Изгаляется он надо мною дни и ноченьки. Ушла бы я от него, утопилась бы, дак пропадет ведь, краснорожий, пропъется до картуза...

Дядя Филипп втягивал воздух так протестующе, что нос его загибался к уху, но говорить ничего не говорил. И за эту гордость и невозмутимость уважал я его трепетно, благоговел, можно сказать, перед ним. Вот это мужик! Сила!

Бабушка выручала из незавидного положения дядю Филиппа, урезонивала никак не унимающуюся тетку Дуню:

— Ну уж, так уж и ушла бы... Какие вы ноне проворные! Эку волю вам дали! Я вон век отвековала, но таких речей не только сказывать, думать не смела. «Ушла бы!» Пробросаешься, милая! Ноне мужик-то какой пошел? То-то, девонька! Твоему ить картуз-то такой не зря даден. На картузе золото, под картузом золотое того. А ты — «ушла бы»...

— Вот-вот. Это ты в точку, крестная. Я выпиваю, конечно. Нехорошо, конечно. Но я... — дядя Филипп сжимал кулачище и потрясал им под потолком. Мы все замирали, боясь за висячую лампу с абажуром. — Но я кординат не тер-р-ряю!

— Как же, как же не теряешь? А в Подтесове не терял будто? — вскидывалась тетка Дуня все еще обидчиво, но уже с нотками примирения.

— В Подтесове? — дядя Филипп бессильно ронял кулак. Был грех, терял, видно, дядя Филипп «кординат» в Подтесове. — Так мы ж там на ремонте, не в рейсе ж...

— А в Дудинке? — наступала тетка Дуня, понимая, что дядя Филипп наполовину уже сражен и самое время его добивать.

— В Дудинке? — дядя Филипп краснел до самых бровей. — В Дудинке? Тьфу, трепло! — плевался он и уходил из избы, большой, сгорбившийся, ни чуточки не колеблющийся, в лихо сдвинутом на бровь картузе, со своим загадочным «кординатом», который мне казался чем-то вроде золотой капусты, но был спрятан где-то в нагрудном кармане, и если его потеряешь, то уж все — не человек ты...

Тетка Дуня подробно поведала, как потерял «кординат» в Дудинке дядя Филипп. Работал он тогда первый год на катере с дизельным пускатом. И набрался на берегу до того, что ни тяти, ни мамы сказать не мог. А тут от причала гонят. Причал понадобился. Шумит начальство порта, штрафом грозит. Дядя же Филипп не только мозгами, но и пальцем единым не владеет. Чего только с ним ни делали: и нашатырным спиртом терли, и водой обливали, и уши почти напрочь оторвали — не берет. Тогда капитан катера приказал волоочь механика в машинное отделение и притиснуть его к дизелю.

Приволокли, притиснули. Капитан гаркнул: «Филипп, заводи!» Дядя Филипп раз-раз — покрутил рычажки, колесики, ручки, и дизель завелся. Тогда капитан громче: «Филипп, переводи на мотор!» И дядя Филипп выполнил команду точка в точку, не открывая глаз. А когда его отпустили, пал тут же, так и не проснувшись.

— А я что толкую? — подняла палец бабушка, выслушав этот рассказ. — Золотая голова!

— Ой, где же Филипп-то? Уж не к братцу ли ушел? — спохватилась тетка Дуня. — Ой, матушки мои! Сойдутся — не растащить. А та тетеря-то недосмотрит... — И помчалась тетка Дуня искать дядю Филиппа, уверенная в том, что он без нее ни прожить, ни обойтись не может и что тетке Васене одной с братьями не совладать.

Но в тот последний приезд тетка Дуня не накрывала рюмку дяди Филиппа, не оговаривала человека, не притесняла, только все взглядывала на него, длинно вздыхала и украдкой плакала. Дядя Филипп держался

разухабисто, выкрикивал одну и ту же фразу из песни: «И н-на Ти-ихи-им океани-и свой зако-ончили по-ход!»

— Дунька! Ты кого оплакиваешь? Меня? Ха-ха! Да я этих самураишек во! — Он зажимал кулачище так, будто самураи были муравьями и он их давил в горсти.

Я потихоньку вылез из застолья и убрел на улицу, и варенье как-то не влать елось, потому что бабушка не стерегла его, на меня не обращала внимания.

Дядя Филипп с теткой Дуней ушли «по родне» и появились у нас снова дня через три, усталые, осунувшиеся. Они отсыпались в широкой и чистой постели. Бабушка отпаивала дядю Филиппа огуречным рассолом, отводила душеньку, ругая его каким-то новым словом — «некрут».

— Ну, чё, нагулялся, некрут? Наколобродил? Дядя Филипп кряхтел тяжко, горестно морщился.

— Когда вы с Левонтием все вино это клятое выжрете? И когда вы, язвило бы вас, захвораете чем-нибудь, чтоб пить нельзя, чтоб на сторону воротило?..

— И так воротит, крестная...

— Воротит? Как не поворотит? С ведро выхлестал?

— Два наберется.

— Два! — ужаснулась бабушка. — А та, пигалица-то, — напустилась бабушка на тетку Дуню, таящуюся за спиной дяди Филиппа, — та кикимора-то, нет чтоб мужика окоротить, норму ему определить, сама, холера, туда же! Ведь на чужу сторону человек уезжат... Совет да беседу бы мужу с женой провести...

Отпоив дядю Филиппа рассолом, бабушка послала его в баню, потом опохмелила, угощала стряпней. Полный мешок набила печенюшками, калачами, шаньгами, со слезами провожала супругов к лодке, на берегу крестила новобранца при всем народе, и он смиренно стоял под благословением, большой, сконфуженный, покорный.

Дядя Левонтий, неспавшийся, с початой бутылкой в кармане, гремел:

— Филипка, держи кординат! Круши врагов на море и на суше! — и лез к брату обниматься.

— Да сокрушит, сокрушит! Не подавай только ему больше, — остепеняла Левонтия тетка Дуня.

Дядю Филиппа и тетку Дуню выплавили на проходящий мимо села пароход. Пароход сбавил пар, взял супругов на борт. Дядя Левонтий плакал, бежал по берегу следом за пароходом, повторяя слова, которые забыл

сказать:

— Филипка! Филиппушка! Братан!..

Высыпавший на берег деревенский люд почтительно говорил меж собою: «Шишка Филипп-то наш! Гляди, пароход застопорили. Выплыви бы кто из нас, так хоть заорись — не возьмет. Такой человек и в армии не затеряется. Его и в армии чином не обнесут...»

После я узнал — дядя Филипп оттого так рано нынче был в гостях, что разразился «дальневосточный конфликт» и его «нибилизovali» крушить «самураев». Приходило нам от него несколько обстоятельных писем с пожеланием всем родным здоровья, а друзьям приветы с Дальнего Востока, затем из Финляндии.

Погиб дядя Филипп в сорок втором под Москвой, где командовал ротой сибирских лыжников. Тетку Дуню я как-то встретил на Красноярском речном вокзале. Стоял в очереди за билетом на пароход, ко мне кинулась маленькая старушонка, распахивая народ, и поцеловала шершавыми, точно груздок, губами.

— Я гляжу со щеки-то — вылитая тетенька Катя!.. Слезы катились по усохшему лицу тетки Дуни, вся она сделалась, как птичка, совсем махонькая, носик у нее заострился.

— В Скиту живу, голубь, в Скиту, — рассказывала она о себе. — Понешнему-то в Дивном горске. Ну, это приезжие так, а мы, здешние, по-старому... Сошлась с одним ссыльным уж лет десять как. Электриком состоит. — Она скорбно смолкла и отвернулась. — Жить надо. Не дождалась я Филиппушку с позиций. Помнишь ли ты его?

Я сказал, что помню. Тетка Дуня пальцем убрала со щеки слезу и уже буднично продолжала:

— Крутонравный, покойничек, был, и пообидит, бывало, меня, а вот дня не проходит, чтоб не вспомнила я об нем. — Она еще помолчала, глаза ее остановились на каком-то далеком воспоминании. — Нонешний хозяин слова вкось не скажет, не то чтоб пальцем тронуть. А Филипп все одно с ума не идет. Так уж, видно, до гробовой доски и носить мне тоску-кручину в сердце...

Я еще раз вспомнил войну, еще раз подивился вековой загадке — женской душе, еще раз восхитился великим и святым чувством, имя которому — любовь, и решил помянуть дядю Филиппа.

На пристани купил бутылку пятидесятиградусной водки — другой тут не было. Водку эту речники именовали тучей. Пить одному мне не хотелось, и, когда погрузились в пароход, я зазвал в каюту проходившего мимо матроса.

— Выпейте, пожалуйста, со мной, — предложил я и кивнул на налитый стакан. Матрос быстро взглянул на меня: не пьяный ли?

— За что выпить?

— За дядю Филиппа. До войны он механиком плавал на этом пароходе. Матрос покрутил стакан в руке.

— Не помню. — Он еще посидел, еще повертел стакан в руке и стеснительно повторил: — Нет, не помню.

«Где уж тебе помнить. Ты до войны-то небось еще босиком по берегу за пароходами гонялся».

Матрос выпил полстакана, закусил кусочком колбасы и поднялся:

— Извините, больше не могу. Скоро вахтить.

Он ушел. Пароход «Спартак» — единственный пассажирский пароход, уцелевший из «стариков», — развернулся и суетливо зашлепал плицами, оставляя позади город, шумы его, дымы его и мосты.

Народу на пароходе реденько. Все ездят нынче на новеньких быстроходных кораблях. Это я решил потешить свою блажь. «Спартак» миновал пригород, свистнул тоненько на Лалетинском шивере и пошел меж бакенов. Его старинный, переливчатый и музыкальный гудок так ни разу за рейс и не оказал себя. Гудеть полным гудком запрещено.

И что-то еще откололось и ушло из моей жизни вместе с этим гудком. Поговаривали, что и сам «Спартак» дохаживает последние навигации, скоро его пустят на дрова либо приспособят под какое-нибудь полезное заведение.

Побухивали внизу подо мной колеса парохода, подрагивало стекло в раме, покачивалась и брякала подвешенная над головой люстра, старинная еще, пузырем. Весь пароход поскрипывал, позвякивал и тяжело, словно конь па подъеме, дышал. На столе дребезжал, ударяясь о бутылку, стакан. Была водка, было время, были деньги, были люди кругом, но не с кем выпить за дядю Филиппа — судового механика, не с кем.

Бурундук на кресте

Папа мой, деревенский красавчик, маленько гармонист, маленько плясун, маленько охотник, маленько рыбак, маленько парикмахер и не маленько хвастун, был старшим сыном в семье своего отца, Павла Яковлевича. Восемнадцати лет его женили на Лидии Ильиничне Потылицыной, девушке доброй, домовитой, из большой семьи, которая держалась своим трудом на земле, жила землею, и, как говорила с гордостью бабушка моя Катерина Петровна: «Придурков и ветрогонов у нас в семье отродясь не водилось».

Зато придурков, захребетников, всякого малого и большого народу кишмя кишело в доме маминогo свекра, где жили по присловью: ни к чему в доме соха, была бы балалайка! Здесь позарез нужен был работник, его и нашли.

О жизни мамы в семье деда Павла я ведаю по чужим словам, зато хорошо знаю своего папу и потому могу себе отчетливо представить долю мамы. Гулевой, ветреный, к устойчивому труду мало склонный, папа мой был еще и люто ревнив — стоило ему попасть с мамой в компанию, как он принимался шиньгать ее, щипать до синяков, чтоб она «не заглядывалась на других», и до того довел молодую женщину, что сгребла она его однажды в беремья и потащила в Енисей. Уж на мостках папу отобрали. «И здря, здря! — уверяла впоследствии бабушка. — Его, супостата, утопить следовало, а самой бы свету не лишаться...»

Быстро надорвалась мама в семье своего мужа, и как бы сложилась ее жизнь дальше — неведомо, но уже накатывали на деревню крутые перемены.

Когда-то на Большой Слизневке мой прадед, Яков Максимович, скулемал мельницу и вскормил ею много всякого люду, который от крестьянства ушел и к пролетарьям не пришел. Межеумки, драчуны, гуляки и бездельники, они, к несчастью, не успели пропить мельницу прадеда — началось раскулачивание, поначалу ничего такого особенного не сулившее, — ну, отобрали мельницу, хрен с ней — не караулить! Коней отобрали? Так и кони-то в хозяйстве держались по присловью: узда наборна, лошадь задорна. Серый, как собака, грыз напропалую всех, ходил только под вьюками по тайге, на пашне или в обозе его отродясь никто не видел, он и в стойло-то к себе одного моего папу пускал, и то лишь пьяного. Савраска был знаменит тем, что вышибал ворота и в щепье

разносил сани и кошевки. Другие лошади тоже норовистые, дикие, выменянные у цыган и заезжих людей. И коровы фокусные. Про одну из них, Чалуху, разговор ходил, будто способна она надоить сразу три ведра молока. Барственно-осанистая, гладкая, холеная Чалуха от стада держалась наврозь, гонялась за пастухом, норовя его забодать, доить себя вовсе не позволяла, зато сена съедала на раз по копне! И все хозяйство деда Павла вроде этой коровы: броское, дурное, надсадное, на выщелк, значит, на показуху только и годное.

После раскулачивания кто-то из трепачей пустил слух, дед Павел и папа мой по пьянке безголово его подтвердили: на родной усадьбе, в одном из лиственничных столбов спрятано золото, в каком столбе — они знают, да не скажут.

Деревенский алчный и горластый люд дружно ширкал пилами выветренные до железной крепости столбы, колол их взятыми с известкового завода клиньями, и получился у них самый что ни на есть горячий, увы, напрасный труд.

Не заполучивши фартового золота, горлопаны стали требовать доведения до победного конца раскулачивания, ускорить высылку «скрытой контры». Прадед, Яков Максимович, впал в детство, дни и ночи играл с прабабкой в подкидного дурака, дрался с нею из-за карт, до ветру ее не пускал по припоздало возникшей ревности. Из-за многих годов и малоумия ни с какой стороны он к высылке не годился, однако и его «вписали». Видевши свет всю жизнь воистину белым, в муке, прадед, как дитя, радовался переменам жизни. И когда на пересыльный пункт пришло известие о том, что прабабушка Анна, из-за хвори отставшая от своих, в «Бозе» почилла и похоронена на сельском погосте без соборования и отпева, прадед нисколько не горевал.

— Так и надо! Так и надо! — почти с ликованием кричал он. — Чё же это экое? В карты сыграть не с кем! — Дичая, прадед переходил на злобную скабрзность.

— Опомнись-ка, опомнись! — остепеняла прадеда жена моего деда Павла, Мария Егоровна, или бабушка из Сисима, как я ее звал. Но Яков Максимович никого не слушал, был возбужден, подвижен, когда семью погрузили на пароход и, загудев тревожно и длинно, он отваливал от Красноярского причала, прадед, петушком прыгая, выкрикивал: «Ура! Ура! В страну далекую, восеонскую! Тама кисельны берега! Речки сытовы! — и запел торжественно, стараясь потрафить провожающим: — Он, при лужку, при лужку-у-у-у... И-эх... забыл! И-эх! Забы-ыл!..»

— Што забыл-то?

— Не знаю. Чего-то забыл. Вспомнил! Ура! Ура! Вспомнил!.. А при знакомом по-о-о-оли-и-и... — Вдруг Яков Максимович пустился в пляс: — Эх, карасук, карасук, посади меня на сук. На суку буду сидеть да на милочку глядеть... — попробовал пойти вприсядку, но свалился набок, и, поднимая его с палубы, горя от стыда и страха, бабушка из Сисима трясла старого за шиворот:

— Чего буровишь-то? Буровишь-то чего? Гос-споди!

При выселении собралась на берегу вся деревня, вой стоял над Енисеем, выселенцам несли кто яичко, кто калач, кто сахару кусок, кто платок, кто рукавицы. Из правленцев на берегу оказался лишь дядя Федоран и принял на свою голову все матюки, проклятья и угрозы. И не только принял, но, севши на камень, разулся и бросил кожаные бродни федотовскому косолапому парню — этот отправлялся в ссылку совсем босиком. Явился на берег пьяный Митроха, взобрался на камень, выкрикивал какие-то напутственные лозунги. «Да уйди ты, уйди с глаз! — увещевал Митроху дядя Федоран. — Разорвут ведь!» Потом махнул рукой и ушел с берега. Митроху тычками угнала с берега жена, увещевая: «Свернут башку-то, свернут, ногу последнюю отломают, и правильно сделают. Да ведь страдать имя за такого обормота...»

Яков Максимович скончался в Игарке от цинги в первую же зиму. В ошкуре штанов, которые он упорно не снимал со дня высылки, были обнаружены и выпороты три золотых царских рубля, завернутых в клоч литой церковной бумаги. На клочке химическим карандашом были нацарапаны едва уже различимые каракули: «Пашка! Эти деньги мне на похороны! Не проигрывай их, стервец!»

Бабушка из Сисима, измученная семьей, больным и одичавшим стариком, напуганная грозными приказами насчет ответственности за утаивание горячего и холодного оружия, также ценных бумаг, жемчугов, алмазов, рубинов и прочих драгоценностей, отнесла три золотых рубля в комендатуру.

Яков Максимович был похоронен в казенной могиле на так полюбившийся ему казенный счет, и могила его первой же весной потерялась в лесотундре.

Бывший когда-то гордым, форсистым и гулевым, папа мой, оставшийся не у дел и без жилья, просил сельсовет выделить ему хотя бы кухню с печкой в отчем доме, потому что флигель — зимовье, в котором мы прежде обитали, был раскатан на салики, на них смекалистые гробовозы охотно плавали с торгом в город. Отгородить кухню с печкой сельсовет не разрешил, заверяя, что, как только утвердится артель, дом

будет починен и в него переселится правление колхоза имени знаменитого в Манском краю партизанского командира товарища Щетинкина.

Тетка Татьяна, Ганька Болтухин, Шимка Вершков, Митроха, стуча себя в грудь кулаком, говорили речи. Наивысшего взлета в этом деле достигла тетка Татьяна. Каждую речь она заканчивала срывающимся выкриком:

«Сольем наш энтузиазм с волнующим акияном мирового пролетариата!» И люди, которые послабже сердцем, плакали, слушая тетку Татьяну. Даже бабушка моя, Катерина Петровна, робела от умных слов невестки и стала навеличивать ее — Татьяна Ванна, хотя по заглазью продолжала срамить ее за бездомовность, необходимость, но уж только при закрытых ставнях позволяла себе разоряться бабушка.

Хмурился, помалкивал Федоран Фокин, мужик искони здешний, еще молодой, он понимал, что словами, даже самыми громкими, самыми умными, народ и обобщественную скотину не прокормишь. В артели же все шло на растатур: пашни зарастали, мельница с зимы стояла, сена поставлено с гулькин нос. Тревожно за село, за людей. Кое-кого да кое-что правленцы похозяйственной спасли, отстояли — ретивые горланы рвались не только поскорее выдворить из села богатеев, но и порушить до основания все кулацкое — молотилки, жнейки и всякий прочий крестьянский инвентарь.

Терпеливо и долго вразумлял умный мужик вошедших в раж говорунов, призывая пахать землю под зябь, расковыривать межи в горах — на покатах да по склонам увалов заплатами расклеенных пашен, и в первую голову — пустить мельницу. Искони кормившиеся с мельницы, овсянские жители ручных жерновов не знали, толочь зерно в ступах ленились, парили его в чугунах и ели целиком.

С такого харча много не наработаешь. Ребятишки стали маяться животами. Тут кто-то и вспомнил про моего папу — он один на селе умел управляться с мельницей — битьем и пряником заманив вертлявого старшего внука на мельницу, дед Яков научил его своему ремеслу. Поскольку мельница была на селе вроде клуба, где круглый год шла неутихающая гулянка, прерываемая лишь авариями да когда «жернов ковать», — папе здесь поглянулось. Приучился он на мельнице пить, на спор тягаться на опоясках, скакать верхом на лошадях, лазить на приводной столб, воровать на селе кур на закусь, жить обособленной, «мельничной» жизнью, где вроде бы все дозволено. В пылью и паутиной задернутое, шершнинными гнездами увешанное, грохочущее, содрогающееся и в то же время совершенно глухое, об одно оконце в конторке мельничное помещение никакие бабы, кроме самогонщицы Тришихи, не допускались.

Мололи мужики иной раз по неделе, ссылаясь на очередь, с мельницы являлись чуть живы, пропившиеся, со свежеподстриженной башкой — папа, помимо обязанностей мельника, безвозмездно занимался еще и цирюльным делом.

Правление посулило папе со временем, когда он честным трудом докажет сознательность, записать его в колхоз, выделить «фатеру» в старом запустелом доме. Маме тоже разрешено было принять участие в труде на «общественной ниве», к которому она с радостью и приступила, надеясь, что с этой поры все пойдет на успокоение, может, и в самом деле наступит то благоденствие, о котором так горячо толкует свояченица Танька — важная фигура на селе, хотя детишки ее как были голодны и запущены, такими и остались, и, кабы не бабушка Катерина Петровна, не дед Илья да не тетки с дядьями, вовсе бы им беспризорно помирать. Дядя Митрий — муж тетки Татьяны, сгорел с вина, правда, бабушка Катерина Петровна до самой смерти не соглашалась с таким позорным заключением и утверждала, что помер он от недогляда бабьего иль, того хуже, порешил самого себя от стыдобушки.

«Может, и наших из далекой земли вернут?» — высказывала затаенную мысль моя мама, которая в доме свекра из стаек и конюшен не вылезала, была бодана, топтана и кусана диким скотом, от печи не отходила, матюков полную котомку наполучала от одноглазого «тятеньки», но вот тосковала по своим, жалела Марью из Сисима: «Как она там, на дальней сторонущке с оравой?»

«Блажен человек, иже и скоты милует, — корила ее бабушка Катерина Петровна, — мало ты на чужеспинников ломила? Мало! Надорвалась! Болесь добыла! Естество женское повредила...»

«Об чем ты, мама? Детишки ведь малые уехали невесть куда». И никогда мама не проходила мимо дома свекра просто так, поклонится гнезду, в котором изработала молодость, всплакнет: «Тятенька! Марья! Дедушко! Где-ка вы? Студено, поди-ко, без родимого-то угла?» Все это мне часто рассказывала бабушка Катерина Петровна после гибели мамы, рассказывала всякий раз с прибавлением не только слез, но и черт маминого характера, привычек, поступков, и облик мамы с годами все более высветлялся в памяти бабушки, оттого во мне он свят, и, хотя я понимаю, что облик моей мамы, вторично рожденный и созданный бабушкиной виной перед рано погибнувшей дочерью и моей тоской по маме, едва ли сходился с обликом простой, работающей крестьянки, мама была и теперь уж навеки останется для меня самым прекрасным, самым чистым человеком, даже не человеком, обожествленным образом.

Папа пустил мельницу. Как и в былые времена, начали уединяться на ней мужики, и, хотя безвылазно находился на ответственном посту Ганька Болтухин, порядки, укоренившиеся на мельнице, никуда не сдвинулись. Здесь, как и прежде, пили, тягались на опоясках, дрались и мирились, до смерти заганивали отныне «не своих» лошадей. Подпоясавшись мучным мешком, папа щелкал ножницами, сыпал прибаутками: «Стригу хоть спереду, хоть сзади, хоть голову, хоть чё! Стригу долго, беру дешево: с Гаврила — в рыло, с Трофима — мимо, дурака — за пятак, Болтухина — за так!..» — и карнал тупыми ножницами земляков. А Ганька Болтухин слушал «недоброго элемента» да запоминал его безответственную трепотню.

На мельнице и всегда-то водилось много крыс, а на ту пору они тут тучами объявились, да все какие-то осатанелые, визгучие. Крыс ловили капканами, придумывали им прозвища и «казню», одну страшнее другой: то вместе с капканом окунали в воду, пока крыса не захлебывалась, то жгли на костре и старались это делать так, чтобы помучить зверину подольше. Трусоватая, при этом нездоровая злобность охватывала людей. «Гли-ко, гли-ко, залезо грызет! Вдарь ее, вдарь! Разможжи!» По мельнице бегало несколько страшных крыс-инвалидов, они отгрызли лапы и ушли из капканов. Когда останавливали жернов, слышно делалось: там, наверху, скачут на деревяшках не то черти, не то домовые, аж кожу на спине коробит, вот как скачут.

«Магушка! Царица небесная! Совсем вызверился люд! Совсем осатанел! И чё только будет?» — крестились старые люди на селе. Боевая моя бабушка Катерина Петровна бояться за меня стала, на мельницу к папе не велела ходить, но я уж привыкать начал к развеселой мельничной жизни, лазил где попало по мельнице, глазел на гулевой народ, дивовался веселым выдумкам, боролся с ребятами под мужицкие одобрительные похвалы, ловил хариусов на обманку, смотрел, как мужики галятся над крысами, хотя и жутко было, все равно смотрел, слыша, как стынет кровь в жилах, в спину ровно кто гвозди вколачивает, сердце заходится, — но я — мужик, охотником буду, зверовиком, стало быть, мне никак не полагается расти трусом.

Зимой на мельнице случилась авария — перепившийся мельник пал на посту. Жернов какое-то время колотился вхолостую, затем из-под него выжало клин, жернов рухнул на передачи, те на колеса осели — все сооружение хрустнуло костями и замерло. Шумела только вода под колесами и на водосливах.

В прежнее время не раз сотворяли по пьянке и безалаберности аварии

на мельнице мой папа и дедушка Павел. Яков Максимович дрыном их бил, загоняя с пешнями под колесо, в холодную воду, где папа и добыл неизлечимую болезнь. Он и эту аварию воспринял без особого потрясения. «За неделю наладим, — сказал беспечно Болтухину, — отдолбим колесо, окуем жернов и с песнями меленку пустим. Ведро самогонки „на колесо“ — и ты узришь настоящую трудовую энтузиазму!»

Вместо ведра самогонки папе, как вредителю, «выставили» пять лет в приговоре и отослали проявлять «настоящую трудовую энтузиазму» на Беломорканал.

Вернулся папа через два с половиной года со значком «Ударнику строительства Беломорско-Балтийского канала им. Сталина», ввинченным в красный бант. Значок этот папа выдавал за орден. Держался папа так, словно бы не из заключения, не с тяжелой стройки вернулся, а явился победителем с войны — веселый, праздничный, гордый, с набором «красивых» городских изречений, среди которых чаще других он употреблял: «В натуре».

В первый же вечер влетел в избу закадычный папин друг и собутыльник — Шимка Вершков, еще от дверей крича: «И где тут Петра? Где мой дорогой трут-товарищ?» — на ходу выжимая трогательно-чистые слезы из радостных и потрясенных глаз, протягивая руки для объятий.

Ответной готовности к объятиям не последовало. «Чисто», по-городскому одетый мой папа, с «орденом» на лацкане пиджака, строго сжал губы и, удерживая Вершкова рукой на расстоянии, сурово молвил:

— Па-а-агадити, тонарищч Вершков! Па-а-агади-ити! — Шимка, совершенно растерявшись, опешил, в недоумении пробовал улыбаться, по лицу его, попрыгивая, продолжали часто катиться светлые, ребячьи слезы. Значительно поглядев на застолье, на всю родню и разный народ, к нам сбежавшийся, папа пригвоздил Вершкова, да что там пригвоздил, расшиб, можно сказать, в лепешку вопросом, глубина, смелость и значимость которого потрясли все наше село и надолго утвердили авторитет моего родителя как человека «мозговитого», обладающего способностью говорить и мыслить «по-начальственному». — Абьиснити мне, товарищч Вершков, и абьиснити в натуре, за что, — папа сделал паузу, — за что и па-ачиму вы упрятали меня за сурову теремну решетку? — На последних словах голос папы осекся, задрожал, и губы его повело в сторону.

Бабушка моя заутиралась концом платка, дядя Ваня, шумно и сочувственно засопев носом, налил в папину рюмку водки. Но папа ее решительно отставил, сплеснув при этом на скатерть. И, все так же сурово хмурясь, настойчиво ждал ответа. Застолье молчало. Народ весь пугливо

замер, лишь бабушка Катерина Петровна, вытирая слезы, качала головой, и по выражению ее лица, по горести, совсем уж безутешной, полуприкрытой снисходительной улыбкой, можно было догадаться: она до тонкостей постигла всю невеселую комедию, кураж, за которым ничего больше не последует, кроме стыда, ерничества и неловкости.

— Нн-н-не-ет, вы не молчите, вы атвичайти, товарищ Вершков! А потом я ишче спрощу вас о жене моей, Лидии Ильиничне!..

— Да чего уж там! — махнула бабушка рукой. — Кто старое помянет... Лидиньку не воротить. Акульша-то, огонек лампадный, тоже погасла, — пояснила она отцу, — обнимитесь уж! Выпейте! Друзья всешки, хоть и придурковатые. Жены-то вот, жены-то ваши где-ка? Жен-то каких ухайдакали, разбо-ойники! — как бы отпустив что-то в себе, разрыдалась бабушка, и все за столом начали плакать.

— К-ка-ак? И Акульша? Кума моя?.. В натуре?..

Шимка Вершков глядел на папу, не в состоянии что-либо вымолвить, лицо его сплошь захлестнуло слезами, лишь кивком головы он подтверждал: да, и его горе не обошло, не миновало. Сгреблись в беремя два друга, два непутевых мужика, одинакового ростика, хватками и характером, даже лицами схожие, что родные братья, сгреблись, рыдают. И я, обхватив их ноги, рыдаю почему-то, закатилось бабье, мужики потылицынскими носищами воздух втягивают, аж в лампе свет полощется. Из-за косяка двери средней выглядывают Васька, Люба и Вовка — дети Шимки Вершкова, всюду за ним ягнятами таскающиеся, и, показывая на них пальцем, Шимка пытается и не может выговорить: «Сиро... сиро...» — но все угадывают, чего он желает объяснить моему отцу, и помогают:

— Сироты! Тоже сироты, как наш Витька. Он-то хоть оди-ин... А тут... троё-о-о-о...

Слезами облегченные, горем примиренные, все рассаживаются за стол, напичивают детей вообще, сирот в особенности, городскими гостинцами. Где-то в какой-то час или день вспыхивают короткие перепалки; папа все еще пытается припереть друга к стенке серьезными вопросами:

— И еще я должен сообщить, товарищ Вершков, надвигается пора новопорядка. — Напустив на лицо умственность, вертя в руке рюмку, многозначительно говорил папа.

— Какого ишшо порядку? Уж такой порядок навели — дальше некуда!

— А такого, — свернув голову, как птица, набок и все не утрачивая умственное выражение на лице, продолжал папа. — Разум, уложение, быт! — Папа обвел всех победоносным взглядом и, видя, что вверг публику в потрясение, назидательно поднял палец: — Разум, уложение, быт.

Папу робко просили объяснить всю эту мудрость. Потомив народ, папа объяснил, показывая при этом на потолок, что в одном месте самый умный и са-амый большой человек пишет самую ба-альшую книгу, где всем будут указаны главные законы жизни, в том законе — главные статьи: разум, уложение, быт. Согласно этой книге — уже полностью веря в говоримое, вещал папа — на каждых воротах, на каждой двери будет сделан глазок, как «у камары», и особо уполномоченный день и ночь станет ходить от дома к дому и глядеть в глазок: торжествует ли разум в данном дворе, каково уложение, то исть порядок, нет ли разложения и бесхозяйственности. Снова, свернув голову по-птичьи, многозначительно щурясь, папа напирал с новой силой на Вершкова:

— И что тогда вы будете делать, товарищ Вершков, с вашим уложением быта?

Народ, возбуждаясь, говорил, что Вершкова да Болтухина никакими книгами да законами не запугаешь, они сами же и сделаются особо уполномоченными, всех совсем разорят и все пропьют.

Народ, однако, интересуется, откуда ему, Петьке-то, про книгу сделалось известно?

Папа строго поджимал губы, с усмешкою обводил взглядом публику. «Да вы что! — говорил весь его вид, — это ж тайна, глубокая тайна», — и, сойдя на шепот, приказывал:

— Ни з-звука! Он там все слышит и все знает! А книга закон установит для всех и для товарищца Вершкова тоже.

Вершкова уже голой рукой не возьмешь, он уже «при памяти и на коне»! Он заявляет, что той порой, когда отца увозили, в деревне его не было, на лесозаготовки мобилизовали, а то б он разве допустил?.. Да он бы суд со всеми его законами разогнал! Болтухина наганом прикончил и тюрьму по кирпичу разобрал, несмотря что она в городе и под вооруженной охраной. А что касается книги, то на всех книг не напасешься — раз! Уложения всякие таким людям, как они с Петрой, — не указ — они были и до гроба останутся самыми верными друзьями — два!

Снова целованье, слезы, разговоры, песни и пляски. И все пытается, но никак не может выбрать времени Вершков рассказать, как долго болела и умерла Акульша — его жена. Да и что ему рассказывать-то? Про то, как он доконал ее, насадил, сломал ей жизнь? Катерина Петровна лучше них все и всем расскажет и добавит в заключение, глядя на друзей, все так же горестно качая головой: «А может, восподь-то смилоствился над жэнщинами-страдалицами, избавил их от кровопивцев? Токо вот дети-то, дети сколь мук примут с такими отцами?»

Один только раз сходил папа на могилу мамы и сделал там сообщение: узнавши о гибели дорогой жены, хотел он разбежаться и разбить голову о каменную стену тюрьмы. Но отчего не разбежался и не разбил — пояснять не имел времени. Он начал активно свататься, искать «ответственную» работу. И скоро исполнил и то и другое. В лесозаготовительном поселке Лиственном заделался завхозом; в соседней деревне Бирюсе отхватил мне «маму», от роду которой было восемнадцать годиков. Смазлива на лицо — докатились слухи до Овсянки, но нравом дурна, чуть ли не психопаточна. «Царица небесная! Да чё же это делается? На кого же он Лидию-то променял, страмина этакий! И чё же с Витькой-то теперь будет?!» — кляла отца и плакала бабушка.

Папа повез меня в поселок Лиственный — на смотрины. Катанчошки и одежонка на мне были худы, морозы тогда сухие в наших местах стояли, без слякостей зима обходилась, на реке, как определено было природой, лед стоял, зимник в торосах пробит. Меж скал каленый хиус тянул, и где-то за Усть-Маной, возле речки Минжуль, я до того застыл, что мне уж никакую «нову маму» видеть не хотелось, я сначала тихонько заскулил, потом завыл на всю реку.

Обматерив меня для порядку, коня погнали в плохо накатанный отворот. Сани бухали полозьями о льдины, строгались отводинами о зубья торосов, мы долго пересекали Енисей, затем еще дольше поднимались по мало торенной дороге в гору. Со всех сторон обступила нас и сомкнулась над дугой лошади тайга. Глухая, белая, с кое-где обнажившимися камнями дорога виляла, нехотя открывая нам желобок, усыпанный хвоей, семенами шишек и реденько чернеющими конскими катышами. Колокольчик под дугой побрякивал негромко, мерзло, вещая о людском непокое и движении, поскрипывали стылými завертками сани, ударяясь на разворотах отводинами о близко стоящие деревья. Высоко уже в горах, где каменных останцев было больше, чем деревьев, с черной лиственницы снялся глухарь, дуром метнулся в серую смесь леса, хлестко ударяясь крыльями о мерзлые ветви. Лошадь, с испугу сбившая шаг, наладилась снова на мерный ход, клубок дороги все разматывался по лесу, белая ниточка ее все кружилась и кружилась, уводя нас к небу.

Но вот в гущине тайги, меж голых стволов, раз-другой мелькнула живая искорка огня и надолго пропала. Мне попритчилось, что едем мы «не туда», что увел, закружил нас лесной хитрый соседусшко. Однако вскоре лошадь облегченно фыркнула, надала ходу и даже рысцой затрусилась с горки; под полозьями скрежетнул камень, брякнуло чем-то о подворотню, и мы вкатились в старый двор с гостеприимно распахнутыми резными

воротами, возле которых, прихватив у горла толстовязаную шаль, стояла женщина, приветливо, однако без улыбки нам кланяясь.

Эта женщина и отхаживала меня, засунув мои ноги в лохань со снегом. Боясь громко орать в тихой, беленькой, пахнущей травами, пихтой, лампадным маслом и свежей известкой избушке, я ронял слезы на половики, в лохань, на горячую железную печку, и женщина шепотом, но настойчиво просила меня отворачиваться, чтоб на печку слезы не ронять — «глазоньки испекутся, красной болезнью покроются». Подслеповатая, не умеющая громко разговаривать, какая-то вся пушистая, она не руками, тоже пушистыми лапками касалась меня, гладила, мазала, и то место, которое она гладила, переставало болеть. Жгучую резь в руках отпускало, теплое успокоение окутывало меня.

Женщина дала мне долбленную из дерева кружку душистого чая. Я тут же вспомнил дедову кружку на заимке, и зачастили капельки из моих глаз. Женщина, как бы догадавшись, чего я вспомнил, провела ладонью по моей голове, выдохнула: «Дитятко» — и дала мне меду на блюдечке да еще ржаной пряник, похожий на плоскую, растрескавшуюся дощечку. Я выпил чай, мед с блюдца вылизал, пряник утянул в рукав рубахи. Женщина обняла меня и, словно больного, осторожно провела в боковушку, опустила на широкую лавку, застеленную войлоком и подушкой в бледненькой латаной наволочке. Побросав на меня крестики двумя соединенными пальцами, ровно бы не ртом, выветренным листом прошелестела: «Положи, Господь, камешком, подыми перышком!» — задернула ситцевую занавеску в проеме и неслышно удалилась.

Какое-то время достигал меня говор мужиков — папы и конюха с поселка Лиственного, слышался приветливый и все такой же тихий голос хозяйки, редко и деликатно вступающей в беседу, но все плотнее затягивалась надо мной цветная занавеска, глаза и слух прикрывало пеленою крепкого детского сна.

Лишь назавтра в пути узнал я, что ночевали мы в «страшном» Знаменском скиту, где живут староверы, раскольники и всякий другой уединенный люд, вызывающий почтительный трепет в округе и жуть в сердцах падких на суеверия овсянских гробовозов.

С «новой мамой» мы попервости ладили и даже песни пели дуэтом. Но после того, как папу с «ответственной работы» согнали и залез он в тайгу, на промысел пушнины, зажала семью нужда, начались у нас с «мамой» раздоры, постепенно переросшие в схватки.

Раз я бросился на мачеху с ножом, и она носила твердое в себе убеждение, что я в не столь отдаленный срок вырежу всю семеюшку и подамся в бега.

Несмотря на бездомовье и материальную неустроенность, пылкие мои родители быстренько произвели на свет ребеночка и, вернувшись из тайги, поселились было жить в Овсянке у бабушки, но она их скоро помела из своего дома. Папу моего бабушка терпеть не могла, называла трепачишкой, винила его, и не без оснований, в смерти мамы, хотя известно: смерть причину найдет. Мачеху же Катерина Петровна «не приняла», презирала, называя подергушкой, растрепой, кляла за то, что та долго любит спать, срамила за алябушник — непропеченный хлеб, за легкомысленный характер, бросивший ее на чужое дитя, когда и сама она, по заключению бабушки, «разумением еще не шибко богата».

Новой нашей «фатерой» оказалась сплавщицкая будка, стоявшая в устье Фокинской речки. Она была сооружена для пикетчиков и, пока не начался сплав, пустовала. Здесь, в этой будке, полутемной, готовой вот-вот свалиться во вздувшийся Енисей с подмытого яра, я снова захворал длинной и нудной болезнью — малярией и чуть было не бросил я тогда «чалку», по выражению удалых енисейских речников.

Бабушку ко мне родители не подпускали и «на дух», проявляя «прынец» — умственное это слово папа тоже привез с Беломорканала вместе с «орденом», который потерял по пьянке.

Бабушка еще по ранней весне повязала мою голову венцом с тремя молитвами, я относил тот венец три дня, и она увела меня в лес, там сожгла бумагу под осиной, которую повязала лоскутом от моей рубахи, пепел же от сожженного бумажного венца растворила в пузырьке со святой водою, велела мне его выпить и кланялась осине, внушала ей взять мою трясуху, поскольку ей суждено вечно трястись, а «ребенку» это дело ни к чему. Но ни пепел трех молитв, ни осина не помогли. Тогда бабушка стала учить меня заклятьям «от лихорадки», и так они были жутки, что я по сию пору не могу иные забыть; повторял я их не по три раза, а по триста раз на дню, однако без бабушки никакого мне облегчения от болезни не было, вместо бабушки являлись костоломные старцы, зверье оскаленное, черти, дьявольщина всякая, колотили меня, молотили, жарили, шарили, по постели волочили, все жилки и корешки во мне перетряхивали. Между приступами болезни, в весну, в половодье, все чаще повторяющимися, я мог бы сбежать к бабушке, но на моем попечении был маленький ребенок, керкающий в люльке, да и мачеха зорко меня стерегла. Охотно и к кому угодно сбывали меня родители на прокорм и догляд, но вот «прынец»,

который скорее всего окончился бы для меня «могилевской губернией»: однажды я выполз на солнышко, на бережок и, кутаясь в старый отцовский шабурок, глядел в мутную воду Фокинской речки, поднятую подпором Енисея, и не то у меня закружилась голова, не то я и в самом деле мгновенно принял решение утопиться — опомнился уж в воде, остро полоснувшей по мне, стиснувшей тело ледяными оковами.

Как я выбрался на берег речки и оказался в избушке — не помню. Колотило меня после купания трое суток подряд и, выколотив из слабого парнишечьего тела все, что еще можно было выколотить, веснуха удовлетворенно стала отступать. Тут начался сплавной сезон, из будки пикетчиков семью нашу попросили. Мы долго не могли нигде определиться на жительство. Одни не пускали на квартиру из-за тесноты, другие из-за бабушки Катерины Петровны — уж шибко худого мнения она была о моей мачехе, хозяйки боялись, кабы папа мой не совратил хозяина пьянством, совращались же гробовозы по части выпивки охотно и во все времена.

В нижнем конце села все еще пустовал крестовый дом деда Павла. В разгороженном пустополе двора зарастали бурьяном колотые столбы, окна в доме перебиты, рамы выдраны, из-под надбровников свисала куделя с запутавшимися в ней перьями и остатками воробьиных гнезд. Папа, промышлявший на селе цирюльным ремеслом, которое он усовершенствовал в заключении, уже и не решался проситься в родной дом, в колхоз его не приняли, да и делать ему там нечего было — мельницу на Большой Слизневке смыло, сам колхоз имени товарища Щетинкина разваливался под руководством тетки Татьяны, Ганьки Болтухина, Митрохи и Шимки Вершкова. Тетку Татьяну и Болтухина в конце концов с руководящих постов согнали, председателем колхоза выбрали наезжего умного человека по фамилии Колтуновский, но дело было так уж завалено, что и он поставить на ноги артель не сумел. В тридцать девятом году колхоз в нашем селе перестал существовать, земли его были розданы городским организациям и подсобному хозяйству сплавной конторы.

Прослышав о диких заработках, какие огребали жители знаменитого города Игарки, не умеющий унывать мой папа и младая годами и умом мачеха решили двинуть в Заполярье, откуда изредка приходили письма, торопливо писанные дедом Павлом. Папа мой еще в молодости плывал на Север, под Гальчиху, — рыбачить, шибко разжился тогда деньгами и в успехе нынешнего предприятия не сомневался, твердо веруя, что сделает жизнь нашей семьи зажиточной, радостной и докажет еще этим овсянским гробовозам, как он разворотлив, предприимчив и не зря носит «масло в

голове».

Жили мы в ту пору у какого-то дальнего родственника папы. Взявши слово, что не будем скандалить, воровать дрова, папа покажет хозяину в тайге солонцы, давно им сделанные для приманки маралов, и, кроме того, подстрижет всю семью под городскую «польку-бокс», родич пустил на «фатеру» в подвальный сырой полуэтаж, где веснуха обрадованно воспрянула и взялась трепать меня с новой силой.

Приходила бабушка Катерина Петровна, увещевала моих бойких на язык и скорых на ногу родителей, пробовала оставить меня, ослабленного лихорадкой, в деревне. «Уж как-нибудь двое сирот проживем, с голоду не помрем, а и помрем, дак вместе...» Не вняли родители словам бабушки. Папа гневался, ругал старуху, и она удалилась с плачем со двора — подалась на кладбище, зная, как часто неведомая сила влечет туда внука, надеясь там повстречаться со мной, пожалеть, достать из фартука раскрошенную шаньгу и скормить, жалуясь деду, маме и всем родичам, собравшимся в одной оградке, на мою и свою долю, на такое обращение «супостата», которого она еще при жизни Лидиньки видела «скрозь», но он обкрутил, оболгал, обжулил всех, и вот что теперь получилось...

* * * *

И в последний перед отъездом вечер, пока родители готовились гулять отвальную, я утащился на кладбище. Когда-то кладбище было на задах села, на берегу Фокинской речки, которую из-за мелководности еще и Малой зовут. Вплотную к кладбищу подступал и нависал над ним серый каменный останец, поросший поверху бояркой и земляничником. В навесах его, по выступам и щелям цеплялись примулки, шипицы, каменная репа, выступало из щелей мокро, понизу бычок был весь во мху. На останец собирались девки и парни, сидели там, обнявшись, пели песни, щупались, дождавшись, чтоб упала темень на округу.

Потом кладбище с двух сторон обступили дома, по-за речкой образовалась завозня-мангазина, сторожка Васи-поляка. И кладбище, если смотреть с увалов, вроде большой слезы вкатывалось в самую серединку села; когда начались преобразования, колыхнулось, рассыпалось село, дома снова отступили, прижались к реке, кладбище снова выпросталось из деревенских закоулков, одиноко зазеленело под скалой, лес к нему снова

подпалил, песни на останце смолкли. А птицы и всякая лесная живность никакой разницы не понимали меж «своим домом» и последним человеческим прибежищем, жили, пели тут, вили гнезда, кормились с могил, и как только взошел я на бугорок, увидел бурундучка на маминем кресте. Он умывался лапками и насмешливым глазом глядел на меня. Крест на мамину могилу делал Зырянов, с фасонными округлостями на вершине и на концах перекладин. Лиственничный крест стоял основательно и по сю пору еще стоит среди кладбища. Над ним возвышалась рябина. Узловатая сосна с большими, почти голыми нижними ветками опутала корнями соседнюю приотптанную могилу, вобрала в себя чей-то прах и перекинула лапы в «нашу оградку».

Бурундук с креста мотнулся на сосну, стал играть со мной в прятки, то удергивая полосатую головку за ствол дерева, то высовываясь. Я оперся подбородком на острую штакетину оградки и смотрел на мамину могилу, не зная, что сказать, что сделать и как расстаться с нею. Бурундук спустился на нижний, надломленный сук дерева и оказался над самой моей головой. Нервно подергивалась его красивая головка, подрагивал кончик задиристого хвоста, бурундук коротко и тревожно чикал, будто бил кресалом по кремню. Чиканье участилось, бурундук всполошенно метнулся по стволу сосны, рассыпав переборы свиста. Сзади раздался шорох, кто-то шел, шепча молитвы, раздвигая перед собой палкой жалицу.

Я услышал бабушку.

Молча вошла она в оградку, стала на колени, трижды поклонилась могильным холмам, поцеловала землю и принялась творить молитву. Я все висел подбородком на копье штакетины и не мог заплакать, не умел ничего сказать, молиться отучился в школе. Бабушка, треща суставами, поднялась сначала одной, затем другой ногой, бормотала о земле, которая ее уж к себе тянет, и нисколько бы она не против лечь рядом со всеми своими, успокоиться да повиноватиться перед Лидинькой.

При слове «Лидинька» у меня закипело в груди, слезы начали подниматься к глазам, и я хотел их, слез-то, утешения какого-нибудь хотел, но с чего-то опять запаниковал бурундук, опал с сосны на рябину, с рябины скакнул на крест, с креста метнулся в кладбищенскую дурнину и, желтым лоскутом мелькнув, исчез в лесу.

— Бурундук! — Бабушка перекрестилась. — Зверюшка безвредная, а все зверюшка. Поди-ка не к добру? Ой, не к добру! — и покачала головой.

Мы долго молчали.

— Ваши-то гуляют? — Я ничего ей не ответил. — Проститься-то прибеги. Я подорожников испеку... — Она еще повременила, постояла

горбясь, опершись на палку, и, не дождавшись никаких от меня слов, низко поклонилась могиле мамы, распевно, однако без обычной напускной жалости, начала: — Лидия Ильинична, голубица ты моя ясная! Погляди, послушай в остатный раз сыночка своо горемышного. На чужу сторону, в разлуку вечну увозят его искарיותы...

— Не надо, баб...

— Э-эх-х-хо-хо-о-о-о! — вздохнула бабушка. — Плакать не смею, тужить не велят. — Вытирая костистым суставом пальца мокрые морщины под глазами, она пошла с кладбища, раздвигая перед собой таяком жалицу, лебеду и коноплю. По ее сгорбленной спине и по резким выпадам таяка, которым она, точно саблей, срубала жалицу, напревшую на жирной могильной земле, я угадывал: бабушка раздосадована чем-то, может, и мною — не дал вот ей излить душу, всласть покостерить моих родителей.

Все не оставляла меня веснуха, таилась во мне, проклятая, все осердие мое, бывало, сотрясается, как она пройдетя по телу, губы шлепают, свистят и разом терпнут будто луковок борца я наелся. Чуть еще посерело в распадке, едва вечерней сыростью с гор нанесло, трава не затяжелела от сырости, а уже пузырьчики под кожей у меня покатались, лопнули, рассыпались по всему телу холодными брызгами, заплясали губы, застучали челюсти, что сторожевая колотушка.

— Прощай, мама! — тихо вымолвил я, приостановив в себе дрожь, еще хотел добавить: «Прости меня», да зряшное все это, притворное. За что ей меня прощать-то? За то, что покидаю ее? Так ведь не по своей охоте и не живую покидаю. Живую я во веки веков не покинул бы, держался б за нее и, когда вырос, работал бы дни и ночи, в хорошую больницу определил — ноги у нее больные были, — чтобы не маялась ногами. Я все сделал бы, чтоб здоровая была мама, чтоб хорошо ей на этом свете жилось.

Но зачем об этом толковать, пусть и с самим собой? К чему о несбыточном думать? Пусть и про себя. Только душу травить.

* * * *

Отвальную пили наверху, у хозяина. Когда я вернулся с кладбища, гулянка была в самом распале: папа плясал, мачеха с подвывом смеялась, трясла головой, повествуя, как приехала к ним в Бирюсу молодая учительница, объелась черемухи и какие действия с нею после этого

начались. Всякий раз, когда душу мачехи посещало светлое настроение, она с большой охотой повторяла этот любимый свой рассказ.

Я залез на печь, укрылся каким-то тряпьем, прижался грудью и животом к кирпичам — тело мое обрадованно пустило в себя тепло и стало бороться с занявшимся ознобом. Кто-то заголил занавеску на печи, сунул мне постряпушку.

— Чё, опять его лихоманка трясет? Вот привязалась! — сказала мачеха внизу, напуская на себя озабоченность, но вякнула гармошка, звуки ее вознеслись к потолку, ударились в бревна стен и, отпрянув от них, выплеснулись в распахнутые окна. «Н-не для-а лю-убви, а-я для за-ба-а-вы-ы-ы-ы и эх, о-о-ен использова-ал мии-ня-а-а-а», — грянуло застолье.

Про меня все, слава Богу, сразу забыли, от тепла, от вкусной печенюшки озноб откатил. Под гармонь и песни я уснул, и виделась мне бабушка в черных одеждах. Опершись на черемуховый таяк, она нависла над окном, почти вросшим в землю, метала в полуподвал шаньги, молила, просила: «Батюшко! Подай голос! Живой ли ты, кровинушка моя? Не свели тебя ишшо со свету искарюты?!» Было такое, приходила опять бабушка, опять ее ко мне не пустили. Тогда она стала перед окном на колени; кидала мне лепешки, причитая при этом так, чтоб слышно было всей улице. Я просил ее уйти домой, потому что мачеха срамила бабушку, фуганула лепешки обратно, и они лежали в пыли, эти дорогие ныне для бабушки постряпушки из горсти муки, насыпанной ей сыновьями иль другими родичами: не стало кормильца в доме. Отяжелел, изнаосился в работе дед Илья Евграфович. Отбыв последний свой срок на земле, он еще сходил в баню, обмылся, надел чистое, лег на свой курятник, уснул и больше не проснулся. Тихую, без мучений, принял кончину дед. Он ее такую заслужил — единодушное было решение на селе.

Все стояла бабушка в черном, все звала. Я пытался откликнуться, попросить, чтоб она шла домой, не мучила бы себя и меня, но никак не мог проснуться, бился на печи. Помогла мне пьяная компания. В какой-то совсем уж, видать, поздний час дом охватило волнение — в горницу залетел и метался страховидный нетопырь — летучая мышь. Резиново ударившись в стену, нетопырь брякнул железным абажуром лампы и комочком упал на стол меж тарелок.

— Ай! — взвизгнули бабы. Папа зажал нетопыря в платок, отнес на улку и, матюкнувшись, выбросил.

Гуляки насторожились. Папа и мачеха присмирели — нетопырь залетел в человеческое жильё к беде! «Ой, не ездили бы вы, Петра, никуда», — начали увещевать папу женщины. Но папа, когда его так вот,

по-доброму, о чем-то просили, еще пуще хорохорился, упрямей устремлялся к намеченной цели и выкрикивал, что ему-де все нипочем и он-де еще всем в натуре докажет там, на далеком Севере, как надо жить и работать. У меня совсем томительно сделалось па душе. Два раза за один вечер услышав «Ой, не к добру!» — я и в самом деле склонился к мысли, что все эти явления: бурундук на кресте, нетопырь в избе, бабочки да тля разная, густо залепившие лампу, недоброе нам знамение, и папина отчаянность не от добра, от вина и боязни его перед будущим проистекает. Перебрав, папа, как всегда, долго не сдавался сну, сидел под лампой у окна, курил, рассуждал сам с собою вслух насчет жизни нынешней и грядущей, живо при этом жестикулируя и упиваясь собственным красноречием.

* * * *

Уплывали почему-то рано. «От сглазу», — как потом догадался я. На реке еще клубился, а под ярами сугробно лежал туман. Было холодно, сыро и одиноко. Хозяин нашего последнего на селе пристанища провожал нас и старался сделать это как можно скорее, чтобы добрать на утра недоспанное. Папа был пьян еще и сердит. Сгружая на плотик узлы и две кадушки с огурцами, он оступился, зачерпнул в сапоги и на мой просительный взгляд отозвался громкой бранью, из которой следовало, что мы и без того опаздываем на пароход, недосуг ходить-расхаживать куда попало.

Не дано мне было попроситься с бабушкой, и я этого никогда не прощу заботливым родителям.

Хозяин бросил веревку, натужившись, оттолкнул плот багром, мачеха с папой ударили потесями, нас подхватило течением и понесло плот в проран между бонами. Я держал на коленях безмятежно спавшего брата Кольку, который не запомнит и никогда больше не увидит родного села.

Погруженное в сон и тишину село это отдалялось и отдалялось. Я вытягивал шею, пытаюсь увидеть бабушкину избу, но и в прибрежном-то посаде дома лишь тенями, углом крыши или бани, горбиной амбара, звеном прясла, растянутого гармошкой, проступали из тумана, да скворечни, много скворечен без опор, сорванно плавали над туманами, и на них, выставив пузцо, отряхивались на утренней зорьке, готовясь к утомительной работе, черные скворцы.

Где-то шумела Малая Слизневка, но где шумела — не видно, будто в

туманном бреду турусила речка. Зато горы, леса и скворечни уже с жердями прорисовывались все явственней, осаживало туманы, за ними начинало желто обозначать себя солнце. Кулики и плишки, береговушки и стрижи засуетились у реки и над рекой, свет над лесами разливался шире, ярче, слышнее сделался плеск Енисея — мы выбились за боны. Прорычала и кособоко, бугристо промелькнула вздыбленная вода на той самой головке боны, о кою ударилась лодка, — в ней плыла мама с передачей папе. Скрипя расшатанными шпонами, боны все истоньшались, вытягивались ниткой, шум воды, охлестывающей их, умолкал. «Зачем же ты, мама, не взяла меня тогда с собою в город? Не разбудила! Пожалела! Были бы сейчас вместе, и сестренки, что до меня жили, и ты, и я... Куда мне плыть с этими вот? Зачем? Кто они мне? Кто я им?..»

Глубокое, недетское отчаяние рвало в те минуты мое сердце, а было мне одиннадцать лет. Но я по сию пору вживе ощущаю ту дальнюю боль, слышу в себе рану, нанесенную тем, что не дозволено было мне проститься с бабушкой. Ведь где-то тайно, про себя, я надеялся: она не отдаст меня, не отпустит, спрячет надежно, укроет от родителей, мне никуда не надо будет плыть-ехать, и снова нам станет хорошо жить.

Отдалился, минул шум и Большой Слизневки, его как бы втянуло обратно в горы, в леса, и все село всосало в себя паром земли, может, и сама земля — ни голоса человеческого, ни бреха собачьего, и рожок пастуший не звучит. На нас надвигались каменные оплеухи — скалы, впереди раз-другой оказал себя Собакинский остров, катился, нарастал, близился рев Шалунина быка, который мы должны миновать мористей, пройти до города самой стрежниной — так было намечено папой.

У самых ног кружилась голубовато-холодная вода. Плот качало, расшатывало, быстро несло вперед и вперед к закрытому туманом городу. Мерно, будто очеп люльки, поскрипывала кормовая потесь, возле которой прикемаривал папа. Мачеха свою потесь вынула из воды, затиснулась в узлы, прижала к себе Кольку. Вайны, скрепляющие бревна плота, перетирало проволокой, плот скрипел, хлябался, туманы вовсе смахнуло с гор, они плотно сжали реку и пространство вокруг нас. Скорлупку плота как хотело, так и кружило, куда хотело, туда и несло. Несло же, конечно, в преисподнюю, а раз так, то и скорбеть не о чем, и бояться нечего — все там будем, заверяет бабушка Катерина Петровна. Безразличие ко всему овладело мной. Я вздохнул со стоном, протяжно, по-церковному отрешенно: «Во сне даже лучше погибать, незаметно и нестрашно». И куда-то покорно опал, овеванный речной прохладой, меня тоже закружило течение легкой сухой коринкой.

Где-то, в какой-то час все начало меняться. Сонное тело сдавило, голова налилась свинцом, сердце стиснулось в груди, воздух загустел, будто в бане, горячо обжигал нутро. Я проснулся от нестерпимо палящего солнца, очумелый, расслабленный, долго не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Шатаясь, я подошел к краю плота, лег на живот, попил воды, обмакнул лицо, затем и голову в реку. Колька хныкал, выпрастывался из одеялишка. Мачеха вылезла из узлов, косматая, недовольная, широко зевая, шарясь пятерней в волосах, постояла средь плота, подумала о чем-то, вытерла мокрого Кольку.

Плот учален возле речки Гремячей. Чуть ниже речки начинался город. По мосту гремели поезда, лязг и разноголосица паровозных гудков доносились со станции. Ближе других строений был к нам мелькомбинат с безглазыми кубическими сооружениями, поштукатуренными по щелям. Чудища — пузатые, ослоенные мертвенно-серым налетом, таили в своей утробе глухоту. Совсем непохоже на мельницу.

От мелькомбината в реку спускался загороженный транспортер, к которому прилепилась баржа. Транспортер пыхтел и хукал, высасывая из баржи пшеницу. На барже пошумливали помпа, лилась с высоты из патрубка вода, разбиваясь в брызги. Мужик в черных валенках и белых подштанниках просеменил к нужнику, висящему над рекой.

Отец ушел в город за лошадью. Мачеха сбегала на берег, за камни. Колька заорал, решив, что ненаглядная мама покидает его навсегда. Мачеха звонко его шлепнула, но не утолила тем свое неудовольствие, и тут как тут я подлил масла в огонь — заглядевшись на городские диковины, уронил в воду эмалированную кружку. Мачеха отвесила и мне крепкую затрещину. Все правильно. Заработал, не открывай широко варешку-то. Папа все не появлялся и не появлялся. Я стал думать, что из-за кружки, хотя она и эмалированная, совсем необязательно давать такую сильную затрещину, можно и внушением на первый раз обойтись. Я ж ее не нарочно утопил! Стоим вот, ждем, с бабушкой не дали проститься. Некогда, видите ли! Опаздываем, понимаете ли! На пароход! Все-то у нас походы, все-то пароходы! Все-то мы ездим-катаемся, счастья ищем. У-ух, за-р-р-ра-зы!.. Пусть еще хоть раз тронет меня эта самая мама, тогда узнает она, где ждет ее счастье, увидит баржи и пароходы, самолеты и паровозы — весь транспорт разом!..

Колька егозился, егозился в узлах, вывалился наружу, трахнул лбом о бревно, покатился ногами кверху дальше, чуть в реку не угодил. Там его только и видели бы! Вода возле Гремячего лога отбойная, течение изорванно-дикое. Мачеха сгребла Кольку, задержалась, запричитала, сунула

присмирелого ребенка обратно в узлы и принялась со щеки на щеку хлестать меня. Поскольку я не чувствовал за собой никакой вины и считал, что за кружку мне попало зря, я толкнул мачеху. Не ожидавшая от меня сопротивления, мачеха замахала руками, закачалась и ухнула в реку с головой. Выбившись наверх, она молотила ногами и руками, пробовала кричать «караул!», но захлебывалась водой. И «отдала бы чалку», но я спустил с козлины потесь, мачеха цепко поймалась за нее, потом за меня, выбралась из воды, очумело огляделась и, поняв, что жива, задергала головой, запричитала. Получилось так, будто гоню ее на чужую сторону, на верную погибель я, клятый и проклятый выродок, бандюга, навязавшийся на ее бедную головушку.

Радый, что все так благополучно кончилось, я уж ничего ей не говорил в ответ.

По верхней дороге, над речкой Гремячей, загрохотала телега. Лошадь, упираясь ногами в сыпкий камешник так, что хомут с нее снимался, спускалась вниз, к реке. Мачеха закрылась платком, взывала громче прежнего.

— Чё у вас тут опеть?

Мачеха возвела навет, будто я пытался перетопить все семейство: и ее, и Кольку — не дали, видишь ли, злопамятному гробовозу попрощаться с родимой бабушкой. Сегодня, слава Богу, обошлось, спасли люди добрые, но за дальнейшее ручаться нельзя — утопит, зарежет, подожжет, чего хочешь сделает с ней и с ребенком, потому как характером весь в потылицынскую родову, а родова эта известно какая: молчит, молчит, да как ахнет!..

Отец прикрикнул на причитающую мачеху, мне же показал на Николаевскую гору.

— Видишь эту гору? — горестно сомкнув губы и скорбно моргая уже захмелелыми глазами, поинтересовался родитель. Я кивнул, вижу, мол, отчетливо вижу. — В натуре видишь? Там, на горке, — белый-белый домик есть! Краева тюрьма называется. Твой родимый дом это будет, милый сыночек! — Отбыв несколько месяцев в белом домике до отправки на Беломорканал, папа отчего-то истово желал, чтоб весь извилистый жизненный путь его непременно был повторен детьми.

По дороге в Игарку без приключений у нас тоже не обошлось. Папа кутил, угощая огурцами из кадок дружков, коих он заводил мгновенно и в любом месте. Я попеременно с мачехой, когда пароход останавливался брать дрова, отправлялся за кедровыми шишками и ягодами. На большом Медвежьем острове, заслышав гудок, который имеет свойство дугой

перегибаться над островами и откликаться на протоке, я и еще какой-то парнишка ударились бежать в иную от парохода сторону. И чем сильнее, чем заполошней ревел пароход, тем стремительней мы летели в глубь острова. Почуввав совсем уж глухую, темную тайгу, рванули мы обратно и были схвачены матросами. Они на ходу поставили нам компостеры сапогами в зад, побросали в шлюпку и устремились к пароходу, который из-за нас задержался на полчаса, — папа многие годы корил меня тем, что «высадил» тогда тридцатку штрафа. Но я не верил ему уже ни в чем и насчет тридцатки сомневаюсь по его пору.

Приехавший на игарскую присгань встречать нас на подводе — так телеграммой велел папа — дед Павел вытаращил свой единственный глаз, и мне даже показалось — глаз у него завращался колесом — так поражен был дед явлением семейства старшего сына. Когда из двух кадушек выловлено было пяток раскисших шкур от желтых огурцов, плавающих в мутном рассоле, дед и глазом вращать перестал. Усы его, воинственно острые, обвяли, понял дед, что мы явились не только без имущества, но и без копейки денег в его барачную комнатенку, где и без нас народу было завозно.

Однако дед Павел был человек разворотливый, находчивый и быстренько пристроил моего папу на упущенное «по дурости» золотое место продавца в овощном ларьке. Следом за папой и мачеху сбыл дед, меня же подзадержал, учував рыбацкой страстью подточенную душу и поняв, что такого незаменимого покрученника ему не сыскать во всей Игарке.

В середине зимы бабушка из Сисима заставила меня навестить папу, чтоб он вовсе не позабыл о родном дите, надеясь потихоньку, что родитель подсобит мне деньгами, купит чего-нибудь из одежки, потому что щеголял я в обносках дядьев. Папа был на развязях, оживлен, боек, с треском кидал косточки на счетах, забавлял покупателей, особо покупательниц, прибаутками: «Всем господам по сапогам, нам по валенкам!», «Двадцать по двадцать — рупь двадцать плюс ваша пятерка — что мы имеем?! В уме?» За ухом папы торчал голубой карандаш, придавая ему вид не только деловитый, но и многозначительный. Он не торговал, он царствовал в овощном ларьке. От головы и усов его на все торговое помещение кружило запахом одеколона и водки, перешибающих запах гниющих овощей и нездешней, назьмом отдающей, земли. Одет был папа в синий сатиновый халат, распахнутый так, что видно было новый костюм, голубую рубаху. На руке родителя чикали, шевелили стрелками огромные зимовские часы.

В больших старых валенках, в заплатанной тужурке сельского образца, в драной шапке я мог своим видом оконфузить, подвести перед публикой блистательного родителя. Да куда денешься? Свои люди! Как ни был занят папа, все же заметил меня, мимоходом сунул рубль «на конфетки», велел приходить потом — дальше ему со мной возвращаться было недосуг. Моментально мы были отторгнуты друг от друга бурным ходом торговли. «Э-эх, все у меня не так, всюду лишний, никому не нужный... В леса уйти бы, одному жить, но скоро морозы грянут, а в здешних лесах и летом-то не больно сладко жить-существовать. А! Была — не была! Куплю-ка я на рублевку чего-нибудь лакомое. Конфеты не стану — конфеты и пряники я пробовал, хоть и редко».

Проявив сноровку, купил я на весь целковый ореховой халвы, которой объелся до того, что отбило меня с той поры от нее напрочь.

Скоро овощной ларек закрылся — овощи ли все проданы были, проторговался ли папа — не знаю. На неопределенное время пути наши вовсе разошлись, мы потеряли друг дружку из виду. Как-то дядьки-гулеваны занесли слух, что папа мой пристроился работать в парикмахерскую горкомхоза, и я заключил, что дела родителя совсем плохи — стричь он мог деревенский, неразборчивый люд под какую-то самолично изобретенную «польку-бокс», брил лишь самого себя, да и то по нервности характера резался, резать же себя — одно дело, и совсем другое — пластать клиентов, пусть даже клиенты те ко всему привычные, все невзгоды перетерпевшие игарские жители-заполярики.

Карасиная погибель

Как и у всякого нормального человека, у меня было два дедушки. Если природе и судьбе угодно было выбрать мне в деды двух совершенно разных людей, сделав меня тонкой прокладкой между льдом и пламенем, — они с этой задачей справились и сотворили даже некоторый перебор.

Крупному, молчаливому человеку, земному в деяниях и помыслах, Илье Евграфовичу противостоял чернявый, вспыльчивый, легкий на ногу, руку и мысль, одноглазый дед Павел. Он умел здорово плясать, маленько играл на гармошке. Войдя в раж, дед хряпал гармошку об пол, сбрасывал обутки и такие ли выделывал колена, вращая при этом единственным глазом, потешно шевеля усами и поддавая самому себе жару припевками: «Эх раз! По два раз! Расподначивать горазд! Кабы чарочку винца, два ушата пивца, на закуску пирожку, на потеху деу-у-ушку-у-у!» Выстанывая слово «деушку», дед воспаляюще сверкал глазом и пер на какую-нибудь молодку, вбивая ее в конфуз и панику. Дед Павел был еще лютым картежником и жарился не в заезженного подкидного дурака, не в черви-козыри иль мещанского «кинга», а в «очко» и какого-то «стоса». Что за игра такая — «стос» — не знаю, но слово это пронзило память и пугает меня по сей день. До жуткого содрогания доводили не только меня, малого человека, повергали в ужас и взрослое население дедовы заклятья, творимые во время картежной игры: «Черви, жлуди, вини, бубны! Шинь, пень, шиварган! Шилды-булды, пачики-чиалды! Бух!»

Занимался дед Павел рыбалкой и охотой, без особого, правда, успеха. Менял лошадей, собак и засорил завезенными из города чудищами благородную породу охотничьих лаек в нашем и окрестных селах. Хлебопашеством, землей и каким-либо устойчивым делом дед Павел не занимался и о постоянном труде понятия не имел. Сшибал подряды на заготовку дров и дегтя, перегон плотов и валку леса, выжиг извести, пиление теса и даже мрамора; ходил в извоз, устремлялся к молотильному делу, но после того, как порушил несколько молотилок и не смог их наладить, стал креститься к коммерции.

Сесть, задуматься, взяться за ум, как старомодно выражалась моя бабушка Катерина Петровна, деду Павлу было попросту недосуг — жены не держались в его дому, сламывались от бурности жизни, валились под напором пылкой природы деда, оставляя малых сирот. Дошло до того, что в ближней местности не находилось больше отчаянной девки или бабы,

которая пожелала бы войти хозяйкой в дом деда. И тогда дед задумал и осуществил дерзкую по тем временам операцию: нарядился в хромовые сапоги, надвинул картуз на незрячий глаз, прихватил гармошку, деньжонок и двинул в глухие верх-енисейские края. Там он, как выяснилось после, показал размах, удивил музыкой, веселым нравом, аккуратностью в одежде и намеками на «богачество» несколько верховских деревень, населенных скромным крестьянским людом. И в небольшом сельце с прелестно-детским названием Сисим высватал выросшую в сиротстве молодую красавицу Марию Егоровну, представившись невесте председателем потребилковки, и, подтверждая на практике свои коммерческие склонности, для начала наполовину обсчитал ее в детях.

Великие муки принявшая за мужа, за детей, им нажитых, Мария Егоровна — бабушка из Сисима — впоследствии с улыбкой рассказывала о том, как прибыла супружеская чета с верховьев в Овсянку и как по мере приближения к родному берегу смирил и заискивающе-ласковым делался бравый жених.

— Пристал наш плёт. — Бабушка из Сисима прирожденно меняла звуки в иных словах, и они у нее получались неповторимо-музыкальными, какими-то детскими, что ли. Меня, к примеру, она звала так, как никто не звал и не мог звать — Вихторь. — Пристал плёт, а оне, ребятишки-то, как высыпали на берег!.. Большие и маленькие, в штанах и без штанов. Гляжу, горбатенький один вертится, трещит. Спрашиваю, чьи это ребятишки-то? — «Наши», — повинился Паиль, — Ну, наши так наши... — Поплакала я да и потянула воз, Богом мне определенный.

Дед Павел мечту осуществил-таки, заделался председателем потребилковки. Пережив почти полное угасание, торговое дело в конце двадцатых годов начало обретать по-сибирски небывалый размах и не могло не захватить такого делового человека, как мой дед. Гулянки в доме деда ширше, многолюдней, размашистей пошли, зачастили в Овсянку из города специалисты, да все знатные, все по торговой части и по юриспруденции. Скачки, тяжба на опоясках, пальба из ружей, песни и пляски до упаду. Бабушка из Сисима и глазом моргнуть не успела, как образовалось у нее собственное дите — Костька.

К той поре, как двинуть по своей доброй воле нашей доблестной семейке в Заполярье за фартом и мне «открыть» своего второго деда, все у него уже образовалось: Вася и Ваня работали на лесобирже, Костька — родной сын бабушки из Сисима — ходил в школу, дед рыбачил либо играл в карты в бараках вербованных сезонников, «сяма» служила домработницей у доктора Питиримова. Вся остальная семья спала,

впаянная мертвыми телами в непробудную вечную мерзлоту.

Прибыв в Игарку, отец и мачеха «забыли» меня в семье деда Павла. В барачной комнатенке ютились пятеро, но, хочешь не хочешь, пришлось им потесниться и выделить пространство шестому — я спал под столом. «Дитятко не рожено, не хожено, папой с мамой брошено», — похохатывал дед. Поначалу был он ласков со мной, жалел, даже баловал сахарком либо конфеткой-подушечкой, потому что выдержать долго его никто не мог и напарника на рыбалке у него не было.

— Ладно, Витька, не радуйся, нашедши, не плачь, потеряв, да еще таких родителей, мать их перемать! — ободрял он меня. — Вот наступит ход рыбе, и мы с тобой двинем на реку...

В ту пору дед сторожил овощехранилища. Было дело, торговал он овощами в ларьке, но, войдя в размах коммерции, где-то просчитался, скорее всего проиграл выручку в карты, едва ноги унес из прокуратуры, заняв денег у доктора Пителимова на покрытие недостачи, и почел для себя более спокойным занятием не продавать, а сторожить овощи, «само же золото место» передать подвернувшемуся к моменту старшему сыну.

Спустя рукава, наплевательски, можно сказать, относился дед Павел к обязанностям сторожа, сдается мне, он презирал свою должность. Захватив казенный дробовик, дед Павел ускользал от овощехранилища в известный лишь ему барак с неусыпно мерцающим окном, нюхом картежника чуя за ним соратников по азартному ремеслу. Не знаю, выиграл ли он чего, но бит бывал. Частенько разымал дед Павел платок на глазу, зашторивал им верх лица. Усы, всегда лихо закрученные, — «не беда, что редка борода, абы ус кольцом!» — у него иной раз были какие-то усталые, измочаленные. И не раз я слыхивал от деда со вздохом произносимое: «Не за то мать сына била, что играл, а за то, что отыгрывался».

Пагубу свою — картежную страсть — дед Павел таил всеми доступными средствами, но все-таки доводилось мне видеть его в игре, и до полного потрясения поражало меня дивное преобразование человека. Вперед всего замечались дедовы усы, и не просто усы — крылья сокола, да что там сокола, самого орла крылья! На суховатом, изветренном лице, заканчивавшемся несоразмерно крупным, властным подбородком, парили те крылья в ветровой выси, то загибаясь одним концом, то рассекая встречные вихри другим. Опадали оба крыла к углам рта, как бы в полном изнеможении, дед принимался их жевать — конец полету, крах жизни, судьба разбита.

Но мысль работала напряженно, мысль не угасала, она искала хода, билась в глухой тьме о коробку черепа и с муками выпрастывалась из

заперти. Вздогнуло, затрепетало, выровнялось, начало подниматься в выси и само собой заостряться одно, затем другое крыло, ощупью пока, словно бы обретая уверенность, усы подрагивали, шевелились, трепетали кончиками и снова взмывали, кружились и летели в гибельно-сладкую стихию страстей. Над усами, на затвердевшем, то бледнеющем от напряжения, то вспыхивающем жаркой радостью лице совсем отдельной сосредоточенной жизнью жил глаз деда, чуть притуманенный хмелем вдохновения. На миг, на краткое мгновение покидала бесстрастность лицо деда; воинственной, беспощадной сталью взблескивал глаз, и сразу вспоминались кинжалы, сабли и вообще все смертельное, острое. Но мгновения эти и остались мгновениями, дед не давал воли своим страстям, гасил роковые силы, способные разорвать его и все вокруг на части, оттого и глаз, в иное время бешеный, вертящийся колесом, теплился за прищуренной ресницей вкрадчивым огоньком: иди, иди, ротозей, на тот огонек, на ту приветную щелочку в оконном ставне, ошморгают тебя, обдерут — и жаловаться некуда, поскольку сам пришел, сам форта жаждал, сам башку под топор подставил...

Конечно же, как и всякий заядлый картежник, дед сыпал во время игры каламбурами, присказками, издавал вопли, стоны, замирал в стойке перед явной добычей и тут же хватался за голову, рвал волосья, бросал карты на пол, топтал их, выключался из игры, опускал голову, решая вопрос жизни и смерти.

Но упадок сил, полное разбитие души и тела происходило недолго. Одна-другая реплика, хохоток, присказка достигали слуха деда, он озирался, будто после обморока, цеплял глазом огонь лампы, замечал колоду карт, ловкое мелькание рук в застолье, шлепанье карт о столешницу; глаз его начинал моргать, шевелиться, усы восстанавливались во всей силе и красоте, и, гаркнув что-то лихое, словно бы мчась на тройке под гору, он бросался к столу, на ходу выная из-за голенища бродней последние, на табак оставленные рубли. «Золотые, налитые, эх, конечки огневые, мчите во дьяволы врата! — швырял он рублишки на стол. — Сдай, кормовой, еще по одной! Не блефуй, не мухлюй! Черти сжарят на том свете! Карта-мать! Карта-сладь! Жись-копейка, с фартом — рупь! Перебор, как забор, на ем не только кустом, подштанники оставишь!.. Ах, милаха! Ах, деваха! Дама с усами да еще дама с бородой! Знать Феклу по рылу мокру! Лучше бы удавились иль моей жене явились! Говорено же, говорено: не называй котят мышами — кошка слопает. Все! Последний раз в жизни ставлю! Бахилы! Новые бахилы на кон! Себе, не вам, перебор не дам...»

Бывало и это. Ох, бывало! Являлся дед домой босиком и подвергался

такому посрамлению, что, казалось, не только в карты, он в лапту играть не решится. Бабушка из Сисима, которой дед был всем обязан и виноват перед нею на веки вечные, умела, как и всякая русская баба, обратить потраченную ею во благо семьи доброту на угнетение супруга, повторяла, что грешное его тело и душу съело, что «сельце» ее уже почернело все, срам и стыд она терпит такой, что хоть от доктора Питиримова из домработниц уходи, что молодость и жизнь ее загубил, а какой пример подает сыновьям и внуку?

Ну и всякое такое. Чтобы поменьше торчать на глазах «сямой», дед подавался «к себе», пропадал с весны до осени на реке, сам себе он там царь, бог и вообще вольный человек.

Бабушку из Сисима дед уважал, наверное, даже и любил — самую лучшую рыбу не съест — домой отвезет, ягод насобирает, орешков набьет, копейку, где-либо добытую, за рыбу вырученную, мимо дома не пронесет, утаит самую разве малость — на винцо да на картишки. Бабушка из Сисима, конечно же, все это знала, да какая ж она была бы жена, если б не кособочилась, не позволяла себе кураж, не давала острастки мужу. Вот и побрасывала, покидывала всякую там утварь, шипела гусихой, когда дед, ластясь, пытался подвалиться под бочок в самый сок и тело вошедшей жинке. Но год от года бабушка из Сисима все больше и больше подавляла деда, и, непривычно в себя ужавшийся, он лишь покашливал, пожимал плечами и вопросительно вздымал усы: где и чего опять напрокудил? В том, что он чего-то напрокудил, сделал неладно, дед и не сомневался, вот отгадать бы только, где, когда, и вовремя смыться.

С детства, еще с церковноприходской школы, это началось. Однажды с приятелем вместо школы свернули на Енисей, там ледостав начался, рыба от шуги подваливала к берегу, пряталась под светлые забереги. Принялись покрученники глушить рыбу чекмарем — дубина это такая с наростом на конце. Взрыхлив муть, раскидывая галечник, белой молнией метались ельцы, пулями улетали в року хариусы и ленки, не по туловищу уворотливые ускользали под камни налимы.

В азарт вошли парни, про школу совсем забыли.

Заглушили они двух налимов, с десятков ельцов и сорожин, спрятали добычу за пазуху и, довольнехонькие собой, подались в школу. Угодили парни на Закон Божий. «Можно, батюшка?» — постучали они вежливо. Поп велел им войти, но, конечно, поинтересовался, отчего чады опоздали и где так лопоть вывозгрили? Парни чего-то плели насчет петуха, который забыл петить иль поет как дурак непутевый: прокукарекано, а там хоть не светай! Но тут возьми да и завозись за пазухой деда обыгавший в тепле

налим.

«Што у вас под лопотью трепещется, чады?» — «Голуби, батюшка», — не моргнув глазами, тогда еще двумя, мгновенно нашелся мой будущий дед. «Што же вы, анафемы, Божью тварь мучаете?! — рявкнул поп. — Выпустить андельску птичку!» Вынули добытчики «голубей», поп аж затрясся: «Божьего слугу омманывать?! Батюшку не почитать! Покар-раю!»

И покарал:

«А возьмите-ка, отроки грешныя, голубков в зубы и подержите-ка до конца урока, дабы смрад из зева вашего лживого не чадил и не застил света Божьего, не портил духу велелепного».

Деду налим попался икряной, увесистый, фунта на четыре. Подержал его дед в зубах за хвост какое-то время, налим уж в полпуда стал ему казаться. Голову долит, шею ломает, да еще склизкий налим, удержи-ка его в зубах! Словом, шмякнулся налим об пол и ну о половицы хвостом хлестать! Приятелю налим хоть и меньше угодил, но тоже выпал изо рта и тоже повел себя мятежно.

Батюшка без восчувствия: «Подымите, подымите, чады, рыбок с полу. Совсем толику время их держать в зевах осталось, — посмотрел на карманные часы и благодушно заключил: — Всего осьмнадцать минут...»

— Я с тех пор долгогривых видеть не могу! И поселенца-налима брюхо мое, почечуй мой, — ругался дед, — не приемлет без вина. Ну прямо вот хоть ты чё делай, воротит, и все!..

Раздобыв где-то двуствольный самопал, дед вдарил из него в нарисованный углем на заплоте поповского двора круг и попал ли в цель, неизвестно, — обожженный пистон угодил ему в левый глаз. Пока был парнишкой, бегал просто так, с зажмуренной, пустой глазницей, потом выбитый глаз завязывал крахмально-чистым, хрустящим платком и до конца дней остался таким «чистоткой», что вбивал людей в почтительность умением пройти по игарским хлябям в хромовых сапогах и при этом не посадить на них ни одного пятнышка. Самого деда Павла это поднимало в собственном глазу до такой высоты, что он упоительно бранил всех кряду, особенно Васю, Ваню и Костьку, называя их как ему только хотелось: полоротыми, охредями, слепошарыми...

Мы ставили с дедом подпуски-переметы в устье Губенской протоки, той самой, по правому берегу которой полукружьем располагается порт Игарка. Шел налим, и чем дальше в осень, тем он гуще и смелее шел. А уж настала пора мне учиться, и сел я на второй год в четвертом классе, не вызвав никакого, конечно, ликования среди учителей, давши им слово, что

буду прилежен, послушен и на третий год постараюсь не задерживаться.

Я и хотел так поступить. Дед-хитрюга делал вид, будто он и слыхом не слыхивал о какой-то там школе. И зачем она парню, который одержим идеей жить и пропасть на воде?! Бабушка из Сисима пробовала увещевать меня, ругала деда, он на денек-другой со мною расставался, но скоро снова уманивал на протоку.

Еще не наступили большие холода, заморские корабли не все еще покинули порт. Летали табуны уток и плюхались на воду шумно, порой без опаски. Дед становился в лодке на одно колено и долго водил в воздухе стволом ружья. Сидя на лопашках, я ждал выстрела, задержав дыхание. И когда подходила пора испустить дух, в табуне уток, чаще рядом с ним либо дальше, брызгало по воде, следом вылетал черный дым из ствола, слышался хлопок выстрела, мы начинали гоняться за подранками, и не раз мой дед побывал за бортом. Вытащенный из воды, он бросался на меня с кулаками. Бил и шестом, бил не только меня, но всех, кого доводилось бить, чем попало, совершенно не выбирая, где у человека мягко, где твердо. Я отрекался от деда Павла наотрез. Но уж до того он вызнал мои слабости, что выстоять я перед ним не мог и снова оказывался в лодке, на воде.

Той осенью, в студень, безветренный день, на бережку у костра приняв для сугрева четушку, дед открыл мне тайну моего рождения: стало известно, что я дважды крещен и потому не должен ничего и никого бояться.

Маме моей, ломившей вместе с молодой женой деда Марией Егоровной в огромном бесшабашном семействе, когда пришла пора меня рожать, пришлось подаваться в баню, так как во всем доме стоял дым коромыслом, гуляли наехавшие из города дружки и знакомые дедовы, сплошь «нужные ему люди». Утром, ослабевшую, маму привели из бани в горенку. Опохмеляющимся гостям, хозяину дома и папе моему показали узелок, в котором был завязан я — первый папин сын и внук деда Павла первый. Бывшие до меня две девочки, мои сестренки, умерли совсем маленькие. Где было выжить слабому полу в таком гае, разгуле, в табачном дыму!

Дед тут же закатил пир на весь ближайший мир, во время которого городские гости вызвались окрестить меня и тянули спички, так как все жаждали стать моими крестными, а я был всего один. Ездили в город за подарками, крестиками и прочей культовой утварью; гурьбой тащили меня в церковь. Через неделю чуть выздоровевшая мама, держась за стены, вышла в переднюю и попросила показать крестных. Получилась заминка — крестные в городе, кого из них как зовут, в каких они ведомствах служат,

по какой улице проживают — дед вспомнить затруднился. Мама расплакалась: с дитем обошлись, как со щенком! Никуда не годится такое обращение — она трудом своим, поди-ка, заслужила, чтоб не к ней если, так хоть к ребенку ее по-человечески отнеслись...

Дед повинился перед невесткой, как-то уломал попа окрестить меня вторично, отрешившись на сей раз от выбора крестных из городской знати. Мама сама, к своему и всеобщему удовольствию, со своей стороны выбрала мне в крестные свою сестру Апронию, с отцовской стороны меня крестил брат отца, дядя Вася, личность тоже очень занимательная, но о нем чуть позднее.

Снова пошла гулянка, уже степенная, крестинами названная, в которой участвовала и «бедная» мамина родня.

Твердо уверовав в мою благополучную судьбу, поскольку все так хорошо уладилось с крещением, мама ломала работу дальше, нисколько не заботясь о своей судьбе, да и не знала, наверное, как это делается, как возможно жить собой и для себя, коли столько народу нуждается в ее заботах. Негде и не у кого было научиться маме себялюбия, самоздравия и бережливому с собой обращению, потому и кончилась ее жизнь так рано и горько...

Загорюнился дед возле огня, поутихла кривая трубка в его зубах — не забыл он мою маму, жалеет припоздало. Редкая минута. Молчаливый дед мне непривычен. Я боюсь его такого.

— Чё разлегся? Кто за нас переметы наживлять будет? — Дед воспрянул духом, вскочил. Катит по приплеску на дважды кривых ногах, они у него согнуты колесом и еще наперед в коленях. Побросав с грохотом весла, шесты, котел, мешок в лодку, наделав много грома и определившись на корму с веслом, отплыв от берега, он унимался. Как бы сосредоточившись перед серьезнейшей работой, дед впадал в задумчивость, усы его то загнутся одним крылом, то разогнутся, выдавая значительность свершающихся мыслей, трубка клубила дым, глаз устремлен вдаль.

Перед ледоставом, почти в пургу, все местные рыбаки поснимали ловушки, но мы все булькались в обледенелой лодке. Бабушка из Сисима пошла на деда с небывалым доселе напором, и, отступая, дед хотя и слабо, но все же отбивался:

— Чего ему сделается, твоему пальню? Я его не тяну, он поперед меня к воде летит. Налим идет как мамеево войско! Не попускаться ж. Ишшо разок...

И который по счету «последний разок» висим мы на перемете.

Осталось у нас в воде всего два конца, но нам и двух хватает, чтобы околеть до полусмерти — на каждом перемете по полсотне крючков, на крючки густо цепляется налим. Хватает гальяна, вздетого на крючок, единым духом, да так, что загоняет малютку-рыбеху в самую глубь брюха. Поселенец, он чем студеней, тем резвее, в лютые морозы и вовсе что водяной жеребец. Вот летом слабнет, едва шевелится, полусонный, вялый стоит под камнем или под корягой, лови его руками. Снимать скользкую, бойкую рыбину на ветру, на волнах, в обледенелой лодке — кара, хуже которой едва ли что придумаешь.

— Режь! — раздается клич деда.

Я с радостью отхватываю ножом поводок от тетивы перемета вместе с крючком, который заглочен ненасытной пастью мордатого поселенца. Уд на концах оставалось все меньше, но уцелевшие-то все равно надо наживлять, цеплять на них гальянов, бросить ненаживленную ловушку в глубины — все равно что не засеять вспаханную полосу. Гальян — маленькая озерная рыбка, очень живучая, брыкливая — удержи ее попробуй! Бьется, выпрастывается из пальцев, тварь, бульк — и за борт, бульк — и за борт! За гальянами дед ходит в тундру, корчажка у него там из ивы плетенная, тестом изнутри обмазанная, стоит на озере. Несколько верст тащит дед гальянов в ведерке, меняет воду по пути, зорко стережет, чтоб не убаюкалась, не уснула ценная наживка.

— Ты че? Шеста хочешь! — обнаружив, что я роняю гальянов за борт, ершится дед. — Мотри у меня!

«Пропади пропадом эти переметы, гальяны, налимы, Енисей и дед вместе с ними! Не поплыву больше! Все! В школу пойду! Стану хорошо учиться, старших слушаться. Мотайся, черт одноглазый, мокни на реке хоть до морковкиного заговенья!..»

Домаяли и второй перемет, не верится даже, что домой скоро попадем, в тепло. На последнем крючке перемета, на самом уж, самом кончике болтался налимешка с огрызок карандаша. Мал, но жаден! Уду заглотил хватко, аж глаза у него на лоб от натуги вылезли. Дед пытался выковырять пальцем крючок из пасти налимешка — не получается. Он тогда глубже палец в рот рыбехе продел, шарится там, дергает чего-то, не может вынуть ничего, руки коченеют и коченеют. И выскользнула, усмыгнула рыбеха из рук, упала в мокро, к раскисшим бродням деда, болтается по отсеку, плавает вверх брюхом.

— Ты почему не слушал папу и маму? — скорбно спросил дед, глядя на мертвого плешивого налимешку, и загремел: — Вольничал, сатана! Вольничал?! — Дед шлепал броднем, целясь пяткой угодить в налимешку,

приступить его и выдернуть с мясом уду. И он зажал наконец броднем птичкой летавшего по отсеку налимишку, приступил да как изо всей-то силушки рванул, надеясь, что клочья полетят от рыбехи, которая захапала сдуру крючок. Рыбка не сдернулась, рыбка высмыгнула из-под раскисших бродней да как шлепнется деду в зрячий глаз! Ослепленный слизью, задохнувшийся от ярости, дед плевался, утираясь, и зрит: налимишка как плавал, так и плавает в кормовом отсеке — этакая, усмиренная судьбой, скорбная пучеглазка. И тогда дед вздел руки к небу: «В стоса и в спаса! В печенки и в селезенки! В бога и в богородицу! И в деток ее, в деток! — дед почти рыдал, — в ангелочков бе-е-еленьких, если оне там, курвы, е-э-эсть!..»

Я упал с беседки ногами кверху, дрыгался и корчился на дне лодки.

— А-а-а! Смеяться?! Над дедушкой! Над родным дедушкой!.. А-а-а, каторжная морда! А-а-а!.. — Пока я забивался под беседку, раза два дед достал меня кормовым веслом. Он бы меня оттуда вытащил и добавил, да лодку качало волной, деда валило с ног, он хватался за борта. — Сымаем! — вдруг рявкнул он, на ходу приняв решение, неожиданное даже для самого себя. — Все! Вынай якорницы! Режь наплава!

Я поскорее, пока он не раздумал, за дело.

Скомканые запутанные переметы, веревки от якорниц, нитки, уды кучей лежали на дощатом подтоварнике. Под ними ползали, шевелились, хлопали хвостами налимы. Юркая, прогонистая щучонка все выпрыгнуть из лодки норовила — раскатится на брюхе по скользким плахам борта, аж до середины вздымется и кувырк обратно! Лежит, дышит жабрами, сил набирается для нового броска.

Наплав, заостренный из сухостоинки, с белым клинышком в хвосте, отрезанный нами от перемета, удалялся, качаясь на волнах. Мыс острова с зарастельником на уносе рябил в белой завеси, голые кусты сделались похожими на темные фигуры одиноких рыбаков, согнувшихся над удилицами. Там их много веснами торчит — таскают сигов и все того же безотказного и боевого едока — налима. Дикая трава, дудки, кочевник, пырей, долго державшиеся в заветрии берега, отемнились, повисли над яром, где и по глине растеклись. Невидимые уходили с севера припоздалые вереницы гусей, беспокойным криком торопя друг дружку. Грузной тенью медленно проплыл мимо нас темный, в рыжих потеках и выпрямленных вмятинах борт морского парохода. Последний. Отцепляясь от морского великана, причальные суденышки «Молоков» и «Москва» прощально свистнули, желая проскочить лесовозу Карские Ворота, и потерянно болтались на пустой воде — работа окончена, капитаны решают вопрос —

где и как отметить завершение навигации? Туловище лесовоза относило все дальше и дальше, без шума, без волны провалилось судно в густую наволочь. Из инопланетного вроде бы загробного морока и тишины донесся последний, длинный гудок последнего морского гостя, и стал слышен шорох загустелого, на снегу замешанного дождя.

Умолк мой бедовый дед на корме. Мокра шапка на нем, мокры усы, платок на незрячем глазу обвис, обнажив некрасивую, голую щелку, потухла трубка, горбится старый дождевичишко на спине. Я скребу веслами по волнам, в которых уже не расплавляется жидкая снежная кашица. Плешивая земля с кромкой заберег, взъерошенных волнами, плывет нам навстречу, начинает проступать пристань, за нею труба графитной фабрики, молчаливая, бездымная, — давно не работает «графитка». Зато железная труба новой бани, увенчанной праздничным флагом, шурует дым густо, жизнерадостно, вселяя во всех людей и в нас с дедом тоже надежды на блаженство и негу под ее кровлей. И не так уж пугает длинная заполярная зима. С ранними потайками, с первым шевелением снега охватит меня и деда беспокойство. Начнем мы сучить тетивы для переметов, вязать на коленца уды, чинить старые сети, которые по делу надо бы в утиль уже сдать, но дед жметя, думает их выгодно сбуть полоротым рыбакам, и будем мы разговаривать, перебивая друг дружку, о том, как ловили рыбу и как будем еще ловить и какой фарт принесет нам, не может не принести, грядущая весна.

* * * *

Весны ждать не пришлось.

Дед вызнал у кого-то или сам выдумал способ добывать налимов из-под льда. И снова подпусками, но подпуски эти — всего-навсего о четырех-пять крючков, однако и пяти уд хватало, чтобы околеть до полной потери речи на заполярных морозах, спешно набирающих крепости. Лед день ото дня становился толще и толще, случалась и не одна уже поземка, но дед сражался со стихиями и меня из сражения не выключал.

Уступами долбили мы прорубь, выбрасывая звонкие глызины наверх, сачком вычищали крошево шакши и опускали короткий перемет во вроде бы вовсе безжизненную воду, конец перемета привязывали за горбылину, клали ее поперек проруби, заваливали снегом отверстие и — драла домой!

Отошли, отогрелись, шевелить губами начали, говорить обрели способность, и я уж с вопросом к деду: какие его виды насчет улова? Будет ли ход поселенцу иль оцепенеет он от стужи, впадет в спячку?

Дед в окно посматривал, умственно усом шевелил. «Быть страшному ходу поселенца, — давал заключение. — Луна вызрела с арбуз, в обруч ее взяло, значит, метель вот-вот грянет, пурга. А перед пургой налим-то хваток! Ох, хваток!»

Трепещется, обмирает во мне сердчишко: нутром своим, сладко стонушим, слышу я, как идет из глубины, рвет тетиву из рук грузный поселенец! А я волоку! А я волоку! Хохоchu от счастья и волоку, брыкаюсь во сне, под столом, брякаю ногами о перекладины.

— Х-хосыподи! — крестится бабушка из Сисима. — Как рематизня-то мучает человека! Совсем застудил парнишонку старый бес!...

Зимний день в Заполярье с воробьиный носок. При свете уличных фонарей спешили мы с дедом на протоку. Я впереди семенил, он сзади покашливал, трубочку посасывал, искрами сорил. По обледенелому, глезкому взвозу я враскат спустился на подшитых валенках — дратва трещала. Дед тоже устремлен был вперед, но возраст и спесь не давали ему катнуться на валенках. Он меня поругивал за такую ребячливость, родители, мол, не шибко торопятся одеть тебя, обушь, а у меня, мол, какие капиталы? Ох уж эти капиталы! Будь они неладны! Сколь их человеку надобно и зачем?

Из потерпевшей когда-то аварию, вросшей в берег и снег баржи через проломанную корму я доставал пшню, сачок, железный крючок и топор.

Пошла работа до большого пота! Отгребали снег, долбили лед попеременно, вычищали проруби. Вот и вода затемнела, глубокая, беззрачная. В воду веревочка обледенелая спускается, к веревочке железка привязана и на дно брошена, дальше сам подпуск идет. Взявшись за тетиву рукой, я слушаю. Дед делает вид, что ему на все тут наплевать, да еще и высморкаться. «Е-э-э-эсь! Дергает!» — выталкиваю я шепот из сдавленной груди.

Дед с притворной ленью кивает: давай, действуй.

«О, миг счастливый, сладкий!» — пел в кино артист женщине, разряженной в пух и прах, валясь перед нею на колени. Ни шиша он, тот артист, не ведает, не понимает! Порыбачил бы хоть раз, поводит бы рыбину на леске, вот тогда и узнал бы, что такое настоящий «миг»! Не чудо ли?! Не колдовство ли! Зима кругом, стужа, снег толсто на льду лежит, все обмерло,

остановилось, а тут, ровно бы из преисподней, возникают недовольные налимьи хари. Дед отцепляет рыбин и небрежно, даже с сердцем отшвыривает их в снег. Возьтятся пьяно в снегу поселенцы, вымажутся ровно бы в известке и так, с непокорно загнутым хвостом, и остынут. А тут возьми да еще событие наступи — налим в лунку не пролезает! Событие так событие! Дергать подпуск нельзя — оборвешь фильдеперсовое коленце, но отпустить налимщица не хочется. Дух во мне занялся. Дед всякую спесь утратил, бесом вокруг лунки крутится, хлопает себя по коленям, отпнул меня в сторону, на брюхо упал, руку в прорубь засунул, изучая «подходы», затем, молодецки ахая, раздалбливал прорубь. Я рыдал: «Дедонька, миленький, не обрежь! Не обрежь!..» — «Не базлай под руку!» — демонским огнем пылал глаз деда, того и гляди завезет. Я отпрянул в сторону, но скоро опять плясал возле лунки, отгребал голыми руками лед, не чуя никакого мороза, о чем-то молил деда, подавал ему разные советы. Любил ли я деда? Не знаю. Не берусь судить о таком сложном чувстве, не под силу мне это. Но в тот счастливый миг, когда, не обрезав подпуска пешней, потянул и выволок дед огромного поселенца на лед и сам в изнеможении сел тут же, я обожал деда, я готов был его обнять, расцеловать и не знаю, что еще сделать. Налим, изогнувшись дугой, лежал брюхом в снегу, яростно и устало шевелил жабрами, с недоумением тараща на нас сытые, наглые кругляшки глаз, белеющих от мороза. Как это так? Плавал-плавал в полной безопасности, подо льдом, икру метал иль молоками икру поливал, терся брюхом о песок, собирался подзакусить мелкой рыбешкой после утомительного труда и вот попался! Никакого, значит, спасения нет нашему брату и подо льдом!

Я похлопал поселенца по белому толстому пузу и сказал, что если мой дед возьмется за дело всерьез, то вашему брату и ловиться не надо, вашему брату только и останется самому на берег выскакивать и умолять, возьми, мол, уж сразу, живьем, пожалуйста, Пал Яковлевич! Мы тебя боимся!.. Дед крикнул одобрительно, высморкался, набил еще раз трубку махрой и нежно мне сказал: «Жиган, твою мать!..»

Я продолжал толковать с поселенцем:

— А тебя мы с дедом изжарим и съедим, хоть ты и бухгалтером, может, даже и директором среди налимов состоял. Вон у ты какая авторитетная пуза! Уяснил?

Налим разом покорно обвял весь, скорчился, окоченел. Дед довольнехонько хохотнул, еще раз назвал меня жиганом и сей же час сделался суровым:

— Хватит баловать! Наживляй переметы!

В одной книге я вычитал: «За каждую минуту наслаждения мы платим мукой и слезой» иль что-то в этом роде. За рыбачьи радости мы платили такими муками и слезами, которые ведомы лишь каторжникам да рыбакам. Накаленные морозом уды припаивались к пальцам и отдирались с кожей. Гальяны совсем в руках не держались, выпавши в снег, тут же застывали и ломались спичками.

— Что из воды да по воде плывет — то Бог дает! Терпи давай, терпи, чадо Божье! — подбадривал меня дед, а у самого усы, что гальяны, состылись, того и гляди сломаются, и слова вроде бы как по-иностранному звучали — свело губы морозом.

Но всему бывает конец. Сбросали налимов в мешок, инструмент в баржу спрятали и бегом в гору, на яр. Стучали налимы в мешке, визжали на полознице мерзлые валенки. Влетели мы с дедом в барачную комнатенку, будто в царствие небесное на белых облаках, и сразу к теплу, руки в огонь суем, молча оттирая друг дружку от дверцы печи.

— Эко, эко! Совсем пальнишонку извел, чельт одноглазый! — пилила деда бабушка из Сисима. Налимы меж тем оттаяли в лохани, наполненной водою, заворочались, завозились, давай хвостами бить, брызгаться. Тот, что в лунке застревал, до того разошелся, что из лохани вывалился, па пол шлепнулся.

— Эту тварину, — дед ткнул пальцем в «бухгалтера», — на сковороду! Эшь, прыткий какой! Эшь, разбушевался! Эшь, разгулялся! Мы вот тебе! — Дед набросил шапчонку на голову, метнулся к двери.

— Куды? — притопнула ногой бабушка из Сисима, намереваясь остановить деда, но где ж успеешь его перехватить, моего деда, если он устремлен к цели?

Дед уже чешет от барака в ближний магазин за четушкой — сказывал же, объяснял, что после издевательского наказания, понесенной кары от сельского попа, этого долгогривого служителя культа, повредился у него желудок и не приемлет налима без водки; кроме того, всем известно: любая рыба, пусть и поселенец, посуху не ходит!

* * * *

Тою же зимой случилось крушение семейного союза между папой и мачехой. Не раз и не два будут они потом расходиться и сходиться. Детям,

рождавшимся в моменты перемирий двух вроде бы совершенно ненавистных и все-таки страстью влекомых друг к дружке людей, от их разладов, сбегов да разбегов будет совсем не смешно.

Отец заключил договор с игарским рыбозаводом, забрал меня из тесной барачной комнатухи, где я уж поднадоел всем и устал выглядывать куски, которыми дед Павел иной раз не то чтобы корил меня, но как-то так проклинал отца с мачехой, что получался и я в прицепе, лишним везде себя чувствовал, особенно за столом.

Кое-как одолел я четвертый класс, точнее, меня «перетащили» из него в пятый, и с чувством исполненного долга впервые в жизни отправился на настоящую, промысловую рыбалку!

Напарником отца был Александр Васильевич Высотин, мужчина крупный, бывалый. С Высотиным плыло двое сыновей, парнишек крепких, небалованных, Петька и Гришка. Одержим рыбалкой, правда, один лишь Гришка, этакий здоровый уворотень. Петька же был мастак по части игры в лапту, в чикку и еще здорово плясал в школьной самодеятельности.

Сплоченной бригадой высадились мы с рыбосборочного бота на пустынном енисейском берегу между поселками Карасино и Полоем, на добром, как нам сказывали, рыбном уголье. С берега по крутому каменному яру полузамытая тропинка привела нас вначале к бане, вкопанной в берег, затем к крепко срубленной, тесом крытой избушке с волоковым окном в стене и крыльцом, над которым был когда-то навес, но его сорвало ветром, и он валялся поблизости, оцетинившись ржавым гвоздем.

Избушку эту — теремушку срубили лет пять назад связисты, тянувшие телефонную нить на Крайний Север до самой Игарки. В избушке бывали и загадили ее шальные охотники — горожане, ягодники, грибники и рыбаки. Мы взялись за дело, все отскребли, вымыли пол, изладили десяток мышеловок — чурбаков. Мыши тучами ходили, даже по стенам. Угоив избушку, мы истопили баню, напарились в ней. Вечером мужики выпили по случаю высадки на незнакомый берег и закрепления дружбы, и до глубокой ночи из жарко натопленного становья разносилось далеко по окрестным лесам: «Обнесен стеной высокой Александровский централ». Папа кричал, зажав в отчаянии головушку ладонями, Высотин басил, зажмурившись, мы в три мальчишеских горла звенели поддужными колокольцами поверху.

Начался тяжелый промысловый труд, и больше в то лето песен мы не пели — не до песен было. Для начала поставили пяток в пару связанных становых сетей-паромов, к которым надо две тяжелые якорницы да еще третью якорницу, что держит наплав. Пяток сетевых ловушек — только

начало, чтобы «нащупать» ход рыбы. Один паром попал на уловистое место, остальные пришлось не раз и не два переставлять, добавлять к ним несколько паромов, чтоб сети попеременно вынать и развешивать на починку и просушку. План нашей бригады был задан — шестнадцать центнеров на сезон, добывать рыбы надо было больше: на еду, на продажу, потому как сезонным рыбакам выдавали небольшой «аванец», остальные деньги по договору выплатить должны были в конце путины.

Мы и в самом деле попали на уловистое угодье: шла стерлядь, белая рыба, случались осетры, горбуша одно время повалила — это на паромы и переметы; «по кустам» — как здесь выражаются, по заливам, заостровкам и возле берегов мы «сшибали» старыми мережками щуку, окуня, сорогу, налима, нет-нет вытаскивали тайменей-подростков, большие таймени пластали в клочья старые мережи, вырывались, оставляя дыры, да такие, что мы, парнишки, пролазили в них, поражая артель силою и размерами ускользнувшей рыбыны.

На сети выплывали мы часа в четыре утра, без завтрака, заспанные, вялые, однако на веслах, в труде разогревались, разминались и работали дружно, порой даже весело, азартно. Мы с Гришей орудовали гребями, Петька на корме, мужики управлялись с якорницами и сетями. За тетивы, за веревки якорниц и за весла без верхнонок — рукавиц мы не брались, но ладони наши все равно покрылись красными мозолями и трижды, если не четырежды, сошла кожа с рук, пока не огрубела, не закрепила, как обух топора, и больше руки не прокалывало рыбьими колючками, не разъедало кожу солью.

Лишь к полудню, едва живые от усталости, мы медленно подскребались к берегу. Еще в пути от наплавов Высотин, облюбовав стерлядь килограммов на пять, грохал ее сделанным наподобие топорища крючком по костяному черепу и начинал разделять рыбину, полоскать ее в воде, членить на куски. Пока мы раскидывали сети по вешалам, убирали рыбу в бочки, выплескивали воду из лодки и мыли склизкий подтоварник, на очаге, устроенном из камня, уже кипела в противне, согнутом из толстого железа, стерлядь. Навешенный на таган ведерный медный чайник начинал посвистывать и бросать из рожка воду, запаренную смородинником или белоголовкой.

Здесь же, на берегу, на рыбодельном столе, вкопанном в песок, мы ели, если не было ветра, и уминали за раз с моим худосочным папой буханку хлеба, подбирали жарено до последнего хрящика, вымакивая кусочками приправленную береговым луком жижицу, после чего опорожняли чайник и, едва переставляя ноги, тащились в угор. Первое время мы, парнишки,

ладились падать на нары в сырой одежде, но мужики нас пинали, заставляя сымать хоть верхнюю одежду.

Спали до вечера, поднимались и какое-то время сидели на нарах, не понимая, где мы, что с нами, постепенно приходили в себя, привыкали к миру Божьему, включались в дела. Упочинка сетей, разделка рыбы, изготовление якорниц, наплавов. Надо было и в избушке прибираться хоть раз в неделю, топить баню — упаси Бог опуститься на промысле — и простынешь, обветренные губы и лицо полопаются, ноги от сырости и нечистых портянок сотрутса, заослеешь, грязью зарастешь и, значит, отдыха хорошего знать не будешь, а нет отдыха — и труда доброго ждать нечего.

К осени поперели у нас веревки, сети, якорницы часто обрывались, следовало запастись дровами на пору дождей и холодов, набить ореха, ягод набрать, рыбы повялить, словом, работы день ото дня не убывало, а прибывало.

Случались, однако, у нас и праздники — их нам сотворяла природа: поднимался шторм, наваливалась непогода, на реку попасть невозможно, главной заботы нет. Мы подымали высоко на берег лодку, опрокидывали ее вверх килем, сухие сети свешивали в баню и на чердак избушки, бочки с рыбой, вкопанные в берег, плотно закрывали мешковиной и деревянными крышками, чтоб не захлестывало песком; мылись в бане, подолгу, с чувством. Вспомнив старое ремесло, папа всех нас подряд стриг под «польку-бокс», стучая ножницами по башке парнишек, чтобы не вертелись лишку, и все удивлялся, оболванивая меня: «Этакаяловица, а пустая!..» Я тайком ощупывал свою башку, стучал кулаком в лоб — голова как голова, ничего особенного, звучит в середке, вроде бы и правда как в пустом котле.

«Северяк» дыбил Енисей суток по пяти, случалось и по неделе. Отоспавшись, мы всей артелью отправлялись в лес за ягодами, грибами, ближе к осени — за кедровыми шишками. Все это было тут же, вокруг становища. Чуть поодаль, па озерах, жили утки, и мы охотились на них. Иной раз сшибали на ягодниках глухаря, возле беломошных болот били пестрого куроупана, гоняли и путали молодых зайцев.

Склонный к вольнодумью, шатанью, порой и к созерцательности, пугавшей бабушку Катерину Петровну и других пристальных людей, считающих — раз от бурности я мигом перехожу в недвижимость, замкнутость, стало быть, блажен есть и ох как худо могу кончить по этой причине земной путь; отколовшись от артели, я бродил по лесу или сидел на обдуве у реки, бросал камни в воду, глядел в заречные дали, думал о всякой всячине, напевал что-нибудь, чаще просто так сидел, слушал шум

кедров за спиной, смотрел, как безостановочно катятся беляки по Енисею, как дымит пароход в волнах, как бегут по небу растеребленные облака, как мотает ветром чаек, и они, взойдя в высоту, не шевелят крыльями, а, вытаращив круглые глаза, лишь подергивают вытянутой шеей, ровно бы глотками схлебывая воздух. Дозором явится на реку парочка гагар, полетают возле берега, покружатся-разведаются, повернут «домой» — к лесным озерам, возмущенно крикая, и, плюхнувшись на воду, застонут в лесу, жалобно извещая, что непогода продлится еще не один день.

Никакие мысли не томили меня, не обуревали заботы. В такую вот бездельную пору я неожиданно отыскал озерцо и замер, обвороченный. Со дна озерца струил холодную воду кипун, шлифуя его круглое зеркало. Обметанное у берегов стрелолистом, кугой, расцвеченное экономно и красиво лилиями и кувшинками, озеро так ловко пряталось в гуще самосевной травы, стлаников, вербача и ольхи, что его не угадать было, а из-за гнуса в сросшийся вертеп никто не совался. В какие-то далекие-предалекие времена был страшный ледоход на реке, может, тогда еще и названия не имевшей, натолкало на мыс каменные глыбы, запрудило родник, и, пока он искал выхода, пока точил себе щель, его забросало песком, меж камней проросли дудки высоких пиканников, ползучие нити пырея, цепкой осоки, меж собой спеленывались лозы тальника, нити повилики и всякой ползучей твари довершили дело, сделали непролазной забоку, скрыли наполненную водой лагуну. В парной теплыни напревал комар, мухота, мизгири, метлячки, блошка лесная, нужная птице и рыбам. Птицы занесли в лагуну рыбу икру, семена водяных цветов, и украсилась жучками-водомерами лагуна, сделалась живым озером, вокруг которого в камнях и зеленых крепях охотно селились птички. Отороченное с тундряной стороны пояском белых мхов озеро, и без того нарядное, еще и форс какой-то легкий, глаз не режущий, имело: красная брусника, сизый гонобобель рассыпались по пояску мхов; листья осинников, еще только чуть подрумяненные первыми иньями, гоняло от берега к берегу по высветленной до дна воде.

Налюбовавшись вдосталь озерцом, я перешел к земным, практическим размышлениям: «В таком озере должна быть тьма рыбы!» — и тотчас заметил едва заметные кружки в «окнах» меж листьев лилий, кувшинок и в прибрежных водорослях. Такие кружки бывают от малой рыбехи — гальяна. Но в прибрежном, да еще таком светлом озерце гальяну несдобровать — приест его рыба, да и любит северный гальян воду, густую от тины и торфа, где много корма и худо его видать. Обмозговав все это, я хотел уж подаваться домой, заказав себе молчать согласно старорежимному

правилу: нашел — не показывай, потерял — не сказывай, да на грех и беду мою, подле круглых листьев еще так недавно светло сиявшей кувшинки мягко чмокнуло, расплылся кружок, пузыри вспухли в середку его, как у подкипевшего на сковороде блина, и долго плавали, не лопааясь.

«Карась! Карась сплавился!» — так вот, чмокнув мясистыми губами, плеснув неповоротливым боком, выдохнув пузырьками воздух, плавится карась. Я присел на камень, утих — по всему озеру запричмокивало, чудилось: всюду лопались вешние почки. Зеркало озера сплошь покрылось тонкими кружками, ровно бы какой-то забывшийся ученик, балуясь, легко, быстро рисовал карандашом кружки на чистом листе, и только пузырьки, прозрачные пузырьки, катающиеся по воде, мгновенно возникающие и так же мгновенно гаснущие, свидетельствовали о том, что в воде идет жизнь, играет там и кормится рыба, много рыбы карася. Я, наверное, мог бы просидеть возле того озера сутки, да зараза-то, комар-то, разве позволит? Вытурил, выжал меня на берег, на обдув от так украдчиво и красиво живущего в заувее озерца, которое сделалось мне чем-то родным.

«Эх, нету дедушки! Вот бы уж половили мы тут карасиков!»

Давно ведомо: добро надо искать, а худо само найдется иль прикатит. Только я подумал насчет деда — тут же вместо одной нашей лодки увидел — две, во второй лодке тонкой былкой торчала парусная мачта. Лодку захлестывало волнами. Подле нее будоражился невысокий человек, узкая полоска светилась на его лице. «Дед!» — обрадовался я, поспешил скорее к лодке, без приветствий и объятий включился в дело, помогая деду выбрасывать на берег манатки, весла и для начала был тут же обруган за допущенные оплошности.

От избушки спустились мужики, подали руку с головы до ног мокрущему деду.

— Носит тебя, комуху, в такую погоду! Утонешь!..

— Скорее сами утонете! — Дед Павел кивнул на скомканную тряпку. — Под парусом, будто архангел по небеси! Перло! Того гляди в Карско море выкинет! За весло поймался, трубку зажечь моменту нет — во катил!..

* * * *

Шустряга дед явился не без умысла! Под крылышком рыбаков,

ведущих законный промысел по договору, ему никакой рыбнадзор нестрашен. Чтоб рыбаки были к нему благосклонней, привез дед спирту. Давно «не причащавшиеся» мужики посулили деду всякое содействие в промысле, поменяли его одряхлевшие сетчонки — для отчета годилась и рухлядь, — на что дед, само собой, и рассчитывал. Я видел, как дед спрятал под баней литр спирта, чтобы после «под магарыч» обменять черную рыбу: налима, окуня, щуку на стерлядей и осетра.

Выкинув мережки близ берега, по заливам, дед мало-мало ловил мелочишку и черную рыбу, а я подбивал его поставить сети на открытом мною озере. Дед росказням моим не верил. «Отвяжись, хлопуща!» — кричал даже и топал па меня ногами. Но сопротивление его постепенно слабело, потому что ловилось в его мережки плохо — лето перешло за середину, вода укатилась «в трубку», то есть межень наступила. Рыба отваливала в прохладные глубы. Ставить паромы дед не умел и не смог бы их один поставить. Артель ему помогать не могла — некогда, и дед начал делать крен в сторону озерного лова, а, как известно: «Телушка стоит полушку, да перевоз дорог» — вытаскивать с озер рыбу по болотистому вертепу, да еще в пору самого лютого гнуса — адова работа.

Но не все горе горевать и понапрасну ждать форта — случилась у деда удача. Раззудил его на ту удачу опять же я, ничего, кроме добра, деду не желавший. Справляя какое-нибудь дело на берегу, замечал я в тихую погоду на реке, за ближним каменистым мыском, движение и тень огромной рыбины, осторожно скользящую в глубы воды, пробитой закатным светом. Блазнится, думалось поначалу. Вовлек в союзники Гришку. Он чуть ума не решился, увиден «водяного». В один из вечеров залегла вся бригада за лодкой, высматривая чудище речное. Терпенья у степенных мужиков мало, гордости и дел много. Они собрались было отругать нас с Гришкой за понапрасну погубленное время, но в тот миг топляком легла на дно рыбина и принялась трепать набросанные в воду лоскутья потрохов, рыбью обрезь, прелых заглотышей.

— Во-он оно че-о-о-о! — присвистнул Высотин, поднимаясь из засады.

Рыбина не метнулась в реку, она неторопливо скатилась в нее, как бы вжалась в глубь и растворилась в ней.

— Вековелая щука! Имать добычу не может. А выть по туше ой-ей какая, должно! Вот на дохлятину и переметнулась...

Дед Павел не признавал удочек, называл удильщиков дачными полудурками, но, прослышав про «водяного», не устоял, сотворил жерлицу — удилице в оглоблю, леску в мизинец толщиной, на конце вдвое

провода и уда, что поддевный крюк. На уду дед вздел сорожину, навалил на удилице кучу пудовых валунов и с берега удалился. Весь вечер мужики подначивали деда, измывались над его жерлицей, но какое изумление охватило всех нас, когда, спустившись к Енисею наутре, мы увидели леску с рогульки снятой и туго-натуго натянутой. Дед раскатал камень, схватился за удилице и туг же с берега исчез: бултыхается у приплеска, ругаться пробует, удилице из руки упустил!

— До-го-ня-а-а-ай! Чего рты раззявили!

Мы в лодку, дед за нами. Мужики браниться: на сети плыть пора! Да где ж им совладать с артелью, к тому же в такой задор вошедшей! Далеко от берега догнали мы удилице, то уходившее под воду, то вехой появлявшееся наверху. Схватили жердину, сгоряча пробовали вываживать рыбину, и она шла, уморенная, послушная, но, как завидела лодку, мокрого одноглазого деда, такого козла сделала, что лодка черпанула бортом, и мы едва не высыпались из нее.

— Мате-ораяз-зва! — стучал зубами дед и, поразмыслив, выбросил удилице за борт: — Пуццай повозит! Пуццай уторкается!

Раз пять подводили мы рыбину к лодке, пока изловчились всадить ей в грудное раскрылье поддевный кованый крюк. Перевалив щуку за борт, мы сдуру принялись ее лупить чем попадя, дед ссадил до крови кулак о щучью башку.

Мужики злились, кляли нас и деда за ребячество — погодь на реке так же дорого, как в страду на пашне. Все же упросили мужиков взвесить «водяного», и они завалили его на весы — тридцать три кило с гаком! Лежит щука на рыбораздельном столе, пастью шевелит, морда ее источена пиявками, червяками и водяными клопами. На широком и уже тупом носу что-то вроде мха наростло, кость повсюду острая выступала.

— От дак чуду заловили! — удивлялись мужики. Перебивая друг дружку, орали, чего да как было. Дед Павел штаны отжимал, простуженно пошмыгивал носом, умственно шевелил усами, и не зря шевелил. Вечером он вынул из-за бани литр спирта и выморщил у мужиков двух осетров, по весу равных одной щуке. Чтоб мужики не передумали, он той же ночью собрался улизнуть в город. Но удача, она же страшная зараза! Она же слепит, разжигает ту самую выть, то есть аппетит, о которой поминал Высотин. Вспомнив, что карась в особом почете в семье доктора Питиримова, да и переселенцы из среднерусских мест ценят его, костлявого, тинной воняющего, вровень со стерлядью, дед решил черпануть и карася на мной открытом озере. Если карася доплавить свежим в город, соображал дед, да загнать потихонечку, глядишь, разживется деньжонками

хорошо, «сямой» отвалит и еще раз, совсем уж последний раз, попытает счастья в картах...

К поре встречи нашей артели с дедом заметно смягчился он характером, гармошку в руки почти не брал, разве что по самым большим праздникам, пытался принародно не материться, спиртное принимал лишь на реке — для сугрева, стал шибко маяться грудью, кашлял от табаку, однако трубку бросить не мог, на это его сил не хватало, и не мог он в себе побороть, отринуть навсегда тягу к картам, хотя пережил из-за пагубной страсти много сраму и внутренние противоречия терзали его тяжело. Редко, совсем уж редко ускользал дед Павел на мерклый свет заветного окна, крался, точно старый прелюбодей-снохарь к молодой невестке, трепеща непокорным и грешным сердцем.

* * * *

Озеро деду сразу поглянулось. Он усиленно задымил трубкой, забегал по шараге, соскользая с камней, покрытых слизью водорослей, воротил здоровый глаз в сторону, чтоб не выткнуло, но все же ахнулся меж камней, ушиб локоть, ободрал колено.

— Тэк-тэк-тэк-с! — бормотал дед, потирая колено и примачивая слюной снесенную с локтя кожу. — Е-е-эсь тут рыбка, е-э-э-эсь!.. Ишь, какое озерцо — зеркальце! Упряталось, понимаешь, в арёмнике. Ах ты! Ах ты! Вот и не верь тут «сямой» насчет Бога. Есть чё-то, есть! Прячет от нас, поганцев, экую вот невидаль. А то ить захаркаем.

И хвалил же меня дед, востротолым называл, сулился, если будет удача, купить мануфактуры на рубаху.

— Сатинету, Витька! Сатинету!... Ах ты, ах ты! Ну, озерцо! Н-ну, озерцо! Я ли не перевидел на своем веку чудес. Но экой алмазинки и во сне зреть не доводилось. Счастлив ты, однако, парнишшонка. Не участью-долей, душой счастлив. Красивое да доброе видеть, может, в этом-то счастье и есть? Кто знает.

После таких дедовых слов я готов был в лепешку разбиться, крушил топором лешишко, выискивал сухарины на плот, таскал сети к озеру, шесты вырубал и все время слышал на себе кожану шуршащую рубаху, даже видел себя в ней, угольно-черной, с белыми пуговками в два ряда. Как явлюсь я в сатиновой рубахе в школу, да как сяду за парту, да как гляну

вокруг! Ох ты, едрит-твою, распредрит твою!

Особо-то я не давал полету мечте, глушил ее в себе, наученный горьким опытом, — посулят чего, а после проруха в расходах, либо в обнове-то в бочажину угодишь, испатраешь, как на пути к Усть-Мане новые штаны. Суеверный я стал в этих делах. Тут еще сомнение накатило на меня: много утки снималось всякий раз с воды, когда я появлялся у озерца, утки нырковой, черняти...

Затаился я в себе, ни гугу деду. Очень уж мне хотелось форта рыбацкого изведать на «моем» озере.

В поздний час светлой ночи перегородили мы озерцо двумя связанными мережками, приткнули плот шестом к берегу и полюбовались своей работой: сети стояли — лучше некуда! Берестяные наплавки янтарными бусами висели на светлой груди озерца, и, пока мы стояли, помстилось нам с дедом — сколько-то наплавков затонуло — вляпался карась-дурило.

Ах ты, душа рыбацкая, саможертвенная! Спят Гришка и Петька. Высотин спит. Папа спит. Скоро уж на реку плыть, работу тяжелую делать, а у меня сердчишко тыкается в грудь. Громко говорим мы с дедом обо всем, согласие у нас с ним такое, какого еще свет не видывал. Чаю мы с ним согрели, дед отвалил мне комок конфеток с выдавленным из них повидлом, облепленных табаком и крошками. Конфеты я не съел, чай не допил, пал на полуслове и, мне показалось, через минуту был разбужен и безжалостно водворен в лодку.

С наплавов артель вернулась в полдень. Дед нажарил рыбы, сварил трех уток — из дробовика он их подшиб на озерце. Не вытерпел дед, все-таки сбегал к сетям и сообщил: едва ли поднять сети — ни одного наплавка на воде не видно, рыбой снасть одавило. Мужики убайкались на паромах, еле живы были, но все ж подшучивали над дедом, «карасиной погибелью» его называли и, покурив, отправились в становье спать, благодарные деду за то, что он постоловал артель и дымокуром выдворил комаров из избушки. Я упал на постель, и чего видел во сне, не ведаю; что-то колыхалось, мельтешило в глуби сна, точно в мереже-мелкоперстке, тьма карасиная, не иначе! В другой раз не добудиться бы меня, но тут, лишь тронул дед за плечо, я враз подскочил. «А?» — сказал и очнулся.

Не тревожа храпящую артель, мы подались с дедом смотреть сети. Дед колесил впереди, ширкая голенищами отогнутых бродней, взбивая просеянный ветром песок, я едва поспевал за ним, однако стряхнул с себя сон, душа во мне затрепыхалась, и я на рысях опередил деда.

Дед вслух плановал: если карася попалась такая же тьма, что

привиделось внуку, с мережками в приозерной шараге не возиться — комар загрызет. Стало быть, просить мужиков придется выволочь сети на берег, посулив им за это спирту, на обдуве и выпутывать рыбу, потому как боек, ох, боек стервоза карась в таких вот светловодных озерцах, но телом хлипкий, изнеженный, потому стоит, пожалуй, присолить жирного барина, кабы не тронуло его запашком. Оно, конечно, и ветерок гуляет, и дело к ночи, стало быть, к холодку клонится, но все же шут его знает, этого карася, тварь мало изученная, возьмет и подпортится.

Я соглашался с дедом: стоит подсолить карася, стоит после прополоскать его в холодной воде, еще лучше в тузлуке промыть — и он сойдет за свежего. Дед воззрился на меня жизнерадостным глазом, дал совершенно уж твердое слово насчет рубахи, посулил обдумать вопрос и о штиблетах. Сплавает в Игарку, сбудет рыбу, оформит неотложное кое-что (в карты поиграет), прикатит вновь и, коли я стану ему помогать в ловле карася так же, как теперь, — штиблеты считай что на ногах. Кожаные! Коричневого цвету! Заработал парень? Получай! Деду Павлу ничего не жалко.

* * * *

Начало спаренных сетей не сулило никакой беды, хотя ни одного наплавка не было на воде и тетивы до звона натянуты. «Хорошо, закрепить охвостины догадались!» Дед выколотил трубку о бревно плотика и чего-то подзамялся. Сердца моего коснулся холодок беспокойства, заныло в затылке, мне отчего-то захотелось домой, в избушку. Но куда же деваться — поставили сети, надо смотреть. Мы скоро перебирались с дедом по верхней тетиве сети, мелькнула пара, будто широкие листья, прилипших карасей, затем вразброс явилось еще несколько штук, измученных, правда, истасканных, забитых. Наперебой твердили мы друг дружке, что если уж возле берега напутался карась, то дальше и подумать страшно, сколь его...

Старый и малый хитрили, обманывали себя, руками, сердцем чуя, да и глазами уже видя: надежды рухнули, вляпались мы с дедом, попали в проруху, но так не хотелось с этим соглашаться. А уж пошла сеть свитой, перепутанной, из глубин черной головешкой возник успокоенный нырок. Долго сопротивлялся, горемыка, собрал на себя почти всю сеть, запутался так, что нечего было и браться вынимать его из сети, резать полотно

мережи — один-разъединственный способ достать утку эту разнесчастную, почти что никому, кроме себя, не нужную. Если бы в мережку угодил один нырок — делов-то: часок посидеть с деревянной иглою в избушке — и дыры как не бывало! Но к середине озера ничего разобрать уже нельзя: где кибасья, где наплавки, где ячеи, где тетивы, где сеть вообще длиной сажен двадцать? Комок из водорослей, листьев, голых стеблей кувшинок и лилий, из ниток, веревок, в которые запеленаты тушки уток, — все увязано в крепкие узлы, и для насмешки, для полного уж изгальства, в путанице мережи и в тине реденько шевелились, пошептывали чего-то квашеными ртами караси.

Приближался берег озера, тундряной, дальний, в краснобоких от брусники кочках, с реденьким лесочком, в котором и думать нечего скрыться. Мы с дедом стояли до колена в воде на разных концах плота, полузатонувшего от мокрых тяжелых сетей. Ни дрыгаться, ни махаться нельзя — вывалимся.

Дед Павел зловеще помалкивал.

Охвостку на другой стороне озера отвязываю мне, так как я стоял на переду плотика. Не дожидаясь команды, я плюхнулся на берег, как бы ненароком оттолкнул плот ногой. Не теряя времени на отвязывание охвостки, я потянул веревку — слабый корень ольхи подался из камней. Упершись ногой, я рванул изо всей силы — и готово дело, выкорчевал деревце, швырнул все хозяйство в воду — выкорчеванную ольху с веревкой, привязанную к ней сеть и... помогай Бог!.. Все еще грузный от мокрых сетей, но без меня чуть поднявшийся из воды, плот медленно уходил от берега. Дед разгадал наконец мой маневр, топнул ногой, шестом разбил вдребезги зеркало озера.

— А-а, прокудник! А-а, каторжная морда! Уш-шо-о-о-ол! От меня не уйде-о-о-ошь! От меня еще никто не уходил!..

Плот стремился мне наперехват. Но я, не щадя себя, продирался сквозь шарагу, царапая лицо о шипичник, пластая одежонку о коренья и сучки, устремившись к Енисею, — на ровном берегу деду ни в жизнь меня не догнать.

Мы выскочили на берег разом.

— Стой! — сказал дед и двинулся ко мне. Я на мгновенье замер, будто в параличе, но тут же опомнился и хватанул во все лопатки. Какое-то время дед гнался за мной, подняв над головой шест, но скоро начал сдавать. — Бродяга! — неслось мне вслед. — Все ищет чего-то! Блудня!.. Шатун!..

Словами-то хоть какими, хоть сколько Поливай! Чего мне слова? Я их не боюсь! Я и похлеще кой-чего слышал.

* * * *

Скрывался я от деда на чердаке избушки. Комары меня там заедали, но я терпел. Не найдя меня, дед Павел в сердцах переругался с мужиками и отбыл в город. В щель меж тесин крыши я наблюдал, как уходила лодка за мыс. Мерно взмахивающий веслами дед Павел и лодчонка его становились меньше, меньше, поднимались над водою, и уже не на веслах, на крылах возносились в небо дед и лодка, ломалась былка мачты. Почему-то защемило сердце, одиноко мне вдруг сделалось. Не знал я, да и не мог тогда знать, что рыбачил с дедом в последний раз.

Весной выманит дед Павел из соседнего барака уже натуго, считай, насмерть повязанного с рекой Гришку Высотина. Подадутся молодой и старый на реку, наберут сети в лодку, присядут к костерку попить чаю перед тем, как обметать устье речки Гравийки, и на время забудут про лодку. На такой реке, как Енисей, да еще в Заполярье, да к тому же еще весною, забываться нельзя. Вода была «на тальниках», лодку отбило, и дед Павел — отчаянная душа, не раздумывая, скинул лопоть, в подштанниках подковылял к реке, пощупал воду пяткой, съежился и, по-бабьи взвизгнув, рванул бегом за лодкой. Напористая, тяжелая от мути вода валила деда с ног, он спотыкался, охал, хватался за кусты, но пер и пер бродом к лодке, однако настичь ее все не мог. И глаз ли единственный подвел деда, показалось ли ему близко до цели — вода скрадывает расстояние, только рванул дед вплавь за лодкой. Ему оставалось сделать один лишь взмах, и он сделал его, этот взмах, вскинул руку, чтоб пойматься за борт лодки, и так, с поднятой в небо рукой огруз, скрылся в воде.

Тугоумный Гришка еще сидел какое-то время у костра, ждал, когда вынырнет одноглазый, шебутной дед Павел, уж больно быстро и как-то неважправдашно все произошло.

Лодку уносило, поворачивая то носом, то кормой. В середине ее на подтоварнике рыхлым снежным бугром белела сеть, на сеть брошены мокрые верхонки, лопашны выжидательно покоились по бортам, веревочка какая-то свисала с носа, трепало веревочку течением. Возле воды, на приплеске, лежала дедова одежонка, на плоском камне дымилась трубка с медным колечком. Гришка глядел, глядел на попусту дымящуюся трубку и заорал лихоматом караул.

Нашли деда Павла в замытых тиной кустах после того, как схлынула вода.

Мертвого деда я не видел, не хоронил и о смерти его узнал спустя большое время. В тот год я одолевал самую, быть может, долгую и тяжкую в своей жизни зиму.

Совсем недавно попал мне в руки документ, удостоверяющий кончину деда Павла. Вот из него выдержки:

«...Отдел актов гражданского состояния. Свидетельство о смерти № 189, фамилия: Астафьев, имя-отчество: Павел Яковлевич. Умер(ла) 7 июня 1939 г... о чем в книге записей гражданского состояния о смерти 1939 года 16 июня произведена соответствующая запись. Город-селение: Игарка, край-область: Красноярский... возраст, причина смерти: 57 лет, утопление...»

Читая этот документ, я сделал потрясающее меня открытие: деда-то Павла Яковлевича первый его внук и верный соратник по рыбалке почти уже на десяток лет пережил, но рыбачить стал редко и лениво: нет у него такого верного напарника, какой когда-то у деда Павла был в далеком Заполярье, внуки малы еще, да и заняты они учебой, увлечены городской жизнью, смотрят телевизор.

Без приюта

*Доля во времени живет,
Бездолье в безвременье.*

Русская пословица

Не помню, в каком году, но где-то далеко после войны я плыл на новом пароходе вниз по Енисею. На пристани Назимово толпа пассажиров, стосковавшихся по берегу, заранее накопилась, стиснулась у квадратной дыры и выжидательно молчала, будто у входа в Божий храм перед молебствием. Команде не удавалось выкинуть трап, матросы рассердились, тыкали торцом трапа в ноги людей и, ушибив одного-другого пассажира, пробили наконец отверстие в толпе.

Дурачась, охая, хватаясь друг за дружку, пассажиры хлынули по трапу, мелко переставляя ноги, чтоб не оттоптали. Слепым водоворотом людей выкидывало на берег повернутыми лицом обратно к пароходу.

На берегу шла торговля, небогатая, без зазывов и ора. Северяне, в отличие от южан, не красуются и не наглеют, торгуя чем-либо, они как бы даже стесняются такого занятия, тогда как южане получают от торговли удовольствие, делают из нее театр, где и цирк.

Туеса со стеклянно мерцающей смородиной, зевасто открытые мешки с каленым, как бы олифой покрытым, кедровым орехом. Под открытым веком пестеря кровенела княженица; голубика и черница темной пеной всплывали из ведер; в щели плетенок сочилась остатняя, проквашенная морошка. Овощи: лук и чеснок с сочным пером и мелкими, вытянутыми корешками, желтенькая репа, яркие морковки с пышной ботвой лежали на каменных плитах. Под соленую и свежую рыбу брошены плахи, где и весла, чтоб не липла к продукту супесь, на тряпицах белели выступившей солью горки тугуна прошлогоднего вяленья.

В стороне ото всех, сложив по-бабьи руки на животе, молча сидел старик разбойничьего вида. Перед ним на крапивном мешке разложены были пастушьи дудки, ивовые пикульки, берестяные зобенки под соль, резаные ложки, расписные туеса, птичьи чучела. Пассажиры дудели в дудки, вертели в руках лесные диковинки, говорили про чучела: «Прямо

как живые!»), но ничего не покупали у старика — не наступила еще мода на такого вида народные изделия.

Торговцы стояли коридором и пропускали по нему пассажиров, которым непременно надо подняться на берег, посмотреть на дома и на добродушно почесывающихся собак, рядами залегших по прибрежному урезу, будто на пограничном порубежье, готовых оборонять селение свое, худобу и хозяев.

Среди торговков, с горкой насыпающих ягоды и орехи, конфузливо отшучивающихся от-мужичья, лепилась девочка лет девяти, в полосатеньком платье, спереди как бы обрызганном синими чернилами, — она вынесла на торжище ведро гонобобели. Угловатая, с несообразно крупной костью и выпирающими скулами, девочка выглядела старше своих лет. Потом уж, годам к шестнадцати-семнадцати, когда во многих коленах тайгой и таежной работой крепленную кость прикроет упругое тело, нальется оно соком — ох, какая сильная, может быть, удалая сибирячка получится из этой девочки. А пока торчала на берегу растопыркой большеротая, толстопятая девчушка и, ошарашенно открыв рот, глядела на нездешний, распрекрасный люд глазами, в которых накрошено и белого, и синего, и серого, и который которого переборет, пока не угадать, но непременно получатся глаза северного, застенчиво тихого свету.

Я покупал орехи у бородатого старообрядца, обутого в сыромятные шептуны, картуз еще на нем был знатный, кожаный, высокий, времен, поди-ка, царя Алексея, вылощенный под железо, насунутый до надбровных, непримиримо сдвинутых бугров. Насыпая орехи берестянкой, он воротил от меня рыло — я «вонял» табаком, но от самого кержака так перло черемшой, что пассажира послабей и с ног могло сшибить, — ушат с этой самой соленой черемшой стоял чуть в стороне. «Колбы не надо ль?» — мотнул старообрядец бородою на ушат.

Я отказался. Приняв мелочь за орехи, торговец устался в заенисейские дали, презирая вместе со мной всю гомонящую мирщину. Я отыскал взглядом девчушку. Не очень-то почитаю водянистую голубику, но у молодой сибирячки никто ягоды не покупал, и мне хотелось сделать «почин», а там сработает «закон рынка», разуму не поддающийся.

Спускаясь по отлогому берегу, я увидел на камешнике покойницки-синие следы и шмыгающие среди разномастной обуви, большие в кости и все-таки еще детские руки. Они выцарапывали ягоды из-под ног, гребли в кучу, но грязно-синяя лужа все шире расплывалась по берегу, достигла мытых мостков дебаркадера, кляксами испятнала пароходный трап. Матрос бросил перед входом сырую веревочную швабру. «Вытирайте ноги!

Вытирайте ноги!» — повторял он, выхватывая за ворот попроще одетых пассажиров, сталкивал иль прямо-таки ставил обувью их на швабру. Девочка уже не собирала ягоды. Кому они нужны, с песком-то? Она терла ладошки о платье на груди, и отрешенность скитницы-черницы, понимание ей лишь ведомой юдоли исходило от нее. Вчера рано поутру разбудила ее бабушка, и они пошли в лес, по мокрой траве, и девочка ежилась со сна от утренней, пронзающей росы, и ноги ее, схлестанные травой, покрылись пупырышками, но пока пришли на болото, взошло солнце, обогрело, запели птицы, бекас на болоте зажужжал, глухарка с выводком пришла на болото кормиться ягодой. Набрали бабушка с внучкой полное ведро голубики, хоть и по оборкам ходили, где же им, старой да малой, идти на дальнее болото, пусть ягоды там и совком гребут. Но при старании да умении и на ближнем, исхоженном болоте ягод наберешь — не ленись только. Девочка свою тетрадку, шибко испомеченную красным карандашом, кроила на кулечки, высунув язык, бабушка откатывала ягоды по наклоненному столу, чтоб без сора «товар» нести на продажу, одновременно научала внучку свертывать кульки воронкой, и совместно решено было — на вырученные деньги купить внучке синие тапочки с черными шнурками, бабушке пестрого ситчику на фартук...

«Тебе чё, особу команду подавать?» — так, что затрещала на мне рубаха, сгреб меня за ворот матрос, и, пока я вытирал ноги о швабру, он с наслаждением удавкой затягивал ворот на моей шее. С сожалением выпустив меня, матрос заныл вкрадчиво-сонно: «Вытирайте ноги, граждане! Вытирайте ноги...»

А злой, свинцом налитой взгляд его щупал народ, искал жертву.

Я б забыл мокрогубого матроса и пристань Назимово забыл бы, если б не эта вот, зачем-то и почему-то накопленная и бережно хранимая злость молодого еще парня, может, и не злость, а только уверенность во власти, что хуже всякой тяжкой злобы, — власти временной, однако дающей возможность пусть хоть краткий миг потирания ближнего своего, ротозевую ли девочку, дурня ли, вроде меня, не к месту и не ко времени размечтавшегося, — ничтожной силе и жертвы ничтожные.

«Сама во всем виноватая!» — простуженным голосом крикнула бойкая бабенка, в грязном шелковом платье, девочке, по лицу которой не потекли, прямо-таки рухнули слезы величиной с голубику. Крупные, светлые слезы, какие бывают только у детей, сыпались на камни, на песок и тут же бесследно высыхали.

Легкие еще слезы, жизнь не отяготила их еще горькой солью. Но взгляд в себя послушницы-черницы все-таки почудился. От матери, от

бабушки иль прабабушки достал он эту девочку, занял свое место, осел в ее глазах на самом дне бабьей покорностью, которая паче мудрости.

Давно уж девушкой стала ягодница. Да что там девушкой? Женщиной, матерью. Рябь в ее глазах перемешалась, сделались они тихого, северного цвету, донная синева, много мудрой печали таящая в глуби, отсияла в молодости, и серой пыльцой подернулись глаза, как спелая ягода голубика, которой вышла она торговать когда-то на пристань Назимово. А растет та ягода на тихом болоте, где лешие водятся, где лесной соседушко обретается, пиликают веснами кулики, токует старый глухарь, уркают дикие голуби. В суете жизни, в бедах и радостях ягодница скорей всего забыла о том давнем происшествии на пристани Назимово, и саму пристань, быть может, забыла, а я вот отчего-то помню все так зримо и подробно, будто видел тихо и отринуто плачущую девочку лишь вчера.

* * * *

Мы подзадержались осенью на рыбалке. Высотин с папой добирали план, забивали рыбой бочки, спрятанные под берегом в кустах. Высотин солил и коптил рыбу на прокорм большой семье, папа, чуял я, мечтал покутить, хотя сулился справить мне «кустюм и сапоги».

Вернувшись уже с «белыми мухами» в Игарку — они здесь начинают летать иным годом в начале сентября, папа где-то отыскал мачеху, и они, как говорилось в старину: «Вновь пали друг другу в объятия».

Сейчас я уж и не вспомню, какие извилистые пути привели нас в заброшенное здание драмтеатра, снаружи похожего на ящик из-под стирального мыла, не в партер привели, не в ложу — в подвал, где так и сяк нагрожено было множество клетушек. В клетушках слеплены, сбиты, со строек унесены печи, печки и печурки, трубами выведенные в окна, в стены и куда-то даже вниз, как потом выяснилось, в развалившуюся котельную.

Театр, в котором и прежде водились клопы, часто гас свет, выходило из строя паровое отопление, впавший в инвалидное состояние, был проворно от всего отцеплен и отключен, но, изъятый из культурного оборота жизни, он не сдавал свои позиции, и потому спектакли здесь шли круглосуточно, так как народ в нем обитал разнообразный, большей частью пьющий. Театр захватил, можно сказать, впитал в себя моего родителя, и такое началось

«искусство», что ни в сказке сказать, ни пером описать!

Пока в нашей клетушке и в коридорчике у дверей стояли бочки с рыбой, шумно и весело шла жизнь: играли гармошки, «бацал» папа босиком, невзирая на сквозящую в щели половиц погребную стужу вечной мерзлоты. Братан Колька, изгрызанный клопами до корост, радостно подпрыгивал в люльке, гости выучили его свистеть и материться, и он, едва научившись говорить, такое загибал, что публика впадала в неистовое восхищение, одаривала его конфетками, лобызала, суля мальцу большое будущее.

Зима набирала силу. В театре начались пожары оттого, что печки тут палили украденными дровами без учета их технических возможностей. Рыба и деньги у нас кончились. Передравшись с мачехой, папа куда-то исчез. Пришлось мачехе поступать ночным кочегаром в театр, но уже не в тот, где мы жили и действовали, а в другой, в новый, имени Веры Пашенной.

Каким-то ловким маневром я был перекинут из новой седьмой школы в тридцатую, отсталую. Переход из начальных групп в пятый класс, где вместо одного учителя становилось их много, в прежние годы совершался трудно, ребята не такие были «развитые», как нынешние, и сперва терялись от множества уроков, подолгу не могли запомнить имени-отчества преподавателей, длинного расписания.

Все это к тому, что дела мои в пятом классе пошли еще хуже, чем в четвертом, отношения с классной руководительницей — женщиной маленькой, злоредной — не заладились, и я совсем бы бросил школу, но ходил в нее от скуки, да еще чтобы раздобыть книжек, которые приохотился читать.

Отвлекаясь и забегая вперед, скажу, что кроме учительницы отпугивал меня от школы предмет под названием алгебра, к которой в шестом классе прибавилась совершенно мне недоступная геометрия, да еще важно сообщено было, что наукам нет пределу и к геометрии со временем может подсоединиться тригонометрия.

На нож хаживал, кирпичом мне голову раскалывали, каменюками, дрынами и всякими другими предметами били, пинали меня, в кулаки брали, на кумпол сажали. Все я более или менее благополучно прошел, пусть и с неизбежными физическими и умственными потерями, однако такого страха, такой жути, как при словах «геометрия» и «тригонометрия», не испытывал. Шпана есть шпана, на коварство, наглость и нахрапистость ответные качества появляются, соревнование в обмане, подвохах и наглости идет, с годами способность к сопротивлению, к отстаиванию

своего достоинства, тело и душа совершенствуются. Словом, в драках и битвах толк был, закалялся я хорошо. Отпор какой-никакой научился давать, иначе ж прикончат. Но как сопротивляться геометрии, да еще и тригонометрии — чем отпор давать?

Пустота разверзлась, впереди, сзади, вокруг одна пустота при слове «геометрия». А как с пустотой бороться? Была бы гора, так полез бы на нее, на гору, если не одолел бы, может, обошел бы.

Вот сколько ни жил я на свете, сколько ни переслушал умных слов, утверждающих, что мирозданию нет конца, все равно постичь этого не могу. Не могу, и все! Другие могут или притворяются ясновидцами и умниками, у меня не получается, потому как со дня моего рождения все имело конец, край, срок. Вот так же и с геометрией. Я тогда в ряд поставленное арифметическое действие и то одолеть мог с трудом и едва научился считать до ста. Какая тут могла быть алгебра и геометрия? Мало что знаки непонятные, так на тебе, действия разделили линейкой, и цифры расставили в два ряда, да еще Цехин — учитель — не без гордости предупредил, что действие может растянуться до бесконечности.

Бабушка моя родимая, зачем ты меня в школу снарядила? Зачем фартук на сумку перешила? Посмотрела бы ты, что со мной творят!.. Стою у классной доски, потею, крошу мел пальцами и ворочу такое, что народ в классе впокот ложится. Учитель математики Цехин, дымясь от напряжения, толкует, что действие, написанное мелом на доске, специально для меня, тупицы, подобрано, надо только сосредоточиться, подумать, как тут же все и решится. Но еще в первом классе арифметика ввергла меня в такую пропасть, где нету места соображению. Все темно, глухо, немо, ничего не живет там, не шевелится и не звучит. «Ну а дважды два сколько будет?» — доносится до меня взбешенный голос Цехина. «Два», — выворачиваю я. «А дважды три сколько?» — «Шесть». «Но почему же дважды два — два, а дважды три — шесть?..»

К этой поре меня начинало тошнить, с меня катилось потоком мокро, начинало пощипывать невытую кожу, рубаха и штаны прилипали к телу. Никуда уже я не был годен. Цехин отсылал меня на место, с остервенением, ломая перо, ставил в журнале «Оч. плохо». Я и этому был рад. Освободили! Выпустили! Кончилась страшная мука.

«Попасть бы в школу, — томила меня мечта на уроках, — где нет ни алгебры, ни геометрии, тем более тригонометрии, и соображать и напрягаться совсем не надо».

Только на уроках русского языка и литературы ощущал я себя человеком. Чувство неполноценности покидало меня. Я ретиво рвался в

«бой», тянул руку, желая высветить классовые противоречия в повести Тургенева «Муму» и демократические мотивы в произведении Пушкина «Дубровский».

Оставшись два раза подряд на второй и даже на третий год, я решил покончить с надсадными, никому не нужными науками. До тригонометрии я так и не дошел, слава Богу, и после шестого класса отношения мои со школой не возобновлялись.

Но Бог с ними, с этими точными науками. В театр! В театр! Там веселее и понятней все, и все действия в один ряд.

Иногда в театре поднималась большая паника. Не раздумывая, я хватал в беремя Кольку и мчался с ним на улицу — так поступать мне наказывала мачеха. «Добро, — вразумляла она, — всегда можно нажать, а ребенок — он живой человек!» Однажды ночью театр горел особенно долго, и тушили его всем миром-собором. Мы с Колькой заспались, угорели и померли бы в подвальной клетушке, да вспомнил про нас артист, изгнанный из труппы по причине запойности, — он не единожды гуливал у нас с папой. Пожарные вытащили меня и Кольку наружу. Нас рвало. У Кольки не держалась голова, он ронял ее мне на плечо. Были разговоры, будто искал нас фотограф игарской газеты, чтобы заснять на руках у пожарников, проявивших мужество при спасении детей, но не нашел — спасенных детей мачеха укрыла в кочегарке нового театра. Старый закрылся окончательно. Публику из него вытряхнули, и, чтобы она не вздумала возвратиться, пожарные раскатали баграми уцелевшую часть гостеприимного и веселого заведения.

Узел с периной, подушками, старыми оленьими и собачьими шкурками, половиками какое-то время валялся за котлом в кочегарке. Мы с Колькой спали за котлом, полузадушенные угаром, потные от жары и пара, вымазанные глиной и сажей. Колька совсем увял в душеине кочегарки, черный, худющий, перестал материться и свистеть, все тер кулачишками красные глаза и сам себе напевал: «О-о-о-о, о-о-о-о».

Явился папа, трезвый, потертый и смирный. Мачеха взяла лом и пошла на него. Ее перехватил дежурный кочегар — переселенец из наших мест. Мачеха и кочегар срамили папу, он сидел на поленьях, смотрел в огонь тусклыми, то и дело в бессилии закрывающимися глазами и не отвечал им, не каялся, не слышал, должно быть, ничего, ничему не мог внимать, обессиленный пьянством.

Узел с добром, я и Колька были переправлены в пустое помещение летней парикмахерской, где недолго работал папа. Срубили для парикмахерской новый бревенчатый дом, но папу работать туда не

перевели — «полька-бокс», сооружаемая им на головах игарчан, не подходила под госты мод; брить, не повреждая людей, он так и не наловчился — «руки суетились».

Мы отодрали доски, прибитые буквой «х» к окнам и двери парикмахерской, и зажили семейной ячейкой. Какое-то время все шло у нас ладно — папа поступил на курсы засольщиков рыбы, мачеха шуровала кочергой в долгозадом котле театральной кочегарки, поддавая жару родному искусству, я был дома за няньку и за истопника. Но ветхое сооружение сарайного вида, воздвигнутое под парикмахерскую на скорую руку еще первопоселенцами, сдавало под напором заполярных стихий. Однорамные окна нашего обиталища, хотя и были занавешены половиками, тепла не держали. Жизнь наша переместилась в угол, к железной печке, которая неустанно гудела и содрогалась от напряжения.

* * * *

Первым сдал папа. Еще в молодости прихватив простуду, он маялся многими недугами и самой страшной болезнью — псориазом. Ехать в сырое Заполярье да еще на рыбный промысел ему не следовало.

Пришла с работы мачеха, затрясла головой, подшибленно-дураковатая, раскосмаченная, выла она, размазывая слезы по плохо отмытому от сажи лицу, и вокруг глаз ее размывало слезами черные ободки, какие нынешние девчата наводят для томности и азиатской загадочности. Колька лез ко мне под пальтишко, зажимая ладошками глаза. Он не орал, не выказывал страха, только дрожал так, что проволокой выступающие ребра его вроде бы позвякивали. Он у нас хороший малый, терпеливый, да обезножел, лишь начавши ходить. Бродил с осени, ушибался, но свистел, бормотал чего-то. Старый театр, кочегарка и парикмахерская dokonали мальчонку. Из мачехино воя и причетов я уяснил — отец в больнице. В тепле проведет всю зиму, сыт, умыт и беззаботен. Не в первый раз обострялась его болезнь после запоев, он надолго убирался в больницу, предавая семью, и предаст еще не единожды. Я сказал мачехе, чтоб она спасала Кольку — искала работу, жилье и уходила отсюда, иначе малому конец — кашель у него начался и ноги вот...

— А ты?

Мачеха, подбирая волосы под платок, высоко задрала руки, и меж

распахнутых пол душегрейки обнаружился заметно побугревший ее живот: «Чего это она там спрятала?» — мачеха перехватила мой взгляд, поспешно запахнула полы, и я догадался, отчего пошли у нее цветные пятна по лицу, мадежами в деревне они зовутся.

— Уйду к нашим, — ответил я и покраснел.

Мачеха ровно ждала такого моего решения. «Правильно, — тараторила она, собирая манатки. Колька же плотнее и плотнее прижимался ко мне. — Кому, как не дядьям, не дедушке да бабушке позаботиться о сироте? Отец хворый, а я — какая мать? Со своим-то дитем дай Бог управиться, не ухайдакать его при такой жизни... Конечно, тесно у родни-то, комнатенка всего, ну да в тесноте — не в обиде... — И совсем уже заботливо наказывала: — Главное дело — потрафляй бабушке. Не огрызайся. Сяма не то, что я, сяма не любит этого. Ну даст Бог, все наладится, отец не подохнет, соберет всех в кучу...»

И по тому, как снизила она голос на «куче», не сказывала, куда уходит, суетлива больно была, голос ее был шибко ласковый, я уразумел: и эта предает меня. Чувствует, знает — не пойду я «к нашим», но балаболит, извертывается. А я-то, я-то ждал взрыва: «Какие еще тебе наши?! Я что, не наша?!» — и решительно заберет меня мачеха с собою. Всю жизнь тогда я буду покорным, уважать ее попробую, когда вырасту, защищать и кормить стану...

Избавившись от обузы, мачеха переминалась «для приличия» у обмерзшего порога парикмахерской. Я сидел за печкой на полу, обняв колени, и видел Колькины глаза, слезами сверкающие из толстого, неуклюже навьюченного на него тряпья. Вот-вот рухнет ко мне Колька с протянутыми руками, тогда я не выдержу, зареву тоже.

— Ладно, идите...

— Картошек поешь. Карасин в фонаре остался... Не обгори ночью-то... Долго тут не будь...

— Иди, иди...

Дощатая, по щелям просеченная белым дверь бережно, почти беззвучно прикрылась, обдав облаком стужи пустое жилище, на стенах которого остались незакрашенные квадраты от зеркал, настенных ламп и гвозди, забитые для какой-то надобности; провода мышинными хвостами торчали из стен; белела под потолком люстра, сделанная наподобие банного таза. Кроме люстры, досталось мне кое-что из нашего личного имущества: в углу лежала перина, подушка; на окнах половики висели, и, пока не забрала их мачеха, я мог «жить — не тужить».

Самостоятельную жизнь я начал сразу, безо всякой подготовки. Мачеха из кочегарки ушла, дров мне там не дали. Я подглядел возле одного переселенческого барака нарту, явно лишнюю, укатился на ней к жилищу, отныне мне только принадлежащему, и обнаружил, что перины на месте нет, зато половики, подушка и кое-что из рухляди, главное — собачья и оленья шкуры — милостиво оставлены мачехой. «Хоть в тоске, да все не на голой доске! Дура душой, а где надо, так умная, — не захотела вот со мной встречаться и не встретилась, имущество поделила по совести».

Надо было взойдись нарту, что значит — облить водой, подморозить полозья, после подровнять топориком лед, чтобы нарта была ходовитей. Все это я проделал с большой охотой и, впрягшись через оба плеча в нарту, скоро волок уже с речного отвала воз сухой обрезки, именуемой в Игарке макаронником. Нарубил я его целый ворох, надеясь ночью унести сырой листовенный кряж от театральной кочегарки, потому что макаронник горел порохом и его надо «сдерживать» топливом впросырь.

Я варил в ведре и пек на печке пластики картошки, не интересуясь, допеклись они или доварились, ел их, скорлупки бросал мышам, которые бойко возились по другую сторону печки, с ними было мне не так одиноко. Я добывал в читальнях библиотек книжки, уводил их, а они уводили меня в иной мир, помогали глушить тревогу и раной ноющую обиду на весь белый свет. Я понимал, что долго мне на картошке не продержаться, ослабну и не смогу на себе таскать возами дрова.

Я уставился взглядом на люстру, вывешенную посередине залы. В чаше люстры темнела мерзлая мухота, будто подвяленная смородина, по дну люстры, словно во льду, сверкала трещина, край люстры выбит, потому и не взяли ее с собой горкомхозовцы, а вещь хорошая. Если из десяти плевков хоть одним попаду в чашу люстры — решил я, — мне стоит сходить к нашим и понюхать, чего там и как. Плевать было хоть и невысоко, но из-за печки далеко, однако я не хотел хлюздить — все вокруг меня хлюздят. Так я не стану хлюздить и, раз загадал попасть в люстру из-за печки, шагу не сделаю, даже не поднимусь, как сидел, так и буду сидеть, в соревновании должна быть честность. Я попал в люстру шестым плевком, да так попал, что мухота сажей залетала по чаше люстры и пыль облаком заклубилась. «Силен, бродяга! Зер гут!» — похвалил я самого себя

и отправился к нашим.

Меня приветили, усадили есть, про жизнь спрашивали. Я чего-то плел, старался не жадничать и не капать на клеенку, ел, что давала бабушка из Сисима. Дед привычно ругал отца: «И в ково уродился, сволочь такая?! Ну я вот его увижу! Ну я вот ему...»

Бабушка из Сисима поспешно взялась штопать рубаху прямо на мне, даже язык велела прикусить, чтоб память иголкой не ушить, затем украдкой от деда сунула мне рублишко — вот какая заботливая бабушка! Они, дед и бабушка, догадывались о моей беде, но прятались, прежде всего от дядьев — те не понимали, что со мной, где я живу, шуточки пошучивали, о гульбе думали. Отужинав после смены, Ваня — работал он рубщиком на лесобирже — вальнул с книжкой на кровать. Вася щелкнул меня по лбу, свистнул в «квартире», дразня бабушку из Сисима, и подался по девкам. Бабушкин сын Костька — тоже мне дядя, хотя и моложе меня, оказывал упорное сопротивление матери, заставлявшей его делать уроки. Он метил на катушку порезвиться и покурить там с ребятней, вот и тянул шею, заглядывая в обтаявшее сверху барачное окно.

Все заняты собою. У всех свои заботы. И у меня тоже. Главная из них: чего завтра пожрать?

Дома ждал меня гость, мой одноклассник и друг, Тишка Ломов, личность тоже выдающаяся, в дружбе до гроба верная и до того преданная, что со мною на второй, если потребуется, и на третий год останется в одном и том же классе.

Тишка дал мне пирожок с капустой и записку классной руководительницы моим родителям. Она была обеспокоена долгим отсутствием вверенного ей ученика, хотела знать — отлынивает ли учащийся, болен ли, и вообще она всегда старается лично знакомиться с уважаемыми родителями и со всеми уже почти знакома, кроме моих.

Плюнув на неразборчивую роспись учительницы, я бросил бумагу в огонь, чем привел Тишку в бурное восхищение. Вдвоем мы быстро наготовили дров, нахально уперли сутунок опять же от театральной кочегарки, и Тишка засиделся у меня допоздна, сообщив напоследок, что видел мою мачеху возле домов, строящихся на улице Таймырской.

Слабо теплившаяся надежда погнала меня на улицу Таймырскую, и там среди четырех из брусьев складываемых двухэтажных домов, в жарко натопленной сторожке, наполненной запахами стружек и выкипевшей из досок живицы, я отыскал мачеху и Кольку.

Малый метался на топчане, сколоченном из новых, свежпахнувших досок.

— Заболел наш Коле-енька, заболе-эл! — запричитала мачеха, схватившись за голову. Голос у нее был совсем уж лесной, дикий, вся она какая-то обвислая, сырая, губы мокры, раскосмачена, будто шаман. «Да она же выпившая, может, и пьяная!» — резануло меня догадкой, и я со страхом заметил на столе, из опять же белых, пахнувших досок сооруженном, уже нечистом, израненном ножиками, недопитую бутылку. На газете ржавели растерзанные иваси с выпущенными молоками, кусок хлеба, похожий на бульжину. Хлеб почему-то ломали, не пользовались ножом, воткнутым в щель стола. Пили тут рабочие, строители пили, совсем недавно, в обед пили.

— Ну, как ты? Не ушел к нашим-то? — на слове «нашим» мачеха сделала злой упор и затрясла спутанными космами: — Не нужны мы никому! Ни нашим, ни вашим... Ни-ко-му! Знать, бороной по нашей судьбе кто-то проехал... Допей вон вино, лучше станет, тепле-е...

Мачеха, хоть и заполошная, хоть и с пьяницей жила, но к вину непривычная, ее развозило в жаре. Ночь, наверное, не спала — сторож все-таки. Может, много ночей не спала — ребенок хворый на руках, другой наружу просится; ни кола ни двора; муж из больницы табаку заказывает; где-то парнишка брошен, пусть неродной, но все-таки живой человек! Что, если мачеха вздумает допить остатки спирта? Ей ведь все равно — отчаялась. Сгорит! Умрет в судорогах. Что с Колькой тогда будет?.. Я схватил бутылку, задержал дыхание, остановил всякое движение в теле и в широко растворенный рот вылил спирт — так пьют настоящие умельцы, слышал я, так пьют ходовые мужики, покорители морей, воздушных, арктических пространств — и словно подавился горячей картошкой — ни назад, ни вперед ничего не подавалось и не пробивалось, прожигало грудь комком пламени, губы понапрасну схватывали воздух. Мачеха изо всей силы колотила меня кулаком по спине:

— Ну!.. Н-ну-у-у! Н-ну-у-у-у! Ой, тошно мне! Закатился парнишка-то!.. Л-лю-у-уде-э-э-э!..

Наконец разжалось, схватило воздуху обожженное горло; остановившееся сердце пошло своим ходом, и я смог перевести занявшийся дух. Убедившись, что я ожил, отошел, мачеха упала головой на край топчана, подгребая к себе Кольку:

— Зарублю! Если Колька помрет, отсеку башку твоему отцу!..

Я толкнул задом дверь, выпятился из сторожки. Следом несся сорванный голос человека, давно и безнадежно заблудившегося. Я зажал

драными рукавицами уши, побежал куда глаза глядят. На какой-то улице, возле каких-то подпрыгивающих барачков катавшиеся с крыши сарая или с чего-то высокого и тоже подпрыгивающего ребятишки кричали: «Пьяный! Пьяный! Оголец пьяный!..» Я схватил палку, погнался за ребятней, запнулся, упал, ободрал в кровь колени. Какие-то дядьки и тетki поймали меня, ругались, хотели бить, но меня начало рвать, и они брезгливо отступились.

Неизвестной мне дорогой — пьяных же черт водит! — я проник на конный двор, располагавшийся в соседстве с парикмахерской, попал в стойла к рабочим коням, если б к жеребцу — зашиб бы он меня. Обнимая смиренную конягу за шею, истертую хомутом, я чего-то ей объяснял, целовал в окуржавелую морду. У коняги подрагивали широкие ноздри, она деликатно отворачивалась от меня, как девушка в автобусе от назойливого пропойцы. В печальном глазу коняги стоял молчаливый мне укор. И по сию пору, когда я гляжу на рабочую конягу, мне вспоминается покойный дедушка Илья Евграфович, и тогда тоже, видать, вспомнился. «Эх, дедушка, дедушка! Царство тебе небесное! — запричитал я. — Ты не бросил бы меня...»

Выплакавшись, я, должно быть, поспал в стойле коняги, потому что очнулся в соображении, нагреб из кормушки овса в карман и потрепал извинительно конягу по гриве;

— Голодуха — не тетка! Тебе еще дадут.

Холодина в парикмахерской была такая же, что и на улице.

Мышей не слышно и не видно — норками ушли на конный двор, там сытнее и теплее. Я разживил печку, подгрел в кучу грязные, облезлые шкуры, закутался в половики, жарил овес на вьюшке и выгрызал из шелухи зерна. Наловчился я в этом деле. «Беда вымучит и выучит», — говаривала бабушка Катерина Петровна. Жива ли она? Надавливая зубами на зерно, я посылал ядрышки в рот и хрумстел, думая о бабушке и о разных разностях. «Овеяно зернышко попало волку в горлышко», вспомнилась бабушкина присказка, только ему, волчьему-то горлышку, все нипочем, а мне язык накололо. Я пробил в зеленеющем ведре дырку, попил через край воды, и меня снова разморило у горячо полыхающей печки, в пьяную жалость и слезу повело. «В Ледовитом океане, — затянул я только что появившуюся песню, — против северных морей, воевал Иван Папанин двести семьдесят ночей. Стерегли четыре друга красный флаг родной земли до поры, откуда с юга ледоколы не пришли...»

Пел и плакал — жалко было Ивана Папанина.

* * * *

В ту ночь я едва не замерз. В печке погасло. Со шкур я скатился, и только подушка, угодившая мне под бок, спасла меня от тяжелой простуды, может, и от смерти. Малую простуду — кашель, бывший меня, вечный уже насморк я болезнями не считал.

Боль в голове, одиночество ли, особенно тягостное с похмелья, надежда ли отогреться и чего-то пожрать стронули меня с места, потащили в тринадцатую школу. Располагалась наша отстающая школа в бывшем помещении горсовета. Наверху, на втором этаже школы, все еще оставались разные службы, для которых достраивалось отдельное помещение. Службам этим, особенно сотрудникам горно, учащиеся мешали выполнять обязанности, бегая по коридору и резвясь на лестницах.

Готовый дать в морду любому, кто станет приставать с расспросами или обзывать, весь внутренне одобравшийся, ощущая колкую щетину на спине, я шагнул в класс и понял, что друг мой, Тишка Ломов, провел «серьезную работу» среди учащихся — меня никто не «видел». Тишка пересунул в пустующее передо мной отделение парты ломоть хлеба, жиденько намазанный томатной пастой. Я приподнял клапан парты, наклонился и быстро изжевал, да что там изжевал, заглотил кусок хлеба и облизал кисленькую пасту с губ. Тишка коршуном глядел вокруг, остерегая таинство моей трапезы.

Задремал звонок. В класс с указкой, картами и журналом в беремени вошла Ронжа — такое прозвище носила учительница за рыжую вертлявую голову, зоркий глаз и керкающий голос. На самом деле Софья Вениаминовна, географичка, наш классный руководитель. Росту Ронжа от горшка два вершка и потому готова уничтожить всех, кто выше ее и умней. Поскольку выше ее и умней были все люди вокруг, она всех, над кем ее власть, а власть только над учениками, терзала.

Пронзив голубым, душу леденящим взором пятый класс и сразу все в нем увидев, Ронжа уцелилась клювом в меня:

— Явился не запылится! В перемену побеседуем...

Беседе не суждено было состояться.

К середине урока меня крепко разморило в тепле, и я стал кренивать голову на парту. Сзади меня началось смятение. «Девчонки увидели на мне вшей, — догадался я, втягивая голову в плечи. — Выползли, заразы! Не

сидится под рубахой, в тепле...»

— Встать! Вста-ать! Вста-а-а-ать!

Кто-то рвал меня, тащил за руку. Я поднял голову и в плавающей паутине сна различил что-то рыжее, с дергающимся хохолком, с острым клювом. Дружески улыбнулся я рыжей птахе, повсеместно обитающей в российских лесах, красивой птахе, но вороватой, ушлой и шибко надоедной. Птаха издала поросячий визг, и я проснулся. Из-за парты, в которой я застрял, вытаскивало меня малосильное существо женского пола, трясущееся от бешенства.

Я стоял у доски по команде «смирно». Ронжа, поцокивая каблуками, мне чудилось — коготками, скакала вокруг меня, будто возле корыта с прикормом, обзывала лоботрясом, идиотом и тому подобными словами, стоящими на ближних подступах к матюкам. Я плохо ее слышал и никак не мог удержать голову. Дремал. То, что я не огрызался, прикемаривал на глазах у всего класса, распалило учительницу, уязвляло пуще всякой наглости, и в слепом обозлении перешла Ронжа ту ступень, которую переступив, даже бесстрашная мачеха бросала все дела и убегала куда подальше, надежно хоронясь от пасынка.

— Грязный, обшарпанный, раздрызганный! — Ронжа выдернула из моих штанов рубаху с прожженным подолом, оттого и заправленную под ошкур брюк. Валенки — расшлепаны, мною же проволокой чиненные, «просили каши»; прихваченные через край суровыми нитками, заплаты на штанах поотрывались; стриг меня папа под «польку-бокс» еще на рыбалке, в баню я тоже затепло ходил, нагольного белья на мне не было. Заталкивая рубаху обратно под штаны, я нечаянно показал исцарапанное ногтями тело. Кто-то в классе хихикнул и тут же получил громкую оплеуху от Тишки Ломова. Ронжа мигом выдворила Тишку из класса и собралась обличать меня дальше, но сидевшая сзади меня дочка завплавбазы или снабсбыта подняла руку — левая сторона ее кошачьей мордочки сделалась еще сытнее, вроде она конфетку за щекой мумлила — Тишка отоварил! Человек — Тишка!

— Ну что у тебя, Переудина? — недовольная тем, что ее прерывают, спросила учительница.

— Софья Вениаминовна, у него вши...

Ронжа на мгновение оцепенела, глаза у нее завело под лоб, сделав ко мне птичий скок, она схватила меня за волосья, принялась их больно раздирать и так же стремительно, по-птичьи легко отскакнув к доске, загородилась рукой, словно бы от нечистой силы.

— Ужас! Ужас! — отряхивая ладонью белую кофточку на рахитной

грудешке, со свистом шептала она, все пятясь от меня, все загораживаясь, все отряхиваясь.

Я уцелил взглядом голик, прислоненный в углу, березовый, крепкий голик, им дежурные подметали пол. Сдерживая себя изо всех сил, я хотел, чтоб голик исчез к чертям, улетел куда-нибудь, провалился, чтоб Ронжа перестала брезгливо отряхиваться, класс гоготать. Но против своей воли я шагнул в угол, взял голик за ребристую, птичью шею и услышал разом сковавшую класс боязную тишину. Тяжелое, злобное торжество над всей этой трусливо умолкшей мелкотой охватило меня, над учителькой, которая продолжала керкать, выкрикивать что-то, но голос ее уже начал опадать с недоступных высот.

— Ч-что? Что такое?.. — забуксовала, завертелась на одном месте учителька.

Я хлестнул голиком по ракушечно-узкому рту, до того вдруг широко распахнувшемуся, что в нем видна сделалась склизлая мякоть обеззвучившегося языка, после хлестал уже не ведая куда. Я не слышал криков, визга, не заметил, как в панике сыпанули за двери парнишки и девчонки, покидая родной класс и учительницу; черные стрелы замелькали перед глазами — разлетались прутья голика; на мгновенье возникло передо мной окровавленное лицо учительницы, но кровь на напугала, не отрезвила меня, наоборот, она прибавила озверения и неистовства. Ничего в жизни даром не дается и не проходит. Ронжа не видела, как заживо палят крыс, как топчут на базаре карманников сапогами, как в бараке иль жилище, подобном старому театру, пинают в живот беременных жен мужья, как протыкают брюхо ножом друг дружке картежники, как пропивает последнюю копейку отец, и ребенок, его ребенок, сгорает на казенном топчане от болезни...

Не видела. Не знает. Узнай, стерва! Проникнись! Тогда иди учить. Тогда срами, если сможешь. За голод. За одиночество, за страх, за Кольку, за мачеху, за Тишку Ломова — за все полосовал я не Ронжу, нет, а всех, бездушных, несправедливых людей на свете. Голик рассыпался в руке — ни прутика, я сгреб учительку за волосы, свалил на пол и затоптал бы, забил до смерти жалкую, неумную тварь, но судьба избавила меня от тяжелого преступления, какой-то народ навалился на меня, придавил к холодным доскам пола.

— Витька! Витька! Бешеный! В колонии сгноят!.. — далеко где-то кричал и плакал Тишка Ломов.

— Мальчик! Мальчик! Что ты, мальчик? — просил, умолял кто-то. — Успокойся! Успокойся, мальчик...

Не сразу, но дошло: вызывают ко мне. Я — мальчик?! Забыл совсем об этом, забыл — мальчики и девочки бывают в детстве. Где же оно, мое детство? За горами, за долами, за далекими лесами, в родной сторонushке, у родимой бабушки. Накоротке отшумело мое детство, Троицыным зеленым листом, отцвело голубым первоцветом...

— Пустите меня. Не держите...

Меня повели в учительскую. В коридоре, прижавшись к стенам, стояли, онемело глаза на меня, учащиеся. Со второго этажа, свешиваясь через деревянный брус лестницы, глядели служащие. В учительской, бледная, возмущенная, что-то говорила директорша школы, голос ее набирал силу, переходил в крик. Куда-то звонила завуч, то и дело роняя очки на пол. Откуда-то всякого народу доволна набилось. Появился наконец и милиционер, которого разом взяли в круг учителя, задержались, возмущенно тыча пальцами в меня, в Ронжу, поверженно лежавшую на диване, слабо стенающую, боязливо сморкающуюся кровью в батистовый платочек. Долетали, но мало меня трогали страшные слова; суд, тюрьма, исправительно-трудовая колония, дознание, факты, «мы все свидетели». Скучно среди этих людей, будто в худом заполярном лесу поздней осенью. И холодно. Очень. Трясло, прямо-таки зыбало меня так, что весь во мне ливер перемешанно болтался. Я схватывал, схватывал рубаху на горле, с которой оторвалась последняя пуговица. Да какое от рубахи тепло? «Свидетели! — с презрением отметил я. — Чё же вы не заступились-то за Ронжу? Свидете-еэ-тели! Неужто лихорадка опять? Зимой? Эта похлеще листопадицы! Пропал я!..»

Хотелось лечь, свернуться, укрыться чем-нибудь теплым. «Домой», за печку бы!..

Выслушав гомонящее учительство, милиционер надел шапку и буркнул: учительша-де тоже птица хороша. Сами-де тут разбирайтесь, да прежде покормите малого и одежонку из каких-нибудь фондов выделите...

Я приостановил в себе озноб, выглянул из людской чащи, забившей учительскую, из-за кочек лиц, из-за выворотней туловищ — милиционер был пожилой, мужиковатый. Он не приложил руку к шапке со звездой, он поклонился, сказав: «Извините!» — и осторожно прикрыл за собою дверь.

Наступило молчание, растерянное иль зловещее — не понять.

— И то правда, — прежде накормить, — спустя большое время вздохнула седая женщина. Она курила возле окна, кутаясь в теплый платок, и, кажется, одна только не орала, не бегала по учительской.

— Но, Раиса Васильевна!

— Что Раиса Васильевна?! Что? Набросились гамозом на голодного

мальчишку... Милиционера позвали... руки крутить... Да? Чего молчите? Идем со мной, парень! — метко бросив папиросу в форточку, проговорила Раиса Васильевна и властно, как маленького, взяла меня за руку.

Мы поднялись по деревянной, замытой лестнице наверх, туда, где еще располагались разные службы, и в конце коридора вошли в комнату, на двери которой тускло светились буквы: «ГОРОНО».

За тесно составленными столами трудились разные люди, которые сделали вид, будто не заметили нас с Раисой Васильевной. В соседней комнате, куда была распахнута дверь, громогласная женщина крыла кого-то по телефону, так крыла, что графин или чернильница на столе звякали — каждое слово она припечатывала ударом кулака по столу.

«Грозная контора!» — поежился я и решил, что здесь-то меня и «оформят в исправилровку». Раиса Васильевна усадила меня за длинный стол, заваленный бумагами, над которым написано было «Инспектор гороно», сама ушла. Впервые в жизни попав за казенный стол, да еще под такую давящую надпись, я крепко оробел. Женщины, пожилые и молодые, писали бумаги, ставили на них печати, звонили куда-то, и я начал успокаиваться. Явилась Раиса Васильевна, принесла стакан со сметаной, прикрытый ломтем белого хлеба, поставила его передо мной на стекло, сказала: «Ешь!» — и отправилась в комнату, где уже утихомиренной продолжала разговаривать по телефону женщина. «Но! Но! А они-то что? Они-то? У них-то своя голова на плечах есть? Почему я должна за всех отдуваться?.. Но! Но!..» — Должно быть, Раиса Васильевна ушла, чтоб не стеснять меня, да плевать мне на всех — не было больше моих сил терпеть, жрать так хотелось, что голова кружилась. Деловая обстановка в конторе, брань женщины, голос ее в соседней комнате, как бы понарошке грозный, не пугали меня, наоборот, приутишили смуту в моей душе, и тепло здесь было — за спинкой стула Раисы Васильевны шипела батарея, крашенная голубенькой краской. Я еще и с едой не управился, как явилась из соседней комнаты женщина, коротко стриженная, фигурой напоминающая круглый сутунок, к которому безо всякой шеи приставлена голова.

— Чего дерешься-то? — по голосу я узнал ту самую, что разорялась только что по телефону, и не мог сообразить, чего ей сказать, да она и не ждала ответа. Примостившись на край стола мягко раздавшимся задом, она закуривала и, когда я снова принялся за еду, еще спросила: — Не знаешь, что ли, мужчине женщину бить не полагается?..

«А ты старый театр знаешь? — хотелось спросить у этой женщины-

коротышки. — Папу моего знаешь? Как они с мачехой сгребутся да в топоры! А я их разнимать... Ты-то знаешь, да тоже прикидываешься дурочкой. Ну и я дураком прикинусь!»

— Не знаю, — дожевывая хлеб, пробубнил я в ответ и, покончив с пищей, внятней добавил: — Я еще мальчик.

— Чего-о-о? — коротышка женщина и Раиса Васильевна вместе с нею так и покатались: — Ну и гусь ты лапчатый!

Сотрудницы горноначали прислушиваться к разговору. Я поднялся, одернул рубаху, поблагодарил Раису Васильевну за угощение и, вытянувшись по стойке «смирно», с вызовом брякнул:

— Готов следовать куда прикажете!

— Чего-чего? — снова поразилась заведующая. — Ты и в самом деле гусь! — и обвела присутствующих взглядом. Раиса Васильевна покивала ей головой, дескать, то ли еще будет.

— В кэпээ, в тюрьму, на каторгу, — с солдатской готовностью рубил я.

— Да ладно тебе! — буркнула Раиса Васильевна. — На каторгу... Сиди уж, — и поспешила следом за коротышкой в другую комнату, и, когда закрывала створки, я заметил буквы: «Зав. горно». Прежде чем запахнуть дверь, заведующая обернулась и зачем-то погрозила мне пальцем, тоже коротеньким, хотела выдать чего-то грозное, руководящее, но Раиса Васильевна потеснила ее собою, утолкала за двери.

Тепло разливалось по моему нутру от еды. Боясь снова опозориться, уснуть, я стал искать развлечений и под стеклом, среди бумажек, театральных билетов, облигаций Осоавиахима, каких-то бланков и справок, обнаружил карточку молодого, красиво одетого парня. В галстук парень, в темном костюме, подстриженный, причесанный, он напряженно сдерживал улыбку, но она все же просквозила в глазах, тронула большие губы, какие чаще всего бывают у мягкосердечных людей. Такие парни слушаются мам и пап, старательно учатся, их выбирают в пионервожатые, в редколлегии стенгазет, посылают на слеты, таких мы с Тишкой лупили...

Где-то я видел такую же карточку? Где? Брезжило, брезжило и прояснилось, да вон же, внизу, у крыльца, деревянная пирамидка! На пирамидке, крашенной в защитный цвет, разлапистым крестом укреплен поврежденный пропеллер самолета и три карточки врезаны в дерево: двое в летчицкой форме и один вот этот парень, в гражданском, при галстук. Изучали они чего-то в тундре и обледенели — самолет гробанулся. На могилу, не по правилам, не на кладбище, в центре города, у горсовета сделанную, пионеры и всякие заслуженные люди приносят цветы.

— Задремал? — Я вскинулся. Раиса Васильевна кивком показала, чтоб я освободил место, села, расписалась в продолговатой бумажке со штемпелем и печатью, перехватив мой взгляд, на мгновение сникла, затем коротко, с устоявшейся болью молвила: — Сын. — И протянула мне бумажку: — Вот тебе направление... В детдом направление. И не вздумай не пойти!..

Раиса Васильевна проводила меня до запасного выхода — не хотела, чтоб я прошелся по коридору родной школы, и уже на площадке лестницы спросила:

— Ты любишь читать?

— Ага.

— Так вот тебе мой совет: никогда не бросай книжки. Читай. Больше читай. И не дерись. Нехорошо это. Ладно, ступай. Тебе еще много назиданий слышать. — Раиса Васильевна посмотрела в сторону со вздохом: — Горазды мы на них. Благо ничего не стоят. Мужики и бабы, бывало, сперва хлеб голодному, потом молитву. Мы ж наоборот... — Раиса Васильевна осеклась; отвалил мне Бог рожу — все, что переживаю, на ней видно. — Варезки где? Потерял?

— Нет у меня варезек. Рукавицы-верхонки есть. Я в них дрова рублю.

— В детдоме выдадут. Ну беги, беги! Холодно тут. — Раиса Васильевна куталась в теплую шалюху или шарф, под которым еще пестрел свитер. «И чего человек мерзнет? На лестнице потеплей, чем в „моем доме“, и одежда — не моей чета!» — думал я, томясь: не хотелось мне в детдом, но нельзя обманывать Раису Васильевну. Если таких людей начнешь обманывать, хана тогда всякой вере и совести.

Спустившись по лестнице, я поднял голову, увидел еще раз Раису Васильевну, не всю, только седую ее голову, склоненную над перилами, увидел и огромные, куда-то в пустоту глядящие глаза. Серой совой, ослепленной снежным светом, почудилась мне женщина из гороно, которую я видел в первый и последний раз — весной во время ледохода он скончалась от большого сердца. Ее портрет был напечатан в газете «Большевик Заполярья». Я хотел содрать газету с забора лесобиржи и вырезать портрет Раисы Васильевны, да где же мне было его хранить-то? — ни блокнота у меня, ни бумажника в ту пору не было.

Сподобило меня прочитать какую-то дряхлую книжку о старом приюте да баек досыта послушаться от обитателей старого театра о специсправилках, о страшных детдомах. Понимал я, конечно, что кормить ивасями и не давать воды, пороть проволочной плетью, бросать в карцер, где крысы живьем съедают нашего брата, — в детском доме едва ли станут, но все ж страх камнем лежал на дне моей души, и без того уже крепко надорванной. С людьми схожусь я трудно, а в детдоме ведь не просто люди — шпана там, и волю, так мне поглянувшуюся, терять не хотелось. Пусть голодную, бесприютную, одинокую, но волю: живи как хочешь, делай что угодно. И главное, верилось: наступят, не могут не наступить времена счастливые.

Словом, решил я не торопиться и глубоко обдумать положение. «Никуда от меня не денется детдом-то».

Неторопливо прошел я мимо тринадцатой школы, поокочивался в хлебном ларьке. Ничего там не обломилось. Я особо не горевал: как-никак маленько подкрепился в горно. Вырулив в свой переулок, я посеменял вдоль заплота конного двора и замер: такая постигла меня неожиданность. Бабушка моя, Катерина Петровна, принялась бы при такой неожиданности кресты на грудь бросать: «Матушка, Царица Небесная! Милости и благодати Твои, яко солнце Божье, всевечны...» Над жилищем моим, над хибарой сортирного типа, крашенной в небесный цвет, утонувшей до застрехи в снежных забоях, струился дымок. Значит, жизнь идет, мачеха вернулась, может, и отец? Да пусть бы и отец — все какая-никакая живая душа, в казенный дом не идти, не прилаживаться к детдомовской шпане, не менять пробитое русло жизни.

В убежище моем, за полыхающей печкой нахохленно сидел Тишка Ломов.

— Убег? — спросил он.

Я сел рядом с ним и показал бумажку. Он ее прочел, шевеля губами, задумчиво вернул:

— Померла бы матуха, вместе бы пошли. Вместе не так боязно.

Я встал на карачки, пошуровал железиной в печи, подбросил дров. В избушке притемнилось, по ту сторону печки синичкой пискнула мышь, послышался ей ответ из-под вывороченных половиц, и зашебаршила картофельная скорлупка. Работают мыши, кормятся безбоязно, они настолько привыкли ко мне, что иной раз по лицу норовят пробежать. «Чудно дядино гумно — семь лет урожаю нет, а мыши водятся!»

— Я у тебя поживу, — не то попросился, не то разрешил себе Тишка.

— Живи! — Я взял топор, развалил сырую чурку пополам. — Только

жрать нечего.

— Воровать будем.

— Ты воровал?

— Нет.

— То и треплешься. Воровать страшно.

Гудела печка — «хороший людя» — как сказали бы о ней приенисейские остяки. Что бы я и все мы делали без печки? Без огня? Неужто в детдом идти все же придется? Ах ты! Ах ты! До чего не хочется, до чего боязно...

Тишка, ровно бы оправдываясь, рассказал, почему он не может явиться домой. Это он перенял у школы милиционера и поведал ему все, как было, оттого и пришел милиционер в учительскую такой сердитый. Дома у Тишки мать и старший брат Пашка — они из переселенцев. За старшего в семье Пашка — художник в городском кинотеатре, а беснуется дома хуже урки. Примется Тишку бить — нет у него под рукой другого предмета, кроме полена или железной клюки. Сколько раз из памяти вышибал Тишку. Мать запугал до смерти, она и без того запугана переселением, утерей троих детей, подрублена цингою, беззубая, кости у нее по-старушечьи выступили и хрустят, в тридцать-то семь лет! Работает мать Тишки сортировщицей пиломатериалов на лесобирже. С работы явится, на топчан заползет и лежит пластом. «Прибрал бы скорее Господь. Ослобонить бы себя и вас», — говорит. «И освободи! Чего волынишь?!» — кричит родной сын Пашка.

Тишка другой раз пожалеет мать, печь истопит, сварит похлебку или кашу, горячим себя и ее побалуует. Пашка дома не ест. Как личность интеллигентная, кушает он в ресторане, под баян. Бабу завел Пашка, модную, курящую. Сидит красотка па топчане, бренчит на гитаре и песенки поет про отчаянных капитанов, про маленькую Мэри, пьяная нажрется, так про Колыму и про блатную жизнь поет-рыдает, в Пашку бросает туфлями. Тишке с матерью совсем не стало места в барачной комнатенке. Терпеливо ждут они, когда та, ни квартирантка, ни жена — прости-господи и воровка, коих летом на морпричалах доволна, надоест художнику и он ее удалит из помещения.

— Пойдем-ка, Тимофей, дровами запасться, — с кряхтеньем начал я вылазить из-за печки.

— А в детдом?

Я глянул на него; «Предавал я кого? Предавал?!» — так выразительно глянул, что он заторопился искать рукавицы.

— Уж и на понт не возьми человека! Совсем шуток не понимает!

Мы приперли воз макаронника, быстро его изрубили, затем весело и непринужденно накатали сырых чурок от кочегарки драмтеатра и сверх того ящичков от магазина свистнули. В фанерном ящичке обнаружилась подмокшая, слипшаяся в углу сахарная пудра от конфеток. Мы разболтали ее в консервных банках, попили душистого, как мыло, кипятку.

Пока пили сладкую водичку да болтали о том о сем, меня посетила мысль еще раз наведаться в магазин номер три, уткнувшийся рылом в снег за дорогой, и промыслить чего-нибудь из еды. Магазин был построен глаголью, то есть у него была загогулина, к которой примыкала казенка, тамбур такой, вроде сеней. Из казенки теплая дверь вела в само помещение, притворялась она неплотно, в щель тащило стужей. В магазине, особенно в загогулине, холодно было даже летом, о зиме чего и говорить. Продукция в «тройке» размещалась согласно климату: жиры, рыба, мясо, икра — у двери, дальше — что послаще — конфеты, пряники и винные изделия; еще дальше: картошка, свекла, капуста, лук, чеснок и всякие прочие овощи, сырые, сушеные, консервированные.

В прелью воняющем овощном отделе топилась печка-голландка. Прижимаясь к ней, продавщицы вышоркали не только известку, но и кирпичи повыворачивали ядреными задами. По левую сторону дверей штабельком стояли ящички, в щелях которых светились банки. Ящички и пошатнувшаяся голландка отгораживали полутемную магазинную загогулину от продавщиц, обхвативших круглое тело печи, будто собственного дорогого мужа. Я дождался, пока ни одного покупателя не осталось возле крайних весов и продавщица стриганула к голландке, смел все крошки, обрезки мерзлого мяса и рыбы из-под весов и, была не была, скребанул из эмалированного таза горсть скоромного масла. От грязных ногтей в желтом масле остались темные царапины, но уж делать было нечего — бухнул в сырую дверь плечом, вывалился на улицу и выпустил из груди спертый дух. Сердце мое звякало о ребра, руки дрожали, в штанах сделалось сыро.

— Ты чё? — испугался Тишка.

— Вот! — выгружая из грязного кармана слипшиеся комочки мяса, крошки рыбы и косточки, захлебывался рваным смехом. — Варить будем! Щи — хоть портянки полощи!

Я пощупал свой лоб — клейко, «мед» выступил. «Пусть кто-нибудь скажет мне, что воровать легко!..»

В мешке оставались еще мерзлые картошки, стучали камешками. Суп — картонная вылупка, получился мутный. Однако жиров было много, и мы хорошо нахлебались горячего варева. Как водится у степенных,

хозяйственных людей, после сытного ужина мы сумерничали, вели неторопливые беседы. Тишка приучал меня курить подобранные на улице бычки. «Пить вино, уродовать людей, воровать — уже могу. Осталось курить научиться — и порядок!»

Утром Тишка ушел на разведку домой и в убежище мое не вернулся.

Но я недолго тужил о Тишке. У меня появился новый друг — Кандыба.

* * * *

В хлебном отделе гастронома я наметил к уводу краюшку хлеба, лежащую возле весов, и все примеривался да прицеливался к ней, но упускал моменты. То мне казалось, что продавец уже заметил меня и ждет не дождется, когда я потяну горбушку, чтоб огреть меня гирей по башке, то в очереди к прилавку «не те люди» были, при которых можно незаметно что-либо стянуть. Измучился я весь, сопрел, а есть хотелось до стона в кишках. Горбушка, в полкило примерно весом, так и кружилась в глазах, ощущался даже кисловатый вкус ее во рту, как хрустит корочка на зубах, чуялось. Сытое тепло разойдется по всему телу, в сон потянет, уютно и спокойно на душе сделается — и все это от горбушки, такой близкой и такой недоступной!

Терпенье мое иссякло, и я решил действовать «на шарапа» — схватить горбушку и убежать из магазина. С таким дерзким планом я продвинулся к весам, в который уж раз кружанув возле прилавка. Впереди меня втиснулся в очередь парнишка в толстой, латаной гуне с кошачьим воротником, в шапке, единственное ухо которой так ловко было заделано, что выходило как бы два уха у шапки, и мерзнуть никакой половине башки парень не позволял. «Черт в подкладке, сатана в заплатке», — говорится о такой лопотине иль о человеке, одетом в нее, и не зря говорится, как я скоро распознал.

— Загорюжу! — дыхнул мне в лицо табачной гарью парнишка, и так ловко все сотворил, что горбушка мигом отделилась от продавца и глазастого люда.

Я сунул горбушку за пазуху и вышел из магазина, не зная, как теперь быть: дождаться ли малого в одноухой шапке, спрятаться ли за ближние дровяники и умять хлеб, но сам уже рвал зубами горбушку, спрятавшись за

поленницу трухлого макаронника.

Просунулась сюда же одноухая шапка, следом мордаха, по-песьи работающая ноздрями, пришкандыбал, сильно припадая на изогнутую в колене ногу, сам парнишка с быстрыми, смешливыми глазами.

— Мандру пополам! — распорядился он.

— Чего?

— Хлеб. Не умеешь по-блатному?

— Не умею, — признался я, с сожалением половиня горбушку.

— Научу. Надо бы буханку брать, сурло немытое. Всегда надо брать больше, чтобы не так обидно, когда поймают... — выдал он мне первый свой совет из огромной, бескорыстно преподанной затем науки беспризорника.

— Тебе чё, ногу-то граждане выворачивали?

— Не-э, это с юного детства у меня. С полатей упал. Оказалось, мы уже встречались с Кандыбой — такая кличка была у парнишки — в кое-каких укромных местах, да не разговорились «по душам», дураки такие. А ведь так необходимы друг другу!

Кандыба почесал под шапкой:

— Не проняло: один кусок на два пустых брюха, все равно что один патрон на двух героических бойцов. Пойдем вместе, найдем двести!...

Мы двинули в столовую. Кандыба зорко отыскивал воткнувшиеся в снег или «не насмерть» затоптанные по дороге бычки, обрывал мерзлые концы и которые бычки курил, которые прятал в лохмотья и за отворот шапки — про запас.

В столовке Кандыбу знали и взашей поперли, а меня нет. Я подсаживался к столам и доедал из тарелок суп, котлеты, рыбы головы, обломки хлеба прятал в карманы. Была до войны у интеллигентно себя понимающих людей распрекрасная привычка — оставлять на тарелке еду «для приличия». По остаткам кушаний я заключал, кто за столом кормился: вахлак тупой и жадный или тонкой кости и истинного понимания этикета человек.

Одна муха не проест и брюха — вот уж правда так правда! Двое нас стало, и какая жизнь наполненная пошла. Получился у нас с Кандыбой союз такой, какого не было у меня вплоть до того, пока я не вырос и собственной семьей не обзавелся.

Перед писаными распорядками, всякими организациями Кандыба пасовал, терялся, чувствовал себя угнетенно и потому драпанул из двух уже

детдомов, до Севера вот добрался и «нечаянно» зазимовал в Игарке. Кандыба обожал волю. Воля эта пуще неволи — узнаю я после. Только «на воле», оставшись «в миру» сам с собой, он не знал унижений, чувствовал себя полноценным и полноправным человеком; умел постоять за себя, не страшась никакой борьбы и невзгод.

Вольной и беззаботной птицей рожденный — мать он зачем-то упорно отыскивал повсюду, из-за этого и в Игарку попал, Кандыба и сам хотел вольно прожить лета, отпущенные ему судьбою. Лет этих выпадет немного — семнадцать. Умрет он в больнице исправительно-трудовой колонии от костного туберкулеза, так и не смирясь с судьбой инвалида.

Кандыба пришел в восторг от моей хазы — так сразу окрестил он бывшую парикмахерскую, заявил, что берет на себя прокорм, а я чтоб дымом и огнем владел, читал бы ему книжки и рассказывал всякую всячину. Посулился Кандыба за короткий срок сотворить из меня карманника, чтоб, если один завалится, не доходить с голоду. Дело с обучением сразу потерпело крах — после первой же попытки «пощупать кошелек» я попался. Меня били на крыльце магазина. И ладно, большинство игарских граждан обуты оказались в олени бакари и валенки, а то бы мне все ребра переломали.

Вид мой вогнал Кандыбу в удручение.

— Во, напарили, блиндар! — покачал он головой. — До новых веников не забудешь! — и приказал мне зажмуриться и вытянуть руки. — Нервы! — сделал Кандыба заключение. — Расшатаны! В карманники негоден. — Смазав лицо мое солидолом — банка с солидолом осталась в хламе, парикмахеры мазали им машинки или сапоги, мы же приспособили вместо мази, еще пепел из печи пользовали да серу с поленьев — это уж я от таежников перенял, Кандыба обследовал меня — нос, челюсти не сломаны ли? При этом он доступно, будто фельдшер пациенту, объяснял, как вести себя, если попадешься. Надо поперед всего «вывеску хранить», падать вниз лицом и загоразиваться руками, телом не напрягаться, распустить следует тело, чтобы кисельное оно сделалось, тогда, если даже пинают сапогами, бузуют палками — кости не переломают.

— Работа наша давняя и трудная очень, — заключил Кандыба. — Я так кумекаю: человек токо-токо научился мозгой шевелить, тут же сообразил — чем спину гнуть из-за еды, легче ее украсть, отобрать у младшего, лучше — у соседа. Но по брюху, по брюху надо брать. Обратное, разница: кто почему ворует? Один от голодухи, другой из интересу. Который из интересу, от жадности — того смертно бить. Но лупят всеш-ки нашего брата голодранца... безопасней...

Рот открывши, слушал я нового своего друга: «Да уж малый ли это? Оголец ли? Годок ли мне? Видно, ничего в мире просто так не делается, и уж не зря, ох не зря судьба нас соединила».

Пошла жизнь складно и ладно, Кандыба промышлял в магазинах, столовых и разных кладовых, я заделался как бы замом его по хозяйственной части и по культурно-просветительской тоже, обеспечивал братство наше топливом, светом, водою, заботился о полезном досуге, читал вслух книжки, рассказывал о лесах, озерах и прошлом лете. Особенно удался мне рассказ о том, как ловили мы с дедом карасей на озере и налимов на протоке, да еще о том, как новые штаны загубил на заимке. «Болони надорвал» Кандыба, слушая историю о штанах, — я уж постарался, наворотил, разукрасил ту историю.

Керосин для фонаря я добывал все у того же драмтеатра имени Веры Пашенной. Стоял позади него движок со всегда полным баком, на тот случай, если с городским электричеством что-нибудь случится, а случилось с ним «что-нибудь» часто, движок моментом запускали, не давая загаснуть свету разума в далеком Заполярье, и без того зимою темном.

Из лесокмбинатовского клуба увел я красную скатерть, графин и еще балалайку. Графин, налитый до горлышка водою, разорвало, струны на балалайке лопнули от холода, когда я надолго покинул свое жилище.

Кандыба вынюхал где-то склад с мясом, нас не очень-то занимало, для кого «добро плохо положено», нам требовалась пища — и весь разговор. Мясо бледно-розовое, с голубоватыми прожилочками, твердыми сухожилиями, обмыленными мускулами, должно быть, оленина, но это нас не занимало — мы делили пищу на два сорта: годную для жратвы и негодную. Это мясо было годное. Мы заваливали оковалок с костью в ведро с водою, сыпали горсть или две соли, натрясенной из столовских солонок, мясо прело в воде, распространяя ароматы по пустому и гулкому нутру нашего обиталища. Отхватив кус ножичком, мы валяли горячее мясо во рту, если был хлеб, потребляли с хлебом отвар, если хлеба не было, обходились и так. Глянулось нам крушить зубами упревшие кости. Мы их хрумкали, высасывали мозг и сок, выбрасывая в угол лишь трубочки, не дающиеся зубу. Работу, начатую нами, продолжали шустрые мыши, деловито скыркали острыми резцами, брякали, перекатывая кости по полу.

Я всеми силами старался не оставаться перед Кандыбой в долгу, которого от чувств, во мне пробудившихся, стал кликать Ндыбаканом. Это, если повторять кряду, все равно получается Кандыба, однако чуткий

бродяга уловил душевность, вложенную в переименованную кличку. Кроме того, многие игарчане знали и на себе испытали присутствие в городе хромого парнишки. Извернутое прозвище, на наш взгляд, затемняло подлинное прозвище сноровистого добытчика харчей.

Я приловчился обходить на лыжах, самим же сотворенных из гибких горбылин, перелески близ города и прибрежные кустарники на острове, осматривая поставленные на куропаток силки. Иной раз мы баловались птичинкой и даже скопили кой-чего на черный день, зарыли в снег между «слепой» стеной парикмахерской и заплотом конного двора несколько куропаток и кусок оленьего мяса.

Черный день ждать долго не пришлось. Известно, сытый человек начинает много воображать, задаваться сам перед собой, если больше не перед кем. В еду ему разносолы подавай, балуй зрелищами. По этой-то причине я совершил оплошность, которая повязала узелками, после и спутала всю нашу жизнь. Я, видите ли, порешил совсем уж распотешить себя и Кандыбу завлекательным чтением и остался вечером в городской библиотеке за стеллажами. Библиотека располагалась вверху все того же драматического театра, который имел несчастье стоять невдалеке от брошенной парикмахерской и потому нес постоянный урон.

Все замерло — в театре начался спектакль. Внизу подо мной, ровно в берег преисподней, время от времени ударялись громобойные волны — это игарские зрители разражались хохотом или рассыпали крошево аплодисментов. В библиотеке было так тихо, так тепло, так уютно, что я приморился и подремал чуткой дремою воришки. Вонь рыбьего клея, пресноту клейстера, которыми скрепляли листы растрепанных книг, забивало остро скользящей струёй спиртовых красок. Меж деревянных стеллажей парил дух бумаги, шрифтов, отдающих керосином, и тот ни на что не похожий запах, даже не запах, а тлен стареющих книг безропотно, с тихой скорбью роняющих белую перхоть...

Если сквозь небесные тверди пробивался отблеск позарей и по библиотеке шарился живой, волшебным светящийся сполох, книги на полках чуть подрагивали рубчатой лентой, искрились золотом-серебром и вроде бы шевелились. Я провел рукой по одному, по другому ряду книг. Отчужденно-прохладные, плотно стояли они на своих местах. Поврежденные корешки цеплялись за брюшки пальцев сеточкой клееной марли, рядами железных скобок, тронутых ржавчиной. Необъяснимой усталостью и мудрой печалью веяло от этих сморщенных, иссохших от времени книг. Никогда бы не узнал и не почувствовал я всего этого, если бы не остался с книгами наедине в боязнь потемках.

Что-то похожее со мною бывало, когда я, маленький, вечеровал на заимке с дедом Ильей. Он виделся мне в таежной деревянной избе согбенно сидящим на скамейке. Большая его фигура очерчена четко в проеме пепельно-серого окна. Недвижимый, молчаливый, так много повидавший и переработавший на своем веку, о чем он думал и печалился, мой добрый, тихий дед? О маме моей и других своих детях, раньше него разлученных с жизнью? О земле и о хлебе? О жизни прошлой и грядущей? Быть может, и о том, и о другом, и о третьем. Да как теперь узнаешь-то?

Я расслабился от тихих, грустных мыслей и хотел «выйти» в форточку, но где-то Ндыбакан добывал пропитание, бродил по студеным улицам, тискался сквозь людей, всегда враждебных к ворью и шпане. Он ждет не дождется, когда я почитаю ему про «другую жизнь». Книжки — не харчи, они для всех людей оставлены. Многие из тех, кто их оставил, так же, как мы, голодовали, скитались по свету. Да если на то пошло, тот, кто не страдал, не мыкался, ничего занятного и не оставил о себе, а раз так, значит, наш брат-кондрат сочинял эти книги. Я распалялся, чтоб подавить в себе неловкость, но не очень-то получалось у меня. «Подумаешь! — фыркал я во тьме. — Они неживые, книжки-то! Нагородил ерунды всякой, барахольная душа! Вечно перелажу через заплот, которого нету! Сейчас вот начну фуговать эти книжки, только свист пойдет!»

В библиотеке театра я бывал не раз, сиживал за столом, листал журналы, пользовался дармовым теплом и все тут знал. Я прошел в отдел с названием «Художественная литература», поднялся на подоконник, распахнул широкую форточку. В сырой квадрат ударило белой стужей, зашорохтело меж рам. Я вернулся к стеллажам, замялся опять, переступил с ноги на ногу, но переборол себя и на этот раз раскинул руки, охапкой понес книги. В форточку книги летели, то распластавшись крылато, лопоча страницами, то, как обрезь досок, шлепались в снег, то рыбинами в сугробы занырявали, но больше падали обреченно и бесшумно. Мне поглянулся мой нахрапистый налет, и власть моя, хоть и подленькая, тайная, глянулась, пусть над бессловесными, беззащитными книгами, но все же власть! Внизу люди полорото на сцену глазают, вверху над ними я, как Бог, чего хочу, то и ворочу. Я разохотился, готов был всю библиотеку перетаскать, но все же скомандовал себе: «Стоп, капитан!» — и вылез в форточку. Держась под крышей за брусья застрехи, достиг пожарной лестницы, спустился наземь, точнее, ухнул до пояса в снежный намет.

Книжки я собрал в кучу, забросал их снегом и, сунув под одежонку сколько-то штук, побежал домой, еще издали поймав взглядом пухло расплзающийся в серой ночи дым из нашей благодатной обители.

«Ндыбакан дома! Красота!»

Друг мой сердечный, друг единственный таился за печкой, подальше от света. «Попался!»

Попутали моего друга у счастливо им открытых складов с мясом. Мясо то предназначалось для сторожевых собак. Собаку и напустили на Кандыбу. Она свалила парнишку, хорошо, что в сугроб, а то б загрызла. Охранник дал потешиться сытому кобелю над голодным парнишкой и потом пнул его и лицо. От собаки на своих двоих и переломанных не больно-то упрыгаешь! Тюремный охранник приказал следовать куда надо. В дороге Кандыба от него смылся. Только твердолобый оглоед, привыкший к беспрекословному повиновению, мог решить, что ему все от мала до велика подвластны и пойдут, куда он прикажет, тем паче парнишка, да еще калека к тому же. Милиционеры, те лучше знают людей, по нравам и характерам их различают. От милиционеров убежать трудно, как миленький засеменишь куда надо...

Я осмотрел Кандыбу при свете фонаря. Он через силу улыбнулся мне разбитыми губами. Где правый глаз должен быть, бугрилась грязная картофелина. В махонькой ямке живым ростком шевелился и обнадеживающе просверкивал зрачок. Я полил Кандыбе умыться, сам руки с мылом вымыл, развел глазницы болезного друга пальцами — оба глядели на месте, не вытекли, хотя и захлестнуло их красной кровью. Присыпав теплым пеплом ссаженную зубами спину друга, я сказал Кандыбе, все, мол, заживет до свадьбы. Он ободрился, хотел идти со мной за книгами, так ловко добытыми мною, но я взял мешок из-под картошек, ему, как человеку пострадавшему, определил работу в тепле, выдал иголку, тюрючок с нитками и велел упочиниваться.

* * * *

Спали мы с Ндыбаканом, братски обнявшись, на старых шкурах, за печкой, под половиками, на одной подушке с такой грязной наволочкой, что цветочки, когда-то красовавшиеся на ней, различались только на углах, куда наши головы не доставали.

Проснувшись поутру, я в упор глянул на Кандыбу и понял: дела наши швах. С мордой, расквашенной в капусту, гибель воришке.

— Худо? — перехватил мой взгляд Кандыба.

— Сопротивлялся, что ли?
— Насопротивляешься! Он с собакой.
— Запомнил его?
— Где запомнишь? Собака спину рвет... Живодер пинкарей вешает...
— Жалко!
— Чё?
— Жалко — не запомнил. Мы бы ему устроили фокус-мокус!..
— Чё ты ему сделаешь?..
— Выследили бы, где живет, подперли стягом и подожгли бы! Пусть жарится, как крыса в клетке!..

Ндыбакан длинно и горестно глядел на меня из глазниц, налитых багровой тяжестью.

— Н-да, литература! Она до хорошего не доведет!.. Поднимайся-ка, поджигатель, печку затопляй. Я на бюллетене.

Кандыба вольготно валялся за печкой, я наготовил дров, сварил похлебку из куропаток, овса нажарил, раздобыл его снова в кормушках коней, посулился накормить друга такой ухой, от которой он вмиг выздоровеет. У деда все еще небось стоят подпуски в прорубях, надо их проверить — нет ли там и на нашу долю налимишка?

Похлебка из дичины подживила Кандыбу, и мы пришли к заключению: не так уж все худо, как нам с вечера казалось. «Утро вечера мудренее» — толковая, правильная пословица, которая тут же подтвердилась жизнью — явился Тишка Ломов. Бог его послал — решили мы и ошиблись...

— Загораете? Отдыхаете? Спозабыт, спозаброшен с молодых, юных лет, да?! А об вас вот, об рылах битых, думают, заботятся!..

С нарастающим интересом смотрели мы на кривляющегося Тишку, по тону его угадывая, какие большие удовольствия нас ждут. Лицо Тишкино излучало озорство и лукавость, сам он был умыт, пострижен, одежонка на нем починена; выяснилось: Пашкина лярва подалась по другим адресам, художник бросился за ней и куда-то запропал, оставив Тишку с матерью на свободе.

— Итак, пошто же вы не спрашиваете, кто об вас заботится?

— Легавые, — буркнул Кандыба.

— Легавые — само собой. И скорбный их труд не пропадет даром. Они все одно вас заметут. А вот кто еще? Кто?

Мы переглянулись с Кандыбой — больше вроде бы некому о нас заботиться.

— Промеж тем, — медленно и картинно залезая за пазуху и извлекая какую-то бумагу, кособочился Тишка, — об вас страна думает, почти што

вся! Ну, может, oprичь дальних губерний.

Я ожидал увидеть похабную картинку, рисовать которые Тишка был большой спец. Но то оказался «документ важнейшего значения», как назвал его Тишка, — еще одно послание из школы моим родителям, напечатанное на машинке и выданное Тишке под расписку, поскольку лишь он сподобился знать адрес нашего кочевого семейства.

«Уважаемые родители! — Тишка поднял палец. Как бы не различая дальше послание, вынул из кармана проволочные очки без стекол, воздел их на нос и продолжал, важничая: — Дирекция школы номер тринадцать надеется, что вам известно, как, напрягая все силы, Страна Советов борется с тяжким наследием проклятого прошлого — безграмотностью. Однако вы не проявляете надлежащей активности в воспитании и обучении вашего сына, чем нарушаете закон всеобуча.

С тех пор, как ваш сын перешел в тринадцатую школу и был, как второгодник, принят условно, вы ни разу не поинтересовались его успехами на важнейшем фронте нашей борьбы — просвещения, а также и дисциплиной, которая...»

— Дальше тут описывается, как изуит этот исхвостал учителку. Слух катится — бродит по Игарке страшный второгодник и колет финкой молодых учительок, исключительно молодых. По выбору! Запорол он их не то шешнадцать, не то двадцать штук! Ведутся подсчеты. Й-я продолжаю: «Педсовет требует, чтоб вы немедленно явились к директору школы и досконально объяснили, думаете ли выполнять закон о всеобуче? В противном случае педсовет тринадцатой школы примет решительные меры к вашему сыну, являющемуся членом коллектива, борющегося за высокую успеваемость и передовую сознательность. Надеемся, что вы также употребите все доступные меры воздействия на вашего сына.

Данная записка выдается под расписку товарищу, — Тишка снова поднял вверх палец, — Ломову, должна быть возвращена с подписью одного из родителей, с указанием числа и часа ее получения, а также дня и времени, в которое вы посетите школу (желательно с посещением не затягивать).

Директор школы: Загорюха К. Н.

Завуч: Мартынова А. В.»

Повисло молчание. Никто рта не открывал, не нарушал тишины, тугой, благолепной. Такие удовольствия переппадают нашему брату не каждый день, ими надо дорожить.

Я глядел на исходящего радостным сиянием Тишку, который приволок нам такой подарок. Мне почему-то снова вспомнилась бабушка Катерина

Петровна. Только теперь я понял, насколько она вместе с подружками своими, Божьими старушками, счастливей нас — безбожников! Сколь часто одариваемы они блаженством бывают. Живут-живут в грехах и мирском содоме, в земле ковыряются, полы скоблят, подштанники стирают, в головах ищутся — и раз им послание Божье, а то сам лик Господен явится, пусть даже и во сне, да и возвестит грядущее на небеси, по сравнению с которым жизнь на грязной, назьмом пахнущей земле есть прозябание. В довершение ко всему деревенский батюшко покропит святой водой, перекрестит, елеем лоб мазнет и подтверждение словесное насчет царствия небесного даст, да еще ангельские голоса с хоров ликующе грянут: «Аллилуйя, аллилуйя!» — тут тебе и трепет души, и умильные слезы, и надежды на вознаграждение за земные муки...

Но я же не просто второгодник, я еще и атеист-безбожник. Трепет, умиление и всякая подобная чепуха неведомы мне. Вместо этих чувств из моего черного нутра поднималось злорадное торжество и ярость, ненасытная ярость. Вшивую башку ровно бы гвоздем проткнуло и выцарапало из-под черепа, как сталь, твердую и решительную мысль: «Сожгу школу!»

Тишка давно меня знает, он почувствовал мое настроение, ярость, во мне занимающуюся, угадал и повел представление дальше:

— Спасибо, родимый сын, спасибо! — бабьим голосом завел он. — Отблагодарил родителей за ласку-заботу. Мы ночей не спим, бьемся, колотимся... Чё молчишь, паразит? — взвизгнул он и дал мне по затылку.

— Не буду больше, — пробубнил я.

— Он не будет, он не будет! — радуясь тому, что я принял игру, зачастил Тишка. — Скоко раз мы от тебя его слышали?!

— Не бу больше!

— Я спины не разгибаю, отец бьется, бьется, чтоб прокормить дармоеда! Ему эвон трудящиеся как рожу изукрасили, а он чё?

— А он чё? — вклинился Кандыба, прижигая сплющенный чьей-то обувью окурочок. — Он дров или воды когда привезет, овсеца, картошек тырнет, чурок от кочегарки натаскает, и все... Запороть его до смерти!

— Не бу больше!

— Чего не будешь-то?

— Учиться.

— Слыхал, отец, слыхал?! Как хошь, а меры воздействия примать надо! У меня уж нету сил-возможностей с им совладать. Кормишь его, обормота, поишь, обуваешь-одеваешь...

— Не бу больше!

— Чё заладил-то? Не бубо, не бубо!.. Чисто филин, прости Господи!

— Запорю!

— И то, отец, и то! Нас ране вон пороли, дак и толк был! А ноне пораспустили их!..

Тишка обходил меня слева, от устья печки, Кандыба с тылу, от трубы.

— Где же его выпорешь?! У него рожа-то, гли! Сверкает глазами. У-у, волчина! В проулке встренешь, партаманет с деньгами без митингу выложишь, — в виде отвлекающего маневра толковал Кандыба. Внезапно оба друга набросились на меня.

— Вот тебе! Вот тебе! — чикая по моему заду прутом от веника, приговаривал Кандыба. — Не нарушай всевобучу! Не нарушай всевобучу!..

— Отец, отец! — схватился за голову Тишка. — Будет, будет! Уж больно ты лютой! Ум вышибешь последний або калеккой сделаешь, чего хорошего? Сам калека...

— Запор-р-рю! В тюрьме отсижу, но научу!..

— Гори-и-и-им!

Мы сдвинули печку, пока возились. Подвешенная к потолку труба осталась на месте, печка, растревоженная нами, гнала в короткое горло патрубка густой дым, пламя, искры. Обжигая руки, кашляя, чихая, мы с веселым гоготом водворили печку на место, сели на пол, где можно было еще дышать, и, радуясь за спасенное от огня жилище, также и друг дружке, начали придумывать достойный ответ тринадцатой школе. Не могли мы упустить такую редкую возможность для отмщения. Уж дать так дать по родимой школе, чтоб качалась, чтобы у Загорюхи К. Н. и Мартыновой А. В. зубы ныли!

Кандыба настаивал ничего не писать! Нарисовать с деталями некий предмет и послать в конверте — выразительно и понятно! Вызывался даже позировать, несмотря на холод. Чего с него возьмешь, если он и одной зимы в школе не досидел? Темнота!

Тишка пошел дальше: оставить в силе предложение друга Кандыбы, но пририсовать к предмету будто на гвоздик надетую бумажку с надписью: «Лично всему женскому персоналу тринадцатой школы».

— Под картину надо написать стих, — предложил я, — пусть знают — не зря нас учили.

Долго мы пыхтели, сочиняя стих. Кандыба толстущие, как бревна, выражения подбрасывал, и ни в какую поленницу стиха они не лезли. Я велел ему заткнуться, что Кандыба охотно исполнил, отправившись на промысел за бычками.

Тишка, прикусив язык, рисовал картинку. Я глядел в потолок, на

люстру, шевелил губами — поэзия давалась трудно. В конце концов с большим трудом, но достойное послание в тринадцатую школу было сотворено. Под картину Тишка переписал своим кругленьким почерком мои каракули и громко зачитал:

— Стих-загадка.

А на этот ультиматум
Мы тебя покроем (кем? чем?),
В школу больше не пойдем,
На нее (кого? чего?) кладем!

Кандыба был сражен:

— Неужто ты сам придумал?! — спросил он, подписывая послание, и озабоченно добавил: — Да-а, тебе, всеш-ка, учиться надо. Талант развивать. Это вот я... — Он постучал себя по лбу — кость его лба звучала звонко.

После Кандыбы, которому подпись придумывать не надо — Кандыба и все, тужились придумать чего поозорней мы с Тишкой. Тишка задумчиво грыз карандаш, продолжая высказывание Кандыбы:

— Будешь таланен, как напишься по баням! — подписался: «Фомавымя», чем остался очень доволен. Мне глянулась фамилия одного типа из комедии «Недоросль», и я поставил подпись: «Скотинин», не подозревая, что прилипнет оно ко мне прозвищем на много лет.

Напряженное творчество не вымотало, наоборот, вызвало в нас прилив сил. Мы принялись дуреть, снова своротили печку, снова чихали и кашляли, налаживая ее, потом петъ взяли, но ладу у нас не получилось. Тогда Кандыба начал исполнять почерпнутые им в его извилистой, странствиями переполненной жизни песни, прибаутки, частушки-посказушки.

— Бедный ребенок, — вздохнул Тишка, — детсадом и всевобучем не охваченный...

Весело прожили мы тот редкостный день и вечер.

Напоследок провели соревнование, сидя за печкой: кто сколько влепит плевков в чашу-люстру? Кандыба обошел нас с Тишкой — десять попаданий из десяти плевков!

— Учитесь, пока я живой! — заявил Кандыба. — Это вам не стишки сочинять!

С упрятым в шапку посланием, довольный собою, трусил Тишка в

ночь, долго еще в пустынной, узкой щели переулка, освещенного переменчивыми сполохами и редкими каплями фонарей, виделась крохотная его фигурка с огромной, плоской тенью, слышалось поскрипывание катанок, подшитых кожей.

Вот и смешно изломанная тень Тишки запала в тень сараюшек, крутоверхих сувоев; каменная, морозная тишина поглотила его.

Мы с Кандыбой передернулись, клацнули зубами: «У-ух, блиндар!» — взвизгнул он и, хромой-хромой, а так стриганул с мороза в наше логово, что я и глазом моргнуть не успел.

Занялись литературой. Я зачитывал названия книг, благодушный, отдыхающий от работы по причине болезни Ндыбакан выбраковывал литературу, как сортировщик пиломатериалов на лесобирже.

— Герцен. «Былое и думы», — достав из грязного мешка серенький в клеточку томик, выкрикнул я.

— Пусть конь думает, у него голова большая! — вельможно взмахнул рукой Ндыбакан. И новенькая книжка полетела в угол парикмахерской, где свалкой лежал по сю пору цирюльный инвентарь.

— Тургенев. «Муму».

— Это как собаку утопили? Не треба! Про людей сочинять надо. Собак приручать да наускивать — плевое дело! Кость ей в зубы — и она готова людей заживо грызть...

«Н-да, все же не худо бы того громилу припутать да в огне изжарить...»

— «Козлиная песнь».

— Козлиная? Эта книжка интересная.

— «Хмельной верблюд».

— Эта еще интересней!

— «Сотая жена».

— Которая?

— Сотая!

— Такую книжку нельзя пропустить.

— «Маруся — золотые очки».

— О-о, про Марусю уж я послушаю! Это тебе не собачка Му-му! Мару-у-уся! Х-хых, блиндар!

— «Генералы умирают в постели».

— Где-где?

— В постели.

— Вот устроились, волосатики!

— «Мать, благополучно окончившая свои бедствия, или Опыт

терпения и мужества, торжествующего над коварством, ненавистью и злобой. Повесть, редкими приключениями наполненная».

Услышав это название, Ндыбакан долго чесал под шапкой и сраженно махнул рукой, отступаясь от выбора книг.

Я долго боролся с собою, пытаюсь определить, что же все-таки читать в первую очередь: «В когтях у шантажистов», «Джентльмены предпочитают блондинок» или «Человека-невидимку»? «Невидимка» переборол всех. Я читал эту книжку почти всю ночь, затем день и вечер, пока не выгорел до дна керосин в фонаре.

Книга о человеке-невидимке потрясла Кандыбу.

— Вот это да-а! — Кандыба скакал по парикмахерской, и тень его, высвеченная полыхающей печкой, мятежно металась по стенам. Кабы друг мой сердечный в забывчивости не рухнул в подпол да не принялся бы крушить все кряду и рвать на себе рубаху — в такое он неистовство впал, — Эт-то да-а-а! — повторял он. — В магазине чё тырнул, в харю кому дал — и ничего не видно! Ниче-го!

Я запас побольше керосину, полную банку из-под томата нацедил из движка, банка в полведра, не меньше — и сошло. Сходил за налимами, нашел пешню, черпак, крюк в старой барже и на первом подпуске, до которого пришлось в поту додалбливаться — долгонько не был дед Павел на протоке, — поднял двух налимов, один, килограмма на три, валялся в сугробе и застыл, непокорно изогнув пустое, запавшее пузо, — зима, пищи мало, икру отметал. Другой налимишка еще холостяга, видать, успокоился и вовсе без боя, выкатив глазки на умственно-объемный лоб.

Стуча мерзлыми налимами друг о дружку, я ворвался в нашу обитель, махал рыбинами над головой друга, приплясывал, орал насчет ухи, которой он, рыло воровское, отродясь не хлебывал!..

На медяшки, вытрясенные из лохматой гуни друга, я купил в третьем магазине три картофелины. Пока продавщица отпускала картохи, собрал с полу и прилавка горстку мелких луковок. Перец и лавровый лист хранились у меня в спичечном коробке. Когда я растирал налимиий сенек — печень с луком в банке из-под консервов, чтобы сдобрить и без того исходящую ароматами уху, Ндыбакан, напряженно наблюдавший за моими действиями, не выдержал.

— Умер ты?!

Хлеба кусок еще был у нас, перемерзлого, черствого, но с ухую он в самый раз. Налимов мы управили обоих — жоркие парни! Лежали,

отяжелелые от еды, за печкой. Ндыбакан курил, я рассказывал ему о том, как мороженный налим оживает в холодной воде. Друг мой сердечный рыгнул сыто и подмигнул почти ожившим глазом:

— А в брюхе?

— В брюхе, — я похлопал себя по вздувшемуся пузу, — в брюхе никакая тварь не оживет и никуда отсюда не убежит. Граница на замке!..

Кино с названием «Граница на замке» вспомнилось. Отдохнуть, так культурно отдохнуть: пробрались мы в лесокомбинатовский клуб через пожарный люк, спустились в зал задолго до начала сеанса, спрятались под скамейками, когда кино началось, вылезли оттуда и смотрели фильм под названием «Пышка».

* * * *

Раным-ранехонько я проскользнул на конюшню, постоял, слушая ее тишину, наполненную запахом сена, теплого навоза, плотного конского пота. Отфыркивая сенную труху, кони хрумстели серном и овсом, переступали по скользким плахам пола, прищлепывали мякотью губ, перекинувши головы через заборки стойлов и как бы беседуя друг с дружкой, родственно глядя при этом глубокими глазами, почесываясь шеями, прижимаясь окуржавелой щекой к окуржавелой щеке. Нигде нет такого обстоятельного, тихого и умиротворенного покоя, как в жилищах скота, особенно у лошадей — я думаю, и уравновешенность, солидность крестьян, их уверенность в вечности земного бытия, неизменности уклада жизни происходили от кормящей их, работающей безотказно бок о бок с ними деревенской животины и в первую голову — надежды, выручки и друга, некорыстного с виду, неуросливого, доброго деревенского коня, который не потерял своего спокойного трудового облика и верности человеку и в городе, попавши в неумелые, порой в варначьи руки людей, не наученных любить и уважать не только скотину, но и самих себя.

Я потрепал гриву одной-другой лошади, погладил плоские, вышерканные хомутом, шеи, постирался в стойлах, выпугнул оттуда стайку воробьев — ночью они хоронились в конюшне от холода, — нагрузил овса в карман, выпоротый из старого полушубка и приспособленный мною под полезный продукт, от которого распухли и потрескались у нас с Кандыбой языки и губы, но что же делать, есть-то надо, и чем студеней, тем больше.

У ворот конюшни торчала из забоев, осыпанных сennым крошевом, небольшая клетушка-сторожка. На ней ворошились воробьишки, спархивали во двор, к теплым конским котыхам, крошили их. Я скользнул мимо сторожки за угол и лоб в лоб столкнулся с маленьким старичком в круглой, саморуком шитой шапке, с кругло стриженной бородкой, с круглой луковкой носа, и когда старичок заговорил, мне и голос его показался кругленьким:

— Здоров живем, доброй молодец! — звякнув железными удилами уздечки, сказал он, поглядывая на мое оттопыренное пальтишко.

«Сейчас врежет по башке уздой!» — подумал я и отступил в сторону. Тропинка от сторожки только что прогребена, я увяз в рыхлом намете.

— Да ты не бойся, не бойся меня.

— Я и не боюсь.

— Давненько, примечаю, пасешься на конюшне, давненько! Зачем овес-то таскаешь?

— Известно зачем. Есть.

— И-ы-ы-ысь! Ты чё, конь или курица?

Я хотел отшить деда, но пришлось сдержаться — не до капризу, надо как-то выпутываться. Глазом я намечал, как и где ловчее утечь с конного двора. Но в этот час на конном дворе толпилось много народу. Коновозчики запрягали лошадей в сани с ящиками-коробками — для вывозки опилок с лесозаводов, в сани без ящиков — на этих доставляли отходы — обрезь кирпичному заводу и на мощение дорог. «Не проскочить, ой, кажется, не проскочить! Переймут!»

— А ну-козь! — прихватив за рукав пальтишка, дед несильно, однако настойчиво поволок меня в сторожку.

«Все! Засыпался!»

В сторожке, пахнувшей подгорелой глиной, лошадиными потниками и мышами, дед сунул мне мятый котелок с недоеденной драченой, деревянную треснутую ложку, дал кусок хлеба, круглой луковицей будто печатью пристукнув по нему сверху.

Я не стал отпираться от еды. Угощал дед без болтовни, попреков и надежд на благодарную слезу. Он даже хмуро и как бы недовольно угощал, и я к нему проникся хотя и неполным, хотя и скрытым, но все же доверием, кроме того, надеялся во время еды обмозговать, как смотаться отсюда либо сигнал Кандыбе подать, чтобы отрывался он из нашего убежища. Однако дедок разумненький попался, не оставлял времени на соображения, донимал расспросами, что, да как, да откуда, да зачем. Я пробовал нести околесицу, с поселка, мол, нефтебазы, родители пригорели на керосинчике

и сейчас находятся в домике, который зовется: «Я тебя вижу, ты меня нет».

— Полно, полно плести лапти-то! Я сам их мастер плести! — остановил меня старичок. — Вы по суседству с осени жили, в парикмахерской. После примолкли. Тебя бросили, что ли?

Я уткнулся взглядом в котелок, против воли часто заморгал.

— Навроде. — Мне бы на том и кончить, да повело меня на беседу в тепле и уюте сторожки, при старичонке, тоже по-домашнему уютном. Он слушал, слушал и вперился в меня глазками:

— Пошто в приют не идешь?

— Да так... боюсь...

— Эко, эко, боится! А тройку-магазинишко шшипать, тиятр пужать налетом и поджогом?..

— Поджог?! Ты чё? Поджог — это не мы...

— Э-э, дак ты ишшо и не один! Шайка у вас?

— Двое нас, — заметался мой умишко, думаю, чего не надо, говорю не то, что следует.

— Двое — уж шайка. Ну. лады, — старичок задумчиво пошарился в бороде. — Лады. На вот горбылек, ташши другу-то. Докуль держаться затеяли?

— До весны.

— До пароходов, стало быть? Потом чё?

— Потом! Потом по этому месту долотом! Больно ты хитер, дедушко!

— Хитер не хитер, оннако разумею: скоко кобылке ни прыгать, а в стойле быть! Ешли покрученник твой али кореш, как там у вас, одет тако же, как ты, карачун вам. — Дедок картох из-под нар выкатил, в карманы мои засунул. — Сдавайтесь в полон. Не резон держать оборону. Ешли, упаси Господь, перезимуете, подадитесь на магистраль — хто вас там ждет? Хто вам чего припас? Снова воровать? Опеть шаромыжничать?

— Утомил ты меня, дедушко. Отпускай, ешли...

— Ишь эть, ишь какой! Утомил я его! Пропадай, коль людских слов не понимаешь. Поймаю в кормушке — уздой опояшу!

— Боевой дедушко-то! Солдатом, видать, сражался в японскую, может, еще в турецкую войну. — С шутками-прибаутками рассказывал я свое приключение Кандыбе, но он, веселый человек, не смеялся. Картошки надвое разрезал, на печь положил, горбушку разломил и тоже на горячую печь пристроил — Кандыба любил подгорелый хлеб, только что из печи вынутого хлеба, печенюшек, калачей не едал сроду, но первобытная душа его требовала жареного, на огне паленого.

— Кранты нам! — поднял Друг Кандыба на меня полинявшее от

синяков лицо. — Заложит нас боевой солдат. Знаю я их, этих старичков и старушек! Спят и видят, кого бы пожалеть. Из жалости и заложит...

— Н-не-е, — сердитый он, занятой! — говорил я и чувствовал: слабеет во мне уверенность. — Он турков насквозь штыком порол, — придумывал.

По-телячьи обхватывая все еще не зажившими губами отмякшую на горячем, кисло запахшую горбушку, Кандыба пробубнил заткнутым ртом:

— Сам-то ты турок! Трепло! Покурить надыбал?

— Есть, малость есть. Привел бычка на веревочке, — тараторил я, тем хоть довольный, что ублажу друга сердечного, неловкость, глядишь, и минет. Я и читать поскорее принялся. Древнее сочинение: «Дафнис и Хлоя». Ндыбакан, не дослушав, решительно забраковал книжку.

— Липа все это! — заявил он. — Чтоб парень с девкой по лесу столь время толклись и все без толку! Тут или парень лопух, или уж девка жох, не дается, имея цель Дафниса-дурака довести до того, чтоб он на ей женился.

Я спорить с Ндыбаканом не стал. Виноват кругом. В прошлые дни я спорил с ним, он меня слушал снисходительно, как неразумного дитятю, и, утомленный вконец, отмахивался.

— Доведут тебя эти книжки! Доведу-ут!..

Спал Кандыба в ту ночь беспокойно, во сне метался, взмыкивал: «Ы-ы-ы!» В глухой час вдруг подхватился, вскочил, торнулся об угол печки, заругался, щупая лицо:

— Добавку добыл! Мало моей харе!..

Утро было иль день — в нашей хмарной обители не разберешь, когда послышался в сенках резкий скрип на обмерзших, водой облитых половицах. Я замер в самом себе, заставляя думать, что шум и скрип мне снятся. На двери ни крючков, ни засовов. Я поймался взглядом за белый и толсто очерченный притвор. Примерзлую дверь задергало, затрясло, рвануло.

За мной шевельнулся Кандыба, сунул руку в изголовье, но топор остался у притвора печки. Всегда мы спали, вооруженные до зубов: топор, ножик, кирпич в головах, но тут, как нарочно, никакого оружия для обороны нет под руками.

Схлынул клуб пара, ударившись о широкую раму, взметнулся к потолку, развеялся, и возле дверей обнаружились два человека, оба в полушубках, один в черном, другой в белом. Белый полушубок, поперек и накос, через плечо пересекала полоса, на шапке, тоже белой, сверкнула искра. «Мент!»

— Вот туто-ка они и зимогорят, — услышал я сыпучий, круглый

говорок: — Магазинышко шшипаят, на тятр панику наводят: то дровишки увезут, то карасину сольют, в нашем лесоконбинатском клубе скатерть президиумную свистнули, на портянки! Это чё тако? Бильбатеку обобрал кто? Конечно, оне, зимогоры! Бильбатекаршу ударило, аж из кону выпала, в больницу при смерти увезли... Так и есть! Книжки-то эвон они где! На полу да под столом! — Старичок живо бегал по нашему просторному жилищу, подбирал книжки, ухнул в подземелье, где были вывернуты половицы. — Спаси и помилуй, Господи! — взревел дедок. — Полом топят. Оне и конный двор спалят!..

Милиционер подал деду руку, выдернул его наверх. Опрятный старикан начал охлapyваться. «Башку б тебе своротить, иуда!»

— Вынайтесь на свет, орлы! Вынайтесь, вынайтесь! — услышал я команду.

Нехотя мы полезли с Кандыбой из-за печки, почесывались, зевали. Кандыба приседания стал делать, потешно взлягивая хромой ногой. Для сугрева или издевается? Старичок меж тем поднял фонарь, болтал им и, услышав всплеск керосина, засветил его. Желтушный кружок расползлся по нашему лежбищу, не достигнув потолка и дальней стены. Означались порубленные, истюканые половицы возле печи, щепье, натопанная пыль и грязь, серая изморозь по щелям.

Милиционер пристально оглядел нас, мы его. Это был тот самый милиционер, что приходил в школу. Из-за слабого ли света или из-за полной уж моей запущенности он не узнал меня.

Дед балаболит, шарясь по избушке, складывая книги на стол, возмущался тем, что такие дорогие книжки мы, изверги и бесы, разбросали будто рухлядь какую малоценную.

— Да заткнись ты, шал-лавый! — не выдержал Кандыба.

— Кто шалавый? Кто шалавый? — шатнулся к нам дедок.

— Ты шалавый! Ты гнида легава!.. — по-уркагански, грозно прошипел сквозь зубы Кандыба, не отступая перед дедком, наоборот, даже молодецки напирая на него грудью.

— Э-э! — встал меж них милиционер. — Без драки у меня! Ишь, бойцы какие! — рассмеялся он. Я тоже хохотнул — больно уж потешны бойцы, оба ростику одинакового, оба кулачишки сжали. У Кандыбы высверкивало в штаны, выдранные собакой, через кое-как зашитую тужурку или бабью кофту — не узнать — на спине тоже что-то белело. Милиционер собрал книжки в мешок, в тот самый, в котором я их принес, попросил деда сдать их в библиотеку, сам, закуривши папироску, показал нам рукой на дверь — потопали, дескать.

На улице непогодно, но не так уж заносно было, как в прошлые дни. Дедок прилаживал на нарту мешок с книгами. Проходя мимо него, Кандыба врезал дедку по спине как бы шутливо, но дедок от неожиданности сунулся в снег лицом. Выцарапался весь белый, отплевывался, обирал снег с бороды и усов.

— Будь здоров! — сказал ему Кандыба. — Пускай твоя бабка каждый день по свечке ставит, чтоб ты нам в узком переулке не попался!..

— Да вы чё, робятишки! — загородившись мешком, начал оправдываться дедок. — Я ж как лучше хотел. Жалеючи... В приюте столовать вас легулярно станут, оденут, обуют...

— Жалеючи! — поднимая кошачий воротник и так ловко втягивая себя в лопотину, что на морозе остался лишь подбитый глаз, фыркнул Кандыба.

Милиционер шагал сзади нас с Кандыбой, понуро бредущих в неизвестность. Переновой опоясало улицы и переулки. В дырявые мои валенки набилось снегу, ноги стыли, портянки, сделанные из скатерти, вылезли в протертые задники катанок, красными языками лизали сзади меня улицу. «Дедок-то глазастый какой, змеина! Узрел!..»

Я оглянулся. Вдавленная по самую крышу в кудревато завитые навои, утопала наша избушка в сугробе. По узкой щелке, протоптанной нами в улицу, дедок тащил нарты. Он поднял волосатое лицо, не шевелясь, какое-то время глядел нам вслед и снова задергал веревку, попер нарты с книжками по рыхлым снежным заметам.

На улицах малоллюдно, отовсюду вытекали на дорогу, сливаясь с нею синими ручьями, узкие тропинки. Исток их во дворах домов, низко севших в снега, окна до середины зашиты «фартуками» с опилом. В верхних звеньешках обмерзших стекол тускнел и днем не гаснущий свет. Скучотища-то какая! Пустота! Неприютность! Не глядели бы глаза на этот захороненный в снегу городишко. Чего мы в нем ждали? Какую весну? В нем никогда не будет весны! Успокоится он под сугробами, заснет, и свет в домах постепенно выгорит, остынут печи, выветрится жилой дух из квартир, даже собаки, реденько, без охоты взбредивающие по дворам, умолкнут...

Но ближе к центру города, к милиции ближе, ходил народ, шуму прибавлялось, народ, как ему здесь положено в глухую зиму, толсто одетый, укутанный, не ходил, а бегал, торопясь попасть под крышу, в тепло. Есть и нараспашку которые — грудь пола, дыра гола — удалые парни, приклатненные игарские драчуны, среди них и детдомовцы — приметные человеки, цыркают слюной сквозь зубы, меряют всех сощуренным глазом, мальчикам школьникам дорогу загораживают,

задираются, с которых и выкуп берут за свободную ходьбу по городу серебряшками, куревом или каким другим провиантом.

Хозяйственные парни собак в нарты позапрягали, воду на них возят или просто катаются — для удовольствия. Детдомовцы да разная уличная шпана норовили упасть на нарты.

Словом, жизнь идет своим ходом, не глядя на зиму и ночь.

И работа идет. С протоки доносится лязг и скрежет лесотаски, гулко бьются друг о дружку мерзлые бревна; над лесозаводами труба, закрытая искрогасителем, дымком опилочным курится, внизу котельная парит: за дощатым заплотом биржи квакают рожками лесовозы; по улицам нет-нет да и проковыляет машина, западая в выбоины задом, ползет по суметам еле-еле, зато гудит во всю ивановскую; самолет с лыжами под брюхом над городишком пролопотал, юркнул за дома, натужно рывкнул и смолк в снегу. Почту доставил в Игарку самолетик, хотя и мести еще не перестало, да и видно худо, отчаянный народ — заполярные летчики.

Возле первого магазина шла потасовка: пластались парнишки, волтузя друг дружку, дяденьки и тетеньки кругом стояли, подначивая парнишек. Как мимо пройти, если драка?! Но при появлении милиционера мальчишки рассыпались. Публика стала расходиться. «Ох, уж эта шпана! Когда на нее только управу найдут!» — слышался недовольный отовсюду говор.

«Слы-ы-ышит ли, де-е-еви-ица, се-е-ердце твое-о-о? Люю-тое горюшко, го-о-оре мое-о-оо», — пело радио на коньке магазина. За магазином, совсем недалеко, в переулке имени Первой пятилетки, находится милиция.

— О-о! Ндыбакан, Ндыбакан, рассердечный мой друг, — начал я подпевать. — Надо нам, надо отрываться скорей... — Кашель прервал мое пение. Согнувшись крюком, я бухал, стонал, харкался. Милиционер приостановился, поглядел, как рвет меня, терзает простуда, покачал головой: «Допрыгался!» — и пошел дальше. Я разом перестал кашлять и стриганул в ближайший двор. К радости своей, не напоролся там на собаку, и пока милиционер кричал с улицы: «Мальчик! Мальчик! Во глупый! Во дурной!» — да искал меня, почти на виду спрятавшегося за лопату-пехало, метлу, доски и угол поленницы, в бега ударился и Кандыба, но удачи ему не было. Милиционер выудил его откуда-то, задержал за руку, звал, кликал меня.

Хорошо было видно из убежища Кандыбу и милиционера, потешно мне сначала было, я смеялся про себя, да скоро до того застыл, что если б еще маленько посидеть, то не выдержал бы, вылез сдаваться, но Кандыба, хотя и утянул себя до самой маковки в кошачий воротник, замерз до самых

до кишок, чакал зубами. Милиционер сердито плюнул себе под валенки и повел Кандыбу за руку. «Неужто испекся Ндыбакан? Вырвется. Он парень шустрый!..»

Бодрость моя и ловким побегом вызванное настроение иссякли по мере приближения к милому убежищу. «Меня же здесь загребут! Хаза-то теперь раскрыта!..»

Я прошлепал мимо парикмахерской, и такой она мне показалась родной, обжитой, близкой, что даже в груди до стона заныло. Постиравшись в «тройке» возле потрескавшейся от жары голландки, я чуть отогрелся, затолкал пальцем в катанки красные портянки и подрулил к центральной столовке, где твердая моя вера: не везет, не везет да и повезет же когда-то, — нашла наконец подтверждение.

Появилась у меня благодетельница — официантка со смуглым северным лицом, которое венчал сказочно красивый, в рубчик строченный козырек. Она так умело подвязана фартучком, что все ее и без того красивые формы сделались еще завлекательнее. Приветливым лицом, на котором сияла улыбка, не дежурная, своя улыбка, глазами, исходящими радушием, счастьем молодой жизни, предчувствием ли его, всем своим видом она словно бы призывала: «Садитесь за мои столы! Всех накормлю!»

Заметив, что я скребу в пустой тарелке и собираю крошки со стола, официантка подмигнула мне угольно-черным глазом с искрой в середине: «За мной!» И я пошел, не боясь ее, не думая, что она может мне сделать что-либо худое. Есть люди, как бы сотворенные для добра, часто безответного, и это отмечено природой на их лицах, во взгляде, в улыбке, даже в походке. Не случайно же настоящего доктора узнают и без белого халата, хорошего учителя — без очков и портфеля.

Официантка втокнула меня в затянутую плотной синей материей кабину, пустующую в дневной час. Вечером в столовке заливается баян, подбавляется свету, в действие вступают кабины — и все это именуется уже вечерним рестораном «Сиянье севера».

«Моя» официантка впорхнула в кабину, сунула на стол ложку, кусок хлеба и половину порции борща в тарелке — не доел кто-то или в кухне выпросила — угадывать было некогда. У меня голова закружилась от запаха еды.

— Ешь, ешь! — заметив мою нерешительность, ободрила меня официантка, которую кто-то кликал: «Аня! Аня! Где ты?»

«Аня! — умилялся я. — Какое хорошее имя! — И принялся споро метать ложкой борщ. — Вот уж истинно Аня! Не Анна! Не Нюрка...»

Аня снова вихрем влетела в кабину, поставила тарелку с обломками

котлет, с макаронами, с кашей и картошкой, наваленными будто поросенку, и, не зная, чем отблагодарить замечательную такую девушку, я сказал:

— Я знаю, как вас зовут.

— Как же? Ишь ты, угадал! — удивилась она и вытерла чистеньким фартучком пот с лица. — Матери-то нету? И отца нету? Вот горе-то! Да иду, иду! И причесаться не дадут! — откликнулась девушка на чей-то голос. Она всем была необходима. — Ну, ты ешь, ешь... — Для виду поправляя прическу под белым козырьком, еще ярче оттеняющим и без того красивое лицо, Аня побежала выполнять свою работу.

«Старухи молотят языком, будто черный глаз урочливый, недобрый и люди черноглазые очень даже опасные. Вот и верь им после этого!» Почему-то вспомнилось: были ведь и у меня две сестренки да умерли, не повидав ладом свету, не намаявшись в этой жизни. Хоть одна из них была бы, непременно была бы такой же доброй и красивой, как Аня. Впервые в жизни коснулась моего сердца жалость к рано умершим, хотя и неведомым мне, близким людям, и еще возникло, укрепилось во мне решение: вырасту, буду стараться из всех сил быть добрым к людям, особенно к людям увечным и обездоленным, заведу себе хорошую одежду, завлеку девушку с карими глазами и, коли сладится, женюсь на ней.

— А спать тут не надо, миленький! Беги-беги! Поел и беги. Мне попадет от заведующей. — Аня легонько вытолкала меня, осоловелого от еды, из кабины. Перебарывая стыд и смущение, я пробормотал что-то извинительное, оттого что расслюнявился, чуть человека не подвел. Аня кивнула мне, обнадеживая на будущее.

Ночевал я ту ночь на чердаке театра. На трубы парового отопления положены щит, рогожа, клочья бумаг и рвань пыльных декораций. «Кандыбино гойно!» — догадался я и заставил себя надеяться, что друг мой сердечный, покрученик, как поименовал его дедок, утряхает из милиции или из детдома и меня найдет.

Но прошел второй, третий день — Кандыба не объявлялся. Театр зорко стерегли пожарники — уж два сгорело, довольно! Пробираться на чердак становилось все труднее, «хазу» мою кто-то постоянно навещал. Из белой ниточки я делал насторожку, протягивал ее вниз, поперек притвора, и всякий раз, наведавшись «домой», находил нитку сорванной — дверь отворяли. «Вот так-то, миленький, легавенький, с наганом, кучерявенький! Какой-никакой все же охотник и рыбак — соображаю!»

Однако на душе становилось все тревожней. Лежа в чердачном, пыльном гойне, я приближенно, у самой головы слышал шуршание снега, завывание ветра в пустынной ночи и как-то не выдержал, распричитался.

Правда, причитания пробовал превратить в шутовство, но не шибко получалось: «О-о, Ндыбакан, Ндыбакан! Где ты есть-то? Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий ты один мне был поддержкой и опорой! Я ведь на чердаке, в твоём старом гнезде леплюся. Совсем один, паря! Одному худо. Спозабыт-спозаброшен с молодых, юных лет! Загнусь, поди-ко, скоро...»

И чтоб не разрыдаться вслух, продекламировал ту непонятную муру, как я тогда считал, которую силком заставляли учить в школе, прямо-таки вталкивали ее в башку: «О, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!.. Ты один мне поддержка и опора! — Я расхохотался и харкнул во тьму: — На кой он мне, хоть русский, хоть тунгусский, если не с кем поговорить? Сопли слизывать да слезы? Потекли вон...»

Та ночь была длинная, тягостная. Наревевшись до полной потери сил, я долго не мог уснуть, лежал, глядя в густую тьму чердака, и ничего, кроме пустоты, вокруг не чуял. Не пугали даже жуткие видения, так мучившие меня в прошлые ночи, не сжималось сердце от скрипов, шелеста чердака, шевеления снега.

Но на любой земле, в любом живом уголке наступает тот час, когда черти перестают горами ворочать и небо мутить, люди, что любили друг дружку, отлюбились, те, что мучили, устали мучить. И здесь, на этой Богом забытой земле, над театральным чердаком, изнутри похожим на скелет коня, немного поутихло. Где-то в полуденных краях солнце катилось к середине дня, на обед, здесь только-только наступало предрассветье, и хотя ангелы тут не водились из-за холодов, все же крыла их меня опажули. Я уснул.

Тревожные, нелепые сновидения тут же закружились во мне и надо мной. Одно сновидение особенно мучительно было: я искал дверь и никак не мог ее найти. Плешивого человека и генерала во сне видел — снятся же они только к неприятностям, и под кем лед трещит, а под нами ломится. Сон вышел в руку.

В центральной столовке не оказалось «моей» Ани. Я долго вертелся возле умывальника, в раздевалке, ждал ее, но сердце, откованное беспокойной жизнью, наполненное предчувствиями и страхами, подсказывало: нет, не дожидаться мне Анечки. На мой робкий вопрос раскормленная дармовым харчем тетка из раздевалки в натянутой на фуфайку столовской куртке, в валенках, разрезанных сзади, — не влезали икры в голенища, с мордой, которая не просила, прямо-таки требовала

кирпича, ответила, подпершись пухлой рукой:

— Она теперь далеко-о-о-о! Гулял вчерась у нас зимовщик с Хеты, горстями деньги кидал, уманил ее за собой. Так што лафа твоя кончилась. Прикормила, вертижопка, а меня греют. Заведушша строга...

«Выдра ты, и заведушша твоя выдра!..»

Я побрел из столовки. Ноги притащили меня к парикмахерской. Наклонился, засветил спичку — насторожка на месте, но это почти не обрадовало меня. Будь насторожка хоть и сорвана, я бы все равно залег в избушке. Нагло, почти не таясь, натаскал я дров от кочегарки драмтеатра, ящичков от магазина и завалился в свою берлогу, голодный, сломленный, ко всему уже безразличный.

Какое-то время я еще поднимался подкидывать дрова в печку, но и это мне скоро надоело, вернее сказать, не было сил и охоты чего-либо делать. Один лишь раз еще взяла меня бешеная ярость, кинула из-за печки — где-то что-то стучало, скреблось, царапалось. Подумалось — это люстра качается под низким потолком, ударяет меня по голове, царапает в ушах, сверлит их ржаво. Я схватил полено и рубанул по люстре так, что звонко брызнуло во все стороны. Прислушался — скрипело, сверлило уши, как и прежде. Осталось еще что-нибудь от люстры, я махнул во тьме поленом и свалился в яму, под вывороченный пол. Едва оттуда выбрался — вспышка ярости отняла последние мои силы.

* * * *

«Счастье пучит, беда крючит», — говаривала дорогая моя бабушка Катерина Петровна. Расхворался я, сдал духом, мне стало жалко самого себя и захотелось умереть. Когда такая напасть наваливается на бесприютного человека и яростная его сопротивляемость слабеет, он и в самом деле может умереть или наделать много всякой дури себе во вред.

Я лежал за печкой, завернувшись в шкуры, придавив себя сверху половиками. Уши шапки завязаны, драные рукавицы на руках. Над головой, под потолком и во дворе все выло, все стучало. В печи дымился сырой чурбак, изредка чихая так, что печка вздрагивала и в прогорелой трубе видно было сыпанувшие вверх искры. Дрова у меня кончились. Поднимался я из берлоги лишь по нужде, мочился в угол, выворачивал остатные половицы, нехотя крушил их слетающей с топоризца секирой,

постепенно подобрался к печке. На последнюю очередь я наметил стол, чурбаки, заменявшие сиденья, там уж будь что будет. Мыши перестали являться в мое жилище: вскрывши пол, я засветил их норки, да и поживы не стало возле меня совсем никакой. От голода не то что сосало нутро, прямо-таки ломило живот, ребрами его сдавливало, и где-то там, в пустоте, скатывался под грудью и твердел комок. «Смерть гнездо из костей вьет с камешком в середине...»

Когда-то в родном селе катал я с ребяташками мячики из коровьей шерсти с камешком в середине...

Неужели было это «когда-то»? Деревня, русская добрая печка, связки луковиц по стенам, запах вареной картошки и закисающей капусты, с кути дух горячего хлеба, бабушка Катерина Петровна, дедушка Илья Евграфович, заимка на Усть-Мане, весна, ярко цветущая луковка в горшке, новые штаны, лохматый Шарик, кошка-семиковрижница, Санька-разбойник, дядя Левонтий, деревенские, бойкие в лесу и на реке парнишки...

Где все это? Где? Если и было, то у другого какого-то человека, вруши-хохотуши, на язык бойкого, в играх спорах заядлого...

Вот на таком-то краю погибели и застал меня Кандыба. Ввалился он, весь заснеженный, в мое убежище и ухнул в подземелье, брякнувшись костью о рыжую, пыльную балку, обнажившуюся из-под пола. Ругаясь, потирая хроющую ногу, выбрался ползком наверх, в новых валенках, в новой шапке и рукавичках, в пальтишке, неказистом с виду, но все же теплом, недраном. Хрустя стеклом, гость прошкандыбал к печи, поднял голову, искал глазами люстру.

— Озверел?

Я ничего ему не ответил, даже головы к нему не повернул, смотрел в потолок и так стискивал зубы, что выдавливалась соленая кровь из ослабевших от цинги десен. Много мокра скопилось во рту и внутри у меня, стоит шевельнуться — кашель, слезы с хрипом и соплями вырвутся наружу, болью рванут нутро, высекут искры из глаз.

Кандыба достал из кармана два ломтя с сыром, слепленных холодом, и кинул их мне за печь. Я с трудом откусил корочку шатающимися зубами и пока валял ее во рту распухшими деснами, пока грел хлебушек на печке, Кандыба свертел сигарку, натрусив табаку из бедных бычков — где их в метель-то сыщешь? Вот весной, когда земля вытает, бычок взойдет густо, как трава. Подбросив щепок в печку, Кандыба прикурил и отчего-то грустно спросил, глядя на разгорающуюся печку:

— Где ошивался?

— На театре. У меня нынче весь почти сезон театральный, бенефис вот подошел!.. — Выло за окном, сыпалось хрустко на стекла, что-то хлопалось под потолком, било по голове. — Стучит, стучит и стучит... Год стучит, век стучит!.. — Я схватился за голову, зажал уши. — В рот бы пароход, в зад баржу!..

— Банефи-ист! — покачал головой Кандыба. — Три дня не евши, в зубах ковыряет... — Он насадил покрепче топор, вышел на улицу. Донесся бряк топора. Перестало. Слух и сердце, болезненно сжавшись, ждали стука, но шуршал снег, метелило, выло, однако не стучало. И удушливое, беспомощное бешенство, почувствовал я, капля по капле утекало куда-то

Покрученник, друг мой верный, запоскрипывает ногой по мерзлым половицам, мы поговорим и, улегшись рядом, выспимся, добудем дров, еды, и все станет хорошо. Но Кандыба отчего-то не являлся. Я всполошился, хотел бежать на улицу — упаси Бог снова остаться одному. Но дверь распахнулась, и я радостно заорал: «Не упади!» Кандыба прямо с порога бросил два ящика к печке, сам сиганул следом, удовлетворенно выдохнув:

— У «тройки» смарал! Банефист! — Глазенки Кандыбы смеялись, сияли — поглянулось ему новое слово.

— Бенефис, охламон!

— Банефист лучше! — хряпая ящики топором, возразил Кандыба. — Про баню напоминает. — Он довел печку до гудения. — Когда в бане был последний раз?

— Не помню.

— Нас каждую декаду гоняют.

— То-то и сияешь! — Я утер нос до блеска измазанным рукавом пальтишка, сел, почти навалившись грудью на печку. — Думал, мент за мной охотится. Как ни приду — насторожки нету...

— Нужен ты менту! Им есть кого ловить. Понаряднее.

Мрачноват все же мой друг Кандыба, мрачноват, хотя и одет, и сыт, и в бане часто моется, с лица желтизна пропала. Небось гложет, гнетет бродягу тоска по вольной жизни, будь она неладна!

— Ну, как твой новый дом? Родня как?

— Родня от старого бродня! — не принимая моего тона, буркнул Кандыба и стал шариться по избушке. Из щели подоконника выковырял бычок — сам и прятал когда-то, сильный бычок — половина «беломорины». Оживел корешок от такой находки, закурил, распахнулся. На нем рубаха свежая, хоть и неновая. — Дом как дом. Получше, правда, канского, из которого я летось мотанул. Побогаче. — Он затянулся по-

взрослому умело, густо выдохнул дым, щуря глаз. — Воспиталки тоже всякие, есть дуры дурами, которые ниче, ходят в детдом все равно как на лесобиржу доски складывать. А которые и папой и мамой сразу быть норовят!.. Этих братва со свету сживает, — Кандыба до трубочки дососал бычок, защелкнул его в тугую дверь печки, посидел недвижно, ровно бы забыв про меня, и неожиданно улыбнулся, так же, как в прошлые наши отрадные времена, всем лицом: быстрыми глазками, кругляшком носа, широкими губами. — Одна щебетунья-мамочка бегает, кудряшками трясет: «Вороваць нехорошо! Драться и ругаться нехорошо! Учицесь, деци! В этом ваша достойная благодарность за цёплую о вас заботу!..» Про великих людей трещит, какие они все были послушные, как все время помогали родителям, как старательно учились, примером были для всех... Макаренку какого-то часто поминает. Не знаешь, кто такой?

— Писатель и педагог.

— Вон под кого она мазу держит! А умишка, ха-ха!

— Не стучит, — вслушиваясь в гул и вой ветра за окном, облегченно вздохнул я, прерывая рассказ Кандыбы. — Еще б постучало, я бы топором разнес все тут...

— Бывает. Ты вот чё: кидай хазу. Не переогодовать в ней. Такая тут долгая зима, блиндар! Айда со мной. Бумажку не выбросил?

Я помотал головой — не выбросил.

— Д-да-а, брат, уж долгая так долгая! — я опустил голову, погрузился в раздумье. Кандыба терпеливо ждал. — В груди харчит, голову обносит, кашель бьет, аж искры из глаз секутся... Но... — Я хотел объяснить, что щетина вроде бы на спине у меня поднимается против казенного дома, против воспиталок-мамочек, хотя и слышал я о них только от него, от Кандыбы, но все равно знаю их. Очень уж много ласковых тетенок пыталось заменить мне мать: пряником, рублевкой, поношенной рубахой. Зная по опыту, что убогому возле богатых жить — либо плакать, либо тужить, я неуверенно добавил: — Попробую... С дедом рыбачил, может, еще порыбачу. Психованный он, да ничего, стерплю... терпел же...

«Привыкнет собачонка за возом бегать, так и за пустыми санями трусит», — сказать бы Кандыбе, но друг мой — человечина чуткая, он не хотел у меня отымать последнюю надежду — притулиться к кому-то родному.

— Ну-ну, ладно! Знай наших, поминай своих! — хлопнул себя Кандыба по коленям. — Я уваливаю. Обед скоро, после обеда «мертвый час», мамочки считают по головам. Ну я двинул. Если чё, ищи меня...

Этот парнишка давно перестал терзать себя пустыми надеждами на

совместную жизнь и содружество с людьми, кроме беспризорной шпаны, которая была ему ближе всякой родни.

* * * *

Я не сказал Кандыбе, что повстречал на улице мордастенького, ходкого сына бабушки из Сисима, Костьку — моего дядю. Невзирая на девятилетний возраст, суровые запреты матери и со всех сторон сыплющиеся на него колотушки, Костька курил, ловко выуживая папиросы из нераспечатанных пачек старших братьев, Вани и Васи, не брезговал и бычками — этой вечной пищей безденежных и бродячих курцов.

За сбором бычков я и прихватил Костьку. Он обрадовался мне, сообщил, что дядя Вася как-то изловчился добыть документ и улетел на самолете в Красноярск, учить уму-разуму разметчиков и сортировщиков древесины.

— Ты приходи, — сказал Костька. Вид и слова его были обнадеживающими, Костька хотел надеяться, что на этот-то раз «наши» не откажут мне.

Ваня был на работе. Костька в школе. Дед Павел слеповал у обмерзшего окна, в звеньях которого маленько вытаяло, — починал старую мережку, опасливо побрякивая кибасьями. «Сяма», закутавшись в пуховую шаль, лежала в постели, смежив глаза.

Я стянул с головы шапку и поздоровался. Дед отвернулся к окну, ровно бы ничего его тут не касалось.

— Ково там опять чельти плинесли? — словно не расслышав моего голоса, спросила бабушка из Сисима. Каждое слово она произносила с тихим, мучительным постаныванием. — А-а, — совсем уж умирающим голосом, в котором чуялась плохо скрытая досада, протянула она и приподнялась на руке. Отстранив шаль от лица, посидела, помолчала, спросила насчет отца и мачехи. Я ничего на этот раз не соврал.

— Чтоб он подох там в больнице, сволочь такая! — угодливо выругался дед Павел и приостановил работу, ожидая распоряжений насчет меня.

— Госьподи, Госьподи! И подохнуть не дадут! — бабушка из Сисима снова опустила на подушку, забросила на грудь угол шали. — Чё стоишь тамока? Разболакайся, проходи... У дверей разболакайся, натрясешь

ишшо...

Бабушка из Сисима привередница насчет чистоты. В барачной комнатухе все белоснежно, все блестит — бабушка подкладывает в известку соли, чтоб блестела. От порога до окна сплошь настелены половики, поверх половиков старые тряпицы и витые из лоскутья кружки лежат; чистые кастрюльки висят на стене, к которой прибита старая газета; одна тряпка для посуды, одна для утирки рук, полотенец несколько, у бабушки из Сисима и у Костьки отдельные. Вылизанная клеенка темнеет ломаными углами. На узком барачном окошечке мучаются два бескровных цветка — ванька мокрый и еще не знаю какой. Не зря так любят и ценят Питиримовы свою домработницу, которая охотно именуется прислугой. Дед вон какой смирный сделался — осаврасила «сяма» и его, небось, в картишки забыл как играть? И впрямь не у всякого жена Марья, а кому Бог даст!

— Долго маячить у порога будешь? — прикрикнула бабушка из Сисима из-под шали, но вспомнила, что ей вредно волноваться, уже расслабленно распорядилась: — Ты-то чё пнем сидишь? Покорми ево...

Бабушка Катерина Петровна кричала на меня с утра до ночи, случалось, и порола, колотушек мимоходных я от нее добыл — не перечесть, а вот не было во мне при ней униженности и робости этой проклятой не было. Переминаюсь у порога, шапку, будто в церкви, стянул, под валенками натекло, в пору кланяться.

— Я не хочу, спасибо!

Дед Павел словно того только и ждал.

— Не хочу.. не хочу! Проходи! Садись! — загремел он посудой на плите. — Кочевряжится еще!..

— Госьподи, Госьподи! И правда подохнуть не дадут. Каку чигунку-то открываешь, каку? — бабушка из Сисима слишком резво для человека, которому до смерти осталось всего разокдохнуть, вскочила с постели и шуганула деда от плиты. — Глаза-то есть у тебя?!

Дед буркнул: «Не глаза, а глаз!» — и с облегчением подался к окну — чинить мережу. Бабушка из Сисима, стеная, шевеля бантиком губ, все еще спелым соком налитых, натянула через голову фартук и принялась хозяйничать возле плиты. Она готовила вкусно, блюдя церковную опрятность во всем, и от других людей добивалась того же. Боже упаси накапать на стол — тут же схватит тряпку и вытрет клеенку перед тобой, да с таким видом, что больше не только капать, есть не захочется.

Между прочим, маленький чугунок был с Костькиным супом. Для своего единственного сыночка бабушка из Сисима готовила отдельно,

отдавала ему что «повкуснее», принося с питиримовской кухни недоедки, лакомства, посланные докторшей «маленькому Костеньке». И как же он, «лизик» и «самоздравец», «отблагодарит» свою мать за доброту? Страшно кончит жизнь бабушка из Сисима со своим сыночком. Если и найдется на всем свете родной ей человек, которого бабушка из Сисима будет встречать словами: «Шолнышко ты мое!» — так этот человек, напяливая шапку на окоростелую от ногтей голову, с горем скажет в ту далекую пору:

— Правда не хочу. Ел недавно.

— Чё ель? Чё ель? Ково оммануть-то хочешь? Садись да хлебай! Тебе ли купороситься?

И то правда: мне ли купороситься? Надо садиться, хлебать суп. Я должен помочь деду с бабушкой из Сисима проявить «доброту». Это их успокоит, очистит совесть перед Богом — на поминках в деревнях напослед ставят кисель перед надоевшими, досадными людьми, называется тот кисель «выгоняльным». Киселя у бабушки с дедом нету, вот мне и выставили суп-вылупку.

Знают они, хорошо знают — кто сырых питает, того Бог знает. Заповедь Христову: «Оденем нагих, обуем босых, накормим алчных, напоим жаждущих, проводим мертвых — и заслужим царствие небесное» — помнят, вот и стараются изо всех сил выполнить заповедь-то, только так, чтобы не накладно было. Одни несут на могилки тех, кого сводили со свету, крашеные яички, крупку сыпят, цветки кладут на твердую землю, тычут в озеленелые подсвечники копеечные свечки в душных церквах, суют в цепкие пальцы нищих пятаки; другие соорудили в сибирских дворах оконца на воротах, выставляют туесок с квасом, зобенку с солью, каравай хлеба — для «страждущих, нищих и бездомных», умиляя этакой «благодатью» «знатоков кондового быта». А по мне — они просто дешево откупаются от беглых каторжников, бедовых людей, чтоб те не вломились под крышу и не унесли больше, как откупаются вот теперь от меня супишком бабушка из Сисима с дедом Павлом.

Сидят, помалкивают благодетели мои, я хлебаю теплый прокисший суп. Дед Павел снует деревянной иглой и дымит трубкой, как пароход, что лица не видно. У меня никакого раскаянья нет, что я снял налимов с его подпусков. По другую сторону стола полулежит на кровати бабушка из Сисима, кутаясь все в ту же пуховую шаль.

— Ешь, ешь, не торопись, — бабушка из Сисима видит, что я не тороплюсь, не могу торопиться, забило мне горло дресвой слез, не лезет в него кусок. — И чё он кулит и кулит табачице свой клятый? — отгоняя дым рукою, прячась от меня, ворчит бабушка. В забывчивости

засмоливший трубку дед Павел сунул палец в сипящий ее зев, и трубка, пикнув, умолкла, только из-под ногтя деда синенькой волосинкой сочится дымок. — Шел бы на улку и кулил бы, сколько влезет! — пилила деда Павла бабушка из Сисима. — Сельце чисто все занялося, на лекальствах дельжусь.

Все это бабушка из Сисима говорила деду, но слова-то назначены мне — понимать должен: за всеми надо ухаживать, обмывать, обшивать, накормить, у Питиримовых дел невпроворот, износилась она в работе, умаялась, а года летят...

Да-а, летят года-годочки! Мне кажется, я уже сто лет среди людей ошиваюсь, обмялся, нюх у меня сделался — спасу нет! Всякое слово взаболь принимаю: на том конце города рукавицы украдут, я на этом краснею! Во мне вроде бы клубок из жил и нервов скатался, по всему нутру щетина выросла. И ощетиненным нутром я не приемлю копеечной доброты, но, мучаясь, недоумеваю, изо всех сил пытаюсь и не могу понять, как эта вот самая бабушка из Сисима отправилась в неведомые, полунощные края с малыши, чужими, считай, детьми, и как она сама, выросшая в сиротстве, и за одно это благоговел я перед нею, как это она, подкормив себя и семью докторскими объедками, забыла, сумела забыть день и час, когда, изувеченно ломаясь в поясице, кланялась люду, оставшемуся на Овсянском берегу, прижимая вцепившихся в юбку ребятишек, не в силах чего-либо молвить, тыкала в них пальцем, слепыми от слез глазами спрашивала людей, что она станет с ними делать в чужом краю, среди чужих людей?

— Спасибо! — выбираясь из-за стола, я с облегчением отметил: на клеенку не накапано. — Больше не хочу.

Дед Павел, отвернувшись, посасывал незажженную трубку, она у него не то простуженно, не то обиженно сипела. Бабушка из Сисима, отвернувшись, шарилась в кошельке, шуршала деньжонками, выбирая для «сиротки» рублишко. И чтобы хоть этой милости избежать, чтоб еще раз не выжимать из себя благодарности, я толкнул обитую стеженным тряпьем дверь:

— До свиданья!

«До свиданья! До свиданья!» — я прятал мокрые глаза в засаленный воротник холодного пальтишка. Говорят, сиротская слеза — самая тяжелая, и канет она не на землю, на человеческую голову. Чертовщина какая-то заключена в этом или злое совпадение — не дано мне знать, но четыре месяца спустя дед утонет в Енисее, и жизнь бабушки из Сисима очень изменится. Тогда я не мог, конечно, знать этого, просто брел в какую-то

морозную пустоту, а в памяти моей и перед глазами вертелся полосатый зверек — бурундук. Он сидел на мамином кресте, делал вид, будто умывается, на самом же деле навораживал беду. Нет мне удачи и, видно, не будет; удача — говаривал картежник дед Павел — вроде очка, выпадает редко, чаще недобор или перебор, и вся житуха есть игра в три листа: рождение, жизнь и смерть. Разница в том, сколь сроку выпадет, пока сдает судьба карты...

* * * *

Неторопливо, словно собираясь на долгий таежный промысел, я все уложил, припрятал в жилище топор, пилу, ведро, ложки, банки, фонарь, завернул в половики подушку, пыльные ремки, бывшие когда-то одежкой, шкуры маральи и собачьи, все уже вышеркавшиеся, затолкал в мешок из-под картошек — вернется отец из больницы, пусть и не своим, как говорится, деткам отец, а все же человек, спать где-то и на чем-то надо. Бабушка Катерина Петровна говорила, что, если б мама была живая, не скитались бы мы по свету и отец прибран, догляжен, не распущен был бы.

Я подмел уцелевшие половицы, сгреб щепье, мусор и перья в печку, веник тоже в печку сунул — никуда уж он не годился, давно подобрал возле городской бани, весь исхвостанный. Сверх веника туго натолкал мелко рубленного макаронника, искал еще какой-нибудь работы — ее не было. Тогда я присел на чурку, как это делается перед дальней дорогой, пощупал под рубахой бумажку, именуемую направлением, достал ее, попытался расправить — не получалось, бумажка успела сморщиться и полинять, однако печать и решительную подпись «зав. гороно» на ней разобрать еще можно было.

Тихо, студено, сумрачно в моей обители, занесенной по самую крышу снегом. Из-под вывороченных половиц подвалом несет. Дни все еще короткие, время сонное, хотя и повернуло на весну. Наступил март. Где-то в российских краях, которые я не видел, но уже тосковал по ним и родственно болел ими, ростепель, с крыш капает, дороги порыжели, утрами сосульки на солнце горят, в оврагах пучится серый снег, скоро тронутся в весну ручьи, зальет водою землю. Села, хутора, овчарни, пасеки, кордоны, даже российские города рассыпанно поплывут по струйной быри, опоясанной теньями облаков, и впереди всех головным стругом с крестом

иль флагом на маковице белой лебедью будет плыть по воде выстоявшая против всех невзгод и напастей церковь с певучей и без колоколов колокольней.

И в Овсянке, в моем родном селе, на первых потайках играет в бабки ребяшня, гомонят птички, старухи вербу освящают, на увале, может, лохматые подснежники зацвели, бабушка Катерина Петровна выставляет рамы. Скворцы, кулики, плишки на подступах к нашему селу, зяблики, синицы, снегири уже частят на вершинах елей. А здесь все так еще серо, так завалено снегом, придавлено низким небом, что не просачивается в окно ни единая живая искорка, никакой птичий голосок, даже трудно верится, что есть где-то весна, что доберется она до этих мест.

Я выштал гвоздь из стены, болтом, валявшимся в хламе, прибил дверь в притворе к косяку — на всякий случай, подергал за ручку — не открывалось, и отправился кружным путем по городу, прощаясь с ним и с тем отрезком жизни, который я провел в нем.

Он жил своей жизнью, этот запавший в снега городишко. Он миновал еще один день на пути к весне и погружался в тягучие, оловянно-тяжелые сумерки, которые невидимо глазу перейдут в ночь, ночь будет длиться, длиться нудно до тех пор, пока не выльется на землю простоквашная жидкость рассвета.

Я спустился на протоку, с нее по плотно прикатанному лыжами снегу забрел в Медвежий лог, где на зимнем отстое занесенные до бортов бугрились пароходы, катера, баржи, и среди них «Москва» и «Молоков» — знаменитые портовые трудяги.

Весна только-только пускала распары, проходил спайный лед на Енисее, шевелил Губенскую протоку, еще снег лежал по улогам, и вода оставалась в берегах, еще несло муть, хлам, кусты и редкие льдины, а в устье Медвежьего лога, отбитые мысом и глыбами торосов, пускали дым в небо, сопели, парили машинами, бурлили винтом пароходы «Москва» и «Молоков».

Пароходами их называть, может быть, слишком смело. В местной газете именовались они обтекаемо — судами. Но для игарских ребятишек, да и для всех почти игарчан, они самоглавнейшие были пароходы. Водяные эти сооружения заметно отличались от других судов трубой — она у них была больше и выше, чем у всех остальных кораблей, и еще гудком — он был ревучей всех гудков в Игарском порту.

Построенные по одной и той же колодке, «Москва» и «Молоков» имели все же кое-какие различия. «Москва» была чуть женственней, если можно так сказать о машине. Она тоже чумаза, латана по бортам и поддону,

с неровно выправленными обносами, у одного якоря, торчавшего из носовой ноздри, отломлена лапа, но на ее трудовой, саженю запорошенной трубе виднелись три полосы — две красные и посередине белая. Такие же полосы выведены по борту, по шесту-водомерке и по рулевой рубке, да и на четырех спасательных кругах «Москвы», форсисто развешанных по ту и по другую сторону рубки, различалось белое.

«Молоков» был что жук, черен, маслянист, на водомерке-шесте у него черные полосы и по борту черная, рубка выкрашена в коричневый цвет. На трубе «Молокова» тоже когда-то была полоска, но оказалась под таким непроницаемым слоем трудовой копоти, что труба сделалась словно голенище сапога, да и все на «Молокове» под один цвет рабочей спецовки, которую стирать уже бесполезно и бросать жалко.

Зная, с чего начинается жизнь в заполярном городе, понимая, что требуется народу, «Молоков», примеряя к стихиям молодецкие силы, налетел закругленным рыльцем па льдину и, содрогаясь корпусом, трубой и всем своим чумазым существом, давил ее, давил. Труд его казался игрушечным, однако льдина мало-помалу начинала шевелиться, разламываться на глыбы, выпирать шалашом посередине и в конце концов, обреченно прошелестев рыхлыми краями, трескалась по всему полю, разом на нее хлестала вода из всех щелей, пузыри веселыми мячиками выбуривали, «Молоков» пуще того налетал на льдину, таранил ее корпусом, напирал, почти затопляясь кормой, буйно при этом дымя трубой и шипя всеми отверстиями. Наконец последний ледяной кругляш оказывался в протоке, и, увидев, как подхватило и понесло к морям и океанам льдину, вместе с нею и стойкую зиму, вырвавшийся из плена, обалделый от простора, солнечного неба, манящих далей, в которых он никогда не бывал, «Молоков» давал сиплой ржавчиной засорившийся гудок, пробку из горла выкашливал, и вот вырывался пар тугим клубом, бодрый, совсем живой гудок приветствовал людей, город, извещая о весне и начале трудовой жизни на реке.

Ребятишки на берегу ревели, прыгали, махали руками.

Из Медвежьего лога, рубя винтом ледяное крошево, на всех парах вылетала «Москва» и мчалась навстречу «Молокову». С того и с другого парохода давали отбортовку белыми флагами, на мачтах кораблей поднимали красные флаги с серпом и молотом. Поравнявшись с «Молоковым», как на параде, приветствовала его «Москва» гудком несколько игривым и продолжительным. «Молоков» коротко гудел: «Привет!» — и следовал мимо, по стрежневой быри, как бы вдаль, но тут же круто разворачивался и спешил следом за «Москвой» в устье протоки, к

мысу Выделенному — там корабли совместно приветствовали Енисей, косяки птиц, летящих на север, весну, солнце и все на свете.

Мгновенно и как-то совершенно незаметно корабли исчезали с глаз, ровно бы погружались в пучину.

«Молоков» и «Москва» отрулили в совхозный магазин на остров. Явятся они в протоку поздней ночью, кто-то кого-то поведет на буксире, крадучись причалят к обрывистому пустому яру и погрузятся в сон.

И хотя еще не поставлен дебаркадер, не поднят флаг навигации на мачте порта, еще нет в Губенской протоке никого и ничего, но раз вышли «Москва» и «Молоков» на полую воду, сходили по-братски в совхозный магазин, значит, в Игарку пришла навигация. Ничего, что иной раз игарчанин, содрогнувшись от гудка «Молокова», подскочит среди ночи: «Да чтоб тебе, окаянному, глотку завалило!» — скажет, за лето так притерпятся люди к гудкам, что и не замечают их.

Будто мураши, суетились портовые трудяги в протоке: везли речную обстановку — бакены, мигалки, щиты и прочее; тартали откуда-то полуразбитые плоты; спасали беспризорно несомые лодки и баржи; мчались на голоса тонущих людей; перевозили рабочих и школьников с острова; волокли в поселок Старая Игарка баркас с продуктами; вытаскивали из логов и учаливали к месту дебаркадеры и брандвахты. Сверху, случалось, дождь холодный хлещет, кидь — снег лохматый густым пером валит, свету белого не видать, всякая жизнь вроде бы остановилась на земле, но они, пароходишки портовые, не прекращают труда, нельзя им его прекращать, только чаще перекликаются: «Жив?» — «Жива?»...

Главная их работа начиналась с приходом морских судов. «Калоши», как презрительно именовали портовых трудяг дальние просоленные моряки, помогали учаливаться заморским гостям, выводили их, груженных, из протоки. Любо-дорого смотреть было, как, деловито гукнув, «Молоков» пристраивался к океанскому надменному кораблю с одного бока, «Москва», фыркнув гудком, прилеплялась с другого. Пустив затяжные дымы, они поворачивали водяную махину куда следует. Вся уж корма у пароходиков в воде, будто деревенские конишки, уперлись они задними ногами в рыхлую пашню, поджилки у них дрожат, глаз на рубке кровяно налился, иностранный штурман что-то орет в рупор, показывая на трубку — ну, это понятно, хоть и по-иностранному, — вы, дескать, меня так уделаете, что и дома не узнают! «Молоков» и «Москва» всякого в жизни наслушались, ни на иностранную, ни на русскую брань они не отвечают, делают свое дело, стиснув зубы, и все. Но как отведут груженный транспорт в устье протоки, вытолкнут его в Енисей, гудком все же дерзко реванут чужаку: «Гуд бай!

Чеши, проклятый буржуй!» Нашему же толстобрюхому лесовозу еще и флагом прощально махнут.

Правда, опытные капитаны, хоть наши, хоть исчужа, с «Молоковым» и «Москвой» отношений не портили. Ребята они миру, может, и незаметные, но порту позарез нужные. Спорить и ругаться с этой парой нельзя. Если шибко досадишь, возьмут да и за острова умотают, шуми тогда не шуми — ничего с ними не сделаешь, будешь мокнуть от причалов вдали. Начальник порта, вздыхая, разведет руками: у команды «Молокова» и «Москвы» порт в вечном долгу — за одни только сверхурочные они могут отдыхать не меньше года. В Карскую, так именуется навигация в Игарке, спали на «Молокове» и «Москве» час-два в сутки. Наутро, когда падет мерклый туман на округу, устало ткнутся в берег пареходишки, потому как места ни у каких причалов им вечно не доставалось, перестанут дымить, парить, лишь из свистка чего-то бело струится да тускло светятся сигнальные фонарики на мачтах — все остальное повержено сном.

Ладно, если шторма нет, если тихо на реке, а как задует «север», как поднимет волну, клади, как говорится, весла, молись Богу! Все живое спешит тогда скорее с Енисея в Губенскую протоку. «Москве» же и «Молокову» в непогодь самая работа. Катера, боты, пареходы, даже океанские корабли набивались в протоку, жались к причалам, они, встреч буре, в открытый бой — волна через нос, порой и через трубу перехлестывает. Помстится иногда: все, конец! Но вынырнут пареходишки, гуднут, проверяя жизнестойкость, и, объятые брызгами, дымом, шпарят дальше, бьются о волны грудью, глядишь, тянут откуда-то горемычное судно, раненое, гнутое, с перевернутой мачтой и безжизненной трубой. Ткнут его к аварийному причалу — и вновь наперекор бурям, выручать из беды суда и суденышки.

Однажды теплоход «Красноярский рабочий» заводил в Губенскую протоку караван. Заходить в нее сложно — она замкнута от игарского берега мысом Выделенным, от острова Полярного — крылато загнутой отной. Караван был велик, барж в двадцать. Волной навалило хвостовые баржи на каменный мыс. Тревожно и угрюмо гудел «Красноярский рабочий», призывая на помощь. Откликнулись в первую голову «Молоков» и «Москва». Их било о борта барж, о каменья мыса, посрывало с них круги, трап унесло, повредило палубные надстройки. Но они кружились в кипящей воде, схлебывали волны, отжимая хвост каравана от камней, на которых громадами вздымалась вода, с треском ломая уже оторванную и опрокинувшуюся баржу. Никто не мог сосчитать на берегу, сколько времени шла борьба за спасение каравана. Опрокинуло, разбило еще одну

баржу с ценным грузом, но весь остальной караван удалось завести в протоку, учалить.

Все это время игарский народ толпился на берегу, больше всего, конечно, ребяташек — ждали развязки, переживали за героические корабли. Часа в два светлой северной ночи «Молоков» бережно привел к аварийному причалу «Москву». Она была полузатоплена, побита, ершилась оцепинами, кренилась на левый борт, труба ее не дымила.

Скорбно приняли парнишки чалку с «Молокова», слетали в дежурный ларек за водкой. Пароходные люди выпили по стакану водки, молча покурили, переоделись в сухое и стали осматривать «Москву». Парнишкам в знак признательности и особой минуты разрешено было побывать в машинном отделении уцелевшего в сражении корабля «Молоков».

Отделение было тут же — две ступеньки вниз. Всего две железные ступеньки! Но как отдалилось все от нас, как переменилась жизнь, приняв доселе нам неведомый облик.

Шедшая до сей минуты жизнь со всей своей обыденной примитивностью совершенно утратила интерес. Полумрак, таинственность, захватывающие дух, властвовали внутри корабля, в котором и места-то было только для машин и топки. Где жили и спали люди, нам установить так и не удалось. Здесь пахло недром машины, горячим, потным, трудовым. Приостановились набрякшие силы, замерли какие-то изогнутые валы, трубки и патрубки, маслом смазанные медные колена, провода, рычаги, рычажки. Знаки и клейма были на валах и корпусе машины, в стеклянной банке, называвшейся маслоотстойником, пульсировала жидкость, из-под ног просачивался пар, и где-то совсем близко, ощутимая ногами и голым сердцем, хлюпала вода. В топке тускло горел уголь, сипело, ворчало и ворочалось что-то в котле. Лампочки едва светились, круглые окошки закопчены, застарелый густой запах отработанного масла и полумрак создавали впечатление могущества этого ни с чем не сравнимого машинного мира.

Мы говорили шепотом и не лезли с вопросами к большому, с трубу ростом, механику, ходившему по машине в полусогнутом виде и в городе, на улице тоже не разгибавшемуся. Был он крепко огорчен гибелью боевой подруги, пошвыривал какие-то железяки, ворчал на полумертвого от усталости помощника и, когда мы ему чем-то досадили, так рявкнул, что нас, точно бумажных, подхватило и вытряхнуло на сушу. Скоро, однако, механик вышел на корму и милостиво послал нас за папиросами. Когда мы вернулись, он в знак благодарности и примирения сорвал с мачты вяленую стерлядку, кинул ее нам, и мы тут же ее благоговейно изгрызли.

«Москва» в тот сезон больше не работала, ее увели в Подтёсово на ремонт. Весной, к ребячьей радости, к радости города и всех людей на свете, она появилась принаряженная, покрашенная, с новым якорем и флагом. «Молоков» радостно заорал, дуром метнулся навстречу боевой подруге, чуть было не торнулся в ее бок, но, приблизившись, оробел — очень уж нарядна и чиста «Москва». Однако боевая подруга сама милостиво подрулила к выключившему ход, выжидательно бултыхающемуся на воде «Молокову», тут, среди протоки, и побратались они, наши корабли.

Ребятня кричала «ура!», снова бросала кепки вверх; бабы, случившиеся на берегу, слезу пустили при виде такой картины; мужики успокоенно разбревала жидкость, из-под ног просачивался пар, и где-то совсем близко, ощутимая ногами и голым сердцем, хлюпала вода. В топке тускло горел уголь, сипело, ворчало и ворочалось что-то в котле. Лампочки едва светились, круглые окошки закопчены, застарелый густой запах отработанного масла и полумрак создавали впечатление могущества этого ни с чем не сравнимого машинного мира.

Мы говорили шепотом и не лезли с вопросами к большому, с трубу ростом, механику, ходившему по машине в полусогнутом виде и в городе, на улице тоже не разгибавшемуся. Был он крепко огорчен гибелью боевой подруги, пошвыривал какие-то железяки, ворчал на полумертвого от усталости помощника и, когда мы ему чем-то досадили, так рявкнул, что нас, точно бумажных, подхватило и вытряхнуло на сушу. Скоро, однако, механик вышел на корму и милостиво послал нас за папиросами. Когда мы вернулись, он в знак благодарности и примирения сорвал с мачты вяленую стерлядку, кинул ее нам, и мы тут же ее благоговейно изгрызли.

«Москва» в тот сезон больше не работала, ее увели в Подтёсово на ремонт. Весной, к ребячьей радости, к радости города и всех людей на свете, она появилась принаряженная, покрашенная, с новым якорем и флагом. «Молоков» радостно заорал, дуром метнулся навстречу боевой подруге, чуть было не торнулся в ее бок, но, приблизившись, оробел — очень уж нарядна и чиста «Москва». Однако боевая подруга сама милостиво подрулила к выключившему ход, выжидательно бултыхающемуся на воде «Молокову», тут, среди протоки, и побратались они, наши корабли.

Ребятня кричала «ура!», снова бросала кепки вверх; бабы, случившиеся на берегу, слезу пустили при виде такой картины; мужики успокоенно разбрелись по домам — жизнь шла дальше, шла как надо!

В тот раз, когда я ездил по Енисею и встретил девочку-ягодницу на

пристани Назимово, сойдя на берег в Игарке, — первым делом, конечно же, стал искать глазами на протоке любимые пароходы, но возле причалов работали новые, мало дымящие, чистые и сильные суда. Никого не пугая гудками, размеренно, неторопливо и скучно они делали скучную причальную работу. Никто на них не обращал внимания, названия их не знал, да и не было у них названий — какие-то номера да цифры.

«Молокова» я обнаружил причаленным возле острова к звену матки — так называются на Енисее плоты. Он доставлял сплотки к лесобирже, где бревна лесотасками выкатывали в штабеля. Был «Молоков» совсем стар, обшарпан и уныл, вяло бурлил винтом, чугь дышал и не гудел вовсе.

На «Москву» я нечаянно наткнулся в Медвежьем логу. Разломившись корпусом, вросла она брюхом в болото, заваленное хламом лесозаводских отходов, в кору, обрезь. опилки, обросла ржавой осокой. Винта и машины на «Москве» не было, рубка скосбочилась, доски растрескались, окна перебиты, всюду мелом начеркана матерщина, но изгорелая труба пароходика все еще пахла дымом, возле него играли в прятки и в «капитанов» малые дети.

...Не с кем больше прощаться в этом городе. Ничего не поделаешь, надо подаваться в детдом, к верному другу Кандыбе. Но я все же исхитрился отсрочить явку: не знаю, для чего и зачем приволокся к тому месту, где стоял старый драмтеатр. Белым медведем лежал на том месте бугор, из которого черной лапой торчала выветренная, собаками помеченная головня, трепало клоч старой припорошенной рекламы или обоев, серели ветром сметенные с дороги окурки и копоть, налетевшая из соседних труб, мышинная строчка, едва завязавшись, обрывалась дыркой в руинах пожара, толсто укрытых снегом.

Путано, кружно, с задержками, будто заяц к кормному месту, приближался к «дому». Все казенное, начиная с ворожейных карт, по которым мне часто выпадал жуткий «белый домик», кончая больницей, милицией и детдомом, сильно пугало меня в ту пору. Неокрепшим, незаматерелым еще умишком я все-таки понимал: переступлю порог казенного дома, и начнутся большие перемены в моей жизни и судьбе.

К лучшему или к худшему те перемены, знать я тогда, конечно, не мог.

Долго отирался я возле пошатнувшегося барака, где располагался детдом. Недавно объединенный с интернатом, он постоянного помещения еще не обрел. Доносились гам, хохот и свист с протоки, где лихо каталась, нараскоряку прыгала с самодельных трамплинов городская братва,

напористо галдели, безбоязно лаялись там и курили детдомовцы, в самом доме чудился неумолчный гул, перебиваемый топотом или вскриком.

Из-за угла барака выкатилась на обледенелых валенках запарившаяся девчонка, от маковки до пят вывалянная в снегу, споткнулась возле меня, вытаращила и без того выпуклые, с прозеленью глазищи:

— Табе кого?

— Кандыбу.

— Якого Кандыбу! У нас их четверо! У красном уголку один запертый сидит, можа, его? Ти песельника? Ти ворюгу? Ти который недавно пришел?

Я смешался, запереступал на месте: оказалось, не знаю я имени друга, вот так да!

— Того, который недавно пришел... — наконец нашелся я, кивая на распахнутую дверь, толсто вмерзшую в желтые натеки.

— А-а, значит, Вальку! — У девчушки чудной выговор, он шел ей, кругломорденькой, крепенькой. Важничая, она подала мне варезку, знаком приказывая отрясти с нее снег.

Я отряхивал снег, стараясь не сшибить девчонку с ног, она стреляла в меня глазищами, улыбалась и, подмигнув, звонко чему-то рассмеявшись, юркнула в дощатые сени по раскатанному притвору.

«Пигалица! Еще совсем пигалица, шаромыжка, из четвертого, от силы из пятого класса, уже глазки строит! Ну и народ тут подобрался...» — Мысль эту я не успел закончить, дверь распахнулась, из нее выглянул, приветливо мне улыбнулся, хватаясь за косяки, взнял себя по раскату наверх Кандыба и, понимающе глянув на меня, как взрослый, подал и крепко пожал мою руку.

— Здорово! Как они там, «наши», поживают? — не дожидаясь ответа, он мотнул головой через плечо, на дверь сенок, исписанную бойкими струйками, примерзшими к ней. — Наши здесь, паря, живут! — И треснул меня для бодрости по спине: — Идем, что ли? Банефист! Бумажку не потерял?

Я катнулся следом за Валькой, одетым в казенную клетчатую рубаху, и на дверях казенного дома, в котором через мгновение мне предстояло очутиться, вместо вывески увидел мелом нарисованную, ухмыляющуюся рожицу с большими ушами, под которой красовалась размашистая, непечатная подпись, дальше городьбой стояли восклицательные знаки и в стороне, отдельно — крупный, сердитый, змеей загнутый вопрос.

КНИГА ТРЕТЪЯ

Предчувствие ледохода

Предчувствие ледохода приходило серединой весны, с уже привычными переменами в природе, а им предшествовало ранновешнее приближение молодого времени года.

Те ранние и давние приметы и перемены в природе подступали исподволь, неторопливо, то утрачивая осязание талой воды, набухших почек, вытаявших во дворе грязных перьев, хлама и шерсти, то гася красные взрывы краснотала на речках, вскипевших наледью, то загоняя в суземье птичек, распевшихся на звонких морозных утренниках, то с грохотом ломая вдребезги и руша с подолов крыш наплывы льда, то наполняя дорожные колеи талой водой, от назьма желтой и от копоты грязной, то гася светлую даль в лесах зачем-то и откуда-то сорвавшимися метелями, по-щенячьи визгливыми, злыми, бестолково таскающими колючий, на зубах хрустящий снег с горы на гору, с реки на берега, с берегов в переулки и по дворам, навеет, набьет его столько, что и ворота не отворишь.

Не раз и не два весна подступит и отступит в леса переменчивая, тревожная пора, но наконец-то повсюду утвердится тепло, и весна примется за неостановимую работу, звеня в подгорье, по всем лесам, по всем распадкам, буеракам, щелям и щелкам. Шалая вода оmyвает, рушит земную твердь, слепо, с рычанием, мутно бьется в каменья, в утесы, в бычки полнеющими на ходу потоками. Жутко лязгают катимые водой огромные глыбы и плиты, сметая и кроша в щепу деревья, вдребезги разнося все на своем пути.

Поздним вечером бледным лунатиком пойдет с гор морозец и зажмет уши весне. Уймется буйный водомет, шумы его. Бестолковые веселые брызги застынут на лету, вялые лужи подернутся кружевцами хрупкого льда, сожмется в кучу грязный снег под забором, линиялым зайчишкой упрячется в канаве и под мостиком. Серебрушками покатаются подо льдом в разном усмиревших ручьях пузырьки, чуть живая, изнемогшая водичка шевелится в пустотах льда, к утру и вовсе бездыханно останавливается. Только нагромождения колотых каменьев, лесная ломь, сорванные пластушины дерна, старые колеса, огромные чьи-то кости, всякие разные железы, деревянные, останки саней на всём пути ручья напоминают, что ручей этот давал и еще даст жизни!

День ото дня все неумолчней нарастающий шум в лесах. С лешачьим

хохотом, аханьем, оханьем и лязгом катится с гор какая-то огромная машина, лязгая гусеницами, приближается к селу, чтоб смять его и столкнуть в реку, к середине весны и ночью идет — катит с грохотом и гулом. Выйдешь сделать нехитрое дело и вращешь в землю среди двора, либо на всякий случай подпятишься ближе к сенцам и дверь приоткроешь, чтоб в случае опасности хватануть под крышу и на печь. Могучий таежный гул вдалеке что светопреставление, о котором непрестанно талдычит бабушка. Началось оно уже, светопреставление-то. Там, в горах, в тайге ворочает уже камень, катит сверху, наступает, движет темень тайги. Вон за городьбой чего-то зашевелилось, калиткой звякнуло, захрустело. Святители и спасители, как вас и зовут, не знаю, помогите! Шасть в избу на печку — там не достанешь! Но велик страх, поослабли силы, мимо печного бруса непременно ногой промахнешься да с грохотом на пол.

«Ково же это там по ночам лешаки носят? Ково же это там давят и задавить оне не могут?» — подаст голос бабушка.

И уж ни гугу в ответ, скорее под потолок, за печную трубу. Хорошо, что бабушку слышно, вон по-за избой-то вроде бы все еще шевелится кто-то, ворочается, подрагивает изба с печкой, плывет куда-то, кружится, вот-вот рассыплется. Однако живем пока. Дюжим! Ночь пройдет, утро наступит, из подполья картошку вытаскивать начнут — в сусеках вода появилась. Я буду нагребать овощ в ведра, дед будет подавать ведра бабушке, бабушка принимать и по полу мокрый картофель рассыпать. Веселая пойдет работа!

Ожидание ледохода всегда происходило в пору светлого дня, совпадало с большими святыми праздниками. Первые лохматые подснежники выводками высывались по вытаявшим буграм и увалам; трава, только-только возникшая из ничего, наполнилась зеленью; полянки для игр в лапту и в бабки подсыхали, не кололись, ступать на мягкую траву голым ногам было радостно. Хватившие хмельной воды из хмельных ручьев, плясали по крышам домов и амбаров, качались на скворечниках по всем дворам скворцы. Коты, успевшие испластать друг друга, вращаясь валялись на солнце, просыпаясь только для того, чтобы прицелиться глазом на воробьев, толкующих среди куриц, посмотреть на веселящегося скворца, но сдвинуться с места, выслеживать, иметь птаху не было сил и желания — отгуляли коты, дожили до блаженной теплой поры, пользуются заслуженным отдыхом.

А солнце, доброе, еще не одуревшее от жаркой работы — наш деревенский работник и заботник ярило, ниспосланный небесами для согрева жизни, жило и работало на небесах со все крепнущей радостной

силой. Когда-то успело оно сделаться горячим, высоким, помогало весне распеленать землю, будто младенца, заспавшегося в мокрых белых пеленках. Грело солнце не шибко еще жарко, не шибко пробористо, но ополдень, в зените уже ласково слепило и припекало.

Однако ж за зиму и солнце поослабело от безделья, жар и кипень в середку его ушли, будто в пшеничном каравае запеклись и коркой подернулись. Закатится ввечеру солнце в Манский распадок, под соломенный перевал, и никак оттуда взняться не может. И тужится, и краснеет, аж пламенем возьметса, но перевал одолеть не может, и от напряжения, от пламени, внутри клокочущего, вдруг лопнет яркий ободок ярила, и выльется оно в изложницу реки кипящим металлом, затопит лед на Мане, Манскую гриву запалит и, широко, ярко лиясь с гор, захлестнет огненным валом Овсянку, улочки ее и переулки, дома и всякие строения. Все горит бездымно и беззвучно, пламень валит дальше, шире, вон уж и над Слизневским утесом что-то засияло, там и город недалече. А ну как город загорится, во пожар так пожар будет!

Но с обеих сторон Енисея темнело небо, узился свет, сжимало простор, и пламя само по себе унималось, остывало, однако до самой ночи, до позднего часа где-нибудь в горах, на недоступных перевалах нет-нет еще вспыхивало что-то на краткий миг, искрило, тревожило онемелую тайгу и вышнюю светь.

Как, когда, каким днем, какой неделей солнце оказывалось за Маной и даже за Енисеем — никогда я увидеть и упомнить не мог. Были у ярила нашего, видать, обходные пути в небесных просторах, и хотя ходило оно по строго заданному курсу, по кругу дня, все ж и вольности себе позволяло. Взяло вон и засияло над Бирюсинскими перевалами, посияло, поглазело и опустилось за горы, в горячее гнездо, чтоб за ночь не остудиться.

Утром вставало оно из-за гор сразу жаркое, накаленное до того, что вокруг раскаленного шара поплясывало пламя, шевелилась и тлела рыжая шерстка, которой устелено было дно огненного гнезда.

Однажды так вот встало над утесами солнце, чтобы нести дневную службу, проморгалось и видит: в ноздре реки серой, сохлой шушулиной торчит сооружение, на горах город стоит. Нахмурилось ярило: опять эти людишки чего-то натворили! Опять земную твердь потревожили, лесную благодать изранили и обожгли. Это когда же они уймутся, когда по разуму, природой данному, жить и творить станут? Но вспомнило, видать, солнце, что ему положено только работать. Это люди вон, исчадья Божьи, нагрубят природе, избыют тайгу, рванут горы, превратят светлую реку в грязную лужу и давай спорить: хорошо сделали или плохо? Под шум, гвалт и ор еще

какую-нибудь пакость сотворят. Землю, родную планету свою, до инвалидного состояния довели и доказывают друг другу, что все это во благо человеку, все для счастья его.

И солнце грело городок в горах, старые и новые города грело, деревни и поселки, даже грязную челюсть, сунутую в пасть реки с примерзшей к ней белой лужей грело, пташек и таракашек грело, всюду оно попевало и ответный шум, песни, таежный бодрый гул слышало и сияло от удовольствия. Какая хорошая, какая необходимая, какая долгожданная работа!

Сияй, солнышко! Радуй первосветом взор младенца и отразись последнею искрой в угасающем зрачке живого существа, чтоб унес он с собою отблеск света твоего, как надежду на нескончаемость земной жизни.

* * * *

На Енисее рыжей и заметней сделалась дорога. Занесенные снегом торосы обтаяли, стеклянно сверкают на солнце. Под левым берегом, у подножия скал, загустела дымка, ополдень заплясало марево над вытаявшей сыпью камешников. Речки наши деревенские — Большая и Малая Слизневки, да Фокинская речка — долбили-долбили, мыли-мыли лед и вырвались наружу, катятся, урчат, пену и мусор за шиверками кружат, вербы, черемухи, тальники в потоки роняют. И до самого устья, до Енисея, даже в забереге толкаются речки, путь свой торят к большой воде. Версту, где и две обозначается загогулистый провал на льду в глубь хмурых вод Енисея. И малые, к лету высыхающие потоки и ручьи мохнатой гусеницей ползут по белу полю, и, когда прососут лед и провалятся в Енисей, на льду еще долго по ходу реки, в полуночную сторону отогнутым желтым лепестком светится загоревшаяся и тут же угасшая жизнь скоротечного ручья...

Потоки и проталины, сочащиеся из земли, отделяли берег ото льда, все шире промывая заберегу, с которой и началось усмирение осенней реки. К большому высокому солнцу, круглеющему день ото дня, вешние воды умолкнут, но река, наполненная ими, продолжит начатую работу, издырявленной льдиной отплывая и отплывая от каменных берегов все дальше и дальше. И Енисей по обе стороны отчеркнется от земли, сдвинет хмурые брови талых заберег.

* * * *

Вот и последняя подвода прошла по льду, гонимая нуждой или беспутным хозяином. Когда конь, сопя широкими ноздрями, вытаращив желтым страхом налитые глаза, брел по забереге, сани подняло, смыло с них клочья сена, какое-то тряпье, не иначе как покупки, сорвало ведро с высокого пяла, и, как упало то ведро в воду, прозвучал бабий крик по гибнущей животине. Но мужики, кто в чем, бросились в заберегу, подхватили подводу за оглобли и ходом, лётом вынесли ее на яр. Пока мужики распрягали коня, выливали воду из бахил и сапог, хозяйка, заголившись, охая и визжа от жгучей воды, вылавливала несомое водой имущество.

Уже и Ксенофонт-бобыль, ловивший сачком на длинном шесте в устье речек хариусов и всякую разную рыбу, собирающую там вынесенных из тайги личинок и червяков, искупался в ледяной воде. В устье Большой Слизневки его будто бы уж и совсем под лед затянуло, да нечаянный, Богом посланный, по бабушкиному определению, человек сгодился тут, вытащил забубенную головушку и сак не упустил. Бабушка прикладывала к спине Ксенофонта-бобыля каленые каменья, громко поносила болезного и пользовала его травками, сулилась изрубить сак, удочки и самое главное — намерилась всю непутевую его жизнь решительно переиначить.

* * * *

Прошли по Енисею и последние пешеходы, через заберегу их переправляли уже на лодке.

Река осталась сама с собою. Долго жившая подо льдом, надежно державшая прочные зимники, по которым нескончаемо тянулись обозы из Ошарова, Дербина и аж из Минусинска — с убоиной, мороженым молоком, с рыбой, ягодами, с вареньями, овощами, с дровами, река, пустынно отчужденная, отдыхала от зимних дел в неторопливом грустном раздумье. Ей скоро ломаться, ей скоро как бы заново родиться на свет.

Тяжелая и грозная предстоит работа.

А пока тишь на Енисее и безлюдье. Залетят вороны на лед, походят по дороге, пошарятся клювами в раскисшем назьме, потопчутся возле зимних прорубей, где вода вечерами была синяя, днем голубая, утрами — с прозеленью. Та зимняя вода далеко и глубоко шевелилась, булькалась, рвалась в струях и чего-то проносила, пугливое око проруби на мгновение прострелит, сверкнет, мелькнет и пронесется что-то пулей. Ледышка, шапка, рыбешка, рука, нога, копыто? Может, кольцо души-девицы? А может, водяной?.. Пронеси и помилуй нас, Владыко Всевышний!

Блеклую, изжелта мертвенную воду сперло, дышит-дышит она вровень с урезом проруби, к вечеру распадется ободок прорубей и польется вода через край во все стороны, майну на месте проруби разьет — ухни лошадь, только хвостом мелькнет.

Вороны попили живой водицы, закидывая клювы вверх, приосели на хвосты, подумали и еще попили. Попробовали громоздиться на еловую изгородь проруби, но вершинки вытаяли, от тяжести мохнатых птиц повалились в мокро.

«Дуры! Дуры! — трещали сороки, вертясь на кольях изгородей. — Помойки по дворам вытаивают, из подвалов и подполий запасы наверх поднимают. Корму кругом, корму!.. Воруи, не робей. А они в назьме роятся. Дуры! Дуры! Дуры!..»

Отдохнули вороны, приосанились и начали в им лишь ведомом танце кружиться над Енисеем, забираясь все выше, выше, и, не иначе как высотой захлебнувшись, горланили хрипло и упоенно.

Скоро, совсем скоро мама-ворона сядет на гнездо, выведет хрипатых и прожорливых воронят.хлопоты о прокорме семьи подступят, придется чистить гнезда и скворечники — разбойное, нечистое дело, да иначе не прожить.

* * * *

Истаяли торосы на реке, сделались похожи на болотные кочки. Дышат проруби, дышат забереги, дышат леса по горам, дышат горы и небо, пустынный лед на реке дышит. Начинает вонять туша павшего зимой коня, свезенного на лед. Собаки пробили к падали тропы, будто в муравейнике возились в нутре коня — что осталось от коняги, вытаяло, темнеет. Еще

деревянный ящик и старая селедочная бочка, оброненные с сельповской подводой, виднеются, кучка опилок и кем-то брошенные салазки. Солнечное марево поднимает все предметы со льда, и они катаются и пляшут на воздухе. В ранний рассветный час, в час утренней молитвы, в горах раздаётся колокольный звон, голос его все явственней, ближе, горные выси разговаривают с небом, возвещают беспокойный этот мир о добрых переменах, благословляют землю на мирные творения, на земные дела.

Ребяшня покидает деревенские поляны и дворы, толкается с утра до вечера на берегу, сжигая хлам, щепу. В громко стреляющих костерках пекутся картошки, свеколки, брюквы, все, что Бог послал, что удалось со двора утянуть — овощ, вынутая из подвалов и подполий, сортируется, отбирается на семена, на еду и на посадку.

Напряжение разрешалось всегда неожиданно и жутко. Кто-нибудь из пристальных, всегда все видящих и слышащих парней, разом онемев, тыкал рукой, показывая на заберегу, тыкал и пятился. Ребята тоже начинали отступать от уреза воды под крутизну яра, под прясла огорода, либо прижимались к дымно пахнущей сидоровской бане с заткнутым горелой тряпкой продухом.

Только что сверкавшая, почти гладкая вода забереги, плавная, покатаая, кружившаяся вместе с мулявками и мусором, с трясогузками, толкавшимися над водой, которые, ставши на хвост, сталкивали в потешной драке друг дружку в гибельную воду, все-все разом замерло, лишь вода в забереге стремительно наполнилась мороком, темнела со дна от напора могучих сил, оттеняя все ярче сверкающую, стремительно отлетающую от земли кромку льда.

Натужно дыша и разъяриваясь, река вроде бы скребет и бьет копытом по дну, готовясь к рывку, к сокрушению всего, что есть на ее пуги. Больше ей не вмоготу терпеть и ждать, пришла пора ломаться, двигаться.

Где-то выше, в бирюсинских и в скитских камнях, река уже идет, грохочет льдом, рушится погубительной водой, приближаясь и приближаясь к нашему селу. Уже не пульсирует, не кружится, уже от одышливой качки трясется, мелко хлещется вода в забереге. Трясогузки в короткий промежуток меж шлепками воды падают вниз, хватают лакомого мормыша, стертого со льда и выброшенного на камни. «Цык! Цык, цык!» — побеждая страх, пляшут трясогузки над водой. Все остальное сковано ожиданием. Даже отважные деревенские парнишки жмутся друг к дружке под стеной бани, постоянные их спутники — собаки торчат в отдалении пеньками и

тоже чего-то ждут.

И вот на середине Енисея возник белый гребешок, другой, третий, что-то там, в отдалении, на стражи, стронулось, зашевелилось. Сдавило лед, заполнило пустоты и проталины, некуда силе деваться, наружу рвется. Грубым швом прошило реку наискось. Что-то живое шевельнулось в отдалении. «Заяц! Заяц!» — закричал один из малых левонтьевских парней и тут же получил затрещину. «Да из леду ж заяц...»

И правда что-то забегало, забегало, запрыгало, в нахлесте расстелилось к спасительному берегу, но подстреленно упало, рассыпалось белой трухой. И там, где упало, сгнуло, вдруг возникла белая стрела, понеслась, рассекая лед. «А-а-ах!» — распластнуло реку пополам.

«А-а-ах!» — крик жуткого восторга по берегу.

А на реке уже во всю ширь, из края в край ломало, корежило лед, проваливало глыбы в тартарары тупо и безумно, с хрустом и лязгом полезли друг на дружку ломающиеся пласты льда. Обозначилась кипящая стрежень реки, донесло пресный дух спертой стоялой воды.

Громоздило, рвало, сокрушало твердь зимы, шла на середине Енисея битва не на жизнь, а на смерть. В панике металось, кружилось, несло, кипело месиво льда, грозная стремнина, потемневшая от ярости, грозовой, сокрушительной тучей двигалась по реке, наполняя треском, аханьем и гулом земные и водные пространства.

Вот и под нашим, под овсянским, берегом чуть дрогнула земля, качнуло лед, и он, против ожидания, покорно, почти без шума стронулся с места, пошел куда надо, соря белой пылью, позванивая ледяной крошкой.

В этот долгожданный момент, не выдержав напряжения, кто-нибудь из проворных парней срывался с места и, сверкая голыми пятками, несся по грязному переулку и, махая руками, истошно кричал: «Анисей тронулся! Анисей тронулся!..»

И из всех уголков, со всех улиц, с верхнего и нижнего концов села доносило ответно: «Анисе-э-э-эй!»

* * * *

Старые и малые, способные и неспособные двигаться шли, бежали, мчались, ковыляли на «рематизненных» ногах, даже ползли с помощью колес или костылей на берег Енисея-кормильца и погубителя.

Возле ограды Вахрамеевых уже отваживались с припадочной Василисой. Дочери во время ледохода не давали матери глядеть на буйством охваченную реку, не пускали со двора, но каждую весну повторялось одно и то же: близился ледоход, подступало к порченной женщине возбуждение, беспокойство охватывало ее. Будто заколдованная, рвалась она к реке, пластая на себе кофтенку, хватаясь за голову, за горло, разметывая дочерей, бежала, падала, снова бежала к реке, словно ждало ее там избавление от мук. И всякий раз темная сила сражала, валила ее, страшные коннульсии корежили и били головой о землю бедную женщину.

Бабушка моя, прижав икону Спасителя к животу, шлепала в опорках по переулку, за нею тащился дед, зачем-то прихватив с собой лопату. Крестьясь, шепча молитву во спасение, семенили старухи со всех дворов. «Эка невидаль — ледоход!» — следя за тем, чтоб не пуститься впробеги, солидно вышагивали мужики. Чего-то кому-то наказывая, на ходу повязывая платки: «Тошно мне! Перетонут, тошно мне...» — спешили к реке бабы. И ребятишки, ребятишки, ребятишки сыпались, летели, мчались к реке с веселым граем, сельские, драчливые и отважные ребятишки.

Во всю уже ширь, во весь простор, с хрустом выталкивая лед на камешник, шел Енисей. Сломал твердыню, сокрушил зиму, работает батюшка, пашет острием льдин берега, и лезут они, лезут, плугом врезаясь в камень, в землю, ломаются, лопаются, хрипят. Совсем оголтело, совсем безумно напирает река на Караульный бык — камень мешает ходу. Заткнуло навес скалы и вымоину, забило ломью каменное брюхо, льдина на льдину, пласт на пласт лезет и лезет белая сила вверх по скале. До середины утеса достало, вот уж к вершине по рыжему гребню подбирается белое, и кажется, еще маленько — и перевалит оно через камень и тогда уж сметет весь известковый поселок, сломает леса в щепу. Но возле испуганно замерших на утесе сосен и лиственниц вдруг срывается белый поток, россыпью рушится вниз и, взрываясь бомбою в реке, разбрасывает осколки и здоровенные льдины аж до середины реки, белая шрапнель бьется о камни, высекая белый дым, через минуту-другую докатывается гул взрыва до нашего берега.

«Ур-р-р-а-а!» — прыгают и бросают шапки вверх ребятишки.

«Всемиловейший Боже! Пресвятая Богородица, Владычица Небесная, спаси и помилуй нас, избави от всех действий злых», — поет бабушка, и старухи, не поспевая за нею, торопятся, сглатывая слова молитвы и истово припадая к иконе, поясню кланяются реке.

— Ты утони, утони, курвенский рот! Дак я те утону! — грозитя кто-то из заботливых отцов, увидев, что сорванец его норовит влезть на льдину,

чтобы на ней прокатиться по дикой реке.

Неохотно расходится деревенский люд по дворам. Поскольку многие хозяйки впопыхах оставили ворота полыми, скотина вышла на волю, разбрелась по селу, и найди ее теперь, нашу вольную, таежную скотину.

Тем хозяевам, огороды которых выходят на реку, приходится разгораживать прясла, уносить сухие жерди подальше от реки в глубь двора. Смекалистым сидоровским мужикам, поставившим бани поближе к реке, чтоб воду недалеко таскать, да и хохлу Демченке тоже надо укреплять свои строения, вязать их к кольям и столбам.

Хлопот на селе невпроворот. Раз Енисей пошел, значит, весна наступила! Майский праздник на носу, но еще с пасхального праздника голова болеть не перестала, и вся работа, все хозяйство запущено с этой гулянкой.

* * * *

Лед уже не наш, верховский, с исподу голубой, переломанный в горах, по краям смолотый, шел мимо села, и нет-нет да и проносило на нем сани с обрезанными гужами — застал ледоход на реке человека с подводой, и он, спасая коня, рубанул по гужам; кружило и мяло чью-то лодку, ставило на корму, роняло, било и наконец сломало. Кучи мусора несло, кучи назьма и проруби, проруби, будто огородики в лунках ископыти, с городьбой из елочек. Всамделишную живую лису на льдине пронесло. Лиса поплясывала, переступала мелко, словно на горячем, а заяц-русак, тоже живой, настоящий, плыл на льдине и спал, развесив уши. После изнурительной весенней гульбы, беспощадных драк он и не понял, куда и зачем его несет из родных лесостепей. Охотники уверяли, что заяц, в отличие от других зверушек, редко гибнет в ледоходе, таким он махом обладает, так научился презирать стихии. На льдине ему даже безопасней, чем в лесу. Сломается одна льдина, он на другую перемахнет. Ну а уж если совсем не на чем плыть сделается, он на берег ускачет. Одной весной заяц-бродяга в бобровский огород утрюхал, залез в жалицу и давай дальше спать. Его там собаки унюхали. Едва ноги унес косоглазый гулеван.

Бабушка, когда начнешь ей речные случаи рассказывать, отмахивается:

«Во-о, хлопуща! Н-ну и хлопу-уша! А ты цыганский табор на леде не видел? Сказывают, с салашами, конями и цыганятами безбилетно оне на северплыли, да еще и плясали под гитару!..»

* * * *

Идет Енисей, трудится, серединой его уже пар тащит, продухи появляются, вдруг на темной воде закружит, закружит белое блюдо льдины и, ровно после снятого со сковороды блина, синенько дымится полая вода, винтится вихорьками.

Утром по селу веет холодом, зябкая сырость стелется от реки. Горы льда напихало на берег, где и огороды достало, изломало жерди, сдвинуло колья и столбы. У сидоровской бани с наречной стороны исцарапало стену, выдавило окно и чуть даже сдвинуло «с пупка» баню, но не утащило.

Хорошая весна, длинная, спокойная. Лед сопрел до рыхлости. А то ведь случается первая подвижка где-нибудь в середине апреля. В теплых южных краях, в монгольской и тувинской землях, в присаянских степях начнутся распары, потечет вешняя вода, взломает Енисей, а у нас еще и конь на траве не валялся, по зимнику ездят и ходят, заберег и проталин нету. Но вот начинает тревожить и ломать реку дурной водой, то по верху льда погонит ее, то забьет ее крошевом льда до самого дна. Сдвинется, вспучит Енисей, заторов наделает, сломает дорогу, стащит ее версты на две вниз, будто обкусанные горбушки хлеба, останутся обломки дороги под берегами, так и сяк торосится зубастый лед по всему полю реки.

Ходить опасно, да жизнь-то продолжается, события всякие происходят, острая надобность общаться с городом, с известковым заводом, с подсобным хозяйством и со всяким населением не отпадала. Лезет народишко через ледяную ломь с досками, с шестами, кто просто так скачет со льдины на льдину, торят люди свежую тропу, иной раз и дорогу новую проложат, потому как все снова застынет, укрепитя. Тонул, конечно, народ, случалось, помногу.

В тридцать четвертом году, сказывал Кольча-младший, в середине зимы вызвали правление колхоза имени товарища Щетинкина в Красноярск. Правленцы думали, на совещание или на митинг какой позвали. Может, ссуду семенную или денежную получать. Семена-то в голодный тридцать третий год приели. Приоделись правленцы в чистое,

папку с бумагами с собой захватили. В городе тогдашние обожатели тайн, секретов искали шпионов и врагов народа и во множестве находили.

Всех семерых правленцев из Овсянки тоже заперли в тюрьму и продержали до конца апреля, ничего им не объясняя и ни о чем не спрашивая. Чудо, не иначе, спасло овсянских мужиков. Должно быть, кто-то в чем-то признался раньше их, и правленцев, обовшивленных, тощих, напуганных, отпустили с миром по домам уже без конторской папки.

Прибежали правленцы к Караульному быку, а Енисей-то весь издырявлен, изорван подвижками, дорога и лед на нем разрушены. Дышит во всю ширину «окнами» река, с силами собирается и, словно свадебный жеребец колокольцами, позванивает льдом перед тем, как рвануть вдаль. Топтались, топтались мужики возле Караульного быка, но все им казалось, что из тесно забитой тюрьмы кто-то гонится за ними, насаждает. Домой охота. Связали опояски правленцы, взяли доски, жерди, шесты и пошли.

Весь овсянский народ высыпал на берег и, затаив дыхание, следил за тем переходом через реку отчаянных гробовозов. Шепотом, чтоб не спугнуть Енисей, крестились старые люди, творили молитвы. Единый короткий вопль раскалывал берег, когда кто-нибудь из мужиков проваливался в промоину, и тут же, увидев, что друзья по несчастью вытаскивают из воды, спасают связчика, зажимали крик в груди.

Они были уже под родным, желанным берегом, когда Енисей, сделавший передышку, пропустив страждущих, напомнив людям, что в природе милосердие еще не извелось, ахнул, охнул, напер и разом, стремительно пошел во всю ширину.

Побросав доски, жерди и шесты, уже по двигающемуся, ломающемуся льду мужики бежали домой, одолевая последние сажени в толчее воды и льда. Изнемогих, обессиленных, односельчане подхватывали их на руки, оттаскивали к яру и, не спрашивая, пьешь ты или не пьешь, хочешь — не хочешь, лили водку в заросшие щетиной рты. Впрочем, непьющим был только новый председатель колхоза Колтуновский, более всех накупавшийся среди льдин, потому как не из наших он мест и сноровки переходить гибельную реку не имел. И то ли от ужаса, им пережитого, то ли от сознания, что колхоз собрать и спасти уже невозможно, стал Колтуновский с той поры попивать, и пропили-прокрутили-таки голубчики, овсянские труженики, колхоз имени товарища Щетинкина.

Бабушка моя всю жизнь, и не без успеха, боролась с безбожниками. Она их припирала к стенке убедительным фактом: «А в тридцать четвертом годе кто мужиков от гибели на Анисее спас? То-то, милай, говори, да не заговаривайся, пей, да не запивайся!..»

Дядя мой, Кольча-младший, ни за что ни про что ползимы просидевший в тюрьме, долго пел песню: «Сломайте решетку, дайте мне волю, я научу вас слаботу любить...», но с годами позабыл слова и перешел на свою давнюю: «Однажды в комнате уютной, где мы сидели с ней вдвоем. Ты цаловала в алы губки и называла милай мой». Эта песня была ближе его сердцу и получалась лучше, чем про «слаботу».

Идет Енисей уже буднично, привычно несет редующий сонный лед. Нигде, ни в каком месте к реке не подойти, не подъехать. Он отгорожен с двух берегов брустверами льда. Надо бы мужикам брать пешни, кайла, лопаты и пробивать из грязного переулка ход во льду, но, повторяю, той весной Пасха почти состыковывалась с майскими праздниками, гробовозы гуляли, как перед концом света. Добро, кто навозил заранее воды, налил бочки и кадки, но кто прогулял, проленился? В ручьях и речках, все еще дурью полных, вода мутная, глиняная — она лишь для бани, для стирки, для скота годится, но самовар ставить, стряпать, варить?..

Пошла мушковская тетка Марья с коромыслом на берег, с ней еще две-три бабенки увязались. Цепляясь коромыслом за льдину, лезла тетка Марья через гору льда, ползла по щелям и зачерпнула было водицы, да поскользнулась, в реку ухнула, ведро утопила и сама чуть не утопла.

С воем и причитаниями шла она по проулку. Во дворе оставшееся ведро об слань бацнула, да так, чтоб звон был слышен во всех соседних дворах. Сдирая с себя мокрую одежду, стуча зубами от холода и пережитого страха, баба митинговала:

— Это он нарочно, нарочно, паразит, штабы я утонула, штабы детей осиротить, воля ему тогда, слабота — пей-запивайся! О-ох, гад! О-ох, зверина! Говорила мне мама... тятенька, благодарствие ему, по жопе отстегал: «Не гонись за шпаной! Не гонись за шпаной!..» Послушала я мамоньку? Остепенил меня тятенька? Не-эт, ревела да шла! Теперь вот радуйся! Где-ко ты, паразит? Иди счас же на реку, иначе я те не знай чё сделаю!..

— Сде-элашь! Она сделает!.. — откликнулся «сам» и откуда-то из-за углов или с чердака сбрасывал заржавелую пешню, совковую лопату, топор. — Она сделает! Троих вон сделала, и все придурки. Да перетоните вы к...

К букве «к» у нас и по сию пору приставляются такие просторечия, что ученые люди берут под сомнение само их существование в общественном сознании, в словари не включают, но они приставляются и

приставляются, да так, что окна в избах дребезжат.

— Струмент не видишь? — рявкнет тятя и следует со двора, руки в карманах, сигарка в зубах.

— Опохмелиться не сошлось, — вослед ему качает головой «сама». — На ребенке зло вымещат. Ребенка и робить заставит, сам чисто комиссар, руки в галифе!.. Не-эт, надо чё-то думать, товаришшы. Либо расходиться, либо в петлю. Другова ничего не остается...

Нынешняя баба-женщина не пылила бы, не бранилась, взяла бы лом, топор и пошла бы лед долбить. Но в те годы равноправие утвердилось еще не полностью и бабы не делали мужицкую работу, мужики — бабью.

По переулку, к реке, к торосам, сморкаясь, кашляя, матерясь, спускаются мужики, следом за ними, взвалив «струмент» на плечи, спешат подростки. Севши на бережок, мужики курят табак, обмениваются впечатлениями, поругивают баб и соображают об дальнейшем ходе жизни: где, чего, сколько, почему?

Парнишки тем временем делают веселую, звонкую работу, орудуя тяжелыми пешнями, продалбливают подход к реке, и нет-нет да и донесется до них воспитательный окрик родителя:

— Ты мне, курвенский рот, пешню утопи, я те утоплю! Вместе с мамой твоей дорогой...

Но вот и ход во льду наподобие тоннеля пробит, понесли хозяйки воду па коромыслах. До коренной воды Енисей не шибко мутен, вода в нем даже и пользительна от натаявшего льда и снега.

Опасливо косясь на нависшие над головой, капелью исходящие льдины, ребятишки все чаще подбираются к воде, чтоб хоть заглянуть, что там и как? Прибывает ли вода и как прибывает? Скоро ли она поднимет и унесет лед с берегов, тогда пусть вода темна от мути, пусть в берегах, все равно можно разматывать удочки. Мелкой рыбы — этой ребячьей забавы прежде в Енисее было много, глазастая, что ли, рыба была. но ерша, пескаря, окуня, сороги, ельца ну и, конечно, пищуженца таскали из мутной реки не только кошку накормить. Ночами парнишки исправно добывали налима — аромат от налимьей ухи по всем низовским избам плавал — основной рыбак, пролетарский добытчик жил здесь, в нижнем конце села Овсянка.

Но пока никакой поживы на реке, разве кто из парнишек, у коих в хозяйстве водится длинный багор, нарастив багрище бечевкой, запускает его, будто гарпун, волокет на дрова все деревянное. Но и дровяного барахла

несет мало. Мана еще не пошла, да и наловишь чего — таскать надо на яры, иначе коренной водой все снесет, смоет с берега.

Греет солнце, дымится и рассыпается лед звонкими, прозрачными сосульками — очень соблазнительное и опасное ребячье это лакомство. Левонтьевские орлы, мушковская шпана голопупом высыпали на реку, хрумкают сосульки, будто морковки, даже девчонки тетки Авдотьи хрумкают. Я уж совсем дохлый, что ли? Тоже хрумкаю лед. Сладко. Зубы ломит, брюхо жгет, в кишках колется. «Ништя-а-ак!» — кричу на всю реку. Но к вечеру не только кричать — даже шептать не получается.

Бабушка с допросом:

— Леду нажрался?

— Сахсем немного.

— Чего сахсем? — наклоняется ко мне бабушка и, чтоб лучше слышать, сдвигает платок с уха.

— Са-ахсем м-мале-енько. — Бабушка не понимает, глядит на меня какое-то время остолбенело, затем осторожно прикладывает руку тыльной стороной к моему лбу и со стоном вскрикивает:

— Да тошно мне, тошнехонько! Он опять лед жрал! Са-ахсем маленько! Вот тебе сахсем маленько! Вот тебе сахсем маленько! — Бабушка лупит меня куда попало и в ту же пору готовит компресс с горячей солью иль золой, греет молоко, высказываясь, что все-таки я сведу ее в могилу и сам туда же отправлюсь. И снова, в который уж раз ее осеняет: это левонтьевские орлы подбили меня сосать лед, они да мушковские каторжанцы чему угодно научат. — Имя чё? — гремит бабушка. — У их глотки лужёныя, брюхи на точиле верченые, нутренность вся к худой пище приучена! А этот соколик! Он же на ветер глянет, и у ево нутро вянет. Он же порченый, мамой неженай, дедом балованай, он же слова не понимает! — Хлобысь со всего маху болезного. Я добавляю голоса. Хлобысь еще, но уж помягче, посдержанней. Я к голосу стон прибавляю и умирающе толкую бабушке, что я хворый и бить меня не по-божески. Бабушка еще разок мне вlepила, за пререканье.

— Де-э-э-эда-а! Де-э-э-эда-а-а!

— Нету твоего деда, нету. Уташшыли его куда-то лешаки. Забью я тебя, забью и сама сдохну. Горло-то компресом грет? — Я киваю головой. — Хорошо грет? — И опять руку на мой лоб, и в панику. — Горит! Весь горит! Ты чё, аспид, думаешь? Ты чё, варнак, позволяешь? Мати Божья! Царица Небесная! Заступница ты наша, Всемиловивейшая, помоги этому комунисту! Он боле не будет. Не будешь?

— Сахсем.

— Чё сахсем?

— Сахсем не буду, — шепчу я горячим, слипшимся горлом.

— Громче говори! Сахсем, сахсем!.. Да крестись и хоть шепотом, повторяй за мной: «...неразумие, нерадение и вся скверна, лукавая и хульная, помышления от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен».

Не нравится мне все это, особенно насчет страстей, но я повторяю и повторяю следом за бабушкой молитву. Охота мне поскорее выздороветь, и об одном я только прошу бабушку, чтоб не лягнула где-нибудь она, как я творил молитву — меня ж ребята засмеют и в школу не запишут.

— И пушшай не записывают! — машет рукой бабушка. — Ты и так у нас эвон какой грамотнай да разумнай. То кринку потеряш, то леду нажрешься. А от Бога морду не вороти! Он токо и зашшытник тебе. Бабушка да Он, боле тебя, супостата такова, никто не поддержит на этом свете.

* * * *

Ну вот, три дня из дому не выпускали, и за это время мир совсем переменялся. Прошли первые дожди, промыло траву, прах весь зимний и плесень с земли снесло. Ярче все сделалось. праздничней. На реке тоже большие перемены. Коренная вода поднимается, рушит горы льда, смывает их с берегов. С усталым исходным шорохом сыплются, звенят, сползают в воду никому не нужные, старчески усталые льдины, плывут, разваливаясь на ходу.

Первые отчаюги-рыбаки лезут с удочками и животниками-закидушками в прораны льда. Первое стадо выгнали за село, на жидкую еще и низкую траву — освежиться, выветрить с кожи отмершую шерсть. Распределились скворцы по новым квартирам, дружно налетают на шакалящих по скворечникам ворон. Долго и высоко гонят сокола стайей подальше от села, за реку, в скалы, деревенские дружные пташки. Утихают малые, недолговечные ручейки, но шибче ярятся, несутся с гор наши речки-работницы — там, в тайге, в белогорье самое половодье. Вода в речках все еще срыжа, но преющими снегами высветляет их, вживляет светлые струи в крутую воду, и на снеговицу, на бодрящий ее холод идет упрямая рыба — хариус, ленок. Ксенофонт-бобыль, подлечившись, встав

на ноги, ушел по Большой Слизневке с удочкой. Думали, пропал, но он явился в клещах, исцарапанный, возле костров обожженный, только глаза одни из бороды сверкают. Рыбу из ведра на пол наших сенок высыпал.

— Ну, Катерина, весна-а-а-а! Ну, воды! Ну, птицы! А цвету, цвету! Горы кипят!

— Перед погибелью, не иначе.

— Да ну тебя! Все клюкушествуешь, как Витька говорит.

— Ты хоть его в тайгу не смани. Он и так тут чуть не сдох.

— Закалятца!

— И я с им закаляюсь. Ишшо пойдеш бродяжить?

— А как же? Ради чего и жить?

— Стародубу мне нарви. В Слизневке стародуб лохматый, церковей пахнет.

— Ладно. А ты мне хлеба испеки.

— Да завела уж квашонку. Куда тебя, окаянного, деваш?

Ксенофонт-бобыль покашливает, посмеивается и кричит со двора:

— Эй, анчихрист! Как поправисся, в тайгу возьму. — Это он бабушку поддразнивает, мал я еще в тайгу-то идти, да к тому же весеннюю, простудную. Но как подрасту...

Сердце мое, башка моя сладко грезят о будущих походах, соками, брожением весны возбужден и затуманен мой малый разум.

Еще не поставлены сплавные боны на Енисее, еще тащит и тащит редкое ледяное лоскутье по реке, но от Караульного быка, с левой стороны реки, уже кто-то громко кличет лодку. Кличет и кличет, не отступает. Надо, стало быть, людям на нашу сторону как-то переплыть, в село надо. Может, горе какое человека гонит, может, на праздник поспеть кому-то охота, может, с Севера кто приехал, может, на Север собирается с первым парходом и попрощаться с родными-близкими притопал.

Лодку с грохотом катят с яра, запыхавшиеся парнишки рядом бегут, бросают под днище лодки поката. Поплыла лодка, вертясь меж льдинами и замученно ныряющими топляками. Новые веселки-лопашны равномерно падают-поднимаются, падают-поднимаются. Все меньше, меньше становится лодка, только веселки, что желтые цветки над темным полем, качаются. За серединой реки лед плывет вроде бы сплошняком, но лодку все же не затирает, не опрокидывает.

Я сижу возле воткнутого в берег удилица, терпеливо жду, когда, наконец, заклюет. Леску отогнуло, снесло течением на пониз. Никто пока

что не клюет! На удилице уселась легонькая серенькая трясогузка, брызнула белым из-под хвоста в воду, деловито почистила клювом перья и давай шустро бегать по удилицу, долбить его. Согнать пташку, что ли? Да пусть себе бегают, пусть удилице качает, кажется, клюет.

С прибрежных огородов потянуло белым дымом — жгут картофельную ботву, сушат землю заботливые селяне, скоро уж пахать будут. Предчувствие ледохода разрешилось, река прошла, на земле начинается нелегкая пашенная работа, значит, пора ребячьих игр и забав в лесу и на полянах тоже кончается, уже старших парнишек скоро посадят на коня, заставят боронить, кого даже и пахать. За жердями в лес скоро поедут мужики, мушковские — на Ману, рыбачить собираются. Дядя Саня — охотник ушел в тайгу — солонцы подновлять, чтобы промыслить марала, добыть чудодейственные лекарственные маральи панты. Да-а, вот бы поскорее бы вырасти да с мужиками бы на охоту да на рыбалку бы.

Стоп! Что-то вроде бы ощутило подергало удочку и повело леску вверх по течению. Показалось. Помстилось. Но все равно решительно выхватываю удочку из воды — пищуженец на крючке! Ладно, для начала и пищуженец — добыча. Он, глядишь, другую рыбу подманит — есть такое поверье.

Над головою, в просторном небе, гусиный переклик, свист утиных крыльев — идут перелетные птицы на Север, вослед за ледоходом, идут из Китая, из Японии, еще из каких-то далеких, неведомых пока мне стран и земель.

С весной, с теплом, с солнцем вас, люди, птицы, собаки, кошки, бабочки, козявки, разные мушки-попрыгушки и всякие прочие живые существа или, как иной раз бабушка, озоруя, дразнила, когда у меня выпали молочные зубы, — шушшештва.

Заберега

Заберега, заберега,
Ты пусти меня на берега,
Я налимов наловлю,
Ухой милу накормлю.
Ухой милу накормлю,
Еще крепче полюблю.
Коли крепко полюблю,
Ей дровишек нарублю.
Как дровишек нарублю,
Жарко печку натоплю.
Жарко печку натоплю,
И ее при-голу-блю.
У печи будем сидеть,
Друг на друженьку глядеть.
Друг на друженьку глядеть
И вот эту песню петь:
Заберега, заберега,
Ты пусти меня на берега...

Дорога от станции Енисей до Усть-Манского мыса неблизкая, и песня, которую я пел, словно нитку из засоренной кудели вил, спотыкаясь на узелках и острых занозах, получилась у меня тоже длинная. Память сохранила из той песни только то, чего я сейчас вспомнил, но и эта нескладуха отросла от слов: «У печи будем сидеть, друг на друженьку глядеть...» Я и по сию пору, сидя у чела русской печи, полыхающей углями, пою для себя про милую, про всякую быль и небыль, и у меня легко на сердце, иной раз ору во весь голос, коли оказываюсь в лесу, мне и до сих пор не хочется никому доверять сложенную мной в годы юности песню. Посторонние люди, чего доброго, скажут: по стихосложению, мол, песня примитивна и дурак я набитый, раз такую ахинею помню и берегу в себе. Но, как говаривала моя незабвенная бабушка Катерина Петровна, «всякому своя сопля слаще».

Первое время после гибели мамы пошел я нарасхват по родне. Время пристало голодное, но родичи жалели и кормили меня сытней даже, чем своих детей. Конечно, никак мне было не миновать бездетных супругов Зыряновых, работавших в ту пору в доме отдыха под Гремячей горой, и на другой год после гибели мамы, по весне, бабушка снарядила меня к ним.

Я и прежде бывал на дачах, да мимоходом все, мимоездом. А тут осел в красивом праздном месте, боязливо и стеснительно привыкая к городской публике, гуляющей отпуск в доме отдыха «Енисей» и его окрестностях, сплошь застроенных уединенными дачами и детскими учреждениями.

Дядя Миша Зырянов плотничал и столярничал при доме отдыха, который располагался в домах и домишках, отобранных у богатеев и эксплуататоров трудового народа. Еще возводился длиннющий двухэтажный барак, важно именуемый корпусом, чтоб кучей в него свалить отдыхающих — тогда все они будут на глазах, одна у них будет столовая, красный уголок, библиотека, бильярд, и народ будет уже не просто зря переводить в одиночку отпуск, а охвачен будет культурно-массовым отдыхом, впоследствии мудро названным оздоровительно-восстановительным мероприятием.

Зыряновы жили в старинном деревянном флигельке, изнутри оклеенном обоями и в три цвета крашенном снаружи. Ко флигельку примыкала верандочка с сенями, и ту верандочку дядя Миша приспособил под мастерскую: соорудил вдоль стены верстак, поставил шкафчик с инструментами и тумбочку, в которой хранились точильные бруски, гвозди в нарядных коробках, столярный клей в облепленных мухами баночках, заклепки, шурупы, шарниры, старые замочки, дверные крючки, скобы и прочий железный и медный хлам, казавшийся мне таким бесценным имуществом, что и дотронуться до него было боязно. А инструменты! Фуганки, рубанки, стамески, маленькие топорiki и большой топор с топоричесем, напоминающим сытую, гладкую, своенравно выгнутую шею жеребенка! — на все на это можно было часами смотреть, тихо дыша. А тут еще стружки кругом, пахучие, шелестящие, живые. Они цеплялись за обувь, за гачи штанов, балуясь, бежали следом, шурша и потрескивая. Их можно было навивать на руку, прижимать к щекам, к носу, их можно было нюхать и даже хотелось пожевать. Я и жевал, и серу колупал с листовничных горбылей. Под верстаком скапливались опилки, обрезки, палочки и стружки таких разнообразных фасонов, такой сказочной формы, что, убирая отходы в корзину, чтобы унести их в печь, я надолго затихал под верстаком, угадывая, на что все это похоже, уносился, пышно говоря, мыслями вдаль. Не дождавшись топлива, тетя Маня всовывала голову в

дверь мастерской:

— Ты где-ка там? Чё дрова не несешь?

Дядя Миша прирабатывал столярным ремеслом: делал рамки, полки, тумбочки, табуретки; иногда он давал мне старый, с облезлым лаком на колодке рубанок, клал бросовую доску на верстак и пробовал учить «рукомеслу». Я суетливо тыкал рубанком в доску, думая, как сейчас завьется и потечет в щель рубанка радостная, шелковистая стружка, похожая на косу одной девочки, о которой я знаю, да никому не скажу! Но вместо стружки ножичек рубанка отковыривал щепки, а там щель и вовсе забивало, инструмент начинал ходить по доске вхолостую, как по стеклу. Дядя Миша колотил по торцу рубанка молотком, вынимал клин, ножичек, продувал отверстие, снова собирал инструмент и, показывая, как надо им орудовать, гнал из доски сперва короткую, серую от пыли стружку, но скоро узкий рот рубанка начинал швыркать, словно схлебывал с блюдца горячий чай, затем, сыто, играючи, без натуги пластал дерево, с веселым озорством выбрасывая колечки на стол и на пол. Прыгая, балуясь, как бы заигрывая с дядей Мишей, стружки солнечными зайчиками заскакивали на него, сережками висли на усах, на ушах и даже на дужки очков цеплялись. А мне доска казалась негодной в дело, бросовой, нарочно, для конфузии моей уделенной.

— Ну, понял теперь, как надо?

— По-о-нял! — бодрился я и со всем старанием и силой ковырял доску рубанком, уродовал, мял дерево. На носу и под рубахой у меня делалось мокро от пота.

Глядя на мои трудовые натуги, дядя Миша сокрушенно качал головой:

— Похору-ука-ай! Токо песенки петь да брехать...

Мастерского человека, тем более столяра, из меня не получится, заключал дядя Миша.

— И вопще... — крутил он растопыренными пальцами возле уха, за которое был засунут огрызок карандаша.

Ну что ж! Не всем столярами и плотниками быть, хотя ремесло, конечно, дело денежное и надежное. Я играл на спортплощадке в городки крашеными битами, качался на качелях, бросал крашеные кольца на какие-то тоже пестро крашенные штыри, пробовал крутиться на турнике, как один молодой мускулистый парень в голубой майке, но так хрястнулся оземь, что меня водой отпаивали, после чего от «активного отдыха» меня отворотило, и я стал «гулять» — так называлось здесь бесполезное времяпрепровождение. У нас в Овсянке слово «гулять» имело совсем другой, глубокий и далеко идущий смысл: гулять — это значит вино пить,

песни петь, плясать, морды бить и вообще вольничать и веселиться. «Кака это гулянка, — говорили гробовозы, — даже драки не было!» Стало быть, я «гулял» — слонялся по лесу, меж дач и заборов, сидел на берегу Енисея, смотрел, слушал, черпал новую городскую культуру, запоминая незнакомые слова, песни и всякую похабщину, которой богата оказалась дачная страна.

Тетя Маня сшила мне новую рубаху с отложным воротником и трусики из черного сатина. Я никогда не носил трусики и первое время стеснялся в них появляться на люди. Но по берегу Енисея много ходило парней в трусах и даже без рубах, женщины совсем мало загороженные ходили. И я осмелел, «Будь на солнце больше — это полезно», — наставляла меня тетя Маня, и я жарился на не знойном, но уже припекающем солнце.

Помаленьку проходила моя пугливость от похорон, я перестал вскакивать и кричать ночами, налаживался аппетит и сон.

Однажды я уснул под талинами, в тенечке и проснулся оттого, что по другую сторону кустов кто-то возился, пыхтел и дрожащим голосом клялся: «Всю жизнь... любить всю жизнь... Законно...» — «Чё врать-то? Будет врать-то! — дала свой голос в ответ женщина. — Кака любовь в доме отдыха? Счас, сей миг вознагради роковой страстью!.. Воз-наг-ра-ди... — И догорающий шепот: — Воз-наг-ра-ди...»

Мне сделалось так жутко, что я змеем по камешнику пополз от кустов, спрятался за домотдыховские дощатые лодки и, отдышавшись в укрытии, хватил во все лопатки домой.

— Ты где был-то? Кто за тобой гнался? — подозрительно посмотрела на меня тетя Маня.

— Китайцы! — соврал я.

— Да зачем ты имя сдался? У них своих голопузых китаят полны избенки...

Не сразу, не вдруг, но я устал от праздной дачной жизни, начал прятаться по углам и хныкать... Как подсохло в лесу, зацвело и зазеленело вокруг — музыка заиграла, грянул оркестр в сосновом бору, запели трубы аж до самых гор. Сердчишко мое сжалось, и, чего-то страшась, обмирая заранее, я прокрался к танцплощадке, загороженной ромбическими решетками, крашенными в те же три цвета — красный, зеленый и желтый, — что и флигель Зыряновых. Совсем рядом на деревянном круге танцплощадки, словно в замороженном сне, кружились парочки — он и она. И хотя были они рядом, рукой можно достать, и музыка играла что-то вроде бы слышанное, кружение за нарядной решеткой, раскачивание двух

друг к другу приникших существ, шарканье ног, завихрение юбок — во всем этом было что-то стыдно-притягательное. Почти все ребяташки с окрестных дач стекались к танцплощадке, с приглушенным дыханием следили за тем, что происходило на танцевальном круге. Но даже самые смелые боялись приблизиться к воротам площадки, смотрели опасливо из-за деревьев. Не сдержав искушения, иные отчаюги подкрадывались к решеткам, приникали на минуту к дыркам и тут же опрометью бросались в лес.

Лишь веселый фокстрот и все, что пободрей и пошаловливей, сближало нас с теми, что были на танцплощадке. Пугающе огромные блестящие трубы оркестрантов сверкали в глубине танцевального сооружения. В затени, там, в недосыгаемости, вроде как бы парящие в облаке звуков музыканты, лиц которых не видно из-за поставленных на распорки картонок, были и вовсе уж таинственными, пугающе прекрасными, неземными существами. Иstorгающие из труб звуки, казались они нам всевластными волшебниками, делающими с людьми все, что им только захочется.

Чем более сгущался вечер, чем плотнее смыкался лес и далее отступали горы, теряющие свои очертания и как бы воедино смыкающиеся своими горбами и вершинами, тем протяжней, жалобней становилась музыка, сильнее стискивало от нее дыхание и делалось совсем уж жалко все и всех. И когда первый раз я увидел, как вспыхнули огни и танцплощадку накрест захлестнуло разноцветными игрушечными лампочками, сближения со всем этим звучащим, вертящимся, светящимся чудом не произошло. Меня сотрясло и тут же пронзило чувство усталого изнеможения от недосыгаемости и незащитности перед властью красоты. Поздним вечером, почти ночной порой, начали угасать разноцветные гирлянды, и когда при свете тусклых, почти слепых после яркого, игривого свечения фонарей лампочек глухо, устало, выдохнули трубы — что-то про вечное наше с кем-то расставание, — я, обливаясь слезами, побежал к флигельку, натываясь на деревья, запутываясь в кустах и падая. Тетя Маня вскочила с постели, на ходу надевая халат, трясла меня:

— Ты чё? Ты чё? Кто тебя обидел?

— Маму... Маму... — пытался выговорить я.

Тетя Маня поняла, попоила меня водой, умыла, перекрестила и долго сидела возле моей постели молча и неподвижно.

Назавтра она наказала мне, чтоб больше я к танцплощадке не ходил и допоздна не шлялся. Но вечером наполнило музыкой весь берег, поселок, леса и горы вокруг, и снова похолодало в моей груди, сжалось там сердце,

снова сделалось жалко маму, бабушку с дедушкой, Васю-поляка — всех-всех жалко. «Вот это и есть роковые страсти», — решил я и подумал, что надо подаваться домой, к бабушке и дедушке, — тут пропадешь.

Зырянов хотел отстегать меня ремнем, но тетя Маня не дала, стращая мужа, что заест их обоих дорогая мама, изгрызет до костей — любимого внука лупцевать она может доверять только сама себе.

Тетя Маня хоть и ругалась, говорила, что я и на самом деле порченный, но бабушку с проходящими по дачам овсянскими заказала.

Бабушка не заставила себя долго ждать. Явилась она рано поутру, молча перекрестилась на единственную иконку, тускло мерцающую окладом в углу, и сказала, что так она и знала...

— Чего знала-то? Чего знала? — взъелась тетя Маня.

— А что заморите ребенка.

— Х-хосподи! Изварлыжили, избаловали его!.. Не ребенок, а партизан Шшетинкин. Ничего. Поживет. Погостит. К порядку хоть какому-то приучится...

Бабушка ничего не слышала, ничему не внимала.

— Виденье вчерась было, — отрешенным голосом заявила наконец. — Голубка клювиком в стеклышко тюк-тюк да крылушком эдак вот махат-махат, страдалица... Токо что словам не говорит горьку весточку... «Пора мне собираться, — говорю я самому. — С Витькой с нашим, парень, чё-то неладно: либо хворат, либо те его голодом заморили...» — Тут бабушка еще раз помолилась на икону с книжку величиной, попутно сказав: — И на Бога-то имя тратиться жалко, в грех из-за скупердяйства войдут, но копейкой не поступятся, и икону таку приобрели, что ее без очков-то и не видно в этой фатере, простым-то глазом до Бога не дойти, да навроде и пыль с иконы не стерта, не до Бога людям — день и ночь за копейкой гоняются...

Рядом с иконой красовался безбожный плакат с валяющимся в грязи, утопающим в вине красноносым попом. Зырянов поддразнивал и злил бабушку такими вот картинками.

Почти стукнувшись лбом о порог, бабушка, с достоинством неся все тот же скорбный и постный лик, прошла немножко в глубь жилища, не раздеваясь, села на табуретку и длинно вздохнула:

— Ох-хо-хо-о!.. Гневим Господа, гневим и не каемся. Но доберется и до нас он, доберется... погодите... Мне-то что, моя жизнь уж прожита, а вот вам...

— Да икона-то, икона-то, — смеялась тетя Маня. — Ты ей благословляла нас с Миней.

— Благословила бы я вас, — проворчала бабушка, — поленом. Рассказывайте-ка лучше, как живете? — Бабушка вроде бы спрашивала у всего «опчества», но глядела на меня и концом платка промокала глаза, заранее проникнувшись ко мне жалостью.

— Чё рассказывать-то? Чё рассказывать? Говорю, избаловали огольца, изварлыжили, вот он и кобенится.

— Ага, мы избаловали! А вы дак пожалели, приласкали, слезоньки сиротские обсушили? — Бабушка начинала наступать.

Оказывая помощь неутомимому бойцу в этом справедливом наступлении, я заширкал носом и думал, уж не взять ли голосом, да тетя Маня, собирая на стол, звякнула посудиною и сама перешла в ответное наступление:

— Чё у порога-то уселась? Тоже сирота несчастная! Иди вон к столу, налажено.

— Нет уж, благодарствуем! У чужой иконы не намолишься, с чужого стола не накормишься.

— Какой он тебе чужой?

— А чей жа. Чей жа? — сверкнула бабушка глазами. — Собирайся, мнучек. Пойдем отсудова. Сиротску нашу корочку глотать... бедно, да не корено...

— Да кто тебя корит-то? Кто?

Бабушка не стала далее слушать. Пропустила меня вперед, и я уж хотел стрельнуть с крыльца к Енисею, на тропу, как она суровым голосом приказала:

— Поклонись людям! Скажи спасибо за хлеб-соль.

— Спасибо, тетя Маня, за хлеб-соль, — начал торопливо бормотать я и кланяться.

— Нет, ты ниже кланяйся, ниже. Хлеб оговоренный чижолой, к земле гнет...

— Вот артисты-то! Вот паясники-то! Х-хосподи! — хлопнула себя по бедрам тетя Маня.

— Спасибо, родна дочь, спасибо! — дрогнула голосом бабушка. — Вот уважила! Вот каким Божьим словом попотчевала маму родимую!.. — И, взявши меня за руку, в другую руку узелок, громко причитая, заверяла встречный народ, что ноги ее больше не будет у злыдней и скупердяев, заморивших парнишку-сироту до того, что у него пуп к спине прирос и ноженьки его больные сызнава ослабели. Не подай ей сигнал пташка Божья да не приди она еще неделю, так пришлось бы его, болезного, рядом с родной мамонькой в земелюшку закопать — вот какие ноне люди пошли:

родну мать, племянника-сиротиночку не обогреют, а уж чтобы убогого накормить-напоить, милостыньку вынести, об том и речь нечего вести.

Я почувствовал, что скоро разжалоблюсь, забежал далеко вперед бабушки, сломил прутик и представил себя жеребчиком — игогокая, прыгал до зарослей Собакинской речки, там, как охотничий песик, сделал стойку, насторожил ухо, выглядывая бабушку. Вот и она спустилась к речке, развязывая платок и утирая им пот со лба.

— Голову сломя несет окаянного! — ругалась она. — Како тако счастье тебя дома-то ждет? Каки таки разносолы? Сами с квасу на хлеб перебиваемся...

Бабушка разобрала узелок. В нем оказались две сушки, половина калача, горстка вареных картох и белое-белое яичко. Бабушка бережно обтерла фартуком с яичка картофельные и хлебные крошки, хряпнула им по моему лбу так, что хруст раздался во всей голове и скорлупа разлетелась.

— Ешь.

— Напополам, баба? — сказал я так, чтоб не понять было, предложил я ей есть яичко вместе или испросил разрешения смолотить его одному.

— Ешь! — решительно повторила бабушка, и я боднул ее в плечо. Она погладила меня по голове, мимоходом брюхо щекотнула, по спине рукою прошлась, выше локтя мускул потискала. — Да навроде не заморенный. Чем кормили-то?

— Столовским. Когда сам ходил, когда приносили в котелке и в чашке — кашу, суп и кисель. В столовке хорошо. Колефтиф!

— Ко-олефтиф! Казенна еда, не освященная вода... Колефтиф лба не перекрестит. Железом пицца пропахла. Днем в столовой, вечером чё?

Чувствуя, что бабушке хочется еще почестить Зыряновых, однако матерьялу недостает, я, отвернувшись, как бы через силу выдавил:

— Ну, чё, чё? Молока когда принесут...

— Казенно?

— Како же еще?

— Снято, конечно?

— Не знаю.

— Снято, снято. Вон их сколько, прихлебал-то! Всех надо сливками питать. А ишшо чё?

— Когда картошек еще с хлебом.

— И все? Ни печенюшки, ни пряника, нм сушечки?... Дак и то посуды: у их и богачества-то — грыжа. Одна. На двоих...

Надо бы дальше поддакивать бабушке, но я и так уж заврался, и без

того неловкость — покупала ведь тетя Маня и пряники, и сушки, даже конфет-подушечек, и даже сладость какую-то непонятную, клейкую у китайцев под Гремячей горой выменяла на столярную продукцию, рубаху и трусы вон сшила. Где же им средств набраться? Денежки тоже не с потолка сыплются.

— Баба, что такое роковая страсть? — круто повернул я разговор в другую сторону.

.. — Срасть? — переспросила бабушка. — Это когда страшно.

— А роковая?

— Роковая? — Бабушка задумалась, насупив брови. — Не ведаю, батюшко, не знаю. Нездешне слово. Городско. Вот уж во школу пойдешь, все нонешные слова постигнешь... Постой-ка! А где ты эти слова откопал? Кто тебя научил?

— Знаю где, да не скажу! Я еще и частушку выучил!

— Так уж и выучил?

— Выучил!

— Ты тут, я погляжу, большу грамоту прошел! Ну-ка, ну-ка скажи!

— Вот слушай: «Девочки, капут, капут! Нас по-новому дерут...»

Бабушка занесла руку для крестного знамения, но тут же сорвалась выламывать прут.

Я улепетнул за Собакинскую речку и оттуда строчил частушки одна ядреней другой. Бабушка гналась за мной с прутом: «Анчихрист!» — кричала, но догнать меня не могла.

И так, гоняясь друг за дружкой, мы незаметно добрались до Караульной речки, за нею спустились к Караульному быку, в два голоса покричали лодку. Нам откликнулись. И пока мы сидели в заустенье, возле все еще холодом, с зимы, веющего камня, бабушка смиренно просила:

— Ты уж, батюшко, по деревне-то не ташшы домотдыховскую срамотишшу, у нас ее и своей хватает. Не пой, батюшко, не пой и не рассказывай. Не будешь?

— Не буду, баба.

— И дедушке про Зыряновых ничего не говори... как мы перешшытались. Дело родственное. Поругаемся, помиримся... Дедушко хворай и всякое горе, всякую напраслину в себе носит. Я вот проорусь, мне и легче, а ему чижельче.

— Ладно, не скажу.

— Пристал?

— Спать хочу.

— Ну, привались ко мне, горюшко, подремли, покуль лодка придет.

Я привалился к теплому боку бабушки. Она подгрребла меня рукой к себе ближе, вроде бы всего укрыла чем-то легким, мягким, и не слышал я, как несли меня в лодку и как дед принял из лодки, унес по яру домой укладывать спать. Мерещится, будто я слышал его голос:

— Спи с Богом! Спи со Христом! — И вроде бы совсем глухо, в бороду: — Тут тебе способней...

Покрутив вокруг города и нашего села с плотницким топором, даже съездив к себе на родину, в Хакасию, в богатое село Таштып, и не прижившись нигде, дядя Миша с тетей Маней возвратились на Енисей и году в тридцать втором или третьем стали на бакенский пост возле манского шивера, против устья реки Маны. Сейчас по левому берегу Енисея того места достигло и даже перехлестнуло его дачное строительство. Но в ту пору на таежном мысу, сосняком темнеющем зимой и летом, серебристой искрой светился беленький щит и неподалеку от него, словно подбоченясь, стояла на яру белая бакенская будка. Одна-разъединственная живая душа на таежном берегу, она тем не менее не смотрелась сиротливо и потерянно, чем-то влекла к себе, может, и к тому, что было за нею: в густые брусничные сосняки, среди которых случались чистые и нарядные поляны с ровной, всегда зеленой травкой, по оподолью наряженные земляникой, клубникой, костяникой и прочей ягодой да кустарником акации и таволги. Выше и ниже бакенского поста, подступая к Енисею, стоят горы над водой, а то и забредают в глубокие провалы обвальными утесами и рыжими каменными стенами-отвесами. Но это возле Караульной речки внизу и от речки Минжуль вверху, меж ними, начиная от Овсянского острова, что против моей родной деревни, — земли с буйной растительностью и разнобойным самоцветом, который и строгие, ровные сосняки порой не в силах были усмирить. Деловые, лишенные жалостливых чувств дачники, правда, усмирили здесь и горы и доли, перекопали и порубили все, что можно перекопать и изрубить, загородили плотными заборами все, что можно загородить и застроить.

Но по тем временам считалось, и не напрасно, что Зыряновым для жилья и службы досталось привольное, изобильное место. Однако участок реки был трудный, сплошь тут бакены, перевалки, и дядя Миша, страдающий грыжей, нажил бы и еще одну грыжу, обслуживая свои сигнальные точки, толкаясь к ним на шесте да гребясь лопашнами против

течения, веснами здесь вовсе неодолимого, да шестом-то орудовала и на лопашнах сидела всегда тетя Маня.

Питанье у Зыряновых было хорошее: они держали корову, нетель, поросенка, кур и даже коня одно время завели. Всем хозяйством правила, содержала будку в опрятности, кормила мужа «с лопаты» — стало быть, каждый день доставала из печи деревянной лопатой постряпушки — неутомимая, в мать радением своим удавшаяся, тетя Маня.

Из четырех дочерей, роженных бабушкой, тетя Маня была самая приглядная, пышнотелая, белолицая, с реденькими конопушками на нежнокожем и даже чуть барственным лице. Волосы ее, всегда коротко стриженные, были тепло-рыжего цвета, что у молодой белочки, глаза серые, впроголубь. Нрава она было не тихого, но покладистого, ко мне и ко всем нашим ласкова. И не жадна. Это скупердьяй Зырянов постепенно заломал ее характер, научил копить деньги и добро, не особо привечать нашу большую, в ту пору приветную друг к дружке родню.

Деньгу можно было нажить только неустанным трудом да торговлишкой. И сколь я помню тетю Маню, всегда она с большущим мешком за плечами тащилась в город — летом с огородиной, рыбой, ягодами, грибами, зимой с кружками мороженого молока, со стягном мяса, пластушиной сала, со сметаной, творогом в туюсках. Попутные подводы и лодки попадались не всегда, и, возвращаясь из города, тетя Маня частенько ночевала у отца с матерью в Овсянке. Дотащиться до Усть-Маны и переплыть реку у нее уже не хватало сил.

Бабушка от кого-то узнавала, может, чувствовала, что вот-вот явится тетя Маня, караулила ее у ворот или, что-то делая в избе, липла к окну; завидев дочь в переулке с мешком за плечами, в город и из города полнущим — все нужно в хозяйстве, начиная со спичек и кончая граблями, лопатами, сахаром, солью, — всплескивала руками.

— Тащится ведь! Тащится святая душа на костылях! — Бабушка бросалась из избы встречать гостью, возле ворот стягивала с нее мешок с прилипшими к одежде, впившимися в плечи лямками. — Угро-обишься ты, угробишься, дочь моя дорогая! Чё, вам больше всех надо? Чё это вы все хватаете, хапаете?

— Ой, мама, уймись, пе до тебя.

Тетя Маня стаскивала с головы потемнелую с испода беличью шапку-ушанку, которую надевала в большие морозы, развязывала пуховую шаль, накрест повязанную на груди, и плюхалась на скамью. Привалившись

спиной, словно вросши в простенок, сидела гостя, прикрыв глаза, хватая ртом воздух. Красивые мягкие волосы ее были спутаны, лежали, мокро липли к ушам, к шее. Тем временем бабушка тащила из знаменитого сундука своего сухое: кофту, шаль, что-нибудь исподнее — и, конечно, при этом обличала Зырянова, вспоминала, кто и сколько сватал тетю Маню. Выходило, что сватали ее наперебой, и не только наши, деревенские, но и верховские, заезжие из Даурска, Ошарова, Сисима и аж из Минусинска. А сколько раз в кошеве приезжал из города сам Волков! Фотограф! Приезжал честь по чести, с колокольцами, со сватами, с дружками, с вином сладким и с речами ладными, с присказками складными, а она, раскрасавица наша, чё? Да ничё! Даже на письмо его не ответила. А уж письмо-то было, письмо-то! Как в старинной книжке писанное — сказывалось все в нем, будто в песне, любоф, любоф да еще эта, как ее, холера-то? Чувства. За божницей долго письмо хранилось, и как наvertывался грамотный человек, она просила его читать. И наревется, бывало, слушая то письмо, да эти враженьята, внученьки-то дорогие, добрались до письма, изрезали, видать, ножницами, либо сам искурил. Чё ему чувства? Ему токо бы табак жечь да бока пролеживать. Ей, раскрасавице нашей, что тятэ родимому, — тоже все чувства нипочем. Она с таштыпским вертухаем криушает по свету, он столярным ящичком побрякивает, она волохает что конь, а все ни дому, ни причалу, в казенной будке живут — это при столяре-плотнике! Тьфу на вас, на беспутных летунов! И ведь не дура девка была, но как-то вот опутал таштыпский ушкуйник ее, улестил. Не иначе слово знат. Зна-ат! Оне, азияты, все такие! Оплетут, ошопчут... Верховские обозники сказывали: захотят, супостаты, свадьбу спортить — выдернут у жеребца из хвоста три волоса, побормочут на их, поплюют, на три стороны бросят — и все! Кони ни с места! Пляшут, маются, хотят тронуться, но в какую сторону — не знают. У-ух, клятые!..

Так бабушка наговаривала, бранилась и в то же время переодевала тетю Маню в сухое, развешивала мокрое возле шестка, на черенки ухватов и на припечке раскидывала.

— Какой он тебе азиат? — вяло возражала тетя Маня. — У него и отец и мать — русские переселенцы.

— Русской? — подбоченивалась бабушка. — Русской? Да глаз у ево узкай! Со шшеки зайди-ка! А скупой в ково? А бессердешнай? Заездил тебя! Заездил...

— Ой, мама! Да ну тебя! Я уж и со шшеки и с заду заходила — везде красавец. Принеси-ка лучше мешок. Я Витьке гостинец достану.

Бабушка поднимала мешок и еще раз ужасалась:

— Коню только и по силам котомка! Да и то — Ястреб после того, как его в колхозе ухайдакали, на колени сядет под эдакой ношей... А гостинец, матушка ты моя, дорогая тетушка, и погодила бы вручать. Уж больно зубаст твой племянничек и неслух. Чуть чего — в топоры с бабушкой! А варначишша! А сказатель! Врать начнет — не переслушаешь! В лес на полдни сходит — неделю врет. Уцепится за юбку — и, хочешь не хочешь, слушай его, иначе рассердится. А в сердцах он — дедушка родимай! Де-э-эдушко! Де-э-эдушко! Глазом влепит — что камнем придавит...

Бабушка где с хохотом, где со слезами и возмущением повествовала госте о моих похождениях и проделках, не прекращая при этом своих дел: собирала на стол, поругивала самовар, деда — за худую лучину, за угарный уголь и вообще за все прорухи, попутно сообщая деревенские новости и всякого рода события, в первую голову касающиеся дел в колхозе имени товарища Щетинкина. И снова про меня — неисчерпаемая тема!

— А то петь возьмется! Ухо у него завсегда заустоурено! Он у вас когда в доме отдыха был, всего назапоминал, и срамотишшы и переживательного... Я так вот за голову схвачусь и тоже реченькой ульюсь...

— Что тятю не порешила?!

— Не смейся, голубушка, не смейся! Друга на моем месте, может, и не снесла бы такова чижолова человека, может, и отчаялась бы да с утесу вниз головой, чтоб уж разом отмучиться. Но ты послушай, чё дальше-то, послушай! Аспид-то этот, кровопиец-то, как разжалобит меня, тут же в насмешки загорланит: «Девочки-беляночки, где-ка ваши ямочки?» Я ему допрос: «Ты про каки таки ямочки?» А он мне: «Сама же говорила: „Каку ямочку дедушко выкопал в тенечке, каку ямочку! Молоко на воле не скисает!..“ Ты понимаешь, какой он политикой овладел! Я ему про одну ямочку спрос веду, он мне ответ совсем про другу. Чисто вьюн вывернется! Да еще и осердится: „А все те неладно! Дед молчит — неладно. Я пою — неладно! Как дальше жить?..“

Тетя Маня, чуть отдохнувшая, с лицом, пылающим от нажженности на морозе, улыбалась, слушая бабушку.

— Иди, иди сюда, — манила она меня и, когда я приближался, накоротке прижимала к себе, махала в сторону бабушки рукой — пуцай, мол, шумит, дело привычное, — высыпала мне в ладошку горстку конфеточек — разноцветных горошков или белый мятный пряник давала. — Дедушка-то где? — спрашивала. — Вот, отдашь ему махорки пачку да бумажки курительной...

— Ага, ага, — появлялась бабушка с самоваром, фыркаящим в дыры

паром, с красно сверкающими в решетке углями. — Он уж и так закурился, бухат-кашлят дни и ночи, добрым людям спать не дает...

Меня всегда поражала редкостная особенность бабушки: браниться, новости рассказывать и в то же время греметь посудой, накрывать на стол, подносить, уносить, дело править и все при этом слышать, пусть даже если люди и шепотом разговаривают в другой половине избы.

За самоваром шел уже степенный разговор о том о сем. Тетя Маня пила душистый чай с сахарком и рано ложилась спать. Вставала и уходила она со своей котомкой до свету, оставив на столе кусок сахара бабушке либо пачку фруктового, когда и фамильного, чая и обязательно рублевку-другую. Пряча в сундук гостинец, завязывая денежку в узелок, бабушка, поворотившись к иконам, крестилась:

— Храни, Господи, рабу твою Марюю. Да не сотворится худо, не надорвется в ей станова я жила.

Людям, какие у нас случались, особо родственникам, и в первую голову дочерям и сыновьям, бабушка при любом удобном случае говаривала:

— Уж на Марюю охулки не положу. Мимо матери-отцова дома не пройдет без гостинца. От себя оторвет — уважит, а ведь и то надо в ум взять: учет-то какой у ее? Михайло-то Илларионыч опростается и оглянется: нельзя ли в квас положить?..

Когда тетя Маня с дядей Мишей переселились на бакены, все наши перебивали у них в гостях. И я бывал и в гостях, и на хлебах, но память почти ничего не сохранила, кроме того, что у тети Мани была вкусная и обильная еда, что дядя Миша, к моему великому удовольствию, по-прежнему столярничал и от него пахло стружками, играл на гармошке с колокольцами, пел «Когда б имел золотые горы», читал газету «Речник Енисея» и заставлял меня чистить стайки, вычерпывать мутную воду из лодки, заправлять фитили в вонючие бакенские лампы. Еще помню, что хаживал за грибами и рыжиков прямо за огородом было так много, что тетя Маня рыжики больше пятака сама не брала и мне брать не велела. Земля и леса за рекой были так чисты, рыжики столь молоды, свежи, угольно накалены с исподу, что тетя Маня никогда их не мыла в воде, так же как и ее мама, которую она безмерно любила, — подражая ей, следовала ее опыту и совету в хозяйственных делах, лишь протирала чистой тряпичкой. И какие это были грибы! По три года стояли они в кадках в погребе, оставаясь хрусткими, не утратив цвета и вкуса.

Осенью сорок первого года, когда еще не были выстроены бараки нашего ФЗО и учащиеся жили кто где и кто как, я почти до середины ноября обретался у дяди Васи-сороки, старался поменьше бывать «на квартире», шлялся дотемна где придется и однажды нежданно-негаданно встретил тетю Маню на злобинском базаре.

Прежде, когда ей случалось быть в городе с «товаром» — тетя Маня торговала на качинском базаре, откуда было недалеко до дяди Кольчи-старшего, до тети Тали, — то, припозднившись, она иногда у них и ночевала. Но транспортная оказия, видать, кинула ее на другую сторону Енисея, на злобинский базар, а меня занесло туда купить на мелочь бедных военных лепешек из картофеля. Заметив тетю Маню, я отчего-то застыдился, хотел прошмыгнуть мимо нее, затесался было в толпу, но она, давняя торговка, хорошо чуяла и видела базар, выцелила меня глазом еще издали и заподозрила в чем-то. Ну, не промышляю ли я на базаре вместе со шпаной, не занимаюсь ли карманной тягой.

Тетя Маня окликнула меня, и я нехотя к ней приблизился, понурясь, пряча руку с лепешками за спиной. Тетю Маню я не видел лет пять, может, и больше. В Овсянку Зыряновы теперь заходили редко. Неподалеку от Овсянского острова возникло подсобное хозяйство какого-то большого предприятия, и Зыряновы пользовались его транспортом, брали коня, сбрую, да и конновозчика в придачу им давали. За харчи, за всякого рода подачи тот ломил в уже довольно обширном хозяйстве бакенщика.

Тете Мане было уже под сорок. Беличьи тонкие волосы ее прострочило совсем уж тохонькими, нервно вьющимися паутинками. Она приосела на крестец, чуть потучнела, укоротилась в шее; фигурой походила скорее на мужика — тяжелая, неустанная работа делала свое дело. Лицо и крупные жилистые руки тети Мани были темные от загара, уже постоянного, речного, и, когда она улыбалась, морщины горелой хвоей слипались у глаз, на лбу и у рта, но когда переставала улыбаться, в желобках морщин просматривалась дальняя, молочная бель лица.

Тетя Маня через плахи прилавка обняла меня и поцеловала, отчего я смугился и начал озиаться на народ. Она оглядела меня пристально с ног до головы, бабушкиным голосом сказала, какой я большой, и две плоские слезинки как-то сами собой выдавились из ее тускнеющих глаз, повисли в дрябло набухших подглазьях, подрожали и сами же собой незаметно высохли — я догадался, что тетя Маня в эти минуты подумала о маме. Потом она, коротко вздохнув, начала спрашивать меня о моем житье-бытье. Я скупно отвечал, все еще держась отчужденно, сыспотиха готовясь к дежурному упреку за то, что, вернувшись из Заполярья, не наведалься к ним,

не погостил у них, и, когда этот упрек последовал, скороговоркой сообщил, что долго получал паспорт, маленько подрабатывал с дядей Левонтием на хлеб, и что вот, слава Богу, поступил в припоздало открывшееся ФЗО, скоро мне там выдадут спецовку, обещали даже форму выдать, и что всем я доволен. И чуть не проговорился, что доволен еще и тем, что избавил от забот тетку Августу, у которой жил какое-то время после возвращения из Игарки, у нее и своих забот полон рот; попутно избавил бабушку от причитаний о «сиротинке горемычной».

Сославшись на то, что в училище у нас строго, я попрощался с тетей Маней и пошел было, но она вернула меня, велела подставить карман. Черпнув из мешка аккуратненьким, по ободку обрезанным граненым стаканом, поинтересовалась, не дырявый ли у меня карман, и высыпала в него каленых кедровых орешков. Она и второй стакан вознамерилась было отвалить, но я поспешил поблагодарить ее, сказал, что мне больше не надо, и она поставила стакашек перед собой на прилавок. Перехватив мой взгляд, чуть смутилась, зашарила по карманам, вынула чем-то давно мне знакомую, затасканную по рабочим карманам рублевку.

— Нет-нет, не надо! — отпихивался я руками от прилавка и от рублевки.

Тут, слава Богу, возник покупатель. Высыпая ему в карман орехи, тетя Маня тянулась короткой шеей через плечо покупателя.

— Не чужие ведь... Приходи... Поможешь... — донеслось до меня.

Тетя Маня понимала, что просто так я не соберусь к ним, боясь их сладкого корма, но «помочь», стало быть, заработать хлеб, — совсем другое дело, можно преодолеть себя. Да и бабушка, когда поздней осенью, по холодам, был я в Овсянке и рассказал про встречу с тетей Маней, сказала:

— Сходи. И правду не чужие. Хоть досыта поешь... Марья-то выпряглась, суперечит Михаилу, зубатится с им: «Надо было взять парнишку, вырастить, Божье дело справить... Так нет, нас копейка-злодейка заела...»

О том, что я у Зыряновых долго не нажил бы, бабушка умолчала, а о том, что родитель мой, дорогой папуля, «из прынцыпу» не отдал бы меня «в люди», помалкивал я.

Время ушло-укатилось. Детство мое осталось в далеком Заполярье. Дитя, по выражению деда Павла, «не рожено, не прошено, папой с мамой брошено», тоже куда-то девалось, точнее — отдалилось от меня.

Чужой себе и всем, подросток или юноша вступал во взрослую трудовую жизнь военной поры. Внешне все еще зубоскал и пошаритель, внутри — насторожившийся, в себя упрятавшийся бывший беспризорник и мечтательный романтик, возникший от пестрого чтения пестрых книг, и грубый, ныркий фэззошник, добывающий ловкостью, потом и смекалкой пропитание, все время ждущий подвоха, суровой нотации, а то и кары от взрослых людей.

И диво ли — я ведь кровный сын своего народа. Всю историю держат и держат русский люд в постоянной вине, а напряжении, и хлеб, своим хребтом добытый, ест он как чужой, из милости ему поданный. Я к тому же ел хлеб самый горький, сиротский, едят его всегда с оглядкой: так ли ешь? не много ли? со своего ли края ложкой черпаешь? Беспризорничество — вот свобода и свободный хлеб, и к чему во все века устремлены ребятишки, бегут от сытого домашнего стола, из сиротских приютов, от богатых благодетелей и ласковых вельмож. Но беспризорничество и вечный укор благодетелям — ведь не сам по себе возник сирота, они же, благодетели, и осиротили его. Осиротили и давай окружать вниманием, лаской, но так и не могут избыть своей всевечной вины перед изгоем — сиротой. Никого так жестоко не бьют, не проклинают, как беспризорника, эту колючую соринку в глазу «невинного» человеческого общества. В приют, в тюрьму, в исправительную колонию, под розги, под ножи, под тяжело отлитые свинцовые пули соринку ту, чтоб не портился благочинный пейзаж, не застила она светлую зарю будущей безгрешной жизни.

Заперли бродяжку в казенном доме, тут-то уж все равны, все со своей долей-недолей, все в рубахах и штанах одинаковых, да рубахи те, штаны те и хлеб тот — казенные, и благодетели, их раздающие, тоже люди казенные, ни ума, ни сердца не хватает им проникнуться состраданием к ребенку, зато самоупоения собственным благородством, самолюбования добротой своей так много, что благодетельствованный беспризорник начинает люто сопротивляться сподручными ему средствами сей тягостной доброте. Из чистых постелей, из теплых комнат, от умных слов и книжек, от ласковых дяденек и тетенок, долго учившихся в школах и институтах любви к обездоленному ребенку, нарезает он на пристани, вокзалы, спит под мостами, в кочегарках, в ямах, в бочках, ездит под вагонами в «собачниках» или к железной раме ремешком привязавшись, головой к гремящему колесу, дерется беспощадно с городскими приличными мальчишками, сводит в могилы умных учителей и наставников-моралистов, которые шли трудиться в детдом, веруя в ответную благодарную, даже восторженную любовь сирот, но нередко получая в ответ ненависть, нож под ребро или

кирпич в разумную голову.

Юность — все же очень хороший возраст. Беспечный. Добрался до нее — живи, радуйся дню сегодняшнему, и пока заказано тебе думать о дне завтрашнем, — не думай, не надсаживайся, а что там у тебя в середке, какой груз, какая надсада — никому не видно, никому не слышно...

Бело и тихо кругом. Парят полыньи и прораны по Енисею, снежок еще тонок и лед на заберегах звонок, ничто еще не угнетено морозами, не скопано до хрупкой ломкости. Леса по горам темны, в шубе их нагрето — стоят, не ворохнутся, боясь вытряхнуть последнее тепло, — и добрые, тихие воспоминания о прошлом лете незримо и неслышно реют над ними.

Ни войны тебе, ни тревоги. Тишина. Чистый снег. Таежный простор. Топаю я по левому, гористому берегу Енисея к Зыряновым на Манский мыс и ничего не боюсь. Река стала, успокоилась, но еще дымятся полыньи и дышат окна, по льду не проложена еще зимняя дорога в город. Однако тропка из Овсянки на известковый завод уже протопана — это оторви-головы, гробовозы, наладили через реку первопуток, ходят с шестами под мышкой, щупают меж торосов и где прыгают через щели и дыры, где боязливо семят, где бегом рвут, где и ползком. Житье возле реки, да еще если она в скалах, рискованное.

Я посидел возле Караульного быка, под навесом которого дымилась драным лоскутом полынья, черная в глуби и с неуверенной голубой рябью поверху. Сосульки с камней свисают — билась-колотилась об эти камни река, не желая покориться, брызгалась, ломала хрупкий лед, выплескивалась на отвесы камней и слой на слой стелила воду, и вода хрустела битым стеклом, стеклышко по стеклышку, звеньшко по звеньшку со звоном катилась вниз, обратно в реку, и все теснее становилось реке, гуще и покорней делалась в ней вода, умиралось ее буйство, замирало течение, загоняло его под лед, спекало, запечатывало. Какая долгая, какая упорная и вечная борьба!

Тоскливо покружился надо мной и над лохматой пустынной рекой сокол, пронзительно вскрикнул и исчез в скалах. Почему он не улетел? Что его здесь задержало? И что тянет меня неудержимо спуститься с обрыва на ровную заберегу с уже пробитой во льду мелкой прорубью, не отмеченной еще пихтовыми лапами, пойти по нервно петляющей тропке через реку? Меня, на казенном харче взрослого, и этот неверный лед выдержит. Меж припаем забереги и узластым швом прикипелой к ней шуги кинуто дна осиновых кола с сопревшей черемуховой перевязью. По ним к

заречным девкам на подсобное хозяйство и на известковый завод переходили, побеждая страх, овсянские кавалеры, и среди них наш Кеша — он уж не отстанет! Не сегодня завтра овсянские жители будут бить пешнями и топорами зимнюю дорогу в Собакино и дальше в город. Пойдут между острых, еще не обточенных ветрами торосов деревенские кони, медленно пойдут, опасно косясь сосредоточенным глазом на уже стеклянно сверкающие окна, обходя их семенящими ногами. Попав на заберегу, чуть покрытую еще и не снегом даже, а мелким белым порошком изморози, фыркнут кони с облегчением и зацокают подковами в приятном, вольном беге.

Я переборол соблазн, прошел родную деревню, покорно уходящую в зиму. Миновав горной тропюю Караульный бык, спустился на ровную, по трещинам ветвисто расписанную заберегу и, то катясь, то споро топя, оставляя свой первый след на равнине, шуровал себе на Манский мыс, и плелась в моей голове легкая дума о том о сем, и глупая, нелепая песня про заберегу радовала мое сердце, морозец бодростью разливался по всему телу. Ни о чем я не думал, никого не сторожился, потому что кругом чисто, светло, надежный лед под ногами и все родное, с малолетства известное глазу. Я иду к Зыряновым, к тете Мане и дяде Мише, «помогать». Если они меня не приветят — поверну назад, вон моя деревня, вон мой дом родной, ниточка-тропинка к ней петляет меж гулких торосов, глыбы льда, тяжело вздыбленные на середине реки, на стрежевом теченье, сверкают студенными громадами. Но коли потребуется, поборю страх и пройду меж них, пусть даже ночью, пройду.

С сеновала по лестнице скатились две собаки — рыжая опрятная сучонка и черный, весь засаженный сенной трухой кобель. Сучонка тьякала и одновременно выкусывала что-то из шерсти, кобель пер навстречу, клубя белую пыль, и за хвостом его оборванными проводами тащилась мятая солома.

— Ты сперва глаза продери, задницу почисти, потом уж жри людей! — сказал я кобелю.

Он озадаченно смолк, лишь перекатывал рык по чреву своему. Сучонка все тьякала и пошевеливала хвостом: дескать, это я так, для хозяев больше стараюсь, но тебе рада и кусаться не буду. Я дал обнюхать собакам свои ботинки, и они поволоклись за мной в ограду, кобель попробовал было поиграть с подружкой, но она показала ему зубы и вежливо проводила меня к однооконной хибарке, сколоченной из плавника, горбылей и всякого-

разного деревянного старья.

«Мастерская», — догадался я. Пристроенная к стайке, она бойко выбрасывала в узкую трубочку черный смоляной дым. В мастерской ширкал рубанок. В окошко я увидел склоненную над верстаком фигуру, споро снующую руками. Человек, облаченный в длинный фартук, словно бы месил сдобное тесто. Я открыл дверь и, вдохнув запах стружек, по возможности беспечно сказал:

— Здорово ночевали!

— Здорово, здорово, добрый молодец! — поприветствовал меня дядя Миша и, обтерев руку о нагрудник фартука, давил мои пальцы, я почувствовал окаменелые мозольки столяра. — Экой столб вымахал! — оглядывая меня снизу вверх и сверху вниз, сказал дядя Миша. — Когда и успел? — Услышав за стенкой движение, он постучал в дерево и крикнул: — Маня, к нам гость пожаловал!

— А-а! — откликнулась тетя Маня. — Вихтор, что ли? — И, не дожидаясь ответа, пошла в избушку, перекосившись одним плечом от полного ведра.

Я посидел на порожке мастерской и с удивлением обнаружил, что дядя Миша сооружает гроб. Я поежился и скорее взялся за приборку, вспоминая, как эту радостную работу охотно исполнял когда-то в домотдыховской мастерской. Какое удовольствие сметать в кучу чистые стружки, собирать гладкие обрезки, щепки, кубики в корзину и вдыхать, вдыхать пьянящий запах, скипидарно щекочущий ноздри, слышать, как руки липнут к смоле, каплями выступившей из дерева, словно бы в последний раз оплакивающего свою гибель: хоть в гробу, хоть в шкафу иль в табуретке погибнуть — дереву все больно.

— Не забыл? — улыбнулся дядя Миша в разглаженные, опилками и стружками засоренные усы. — А я вот домовину делаю. Да не себе. Себе еще успею. Летом, сам знаешь, работы прорва, по дереву соскучился, этот товар, — похлопал он по почти уж сшитому гробу, — всегда на мне был. Кресты, домовины — мой досуг, ремесло мое. Много народу вокруг под ними покоится. И твоя мамка, и Илья Евграфович, и Митрей... Э-эх, хоть этим памятен буду. Чего долго не приходил-то? Ну не оправдывайся, не оправдывайся. Захотел — пришел бы, значит, не хотел. А счас самый раз. Завтра заездки смотреть будем. Неделю стоят.

Слушая говорок дяди Миши, видя, как он колдует над верстаком, поколачивает, постругивает, подпиливает, я вспомнил, как бабушка по-за глаза хвалила Зырянова: «Михайла — добытчик! Мимо дома копейку не пронесет!.. — И с деревенской прямоотой лепила ему в глаза: — Вертухай

ты, вертухай. Чё ты по свету вертишься? Чего и ково ищешь? Копейка завсегда у тебя под ногами лежит, нагнись и возьми! Не-эт, тебе копейки мало, тебе штоб рубель стружками кружился. Червяк тебя точит! Точит ведь, точит! И грыжа тебя донимат, кровяной напор в тебе нестойкай оттого, что рыло не крестишь, в любое время, в любой день, даже в пасхальный сочельник скоромное лопашь, и не думаешь о том, что за этот грех земля тебя не примет...» — «На небо вознесусь. Там мягче!» — ухмылялся дядя Миша, делая вид, что все ему нипочем, был он и остается главным среди людей. Но иногда — понимал, видать, что не главное он бабушки, — запоясывался, хлопал рукавицей об рукавицу: «Ну и родню мне черт послал!..» — бахал дверью и подолгу у нас не появлялся. «На руку — золото человек, сердцем — чужой и чижолой. Вся наша родова — вертопрахи, если и пошумит, то как лист в лесу, ну, окромя самова, конечно, об том што говорить? Я токо и могу его вынести. Друга бы давно уж с утесу вниз головой — штоб уж сразу. А этот не нашей веры, поди-ка? Ох, Марей, Марей! Я ли ей не говорила, я ль ее не упреждала...».

Не закончив гроб, дядя Миша отправился затоплять баню. Прытко бегая вниз и вверх по мерзлому яру, я натаскал воды в баню и, пока она топилась, успел почистить в стайках, отвалил кучи от окон, в которые выбрасывается навоз.

— Зима еще не началась, — бабушкиным голосом проворчал, — вы уж дерьмом заросли!

Тетя Маня засмеялась, поняв, откуда ветер дунул, словоохотливо объяснила, что с подсобного хозяйства подобрали мужиков па войну, сами же хворы, не справляются с хозяйством, и как дорога установится — ликвидируют скот, продадут мясо, оставят только корову, ну, может, еще поросенка.

Распаренные, чистые после бани, вечеровали мы за столом. Дядя Миша с тетей Маней распочали и за мое здоровье да за здоровье Катерины Петровны и всей нашей родни, в первую голову за тех, кто бедует на войне, быстро и дружно опорожнили бугылочку.

— Ну вы даете!

— А чё нам, морякам! День работам, ночь гулям! — Пьяненько махнула рукой тетя Маня. — Горбом заработано! А ну-ко, Миня! — приказала она дяде Мише, и тот, засунув руку под кровать, выудил оттуда гармошку, дунул на нее — с гармошки клубом полетела пыль.

— Да-а-авненько, да-а-авненько я не брал гармозень в руки, —

прилаживая ремень на плечо, покачал головой дядя Миша и пощупал пуговицы музыки. Молодецки разгладил усы, широко открыв рот, дядя Миша набрал воздуха и, как с обрыва скатившись, грянул: — Когда б имел золотые горы и реки, полныя вина-а-а-а...

Мы с тетей Маней подхватили, и пошла содрогаться бакенская избушка от громкого и слаженного рева. Дядя Миша, сидя на кровати в просторном нижнем белье, валился с гармошкой то вправо, то влево или начинал тряско подпрыгивать, подергиваться, тогда рубаха и подштанники как бы отделялись от него — они оставались на месте, сам же человечешко санным, сухопарым кузнечиком норовил выпрыгнуть из них. Однако не сумел. Но разошелся в веселье и во всем белом пошел по избушке вприсядку. Подштанники ломались у него под коленями, рубаха распятым качалась по стенам, и только руки, высунутые из рукавов, и голова из ворота да усы, мелькающие на чем-то красном, свидетельствовали, что тут действует — и лихо действует — живой, всамделишный человек. Тетя Маня пыталась порхать над ним, но больше порхал платочек над ее головой да визг пронзал пространства, били по жидким половицам, топали тяжелые, больные ноги с раздутыми водянистыми венами, свитыми в клубки под коленями и на обвислых икрах. Но порода брала свое, и тетя Маня через сбитое дыхание, под нестройный топот все же выдавала:

— И-и-ы-ых, хороши наши платки, каемочки поуже бы, хорошо мил прижимат, не хуже бы потуже бы!.. Жми-дави, деревня бли-и-изка-а-а...

— Не ходите, девки, яром, не давайте кочегарам... — дорогой муженек ей в ответ.

Тетя Маня плясала, плясала и, с маху упав на кровать, без звука уже открывала рот, тыкала пальцем на ящичек, висящий в простенке под зеркалом. Я метнулся к ящику, достал из него флакончик, плеснув в стакан стародубкой-адонисом пахнущее зелье, глотнув которого, тетя моя полежала навтыжку, потом села, собрала гребенкой волосы на затылке и сказала:

— Вот дураки-то! Ты, Вихтор, не обращай на нас внимания. Мы зимой без людей дичам. И тебя нечистый дух подхватил! — ткнула она кулаком дядю Мишу в лоб. — Туда же, вприсядку. Ночесь запропадаш...

Мы вышли с дядей Мишей во двор, полили угол избушки, одновременно глядя на небо. Половина луны уже отковалась, блестела сквозь серый небесный морок, звезды на горных хребтах прорастали, хлопал и взвизгивал трещинами на реке лед. Далеко-далеко, в тайге, в горах, прокричал кто-то диким, гаснущим голосом. Птица? Зверь? И снова все замерло в предчувствии долгой ночи, надвигающихся морозов,

бесконечной и, как окажется, страшной от бесконечности зимы сорок второго года. Ветка и Хнырь лежали у порога, уткнувшись носами в шерсть, прикрыв себя хвостами.

— Ну, все! Быть морозу! Завтра помоги Бог морды поднять из воды! — бодренько воскликнул дядя Миша и передернулся всем телом так, что кости в нем вроде бы забренчали, телогрейка, наброшенная на спину, спала с одного плеча, и, стуча галошами, он поскорее стриганул в избушку.

Я трепал пальцами Ветку по загривку, сверху заиндевелому, но в глубине до того пушистому, ласковому, что не хотелось из него и пальцы вынимать. Хнырь поднялся, потянулся, зевнул, с таким сладким подвывом, что дядя Миша, оглянувшись, заругался:

— Эк дерет пасть, окаянный! Ты недолго тут с имя. Оне рады-прерады к человеку прилипнуть.

Ветка, было уронившая хвост, как только стукнула дверь избушки, снова его закределила, просительно пикнула: извини, дескать, хозяйина за грубое обращение, не понимает он души нашей. Хнырь повалился в снег и, не отряхнувшись, грубо, по-мужицки навалился мне на грудь, преданно ляпнул в лицо горячим языком. Я сгреб его в беремя, завалил, придавил. Ветка, стоная от восторга, налетела сверху, с боков хватала меня за одежду, Хныря за шерсть. Хнырь не умел сдерживать чувств, хватко хапал зубами за что попало, рычал, бурлил горлом, понарошку сердясь на нас.

— Ну, будет, будет, дурни! — успокаивал я собак. И они послушно унялись, присели по обе стороны от меня. Я погладил их остывающие головы, они пытались уцепить языком мои ладони. — Надурелись, наигрались! Ах вы дурни, дурни!

А сам все смотрел, все слушал, внимая редкостной в нынешней моей городской жизни притаенности природы, все более светлеющей, торжественной ночи, в которую так любят ворожить сельские девушки, гадать, что ждет их впереди и какой жених явится из волшебного ночного свету — хорошо бы кучерявый, в вышитой рубахе, подпоясанный крашеной опояской. Звезды и месяц, как бы примерившись к месту на небо, посветив земле и людям, правившим хозяйские дола, отделились в вышину, сделались отчужденными в своей неземной красоте. На них никогда не надоедает смотреть, боязливо дивиться их строгому свету, благоговеть перед нетленным величием гостей ли, хозяев вышних, чувствовать серьезность ихней жизни, непреодолимость небесной тайны и ужиматься в себе от малости своей под этим остывающим небом, все шире заковывающим себя в жестяные, а ближе к месяцу — серебряные латы.

Нет, нет, еще не хрусткой зимой, не лютыми морозами веет с неба. Оно

лишь полнится предчувствием зимы и морозов. Белка уже выкунала и этой ночью бегаёт по снежку, летает с ветки на ветку, то ли играя в тайной тишине ночи, то ли кормясь. Вот выпугнула из теплой ели рябчика, и он метнулся в одну сторону, белка в другую, цокнула, жогнула отрывисто и успокоилась. Рябчик фуркнул крыльями, нырнул в обогретую ель, перебираясь пальчиками по сучку, залез в гущу хвои, прижался к живому стволу дерева, утянул шею в сдобренные пухом перья, угрелся, устроился и дремно смежил глаза, коротая долгую ночь в сторожном сне.

Белка снова пошла махать с дерева на дерево, легкая, веселая, устали не знающая, и снова нарвалась на лесного обитателя. Жутко загромыхав крыльями, из осинников метнулся жировавший там в сумерках на последнем, редком листе, беспечно придремнувший глухарь. Черным снарядам пробивал он голые кроны деревьев, и они взрывались красными искрами остатного листа. Глухарь укрылся в расщелине гор и долго ворочался в глущи захлавленного горельника, устраиваясь в падежной засидке; белка же до того перепугалась, что упала с дерева и стриганула из лесу в поле, на одиноко темнеющее дерево.

И глухарем ли сшибленный, током ли струи из горного распадка, все более остро пронзающего ночь, тайгу и пространство до самого Енисея, подхватило и занесло во двор выветренный листок. Он черенком воткнулся в рыхлый снег и засветился живым, чуть теплящимся огоньком лампадки в этой настороженной зимней ночи, полной затаенной жизни, негаснущей тревоги, до боли щемящего чувства надвигающейся беды или беспредельного страдания, от которого нет ни защиты, ни спасения.

Да, ведь война идет, война. И где-то на этой земле, чисто прибранной на зиму, за этими угрюмо темнеющими горами, под этим вот отчужденным небом лежат в снегу, ждут утра и боя живые люди, фронтовые бойцы. Как им, должно быть, стужено, одиноко и страшно в эту ночь.

Мы поднялись с дядей Мишей поздно. Дрыхли бы еще, но Хнырь обнаружил белку за огородом на голой лиственнице, на том одиноком дереве, которое по какому-то никому не ведомому приговору остается возле человеческого жилья от отступившего леса, и об него пробуют топоры, всякое железо и камень, привязывают к нему скотину, подпилят его зачехом, а то и подпалят снизу, навесят на нижние ветви литовки, скобы, вышедшие из дела, вобьют ржавые гвозди в ствол, прислонят старую железную ось либо грабли, да и позабудут навсегда о них. Но дерево, напрягшись силами и соками, наморщив грубой корой свой темный лоб, упрямо живет и даже украдчиво цветет, приветит и пригреет в обнажившихся корнях полянку земляники, веточку костяники бережет до

самых морозов, укрывает опадающей хвоей тоже отбившиеся от стаи робкие и разноцветные сыроежки.

Эта листовка была еще кое-где в пушке рыженькой хвои, цветом схожей с тети Маниными волосами, и в гуще веток, в скопище мелких шишек, сжавшись в комочек, прятала себя белка. Под деревом сидючи, вроде как по обязанности гавкал Хнырь, и лай его постепенно пробился к нам сквозь сон.

— Окаянный! — зевнул и заругался дядя Миша, не вылезая, однако, из-под одеяла.

Я бросил полушубок, под которым спал па полу, и выглянул в окно.

— Хлопну белку!

— Да ну ее. — Дядя Миша сел в постели и потянулся. — Молодой кобелишка, зевастый, никакого потом покою не даст. С вечера будет загонять белку на дерево.

— Он часа уже два бухает, — подала голос из-за занавески от печи тетя Маня. — А вы, мужики, здоровы же спа-ать! О-е-е-е-о! С такими воинами защитить державу... Защитишь...

Я занырнул обратно под полушубок — понежиться. Дядя Миша, глядя на меня, тоже вальнул на постеленку и притаился в ней. Полежал, подремал и давай рассказывать, как белковал однажды зимой. Выскочил налегке в горы обстрелять «свои угожья», добыл десяток белок, хотел уж домой ладиться, да собаки соболя стронули с засидки и погнались, и погнались по распадку. В горельник загнали. А там, в трущобной шараге, не только соболек, рота дезертиров скроется — не сыщешь.

Увлечшись, в азарт вошли и собаки, и охотник, ну и затемняли. А ночевать в здешней тайге, в накаленном стужею камне? Это только в книжках интересно да в рассказах Ивана Ильича Потылицына. На самом же деле... Хорошо, дров много и топор с собой смекнул захватить, а то взопрелому человеку и пропасть — раз плюнуть.

Всю ночь возле огня вертелся в обнимку с собаками — они охотника греют, он их. Утром снова в погоню. Соболишку надо бы в чистую тайгу выгнать, но он ушлый, не идет из логов. Еще денек побегали, белок начали есть и шипицу с кустов. Лишь на третий день загнали в дуплистую валежину соболя, охотник забил деревянными пробками с той и с другой стороны дупло — собаки соболя слышат, гнилое дерево зубами рвут, аж щепки крошатся. Охотнику помочь бы им, отверстие прорубить, но он ни рукой, ни ногой — уходился, ухряпался.

Ветка с Хнырем все же прогрызли дерево, и оттуда, из дупла, черным дымком выбросило соболя, собаки цап его и давай пластать. Охотник, где

силы взялись, пал меж собак, отбирает зверька — изорвут шкурку. Ветка окриком очуралась, отскочила. Хнырь до того озверел, что цапнул охотника за руку да и прокусил ее до кости.

Идут домой, плетутся — охотник впереди едва лыжи передвигает, собаки сзади, опустив хвосты и головы. «Что же ты, сукин сын, себе позволяешь? — ругается охотник. — Столяра без руки оставить — все одно что жениха без нужного предмета, ремесло потеряешь, хлеба на старости лет лишишься...»

Дома новая напасть — нету хозяйки! Убежала дорогая Маня в деревню и в поселок народ созывать: муж в тайге потерялся. С народом при помощи горючки разобрались, что и как. Но рука долго болела. Хнырь на глаза не показывался, не ел, не пил, ребра наружу у него вылезли, пока свою ошибку не осознал. С тех пор не кусается, но и дядю Мишу в тайгу не шибко манит.

А белки, соболька и колонка развелось много. К огороду козы подходят. Осенью маралы за баней трубят.

— Когда люди друг дружку бьют — им не до зверя лесного... По морозу приходи, постреляем, — пригласил дядя Миша. — Я один-то не шибко ходок в тайгу, кашляю так, что зверье разбегается.

Тетя Маня уже управилась по хозяйству, пекла блины — они с жирно утихающим шипением растекались на сковороде. По избушке вкусно расплзался смрад сытного коровьего масла, подгорелого жидкого теста. Отсветы от жарко полыхающих в печи углей шевелились за занавеской и красно выплавляли фигуру стряпухи.

— Проспали все царство небесное! — добродушно поносила нас от печи тетя Маня. — Вот дак рыбаки! — И сама себе подпела: — Рыбаки ловили рыбу, а поймали ра-а-ака-а-а.

Тетя Маня и опохмелиться успела, догадался я. Не сделалась бы от уединенности эта парочка пьяницами — пьяниц в нашей деревне да и в родне нашей и без них хватает.

— Как ты, Миня, храпел, штоб тебя лешаки взяли!

— А ты? — взъерошился дядя Миша и передразнил ее на манер поросенка, морща нос: — Хур-хур, хур-рры-ы-ы-ы...

— Полно врать-то! Вихтор, скажи, кто храпел? Как на суду.

Я выскочил из-под полушубка, натянул штаны и, махнув на стряпуху рукой, пошел умываться. Чем-то все-таки тетя Маня и дядя Миша подходили друг дружке, и Бог — или черт, по заверению бабушки, — свел их не зря.

Щетинку кольев и обрубьши еловых веток было заметно еще издали. Почти половина манского шивера была перехвачена заездком. Три морды пробно, сказал дядя Миша, стояли в окнах искусно сотворенного заплота. Ловушка, ныне считающаяся браконьерской, возникла, видать, еще на заре человечества. Как только человек обзавелся умом, тут же и мысль ему первая в голову пришла: загородить реку. Так он с тех пор и загораживает реки, землю, себя. Ловушка-заплот, ныне по всему свету распространенная в том или ином виде, тоже в древности придумана была — видел ее подобия почти во всех музеях. Сплетается из прутьев корзина, продолговатая, с квадратным или круглым входом и заткнутым или завязанным выходом. В нашей местности она зовется мордой. Ловушка покороче, попузатей уже именуется корчажкой. Подобие морды-корчажки — верша, плетенная из ниток и с крыльями. Ныне мордашки делаются из самого доступного материала — легкой алюминиевой проволоки.

В сибирском заездке — основной снасти для добычи рыбы на горных реках зимою — вместо крыльев ставился заборчик из ветвей и кольев. Рыбе обойти бы заборчик слева или справа, толкнуться, наконец, сквозь ветви. Так нет, она обязательно ищет дырку и лезет в нее, дырка же ведет в тюрьму из прутьев — сиди там, бейся в тесноте и в темноте, пока не околеешь или рыбак тебя не вытащит на лед.

«Тихая» эта рыбалка вредна тем, что заломы, по-сибирски заездки, ставятся, как правило, в период хода рыбы, то есть икромета, и рыба, влекомая инстинктом вверх по течению, миновать их никак не может. Прimitивно и жестоко. Но и весь промысел человека, добыча им пропитания и одежды, от веку стоит на крови и муках неразумных животных, птиц и рыб. И одна из причин жестокосердия человеческого проистекает отсюда — от убийства, от сдирания шкур и поедания «братьев меньших».

Ну, это я сейчас, на старости лет, так «плавно» рассуждаю, желая оправдаться задним числом за смертные мучения и кровь тех, кого за свою жизнь убил и съел, расшаркиваюсь перед теми, кто питается «святым духом», хотя лично, «в натуре», таковых ни в Стране Советов, ни в буржуйском стане не встречал.

После крепкого сна в теплой бакенской избушке и жирных блинов я лихо лупил пешней лед, раздалбливая уже толсто обмерзшие окна. Азарт добытчика и молодецкая удаль не давали мне остановиться, передохнуть.

Дядя Миша, как всегда, ладно и складно ахал:

— Хак! Хак! Бей по льду! Бей по льду! Добывай себе еду. — И притопывал ногой, точно взводный на плацу, который сам не марширует, но от строевого зуда ногами сучит.

Я сперва его ругал за то, что не закрыл окошки, не присыпал их снегом или хотя бы шакшой — ледяным крошевом, — меньше бы промерзло. Но скоро запыхался, и на слова, да еще ругательные, духу у меня не хватало. Я сбросил на лед телогрейку, шапку. Раздолбив все три лунки и вычистив из них лопатой шакшу, я упал на брюхо, начал пить громко, как конь, екая селезенкой.

— Пропадешь ведь, — с грустной безнадежностью и завистью молвил дядя Миша.

— Ништя-а-ак! В Заполярье с дедом рыбачил, в сорокаградусный мороз из проруби пил — и, как видишь, жив-здоров Иван Петров!

— Да-да, герой с огромной дырой. Пора такая придет, что сквозняку бояться станешь, сырую воду пить остерегешься...

Ох, дядя Миша, дядя Миша, типун бы тебе на язык! Накаркал! Пришла ведь, подступила пора, будь она неладна, — и сквозняков боюсь, и сырую воду нельзя, не говоря уж про водку, табак и всякие-разные доступные и необходимые для души и тела развлечения. И старость подкралась, чтоб ей тоже пусто было! Так вот и скребется в тесовы ворота, особенно в худую погоду, кости щупает, члены томит, сердце колет, дыхалку щекотит, сон гонит и думами о неизбежной смерти угнетает.

Но из того времени, из той далекой военной зимы верста времени была для меня так длинна, так неизмерима, что хоть на цыпочки привстань — конца не видно.

— Слушай, дядя Миша! Когда я пил, на дне морду видел — водоросли, что ли, из нее торчат?

— Ха! Водоросли! — кашлянул дядя Миша. — Поселенцы набились. Тебя же не в шутку колдуном кличут! — и бойконько подсеменял к прорубке. Хмыкая, покашливая, постоял возле окна и, словно перед дракой, сбросил с себя плащ, подтянул опояску — полушубчишко на впалом его брюхе собрался оборками, фигура совсем мальчишеской сделалась, — схватился за деревянный стяг, прикрепленный к морде. — Х-ха! — отбросил из себя воздух дядя Миша, с усов его сыпанулась белая пыль. — Имай! — багровея лицом, прохрипел он, выворотив морду со дна реки.

Я упал на брюхо, запустил руку в обжигающе студеную воду, ухватился за обруч. Вдвоем мы выволокли осклизлую, тяжелую морду на лед и сели возле распертого, словно бы обрюхатевшего изделия из

талиновых прутьев. Если бы мы умели креститься, осенили бы себя крестным знаменем — из чела морды, точно кактусы-агавы, пучком торчали пестрые налимьи хвосты! Сквозь расщеперенные, местами сломавшиеся, измочаленные прутья текла вода, вместе с нею волокно светло-желтые шарик, похожие на крупное пшено или на заморскую крупу саго. Я предположил, что прутья облепило дресвой или хрустким речным песком, но внутри морды грузно ворочалось, и я не сразу, но догадался, что там, в тесноте, слипшиеся плотно, переплетенные меж собой рыбины все еще трутся друг о дружку в пьяной одури и страсти, не понимая, где они сейчас находятся и что с ними происходит.

Дядя Миша развязал выход на хвосте морды, и рыбины сонно поплыли из нее по льду, обляпанные слизью молок и месивом икры. У иных на облинялых боках была протерта, изорвана крепкая рубчатая кожа, плавники и хвосты смяты, иссосаны, широченные рты разъяты в немом и сладостном стоне.

Верх по Енисею, за манским шивером, вплоть до речки Минжуль прежними, ныне уже далекими зимами в ямах залегала рыба: стерлядь, редко осетр, черный хариус, ленок. На одной совсем уж губельно-непроглядной яме, утеплив себя толстым слоем слизи, стаями коротал зиму крупный окунь, выходя к вечеру в перекааты подкрепиться козявкой-мормышем, а если погода способствует — размять колючки, артелью погоняв мелкую рыбешку: пусть не забываются, разбойник рядом, он не уснул насовсем и аппетит в нем не иссяк. Однако главным едоком-громилей был здесь не окунь и даже не таймень, пасущий до поздней осени стайки ельца, сороги и пескаря, годного для пици. Зимним женихом и хозяином выступал тут в глухую пору поселенец — налим. Вел он себя в глуби вод как завмагазином или всевластный начальник городских продовольственных складов, выбирая на еду что послаще, пожирней, помягче, оставляя на весну, на летнюю губельно-вялую пору, когда ослабнет в нем мускул, уймется страсть и удаль, то, что убегает нешустро и дается зубу без труда.

Сейчас на минжульских и манских ямах, шевелимых полной прибой, сделанного сбросом воды и сора с близкой гидроэлектростанции, вода круглый год студена, открыта, и залегает в ямы разве что дачник, спьяну перепутавший поверхность воды с землей, либо бесстрашный турист, желающий освежиться после изнурительных переходов по горам, лазанья по пещерам, чужим дачам и пустым подворьям, угоревший от лесных пожаров, им же для интересу запаленных.

Собаки, увязавшиеся за нами, лежали в отдалении, подремывали. Но когда поползли, поплыли из ловушек налимы, поднялись, с интересом уставились на рыбин. Ветка вежливо тронула лапой одного дохлого налима, нюхнула его, брезгливо отфыркнувшись, вытерла белую лапу о снег.

— Не глянется тебе поселенец, не глянется? — разбрасывая пинками налимов, отделяя мертвых от живых, пропел дядя Миша.

Рыбины, что были еще живы и шевелились, все ползли и ползли в мучительном устремлении куда-то. За ними по льду расплывались белые кисельные молоки и парная икра, тут же застывающая комочками.

— Лупи их дрыном, — приказывал дядя Миша, — не давай икру терять! — И, почесав голову под шапкой тоже склизкой, облепленной икрой рукой, пустился в размышления: — Да ведь ход-то рыбы по срокам через неделю-две! Ох, зима лютущая будет! Оттого поселенец и торопится ослобониться от груза. Или, может, — повернулся ко мне дядя Миша, подозрительно шевеля усами, — ты и вправду колдун?

— Колдун, колдун! Грбовозы врать не станут, и бабушка Катерина Петровна не последнего ряда ворожея.

В двух ближе к берегу поставленных мордах налима попало немного. Да и мелкий набился в ловушки поселенчишко. Зато в крайней морде оказалось с десяток окуней-красавцев.

— А-аг заварганим уху знатную! — заткнув верхонки за опояску, потер руки дядя Миша. — А чё, колдун, придется за санками идти, на себе улов не унести.

Я побежал за санками, поставил на них плетеный короб, в котором тетя Маня возила к проруби полоскать стираное белье, и, прежде чем лихо скатиться по взвозу на лед, постучал в окно и развел руками, показывая тетке, каких рыбин мы изловили. Она засмеялась, махнула рукой: полно, мол, брехать-то! Но когда мы привезли короб мерзлой рыбы, она вышла на улицу и, поглядев в сторону Овсянки, молвила:

— Мама креститься бы начала на Вихтора, сказала бы — Бог отвалил этакую удачу. Надо будет ей послать налимишек. — Помолчала и со вздохом добавила: — И Гутьке.

Утром я отправился к себе в ФЗО, хотя тетя Маня и дядя Миша оставляли меня еще погостить. Вот-вот должны были заселять последний барак нашего училища и надо было отвоевать себе место возле печки. Тетя

Маня снарядила котомку с ляжками, два мерзлых круга молока туда сунула, булку хлеба, сухарей мешочек, искрошившихся от давности, котелок орехов, туесок соленых груздей. Дядя Миша бросил в мешок трех мерзлых белоглазых налимишек, са-амых маленьких, заморенных, веретешками зовущихся.

— Чё ты, как нищему, подаешь! — заругалась тетя Маня и водворила в котомку двух пестрых, величиной с поленья налимищ, к ним луковичек горсть, соли, даже ломаных лавровых листков добавила. — Варите уху на новоселье!

Дядя Миша, отвернувшись, покашливал, переживая этакое расточительство. Я пообещал как-нибудь навестить Зыряновых. Они сказали: «С Богом!» Я спустился на реку, норовя идти по своим давешним следам, все оглядывался и махал одиноким супругам рукою. Они стояли на холме возле сигнальной пестрой мачты и махали мне ответно. И снова преодолевал подтачивающую сердце тревогу, печаль за них, Зыряновых, за свое ли будущее (угораздило вот начинать самостоятельную жизнь военной порой). «Заберега, заберега! Ты пусти меня на берега...» — пытался я запеть, да не пелось что-то. Котомка тяжелая, решил я. Попробовал насвистывать мотивчик самодельной песни, но на морозе не больно-то насвистишься — зубы ломит. И потопал я молчком по снежной белеющей забереге до санной, только что проложенной от подсобного хозяйства дороги, в даль, застеленную морозным серым дымом, сквозь завесь которого темным, тяжким бредом смутно проступали немые скалы.

Город был еще далеко. Он даже не угадывался в этом пустынном, сжатом со всех сторон, и сверху тоже, непроницаемо мгlistом, все толще и шире промерзающем мире. Из камня Караульного быка, из небесной выси ко мне снова прорезался стон или молящий вскрик соколка, и снова стиснулось в моей груди сердце, заныло приближенно, и снова я молвил про себя: «Зачем ты не улетел, соколок, в теплые края? Что тебя, свободную птицу, здесь, в студеном краю, задержало? Погибнешь ведь...»

Места в общежитии возле печки мне не досталось. Все комнаты были уже заселены, и я попал в сборную восьмую комнату, где свободной оказалась койка крайняя, на самом проходе, у дверей. В восьмую комнату заселилось трое эвакуированных парней, два детдомовца, один отпрыск выселенцев. Остальные вовсе неизвестно чьи и откуда, по повадкам да замашкам — так один-то как бы и в тюрьме уж счастья испытал.

Нам предрекали поножовщину, воровство, хулиганство и всякое

разгильдяйство — что еще ждать от шпаны-то? Но комната номер восемь оказалась самой стойкой, самой дружной в нелегкой и непростой жизни того времени. Ни картежной игры, ни краж, ни пьянства обитатели восьмой комнаты не знали. Бывший зэк попробовал было навести свои порядки, но его зажали в углу коридора и так хорошо «побеседовали» с ним, что он два дня лежал, укрывшись с головой одеялом. Собратья по жилью приносили и молча клали на тумбочку его хлебную пайку. Выздоровев, парень сразу сделался хорошим и более, как ныне принято говорить у блатных, права нам качать не пытался.

Спайка в восьмой комнате началась с ухи, которую я сварил в общежитском бачке, предназначенном для питьевой воды. На аромат варева, плывущий по всему общежитию, стеклась вся группа составителей поездов, и каждому будущему труженику желдортранспорта досталось по куску свежей рыбы и по поварешке ухи.

К дяде Мише и к тете Мане не суждено мне было больше попасть. С водворением в общежитие начался и прижим военного положения, строгие занятия в классах чередовались с тяжелой практикой на станциях города и в пригороде. Весной — распределение, осенью уже армия, затем и фронт.

Тетя Маня умерла в конце пятидесятых годов от водянки. Болела она тяжело и долго. С Усть-Маны приходила зимой и приплывала летом баба неопределенного возраста и вида — помогать Зыряновым по хозяйству и на бакенах. Неразговорчивая баба. Ликом смахивающая на таборную цыганку, с урочливым глазом, она материлась во дворе и лупила вилами по хребту корову. Люди сказывали, что на бабе той, как на мужике, растут волосья, на грудях у нее непристойные наколки. Дядя Миша начал спать с работницей, еще когда тетя Маня была живая. Избушка тесная, утлая, в ней даже перегородки нет, все слышно, все видно. Тетя Маня плакала, молила Бога, чтобы он ее скорее прибрал.

На похоронах дядя Миша валялся на свежей могиле, бился головой о бугорок, зарывался в землю лицом, припадочно закатывался, повторяя: «Маня-Манечка!.. Маня-Манечка!..» Родные наши тоже все выли в голос и отпаивали Зырянова водой.

С той чужой, враждебной всему свету бабой дядя Миша снова ездил в родной Таштып и снова там не прижился. Вернувшись уже больным, совсем погасшим, долго строил он дом в Усть-Манском поселке. С прежними родственниками виделся редко, постепенно и вовсе утратил с ними связь. За могилой тети Мани, расположенной в родовой ограде Потылицыных, ухаживали ее сестры, дядья, племянники.

И наши потылицынские родичи о дяде Мише поминали все реже и

реже. Лишь фотокарточки по стенам деревенских изб напоминали о том, что жили-были супруги Зыряновы и вот куда-то девались. Тетя Маня хоть покоится среди родных, под голубым, умело сделанным дядей Мишей крестом с верхом, крытым наподобие шалаша. Но где могила самого Зырянова — никто не знает. Баба, с которой он сошелся, опутала, обобрала дядю Мишу до нитки. Сперва она исхитрилась переписать на себя новый дом на Усть-Мане. Когда у дяди Миши обострилась туберкулезная болезнь, она дневала и ночевала в больнице, проявляя непрестанную заботу о больном муже до тех пор, пока он не переписал на нее денежный вклад в сберкассе. И сумма-то была не так уж велика, деньги, добытые торгом на базаре. В потной, тяжелой котомке, прилипающей к спине, выносила, выторговала их тетя Маня на старость лет своих и мужа, но алчная баба овладела ими и сразу перестала ходить к дяде Мише в больницу. Потом через людей передала записку, в которой извещала Зырянова, что не примет его с чахоткой в дом.

Однажды ночью дядя Миша выбросился в больничное окно. Был он такой изболелый и худой, что никто и не услышал падения тела на мерзлую землю. Утром дочка больничной сторожихи, отправившаяся в школу, запнулась за остекленело звякнувший на морозе труп. «Зачем ты, дяденька, лежишь тут пьяный, на морозе?»

Из больничного морга увезли дядю Мишу в казенном гробу, на казенной подводе, в мелко выкопанную казенную могилу. А ведь был у дяди Миши свой гроб, из кедра струганный, на точеных ножках, с посеребренными ручками с боков, с накладными, немудрящими инкрустациями по крышке. Легонькое, изящное сооружение, дно которого устелено было стружками из того же хорошо, на вольном духу сушенного кедра, чтоб столяру было спокойно спать и долго его телу не гнить.

Новый хозяин дяди Мишиного дома и собутыльник его последней хваткой жены, шарясь по подворью, обнаружил домовину в мастерской, спрятанную под верстаком, заваленную столярными заготовками и обрезками да стружками. Он примерил гроб на себя — сооружение оказалось мало, и тогда находчивый человек умно распорядился дуром доставшейся ему вещию: загнал гроб за червонец и тут же, не сходя с места, деньги пропил.

Где-то гремит война

Группу и профессию в ФЗО я не выбирал — они сами меня выбрали. Всех поступивших в училище ребят и девчонок выстроили возле центрального барака и приказали подравняться. Строгое начальство в железнодорожных шинелях пристально нас оглядело и тем парням, что крупнее да покрупче, велело сделать шаг вперед, сомкнуться и слушать. «Будете учиться на составителей поездов», — не то объявили, не то приказали нам, а слов о том, что идет война и Родина ждет, тоже не говорили, потому что и так все было понятно. Из того, что отобрали в составительскую группу самых могучих парней и не допустили в нее девчонок, мы заключили, что работа нас ждет нешуточная, и кто-то высказал догадку: не глядя на военное время, нам выдадут суконную форму и поставят на особое питание.

И хотя предсказание это оказалось поспешным и не сбылось, мы все же склонны были считать и считали себя людьми в желдоручилище особенными и постепенно приучили к тому, чтобы нас таковыми считали ребята и девчонки из других групп, не протестовали бы, когда нам перепадали поблажки в виде внеочередного дежурства на кухне, в хлеборезке или поездки домой, и опасались нарушать внутренний режим, если в корпусах стояли наши дневальные.

Давно уж я отзимогорил на Базаихе у дяди Васи, и самого дядю успел проводить на фронт, обжился в восьмой комнате нашего общежития, сдружился с ребятами и на практике познал, что работа и на самом деле ждет нас не просто нешуточная, но и опасная. Словом, и жизнь и учеба для меня, да и для всех ребят, сделались привычными буднями, как вдруг незадолго до Нового года получил я из родного села от тетки Августы письмо в несколько строчек, которым слезно молила она навестить ее, — и очень встревожился.

За время учебы ни разу не получал из деревни писем, никуда не отлучался, и когда показал письмо мастеру группы Виктору Ивановичу Плохих, который, напротив своей фамилии, был человеком хорошим, не без оснований назначенный дирекцией в самую трудную группу, то он, прежде чем отпустить меня, долго и хмуро соображал — учились мы скороспешно, железнодорожный транспорт был оголен военками в сумятице первых военных месяцев до того, что даже с фронта скоро начали отзывать железнодорожников, и потому выходных нам не давали, никуда нас не

отпускали, словом, держали строго, по-военному.

Мы сами выискивали возможности и способы прятать друг друга на поверках и подменяться во время практики и, сколь мне помнится, Виктора Ивановича Плохих, давшего возможность распоряжаться нам собою, не подводили. Все теоретические, но больше практические занятия оценивались в группе нашей только на пятерки, и горе было тупицам, с которыми занимались мы сами, вколачивали в них науку и доводили до уровня. Они и посейчас, наверное, не могут забыть того труда и пота, который потратили в ту военную зиму, чтобы заучить пэтээ — правила технической эксплуатации, железнодорожной сигнализации, грузоподъемность вагонов, паровозов и прочие транспортные премудрости.

В длиннополом пальто, отяжеленном двумя пайками хлеба, упрятанными в карманы, вышел я из общежития под вечер. Никаких паек не полагалось мне выдавать, но Виктор Иванович Плохих и староста нашей группы Юра Мельников были теми руководителями, которые брали и не такие крепости, как хлебрезка Васеева Наталья. Она сказала: «Будь вы прокляты! До смерти надоели!» — но пайку за вечер и за утро все же отпластнула.

Я выдрал листки из тетрадки по теории пэтээ, завернул в них горбушки и отправился в путь, памятуя, что греет хлеб, а не шуба.

Фэзэошные ботинки издавали на морозе технический звук. Они всхлипывали, постанывали, взвизгивали, словно давно не мазанный кузнечный молот или подработанный клапан паровоза. Такая обувь для сибирской зимы — не обувь, но про пальто ничего не скажешь. Пальто знатное. Оно, правда, не по росту мне, однако красивое и с особенными запахами. В каждом порядочном колхозе есть тулуп или доха общего пользования, у нас в группе вместо дохи вот это пальто с каракулевым воротником. Пальто грубошерстное, колкое, каракуль что металлический шлак, но все же это не фэзэошная телогрейка длиной до пупка. Чужевато мне пальто, да я постепенно обживал его, обнюхивался. Очень оно тяжелое и пахнет разнообразно: табаком, мочалом, тлеющим сукном, но больше всего — вагонной карболкой. Совсем отдаленно, чуть ощутимо, будто вздох о мирных временах, доносился из недр пальто запах нафталина.

Пальто прибыло в школу фэзэо из города Канска, на Юре Мельникове. Наряжен был Юра еще в голубой шарф, в дымчатого цвета бурки и кожаную шапку, тоже с каракулем. Мы выбрали Юру старостой группы, и, думаю, в выборе этом первеющую роль сыграл Юрин наряд, как потом выяснилось, ему не принадлежащий. Все добро, надетое на него, было дедушкино. Бабка до поры хранила его в сундуке. Но бабка умерла вслед за

дедом, Юра вынул добро из сундука, надел на себя, свою одежонку загнал на базаре и поехал куда глаза глядят.

Поезд остановился на станции Енисей.

Юра пошел посмекать насчет еды, и, пока уминал соленую черемшу, поезд ушел, а Юра, чтобы скоротать время, читал разные объявления и наткнулся на призыв поступать по вновь открытое фэзэо №1. Поскольку оказалось оно рядом со станцией, Юра отправился в желучилище, принят был туда без промедления, к обеду оформлен на довольствие, к вечеру определен на койку, а через сутки — вознесен в начальство.

Шарф и шапку мы проели в честь знакомства, пальто, поразмыслив, оставили. В группе хотя и молодой, но очень смекалистый народ. Нам надо было выжить в такое тяжелое время, и не только выжить, но и обучиться профессии, поэтому мы постоянно смекали, где чего промыслить, как выгодно пройти практику и в тепле тактику, то есть классные занятия.

Повизгивали мои ботинки, постукивали, побрякивали, и под их разнообразное звучание хорошо думалось о ребятах, о дороге, о надвигающихся сумерках.

О том, что ждет меня в селе, я старался не думать, потому что не хотелось мне думать о тревожном. Тревоги и без того вокруг — хоть отбавляй: в зиме, в улице, в машинах, хрипло гудящих, в скрежете поездов, в заводских трубах, в небе и в сердце моем.

Я миновал Базайский деревообделочный комбинат, что был за железнодорожной линией, круто поворачивающей к реке и двум мостам через нее. По взвозу, заваленному древесной крошкой, опилками и корой, где катом, где бегом спустился я вниз, на лед, и сразу почувствовал, что мороза здесь больше и по реке тянет колкий ветерок. Мимо железнодорожных мостов, мерзло и гулко звякавших под эшелонами, я поспешил на другую сторону Енисея, где спускался от города санный путь к нашему селу. Ботинки мои чэтэзэ запели громче, еще техничней на тропе, твердо утоптанной, остекленелой от мороза. На базайской стороне зимника не было, все зимние дороги кончались за Лалетинским опытным садом. Там, в саду, все еще жила и работала тетя Люба с Катенькой. А дяди Васи, не Сороки, а того, что дядя мне с потылицынской стороны, уже в живых нет. Его убили на войне. Я как-то был у тети Любы. Она поила меня чаем с вареньем из маленьких горьковатых яблок — ранеток. Катенька училась во втором классе, и, когда пришла домой, я ей напомнил песенку, какую она пела, приехавши с дядей Васей и с тетей Любой к бабушке в гости:

Ты, сорока-белобока,

Научи меня летать
Невысоко, недалеко...

Катенька устало поглядела на меня, а тетя Люба — угодливая душа, попыталась за нее улыбнуться: помним-де, помним...

Больше я к ним не заходил.

Бабушка моя, Катерина Петровна, эту зиму ходила по людям, правда, не по чужим, по своим, но все же я знаю, что такое выглядывать куски за чьим-то столом. Она всегда называла себя ломовой конь, но и ела она по работе — вдосталь — крепкой и здоровой крестьянской пищи. А ей дали карточку на двести пятьдесят граммов хлеба. Она недоедала, замерла; как сама жаловалась мне осенью, смирила гордость и пошла сначала к Зырянову, потом к Кольче-младшему. Кольча-младший тоже бакенщиком пошел, его пост верст пять выше Зырянова, у речки Минжуль. Бабушка кочевала из одной избы бакенщика в другую, потому что здесь только и могли ее покормить, остальные сыновья и дочери сами жили голодно, военным пайком.

Что же случилось у Августы? Без причины она не позвала бы меня. А причина какая сейчас может быть? Беда. Только беда.

Что делается вокруг? Зима. Голодуха. На базарах драки. Втиснутые в далекий сибирский город эвакуированные, сбитые с нормальной жизненной колеи, нервные, напуганные, полураздетые люди, стиснув зубы, преодолевают военную напасть, ставят заводы, куют, точат, пилят, водят составы, крутят руль, кормят себя и детей. И, как нарочно, как на грех, трещат невиданные морозы. И прежде в Сибири зимы бывали не бархатные, однако ж сытые чалдоны, одетые с ног до головы в собачьи меха, не особенно их признавали. Еще и нынче нашего брата, обутого в фэзэошные ботинки и телогрейки, чалдоны с гонором корят: «Хлипкие какие парни пошли! Вот мы ране...»

Что же все-таки случилось у Августы? Что?

«Вжик-вжик-вжик!» — наговаривают мои ботинки. Носки у них широкие, лобастые, рыло вздернуто кверху. Между подошвами и передками полоска снега — похоже на широкий налимий рот. Резвые ботинки! Жалко — размером маловаты. Обувь завезена в фэзэо из расчета на юношеское поколение, и крайний размер мой — сорок третий. По такой зиме надо бы размера два в запас. Положить в ботинки шубные стельки или кошму, потом портянку потолще намотать, суконную бы, да газету сверху...

Ветерок ничего, военный, тянет из наших мест, из енисейского

скалистого коридора. Каленый ветер. Каменный. Такой пробирает до души.

Я повернулся к ветру спиной, снял шапку, и, пока развязывал тесемки, на мою стриженую голову ровно бы железное ведро опрокинулось, аж стиснуло голову. Шапка надета, тесемки завязаны. Коротковаты уши у фэзэошной шапки, сэкономил на ушах. Ну да ничего. Пальто зачем? Поднял воротник пальто — и сразу стало душно, глухо, запахло старым-старым сундуком. Небось сундук был такой же, как у бабушки, где хранились, конфетки-лампасейки, весь в жестяных лентах, с генералами и переводными картинками внутри и с таким количеством загадочного добра, что уж и музею иному в зависть такой сундук.

Никогда не думал, что возле города Енисей так широк. Пока добрался до осенней дороги у речки Гремячей, от которой считается восемнадцать верст до нашего села, посинело на реке, ветер как будто унялся, припал за торосами, но студено, ох как студено вечером на зимней реке.

На мостах, проступивших из мерклой стыни темными фермами, спутанными в крупноячеистую мережу, за быками, вмерзшими в лед, и за насыпью в городе что-то грозно ворочалось, бухало. Все звуки были утробные, приглушенные, тяжело отдавались они в мерзлой земле, сотрясали железо и камень.

Гнетущее беспокойствие было в этой туманной студеной глуши, маневровые паровозы кричали надрывно, и гудок в доке, возмевший конец смены, был сипл, устало протяжен, без эха. Он прошел поверху всех шумов и остыл, смерзся с ними, как смерзается неровным наростом гнойно-желтая наледь со снегом и льдом.

У моста говорило радио, если точнее сказать, оно шебаршило утомленно и невнятно. Я всегда любил слушать радио с шорохами, тресками, завываньями. Мне чудилось что-то загадочное и казалось: вот-вот сквозь барахольную неразборчивость прозвучит неземной, обязательно женский, голос. Я и так уж в силу своего возраста жил в постоянном ожидании необычайного, а когда слушал неразборчивое радио, весь напрягался, чтобы не пропустить тот миг, тот неведомый голос, который назначен будет мне.

Я пошел быстрее от города, от речки Гремячей, от тревоги, пропитавшей все насквозь, даже воздух; от тяжелых железных мостов, на которых грохотали и грохотали составы на запад, на фронт. Рывкающими гудками они все распугивали на стороны, черной железной грудью сметая людское скопище, раздвигая перед собой мороз, останавливая встречные пассажирские поезда, сборные товарняки, коверкая расписания и железнодорожные графики — все условности мирного времени.

Наверху, возле речки Гремячей, возле протесанной в скалах дороги, ныне уже осыпавшейся, стояла избушка, и в ней мутно светилося окно. Много-много лет потом будет мне сниться тот огонек, потому что неудержимо меня потянуло в его тепло. Но я преодолел себя, побежал проворней, придерживая рукою воротник пальто у подбородка. Ботинки мои уже не наговаривали, а голосили, и хотя возле каменных обрывов нестерпимо жгло и закупоривало морозом дыхание, идти все же было легче, чем на открытом месте.

Но как только миновал я окутанное сумерками крутогорье и очутился за перевалом возле полого берега, где прежде размещалась многолюдная китайская слобода, меня так опалило ветром, что я задохнулся и подумал: «Не вернуться ли?»

* * * *

Мне оставалось идти верст пятнадцать. Надвигалась ночь. Ветер тронул и потянул с торосов и сугробов снега. Пока он раскуделивал их, прял над самой дорожкой, скручивал в веретье и пошвыривал обрывки за гребешки торосов, за воротник пальто, в лицо и глаза — было не столь холодно, сколь глухо. Но когда весь снег подымет ветром да понесет?..

Ботиночки-то, чэтэзэшэчки-то, вон они, постукивают чугунно, побрякивают, попробуй выдохнись...

На этом берегу, мимо которого я сейчас спешу, ютились когда-то маленькие избушки из фанеры, из досок и разных горбылин. Вокруг избушек полно было маленьких городов. Обитатели игрушечного города переселились сюда из Расеи, а китайцы остались после гражданской войны. Расеей у нас звалось все, что за Сибирью, иначе говоря, за нашим селом. А уж за городом — конец земли. Обитатели слободы называли нас кацапами, а китайцы кланялись и улыбались всем мимо идущим, приостанавливаясь в труде, опираясь на игрушечную вроде бы, но очень тяжелую мотыгу. Китайцы приезжали в наше село за назьмом. Деревенские мальчишки бегали за подводами и дразнились: «Ходя, соли надо». Китайцы, улыбаясь, кивали головой, и один только старый китаец с завязанной синею тряпкой головой и усами-перышками сердился и выхватывал вилы из назьма, брал их наперевес и шел на нас в атаку. Мы рассыпались по дворам и кричали из-за заплотов обидное. Китаец тряс

головой и жаловался: «Какая нихаросая людя».

Китайцы и переселенцы подружились и породнились меж собой, и овсянские многие семьи перезнакомились с ними. За короткое время жители слободы каменный берег превратили в плодородную землю, и по праздникам неслошь из слободы: «Ой ты, Галю...», «Эй, кумэ, нэ журысь», — играли гармошки, звучали какие-то тонкострунные китайские инструменты. Китайцы редко гуляли, больше работали и никогда не напивались допьяна, не дрались, чем озадачивали чалдонов, которые все делали с маху и в работе вели себя, как в драке.

И получалось вот еще что: чалдоны заглядывали на реденькие, неуверенные всходы на своих огромных огородах, гадая, чего тут вырастет, трава или свекла, а у китайцев на грядках уже что-то цвело и краснело, в середине лета, а то и в конце весны они уже весело гомонили на базаре, с улыбкой одаривая покупателей, с поклоном, сложив ладошку к ладошке, сперва зеленым луком и редиской, затем ранними огурчиками и помидорами, которые у них краснели на кустах.

«Слово знают!» — порешили чалдоны и пытались выведать «секреты», да где там, разве узнаешь чего у азиата. Он щурится, лыбится и талдычит, что секрет не один, а три их: труд, труд, труд. Многому научили сибиряков китайцы и самоходы из слободы, в особенности семеноводству и обработке земли. Научили зерно и горох молотить ручными жерновами, крахмал добывать из картофельных очистков и всякую овощь с толком использовать, даже мерзлую. И китайцы, и самоходы не избалованы были землей, тайгой и дорожили каждой картошечкой, крошечкой и семечком.

И хотя чалдоны, в первую голову бабушка моя, базланили: «Да штабы овощь с дерьмом исти?! Пушшай его сами китайцы и хохлы лопают...» Но голодные и военные годы приучили и их вежливо с землей обращаться, пользоваться удобрениями. Со временем здешний берег перешел под летние, затем и круглогодичные дома отдыха, нагородилось тут и заперлось за плотные заборы красноярское избранное общество, и совхоз после многолетней маеты, как и поселок, получил наконец точное название «Удачный».

Разумеется, китайцев отсюда устранили, чтоб не смущали они ничей взор и сами не смущались. Китайцев переселили ближе к Бугачу, за город, но они и там возделали землю, построили домики и зажили, как и прежде, но все же с годами шибко растворились они в сибирском люде, перекумились, переженились, сделались редки и малозаметны.

А прибрежная слобода соединилась с поселком Удачным, и население ее занято в основном обслугой его обитателей.

Неподалеку от бывшей слободы, на косогоре, сорили по ветру заросли всякой пустырной растительности и невзавправдашно ярко, по-детски беззаботно, многооконно светилась школа глухонемых. Меня посетила мысль: свернуть в тепло, переночевать, переждать непогоду. Но вокруг школы помигивали огоньками какие-то пристройки, подсобные помещения темнели, побреживали собаки — тоже небось охрана? В этой школе учился нелегкой своей грамоте и столярному ремеслу мой любимый братан — Алешка.

Хорошо ему там, чучелу-чумичелу, привычно среди своей братвы, а зайдешь — и начнется: кто да что? Да почему? Надо объяснять на пальцах: родня, мол, тут моя, братан Алешка, что, мол, росли мы вместе, что иду я к его матери. Письмо покажу в крайности.

Выросли мы с Алешкой. Набедовалась бабушка с нами. Как-то она сейчас? Плохо ей. Но ничего, вот фэзэо закончу, стану зарабатывать хорошо и возьму ее к себе. Мы с ней ладно будем жить. Равноправно. Бабушка шуметь на меня не станет. Пусть шумит. Я уж не буду огрызаться. Пусть шумит...

С думами я не заметил, как миновал место — слободу и школу глухонемых. По берегу пошли дачи, сплошняком стоявшие в сосновом и березовом лесу. Лес подступал к самой реке, и веснами его подмывало и роняло. Идешь краем берега, дачными тропами, узнаешь домики, которые были тут еще при Зыряновых, глядишь на резво играющих в мяч людей, купающихся, гуляющих. Вечерами в рощах, как и прежде, играла музыка, от которой, как и прежде, сладко сосало сердце и чего-то хотелось: уйти куда-нибудь с кем-нибудь или заплакать. Танцы были в разных местах. После танцев мужики и парни, как и прежде, водили девушек по лесу, прижимая их спиной к деревьям.

Любопытно устроена человеческая жизнь! Всего мне семнадцать лет, восемнадцать весною стукнет, но так уже много всего было — и хорошего, и плохого.

Про галушки вот вспомнилось. Самое, пожалуй, приятное и бурное событие в моей нынешней жизни.

Галушки продавали в станционном буфете к приходу поезда. О них вызнали фэзэошники, эвакуированные и разный другой народ, обитающий на вокзале. Буфет брали штурмом. Круто посоленное клейкое хлебово из ржаной муки выпивалось через край, дно глиняных мисок вылизывалось языками до блеска. Пассажирам галушек не доставалось. Тогда в буфете стали требовать железнодорожный билет. Предъявишь билет — получишь миску галушек, два билета — две миски, три билета — три. Стоило

хлебово копеек восемьдесят порция — цена неслыханная по тем временам. На копейки уже ничего не продавалось, кроме этих вот галушек и билетов в лилипутный театр, военным ветром занесенный на станцию Енисей.

Галушки варились в луженом баке. Перед раздачей бак выставляли в коридор — для остужения, так как люди оплескивали друг дружку у раздаточного окна, да и кустарного обжига миски горячего не выдерживали — трескались.

Ребята углядели бак и решили унести его целиком и полностью.

Операция была тонко продумана.

Мы подобрали из группы путеобходчиков парня говорливого, с туповатой и нахальной мордой. Якобы не зная броду, затесался он в воду — вместо вокзала — на кухню станционного буфета, и, пока там «заговаривал зубы», мы прудели железный лом в проушины бака и уперли его домой.

Сначала галушки хлебала наша группа и проныра-путеобходчик. Сверху было жидко. Мы вынули из-под матраса доску, отломили от нее оцепину и шевелили ею хлебово. Со дна, окутанные серым облаком отрубей, всплывали галушки, и тут, наверху, их, будто вертких головастика, с улюлюканьем поддевали ложками.

Наевшись до отвала, мы позвали девчонок из соседнего барака и передали им ложки. Галушек в баке почти не осталось, мы их зарыбачили, но хлебать еще можно было. Девки споро работали ложками и время от времени восторженно взвизгивали — из глубины бака возникала галушка: «Лови ее! Чепляй! Не давай умырнуть! Пап-па-а-ала-ася-а-а-а! Рубай, девки, чтоб кровь в грудях кипела!..» — орали мы.

Управившись с галушками, поручили мы дневальному отнести на чердак посудину и закатить ее подальше, в темень. Дежурный надел через плечо винтовку с вывинченными от скуки шурупиками, допил остатки варева через край, очумело потряс головой — солоно на дне, и все сделал, как было велено.

Сытые, довольные, мы вместе с девчонками пели песни, первый раз, кажется, после того как поступили в училище, и у нас получалось хоть и не так слаженно, зато дружно. Я так разошелся, что исполнил соло: «О, маленькая Мэри, кумир ты мой! Тебя я обожаю, побудь со мной!..»

Девки начали переписывать песню про Мэри — так она им поглянулась, и попросили продиктовать что-нибудь такое же изысканное, про любовь. Я напряг память. «Это было давно, лет пятнадцать назад. Вез я девушку трактом почтовым. Вся в шелках, соболях, чернобурых лисах и накрыта платочком шелковым...»

Ребята завистливо притихли, а я становился все смелей и смелей и

поражал девчат своей памятью, диктуя без роздыха: «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды...», «Я брожу опять в надежде услышать шорох и плеск весла. Ты что ж не выйдешь ко мне, как прежде?..»

В тот вечер я, может, покорил бы, если не всех девчат, то уж хоть с одной заимел бы знакомство. Была там из кондукторской группы, смотрела на меня, рот открывши, в берете, в новой телогрейке, с косами — красивенькая. Я уж и диктовать-то рассеянно начал, путаться стал, и до чего дело дошло бы, одному Богу известно, как вдруг, оттолкнув дневального, с громом ввалился в наше общежитие зав. станционным пищеблоком. «Жулики! Засужу! — кричал он. — Засужу! Всегда в первую очередь отпускал! А вы?!»

Дурак он, тот станционный буфетчик! В людях совсем не разбирается. Разве горлом фэзэошника возьмешь? Мастера, замполит, комендант, директор — вон какие люди, генералы почти! — и те с нами вежливо; «Вас назначили», — говорят. «Вы обязаны...». «Вас просят», «Вы на дежурстве» и так далее.

— Минуточку, гражданин! — поднялся с кровати староста нашей группы Юра Мельников и солидно помолчал. — Вы по какому праву врываетесь в молодежное общежитие, напав на часового в военное время? — Юра сделал паузу, еще более солидную. — И почему позволяете себе в присутствии девушек оскорблять молодое рабочее пополнение?

Ах, как я жалею, что не было у нас фотоаппарата. Хотелось бы мне сохранить на память карточку того буфетчика! Моментальную.

Он еще хранил спесь и надменность, то самое выражение, которое носили в войну на улице работники разных пищеблоков, но разгон иссяк, душа его и мысль сбились с заданного настроения, и он забормотал что-то насчет бака, который совсем недавно вылудили цыгане за большие по тем временам деньги, насчет норм, перерасходов и ответственности.

В дебаты вступила вся наша дружная составительская группа, гость наш — путевой обходчик, затем и девки. Буфетчик был сокрушен и раздавлен. Дело дошло до того, что тот же дневальный, которого зав сорвал руками с поста, пхнул его прикладом в зад.

Вот так-то, дорогуша. Ты грудью на массы? Но если массы спаяны — они сила! А если их к тому же возглавляет такой человек, как Юра Мельников, — сила двойная! Он умрет за коллектив и за каждого члена коллектива тоже. Вон он мне пальто дал, пайки выхлопотал. Иду я, а карманы так приятно оттягивает! И могу я пайки слопать, по могу и повременить.

Дальнейшая работа по устранению конфликта велась уже не через

зава, а через раздатчицу буфета, Кланю Сыромятникову — землячку Юры Мельникова и близкую знакомую моего ходового дяди Васи.

Бак, вылуженный цыганами за большие деньги, был возвращен в пищеблок с условием, что отныне и до окончания века галушки любому фэзэошнику будут выдаваться вне очереди, без предъявления желдорбилета. И всякий другой продукт, изредка попадающий в буфет, как-то: соленая черемша, грузди соленые, квашеная капуста, вареная свекла — тоже отпускаются фэзэошникам на льготных условиях.

Бак с галушками больше не выставляли в коридор станционного буфета, зав на всякий случай здоровался со всяким лицом, хоть чем-то смахивающим на учащегося трудовых резервов.

Дорога отвернула в сторону от крупно и густо запорошенной косы. Берег с мерзло потрескивающим лесом и домами отнесло в серую, густую наволочь. Перестали взвизгивать ботинки.

Заносы.

В спину ударило ветром. У щиколоток, возле раструбов ботинок ноги взяло в железные кандалы. Домов не видно. Огни школы глухонемых загасли. Ни искорки, ни звездочки, ни подводы, ни путника на дороге, ни отголоска жизни. Ветрено. Холодно. Тесно в торосах. Одиноко в ночи. Надо нажимать. Надо идти. Теперь только идти и идти. Раз уж не свернул на огонек в Гремячей, постеснялся обеспокоить людей в школе глухонемых, где, конечно же, из-за фэзэошника установили бы на ночь дежурство. Такая уж слава у нашего брата: фэзэошник и арестант почти на одной доске. «Ладно-ть, живы будем — не помрем! — заметив впереди темнеющий остров, подбодрил я себя. — Давай об чем-нибудь сердечном думать. Ну хоть бы о кондукторше с косами».

Как познакомиться с нею? Может, записку написать? Как ее зовут? Не спросил. Вот недотепа! Мне почему-то кажется, зовут ее Катей. Всех девушек с косами, по которым бусят волосинки, выбиваясь из ряду, у которых надо лбом завитые колечки, повернутые друг к дружке хвостиками, пухленькие, удивленно приоткрытые губы, глаза стеснительные, то и дело запахивающиеся ресницами, — всех таких девушек зовут Катями и Сонями. Такие девушки очень трогательны сердцем, нравом кроткие, чувствительны к песням и стишкам. Этой Кате-Соне надо послать письмо с эпиграфом, да с таким, чтоб сердце от него дрогнуло и обомлело: «Мне грустно и легко, — написать. — Печаль моя светла. Печаль моя полна тобою!.. А. С. Пушкин».

Мне грустно и легко...

Нет, не грустно и не легко, после шестнадцати отчего-то мне очень

одинокое сделалось, так одиноко, как не было даже в игарской парикмахерской, и все мне хочется куда-то уехать, убежать. Зачем я такой уродился? Вон ребята как живут. В картишки перекидываются, на танцы в красный уголок бегают, девчонок потискивают в коридорах, иной раз вывертывают в общежитии пробки или по другому портят электричество, чтоб тискать их в темноте. А я этого не умею. Имя у девушки и то постеснялся спросить. Размазня!

Вот и остров. На нем нет доброго леса. На нем несколько старых, неуклюжих и каких-то неприкаянно-одиноких тополей, вершины редких тальников, свистящих на ветру, да сигнальный щит, у которого доски приколочены вразбежку. И хорошо, что вразбежку. Раз негде укрыться, стало быть, надо шагать.

Шагать, шагать и шагать.

Приверху острова выдуло до гальки. Со льда, горбато выгнувшегося на обмыске, счистило снег. Лед провалью темнел, и дорога исчезла на нем. Сначала еще заметны полосы от полозьев, выбоины подков, царапины, трещины, но все исчезло, размылось в белом: и полозновица, и выбоины, и царапины.

Я разбежался. Чэтэээ мои закричали и покатали меня по мраморно-гладкому черному льду. Я еще разбежался, еще катнулся. Ветром меня заносило, развертывало, а я упорствовал. «Кати-и! Все равно, как голый лед кончится, пойду по дороге».

По дороге! Но где же дорога?

Торосы. Торосы. Снег. Сугробы. Снова торосы. Дороги нет. Я одолел один занос, другой. Рваным лоскутом темнело озерцо голого льда. За ним тонким слоем снег. Еще озерцо, поуже, поменьше. Полоска снега. Россыпь темных пятен, будто перья отеребленного глухаря, но перья крутит, заносит, поднимает куда-то. И реже пятна голого льда. Значит, я ухожу от приверхи острова. Значит, я иду ладно и вот-вот выйду на дорогу.

Единственный мой ориентир — торосы. Козырьки льдин наклонны по течению, подобно трамплинами. Идти встречу им трудно. О зубья льдин больно ударяются кости ног, особенно колени. И оттого, что замерзли ноги, руки, весь я заколел, боль от ударов такая, что стукнусь о льдину — и сердце схватывает, в глазах просверки и сразу темень. Самого себя не видать.

Катанки бы. Хоть подшитые. Есть же на свете такая обувь — катанки! Утром их вынут из русской печи. Насунешь — и ноги попадут в сухую да такую мягкую теплоту, что долго-долго радостно всему телу. Что может быть уютней такой обуви? Но люди изобрели ботинки. Чэтэээ! Зачем?

Зачем я не остановился в школе глухонемых? Мы бы так хорошо потолковали с Алешкой, и он сказал бы мне, что стряслось дома. Редко мы видимся ныне с Алешкой. Война всех сделала занятыми. Но если встретимся, Алешка обнимет меня и давит так, что я дня три не могу владеть шеей. Он и сегодня свернул бы мне шею от радости. Ну и пусть. Может, мне и не надо в село? Может, блажь Августе в голову ударила? Ребятишки. Нужда. Выдохлась — пожаловаться охота. Кому пожаловаться-то?

А может?..

Нет, об этом я не буду, не хочу думать, не стану!

Дороги нет. Пропала дорога. Бесы-лешаки из-под ног ее вынули. Никогда мне в голову не приходило, что можно потерять торную санную дорогу. Не в лесу, не в тайге — на реке потерять!

Уметь надо!

Какой повальный ветер к ночи. Всего меня продувает. Одежонка на мне легка и тонка сделалась. Даже пальто Юры Мельникова не стоит против сибирского ветра-звездуна. Ах, пальто ты, пальто! В вагоне, может, и хорошо в тебе, но здесь не шибко. Велико ты мне, и поддувает всюду. Колом стоишь, деревянное сделалось.

Хорошо, что ребята дали пару теплого белья. Миша Татаренко, парень из тех самых самоходов, что жили когда-то в слободке, которую я только что миновал и потерял, отвалил бабью меховую душегрейку. А вот штаны тонки. Варезки коротки. Шапка мала. Ботинки — чэ-тэзэ — веселы, да тесноваты. Все на мне залубенело, ровно в мочальные ленты я обернут. И дорогу я потерял. Нет дороги.

Ветер. Снег. Холод. Сибирская погодка. Нашенская. Катанки бы и доху, да шубные рукавицы, да шапку меховую против такой погоды...

Ах, пальто ты, пальто! Кто тебя придумал, кто?.. В школе я сочинял стишки. Разом сочинял и про все. Дивились ребята моему таланту. Из-за стишков я плохо учился по математике, потому как считал, что человеку, умеющему составлять стишки, математика ни к чему.

Воина пришла и все перемешала,
Всю жизнь она поставила дыбом!
Да, трудно нам, и отступаем мы сначала.
Но все равно вколотим фрицев в гроб штыком!

Эти стишки я сочинил для первого номера стенной газеты

желдоручилища и подписался — Непобедимый.

Непобедимый! Вот околею здесь, так буду непобедимый! Скотина! Дубина! Идиотина! Тьфу ты, опять стишки!

Начались сугробы. Забрался я в огромные, кучами вздыбленные, язвенно лопнувшие торосы — такие бывают на высунувшихся из воды камнях. Куда я ни ступлю, всюду здесь льдины стоят торчмя, острые, гладкие, меж них рыхлый снег. Я зацепился полый пальто за льдину и рухнул грудью на что-то твердое. Пощупал — камень, маковка камня, залитая водою. Вокруг него позванивали на ветру льдинки. Я привалился к камню. Он был стылый и гладкий, но под ним, в онемелой глубине жила река. За камнем, в водяном заветрии, стояли таймени и ждали весны и тепла. И тот таймень, что бродень с меня когда-то стянул, быть может, тут же стоит и посмеивается, тварина: опять ты, малый, впросак попал!

Был бы я рыбой, про войну ничего бы не знал. Стоял бы сейчас в сонной глубине, а по весне рванул бы в верха — икру метать.

Добраться бы мне сейчас до дач, пусть нетопленых, холодных, да все же в лесу стоящих, со стенами, с крышей. Оторвать доски с окон и в печь их...

Надо искать берег, дачи. Лежать нельзя. Минуту я лежу, не больше, но уже щипнуло запястье руки и большой палец ноги, давно еще обмороженный. Я знаю, как такое бывает. Вдруг стеклянной резью пластанет по живому, в глубь тела войдет тонкая игла, и это место перестанет «слышать». Другая игла, уже быстрее, вопьется рядом с нею, и еще частица твоего тела отделится от тебя.

И тут же потянет в сон.

Знаю. Все знаю, а встать не могу. Даже шевелиться не хочется...

Да что такое особенное случилось? Потерял дорогу? Ну и... Подумаешь, дорога! Я на родной реке! На той реке, по которой плавал, ходил, ездил на моторке, на лодке, на лошади, ходил на своих двоих. Мне здесь с самого детства все знакомо. Каждый выступ берега. Каждый остров. Каждая скала. Шалунин бык. Собакинский остров. Совхоз Собакинский...

Вот интересная тоже штука: совхоз только на моей памяти переименовывали не единожды. Он, кажется, назывался «Красный луч», «Коммунар», «Пионерский» и еще по-разному, но как был окрещен чалдонами Собакино в честь речки, на которой имел неосторожность разместиться, так Собакинским и оставался до тех пор, пока к имени «Удачного» не пришел с победою и славой, мало кому ведомыми. Чтобы

чалдона с места своротить, шибко много всего надо. Ты ему: «Стрижено», а он тебе: «Брито». И все тут.

Собакино ты, Собакино! Где же ты есть, Собакино? Мне бы хоть берег найти, не ходить по кругу чтобы, тогда б уж я добрался до тебя, Собакино. А там люди живут. Кони есть. Собаки, конечно, есть. Хоть бы они забрехали. Но в такую погоду собаки под лавками спят. В такую погоду добрый хозяин...

Это мне все нипочем! Это я, упрямый чалдон, фэзэошник-уркаган, рванул к тетке в гости. Наперекор стихиям. Молодецкой грудью на преграды. Непобедимый! Герой! Иван-царевич! Дерьмо собачье! Видно, и впрямь, что тупо сковано — не наточишь, что глупо рождено — не научишь. Видел же, видел... когда от дока спускался, что ничего хорошего на небе нет: с городского краю в лохмах серых оно, с той стороны, где село родное, над перевалами разошлись тяжелые пластушины, голубенькое обнажили. Далеко-далеко, глубоко-глубоко, голубенькое-голубенькое. Как взгляд одной девчонки, с которой я учился в третьем классе и о которой никогда ничего и никому не скажу. Знал — нечего хорошего ждать. К стуже, к пурге такое небо. Приметы сами в меня впитались. На лоне, как говорится, рос. Но вот вспомнился мне взгляд третьеклассницы, подарившей на уроке труда платочек с буквами: «Н. Я.», потом о Кате-кондукторше мысль пошла, и все я на свете позабыл. Чувствительный какой!

Я пересилил себя, заставил подняться. Иду, спотыкаясь о торосы, падаю. В рукавицы начерпался снег. В ботинки тоже. Вытряхивать некогда. Останавливаться нельзя. Мне конец. Скоро конец.

— Э-э-э-э-эй! — крикнул я прерывающимся голосом. — Э-эй, кто-нибудь!..

Безнадежно это. Однако ж на то я и чалдон, чтобы верить в чудо, в наговор, в приворот, в сглаз и в прочую чертовщину. Остановился. Вслушался. В голове начала гудеть от напряжения кровь.

Никакого чуда нет. Чудо в тепле, за печкой живет. Чудо слушает сказки, вой в трубе. Чудо мохнатое, доброе, домовитое. Чудо — пуховый платок покойной матери на больных ногах. Чудо — руки бабушки, ее ворчанье и шумная ругань. Чудо — встречный человек. Чудо — его голос, глаза, уши. Чудо — это жизнь! Я не хочу умирать.

Мне семнадцать лет. Только еще семнадцать. Я еще не окончил фэзэо, еще никакой пользы людям не сделал, той пользы, ради которой родила меня мать и растили меня, сироту, люди, отрывая от себя последний кусок хлеба. Я и полюбил-то всего еще одну девчонку, в третьем классе, и не

успел ей сказать о своей любви. Я только берег ее платочек с буквами «Н. Я.», что значит Нина Якимова, даже не утирал платочком нос и стирал его редко, чтобы не изнашивался.

И кондукторше Кате записку не успел написать. Нельзя мне умирать. Нельзя. Рано.

Лицо мое мокро. Губы соленые. Только теперь, когда выдохся и снова упал, обнаружил, что причитаю я по-бабушкиному, в голос:

— Бабушка! Бабушка, миленькая! Где ты? Пропадаю!..

Я делаю то, что делают все люди на свете в свой последний час, — зову самого дорогого человека.

Но он не слышит меня.

Всегда слышала меня бабушка. Всегда приходила ко мне в нужную и трудную минуту. Всегда спасала меня, облегчала мои боли и беды, но сейчас не придет. Я вырос, и жизнь развела нас. Всех людей разводит жизнь. Зачем я хотел скорее вырасти? Зачем все ребятишки этого хотят? Ведь так хорошо быть парнишкой. Всегда возле тебя бабушка.

От слез состылись ресницы, губы свело холодом. Я привалился плечом к торосу, утянул голову в каракулевый воротник, меж кучерявинок которого набился и затвердел снег.

Я сдался.

* * * *

Но нюх и слух мой были еще живы, и живым, неостывшим краем сознания я уловил скрип подвод, голоса, лай собак. Недоверчиво высунув голову из твердого, каменноугольного воротника, прислушался. Порыв ветра хлестанул в лицо сыпучим, перекаленным снегом и донес слабый отголосок собачьего лая. Недовольное такое твяканье сварливой шавки, скорее всего дачной. Дачные люди почему-то добрых собак не держат.

Я вскочил и поспешил на этот лай. Через какое-то время приостановился, напрягся.

Ничего не слышно.

И тогда я побежал, чтобы поддержать в себе тот порыв, который поднял меня из сугроба, и ту надежду, которая занялась в душе. Я уверял себя, что лай был, брехала шавка дачная, близко, рядом. Я хитрил сам с собой, обманывал самого себя и, странное дело, верил в обман, может

быть, оттого, что больше мне верить не во что было.

В какой-то момент я обнаружил, что идти мне сделалось еще труднее, и не сразу уразумел, что карабкаюсь на крутизну.

Берег!

Наткнулся на крутой, подмытый берег. Мне стоит только подняться на него и...

Я сделал шаг, другой и вместе с налипшей кромкой снега провалился в тартарары. Пальто цеплялось за какие-то выступы, ноги и руки било о твердое, в голове деревянно брякало от ударов и озарялось вспышками.

Ну вот прилетел куда-то, сверзился. Лежу в какой-то дыре. Ветра здесь нет, он шел вверху, надо мной.

Оттуда, сверху, порошился снег, хрустел на зубах. Я повернул голову туда-сюда, слева и справа, впереди и сзади было темно, какие-то стены всюду.

Что я, в могилу провалился? Замуровало меня?

Открытие это несколько не потрясло меня, так я отупел и устал, что оттого лишь, что не было ветра и снег не хлестал в лицо, мне сделалось лучше. Я отдышал, приходил в себя, а сверху все шуршал крупною и сыпался, сыпался снег. Сыпался пригоршнями, порциями.

Порция! Почему мне вспомнилось слово «порция»? Я собирал растрепанные мысли в кучу, пытался дать им ход. Память билась около желдоручилища: мастер Виктор Иванович Плохих, Юра Мельников, галушки в баке, греет хлеб, а не шуба. Та-ак. И мышшь в свою норку тащит корку. Та-ак. Нету хлеба ни куска — в нашем тереме тоска. Та-ак. Каков ни урод, но хлеб тащит в рот...

Да у меня же в кармане хлеб! Порции! Две пайки! Вечерняя и утренняя! По двести пятьдесят граммов в каждой. Целых полкило! Батюшки светы, пропал бы и хлеб не съел!

Я сдернул рукавицу, засунул руку в карман. Вот она, пайка. Вот он, хлебушко! Уголочек хлебного кирпича. Виктор Иванович попросил отрезать горбушку — всегда кажется, горбушка больше серединки. Мастер знает — путь не близок, знает, что тетке кормить меня нечем. Мастер все знает. Мастер у нас — голова!

Я ем. Рву горбушку зубами. Жую кислый хлеб с вялой, но живой коркой и чувствую, как жизнь, было отдалившаяся от меня, снова ко мне возвращается. От хлеба, пахнущего пашней, родной землей, жестяной формой, смазанной автолом, идет она ко мне, эта жизнь, захлестнутая бурей, снегом и железом.

В одной книге я вычитал, будто жизнь пахнет розами. «Это было давно

и неправда!» — так сказали бы фэзэошники-уркаганы. Такая жизнь, если она и была, так мы в нее не верим. Мы живем в тяжелое время, на трудной земле. Наша жизнь вся пропахла железом и хлебом, тяжким, трудовым хлебом, который надо добывать с боя. Мы и не знаем, где и как они растут, розы-то. Мы видели их только в кино и на открытках. Пусть они там и растут, в кино да на открытках. Пусть там и растут.

Дороже всего на свете хлеб. Хлеб! Тот, у кого нет хлеба, этой вот кислой горбушки, не может работать и бороться. Он погибает. Он уходит в землю и превращается в червяка. Его насаживают на крючок. И клюет на него рыба. Таймень клюет, может, даже пищуженец, совсем бесполезная, срамная рыба.

— Врешь, не возьмешь! — кричал я, оживленный хлебом. У меня получилось «еш-ш-ш!». Однако ж не зря съел я хлеб. Кровь шибче пошла по жилам, голова стала соображать лучше, как говорится: которая курица ест, та и несется, а которая несется, у той и гребень красный. Надо зажечь листки от пэтээ, в которые был завернут хлеб. Зажечь, согреть руки, осмотреться.

Листки от пэтээ горят хорошо, но грева от них мало. Я выдергиваю листочки из второго кармана, и пайка, еще одна, остается в кармане нагая. Пальцы начинают щупать друг друга, и я затеиваю немислимое дело — закурить.

В брючном кармане, в бумажном пакетике, завязанном в платочек с буквами «Н. Я.», есть табак. «Смерть Гитлеру!» — табак называется. Его привезли ребята из Канска и дали мне в дорогу. Табак черен, будто деготь. Это не табак, это бумага, пропитанная никотином. И когда зобнешь от сигарки...

Кручу сигарку. Кручу ее пальцами, губами, зубами. Я должен ее скрутить. Должен!

И я закурил. От спички закурил. Спички тоже привезены из Канска. Коробка у меня нет. Спички — десяток штук — насыпом в кармане, и картонка, облитая смесью, об которую зажигаются спички. У меня еще есть в запасе кресало. Но с кресалом сейчас не сладить.

Я курю. Кашляю и курю. Боюсь одного, чтобы не погасла сигарка. Говорят, табак приносит вред. Твердят об этом с самого детства. Всем твердят, и все согласны — курево вредно, губительно. И все же курят.

Почему? Ответа я не знаю. Мне еще нужно выбраться отсюда, побывать на фронте, и тогда уж я точнее смогу ответить на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. А пока я всего лишь фэзэошник-недомерок. И табак оказывает мне сплошную пользу.

Пока я крутил сигарку, переводил спичку за спичкой, пока прокашливался от первой затяжки, пробравшей меня до кишок и дальше, понял, где я нахожусь, осмыслил свое положение.

Провалился я меж двух штабелей бревен. Вроде бы ничего не переломал: ни руки, ни ноги. Может быть, потому, что штабеля эти мне известные? Лес в штабеля я возил вместе с дядей Левонтием и с моим вечным другом и мучителем Санькой, который поздней осенью ушел на фронт. Воюет Санька, а я вот загораю. Погибать взялся. Да если уж погибать, так с музыкой, ладом погибать! На войне, в бою, с народом вместе. Чтоб врагам жутко было.

И я увидел себя на коне, с саблей в одной руке, со знаменем в другой. Впереди народишко какой-то мельтешит, а я рублю, а я крошу врагов в капусту!

— Ур-р-ра-а-а! — ударил во что-то кулаком и от боли очнулся. Заснул! И во сне кино начал видеть военное. А никакого кина нет. Ветер свирепствует, гудит в штабелях.

В конце лета я выехал из Игарки и подал документы во вновь открытое железнодорожное училище фэзэо, пока им дали ход, пока начались занятия, надо было чем-то кормиться, добывать паек. И дядя Левонтий, обношенный, поугрюмевший, заметно сдавший, взял меня выкатывать лес на бадюги. От военной пайки послабел дядя Левонтий, потому и не удержал плоты возле Караульного быка, не учалил их к месту. Его прошвырнуло течением вместе с плотами на несколько верст ниже известкового завода, и пришлось бревно выкатывать у Собакинской речки.

Ну, не бывает худа без добра! Не случись этого, что бы со мной было теперь? Везучий я человек, везучий!.. Не колдун, конечно, но все же...

Стоит мне сейчас набраться сил, выбраться наверх, и совхоз Собакинский — вот он! Дома — вот они! Дело за небольшим — выбраться.

И выбрался. Не сразу, конечно. Сначала пытался подтягиваться на руках, но пальто было слишком тяжелое, силенки во мне осталось мало. Я срывался и падал, сшибая о бревна локти, колени, разбил подбородок, разорвал под мышкой пальто. В дыру сразу же проник холод, начал остро когтить грудь.

Вплавь я сумел выбиться наверх. Сначала шел меж штабелей по снегу, потом брел, когда сделалось по горло и почувствовал, что нахожусь у самого среза осыпавшегося яра, — поплыл по снегу, отталкивался ногами, гребся руками, перекачивался мешком, работал локтями, спиной, шеей, головой — всем, что еще во мне было живое.

И когда можно было встать и пойти, я все еще не верил себе, все еще

барахтался в снегу, пока руки в заледенелых варежках не застучали о твердую полозницу. Я поскреб полозницу, заполз в желоб дороги, раскопал темные катышки конских шевяков, понюхал рукавицу. Она пахла назьмом, конским живым назьмом. Кони прошли по дороге совсем недавно!..

Я стер с лица снег и увидел вблизи заплот, за ним, или там, где он кончался, неяркий, деловитый огонек светился. Низко, у самой земли, рыльце окна сонно покоилось в проеме снежного сугроба — ровно бы продышал огонек себе дырку в снегу.

Ошеломленный видением, запахом жилья, конского назьма, древесного дыма, какое-то время стоял я под ветром и боялся верить себе.

Огонек в низком окошке заморгал, сморился, померк. Он еще выбился раз-другой из серой мути, еще порябил солнечным бликом, но тут же рассеянно дрогнул и загас.

Поблазило мне: и огонек, и запах жилья. Но в мокрый нос, в неживое мое лицо било запахом назьма, дымом било. Я заставил себя идти на запах дыма и нашел то, чего искал. Огонек внезапно оказался передо мною, все такой же приветливый, деловитый. Никто его не гасил. Просто закручивало ветром дым из трубы, бросало его куда попало, порою захлестывая окошко у земли.

«Ах ты какой! Ах ты какой!» — Обругать огонь по-крутому я боялся. Разом сделался бравый ругатель-фэззошник суеверен и страшился, что от нехорошего слова, от неосторожной мысли все может взять и исчезнуть.

Я перебирался по бревнам, в рыхлых заметах подле завалинки, не решаясь отпустить от избушки. Я искал дверь и никак сыскать ее не мог. Если бы во мне сохранилось хоть сколько-нибудь шутливости, я бы сказал: «Избушка, избушка! Повернись к лесу задом, ко мне передом!» — и сразу нашел бы дверь. Но я не только шутить, я ни говорить, ни думать не мог. Сил во мне не осталось совсем. Меня охватило томительное желание сесть возле избушки в снег, прижаться к бревнам, вдавиться в них и погрузиться в сладкое забытие. Это так славно: сесть в заветрии, закрыть глаза и верить, что тут, возле человеческого жилья, пропасть тебе не дадут.

Вот так, расслабившись, люди замерзают у самого порога, у дверей жилья. И если бы не запах дыма, что сверлил мне ноздри, густым дегтем плыл мне в горло, я стал бы карабкаться по глухой стене избушки, расчерченной снегом в пазах. Я бы плюхнулся в снег и уснул.

Но беспокойным флагом метался дым над землею и напоминал все только живое, теплое: субботнюю баню с легким угаром, после которого будто и не дышишь, будто хлебаешь воздух, ключевую, зуб ломящую воду, печку русскую с тихим, верным теплом; вороватый шорох тараканов в

связках луковиц и в лучине; кислотовато-умиротворяющий запах квашни и прело-сладкий дух паренок из кути; звяк подойницы и шорох молока в волосяном ситечке; голос бабушки, привставшей на припечек: «Пей, пей парное — скорее поправишься...»

Запах дыма! Привычный с детства, до того привычный, что перестаешь его замечать. Порой и досадуешь на него, когда ест им глаза. Но нет ничего притягательней и слаще дыма. Нет. Где дым — там огонь! Где огонь — там люди. Где люди — там жизнь!..

Вот она — дверь. Вот деревянная скоба, сколотая в середине, да не могу я ее открыть. Опустившись на приступок, оплесканный водой, на пристывшую к нему солому, на втоптаный в лед голик, я царапаюсь в дверь, как пес лапою, а в щели двери несет душной теплотой — вроде бы хомутами пахнет.

— Кого там лешак принес?

Я попытался ответить, но только мычанье выбилось из мерзлых губ. Слезы мешали словам. От дыма ли, от радости ли они катились и катились по скользким, ознобленным щекам, попадали в рот.

— Да кто там?

— Дяденька, помогите ради Христа! — сказал я, как думалось мне, громко, на самом деле промышчал какую-то невнятицу.

Со мной произошло то, что происходило со многими чалдонами прежде и теперь — в крайнюю минуту они вспоминали Спасителя, хотя во здравии и благополучии лаяли Его. На фронте не раз мне доведется увидеть и услышать, как неверующие люди в смертный миг вспомнят о Боге да о матери, а больше ни о чем.

Но нет у меня матери, и бабушка далеко.

За дверью кряхтенье, скрип нар, нудный голос:

— А-ать твою копалку! Токо-токо ноженьки успокоилися, токо-токо анделы над башкой закружилися, и вот лешаки какого-то полуношника несут... И чё ходят?..

Чалдон! Доподлинный чалдон! Пока встает и обувается, уж поворчит, поругается. Но пустит. Обязательно пустит. Обогреет, ототрет, последнее отдаст. Однако ж отведет при этом душеньку, налается всласть.

Чалдон, родной, ругайся, как хочешь, сколько хочешь, но открывай! Скорее открывай!

Чугунная плита об одну дырку — в огненных молниях. В трещины и меж кирпичных стенок выхлестывал дым с пламенем. Избушка наполнена гулом и дрожью. Волнами накатывает жара. В гуле печки, в ее потрескивании, неожиданно громких хлопках что-то дружески-бесшабашное. Так и хочется обхватить эту кособокую, умело слепленную печурку с треснутой плитой.

Но нет мне хода к печке.

Я сижу на дровах, ноги мои в лохани с водой, правая рука в глиняной чашке. На печку я смотрю будто собака на кость, которую ей пока не дозволено брать. И только потянусь я к печке рукой или грудью, хозяин этой избушки на курьих ножках кричит мне:

— Нельзя! Нельзя-а-а!

Он сидит на нарах, привалившись грудью к столу, исколотому шилом, избитому гвоздями.

Отдыхивается. Уработался.

Он оттирал мне снегом ноги, правую руку, побелевшую до запястья. Лицо он посчитал предметом второстепенным, и, когда добрался до него, было поздно. Лишь сорвал суконной рукавицей отмершую кожу со щек и правого уха. Почему-то я всегда зноблюсь правой стороной, а ранюсь и ломаю все с левой стороны...

Шорник растрепан. Его лохматая тень шарахается по избушке. Наконец он отдышался, утер потное лицо подолом рубахи и зачесал волосы назад женской гребенкой. Я потихоньку скулил и всякие подробности отмечал лишь мельком, в сознании моем они не задерживались.

— Задал ты мне работы! — заметил шорник и ободряюще поглядел на меня.

Во рту с правой стороны его обнаружилось пустое место. Но уцелевшие зубы белы и крепки, видать, серу с детства жевал человек и укрепил зубы. Я отвлекся на секунду, разглядывая шорника, затем снова запел от жжения и боли.

— Дак чей будешь-то? — не оставлял меня в покое шорник. По мягкости и приветливости его слов я определил — можно к печке. Но он повысил голос. — Не лезь! Не ле-езь! Дурная голова! Такая резь начнется — штаны замочишь! Потылицыных, значит? Катерина Петровна Потылицына кем доводится тебе? Бабушка!

Шорник всматривается, но лампешка с половиной горелки светила за

его спиной на окне, и он, должно быть, плохо различал меня. Хозяин избушки до странности гол лицом — ни бороды, ни усов, лишь из черной бородавки, с копейку величиной, прижившейся на подбородке, торчат седые волосы и отсвечивают, когда он поворачивается к лампе. Голова его стрижена без затей, под кружок. Седые волосы, ровно подсеченные ножницами, спущены низко и зачесаны за уши. Мерещится мне, что мочки ушей проколоты. Голос шорника сипл и раздражителен. И вообще человек он сердитый, видать, тогда как все шорники и сапожники, мною прежде виденные, — народ пьющий, прибауточный, веселый. Те, о которых моя бабушка говаривала: «В поле ветер, в заду ум!» «Знать-то он из цыган!» — почему-то решил я, но отгадывать шорника, заниматься им дальше мне в общем-то невозможно. Не до него совсем мне.

Лицо распухло, ошпарено будто или осами искусано. Ноги рвет, руки рвет. Я все так же однотонно, по-щенячьи скулю. Стомленный шорник глядит в мою сторону и, трудно собирая из слов фразы, сообщает:

— Была здесь Катерина-то Петровна, днесь завертывала.

Я перестал скулить.

Шорник стянул с ног валенки и грел их над плитой.

— Из городу плелась, от старшего Кольчи. У него скоко-то на хлебах жила.

«Да он же заговаривает мне зубы! Отвлекает меня!» — сделал я неожиданное открытие и кивнул на жестяную банку, где луковой шелухой желтели бумажки от старых окурков.

— Вы, случаем, не курящие?

— Курящие! Да еще как курящие! — тоскливо вздохнул шорник. — С вечера конюха починялися и сожрали весь табак. Теперь хоть задавися. — Какое-то время он слушал ветер за избушкой, затем протяжно вздохнул: — И кто курить придумал? Без хлеба выдюжу, без табаку нет, ать его копалку!

Радый до бесконечности, что хоть чем-то могу отблагодарить человека, который, догадываюсь я, греет для меня катанки, а сам в кожаных опорках топчется у плиты, я предложил ему вынуть из моего кармана пакетик с черным табаком. Шорник кинул валенки за плиту, разом забыл о них и суетливо шарил в моем кармане, ровно обыскивал меня. Затем поспешил к столу, на свет. Опорок с него спал. Он искал его ногою, не дышал и с аптекарской бережливостью развертывал бумажку с табаком.

Он так и не сыскал ногою опорок.

Подобрав стынущую от пола ногу по-птичьи под себя, он скрутил сигарку, с мычанием приткнулся к лампе, почти все пламя вобрал в себя, затянулся, хлебнул дыму и закатился далеко возникшим, беззвучным

кашлем. Его колотило изнутри, зыбало так, что волосы на голове подпрыгивали, вытряхнули гребенку и рассыпались соломой.

Промельком сверкнуло — дедушка на бревне, сигарка, светящаяся в вечерней первотеми, колуном раскалывающий тишину кашель...

Я уж начал вынимать ноги из лоханки, чтоб отваживаться с человеком, но тут он разразился хриплым звуком — стон пополам с матюками — и, когда маленько откашлялся, отплевался, вытер подолом рубахи слезы, оглядывая экономно скрученную сигарку, восторженно крутанул головой:

— От эт-то да-а-а! От эт-то табачо-ок!

— «Смерть Гитлеру!» называется.

— Смерть, значит? Гитлеру, значит? Уконтромят его скоро. Вечор конюха-бабы сказывали: сообщенье по радио было, пожгли будто германца видимо-невидимо под Москвой огненной оружей. Германец-то замиренье просит, наши не дают. Капут, говорят! До окончательной победы... Э-э, ты чего ноги-то вынул? Не ломит уж? Тогда катанки мои насунь. Катанки, катанки, — засуетился хозяин, оживленный до крайности, будто хватил не табаку, а стакашек водки. — Допрежь ноги-то оботри. Во онуча, ей и оботри. Рушников у меня нету...

Наконец-то я у печки! Но усидеть долго не могу — лицо рвет, выворачивает, словно рукавицу, хотя шорник и смазал мне его гусиным салом и уверял: заживет, мол, до свадьбы.

На плите пеклись картошки и пригоршня овса. Овес шевелился, подпрыгивал и лопался по брюшку. Шорник помешивал овес пальцем, исполосованным дратвою, и теперь его совершенно голое лицо в темных и мелких складках я рассмотрел подробней. Короткая шея обернута старым женским полушалком и по-бабьи повязана под грудью. Мочки ушей и в самом деле проколоты.

— Шелуши, шелуши! — ткнул пальцем в овес шорник. — Скоро картошки поспеют, чай сварится. Погреешь нутро-то. Самогону бы, да где его возьмешь? Такое время наступило... Ох-хо-хо-о-о! — Во вздохе мне снова почудилось что-то бабье.

Шорник покурил и сделался мягче лицом, суетней и хлопотливей, может быть, оттого, что начал я внимательней следить за ним, и он застеснялся меня, как всегда стесняются нормальных людей горбуны, калеки и всякие эти, как их?

Я пробовал взять с плиты щепотку овса, но не мог — так распухли пальцы.

— Ать твою копалку! — ругался шорник. — Худо пальцы-то владеют? Ах ты грех! Ну, сейчас, сейчас... — Он сгреб овес в консервную банку из-

под окурков и поставил ее передо мною. Я цеплял языком накаленный, поджаристый овес из банки и шелушил его, будто семечки.

— Вкусно как!

Тем временем допеклись картошки, забулькал в жестяном чайнике кипяток. Шорник бросил в него жженую корочку, подождал маленько и налил мне чаю в алюминиевую кружку, себе в стеклянную банку из-под баклажан. Я хватал губами металлическую кружку с одного, с другого края и не мог отхлебнуть — горячо. Шорник дул в свою банку, щурился и сочувственно следил за мной.

— У меня есть кусок хлеба в кармане, — показал я на пальто, висящее за печкой, на хомуте, будто на человеческой фигуре.

— Картошек поешь покуль, хлеб побереги — не к мамке на блины идешь.

— Да я... Я вам хотел предложить.

Хозяин скользнул по мне глазами и с серьезной грубоватостью успокоил:

— Обо мне не хлопочи. При конях.

От чая ослаб я, осовел и беспрестанно шоркал рукавом по носу.

— Платок же у те, — показал на мой карман шорник. Туда он всунул платочек с буквами «Н. Я.», в который была завернута бумажка с табаком. Мне подумалось — это неуклюжий намек.

— Курите, пожалуйста, если хотите.

— А ты? Сам-то как же?

— Я так. Несерьезно.

— А-а, тогда другое дело! Совсем тогда другое дело! — охотно поверил в мое вранье шорник. — От табачка не откажусь. А ты не привыкай! Не балуйся. Это такое зелье клятое. Не привыкай, парень! Движения его снова сделались суетливыми, и он снова сронил опорок с ноги и нашаривал его, но только запнул дальше под нары. Потом он закатился, точно дите в коклюше, опять скрипел мучительно, со сладостью кашляя и ругаясь.

В плите прогорело. Лампешка на окне зацадила пуще. В углу, за хомутами, начали бегать мыши. Наступил поздний, наверно, уже предутренний час.

Шорник прилег на нары и освободил для меня место у стены. Ноги шорника то и дело потягивало судорогой. Он пытался найти им место, уложить поудобней, чтобы не ломило их. Но болели ноги, и в коленях хрустело, щелкало так, будто ходил он по ореховой скорлупе или наступал ими на пересохшую щепу. Знакомая мне болезнь. Помаялся в детстве.

Нынче ничего. Поноют, поноют в суставах ноги и перестанут. Молодость, видать, сильнее болезней, отпихивает она все хвори к старым летам. Все скажется после: и фэззошные ботинки, недоеды, недосыпы, и ночи на берегу весенней реки, и купанье в заберегах, и игарская парикмахерская, и эта гибельная ночь на зимней реке.

— Ох, ноженьки вы мои, ноженьки! — бормотал шорник. — Чтоб вы уж отболели, отвалилися. Туды ли, суды ли... «Смерть Гитлеру!» Придумают жа! Лампу уверни, коли не нужна. Вовсе-то не гаси. Мало ли? Война. Всех она с места стронула. Люди ходят и ездют туда-сюда. Понесет лешак такого же ероя, а огонек вот он. Моргат...

Голос шорника мягчал, растягивался, будто куделя на прялке, перешел в мык, и мык слился с беспокойным, прерывистым храпом, который то и дело сменялся короткими стонами, и все сучил и сучил шорник ногами, отыскивая им подходящее место. Сипело в догорающей лампе. Огонек ее перестал колыхаться. Избушку не шатало ветром, не ухало в трубе, не стучало на крыше, лишь хрустел на стеколке окна растекающийся ледок да сонно шуршало за стеною по бревнам.

«Да-а, стронула!», — нагледевшись, как терзает сонного человека болезнь, повторил я про себя.

Все торопятся, все бегут, иной раз уж и сами не знают, куда и зачем. Совсем сбиты с панталыку коренные жители Сибири. Они привыкли к вековечному, замедленному и незыблемому укладу жизни. Люди, не знавшие бар и не шибко жалующие дисциплину, казенные распорядки, они не вдруг поняли случившееся. Недостатки военной поры, в особенности нехватку хлеба, на первых порах переживали беспечно — голодный-то тридцать третий год давно прошел, забылся, — получивши на месяц муку, женщины замешивали ее в одну квашню, стряпали вкусно, пышно, ели кому сколько влезет, а после пухли без еды.

Война еще научит чалдонов, вернее чалдонок, всему: стряпать — муки горсть, картошек ведро; собирать колоски, перекапывать поля с мерзлой картошкой; есть оладьи из колючего овса; пахать на коровах; таскать на себе вязанки; высокие заплоты, где и ворота — спалить на дрова, открыто жить, вместе со всеми тужить и работать, работать, работать — скопом, народом, рвя жилы, надрываясь, поддерживая друг дружку.

Я всегда думал, что война — это бой, стрельба, рукопашная, там, где-то далеко-далеко. А она вон как — везде и всюду, по всей земле, всех в борьбу, как в водоворот, ко всякому своим обликом.

Время от времени еще вздымался с реки порыв ветра, и тогда сжимался огонек в лампе, вдавливало в трубу дым, он начинал пухнуть, в

печке делалось ему тесно, и в щели, меж кирпичей, в подтопок тянуло удушливой чернотой, которую тут же свертывало, всасывало обратно в трубу, и дым, словно колдун-черномор, качнув бородою, улетал вверх, раздувало и несло следом искры, взрывалось по всей печи пламя.

Дверь обмерзла в щелях и в пазах. На грязном полу, заваленном лоскутьями кожи, мякиной, клочками сена и соломы, кинжально заострилась полоса, и на пороге, в притворе толсто обозначился нарост льда. Я подбросил в печку колотых сосновых дров, наверх два кругляшка сырой березы и какое-то время сидел, слушая гуденье в трубе и пощелк разгорающейся печи.

Меня трясло.

Я глотал и глотал чай, стараясь выгнать из себя промерзлость, тем временем снова засветились щели в плите, заходили по ней молнии, сильнее запахло смолою, потными хомутами, седелками, шлеями, развешанными вдоль стен, наваленными в угол избушки и под стол. На столе нехитрые приспособления, шорницкий инструмент: банка с гвоздями и шпильками, шилья, наколюшки, самодельная игла, на косячке окна жгутом свита проваренная дратва с вкрученными в нее медными проволочками. Выше, над надбровником окошка, совсем уж ни к селу, ни к городу — плакат закопченный. Изображен молодой человек со значком на груди. Бодро вышагивал он на лыжах вдоль опушки красивого березника. Внизу плаката били по глазам красные буквы: «Будь готов к труду и обороне!»

«Будь готов! — пожалуй, был бы уж готов, если б...»

Я еще раз обвел взглядом шорницкую, прислушался к сонным стонам шорника и вяло заключил: «Да, конечно, пожимал бы теперь лапу небесному привратнику...»

И тут же увидел привратника, с лицом постным и строгим, смахивающим на коменданта нашего фэзэо. Он босой шел по ухабам снега, с позолоченной уздечкой в одной руке, хомут с веревочными гужами был у него на другой. Взгляд святого умоляющ, скорбен, но я твердо заявил: «На фэзэошника никакой хомут не наденешь! Ни в чертей, ни в святых фэзэошник не верит. Мастеру верим! Мастер у нас — Виктор Иванович Плохих. Не знаешь такого? Тогда ни хрена ты не знаешь! А еще комендант! Думал — не узнаю?! Крылышки приделал! Песочить за самоволку явился? На-ко вот!...» — Я попытался сложить кукиш, но пальцы не лезли промеж друг дружки.

Шорник не дал досмотреть этот жуткий, противоречивый сон.

— На место! Пошел, пошел! — словно псу, подавал он команду,

подталкивая меня к нарам, я, промаргиваясь, пялился на него и понять не мог — где я? Что я? Шорник заругался в копалку, подхватил меня, будто пьяного, под мышки, подволок к нарам, ткнул носом во что-то пыльное, пахнущее сеном и лошадьё. В том, как вел меня шорник, и в том, как заботливо подсунул мне какую-то лопотину в головах, вроде бы бесцеремонно, однако ж так, чтобы боли не причинить, укутал мои ноги, — во всем этом было что-то все же женское, вроде бы и бабушкино даже, воркотня шорника и та напоминала бабушкину воркотню. И когда на меня тяжело ухнуло пахнущее снегом и чуть, совсем уж чуть — вагонной карболкою пальто Юры Мельникова, я подождал бабушкиного: «Спи, Господь с тобой! Христос с тобой!..»

Но ничего более не последовало, и я разомкнул глаза.

Лампы на окошке нет. Она стояла в углу на чурбаке. Над чурбаком с хомутом в коленях склонился шорник, Подпоясанный серым дырявым фартуком. Перехватив мой взгляд, он недовольно бросил:

— Утро скоро.

Да, бабушки все-таки нет. На улице метель, и я не маленький, и где-то далеко-далеко гремит война, и люди спят в снегу, и Санька левонтьевский там, на улице, в такую стужу. Метель воет, заметает все и Саньку тоже.

Я покатился меж штабелей, в яму ли, в преисподнюю ли, словом, в какую-то жуткую бесконечность и заорал от ужаса, но сном подрубило мой крик.

Во сне я ходил по снегу босой, будто архангел небесный, затем — по горячей, докрасна раскаленной плите и проснулся оттого, что жгло ступни ног, пекло и корежило лицо.

— Стой ты, одер! Стой, морда твоя свинячья! — услышал я с улицы, еще окончательно не проснувшись и не придя в себя.

Избушка в сером, скорбном свете. Лампа погашена. В плите едва краснеют теплые уголья. Хомутов на стене нет, и оттого в избушке сделалось просторней. Обнажилось на стене множество деревянных штырей, железных крючков и зацепок. Старое седелко с оторванной подпругой брошено на чурбак. За плитой бегают мыши, коротко попискивают, собирая корм. Одна мышка прилипла к бревнам, взбежала по стене, поточила зубом сыромятную уздечку на гвозде, вдруг поймала мой взгляд, птичкой спорхнула и подала сигнал тревоги.

На время все стихло. Я поискал глазами ботинки. Присунутые подошвами к кирпичной стенке плиты, стояли они, покоробленные, расщепленные.

Я пощупал лицо, оглядел руки, ноги. Шорник спас мои ноги, спас руку

— и на том спасибо. Но лицо обморожено, щеки распухли, ухо вздулось, словно от ожога. И все же я дешево отделался.

И надо поспешать... Гостям — стол. Коням — столб. Пора. Но, известное дело: кто часто за шапку берется, тот не скоро уйдет. И какое-то время я нежусь в постели, лежу, размягченно вытянувшись, гляжу на молодого плакатного человека, спешащего к труду и обороне, собираю и привожу в порядок мысли, разбитые сном. Но пора! Пора!

Оттолкнувшись от нар, я тут же схватился за стенку — ноги, спину, все кости больно. Побился я ночью. Надо разминаться, надо разламываться, иначе раскиснешь. Я присел раз-другой, поболтал руками и ногами, словно на уроке физкультуры, затем схватил ботинок, сунул в жестяное его нутро ногу, а она не лезет. Я пощупал в ботинке — свежая сенная стелька зашуршала под пальцами. Я опустил на пол у печки, и подмыло нутро мое. Но раскиснуть я себе не дал, рывком, как будто кто-то видел мою слабость, надернул ботинок, другой, стянул их сыромятными ремешками, заменяющими шнурки, замотал фэзэошным полотенцем шею и залез в разорванное под мышкой пальто.

Прощально огляделся: тусклое окно, на нем пятилинейная лампа с нагоревшим самодельным фитилем; нары в темном углу из скрипучих горбылин, застланные сеном и поверху — старой овчиной; изголовье из половины соснового чурбака, покрытого хомутной кошмой и тряпьем; чайник на плите, второй век живущий; алюминиевая гнутая кружка, иголки, проволочки в щелях бревен, окно, будто в бане, — черное, плакат с физкультурником — эту избушку, пропахшую конскими потниками, дымом, жженой картошкой и овсом, я постараюсь не забыть, если возможно, не забыть всю жизнь.

Позднее, гораздо позднее, через много-много лет, попробую я разобраться и уяснить, откуда у человека берется доподлинная, несочиненная любовь к ближнему своему, и сделаю совсем близко лежащее открытие — прежде всего из таких вот избушек, изредка встречающихся на росстанях наших дорог.

А за дверью все скрипели и скрипели сани, бухал ковш по обмерзлой кадке, фыркали лошади, и под их подковами, точно под моими ботинками, придавленной зверушкой пицало, хрупало.

— Постромку-то, постромку подбери! — слышался все тот же скрипучий, одышливый голос. — Конь ведь, ко-онь, а не яман! Работнички, ать вашу копалку!.. Где вы токо и родились? Чему учились? Да стой ты, одер совхознай...

Распахнув дверь избушки, я остановился, захлебнувшись морозным,

резким воздухом.

Ветра нет.

По ту сторону реки, над Слизневским утесом вошло круглое оранжевое солнце. Было, как и всегда после сильной метели, недвижно, тихо, даже виновато-тихо. Леса заснеженные, утесы с белыми прожилками по расщелинам и палям окутаны стынью. Под деревьями, у заборов, в логах и возле конюшни — свежие наметы, еще не слежавшиеся в пласты. С бугров и от крыльца избышки снег весь счистило. Избы совхоза, наклонно сбегаящие с обоих косогулов к речушке Собакиной, уже с растворенными ставнями. Возле школы катаются и гомонят ребяташки. Над конторой увядшим маком обвис заиндевелый флаг. На ферме орут свиньи. Одна вырвалась из ворот и, ослепленная солнцем, запрыгала туда-сюда, норовисто взбрыкивая ядреным задом.

Шорник в подшитых кожею валенках с неровно разрезанными сзади голенищами катко бегал вокруг сгрудившихся подвод, сосал сигарку, приклеившуюся к губе, и отправлял подводу за подводой. Он был шорником и старшим конюхом — догадался я и поблагодарил его за приют.

— Не за что, не за что, парень, — отмахнулся шорник и еще нашел минуту между делом бросить: — Катерине Петровне поклон скажи. Дарья Митрофановна, конюшиха из Собакина кланяется.

— Кто-о?

Дарья Митрофановна глянула на себя, на заеложенные ватные брюки, на катанки, подшитые крупной строчкой, на тужурку с оторванным карманом. Она выплюнула сигарку, подобрала волосы под шапку, затянула полушалок на груди и первый раз за все время, как мы встретились, улыбнулась:

— Да ты неуж не узнал меня? — Дашухой прежде звали. Не вспомнил? Вот дожила! — обратилась она к коновозчикам с улыбкой и развела руками. — Я ж кума бабушке твоей буду. Василья примала. Пишет ли он с войны-то? У кумы запамятовала спросить.

Сколько же раз мне, вахлаку, эта самая Катерина Петровна вдалбливала и словом и действием: не будь лишку к людям приметлив, будь лучше к людям приветлив, а я все вляпываюсь мордой в дерьмо. И желая, как обычно, вывернуться, загладить неловкость, я хотел сообщить Дарье Митрофановне скорбное — нет ее крестника, уже нет — убили Василя Ильича на войне. Но лицо женщины было озарено такой простодушной улыбкой, такое на нем было застенчивое удивление самой собою, что не захотелось мне огорчать ее в такую минуту, и, пробормотав под нос слова благодарности, упал на уцелившуюся с горы подводу и уже издали, с

Собакинской речки, по которой раскатисто выбегала дорога на Енисей, помахал Дарье Митрофановне. Неловко — не вспомнил человека. Стало быть, давно видел. Но тут и оправдание есть: во-первых, у бабушки кумовой — хоть лошадиную голову приставь — всех не упомнишь! Во-вторых — время и война успели изменить до неузнаваемости эту бабушкину куму.

* * * *

Подвода скрипела и мерзло подпрыгивала на ухабах. Торцы бревен тех штабелей, меж которых я провалился ночью, круглыми дулами целились из снега. Под бревна набило снегу, и они слепились одно с другим, сверху козырьками припаялись белые пластушины. На такую вот пластущину и ступил я ночью...

Только-только, на самом, должно быть, утре, унялась метель, и все было наполнено утомленным роздыхом межпогодья. Могло вот-вот снова подуть, но пока кругом белый неподвижный покой.

Из мерзлого марева чуть проступал темными тальниками и сверкающим на приверхе льдом остров. Как это ни удивительно, шел я в ночи единственно правильным путем — по целику, меж торосов, срезая путь. Видно, в родных местах и слепой ходит как надо! На дороге — она от приверхи острова сворачивала влево, к устью Большой Слизневки и наосо пересекала Енисей, — на дороге этой я бы замерз или ознобился до инвалидности.

Прячу помороженное ухо и щеку, смазанные гусиным жиром, в воротник пальто. Тепла и от того и от другого мало, но дыханием отгоняет щипучую стужу. Полотенце и воротник обросли куржаком. Сквозь расчес куржака видно дорогу, помеченную вехами, елушками, вершинками пихт, сучками, палками.

По дороге вытянулись совхозные подводы. Над рекой примерз к небу полуколючком тощий серпик и светится над дугами зябкий, никому не нужный, привязался и светится. Ночью надо светиться, когда люди блуждают и погибают по дурости иль по нужде, чтоб «месяшно» было. Лошади трусят неспешной рысцой, попрыгивает месяцок вверху, катится куда-то вместе с нами. Скрипят сани, повизгивают полозья. На свежих ночных заметах сани бурлят, визг полозьев и щелк подков притихают,

отводины саней скатываются то влево, то вправо. На подводах через три-четыре лошади маячит забившийся в голову саней седок — баба или парнишка.

Торосы кругом, зубья льдин, заметы новины. Пофыркивают лошаденки мохнатыми от куржака мордами. Ни колокольца под дугой, ни медного позвякивания бляшек, какими любили сибиряки украшать упряжь. Сбруи на лошадях — горе с луком: мочальные завертки, пеньковые вожжи, чинёные-перечинёные хомуты, веревочные узды.

Лошади и те успели обноситься.

Солнце поднялось выше и стоит над селом, завидневшимся с середины реки. Вокруг солнца поразмыло туманную муть, почти стерло месяцок, но солнце в рыжей шерстке и не греет. Оно зависло на пухлых дымах, поднявшихся высоко-высоко над домами. Крепкие листовенные избы крышами да трубами темнеют в сугробах.

Кажется, все успокоилось в селе, уснуло под снегом, лишь раскаленным металлом сверкнет окно на чьем-то подворье да взбрехнет собака. Лес, спустившийся с увалов к огородам села, недвижим и пестр. Огороды, как упряжь, сдерживают разбежавшиеся под гору дома, не дают им упасть с берега. А на реке бесконечно пересыпается искрами снег, и льдины пускают ослепительные просверки в насупленные, темные скалы, внутри которых время от времени щелкает сухо, без отголоска — рвет морозом камень.

Все ближе село, завьюженное, безлюдное. В лохматой подмышке тайги кажется оно таким сиротливым и чистым, что щемит у меня сердце.

Я соскакиваю с подводы и тороплюсь к селу, черпая ботинками снег. Обоз обгоняет меня и начинает взниматься вверх по Большой Слизневке — за сеном. На этой речке была когда-то дедушкина мельница, и я там рыбачил хариусов, а бабушка теряла меня. Теперь здесь лесочасток, работает движок, у гаража трещат машины и фукает пламенем бункер газогенераторного трактора. Мельницу растаскали на дрова, остатки спалили. Лишь белый хребтик плотинки означал то место, где она прежде стояла.

Как сильно успел я соскучиться по родному месту. Смутная догадка о том, что трудно мне будет вдали от него, начинает меня томить.

Мороз послабел, но ознобленные щеки болят. На улице мне встретила незнакомая женщина с ведрами, должно быть, эвакуированная. Из подворотни юшковского дома выкатился и залаял на меня пес, но тут же усмирился, подошел ко мне, понюхал карман, в котором был хлеб. Мария Юшкова сбрасывала с сарая сено корове, увидела меня, поздоровалась. Я

спросил, где Ванька, мой однокашник, и она со вздохом сообщила, что Ваньку вызвали на приписку в Березовский военкомат. Я перевел дух, пошел медленней.

Село стояло на месте: дома, улицы, значит, и весь мир жил своей неходкой жизнью, веками сложенным чередом. Однако порядочно домов исчезло, проданы в город, перевезены на известковый завод и лесоучасток. На месте домов дыры, словно не дома из жилых порядков, а зубы вынуты клещами изо рта. Суровы ликом сибирские деревни, и на нашем селе, придавленном снегами и морозом, еще и скорбь какая-то невыносимая — нет мужиков, стало быть, и лошадей нету, не звенят пилы, не стучат колуны по дворам, не слышно веселых привычных матерков, но дымятся трубы, село живет наперекор лихому времени. С этой, именно с этой встречи с родным селом-деревушкой останется в душе моей вера в незыблемость мира. До тех пор, пока есть в нем она, моя странная земная деревушка, так и будут жить они сообща — деревушка в мире и мир в деревушке.

Вот и дом тетки Августы. Я торопливо крутнул витое железное кольцо и обрадовался, что ворота не заложены. Раскатился по крашеному полу сенок и ввалился в избу. Изба эта куплена лесоучастком, где работал шофером Тимофей Храмов — второй Августин муж. Незадолго до войны семью лучшего шофера-лесовывозчика переселили сюда.

В кути никого, но очень тепло здесь, слабенько тянуло чадом из только что закрытой русской печки, коровьим пойлом и брюквенными паренками.

— Здорово ночевали! — Я отодрал со рта обмерзлое полотенце и принялся поскорее расшнуровывать ботинки. Из горницы на голос выглянула Августа, маленькая, совсем усохшая, курносая.

— Тошно мне! Весь познобился! — закричала она, хлопнув себя руками. — Да кто тебя гнал в такую морозину? Тошно мне! Ладно, хоть бабушки-то нет. Приохалась бы... Тошно мне!

Августа помогла мне снять пальто, размотать полотенце, раздернула зубами тесемки шапки, потому что от дыхания узел заледенел. Попутно делала она разные дела: ломала лучину, набрасывала в железную печку дров, ставила чугунок с похлебкой, забеленной молоком. Из горницы, держась за косяки, выглянули черноглазая Лийка и беленькая, пухленькая, с ямочками на щеках Капа. В глуби горницы отдаленно орала старческим, треснутым голосом Лидка.

— Идите ко мне! — поманил я Лийку с Капой. Но они не двинулись с места.

— Это ж дядя, — пояснила девочкам Августа. — Не узнают. Лицо-то шибко у тебя распухло. В синяках все. Дрался ли, чё ли?

— Дрался. Ночью с бревнами. Ну, идите сюда. Хлеба дам.

Девочки осторожно приблизились и стали, руки по швам. Я отломил им корочку. Остатки пайки, заваленной в кармане, протянул Августе.

— Я ненадолго.

Августа убрала пайку в посудник.

— Лезь на печку. Там катанки старые, Тимофеевы, и тепло. Только-только печку скутала. Ись-то сильно хочешь?

— Терпимо.

— К Алешке не заходил?

— Не заходил.

— Чё же не завернул-то? Он как прибежит на выходной, спрашивает про тебя. Тоскует.

— Может, на обратном пути.

Я жался к теплой трубе, беленой известью. Снова разворачивало, пластало руки, лицо, ноги, ухо и всего меня колотило так, что клацали зубы.

Но я терпел, не ныл.

Скаро Августа скажет о своей беде. По ее лицу, по конопатым щекам, землисто подернутым, по губам, тоже ровно бы землю выпачканным, как будто съела она немытую морковку, и по глазам, темь которых просекает больная горячность, догадаться нетрудно, какая беда стряслась. Однако не хочется мне верить в нее, я боюсь услышать об этой беде и потому прячусь за трубу русской печки.

Место верное.

В детстве не раз прятался я за трубу от бабушкиного гнева, с разными мальчишескими бедами, огорчениями, секретами.

Лидка ревела в горнице все громче и требовательней. Лийка ушла качать ее. Капа по приступку забралась ко мне на печь. Я подхватил ее, погладил по светлой челке и усадил за себя, к стенке, на которой висели и вкусно пахли чесноковые и луковые связки. Капа широко растворенными глазами глядела на меня, потом провела по моей щеке пальцем.

— Бо-оба. — От сочувствия у Капы глаза наполнились слезами.

Я принялся трясти луковую связку, чтобы отвлечь девчушку, не дать ей разреветься, а то не ровен час и сам с нею зареву.

Лидка все прибавляла и прибавляла голосу — грудь требует. Августа ровно бы не слышала ее, но вдруг сорвалась с места, загрохотала половицами, рванулась в горницу, выхватила из качалки Лидку и, точно коня, начала дубасить ее кулаком. Материлась она при этом так страшно, с такой ямщицкой осатанелостью, что Капа прижалась ко мне и сам я

ужался, хотя мне следовало бы унять тетку.

— Подавись! — сунула Августа закатившейся Лидке грудь, а та, задушенная рыданиями, никак не могла ухватить губами сосец и все кричала, кричала. — Да жри ты, жри!... — перегорелым голосом сказала тетка.

Лидка смолкла у груди, и только глубоко остановившиеся рыдания встряхивали ее маленькое тельце, но и они скоро утишились. Августа кормила Лидку, задремывая вместе с ней. Лицо ее чем-то напоминало лик на старой, отгорелой иконе, под которой она сидела. Мне хотелось, чтоб все так и осталось, чтоб тихо было, без слез, без матерщины и крика. И чтоб лицо у моей тетки просветлело хоть немножко.

Августа вздрогнула, отняла у Лидки грудь, спеленала ее, виновато вздохнула и опустила в качалку. Лийка, на всякий случай забившаяся под кровать, вылезла оттуда и принялась старательно зыбать сестренку, стянутую пеленальником, сытую и ублаженную.

Баю-баюски, бай-бай,
не ходи, музык-бабай... —

напевала Лийка. Капа, притихшая было и спрятавшаяся за меня, высунулась из-за трубы. Я приподнялся на локтях и тоже выглянул. Августа стояла, уткнувшись лбом в беленый припечек. Из открытого чугунка от похлебки шел на нее горячий пар. Она не чуяла пара, видать, забылась, вышла на какое-то время из этой жизни. Но вот она передернулась, будто от мороза, черпнула поварешкой из чугунка.

— Похоронная пришла, — не поднимая головы, тихо обронила Августа и убрала изо рта шерстку. Говорила она так, будто уверена была, что я высунулся из-за трубы и жду главной вести, о которой, хочешь не хочешь, сообщать надо.

Все-таки предчувствие оказалось точным.

Еще там, в фэзэо, получивши теткино письмо, я почти с уверенностью определил: пришла похоронная. И Виктор Иванович Плохих, мастер наш, и ребята из группы, когда снаряжали меня в путь-дорогу, все, по-моему, догадывались, зачем покликкала меня тетка, и своей заботой хотели облегчить мою дорогу. А я шел в ночь, в стужу, в метель, чтоб облегчить горе родному человеку. И не знал, как это сделать, но все равно шел. Приходят же посетители в больницу и помогают больному выздороветь, хотя ничего вроде ему не делают, не дают никаких лекарств, никакого

снадобья. Они просто приходят, разговаривают и уходят.

Капа снова погладила пальцами мою щеку, уже берущуюся корочкой:

— Бо-оба-а...

Она пыталась утешить меня. Я прижал ее пухлые пальцы с розовенькими ногтями к разбитым губам. Меня душили слезы.

— Иди поешь, — позвала Августа.

— Сейчас, — прокашлял я ссохшееся горло. — Бабушка куда ушла?

Я тянул время.

Мне боязно спускаться к Августе. Знаю, угадываю не глядя, — она налила похлебку и стоит сейчас потерянно возле посудника, стоит и думает, зачем она к нему подошла и что собиралась делать. И наверно, опять вынимает изо рта шерстку, которой, как я убедился, во рту у нее не было и нет.

— Бабушка-то? — переспросила Августа и начала шарить в посуднике. — К Марее ушла, к Зырянову...

Тетка Мария и Зырянов, как всегда, живут в большом достатке. Но я у них бывать не люблю, да и бабушка тоже. Однако война не считается с тем, кого и что ты любишь. Она принуждает людей делать как раз больше всего то, что им делать не по душе.

— Она знает? — Я задержался на приступке с катанком в руке.

— Знает. Причитала, уж приходила: «Ой, да сиротинушки мои! Ой да прибрал бы вас Господь...» — Августа утерла губы концом платка, но серая земля на них все равно осталась. — Отругала я ее. Рассердилась. Ушла. Ноги, говорит, больше моей не будет у тебя! Ну да знаешь ты ее. Совсем она дитем стала. Болит ознобленное-то?

— Болит. Пошли, Капа, суп хлебать.

Бабушка моя уж много раз заявляла, что ноги ее у Августы не будет, но вот поживет у Зыряновых мирно, тихо и явится сюда, разоряться будет. И вообще всех нас, особенно меня, всегда влекло к моей бедной тетке, хотя и много у меня другой родни в селе, но та родня до полдня, а как обед — и родни нет. Другое дело Августа — эта последнее отдаст, и нет у меня ближе бабушки да Августы родни на свете. Замечал я не раз, что и Кольча-младший, да и другие дядья и тетки, хоть и судят Августу за ее крутой нрав, за грубость, но бывать у нее любят, точнее, любили, пока не было войны. Теперь все заняты и всяк перемогают свою войну.

Капа проворно спустилась за мной с печки, заголив пухлую заднюшку. Я одернул на ней платье с оборочками, усадил рядом с собою за стол, дал ложку и кусочек хлебца. Из-за косяка пристально чернели Лийкины глаза. Я поманил ее пальцем, дал и ей ложку.

— Девки! Ведь вы только что ели! — запротестовала Августа. Лийка с Капой замедлили работу, перестали черпать похлебку.

— Ничего, ничего, пускай действуют! Ты тоже бы поела, Гуса. — Я виновато поднял глаза и встретился с ее взглядом, чуть уже размягченным медленно поднимающимися слезами.

— Не идет мне в горло кусок-то. — Она размяла в горсти чесноковину, высыпая кривые зубцы передо мной. — Беда ведь в одиночку не ходит. Одну не успеешь впустить, другая в ставни буцкает...

— Что еще? — Я уронил ложку, и Лийка проворно соскользнула за него под стол.

— Яманы сено доедают.

— Козы?

Лийка сунула мне черенок ложки, и я сжал ее в руке.

— Какие козы?

Я ничего не понял. Коз у нас в селе нет. Были давно еще, у самоходов Федотовских, но так эти козы всем надоели, так зорили огороженные от крупного скота огороды, что чалдоны дружно и люто свели яманов, как они презрительно называли коз, и чуть было и хозяев вместе с ними не уходили по пьяному делу.

Августа, глядя в окно, подавленно объяснила: сено едят дикие козы.

Час от часу не легче! Вот уж действительно беда как полая вода: польет — не удержишь.

Прошное лето выдалось дождливое, и, когда метали сырое сено, присолили его, чтоб не сопрело. Дикие козы стаями вышли из лесов. Раньше и охотник-то не всякий мог их сыскать! А теперь из-за глубоких снегов и больших морозов в горах наступила бескормица. Да и не пугал никто дичину выстрелами. Козы осмелели и сожрали иные зароды дотла, на Августином покосе зарод раздергали до решетинника и вот-вот уронят его, а там уж которое сено доедят, которое дотопчут.

Как же они без коровы-то? Я не мог есть. Глядел на девчонок, швыркающих похлебку, на Августу, прижавшуюся спиной к шестку, кутающуюся в полушалок и снова вынимающую изо рта темными пальцами шерстку. Мне холодом пробирало спину, хотелось заорать: «Перестань! Что ты делаешь?» — но я превозмог себя.

— Налей-ка чаю.

Августа достала из посудника большую деревянную кружку, резанную еще дедом из березового узла. Когда-то кружка эта была на заимке. Давно нет заимки, и деда нет, а кружка сохранилась. Сделалась она черна, на обкатанных губами краях у нее трещины. В трещинах различима древесная

свиль, жилки видны. Августа налила кружку до краев, и из посуды слабо донесло весенней живицей. Всякая посуда мертва по сравнению с этой неуклюжей и вечной кружкой. Я не мог оторваться от кружки, от теплого душистого пара. Густо смешался и нем кипрейный и мятный дух да разные другие бабушкины травки заварены: зверобой, багульничек, шипицы цвет. Хочется лета. Всегда хочется лета, если пьешь чай с бабушкиными травками-муравками.

— Тошно мне! Чуть не забыла! — всплеснула Августа руками и повеселела взглядом. Она ступила на лавку, куда не могли добраться девчонки, и, вытянувшись, достала с верхней полки посудника бордовую тряпицу, удивительно мне знакомую. Покуда тетка разворачивала тряпицу, вспомнилось: это лоскут от бабушкиной, когда-то знаменитой праздничной кофты. В тряпице оказались три древних, оплывших от телесного тепла, лампасейки и кусочек затасканного серого сахара.

— Любимому внучку, — лукаво сощурилась Августа и передразнила бабушку: — «Мотри, штоб девки не слопали! Я им давала, и будет!» Об том, что письмо тебе послала, она знает, — пояснила Августа уже без лукавой прищурки и ознобно подавила вздох, докатившийся до губ.

«Ах ты, бабушка, бабушка! Зачем ты ушла к Зырянову? С осени не виделись и когда теперь увидимся?» — кручинился я и колол сахар на маленькие комочки.

— Выпей хоть чаю, — кивнул я тетке. — Размочи нутро, Гуса!

Она все время словно ружье на взводе. Это угадывалось по движениям, вроде бы вялым, обременительным, по словам, которые она говорила только по необходимости, и все по тому же щипку пальцами, которыми она то и дело вылавливала что-то изо рта и выловить никак не могла.

Я, как мог, отдалял неизбежную минуту.

Августа покорно налила себе чаю. Пьет. Чуть даже оживилась. Рассказывает про бабушку и в то же время научает девчонок, чтобы они не хрумкали лампасейки, а сосали бы их — так надольше хватит.

— Она ведь, толкую тебе, чисто дитя стала. — Августа всегда любила рассказывать про бабушку мою с подковырками, с улыбкою. — «Гуска, выходи замуж за линтенанта! Линтенант большу карточку получают». Я говорю — где его взять, линтенанта-то? В деревне нету, в город ехать недосуг — ребятишки не отпускают. «Я подомовничаю хоть два, хоть три дня. Ступай в город, глядишь, сосватаешься. Раз похоронная пришла, чё сделаешь? И не зубоскаль! Время пришло такое — всяк спастись должен. У тебя ребятишки, и об них подумать следует...» Я говорю — сосватала ты

меня раз за Девяткина, да сама я сосваталась за Храмова, и хватит! Приплод большой. В тебя удалась — родливая! Она сердится. На печь заберется и говорит, иной раз уж вовсе несурзное несет. Не тронулась бы... — Августа открыто, по-бабьи вздохнула. — Нынче это нехитрое дело. Тебе табаку принести?

— А есть?

— Дивно табаку, дивно. Тимофей летось насадил. В огороде место оставалось. Брюквенная рассада вымерзла. Он посеял семена турецкого табаку. Пускай цветет, сказал, девчонкам забава. А табак оказался — самодрал расейской. Я заламывала его, потом срубила, в бороздах держала, все делала, как тятя покойничек. Крепкущий получился — спасенья нету. Хресник мой, Кеша-то, пробовал — накашлялся.

— Ну-ка, ну-ка, притащи корня два.

Августа достала с чердака беремья густо воняющих корней табаку, и пока я сушил волглые листья на железной печке, пока мял их, чихал и свертывал сигарку, у меня прояснилось в голове.

— Вот что, — закуривши, начал я солидно, с расстановкой, как мне, мужчине, и полагалось говорить. Зря, что ли, Августа вызвала меня со станции Енисей, из школы фэзэо? — Вот что. Беда сейчас не у одной у тебя. Многим внове беды. Тебе не привыкать. Обколотилась. Жить надо. Девки у тебя.

— Господи-и-и! — ударилась о стену головой Августа и начала катать ее по тесаному, замытому бревну. — Господи-и-и! Кем мой век заеденный? Кто сглазил его? Сызмальства. С малолетства самого как взяло меня! Ну чем я, чем я хуже других? Маррея живет! Кольча тот и другой в чести и достатке. Все живут, как люди, а я маюсь, а я бьюсь, как сорожина об лед...

Да-а, это уж, видно, кому какая доля выпадет. Восемнадцати лет Августа вышла замуж за грамотного, пьющего мужика по фамилии Девяткин. Из самоходов он был. Бедовый. Пал в пьяной драке, оставив на память Августе Алешку. Сколько горя, насмешек и наветов перетерпела Августа из-за Алешки, не перечешь. Алешка выдался в отца драчливым и в мать трудолюбивым. Как подрост, хорошо начал помогать матери и поддерживать ее, но сейчас он уже отрезанный ломоть, учится ремеслу. Он перворазрядник шахматист, по лыжам бьет все рекорды в школе. На селе про Алешку теперь говорят: «Вот те и на! Вот те и немтырь!..»

Еще когда Алешка был невелик, свела Августу судьба с Тимофеем Храмовым. Большая семья Храмовых переселилась на Слизневский участок из той самой слободы, которую вспоминал я вчера, когда топал по Енисею. Семья Храмовых была тиха, уважительна и работяща. Всеми она

почиталась и на лесоучастке, и в селе нашем, безалаберном и приветливом. Однако и в этой семье выделялся мягкостью характера, какой-то юношеской застенчивостью старший сын Тимофей. Он из-за скромности характера так долго и не женился, должно быть. Тимофей даже Алешку как-то сумел к себе приручить, и тот от любви к нему, к отчиму, от благодарности, что ли, выучил и с блаженной улыбкой повторял; «Па-па! Па-па!»

«Ой, война ты, война!» — Я стиснул зубы, креплюсь. Сейчас главное — терпеть и ждать, чтоб Августа выревелась, напричиталась. Иного средства от беды люди еще не придумали.

Тетка все катала и катала свою голову по щелястому бревну.

Я старался не смотреть на ее худую шею с напрягшимися жилами, на скошенный рот, в который ручьем бежали слезы. Меня и самого душило, и с трудом я держался, чтобы не завывать. Выдрать бы из головы горсть волос, если б они были. Изрубить бы чего-нибудь в щепье!

Августа рассказывала мне свою жизнь. И хотя я знал ее насквозь, все равно слушал — она затем и позвала меня. Больше ей теперь некому рассказать о своей бабьей доле-юдоли, некому пожаловаться на судьбу.

Потом Августа сидела, безжизненно свесив руки, волосы у нее растрепались, лицо опухло; засветились красные жилки в выпланных глазах, губы и нос тоже распухли.

— Хорошо, что ты пришел, — через большое время слабо и отрешенно вымолвила она. — Надумала я удавиться. И веревку припасла — дрова на ней осенеть из реки вытаскивала. Алешка при месте, теперь не пропадет. Девчонок тоже приберут в детдом, кормить, одевать станут. А то и мне смерть, и им смерть... — Она сказала об этом так, как прежде люди говорили, что дом надо подрубать, кабы не завалился; что пора переходить с бадогов на другую работу — поясница отнимается; что на Манской гриве рыжиков и брусницы будет, по приметам, — хоть коробом вози.

Я сжал лицо руками, сдавил обмороженные щеки, чтоб мне больно сделалось, меня шатало.

— Перестань! — завыл я и затопал ногами, боясь отнять от лица руки. — Перестань! — еще громче закричал я, хоть Августа ничего уже не говорила. Девчонки затопотили по шатким половицам и затихли, снова, должно быть, укрылись под кроватью.

Проснулась Лидка. Ее плач хлестко ударил по ушам.

— Да ты что? — размахивал я руками и горячим шепотом орал: — Ты понимаешь, чё говоришь? Спятила! Не бабушка, ты спятила!

Меня колотило, как прошлой ночью промерзшего до костей колотило в

шорницкой. Пытаясь побороть этот сотрясающий все нутро озноб, я бегал по кути, махал кулаками, сбивался с шепота на крик и говорил, говорил какие-то слова о детях, о войне, о фэззо, о вчерашней ночи, о том, как мне хотелось жить!.. Приводил исторические примеры. Великих людей вспоминал, мучеников и мучениц, декабристок и декабристов; ссыльного Васю-поляка и других ссыльных, кои никогда не переводились в нашем селе. Пришла на ум недавно прочитанная книга о Томмазо Кампанелле.

— Вон Кампанелла — итальянец! — громовым голосом вещал я, бегая по кути. — В крокодиловой яме сидел! В воде по горло! На колу сидел — не сдавался! Даже книжку сочинял. «Город солнца» называется. Про будущее про наше. Как все станут жить в радости и согласье...

Тут я обнаружил — Августа внимательно на меня смотрит и слушает. Девчонки тоже вылезли из-под кровати и внимают с открытыми ртами. Я споткнулся среди кути и конфузливо умолк.

— Какой ты у нас умнай человек! Откуда чё и берется? Вот бы бабушка-то послушала... — Августа опять что-то поцепляла щепоткой во рту, затем промакнула платком лицо и отстраненно вздохнула.

Огонь прилил к моему и без того пылающему лицу, и я поскорее принялся крошить ножиком табак. Лийка полезла на скамейку — отрывать очередной листок календаря на сигарку.

Тетка еще посидела, затем неторопливо повязалась платком. Ровно передышку она сделала среди трудного пути и снова снарядилась в дорогу, подготовилась к делам своим, вечным, миру не заметным.

Долго закуривал я, обстоятельно и никуда не мог спрятать глаза. «Оратор! — изничтожал я себя. — Олух царя небесного! Еще стишки бы почитал, песенки продекламировал...»

— Табак и в самом деле крепкий, — буркнул я, засовывая в печку окурочек. — Надо Кешу позвать.

Кеша парень хозяйственный. Вместе мы скорее обмозгуем обстановку и обязательно что-нибудь придумаем, хотя и говорится: деревенская родня что зубная боль, да куда ж без нее? Припрет, так сразу о ней вспомнишь.

* * * *

В детстве Кеша питался одним молоком, и оттого шея у него была тонкая, голос еле слышен, а глаза, как у теленка, с тягучей, сонной

поволокою. Нрава он для нашего села неподходящего. Драться не умел и не любил. Если его дразнили, обирали, тыкали — молчал или плакал, и слезы катились по его незащищенному лицу так, что жалко становилось Кешу. Мы, его братья, родные и двоюродные, почему-то думали, что он больной, и обороняли наперешиб, и однажды я чуть было не утопил парнишку, нагло отобравшего у Кеши игрушки, что, впрочем, не мешало, как я уже рассказывал, обчищать братана, играя в бабки или в чику.

Кончилось дело тем, что Кешу задирать и дразнить перестали даже такие оторвы, как Санька левонтьевский, а он, довольный таким положением, играл сам с собою, мастерил из ивовых прутьев упряжь для бабок, рано научился плести корзины, потом вязать сети, плотничать, столярничать, огородничать.

Как-то незаметно для всех Кеша сразу из парнишки превратился в мастерового, домовитого мужика, и пока мы еще лоботрясничали, вытворяли разные штуки, не желая разлучаться с детством, он уже вел хозяйство, которое охотно уступил ему дядя Ваня, склонный больше к рассуждениям насчет работы, чем к самой работе.

Само собой, вся наша родня и особенно бабушка ставили Кешу в пример, восторгались его положительностью, а он стеснялся, что укором является, и всячески выслуживался перед нами. Слух был — Кеша до сих пор попивает вареное молоко из нарядного детского сливочника, только тетя Феня сливочник ныне на ставит на окно, скрывает слабость сына, потому что зачастила в дом девица с заречного подсобного хозяйства, тоже положительная, с медицинским образованием, умеющая вязать носки и рукавицы, также строчить шторы.

— Как живешь? Все молочишко попиваешь? — Я, как всегда, встретил братана зубоскальством.

— Корова стельна, — как всегда, отбился Кеша. Он забросил рукавицы на ночь, повесил на гвоздь полушубок и прошел в передним угол. На нем была клетчатая рубаха со множеством пуговиц, аккуратно подшитые валенки с загнутыми голенищами. Кто-то лесенками постриг братана, оставив косую челку, и под корень истребил косичку, которая, сколь я помню, всегда сусликовым хвостиком свисала в желобок его худой шеи.

Кеша рассматривал меня, как это только он умел делать, с нескрываемым родственным сочувствием, и никакие мои фэзэошные насмешки на него не действовали, вся его любовь ко мне и ко всем нам жила на его постноватом лице.

— Хоть бы с невестой меня познакомил, — продолжал я подначивать братана. — Мастерица, говорят. Пальто бы мне зашила, по-свойски.

— Лёлька успела наболтать! — посмотрел Кеша в горницу, где убирала постели Августа и делала вид, будто нас не слышит. — Кака невеста? В Березовку вызывали, в военкомат, на освидетельствование. Призовут скоро.

Мы так давно и прочно приучили себя драться за Кешу, оборонять малого от всяких напастей, охранять уединенность его, что до меня не сразу, не вдруг дошло это сообщение. Но чем он лучше или хуже других, мой братан Кеша? Никто из нас для войны не рождался. Такие же, как он, мирные люди топают сейчас в запасных полках, коленут на морозе, голося: «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» — и на фронт, воевать. Только трудно, ох, трудно будет братану там, в совсем другой, непригодной для него жизни, в казарменной тесноте, вдали от отца-матери.

И не заслонишь его собою.

Мы пилили с Кешей дрова, кололи чурки, я нет-нет да и поглядывал на него, пытаюсь представить братана в военной форме, в строю, в сраженье, и ничего у меня не получалось, а он угадывал мое беспокойство и непривычно много говорил — успокаивал не столько меня, сколько себя.

— Нано нак. Люни ж там всякие нужны. Может, при мастерских устроят?

Мы испилили дрова, нарубили табаку, оставили несколько вязанок корней — это уж на самый крайний случай. Табаку-самосаду насеялось почти полмешка. Августа продаст его перекупщикам, которые стаями рыскали по деревням в надежде чем-нибудь пожить. На вырученные деньги тетка прикупит сена. Если удастся отстоять и вывезти сено с Манской речки, с нашего давнего покоса, который перешел Августе, корову она, пожалуй, до травы дотянет.

А если нет?

Завтра мы пойдем с Кешей отбивать сено, если там есть еще чего отбивать. Затем сено нужно вывезти.

На ком вывезти? Когда? Вопрос!

Лошадь на все удалое село сохранилась одна — у дяди Левонтия. Он по-прежнему работал на бадогах, даже получил повышение — не то бригадиром, не то десятником стал. Много сейчас строилось в городе и возле города казарм, бараков для эвакуированных, заводы ставились, фабрики, свезенные в Сибирь с занятых фашистами земель, на известку возник небывалый спрос.

В избе дяди Левонтия чисто и просторно. Появились в ней занавески на окнах, половичок на сундуке, в переднем углу на столе — филенка с расшитыми по ней ниточными узорами; кровать, заправленная одеялом; над кроватью кот и кошка из цветной фольги, заключенные в деревянную, отделанную соломкой раму — продукция эвакуированных, которую меняют по деревням на картошку. Тикают часы с гирькой. Маятник на месте, стрелки на месте, гирька на месте! В прежние времена эти часы разобраны были бы в первый же день, если не в первый час. И котов этих распотрошили бы орлы дяди Левонтия, и скатерку филейную ножницами исстригли, и все бы перевернули вверх дном, кроме русской печки разве. И содомила бы тетка Васеня, раздавая оплеухи направо и налево, и гонялась бы за Санькой с железной клюкой.

Неуютно в доме дяди Левонтия. Тихо и неуютно.

При моем явлении тетка Васеня оживилась, принялась крестить меня и себя, но креститься она не умела, и я от растерянности заухмылялся, смутил ее. И вот сидит тетка Васеня на низком курятнике у печки, петух просунул голову меж планок, клюет ее валенки, а она не слышит. Смотрит тетка Васеня на меня и тужится что-то вспомнить.

— Ничего, тетка Васеня, ничего! — забормотал я и ляпнул: — Держи хвост дудкой!

Тетка Васеня напряглась, собрала на переносье светленькие, беспомощные брови, старчески сунувшиеся к глазам.

— Хвост? Какой хвост? — Она испуганно озиралась, шарила себя по юбке. — У-у, озорник! — погрозила она мне пальцем облегченно и поправила платок на голове. — Ох, какие вы с Санькой были! Ох, какие!.. А Санька-то в артилеристах! Где, отец, Санька-то? В какой местности? Он так все прописал, так прописал... Ну-ко, отец, расскажи-ко. — Тетка Васеня поерзала на курятнике, изготовилась слушать со вниманием, хотя, по всем видам, слышала Санькино письмо много раз и все знала наизусть.

— Да ведь ты же знаешь, какой он, Санька, Александра-то наш, — заговорил неторопливо, уважительно дядя Девонтий, окутался дымом и поджидал, чтоб я подтвердил, какой он человек, Санька-то, мол, о-го-го. А сам подумал: «Во бы послушал Санька, с каким почтением о нем, клятом-переклятом, руганном-переруганном, вспоминают родители, которым он

испортил столько крови, что уж дивоваться приходится, как они еще живы».

— Письмо, вишь ли, пришло, — рассказывал дядя Левонтий. — Все честь по чести прописано, поклоны всем, здоровья пожелания. Складно так. А дальше закавыка! «О местности, где я нахожусь, написать не могу, хотя вы просите, потому что военная тайна. А чем тятя бадюги колет?» Все понятно, што военная тайна, што нельзя, стало быть, сообщать местонахождение. Но пошто Санька вопрос такой задал? Он же знает все про бадюги! Сам на них раблывал. Колотушка деревянная, топор, клин! — вот и весь прибор. Гадали мы с матерью, гадали, аж в голове загудело. Ничего не отгадали.

— Не отгадали, не отгадали, бестолочи! — подтвердила тетка Васеня. Лицо и глаза ее светились радостной нетерпеливостью. Она подняла руку, будто школьница, собираясь вступить в разговор.

— Погоди, мать, — остановил ее дядя Левонтий. — Вот на смену вышел, тогда я еще на рядовой работе состоял, — важно заметил дядя Левонтий, — колю бадюги, а вопрос Санькин не идет у меня из башки. Я вечером в сельсовет. Покрутили там, повертели письмо Александра. Обормот, говорят, он был, ваш Санька, обормотом и остался — не мог уж без фокусов отцу-матери написать. Тогда я сказал сельсоветским кое-што! И к учительше. Она дрова пилит, усталая, ничего не сообщает. Помог я ей дрова напилить, в избу снес, а там у ей сестра с Кубани, эвакуированная, больная, и, скажи ты мне на милость, вмиг она мне все и разобъяснила, остолопу. Клин! Понимаешь, Кли-и-ин! — Лицо дяди Левонтия сияло таким восхищением, тетка Васеня так хорошо по-куричьи квохтила на курятнике, что порешил я продлить маленько ихнее ликование.

— Какой клин?

— Да город! Го-о-ород, оказывается, есгь такой на свете! — простонал дядя Левонтий и утер выступившие на глазах слезы. — Как он их, а?!

— Мозговитай, ох мозговитай! — причитала тетка Васеня.

— Н-ну Санька! Ну-у Санька! — ахнул я. — Вот ушлый так ушлый! — И чтоб совсем уж ублаготворить дядю Левонтия и тетку Васеню, прибавил: — Кто-кто, а такой человек, как Санька, и на войне не пропадет!

Что иногда значат для людей слова, обыкновенные слова! У дяди Левонтия и грудь, как в молодые, моряцкие годы, колесом сделалась.

— Да. Александра наш, он уж такой! Он уж так: либо голова в кустах, либо грудь в крестах! — гордо заявил дядя Левонтий и туг же укорил тетку Васеню: — Ты чё это, мать, сидишь-то? Напой, накорми человека, после и вестей проси.

Тетка Васеня всполошилась, тетерей себя обругала и загремела заслонкой печи. А дядя Левонтий трудно закричал и сказал, как будто оправдываясь:

— Совсем она у меня потерялась, совсем. Токо весточками от ребят и жива, — и покачал седой, ровно бы мохом обросшей головой. — Э-эх, ребята, ребята, матросы мои...

Переломившись в поясице, он начал сосредоточенно крутить сигарку и сорил табаком на брюки, и все, что было за словами, читалось на его лице: как жили-то, дружно, весело, артелью непоборимой! Ну и што, што не всегда досыта едали? Не плакались! Ну и што, што гонял семейство по пьянке? С дурака какой спрос! Ну и што, што дрались и пластались меж собой братья и сестры? Зато чужому было никому их не тронуть. Орлы! Друг за дружку стеной. Растилишшут любого врага, в ключья разорвут!..

Дядя Левонтий начал было прятать кисет в стеженные брюки, но вдруг приостановился, подумал и протянул мне кисет: кури, дескать, возраст твой подошел.

Скобленный пол, тетка Васеня без сажи под носом; дом без ребятишек; слова «отец» и «мать» и скорбно сочувствующий взгляд дяди Левонтия, его степенность. Полно, уж в тот ли дом я попал?

Тетка Васеня и дядя Левонтий, сколько мне помнится, псегда называли друг друга «он» и «она». Дядя Левонтий чаще: «размазня», «тетеря». Тетка Васеня: «мордоплюй», «костолом», «рестант» и в самые уж обиходные дни, то есть в дни получек: «сам» или «хозяин».

Надо сказать, что дядя Левонтий хотя и был «пролетарьей», в колхоз, как производственный кадр, не записался и в актив комбеда не вошел, а попить с Болтухиным, Вершковым, Митрохой и прочей властью связался и сразу же стал прятаться от людей, в первую голову от дорогой соседюшки» — Катерины Петровны, но еще не нашлось во всей округе человека, который бы от нее спрятался.

— Чё отец-то не заходит? — спрашивала у Саньки бабушка. — Стыдно роже-то, видать?

Санька виновато молчал и отворачивался к окну.

— Говорят, оне домнинских описали и продают да пропивают добро?

— Не знаю. Наверно.

Углядев в окно или со двора, что развеселая компания с барахлом под мышкой, с бутылками в карманах вваливалась в домишко дяди Левонтия, бабушка повязалась платком, подобралась, поджала губы и с черемуховым своим батогом пошла через дорогу.

Увидев ее в своем жилище, дядя Левонтий засуетился, залебезил:

— Екатерина Петровна! Екатерина Петровна! Милости просим. Милости просим...

— Сядь! — строго приказала бабушка, не проходя от дверей. И дядя Левонтий, как нынче говорят, слинял и даже отрезвел разом.

— У тебя сколько детей нажито?

— Много.

— Счету не знаш! — Бабушка говорила только с дядей Левонтием, ни взглядом, ни словом не удостоивая сидящую за столом компанию.

Тетка Васеня, что современный сталевар на картинках современных уральских художников, стояла возле полыхающей мартеновской печи, опершись на железную клюку, и всем своим видом показывала, что она вечно была, есть и будет в союзе с бабушкой Катериной и больше ни с кем, что бы та ни делала, ни говорила — все правильно и верно, лучше нее никто не сделает и не скажет. Даже брови насупила тетка Васеня и клюку сжала рукой, будто перед страшным боем — двинься с места хоть муж, хоть кто — зашибет.

— Ты сопьешься, сдохнешь. Ребята без тебя, такого заботливого папы, не пропадут. Не дадим мы имя и Васене пропасть, последнюю крошку разделим. Но эти твои дружки-приятели. — Бабушка потыкала батогом в каждого гостя в отдельности, и они перестали лыбиться, почесываться, строить рожи. Митроха начал было: «Старуха...» — но дядя Левонтий придавил его взглядом: «Молчи!» — Как пропьют Расею, деревню, себя и портки последние — имя страшный Божий суд будет и проклятье от людей, имя и детям ихним проклятье и презрение, дак за что же твои ребята страдать-то будут? Оне детства не знают, жизни сытой не видели, от папы имя одно беспокойство, матерщина, гонение да насмешки от людей. Дак хочешь, чтоб, и вырастут когда, люди их оплевывали, пальцем на них показывали, как на шпану: «... вот, оне, лиходеи, лоскутники, пьяницы: разорители...» Санька, ты хочешь, штабы так было?

Санька встал, будто в школе, оправил рубаху на животе и, глядя в пол, дрожащим голосом произнес:

— Не-эт.

— Чего нет? — объясни дорогому родителю. Он все плавает по морям да по чужим застольям, сраму не имеет, седин своих не стыдится. Чего нет-то, Александра?

— Чтоб нас просмеивали... чтоб плевали на нас.

Тетка Васеня кивала головой каждому Санькиному слову, лицо ее еще более посуровело, но под конец Санькиной речи подняла фартук к глазам и начала было подвывать, однако бабушка остановила ее.

— Погоди, Васеня, погоди. Об тебе речь ишло будет, и сичас я робят спрошу. Ребята, вы с Александром согласные?

Ребята, загнанные на печь, на полати, в замешательстве начали прятаться в глубь жилища, но хотя и разрозненно, оттуда раздались голоса:

— Согласные. — А потом орлы пришли в себя и три раза четко, как на пионерском сборе, повторили за Танькой следом: — Согласные! Согласные! Согласные!

— И откуда у такого обормота разумницы такие родятся?! — вскользь заметила бабушка и громче продолжала: — А раз согласные, значит, громилу своего и забулдыгу пьяного домой не пушайте. Неча в добром дому таким бродягам делать. Пушай со своим советчиком и наставником Болтухиным запивается и под забором валяется. Тот обоссанной, вшивай, и этот такой же станет. Оба и околеют в канаве, как псы бездомныя...

— Но ты знаш... но ты знаш! — начал хорохориться и пробовал подняться из-за стола затяжелевший Митроха. Болтухин уже спал, уронив на стол безвинно-детскую голову, стриженную лесенками. Шимка Вершков очухался, снова ерзал, похохатывал и глаза закатывал.

— Тьфу на вас, на срамцов! — плюнула бабушка и, бацкнув дверью, величественно удалилась, но дома заперлась в горнице, и оттуда донесло запах мятных сердечных капель.

Васеня, откуда что и взялось, всю компанию из дома выдворила, барахло, что они принесли, на улку выбросила, дядю Левонтия на известковый загнала и неделю домой не пускала.

— Пока прошшенья тебе от людей и от бабушки Катерины не будет, глаз бесстыжих не кажи!

С тех пор дядя Левонтий от «властей» отбортонулся, а бабушка еще долго здоровалась с ним вежливо и в особенные, душевные разговоры не вступала.

Много в доме дяди Левонтия было народу, велика команда, и потому будет здесь много горя и слез. Одна похоронная уже пришла. Старший, тот самый, что водил когда-то нас по ягоды, погиб на границе. Двое удались в отца — моряками воюют под Мурманском, во флоте. Санька — истребитель-артиллерист. Татьяна, мне так и было сказано — Татьяна, а не Танька, я даже суп перестал хлебать, — учится в городе на швею. Еще двое в ремесленном, в Черемхове, на шахтеров обучаются. Остался самый младший, да и тот зимой не при доме, в школе на Усть-Мане — десятилетки в нашем селе нет.

Я хлебал суп, хороший, наваристый суп с костью, но уж лучше бы как прежде — хлеб с водой, чем пирог с бедой. Тетка Васеня подливала мне и

глядела, глядела на меня, с жалостью, с испугом, и я угадывал ее бесхитростные бабьи печали: «Может, и тебя последний раз потчую...» Мне и неловко было, но не было сил отказаться от еды, ранить душу тетки Васени, лицо которой одрябло, как прошлогодняя овощь. А было всегда это простоватое лицо то в закопченности, то в саже и сердито понарошко.

По врожденной ли доброте, из-за бесхарактерности ли ее, воспринимал я тетку Васеню раньше, да и бабушка моя, и все наши соседи, — как доверчивое дитя, способное одновременно и плакать, и смеяться, и всех пожалеть.

Другое дело теперь. Вон слеза выкатилась, запрыгала по морщинам, будто по ухабам, упала на стол — такое горе, и такая беспомощность.

— Да будет, будет, — с досадливостью махнул на жену дядя Левонтий. — Ест же человек, кушает, а ты мокренью брызгаешь!

Тетка Васеня торопливо утерлась передником, сидит, опершись на стол, тупая, послушная. В позе, в лице, в движениях ее такая неизбывная, дна не имеющая тоска, что и сравнить ее не с чем, потому что не для горя-тоски рождался этот человек, и оттого это горе-тоска раньше других баб размоют ее, разорвут, как злая вешняя вода рыхлую пашню. Дядя Левонтий, мне кажется, понял это, боится за жену.

— Ровно пустая кадушка рассохлась, — дядя Левонтий проговорил это так, будто и нет тетки Васени рядом, будто она уже его и не слышала.

Она и в самом деле не слышала ничего. Ей все безразлично оттого, что в доме ее пусто, нет гаму и шуму, не рубят ничего, не поджигают, все ей тут кажется чужим, и хочется попасть обратно в ту жизнь, которую она кляла денно и ночью, вернуться в тот дом, в ту семью, от которой она не раз собиралась броситься в реку. Вот теперь бы она никого из ребят пальцем не тронула, сама бы не съела, все им отдала, все им, им...

Дядя Левонтий подтянулся, построжел. Одежда на нем застегнута, прибрана, постирана — тетка Васеня убажает его вместо ребят. Из рубахи, как всегда малой, длинно высунулись большие, ширококостные руки. Бритые скулы на обветренном, длинном лице отчего-то маслянисто блестят. Он курит казенную махорку и пепел стряхивает в жестяную банку. Против осенней поры, когда мы выкатывали вместе лес, он заметно ожил, зарплату ему прибавили, паек дополнительный идет. Не признать в нем никак того разболтанного, безалаберного мужика, который прежде куролесил и чудил так, что даже в нашем разгульном селе считался персоной особенной и на веки вечные пропащей.

Вспомнить только получку дяди Левонтия! Стол ломится от яств, объевшиеся ребяташки бегают с пряниками, конфетами, наделяя всех

гостинцами, хохот, пляски — окошки, потолки, бревна в избе дрожат и вот-вот рассыплются от хора, рывкнувшего песнь про «малютку облизьяну». Санька-мучитель. Без потехи не вспомнишь, как пьяный дядя Левонтий таблице умножения его учил:

«Сколько пятью пять?» И сам себе: «Тридцать пять!» — «Што такое жисть?»

Не задает любимые вопросы дядя Левонтий. Некому и некогда.

— Чё ж Августа чуждается? Почему не обратится? — укоризненно пробубнил дядя Левонтий, прощаясь. — Конечно, конишко занятой, уезженный до ребер, но в наших же руках! Обеспечим, коли надо, вдову Отечественной войны всем довольствием. Наш такой долг, работников тыла...

С открытым ртом внимал я дяде Левонтию. Он приосанился во время речи, преобразился, и понял я, что должность у дяди Левонтия не меньше десятника, а то и выше хватай.

Быть может, я чего и сморозил бы в ответ на речь хозяина, но тетка Васеня так расплакалась, когда я стал уходить, так рыхло и сиротливо сидела на курятнике возле печи, где она теперь, видать, сидит все дни, так по-детски, совершенно по-детски зажимала глаза тыльной стороной руки, что я заторопился на улицу.

* * * *

Я стоял перед бабушкиным домом, промаргивался. Ставни закрыты. На трубе снег шапкою, будто на пне. У ворот не притоптано, даже в железном кольце ворот полоски снега. Снег, снег, везде снег, белый, нетронутый. Мне хотелось снять фэззошную шапку, вцепиться зубами в ее потную подкладку. Движимый каким-то мучительным чувством, с ясным сознанием, что делать этого не надо, я все-таки решительно перелез через заплот и оказался во дворе моего детства.

Не совладал с собой.

Всюду снег, внезаправдашно белый, пухлый, и ни одного следочка! Подле навеса в беспорядке набросаны крестики птичьего следа, но и те несвежие. Амбар снесен, стайки тоже, остался лишь этот старый, дощаной навес. Под ним стоял толстый, истюканый чурбак, на котором заржавели зубцы держалки. Дедушка всегда чего-нибудь мастерил на этом чурбаке.

Снег слежался в его морщинах. Старые, порыжелые веники висели под навесом. В углу прислонены серые от пыли и оттого, что ими давно никто не пользовался, черенки вил и граблей. Меж досок засунуто сосновое удилице с оборванной кудельной леской. Вершинка у него не окорена — это мое удилице. Я всегда оставлял кору на вершине, чтоб крупная рыба не сломала. Столько лет хранилось!

Неслышно пошел я по мягкому снегу к избе. На ступеньках крыльца лежал припорошенный полынный веник, на высунувшемся из-под крыльца метловище надета продырявленная подошница. Я смел веником снег с крыльца. Сметался он легко. Не удержался, заглянул в сердечко, вырезанное в кухонной ставне. Сначала ничего не увидел, но постепенно глаз привык к темноте и обнаружил давно не беленный шесток печи, на нем синяя большая кружка. В эту эмалированную кружку с беленькими цветочками наливала мне бабушка молоко. Пока выпьешь до дна, устанешь, и брюхо делается тугое-тугое. Бабушка пощелкает по нему ногтем либо щекотнет: «Самый раз на твоей пузе блох давить!»

Дно у кружки однажды продырявилось. Дедушка вставил вовнутрь кружок фанерки, и в кружке держали соль. Она и сейчас стоит с солью? Нет, кружка опрокинута. И соль у бабушки вывелась. Нынче она стоит немалых денег. Сколько я ни напрягался, сколько ни вытягивал шею, увидеть больше ничего не смог.

За желтым наличником торчали раскрошившиеся пучки зверобоя и мяты. Я пошарил под травами — ключа там не оказалось — бабушка никого не ждала. И сама дома не живет — нечем отапливать такой большой дом. Да без людей хоть сколько топи — выстывает жилье.

Я стоял, глядел на желтую дверь, на скобу. Желтое в ней осталось лишь в сгибах. Огромный, тоже крашенный желтым замок. Желтый дверной косяк, в центре которого один на одном крестики, углем и мелом начертанные к какому-то святому празднику.

Мучительно, словно это было сейчас главное, пытался вспомнить, почему в нашем доме все окрашено желтой краской.

Вспомнил! Незадолго до смерти дедушки появился у нас с двумя ведрами чумазый моторист с буксира, подвалившего к берегу, и о чем-то таинственно шептался с бабушкой. Ведра с краской остались у нас, а моторист, спрятав что-то под рубаху, ускользнул со двора.

Вот тогда-то, дорвавшись до дармовой, как утверждала бабушка, краски, она и перекрасила в один цвет все — от пола до коромысла. Краска сохла чуть ли не все лето, ходить в избу надо было по доскам, ни к чему не прислоняться. Сколько колотушек добыл я в то лето — не перечесть. Зато

когда высохло, бабушка нахвалиться не могла красотой в избе и своею хозяйственной предприимчивостью.

«Желтый цвет — измена! Красный цвет — любовь! Зеленый цвет — ...» Что ж означает зеленый цвет в Танькиной, в Татьяниной песне?

Опять какие-то пустяки. Сплошные пустяки в голову лезут.

Надо уходить.

И я побрел со двора, в котором отшумело мое детство. Здесь было все: и игры, и драки. Здесь меня приучали к труду: заставляли огребать снег, выпроваживать весенние ручьи за ворота. Здесь я пилил дрова, вертел точило, убирал навоз, ладил трактор из кирпичей, садил первое в жизни деревце. Здесь, среди двора, ставилась летом железная печка. На ней бабушка варила варенье. А я жарился подле, с терпеливой и твердой верой: бабушка не выдержит характера и даст мне пенек с варенья или хотя бы ложку облизать. Здесь, под навесом, лежала утопленница мать, меня не допускали к ней, но я все равно пробрался, посмотрел, и потом она долго приходила ко мне сонному. Меня лечили травой, опрыскивали святой водой. Отсюда же, из-под навеса, унесли на кладбище моего дедушку. На этом дворе, покрытом белым, нетронутым снегом, меж сланей летами торчали иголки травы, по ней валялся Шарик. В стайке вздыхала корова, на амбаре кричали курицы, исполнивши свое дело, и громче их, будто тоже хотел снестись, но яичко никак не пролезало, базланил петух. Бабушка держала петухов красных, драчливых, и руки у нее всегда были до крови исклеваны. Ворота заложены гладким бастригом, превращенным в заворину, тем самым бастригом, который забросил когда-то в крапиву забунтовавший дед. Я подпрыгнул, крепко ухватился за верхние бревна заплота, подтянулся и сел. Чего еще жду? Окрика: «А ворот тебе нету, окаянная твоя душа! Вылезло тебе! Ворота не видишь, разъязило бы тебя в душу и и печенки!..»

Никто меня не окликнул.

Я спрыгнул в сугроб, наметенный подле забора, подошел к палисаднику. За тонкими осиновыми частоколинами краснела калина. Бабушка не собрала ее на зиму, чтобы сварить полезительной и сладкой кулаги. И птицы почему-то не склевали ягоды, а калина из тех ягод, которые они склевывают раньше других и охотней других.

Видать, и птицы покинули забедованную землю.

Над Манской речкой луна, полная и прозрачная до того, что на ней видны проточины и темные лоскутья, должно быть, лунные горы и земли.

Зарод сена, в котором затаились мы с Кешей, высвечен луною, и нет ощущения ночи. Мы как бы попали в другое царство, где все околдовано сном, все призрачно и до звонкости остыло. Зарод сметан на бугре, отодвинувшем в сторону речку и клубящиеся ольшаники. Бугор гол, и зарод поставлен так, чтобы продувало его со всех сторон. Сено сметано рыхло, на шалашом составленном решетиннике. Зарод хорошо зачесан сверху и даже прикрыт пластушинами корья. Но все равно сено в нем осенью согрелось, подопрело, и не будь оно посолено, так и вовсе пропало бы.

Вокруг зарода пестреет козья топанина, снег усыпан черными шариками. Не один табун пасется здесь. И пасется явно давно. Зарод подддержан и сделался наподобие кулича.

Мы с Кешей одеты в собачьи дохи, раздобытые на селе. Оба в подшитых больших валенках, меховых шапках и рукавицах-мохнашках. У меня еще замотаны пуховой шалью лицо и уши, оставлены только глаза, и смотрю я пристально па снег, истоптанный козами, на ближний, прореженный лес с коротко подобранными под себя теньями. Луна стоит почти над головою.

Я сжимал дяди Ванину двустволку, Кеша — дробовик, взятый у тетки Авдотьи, недавно лишившейся мужа — Терентия. Он без вести пропал на войне. Так-таки и пропал, утерялся Терентий. В плен его лешаки унесли, героем ли погиб?

С удивлением смотрел я на оцепенелый, отрешенный мир, залитый светом луны, на белую поляну покоса в бесконечных пересверках. Накатывал морок на луну, выплывало невесть откуда взявшееся облачко, и тогда бугор темнел, по нему чешуистыми рыбинами плавали тени. Лес за покосом делался плотнее, смыкался бесшумно. Но яснела луна, переставали бродить по снегу тени, и окутанный мохнатой дремою лес покоился на своем месте. Космы берез обвисли до белой земли, и хотя много их, этих крупных, несрубленных берез, все же кажутся они одинаковыми. Вдовьей грустью наносит.

От луны четко пропечатались далекие утесы. Деревья в вышине, словно обгорелые былинки, и все это: и горбатые выгибы перевалов, и темные скалы, ровно бы приклеенные к окоему, и деревья, как будто с

детской небрежностью нарисованные, ближние ельники, увязившие ветки в снегу, и спутанные в ржавые клубки лозины, черемушники, ольшаники по извилистой речке — весь этот край, убаюканный тысячеверстной тишиною, никак не давал поверить, что где-то сейчас гремит война и люди убивают людей.

Никакой войны нет.

В древнем, замороженно-сонном царстве, среди заснеженных лесов, за этими дальними, волшебными светящимися перевалами, люди пьют вино за новогодними столами, поют песни и целуют любимых женщин. Все они желают друг другу счастья, никто из них не таит в сердце зла. Зла не должно быть в таком прекрасном, в таком тихом и чистом мире!

Как обворожительно подвиден лес. Зимний лес!

Хочется забыться, довериться ему, закрыть глаза и остаться в нем навсегда, глубоко погрузиться в мягкую вековечную дрему. Это так легко! Осторожно поднимаю руку, стягиваю шаль с одного уха. Ничего не слышно. Ничего!

Какие тут могут быть козы? Что тут вообще может быть живое?

Безуспешно пытаюсь я уверить себя в том, чего нет: Августа спит спокойно, бабушка моя, гордая и шумливая, не ходит по людям и не выглядывает куски, на всей земле моей тишина, — но впасть в самообман не удастся — даже в этом лесу, в горах этих. окутанных младенчески-тихим сном, таится ощущение тревоги. Или тревога намертво въелась в мою душу, как въедается пыль в легкие силикозников?

Острой занозой входит в сердце беспокойство. Ровно бы опухает оно. Не раз, не два будет потом вот так же бояться и болеть сердце, непрощенно станут вонзаться в него какие-то недобрые предчувствия, и такое уж свойство нехороших предчувствий, что ли, — они обязательно сбудутся.

Наверно, в ту минуту, когда погибла фэззошница Катя, та самая, с косами, в беретке, которой собирался я сочинить письмо с эпиграфом, — заныло, стиснулось во мне сердце. За отсутствием сцепщика она пыталась перецепить паровоз у пригородного поезда, на котором проходила практику. Такая же, как она, соплюха, прошедшая за пять военных месяцев путь от кочегара до машиниста, расплющила девушку буферами.

Я не застаю ее, но узнаю, что звали ее не Катей, а Груней, Грушей, и что схоронили ее в братской могиле вместе с умершими в соседнем госпитале бойцами.

Много лет прошло. Девушку Груню небось забыли все на свете, а я вот отчего-то помню. Сдается мне, что она-то и была бы моей первой любовью. Впрочем, я много раз в жизни придумывал себе любовь, придумал, должно

быть, и эту.

— Мне грустно и легко, печаль моя светла...

— Ты чё шепчешь? Молитвы или наговоры? — Кеша уставился на меня, смотрит, рот открывши. Ресницы его густо обросли бахромой, борода и усы, едва пробившиеся, тоже.

— Наговоры. — Я шевелюсь в сене и любопытствую: — Кеша, есть такие страны, где люди ходят сейчас босиком и без штанов. Веришь?

— Не-а.

— А что война идет?

Кеша туго думает, затем поводит плечами, как будто стряхивает с себя неловкую поклажу. Сено начинает шуршать, и он затихает.

— И верю, и не верю, — выдавливая. — А твое-то какое нело? Чё беренишь себя и меня. Молчи навай. Скоро принут!

— Кто?

— Да яманы-то. — Кеша, отогнув воротник, обобрал с ресниц куржак и всмотрелся в меня пристальней. — Всегна ты за всех мучаешься. Оттого жить тебе тяжельше. Тиха! Инут вrone?

Я поспешил отыскать рукой шейку ружья и отвернулся от Кешино заиндевелого лица, на котором глаза от луны светились беззрачно, будто у идола. Кеша двинул меня локтем в бок, и я не вдруг, но очнулся, однако ничего нового на покосе не увидел.

Приподниматься начал. Ожило сено.

— Мри! — Кеша глазами показал мне на то место, где покос уголком вдавался в лес и где еще по сию пору виднелись заросли, не скошенные из-за сырой погоды. Несъедобные там росли травы, больше медвежьи дудки в руку толщиной, из которых в детстве мы делали брызгалки, охотники свинец для пуль в них отливали. Широкие розетки дудочника роняли на снег семя. Шишки с елок и сосен нападали, и оттого все там пестрело. Синими жилками вились, сплетались заячьи и горностаевы следы. В кормных зарослях покойной дурнины, накрытых серой тенью леса, произошла какая-то перемена — сделалось там темнее, дудки по отдельности уже мало где различались, и что-то едва слышно пошурхивало, ровно бы кто задевал переспелые дудки и вершинки их прыскали летучим семенем.

Сердце стронулось с места. Дыхание во мне сперло. Я еще не увидел коз в тени леса, среди бурьяна, но почувствовал: они там, они пришли. Напряженно, до тумана в глазах пялился я на нескошенный уголок покоса и различил странные лоскутья на снегу. Из спутанных зарослей елок, осин и сосенок, из снежной опушки леса проступили тени, похожие на

деревенские лавки с четырьмя ножками. На каждую лавку вроде бы брошена шапка, свесилось ухо. Скамейки стронулись с места, зашевелились, словно отражения на воде. От них отделилась тень, выдвинулась на белый покос, у нее вдруг объявились два острых рога.

Не сразу, но я сообразил, что луна скатилась к Енисею и эта бесовская тень с бороною и рогами есть не что иное, как тень козла-гурана. Едва различимой прожилкой гуран спаивался со своим, причудливо вытянутым, отражением. Задрал бороду, он процеживал ноздрями морозный воздух. Глаза его взблескивали, уши напряженно стояли. Козлухи, гураны и анжиганишки — малолетки — замерли в отдалении: ждали, когда вожак двинется вперед. Еще не весь табун вышел из леса. Угадывалось движение на опушке и под деревьями, с которых текла кухта, дырявила комьями снег. Дудки дребезжали, тренькали, будто слабо натянутые струны на сводедельной балалайке.

Я сглотнул слюну. Кеша придавил мое колено. Вожак ныром пошел по снегу, оставляя после себя глубокую борозду, остановился посреди бугра и снова задрал бороду. Я слышал, как он посапывает. Донесло противный запах старого козла.

Можно было стрелять.

Но Кеша опять давил мое колено и повел глазами в другую сторону. Я медленно перевел взгляд, куда он показывал, и чуть было не закричал. Там, во главе с другим, но уже безрогим гураном, стояла, рассыпавшись по нижней поляне, еще одна козья стая. Безгласно и бесшумно возникла она из этих гор, из белых снегов, из вылуженной ночи и двинулась в обход нас, на другую сторону зарода. Вожак там был или молод, или менее осторожен — к зароду козы бежали нетерпеливо, будто солдаты с проходящих воинских эшелонов за кипятком. Анжиганы отталкивали друг дружку, перепрыгивали через коз, глубоко проваливавшихся в снег.

Кеша взглядом приказал следить за тем козлом, что двигался к нам из дудочника. Козел, должно быть, не уловил никаких подозрительных запахов — дыхание наше глушило сеном, но все равно осторожничал, заметил, видать, куржак от нашего дыхания, возникший на сене, или потревоженный нами зарод, может, и лыжня, оставленная нами, насторожила его. Он не торопился, хотя козы другого табуна уже шумели сеном за нашими спинами, сопели алчно, взмыкивали, анжиганишки бодали друг дружку безрогими лбами, хмелея от соленого сена.

Осторожней и осторожней двигался к зароду вожак-гуран. Меня колотило, и я с трудом сдерживался, чтобы не заорать во всю глотку и не пальнуть. Подбористые в талии козлушки и тонконогие козлы пытались

ослушаться вожака, забегали вперед, рвались к сену. Гуран сердито мотал головой всякий раз, когда народишко его бородатый зарывался, поддел рогами чересчур резвого анжигана так, что тот отлетел в снег и больше вперед не совался.

Но вот рогатый гуран коротко мякнул — и весь табун смешанной толпой бросился к зароду. Лишь сам вожак прирос к месту, уперся в меня светящимся взглядом, будто пригвоздил к мосту. Холодная струйка потекла по желобу моей спины, ни дыхнуть, ни охнуть, даже единым пальцем шевельнуть я был не в силах.

Кеша стиснул до боли мое колено, сыро выдохнул в ухо:
— Его!

А я наметил глазами рвущегося вперед ушастого анжигана, того самого, которого отбросил рогами вожак.

Гурана мне стрелять не хотелось.

Дивен был вожак! Тонконог, грудаст. Рога у него набраны из толстых, к остриям утоньшающихся колец — различимо на тени. Голова гордо вознесена, но все равно висит борода почти до снега. И эта борода, и умный покатый лоб, тревожная и гордая поза гурана навевали что-то древнее, легенду о жертвоприношениях, о библейских временах и притчах. Красавец был вожак.

И ночь красива и тиха была.

Никого мне убивать не хотелось. Но Кеша тут старший, я должен подчиняться ему. Так мы уговорились. Он и ружье мне дал получше, потому как не надеялся, что из расшатанного дробовика-брызгалки я попаду во что-нибудь.

Неохотно потянул руку из лохмашки, слабо надеясь, что Кеша остановит меня, сменит решение, я опять суну руку в обжитое нутро собачьей лохмашки, и рука обрадуется еще не выветрившемуся из рукавицы теплу.

Кеша не останавливал меня. Он прикладывался щекой к ружью, установленному на старые деревянные вилы, замаскированные в сене. И я, чтобы не опоздать, чтобы не упустить ту секунду, ради которой мы шли сюда из села в морозную тайгу, сидели здесь чуть ли не половину ночи, начал шарить по гладкой ложе ружья. Пальцы мои коснулись скобы и приклеились к металлу, накаленному морозом.

Я должен стрелять! Стрелять в этого мудрого козла с бородой чудаковатого волшебника Хоттабыча, в эту новогоднюю, зимнюю ночь, в тишину, в белую сказку!

Ударил я гурана почти в упор из обоих стволов. Задумался,

замешкался, козел оказался вплотную передо мной, да и Кеша, приложившись, ждал моего выстрела.

Я ощутил толчок от ружья и еще до того, как вспух облаком черный дым из стволов, успел увидеть в проблеске пламени пружинисто прыгнувшего ввысь вожака. Кешин выстрел сухой лучиной треснул чуть позже. Сбросив с себя ворох сена, Кеша тонко завизжал:

— Есть! Есть! — и помчался от зарода.

Он проседал в снегу, падал, заваливался. За ним волочились полы собачьей дохи, и походил он на неуклюжую росомаху. А по покосу, в беспорядке и панике разбегались козы. Они уходили скачками, проваливались по грудь в снег, блеяли, кричали. Анжиганишки судорожно бились в кустах, ломали их с треском.

Разбежались козы. Мгновенно исчезли в горах, растворились в ночи, в снегу. С деревьев еще какое-то время текла кухта. Но скоро все остановилось, утихло, и снова сделалось покойно в тайге. Лишь белый бугор, исполосованный вдоль и поперек темными бороздами и топаниной, да слабо, как изгоревшие свечки, дымящиеся катышки напоминали о том, что сейчас только что здесь были животные, много животных.

С боязливым любопытством я приблизился к козлу. Он был еще жив, хрипло дышал и дергался, подбрасывая свое непослушное тело. Он пытался ползти к лесу, но только выгребал яму в снегу и зарывался все глубже и глубже.

Я бил ему в грудь, и, должно быть, все же угодил, куда нацелил.

Вожак приподнял голову, рванулся еще раз и осел на подломившиеся ноги. Так по-кроличьи, на лапах, лежал он и глядел на меня. По бороде его быстро-быстро капала в снег черная кровь. Я загородился ружьем, попятился было от козла, но неожиданная ярость ослепила и бросила меня на вожака, я бил по рогатой голове прикладом и, не слыша себя, вопил:

— А-а, шаман! А-а, оборотень! Чё глядишь? Чё глядишь? Сено жрал! Сено жрал!..

Хрустнула кость. Я проломил вожаку голову, затоптал еще живую, но уже вялую его тушу в снег и все кричал, кричал. Расщепал бы я приклад ружья, если б не подбежал Кеша.

— Ты чё? Снурел? Совсем снурел! — оттолкнул он меня так сильно, что я упал и лежал вниз лицом в снегу, дрожа, но не остывая. Хватив губами мягкого, козьей мочой пахнущего снега, я проглотил его и потрогал лицо рукавицей. Боль вернула мне живое ощущение, я высморкался, утер глаза и принялся заматываться шалью.

А потом сидел на сене тупой, выпотрошенный, братан вертел в руках

тулку и виноватым голосом бубнил:

— Ружье-то тятино, голова! Поломал бы! — неожиданно Кеша наклонился, пошарил и вынул из снега рога.

— Гляни-ко, отвалилися!.. — протянул их мне.

Я пощупал их. Острые бородавки на рогах цеплялись за пальцы.

— Навно уж отвалиться имя нано, — пояснил Кеша, — а он носил, маялся, помогли мы ему... — и гыгыкнул: — Трофей по горонскому называется. Отдашь своей шмаре. Возликует.

— Моя шмара рогов не любит, — сказал я и поднялся. Узнавши про Кешину ухажерку, конечно же, как истинный фэзэошник, я не удержался, расхвастался — у меня, мол, тоже шмара есть, и не одна.

— А чё любит-то? Конфеты? — вытаскивая лыжи из зарода, полюбопытствовал братан.

— Браслет ей надо золотой. А лучше — пайку черняшки. Да побольше!

— С претензией барышня. Они такие, горонские-то!

— Ты зубы не заговаривай! И не проболтнись... как меня тут родимец хватил...

— Че я, маленький, че ли... — Кеша сочувственно вздохнул: — Нервный ты человек, потому што жизнь твоя с малолетства...

— Н-ну, заве-ол! Еще попричитай, как бабушка.

— И попричитаю. И попричитаю! Я, может...

— Ладно, кончай! Говори, чего делать?

Кеша сопел, промаргиваясь на луну.

— Навай туши связывать} Эк ты его измолотил! Воин!

От Кешиногo избяногo ворчанья мне сделалось легче, я стыдиться самого себя начал и хотел как можно скорее уйти с покоса, из тайги этой, мерзлой, чужой, даже как будто враждебной.

Связав широкие охотничьи лыжи, мы завалили на них застывшего вонючего козла, сверху примостили добытую Кешей козлушку с махоньким вымечком и темными, дамскими ресницами, полуприкрывшими мертвые глаза. Связав туши бечевкой, надели по одной лыже и побрели вниз, к Манской речке. Идти на одной лыжине по целику и волочь за собой кладь тяжело. В момент согрелись мы, сбросили дохи, привязали их поверх добычи, двинулись ходчее.

Скоро достигли санной дороги, потопали без лыж. Местами катались под гору, навалившись на мягкие дохи, под которыми моталась голова козла и бородой мела снег. Вся тягость схлынула, как только мы покинули зарод, и я уж радовался, что все так хорошо получилось — с добычей, коз на

время отпугнули. Только глубоко-глубоко во мне таилось ощущение, будто в спину вонзился живой чей-то взгляд и, пронзивши меня, не отдаляется, не исчезает, а как бы растягивается все дальше, все тяжелее провисающей над дорогой проволокой, конец которой соединен с густо темнеющей тайгой и мерцающими в небесах хребтами, где скрылись и залегли в снегах козы в мохнатой зимней шерсти. И в то же время меня все больше глодал стыд за ту слабость, которую я выявил на охоте и которую ни один мой селянин не захотел и не смог бы понять. У нас от веку жили охотой, и если ты взял в руки ружье — стреляй. Нет — сиди, как сапожник Жеребцов, на вытертой седухе, починяй обутики — тоже промысел.

Мы миновали сплавной участок на Усть-Мане. От него доносился треск остывающих в ночи домов да запах едкого древесного дыма. Я потянул носом и вспомнил шорницкую, Дарью Митрофановну — надо будет занести ей на варево-два мяса, вот обрадуется женщина.

Чужая сделалась Усть-Мана без заимок. Казенное место с казенными службами. Но деваться некуда, многие наши односельчане работали здесь, бегая через горы летом и зимой, еще работали на Слизневском лесоучастке, на известковом заводе, на подсобном хозяйстве института, потому как село Овсянка, в котором колхоз так и не удержался, хотя канителились с ним долго, повисло как бы между небом и землей. Но большинство населения продолжало жить от земли: огородом, лесом и рекой, и теперь люди без определенных занятий, как их называли, получивши иждивенческие карточки в сельсовете, не знали, где их отovarивать. Торговая точка в нашем селе, пережив все переходные названия — винополка, потребиловка, казенка, лавка, кооператив, так и не достигнув солидного названия — магазин, переместилась в Слизневский лесоучасток и не скоро вернулась восвояси.

На Енисее дорога укатана обозами. Стужа меж скал не стояла, двигалась в одну сторону — вниз, всегда вниз, всегда по течению, даже зимой, видно, так уж в наших местах наклонена земля. Потные спины и разгоряченные лица начало сводить и корезить морозом. Я плотнее закутался шалью. Мы снова натянули дохи, впряглись в лямки, покатали.

По всей реке от прибрежных скал лежали зубчатые тени, однако дороги они не достигали, и ехать было весело. Лишь тень Манского быка перехлестнула дорогу. Мы ступили в полумрак тени, пошли медленней, тише, вовсе остановились.

Манский бык залит лунным светом. Вершина его металлически блестела. Сиротливо чернели наверху голые лиственницы. Тяжело вламывался бык в твердь Енисея. Обдутый ветрами лед у подножия

вспучился и растрескался. Камень быка резко очерчен по то место, докуда поднималась вешняя вода. Выше черты вспыхивали прослойки слюды. По ржавчине, выступившей из камня, наляпаны пятна ползучего плесенного мха, живого даже в такую морозину, когда и камень сам не выдерживает — лопается. В углу быка, в том месте, куда веками били две реки — Мана и Енисей, — зияла пустым жерлом губастая пещера. В холодной ее пасти белели наплывы льда.

В детстве мы боялись ходить сюда поодиночке, хотя в коренную воду у этого гиблого места здорово брал налим. Нам все чудилось, что пещера вот-вот каменно хрустнет челюстями и заглотит нас заживо.

У подножия утеса в трещины льда насыпался камешник. Под быком, под тяжелой его грудью, на льду там и сям остроуглые булыжники. Иные докатились до дороги, завалились в корыто, выбитое копытами коней.

Наверху, за лесистым загорбком утеса, где он отделился от хребта, из теплой трещины выходил ключ, роняя тонкие струи. Они катились по корням дерев, по проточинам камней, стужа на лету схватывала воду, и потому весь утес был в многосложных ледяных наростах. Связки сосулиц висели на козырьках. Должно быть от ржавчины сосульки были желтые, но под луною все они хрустально сверкали. В одном месте на пути ключа оказалась лиственница, и ее так заковало льдом, что ствол до середины был в панцире, на сучьях дерева рядами висели и крошились сосульки.

Вспышки в сосульках и слюдяных жилах, лунное мерцание на вершине утеса, шевеление и треск воды, дерево в панцире — создавали ощущение заморозки, потусторонности мира. Еще никогда не казался он мне таким потаенным и величественным. Его спокойствие и беспредельность потрясали.

И давно наметившаяся в моей душе черта сегодня, сейчас вот, под Манским быком, ровно бы ножом полоснула по мне — жизнь моя разломилась надвое.

Этой ночью я стал взрослым.

— Мне грустно и легко, печаль моя светла...

— Ты чё все бормочешь?

— Стихи, Кеша. Пушкина стихи.

— Стишки-и-и? — Кеша оторопело уставился на меня. — Пойнем отсюнова скорее, — заторопился он и совсем уже испуганным, настойчивым шепотом повторил: — Пойнем, пойнем!

Долго оборачивался я на утес, будто ждал чего. И дождался. Сзади послышался гул, грохот. Обвалившаяся льдина ударилась о подножие Манского быка, разорвалась шрапнелью, звонкие осколки рассыпались по

реке, и снова все замерло.

Но долго нес я в ушах и в сердце гул, звон, грохот, который медленно утишала глубокая снежная ночь и тихое движение воды, кровью сочащейся из груди утеса, которому суждена была тоже роковая кончина — его взорвут и сотрут с лица земли гидростроители через какие-нибудь полтора десятка лет.

* * * *

Со скрипом, бряком вломились мы в теткин дом.

Августа суетилась вокруг нас, помогала раздеваться, спрашивала, всплескивала руками:

— Живы? Шибко замерзли-то? Я все поджидала, вот, думаю, застучат, вот застучат, и задремала... Лезьте на печь...

— Некогда. Мы дичину приперли. Сейчас чередить начнем.

— Да ну? Вот так удалые охотники! Убоиной Новый год встретим.

Ночью же на кухне мы с Кешей свеживали козла и козлушку. Точнее, делом занимался Кеша, а я больше путался, бегал по кути, ронял посуду, мешал ему. Августа хлопотала возле Кеши, сноровисто и ловко орудовавшего ножом, подставляла тазы, ведра, чугунки и уверяла быстрым шепотом:

— Я все приберу... Все обихожу: и голову, и кишки. Ничему пропасть не дам.

Наутре мы покончили с делом. Полусонные уже, поели картошки, жаренной со свежей, ароматной козлятиной. Кеша убежал домой и унес в мешке половину козлушки. Я полез на печь, отыскал там пузырек с гусиным салом и еще раз натер им щеки и уши, взявшиеся сухой коркой.

— Заживат? — спросила Августа снизу, услышав запах старого, затхлого сала.

— Как на собаке.

Тетка приподнялась на приступок, поглядела на меня, подсунула еще одну подушку мне под голову:

— Мягче лицу-то будет. — Она хотела еще что-то сказать, но не сказала, а пошарила за кофточкой, достала вчетверо сложенную бумажку и протянула ее мне. Справка из сельсовета. В ней говорилось, что я задержался на неделю по причине болезни. И я догадался, почему девчонки

последние дни не пили молока, ныли, просили есть.

«Зачем ты это сделала?» — хотел я упрекнуть Августу, но ее так легко было сейчас ушибить, и я сказал, что это хорошо. Со справкой, мол, я избегу нагоняя в фэзэо. Словно дитя, обрадовалась моя тетка тому, что справка пригодится.

Больше она спать не ложилась, топила печь, быстро и неслышно бегала по избе, а когда открыли магазин на Слизневском участке, сгребла кусок мяса и умчалась туда. Возвратилась она возбужденная, с четушкой спирта, и сказала, что мы будем пировать. Пировали вчетвером: я, Кеша, Августа и дядя Левонтий. Тетка Васеня не пришла, ей немоглось.

Прежде чем выпить по первой, я маленько поговорил. Люди ждали не столько выпивки, сколько разговору, и я не стал куражиться.

— Чего бы на земле ни происходило, а время идет, — начал я. — Наступает Новый год, и никому ничего тут не поделать. И люди тоже, — я взглянул на Августу. — и люди тоже вместе со временем идут дальше. Раз родились, и в такое время жить им выпало.

Августа, пригорюнившись, держалась за рюмку и слушала, затем длинно-длинно вздохнула, подняла глаза, протянула рюмку, чокнулась со всеми:

— Ладно. Чего уж там. Запили заплатки, загуляли лоскутки! С Новым годом, мужики! — Она с сибирской удалью хлопнула рюмку спирта, поддела на вилку гриб, пожевала и расхвасталась: — Гляди, Левонтий, племяш-то у меня, а? Скажет, так чисто по-писаному! Заслушаешься прямо! Одну книжку, сказывал, в тюрьме человек сочинял. Калпанела по фамилии. В воде по горло сидел и сочинял...

— Н-ну? — приподнялся с табуретки Кеша.

— Слушай ты ее, — махнул я рукой в сторону Августы. — Будто не знаешь свою Лёльку.

— Нет. Гуска правильно утверждает, — поддержал Августу дядя Левонтий. — Сельсовет у ее племяша на месте. — И дядя Левонтий выразительно постучал себя по голове.

— Да будет вам! — пресек я эту тему и потряс бутылкой так, чтоб в ней забулькало. — Давайте еще по одной.

— Говорят, нуша милей ковш! — поддержал меня Кеша. — А нонче ковш нороже нуши.

Пошло за столом веселье. Мы с Кешей рассказывали про охоту. Августа угощала нас, дядю Левонтия, девчонок мясом:

— Ешьте, ешьте, хозяйку тещьте!

Пестрели половики в горнице. Кровать с бойко взбитыми подушками,

с кружевной зубчатой простыней, словно бы подбоченясь, шагала куда-то на четырех ножках. На угловике скатерка с зелеными ромбиками. Возле сундука вершинка ели — отрубил кто-то и выбросил — не вмещалось дерево в избе, а тетка подобрала вершинку, поставила в горнице и ключья ваты на нее набросала.

Хорошо-то как в избе. Празднично!

Много болтал я в тот день за столом смешного. Тепло было в избе и душевно до того, что Кеша закрыл глаза, скривил рот и затынул: «В воскресенье мать-старушка». Но всем вспомнилась бабушка Катерина Петровна, и сразу все начали сожалеть, что нет ее с нами за столом. Грустные песни сегодня петь не надо, веселые не к разу, да они и не приходили на память, веселые-то.

И чтобы поправить испорченное настроение компании, взялся я рассказывать, как перепутал с морозу женщину с мужиком в Собакинском совхозе и как шорничиха кашляла, отведав табаку «Смерть Гитлеру!»

Получилось у меня смешно.

Девчонки хохотали вместе с нами. Я пощекотал Капу, и она завизжала. Шум поднялся, переполох. Я догадался приладить себе на голову козлиные рога и бодать ими девчонок. Они с хохотом и воплями забились под кровать. Кеша и дядя Левонтий покатывались тоже и, как только девчонки объявлялись на свет, запевали: «Идет казара по большому базару, до кого дойдет, того забодет, забодет!» И не знавшие никаких игр и забав сестренки с топотом, вроссыпь бросались по углам, даже Лидка подпрыгивала в зыбке и взвизгивала.

— Ну, эту рыжу седня не уторкать будет, — разморенно качала головой Августа. — Не уторкать. Девки! Будет вам, будет! — несердито унимала она. — Наигрались уж.

Но Лийка с Капой еще долго не могли уняться, вертелись вокруг стола, тербили дядей.

Раскрасневшаяся, в пестреньком ситцевом платке и в такой же кофточке, Августа сидела, облокотившись на стол, и просила:

— Вы поговорите, мужики, поговорите или попойте. — Она уже не вынимала шерсть изо рта, и серая земля с губ ее почти стерлась.

Одну беду над моей теткой пронесло. Она потянет тяжелый свой воз дальше, одолевая метр за метром многими русскими бабами утоптанную вдовью путь-дорогу. Но каким-то наитием, шестым или десятым чувством, там, в ночной остановившейся тайге, я постиг — война будет долгой, и на долю нашего народа, стало быть, прежде всего на женскую долю падут такие тяжести, какие только нашим русским бабам и посильны.

Лучше других знающий свою тетку, даже я дивоваться стану, как она выдюжила лихолетье и сохранила детей. Коровы семья все же лишится — весной ее променяют на семенную картошку. Лесоучасток умудрится выжить семью из дома в пустую избушку-развалюшку, откуда она переберется к бабушке под крышу, и уже совместно с бабушкой проедят бедолаги одну половину нашего старого дома и останутся жить в другой. Бабушка возьмется домовничать с детьми Августы, которая поступит на лесоучасток валить лес и до конца войны, пока не пригонят в наше село пленных японцев, по грудь в снегу, вместе с вербованными и арестантами будет волохать в тайге. И вот наконец-то легкая бабья работа — Августа наймется стирать на военнопленных.

Зубоскалка и добрячка, она быстро «отошла» на легкой работе, и жалеючи, сморкаясь, рассказывала о том, как ей жалко было забитых японских солдатиков. Даже в плену японские офицеры объедали солдат, заставляли работать за себя, выполнять и офицерам назначенную трудовую норму. Один офицер особенно лютовал, бил солдат палкою — рук не хотел марать. Бил он и того солдата, который помогал Августе носить воду с Енисея в прачечную.

— И зубит моего япошку, и зубит. А солдатик-то очкастенький, ростик у небольшого, Яшей я его звала, по-ихнему — Ямага, да выговаривать неловко, вот я и звала по-нашему. Да што ты, говорю, ему поддается? Дай ты ему хоть раз по морде. Нельзя, говорит Ямага, офицер, самурай... Мне чего... самурай? Зачал бить как-то мово помощника, я вырвала палку да по башке самурая, по башке! Собирался он повеситься от бесчестья, сказывал Ямага, да не повесился, уехал с пленными домой. Жить-то всем охота, и самураям тоже...

И после веселого рассказа о пленных, давши мне отдохнуть, глядя куда-то поверх меня, тетка, треснуто и безоружно рассмеявшись, сообщает:

— А муженька-то я зря оплакивала. Жив-здоров товарищ Петров! Нашел себе помоложе, покраще... — Оказалось, Тимофея Храмова не убили на войне, он подделал похоронную, спрятался от семьи, предал ее.

Я, вроде бы уж все перевидавший и переслышавший, не верил тетке — надругаться над похоронною — самым святым документом, да еще в начале войны, большую сообразилровку надо иметь. Это уж потом, когда войско на войне сделалось пестрое, кадровых вояк почти не осталось, всякая тля, проходимцы и ловкачи и на войне начали устраиваться.

Августа кротко вздохнула, сунула руку за надбровник окна и подала мне письмо:

— Вот, погляди, полюбуйся!

Письмо было от сестры Тимофея Храмова, которая и сама не верила происшедшему, пока не съездила к братцу в гости, а съездив и все узнав, сказала ему в глаза, что нет у него ни стыда, ни совести, и она его «больше за брата не считает...»

Да-а, новость! Впрочем, я-то зачем и чему удивляюсь? Мне-то, как любил выражаться мой папа, «в натуре» известно, что война не только возвышала людей, она и развращала тех, кто послабее характером. Тимофей Храмов работал шофером у какого-то большого генерала и разболтался от сытой жизни. Недаром у нас — окопников — на фронте родилась поговорка: «Для кого война, а для кого — хреновина одна».

Но никакое предательство, никакая подлость даром не проходят. Один мой фронтовой товарищ утверждал, будто за всю человеческую историю ненаказанными остались всего несколько подлецов, не больше десятка, заверял он. Если не живых, то хотя бы мертвых подлецов настигало возмездие. Рок то или не рок, судьба то иль не судьба, может, и простое совпадение — Храмов все-таки погиб: упал лесопогрузочный кран и задавил его.

Пора заканчивать рассказ. Но тянет вернуться в жарко натопленную избу, за новогодний стол, где мы сидели, осовевшие от сытой еды, от жидко разведенного спирта. Девчонки до того разошлись-развеселились, что сплясали нам. Мы хлопали в ладоши и подтутыркивали им. Девчонки же пристали с просьбой спеть песню, какую всегда пела из подхалимских соображений самая хорошенькая из бабушкиных внучек, тети Любина Катенька:

Ты, сорока-белобока,
Научи меня летать,
Невысоко-недалеко,
Чтобы бабушку видать...

По большому носу дяди Левонтия, захмелевшего от такой малой доли выпивки, покатались слезы. Швыркнул носом и протяжно выдохнул Кеша:

— Н-на-а-а...

И мне глаза жечь начало.

— А ну вас! — сказал я и полез на печку.

Сквозь сон слышал, как целовал меня в ухо обветренными губами дядя Левонтий.

— Не лезь ты к нему, не лезь! — настойчиво отдергивала его тетка. —

Ему скоро в фэзэу свою идти.

«Верно, пора. Отвыкать начал», — вяло подумалось мне.

Дядя Левонтий не подчинялся Августе, называл меня сиротинушкой, ронял на лицо мое теплые слезы и в который раз заверял, что любит потылицынских пуще всякой родни, и если бы была здесь его дорогая соседка Катерина Петровна, он обсказал бы ей все, и она поняла бы его, потому как прожили они век душа в душу, и если соседка честила его иной раз, так за дело — шибко неправильно жил он в прежние времена, шибко.

Дядя Левонтий все же отлип от меня, но я какое-то время слышал еще, как вполголоса разговаривали Августа с Кешей, однако голоса их постепенно отдалились.

Сон мне снился все время один и тот же, точнее, сначала ничего не снилось, потом елка, а елка, было мне известно из старой книжки, снится к женитьбе, и хотя во сне дело было, все же я притих в себе, ожидая, как это будет выглядеть. Но вместо одной елки образовался колючий ельник — это уж к сплетням. Потом пошло-поехало: голый мужик — ну, это ничего, это к радости, глядь, а он на деревянной ноге — дальняя дорога, глядь, двери — это к смерти. Я побежал от смерти, упал, провалился куда-то и летел, летел в темную, бесконечную пропасть, ударяясь о что-то твердое. И сердце устало, и весь я устал и готов был хряснуться обо что-нибудь, разбиться в прах, лишь бы только не болтаться в пустой темноте. Измученный, задохнувшийся, услышал я наконец детский плач, полетел на него и проснулся.

Капа, втиснувшись за трубу печи, дрожала и плакала. Я хотел погладить ее по челке, но она боязливо втянула голову, сжалась вся.

— Что ты, что ты! Не плачь, не бойся.

Я свесился вниз. Никого дома нет. Кеша ушел. Лидка спала. Лия с Августой, должно быть, отправились доить корову и сунули Капу на печку.

Я оторвал от связки продолговатую луковицу, запихал ее в рот и стукнул себя по щеке кулаком. Пулей вылетела изо рта луковица и ударилась в стенку. Я повторил фокус несколько раз. Капа, малое дитя, перестала плакать и сама принялась обучаться фокусу у дяди-фэзэошника.

Осторожно начал выведывать я у Капы, чего она так испугалась, и Капа, как могла, объяснила мне, что я мычал, дергался и махал руками.

Тяжело мне, видать, одному было, и я кричал во сне, звал людей на помощь.

1966, 1988

Сорока

Возвращаясь домой, в Рейкьявик, после получения Нобелевской премии, Халлдор Лакснес давал в Лондоне интервью, и один ехидный английский журналист спросил его: «Правда ли, что в Исландии каждый четвертый ребенок незаконнорожденный?» Писатель ответил вопросом на вопрос: «Правда ли, что Англия занимает одно из первых мест по смертности детей?» И, смягчая обстановку, может быть, и блюдя законы чопорного английского этикета, потомок славных викингов заявил, что он приветствует жизнь в любом ее проявлении и ненавидит смерть в любом ее виде...

Прочитавши об этом, я сразу вспомнил взволновавший меня когда-то рассказ о том, как один человек, едучи на теплоходе от Дудинки до Красноярска, за рейс, продолжающийся неделю, сумел жениться четырнадцать раз!

В ту пору я еще мало чего смыслил в женительных делах и особого значения двузначной цифре не придал, меня больше интересовал сам ход сватанья и женитьбы, бытовая, так сказать, сторона вопроса, потому что легендарной личностью был не кто иной, как мой родной дядя Вася, по прозвищу — Сорока. По моему разумению, дядя Вася мог жениться и двадцать, и тридцать раз за рейс и никакой паники среди пассажиров не вызвал бы, разлада в работе теплохода не произвел. Я гордился успехами дяди!

Когда я подрос и мне показалось, что могу задавать людям любые вопросы, спросил дядю Васю насчет того удачного рейса по родной реке. Он провел узкой ладонью по моим волосам, по лбу, по глазам, по носу, как бы ненароком утер мне губы и, сияя золотом, обнажил зубы в снисходительной улыбке:

— Четырнадцать раз?! — Дядя погрузился в размышления, что-то подсчитывая и уточняя. — Два раза в сутки? Нет! — вздохнул он с прискорбием: — Не-возможно! Технически невозможно.

А был дядя Вася из нашей родни, хоть с одной, хоть с другой ее стороны, — самый технический человек: бракер на лесобирже, что к чему в работе или там в жизни — разбирался. Я ему поверил. Я всегда и во всем верил моему дяде. И все верили. Порой опрометчиво, особенно женщины, но куда же им было деваться-то? Не верить Васе было нельзя, не любить его — невозможно.

* * * *

Дядя Вася, Сорока. Что я знаю о нем? Мало, слишком мало. Ах, если б все сначала! Если б повторить жизнь! Даже писем Васи не сохранилось, лишь фотографии остались, много фотографий — он любил фотографироваться, любил наряжаться, любил нравиться, любил плясать, веселиться, хохотать, озорничать — мой дядя любил жизнь в любом ее проявлении.

Первая фотография: Васе лет четырнадцать-пятнадцать. Снят он вдвоем с деревенским дружкой — Федором Скоковским. Судя по тумбочке и заднику — занавеска с намалеванным на нем букетом цветов, — фотографированы друзья в Красноярске. Вася в шелковой, мешковато на нем сидящей, «на вырост» шитой рубаше, по вороту которой вьется едва заметная вышивка. На голове у Васи большой картуз, уже обретающий формы кепи, с ремешком по тулье, и на самом лбу картуза, должно быть, для фасона, прилеплена медная пряжка. Наверное, дед мой, Павел, по дешевке отхватил шикарную фуражку на базаре при распродаже барахла прогоревшего нэпмана. Явственно вижу, как дед долго и сосредоточенно примеряет кепи у треснутого базарного зеркала, то откидывая ее задиристо вверх, то припуская козырь головного сооружения на возбужденный торговлей зрячий глаз.

Я потому так много о Васином наряде, что сам он на фотографии «не глядится», еще остренько, простовато лицо, еще напряжен и скован его взгляд, еще мослата и детски слаба рука, держащая спинку стула. Чуть, только чуть искрит, даже не искрит, лишь брезжит в глубине взгляда улыбочивость, настырность ли человека, устремленного к полной независимости, к дух захватывающему полету неизвестно куда — лишь бы вольно было, лишь бы дышалось и жилось в радость.

Дальше — больше. Вася с друзьями, Вася с девушкой — дальней родственницей. Вася с двоюродным братом. И на всех фотографиях видно, как крепнет он небольшим телом, как ладнее и ладнее на нем наряд, как ярче выявляются, сияют, точно после здорового ребячьего сна, никогда для меня не гаснущие глаза.

И обрыв...

На какое-то время прекращается фотолетопись.

* * * *

В тридцать первом году вся семья деда Павла была вывезена в Красноярск, на переселенческий пункт, который я описывать не буду, он известен полнейшей беспорядочностью, доморощенной сибирской злобой, которая лютей всякой привозной, и неизвестностью. Васе же исполнилось шестнадцать лет, и его вместе с отцом продержали в тюрьме до осени, как совершеннолетнего. Тысячи здоровых, позарез нужных заполярной стройке мужиков продержали до последнего парохода.

За старшего в семье ломил на лесобирже рубщиком второй мой дядя — пятнадцатилетний Ваня, и с него, как свидетельствует расчетная книжка, делались вычеты, как и со всех спецпереселенцев. Посадили кормильца, обозвали «элементом», да еще и «вредным», вот и пусть с четырнадцати лет кормит и содержит этот «элемент» мордатых и беспощадных дядей с наганами. Мудрая ж политика — уничтожат, а потом спохватятся: «Ах ты, разахты, опять перегиб! Опять нас, наставников, охранителей передовой морали и строгого порядка, кормить некому! Сыскать мужика! Куда-то спрятался, хитрован? Мы за него работать должны?!»

Вася по совету Ивана подался на лесокомбинат, но вскоре увильнул от ломовой работы на бирже, поступил на курсы бракеров и с тех пор более физическим трудом не занимался. Дед Павел, как и ожидалось, засуетился в роли распорядителя по подрядным работам, то плотничал, то печки клал, то пушнину принимал, то в порту лодочной базой ведал, но, не поборов соблазна, устремился в коммерцию, начал торговать в овощном ларьке, где, как я уже говорил, и потерпел полный крах.

* * * *

Первая игарская фотография дяди Васи. Простой, без букетов занавес, без всяких загибов и архитектурных излишеств стул. На спинку его твердо опершись рукой стоит дядя Вася. Ему восемнадцать. Волосы зачесаны назад, белая рубашка застегнута на все пуговицы, не по росту большой,

мятый пиджак, и по тому, что он мятый, можно заключить — с чужого плеча, — никогда и нигде больше не увижу я Васю мятого, неопрятного. Брюки галифе, хромовые сапоги старого покроя, с высоким голенищем и закругленными передками, не форсистые «джими», эра которых только еще надвигалась, а наступив, много лет волновала сердца модников, да и по сей день нет-нет заявит о себе.

На этой, пока еще простенькой фотографии знакомый мне уже вживе человек. Гордо, с чуть заметным вызовом молодого петушка вскинута голова, да слаба и тонка еще шея, однако лицо обрело формы законченные, мужские. Но над всем «мужским» и «суровым» властвует нежность, которую так давно и упорно отвергаем мы и осмеиваем оттого должно быть, что даруется она природой редко кому, в особенности по деревням, среди крестьян, заезженных вечной тяжелой работой. Природа-матушка штампует, вырубает, склепывает нашего брата и вдруг вспомнит: да есть же у нее инструменты и потоньше топора или молотка, и для собственного удовольствия, для отдыха иль для проверки — не разучилась ли она еще творить вдохновенно? — возьмет и трепетными пальцами вылепит и раскрасит что-нибудь этакое, до чего и взглядом коснуться боязно.

Откуда бы у деревенского парня, почти не помнящего матери, выросшего в доме гуляки и картежника-отца, почти без догляда и обихода — этакая «дворянская» тонкость и чистота лица? Горделивая осанка? И так ему никогда не изменившая «интеллигентность» в одежде, да и в манерах обращения, и особенности с женщинами, из-за которых он много горя принял, но еще больше они из-за него.

Еще фотография. Еще одна страница жизни дяди Васи. Больше уверенности в себе, характер тверже, ярче разгорающиеся глаза, на фотографиях — темные, наяву — шоколадно-коричневые, с шоколадным же, неуловимым блеском в заманчиво отполированных зрачках, в которых не светятся, пляшут бесенята, беспокоя и распирая взгляд удалью. Так и тянет заглянуть за обрез фотографии, высмотреть — что там, за нею?

Но никогда и никого не пустит Вася себе в душу, да, наверное, и не тянуло никого особо-то заглядывать вглубь — слишком много привлекательного, ослепляющего было наруже.

Нынешним, уже много видевшим глазом и даже не глазом, вторым зрением, годами выстраданным опытом, я угадываю — слишком все же быстро повзрослел Вася — в восемнадцать лет полная независимость, спокойное достоинство человека, зарабатывающего свой хлеб, но в уголках смешливого рта как бы закушена и обращена в легкую улыбку чуть заметная горечь. Да ведь и то заметить: не каждому юнцу ни за что, ни про

что доводилось валяться на общих тюремных нарах, кормить вшей, хлебать баланду, раз в месяц мыться в городской бане — артельно из одной шайки, плыть неизвестно куда под конвоем, который особенных жестокостей не проявлял, но на берег не пускал и после каждой пристани, на всякий случай, пересчитывал по головам вверенную ему команду.

Игарская лесобиржа. Штабеля досок, будто домики, амбарно покрытые односкатной крышей. Меж штабелей бригада молодых укладчиков в спецовках. Работяги держат доски кто торчмя, кто в беремя, и все чему-то смеются. Фигурки маленькие, тусклые, в одной из них — по сверкающим зубам — с трудом узнается дядя Вася. Истощенный тюрьмой и дальним путешествием, он маялся зимой цингой, частью потерял, частью починил зубы, но я считал, что золотые зубы были вставлены для красоты. Не я один ослеплен был блеском золота, сколько девчоночьих и бабьих судеб перекусил, как нитку, теми зубами любимый мой дядя!

Снимок возле управления лесокомбината. Народ все солидный, в себе уверенный. Но среди конторских Вася не потерялся — при шелковом галстуке-трубочке, модном тогда, прическа «политика», взгляд чуть притушен сознанием занимаемого положения — он «служащий», ведет целым отделом в комбинате, ведет курс бракеров на вечерних курсах. Жизнь дяди Васи отлажена, начальство сулит переселить всю семью деда Павла из барака в отдельный домик, самого «служащего» снять с комендантского учета. Бабушка из Сисима простерлась мечтой в сладкие дали: Сорока, глядишь, вовсе остепенится, женится, домой придти станет вечером, а не наутре и хоть раз по-людски поест, выпится,

Но таланты, таланты! Сколько от них беспокойства человеку? Родове моей по линии деда Павла в особенности. Лихой был плясун дядя Вася! Когда в служащие вышел, города хватил, овладел модными танцами, слух был, что по части танго и вальса, где надо как можно шибчей вертеть и заламывать партнершу, равных ему на Игарке не было и не скоро нашлись бы, если б сам он не разрушил наладившуюся карьеру.

Дяде Васе восхотелось не просто кустарно танцевать, но делать это для радости народа, организованно, и он записался в танцевальный кружок лесокомбинатского клуба, где тут же всех танцоров позагонял в углы и сам возглавил кружок. Восхищенные игарские жители прочили тому кружку лететь по весне на краевой смотр «народных талантов», будто бы даже и бумага заготовлена была насчет реорганизации самодеятельного кружка в ансамбль песни и пляски, и, кто знает, может, прославленный красноярский ансамбль танца явился б свету десятками лет раньше, мой дядя вышел бы в знаменитые деятели искусств? Но...

Загулял Вася. Естественно загулял, как это делали буйные люди — отец его, стало быть, мой дед Павел, или как старший братец Васи, стало быть, мой папа. Пировал Сорока в ресторане, На виду и на слуху всего города. Папа мой клянется-божится: если б он не выкупил братца Васю, не миновать бы тому «белого домика», который, кстати, в Игарке никогда белым не был, он, серый от суровых заполярных ветров и стуж, размещался за таким плотным и высоким забором, что виднелась лишь горбина крыши — бракованные пиломатериалы девать некуда.

До ресторана события развивались так: Вася привел в лесокомбинатский клуб ухажерку «интеллигентского происхождения» — к такого рода барышням он испытывал болезненную тягу, должно быть, хотелось ему стереть окислившуюся медь деревенских копеек о золото городской высокой пробы, и, конечно же, как «свой человек», попер напропалую без билета в зал, набитый танцующим народом. И все обошлось бы, если б черти не унесли по нужде контролера и вместо него не встал бы в двери молодой парень, как после выяснилось, осодмилец. И эти-то минуты, в которые приспичило клубному работнику, решили судьбу моего дяди — осодмилец преградил вход рукой. Вася, будучи от природы человеком горячим, еще и перед барышней хотел бравость показать — преграду отбросил и поспешил в залу следом за барышней. Работник милиции метнулся за нарушителем, схватил его сзади за воротник, говоря иначе, за шкуру, не зная, что вот этого-то с собою делать Вася никому и никогда не позволял, — он с разворота вмазал в глаз осодмильцу, дальше уж заработала порода!..

Схватиться бы Сороке за голову, зажать ее, буйную, руками, задуматься, к властям бы с повинной, а он что делает? Отпущенный из милиции под расписку, отправляется во второй переселенческий барак, наряжается в новый костюм, минуя управление лесокомбината, где уже был заготовлен, но еще не вывешен приказ о снятии его с должности, — надеялись, зайдет, покается, с милицией вопрос можно утрясти, — минуя родную контору, Сорока летит в ресторан, устраивает пир и спускает все деньги, приготовленные на обзаведенье в «новой фатере».

Одной только посуды, как утверждает мой папа, перебил Вася в натуре на семьсот рублей.

Я несколько настороженно отношусь к названной сумме: мой папа имел склонность к преуменьшениям, с одной стороны, и к преувеличениям, с другой, — он всегда почему-то обсчитывался в детях, живя с мачехой, забывал шестого дитя, то есть меня, пребывая в моем доме, сбросил со счетов пятерых детей, нажитых с мачехой, — едва ли во всех заведениях

игарского общепита в те годы набралось бы на семьсот рублей посуды.

* * * *

Пробуксовка, смутность, выпадение времени, и... мятежный дядя оказывается в Норильске, не в качестве заключенного, как этого следовало ожидать, но вольнонаемным кадром — чего-то там он в Норильске тоже вроде как возглавляет.

«Свое слово», должно быть, сказал доктор Пителимов — человек в Игарке уважаемый, перед которым, догадываюсь я, бабушка из Сисима ползала на коленях, спасая непутевую птицу — Сороку, — очень уж виновато в последующие годы мой дядя чувствовал себя перед мачехой, избегал жить под одной крышей с нею, хотя находил время ей писать, называл в письмах «мамой», не забывал помогать и деньжонками.

Еще одна фотография, самая моя любимая: где-то в Норильске, в общежитии, взметнув ноги на свинку деревянной кровати, лежит Вася в сатиновой чертой рубашке-косоворотке с расстегнутыми белыми пуговицами, трезвый, благодущный, забывший о пережитом в Игарке событии, улыбается ребячьи легко, ножищи босые, огромные, я всегда смеялся, не понимая, как это ноги получились крупнее самого Васи, и лицо его в сравнении со ступнями что голубиное яичко в лапте.

Еще одна, мало известная страница жизни моего дяди — курортная карточка. Приодетый народ стоит на широком крыльце санатория. Под снимком бултыхающееся в русском горле слово «Цхалтубо».

Вася мотанул из Норильска! Нет, не в бега. Ему дали путевку на курорт, стало быть, и временный паспорт — оборотистому парню этого вполне достаточно, чтоб «закрепиться» на магистрали и наезжать в Заполярье только в качестве гостя.

Пока же восседает мой дядя на мраморном крыльце в элегантном сером костюме, при модно повязанном галстуке, волнистый его чуб треплют кавказские теплые ветры. Обхватив за талию уверенной рукой самую в толпе курортников видную деваху, с толстой косой, кинутой на грудь, дядя Вася интимно приник к этой косе ушком, и по лицу его угадывается: слышит, чувствует, какие тайные бури разрывают сердце красавицы.

* * * *

Вот и все карточки, какие перешли ко мне от покойной бабушки из Сисима. Настала пора рассказать и о немногих с дядей Васей встречах.

Ярче других запомнилась первая.

Я снова болел малярией. Вечером в доме гуляли, мачеха с отцом долго, заполошно орали, потом дрались. Я их разнимал. Хозяин разнимать устал, залез на полаты, оставив «на фатере» нашу семейку лишь до утра. В поздний уже час я бросил на пол какую-то лопотину, стянул рядничку с хозяйского сундука, укрылся ею и попробовал уснуть. По полу от двери тянуло холодом. Меня знобило. Наутре я все же забылся. Придавленный тяжелым сном, обмороком ли, я, хоть и отдаленно, слышал ходьбу, говор и среди голосов выделил незнакомый, но уже чем-то мне родной голос, как бы сдавленный журчанием в горловине, с легкой хрипотцой. Впоследствии я узнаю: говорят и дышат горлом от хронической простуды, непрямая это награда севера. Но тогда я сразу узнал голос моего дяди, хотя не помнил его, считай, что и не видел еще, — когда высылали наших в Игарку, я был еще очень мал и никого, кроме деда, не запомнил, да и не самого деда, а белую повязку на его глазу.

Я открыл глаза: за столом, возле горячего самовара, обставленного вокруг тарелками, сидела небольшая компания, в центре ее — узкоплечий, красивый парень с приспущенным галстуком, в расстегнутой на одну пуговицу рубашке с серебряно сверкающими запонками. Он ругал моего папу, сердито подрагивая чубом, — защищает меня — догадался я и, тихо поднявшись, обнял за шею незнакомо, чисто одетого, приятно пахнущего духами дядю. Он осторожно и неумело гладил меня по голове и тихо, сдавленным журчащим голосом говорил мне какие-то добрые слова.

— У-у, сволочь! — погрозил он кулаком моему папе, в отчаянии обхватившему голову, скорее — разыгрывающему отчаяние.

— Поругай его, поругай, Василий Павлович, — поощряла мачеха. — Худо содержит родное дитя, пирует, с женой дерется...

— Замри, как муха! — приказал мачехе папа и скрипнул зубами. — Нет, па-ачиму, па-ачиму я в натуре не разбил свою голову о каменную тюремную стену?.. — И стал колотиться лбом о столешницу так, что заподпрыгивала и забренчала посуда.

Мачеха качала головой, глядя на дядю Васю, посмотри, мол,

полюбуйся на братца. Вася смотрел, смотрел, вздохнул печально и попросил хозяина не выгонять нас на улицу хотя бы ради хворого парнишки.

— Токо из уважения к тебе, Василий, потерплю еще эту погань!..

В тот же день вечером Вася уплывал в город, и, когда прижал меня к себе, я, совсем уж отучившийся что-то просить у людей, глухо ему сказал:

— Возьми меня с собой!

Вася долго молчал, не отпуская меня от себя, и наконец тяжело выдохнул:

— Некуда мне тебя брать...

Я повернулся и с плачем побежал по раскату на яр, в заулке оглянулся: возле осинової долбленки, бессильно распустив яркое кашне, стоял, поникнув головой, мой любимый дядя.

На денек заскочил он в родное село, осветил мою жизнь, как красно солнышко, и уехал, а папа загулял пуще прежнего, обзывал Васю обидным словом «курортник», сулился ему при случае «полвзвода» зубов вышибить. Он пропивал денежки, оставленные Васей мне на катанки, на рубаху и пальтишко к зиме, о чем доподлинно было известно хозяину избы, который вскоре все-таки выгнал всю нашу семейку на улицу.

* * * *

Сошлись мы с дядей Васей вновь после того, как я поступил в ФЗО. Работал он в ту пору в Базайском доке бракером — это рядом со станцией Енисей. Я отыскал дядю и, пока не были построены общежития, квартировал у него, хотя и сам он обитал постояльцем в доме знакомого мужика, ушедшего на фронт.

Хозяйка работала не то заведующей детского садика, не то воспитателем. Я даже не знал, как ее зовут, не запомнил ее лица — что-то блеклое, тонкоголосое, прячущее взгляд. От возникшего к ней недружелюбия прозвал я ее Михрюткой-лярвой. Лярва — на уличном жаргоне — потаскушка, но что такое Михрютка — не знаю. Воображение рисовало малую зловредную зверюшку, вроде тундровой мыши-пеструшки или облезлого суслика, выглядывающего из норы. Чтобы хоть как-то отработать жидкий картофельный суп, который для меня выставляли в чугунке на плиту, койку, которую оставили за мной в комнатке за печкой, я

колол дрова, подметал пол и однажды обнаружил: огород-то, в гектар почти величиной, совсем не убран.

Все в этом доме и по-за ним делал хозяин, работавший в доке шофером. Михрютка-лярва была ленива и блудлива, и потому хозяйство разом шатнулось, пришло в дикость и запущение: стайка распахнута настезь, корову постоялец с хозяйкой сбыли; судя по перу, мокро приклеившемуся к деревянному настилу, по вони, долго держащейся во дворе, были в хозяйстве куры. И свинья была. Были да сплыли. Огород, забранный плотно сколоченным штакетником, весь в слизи картофельной ботвы, убитой иньями; на темных кустах висели неснятые и тоже почерневшие от холода помидоры; на пышных от назьма грядах обнажились переспелые огурцы. Лишь свежеструилась зеленою морковная грядка; краснела свекла; выперли из земли и в недоумении глядели на белый свет потрескавшиеся от натуги редьки; брюква шатнулась ботвой в борозды; капуста белыми башками наружу торчала из зеленого ворота листьев. Все это бесценное по-военному времени богатство было чуть поковыряно у воротцев, ведущих со двора в огород, да выкопаны десяток-полтора рядков картофеля на широком, хорошо удобренном загоне. Гряды с лакомой овощью: морковкой, репой, горохом, маком — притоптаны — сюда мимоходом, догадался я, изволил забредать постоялец, испробовать земных плодов. Давно уж пребывал он в пределах того человеческого сословия, которое пьет, ест и ругается, что кормят и поят его слабо. Дядя мой делал вид, будто напрочь забыл о земляной и грязной работе, изображая белоручку в первом колене среди нашей родовой.

Как и всякий бедный родственник, я уважал в нем эту особенность и взялся убирать овощ с огорода.

Вышел однажды совсем не рано поутру, минут всего за двадцать до смены, мой дядя, беспечно зашуршал струей с высокого резного крылечка по лопухам, насвистывая мотивчик «Рио-Риты», наблюдал за моим неспорым трудом.

— Одному тебе тут до конца войны хватит, — передернулся мой дядя на осеннем, еще не набравшем силу холодке. Сбегав к речке Базаихе — ополоснуться, дядя стриганул мимо меня, взлетел на крыльцо и крикнул, спеша в тепло: — Мобилизуй братву!

Я так и сделал — мобилизовал фэзэошников, пообещав им картох от пуза, хоть печеных, хоть пареных. За день молодые силы трудовых резервов в охотку убрали все подчистую в огороде, ссыпали картошку в баню — на просушку, остальную овощь стаскали в подвал. Весь тот день рокотал в бане котел.

Вспоминая дом, недавнее детство, сытую предвоенную жизнь, намолотилась братва вареных картошек с крупной солью до отвала.

Хозяйка явилась, заглянула в баню, приняхалась и шевельнула бледными губами:

— Платить нечем, — она вроде бы и недовольная была тем, что мы на нее работали. Повременила и добавила: — Хотите, возьмите картошек.

Ребята нагребли мешок картошек и утащили его с собою, а я, ополоснувшись в бане, сидел в боковушке, усталый, разбитый, ждал Васю, чтоб потолковать с ним и распрощаться. Да не дождался, уснул, и сколько проспал, не помню, как услышал перебранку за перегородкой:

— Я от ребенка не откажусь, хоть он и Гешкин...

— Да-а, не откажешься! — прохныкала хозяйка. — Кобель и кобель...

— Тишь ты! Услышит! Он у нас...

— Рвань! Шпаны понавел... Еще сопрут чё...

— Они тебе огород убрали, а ты? — И Вася, как бы обессилев, вздохнул: — Как бы тебя самое не сперли!.. — Хозяйка заширкала носом, но, словно не слыша бабьего хныканья, дядя мой веско добавил: — А обзывать не смей! Его и без тебя...

Они еще о чем-то говорили, тише, сморенней. А я, растроганный дядиными словами, снова начал было погружаться в усталый сон, как послышалась возня за стенкой: «Дерутся!» — вскинулся я всполошенно и по привычке, нажитой в удалой нашей семье, хотел было уже броситься разнимать людей, но шум за стенкой обрел умиротворенные черты — слышались шепот, смешки. «Да они же!..» — осенило меня.

То-то я не мог отгадать, где Вася спит? Почему нет нигде его постели? Не я ли оттяпал у него койку? А тут вон оно что! Идет ожесточенная война. Муж на фронте кровь проливает, а Михрютка-лярва срам в тылу творит! «И наш гусь хорош. С женой фронтовика! На его кровати!..»

Возмущенный до глубины души, я хотел сей же момент сойти с квартиры и ночевать на вокзале. Но вокзал на станции Енисей маленький, забитый до потолка утекающим от войны народом, на улице студено, темно и страшно, убийства начались, слышал я, и решил подождать до утра. Но утром проспал и дядю, и хозяйку, и занятия в ФЗО.

Без спроса и без прощания, не поблагодарив моих благодетелей за приют и хоть слабенькую кормежку, уйти, считал я неловко, и живот у меня с картошек совсем расстроился, и общежитие в ФЗО еще не достроено, не спать же вповалку в красном уголке служебного корпуса, вместе с бездомной братвой, когда есть угол, да еще за теплой печкой.

* * * *

Словом, я подзадержался в поселке Базаиха, хотя презирал в душе и дядю, и хозяйку, и себя. Вася не замечал моего к нему охладевшего отношения, хозяйка, после того, как я вымыл в доме пол, побелил печку и нарубил капусты для засолки, накормила меня жареной картошкой с мясом и разрешила брать из кадки соленые огурцы, которые я быстренько и перетаскал братьям фэзэошникам, все больше удивлявшимся скупости, бездушию хозяйки и моему такому долгому терпению. Я, по их мнению, давно должен был перетаскать и продать на базаре картошку, так как она по существу наша, и на вырученные деньги купить себе одежонку, чтоб не сверкать «очками» заплат на заду штанов.

Пока я склонялся к мысли так и сделать, достроили общежитие и вот-вот должны были расселять по комнатам. С облегчением сообщил я об этом дяде, идя с занятий и перехватив его на пути с работы.

От дока до дома Михрютки-лярвы путь недалекий, с версту, не более, но он у нас получился такой длинный и содержательный, что я и по сей день его забыть не могу.

Дядю моего беспрестанно останавливали какие-то люди, здоровались, хлопая по плечу, говорили скабрзости, на всю улицу разносился бодрый, жеребячий хохот. Девушки шмыгали мимо дяди, краснея под его разящим взглядом, либо вскидывали руку, кричали приветствия. Иные, раскинув руки, шли на него, и он понарошке увиливал вправо, влево и, как бы запнувшись, рушился в объятия, лез куда попало рукой. Мне было стыдно, завидно, только любопытство и злорадное чувство насчет Михрютки-лярвы утешали меня — хнычет, ждет небось постояльца, а он резвится. Словно желая меня добить, дядя свернул в доковскую столовую, в центральную! Столовая, по всем видам, была закрыта, но Вася завернул за угол, провел меня меж бочек, ящичков, поленниц, мимо злой собаки, в какую-то хитрую дверь и когда ее дернул — опахнуло меня густым паром, спертым духом преющего дерева, гнилых овощей, прокислой капусты, соленых грибов, чего-то тухлого, порченого. Стулья, лавки и столы были опрокинуты на одну сторону зала, вторая половина толсто завалена желтыми, чистыми, свежопахнувшими опилками. Уборщица толкала опилки пехалом, будто грязный весенний сугроб, за нею, махая метлой, кашляя и матерясь, волокся пьяный мужичонка, будто вел прокос по широкому полю,

пахнущему обувию, мочой, нечистотами.

Поздоровавшись с уборщицей, с мужичонкой, Вася углубился в полутёмный коридорчик, заставленный бочками, мешками, ящиками с очистками. Боясь отстать, я спешил за ним, и, поскольку никаких тайных ходов общепита не знал, ушиб колено, порвал рукав телогрейки о гвоздь. Впереди сгущались мрак и запахи, нарастало бряканье посуды, стук половников, ножей, слышался женский переклик, будто в лесу, и вдруг мы оказались на кухне, догадался я, потому что перед нами китайской стеной встал бок кирпичной печи. На печке той, под потолком, в застиранном колпаке, в мокром фартуке сидела пышногрудая девка, совала швабру куда-то вниз, в пары преисподней, и болтала ею — моет котел, догадался я.

— Валюха, приветик! — крикнул ей Вася.

Заблажив: «Ой, кто к нам пришел!» — девка рухнула с печи, норовя попасть в объятия Васи, да промазала. Оборонясь от Валюхи, Вася пятился, обнажая золото зубов:

— Костюм испачкаешь! Костюм!

Но Валюха изловчилась, сгребла моего дядю и понесла в беремени:

— Кто к нам пришел-то! Кто прише-ол! — вопила она, будто несла на руках балованного крестника.

За печкой открылась просторная кухня, заставленная громоздкими дощаными скамьями и столами. Посуда на столах и под столами была непривычно объемная и неопрятная. Кухня колыхнулась, порхнула нам навстречу, будто снялся ворох белых капустниц с полуобсохшей лужи. Дядю моего подхватило белопенным водоворотом, он в нем утонул, и только хохот и хриловатый голос его доносились из клокочущих глубин. Не бывавший никогда в общественных кухнях, кроме детдомовской, но какая же там общественная, там своя, — испугался я темности этого загроможденного заведения. Шум, бабий гам увеличивали мою растерянность, и я уж собрался незаметно улизнуть на волю, но обнаружил своего дядю сидящим в чистом углу кухни, возле маленького стола, накрытого медицинской клеенкой, и начал успокаиваться. Над столиком по узким полочкам птичками сидели пузырьки, баночки, пробирки, ниже висели разнокалиберные черпаки, термометр и еще чего-то, — рассмотреть я уже не успел, потому что все эти кухонные принадлежности падали со звоном, которые и разбивались. И происходила вся эта проруха оттого, что девки ровно сбесились при появлении моего дяди.

На каждом колене у него сидело по девке, и не просто сидели те девки, а егозились, другие тоже времени не теряли, лепились к дяде сбоку, обнимая его за шею, кружились белым хороводом, чмокали его, кто в

маковку, кто в щеку, и не понять было — озоруют они или уж в самом деле все втрескались в неотразимого кавалера? Он девок не отшивал, он дрыгался от щекотки, ойкал и хохотал, с торжествующим заглотом пригребал пучками девок к себе, не очень-то считаясь, куда и за что он их при этом хватает. А девки наседали! А девки наседали! «Хоть бы не задушили человека до смерти, вон какие сытые кобылицы!» — начал я ударяться в панику и услышал:

— Э-э! Не смущайте-ка мне племяша! — и когда девки чуть схлынули, произнес с насмешкой: — Он у нас начитанный до страсти! И вообще!.. — Вася повертел над соловой растопыренными пальцами, поясняя, что не все у меня дома. — Про любовь читает ночи напролет! — приложив бортиком руку ко рту, сообщил девкам «по секрету»: — Все больше про баронесс и маркиз: «И, припадая к вашей атласной туфельке, я чувствую тепло вашей бож-жественной ножки. Ваш взор я ношу в сердце с тех пор, как лучи его пронзили меня еще на совместной детской прогулке возле развалин древнего замка Сэн Жуэн. Помните ли вы ту незабываемую прогулку, мой ангел? — О, да — страстным шепотом ответила маркиза, падая на грудь своего прекрасного кавалера».

«Ну и язычок дал Господь человеку!» Книжку о маркизе Де Бель-Иль я читал ранней осенью. Умываясь за печкой и утираясь полотенцем, Вася иногда заглядывал в нее, нависал над столиком, забыв про полотенце, но скоро спохватывался — вставал-то ведь в обрез, на работу надо, хмыкнув, удалялся. «Поди ж ты, плетет, чё в голову набредет! Ну не нахал! Да меня бы к этим девкам допустить, да я бы...»

А чего допускать? Кого допускать? Зачем допускать?! Девки быстро избавились от меня, как от лица постороннего, отвлекающего их от интересного занятия. Водворили меня в угол кухни, дали каши с хлопковым маслом, кружку молока, кусок хлеба — ешь, дескать, и не мяукай.

И, ошалеv от такого изобилия вкусной пищи, я ел поначалу стеснительно, однако дядя Вася улучил момент, подмигнуv мне, рубай, дескать, не теряйся, — он отвлекал на себя главные силы, заливал девкам, которые просили еще и еще декламировать им что-нибудь красивое и переживательное: «О, мадам! Вы прекрасны, как сицилийская бархатная роза! Слепительны, как африканское солнце! Нежны, как аравийский персик! Ваш несравненный взор может соперничать с чистотой горного родника. Ваши ручки созданы для того, чтобы касаться божественного лика! Ваше нежное дыхание может согреть страждущего путника и несчастного юношу, оторванного от родных берегов и от вас, моя радость,

мой кумир, моя награда! Но вдали от родных берегов я слышу ваш голос, ощущаю ваш нежный взор. Паруса моего корабля наполняются ветром нетерпеливой страсти, и я уношусь вдаль, чтобы исполнить долг сына, гражданина своего отечества и верного слуги короля, — я должен защищать честь нашего рода и древнего, славного герба, вот почему я среди этих безбрежных волн. Что ждет меня впереди? Там, в заветной стране Эльдорадо? Знает один лишь Создатель. Но где бы я ни был, какие бы превратности судьбы ни обрушивались на меня, мое пламенное сердце всегда остается с вами, чтобы согреть вас, чтобы вы слышали, как, сливаясь вместе, биение наших сердец исторгает сладчайшую музыку любви и счастья...»

— О-о-о-ой, Васька! — коровой взревела Валюха. — Ты разрываешь мое сердце! Вот жили люди, а! А тут? — она с недоумением оглядела кухню и послала ее со всем грубым скарбом в такое место, какового у нее, как у женщины, быть не могло. — На фронт буду проситься! На войну! Пускай погину! Зато посмотрюся, налюблюся...

Мы тихо и молча тащились в Базаиху — я налопался до звона в брюхе, говорить и шевелиться мне не хотелось, долило в сон. Вася не свистел «Рио-Риту», вздохнул разок-другой протяжно, при свете фонарей на мосту я заметил складки у его рта, показались они мне горестными, и вообще был он весь какой-то ровно бы отсыревший, тяжелый — натешился человек, устал.

* * * *

С квартиры Михрютки-лярвы сошел я в начале ноября, сходил в гости к Зыряновым.

Накануне праздника революции нас разместили в новых, свежих побеленных, теплых бараках, и вскорости, когда группа составителей поездов, хмурая лбы, постигала премудрости железнодорожного транспорта, одновременно соображая, где бы и чего раздобыть пожрать, меня вызвал с занятий дежурный по корпусу.

Виктор Иванович Плохих, мастер нашей группы, вдалбливавший нам правила ПТЭ и ведающий, что мы его слушаем вполуха, подумал, что начинается какой-то происк со стороны учащихся, вышел из класса, но скоро вернулся встревоженный и разрешил мне отлучиться с занятий.

Редко кто посещал училище, еще реже вызывали нас с занятий, ко мне и вовсе никто не навещался, да и писем не слал. От тетки письмо придет позднее, уже зимою. Я пожал плечами и вышел из центрального барака, именованного служебным, потому что в нем были классы, столовая, красный уголок, кабинет директора, коменданта, комната мастеров, и еще потому, что стоял этот барак в центре пяти барakov и успел уже прогнуться спиной, наскоро крытой тесом.

Возле расхряпанного грязного крыльца с сидорком за плечами топтался Вася в модном демисезонном пальтишке, в кепочке. Пряча ухо от ветра за низким воротничком пальто, он пытался насвистывать «Рио-Риту».

Васю разбронировали, призвали на войну. Все свое имущество он оставил Михрютке-лярве, и она, с домом, с картошкой, с Васькиным и мужниным барахлом, скоро нашла себе другого мужика и тоже донимала его хныканьем насчет ребенка, которого у нее, как выяснилось, не было и быть не могло.

Мы молча дошли до желтенького деревянного вокзала станции Енисей, завернули в буфет и заняли место за угловым столиком. У Васи и здесь были знакомые девки. Они без очереди выдали моему дяде две порции галушек, миску соленых груздей. Вася вынул из бокового кармана бутылку разливного, свекольного цвета, вина и налил его в свою зеленую походную кружку. Отпил, подал мне.

Я не знал, какие слова говорить Васе. Я был несколько растерян оттого, что он именно меня удостоил последним перед отправлением на фронт свиданием и угощает вином, прежде он этого никогда не делал, — стало быть, я совсем большой. Но вот как себя по-взрослому вести, что пожелать дяде, чем его утешить, — не найдусь.

Выражение печали стерло с лица Васи всегдашний, всем привычный налет беспечности, мгновенно переключаемый на бесшабашность. Смирение, покорность судьбе, смятость всей его души — все такое новое, непривычное отпечаталось в его пригасших, невеселых глазах.

Без улыбки, без дерганья и шуточек сидел дядя за столом, утопив руки в коленях, пристально и отчего-то виновато смотрел на меня. Думая, что это мой жалкий, бродяжий вид ввергает его в уныние, добавляет горечи и в без того потревоженную душу, я стал торопливо объяснять Васе, что скоро нам выдадут железнодорожное обмундирование, спецодежду, начнется практика, и пойдет усиленный паек. А в остальном все у меня хорошо. В комнатах общежития тепло и чисто, в каждой комнате плита, у каждого учащегося койка с одеялом, двумя простынями, с подушкой, пусть и стружкой набитой, но мы все равно спим на них крепко. Ребята в группе

дружные. Мастер нам попался мировой, в карты я не играю, не ворую, не пью, не курю и покурил бы, да нечего. Словом, не стоит беспокоиться за меня, голова на плечах сидит крепко. «Не хвастливо ли вышло?» — спохватился я.

— Хорошо, — тихо и как бы издали произнес дядя Вася. — Хорошо, — повторил он громче. — Молодец, что поступил на железную дорогу. Я задержался на нем взглядом.

— Ты ешь, ешь, — подsunул он мне миску с галушками. — Выпить еще хочешь?

— Нет, мне больше не надо, — и подумал: может, я обижаю отказом дядю? Полагается же при прощании пить и плакать. — Мне еще на занятия. Пахнуть будет.

Вася покачал головой и тем же тусклым голосом произнес, обернувшись к раздаточному окну буфета и кому-то слабо улыбнувшись:

— Ешь вполсилы, пей вполпьяна, проживешь до полна, говаривал отец. — Подумал. — Прибауточник был тятя! — помолчал, глядя в стол: — Не все наше перенимай, много мы наболтали и нашумели. Главное — не пей... Постарайся...

Обдав окна паром и дымом, хукая трубой, мимо вокзала промчался паровоз, и я, панибратски на него поглядев, с гордостью знатока и «своего» на станции человека, сказал:

— Маневрушка.

— Хорошо, — повторил Вася. Это опять к тому, что буду работать на железной дороге и, стало быть, не попаду на войну.

«Ах ты, Сорока, Сорока! — загоревал я. — Уж лучше бы все наоборот. Выживать мне привычней».

Не знаю, угадал ли Вася ход моих нехитрых мыслей или время его кончилось, но он достал меня через стол рукою, сжал мое плечо и заговорил, глядя в сторону:

— Все мы... Радости знали, пожили, погуляли. — Крепче и крепче сжимая мое плечо, Вася пустился в напугавшую меня откровенность, винясь и мучаясь, что мог бы приструнить отца моего, деньгами мне помочь, одежкой, и самое бабушку из Сисима и деда утешить... да все недосуг было — и справедливо, воистину справедливо, что попал я на надежную службу — хватит, намаялся. И коли пустился на откровенность, выдал он и самое сокровенное:

— Я хотел последнего тебя видеть... понимаешь, тебя...

«Ибо блажен есть!» — оправдывая так нелегко давшуюся дяде искренность, вспоминал я речение и не стал возражать, отпираться, да и

шибко был я ошарашен полоснувшей меня догадкой: Вася чувствует — с войны ему не вернуться, вот и исповедуется, заговорило в нем то давнее, деревенское, о котором он вроде бы начисто забыл, презрел, выплюнул и ногой растер, — но не так просто, видно, отдираться от пуповины.

Прощается дядя со всеми и навсегда, потому-то и выбрал меня, самого сирого, и теперь только я уяснил — самого близкого ему человека. Как и всякий истинно русский мужик, дядя крестится, когда гром грянул. При большой разлуке, на краю жизни, где ни его наружность, ни находчивость, ни обольстительность помочь не могут, потянуло его растравить душу смиренным покаянием и тем самым, быть может, вымолить искупление, надежду на жизнь...

Но я не принимал такого дядю Васю до конца, всерьез, не привык к нему такому, и потому несколько мимолетно касалась меня его печаль и покорность судьбе, — встряхнется, очухается дядя и еще даст звону в жизни. Невозможно, чтоб Вася пропал.

Думал я тогда, что яркая жизнь и погаснет, ослепив себя собственным светом, как бы израсходуясь на вспышку, но доведется и мне видеть и знать, что смерть к каждому человеку одинакова, каждому страшен ее холод, непонятен беспредельный смысл.

* * * *

На фронт я попал весной сорок третьего года, уже зная адрес Васи из писем. Сначала я воевал на Брянском фронте, затем на Воронежском и Степном. Когда эти фронты объединились и образовался из них Первый Украинский, стал я довольно часто получать письма от дяди Васи и усек, что мы воюем где-то рядом, и дороги наши могут перекреститься. Не прозевать бы, не пропустить встречу с родным человеком, который на фронте становится еще дороже и роднее.

Однажды дядя Вася нарисовал в письме три танка и на одном из них выглядывающего из люка человека, и на нем погон со звездочкой. Нарисовал погон крупно, даже красиво. Задал загадку военной цензуре многоумный дядя Вася, но поскольку та была снисходительна к внутрифронтной переписке, то и не замазала шараду в письме. После мучительного размышления над неуклюжим рисунком я порешил: воюет мой дядя в третьей танковой армии, скорее всего командиром машины.

Наша гаубичная бригада входила в 7-й артиллерийский корпус резерва Главного командования. Не раз и не два мы побывали во всех почти армиях нашего фронта, поддерживая пехоту в наступлении, загорая ее, родимую, во время отходов, случалось сопровождать танковые армии.

Я выучил и запомнил цифровой и буквенный гриф машин третьей танковой и не пропускал ни одного танка, ни одной машины, чтоб не посмотреть, кто на ней едет, при случае и расспросить — не встречался ли им золотозубый парень по прозвищу Сорока? Вася еще все представлялся мне молоденьким, сверкающим золотыми зубами баловнем-парнем, да велик фронт, особенно главный в ту пору, Первый Украинский, много на нем народу, и один человек, пусть даже он и Сорока — песчинка в море. Стал я терять надежду на встречу с Васей.

Тут еще ранило меня по ту сторону Днепра, на Букринском плацдарме. Пакостно ранило, в лицо. Мелкими осколками кассетной бомбы или батальонной мины и крошечкой камешком, как адмиралу Нельсону, повредило глаз, раскровенило губы, лоб; ребята боялись — до медсанбата не доплыват. Но когда я очухался и меня отмыли, оказалось не так уж все и страшно. Медики прицелились метнуть меня недалече от фронта, в эвакугоспиталек, но я знал, чем это пахнет, на трофейные наручные часы выменял самогонки, угостил, кого надо, подарил дежурной сестрице открытки, исписанные на обороте по-немецки, с розами и целующимися голубками, завалившиеся в кармане, курящему санитару — исправную зажигалку, и мне вернули мое обмундирование, даже заменили окровавленную гимнастерку чистой и отпустили с повязкой на правом глазу на распредпункт. Там меня сразу же изловили бы заботливые люди, но не для того, чтобы вернуть в медсанбат, а чтоб доставить в саперный батальон, где пожилые солдаты — нестроевики — бродили по горло в осенней днепровской воде, налаживая переправы, и куда, естественно, никто не изъявлял желания попасть. Не появилось такого желания и у меня. Я был уже немножко бит на войне и опытен, знал гриф не только 3-й танковой армии, но и 7-го корпуса, так как машины корпуса курсировали по всему фронту, а в ту осеннюю пору в основном вдоль Днепра, то я скоро увидел груженный снарядами ЗИС, проголосовал, шофер тормознул, усадил меня рядом, и мы помчались в нашу дивизию, где земляк-повар так расчувствовался, глядя на мою повязку, что накормил меня до отвала супом и кашей, после чего я крепко уснул на земле, под деревом, выспавшись, определился уже на машину боепитания нашей бригады. В штабе родной бригады я был не только накормлен, но и маленько напоен. Дальше, где пехом, где на перекладных, я начал гнаться за своим артиллерийским

дивизионом и на другой день настиг его — он двигался с Букринского на Лютежский плацдарм, который первыми захватили бойцы бригады Свободы, и я там увидел чехословаков.

На Лютежском плацдарме была наведена мостовая переправа, через которую нескончаемым потоком текли войска. На другой стороне Днепра громыхала артиллерия, харкались пламенем и визжали эрэсы, вертелись и падали самолеты, лесистую местность затягивало теменью разрывов, на реку полого наплывали белесые тучи дыма от горящей сосновой хвои.

И переправу и плацдарм непрерывно бомбили самолеты. Продравшись на правый берег, части скорее рассредотачивались и затем медленно двигались по лесистым проселкам и вновь пробитым танками и саперами трассам, проще сказать, — по дырам с нагроможденными и них завалами, которые никто не хотел разбирать, но все охотно жгли, и потому продвижение там и сям то и дело тормозилось.

Наша колонна угодила в старую просеку, за нею и впереди нее с перекрестных визирок и троп катили другие колонны. Лес гудел, в сосняках плавал удушливый чад, машины буксовали в песках, чуть скрепленных сверху тощей травкой, мхами и кореньями деревьев. Стоило переехать и порвать рыхлую дернину, сплетение гибких корней — и машина оседала на дифер. Там и тут слышался стук топоров, скрежет пил, хрустение падающих сосен — бойцы выпиливали волока, подживляли машины, орудия, чтоб продвинуться на сотню-другую сажен вперед по направлению к какой-то Пуще Водице, о чем «тайно» сообщил командир взвода управления нашего дивизиона.

В глубине старого мачтового леса просека кончилась, проселочная дорога, ее пересекавшая, забита оказалась так, что пробка получилась совсем непробиваемая. С передовой идущие машины пробовали сделать кругалю, пробраться в объезд по редким соснякам, и разбросанно сидели среди желтых стволов, которая на боку, которая носом в корни, которая, припав назад, будто заржать хотела и метнуться радиатором в небо. Всюду слышались ругань, крики, кто-то кого-то подгонял, кто-то властно требовал очистить дорогу и кого-то посылал далеко-далеко.

Командиры сбившихся в лесу частей выясняли обстановку, привязывались друг к дружке, каждый казался сам себе главнее всех, часть свою — тоже самоглавнейшей считал и не желал заниматься лесозаготовками. Все дружно ругали саперов, доискивались их, чтобы отвести душу, и нашли пожилого дядьку в серых обмотках, обляпанного сосновой смолой. На плече его была винтовка с чиненным жестью прикладом, за поясом на спине топор.

Он сел на сваленную сосну, свертел сигарку, закурил. На него со всех сторон налетали по одному, по два, а то и скопом щеголевато одетые офицеры разных званий и все от него требовали; «Немедленно!», «Обеспечить?», «Вплоть до трибунала!»

— Ну чисто в нашем колхозе! — покачал головой старый сапер. — Все руководят, а робить никто не хочет. — И, подождав малого затишья, спросил: — Вперед на запад хотим? Хотим! Стало быть, товарищи офицера, выделяйте по дюжине бойцов с пилами и топорами под мою команду, к вечеру, благословесь, двинемся.

Возмущаясь, кроя на все корки фронтовые порядки, командиры частей покликнули офицеров помладше, те засуетились по лесу, вылавливая бойцов, которые, не теряя времени зря, занялись своими делами: пекли картошки, у кого они были, варили концентраты, починялись, писали письма, многие спали под соснами — к полудню припекло, хотя было пятое ноября, и где-то, в моей родной Сибири, на родной реке Енисее, заканчивался ледостав, ершась остриями шуги на стрежи; последние косяки птиц уходили на юг, а здесь вон, сомлевшая от тепла, черненькая пташка сидит на сосновом сучке и меланхолично сообщает войску: «В Киеве бар-рдак... В Киеве бар-рдак...» И кто-то подтвердил смеясь: «Воистину».

Я прибыл из медсанбата досрочно, чтоб не угодить в эвакуацию и оттуда в другую часть — одна, кстати, из главных причин, по которой бойцы и командиры, недолечиваясь, покидали медсанбаты, а не из-за какой-то там особой доблести. Мало пользы от больных людей на передовой. Я прибыл еще не совсем здоровым, тяжелой работой меня на первых порах не неволили, но многих бойцов у нас повыбили на плацдарме, ребятам было тяжело, и я по доброй воле стал подменять ночами дежурных телефонистов, понимая, что с артиллерийской разведкой покончено и мне надо куда-то пристраиваться — так сам себе и определил я место, сделался связистом и тянул «свою линию» до следующей осени, до польского городка Дуклы, где меня и стукнуло еще раз, как оказалось, последний.

Наголодавшиеся на Букринском плацдарме бойцы получили разом за все проведенные за Днепром дни паек — вышло по пол-литра водки на брата, по несколько буханок хлеба, много табаку, сахару, каши.

Наевшись от пуза, выпив водочки, смертельно усталые солдаты спали вповалку в кузове полуторки, корчась, стеная — судорогой сводило ссохшиеся желудки.

Им нужна была вода, много воды.

Я взял связку котелков и отправился искать воду.

Днепр остался уже далеко позади, деревень никаких поблизости не было, и вода оказалась лишь в колодце лесного кордона. Возле кордона собралась толпа военных. Отломив дужку, двое вояк рвали друг у дружки котелок, расплескавши драгоценную воду. Хозяин кордона, степенный пожилой украинец, осуждающе качал головой, крутя за ручку бревна, на которое медленно наматывалась влажная цепь, изъеденная водою. Подняв бадью, он осторожно начал разливать белесую жижу. Я уже привык к здешним местам — это остатняя, донная вода, в колодце скоро делается сухо, и, пользуясь тем, что на лице моем еще была повязка, — пробился вперед и, когда толпа передо мною неохотно расступилась, коротко сказал: «Для раненых». Босой, но в форменном картузе и выгоревшем френче лесничий налил мне два полных котелка, приподнял бадью: «Другим тэж трэба...»

Народ к колодцу налил и валил. Двое дравшихся вояк завершили сраженье. Кособокий ефрейтор, одетый в мешковато на нем сидящий, застиранный комбинезон, замаранный спереду ржавчиной крови, вырвал-таки котелок, заглянул в него и выплеснул остатки воды в рожу супротивнику: «Умойся, зараза!» Слизывая мокро с грязных губ, тот ошарашенно соображал, что ему делать: настигать ефрейтора и схватиться с ним по новой или же становиться в очередь с хвоста?

— Браток! — глянув мимоходом в мои котелки, пристроился ко мне ефрейтор, вытирая расцарапанное лицо рукавом. — Раненым... по глотку, умирают... — и указал в глубь сосняков. — Тут, совсем близко. Брато-ок... Вижу, сам ранен был...

Я свернул за ефрейтором. В глуби леса мы обнаружили стоящий под большой самосевной сосной «студебеккер» с прожженным и порванным брезентом, обнажившим ребра натяжных дуг. Ефрейтор проворно залез в кузов — оттуда слышались стоны, плач, тянулась алой живицей загустелая кровь, достигала колеса и свивалась в резьбе резины, четко прорисовывая красными ободками ромбики, выбоины и щербинки. Желтый песок под машиной и в корнях сосны потемнел, роились мухи, липла к машине тля, сажа, паутина, летучий пух кипрея, и все наговаривала в сосняках птичка: «В Киеве бар-ррдак! В Киеве бар-ррдак!», издали, должно быть, с передвижной радиостанции, доносилось: «Мы немцев побьем, опять запоем! И-и-и-и пес-ню домой пр-р-ринесе-о-о-ом!»

На просеке поднялся шум, грохот, хохот, хлопки выстрелов, послышался властный окрик: «Отставить!» Это в который раз выносит к машинам затравленного зайца — ребята веселятся, пугая и без того

полумертвую от страха зверушку.

Я подал солдату полный котелок. В машине началось шевеленье, стоны и крики сделались громче, и никак не мог я оторвать взгляда от скользящей по колесу красной струнки.

— Браток! — перевесившись через борт, обескураженно и с мольбой на меня смотрел ефрейтор. — Пособи. Чё сделаеш. Сами, может, эдак же ни седня-завтре...

Боясь расплескать воду из оставшегося у меня котелка, я ступил ботинком на клейкое колесо, взгромоздился на борт «студебеккера» и засел на нем верхом, не зная, куда поставить ногу. Кузов был забит ранеными. У кабины на канистре сидела вымазанная кровью, будто клоун краской, молоденькая санитарка с сумкой через плечо. На коленях она держала голову танкиста, замотанного с лицом, с волосами и шеей в бинты. Желтая мазь, похожая на солидол, проступала сквозь бинты. Из-под разорванного на груди, прожженного во многих местах комбинезона выставлялся новенький погон с двумя просветами, алел уголок яркой ленточки «Красного Знамени», выше золотился гвардейский значок. Тонкий, жалобный крик, переходящий в сип и клекот, доносился из толщи бинтов. Санитарка немигающими глазами смотрела на меня, на ефрейтора, моля нас взглядом о помощи, избавлении от беды. Ефрейтор не поспешил к ней, он приподнял лежащего у борта обожженного бедолагу, завернутого в плащ-палатку, потому что одежду и белье с него сорвали, макнув пальцы в котелок, помазал мокром растрескавшиеся губы и глаза в опаленных ресницах.

— Ай-яй-я-яй... Ай-яй-я-а-а-ай! — залился обожженный человек и начал биться, разбросал палатку, остался совершенно голый, полез за борт. Волдыри на его теле прорывались, свертывалась белая кожа, выдавливая из пузыря жижицу, но танкист ровно бы не чуял боли, он лез и лез за борт. Был он к тому же и слепой — понял я. Ефрейтор осторожно прислонил бедолагу к борту, завернул в палатку и покаялся:

— Зря и шевелил... Если Божья на то милость — помереть бы тебе, парень, поскорее... — И, словно вняв его словам, парень смолк, распустился телом, и тут же смолк командир на коленях у санитарки.

— Товарищ майор! Товарищ майор! — заверещала санитарка и затрясла голову раненого, и он опять вскрикнул пронзительно, будто дробью стегнутый заяц.

— Да не тряси ты его, не тряси! — устало сказал ефрейтор и тихо обратился ко мне: — Давай, браток, поить будем.

И начали мы с ефрейтором поить раненых, стараясь не наступить и все

же наступая на чьи-то руки, ноги, на мокрые бинты. Шлепало, чавкало, страшно было шагать, не хотелось верить и трудно, невозможно было соглашаться с тем, что брожу я в человеческой крови.

В машину заброшен брезент, широкий, грубый, американцы такими брезентами закрывали танки, самолеты и машины. Брезент скомкан, сбит к заднему борту — в пути машину обстреливали, бомбили, кто мог двигаться и выскочить из машины, — выскакивали и прятались, те, кто не мог, залазили под брезент и постепенно сползли к заднему тряскому борту.

— Там, поди-ко, живых нету? — махнул рукой ефрейтор. — На всякий случай все же посмотри. Я майора у этой дуры возьму, а то она его догробит... — И, шагнув к кабине, напустился на девку: — Ты чё его трясеешь? Чё тетешкашь? Кукла он тебе, майор-то? Кукла?!

Санитарка охотно уступила свое место на канистре ефрейтору, скорее полезла в сумку и, дрожа челюстью, твердила, оправдываясь и утешая:

— Счас, счас, миленькие... Подбинтую. Помогу. Счас... счас... родненькие! Счас!..

— «Счас, счас! Родненькие! Счас!» — окончательно остервенился ефрейтор. — Где твой медсанбат? — И, поправляя на майоре комбинезон, стараясь раскопать в бинтах пальцами дырку, чтобы сунуть в рот ему смоченный в воде грязный носовой платок, сдавленным шепотом повторил вопрос: — Где?

— Не знаю, — санитарка, как в театре, нелепо развела руками. — Все сосны, сосны кругом, желтенькие сосны... Одинаковые... Среди сосен палатки, палатки... — Она вдруг залилась слезами.

Ефрейтор обругал ее:

— Вой-яка, твою мать! Доброволец небось, комсомолец? На позицию девушка... А с позиции кто? Глазки лейтенантам строить едете? Брюхи накачать? Гер-ррой!..

Я поил раненых, подумав вдруг о себе, как совсем недавно меня спасали, переправляя с плацдарма, и кто-то, а кто, я так никогда и не узнаю, так же вот, как ефрейтор майору, держал мою голову на коленях, чтобы я не захлебнулся в дырявой лодке.

Над Лютежским плацдармом все время шарились охотники — «фоккевульфы» и штурмовики. Что-то узрев или пугая нас, они вслепую бомбили и обстреливали из пулеметов и автоматических пушек густые сосняки. Вот пошли поблизости, пикируют, эхом леса усиливается стрельба, шум разрывов. Пронеслись, прогрохотали «фокки» над нашей машиной, над нашими головами, и я увидел, как, прикинув друг к другу, прижались в кабине, загородив сразу утихшего майора, санитарка и ефрейтор.

После грохота и неожиданного вихря минуту-другую все было в оцепенении, еще не закричали те, кого зацепило, еще не загорелись машины и не запрыгали с них бойцы, еще не объявились храбрые хохотуны и матерщинники, только слышно было, как поблизости проваливается меж сучьев срубленная вершина сосны, проваливается стариковски медленно, с хрустом, шелестом, но вот коснулась подножья и, слабо выдохнув, легла на зеленый хвойный бок.

И сразу забегало по лесу начальство, спинывая с дымящихся костерков каски и котлы с картошкой, послышалось привычное, как для верующих «Отче наш»: «Мать! Мать! Мать!..» И вес покрыл визгливый голос:

— Чьи машины? Чья колонна? Кто ее маскировать будет? Пушкин?

Из глубины леса растекался черный дым, на чьей-то подожженной машине сыпанули лопнувшие патроны.

На дым непременно налетят. Надо бы раненых увозить поскорее.

— Я тя прикончу, если что, — сказал ефрейтор, отлипая от санитарки, вцепившейся в него, и начал растирать грудь майора под комбинезоном.

Почувствовав его руку, майор снова ожил, заголосил. И все раненые зашевелились и закричали.

— Господи! — внятно сказала санитарка, не двигаясь с места. — Помоги мне найти медсанбат. Помоги!

Продвигаясь от раненого к раненому, вливая по глотку мутной воды в грязные, перекошенные рты, уговаривая захлебывающихся, страданием ослепленных людей, которые вцеплялись в меня, не отпускали, я наполнялся черным гневом, будто сырая, худо тянущая труба сажей. Фельдшер и шофер ушли искать медсанбат — ничего лучшего не придумали, как бросить раненых на девушку.

— Чё сидишь? Чё сидишь?

— Счас, счас! — подхватила санитарка. — Счас, миленькие!

— Бога она вспомнила! — рычал я. — Отвернулся он от этого места. Ад тут!..

Я отбросил брезент от заднего борта и увидел спиной ко мне лежащую узкоплечую фигуру в грязном, просторном комбинезоне, подтянувшую почти к подбородку колени и, словно от мороза, упрятавшую руки под грудь. И что-то в темных ли волнистых волосах, в завихренной ли, «характерной» макушке, в нежной ли полоске кожи, белеющей между скомканным воротником и загорело-грязной шеей, пригвоздило меня к месту.

Там было еще несколько человек, лежащих друг на друге. Мертвых встряхивало на корнях, скатало в кучу, но скомканный танкист с

«характерной» макушкой лежал отдельно, в уголке кузова. «Да он живой! Чего же ты стоишь, остолоп?!» — И чувствуя — не живой, нет, зная уже, кто это, но заставляя себя не верить глазам своим, я перевернул танкиста и отшатнулся: горло его забурлило мокротой, под ладонями что-то заурчало, на меня, оскалив рот со сношенными почти до скобок коронками, обнажив серые, цингой порченые пеньки зубов, в полуприщур смотрел сквозь густоту ресниц и медленно выпрямлялся, будто потягиваясь в ленивом сне, дядя Вася.

Я плеснул из котелка в стиснутые зубы дяди Васи водицы, она тут же вылилась в углы затвердевшего рта, утекла под комбинезон. Я провел ладонью по дяди Васиному лбу, прикрыл его глаза, подержал на них пальцы и, когда отнял руку, полоска темных ресниц осталась сомкнутой: быть может, дядя Вася еще видел меня и теперь успокоился, подумалось мне.

Не зная, что бы еще сделать, я приподнял со лба волнистые, от пыли сделавшиеся черствыми волосы дяди Васи, и на правом виске, у самой почти залысины увидел три белеющие царапины — следы зубов неистового коня Серка, отметину деревенского детства, которое дядя мой не помнил, если и помнил, то не любил о нем говорить.

Сколько я простоял над мертвым дядей Васей, вклеившись коленями в кровавую жижу, не знаю, как вдруг услышал, что меня трясут за плечо.

— Браток! Браток! Ты чё?..

— Это мой дядя, — с трудом разомкнул я рот.

— А-а, — протянул ефрейтор и спохватился: — Родной? — уточнил зачем-то. Я кивнул.

— Вот! — вновь разъярился ефрейтор. — Хорошие люди гибнут. А эта... Врач где? Медикаменты? Вода? Спирт? Где медсанбат, спрашиваю? Мы не нашли медсанбат... — напустился он на санитарку. — Ты зачем на передовую ехала?

— Я не знаю. Я не знаю, — повторяла санитарка пусто, отрешенно. — Пусть меня расстреляют...

— Расстреляют, расстреляют... — прогудел ефрейтор.

— Бейте меня, бейте!..

— Помогай. Чего сидишь? — рывкнул он.

Девушка ринулась на голос, упала, запнувшись за раненого, вышибла у ефрейтора пустой уже котелок.

— Не гомони! Уймись. Ищи медсанбат.

Когда девчонка охотно спрыгнула со «студебеккера» и помчалась по лесу, ефрейтор вернул ее тяжким матом:

— Сумку-то! Сумку оставь, дура...

Мы помолчали маленько. Замолк и майор, не шевелился больше, умер, видно.

— Отдай мне его! Я хоть по-человечески похороню, — показал я на дядю Васю.

Ефрейтор озадаченно нахмурил лоб, почесал затылок.

— Не положено.

— А кто тут устанавливал, чего положено? Обращаться так вот с ранеными положено? Бросать на произвол... Документы и награды в сумке посмотри.

Ефрейтор поспешно и угодливо закивал головой, расстегнул сумку.

— Здесь.

— Похоронную напишите в Игарку.

— Да знаем мы его, знаем, — уважительно протянул ефрейтор. — Я хоть недавно в танковой бригаде, и то слышал: «Сорока, Сорока...» На хорошем счету был. Его после Киева хотят... хотели, — поправился ефрейтор, — на офицера послать учиться...

Значит, дядя Вася мечтал о военном чине — погон-то со звездочкой с умыслом рисовал! Ну, тогда девки снопами бы валились.

Ефрейтор поднял и подал мне на руках, как ребенка, дядю Васю. Я принял его негнущееся тело, в котором что-то жулькало и перекатывалось, стянул с себя плащ-палатку, завернул убитого и поволок скорее по просеке, пока не передумал ефрейтор и никто из законников не перехватил. Неподалеку от Пущей Водицы я перетянул все еще сочащийся сукровицей живот дяди Васи бинтами, передел его в чистое нижнее белье — надвигалось зимнее переобмундирование, оно происходило на фронте к Седьмому ноября, и я успел получить две пары белья, нательное и теплое, также брюки с гимнастеркой. Исподнее белье я мог пожертвовать покойному, навоююсь досыта и в одной верхней паре белья.

На кухне я попросил воды, привезенной под вечер с Днепра, умыл лицо дяди Васи, вытер его сухой онучкой, заменявшей мне полотенце. Друзья помогли выкопать могилу. Копалось податливо, песок «плыл», и где-то в полпояса глубины я опустил тело дяди Васи, завернутое в кусок брезента, пожертвованного нашим шофером.

Закопал, прихлопав могилу лопатой, потом взял на ближней батарее топор, срубил сосенку, затесал ее по стволу и при свете фонарика написал имя, отчество и фамилию своего дяди, подумал, что бы еще изобразить — до обидного куцей получилась надпись, и добавил: — «Танкист. Погиб 5 ноября 1943 года». Здесь же, неподалеку от могилы я зарыл ослизлые

пожитки дяди Васи — какой-то обычай смутно помнился: одежду покойника следует раздавать родственникам или уничтожать. Эта кому нужна?

Я лежал лицом во все еще теплом песке, и такая во мне была пустота, так болела контуженая голова, так пекло недолеченный глаз, что даже не было сил ни о чем думать, что-то вспоминать, хотелось уснуть и, хорошо бы, не проснуться. Но спины моей коснулся холод, сверху закапало, я откинулся затылком на комелек и на самом деле уснул, и во сне, наяву ли, повторял и повторял: «Христос с тобой, Вася! Христос с тобой...»

Ночью мы продвигались по свежепрорубленной трассе, достигли наконец опушки и со связистскими катушками, с телефонными аппаратами, стереотрубой, буссолью, планшетом, оружием отправились оборудовать наблюдательный пункт па окраине Пущей Водицы и в лес более не вернулись.

В ночи над сосновыми борами горело небо, с западной стороны вспыхивали огромные, в середине адски светящиеся взрывы. Клубясь, катились они вверх, раздвигали темень, приподнимали небо и, соря ошметками огня, рассыпали трубы, столбы, рельсы или выранивали сверху большой, светящийся окнами дом, и он медленно, беззвучно разваливался, потом докатывался могучий гром, от которого вздрагивала, колебалась под ногами земля и в сосняках начинали, словно бы со страху, валиться деревья — фашисты разрушали великий город Киев.

* * * *

Извещение на дядю Васю пришло зимой сорок третьего года, в нем было написано, что он пропал без вести в декабре, в боях за освобождение Украины. Не знаю, что тогда сделалось с ранеными: разбомбили ль машину, потеряла ль санитарка сумку с документами и наградами раненых, но, может, и потому «без вести», что в машине среди раненых Васи не оказалось.

В Игарке на обелиске, среди означенных фамилий павших на войне, есть дядя Ваня, погибший в Сталинграде, а дяди Васи нет. И нигде его нет.

Много лет спустя я бродил по соснякам расстроившейся, раздавшейся вширь и вдаль Пущей Водицы, искал могилу с сосновым комельком и не мог ее найти — кругом невозмутимо стояли и млели под ранним солнцем

стройные золотистые сосняки, к ним со всех сторон примыкали шеренги вновь насаженных деревьев, меж которых желтели маслята, розовыми воронками закручивались выводки рыжиков, которые тут почти не собирают, по всему лесу сыто и успокоение перекликались пичуги. Мне почудилось — я узнал голос птицы, которая осенью сорок третьего извещала, что «в Киеве бардак».

Кордон с колодцем мне найти тоже не удалось, я двинулся наугад, по сосняку, и кружил в нем почти весь день, спугивая заполошно хлопающих горлинок, потом устремился на шум дороги, на сытые дымы дачного поселка. Над головой моей, по вершинам леса, стрекоча и вертась, перелетела сорока, отманивая меня или предупреждая мирный лес о том, что в нем бродит нездешней местности человек и что-то ищет.

И подумал я: если, по преданью, душа человеческая оборачивается птицею — ангельским голубем, синицей, горлинкой, то душа моего дяди иначе как сорокой не могла обернуться, вот и кружит она надо мною, прогоняет к живым.

«Так прощай же на веки вечные, дядя Вася!» Я поклонился песчаной земле, густо заваленной рыжей хвоей, так густо, что сквозь нее реденько и с трудом просекалась травка, деревьям поклонился, которые вобрали в себя тысячи жизней, поклонился Великому древнему городу, не так ныне далеко и не грозно, а нарядно сверкающему вечерними огнями, цветной рекламой и текучими отсветами Днепра.

* * * *

Следующим летом я отправился на теплоходе по Енисею и только разобрал вещи, только собрался прилечь и вытянуться на диване, как раздалась моя фамилия по внутреннему радио и просьба выйти на верхнюю палубу.

«Опять какое-нибудь недоразумение с билетом, с каютой», — подумал я. Но радио помолчало и добавило: «Вас ожидает родственник».

«Час от часу не легче!» — фыркнул я и неохотно поднялся по лестнице вверх. От леера отнял руки человек в речной форме и, приветливо улыбаясь, двинулся ко мне, так как я застыл на месте — навстречу, убыстряя шаг, раскидывая руки, шел, сверкая не золотыми, но все равно ослепительными зубами, парень почти тех же лет, в которые я проводил

Васю на фронт. Был он совершенно живым Васей, прочнее, правда, сколочен, крупней костью, шире в крыльцах и в «санках» — верхенисейская колодка! Глаза его сияли тем же неудержимо-ярким светом, на который бабочками летели и охотно сгорали женщины. Еще издали нанесло на меня от форсистого речника с нашивками на мундире запахом духов и вина — флотоводец этот, как скоро выяснилось, результат предвоенной дяди Васиной поездки на курсы повышения квалификации лесобракеров.

Род наш продолжался на земле. С обрубленными корнями, развеянный по ветру, он цеплялся за сучок живого дерева и прививался к нему, падал семенем в почву и восходил на ней колосом. Если семя заносило на камень, на асфальт, он раскалывал твердь, доставал корешком землю, укреплялся в ней и прорастал из нее.

1977, 1988

Приворотное зелье

После окончания училища выдались беспризорные, неуютные дни, наполненные тревогой ожидания. Начальство училища вместе с нашими мастерами, кинув фэзэошников на вольную волю, оформляло документы, распределяло нас, сортировало, подсчитывало, распоряжалось нашей судьбой. Выпускники тем временем дулись в карты, рыбачили в речке Базаихе, лазили по огородам, выковыривали из лунок саженки лука и картошек, потихоньку сбывали на базаре постельное белье, меняя его на еду, шныряли по станции. Уже как самостоятельные труженики, курили и гуляли с девчонками, иные совсем нахально — под ручку.

Как всегда перед крутой переменой жизни, на меня напало возбуждение, зубоскальство, которое так же круто сменилось сосущей тоскою, погрузив меня в пучину душевного мрака, вызвав желание на кого-нибудь задираться, чего-нибудь сломать. Хорошо, что тогда не на что было купить выпивки.

Подавляя душевную смуту, робость и страх перед близким будущим — самостоятельная, ответственная и тяжелая работа на какой-то из незнакомых станций. Где определят жить? Как будут кормить? Что за люди окажутся в коллективе? Вопросы нешуточные, если учесть, что тебе восемнадцатый год и ты начинаешь трудовой путь в войну, и нет вокруг тебя ни воспитателей, ни учителей, ни друзей, ни даже надоедливого коменданта. Нам никто не объявлял, кого куда и с кем распределят, могут и на небольшую станцию засунуть одного тебя, разъединственного. Совсем тогда собачье дело, хоть вой после бесшабашно-веселого, неунывающего фэзэошного народа, и особенно после нашей восьмой комнаты, где все ее шесть обитателей сдружились так, что грустят и вздыхают, будто девчонки, и вроде бы в шутку, а на самом-то деле с тайной верой мечтают: «Вот бы нас всей комнатой да на одну станцию!..»

Думая обо всем этом, я тихо брел от станции Енисей к поселку Базаиха, имеющему прозвище «гужееды» — предки мирных базайских трудяг, не имея закуски, изжевали якобы гужи в пьяном виде. Наелись они или нет, теперь не узнаешь, а вот прозвище осталось. Впрочем, население этого пригородного поселка, когда-то бывшего деревней, сделалось так пестро, разноязыко и так разъединенно жило, что его не интересовали ни история поселка, ни тем более какие-то там старые прозвища.

Я приостановился на мостике, смотрел, как ребяташки взаброд

таскают где удочками, где ситом, где рядниной маляву, пескарей из речки Базаихи, поплеывая в воду, и, озирая окрестности, наткнулся взглядом на дом с голубыми наличниками, обшитой баней, обширным огородом — труба бойко крутила дым, ограда пестрела свежими тесинами, окно в бане вставлено, гряды в огороде белели опилками, земля ухожена, засажена, полный порядок во дворе. Нашла Михрютка-лярва квартиранта похозяйственной Васи, поняла, видать, что с ветродуями войну не передюжишь. К сильному хозяйству прибилсь кто-нибудь из выселенцев, коих в доке звали «чугреями», или по-старому «самоходами». Тихие, хваткие мужички, пристроившись ко вдовушкам, приумножали их хозяйство, плодили тупых в учебе, сдержанных в драке, скрытных сердцем детей, из которых потом получилось немало угрюмых бандитов, по жестокости затыкавших за пояс любого местного забияку, который только гонором да куражом и бывал страшен, на самом же деле копни его — слезливый, суеверный человек, дичающий от вина и безграмотности.

Конечно, поудовольствовать женщину так, как Вася, никакой поселенец не мог, тут им с нашими мужиками не тягаться, мало каши ели. Но всем остальным они затирали чалдонов. Тихой сапой, податливостью характера, трудолюбием и трезвостью большое они впечатление производили на здешних женщин, за которыми во все времена земляки гонялись с кольями, палили из ружей в потолок и вообще держали семью и хозяйство в постоянном напряжении. Не жизнь — маета сплошная была у наших баб, а сошлись с «нелюбыми» и, как тетка Дуня по своему Филиппу, сохнут по первому мужу, тоскуют всю жизнь. Может, и чувство вины их мучает? Что нету в живых? Молодые мужики за Родину, за народ жизни положили, стало быть, и за них, за баб, тоже, а они вот верности не соблюли, мужиков, пусть и мертвых, вроде как предали, поменяли на пришлых, скрытных, повадками и характером чужих людей. Одна моя односельчанка, пережившая мужа-фронтовика и в гроб загнавшая двух чугреев, весело горя, рассказывала: «У нас, парень, токо негров нету, но как другоредь приедешь — будет морозоустойчивый какой-нить, наплодит чериньких гробовозов! Чё сделаешь? — уже без изгальства заключила она. — Мужиков, братьев и сынов наших перебили на войне, а этих вот бздунув подсыпали. Бабе надо куда-то голову приклонить, одной на всем ветру гибельно...»

Посмотрел я, посмотрел на дом Михрютки-лярвы да и подался по Базаихе без спешки и цели. Выбрел за околицу, пошел вдоль Лалетинского сада, вытягивая шею и высматривая через высокий забор, — не работает ли где тетя Люба? Но сад большой, а тетя Люба маленькая — не увидел я ее.

Ноги же все несли и несли меня. И оказался я у того лога, по которому бойко катилась речка Лалетина, давшая название саду, там нынче находятся турбаза и железнодорожная станция. В логу млел под солнцем и крошил сержками хоть и прореженный топорами, но все еще веселый березничек, по склонам ломаные-переломанные, верченые-переверченые старушонками горбатились боярки, густо клубился цевошник, вербы и черемуха жались к воде, затеняя собой пучки высоких и веснами дивных здесь красноталов. На припеках же царствовало лето, ярко зеленела чемерица, жеваным горохом рассыпался набравший цвет курослеп. Я начал рвать последние, непорочно белые, на невестино платье похожие ветреницы, которые и сами гляделись в природе невестами; хотел к ним добавить синих цветов касатика — ириса, сунулся к пеньям и увидел вокруг корнястого, в середине иструхшего пня беленький омуток земляники. На одном крепеньком стерженьке сигнально светилась алая ягода. Я бережно оторвал ее от стебля вместе с прикипелой звездочкой. Отгрыз, выплюнул черствую звездочку. Донце ягодки было нежно, розовато, словно десна младенца, и вся она, с первым румянцем, с золотыми пупырышками на продолговатом тельце, с не налившимися еще до округлостей боками, едва ощутимым ароматом, ни на что не похожим, ни с чем не сравнимым, разве чуть-чуть с первым снегом, вся она, эта ягодка, первый подарок летнего солнца и земли, первая ласточка, которая хотя и не делает лета, но предвещает его неизменный приход, — совсем разволновала меня. Сжав едва слышную кожей, шершавенькую ягодку в руке, сам для себя неожиданно, зашагал по тележной дороге в лес, в горы, не шел, почти бежал, дальше, выше, перевалил один лог, другой, третий, сил во мне не убывало, дыхание не сбивалось, хотя взнималась дорога выше, круче, лес становился гуще, цветы и травы подступали ближе, пестрей, веселого птичьего грая становилось больше, солнце кружилось над самой уже моей макушкой.

Возле крутого, заросшего распадка тележная дорога забрала влево, затекла извиистой черной речкой в гущу тайги, я приостановился — это распадок речки Крутенькой — ноги несли меня не куда-нибудь, а по направлению к родному селу, и я не заметил, как отмахал половину пути.

Вниз, к Шалунину быку, вела узкая вытолченная в камнях, неровная тропинка. Хватаясь за кусты, за стволы старых деревьев, руша землю и камни, я с трудом скатился к речке, лег на живот, попил сладкой, пронзительно-холодной воды, булькнулся в поток лицом и, утираясь рукавом суконной железнодорожной гимнастерки, осмотрел молчаливый распадок, треугольником светившийся впереди, над лесом, — там выход к Енисею, там речка Крутенькая тонким острием втыкалась в камень и, сломавшись

в них, опадала светлыми осколками в завал и, невидимая глазу, соединялась с Енисеем, даже не пошевелив его крутого здесь течения. В русле речки местами еще холодел грязный лед, и ниже упавшая вода гортала под замытым навесом, капли сыпались вниз, было грязно по заплескам, тяжелые медвежьи дудки, подмаренники, чемерица, всякие разные дедульники только еще выпрастывались из мокрети, только еще только начинали жить, по отлогам тихо и пышно цвели прострелы, дремным цветом налитая, темнела зелень стародубов, было пестро от хохлаток, мелких снеговых ветрениц и робкой завязи купальниц, как бы притормозивших ход и дающих открасоваться цвету скорому, весеннему, чтоб потом, после первоцвета, занять свое место под надежным солнцем.

Долго шлепал я по размытому логу, где увязал в грязи, где прыгал с камня на камень, где подползал под черемухи или продирался сквозь смородинник и краснотал, но к Енисею вышел как-то неожиданно, словно распахнул дверь из тесной избы и оказался на воле.

Катилась светлая вода у моих ног, кружила бревна, хрипела на головке боны, по-за бонами во всю ширь играл, плескался небесный свет, и было там просторно, широко, отчего-то манило ступить на гладь реки, пойти по ней, по серебряной, соскользая, ахая, не зная, куда и зачем идешь, почему балуешься, охваченный веселым и жутким наваждением.

Шалунин бык сер, в ржавчине по щекам, и щеки напоминают мясную обрезь, в расщелинах быка, в морщинах бычков, уцепившись когтями за твердь, дрожат кусты, пробуют расти и дать подле себя место цветкам. Тени от скал лежат по берегу, разорванные светом, пробивающимся в расщелья меж дерен; тень быка, вдавившегося в реку, полощется, будто брезентовый фартук, сорвавшийся с выпуклого брюха утеса.

И под быком, и под изломами скалистого берега, и сзади, и спереди, и вверху, и внизу по реке наворочено каменье, серых, колотых, где горой, где россыпью, где в одиночку, и если б не соснячки по расщелинам, не кустарники, лезущие из каждой морщинки, не травы, не бурьян, проползший в каждую щель и щелочку, наверное, здесь было бы мрачно и жутко.

Но зелень, цветы, кипенье прошлогоднего бурьяна, пыль старой полыни и беловатые всходы, возникшие как бы из прошлогодних былок, березники, осинники, которые тут всегда отчего-то в одном и том же младенческом возрасте, рассеивают мрак, смиряют власть и давящую силу камня.

Я смотрю, смотрю, пытаюсь представить, как это было? Как несло вниз лицом и кружило меж бревен замытое, исхлестанное водою тело матери,

как мучило ее течением, как давило тяжелой, холодной водою, как набивало в волосья, в одежду, в раскрытый рот крошево красной лиственничной коры и как, наконец, придавило ее струёй к серому, полуобсохшему камню, тихие бревна, тоже измученные сплавом, побитые каменьями, уперлись одним концом в камень, другим — в берег и сделали затон для утопленницы. Бревна скапливались, напирали одно на другое, меж них и камней, по кругу, по зауейной воде таскало и таскало труп, переворачивало то вниз, то вверх лицом, и в крошеве коры, щепья и травы, вымытой с корнями, закипала уже пена, когда пикетчик-сплавщик, из вербованных переселенцев, увидев непорядок, решил растолкать бревна, отурить их за камень, на течение, чтоб не набило затон.

Недовольно ворча, может, что и напевая под нос, он пришел к воде, вспрыгнув на камень, уцелился багром в бревно и замер на взмахе, увидев белое, стертое течением лицо утопленницы.

Первое его движение было — бросить багор, загородиться руками, упрыгать с камня на берег, побежать в избушку, закрыться на крючок.

Но кругом было солнечно, тепло, летали птички, цвели цветы, шумела вода, кругом был живой мир, и не было в нем места страху, и, преодолев сосущее чувство одиночества, которое возникает при виде смерти, сплавщик почувствовал себя живым, себе принадлежащим, слава Богу, отделенным от утопленницы, лицо которой, казалось ему, молило об избавлении, просило освободить пусть не душу, хотя бы тело от тисков этой огромной, беспощадной и равнодушной реки...

«Господи! Спаси нас и помилуй!» — ележно пропел сплавщик, на минуту пронзенный душевной благостью, согретый отсветом той доброты, которая возникла вдруг в нем, заслонив на какое-то время пьяницу, матерщинника, бродягу и богохульника, воскресив, пусть и ненадолго, того почти забытого мужика иль парня, что рос при крестьянском дворе, с заранее назначенной и заранее же насквозь известной, простой и складной судьбой землепашца.

Тот, прежний, вытащив утопленницу, затянул бы ее в тенек, под скалы, укрыл бы дождевиком иль хворостом и поспешил бы по горам в село с горькой вестью — всем по всему здешнему берегу извещено было — ищут утопленницу, миром ищут девятый день, измучились, исстрадались ее родные, пора успокоиться землею и покойнице, а живым людям оплакать взятую смертью жизнь.

Он поначалу так и хотел сделать. Он багром выволок утопленницу на берег, присел на камень, дожидаясь, когда стечет с нее вода, боясь смотреть ей в лицо, боясь самой позы утопленницы, как бы разломанной по частям,

исполосканной водою, он глядел на руку женщины, отмытую до бумажной белизны, глядел и не мог оторвать взгляда от колечка, обручального, золотого.

Ему было страшно, тесно в рубахе, душно сердцу в теле, когда он тупым складником пилил палец безгласной женщины. Надрезав палец, он переломил слабо хрустнувшую косточку и, сорвав с обломка вместе с изопрелой кожей холодное колечко, поскорее присунул обрубыши к ледяной руке и более не подходил к утопленнице, не тревожил ее, трусливо дожидаясь пересменки.

А она лежала мокрой тряпкой на камнях успокоенная, ко всему терпеливая, и на ней роились мухи. Трясогузка, гнездо которой было в камешках поблизости, не могла нарадоваться легкой добычей, таская с утопленницы по две, по три мухи в клюве прожорливым желторотым птенцам.

Пикетчик не пошел в село с сообщением, он поскорее убежал в Базаиху — пропить золотое колечко, лишь его сменщик со сплавщицким катером передал весть: у Шалунина быка лежит на берегу безвестная женщина — утопленница.

Обезголосевшая, черная лицом бабушка, коротко и хрипло вскрикнув, упала среди двора, забилась на земляной тверди — видать, до этого самого часа, до рокового известия она еще на что-то надеялась, верила в чудо, но теперь, еще не видя утопленницы, почуяла сердцем — чуда не свершилось, ждать больше нечего, надеяться не на что.

Торопливо, словно надеясь искупить вину, успеть еще помочь беде, мужики запрягли лошадь, на рысях вымахнули со двора, по улице и за поскотину гнали так, что гремела телега. Возвращалась подвода наутро, медленно, скорбно, тихо. Лошадь опустила голову до земли, тяжело поводя взмыленными боками, есть примета — лошадь, везущая утопленника, всегда делается мокрой...

Все как было тогда у Шалунина быка, так и осталось до сего дня. Даже будка стоит, правда, с выбитыми стеклами, с сорванной с петель дверью. В будке чугунная печка, валяются багры, плывут по воде бревна сами собой, громоздятся, обсыхают. Пикетчиков нету. На войне пикетчики. И тот забулдыга, что обрезал палец с колечком, ушел на войну — экое ему там, блудне и пакостнику, раздолье будет.

Все как было — серый бык со ржавчиной на щеках; молодые осинники вроссыпь на склонах гор; цветы, травы, кусты меж камней и по

распадам, все так же катит и кружит воды река. Нет ни тревоги, ни горя, лишь слабый отзвук печали пощипывает сердце. Неужели привык к потере, притерпелся? Но отчего, почему меня сюда так тянуло, к Шалунину-то быку, к последнему пристанищу матери? Я поднимался в крутик со смешанным чувством в сердце. Ощущая невольное освобождение от давящего гнета, я старался погрузить себя снова во мрак и жалость, вызывал в себе картины одну мрачнее другой, воображая, как несло маму водой, как прибило ее к камню, как тащил ее багром пикетчик, но изображалось все это не во мне, а на каком-то плоском, чистом полотне, словно бы не умом я все это изображал, а кисточками.

Нет, изображенное горе, как его ни возбуждай, изображенным и останется. Настоящее человеческое горе постижимо только той душой, в которой оно происходит, которой слышна своя боль и ведома сила, способная вынести собственное страдание. Пока я еще не умею страдать о других, даже о собственной матери, если и посещает меня грусть, так это оттого, что мне без матери жить неудобней, тяжелее, и, жалея покойную мать, я больше жалею себя, ею покинутого. Прошла вот трудная зима, лето наступило, скоро совсем хорошо на земле станет, жарко и сыто, и стану я взрослым, начну самостоятельную жизнь, стану зарабатывать свой хлеб, сам распорядиться своей судьбой, жизнь закружит меня, и я, поди-ко, реже и реже стану вспоминать маму, со временем и вовсе ее забуду. Но что-то на сердце беспокойно? А как же ему спокойным быть, если кругом беспокой и на свете война? Раз я в мире есть и мир волнуется, то и меня должно качать, болтать, култыхать.

Вот отживу свой век, успокоюсь, лягу в одну землю с матерью, и тогда никакое волнение меня уже не коснется. А хорошо это или плохо — успокоиться? Насовсем, навсегда?

Не знаю. И не надо мне этого знать, незачем и голову забивать такими мыслями, когда светел день, ясно небо над головой, и чем выше в гору, тем шире простор, вольнее воздух, дышится во всю грудь, ноги, опять же ноги несут и несут меня через распадок, вперед, вверх по крутому, почти отвесному откосу.

Распадок, еще распадок — и вот он, Слизневский утес, с него и Овсянку будет видно. Всю. Под ногами она будет, внизу. Но кому я там нужен? Кто меня ждет? Там много едоков и без нас, дураков, а я без пайки, в гимнастерке, голоухом. С перепугу решат, что меня обсняли иль выгнали из училища.

Гудело в коленях, одышка распирала грудь, но я карабкался вверх, хватался за кусты, срывался, обрушивая ногами лавины камней. Они

катились, высекая искры из откоса, шарахались по кустам, клацали о гранитные зубья скал, взбивали вороха воды в кипунах, и вода, будто птица над гнездом, лохмато взлетала над мелколистой шарагой.

Этой стороной Енисея я хаживал редко, но мне и в голову не приходило, что могу заплутать, уйти куда-то в сторону, сделать крюк. Внизу, под обрывистыми навесами скал, широко и вольно светился Енисей. Впереди все дальше, выше поднимались перевалы, синими осередышами подпирая небесные тверди. Троп — не разгуляешься, как протоптали одну, может быть, еще пещерные люди, так одна и осталась. Я и поныне, когда еду по асфальтовой магистрали, ведущей на Дивногорск, вроде бы угадываю признаки той дикой тропы, и все мне кажется, что большая часть дороги проложена по ней, потому что люди ходили своими ногами, тратили свою силу, оттого и выбирали пути прямее.

Солнце было ополудни, когда я очутился в просторном редкоствольном сосняке. От подкипевшей смолы в густоте хвои стояла запашистая тишина, которую сгущали застенчивые цветы заячьей капусты; белеющие кисточки брусники и папоротники, выбросившие завитки побегов, еще и мякоть мхов, очнувшихся от вечной дремы, тоненько светилась ниточками, родившимися взамен тех, что угасли, сопрели в корнях сосен, сохраняя для них влагу, питая собой ягоды брусники, робкого майника, водяники и всего, что росло здесь неторопливо в потаенной неге краснолесья.

Я поднялся на самый высокий, на последний перевал перед спуском к Большой Слизневке. Скоро сосняк пропустил меж стволов солнечные полосы, мох заслонило ягодниками, лесной грушанкой, мастью похожей на гречиху, раз-другой и орляк мелькнул еще молодым, бледным крылом, да и сгустился, явились не побеги, а ветвистые папоротники, при виде и запахе которых и в самом деле что-то всегда сдвигается в сердце, оно не то чтобы обмирать, но тихо начинает ждать каких-то чудес, как в детстве, во тьме вечерней избы сжимаясь от жути, когда починали сказывать страшную сказку. Заранее вроде бы знаешь, как будет страшно, однако так заманчиво и так красиво это страшное, что уж безвольно отдаешься на волю рассказчика — делайте, чего хотите, но сил нету сопротивляться!

Солнце рассыпалось встречь мне таким снопом, что я зажмурился, чувствуя, как оно бродит по лицу, мягко ощупывает его, будто проверяет, свой ли человек тут бродит и какие у него намерения. Я улыбнулся солнцу и приоткрыл глаза. Впереди виднелись не стволы, а кроны сосен, уже растущих под обвалами скал, среди осыпей, стоков и расщелин. Ребро хребта все было в царапинах и камнях, и от самой бровки клубилось оно

кустами цепкой, разгульно растущей и цветущей белой и розовой таволги, из духоты которой упрямо выпрастывались дудки лопушистых пучек, настырная щетинилась в камнях акация и шипичник — все тут звенело поверху и понизу от пчелиных, шмелиных и осьих крыл.

На исходе борового леса, хранимого вознесшимся над ним сторожевыми башнями корявым, разлапистым листовягом, было просторно, сквозно среди листовенниц, которые первыми приемлют удары ветров, бурь, молний, и оттого стоят многие с обломанными вершинами и так просторно, что меж них зеленеют густотравные веселые кулиги. Здесь тоже были сенокосишки, и мужики порой с топорами, кольями делили их, потому как плохо в наших горных местах с сенокосными угожьями. И в таком вот месте, откуда сена спустить зимой сподручно лишь отчаянным мужикам на не менее отчаянных и диких конишках, считался покос удачным. Ныне тут не косят. Чапыжник да осинники трясут листом по старым покосам; кипенью золотистых цветков залиты склоны гор, забытыми кострами бездымно догорают в желтой пене курослепа дикие пионы.

Ниже по склону в сырости кипунов все растет еще пестрей, и вот среди вольно растущей лесной всячины сверкнула слюдянистыми лепестками любка, редко у нас произрастающая и почти не замечаемая ребятишками, избалованными множеством цветов ярких, крупных, как бы выставляющихся напоказ друг перед другом. Однако старые люди, век прожившие в колдовском селе, в особенности девки, знали тайну травы любки, ходили за нею в таежные дали, лазили «к лешакам», в болота, как говорили сами же, сушили любку, пряча от «дурного» глаза. Любка считается верным приворотным средством не только в нашей местности, но и по всей Руси. Хочешь развести парня с девкой или, наоборот, завлечь его, неразделенную любовь хочешь сделать взаимной — настоем корня любки незаметно, по рюмочке, пои «предмет сердца» да шепчи при этом складный приговор: «Плените его (иль ее) мысли день и ночь, и в глухую полночь, и в кажен час, и в минуту кажну, обо мне вечно. И казался бы я ей (ему) милее отца-матери, милее всего роду-племени, милее красна солнца и милее всех частых звезд ночных, милее травы, милее воды, милее соли, милее всего света белаго и вольнаго...»

Как доверительно, как простодушно-то! Только неиспорченные, зла за душой не таящие люди могли желать такого высокого и простого счастья себе и возлюбленному. Так отчего же при такой открытой вере в любовь и добро столько зла на земле? «Хочешь жить — убей!» Да я бы по всем лесам и болотам собирал любку, дни и ночи настаивал ее корешки и не рюмкой, а ковшом поил бы людей, только чтоб одумались они, преисполнились

уважения друг к другу, поняли бы, что любить и страдать любовью — и есть человеческое назначение, или веление Божье, или еще там что такое.

Минута, другая, пробежка по гребешку скалы — и вот тайга за спиной. Впереди открывается простор, от которого и по сей день у меня заходится сердце, хочется мне сидеть и сидеть на вершине утеса, смотреть и плакать. Пуще приворотного зелья мне эта даль и эта близь — леса, горы, перевалы, и главное — вот эта, притиснутая ими к Енисею, деревенька, издали, с высоты, такая сиротливая, такая смиренная, такая заброшенная, что стоном стонать хочется от любви и жалости к ней.

Я присел на край утеса, свесил ноги, стронутый мною камешек покатился вниз, из куста шипицы подпрыгнула и катнулась нежившаяся на припеке серая змейка. Грозно подняв узкий поплавок головы, она струйкой стекла вниз, в каменную щель. Я испуганно подобрал ноги.

Смотрю, не могу оторвать взгляд от села. Прошито строчками покотин и огородов к увалам, выгнувшееся полукружьем по берегу Енисея, оно стоит на ногах, несколько кривых, как бы нетрезвых, потому что нет-нет да какая-нибудь изба выскочит из порядка либо задом к миру повернется, а к лесу передом, — поперечный, озорной и расхристаный народ есть в селе, он как хотел, так и строился — идраву его не перечь! Иные бани иль стайки основательнее изб ставлены, тесом крыты, изба же под дерном, может, хозяин хотел обстроиться после, но закрутил его ход жизни, запил он, махнул на обзаведенье рукой? Может, и погиб в тайге, на промысле, недостроясь? Может, при разделе с отцом или с братьями ущемлен был и теперь ни в жизнь не покроет крышу, чтоб все видели и знали, как с ним обошлись родители, какими наделили хоромами.

Недавно из записей великого русского путешественника Степана Крашенинникова, сделанных в 1735 году, узнал я, что село Овсянка восходит к давним временам, и, стало быть, одно из старейших оно на Енисее и ровесником является городу Красноярску. «На правой стороне Енисея есть пещера, — писал Крашенинников, — Овсянская называется (та самая, куда забегали мы, играя, и где Санька видел домовнику с домовым). Длиною в семь сажен один аршин, а поперек — в одну сажень. Река Енисей против сей пещеры только в двадцати саженях. А еще есть писанный камень в двадцати верстах от этой деревни Овсянки. Половину служивых я наперед к писаному камню послал, чтоб того же дня дорога к нему прочищена была, а сам с остальными в овсянской деревне ночевать принужден был, потому что близ писаного камня деревни не имеется, а посланным служивым, сделавшим дорогу на Бирюсинскую деревню, которая в пяти верстах от помянутого камня, ночевать ехать велел».

Прелюбопытнейшая запись у Крашенинникова и о красноярцах. Привожу ее исключительно для того, чтобы показать, как неохотно исчезают и меняются привычки людей.

«От пещеры поехавши и на Овсянке лошадей переменявши, в город Красноярск того же дня к вечеру приехали. А здешнего города обычаи, которые мы, в нем живши, подметили, будут следующие: во время праздничное жители по гостям не званые ходят и черезчур упиваться любят, потому что иные из них почти весь город обходить не ленятся и инде чарку вина, а инде стакан пива урвут, и хотя уже в такое состояние придет, что на ногах ходить не может, однако ж лишбы в котором доме шум услышал, понеже из того признавают, что там попойка есть, хотя ползком ползет во двор, чтоб еще напиться...»

В селе нашем что ни двор, то причуда иль загиб какой, если не в хозяйстве, то в хозяине. Вот, например, Федорушка-мужик, дальняя мне родня по отцу, чего-то рассердился на жену, отделился от нее и ото всей семьи, забил дверь во вторую половину избы, живет один себе и жену свою не узнает, заодно и детей. Да кабы только знать их не знал! Он еще всячески вредит бедствующей семье, покоя ее лишает, дрова колет в жилище, весь порог изрубил, и чем больше его увещевают и совестят, тем он шибче кобенится.

Подамся-ка я лучше вниз, к Слизневскому лесоучастку, что прямо подо мною дымит кочегаркой гаража. Зимой в гараже перемерзали отопительные трубы и батареи, а сейчас кочегары решили откочегарить за всю зиму — дать жару! Работает кузница, дымит густо, деловито. В кузнице громыкает молотом глухой платоновский старик. «Дедка Платон, сколько тебе лет?» — «Не знаю, бат, не знаю, — ссаженным, звонким голосом отзывается он охотно. — Много поди-ко! Четыре наковальни за жись исколотил, за пятау вот взялся. Карточку и симсот грамм получаю да ишшо кады каши дадут. Хорошо, бат, живу!..» Хватаясь за выступы скал, за кусты и коренья, медленно спускался я вниз, но меня раскатило, понесло вместе с камнями, и я какое-то время плыл в рыхлой лаве, но вот лава рассыпалась, а я так разогнался, что едва в речку не заскочил.

От Большой до Малой Слизневки рукой подать, там и околица села — вот она.

Тетка Августа жила в ту пору в доме, который перекуплен был лесоучастком и отдан семье лучшего шофера. Ныне в том доме, где прежде жила моя тетка, размещается магазин.

После похоронки с фронта местные мудрецы вместе с леспромхозовцами сумели оплести и выжить тетку из дома в ветхую

избушку покойного охотника Лукаши, дав пятьсот рублей откупных.

В пору моей юности дом тот был еще крепок, крашен — сибирячки умеют и в годы бедствий не опускаться, содержать жилье в чистоте.

— Ой! — вздрогнула Августа, чего-то делавшая в кути.

— Откуль свалился?

— С гор!

— А у меня утресь головешка из печи на шесток выкатилась. Откуль, думаю, нечаянному гостю-то быть? А он, гляди, вот он!

Тетка говорила и пристально всматривалась в меня, и на ее лице заметно пробуждалась тревога. После того как зимой по пути в Овсянку я чуть было не замерз, больше бывать в селе мне не доводилось, но я не забыл того похода, и тетка, вижу, все помнит.

— Вытянулся-то! Вырос! — покачала она головой. — Чё-то бледный? Не хвораешь? Или питанье в фэзэу худо?

— Здоров! А питанье? Как везде сейчас. Жить можно. Девчонки-то где?

— По земляницу ушли. Скоро явятся. — Я молча и удивленно уставился на нее — какие еще ягодницы? — Да они близенько, па первом увале, и младшую, Лидку-то, с собой волокут...

Меня поташнивало, слова Августы, все звуки доходили до слуха как-то отдаленно, ровно бы сквозь воду. Я сказал, что лягу в сенках на лавку, в холодок. Августу притащила подушку, подсунула мне ее, припахивающую ребятишками, и встревожилась:

— Да ты дрожишь весь!

Она кинула на меня стеженое одеяло, тоже пахнущее детишками, сама побежала со двора и, уже открыв ворота, загадочно как-то и даже чуть лукаво объявила, что сейчас кого-то созовет.

Я впал в липкое забытье, которое знают те, кто принимает таблетки или уколы с сильно действующим снотворным, когда спишь не спишь, вроде бы все чувствуешь, но сам рукой шевельнуть не можешь, глаз открыть не в силах, соображается вяло.

Через какое-то время, короткое, длинное ли, я почувствовал прикосновение ко лбу костлявой, но такой теплой руки — все во мне отозвалось на это прикосновение, что-то защекотало лоб, лицо, закатилось в рот, — я облизал губы и улыбнулся — четверговая соль! — вернейшее из вернейших чудодейственных «бабушкиных» средств. Соль, освященная на великий четверг, перед Пасхой! А хранится узелок с той солью в уголке за божницей, но какая молитва творится при этом, забыл. «Ах ты Боже мой! Легче, видно, с верой-то перемогать горе, смуту и невзгоды. Смешно!

Смешно-то, смешно, да не очень, ровно бы я достиг наконец берега, и вдруг успокоилось во мне все сразу. Я глубоко и доверчиво заснул, как спать возможно разве что только дома, как уже давно не спал, — общежитие оно и есть общежитие, хотя наша комната была не воровская, не драчливая, все же шум, гам, боязнь продряхнуть завтрак».

— Батюшко, сонце на закат, не надо бы спать-то! Очкнись — очкнись...

Бабушка! Катерина Петровна! Она всегда так говорила — очкнись, а не очнись. Не открывая глаз, я дотронулся до нее, нашел руку, сдавил жесткие пальцы, обтянутые сухой, будто выветренной, шелестящей кожей, и какое-то время побыл там, в далекой дали, когда мог я позволять себе болеть и бабушка сидела подле меня, положив на лоб прохладную, когда надо теплую, ото всех недугов исцеляющую руку.

Не принято у нас, у дураков, никаких нежностей. Маленькие еще, куда ни шло, можем приласкаться, но как в возраст вошел — шабаш, бука букой! Особенно если ты парень или мужик. Бабушка чувствовала мою застенчивую ласку и угадала то состояние, в каком я, отдохнувший после дороги, высветленный сном, пребывал, не спугивала меня, не мешала мне, гладила по голове, чем еще шибче развежила:

— Все стриженной, все стриженной... Так, видно, и не носить тебе молодецкого чубу?

— Ниче-оо, поношу еще! Какие мои годы?.. — улыбнулся я и открыл глаза.

В старенькой латаной кофте, с отвисшей ниже подбородка некрасивой куриной кожей, усохшая лицом, но все еще решительная во взгляде, бабушка склонилась надо мной. В глубоких складках ее лица было горькое передо мною раскаянье. Я все еще, должно быть, казался ей младенцем, кинутым по ее вине в чужой дом, в гущу незнакомых людей, нет там мне никакой ни от кого защиты, я и побежал-то по горам, по долам, в одной гимнастерке, голоухом, и прихворнул неспроста — били, поди-ко, сильно, увечили, галились злые люди.

— Это сколько же мы не виделись?

— С прошлой осени. Зимусь был, Гуска сказывала, я в те поры на хлебах жила... — и отвернулась, — чё сделаешь? Пропитанье каждому человеку требуется.

— А я шел, шел и пришел...

Бабушка всплакнет сейчас, маму вспоминать станет, меня и себя жалеть возьмет. Я попытался подняться, сел и схватился за голову — кружилась, позванивало, снова тошнить начало.

— Да что же это такое?

Поправив подушку, бабушка велела мне лечь и снова пощупала мою голову:

— Жару нет. Не знобит тебя больше? Чево худое не съел ли?

Я маленько выправился, голова перестала кружиться, лишь слегка подташнивало, и сказал, что съел всего одну земляничину.

— Это с самого-то утра? Ничего тогда дивного нет. Худо можется, коль не гложется... Ты бы пайку-то выпросил в фэзэу и шел. Наши какие достатки, сам видишь...

Я стал объяснять бабушке, как шел, шел и поднялся в такую уже высь, что стало от Слизневки совсем недалеко, а тут и деревня вот она, рядом. Духу моего не хватило повернуть обратно.

Рассказывая, пробовал я шутливо изобразить, как это все со мною было, и чувствовал, что не только бабушке, но и себе не могу толком объяснить, что волокло меня, тащило в горы, по каменистой слепой тропе.

Я вроде бы и ног не переставлял, плыл, плыл в каком-то забытии, когда не чувствуется тверди под ногами, немо вокруг и все в каком-то одном, полупрозрачном цвете или дымке. Размыты вблизи и звуки, и краски, но блазнится открытие впереди — сделаешь шаг, другой, третий, — и достигнешь какого-то, давно тебе знакомого мира, вернешься к себе прежнему, все уляжется, все получит прежнюю определенность, все прояснится, и ты пойдешь, нет, поскачешь по знакомым цветастым полянам, ощутишь босыми ногами привычную ласку еще не очерствелой травы, привычное солнце привычно будет припекать тебе маковку, привычный ветер трепать будет рубаху на потной спине, и ощущение твердой земли под ногами — вернут сознание незыблемости жизни, и покинет сердце эта, год или два мучающая тревога, ожидание неминуемой беды или какой-то тоже тревогу сулящей перемены в судьбе.

И я достиг той поляны, дошел до края, за которым чудилось мне беззаботное, такое близкое детство, достиг вершины хребта, на который не велено было подниматься детям, да и не хватило бы детских крохотных сил на преодоление такой преграды, подышал, посмотрел на мир, но мир не сузился передо мной до одной поляны, мир сделался многозвучней, ясней вблизи и тревожил далью, настороженно ожидающей, перекатная тревога сменилась теперь уж вечным, понял я, беспокойем, предчувствием чего-то, пока и самому неизвестного, и в сердце, в дальнем уголке его так и будет всегда шевелиться холодок, кружась колючей капелькой по его горячей и невеликой плоти. Что завтра? Через год? Через десять лет?

Как объяснить это бабушке? Раньше все так понятно было. Но

бабушка все, что мне казалось так мудрено, тут же объяснила житейски-просто, крестьянским опытом, древним умом и памятью ведала одну истину: все вокруг должно стоять и лежать на определенном месте — и дом, и пашня, и огороды, и лес, и горы вокруг, хозяйство и деяния человека в нем должны знать границу, должны быть очерчены жердями, заплотом, межой, дорогой, распадком, речкой, за которую не хожено и незачем ходить, стало быть, и думать, что там дальше, — незачем, всей земли не охватишь, вся она в Божовом распоряжении, только Ему и досягаемо всю ее озреть с небесной высоты: Ему и заботиться о ней, страдать большими страданиями, потому как один за всех. Человек должен трудиться и не роптать, а роптать, так про себя, помня про Божьи благодеянья, забывая обиды и все, что в его, Божьего человека, зрении и распоряжении есть до гвоздя, до щепки, до кисейной занавески на окне, должно быть известно, когда и за сколько приобретено, зачем оно тут есть и зачем будет, все должно быть поставлено в тот ряд, который и есть не что иное, как человеческая жизнь. В ней, в жизни, тоже в ряд составлены годы, месяцы, дни, минуты. Зиму сменяет весна, весну — лето, лето — осень. Среди будничных дней, как награды за труды, — праздники, которые дальше в жизнь не сгущаются, подобно лесам, наоборот, делаются реже, потому что к старости больше потерь у человека, накатывает нездоровье, усталость, плоть не тревожит, не гонит на чей-то зов. и праздники уже не праздники, и радость не в радость, зато душе покойней. Утихшая плоть высвобождает из тайного плена дух, стало быть, не только душу, но и тело можно посвятить Богу, то есть всего себя без остатка увести из суеты, от зла, тревог... и только печаль, тихую печаль возжигать в себе желтой свечкой и греться от слабого ее огня, слышать, как медленно и сладко истлевает она, усыпляясь вместе с тобою...

— Ты к Шалунину быку спускался?

— Спускался.

— А зачем спускался, знаш?

— Воды попил... н-н-ну, умылся.

— Заделье рукам нашлося. А вот тут-то, тут-то, — потыкала бабушка перстами в грудь, — тут-то чё? Тут сердце за мать мучается, потому как ее сердце в тебе колотится, кровь ее тебя и позвала... Она, она-а! Нету зова сильнее крови да ишшо земли родной. Мила, мила та сторона, где пупок резан... И на последнее мамкино пристанище ты не сам пришел, не са-ам! Вила, крутила тропка и на мамкин след вывела тебя не зря. Ох, не зря! Разлука тебе большая предстоит с родной землей, вот и хочется сердцу твоему об камешек, где мамка лежала, раниться, чтоб боль не забывалась в

дальней стороне... — Бабушка смолкла, поникла головой. — Кабы возможно было, батюшко, дак я бы все ваши муки на себя взвалила да с собой в землю и унесла, чтоб хоть немножко тут вам легче было.

Голос бабушки дрогнул. Я поворачиваю разговор — никакой мне разлуки не предстоит, всех наших выпускников распределяют по Красноярской железной дороге, потому как на ней не хватает кадров.

— Не знаю, не знаю, — недвижными глазами уставившись мимо меня, в открытую дверь сенцев, за которой на грани темени и света, тепла и прохлады клубились мушки и плясала рыжая, яркая, что огонек лампы, веселая бабочка, протянула бабушка. — Не знаю, не знаю, — повторяла она со вздохом. — Говорят, своя печаль чужой радости дороже. Коли ее немного, дак так оно... Да ты не мучь себя шибко-то, не винись. Покойных больше, батюшко, чем живых. И на погосте живучи, всех не оплачешь... — Она еще помолчала, снова дотронулась до моей головы ладонью, снова погоревала, что нет у меня «молодецкого чубу», и без горя уже, с привычной, будничной скорбью добавила: — Зачем, зачем только выдавала? Ведь знала же, видела, хто таков жених, да окрутил, оговорил девку, звонарь.

Та-а-ак! С умственного разговора бабушка сворачивает на привычное. Неужто и она боится запутаться вместе со мною? Да нет, для нее все и давно распутано на этом свете. Будь мама, дядя Митрий и дедушка живые, будь все у дочерей, сыновей и внуков в порядке, иди жизнь прежним мирным ходом, и генералила бы бабушка в семье, и знала бы, что за семьей ее, за этим плотным частоколом, еще частокол, еще ограда, еще хозяйства, еще дома — и там все идет своим известным ходом.

Но семьи рассыпались, хозяйства захирели, заботы сузились до самой обыденной — чем пропитаться? Как выстоять войну? Сбереечь детей?

— Ты избавленья у свет покинувших не ищи — всякое довольство, всякое успокоение от живых... Вот живым-то и служи, дак и сам жив будешь... Человечишко злодействует, конечно, ест друг дружку, как собака собаку, последнего уж, видно, черт будет ись... да жив пока тем, что искупает зло своей мукой. Чё сделаеш? Не нами так заведено...

— А кем? Богом?

— Может, и Богом. Карат он нас за нечестивость, за злодеяства наши.

— Чё-то больно здорово карат? И давно! И все не тех. Гитлера бы вон карал! Чего ж детей-то, девушек, матерей?

— Да уж говорили: бешеных всех перевешали, но вот один на нашу голову остался. Он чей? Ерманский? Али из жидов?

— Немец! Людей в камерах газом душит.

— Эко, эко! Газом?! Пулев-то жалет? Свинцу дешевле люди. Эко ума-то накопили. Эко чё умудровали. Камара! Газы! И все друг на дружку! — Бабушка стала заправлять под платок волосы. — Ты тоже грамотной стал. Веру отринул, чо она тебе шею терла? Мы с верой-то, с Богом-то как-никак жили, не вились, не вертелись. Эвон ты, парнишка парнишкой, а все чё-то ишшешь, мечешься. Чё ишшешь-то, разобьяснил бы мне, темной? Молчишь. Ну ладно, ежели уж без Бога обходитесь, гладны, хладны, по норки в крове, так хоть родну землю почитайте, за ее держитесь, памятайте. Вон Вася-поляк, помня родину, жизнь прожил во святости, не запоганился. Забудешь родну землю, могилку мамкину да дедушкину покинешь — вовсе тогда завертит тебя смерчем-бурею, ни годов, ни дней не заметишь, осыплешься на землю дряхлой, старой, одинокай, остановишься над обрывом, ни зги, ни голосу, ни духу живого, ни дна, ни крыши. Это и будет тебе предел. Своеручной ад. Какой сотворил — такой получи!

— Да ладно тебе голову-то морочить! И так муторно...

— Муторно, муторно! Клюкушество, опять скажешь? — бабушка слабо улыбнулась, скосив на меня глаза, и я ей ответно улыбнулся.

Отошла бабушка и уже песенно, плавно говорила о деревне, о земляках, о земле, как ее — матушку, трудно угоить, прибрать, засеять и оттого дорога земля, своими руками вспаханная, дорог хлеб, своим потом политый. Вспомнила, как один-единственный раз покидала Овсянку — ездила в «далекие гости». Отправлена она была в Минусинскую волость, на богатые хлеба и арбузы к кому-то из дальних родственников. Поела она хлебов тех, крупчаточных, арбузов да румяных яблок и затосковала, места себе найти не может, язык потеряла, ночами не спит, плачет об чем-то.

Плюнул родственник и отправил притчеватую дуру с попутными плотогонами вниз по Енисею.

— И с тех пор заказала я себе дальну путь-дорогу, — повествовала бабушка. — В город, бывало, в Базаиху, в Торгашино ли на ярмарку обыденкой норовила, все обыденкой. И Лидинька-покойница эдакая же сумасшедшая была. Ну, у меня детей полон дом, старик характерный, а у ей чё? Муженек ненаглядный!.. Нет, уедет, бывало, в город на неделю, к вечеру уж пылит по переулку, ляпнется на лавку, оглядится, куда бежала, пошто бежала? Да и за дела-а! Ломить за артель, и все с песнями, со смехом. Может, смерть ее тревожила? Может, нажиться в родном углу хотела?.. Ох-хо-хо-о-о! Матушка, Царица Небесная, кто чё про себя знат? Вот у меня мнучек-то книжков прочитал — в телегу не скласти, а и тот ниче не знат, задается токо. Чё смеешься-то? Турнут вот в дальну сторону...

— Да говорю тебе — местное распределение.

— Ну, дай-то Бог, дай-то Бог! — бабушка начала подниматься, хватаясь за одно колено и разгибая его, хрустящее, щелкающее, рукою, затем за другое. — О Господи, прости, рассыпаюсь, совсем рассыпаюсь.

В это время по лестнице взбежала Августа с кринкой в руке и, глянув на меня, мимоходом спросила:

— Очухался? Я счас!

Брякнула щеколда. Бабушка выглянула из сенок и, хлопнув себя по фартуку, запела еще протяжней и умильней, чем пела мне:

— Да ягодницы-то наши являются! Да пташки вы, канарейки милые! — И громко восхитилась, зная, как радостно такое ее восхищение малым труженицам: — Гуска! Гуска! Ты погляди-ко, чё оне, пятнай их, вытворяют! Оне ить цельну кружку ягод набрали! Бог это вам, девки, послал, Бог! В эту пору и бабы эстолько не насобирывают.

Девчонки устало поднялись по лесенке. Капа несла белую кружку с яркой ягодой, Лийка, изогнувшись в жидкой пояснице, держала в беремья рыженькую, вертлявую девчушку, которая сморенно приникла к няне, увидев чужого дядю. Настороженно глядя на меня, Лийка бочком протиснулась в дверь избы, унесла драгоценную сестрицу. Беленькая, вся какая-то вроде бы насквозь пропитанная светом, ну вылитый ангел! — только заморенный — Капа смотрела на меня, словно бы что-то припоминая и решая про себя: поскорее в избу улепетнуть или остаться с бабушкой.

— Здравствуй, Капалина! — бодро сказал я. — Не узнаешь? Помнишь, как мы зимой на печке луковицами играли?

Капа напрягла личико, глаза ее, густо-серого цвета, подернутые поволокой, сделались еще гуще цветом — девочка добросовестно пыталась вспомнить, где это она видела дядю и как мы с ней играли?

— Да это жа Витя! Ты жа поминала его часто! — подсказала бабушка и, обняв Капу за плечи, задрала подол ее платья, ловко промокнула у нее под носом и подтолкнула девочку ко мне.

Я дотронулся до беленьких, в косу заплетенных, мягких волос девочки, нашарил сосновую хвоинку, вытащил ее и, пробежав рукою по затылку, запавшему возле шеи от недоедов, задержался в желобке, чувствуя пальцами слабую детскую кожу, чуть отпотевшую под косой, — неведомая еще мне теплота залила мое нутро, и я сказал, глянув в кружку:

— Вот сколько набрала! Ну и молодец!

Девочка встрепенулась, просияв, вся подалась вперед, прижалась пуховенькой щекой к моей руке и в ту же минуту, почувствовал я,

вспомнила, угадала дядю и резко сунула мне кружку с ягодами:

— На!

Я взял одну ягоду, самую крупную, самую спелую, раздавил ее языком и признательно улыбнулся девочке:

— Ну, беги, беги, отдай маме!

Капа с сожалением отлепила щеку от моей руки, высоко поднимая ноги, обутые в старые галошки, чтобы не просыпать ягоды, перебралась через крашеный порог.

Проводив глазами махонькую внучку, бабушка покачала головой и протяжно вздохнула.

— Мама, иди-ко сюда!

Бабушка трудно, с кряхтением поднялась, убрала с дороги табуретку и отправилась на зов Августы. До меня донеслись приглушенные слова: «Чё сделаешь? Нету да нету! Времена...» — идет совещание, догадался я, на тему: чем меня накормить? До свежих картошек еще месяц, если не больше. Хлеба в доме нет, муки давно не бывало. Я громко кашлянул, давая понять, что все слышу, бабушка с Августой смолкли.

— Ягодки-то разделите, да с молочком, — раздался руководящий голос бабушки, — вот и ладно, вот и переночуете, завтра в лавке по карточкам хлеб получите, да разом-то не съедайте! Обо мне не убивайтесь. Я пропитаюсь. Сами-то, сами-то держитесь.

Сумерки уже наплывали со двора. Тошнота все еще нудилась во мне, но есть хотелось не так остро, как во всякое другое время. Глаза мои сами собой закрылись, и опять меня начало окутывать успокоение, опять я расслабился телом, пуская в него дремоту. Надвигающаяся тишь деревенского вечера с теплом, разлитым по всей земле, с густеющими запахами нескошенных трав и набирающей силы огородины, там и сям пробующей цвести по грядкам и пахнуть, дух старого избяного дерева, почудившийся мне хлебным, и пыли, смешанной с растертыми, зимними катышами назьма, похожими на табачную пыль, свет предзакатного солнца, зари ли, красно шевелящейся в дырке от выпавшего сучка, — все-все вокруг меня и надо мною было так умиротворенно, так похоже на прежний, детской памяти, вечер, что я невольно доверился этому ближнему покою, погрузился в него, будто в глубокую, солнцем налитую воду, и не сразу услышал легкое к лицу прикосновение, а услышав, не понял, откуда оно, и хотел сдунуть с лица козявку, бабочку ли, как донесся до меня такой же робкий, что и прикосновение, зов:

— Дя-дя!

Возле моего изголовья стояла все та же маленькая беловолосая

девочка. Уже умытая, причесанная, она приветливо мне улыбалась, протягивая все ту же белую кружку, счастливая тем, что она угощает меня ягодами, ею же набранными в лесу, и молоком, которое от детей и от нее тоже отделила мать. Зная эту, самую, быть может, бескорыстную детскую щедрость и пробужденное ею чистое чувство радости, я бережно обеими руками принял кружку и отпил из нее.

— М-мых, как сладко! — задохнулся, оглох я от аромата ягод, от вкусного молока. И видел, как сияла Капа, как пробуждалось и пронзало ее чувство не осознанного еще порыва к добру и ласке. С остановившейся на лице улыбкой, сама того не ведая, широко раскрытыми глазами провожала девочка каждое мое движение, и, когда я делал глоток, горлышко ее с серенькими, близко под кожей ветвящимися жилками, коротко дергалось, тоже делая глоток. Взяв под мышку Капу, я посадил ее поближе к себе и, глянув в кружку, сказал:

— О-о, как много-о-о! Давай вместе!

Девочка помотала головой, пропищала, слабо защищаясь:

— Я уже пила... кусала... па-асибо!.. — Слово «пасибо» переломилось у нее пополам. Я поднес кружку к детскому рту, и Капа припала губами к посудине, глотнула раз-другой, сперва жадно и звучно, потом заторможенной, медленней. С большим трудом преодолев себя, девочка не оттолкнула, отвела руками кружку, чтоб не расплескать молоко.

— Пасибо! Я кусала. Это тебе, — она отбивалась изо всех своих маленьких сил.

— Тогда попеременно будем, — сказал я, и Капа согласно затрясла головой — попеременно она пожалуйста, попеременно она может. И пили мы с маленькой сестренкой из большой кружки молоко с ягодами, и оба наполнились душевной близостью.

Из глубины сумерек раздался всхлип бабушки: «Господи, Господи! Сироты вы мои несчастные!..» — Бабушка все, как всегда, зрела, понимала и страдала за всех нас.

Щупая себя за бок, там у нее, под кофтой, в потайном кармашке узелок с «четверговой солью», бабушка еще потопталась у ворот, повздыхала и, перекрестив отверстие дверей, откуда нам ее хорошо видать, а нас со свету — нет, негромко брякнув щеколдой, удалилась со двора. Капа подцепила пальцем пустую кружку за дужку, поболтала ею, опрокинула над головой — ничего, дескать, не осталось, умчала ее в дом и, снова появившись в сенках, остановилась посреди них, охлопнула платъице на животе и выдохнула громко, словно сожалея, что нет больше никакого заделья, которое бы нас объединило.

— Ну вот с-се! — она стояла в отдалении, потупясь, желая и не решаясь подойти и приласкаться к дяде.

Я загреб ее рукою, свалил к стене, и она приникла ко мне щекой, пошарила рукой по колкой стриженной голове, засунула мне палец в ухо, пошуровала в нем и, неожиданно приникнув к этому уху, выдохнула:

— Ты уже не хворас?

— Нисколечко!

Не вспомню, о чем мы еще разговаривали с маленькой сестренкой, кажется, я рассказывал ей про железную дорогу, про паровоз, про сигнальную дудку и даже изображал пыхтящий паровоз и дудел в сложенные трубочкой руки. Девочка смеялась, хлопала в ладоши, подпрыгивала и, осмелев, попросила:

— Привези мне дудку! Привезес?

— Привезу! Обязательно привезу. Вот пошлют меня работать на станцию, я стащу у стрелочника самую длинную, самую громкую-громкую дудку и при-ивезу-у-у!

— Я буду звать колову. Все коловы плибегут на дудку! Много-много тогда молока будет!..

Обняв меня за шею маленькой рукой, Капа доверчиво ко мне приникла и, протяжно вздохнув, не уснула, а успокоенно погрузилась в пуховый детский сон. «Намаялась работница!» Я подскреб Капу под свой бок, чтоб ей было теплее, и перестал шевелиться.

Ни о чем я не думал, ничто меня больше не тревожило — было так хорошо, так светло на сердце, что я совсем расслабился телом и душой, и смотрел, смотрел в дырку от сучка, где раз-другой поискрила вечерняя звезда, и хотелось мне, чтоб вечно так было: теплый дом, деревенская тишина, малая сестренка рядом.

— Уснули два товарища, ухряпались! — склонилась над нами Августа. Пахло от нее землей, табачным листом, маковым ли цветом — она поливала огород. Бросив на нас лопотину, тетка по-бабьи жалостно выдохнула: — Спице с миром, братец и сестрица. Доведется ли еще?..

Проснулся я с петухами. Где-то за Фокинской речкой, у шахматовских или соколовских, хриплый старый петух затягивал песню, начатую, по моему, за рекой, на подсобном хозяйстве, она неслась над берегом Енисея, оттуда уже втекала в переулки — в платоновский, бетехтинский, фокинский, вот и юшковского достигла. У тетки Марии Юшковой, совсем рядом, потоптался, поцарапал когтями о дерево, укрепился и грянул петух. Долго ждал он ответа — голос его миновал наш переулок, затем Церковный — в церкви была пекарня, но теперь и пекарню заколотили, на лесоучастке

хлеб пекут, — перекатился по бобровскому и по харитоновскому, крайнему переулку, скоро и околица... а ответа все нет, все нет. Неужто всего два-три песельника осталось на селе? И то сказать — чем кормить их, для чего держать в доме бесполезную скотину? Но где-то, уже в самом исходе села, почти у поскотины, спохватился Петя, будто на ходу надевая штаны, торопливо собираясь на службу, он коротко, без переборов прокричал: «Я чи-ча-а-а-ас!» Какое-то время молчание царило в селе и над селом, но вот далеко-далеко, за рекою, точно в глубине предрассветного мироздания, спокойно, солидно, будто все, что происходило на земле, его не касалось, никакой он кутерьмы не знал и знать не хотел, неторопливо, длинно, не пропел, оповестил петух — наступали утра и будут наступать, приходили дни и будут приходиться до тех пор, пока есть небесный свет, солнце, звезды, утра и дня никто не отменит, не остановит. Потому-то с уверенностью ждал певец — подхватят его клик, понесут дальше, дадут звуком веку из дома в дом, из улицы в улицу, от села к селу.

Я укутал Капу в одеяло, подтыкал с боков, поцеловал девочку в ухо и, постояв минуту, пошел со двора, надеясь умыться в Слизневской речке.

Сделав малый крюк, я завернул в наш потылицынский переулок и, заранее зная, что ворота заложены, все же повернул кольцо, приподнял щеколду. Заворина держала створку ворот со двора. Конечно, я мог бы перелезть через заплот — невелик и привычен труд, но бабушка заохает, заохает, примется разжигать таганок на шестке, жалкий треногий таганок, которым и пользовались-то в голодный год, когда варить было нечего. Под таганок она экономно будет класть щепочки, собранные на улице и по берегу, еще экономней сыпать крупу в какую-нибудь старенькую чашку, чтоб заварить кашицы-размазни либо мутного киселя с квасом, на темном, из картофельных очисток добытом, крахмале.

Я оставил щеколду поднятой, чтоб бабушка видела и знала, что побывал у двери человек, не забыл о ней, и присел на мокрое от росы бревно. Муравьи точили его от земли, вдоль бревна рыжели горки древесной трухи, заболонь от комля и вершины вся была изъедена, отстала верхняя корка по всему дереву, и только там, где вечеровали мы часто с дедом, куда присаживались путники, ослабевшие в дороге, дерево было все еще плотно, лощено и тепло на вид.

В доме дяди Левонтия сверкнуло — тетка Васеня по старой привычке встает раным-рано, разжигает печку. Затрепетал, заколебался огонек, из трубы вытянуло хвостик дыма, от лучинки загоралась с торцов горка дров, огонь набирал силу, все шире растекался по окну, и я увидел отраженный светом пламени, неподвижный человеческий силуэт — встала с петухами

Васеня, чтобы, пока не проснулась команда, наварить ведерные чугуны картошек, похлебки, и, опамятавшись, замерла возле шестка. Нет команды в доме, вверенный ей корабль не шумит, и даже дым из него идет как-то сморенно, вяло, и сам капитан, дядя Левонтий, смурной и трезвый, виноватым взглядом смотрит на хозяйку, придумывает и не знает, чем ее утешить.

Петухи пели все реже и ленивей, слышался редкий перебряк за кладбищем, на Фокинской речке — деревенское поредевшее стадо лежало на круглой зеленой поляне, возле первой росохи, и пастушонок спал у подернутого серым отгаром огонька. На реке взвизгнул и затрещал газогенераторный катер, звук его был резок, неуместен, он разом спугнул утренний покой, вернул тревогу людям.

Над одним, другим, третьим домом заструились трубы, звонче брякнули ботала на Фокинской речке, стадо поднялось и двинулось в село.

Петухи смолкли.

Дальний свет, занявшийся по-за енисейскими хребтами, как-то быстро и незаметно распространился по небу, отчетливо отчеркнулись перевалы возле Малой и Большой Слизневок, из утренней мглы начали проступать призраками заречные горы, и вот возле самого неба белесым облаком означилась и стала набухать Гремячая, а там и Покровская гора — это уж у города и в самом городе.

Я поднялся с бревна, пробежал до поскотины, перемахнул через нее, да не согрелся, было знобко шее и спине под гимнастеркой, но ясны и приближался от самой воды грузно взнявшийся и все круче, выше, решительней врезающийся в небеса Слизневский перевал, и, пока я поднимусь в его крутик по осыпям и вилючей каменной тропке, сделается мне жарко, там и солнце взойдет, осушит летнюю, недолговечную росу. По холодку я быстренько пролечу версты, разделившие меня с училищем, обратный путь все под гору, под гору, а под гору версты короче. Что-то там меня ждет? Куда-то отправят работать? Но что бы ни ждало, меня теперь надолго хватит.

На самой верхотуре, возле прохладного, росой сверкающего сосняка, под обшкрябаными ветром и бурями лиственницами, я непременно присяду передохнуть, постараюсь вдосталь насмотреться на село, озаренное восходящим солнцем, и еще раз достану взглядом то место за лесами дивными, за горами высокими, где разгибаются и уходят в поднебесье расщелины двух могучих рек, раскрываясь мохнатым глухариным крылом, в котором не счесть перьев и перышек — «Там летела пава через сини моря, уронила пава с крыла перышко...»

Я много раз, с разных мест смотрел туда, где сливаются Енисей и Мана, стараясь преодолеть взглядом или хотя бы мысленно молчаливую, конца не имеющую даль, и всегда мне казалось, да и сейчас кажется, что там, за той далью, находится неведомая мне, чудесная страна, в которой, я знаю теперь, мне никогда не бывать, но которая так всегда манила и манит, что я иной раз путаю явь со сном, потому что неведомая страна с детства обворожила меня, вечный ее зов бродит в моей крови, тревожит сердце, тело, и пока я жив, пока работает память, тоска по этой не достигнутой мною стране — каждодневно, каждоминутно будет со мной.

И когда придет мой последний час и последний свет станет уходить из моих глаз, верую: и тогда томящим видением будет так и не открытая мною страна, и не умрет, а замрет ее образ во мне, чтоб через годы, может быть, через столетия ожить в другом человеке, и увидит он ее моими глазами и заплачет, как я плачу сейчас, сидя в поднебесье на скале, моими слезами, не сознавая, что плачет он от какого-то озарения, встревожен чьей-то воскресшей в нем любовью, пронзившей толщу времен и доставшей ту плоть, ту душу, в которой суждено повториться и моей печали, и моей радости, всем, что заказано будет мне пережить, запомнить и унести с собою.

1977

Соевые конфеты

Миша Володькин, Петя Железкин, оба из города Канска, и я распределены были работать на станцию Базаиху, третью в те поры станцию, если ехать от Красноярска на восток, никакого, кстати, отношения не имеющую к одноименному поселку. Ныне город достал и вобрал в себя поселок Базаиха с одной стороны и станцию Базаиху — с другой. А когда-то она с девятью путями, с желтым, просевшим в земле вокзалишком, с выводком домишек, рассыпанных вокруг него, среди которых полуторазтажный блок-пост выглядел сооружением не только самым высоким, но и значительным — сиротливо ютилась под крутыми голыми косогорами.

Подле вокзала, у первого пути, брюхом в траве, стоял пассажирский вагон, разгороженный надвое деревянной переборкой. В одной из половин, в той, где была сложена печка, нас определили на жительство. К работе мы приступили с первого дня. Нас включили сцепщиками в составительские бригады, но предупредили, чтоб мы быстрее осваивались, привыкали к специфике станции и сами возглавили бы бригады.

В направлениях и удостоверениях об окончании училища указано: «составители», а не «представители», — мрачно съязвил, беседуя с нами, начальник станции Иван Иванович Королев.

Человек седой, угрюмый, преклонный годами, он был из тех людей, что если уж полезут на дерево, то сперва выберут дерево по силам и тогда непременно взберутся до самой вершины — начав со стрелочника, он достиг того предела, который был по его умственным силам и грамоте, и на большее не прицеливался — но уж вверенную ему станцию знал вдоль и поперек, железнодорожные правила и премудрости въелись и него вместе со станционной ржавчиной, пылью, суетой, руганью и пропитали не только легкие и сердце, но и тело насквозь. Поразил он нас тем, что не матерился, — редкость для железнодорожника вообще, для начальника станции в частности. «Порченый», — решили мы единогласно, и такое ему прозвище от нас и прилипло.

«Спецификой» станции Базаиха было то, что составители поездов и многие специалисты жили в Красноярске, ездили на работу пригородным поездом. Товарная станция Красноярска, забитая до того, что, казалось, нитки вот-вот лопнут по всем швам и полетит весь транспорт под откос, старалась как можно «интенсивней» использовать пригородные станции.

Но станция Енисей не больше нашей. Злобино — еще только начинала разрастаться, однако окружена уже была мощными предприятиями, действующими и восстанавливающимися в эвакуации, и сделалась станция Базаиха, до которой еще «доставала рука», чем-то вроде «милкиных ворот», перед которыми, «топнув копытами, конь, остановится!». А как это — остановится, когда идет война и Родина ждет!

Освоиться со «спецификой» успел лишь я, да и то не очень. Мишу Володькина и Петю Железкина, не успевших «стать на броню», тут же мобилизовали и отправили в формирующуюся отдельную сибирскую стрелковую бригаду. Зачем, спрашивается, учили полгода, кормили и маяли ребят? Остался я в просторном вагоне один, и завертела меня работа, так я уставал попервости, что ни разу не побывал во второй половине вагона, куда битком набили мобилизованных из деревень «на прорыв желдортранспорта» девок, и они порой оживленно, можно подумать, с целью, повизгивали и молотили в стену кулаками так, что из переборки выпадывали оконтуженные клопы.

Ох, не зря на транспорте говорится: «Бог создал любовь и дружбу, а черт — железнодорожную службу!» И поныне, едучи поездом, стою я у окна и гляжу на тусклые огоньки маленьких станций, и как увижу дремлющую на отшибе маневрушку, встрепенусь, провожая ее взглядом в даль, глубже погружавшуюся тьму набегающих лесов, перелесков, снегозащитных щитов и ельников. Десять станционных путей! Кому и какое дело до них? Один или девять? Главное, чтоб поезда шли. Маневрушку гоняли с первого пути, если встречный, то и со второго — стало быть, из девяти два долой. А так как полыхала война и встречные да поперечные ошалело мчались день и ночь туда-сюда, то пускали нас работать на главные пути лишь на самом утре, когда все на земле замирало и транспорт тоже дышал устало, заторможенно. Девятый путь со ржавыми рельсами был забит «больными» вагонами, заблудившимся порожняком. На третьем и четвертом пути от входной до выходной стрелки, вытянувшись, ждали череду, чтоб рвать в назначенные дали, «срочные», «спец», «литерные», «особые» и всякие другие поезда, названия которых поначалу пугали меня своей многозначительностью. В середине станции часто торчала беда и порча нервов — балластная вертушка с до зарезу нужным грузом — ко всем эвакуированным заводам «срочно», «экстренно», «по особо важному приказу» прокладывались ветки, без балласта им ни жить, ни дышать.

И выходило: два-три пути в твоём распоряжении, товарищ составитель поездов или «товарищ бригадир». Как назовут меня, бывало, «товарищ», да

еще «бригадир» — я и покраснею, чувствую, какой я еще зеленый, неумелый, как не соответствую высокому и важному званию, как подвожу станцию, транспорт, фронт.

Еще была в нашем распоряжении ветка в балластный карьер, где работали злые, перекипелые в горе женщины и рвал ручки круглосуточно рычащего, содрогающегося от дряхлости экскаватора пожилой, животом мающийся машинист.

«Использовать вспомогательные мощности!» — призывал Порченый, вот и вертишься, бывало, по-за станцией, «используешь», а по первому пути мчат и мчат составы, высекая из рельсов искры — на Запад, новые или латаные, с поющими, пиликающими на гармошках солдатами; на Восток — одышливо, будто все время в гору, битые, издырявленные, сборные составы; реденько мелькнет белыми занавесками санитарный; тяжело пробухает по стыкам рельсов «спецпоезд» с тяжелым оборудованием из какого-нибудь еще одного большого города, сданного врагу.

Станет поезд, отдаст машинист, чаще помощник, жезл дежурному по станции, и тут же оба они ткнутся лицами в грязные, протертые подлокотники окошек, охваченные тревожной дремой, опустится убито кочегар у горячей топки, и коробит ему жаром грязное лицо. Не курит, не говорит, спит с открытыми глазами кочегар, и машинист не убирает с реверса руку, так и отдыхает в «боевом положении».

Поезд облепляли неуклюжие, в стеженные грязные брюки одетые, крикливые бабы не бабы, девки не девки, смазчицы, осмотрщицы вагонов, матерились громко, бегали прытко, а толку...

Выйдет с жезлом в руке дежурный по станции, товарищ Рыбаков, постоит, глядя на убитого усталым сном машиниста, на облепивших состав «тружениц тыла», вздохнет и виновато скажет: «Поехали, механик!»

«Поехали так поехали!» — отзовется машинист, зевнет, протрет ладонью глаза и, коротко взревев, ФЭДЭ или ЭМКА буксанет на месте, «кинув» состав взад, и, дождавшись обратного толчка, который катится от хвоста, бренча буферами, словно щелкая гнилые орехи, тихо, почти невидно шевельнется, и, кажется, не состав поплыл, а наш желтый вокзальчик, по углам, наличникам и дверям крашенный для фасона коричневым суриком; дежурный по станции поплыл со свернутым желтым флажком; девчонки, бабы с длинными молотками, со смазочными «чайниками» в руках, а за горой уже ревет, просится на станцию другой состав, не менее важный и еще более срочный.

Вагонный парк к этой поре уже шибко пострадал от войны, вагоны

пожгли и побили немцы, взамен их насобирали старые, со сплошь заржавелой, немазаной сцепкой, худыми воздушными рукавами, расхлябанной тормозной системой, с буферами, которые звякали по боевому громко, но так и норовили вывалиться на ногу или расплющить тебя. А уж борта платформ, стенки старых вагонов — дыра на дыре. Но попробуй на маневрах просыпать груз: уголь, руду, цемент, соль или чего еще — тебе так просыплют!..

* * * *

На первых послесменных планерках меня еще «не замечали», и дежурный по станции точил до дыр оператора, стрелочников, составителей поездов, весовщиц и всех, кто подвернется под руку. Те отбрехивались как могли, женщины часто ударялись в громкий плач, мне казалось, на станции обретается куча бездельников и разгильдяев — никто из них не умеет и не хочет работать, только то они и делают, что изо всех сил подводят Родину. Солидно помалкивал сидящий, как и положено главе семейства, в переднем углу густобровый, насупленный начальник станции, чего-то черкал в откидном блокноте с форменными бланками, строго поглядывал в ту сторону, где сидел распекаемый дежурным нерадивый работник. Когда, наоравшись и наплакавшись, все умолкали, Порченный прокашливался и подводил итог:

— Значит, дежурный по станции товарищ Рыбаков смену проанализировал, в опшэм и целом, так сказать, картину обрисовал, поработали, надо сказать, ничего, в опшэм и целом с грузопотоком справились, хотя не обошлось без накладок и все еще имеются простои, промахи и недостатки...

Не знаю, был ли он талантливым руководителем, если бы был, ему бы, наверное, дали станцию или должность побольше, но он много поработал на своем веку, посидел на железной дороге, хорошо знал ее «ндрав» и потому был человеком терпеливым и добрым, в отличие от иных старых железнодорожников, не чуждавшихся спеси и чинодральства, про которых прежде говорили: «Да, туповат наш брат железнодорожник, зато пуговицы по пузу в два ряда!..»

Словом, начальник станции, как и полагалось отцу-миротворцу, всё на шумной планерке успокаивал, вводил жизнь в берега, отпускал новую

смену с наказаниями сделать то-то и так-то, кому-то грозил пальцем вдогон, кого-то поощрял добродушным воркованьем, обещал дополнительные талоны на кашу и просил остаться ту или иную женщину после планерки — значит, беда, значит, похоронная. К этой поре прибывал пригородный поезд, под названием «Ученик», который, пятась задом, тащил паровозик «СУ» — сучка по-здешнему, и все, кто жил в городе, торопились уехать домой.

Мой наставник и бригадир, Кирила Мефодьевич Зимин, высокий, грузный, с виду вяловатый мужик, умел, однако, без разгона, с места, запрыгивать в катящийся вагон, на ходу сцеплял и расцеплял пусть и ржавые форкопы, на ходу же мог соединить или разъединить и перекрыть воздушные рукава и вообще работал как бы играючи. Во время планерки он садился в угол на пол и тут же крепко засыпал, и на работе, если случалась хоть маленькая остановка, он тоже мог мгновенно уснуть, хоть в дежурке, хоть на блок-посту, хоть в будке стрелочника, хоть на угле в тендере маневрового паровоза — большой силы, крепкой природы человек и опытный работник. Даже крикливый дежурный не решался на него орать, потому что Зимин вперед него и лучше знал, как и что надо делать.

Замечу, что работа составителя лишь со стороны кажется шалей-валяй, прыгай, бегай да сцепляй. И железнодорожный состав — это не сборище разномастных вагонов, как попало меж собой соединенных. Нет, железнодорожный состав — продуманное и довольно сложное сооружение, в котором все рассчитано по осям, тормозам, тоннажу, по техническим возможностям локомотива, по длине станционных путей, словом, с учетом многих технических условий движения поездов и правил сигнализации железной дороги.

К примеру, если сунуть двухосный пустой вагон в середину тяжелого состава — его может при торможении «выдавить», ну вот как иногда в очереди выдавят человека — и он окажется наверху, и ему ничего не остается делать, как «идти по головам». Если торможение к тому же начнется «под горку» — не миновать крушения.

Кроме всего прочего, составитель обязан распределить по составу ручные тормоза так, чтоб в случае отказа воздушной магистрали можно было бы ими приостановить состав. В сборных поездах одиночные прицепки-вагоны, платформы, цистерны ли располагаются с хвоста или с головы состава, чтобы на станции назначения их можно было отцепить, не делая лишних перекидок, но, опять же, с учетом тормозящих средств. Многое я уже забыл из того, что обязан был помнить в ту пору и что знал, несмотря на малую грамоту, как верующий человек — «Отче наш».

Если планерка заканчивалась до прихода «Ученика», Кирила Мефодьевич Зимин оставлял фонарь в тамбуре «моего» плацкарта и долго, с неподдельным изумлением смотрел на картинки, которые я вырезал из забытых кем-то на вокзале цветных журналов и наклеил на беленые стены вагона, чтобы жить веселее.

— Рубенс, — шевеля губами, трудно выговаривал Зимин. — Похищение Яфродиты. Рембрандт — Ди-ва-на... Гляди ты, все бабы голые да справные какие! Не по карточкам кормленные.

Я растоплял печку, целясь плеснуть на сырые дрова керосину из своего маневрового фонаря.

— А вот у тебя, скажем, пожрать есть чё?

— Картошек сварю. В одиннадцать хлеб привезут...

— До одиннадцати на картошках, после такой-то смены... — Он выглядывал в окно вагона и торопился. — Паровоз обернули. Я поехал. Ты вот чё, как выпишься, ко мне валяй — дрова пилить поможешь, баба покормит. Пока!

Скоро Зимина вернули в Красноярск, и я начал работать самостоятельно, встречал его редко. Но вот запомнился он мне почему-то на всю жизнь, добродушием, хлебосольством ли, ничем не стоящими в сытой мирной жизни и не имеющими цены в войну, умением ли все делать справно, ко всем относиться ровно, без подобострастной улыбки к начальству и без обидного снисхождения к такому работяге, как я. Он не давал мне лихачить — прыгать с места в вагон, сигать на ходу с подножки, работать меж катящихся вагонов. «Поспеешь еще шею сломать! — увещевал Зимин. — Работа считай что саперная. Много нашего брата без ног, без рук мыкается. Калеке какая радость в жизни?..»

Бригада моя состояла из четырех человек: составитель поездов, сцепщик, машинист паровоза и его помощник, который по военному времени совмещал и должность кочегара. Машинист у меня был хотя и в годах, но на вид моложавый, и звали его все Павликом. Любил он страстно пожрать и такой матерщинник был, что всей станцией его было не перематерить. Помощников его я не успевал запоминать — они часто менялись, уходили на самостоятельную работу, да и не выдерживали парни и девки крикливого нрава машиниста, а главным образом — его сыпучей матерщины.

Сцепщик мне достался небольшого ростика, какой-то занюханный, драный, сонный, с бородавкой на глазу и с грязно темнеющими усами. Звали его Кузьмой, жил он в Красноярске, тамошние мудрецы знали, чего сбыть на пригородную станцию, — «на тебе, Боже, что нам негоже»; не

менее мудрые деятели пригородной станции, конечно же, сунули Кузьму самому молодому простофиле-бригадиру.

Моего сцепщика никуда нельзя было послать одного, он забывал или делал вид, что забыл, зачем его послали, засыпал на подножке маневрушки, прятался от меня на тормозных площадках вагонов, один раз сонный выпал с площадки и чугь не угодил под вагоны. Кроме всего прочего, он никак не мог запомнить правила сигнализации, путал «вперед» и «назад». Павлик крыл его на чем свет стоит, мне на каждой планерке всыпали но первое число, потому что работы становилось день ото дня больше и больше, один я с нею не справлялся.

Но однажды с Кузьмой случился голодный обморок, и мы узнали, что у него пятеро детей, все сыновья, хлеба не хватает, он давно уж досыта не едал, работа тяжелая, а уходить нельзя — где дадут такому трудяге хлебную карточку на восемьсот граммов да еще дополнительные талоны в столовую.

Присматриваясь к невзрачному, плохо умытому мужичонке, я дивовался — как такой вот хмырь-богатырь сумел замастырить пятерых парней?

Павлик тоже был многосемейный, но изворотлив, как дьявол, не давал жизни подмять себя, постоянно соображал и высматривал, где бы и чем поживиться, чтоб только паек его оставался семье. Как-то углядел он двухосный вагон, который долго не ставили ни в какой сборный состав. Вагон шибко нам мешал, и мы его то и дело катали с одного пути на другой. И Павлик, как я ему ни махал флажком или фонарем: «Тише!» — долбал и долбал этот вагон, да еще и паровозишко при этом ругал, совсем, дескать, дряхлая машина, либо на меня наваливался, что я-де сперва выплюсь, потом сигнал даю.

Скоро, однако, все объяснилось. Павлик так разогнал свою «овечку» и так резнул ее буферами в буфера вагона, что оттуда раздался вопль, открылась дверь, на землю соскочил заспанный, лохматый человек и заорал на меня: «За все ответишь, враг!» Павлик ухмылялся и подмигивал мне. Человек шумел, шумел и сказал:

— Ведро яиц и полчайника сгущенки, но чтоб сегодня втиснули в состав!

Человек этот сопровождал вагон с продуктами, был уже бит, стрелян и обираем в пуги. Но и Павлик духом не поослаб, на легкий посул не откликнулся.

— Два ведра яиц, чайник сгущенки! Ставим сквозняком до Боготола, а там пособлай тебе Бог...

По сию пору, если яйцо хоть чуть-чуть залежалое — воротит меня от него — так мы тогда намолотились переболтанных, припахивающих яиц.

Любила наша славная бригада ездить в балластный карьер — там экскаватор подкопался под совхозные поля, и поначалу машинист выбирал из загруженных платформ проросшие картофелины, с конца июля — и молодой картофель; осенью начали попадаться в ковш экскаватора вместе с гравием турнепс, свекла, морковь. В топках экскаватора и нашей маневрушки, на крюком изогнутых ломах все время клочкотало какое-нибудь варево, в ведерном медном чайнике кипяченая вода, запаренная то травой, то ветками малинника, одичало растущего по-за огородами и на пустырях.

Но однажды Павлик узрел воробьев в спутанных бухтах проволоки, нагретой за день, открыл клапаны, продул котел, паром сшиб столько пташек, что нагребли их почти полное ведро, навздевали на железные прутья и стали обжигать в притушенном котле, и я поцапался с Павликом, а цапаться с машинистом — последнее дело — он в бригаде важнее составителя.

Мы вытянули порожняк с оборонного завода, и поскольку на станции была теснотища, я решил на заводской стрелке подобрать вагоны, чтобы на станции поставить их в поезд без возни. Порожняка было не так много — пара полувагонов, четырехосная платформа, штук семь крытых вагонов — «пульманов» — заводу много приходило сухого, ценного химиката. Перешучиваясь с заводской стрелочницей, известной мне по нашему училищу, я быстро разбросал, затем собрал вместе порожняк и повелел Кузьме оставаться в середине состава, который стоял на только что уложенных рельсах новой ветки.

— Магистраль соединять не будешь? — спросил меня машинист.

— Не-э, — откликнулся я, шагая по гребню насыпанного гравия, — ветку продолжали тянуть дальше, и мы каждую смену подавали сюда из карьера по две-три вертушки сыпкого материала.

— Дело хозяйское, — буркнул Павлик, ревнул гудком «овечки» и, пробуксовывая, тронул порожняк.

Тормозную воздушную магистраль полагается соединять и приключать к паровозу, даже если ты тянешь пяток вагонов, а тут их вон сколько. Нарушение. Я стоял на куче балласта, поджидая платформу с тормозной площадкой. Постукивая о новенькие, свежерыжеющие рельсы, платформа кособоко приближалась ко мне, чуть опав на ослабевшие передние рессоры — флажок у меня за голенищем сапога, грудь нараспашку, сейчас вспрыгну на платформу, сяду, ножки свешу, сверну

цигарку, покурю всласть, отдыхая и блаженствуя до самой станции.

Глаз уцепил скобу с отвинченной гайкой — схватись — и загремишь под колеса. «Ах, сучки осмотрщицы! Куда только глядят?» — отмечая чужое нарушение, ругнулся я и приподнял ногу, чтоб вскочить на другую подножку, ползущую на уровне с горкой балласта. «Стоять на осыпях, на песке, балласте, куче извести, асбеста, тем более прыгать с них категорически запрещается!» — вспомню я минутой позже наставления по технике безопасности. Пока я стоял, опора хоть и ненадежная, но все же была на две ноги, но поднял одну ногу, и вторая сильнее дагнула гравий, он стронулся, потек, камешки защелкали о рельсы и шпалы — я вскрикнуть не успел, как забарахтался в потоке гравия, гребя его под себя руками, но меня сносило на рельсы, под платформу, колесо которой надвигалось неумолимо. Вдруг стиснулись, заскрипели вагоны, из-под колеса платформы порхнул дымок, но колесо, хоть и с визгом, дымясь, искря, продолжало катиться. Я уже не барахтался, а, подобрав под себя ноги, парализованно наблюдал, как оно приближалось, давило в порошок камешки на рельсе, успел еще зацепить взглядом тормозные колодки — они болтались безработно — тормозная воздушная магистраль разъединена.

Прошло много, очень много времени. Вечность пронеслась надо мной! Платформа дрогнула, звякнула железным скелетом, с ее щелястого пола сыпанулась пыль, произошло какое-то непосильное напряжение — и колесо ладонях в двух от моих колен замерло, перестало крутиться.

Мне говорили потом, что я не сразу выскочил из-под платформы, решили — зарезало. Первый, кого я увидел, был Павлик. Он молча бежал от паровоза с чайником в руке. Подскочив, он сперва сунул мне рожок чайника в рот, но я не мог сделать ни единого глотка. Тогда ото всей-то душеньки Павлик отвесил мне пинка под зад и снова сунул горелый носок чайника в рот. Я поперхнулся водой, протолкнул в себя первый глоток и жадно, звучно, как конь, начал пить, затем отлип от чайника и загоготал, глядя на собравшихся путейцев, на Павлика, на Кузьму.

— Эй, ты! Чё хохочешь-то?

— Видать, того он...

Павлик заматерился, подпрыгнул, принялся хлестать меня со щеки на щеку: «Сосунок! Сосунок! Жись-то одна! Жись-то одна!..»

Не раз и не два отсечет потом рукавицы на моих руках при сцепке «на ухо» — это когда фаркоп — винтовую сцепку набрасываешь на специально для того сделанное на автосцепке приспособление, формой и в самом деле напоминающее свиное ухо. На той же самой заводской ветке,

поскользнувшись, попаду я снова под вагоны и, вытянувшись в струнку меж рельсов, пропущу над собой несколько платформ, покажется мне, что простучит надо мной бесконечно длинный поезд, однако сильнее того страху, того остоленения, которые пережил я под кособокой платформой, не испытывал вплоть до фронта.

* * * *

Работая в ночную смену, я послал Кузьму на хвостовую платформу вертушки и велел глядеть «в оба» — ветка в карьере не ограждена, связана на живульку, ее все время передвигают к экскаватору, и когда спускаешь вертушку в карьер — испереживаешься.

Надвигалось утро, на экскаваторе погасили свет и спали. Мы его в потемках миновали. Чувствуя что-то недоброе, я помахал фонарем сбоку — «тише, тише». Машинист дакнул тормоз, пшикнула, напряглась воздушная магистраль, скрипнули, заискрились колодки, прижимаясь к бандажу колес. Я собрался попросить паровоз гуднуть экскаватору, чтобы нам тоже свистком откликнулись из темноты, но в это время впереди послышался удар, вертушка грохнула, сыпанулся и защелкал о рельсы недобранный при разгрузке балласт. Меня толкнуло так, что, не схватившись за поручни, а ехал я в середине вертушки, на тормозной платформе, то и свалился бы. Я прыгнул в темноту, угодил в горку балласта, упал на колени, разбил стекло фонаря. От паровоза бежали. Выхватив фонарь у помощника машиниста, я крикнул, чтоб завернули на платформах ручные тормоза, и помчался в хвост вертушки, с ужасом представляя, как увижу под колесами растерзанное тело сцепщика, — уснул, сбросило, измяло, порезало на куски...

Без фуражки, с разбитым вдребезги фонарем, заплетаясь в длинном спецодежном плаще, Кузьма спешил на огонек моего фонаря, ударился в меня, остановился, что-то шлепая губами, и я, обрадованный тем, что он жив, не сразу разобрал: «Ой, чё будет? Ой, чё будет?..»

— Десять лет штрафной, — пробубнил подошедший дежурный экскаваторщик.

Мы свалили две платформы с «подвижного» тупика: одна лежала на боку, другая сошла с рельсов, и пара колес врезалась в гравий, другой парой как бы на последнем издыхании удерживалась на нуги. Мы все

осмотрели и начали ругаться. Моя бригада материла бригаду экскаваторщика за то, что на машине не светилась сигнальная лампочка. Экскаваторщики крыли нас за незаделанный тупик, затем все вместе мы крыли Кузьму. Он все так же без фуражки, косматый, мятый, дрожмя дрожал и не защищался. Кто-то нашел фуражку, сунул ее козырем на лицо Кузьмы.

Паровозным домкратом, ломami мы подняли и вкатили на рельсы одну платформу, пододвинули экскаватор, опрокинули на колеса и вторую, подсоединили ее к вертушке. Экскаватор густо задымил, зарычал, забренчал — пытаюсь спасти нас, экскаваторщики спешно бросали на платформы вертушки по ковшу-другому балласта — авось не заметят. Но вот совсем рассвело, и мы поняли: аварию не «замазать» — у одной платформы лопнула рессора, погнуло тормозные рычаги, оборвались воздушные связи, да и вторая платформа изуродована, побита.

На планерке я доложил о случившемся и заявил, что всю вину беру на себя — был на хвосте, недосмотрел.

— А сцепщик где был?

— На средней платформе.

— А где ему быть полагается?

— Да к то ж в работе, да еще ночью?..

Кузьма сидел в углу все в том же плаще глиняного цвета, утянув голову в горбом взнявшийся брезент, и, что было самое возмутительное, продолжал дремать, лишь иногда встряхивался, приподнимал голову, утирал мокро с губ. «У-у, запердыш несчастный! Наплодил ребятишек, я их спасай! Меня вот кто спасет?» Обессиленный тяжелой, лихорадочной работой, ночным страхом, плел я чего-то совсем уж несусветное и скоро был изобличен целиком и полностью. «Да будь что будет, дальше фронта не сошлют, больше смерти не присудят... Ребятишки-то, ребятишки-то у хмыря этого — богатыря — по детдомам мыкаться пойдут. Вот горе-то...»

Велено было писать объяснительную, я сказал, что не могу. «Как это не можешь?» — начал было начальник станции, но, видя, что я едва стою на ногах и ничего соображать не могу, отослал поспать, после чего честно и объективно все изложить. Я побрел из комнаты дежурного. Впереди меня, продолжая подремывать па ходу, тащился Кузьма. Полы его плаща волочились по порогу, мели окурки, и мне хотелось пнуть своего помощника что есть силы, да вот силы-то и не было.

Немало, видать, попыхтел Порченый, много с кем переговорил и поспорил, может, кого и умаслил, чтоб «в опшэм и целом» дело обошлось без трибунала. Меня лишили премиальных и дополнительного талона и еще поставили «на вид», Кузьму было решение понизить в должности — но ниже некуда, разве что в «помазки», к девкам, так я и продолжал маяться с ним. Теперь уж чего хотели, то с нами и делали! Работали мы по двенадцать часов, через сутки, один выходной в неделю, война не война, вынь да положь — труд составителя требует много сил, сообразительности, ловкости, чуть притупилась осторожность, сдали силенки — и ты кандидат в покойники либо в вечные инвалиды.

Мои выходные «испеклись». Я все кого-то подменял, меня постоянно просили провожать вертушку на завод вместо кондуктора либо какой-нибудь приبلудный сборный составишко до Красноярска. У всех семьи, дети, беды, горе, годы, болезни. У меня ничего этого нет, и виноват я, выслуживаться надо, вот и вертелся волчком и довертелся-таки до беды, которую не сразу и почувствовал.

Проводив вагоны на Злобинский комбинат, я припозднился и смену принимал с ходу — как ездил теплым сентябрьским днем в сатиновой рубахе-косоворотке по ветерку, с форсом, так в рубахе и в ночь работать вступил, надеясь вырваться с маневрушкой на первый путь, заскочить в свое жилище, пододеться. Смена выпала горячая, суетная, работы было много. Где-то о полночь пошел дождичек. Беззвучный такой, мелконький, детский, он постепенно загустел, разошелся, набрал силу. Я залез в паровоз, повернулся к топке спиной, мелко-мелко и нехорошо как-то все во мне подрагивало, и я с ужасом начал вспоминать болезнь детских лет — лихорадку.

Налетел дежурный по станции, заорал, замахал руками. Павлик сунул ручку реверса вперед, вроде бы нечаянно сбросил горластого дежурного с подножки паровоза. Мы замотались по станции, быстренько сделали срочную работу, после чего я наконец-то смог переодеться в сухое.

Днем заболела голова, морозило меня, трясло изнутри, я ушел на блок-пост, к посказителю Абросимову — прежде он работал на этой же станции оператором, но по старости «сошел с дороги», однако нужда заставила найти его и упросить помочь транспорту. Был Абросимов немножко уже не в себе, орудуя рычагами на блок-посту, непрерывно «орудовал» он и языком. Лежа на его нехитрой постеленке возле отопительной батареи, я

наблюдал, как лысый, в нимбе седых, архангеловых вихров, метался Абросимов по просторному залу блок-поста и, не стесняясь своей помощницы, — женщины из эвакуированных, складно плел охальную нечисть.

К вечеру стало мне хуже, сделалось больно глотать, кружилась голова, и тот же балабол Абросимов проводил меня на здравпункт. Размещался здравпункт в одном помещении со столовой: одна половина — столовая, другая — здравпункт. Ведал лечебным заведением молодой белобрысый парень с такими челюстями, что лицо его напоминало чугунный утюг, заканчивающийся остреньким и так далеко вынесенным подбородком, что он полностью оттеснил все предметы лица вверх, расширив почти до ушей скобу рта, вдавив в плоскую губу висюльку недоразвитого носа. Зав. медпунктом все время щурил косенькие глазки и важно сдвигал брови, отчего кисельно морщилась дряблая кожа лба.

— Температура? — с ходу задал он вопрос и сунул мне градусник.

Здравпункт организовали наспех, в связи с восстановлением эвакуационной промышленности, чтоб мы не мотались в Красноярск, нас тоже приписали к этому заведению, к столовке и к магазину. И везде-то на нас фыркали, выходило, что мы только перегружаем собой «точки», мешаем планоно и усердно вести дела.

— Мм-мах! Мах! Мах! — пошлепал губами фельдшер и с серьезной значительностью сдвинул дужки бровей: — Температуры нет, молодой человек, стало быть...

«Стало быть, вы — симулянт!» — прочел я на его лице и, пока пятился из медпункта, видел, как уничтожительно лыбится медицинское светило и поправляет, все время поправляет узелок атласного галстука, ярко сияющего в глубине бортиков халата, — первый это признак: хватается за галстук, стало быть, непривычен к нему, завязывать не умеет — выменял у эвакуированных.

Выскочив из медпункта, я храбро ругнулся и подумал, что, наверное, правду говорят путейские бабы, будто фельдшер этот снимает по три раза в день пробы в столовке, не пропустит и бабенку, тем паче девок без пробы на кухню работать, да и «помазков», которые обитают за моей стеной, не забывает, постоянно проверяет санитарное состояние их общежития, от девок клопы тучей прут — навезли из сел клопа тощего, жадного, на деревенского мужика задом смахивающего. Девкам что? Их много. Которую и съедят — не горе, а я вот один остался, должен стеречь сундуки Миши Володькина и Пети Железкина — кинули имущество на меня, уверяя, что быстренько управятся с фюрером и вернуться.

Эх, ребята, ребята — шутники!

Ночную смену я едва дотянул и, когда пришел в вагончик, не раздеваясь, замертво упал на кровать. «Ты, машина, ты железна, — тянули за стеной „помазки“, — куда милова завезла-а, о-о-ох, о-о-хо-хо-хо, куда-а ми-ыло-о-о-ова завезла-а-а? Ты, маши-ы-ына, ты-ы, свисто-о-о-очек, подай, ми-ы-ылы-ый, голосочек, о-о-х, ох-хо-хо..».

Под эту песню, жалостно думая о девках и о себе, я и уснул. Разбудила меня вокзальная уборщица, которая по совместительству обихаживала общежития. Лицо старой женщины было напугано.

— Ты чё, захворал?

— Кажется. — Я еще мог говорить.

Уборщица поставила к кровати таз и собралась бежать в медпункт. Я запротестовал: «Гниду видеть не хочу!» — и попросил купить молока.

От горячего молока, которое я проталкивал в горло, точно каленый шлак, сделалось полегче, и я задремал, а старушка бренчала посудой, отыскивала поваренку, которую, говорила она, надо лизать и глотать слюну, глядя на утреннюю зарю — как рукой снимет «болесь». Поваренки в моем хозяйстве не было, уборщица постучала кулаком в стенку, спрашивая у девок, но и у тех поваренки не оказалось, может, и была, да они послали уборщицу и меня ко всем чертям, пропади, мол, он пропадом, раз такой гордый и никого замечать не хочет.

Я и заметил бы, да стеснялся, а девки, будь одна или две, так и поощрили бы меня чем, выманили, но когда их много, они ж выдрючиваются друг перед дружкой, решат насмешками. Да и уставали девки на работе.

Мне наконец-то «вырешили» выходной. Заходил Кузьма, спрашивал: «Может, чё надо?» — «Ничего не надо». Кто-то натопил у меня печку — жарко, душно. На табуретке стояло горячее молоко в кружке, но я уже не мог его глотать.

Поздно вечером в мое жилище, как бы по своей воле, завернул фельдшер, глянул, пошлепал губами: «М-мах! Мах! Мак!», взял мою руку, нащупал пульс, и я увидел, как отваливается тракторная челюсть, раздвигаются бровки и провисает меж них кожа его лба. Хватаясь за галстук, фельдшер черкнул на бумажке закорючку, послал куда-то уборщицу, а мне сказал укоризненно:

— Что же вы, молодой человек, не являетесь на здравпункт?

Обложить бы его звонким желдорматом, но повернешь язык — и в

горле угли шевелятся, рассыпаясь горячими искрами по всей утробе.

— Ладно уж, не оправдывайтесь!

В вагончик забежал дежурный по станции, встревоженно глянул на меня, на фельдшера. Медик важно взял его под ручку, склонился доброжелательно головою — ведь выучилась обезьяна где-то и у кого-то «виду».

— Немедленно! — услышал я из-за печки. — Немедленно, понимаете?!

— Где же вы раньше-то были? Сейчас только на товарняке...

— Нельзя!.. Категорически!.. И до меня дошло: я опасно заболел. А так все пустяково началось: дождичек, на спине рубашка намокла, покатался на маневрушке «с ветерком». В войну болеть нельзя. В войну больные никому не нужны — пропасть можно.

Я впал в забытие и очнулся от быстрого, заполошного шепота:

— Одевайся! Одевайся! Одевайся, скоренько!

Шатаясь, не попадая ногой в штанины, я надел железнодорожную форму, обулся в ботинки. Передо мной шаталась уборщица, плавало в тумане ее лицо с шевелящимся ртом. Стесняясь непривычной беспомощности и того, что не спит из-за меня изработанный человек, я пытался вымучить благодарствие, ко старушка приказала молчать, забрякала кулаком в заборку.

— Девки! Язвило бы вас! Люди вы иль не люди? Проводите парня в город. Мне на смену.

— Подменись!

Ругая девок, уборщица набросила мне на плечи телогрейку и, бережно обняв, повела. На перроне с развернутым красным флажком стоял дежурный по станции. Я глянул на станционные часы — четверть пятого, из Владивостока шел скорый, нашу станцию он обычно пробрякивал напроход.

Мне захотелось протестовать и плакать.

Вдали яростно рывкнул «И. С.» и сжал ребра колодок. Весь поезд содрогнулся, громыхнул вагонами, задымил колесами и придержал бег. «Что у вас?» — знаком спрашивал помощник машиниста с грязным и недовольным лицом. Сворачивая флажок, дежурный по станции указал на меня, помощник растопырил пять пальцев — и меня тут же втолкнули в медленно катящийся вагон с единственным во всем поезде открытым тамбуром.

Это был мягкий вагон. Все двери купе в нем плотно закрыты, ворсистая дорожка, расстеленная в коридоре, глушила шаги.

— Вот здесь садись, — участливо прошептала проводница и откинула мягкую скамейку от стены. — Чё, заболел? — Я кивнул, и она шепотом же продолжала: — На Заозерную по селектору сообщили...

«Наши, — расслабленно и жалостно подумал я. — Хорошие у нас люди работают, а я все от них в стороне, все с книжечками...»

* * * *

Что три станции для скорого! Я и оглянуться не успел в мягком вагоне, как загрохотал он по мосту, пронесся мимо кирпичной больницы, уютно приткнувшейся под высокой насыпью и под огромными тополями на берегу Енисея. В эту больницу у меня и лежало направление в кармане черной железнодорожной гимнастерки, и идти-то до нее от вокзала пустяк бы... Я вышел из вагона на сырой осенний перрон, меня зашатало. «Э-э, парень! Ты чё это? — подхватила меня под локоть проводница и подождала, пока я устоюсь. — Не вздумай по путям!»

Да, по путям нельзя, хотя и близко. На путях стрелки задержат — они ловят всех кряду, да с таким лютым видом, будто станция кишмя кишит шпионами и диверсантами. А если не напорешься на стрелков — раннее утро все ж, дрыхнут небось, что, как закружится голова? Быть под колесами.

И я двинулся в обход. Дурацкий тот обход не забыть мне вовеки. Какие-то ларьки, забегаловки, мастерские, и все это соединено заплатами, заборками, переборками — богата Сибирь древесиной. Изводи — не изведешь!

Закоулки, дыры, перепутья, повороты. Вроде бы вот он, тупик, идти дальше некуда, но вправо какая-то ленивая, полуслепая, тропинка, западая в лебеду, исчезает в дебрях избушек, будок, железа, досок, обрезки. Миновал лебеду, уперся в ржавую железнодорожную ветку, увенчанную пестрым шлагбаумом, дремно свесившим хобот. Фонарик на нем не светился, по хоботу слой пыли. Жизнь угасла и остановилась. Но теперь уже по левую руку, в тополя, видны ворота, и сквозь прорезь листов просматриваются лоскутья давнего плаката: «пере... летку...» — винный завод! От него мне вперед и дальше. Виляя по каким-то натоптанным плешинкам, я обхожу грязные колдобины, вдавленные в землю рельсы, скоропостижный огород, забраный отходами, подлажу под старые вагоны и — Господи, спаси и

помилуй! — впереди вроде бы засеребрился Енисей, выстуженный холодным утром.

Ан, радость преждевременная! Опять меня повело, повело, вроде бы уж в обратную сторону, но через дыру меж хибарой, вросшей по брови в землю, солидным, по случаю военного времени упочиненным заплотом, выбросило на улицу, к железнодорожному предприятию, на котором белым по ржавому написано: «Вагонное депо».

Ну как тут не порадоваться и от радости не ослабеть!

Глянул вперед — мосты видно и вершинку мелькомбината; обвел глазами вокруг — трубы вдаль дымятся, гудки где-то поблизости раздаются, электросварка за забором трещит, отбрасывая сияние; на реке пароход колесами хлопает.

Есть, есть жизнь на планете, движется она, и больница, чую я, где-то рядом.

Вот и улица Ломоносова! Тут уж я не пропаду, больница-то фасадом к реке выходит, на улицу Дубровинского, задом на Ломоносова. Или наоборот? Да черт с ней! Дойти бы. Найти бы. Скажу я: «Больница, больница! Повернись к городу задом, а ко мне передом!» — И готово дело! Только отдохну малость. Малую малость. Отдышусь, силенок накоплю и пойду. Ох, пойду!

Вот и скамейка, завалинка ль уютная такая. Привалился к чему-то холодному, поймался руками — круглое и твердое, и вроде бы дребезжит. Отдышался, открыл глаза — змей! За змея держусь, за железного — такой формы дождевая труба. Пасть зубастая, расхабаренная, в пасти язык белый — ледышка намерзла. Я осмотрелся и с тупым изумлением открыл: сижу на завалинке старого-старого деревянного магазина и держусь за водосточную трубу, память подсовывает фактик — это первое в моей жизни торговое заведение, посещенное мною еще в младенчестве.

Зачем? Почему я был в городе? С бабушкой был — это точно. И вроде бы в другом веке, на другой планете — тогда еще люди ходили пешком, ездили на лошадях под красноярские железнодорожные мосты. Возле узенького пролета по ту и по другую сторону лежали клубки колючей проволоки — это если шпион объявится и полезет мосты взрывать, так чтобы запутался. Не знаю, напоролся ли на колючку хоть один шпион, но деревенские дураковатые конишки, застигнутые в подмостной дыре автомобилями, храпя, вставали на дыбы, бросались на проволоку. Не одна крестьянская коняга запуталась в проволоках, изорвала себя, поуродовала. Когда ситуация обострилась еще пуще и кругом объявились враги народа, лаз под мостом закрыли, мужики сотворили далекий объезд мимо

мелькомбината, к речке Гремячей.

Скорее всего мы с бабушкой шли тогда к мосту, чтобы перенять возле него подводу и выпроситься подвезти нас. Смутно помнится, что до этого я был в белой комнате и меня больно тискали, заставляли широко отворять рот белые люди — вытаскивали рыбью кость из горла. Я подавился сорогой, самым же и наловленной на Усть-Мане. По случаю избавления от беды и во исцеление младенца на последнем городском рубеже дрогнуло сердце бабушки, и она завела меня в магазин, который совершенно меня ошеломил своим изобилием — в нем столько было конфет! Ничего больше не помню. Кажется, пахло селедкой, икрой, постным маслом, мясом, кажется, все витрины и прилавки ломились от хлебного, мясного, рыбного, овощного изобилия, но я смотрел на ящик с «раковыми шейками», который как бы в изнеможении высовывался из стены собачьим красным языком и клонился к полу. Там были еще и еще ящики с конфетами, дорогушками, красивыми, защипанными уголком или завернутыми узелком, но меня отчего-то заворожили «раковые шейки», я вроде бы даже ощущал на языке их рассыпчатую, чуть приторную, ореховую сладость. Но бабушка купила мне горстку подушечек и два пряника, велела завязать их в чистый носовой платок, который был выдан по случаю поездки в город с тем условием, чтоб в него не сморкаться.

С узелком в правой руке, держась левой за бабушкину руку, брел я, усталый, к мосту, такой маленький-маленький, с таким бедным-бедным гостинчиком, из такого захудалого-захудалого магазинишки. Да что же это такое? Да почему же все так в моей жизни паскудно-то? Почему? И в магазин-то угодил в крайний, убогий. И обутчонки-то жали. И бабушка-то кланялась подводам, на меня показывала, взывая к состраданию. И конфетки-то самые дешевенькие. И пряники, кем-то уже облизанные...

И надо ж было мне именно теперь, в такую крайнюю минуту, оказаться у задрипанного того магазинишки, чтоб дрогнуть, разреветься, израсходовать последние силы.

Дальше я брел почти уже в темноте, на ощупь, шаря руками по штакетинам палисадников, по занозистым скольшам заплотов, по черствым и щелястым бревнам. Мне все сделалось безразлично, захотелось прилечь на секунду, на одну только секунду на такую уютную, плоскую и прохладную землю. Воздух в груди спрессовался, будто пескарь на песке, ловил я его открытым ртом, но только тянулась, катилась на гимнастерку уже и не липкая слюна, вроде как сок из подрубленной осины, горький, едучий. И все же я осилился, еще раз поднялся, попробовал даже отряхнуть пыль со штанов и каким-то чудом выбрел к Енисею, сел у ближнего дома

на скамейку подождал, чтоб прояснилось перед глазами, глянул налево — улица пуста, глянул направо — тоже пуста.

Гоношился, скребся вверх по реке колесный пароходишко, крикливый, надоеднѣй, всему городу по ору известный. «Колхозник» — название ему было. Все остальное в городе, на реке, в мире свалено сном. Дома закрыты ставнями, лишь пристань маленько слышно. К острову ткнулись носами баржи. Букашкой прилип к одной из них серенький катер. Машины не ходят, лодки не плавают; даже заводы на другой стороне реки дымилась вяло, изморно, и только ТЭЦ, расположенная неподалеку, гнала на город чернущие валы дыма из шеренгой выстроенных труб, мне казалось, что дымом этим запечатало во мне грудь, и я никак не могу продышаться. Поймав глазами мерцающие переплетения железнодорожных мостов, рядом с которыми уютно стояла больница, я обреченно подумал: «Мне не дойти...»

Сколько-то еще сопротивляясь беспамятности и бессилию, я шел, однако ноги в коленях помягчали, руки обвисли, голова сделалась тяжелой, спина вроде как слиплась с гимнастеркой, смялась, и я сел посреди улицы, затем лег, свернулся на камнях, подложив руки под лицо. «Полежу, отдышусь...»

В какое время, не знаю, должно быть, вскоре после того, как я свалился на булыжник, послышался стук колес, переходящий в такой грохот, будто это подкатил Илья-пророк. «Телега! По улице катит телега. Кабы на меня не наехала...» Подумать-то об этом я подумал, но никакого усилия не сделал, чтоб подняться. Грохот приблизился и оборвался — телега свернула на песочный съезд к Енисею, ехал водовоз с бочкой, оттого так и грохотало.

Однако меня кто-то шевельнул, опрокинул на спину.

— Гляди-ко, парнишонка! — и с удивлением: — Справный парнишонка, не вакуированный, железнодорожник. Э-эй, железнодорожник! — постучали меня чем-то по голове, я потерял фуражку, и телогрейку потерял, как потом выяснилось. — Ты чѣ, пьяный али захворал?..

В горле моем что-то сдвинулось, засипело, сознание мое от боли окончательно померкло.

В седьмом часу или еще в шестом — не могла после вспомнить дежурная на проходной, в ворота больницы сильно постучали, и она, ругаясь, пошла отворять. Отворила — перед нею явление: золотарь с вонючей бочкой вожжи держит, на его месте, прислоненный к торцу бочки, железнодорожник, не то пьяный, не то помер.

Вахтерша старая попалась, смекалистая, много на своем веку повидавшая, пап-царап за карманчик моей гимнастерки — там направление, и не куда-нибудь, а во вторую больницу! «Гляди, как ловко получилось! — удивился золотарь. — Ну, везуч парнишонка, везуч!..»

И укатил дальше, грохоча на всю округу бочкой.

* * * *

Молодого железнодорожника заволокли в санпропускник — раздевать и мыть — все как полагается. Что, что без сознания? Живой пока, теплый, стало быть, макай его в воду, полощи!..

Тут и явился в больницу профессор, дай Бог памяти — Артемьев, по моему. Он вел железнодорожную больницу, преподавал в мединституте, возглавлял военные и всякие комиссии, и загляни он на шум в санпропускник, где волочили по деревянным решеткам довольно крупного парня две малосильные тетки, пытаясь разболочь его, чтоб соблюсти приемную санитарию. Профессор даже не спросил, чего они делают и зачем? Он прыгнул в санпропускник, оттолкнул теток и, сильно схватив за нижнюю челюсть парня, отворил ее, глянул и тревожно, так тревожно, что тетки вконец перепугались, крикнул, протягивая руку:

— Что-нибудь! Ложку! Лопатку! Палочку!

Тетки ринулись, ударились друг о дружку, упали, и тогда профессор резко сунул в горло молодому железнодорожнику два сильных пальца.

Дальше я снова могу рассказывать сам.

После ослепляющей вспышки в голове боль пронзила насквозь не только сердце, но и все тело, и тут же следом за нею и вместе с нею в мое нутро хлынул воздух, быстро наполняя меня, а наполнив, как праздничный легкий шар, понес куда-то, в живое пространство. Я летел, кружился, чувствуя, как вострепелось, зачастило сердце от пьянящей, так нужной ему и мне воли, словно его и меня вытолкнули из тесного сундука, словно подбросили хворосту в дотлевающее пламя.

Что-то порченное, вонючее хлестало из моего рта, слезы лились, и когда я открыл глаза, какое-то еще время все плавало, дробилось передо мною, но до лица дотронулись спиртом пахнущей ваткой, протерли его, промокнули глаза, и сквозь мокро на ресницах я увидел приближенное ко мне, сверкающее очками, этакое типичное лицо старомодного доктора. Он

держал меня за плечо и что-то говорил, радуясь моему светлому воскресению, — я это распознал по его взгляду, слезы пуще прежнего закипели во мне и полились из глаз, теперь уж не от боли, теперь уж просто так.

— Дыши-ы! Дыши-ы! Дыши-ы! — напевал доктор.

Я признательно уткнулся носом в мякоть халата, пахнувшего талой енисейской водой.

— Все хорошо, юноша! Все хорошо! — доктор приподнял пальцем мой подбородок, и почудилось — под очками у него заблестело. — Не плачь, а то и мы заревем. Хорошо дышать?

Я хотел сказать: дышать не просто хорошо, дышать — это не знаю какое счастье... но только шевельнул языком — такая боль ожгла горло и такая снова хлынула дурь, что уж не до разговоров мне сделалось.

Те самые санитарки, что хотели меня мыть и вместе со мною, как потом сами признались, наредевшиеся досыта, повели меня в перевязочную, где усажен я был в удобное, тугой кожей обтянутое кресло. Медицинская сестра смазала мое горло намотанной на палочку ватой, густо облепленной вонючей дрянью. Боль все не проходила, но я дышал. Никогда еще я не дышал так жадно, никогда так не наслаждался самой возможностью дышать.

В перевязочной прибавлялось и прибавлялось народу. Появился доктор. Вытирая полотенцем руки, велел мне открыть рот, мимоходом глянул в него и удовлетворенно качнул головой.

И тут я вспомнил, что давно, очень давно, наяву, во сне ли, уже был в такой же перевязочной и видел такого же доктора, он тоже помогал мне освободиться от боли, и фамилию его вспомнил — Артемьев, теперь уж не доктор, а профессор!

* * * *

Знали профессора не только и не столько как профессора — город сражен был совершенно безумной приверженностью его к футболу. Сейчас этим никого не удивишь. Ныне ради футбола и хоккея люди на преступления идут, есть такие, что чуть ли жизнь самоубийством не кончают. Но до войны болельщик, подобный профессору Артемьеву, был редкостью, и случалось, ох случалось, предавал он общественные

интересы — сбегал из больницы, с лекций из института, с заседаний ученых советов, с экзаменов, один раз будто бы даже из операционной улизнул — человеческая молва, что лесная дорога, криушает куда попало, благо лес большой.

До войны на красноярском стадионе «Локомотив» свирепствовали все больше братья: то Бочковы, то Зыковы, то Чертеняки, и в великие уж люди они выходят, бывало, мячи на голове через все поле проносят, штанги ломают, московским командам делать в Сибири нечего, всмятку их расшибут, да забалуют любимцев болельщики, запоят, заславят и, погубив, тут же забудут.

На стадионе «Локомотив» профессора Артемьева не раз ловили коллеги и... на улочку. Он — ловчить научился, смотреть футбол из-под трибуны, где валяются окурки, бумаги, нечистоты, где в пыли и грязи прячется безбилетный зритель парнишечьего возраста. Подтрибунные болельщики уважали профессора, считали его своим парнем, спорили с ним, ругались и вместе свистели. Но больничные деятели нашли новое средство бороться с неистовым болельщиком — вызывали его по радио. Только он устроится под трибуной, попросит «отодвинуть ножку», как из динамика раздается: «Профессор Артемьев, на выход!» Он палец к губам: «Меня нет!» Но по радио повторяют и повторяют фамилию — где ж выдержишь! Выход с «Локомотива» хоть налево, хоть направо — половина стадиона, трибуна-то на обратной, «глухой» стороне, по-над Качей. Выудят испачканного, сердито сверкающего стеклами очков профессора, он ругается: «Какой г...нюк здесь радио повесил? Э... О... Прошу прощения у женщин. Это ж спортивное сооружение... Не вокзал! И хочу спросить кой у кого: имею я право, как советский гражданин, как патриот сибирского спорта?..»

Говорят, из исключительного уважения к профессору парнишки сделали подкоп под забором стадиона, и он выползал по подземелью к Каче. Юркнет в переулок, стриганет в больницу, а его кличут, а его кличут!.. Говорят, жена от него ушла, дети разбежались, одна домработница осталась, «жалеючи блаженного», и шибко бранила хозяина: «У тя голова седа, руки золоты, умственность выдающаяся, а ты со шпаной на футболе свистишь, передову совецку медицину позоришь!..»

Я смотрел на профессора во все глаза и ничего такого особенного обнаружить в его облике не мог. Он отдавал какие-то распоряжения почтительно его слушавшим людям, взгляд ученого был устремлен куда-то дальше, и мысли его, казалось мне, заняты совсем не тем, чем он сейчас занимался. За всем его видом и за тоном человека, привыкшего повелевать,

различался избяной человек, слабо защищенный, простодушный, однако простодушие-то было крестьянского происхождения — «себе на уме».

— Ну как, герой, ожил?

Я покивал и попробовал улыбнуться профессору. Он приказал, чтоб я помалкивал, — говорить придется ему, мне остается только кивать головой, но если и это движение вызовет боль, — прижмуривать глаза.

— Уважаемые коллеги и студенты! — громко начал профессор. — Сегодня не в институте, сегодня здесь, в больнице, расскажу и покажу я вам, как можно ни за понюх табаку сгубить человека... — Чувствуя мою стесненность от многолюдного внимания, он ободряюще тронул меня за плечо. — Юноша, ты заболел почти неделю назад? — Я кивнул. — У тебя кружилась голова, появилась слабость, но не было температуры, и тебя на медпункте сочли симулянтom? — Я снова кивнул. — Между тем у юноши развивалась фолликулярная ангина, этаких два пустяковых нарывчика в горле снизу и один, совсем уж пустячный, — сверху. Он-то, пользуясь плотницким термином, и расклинивал два нижних нарыва, и оставалось юноше жить... мало оставалось ему жить. Откровенно говоря, крепкая порода да г...воз... э... о... прошу прощения у дам, спасли его. Между тем человек лишь начал жить, из него, быть может, Менделеев... Не смейтесь, не смейтесь! Или сам Бутусов... Да пусть просто человек, гражданин, рабочий, защитник Родины!

Не знаю, как отнеслись к той нечаянной лекции профессора Артемьева коллеги и студенты, но я-то много, ох как много запомнил из нее навсегда.

— Военное время, — втолковывал профессор, — страшно прежде всего тем, что человеческая жизнь как бы убавляется в цене, а кое для кого и вовсе ее теряет. Происходит это от распущенности имеющих хоть какую-то власть над людьми, и необязательно большую.

— Фельдшершко с базайского здравпункта, — продолжал профессор. — Кто он есть? Но он познал отравную силу своей, пусть и маленькой, власти и по заскорузлости ума не сознает, сколь страшна эта сила... — Профессор Артемьев остановился против меня: — Фельдшершка, недоносок на вид? — Я кивнул. — Шибздик?.. Э... о... Прошу прощения у дам! Ничтожество неосознанно, не всегда осознанно, мстит всем, кто здоровее его, умней, честней, совестливей, стараясь низвести людей до своего образа и подобия. История начиналась не с государств и народов. История начиналась с одного человека, но с первого! И одним, если дать волю злу, она может закончиться, но последним. Он должен будет сам себя вычеркнуть из списка и вместе с собою зачеркнуть все, что было до него. Чудовищно! Немыслимо! А между тем есть, есть

люди, способные на это. Война обнажает зло, но за войной следует успокоение, мир, и зло утрачивает силу. Недоноски торопятся, успевают сосать кровь, ломать кости. Гуманист — всегда богатырь, всегда красив и силен духом, а эти горбатые ричарды, наполеоны с бабьими харями, хромые талейраны и Геббельсы, психи гитлеры, припадочные, горбатые, прокаженные правители — природа сама шельму метит: смотрите, люди, остерегайтесь зла!.. Э... о... Прошу прощения! Я, кажется, зарпортовался! Алексей Алексеевич, — обратился профессор к пожилому врачу, — позаботьтесь, чтоб фельдшеришку с поля вон. Фол! Подножка! Игра в кость! Санитаром его, сукиного сына! В госпиталь! Потаскай раненых, пострадай. Тогда только допущен будешь к страдающим людям... — Профессор захлопнул крышку часов, заторопился из перевязочной, на ходу бросив через плечо: — Покормите парня. Чем-нибудь жиденским и теплым.

Еще раз я увидел профессора в больнице через несколько дней. Он прошел мимо меня к тяжелобольному — на станции Злобино ночью дагнуло сцепщика, и он лежал весь в бинтах у окна, слабо постанывая. Профессор шел так стремительно, что отдувало полы незастегнутого халата, и, пока считал пульс больного, нашел меня глазами:

— Как дела, герой?

Няня, понарошку поправляя подушку, шепнула мне:

— Поклонись, поклонись!..

— Спасибо вам, — тихо сказал я и, отложив книгу, наклонил голову.

— Не на чем! — ответил профессор и чуть заметно, почему-то грустно улыбнувшись, добавил: — Подрался б с хулиганами, они б дагнули тебя за пикульку — и так же бы проплевался. Кстати, Алексей Алексеевич, не забудьте сделать больному прижигание.

«Еще прижигание какое-то! Тут и так глотку больно», — загоревал я. Думалось, что раз прижигать, значит, огнем. Алексей Алексеевич сказал, что физкабинет не работает и прижигание возможно сделать не ранее как через неделю. «А я за это время выпишусь».

Мне нравилось в больнице, опрятной не только снаружи, но и внутри — отличительная, кстати, черта всех почти наших железнодорожных больниц — опрятность, уважительность, добросовестная профессиональность сохранились и до наших дней, чего не скажешь о других ведомственных больницах, в особенности о районных и областных, и я наслаждался невольным отдыхом. К полному моему удовольствию,

попалась мне книга под названием «Фома-ягненок». Я упивался ею. Фома — знаменитый пират, до того свирепый и кровожадный, что вместо черепа и костей на черном знамени флотилии — а у него и флот, и острова, и города, и владения свои были — нарисован беленький невинный ягненок. И стоило кому завидеть на море-океане корабль с ягненком на знамени, как тут же капитан приказывал опускать паруса, выкатывал бочки с золотом и ромом, приказывал женщинам снимать с себя драгоценности и все прочее — на всякий случай. Фома с женщинами лишних разговоров не разговаривал, и, когда ему в сражении перебили позвоночник, он заставлял соратников своих пикорчить их в его присутствии, саблей вспарывал им животы.

Конец Фомы был печальным: заманили пиратов в бухту хитрые англичане, в бухте крепость принадлежала Фоме, да не знал он, что крепость ночью захвачена британцами, попер сдуру за бригом. Полна утроба корабля драгоценностями и ромом, на палубе красивые барышни мечутся — вперся Фома в бухту, тут его как начали пластать береговые батареи, щиты на бриге сбросили, а под ними вместо драгоценностей — пушки, барышни — переодетые матросы. Пираты в бега, но из-за мыса выплыли военные корабли.

Вздернули Фому на самой высокой рее, славных его сподвижников развесили, как воблу, на мачтах пониже, и с таким украшением в Темзу вошел английский корабль. Шапки вверх! Правь, Британия!

Книга про знаменитого пирата была без обложки и зачитана до тряпичного вида. С годами я начал думать, что она мне приснилась или от военной контузии возникла в моей нездоровой голове.

Каково же было мое потрясение, когда на мой осторожный вопрос насчет знаменитой книги Иван Маркелович Кузнецов, бородатый книголюб, безвозвратно помешанный на литературе и, кажется, знающий все книги насквозь и помнящий все, что в них и про них написано, просунул руку в книжную полутень и из пыльного завала вынул «Фому-ягненка», да еще и с подзаголовком — «Рыцарь наживы».

Оказалось, что сочинил «Фому» Клод Фаррер, офицер французского флота, и не только ее, а и множество романов с такими завлекательными названиями, которые нашим лениво мозгами пошевеливающим писателям и не снились: «Последняя богиня», «Король кораблекрушений», «Барышня Дак», «Девушка-путешественница», «Забытая беда», — в двадцатых годах выходило на русском языке его пятнадцатитомное собрание сочинений.

Вот какого замечательного автора судьба или Господь подсунули мне в трудную минуту. И думал я тогда: «Ах, Фома ты, Фома! Почти наш Ерема,

взял бы ты меня отсюда в свою боевую команду, ох и дал бы я звону на морях и на суше, уж повеселился бы, попил и поел, и женщин перепортил бы не-эсчетное количество! А пока что, Фома-Ерема, жрать мне охота, как твоим пиратам, подзаблудившимся в безбрежном океане и давно не щипавшим мирные пузатые корабли и усыпанные плодами и яствами берега...» Карточки мои прикреплены в станционном магазине, хлеб по ним я могу получить только и Базаихе. Здесь мне дали три картофельные оладушки, какой-то суп-рататуй, и я, несмотря на боль в горле, проглотил всю эту пищу, аж слезы из глаз выдавило. Было у меня маленько деньжонок в гимнастерке, купила мне няня банку варенца, погрела в печке, я его выпил, но не проняло меня, сильнее жрать захотелось.

И тут нашла меня Августа — написали ей со станции, что я в тяжелом состоянии отправлен в больницу. В деревне подумали, что я попал под колеса. Увидев ноги, руки мои на месте, тетка расплакалась, развязала узелок. В узелке кастрюля, в кастрюле суп из костей от ветчины — отоварили вместо мяса на сплавщицком лесоучастке, где Августа вкальвала и откуда обыденкой между сменами побежала ко мне.

Ни удивиться, ни умилиться ее поступком и тому, что со станции написали, — я не успел. Заслышав запах мясного бульона, скорее схватил ложку, попробовал хлебать его, теплый, запашистый, но ложкой получалось медленно, я взял кастрюлю за дужки и, не отрываясь, выпил похлебку.

Августа, пока я пил, смотрела на меня, и частили слезы из ее глаз.

— Во-от! — выдохнул я. — Теперь живу! — В узелке еще были лепешки из неободранного овса, я их завернул обратно — горло будут царапать.

— А говоришь-то ниче, нормально, — сказала Августа, вытирая глаза концом платка.

— Так ведь чего ж...

— Может, тебя отпустят на денек после больницы?

— Едва ли. Сегодня сцепщика привезли со Злобино. Без выходных работают, через двенадцать часов.

— Х-хосподи! А мы-то, в лесу-то — бабье одно... Наши-то, овсянские-то хоть сызмальства в тайге — привычные, а вакуированные шибко мерзнут и увечатся...

— Бабушка как? Девчонки?

— С имя и водится баушка. Ягоденок набрали дивно. Картошек накопили. Может, перезимуем. Мы-то чё, мы вместе. Ты — один. Помер бы... И не узнашь, где похоронетый... — У тетки опять задрожал голос, закапали слезы.

— Ладно, живы будем — не помрем!

— Кости возьми и обгложи, тут где хрящик, где чё завязилось...

— Полезное занятие.

— Ну дак я пошла. Ночесь на работу. Отпустят, дак иди, не бойся, не объешь. Картошшонки свои, пайку дают...

— Хорошо-хорошо. — Я накоротке приткнулся щекой к голове Августы, она меня поцеловала в лоб потрескавшимися губами и перекрестила.

— Мама велела.

— Ты уж не говори ей лишнего-то. Я в этой, — тряхнул я старой, латаной и застиранной пижамой, — в гуне в этой не гляжусь, а так-то — жених!..

— Жени-их! — махнула рукой тетка и, утирая ладонью лицо, пошла из больничного скверика меж желтых, почти уже осыпавшихся тополей. Возле ворот Августа обернулась, приподняла руку и что-то сказала. «Дак приходи!» — догадался я. «Ладно, ладно», — отмахнулся я.

Вернувшись в палату с костями в поле пижамы, я с сожалением глянул на дважды прочитанного «Фому-ягненка» и принялся глодать кости, выколачивать из них мозг. Большинство больных спало, лишь один, самый надоедливый больной, стажер красноярского пункта технического осмотра вагонов, сдуру, может, и нарочно, засунувший пальцы под тормозную колодку во время пробы тормозов, попрыгивая, ходил меж коек, тряс спадающими с тощого зада пижамными штанами, напевая с тем занудливым, приклатненным воем, который дается лишь тюремным кадровикам: «А ты мне изменила, другого любила, зачем же ты мне щашарики крюттила?..»

— На! — протянул я ему кость. Стажер остановился и глядел на меня, ничего не понимая. — Заткнись! — пояснил я. Он выхватил кость, захрустел ею.

— Шешнадцать лет проробил, и ни единой царапины, — жаловался старый сцепщик, — теперь всего переломало, а все оттого, што «Давай! Давай!». Вот и дали! Три сменшыка осталось! Че оне втроем-то? Устанут, на себя и на правила рукой махнут, вот порежет которого... Дадут практиканта из фэзэу, дак тоже не выручка, за имя больше смотри, чем за сигнализацией, — так и норовят куда не следует: да прыгают, все прыгают, будто козявки с ногами в жопе.

— На! — протянул я кость стажеру. — Отнеси труженику! От благодарного фэзэошника...

И дядька утих, занялся костью. Стажер присел на мою кровать, смекая

насчет добавки, начал рассказывать о той фартовой жизни, какую изведаль он.

«Да знаю я эту роскошную жизнь, в детдоме наслушался. Вот у Фомы-пирата была жизнь так жизнь!..»

* * * *

Так и не сделав прижигание, я выписался из больницы. Ой, как я пожалею об этом, как буду мучиться ангиной на фронте, да и после фронта, не сделав, как оказалось, пустяковой процедуры — пластинки, подключенные к легкому току и приложенные к тому месту, по которому мы щелкаем, когда хочется дернуть водки.

Весело катил я на «Ученике», который задом вперед тащил паровоз, и шуровал в нем знакомый мне по ФЗО парень из кочегарской группы. День был лучезарный, мягкий: в лесу, знал я, оседала на колючие растения последняя паутина; последние листья срывало ветром с берез и осин, подножие лиственниц устилало пухом желтой хвои; мохнатые белянки примораживало иньями, они стеклянно хрустели и рассыпались под обувью; в воронках озеленелых от сырости рыжиков намерзала хрупкая ледышка; рябчики свистели и бодрились по утрам; глухари шумно взлетали с осинников, взбивая вороха листьев; дрозды разбойничьими стаями облепляли рябины и черемухи в деревенских и пригородных палисадниках; улетели ласточки и стрижи; стронулась в отлет местная водоплавающая птица; грустно замерев, часами сидели на мокрых камешках кулички-перевозчики; глядя на воду, подогнув лапки, брюшком липли к бревнам и плыли куда-то серые трясогузки. Все-все в природе завершало летнюю работу и страду, готовясь ко сну, и только в мире, у людей не наступало успокоения, они все дрались, дрались, сводили друг дружку со свету.

Станция встретила меня угрюмой, молчаливой подавленностью. Порченный посмотрел больничную справку, где мне предписывалось еще два дня «домашнего» режима», и убил мою легкую безмятежность, сказав, что «домашний режим» придется отложить до после нойны. Мне, Кузьме, Абросимову, и трем пожилым рабочим с промучастка велено было заняться погребальными делами. На станции отцепили от поезда, идущего с эвакуированными из Ленинграда, ледник, набитый покойниками. Ближний Березовский совхоз выделил подводы и возчиков, мы наряжены были им в

помощь.

Я не стану описывать те похороны — о таком или все, или ничего. Еще живы ленинградцы, перемогшие блокаду, и я не могу присаливать их раны, ковыряться в кровоточащем сердце, пусть и чернильной ручкой.

Похоронами я был не просто раздавлен, я был выпотрошен, уничтожен ими и, не выходя на работу, отправился в Березовку, в военкомат — проситься на фронт.

Краснорожий заместитель военкома, к которому я попал, прочел мое короткое заявление и уставился в меня пронизательным взглядом:

— Чего натворил? Выкладывай!

Я его не понял, и он терпеливо объяснил: сейчас, мол, добровольцами идут книгочеи, мальчишки, отчаявшиеся люди или набезобразившие мужики.

— Выкладывай! Выкладывай! — поощрил он. — Упер чего? Пришил кого? Утерял карточки? Все равно узнаю...

У меня закружилась голова — после похорон я не мог ни есть, ни спать. Схватившись за край стола, я переждал оморочь. Начальник подал мне воды и, когда я отпил глоток, удовлетворенно отвалился в кресле:

— Н-нет, карточки, вот они, — полез я в карман гимнастерки, торопливо, сбивчиво рассказывая о похоронах, о том, как мне было страшно, что я не хочу больше жить, хочу умереть, но с пользой, на войне...

По мере того, как я рассказывал о своем горе, хлюпая мокрыми губами, утирая рукавом глаза, лицо собеседника скучнело, презрение все явственней проступало на нем: «И это — воин!»

В глазах его брезжила, брезжила и, словно от воллого огнива, занялась мысль, пробудился живой ко мне интерес. Я смолк, оглядел внимательно товарища начальника и очнулся: во время войны в народном фольклоре бытовали байки-загадки: «Что? Что такое сверхпрочность? Сверхнахальство? Сверхточность?» Этот дядя был из породы «сверхнахальства» — околачивался в тылу, жрал по усиленной карточке, спал с женой фронтового офицера, стучал себя в грудь кулаком, крича: «Смерть немецким оккупантам!», и упорно искал себя в списках награжденных. Искал.

— Ты ж на брони! Вот если начальник станции подпишет...

Я схватил заявление и побежал через плохо убранные картофельные поля, по которым темными тенями бродили эвакуированные, перекапывая пашню, и ветвилась грязная дорога, где, хлябаясь в выбоинах, тащились подводы к неглубокой просторной яме, торопливо выкопанной на

Березовском кладбище, на отшибе от старых могил.

— Дурак! — первое, что я услышал от Порченого. — Да этот жирный битюг спит и видит, чтоб такие, как ты, к нему валом валили, иначе же ему самому придется на фронт. Какое ему дело до нужд транспорта? Что ему, хоть в опшэм, хоть и в целом, интересы Родины? Ему своя шкура...

— Все вы, тыловые крысы, друг дружки стоите!..

Иван Иванович, будто от удара, отшатнулся к стене, задел локтем телефон, поймал свалившуюся трубку и, сжав ее за деревянный наручник, глядел на меня расшибленно. Осторожно опустив трубку на рычаг, он обвис плечами и сидел, уставившись взглядом в пол, лицо его тяжелело, провисало щеками, на глазах старилось. Затрещал телефон. Начальник станции схватил трубку, смотрел на нее, чего-то соображая.

— Занят я! — рявкнул он наконец и бросил трубку с такой силой, что она спала с рычага и висела на одной вилке. — Давай! — протянул он большую, подушкой набухшую руку.

— Чего?

— Карточки давай!

Я начал торопливо доставать из кармана железнодорожное удостоверение, в которое были вложены продуктовые карточки. Иван Иванович решительно черкнул с угла на угол красным карандашом на моем заявлении: «Не возражаю», и тем же карандашом бережно, мелко написал на моих карточках: «Отovarить до конца месяца». Учинив подпись, он вздохнул и поднял на меня печальные глаза:

— Ладно — убьют, а если изувечат?..

«Да, если изувечат, кормить меня некому». Сочувствие скребнуло меня, вновь стронуло во мне злое горе, и, гордо покидая кабинет начальника станции, пропахший отгорелыми фонарными фитилями и угольным дымом, я сказал, слава Богу, хоть не вслух, а про себя: «Без соплей мокро».

Истрепанный, побитый на фронте, я съездил на станцию Базаиха в сорок восьмом году, чтобы поговорить с Порченым и хотя бы, в общем и целом, как-то загладить застарелую вину. Но за полгода до окончания войны Ивана Ивановича Королева отвезли на Березовское кладбище тоже на заемной совхозной подводе и по той же дороге, где мы возили мертвых ленинградцев и покойники выпадали с телег — такие на ней были колдобины.

Сдавши спецовку, сигнальный фонарь и флажки завхозу станции, а неуклюжие фанерные сундуки Пети Железкина и Миши Володькина — в камеру хранения, я переложил свои наиболее ценные вещи: пару рубашек,

бельишко, новые штаны, голубое кашне — подарок дяди Васи — в холщовый мешок, пожертвованный мне уборщицей общежития. Картинки, снятые со стены, стиранные онучи, недоношенные «выходные» туфли, кастрюльки, ложки и прочий скарб сбросал в чемодан и тоже снес в камеру хранения. Платочек с полинявшими буквами «Н. Я.», ставший мне уже талисманом, я сложил четвертушкой, засунул в нагрудный карман гимнастерки, ни с кем не попрощавшись, отправился в город и оказался на опустевшей краевой пересылке — только что здесь была сформирована Отдельная сибирская бригада, и я едва не настиг своих корешков — Мишу Володькина и Петю Железкина.

На пересылке грузный, пухлый, по-коровьи пыхтящий писарь отнял у меня военкоматскую бумагу, опросил мое фио и занес его в какой-то форменный журнал. Коренастенький сержант с подбритыми бровями разрешил мне быть свободным «пока», но совсем не исчезать. «Можешь понадобиться», — сказал он.

Я послунялся по двору, заглянул в подметенные, продезинфицированные помещения пересылки и расположился на осеннем воздухе, под забором. Вынув харчишки из крашеного домодельной зеленухой мешка с наляпанной на самом видном месте белой заплатой, я крепко покушал, умяв одну из трех буханок хлеба, выданных мне на карточки, и полбутылки топленого масла, отоваренного на жировые и мясные талоны, и почувствовал полное умиротворение. Все мои тяготы-заботы словно бы остались за воротами пересылки, отчужденность и безразличие овладели моей душой — я еще не знал великого свойства армии, но уже чувствовал, что сам себе не принадлежу, что за меня думают, мною распоряжаются, обо мне заботятся, чтоб накормить, одеть, обуть, и за все за это надо всего лишь подчиняться.

Эка невидаль! А в школе? А в ФЗО? А на станции я чего делал? Подчинялся, выполнял команды. Да еще вкалывал, да еще голову ломал о житье-бытье, а здесь и забот-то — не уперли б сидор.

В казармах было вонько, прямо-таки удушливо от дезинфекции, на голой осенней земле я лечь побоялся — научила меня болезнь остерегаться простуды. В дальнем углу пересылки обнаружилась сорванная с гвоздя доска. Я ее отодвинул, просунул в лаз и обнаружил уютную, травой поросшую территорию со скамейками, среди которых стоял красивый дом, у ворот — крепкий, как гриб подосиновик, флигель. Не вникая особо, куда попал, а попал я, как потом выяснилось, во двор музея Василия Ивановича Сурикова, — расположился на уютной скамье, под пожухлой, но все еще мохнатой сиренью, уснул глубоко, безмятежно и проснулся лишь на

вечерней заре.

— И где этот дяляга с зеленым сидором и белой заплатой? — грозно вопрошал кто-то за оградой. — Найду, винегрет из него сделаю!..

Я приподнялся, глянул на мешок, положенный под голову, на все еще ослепительно белую заплату и догадался — ищут меня. Я пролез в дырку и, насвистывая, стал прогуливаться по пересылке, все время поворачиваясь так, чтоб видно было белую заплатку на мешке.

— Стой! — кто-то схватил меня сзади за мешок.

— Стою!

— Ты где был?

Я в рифму ответил где — и мешок сразу отпустили. Передо мною, сурово насупившись, стоял сержант с подбритыми бровями, тот самый, который был в комнате писаря, когда меня оформляли. Я поинтересовался, что ему надо, и он многозначительно ответил:

— Тебя, сеньор!

— Простите, сэр, но мы с вами не так близко знакомы, чтобы сразу переходить на «ты».

— А сейчас познакомимся, и ты не рад этому будешь! — заявил сержант и с присвистом, в щель передних зубов, разрешаясь злобой и властью, распиравшими его грудь, скомандовал: — Кр-рю-хом! Н-на кухню ш-гом арш!

— Но, но, не больно... — начал было я щепериться — сержант вот-вот должен был воспламениться, он уже дымился:

— Н-на кухню! Ш-гом! Иначе я из тебя, морда, винегрет сделаю!..

— А это видел? — поднес я ему кулак под нос. И мы схватились драться. Сидор мне мешал, связывал действия, да и после больницы я. Товарищ сержант одолевал меня. Но, вспомнив удалые детдомовские времена, я изловчился и поддел его на «кумпол». Сержант сразу перестал драться, схватился за нос, посмотрел на ладонь.

— Нос разбил! — сержант еще раз поднес ладонь, еще раз посмотрел на нее и, потрясенный, прошептал: — Старшему по званию! Командиру эркэка!..

— А ты не тырься! — срывая листок пыльного подорожника и прикладывая его к носу товарища сержанта, сказал я. — Раз командир эркэка, воспитывай словами. Тебе тут не старорежимная армия — чуть чего — в рожу!..

Зажав подорожником нос, сержант подавленно молчал, потом высморкался и уже без металла в голосе тускло приказал следовать за ним.

Мы оказались в подсобном помещении пищеблока. В неоглядном зале,

загроможденном бочками, ящиками, баками, было сыро и мрачно. Пахло здесь, как в доковской столовой, которую посетили мы когда-то с дядей Васей, — гнилой картошкой, очистками, квашеной капустой, несвежим мясом. В полумраке подсобки копошились бесплотные фигуры. Товарищ сержант дал мне наказ: вместе с доходягами и симулянтами, отставшими от боевой сибирской бригады, чистить картошку до тех пор, пока я не сдохну. О том, чтоб сдох непременно и поскорее, он, сержант Федор Рассохин, позаботится лично.

— Побег с ответственного участка работы расцениваю как дезертирство! — предупредил сержант, заранее уверенный, что я обязательно смоюсь из подсобки, от грязной работы.

Первое в армии наказание я воспринял с легким сердцем, даже с удовольствием. Товарищ сержант Федор Рассохин не ведал, какую тихую радость мне доставляет чищение картошек. От бабушки перешла ко мне привязанность к этой работе и в детдоме закрепились. Дома, на деревенском огороде, садили почти изведенную потом за малоурожайность русскую скороспелку, розовато-нежного цвета снаружи, с розоватым кружевцем, точнее, с розоватым куржачком внутри, бодрую в цвету, терпеливую к холоду, спорую в росте и такую нежную, что едва ее ножом тронешь — сок брызжет, а коли сварится, то вся как есть потрескается, и вдоль и поперек, обнажая под кожей сахаристую рассыпчатость.

Выкопает, бывало, бабушка гнездо-другое картошек, овощи всякой надергает, с корзинами спустится к Енисею и долго булькается в воде. Сперва по отдельности помоеет каждую овощь, затем, подоткнув юбку, забредет поглубже и поводит корзиной в светлой струе туда-сюда, после встряхнет над водой ту и другую корзины, но когда подденет их на коромысло, все равно из плетенок густо каплет, дырявит пыль обочь тропинки. Поднявшись на яр, еще не войдя в заулочек, бабушка певучим голосом кликала меня. Если я играл поблизости, срывался ей навстречу, она па ходу поворачивалась ко мне той корзиной, в которой зеленела мохнатой ботвой морковь, упруго топорщились листья брюквы, собравшие в разложье слитки чистой воды. И видя, какая мне радость от чистой и потому особо лакомой овоща, бабушка, лучась морщинками, поощряла:

— Бери, бери, товарищшэй потчуй! Бог уродил, Бог людям угодил, — экая благодать от земли!..

В детдоме я был самый прилежный чистильщик картошек, потому как, слушая легкий скрип ножа, уединялся от людей и пристрастился выдумывать все красивое, даже что-то похожее на стишки. Вьется, бывало, стружка картофельная, вьются в голове мыслишки, вспоминается деревня,

бабушка, как она даже зимой, не жалея рук и плеч, носила лишнее коромысло воды и обмывала картошку — меньше грязнятся и трескаются пальцы, и, чистя картошку, бабушка, наверное, тоже думала о всякой всячине, отдыхала от суеты и хлопот.

Знай все это товарищ сержант, так и не строжился бы — он через каждый час наведывался в подсобку и удивленно приподнимал подбритые брови: «Ты еще тут!» За полночь, преодолев строгость, велел плеснуть мне в толченую картошку черпак масла, выдал сухарь — для укрепления сил, пояснил, что наутро прибывает команда в пятьсот душ, ее приказано столовать, иначе с него снимут шкуру, а он с нас три.

Хорошо выспавшийся на музейной скамейке, разом отринувший от себя прошлую жизнь, я чистил картошку и орал на всю подсобку соленые частушки. К утру онемели руки и на брюшках пальцев от ножа выступила кровавая мозоль. На трудовом посту, как выяснилось впоследствии, до победного конца выстоял один только боец — я!

По достоинству оценив мою стойкость, Федор Рассохин, сам едва державшийся на ногах, сказал мне после того, как была сделана завалка в котлы:

— Следуй за мной!

Мы вышли за ворота пересылки и скоро оказались на центральном проспекте города, возле красивого старинного дома, у входа в который я было приостановился, но сержант, почти уже заснувший на ходу, буркнул:

«Говорю, следуй» — и мы поднялись на второй этаж. Порывшись в кармане, сержант достал ключ на цепочке и долго им тыкал в узкую щель замка, врезанного в фасонно обитую черной материей дверь. Наконец он попал в щель, толкнул дверь, и мы очутились в просторной и уютной прихожей, крашенной голубой краской.

Здесь стояла вешалка с позолоченными металлическими рожками, трюмо в черной, богато отделанной раме, возле трюмо на столике флаконов, пуговиц, шуток разных не перечесать. На вешалке красовалось голубое пальто с богатым песцовым воротником, шапочка, тоже песцовая, и много тут добра висело. Мне бы оробеть, но я так устал, что глаза мои, хоть и хорошо видели, да уже смутно воспринимали действительность.

— Ксюха! — позвал сержант, раздеваясь, и кивнул мне, чтоб я тоже раздевался.

— Ай! — послышалось из глубины квартиры. Застегиваясь на ходу, постукивая кулаком в зевающий рот, появилась красивая девушка. Она чмокнула Федю в щеку, потянулась, передернула плечами.

— Чё так долго?

— Дела. Война как-никак идет. Ты опять до четырех читала? Теперь дрыхнешь!

— А чё у тебя с носом?

— Чё? Чё? Ознобил!

— Осенью-то?!

— С такими, — Федя зыркнул на меня, — с такими и летом ознобишь!

— Это кто? — девушка ткнула в меня пальцем.

— Защитник Родины.

— А-а. — Девушка снова принялась зевать и потягиваться, глядясь в то же время в зеркало и подбивая пальцами копну волнистых волос с темным лаковым оттенком и даже каким-то мерцанием, пробегающим по ним. — Помойкой от вас от обоих пахнет.

— Помойкой! — возмутился Федор Рассохин. — Мы машину картошек очистили, солонины бочек пять перемыли, капуста...

— Ладно, ладно, не заводись с пол-оборота! Повесьте все на батарею. Защитнику родины папину пижаму выдам. Жрать будете?

— Н-не. Нам бы ткнуться скорей...

— Сей секунд, господи! — Выудив на ходу из плетеной коробки белую лепешечку, девушка сунула ее в рот и удалилась. Скоро в приоткрытую дверь были выброшены две пижамы, мне досталась большая. Феде — чика в чику.

Переодевшись, мы вошли в просторную, светлую комнату, где зеркально мерцало вороненое пианино. На середине круглый, инкрустированный стол, далее буфет с искрящейся в нем посудой. В углу стоял ореховый шахматный столик, на котором чернел телефон. Рядом, под окном стоял диван с зеркальной спинкой, на нем раскинута была постель с двумя простынями, чистой подушкой и шерстяным одеялом.

— Ложись! — показал сержант Рассохин на диван, и, почувствовав мою нерешительность, строже добавил: — Ну, чё ты! Дави! Я к себе. — И он ушел за плотно закрытую, узкую дверь, крича куда-то дальше, в глубь квартиры, есть ли чего от папы и мамы? Издалека донеслось, что от папы была посылка с продуктами и телеграмма — он переводится из Норильска в Красноярск, от мамы — ничего...

Должно быть, уже улегшись, сержант едва ворочающимся языком не то себе, не то девушке пробурчал:

— Бросили тебя родители. И я вот возьму да брошу.

— Ну и пусть!

Тут я уснул, точнее, провалился в небытие, и о чем Федя Рассохин

разговаривал с девушкой и разговаривал ли — не слышал.

Проспали мы долго, и проснулся я от голосов людей, которые не привыкли себя в чем-либо ограничивать, говорить вполголоса.

— Спровадил я твоего фунтика в сибирскую, учти, в Отдельную сибирскую бригаду! — Федя Рассохин примолк — чай пьют на кухне — дошло до меня. — Пусть на фронте родину любит, а то присосался, понимаешь!..

— Чё присосался-то? К кому присосался?

— К тебе! Еле отодрал! Явись мамочка, ты же выканючишь фунтику бронь — хозяйство стеречь! А тут, — Федя Рассохин громко хрюкнул, — гутен морген, гутен таг, хлоп по морде — вот так так!

— Фе-едь! А одной-то чё хорошего?

— Ты не дави мне на психику! Не дави! Одна-а! У тя институт, книги, товаришшы...

— Товаришшы! — передразнила его, я начал догадываться — сестра, скорей всего, сводная — совершенно они не похожи друг на друга. — Где они, товаришшы? Всех ты на фронт упек! И фунтика-душечку! У-у злодейский ундер!

— Нашла о ком жалеть! Я помчался! Допризывник пусть еще часок-другой подрыхнет — и на пункт. Все! — Дверь зашуршала обивкой, и уже с порога Федя Рассохин строго приказал: — Ты мозги ему тут не запудривай. Они у него и так набекрень. Ну, я двинул. — Федя, слышал я, громко чмокнул девушку, и, щелкнув замком, дверь затворилась.

На кухне зазвякала посуда. Убирая ее в шкаф или в стол, девушка напевала себе под нос физкультурную песню, потом громко сама с собой заговорила:

— Фунтик ты, фунтик! Укоцают тебя фрицы... — Неожиданно девушка появилась в столовой с полотенцем через плечо и властно приказала: — Эй, гренадер, подымайся давай! Выдыхнешься, успеешь! О-о, да ты уже не спишь! — Она стояла среди комнаты, небольшая, но такая изящная, что казалась и высокой, и стройной. В сером серебристом халате, отделанном черным бархатом на рукавах и по бортам, подпоясанная черным же, витым поясом с кистями, в узеньких шлепанцах без задника. На шлепанцах вилась сношенная, но все еще золотящаяся нить. Волосы ее были едва сколоты шпильками, высоко колыхались над головой. В разрезе халата виднелось тонкое кружево ночной рубашки и что-то надетое на шею, какой-то шнурочек с серебрящейся кругленькой штуковиной, оттеняющей тонкую, даже на взгляд ощутимо-теплую кожу. Лицо девушки разделено на две половины — никогда более не встречалось мне такого

лица! Когда-то, может, еще ребенком, девушка пережила страх, быть может, ужас. Правую половину лица ее дернуло, исказило. Ей делали операцию, под правой «санкой» виднелся припудренный шовчик, лицо поправили, но все равно чуть оттянуло глаз, губы словно бы кривило надменной усмешкой, в то же время как левая половина лица была спокойна, однако замечалась наперед, прямо-таки магнитом притягивала, не давала оторвать от себя взгляда та, живущая напряженной, нервной жизнью, половина лица, которую девушка научилась прятать, поворачиваясь «красивой» стороной к свету.

С детдома доставшееся умение не замечать человеческой ущербности, — да и какая тут ущербность, Господи! — скоро развеяло возникшую меж нами неловкость. Мы сидели в просторной, богато обставленной кухне, девушка кормила меня супом с вермишелью, болтали обо всем так, будто давно знали друг друга.

Да, Ксения — сводная сестра Федора Рассохина. Отец ее — полярный летчик. Однажды он летел из Заполярья с семьей на борту и с самолетом случилась авария. Мать и брат погибли. Отцу переломало ноги, и теперь он не летает, он ведает авиаотрядом на Севере. В момент вынужденной посадки самолета, защищенная руками и грудью матери, девочка отделалась сотрясением мозга и судорогой лица. Докторша Рассохина была безмужняя, Федя — плод ее институтского романтического увлечения заведующим кафедрой гистологии. У докторши Рассохиной жила мама, тоже в прошлом докторша, курящая, раскудлаченная, дни и ночи читавшая любовные романы. Выйдив летчика и его дочку, докторша Рассохина увела их к себе домой. Получилась семья, несколько странная, диковатая, дети, предоставленные сами себе, жили хотя и в центре большого города, но росли словно в поле трава.

Дом пребывал в полной заброшенности, и пришлось Феде с детства брать на себя хозяйственные заботы. Поэтому и поступил он не в институт, а на курсы шоферов, чтоб поскорее приобрести специальность, быть полезным дому. Ксения определена была обожаемой бабушкой на филфак педагогического института, дабы «догнать и перегнать» Ушинского.

— Да и Макаренку заодно! — веселясь, заключила о себе рассказ Ксения.

Не зная, как относиться к такому откровению, испытывая чувство благодарности и неловкости одновременно, я сказал:

— Однако засиделся. Товарищ сержант, он, ух строогий!

— Жуть! — наливая из фарфорового чайника заварки, подтвердила Ксения. — Это не ты починил ему нос? — Я отмолчался. — Пей! —

пододвинула она мне сахарницу. — Успеешь еще и командирам насолить.

«И в самом деле, куда торопиться?» — размешивая витой серебряной ложечкой чай, я во все глаза глядел на Ксению.

— Чё уставился? Девок не видел?

«Такую не видел!» — хотелось мне проявить решительность, да храбрый-то я среди своих, детдомовских корешей иль фэззошников.

— Ты чё молчишь, паря? Плети чего-нибудь. Ты родом-то откуда?

— Из Овсянки, Ксения, из Овсянки. Гротовоз я.

— О-ой, так близко! Я думала, из Каталонии...

— Неинтересно, да?

Она посмотрела на меня пристально:

— Слушай, волонтер! Ты какое горе пережил? Болезнь?

— Ничего я не пережил...

— Любезнейший! Я и не таких орлов наскр-розь!..

— Тебе бы в рентгенологи.

— И без рентгена наскр-розь...

— Фунтика, к примеру.

— Ишь, чё вспомнил! Футлик его фамилия. Э-эх, Футлик-мутлик! — рассеянно глядя куда-то, вздохнула она. — Ему баба знаешь какая нужна? Во! — раскинула Ксения руки, — и чтоб барахло меняла, золото скупала... А я? — она огляделась вокруг: — Папа не прилетит, Федор уедет, все тут промотаю и к маме дерну, санитаркой, в санпоезд.

— С такими ручками только урыльники и таскать!..

— А чё ручки? — Ксения посмотрела на свои руки, вытянув их перед собою, точно слепая. — Потренируюсь — и порядок! Я так-то здоровая, только ленивая... Так какое горе-то? Болезнь?

Она помолчала, выслушав меня, затем тряхнула рукав моей гимнастерки:

— Держись!

— Ну, ладно. Мне пора! — заторопился я. — А то товарищ сержант...

— Да поговори ты со мной еще, о славный железнодорожник! Хоть про рельсы, хоть про паровозы... С сержантом я все улажу.

Застегнув все еще картошкой пахнущую телогрейку, с которой сыпался крахмал, я протянул Ксении руку:

— Спасибо за хлеб-соль!

— Серьезный вы человек, товарищ боец! — Не подавая руки, Ксения быстро спросила: — Кто твой любимый герой? Скоренько! Не раздумывая.

— Допустим, Рудин, — усмехнулся я.

— О-о, сударь! Вы меня убиваете! Дмитрия Николаевича я полюбила и

бросила еще в школьном возрасте! — Опершись спиной на косяк двери, она прикрыла глаза и без форса начала читать: «Вошел человек лет тридцати пяти, высокого роста, несколько сугуловатый, курчавый, смуглый, с лицом неправильным, но выразительным и умным, с жидким блеском в быстрых, темно-серых глазах, с прямым широким носом и красиво очерченными губами. Платье на нем было не ново и узко, словно он из него вырос».

— Ну как? — Ксения кулаком постучала себе в темечко. — Варит котелок?

Когда она читала, перекося губ и надменный прищур были заметней, в не совсем закрытом глазу белела простоквашная мякоть, отчего лицо становилось несколько уродливым, и меня, такого неотесанного, корявого, в себе самом зажатого — это как бы сблизало с нею, придавало смелости.

— А как насчет Фомы-ягненка? — подсадил я собеседницу.

— Фи, допризывник! Я ему про Ерему, он мне про Фому! Из вашей деревни небось?

— Сама-то ты деревня!

— Подожди! — Ксения ушла в комнаты и вернулась с богато изданной книгой. — На! Насовсем! Бери, бери! Там наш адрес. Может, напишешь мне о боевых подвигах? Напишешь, а?

Я не шел на пересылку, меня несло по городу. Случилось! Случилось! Я встретил девушку, какую мечтал встретить, и хотя заранее знал, что она так и останется мечтой, но «Рудин»-то со мною будет, он мне напомнит о том, что она, эта так необходимая мне встреча, была на самом деле, и долго я буду жить ощущением нечаянно доставшегося мне счастья. А девушка будет жить где-то, с кем-то своей жизнью, неведомой мне, и в то же время останется со мной навсегда.

Как прекрасно устроен человек! Какой великий дар ему даден — память!

Письмо Ксении я так и не написал, точнее, так его и не закончил, потому что писал и пишу его всю жизнь, оно продолжается во мне, и дай Бог, чтоб слогом, звуком ли отозвалось оно во внуках моих.

* * * *

Федя Рассохин повертел «Рудина» и скуксился:

— Подарила так подарила...

— Вернуть?

— Чё-о? Она те вернет! Она чё спланировала? Ты с этой книжицей явишься к ней после войны, вы приятно побеседуете, и, глядишь, она совсем тебе голову заморочит!.. Ох, сеструха, сеструха! Вот горе-то мое!..

Федя Рассохин выписывал бумаги на получение продуктов и в то же время объяснял, что околачивается на пересылке из-за нее, из-за сестры, пока отец с севера не прилетит, иначе эта фифа институт бросит, на фронт умотает либо фунтика какого-нибудь опять к дому приручит.

— Слушай! Да ну ее! Слушай! Народ понаехал из тайги — сплошь блатняки и бывшие арестанты. В карты дуются, пьют. Назначаю тебя старшим десятка. Иди получать продукты. Следи, чтоб не стырили. Завтра отправка.

— Куда?

Зачесался, замялся товарищ командир.

— Ладно! — Махнул он рукой. — Куда едешь — не скажу. Чё везешь — снаряды... — И сообщил, что команда отправляется под Новосибирск, в пехотный полк, но если я хочу подзадержаться, мы можем вместе двинуть уже в сам Новосибирск, и не в пехотный, а в формирующийся автополк — есть разнарядка на него, Федю Рассохина, он добьется, чтоб меня «прикомандировали», — и мигом железнодорожника превратят в классного шофера.

— Нет, Федя, отправляй меня с командой. Вот в Овсянку, можешь если, отпусти... попрощаться.

Утром я прихватил возле мелькомбината сплавщицкий катер. Пока он скребся вверх по Енисею на деревянной горючке, солнце поднялось высоко, пригрело обеленные утренним заморозком голые склоны гор, и засверкали горы, и дохнули знобкой стынью ущелья.

Село стояло на берегу реки, оглохлое, пустое. Крыши домов парили, в щелях теса серебрился иней. На дверях домов виднелись старые, тяжелые замки, ворота заперты на заворины, люди ходили через огороды, собак не слышно, старух на завалинках не видно, стариков под навесами — тоже, дети не играют на улицах — все при деле, от мала до велика, все готовятся ко второй военной зиме.

Августа ушла на работу. И бабушки не было дома. Прихватив девчонок, она отправилась на Фокинский улус — перекапывать поле подсобного хозяйства, которое шалый-валяй убирали студенты и

наоставляли много картошек в земле. Отправилась бабушка по той самой дороге, которой ушел навсегда маленький Петенька, и, знал я, непременно всплкнет она о маленьком внуке, помолится о его душе, бестелесно витающей в лесах и горах, желая ей, невинной, скорее отмучиться и опасть на землю березовым листом, перышком голубиным, лепестком цветочным, белой ли снежинкой.

Никто не умеет так складно, как бабушка, причитать, никто не может всех нас, живых и мертвых, больших и маленьких, так верно помнить, так жалостно жалеть, так горько оплакивать.

Лишь дядя Ваня и тетя Феня были дома. Встретили они меня со слезами — в составе той самой сибирской бригады, которую я не застал на пересылке, братан мой Кеша отбыл на войну.

Смеясь и плача, дядя Ваня и тетя Феня рассказывали, как, дернув на прощанье водчонки, хорохорился Кеша. «Я этому Гитлеру-блядине все кишки выпущу!» Родители и невеста умоляли бойца побереечь свою отчаянную головушку, но он ярился пуще того — не только Гитлера, всю его клику грозился извести подчистую!

Ценя Кешину отчаянность, соглашаясь с его намерениями, невеста все же просила, чтоб хоть после боя — не все же время идет сражение — вспоминал он о родителях и хоть немного, совсем чуть-чуть думал о ней. На что Кеша выдал:

— Тут, в неревне, в нраке, чуть, бывало, занумался — и плюху поймашь, там и вовсе нумать нековды, там, невка, зевни — пулю проглотишь!..

До Гитлера Кеше добраться не довелось, но, воюя в Сталинграде командиром пулеметного расчета, искрошил он довольно противника, заработал орден, медаль и с оторванными пальцами на левой руке и на правой ноге, одним из первых вернулся в село. Я интересовался впоследствии — держался за ногу, что ли? Кеша, а он сделался боек на язык после фронта, отшил меня, заявив, что держался совсем за другое место и не растряс ничего, в целости доставил своей дорогой невесте.

Так и не повидавшись с бабушкой и Августой, передав прощальный им привет через дядю Ваню, я переправился на известковый завод и неторопливо побрел в город дачным местом, привычной прибрежной дорогой, проложенной моими односельчанами, натоптанной рекрутами, переселенцами, мешочниками, арестантами и просто нуждой и судьбой по земле гонимым людом.

Ночью на пересылку прибыло еще несколько команд.

В казармах сделалосьлюдно и шумно. Днем началась отправка. Федя Рассохин крепко пожал мне руку и, потирая поблескивающий нос, улыбнулся, желая всего хорошего, сожалея, что не вместе едем, наказывал, чтоб я не партизанил — пехотный полк не детдом, и коли я буду себя недисциплинированно вести, из меня винегрет сделают.

Я обещал Феде Рассохину вести себя дисциплинированно.

— Да-а! — спохватился он, убежал в контору и вынес оттуда кулек. — На! Ксюха послала. Бери, бери!

В пакете оказались соевые конфеты местного производства — такими конфетами отоваривали карточки вместо сахара. Все съедобное и сладкое, что могло и должно было попасть в конфеты, на фабрике работяги слопали и унесли, пустив в производство лишь соевую муку и какую-то серу или смолу. Когда конфету возьмешь на язык, она по мере ее согревания начинает набухать, растекаться, склеивать рот так, что его уж не раздерешь, и чем ты больше шевелишь зубами, тем шибче их схватывает массой, дело доходит то того, что надо всю эту сладость выковыривать пальцем.

Ксения получила соевые конфеты на студенческую карточку и — не выбрасывать же добро — послала допризывнику гостинец, как тонко воспитанный человек, она к пайковым конфетам сунула в пакетик горстку клубничных карамелек довоенного производства.

И вот, занявши третью полку в полупустом вагоне, я лежу, сунув мешок под голову с последней в нем буханкой хлеба, да поглядываю через полуоткрытое, на зиму не заделанное окно да посасываю карамельку.

Нас отправляли в Новосибирск пассажирским поездом — такая роскошь по военному времени!

Провожающих нет. Никто не пел и не плакал. На станции и на перроне шла будничная жизнь, война сделалась привычной, отъезд на войну — делом обыденным. Но я все же грезил: возьмет да кто-нибудь из наших, деревенских, прибежит. Или... Вот уж блажь так блажь — возникнет Ксения, да при всем-то сером, неинтересном народе руку подаст, всего мне хорошего пожелает.

От сладостных грез отвлек меня живописный, в полном смысле этого слова, человек, так много стриженный тюремной машинкой, которой не столько стригут, сколь выдергивают волосы, что голова его от напряжения сделалась фиолетового цвета. Обут он был в опорки, одет в холщовые

исподники и драную телогрейку, болтающуюся прямо на голом костлявом теле. Впрочем, на голом ли? Под телогрейкой выколота майка, меж лямок ее, прямо на сердце, профили двух вождей и клятва в великой к ним любви, а также намек насчет свободы, которую он будет дорожить и честно жить.

— Н-ну, с-сэки! — праздно фланируя вдоль вагона, сжимая и разжимая кулаки, грозился живописный парень.

— Н-ну, фрицы, трепещите!

На перроне возникла и стала полнеть толпа парнишек, одетых в железнодорожную форму. Я поглядел на перронные часы — вот-вот на второй путь подадут рабочий поезд до Базаихи. Высунувшись в окно, я спросил у ребят — не из первого ли они училища, не со станции ли Енисей? «Из первого», — ответили мне.

Второй набор. Ребята позаморенней, смиренней, но полностью уже обмундированные. Нам так и не выдали всю форму, мы так и не пережили до конца «организационный период» в совмещенном с ФЗО ремесленном училище ускоренного выпуска. Эти учатся уже как следует: и наглядные пособия, наверное, есть, и учебники, и тетради, и макеты, и инструменты, только кормят их еще хуже, чем нас, — война-прибериха затягивает пояса все туже и туже.

— Эй! — позвал я одного парня. — Сымай фуражку! — И когда он, недоумевая, снял и подставил фуражку, я вытряхнул из бумаги комком слипшиеся соевые конфеты, саму бумагу, повременив, бросил в окно и подмигнул братьям-фэзэошникам.

— Шшашливо! — пожелал мне кто-то из них слипшимся ртом.

Появились в вагонах и провожающие. Семья. Плотный мужик в долгополом армяке, в рубаше из домотканого холста, в древних, залиселых сапогах играл на гармошке. За ним хромал мужик или парень — не понять — так заморен был и вычернен солнцем, ведя в обнимку допризывника, на котором вперед всего замечалась старенькая шапка с распущенными ушами и узкие латаные штаны с бордовыми заплатами на коленях. Чуть в отдалении за мужиками тащились молодая, но уже сильно изношенная женщина, она вела за руку бледную девочку на вид лет трех-четырёх.

«Вот тронулся поес, вот тро-о-о-онулся по-о-оес! Во-от тро-о-о-нулся по-оес и рухнулся мо-ос...» — вместе с компанией ворвалась в вагон песня. Вымученно, словно по обязанности, не пели — кричали мужики и этим «рухнулся» так подействовали на меня — хоть реви тоже в голос.

Компания шумно расположилась внизу подо мной, и я порадовался тому — не набьется таежная хевра — еще в детдоме надоело канителиться с блатняками, любоваться на них.

Мужик передал гармонь призывнику, тот продолжал песню на одних басах — трудно, видать, жили и учились всему эти люди, скорей всего переселенные на оборонный завод из южных старообрядческих районов. Отец небось жизнь убил, чтоб одновременно на басах и на «пуговицах» играть три-четыре песни, коих вполне хватало на нехитрую деревенскую компанию. Призывник в семье, судя по всему, самый младший, так и не успел полностью освоить гармонь.

Вытащив из глубочайшего брючного кармана бутылку с заткнутым бумагой горлышком, хромой мужик из кармана же выковырял кружку — и забулькало, запахло самогонкой.

— Тятя! Савелий! — попыталась протестовать женщина, не смеющая подойти к столу. — Не пили бы, обоим на работу во втору.

— Цыц! — брякнул по столу кулаком отец и, отпив, передал кружку Савелию. Тот начал пить, вдруг поперхнулся, заплакал. И все трое заплакали, заобнимались.

— Да, мы можот... мы, можот, по-оследний ра-а-ас...

— Тя-атя! — бросился ему на шею призывник. И мужики заревели громче прежнего, затоптались на месте, сцепившись мослатыми руками.

Девочка, лицо и глаза которой налиты тяжелыми, недетскими слезами, обхватив ногу призывника, жалась щекой к бордовым заплатам и с истовой бабьей страстью, со взрослым страданием повторяла и повторяла что-то. Я напряг слух, вслушался и наконец разобрал:

— Свидания! Звините! Паси бох! Свидания! Звините! Паси бох!..

Заскребло, стиснуло мое простудное горло. Заморенных, давно спиртного не пивших мужиков развезло. Промазывая пальцами, призывник жал на басы и ревел все одно и то же, вместе с отцом и шурином: «Вот тронулся поес, вот тронулся поес, вот тронулся поес и рухнулся мос...» И маленькая девочка, схватившись за ногу дяди, по-прежнему никакого на нее внимания не обращавшего, все твердила и твердила: «Свидания! Звините! Паси бох! Свидания! Звините! Паси бох!..»

Мужики допили самогонку, наревелись, успокоились. Праздно положив руки на колени, расселись они на нижней полке. Прилепилась на краешек полки и женщина, терпеливо дожидаясь конца. Так и не успела она ни разу заплакать, заботы о мужиках не оставляли ей времени на слезы.

— Ну вот... пиши... почашшэ!.. — тяготясь молчанием, придумывая, что бы сделать ему, родителю, всегда и во всем главному в доме, знавшему, что и как должно в нем и в семье быть. — И помни дедов завет: сердцем копья у недруга не переломишь, дак всякой-то пуле голову не подставляй... сам себя не обережешь, никто не обережет... Ах, мать-то не пришла, нету

матери... Не отпустили с работы. Военно положение... Э-Эх! — Мужик поглядел в окно, и у него до шепота осел голос: — Нету, нету матери-то... — Знал мужик: будь сейчас мать, легче бы всем было, ему-то уж непременно легче, свалил бы с себя тяжесть, мать голосила бы, он бы на нее прикрикивал.

В вагоне сделалось содомно — грузились таежные вояки. Даже для меня неожиданно, призывник остался один на просторной скамье и, отвесив губу, сидел от выпивки тупой, потерянный, недоумевающий. Что-то вспомнив, подобрался, поглядел направо, обвел взглядом вагон, задержался глазами на окне и заплакал, да так, излившись слезами, и уснул в уголке, за обшарпанным столиком — первая разлука с семьей, с родным домом.

Доведется ли возвратиться? Э-эх, нету выпивки! Саданул бы и я кружку-другую — сосет у меня в груди, подмывает мое, тревогами и бедами клейменное, валенное, тертое, мягое, живое — полосатое сердчишко.

Я достал из мешка буханку хлеба, отворотил от нее ломоть, вылил остатки масла на хлеб, посолил крупной солью, поел, сходил к цинковому вагонному бачку, напился воды и скоро уснул.

Пробудился ночью, далеко от Красноярска. В вагоне было тихо и мрачно, лишь храп и бред таежных новобранцев нарушал вагонный покой и душный его уют.

Я свесился с полки к окну. В щели окна сквозило прелым осенним холодом, за окном бесконечно развевалась плотная лента лесов, тяжелое осеннее небо почти не отделялось от непроглядной, отчужденной, тесно сомкнувшейся тайги.

И оттуда, из-за вагонного окна, из иного мира, пугающего холодной пустотой, словно разгоняя с пути нечистую силу, испуганно кричал паровоз: «Свида-анья-а-а-а!» А внизу, под вагоном, как бы извиняясь за слишком громкий рев паровоза, колеса, сдваивая, угодливо частили: «Паси-бох! Паси-бох! Паси-бох!»

1977, 1988

Пир после Победы

Сергею Павловичу Залыгину — земляку

Это было в ту пору, когда все казалось радостным и от жизни ждали одни только радости. В немыслимо яркий, ослепительный день спешил я в родную деревню по левой стороне Енисея, по дачной местности. На правой, гористой стороне, где проходит сейчас асфальтовая дорога на Дивногорск, пути тогда были худые, за войну и вовсе задичавшие.

Я был молодой, недавно женатый, ноги мои пружинисты, душа пружиниста, голова пуста, внутри все ликовало, и от «восторгу чувств» мне хотелось петь, даже прыгнуть в еще холодные речные просторы хотелось, ухнуть в одежде, и вся недолга! Блаженненькое состояние пронизало всего меня насквозь, ветрено, вольно было, ни о чем долго не думалось, да и не хотелось ни о чем думать, и в то же время думалось обо всем разом. Но мысли внутрь охмелелой башки не проникали, едва коснувшись ее, они, будто по круглому арбузу, соскальзывали в неизвестность.

Все я видел вокруг, все замечал и радовался всему вместе, ничего не отделяя и не выделяя. Мир без войны пригляден как он есть. Вон сытая, дородная, солнцем убаюканная корова возле светлой лывы, проткнутой иглами травы, лежала, лежала, да ни с того ни с сего и заблажила: «Ух! Ух! Ух!» — и с таким надрывом, будто по убитому мужу рыдало животное. Ей, корове, все равно, как она выразила свое коровье отношение к миру Божьему, но невдомек жвачной потёме, что чуть было не вспугнула она с моей души, резиново сжавшейся, всю благость и ребячество, которое я, сам того не сознавая, старательно взбадривал в себе.

Ладно, блажи, корова, кормилица-поилица, тебе можно и поблажить — рать кормится, а мир жнет, — потрудились ты за войну, молочком попоила детей, солдаток, госпитальников, бороны потаскала и плуги, гнилую солому жевала, кровью даивалась от надсады, но дотягивала до зеленой травы и снова впрягалась в работу, исполняла свое назначенье — кормить и поить людей.

Пегонькая птичка прыгнула из канавки и совсем уж было наладилась юркнуть в кусты, к гнезду, может, и к кавалеру, но стоило ей подлететь, как повело ее выше, дальше, и забыла она обо всем на свете, захлебнулась внешней высотой, далями, ей лишь видимыми, и пошла камешки-стекляшки

сыпать, хвостом рулить, крыльями играть, перья ветрить.

«Вот интересно в природе устроено: коли птичка мастерица петь, вида она непременно скромненького. А как дармоед, прихлебатель какой, то разукрашен, расписан он природою». Но сей же момент я уловил противоречие в размышлениях, вспомнив про снегиря. Уж такой ли трудяга, этот выпик — снегирь! Так ли ему корм тяжело достается ранновешней порой, однако свистит птаха застенчиво, как бы извиняясь за беспокойство, да свистит. «Интересно знать, куда снегيري деваются? Покуда снежно — висят яблоками по кустам, светятся фонариками в палисадниках, но хлынет водотечь, налетит всякой птахи, и снегيري стущуются, в сторону, что ли, отодвинутся?»

Быстротекучие, случайные эти мыслишки ворохнулись под пилоткой и тут же сменились другими, не менее случайными и пустыми. «Вот взять кошку, — катились размышления дальше, — тварь хищная и подвидная». Я ненавидел кошек до войны и догадывался отчего. Жилось им всегда лучше, чем мне. Я их пинал и бил чем попало. Теперь бить не стану. Вот приду к бабушке, увижу семиковрижницу, поглажу по-девчоночьи изогнутой спине и скажу: «Ну што, шушшештвуешь, тварь?» — так и скажу — «шушшештвуешь!» — я уже вспоминал о том, что так говорил в детстве, когда у меня выпадали молочные зубы и преподобная моя бабушка Катерина Петровна все подъялдыкивала меня; «Шушлик, пишшуженец, шопли, шушшештво».

Это я шушшештво, потому что шушшештвую! Не убило меня на войне, и я к бабушке иду, к Катерине Петровне. Только через порог переступлю, непременно гаркну: «Здравия желаю, товарищ генерал!» — она аж присядет и с испугу уронит чего-нибудь. «О, штоб ты, окаянного, приподняло да шлепнуло!» — скажет. Так и скажет. Я-то уж знаю свою бабушку!

Хорошо! Правда, хорошо. Ну просто замечательно! Что хорошо? Вот и не знаю, как сказать, — что хорошо и что замечательно. Хорошо, да и только!

Так вот шагал я, улыбаясь солнцу, свету, радовался, что живой вернулся с войны, и ноги мои, чем меньше становилось мне идти, тем скорее бежали. В дальних сосняках, по солнцeboким гривам доцветали сон-трава, медуница и стародубы; под заборами и обочь дороги отгорели, обуглились мать-мачехи, по оподолью гор уже занималось пламя жарков, раздувало белую пену дубровных ветрениц; прибрежные таи вызолачивало лютиком-курослепом; синие жеребчики мохнатой гривой возносились из трав, набирающих рост; первые колокольцы без звона качались на ветру. В

заустенье, где до полудни холодеет роса и куда солнце падает уже горячее, гордо взнимался из аремника багровый, угарно пахнувший марьин корень.

Речки отбушевали, сделались смиренными, миротворно покурлыкивая, они катились с гор в гранитное межреберье, ничего уже не волокли, не крушили. Снеговые кипуны, те и вовсе засохли, едва шевелились в мокрых, плесенью берущихся камнях, прерывисто падали с яра в Енисей, где вода тоже шла на убыль, но река все еще кружилась, гудела и буйствовала возле быков и скал, бья в каменные оплеухи бревнами, однако и на реке вода выпустила на волю рёлки, и по ним воскресали, отряхивали струпья глины со стволов и ветвей трепанные вербочки, замытые ивняки; остро торчали из сувейно намытых песков и дресвяников лозы краснотала; дегтярно темнели черемшаники с торопливо набухающим цветом; по речкам и оподольям шиханов черемухи отпенились, уже сорили белой чешуей, оттого и спешил островной кустарник нагнать всякую природу, и нагонит, сравняется, потому что стоек его корень, и свету, влаги, ветра теперь ему много будет с реки. По виске — так красиво зовется у нас обсыхающая после водополя протока, будто для креста сложенная щепотью, припоздало всходила осока, копытень на обмысках с листом торопился, и всякий цвет, всякая травка хотела скорее занять свое место на земле, отгореть в цвету и успокоиться семенем.

Сверкающая полоса мелкой гальки разноцветно струилась вдоль берега. Я не удержался, прыгнул к виске, снял сапоги, побродил по ней, уже чуть прогретой и мелкой, зачем-то набрал полный карман гладких камешков, огладив каждый перед этим, на иные я даже дышал, отчего они сразу делались ярче и веселей, — опять вспомнилось, как бабушка таскала за ухо, если я бегал с камнями в карманах и драл их. Ах, бабушка, бабушка! Иду я, иду!..

И опять я качу на своих двоих по-над яром, по дорожке, и опять глазею. Из лога и бочажин вода совсем почти ушла. В теплых львах вяло плавилась мальки, ища выхода. Охотиться на рыбью мелкоту слеталось воронье. Вокруг лыв, усеянных живым крошечком головастиков, ярким хороводом пошли калужницы. Шебарша кожаной листвой, бегали под калужницами долговязые кулик с куличихой, под названием фифи, выпугивая из-под них трясогузок, бабочек, жуков и пчел. Потоптавшись под листьями, в дурманном озарении цветов, насорив желтой пыли на воду, кулик с куличихой масляно скользнули по кругу лужи, затем их как бы подхватило легким воздухом, скользющим по логу, и вынесло к Енисею. Фифи реяли над водой, работали всем телом, несясь над темными стремнинами, нежней, переливистой делалась их песня, полумесяцем

изогнутые крылья, хвосты с беленькой каемочкой, пушистые брюшки с прижатыми к ним лапками, безбоязненно опрядывали гиблую с виду гладь воды.

Из скал выметнуло стрелку чеглока. Он вкрадчиво запиликал — и кулик с куличихой — от греха подальше ткнулись в тень берега. Обстригая остриями крыл лохмы одинокого облака, чеглок упоенно плавал по небу, все глубже погружаясь в призрачную голубизну, вот сделался с воробья, с пчелку, с мошку величиной и наконец совсем утоп в небе:

Эх, Андрюша, нам ли быть в печали!
Не прячь гармонь, играй на все лады!.. —

заорал я ни с того ни с сего. Усталая женщина с вязанкой дров на спине, уступая мне дорогу, сказала:

— И чё орет, дурак! — но, увидев меня в гимнастерке, да еще и с медалями, пошевелила усталым ртом, пытаюсь улыбнуться.

Я потянул у нее вязанку дров, она не сопротивлялась. Шагая рядом, женщина смеялась моим шуткам и свойски уже спрашивала, не стаскаю ли я всю поленницу с берега в казенную дачу, которую она сторожит?

И рад бы, отвечал я, да не могу, спешу к бабушке в родное село, в котором не был с сорок второго года.

И женщина сказала: чего же я тогда дурака валяю? Чего прохлаждаюсь? С войны людей как ждут? — и стала отбирать у меня вязанку. Но я не отдал вязанку, донес ее до дачи, присел на краешек крылечка, огляделся и, не веря самому себе и времени, так, оказывается, твердо отпечатанному во мне, сказал:

— Вы знаете... Где-то здесь... здесь вот чуть было не замерз... до фронта...

Женщина, клеткой укладывая дрова возле низкого заборчика, приостановила работу.

— И замерз бы. Чего хитрого? Сколько тут народу тоже погинуло-о. — Она еще говорила, ну, как водится, про своих, которые тоже где-то загнули, а может, и живы, — находится сейчас народ, из мертвых восстает.

Но я перестал ее слушать, на меня вдруг накатило волнение: неужели тогда зимой сорок второго я мог так, запросто?... Ничего не понявши в жизни, ничего не увидев, не дожив до этой вот светлой весны? Да как могло такое быть? Несправедливо же! Но теперь-то я хорошо знаю, как проста смерть. Как она ко всем одинаково равнодушна. «Могло быть,

уважаемый, могло! По-настоящему!» — такой же ты, как и все люди, смертный. Это ведь только в юности да в дурной молодости кажется, что ты не тюх-тю-лю-люх, а что-то там этакое-перезтакое, и умереть не сможешь. Другие могут, ты — нет! Ну, а если умрешь, чтоб кому-нибудь досадить, то, как насладишься раскаянием обидевших тебя людей, тут же и воскреснешь, и милостиво, как Иисус Христос, простишь их всех, несмышленных, даруешь им возможность полюбить тебя, искупить перед тобой грехи малые и большие.

Мне сделалось жалко самого себя, того дураковатого фэззошника. Умирают насовсем, товарищ фэззошник. Насовсем! Ничего не остается. Был ты, и нету тебя! Понял? Совсем нету! Вот какую науку я прошел на войне. И вот почему только теперь, давним временем, задним умом я по-настоящему испугался той смерти, которая приступала ко мне здесь, в этой местности, брала за горло, давила мерзлыми перстами...

Я передернулся, встал, попрощался с женщиной и побрел по берегу, разом почувствовав, как устал и как мне хочется есть. Впереди неожиданно встал забор из досок, прибитых внахлест, крашенный густой зеленой краской. Я повел по забору единственным, уцелевшим на войне глазом и обнаружил: забор уходит в глубь леса, к подгорью, конца его не видно, в загородь угодили лучшие дачи, строенные еще енисейскими толстосумами-золотопромышленниками да местной знатью. Как бы нечаянно пригорожены лучшие клинья соснового бора и колки березового леса. Меж деревьев виднелась водокачка, толсто укрытые дерном подвалы и приземистый склад — все это ограждено ниткой колючей проволоки, застенчиво-тонкой по сравнению с окопной, но все же штаны и кожу на заду порвать годной. Одним концом забор опускался в Енисей прямо в воду, с реки его было не обойти. Я решительно двинулся в ворота, из которых только что выпорхнула полуторка и, звякая бидонами, рванула к городу. Едва я сделал несколько шагов по ограде, где успела уже зарости и превратиться в тропку торенная деревенскими телегами, ногами моих односельчан, а также местными дачниками ездаяя дорога, по обе стороны которой были излажены теперь гряды разных форм, на них что-то уже вошло и налаживалось цвести, как услышал:

— Гражданин!

Из будки, крашенной тем же зеленым цветом, что и забор, ко мне шел угрюмый мужик в милицейской фуражке. Дверца в будку осталась открытой. Я увидел в ней столик, покрытый газетой, чайник, банку с медом, в которой шевелились комком осы-воришки. «Ух, ты! — обдало меня жаром. — На подсобное хозяйство, а может, на военный объект

затесался!..»

— Гражданин! — взмахнув рукой у виска, глухо повторил милиционер. — Здесь ходить не положено!

— Военный объект? — понимающе отозвался я. Но вышло это у меня как-то игриво, потому что хоть и опечалился я, вспомнив про то, как не замерз чуть было давней порою, с души все равно ничего не сдуло — ни вешней певучести, ни ветреной легкости, и по-прежнему все вокруг казалось излаженным по моим душевным чертежам, двигалось и звучало согласно настроению моего, еще совсем молодого сердца.

Милиционер и тот начал высветляться взглядом, но, вспомнив про службу, насупился:

— Не положено, и все!

Нет, не военный тут объект — уразумел я и полез в пузырь, не зло лез, как бы играя в гнев, напуская его на себя, забавляясь им:

— Значит, пока мы воевали, пока кровь проливали, вы тут дачки старобуржуйские отхватывали! Устраивались!

— Я тоже воевал, гражданин, — бесцветно и вяло отозвался милиционер, явно сожалеющий, что сбивает меня с намеченного пути, глушит во мне радужное настроение и должен убеждать в том, в чем убеждать ему, как можно было догадаться по тону и лицу, никого не хотелось.

— Чего ты заладил: гражданин, гражданин... Я пока не подконвойный, и ты мне не начальник!

— Вернитесь, пожалуйста, гражданин...

— Не вернусь! Стреляй! В спину стреляй! — вспыхнул я и дерзко пошел по мягкой, еще не совсем заросшей тропе, которая была прежде дорогой и вела в мое родное село. Мне хотелось шуметь, ругаться, доказывать правоту, которую я ощущал в себе полновесно, законно. Ах, как нравится нам доказывать то, что в доказательствах не нуждается, что доказывать легко, заранее зная, какое внутреннее удовольствие получишь от этого. Молодой я был, прыткий, но с очень обостренным чутьем окопника, точно знающего, где могут выстрелить, где нет, где могут «качать права», а где и самому качнуть их возможно. Милиционер тащился за мной, просил вернуться, но рук не применял, сознавал, видать: руками трогать фронтовика нельзя, драка будет, бой.

— Что тут происходит? — услышал я властный, как бы худо смазанный голос курящего человека. На резной деревянной терраске старинной двухэтажной дачи стояла женщина. Одета она была в роскошное японское кимоно, на котором чего только изображено не было! Волосы

женщины в крупных завитках, со лба прихвачены голубой лентой, лицо густо смазано кремом, и оттого сразу не разглядишь, что женщина уже в немалых годах, девственно-небесная лента не гармонирует, книжно говоря, с ее обличьем, истасканным и несколько даже суровым. В ухоженных, пухленьких руках ее детская лейка.

— Да вот... — все так же тускло и бесцветно пояснил милиционер, глядя мимо меня, — не подчиняется гражданин, век, говорит, здесь ходили.

Женщина остановила работу, держа лейку в наклоне над узеньким ящиком, прибитым вдоль борта терраски, взглянула на меня темными, все еще горячими в глубине глазами и чуть свела брови на переносице, но, вспомнив про морщины, тут же расцепила их. Мы лишь секунду, может, и меньше, смотрели друг на дружку, однако и за короткий миг успела возникнуть между нами неприязнь. Здесь, напротив дач, по ту сторону Енисея, возле Шалунина быка, нашли мою утопленницу-мать. Бабушка моя, тетки и дядья, братья и сестры, односельчане, гонимые нуждой и бедой, перетаскивали в котомках из города и в город по старой дороге столько всего, что поезду не увезти. Возле этих мест я чуть не замерз военной порой, идя на помощь к овдовевшей многодетной тетке. Здесь все освящено прошлой жизнью и памятью родных мне людей, а она, эта вот дама, по какому праву здесь? И от кого загородилась?

Женщина с лейкой была проникательной, она постигла мою нехитрую мысль, и правоту мою постигла — кто поросенка украл, у того ведь в ушах верещит! — и задохнулась от бешенства, может быть, впервые осознав: всю жизнь ей беспокойно будет от таких вот, как этот молодец, прямых и правых в своем гневе, со своими первобытными требованиями, привитыми не первобытными, правда, книгами, фильмами, учителями, пионервожатыми и родителями, — жить в братстве, все делить пополам. И сама она, барственно устроившаяся в лихое для своего народа время, небось учила или учит детей — жить братством, каждую крошку делить пополам и, если придет час, — по-братски защищать Родину.

— Я здесь, — твердо вбивая каблук в травянистую тропу, уже со злостью, отдельно сказал я, — я по этой дороге на войну уходил!.. — Я еще хотел заявить, что по этой дороге и вернуться загадал, много всякой всячины наговорил бы и про войну, и про разбитые города и села, где люди, опухшие от голода, складывают камень на камень, про забитые народом поезда, общежития, тесные бараки, про госпиталь, где на палату выдавалась одна пара тапочек и один халат, раненых перевязывали старыми и плохо отстиранными бинтами, про форму «двадцать», про норму резервных полков, про голодавший Ленинград, про... про все бы

сказал я, убежденный в законном праве, добытом кровью, ходить, где захочу, говорить, что думаю, требовать одинакового для всех хлеба.

Но женщина научилась осаживать таких, как я.

— Ладно, пусть идет! — тем же властным тоном разрешила она с терраски. — Да проводите его, а то еще сопрет чего-нибудь. — Не обращая на меня больше никакого внимания, женщина, несмотря на ленту и роскошное кимоно, сразу сделавшаяся некрасивой, наклонила детскую лейку над ящиком, из лейки тонкими ниточками весело полилась вода, струйки виляли, падали мимо ящика, рвались на лету — нервничала все же тетенька, трепало нутро ее злобой, может, и стыдом.

Все язвительные бранные слова пришли мне на ум, как Коленке Иртеньеву, после, когда я протопал уже версты четыре. Во мне это и до сих пор, что в толстовском мальчике: оскорбление, хамство, черный поклеп расшибают на месте, оглушают до того, что я теряю всякую сообразительность. Как такой бравый, недавно женатый, с боевыми медалями на груди, с ранениями на лице и под гимнастеркой, шел я тогда под присмотром — не запомнил и не хочу помнить. Зато уж точно помню: в следующий приезд я покорно обогнул забор — длинный, зеленый, с застенчивой ниточкой колючей проволоки, обнаружил пробитую телегами и машинами круговую дорогу, сбоку натоптана была сухая тропинка новым поколением моих земляков, из которых мало кто знает, что пролегала когда-то прямая дорога вдоль берега Енисея, по ней ездили и ходили в город и из города односельчане, и почти все наши мужики ушли той дорогой на войну, многим из них не суждено было изведать счастья возвратного пуги.

На той даче — узнаю я — размещался с семейством тогдашний первый секретарь крайкома. И беседовал «по душам» я, должно быть, с его женой или свояченицей — редкая удача, жены и родичи нынешних секретарей, как и свойственники губернаторов когда-то, уже не снисходят до бесед с простолюдьем, да и не допускают посторонних «подсматривать» их жизнь надежные кордоны с телеустановками на воротах, в терем, где жируют современные сиятельства, «нет ходу никому», кроме холуев и «доверенных лиц».

Не знаю, за какие заслуги угодил этот товарищ в вожди и разика два вместе с самим Сталиным делал народу ручкой с трибуны Мавзолея во дни всеобщих ликований.

Чем-то и кому-то не потрафил он потом, и с кремлевского двора его согнали послом в Польшу, где он постепенно засох, забылся и сошел на нет.

Но дача та жива, правда, почти неузнаваема, перестроена и

переоборудована она по последним достижениям архитектурной мысли и новейшей техники. Вокруг нее возведены другие, не менее роскошные дачи, и заборы вокруг них, и охрана такая, что уж трудящиеся и дорога притиснуты к самой горе, скоро, видать, выгонят дорогу на гору, а то и вовсе закроют. У кого нет спецпропуска, тот не сунется сюда. На Енисей, особенно в протоку, нет доступа совсем, суда, лодки, самоходки привычно рулят в обход, по-за островом плавают.

Много пожировало за здешними заборами чиновного народа, все улучшающего и улучшающего свои бытовые условия. И Собакинский совхоз наконец-то обрел достойное название — «Удачный».

Время от времени проторенной дорогой из уединенных куц «Удачного» в крупные вожди следовал очередной деятель местного производства, приученно считая: «Вождю — вождево», а «народу — народово».

Я уже давно заметил, что мошенник и проходимец, возросший на «просторах», в «среде народной», ценится у нас гораздо выше, чем столичный. Должно быть, мошенник из глубинки качественно лучше.

Да и Господь бы с ними. Сумел! Изловчился! Вырвался! Обошел! Красуйся, царствуй. Но вся беда в том, что желающих попасть в крупные вожди у нас много, а мест в Кремле мало. Вот и приходится иному деятелю местного масштаба из кожи лезть, чтоб попасть под сияние кремлевских звезд. Край, область разорит такой старатель, дыму напустит, землю под видом освоения целины в пыль превратит, реки загородит и замутит, народ оголодит, наврет с три короба, наприписывает достижений на целую Эфиопию, а все никак в Кремль попасть не может.

А уж как лизоблудствуют такие людишки, если вдруг посетит край влиятельное лицо, как угодничают, расшибаются в доску, лишь бы выделили, заприметили, увезли с собою.

Старые, одряхлевшие вожди «времен застоя», хотя насчет этого слова есть у меня сомнение, поскольку, как известно, на свете ничего никогда не стояло и не стоит на месте, а обязательно куда-то движется, так вот, эти вожди горазды были изредка навещать народонаселение отдаленных районов, чтоб еще и еще узреть праздничные, рукоплещущие толпы трудящихся, послушать радостные речи о том, какие они передовые и прозорливые руководители и скромные люди.

Как-то раз такой вождь ошастливил посещением и город Красноярск, а показывать здесь почетным гостям особо нечего, немногие архитектурные памятники и красивые строения ретивые борцы бурных лет повзрывали и срыли, город и окрестности закоптили, Енисей захламили,

так возят всех почетных гостей и туристов «угощать» великим сооружением времени — Красноярской гидроэлектростанцией, которой в каскаде из двенадцати могучих гидроэлектростанций надлежит в корне преобразить дикие края Сибири.

Один из местных деятелей в порыве патриотического рвения и низкоспинного угождения затащил вождя на тот самый Слизневский утес, где я сидел в годы юности и плакал от умиления, глядя на совсем еще не преображенный Енисей и родное село. Полюбовался вождь на действительно редкостные виды, сказал, что, мол, очень красиво, «Почти как у Швейцарии», да только «лазить на утес круто больно».

Тут же товарищ из местных деятелей, особенно возмечтавший о столице, и заверил дорогого гостя, как он еще раз соизволит осчастливить его край и город своим посещением, то уж дикую эту скалу найдет преображенной и поднимется на нее без всяких затруднений.

Года два шло бурное движение и колотуха кипела на Слизневском утесе — травы, цветы, лес и гору бульдозерами искромсали, бетону убухали столько, что его на две больницы, которых в городе не доставало и не хватает, или на целый участок дороги хватило бы. Увы, не довелось уже престарелым вождям все это увидеть, оценить по достоинству радиение лизоблюда, и в Кремль он так и не угодил, расположился на подступах к нему. Но вот остался нелепый памятник среди прекрасной сибирской природы, памятник убогому подхалиму и дуболому, которому не дано понять, что прекрасное в улучшении не нуждается, оно само по себе прекрасно.

Но вернусь туда, в памятный день моего возвращения на родину.

Я миновал Собакинский совхоз, прошел вдоль пионерских лагерей, где все по-мирному снова было подметено, покрашено, подлажено и, празднично наряженное, жило предчувствием шума радостной детворы.

Скоро по камням перепрыгнул я шумную речку Караулку и хотел уж было идти через известковый поселок к Караульному быку, от которого иной раз переплывались односельчане на попутных лодках в Овсянку. И часто случалось, истомившись сидеть в заустье, возле холодом отдающей скалы, орали: «Поддай лодку!» — «Хрен тебе в глотку!» — незамедлительно следовал ответ с родного берега. Бодрый такой ответ иной раз достигал слуха тяти или мамы, и, узнав по голосу своего дитя, добравшийся до овсянского берега родитель первым делом за ухо вздымал вверх свое дорогое чадо и сек его до тех пор, пока у того штаны не взмокнут.

Словом, с переправой дело неясное, но я вспомнил, что в устье Караулки работал до войны бакенщиком мой двоюродный брат, сын дяди

Вани, белобрысый, тощий голосом и телом Миша. Слабо надеясь, что он еще тут, подался я к бакенской избушке, маячившей на крутом носке, полагая, коли нет брата — война всех перешерстила, с мест стронула, попрошу нового бакенщика переправить меня.

Как это бывает у неустойчивых характером людей, склонных к быстрой перемене настроения, сердца моего вдруг коснулась и сжала его нежданная печаль: Миши нет в живых, все наши повымерли или перебиты, и бабушки нету — писем-то давно я не получал из села, и вообще село мое за рекой какое-то раздетое, пустынное, дома к земле прижухнулись, низкие какие-то стали, многие без оград и дворов, темные прорези борозд из огородов вытекают прямо в улицы, к реке и на задворки. Река неслась мимо огородов и домов под размытым яром, безлюдная, злая. Головку боны рвало и сдавливало напором воды, густо волокно, кружило бревна, и слепо наталкивались они друг на дружку тупыми лбами, суетились, сжатые берегом и спайкой бон. Та самая бона, о головку которой ударилась лодка, а в лодке сидела за лопашнами мама.

Почти пятнадцать лет прошло с тех пор, я вырос, на войну ходил. Но все не верится, что мамы нет и никогда не будет.

Сняв веревку, удавкой накинутую на столбик воротцев, я толкнул дверку, она по-козлиному заблеяла. Ограда косо отрезала от каменного крошева дороги зеленый взлобок в устье Караулки, так и сяк вспоротый серыми швами каменных гребешков, взлобок этот — носок, мысок, бычок — называй его как угодно, был и двором, и огородом. От реки ограды у него не было, на самом пупке, на ветродуве, с воды далеко видная, стояла квадратная избушка с распахнутой дверью. Обочь избушки пестрели мачты: одна острая, одна крестом. На свежекращеной крестовине колыхались, повертывались багряные знаки, и цвет их сразу напомнил мне перекипелую, отгоревшую кровь. По этим знакам да по яркой белизне избушки, отделявшей ее от остального поселка, можно было догадаться: избушка и все, что в ней, на ней и вокруг есть, — не просто так существует, а находится на казенной службе.

Подмытая от Караулки, избушка зависла одним углом над яром и не падала только потому, что была подперта снизу слегами, завалина избушки укреплена каменными плитами, одна или две плиты укатились вниз, подрытая курами, избушка старчески обнажилась трухлым нижним венцом, источенным мурашами.

Памятуя, что у бакенщика всегда живет собака, и непременно злющая, я кашлянул. Из избушки выбежала белобрысая, чему-то улыбающаяся девочка с дыркой на месте переднего зуба, в залатанном на локтях и на

подоле платице. Она споткнулась, увидев меня, перестала улыбаться.

— Ты чья? — спросил я девочку, догадываясь, что Мишина она, наша. В родове нашей кто-то и когда-то, по поверью, разорил гнездо ласточки, и оттого все мы веснушками, что мурашами, усыпаны. Почувствовав, как задержалось сердце, я попытался погладить девочку. Она увернулась из-под моей руки, прикрыла беззубый рот ладошкой, дичась меня, попятилась, запнулась за доску, лежавшую у крыльца избушки, едва не упала, отчего испугалась еще больше.

— Ну, чья ты? Потылицына, а? Потылицына? — приступал я к девочке и слышал, как рвется мой голос.

— Тошно мне, Витя!

Возле бани, тоже пошатнувшейся под угор и тоже подпертой от речки, под многостольно разросшейся вербой и косматым цевошником стоял Миша с кованным шестом в руке, все такой же тощий, белобрысый, только когда-то уже успевший сделаться мужиком, присадистым, с толстыми жилами на шее, глубокими складками у рта и в узлы завязанными ревматизмом пальцами рук. Стопав грядку с недавно взошедшей на ней какой-то овощью, мы бросились друг к другу, обнялись и заплакали. Миша что-то говорил мне, и хотя я худо слышал, почти ничего разобрать не мог из-за слез, душивших меня, все же распознал: хоть и не все, далеко не все, но наши живы, бабушка, слава Богу, тоже живая.

— А Ваня-то наш, Иван-то наш Иванович! — всхрипнул Миша. И еще об одном двоюродном брате, сложившем голову на войне, стало мне известно. Молодую вдову и двух сирот оставил брат Ваня, отныне для всех нас Иван Иванович.

Пока мы с Мишей обнимались, плакали да месили грядку сапогами, прошло, видать, немало времени, потому что, когда я оторвался от Миши, возле нас уже толклось несколько ребятишек, как на подбор веснушчатых, в стороне стояла в телогрейке, из-под которой свисал мокрый холщовый фартук, крепкая и тоже конопатая женщина.

— Моя жена. Полиной зовут, — сиплым от слез голосом возвестил Миша и, почему-то застеснявшись, улыбнулся, обводя вокруг себя рукой: — А это ребятишки... наши...

Я подошел и подал Полине руку. Она, ровно не заметив руки, обняла и коротко, сильно прижав меня к себе, трижды поцеловала в щеки, не чужие, дескать. И оттого, что она не повеличалась, от ее такой открытой ласки я совсем расслаб и, смаргивая слезу с живого глаза, сказал:

— Грядку вон разворотили...

— Да черт с ней, с грядой! — махнула рукой Полина. — У нас их

огород! Главное, живой остался!

Я сразу душевно проникся к этой женщине, потащился за нею по воду на речку и, спускаясь по крутой тропе, на выкопанных ступеньках которой лежали каменные плиты, поведаль ей, как нарвался на «теплую» встречу возле дач. Полина подобрала густые, с прорыжью волосы под платок, затащила его и, сделав долгий, выразительный вздох, какой умеют делать только много пережившие русские бабы, вымолвила:

— А-а, наплюй! На горе да на слезах, как поганок на назъме, их развелось! Совесть в рукавицах у их ходит. Наплюй! Главное, живой остался.

Я попробовал помочь нести ведро с водой, Полина не дала. Мы поднялись от речки. Миша разжигал таганок возле бани и, дуя на разгорающуюся меж кирпичей щепу, от дыма ли, от переживания ли морщась, виновато и озабоченно произнес:

— И чем угощать гостя?

— Ничем меня угощать на надо, — возразил я, хоть и сосало под ложечкой — не объедать же ребятишек. — Вот переправить на родную сторону не мешало бы.

Полина рассердилась, дала такой разворот делу, что быстро я примолк, Миша, как солдат, вытянулся, слушая жену.

— Да это чё же тако? Мы уж и не родня ли, чё ли? А ну! — распорядилась она. — Ставь сетку! Леночка из Караулки катится, может, запутается дурак какой.

Миша хлопнул себя по лбу — он и собирался сеть ставить, да, увидев меня, про все забыл. Я же, смертельный рыбак, сразу весь запыхал, затрясся. Полина велела скинуть форму, дала мне старье, через шею надела мне свой фартук, просмеивая меня при этом, сыпала прибаутки одну складнее другой: «Человек Яшка, на нем старая сермяжка, на затылке пряжка, на шее тряпка, на заднице шапка!»

«И откопал же себе где-то жену Миша! Вся в нашу родову — зубоскалка, частобайка, заботница и работница, не только по двору судя, по числу ребятишек».

Мы с Мишей, не мешкая, набирали мережу в лодку, осторожно постукивая кибасьями, бросая горкой берестяные наплавки.

— Не забыл? — Миша улыбнулся мне уже привычно, домашне и, чувствуя, как он рад тому, что я живой вернулся с войны и вот рыбачить с ним налаживаюсь, я, не скрывая дрожи в себе и в голосе, отозвался, выпутывая из нитяных ячей костяной кибас:

— Что ты! — и все глядел на резво бегущую, бело заголяющуюся на

каменьях Караулку, на Енисей, виднеющийся в прорези распадка, на крутые хребты гор, на останцы, вознесшиеся выше их, на тайгу, сомлело замершую под солнцем. Сок уже сахарится в стволах деревьев, по стволам сера топится, шишки новые нарождаются: свечки мохнатые, кислые на вкус, засвечиваются на сосняках, лес, елани, распадки — каждое место, всякий уголок земли в прыску, и над миром, заплеснутым морем цветения, такое высокое, такое чистое небо! Под небом, высоким и чистым, по ту сторону реки горбится крышами, сверкает окнами родное село, единственное для меня на всем белом свете, село Овсянка.

— Что ты, что ты!..

Мне хочется рассказать брату, что бессчетно видел я все это во сне иль наяву, там, в далеких, чужих краях, которые, как известно, ни глаз, ни ушей не имеют, и не верилось порой, что когда-нибудь я стану набирать сеть в старую, по дну чиненную жестью долбленку, услышу стук топоров и колотушек бадожников с реки, грохот осыпей в горах, увижу берега в солнечном озарении; тени рыжих утесов в реке; рыбину, хлестко, будто мокрым полотенцем, ударившую в устье Караулки, услышу и до малой малости известную, незлобивую брань чьей-то матери: «Полька! Ты моего варнака не видала?» — «Не видала, девка, не видала. А у нас гость!» — «Гость? Да но?! А кто жа?» — «Да Лидии-покойницы сын». — «Тошно мне! Здоровущий-то, приглядный экий! Ведь я его совсем махоньким помню!.. Как время-то летит, Царица Небесная! Вот бы мать-то, покойница, жива была...»

С вицей в руке спускается женщина к речке, наверняка зная, где искать надо сейчас дом забывшего сорванца — бродит он в речке, пищуженцев и налимишков колет под камнями, серу колупает в лесу, пескарей на палочке жарит, зелень первую мнет — черемшу, свечки сосен, стебли медуниц и петушков, луковочки саранок, щавель, молодую редьку — много чего полезного найдет вольный, одичало живущий на природе человек. Клещей нацепляет, исцарапается о боярку, простудит ноги, побьет локти и колени, морда сгорит у него на солнце, нос облупится, глаза ушкуйной удалью засветятся...

Да неужели правда все это! Неужели я все это вижу? Слышу? И говор женщины, которая меня помнит совсем еще маленького, маму и всех наших знает, — мне вроде бы знаком, но не могу вот вспомнить — чья она и когда переселилась из Овсянки на известковый завод? Я промаргиваюсь, наклонив голову. Миша не тормозит меня, бережно набирает сеть, покашливает, но ему охота поговорить, угадываю я. Мало мы разговаривали с ним прежде — он был старше меня, рос отдельно, рано

оторвался от села, все в бакенщиках да в сплавщиках. Но вот помнит, оказывается, меня, хорошо помнит, радехонек, что брат уцелел на войне. И я рад, что встретил брата, что ближе он мне становится с каждой минутой, и припоздалое раскаяние — редко вспоминал о нем, не писал никогда — охватило меня. Миша по голосу и погляду моему угадывает мою и ответную свою вину, торопится пройти ее, миновать, загладить доверительностью, рассказывая подробно, как жили, работали в войну, как с Полиной на сплаве сошлись — муж ее убит на фронте, трое детей от него, да совместных двоих смастерили.

— Не теряли время, восполняли потери, — повинно улыбнулся Миша, перебирая тетиву и встряхивая слежавшееся полотно сети. В глубине его рта нет уже многих зубов, взор притемнен усталостью, лицо впрожелть от нездоровой печени или желудка, искособочен брат простудными болезнями. Мужик Миша, совсем мужик, в годах не таких бы и больших, да рано в работе распочатых — на лесозаготовках, на сплаву да на реке изъезженных.

— Витя! — закричала сверху, со двора, Полина — в голосе ее прорвалось притаенное озорство. — Правду говорят, что колдун на рыбу? Будто от прадеда привороты да наговоры перенял?

— А то нет!

Миша покрутил головой, ну, дескать, даете! — и кормовым веслом оттолкнул от берега лодку. Так, вперед кормой и плыли мы, перегораживая сетью неширокую, «в трубу» идущую горловину речки. Я выметывал мережу, из-за низкой заборки предбанника, подпертой зарослями шипицы, отсохшими дудками чертополоха и жалицы, украдчиво взошедшей под прелью стены, Полина, привечав на цыпочки, вытянув шею, не поймешь, понарошке иль озоруя, заклинала:

— Приколдуй, колдун! Приколдуй, колдун! Леночка, тайменечка, харюзе-оночка! — бесовская баба даже притопывала. За нею все как есть повторяли ребяташки, орали и прыгали так, что волосья на головах взметывались белыми ворохами. — Таймене-он-оночка! Харюзе-оночка!.. Таймене-ночка!

— Нет, — остановил я действо, — колдун нынче не в почете, озевали колдунов, на мыло извели! Заветим-ка на победителя, а?! Как, народ?

— На победителей! На победителей!

— Пускай на победителей, абы поймалась! — Полина склонилась над таганком, от которого тянулся почти невидимый в солнечном дрожании дым и летели невидимые, лишь на мгновение загорающиеся искры. — Я все одно заводить квашонку стану — не попадетсЯ ничего, хоть с молитвой

да испеку пирог!

Поставив сеть и подпернув легкую долбленную лодку на берег, мы сидели на каменных плитах под навесом прохладного, еще сочащегося яра. Из яра крошилась земля, вымывало каменные плитки и волосяные коренья цевошника, в котором деловито возилась, излаживая гнездо, маленькая чечевица и, забывшись в труде или отдыхая от него, порой выговаривала: «Вить-витю-витю».

— Тебя зовет, — мотнул головой Миша, неслышно оборачиваясь, чтоб поглядеть на птичку.

Неторопливо, с чувством выполненной работы, курили мы с братом, переговаривались о том о сем и не услышали, как спустилась к нам Полина. В левой руке ее недочищенная картофелина, в правой бритвенно-острая половинка сломанного ножа. Полина была чем-то перепугана, рот ее полуоткрыт, загар на лице разжижился, как бы слой из-под него более светлый проступил, сделались заметней отруби веснушек.

— Мужики! — задушенно просипела Полина, указывая обломком ножа на речку Караулку.

Средних наплавков сети не видно. Один за другим в воду уныривали ближние берестяные трубочки, вытягивалась тетива, ползла змейкой хвостовина. Застрявший меж камней на берегу желтый костяной кибас подергался, подергался и булькнул в речку. «Ну и что? Вода катится на убыль, течением давит сеть, огнетает наплавки, вытягивает тетиву...» Меж тем хвостовина все уползала и уползала, и не было сил оторвать от нее глаз, ровно бы на самом деле озеванные, пялились мы на нее и не могли стронуться с места, заталкивали в себя, словно в мешок, поглубже мысль о дикой удаче. Этак ведется у здешних добытчиков от веку: попалась рыбина или дичь в лесу, тверди до последку: «Ох, неправда! Ничего не вижу! Ничего не чую!» — уж целишься в дичину или тянешь рыбину, но про себя упорно повторяй; «Ох, не моя! Ох, уйдет! Ох, сорвется!» — и добыча наверняка твоей будет. Словом, чтоб не сглазить, не отпугнуть удачу, надо от нее отрещиваться изо всех сил — дело проверенное.

Полина бросила нож, картошку, повалила Мишу в лодку, опрокинулась в нее сама, заголившись латаной исподиной. Долбленка шатнулась, покатались по ней шесты, брякнули железки, хрустнуло стекло бакенской лампы. Миша ухватился за тетиву сети. Полина орудовала веслом. Я бегал по берегу, махал руками, пытался руководить. Через длинные-длинные, короткие-прекороткие мгновения Миша и Полина вывалили в лодку что-то живое, в сеть запутанное. Братан бухнулся на живот, стало его не видно за обшитыми бортами лодки.

— Р-р-р-реби-и-и-и-и! — разнесся вопль по Караулке. Ребятишки, скатившиеся по ступенькам к речке, ринулись обратно и спрятались за баню. Я бродом кинулся встречь лодке, рванул ее так, что она у меня почти по воздуху на берег вынеслась. Полина едва не вывалилась за борт, кыркнуть на меня хотела, но времени у нее на это не было. Она перемахнула через меня — я почему-то оказался на карачках, — обдав теплом из-под подола. Миша плюхнулся следом за нею на берег, держа в беремени что-то выворачивающееся из спутанной сети. Мишу уронило. Из мережи раскаленным осколком высунулся кроваво-алый плавник!

«Батюшки! Таймень!»

Дальше я помнил и видел все отрывочно. Полина с Мишей пали на сеть. Их толкала, опрокидывала, пыталась сбросить с себя могучая рыбина. И сбросила-таки, сперва сухопарого Мишу, затем Полину отшвырнула, сама же покатила вместе с сетью к воде, брэнча кибасьями о камни.

— Чё стоишь?! — рывкнула на меня моя свояченица, сверкая ошалелыми глазищами, вся уж как есть белая, патлатая, тяжело ноздрями сипящая. И, привыкший на войне беспрекословно выполнять команду, я тут же пал брюхом на сеть и почувствовал грудью, всем собою почувствовал упругое тело рыбины, услышал, как она меня приподнимает, увидел совсем близко сосредоточенное лицо свояченицы, вывалянного в глине братана. Он хватал кого-то руками, ртом ловил воздух иль пытался кричать что-то, катаясь рядом со мной на берегу.

Полина очухалась первая да так завезла кулаком по моей спине, что екнули во мне все печенки и селезенки, шибчей зазвенело в контуженой голове:

— А не колдун?! Не колдун, яз-зва!

Настороженно поднимались мы, отлепляя руки от рыбины, в любой миг готовые снова хватать, падать, бороться, если ей вздумается бунтовать. Топорщились огненные перья рыбины, надменно загибался и пружинисто разгибался ее хвост, легко, как бы даже небрежно хлопаясь о сухую острину камней.

Потрепанные схваткой, возбужденные, горячие, мы неотрывно глядели на яркокрылую, покатуую тушу рыбины. Мне, еще не отвыкшему от войны, толстая и темная спина рыбины, стремительно набирающая кругизну за еще более стремительным ветровым плавником, уходящая к раздвоенному хвосту, напоминала торпеду с насечками сверкающих колец и серебрушек по округлым бокам и на утолщении, искусно пригнанных друг к дружке. Под округлостями колец и серебрушек с исподу проглядывали пятна старинных крупных монет с приглушенной временем позолотой —

неуловимы, переменчивы краски на теле рыбины, в малахитовой прозелени монет мерещилась тень иль отзвук тех давних веков, когда везде были чудеса, всюду людям мерещились клады. И вот, со дна пучин, из онемелых веков явилось нам чудо. Дотронулись мы до какой-то высшей силы, до чего-то столь прекрасного, что ощущение боязливого трепета пронизало нас, ровно бы священное что свистнули мы из храма, испугались содеянного и не ведали, что теперь с ним делать и куда его девать?

«Кликуша, — ругаю я самого себя, — накадил-то, накадил! Тайменя-разбойника в существо чуть ли не святое произвел! Фронтовик тоже мне!» — ругаюсь, но никак не могу погасить в себе какого-то особенного волнения и ощущения таинства.

Рыба в радуге неуловимых, быстро тускнеющих красок, вывалянная в крупной дресве, в намоленном желтом песке, смотрит напаянными ободками зенков из округленных глазниц мимо нас, в свою какую-то даль, сосредоточенная мысль, нас не задевая, не касаясь, ворочается под покатым, большим ее лбом. В скобках твердого рта закушена разумная скорбь. Есть, все ж есть какая-то непостижимая, запредельная в ней тайность! В неусмирном теле рыбы свершается работа, направляемая мыслью. Каждая клетка большого тела, от хвоста до полуразодранного удушьем губатого рта, схваченного стальной подковой челюсти, полнится энергией, собирая исподволь в комок упрямото, силу, стремление к бунту и свободе. Реже, аккуратней, печатается веер хвоста о землю. Медленней, протяжней всосы жабер. Вот жаберные крышки распахнулись так широко, что под ними обозначилась кисельная зубчатка и арбузно спелая, тоже зубчатая жаберная мякоть. Праздничной, яркой гармошкой растянуло жабры, выпуская из мехов воздух. Хвост тайменя, гибкий, слюдянистый, всеми стрельчатými перепонками уперся в землю и кинул упругое, дугой вытянутое тело рыбины вверх. В воздухе над берегом, выпростанная из липкой паутины сети, яростно задергалась, затрепетала крыльями плавников рыбина, засверкала каждой звездочкой чешуи, прозвенела всем золотом, серебром и рухнула на камни — последний рывок к свободе взял всю мощь упрямого, где-то и в чем-то разумного все-таки существа.

На камнях билась, рвала себя, пластала кожу, сорила чешуйками уже слепая и от слепоты беспомощная водяная тварь, большая, все еще красивая, но все-таки тварь. Рассудок ее, пусть маленький, угас, и сразу разъединилось в теле рыбы все, лишь инстинктом, одним только инстинктом она устремлена в холодную, мягко разрывающуюся, родную стихию, где все наполнено движением, привычной тяжестью глубин, покоем беззвучия — шум воды не шум для рыб, продолжение привычного

покоя. Нет там расслабляющей воздушной пустоты, забитой сверху донизу хаосами звуков и жарким сиянием усыпляющего солнца, нет небесной безбрежности, которая тускло отражалась в реке белыми тенями облаков, пятнышками звезд, сиянием круглой луны. Иногда небо полосовало по воде вспышками, но от них можно было спрятаться под камни либо вдавиться еще дальше в темень глубины, стать чутким брюхом на струю донных ключей, пронзающих тело бодрящим током ледяной воды.

Вянет тело, дрябнут мускулы, распирает воздухом нутро, мелко-мелко, по-птичьи дрожат растопыренные перья плавников, рывками дергаются жаберные крышки и, не прикрыв отверстий, все еще жарко полыхающих изнутри, замирают на полувыдохе. Совсем уж скорбно западает рот тайменя в углах, потом медленно, мертво растворяется уже не рот, а зев, в глуби которого за частоколом острых зубов виден стебель несоразмерного зеву, маленького, нежно-розового языка. Исхлестанный о камни хвост ссохся до ломкости, дрожь еще раз пробежала по увядшему телу рыбы, покрытому клейковиной жира, может, и больного пота, выступившего от жары, тряхнуло каждую чешуйку, каждую отчekanенную серебришку, каждое колечко, но ни звона, ни даже тихого звука не раздалось уже, но все-таки и поверженная рыба не выглядела жалкой, сдавшейся, некрасивой. Так никому и не покорившейся, надменной, величаво скорбной — вот какой она выглядела, только брюхо, вздувшееся под грудью от заглотышей, с девственно-глубокой бороздкой у прихвостного плавника выдавало слабость, даже беспомощность рыбы, сам же плавничок был все еще петушино-яркий, но казался уже лишним на этом холодном, сером теле.

Я ладонью стирал с успокоившегося тела рыбы дресву, чувствовал плотную шероховатость чешуи, усмиренную силу, и, странное дело, при виде добычи впервые после фронта в меня вселялась уверенность покоя и мира.

Я начинал осязать мир в обыденном обличье, где не убивают, а добывают, где все-все растет, живет, поет не по команде, а по закону давно сотворенной жизни. Я проникался ощущением тишины и величия земного пространства, еще так недавно суженного, стиснутого, зажато го щелью или царапиной траншеи. Свет солнца, блеск воды, шум тайги, глубина неба — это уже не загаснет, не оборвется от слепой пули, шипящего снаряда, воющей бомбы, вопящей мины — это навсегда, теперь на весь твой век! На весь! Понимаешь? И в то же время из моей успокоенно работающей души и памяти прорастал корешок в чью-то чужую, призрачно-пространственную память, из недр ее отрывочные мерклые возникали видения и онемелые картины.

Во мне, как и во всяком человеке, пережившем страшные времена, гнездилась, видать, тоска по первобытной, естественной жизни. Виделась пещера, хижина ли. В ней чадил смоляной ломью костер, вокруг него волосатые люди. Глава рода в шкуре, надетой через плечо, сваливал к огню тушу горного козла. Дикой жадностью горят глаза голопупых, низколобых чертенят-ребятишек. Спокойно лицо женщины. Лишь в глуби ее взора таится гордое и дикое достоинство. Глава рода преисполнен величия, он доволен сознанием выполненной работы — он добыл пищу детям, которые есть продление его. Нет в нем иных устремлений, кроме продления себя, а значит, жизни своей в бесконечность, и страха за нее нет. Только силы небесные пугают его громами и молниями, но он уже научился отмаливать их, бросив половину добычи в огонь, полыхающий в сердце самой высокой горы.

Продолжительность его жизни восемнадцать лет!

Век многих моих товарищей, тех самых победителей, на которых мы с Мишиной семьей, как в древности, загадали добычу и так счастливо забросили ловушку, — тоже кончился в восемнадцать лет. Только жизнь их была куда сложнее, чем у древлян, и смерть не своя, насильственная смерть, и приняли они смерть от людей.

Их убили.

Так что ж, для того мучился тысячелетия человек, для того прозревал, чтобы «замкнуть круг жизни», как и в дикие, неразумные времена — в восемнадцать лет?!

А я — живой, я счастлив. Счастлив?.. Нет, нет, не хочу, не приемлю такого счастья, не могу считать себя и людей счастливыми до тех пор, пока под ногами у них трясется от военных громов не земля, нет, а мешок, набитый человеческими костями, поостывшей лавой клопочет кровь, готовая в любой момент захлестнуть весь мир красными волнами.

Но я жив! Значит, соглашаюсь со всем сущим, значит, приемлю его, радуюсь дарованной мне жизни, желаю покоя и радости не только себе, а всем людям. Батюшки мои, как сложно-то все! И старшины ротного нет рядом — а он так просто умел разрешать все сложности и сомнения: не умеешь — научу, не понимаешь — разьясню, не согласен — накажу!

Под тенистым сырým яром сидят и смотрят на рыбу мой брат с женою. В стороне в пугливую стайку сбились ребятишки, и не ведают они, не гадают, о чем я, дурак, думаю! Ждут чего-то. Слов или действий? Иль тоже переживают печаль и радость при виде такой редкостной добычи?

— Это он пасся возле каменного порожка, — словоохотливо, освобожденно рассказывал детишкам про тайменя Миша, вытирая с лица

полой телогрейки грязь и отплевывая дресву. — В слив воды поднялся, стоит за корягой, караулит. Ушлая тварина! Как с верховьев Караулки покатится ослабевшая после икромета рыба, он ее цап-царап! Да мы тоже не дремали, того дожидались!.. — перешел Миша на стих, удивился сам себе, заготовил, свалил старшего парнишку на песок, давай его щекотать за брюхо. Ребятишки боязливо тыкали пальцами в рыбину и, ровно бы ожегшись, отдергивали руки. Но когда отец начал игру, они все с визгом повалились на него и тоже давай родителя щекотать. Смех, шум, гвалт, радость. Мишу прямо-таки распирало, он не мог и минуты сидеть просто так, ему надо было что-то делать, говорить.

— Таймень — зверь чуткий! — продолжал он рассказывать, надуревшись с ребятами. — Небось чуял, как мы с Витей сеть ставили, нервничал, да не хотелось ему с кормного местечка сходить. Не один день, поди, жировал, пообвык тут. Но сбрыкали кибасья, шест звякнул. Полька орет! Ребятишки-шпанята заклик декламируют... Жу-уть! И не выдержал таймеха страхоты такой, хватанул из речки, да рылом-то в сеть! Пробил ее бы, запросто пробил — сетчонка старая, прелая, но я тоже соображаю кой-чего, режь к ней подвязал! И влип, бродяга, биться в сети начал, а она с двойной стенкой, он, боров жирный, сдуру-то и запутался! Совсем! И теперь ему, — Миша значительно поднял указательный палец, — теперь ему одна дорога — в пирог!

— В пирог! В пирог! — захлопали в ладоши и запрыгали ребятишки, тощенькие, костлявые, как и все дети военной поры, радуясь добыче больше всех нас, и снова кучей малой повалились на отца.

— Надо жа! — удивлялась Полина, вытряхивая платок и повязываясь. — Надо жа! Только закинули сетку!.. — поглядела на меня и засмеялась, обнажив большие белые зубы. — Экие обормоты! Извалялись! Избились! Куда бы он из сетки-то девался? Витя ладно, давно рыбы не видал. А мы-то, ты-то, рыбак, едрена копалка! — стукнула она Мишу по затылку. — Ну, как он его!.. — Полина задыхалась от смеха. — Как он мотырнул баканшыка, токо у него сбрыкало!..

— А самуё-то! Самуё! Ладно, брякать нечему, акромья языка! — Миша плюнул под ноги, махнул рукой, нажил, дескать, я с вами греха, и занялся делами: привязал лодку, хотя привязывать ее было незачем, шест ли, весло ли искать взялся, обнаружил, что кисет с табаком вымочил, принялся пушить все на свете, заявил, что он падину эту, тайменя, выбросил бы обратно в реку, если б тот еще мог плавать, бабу свою заодно утопил бы — не скалила чтоб зубы, когда мужик подышает без курева!..

Обретая деловитость, Полина прервала выступление мужа:

— Кончай давай попусту дорогие такие слова изводить! — и распорядилась: — Руби зверюгу пополам. Половину в Овсянку плавь — на вино. Половину сами ись будем. В деревне и табаком разживешься. наших всех зови. Ох, и гульнем жа!..

* * * *

Три дня и три ночи шел пир, хоть и не на весь мир, однако известковый поселок был гульбою взбудоражен. Случилось в нем несколько инвалидов и только-только демобилизованных бойцов. Братство нас объяло, гулянка пошла вширь. Мелькали лица, раздавались поцелуи, лились слезы, трещали кости от объятий, гнулись половицы от пляски, была пробита западня, и один боец сорвался в подполье, но ничего не переломал в себе и на себе, благополучно извлечен был наверх, всем сделалось еще веселее. Миша пришел западню гвоздями на живульку, ударил в нее пяткой, проверяя стойкость, — можно плясать дальше. Вчерашние вояки ревели боевые песни, подавали команды, рвались рассказывать каждый о своем, но некому их было слушать; солеными частушками сыпали мои земляки, озоровали бабы, и пуще всех выкомуривала Полина:

— На море, на океане, на острове Буяне, — складно колоколила она, угощая гостей пирогом с таймениной, — стоит бык печенай, в заду у его чеснок толченый, с одного боку режь, с заду макай да ешь!

— Полька! Штабы тя язвило! Да где ты набралася-то всего? Где навострилась?

— В ниверситете! — подбоченивалась Полина.

— Где тот ниверситет-то? — глуша раздирающий груди хохот, гости ждали ответа.

— За трубой, знать, на пече, на десятом кирпиче, возле тятина оплужника, у общэственного нужника! Одним словом, девки, ниверситет тот и вы знавали — сплавна запань на Усть-Мане да леспромхозовский барак на таежной деляне.

И куда чего делось? Сникли бабы, головами затрясли, платками заутирались:

— Да уж, ниверситет дак ниверситет, будь он проклятой! Есть чё вспомянуть! До горла в снегу, на военной пайке-голодайке... Мужички

чембары подпояшешь, топор-пилу в руки — и на мороз, в трещебник!.. Слез-то сколько пролито, горя-то сколько пережито...

— Эй, бабоньки, эй! На печали не сворачивай! Как говорит матушка Екатерина Петровна: «Бабьи печали нас переживут и поперед нас от могилы убегут». А ну-ка, девоньки, а ну-ка, подруженьки, подняли, подняли! Седня праздник, жена мужа дразнит, шаньги мажет, кукиш кажет: «На тебе, муженек, сла-а-аденький пирожок, с лучком, с мачком, с пе-е-ер-чико-ом!»»

Взбудораженные гулянкой ребятишки заглядывали в окна и двери, смеялись, передразнивали пьяных, что-то таскали со стола. Их кто-нибудь пугал понарошке, топотя ногами, они с визгом сыпались под яр и там спасенно хохотали.

Все наши, кроме бабушки, перебивали в Мишиной избушке, даже пароход какой-то прибудился. Оказалось на нем обстановочное начальство — намеривалось крепко взгреть Мишу, но, узнавши, по какому случаю идет пир, не только смягчилось, даже от себя посудину выставило. Под пирог, под уху с таймениной да под толченую черемшу хорошо нам пилося и пелось. В особенности удалась нам заваливающая песня: «Горит свеча дрожащим светом, бандиты все спокойно спят, а мент решетки проверяет — замки железные звенят...» Дальше в песне наступало жалостное: «Один бандит, он всех моложе, склонивши голову на грудь, в тоске по родине далекой не может, бедненький, заснуть...»

Вся компания «уливалась» бы тут слезами, я подвергнулся бы особенно активной нежности по причине моего сиротского положения в родове, отныне еще и оттого, что на войне поувечен. И все пошло бы дальше дружно, жалостливо, согласно. И наплыло на меня красным семафором паскудное слово «мент», и поведал я застолью, братьям и сестрам своим, как подвергнулся унижительному задержанию на уединенной даче современного губернатора.

Женщины, как им и полагалось, все истолковали по-земному: «Да у нас отродясь ворья в родне не было!»

Мужчины, среди которых особое рвение выказывал Миша, человек, в общем-то, отроду смирный, но чувствующий себя неловко, как «тыловик», похватили кто чего и двинули походом за Караулку. Братан прихватил дробовик и патронташ; мы выламывали из огорода тынины. Впереди всех катил под гору полководцем на звенящей коляске затесавшийся в компанию городской инвалид.

Набравши разгон на войне, еще не остудившейся в нас, все мы, в первую голову недавно бойцы, распалились, кричали, грозно потряся

дрекольем. Люди в ближних избах стали запирались на засовы. Не знаю, что бы мы натворили, скорее всего до цели не дошли бы, схватились бы с кем-нибудь другим, но бабы, наши российские бабы, твердо знающие свою задачу: хранить мужиков от бед, напастей и дури, стали боевым заслоном у речки и за водный рубеж нас не пускали, бесстрашно вырывая дреколье, расталкивали по сторонам. А мы, чем они нас больше унимали, тем шибче ярились. Какая-то из баб умывала инвалида в речке — он не удержал ходу, скатился с крутика, опрокинулся вверх колесами и разбил о камни нос. Какая-то, вроде бы Полина, щелкнула мужа по загривку, которая-то кричала; «Навязались на наши головы! Чтоб вы пропали, кровопивцы!» — «Упрись, Гаранька, в кутузку тащат!» — дурачился босой мужичонка с известкового поселка, понарошке оказывая сопротивление жене.

Которая-то из наших баб-песельниц, в обнимку уводя но тропе остывающих мужиков, направляла их на мирную рельсу, продолжала как бы не прерывавшуюся песню: «С та-а-аско-о-ой по р-ро-оди-ине-е-е-е-е дале-о-о-о-окой...»

Тут же все с готовностью подхватили песню и потащились по дороге в косогор. Лишь инвалид разорялся еще возле речки; «Смерть фашистам-окупантам! Гр-р-рами захватчика н-на месте! Десантники пленных не бер-р-рут!...»

Помню ясно еще один момент: кто-то подал мысль забраться на Караульный бык, чтобы обозреть с высоты родные просторы, за которые так люто все мы сражались, и чтоб я, как Стенька Разин, крикнул с утеса в честь Победы что-нибудь складное. Но бабы, опять же бабы! — разве они понимают воспарение мужицкой души?! — «Сорветесь ишшо к язвам с утеса-то!» — сказали и никуда нас не пустили.

Очнулся я на низенькой сарайке, в прошлогоднем ломком сене, под односкатной амбарной крышей, прогретой пуще русской печки. Всего меня сеном искололо, потому что с половика-подстилки, с подушки я скатился. В волосьях, совсем еще мало отросших, в ушах и в носу щекотало от сенной трухи, позывало на чих, каяться перед людьми и Богом хотелось, либо укрыться в леса навсегда, в крайности, хоть на ту сторону реки, спрятаться у бабушки Катерины Петровны — она даст хорошую баню, выволочку сделает и, глядишь, легче жить на свете станет.

И еще хотелось пить.

Я прислушался: внизу, под крутым яром, курлыкала, бурлила, плескалась как ни в чем не бывало речка Караулка. «Э-эх-хо-хо-о-о-о-о!» — вырвалось из моей груди многоступенчатым вздохом.

Я спустился вниз, на землю, по углу сарая, а спустившись, заметил

лестницу, прислоненную к стене. «Допировался, — презируя себя, сказал я, — по углам уж лазить начал! Скоро по потолку пойду...»

Гряды в огороде истоптаны, спущены. Народу никакого не слышно и не видно. Я поплелся в распахнутую избушку.

Миша лежал на старой деревянной кровати, на голове его комком лепилось мокрое полотенце.

— Здорово живем! — сказал я, отыскивая взглядом Полину.

— Чё-а? — погибельно откликнулся Миша и пошевелил себя, тужась выдать шутку. — Плохо, Тереха, хило, Вавило, да?

— Мы чего-нибудь натворили?

— Да нет навроде. Гуляли! Хорошо гуляли. Драки не было.

«И то слава Богу!» Я смотрел на Мишу. Братан лежал, вытянув руки по швам. А я все смотрел, сам не знаю зачем? Надо было к речке идти, попить, умыться, но я сидел и смотрел. Миша вроде бы стоял по команде «смирно» и так вот, не меняя позы, упал на кровать спиной. За уши ему текло с мокрого полотенца. От полотенца падала тень на глубоко ввалившиеся, тускло мерцающие глаза. Кости скул, и без того крутые у нашей родовой, вовсе выперли наружу, щеки ввалились, под глазами, то и дело в бессилии закрывающимися, залегли желтые тени. Чахлая, засушливая бороденка взошла на лице братана. Заметил я: у пьяных людей борода скорее растет, и вообще лицо у человека во время пьянки быстро дичает, приходит в запустение.

Миша заглушенно стонал, Я не хотел воскрешать в памяти — кого он мне напоминает. Оно, воспоминание, само спазмою подкатывало к сердцу и оживало в моем оглушенном нутре. Миша походил на немца, убитого мною на войне! — вот отчего заранее болела память, от которой я отрецивался, оттирал ее в сторону. Немца того, тотального, я по глупости лет, ходил глядеть после боя. «Отринь, отринь, Господи! — пытался я вспомнить одну из самых мощных бабушкиных молитв. Но где там! — голова тяжела и пуста. — И расточитесь врази Его!..» — скорее подогнал я конец молитвы. Неточный конец-то, скомканный, однако он все равно маленько успокаивал. Не очень-то еще вобрала меня и мучила тогда глубь, точнее, бездонье вопроса о смерти, и оттого сразу мне удалось думать о другом: «Расточатся вот врази, вытянет бабушка по хребту батогом — и сразу все расточатся! Мише, как главному сомустителю, тоже перепадет».

— Пропадаю к язвам! — завел Миша. — О-о-о-ой, матушки-и мои! О-о-ой, голубоньки мои. Ты-то как?

— Живой, — малярно просвистел я губами, — пока...

— Ниче-о, ниче-о-о-о, — Миша сунул ком полотенца в чашку с водой,

стоявшую на полу, и шлепнул его обратно на лоб. — П-о-оль-ка!.. — контуженно пропел он. — По-о-олька баканы потушит... в деревню после опохмелиться... рас... рас.. старается... О-ох, матушки мои! О-ой, голубоньки мои! Кто это вино придумал?

— Люди. Кто ж еще?

— Оне, оне... Кы-ы-ышь, коршунье! — шмягнул он комом полотенца в куриц. Несушки беспечно разгуливали по избе, не считая за человека поверженного похмельем братана, раскрепощенно оправлялись где попало, нагло при этом кокотали, наращивая яйца. — Кы-ышь, — схватился Миша с кровати, забегал по избушке, замахал кулаками, На заду Мишиных кальсонешек цветочная заплатка, давно не стриженные волосенки сосульками висели, уши сделались лопушистей и бледнее. Курицы базарно кудахтали, летая по избушке. Раздался звон, посыпались стекла лампового пузыря на стол, рухнула кринка с полки, за клубился крахмал или мука, луковая связка развязалась на печи, луковицы рассыпались по избушке, с окна упал цветок, обнажив клубком свитые корни. Одна совсем уж шальная курица выхлестнула заслонку, в печь попала и закричала там человеческим голосом — в печи еще было горячо. Миша ринулся выручать курицу, но она сама из печи соколом вылетела, братана на пол опрокинула и приземлилась на угловик, где должна быть икона. Вместо иконы там стоял репродуктор и вазочка с древними своедельными цветочками, квитанции хранились, справки и всякие казенные бумаги. Репродуктор повис на проволоке, заговорил с испугу. Бумажки, сохлые вербы, три желтые рублевки и всякое добро разметала по избе курица, все продолжая орать панически. Другие хохлатки не отставали от нее, летали, разметая все, что можно разметать, базланили дружно, неумно.

— Ну не курвы, а?! — чуть не плача, произнес Миша и, одним усилием преодолев удрученность, глянул на стену — ружья нет. Тогда он выхватил из подпечья кочергу, ринулся в схватку и одну курицу зацепил. — А-а, потаскушка! — издал вопль ликования братан. — Ты чё думала?! На меня уж какать можно, думала!.. — Голос Миши сошел на нет, укорным и несколько повинным сделался — курицу он не хотел убивать, он поугубить ее хотел и вот такое дело получилось. Оплыл братан, кiset взялся искать, дрожащими руками сигарку крутил, но от первой же затяжки его замутило, он заплывал недокурок, прижал ладонь к груди и заполз обратно на кровать. — Поймали два тайменя, один с хрен, другой помене... — сглатывая воздух, толчками, будто рыба на берегу, молвил он. — Сдохнуть бы, токо разом.

Я хотел ему возразить — нечего, мол, попусту смерть намаливать, не

предмет она для суесловия и шуточек, не видел ее близко, вот и брякаешь языком, но в это время появилась Полина.

— Вот так находил хозяин! — обнаружив, какой разгром в избушке получается, всплеснула она руками. — Вот так навел он порядок! — и мимоходом постукала Мишу кулаком по лбу: — Взяло кота поперек живота!

— А чё оне тут летают! — буркнул Миша. — Я их всех перестреляю! Похмелье приплавила? — вздымая себя с кровати, будто со смертного одра, Мишка спускал ноги, стона и ругаясь при этом, как пехотный генерал на позициях.

— Охотник какой! Куриц по избам стрелять. Иди в лес да и понужай рябчиков, копалух ли... Эко, эко!... Курчонку на божницу загнал. Одну вроде и насовсем зашиб — глаза закатила! Щипать придется. Ну, бес! Ну, бес! Хуже дитя! Нельзя одного оставлять, чего-нибудь да нагрезит, — выкладывая чего-то из мочальной сумки, жучила мужа Полина.

— Опохмелье, спрашиваю, привезла?

— Я тя опохмелю! Я тя опохмелю! — выставив на стол бутылку, заткнутую бумажной пробкой, погрозила Полина кулаком Мише, а мне сказала: — Тебя баушка Катерина уже потеряла. — И снова к Мише: — Болит башка-то, болит? Так тебе и надо! Моей башке вот и болеть нековды — нет радости вечной, как печали бесконечной. Я тоже опохмелюся. А тебе вот! — показала она Мише кукиш. — Этот квас не про вас!

Братан отвернулся, обиженно засопел, сучок из стены выковыривать принялся. Я спустился в речку, и, когда, немного освеженный, вернулся в избу, все в ней было угоено, подметено. Миша сидел за столом, все еще в кальсонах и босой, но уже с ополоснутым лицом, причесанный. Полина налила щей со старой, перекишей капустой, наполнила две граненые стопки, подумала, поглядела на мужа, потрясла головой сокрушенно, налила и третью:

— На уж, враг! Ради гостя! Будем живы, мужики! — Полина подмигнула нам, сделала вдох и выпила рюмку до дна. Мы последовали ее примеру. Я поверх самогонки хлебнул капустного рассола, потом за щи принялся. Выпив рюмашку, братан ткнул в соль вехоткой свернутые стебли черемши, пожевал, еще одну выпил и затряс головой так, будто водворял на место раскатившиеся детали.

— Не пей больше, — предостерегала его Полина. — Человека плавить. Баушка Катерина костерит нас.

— Ей чё, нашей баушке? Ей покостерить внуков дорогих — праздник! — оживленно сказал Миша, после чего набрал воздуха в грудь,

глаза на меня вытаришил и пронзительно закричал: «Ах, пое-еди-им, кра-а-асо-о-от-ка, ката-а-а-а-аться-а-а! Да-авно й-я тибя-а-а-а ажи-да-а-а-ал...»

Полина подтянула мужу, я ей, и так вот, с песнями спустились мы к лодке, потоптались еще на берегу, пообнимались, почеломкались и поплыли с братаном в Овсянку. Я сидел на гребях. Миша хлопал кормовым веслом. Покачивая, несло нас к Енисею по узкой, швами бурунов простроченной горловине Караулки. Вода уже высветилась в речке, тальники из воды на мысу, как и на релках, выпростались, целили стрелами листьев в небо. Весь заливчик ровно бы смеялся от солнечной щекотки, лучезарно морщинась, пятна по нему ходили желтые, плавилась мелкая рыба в уловах и под тенями яров, за ней щуки и таймени гонялись, один вылетел из-под самой лодки, ровно дурачась, вывалился ярким боком наверх, хлопыстнул хвостом так, что во все стороны брызнула мулява, вода ли не разберешь. Миша мотнул головой, видал, дескать, чего делает, бродяга! Ловить его будем, пироги печь! Такое время пришло: промышленять рыбу, зверя, отстраиваться, откармливаться, девок любить, детишек копить.

Ты правишь в открытое море,
Где с волнам не справиться нам... —

неслось вдогон лодке, и еще долго слышался голос Полины. Она вышла на самый носок, взобралась на валун и махала нам снятым с головы платком.

Лодку выметнуло в Енисей, подхватило, понесло, норovia обернуть. Пьяненьких да лопухоньких любит испытывать родимая наша река. До того иных доиспытывает, что окажутся они на холодном каменистом дне. Но бакенщик же, братан мой, привычен с рекой управляться, погода-непогода, быть ему на ней, засвечивать огни. Он только с виду испитой, братан-то. На самом-то деле мужичонка жилистый. Уперся ногами в кокору, всадил весло в воду, что тебе в масло, голову наклонил и правит лодку наискосых, почти встречу течению, да еще и кричит при этом: «Узнай же, изменшык коварнай, как я доверялась тебе...»

Мы проходили середину реки, самую стремнину. Называют ее стрежнем, селезнем, зёрлом, стрелкой, струной и еще как-то, не вспомню, но слова-то все какие — одно другого звучнее! Это тебе не «берег левый, берег правый» с черной пропастью меж них, налитой черной водой — ни дна под тобой, ни покрывки над тобой, ни рыб, ни птиц, ни камешков —

холодная пустота, бездонная, всасывающая, и надо вырваться из пустоты, преодолеть ее, не дать повязать себя страхом по ногам и рукам, не попасть еще и в объятия тех, кого навечно вбирала в себя беззрачная, бездушная темень пустоты.

На плацдарме я не раз вспоминал от старого, заезжего солдата слышанное: «Войну нелегко слышать, но во сто крат страшнее войну видеть». Через неделю стали всплывать трупы. Их таскало по тиховодной реке, в мыльно пузырящейся пене. Всему послушные, куда несет, туда плывут, безгласны они, а уши тех, кого лично стерег Господь Бог или другая какая сила, все еще рвет крик: «Ма-а-а-ама-а-а!» — клочок берега, без деревьев, даже без единого кустика, на глубину лопаты пропитанный кровью, раскрошенный взрывами, клочок берега, где ни еды, ни курева, патроны со счета, где бродят и мрут раненые, — все равно кажется райской обителью...

Стрежень, селезень, зёрло, стрела, струна — я и забыл про эти слова, а они ведь были, и река вот эта, стремительная, веснами яростная, совсем непохожая на ту, была, катилась, шумела, кружилась, но для меня она могла остановиться. Да, она все так же текла бы, кружила бурунами, завихряясь у скал, грохотала по весне, но во мне ее не стало бы, она умерла бы вместе со мной, перестала течь...

Мы приближались к Овсянке. Я хлопал лопашнами и, хотя сидел к берегу спиной, слышал и словно бы даже видел деревню, берег и все, что было дальше: во дворах, в огородах, в ближнем лесу, иль мне все блазнилось? Вот петух возле сидоровской бани проорал: от двора Шимки Вершкова столкнули лодку по гремящим камням; под берегом побрякивает боталом корова, отбившаяся от табуна; визжат ребятишки, терпеливо грея воду, чмокают сплавные бревна, сталкиваясь друг с дружкой окорелыми боками; в чьем-то дворе, кажется, у припадочной Василисы, ширкает пила; высоким голосом кого-то пушит баба. Мужика, конечно, кого сейчас еще бабам пушить? Поддал небось мужик с утра пораньше, вот бабе и раздолье, дождалась с фронта бойца, в схватку с ним вступила. Молча держит осаду опытный вояка, выжидает момент для боевого броска.

Продернуло нас, протащило мимо прорана бонь, худой я стал гребец, да и задумался, заслушался, рот открывши, — перетаскивать через бону лодку придется. Я поднял весла. Встречь нам катился звонкий голос Малой Слизневки, вон и белая жилка ее трепещется в распадке, на нас наплывал слитный шум великой тайги и откуда-то сверху, с дальних хребтов размеренный, протяжный колокольный гул.

Я обернулся — не слышно Полину, но коренастенькая ее фигура все

еще видна на сером бычке, за ней, за женщиной, и за беленькой избушкой, отсюда кажущейся скворечником, отдаваясь, выростали горные перевалы и вершина самой высокой горы наших мест — Култук — расплавилась в жарком и жидком солнце. Она-то, гора эта, и гудела от жары по всему небу колоколом. Леса зелеными полосами и проплесками стекали по Култуку к реке, и плавал белый от черемухи остров напротив деревни, тот самый, куда мы когда-то с Санькой и Алешкой храбро подались налимничать по дурной, веснопольной воде. Пещеры, как и много лет назад, целят с другого берега, из каменных стен орудийными дулами в наше село. Караульный бык тоже как бы оплавлен с боков огнем молодого еще, но уже напористого лета. Огчетливо видна на отвислой глыбе полоса высокой, напряженной воды, идущей в межень, — отметина еще одной весны.

И в сердце моем, да и в моем ли только, подумал я в ту минуту, глубокой отметиной врубится вера: за чертой победной весны осталось всякое зло, и ждут нас встречи с людьми только добрыми, с делами только славными. Да простится мне и всем моим побратимам эта святая наивность — мы так много истребили зла, что имели право верить: на земле его больше не осталось.

1974, 1988

Последний поклон

Задами пробрался я к нашему дому. Мне хотелось первой встретить бабушку, и оттого я не пошел улицей. Старые, бескорые жерди на нашем и соседнем огородах осыпались, там, где надо быть кольям, торчали подпорки, хворостины, тесовые обломки. Сами огороды сжало обнаглевшими, вольно разросшимися межами. Наш огород, особенно от увалов, так сдавило дурниной, что грядки в нем я заметил только тогда, когда, нацепляв на галифе прошлогодних репьев, пробрался к бане, с которой упала крыша, сама баня уже и не пахла дымом, дверь, похожая на лист кофирки, валялась в стороне, меж досок проткнулась нынешняя травка. Небольшой загончик картошек да грядки, с густо занявшейся огородиной, от дома полотые, там заголенно чернела земля. И эти, словно бы потерянно, но все-таки свежо темнеющие грядки, гнилушки слани во дворе, растертые обувью, низенькая поленница дров под кухонным окном свидетельствовали о том, что в доме живут.

Враз отчего-то сделалось боязно, какая-то неведомая сила пригвоздила меня к месту, сжала горло, и, с трудом превозмогши себя, я двинулся в избу, но двинулся тоже боязливо, на цыпочках.

Дверь распахнута. В сенцах гудел заблудившийся шмель, пахло прелым деревом. Краски на двери и на крыльце почти не осталось. Лишь лоскутки ее светлели в завалах половиц и на косяках двери, и хотя шел я осторожно, будто пробегал лишку и теперь боялся потревожить прохладный покой в старом доме, щелястые половицы все равно шевелились и постанывали под сапогами. И чем далее я шел, тем глуше, темнее становилось впереди, прогнутей, дряхлее пол, проеденный мышами по углам, и все ощутимее пахло прелью дерева, заплесневелостью подполья.

Бабушка сидела на скамейке возле подслеповатого кухонного окна и сматывала нитки на клубок.

Я замер у двери.

Буря пролетела над землей! Смешались и перепутались миллионы человеческих судеб, исчезли и появились новые государства, фашизм, грозивший роду человеческому смертью, подход, а тут как висел настенный шкафчик из досок и на нем ситцевая занавеска в крапинку, так и висит; как стояли чугунки и синяя кружка на припечке, так они и стоят; как торчали за настенной дощечкой вилки, ложки, ножик, так они и торчат, только вилок и

ложек мало, ножик с обломанным носком, и не пахло в кути квашонкой, коровьим пойлом, вареными картошками, а так все как было, даже бабушка на привычном месте, с привычным делом в руках.

— Што ж ты стоишь, батюшко, у порога? Подойди, подойди! Перекрещу я тебя, милово. У меня в ногу стрелило... Испужаюсь или обрадуюсь — и стрельнет...

И говорила бабушка привычное, привычным, обыденным голосом, ровно бы я, и в самом деле, отлучался в лес или на заимку к дедушке сбегал и вот возвратился, лишку подзадержавшись.

— Я думал, ты меня не узнаешь.

— Да как же не узнаю? Что ты, Бог с тобой!

Я оправил гимнастерку, хотел вытянуться и гаркнуть заранее придуманное: «Здравия желаю, товарищ генерал!»

Да какой уж тут генерал!

Бабушка сделала попытку встать, но ее шатнуло, и она ухватилась руками за стол. Клубок скатился с ее колен, и кошка не выскочила из-под скамьи на клубок. Кошки не было, оттого и по углам проедено.

— Остарела я, батюшко, совсем остарела... Ноги... Я поднял клубок и начал сматывать нитку, медленно приближаясь к бабушке, не спуская с нее глаз.

Какие маленькие сделались у бабушки руки! Кожа на них желта и блестит, что луковая шелуха. Сквозь сработанную кожу видна каждая косточка. И синяки. Пласты синяков, будто слежавшиеся листья поздней осени. Тело, мощное бабушкино тело уже не справлялось со своей работой, не хватало у него силы заглушить и растворить кровью ушибы, даже легкие. Щеки бабушки глубоко провалились. У всех у наших вот так будут в старости проваливаться лунками щеки. Все мы в бабушку, скуласты, все с круто выступающими костями.

— Што так смотришь? Хороша стала? — попыталась улыбнуться бабушка стершимися, впалыми губами.

Я бросил клубок и сгреб бабушку в беремя.

— Живой я остался, бабонька, живой!..

— Молилась, молилась за тебя, — торопливо шептала бабушка и почти что тыкалась мне в грудь. Она целовала там, где сердце, и все повторяла: — Молилась, молилась...

— Потому я и выжил.

— А посылку, посылку-то получил ли?

Время утратило для бабушки свои определения. Границы его стерлись, и что случилось давно, ей казалось, было совсем недавно; из сегодняшнего

же многое забывалось, покрывалось туманом тускнеющей памяти.

В сорок втором году, зимою, проходил я подготовку в запасном полку, перед самой отправкой на фронт. Кормили нас из рук вон плохо, табаку и совсем не давали. Я стрелял курить у тех солдат, что получали из дому посылки, и пришла такая пора, когда мне нужно было рассчитывать с товарищами.

После долгих колебаний я попросил в письме прислать мне табаку.

Задавленная нуждой Августа отправила в запасной полк мешочек самосада. В мешочке оказались еще горсть мелко нарезанных сухарей и стакан кедровых орехов. Этот гостинец — сухаришки и орехи — собственноручно зашила в мешочек бабушка.

— Дай-кось я погляжу на тебя.

Я послушно замер перед бабушкой. На дряхлой щеке ее осталась и не сходила вмятина от Красной Звезды — по грудь мне сделалась бабушка. Она оглаживала, ощупывала меня, в глазах ее стояла густою дремою память, и глядела бабушка куда-то сквозь меня и дальше.

— Большой-то ты какой стал, большо-ой!.. Вот бы мать-то покойница посмотрела да полюбовалась... — На этом месте бабушка, как всегда, дрогнула голосом и с вопросительной робостью глянула на меня — не сержусь ли? Не любил я раньше, когда она начинала про такое. Чутко уловила — не сержусь, и еще уловила и поняла, видать, мальчишеская ершистость исчезла и отношение к добру у меня теперь совсем другое. Она заплакала не редкими, а сплошными старческими слабыми слезами, о чем-то сожалея и чему-то радуясь.

— Жизнь-то какая была! Не приведи Господи!.. А меня Бог не прибирает. Путаюсь под ногами. Да ведь в чужу могилку не заляжешь. Помру скоро, батюшко, помру.

Я хотел запротестовать, оспорить бабушку и шевельнулся уж было, но она как-то мудро и необидно погладила меня по голове — и не стало надобности говорить пустые, утешительные слова.

— Устала я, батюшко. Вся устала. Восемьдесят шестой годок... Работы сделала — иной артели впору. Тебя все ждала. Жданье крепит. Теперь пора. Теперь скоро помру. Ты уж, батюшко, приедь похоронить-то меня... Закрой мои глазоньки...

Бабушка ослабла и говорить ничего уже не могла, только целовала мои руки, мочила их слезами, и я не отбирал у нее рук.

Я тоже плакал молча и просветленно.

Вскорости бабушка умерла.

Мне прислали на Урал телеграмму с вызовом на похороны. Но меня не

отпустили с производства. Начальник отдела кадров вагонного депо, где я работал, прочитавши телеграмму, сказал:

— Не положено. Мать или отца — другое дело, а бабушек, дедушек да кумовей...

Откуда знать он мог, что бабушка была для меня отцом и матерью — всем, что есть на этом свете дорогого для меня! Мне надо бы послать того начальника куда следует, бросить работу, продать последние штаны и сапоги, да поспешить на похороны бабушки, а я не сделал этого.

Я еще не осознал тогда всю огромность потери, постигшей меня. Случись это теперь, я бы ползком добрался от Урала до Сибири, чтобы закрыть бабушке глаза, отдать ей последний поклон.

И живет в сердце вина. Гнетущая, тихая, вечная. Виноватый перед бабушкой, я пытаюсь воскресить ее в памяти, выведать у людей подробности ее жизни. Да какие же интересные подробности могут быть в жизни старой, одинокой крестьянки?

Узнал вот, когда обезножела бабушка и не могла носить воду с Енисея, мыла картошки росой. Встанет до свету, высыплет ведро картошек на мокрую траву и катает их граблями, будто бы и исподину росой стирать пробовала, как житель сухой пустыни, копила она дождевую воду в старой кадке, в корыте и в тазах...

Вдруг совсем-совсем недавно, совсем нечаянно узнаю, что не только в Минусинск и Красноярск ездила бабушка, но и на моленье в Киево-Печерскую лавру добиралась, отчего-то назвав святое место Карпатами.

Умерла тетушка Апраксинья Ильинична. В жаркую пору лежала она в бабушкином доме, половину которого заняла после ее похорон. Припахивать стала покойница, надо бы ладаном покурить в избе, а где его нынче возьмешь, ладан-то? Нынче словами везде и всюду кадят, да так густо, что порой свету белого не видать, истинной правды в чаду слов не различить.

Ан, нашелся и ладан-то! Тетка Дуня Федораниха — запасливая старуха, развела кадку на угольном совке, к ладану пихтовых веток добавила. Дымится, клубится маслянистый чад по избе, пахнет древностью, пахнет чужестранством, отшибает все дурные запахи — хочется нюхать давно забытый, нездешний запах.

— Где взяла-то? — спрашиваю у Федоранихи.

— А бабушка твоя, Катерина Петровна, царство ей небесное, когда на молитвы сходила в Карпаты, всех нас наделила ладаном и гостинцами. С тех пор и берегу, маленько совсем осталось — на мою смерть осталось...

Мамочка родная! А я и не знал такой подробности в жизни бабушки,

наверное, еще в старые годы добиралась она до Украины, благословясь, вернулась оттуда, да боялась рассказывать об этом в смутные времена, что как я разболтаю о молении бабушки, да из школы меня попрут, Кольчу-младшего из колхоза выпишут...

Хочу, еще хочу знать и слышать больше и больше о бабушке, да захлопнулась за нею дверь в немое царство, и стариков почти в селе не осталось. Пытаюсь поведать о бабушке людям, чтоб в своих бабушках и дедушках, в близких и любимых людях отыскали они ее и была бы жизнь моей бабушки беспредельна и вечна, как вечна сама человеческая доброта, — да от лукавого эта работа. Нет у меня таких слов, которые смогли бы передать всю мою любовь к бабушке, оправдали бы меня перед нею.

Я знаю, бабушка простила бы меня. Она всегда и все мне прощала. Но ее нет. И никогда не будет.

И некому прощать...

1967, 1988

Кончина

Умерла тетка Агафья. Сергеевская Агафья — так звали ее на селе. Жизнь прожила она длинную и трудную, как и многие овсянские бабы. Рано овдовела, пробовала «устроить жизнь», сходилась с Шимкой Вершковым, помогла ему вырастить ребятишек, но совладать с Шимкой, сделать из него путного хозяина не смогла, и как-то постепенно, у всех на глазах, расплзлись они по своим избам и доживали век порознь. Шимка покинул овсянские пределы давно, и могила его успела потеряться, уже и парни его кончили дни свои: Володя утонул по пьянке в Енисее, Василий, мой ровесник, умер от болезни, Люба живет где-то в городе.

Последние годы тетка Агафья ходила, налегая на батог, вытянувшись широкой, будто столешница, надсаженной спиной. Все ниже и ниже долило ее к земле, все дальше вперед выкидывала она струганный березовый батожок с неокоренным концом. Чистенькая, в белом платочке, повязанном под подбородком, на пробор, аккуратно зачесанная, вытянув голову, словно на плаву, не шла, а медленно тащила она себя по деревне.

«Здравствуй, тетка Агафья! Как здоровье?» — «Здравствуй, Витенька, здравствуй, батюшко, — приостановившись, с облегчением навалившись грудью на кулаки, сжавшие конец батога, отзовется она. — Како здоровье? Дотаскиваю вот век свой...»

Ни жалобы, ни стоны, ни упрека. Обыкновенный разговор, привычные слова, и все Витенька я для нее. С тех самых пор, со смерти мамы — Витенька. Почти шесть десятков минуло, а я так и остался для нее и для других «низовских» баб маленьким мальчиком-сиротинкой. Сидят на скамейке шесть старушек, шесть штук, как они посмеиваются над собой (уже трое осталось), идешь мимо, издали уже смотрят, ждут, улыбаются. «Здравствуйте, невесты дорогие!» Они руками замашут, засмеются, у тетки Агафьи заалеет лицо, ямочки на щеках обозначатся. «И правда что невесты! Посиди с нами». Иногда посижу, но чаще мимо, мимо, все некогда, все черти куда-то гонят.

Тут, на скамейке, «невеста» и перегрелась на летнем солнце, помаялась всего неделю. «Кровоизлияние», — почтительно сообщили мне ее подружки-старушки.

Пришел я в дом к тетке Агафье, попрощаться. Меня пропустили, приветливо табуретку поставили и упятились на кухню. Перекрестился, сел, поклонившись. Шепот из кухни: «Чужой, а попрощаться пришел!» —

«Да какой же чужой?! — чей-то шепот в ответ. — Мы все тут на нижнем конце свои. Она его любила, завсегда ему, маленькому, шанежку, пряничек ли сунет. И седого почитала. Завсегда, говорит, Витенька поздороваается».

«Вот до чего мы дожили! — в смятении думал я. — Уже и обычное человеческое приветствие за доблесть почитается...»

Лежит тетка Агафья еще без домовины на двух лавках. Прибранная, спокойная, выпрямленная, вот и спину ее наконец-то «отпустило», в черном вязаном платочке, белой тюлью прикрытая. Свечи обочь головы горят, в углу, под большой застекленной иконой, лампада светится.

Тихо, грустно, плакать хочется.

Я давно не бывал в избе тетки Агафьи, но ничего тут не изменилось. Горница и кухня — вот и все апартаменты, в которых отвековала тетка Агафья. Все свежепокрашено, выбелено, чистота кругом, бедный порядок и уют. На окнах неслышно осыпаются цветы. Зашла сестра Агафьи и каким-то наитием или еще чем отгадала мою мысль о цветах, сунула палец в один, другой горшок: «Ой, полить-то забыли...» — и быстренько собрала горшки, банки из-под консервов, в которых росли нехитрые деревенские цветы, унесла их на верандочку и вернулась, вытирая мокрые руки о фартук.

— Миленькая ты моя! — запричитала она. — Витенька пришел тебя попроведать, попрощаться, скажи ему словечушко... — И тут же концом мокрого фартука стала подтирать подоконник и рассказывать, что все Агафья «для себя» припасла, справу всю, тюль, тапочки, одежонку, покрывальце, денежек на книжке двести с лишним рублей, да еще под подушкой тридцать шесть: — На первую пору, на первый расход, пока в Дивно-то-горскую кассу съездишь да оформишь документы и по завещанию получишь на похороны... Вот и все богатство! Все тут, — обвела рукой сестра, — ломила, ломила...

— Она хорошую, чистую жизнь прожила. Жалеть не о чем. Всем бы так, — роняю я, чтоб успокоить сестру, но она закатывается в судорожных рыданиях, тянет скомканный фартук к лицу.

— Да уж для добра жила, с добром в сердце, с добром к людям. Кого только не обогрела, кого не обласкала... — И, отрешенно глядя в окно мокрыми глазами, жалуется:

— А племяннички-то? Внушеньки-то! Гос-споди! К тому, к Тешке-то, приехали в город: «Лелька заболела». Дак ведь не спросил, как, чем заболела, может, помочь? Нет, он сразу пылить: «Лелька умерла, дак не вздумайте без меня избу продавать. Я, падла, так всех отделаю, что родная тетя вас на том свете не опознает!» А этот, — махает она рукой за окно. —

Миня-то! Утром ворвался, ни здравствуй, ни прощай... «Стопку мне чичас! Ребятам на опохмелку по стопке. Ковды яму выкопам — шесть зеленых и закусь, как полагается». Шакал и шакал! Дали. Кому-то надо копать. Налили, поди-ко, глаза-то? Выкопают ли могилу?..

Кто такие Тешка и Минька — я уже не знаю, не помню, но раз наши, деревенские, я должен их помнить, по разуменью сердобольной женщины.

Распоряжается всем ее муж, деловито стучит палкой с набалдашником, брякает протезом, усталый, потный инвалид со старыми, еще матерчатыми колодками на мятом, засаленном пиджаке. По всему видно, с раннего ранья он в ходу, в хлопотах, на лбу и на верхней губе у него выступил немощный пот.

— Ты бы хоть поел, да передохнул бы. Может, выпьешь маленько?

— Потом, потом. Значит, так: за домовиной Толька поехал, венки заказали, продукты в Дивногорском бабы получают. Вот с транспортом как? Нужна грузовая машина, автобус. Маленький или большой автобус?

— Да уж какой в дозе (Овсянский деревообрабатывающий завод) дадут. Лучше бы большой. Что, как народ соберется? — и снова всхлип и переход на причитание:

— Ее люди любили...

— Ну, ну, погодьте причитать-то, потом зальетесь. Та-ак, чего-то я забыл? Ты не вспомнишь, чего я забыл?

— Да навроде все предусмотрели, заказали... А-а, оркестр!

— С оркестром морока. С оркестром трудно. Да и денег, пожалуй, не хватит.

— Соберем. С родни соберем, с соседей, продадим чего, может.

— Ага, ага, счас само время торг открывать.

Сошли на полголоса, о чем-то посовещались, и вот самая храбрая из распорядителей, опять же Агафьяна сестра, потоптавшись на кухне, вступает в горницу и на правах старой уже моей знакомой виновато спрашивает: «Виктор Петрович, ты у нас человек большой, грамотный, подскажи ты нам насчет оркестра. Нам денег не жалко, ниче для нее, голубушки, не жалко, да ведь не осудили бы люди...»

Без назидания, терпеливо стараюсь втолковать захлопотанным, старым, горьким людям, что смерть, тем более смерть деревенской старухи, скромно, в трудах прожившей век, никакого куражу и шуму не требует. Не надо бы никакой суматохи и потехи. И вообще, худая это, куражливая мода хоронить деревенских крещеных стариков с оркестром. Сама тетка Агафья, провожая товарок в иные дали, пела за гробом молитвы, и мою тетку Апраксинью Ильиничну, свою соседку, провожая, читала и пела

особенно проникновенно: «Братиям и сродникам нашим даруй спасение, прощение и жизнь вечную» — или что-то в этом роде, аж за сердце хватало...

— Слава Богу. Слава Богу! — крестятся с облегчением старые люди, инвалид устало оседает на скамейку:

— Мы уж, честно сказать, иззаботились. А молитвы читать и петь мы найдем, найдем... В верхнем конце села старик один еще много молитвов помнит. Он уважит...

Ну все, пора и честь знать! Обвожу прощальным взглядом небогатое убранство избы: старое зеркало, обтянутое черным, пошатнувшийся, грубо прихваченный гвоздем к стене, гардероб, на верх которого в спешке набросано какое-то барахло, бумаги, старая копилка с выбитым меловым задом, на желтом серванте белеет кружевная накидка, по ней вразброс: старая гребенка, чернеющий изломом цветной камешек, узкогорлая штукавина, похожая на кувшинчик, в которую сунуто три давних бумажных цветка, хрустальная вазочка, в ней открытки: с Первым маем, с Октябрем и с Новым годом, здесь же, в вазочке, наперсток, катушки с обрывками ниток, иголки, пуговицы, головные заколки, ломаная новогодняя игрушка...

На стене забыто лепятся два портрета в плоских деревянных рамках послевоенного образца. В одной рамке двое: курносый мужичок, стриженный под раскольника, с небольшой черной бородкой, баба с грубым массивным лбом и тяжелым подбородком, меж которыми запало, потерялось все остальное — глаза, брови, губы, и только нос не дал себя погасить и спрятать, из ничего возникший на вымахе, непокорно вознесся он.

— Дядя Лукаша и тетка Акулина, царство им небесное! — крестятся на портрет женщины.

Я уже с напряжением вспоминаю, что были они самой близкой родней тетке Агафье: не то он — ее старший брат, не то она — старшая ее сестра. Сидят вон парой много лет на стене деревенской избы. Тетка Агафья поминала, чтילה их память, на святые праздники свечки ставила. Кто их теперь вспомнит?

— А это вот она сама.

В разошедшейся рамке, крупная, броско красивая, зрелая женщина. Даже мимоходная послевоенная перепечатка, скверная фотобумага, грубая рамка не смогли принизить и затушевать гордую осанку, прямой открытый взгляд женщины, ямочки на щеках, правда, исчезли, видно, несолидными, легкомысленными они показались фоторемесленникам, может, и не давался

им такой тонкий штрих лица? Очень похожа на этом примитивном портрете тетка Агафья на любимую мою киноактрису Нину Русланову и на всех гордых русских женщин похожа, даже грубое платье или кофта — заношенный бедный обряд не унизили ее красоты, не погасили осанку славной женщины. Фотографировалась она на сплаве, с коллективом ударниц, когда мужика угнали на работу в Игарку и вернулся он оттуда расшибленный, цинготный. «С общей фотографии и увеличена покойница на портрет», — охотно пояснили мне.

Изда с нехитрым и необходимым имуществом, верандочка, на которой с визгом включался и разболтанно, что кинопередвижка тридцатых годов, стрекотал холодильник «Ока», начищенный самовар, посуда, ухват, сковороды, чугуны. Кладовка заполнена скарбом, банками с вареньем, лампами, давно вышедшими из обихода, фонарь без стекла, ссохшиеся пыльные обутки, бутылки с какой-то жидкостью, пересохшие пучки трав, рукавицы, топор, щипцы. Свежепокращенное крыльцо заметно сгнило на торцах и обломалось; надворные постройки скособочились — уже давно нет на дворе ни мужика, ни скота, да и кошки не видно.

Но за обветшалыми постройками, за едва держащейся на жестянке дощатой калиткой, пестреет огород, старательно ухоженный, светлой водой окропленный сибирский огород, не раз урезанный и обсеченный. В нем поместилось все необходимое для жизни: картофель, свекла, репка, капуста, редька, бобы с горохом, по привычке ткнутые в бока гряд, да несколько брюковок. Даже цветочки есть — ноготки, астры, желтыши, настурции — для радости, для украшения посажены, может, и для похорон, чтоб не было лишних хлопот родственникам, чтоб зря капиталы не тратили. И неуклюже, тят-ляп — не отставать же от моды! махонькая теплица сооружена, крытая мутными клочьями полиэтилена. В тепличке долговязые помидоры мучаются, огурчишки по кольям ползут, в щели, наружу вылезть норовят. И подсолнухи, подсолнухи! Вот-вот они зацветут и осветят радостным светом этот клочок родной земли. Уже без хозяйки, без саженицы будут они цвести и свидетельствовать, что душа ее здесь, нетленна она до тех пор, пока есть этот, ею возделанный огород, ее родная деревня, эти горы, леса, великая река, водой из которой омыта она была в детском корытце, когда родилась, и этой же водой обмыта, когда снаряжали ее в далекий, вечный путь.

Какое же это редкое и великое, по нынешним временам, счастье — прожить почти девяносто лет на своей родной земле, в родной деревне, в своем родном углу, в сельском мире, с детства близком и бессловесно любимом. Прожить, пусть в тяжких трудах и заботах, не ведая разлук и

тоски в чужеземье, не поддавшись соблазнам и отраве городской жизни, прожить с покоем и прибранностью в душе и кончить своей век с достоинством, уйти с тихой молитвой на устах туда, откуда ты явился гостем на сей свет с назначением творить в меру сил, тебе данных, добро и успокоиться с сознанием до конца исполненного долга.

1988

Забубенная головушка

Мой отец, снова исчезнувший с моего горизонта, объявился в краях совсем неожиданных, в Астрахани, на Каспийском море. Большой это загадкой было для меня: как сумел переместиться родитель с холодных заполярных земель, с тихих вод Енисея в бурные волжские стихии, аж из конца в конец страны!

Все оказалось просто, как просто и непостижимо доступно бывает лишь в судьбе человека, живущего в Стране Советов, полной сказочных чудес и превращений.

Папу переместили из дали в даль за казенный счет.

Когда было остановлено строительство мертвой дороги, часть трудового подконвойного контингента отсюда была перегнана на возведение волжского гиганта — Куйбышевской ГЭС. Народу там, по слухам, собралось аж полтора миллиона, но дело шло ни шатко ни валко. Когда лопнуло терпение у мудрой партии и не менее мудрого правительства, откомандировало оно туда правительственную комиссию дознаться, отчего это не только досрочно не заканчивается строительство очередного гиганта, но и в сроки не укладывается, хотя посылаются туда самое идейное, самое целеустремленное руководство и рабочих не велено жалеть.

Папа мой редко вслух вспоминал про тюрьмы и лагеря, больше он про них пел и плакал. Но в какой-то исповедальный час он все же рассказал о том, как очутился на Каспии и какое там с ним вышло приключение.

— Комиссия меня вызывает. Захожу, руки по швам, честь по чести, имя, отчество, фамилия, докладываю, что тяну срок по указу Сталина от одна тысяча девятьсот сорок восьмого года, статья такая-то пункт такой-то, подпункт десятый. За столом комиссия сидит, самоглавный комиссар в кожане, точь-в-точь как на портрете Шшэтинкина, героя сибирской войны. Прицелился он на меня, остро так поглядел и говорит: «Петр Павлович, сколько лет вы находитесь в заключении?» «Шесть лет, семь месяцев и четыре дни. Часов не подсчитал, часов у миня нету». «Та-ак, — произнес комиссар. — А сколько ж вы пролежали в больнице?» «Ровно четыре с половиной года», — снова отчеканил я. «Во-он! — заорал комиссар и стукнул кулаком по столу. — Во-он со стройки! Чтоб духу не было!..». И миня как миленького помели со стройки — иди куда хошь со справкой о досрочном освобождении. Ну, таких, как я, много помели. Братва загуляла,

и я с ей загулял, да куйбышевской милиции велено было вылавливать нас и в Гурьев направлять — там наборный пункт Кас-рыб-килька-холод-флота. Миня, как рыбного спеца, сразу на судно назначили. Капитаном. Я двоих наших, куйбышевских, матросами прихватил и поплыл по морю. Миня весь Каспий знал, сам начальник пароходства Назаров...

— Но, папа, Назаров — это на Енисее...

— Все правильно, Назаров, Иван. Утопил половину флота в Енисее, статья семисят пята, пунхт «д», подпунхт «в» — десять лет с лишением права голоса.

— Но, папа, Назаров здравствует в Красноярске и еще книжки пишет.

— Книжки? Пишет? В натуре? Я бы ему, курве, написал!.. — И папа, скрипнув зубами, сжал кулачишко, на картошину похожий, ткнул им в окно, грозя аж за Уральские горы. — Я ишшо и глаз ему выбью.

За что про что он выбьет глаз человеку, который его со своего высокого руководящего мостика и не видел никогда, папа и себе не мог бы объяснить.

Отдышавшись от войны на Урале, обретя какое-никакое жильё и двух ребятишек, с трудом и приключениями отыскал я моего единственного родителя и призвал к себе в гости.

Папа откликнулся жизнерадостной телеграммой и посулился скоро быть. Пришла еще телеграмма, длинная, непонятная, с номером поезда, какой через станцию Чусовскую и не ходил.

Пассажирских поездов здесь следовало тогда не так много, мы давай к каждому ходить всем семейством. Расставляю я детей и жену у одних ворот, сам встану у других, стою, жадно всматриваясь в шествие пассажиров. Нет папы! И день нету, и другой нету. На третий день я к поезду не пошел — работы много было. Утерялся родитель. Снова утерялся! Непокойно па душе, сплю и прислушиваюсь — папа ж человек пылкий, увлекающийся, мог нашу станцию и проехать, что как прибудет в неназванный час?

Так оно и получилось. В три часа ночи слышим стук-бряк в дверь сеней, говор, голос с хрипотцой, но до звонкости промытый. Я к дверям, жена меня за рубаху — на окраине на темной живем, почти в овраге, мало ли что.

— Да папа это, папа! — вырываюсь. Открываю дверь в сенки, спрашиваю, как обычно, кто там, а сердце колотится, бьется на последнем радостном взлете.

— А здесь ли проживает мой любимый сын Виктор Петрович Астафьев?

— Господи! Сколько лет, сколько зим!

Срывая кожу на пальцах, открываю крючок, а он никак не открывается, нашариваю какой-то предмет на полу, выбиваю крючок из скобки, дверь распахивается — на крыльце, освещенном тусклой лампочкой, стоит моложавый мужичок с усиками бабочкой, во всем моряцком, одеколоном пахнувший, фуражка с кокардой набекрень, белый шарфик вдоль бортов шинели.

— Папа!

Обнялись. Плачем. Сзади семейство толпится, череду ждет, жаждая облобызать единственного оставшегося в живых из всей родни старика. А он и на старика-то не похож. Этаким добрым молодец, представившийся капитан-директором, хотя был всего лишь шкипером на барже, развозившей пресную воду по Каспийскому морю для рыбаков, затем морским дебаркадером ведал, но упорно и всегда на звании том высоком настаивал.

Отчего же не встретили родителя-то? Он, как всегда, самонадеянно полагал, что яйца курицу не учат, что грамотней его быть невозможно, что «масла» в его голове вполне достанет любой документ обмозговать и составить, даже в пределах всего Каскилькохолодрыбфлота не подкопаешься, а какую-то там плевую дорожную телеграмму написать — вовсе разговору нету. Прежде чем ее, ту телеграмму, отбить, папа поддал для вдохновения, вот и перепутал все, что только можно перепутать. Число, номер поезда и вагон. Искал нас по городу с самого вечера, на окраину угодил, увидел дом, где окна светятся, гармошка звучит — крестины там шли — вошел, разговорился, засиделся, забыв, зачем и для чего он в этот город прибыл. Соседи же, сказав: «О вас ведь беспокоятся», с почтением, под ручки препроводили капитана-директора через ручеек, текущий по оврагу.

Не признавая своего дорожного поражения, папа убеждал нас:

— Железная дорога! Она, она, курва, напутала. Я чесь чесью телеграмму составил, хоть министру ее отбивай. Я ишо ворочусь в Астрахань и глаз начальнику станции выбью...

Дивилось мое тихое семейство на новоявленное чудо. У няньки нашей, деревенской девки, рот как отворился, да так и не закрывался во все время пребывания моего родителя в нашем доме.

Стол был накрыт уж два дня, и, хотя шел четвертый час утра, мы сели, по стопарику подняли. Папа начал речь, но, дрогнув голосом, махнул рукой, пустил слезу и выпил за всех родных людей сразу, которых видел впервые и которых едва помнил по прошлой жизни. Сынок мой клевал носом, его скоро отправили спать. Дочка, бойкая в ту пору девочка,

ластилась к гостю, к боку его прижималась, трогала светящиеся пуговицы на мундире и нарядные нашивки на рукаве, явно восхищалась таким редкостным дедом. Почувствовав родственную душу, папа звенел: «Ерина! Ерина!...».

Утром мне надо было передавать материалы на областное радио, где тогда я трудился, бумаги ждали на столе, голова трещала. Я отправился на покой. Скоро и жена пришла, легла рядом, вздохнула украдкой в темноте встревоженно и печально: «О Господи!...».

...Подскочили мы разом от бурных звуков музыки, топота, выкриков; в горнице дочка моя, учившаяся в музыкальной школе, грохала на пианино, папа босиком отплясывал и кричал моей ошарашенной жене, поверженной в изумление няньке, испуганному сынишке: «Маня! Мила Маня! Секлета! Андрюша! Учитесь, пока я живой! Ах! Ах! Ах! Жарь, матр-росы! Пр-равь, мор-ряки! Нам никака волна не страшна! Ах, милка моя, шевелилка моя! Я к тебе при-ышол, тибя дома не наше-ол! Ах! Ах! Ах-ха-ха...».

Любил ли я этого человека? Наверно, любил. Больше-то ведь некого было любить. Может, это и не любовь, а тот зов крови, о котором мы говорим мимоходом как о чем-то малозначащем, пустяковом. Нет, это не пустяк. Это болезненная привязанность, счастливую горечь которой ныне дано испытать уже далеко не всем. Когда я вижу, как девчушка или парнишка толкуются возле грязной пивнушки, плача, вытягивают из канавы упившегося до бесчувствия отца, а он еще и куражится, ругает, толкает ребенка, это ж ведь то же самое, пусть и по другому поводу сказанное: мне б надо вас возненавидеть, а я, безумец, вас люблю...

Ну ладно бы я, хоть и отщепенец, но все же живал с отцом, маленьким ласку от него отцовскую знал, пусть натерпелся и настрадался от него и вместе с ним, но братья мои, сестры, от мачехи рожденные, они-то, почти отца не видевшие, с ломаными-переломаными судьбами, они-то что ж по нему тосковали? И взывали ко мне, старшему брату: «Да привези ты его, привези! Охота папку увидеть...».

И я решился.

Должен заметить, слово «решился» вставил я в строку не случайно. Как и в прежние годы, папе было трудно управляться с собой, а мне и всем его знающим — с ним. В Астрахани папа познакомился с Варварой Ивановной, она работала на дебаркадере матросом, папа ею командовал, руководил и доруководился. Снова папе в жены угодила женщина крупная, добрая, многотерпеливая. И что они, русские бабы, в маленьком, ветреном, больном мужичонке находили — загадка природы.

После первого посещения нашего дома папа бывал у нас, но нечасто. С

обретением же пенсии и полной свободы от трудов он приезжал из Астрахани на все лето в деревушку Быковку, где я приобрел дом. Забравшись в деревушку, властями и Богом забытую, часто оставаясь в совсем его не угнетающем одиночестве, папа куролесил там так, что вся эта тихая деревушка, воспрянув ото сна и угасания, начинала жить шумной и даже раздольной жизнью. Здесь, в углу лесном, безмагазинном, почти безмужичном, находил он способы добытия выпивки, собутыльников сыскивал, даже и ухажерок. Особое, можно сказать, душевное отношение к нему испытывала Паруня, здешняя одинокая баба с одним зрячим глазом, человек не просто добрый, но какой-то, я бы сказал, космической терпеливости и безбрежного добродушия. Она опекала папу, таскала ему дрова, воду, ломала тяжелую работу, выпивала вместе с ним, когда папа не мог найти собеседника помоложе и поболтливей. Обитатели Быковки, да и мы всей семьей подсмеивались насчет этой дружбы, намеки прозрачные давали. Папа, жестикулируя перстами и двигая головой своей, аккуратно причесанной, возмущенно отбивался: «Да мне ее судом присуди — на дух не надо!..». Лукавил папа. Нужна была ему Паруня и как добровольный батрак, как выручка в бедах и сиделка во время его хворей. Союз этот был не обоюдолобовный, но крепкий.

Как-то приехал я в Быковку внезапно: двери в избе и окна настезь, занавески на ветру полощатся, ветер по чисто убранному помещению гуляет. Папа до самой смерти был во всем опрятен и чрезвычайно этим гордился. На столе сковородка с картошкой, хлеб, огурцы и недопитая поллитровка. Хозяина нету. Понял я, что папа, будучи под градусами, возжаждал общения и подался за речку Быковку к бабе Даше — «на беседу». К бабе Даше приехал младший сын, тоже большой выпивоха и страшный охотник, да и Паруня тут случилась. Охотники до того побеседовались, что папа не мог уже самостоятельно перейти речку по трем жердям, положенным вместо мостика. Паруня взвалила папу на загривок и понесла. И вот вижу я картину: схватившись за шею женщины, папа едет на ней верхом и кроет ее при этом из души-то в душу. Паруня, не реагируя, перенесла папу через речку и швырнула на траву к моим ногам: «Возьми своего тятю! Надоел он мне!..» И погреблась через бурьян по бывшим быковским полям и усадьбам ко своей избушке.

Пагуба эта, пьянство, много бед и несчастий семье принесшая, как-то легко, словно с гуся вода, сходила папе. Пьяненького, болтливового, порой и срамного на слово, его никто не бил, не гнал. Не раз мне подавали его на руки из вагона какие-то случайные спутники, сдружившиеся с ним за дорогу, даже и в родственные чувства впавшие, крутя головой, говорили

давно мне знакомое: «Ну и забавный у вас папа!» — и я сердился, говорил про себя, но когда и вслух: «Вам бы такого забавного», чаще же просто махал рукою, не желая людям того зла, которое причинил женам, мне и всем детям своим мой забавный папа.

В Быковке папу баловали. Дети мои подросли, играть с дедом взялись: то кепку на брус полатей повесят, и папа, смешно подпрыгивая, достает ее и достать не может, то предмет ему под задницу подсунут, когда он садится. Так ведь и он теми же шутками отвечает. Была у папы любимая певица Великанова. Пилят дрова дед с внуком, в избе радио гремит. Внук настораживает ухо и говорит: «Дед, Великанова поет». Папа снимает рукавицы, отряхивает опилки со штанов, заходит в избу, а по радио Штоколов орет на всю ивановскую про куму и про судака. Дед внуку пальчиком грозит: «Ну погоди, погоди, варначина! Я тя тоже на чем-нибудь прикуплю!».

Так вот и жили да были. Дед старился, здоровьем все больше слабел, заедая вино и похмелье лекарствами, любыми, какие есть в аптеке. Один раз даже обнаружили у него таблетки для укрепления коры головного мозга, и я вздохнул: чего укреплять-то? Я был не прав. Папа был умен, но умен «для себя», однопартийно как-то — вся жизнь его и потехи все служили ему только в ублажение, для удовлетворения прихотей и страстей его.

Мы всей семьей переехали с Урала в Вологду. Я купил избу в такой же, как и Быковка, убогой и угасающей деревеньке Сибле, потому что природа здесь, как и вокруг уральской деревушки, была замечательной. Папа мой начал удивлять и пробуждать полусонную Вологодчину. Снова давно, в прах, казалось бы, изношенные шутки и прибаутки: «Всем господам по сапогам, нам по валенкам!» — открывали ему двери во все избы, и снова стих: «Гимназисток нам не надо, нужны дамы в вуали, па-а-ц-илуй прекрасной дамы, абъиснения в любви!» — ввергал женщин в трепет.

Здесь, в доброй, травой заросшей либо снегом заваленной деревушке Сибле, я много работал, часто и подолгу оставаясь вдвоем с папой. И наконец понял, почему некоторым бывшим зэкам удалось выжить в наших губительных лагерях и не к ним приспособиться, а приспособить их себе, обмануть самую надувательскую систему, даже самого Сталина надуть, построив Беломорканал досрочно, за два с половиной года вместо пяти, но и на два почти метра мельче против проектной мощности, что обнаружилось только в войну во время проводки черноморских подводных лодок в Балтийское море.

В Сибле на просторном моем участке я к старым тополям и березам

подсадил много всякого леса, в том числе и сибирские кедры. Тополя здесь росли серые, мужицки грубые, с корявыми ветвями, но по-мужицки же плодovitые и приветливые. Птиц всегда на тополях бывало и певало множество. К стволу одного тополя я попросил ребят прибить скворечник. И его прибили самокованным крупным гвоздем с фигурной шляпкой. И в этот именно гвоздь, в эту шляпку угодила молния. Я, как это не единожды со мною бывало, некстати заработался, за окном громыхает так, что изба качается, из трубы русской печи на шесток глина с сажей валится.

— Ты чё сидишь? Ты чё там пишешь? Ты погляди, чё деется! погляди! — вбежав в избу, всполошенно закричал папа.

Я спустился в сенки, открыл дверь — весь огород был в белой щепе, и расщепленный повдоль тополь, обронив ветви, словно в изорванной после драки рубахе, поверженно болтал на ветру мокрыми лоскутьями.

Папа почти все лето собирал по огороду щепу, складывал возле стены избы поленницу, иногда чего-то перерубая или ножовкой ширкая. При этом папа наряжался в мою старую охотничью телогрейку, изодранную до того, что она уж и в починку не годилась. Из-под телогрейки до колен свисала тоже моя изношенная, но когда-то фасонистая клетчатая рубаха. На голове старая кепчонка, на ногах истрескавшиеся калошишки — это чтобы всем было видно, как бедному-пребедному старику живется, да вот еще работой неволят, кусок хлеба добывать велят, выпить коснись, не допросишься. Чем жить? Зачем жить?

Отложив ручку, я наблюдал за работой папы в окно. Он все волочил и волочил одну долгую щепку, вертел ее так и сяк — она не ложилась в поленницу. Садился, курил, соображал, как ему управиться с этой клятой щепкой. К обеду управился-таки, распилит ее ножовкой. Шаркая калошами, поднялся папа в избу, хлопнул рукавицы на шесток:

— Н-ну, туды твою мать! Во дал! Во устряпался! Ране, бывало...

Вот такой мне наглядный пример был, как научились работать подневольные люди.

Меня еще после первого приезда папы из заключения с великой стройки Беломорканала имени товарища Сталина среди многих потрясло одно его сообщение. Схватившись за голову, он отчаянно кричал: «А-аа-аб-ни-сен стеной высокай Александровский цынтрал». Ну, что такое «цынтрал», я уже знал к той поре — это ружье центрального боя. Но непонятно было — «нигде соринки не найдешь». Зачем соринки да еще в ружье? Но мне пояснили: двор это, двор и... «подметалов штук по двадцать в каждой камаре найдешь». Двадцать подметал на один двор! Конечно, чисто будет.

Но вот на сегодняшний день и двадцати подметал мало, всюду по Руси грязь, сор. И в головах мусор. И все метут, но чаще призывают мести, а дело же ни с места. Хитрую, поучительную ленинско-сталинскую науку мы прошли — шаг вперед, два шага назад, шаг влево, шаг вправо и... ни с места!..

Самопожиранием это называется.

Папа от рождения был артистом и, пройдя такой массовый тюремный театр, вовсе уже перестал ощущать жизнь «в натуре», заигрывался даже порой до умопомрачения, и все ведь со смыслом, все, как ему казалось, кому-то потрафляя.

Собираюсь я в Сибирь на пятидесятилетие Игарки и говорю:

— Ну что, папа, передавать от тебя приветы Гале и Вовке?

— Какой Гале? Какому Вовке?

— Да твоим детям, дочери и сыну.

— Какие дети? Какая дочь? Какой сын? Ты насочиняешь!..

Гадкая черта, приобретенная в заключении: жить сей минутой, предавая всех и все. Папа забыл, но скорее делал вид, что забыл деревенские законы, среди которых главный — почтение к родным людям. Он почему-то решил, что предавая забвению детей, рожденных мачехой, угождает тем самым мне. Для него главное было в пьяном азарте сделать детей, а они уж пусть, как трава под забором, сами растут и сами опохмеляться соображают.

Вот оттого я не сразу решился откликнуться на призыв братьев привезти к ним дорогого папу.

Из Красноярска я должен был по командировке журнала ехать на юг края, папе ж надо было двигаться в северную сторону. Собрал я его в дорогу, купил родичам подарки, дал денег на жительство и на обратную дорогу, просил, молил не пить в пути, вести себя пристойно в Ярцеве — брат мой, его сын Коля, болен, живет скудно.

— Пожалуйста, папа, не осложняй и без того нелегкую жизнь человека!

— Да чё я, маленький чё ли? Чё я, не понимаю? Все понимал папа. Все, что ему надо, прекрасно помнил и знал. Угораздило меня погрузить папу на теплоход «Композитор Калинин». На «Калинникове» том главным механиком работал еще один наш Колька, покойного дяди Васи сын — «в натуре» по папиной родове уродился гуляка, форсун удалой. Только отвалил теплоход от пристани, от причала, только отзвучал прощальный марш, как из судовой радиорубки раздался призыв:

— Главный механик Астафьев Николай Васильевич, вас просит зайти

в каюту номер такую-то ваш близкий родственник!

Механик, как я уже заметил, нашенской породы, на подъем и на ногу скорый, стриганул на зов, широко отворил каюту и, заранее дрожа голосом от закипающих слез, возгласил:

— Да уж не дядя ли Петя?!

Схватились дядя с племянником, обнялись крепко-накрепко, грудь друг другу слезьми омочили, тут же сдали билет — еще не хватало такому большому начальнику таких дорогих родственников за деньги возить! Это пусть писатель наш по билету ездит, коль у него денег много. Племянник пересадил дядю в свою каюту, и загуляли ж они, запели, заплясали! В Ярцеве чуть тепленького поредали сыновьям, невестке и внукам дорогого гостя. Колька-механик еще и в рупор с капитанского мостика кричал: «Дядю не обижать, хорошо его питать, опохмелять! И вопше!..».

Удивил папа и Ярцево, большое село, — покуролесил вдосталь, денежки все прокутил, подарки отчего-то не вручил, потерял или пропил, — кто знает, обманул сына, сказав, что на обратную дорогу «тот деляга» — это, значит, я — денег не дал. «Откуль ему набратся на всех на нас денег-то, ты уж давай подзайми или как». Тогда же, вдруг вспомнив про дочь Галю, собрался было двинуть в любимое Заполярье, в Игарку, но уже от долгого оглушительного пьянства заалел папа, обострился его вечный спутник — псориаз.

Кое-как, с трудом, с канителью отправили его из Ярцева домой. Долго потом мой брат крутил головой: «Забавный у нас папа!».

Прибыв домой, отец надолго завалился в привычную больницу. Я подумал: раз папа проявил такую решительность и пожелал увидеть родную дочь свою, попрошу-ка я Галю заехать в Вологду. Свозил ее в Сиблу, где папа жалостно произнес:

— На баушку на мою, на твою прабабушку Анну походит Галька-то. Помету-то нашего. Белинькая!

Папа часто нам писал из Астрахани старательные письма, подробно повествуя, как и чем он болен, сколько месяцев пробыл в больнице, как плохо стало с рыбой на Каспии, начальство совсем заворовалось, утопило три судна, одно прямо у причала, на Балде — так зовется протока, — и ничего ему, начальству-то, не привлекают ни по какой статье, а его вот ни за что ни про что упрятали «за сурову железню решетку».

Всем дружным семейством поплыли мы от Перми до Астрахани на теплоходе.

Жил папа с Варварой Ивановной в одноглазой глиняной пристройке, прилепленной ко множеству каких-то пристроек и строений во дворе. Каютой звал свое обиталище папа, в нее входили кровать, стол да плита об одну дырку. Эта квартира с окошком во двор, видом, но не просторами напоминающая сибирскую стайку для скота, принадлежала хозяйке, папа здесь был примак, но чувствовал себя царем.

Ночевали мы в квартире богатеньких евреев, живших здесь же, но не во дворе, а выше, над двором, в доме с террасой. Хозяин квартиры, Яша, работал зуботехником, Роза, хозяйка, вела дом, дочь училась в музыкальной школе, собиралась в консерваторию и хорошо играла на рояле. Папа водил с этим тихим семейством дружбу.

С рыбой уже в ту пору было в Астрахани плохо. Варвара Ивановна, коренная астраханка и морячка, где-то все же покупала рыбку, говорила, на причалах, и потчевала нас. Скучное и тесное жилье, папа, загулявший в честь нашего приезда и начавший, как всегда, куролесить, сократили наше времяпребывание в Астрахани. Через несколько дней мы отбыли обратно и в каждом ответном письме просили папу не хлопотать, не беспокоиться насчет рыбы, ее в ту пору в Вологде было больше, чем в Астрахани, да и сам я добычливо рыбачил. И хотя каждое письмо папы заканчивалось, как доклад Иванушки из «Конька-Горбунка»: «В общем, все благополучно», мы не очень этому верили, просили папу не пить, пожалеть свое здоровье и Варвару Ивановну, однако нет-нет и получали вопль из Астрахани: «Заберите, ради Бога, своего отца. Больше не могу!...».

Однажды Варвара Ивановна в глиняной каморке своей гладила белье, упала, уронив утюг на живот, и умерла. Сломалась еще одна русская многострадальная женщина. Надо было забирать папу к себе. Он после длительных и обильных поминок залег в кожный диспансер. Я подал ему телеграмму, чтобы он выписывался из больницы и собирался в дорогу. Папа сей же момент метнулся с телеграммой к главврачу, уже хорошо его знавшему, тот отпустил его с Богом, и папа, вернувшись в свою «каюту», тут же и загулял.

Явился я в узкий, без единого куста, без единой травинки двор, среди которого плескалась грязная лужа и за нею мерцала одним глазом папина «фатера», на которую имела виды и наконец дождалась своего угла племянница Варвары Ивановны. В благодарность она, видать, поставила папе выпивку иль деньжонок дала. Вылетел папа мне навстречу в одной майке, по телу его незалечимые, на пятна от банок похожие алые кругляши. Папа с объятиями, со слезами, с расспросами о здоровье внучат, жены, друзей, а сверху доносится:

— Возьмите-таки этого старого хулигана! Увезите подальше от нас!

Папа кулачишком грозит, кроет сверху живущих, был, говорит, там один честный человек, Яша, да еще Роза с дочерью, но и те за море уплыли, поскольку дочь кончила бесплатную консерваторию и теперь могла выгодно реализовать свои таланты. Сердится папа на астраханских евреев давно и непрощающе, хотя раньше водился с ними, лечился у них, сиживал в одной камере и рассказывал из тюремной совместной жизни много развеселых историй.

И рассердился-то из-за сущего пустяка.

Мне очень сложно с моим почерком и быстрописью подобрать перо для работы. И вот кто-то на день рождения подарил мне дорогую по тем временам китайскую ручку с золотым перышком. В руку пала ручка, сама писала, но от многоупотребления сносился наборный механизм, серенький корпус потрескался, лишь перо работало все так же мягко, неизносимо, и, перемотав ручку изоляционной лентой, я макал ее в пузырек, измазывался чернилами. как школьник. «Давай ручку-то в Астрахань увезу, — сказал папа, собираясь из Быковки на Каспий, — у меня полно знакомых мастеров-евреев, сделают все чесь чесью». В середине зимы из Астрахани вернулась ко мне ручка совершенно растерзанная, и вместо золотого перышка торчало в ней старое ученическое перо с обломанной шишечкой. Должно быть, папа привычно хвастался, что сын у него писатель, что ручку надо сделать первым сортом, что за ценой он не постоит, и даже не открыл коробочку после ремонта. Какая поганая, какая мелкая насмешка над непутевым стариком!

Едва утащил я со двора разгневанного родителя, прося извинения за его «нескромное поведение», — наша это домашняя поговорка такая, доставшаяся от папы и до сих пор бытующая в семье. Куролесит, куролесит папа, приходит пора ему уезжать, расцелуется со всеми, постоит, помнется у порога и молвит, пуская слезу: «Маня, Витя, Ерина, Андрюша, Толя, Секлета! Простите меня за мое нескромное поведение...». И нас в слезу вобьет. «Да чего уж там, поезжай с Богом, ждем будущим летом».

В Астрахани, где зима короткая, в теплом климате, в солнечной стороне, у папы было лучше со здоровьем. Но года и вино брали свое, псориаз все чаще и чаще валил его на больничную койку.

Утащил я, значит, папу со двора в глиняную клетушку, там у него гость, квадратный мужик с квадратным лицом, с руками квадратными, с носом квадратным, со лбом квадратным, под названием Евланя, Евлампий, значит. Сидит Евланя, заняв пол-фатеры, перед ним на столе несколько бутылок, и все недопитые. Кусок раскрошенного хлеба, сморщенный

помидор, селедка, от которой остались одна голова да молоки, по клеенке размазанные. В клетушке духотища, мухи, постель смята, пол грязный. На оконце, вмазанном в глину, свяла, осыпала листья герань, и похожие на окурки стерженьки ее высохли. Придя из больницы, папа не прибрался, некогда было. «Чего это ты совсем распустился!» — хотел я прикрикнуть на родителя, но всякие слова были тут бесполезны. Папа налил мне, себе и Евлане в стаканы, провозгласил тост в честь прибытия дорогого сына и вдруг взъелся ни с того ни с сего на своего «лучшего друга», как он представил Евланю мне. Сжав бойцовские губы и кулачишко, папа замахивался, целя Евлане в глаз, и сквозь стиснутый рот грозился:

— Я те счас как забубеню, так ты и якорь бросишь!..

Евланя, жизнь свою промантуливший грузчиком в астраханском порту, испуганно загоразивался ручищами и с почти натуральной жалостью умолял:

— Ой, Петка, не надо! Не надо, дорогой! Зашибешь, тебе-то чё, а у меня дети, внучата, жана...

Евлаша вышел на пенсию, гулял, развлекался, озоровал себе в удовольствие. Все это папа называл точно и емко — «тиятр», хотя никогда он в театре не бывал, но по любому поводу: о ссоре семейной, о потасовке на барже иль на пристани, даже о том, как учаливается судно под названием «Урал» к сылвенским берегам, — качал головой, уютно посмеиваясь, говорил: «Ну тиятр!». В Быковке, счастливо избегнув укусов растревоженных соседских пчел на пути к колодцу, папа кричал мне, глядя на народ, в панике мечущийся по улице: «Ты погляди, погляди, какой там тиятр!» — и тут же, замахав руками над головой, бросался в избу, думая, что его преследует пчела. Комары папу не ели — из-за мазей на теле, он уверял: из-за проспиртованности организма; пчелы же, наоборот, люто его преследовали.

В Вологде мы раза два или три брали папу в театр, в том число и па премьеру спектакля по моей пьесе. Папа к любому выходу на люди готовился тщательно: надевал выходной костюм и новую рубаху. Выбор рубах у него был такой, какого он прежде не знал: отходила мода на нейлон, и все мои дети и друзья дарили папе блескучие рубахи на день рождения. «Ну как?» — спрашивали мы папу после спектакля. «Ничего, — помедлив, отвечал папа, — помешшение хороше, артисты молоды, артиски красивы...». В подтексте, в скепсисе, глубоко упрятом, папа давал понять: он и учалить теплоход, и пилу развести, и сыграть в театре, и сочинить мог бы получше, да зачем же у людей кусок хлеба отбирать... Папа до самой смерти был в совершенной уверенности, что по охоте, по

обработке рыбы, также и по грамоте мало ему равных людей на свете, потому как ходил он когда-то в первых грамотеях села Овсянка и уверенность эту, также удовольствие от своего превосходства над остальным людом не хотел утрачивать.

Псориаз — кожный лишай — съедал папу заживо. Ему нельзя было жить в Заполярье, есть что попало и когда попало, нервничать и пить водку, тем более какое-либо подкрашенное зелье. Но он втянулся в свою жизнь, ненавидя ее, проклиная, голосом раненого кричал по утрам, не в силах разогнуть суставы — кожа трескалась в локтях, под коленями, под лопатками и в паху, белье присыхало к сплошь пораженному телу, из-под серых пластушин выдавливалась темная нездоровая кровь: «За-астре-лю-ось, к е...й матери!».

Но был он непобедимый жизнелюб; измазав пяток банок вазелина на кожу, отмякал, отходил, не пил какое-то время — болезнь, струпьями сходя с кожи, отступала, и он забывал о недавно перенесенных страданиях. Папа снова начинал глядеть вдаль, за реку, и придумывать, как ему смыться из дому, чего еще продать, променять на выпивку. Желания и страсти всегда были выше его воли, беспокойность, егозливость характера губили его жизнь. И кабы только его!

К слову сказать, папа был уверен, что болезнь он добыл в юности, когда помогал деду Якову на мельнице, постигая хитрое и сложное дело мельника. Еще в молодости, размачивая новопомольную муку, начал он попивать с помольщиками, как это делалось на всех российских мельницах, прогоняя колесо. В рот не берущий зелья дед Яков лупил внука нещадно за губительную привычку, загоняя его в холодную воду — «ковать колесо». «Там, там, на родной меленке, набродил я эту кожу», — заверял папа. Но я встречал людей, страдающих этой неотвязной болезнью, точнее ее назвать наказанием Господним, которые мельницу и в глаза не видели и в холодной воде не бродили. За излечение жуткой болезни под названием нездешним, чужим в каком-то заморском городе, вроде бы Стокгольме, сообщил папа, лежит миллион награды, один американский богатеи всю жизнь маялся кожей и перед смертью сказал: «Кто эту болезнь излечит — тому и отдайте миллион». До сего дня, заверял папа, премия не востребована.

И вот забыто губительное Заполярье, разбросаны дети по свету, не отлетела еще душа, не выветрился еще дух хозяйки из жалкого человеческого прибежища, по габаритам точно именуемого каютой, а папа уже представляет с забулдыгой дружкой «тиятр». Уяснив, что игра эта, незатейливый пьяненький кураж закончатся не скоро, я сказал отцу, чтоб кончал пить, собирался бы в дорогу, и подался устраиваться в гостиницу.

«А чё те здесь-то не живется? Фатера в полном нашем распоряжении...».

С уличного автомата я позвонил давнему моему знакомому, ныне уже покойному писателю Юрию Селенскому, тот связался с местным Союзом писателей, и меня пообещали устроить, если я выступлю в каком-то техникуме вместе с хорошим поэтом и славным мужиком Михаилом Лукониным, прибывшим на открытие памятника своему отцу, боровшемуся в Нижнем Поволжье за советскую власть и еще за что-то.

Юра предложил нам сходить в ресторан «Поплавок» и отведать настоящей ухи из осетровой головы. Попали мы в довольно замызганную, к бетонному берегу прислоненную, в натуральном говне плавающую забегаловку, громко, как и все наши кормильно-поильные дыры, именуемую рестораном, и с удовольствием узнали, что уха из осетрины здесь в самом деле производится. Сидим, ждем, напряженные, не до конца верящие, что в наши дни среди такой вот воды еще можно поймать осетра и предложить из него уху своим соотечественникам. Луконин по случаю торжеств в буржуйский костюм кремового цвета нарядился. Юра при галстукке, я разодет в только что приобретенный женою не где-нибудь, а в самой Вологде французский костюм цвета привядшего сена, в белую рубашу, в новые носки, туфли. Был я тогда еще при фигуре, в годах нестарых, сижу, сам собою и астраханскими женщинами люблюсь, ногой, обтянутой узкой туфлей, подрагиваю, новости столичные слушаю, поскольку Луконин был писательским начальником, то новостей знал много, и были они одна другой занимательней, не то что ныне — быть, не быть Союзу писателей? Жить, не жить на свете русским писателям? Уезжать, не уезжать всем за границу на прокорм? Да ведь не возьмут все-то, стары больно, и писать умеем только по соцреализму, будто по портняжному лекалу выкройки делаю. Но зачем, скажите на милость, соцреализм и соцреалисты нужны буржуям? У них своих дармоедов девать некуда и всяких реализмов доплатна, реалисты там попронырливей наших, и литфонда, который можно всю жизнь доить, как казенную корову, тоже нету.

Неуклюже ступающая, изрядно поддтая баба в ржаво-оплесканной куртке, которая еще в первой пятилетке была белой, разносила уху в щедро наполненных тарелках, из которых торчали аппетитные осетровые хрящи. Принесла Луконину — ничего. Юре принесла — тоже ничего. Но как пошла ко мне, тревожно мне сделалось: совсем развезло бабу, едва ковыляет, вцепившись в тарелку, погрузив оба больших пальца в горячее варево. Нарывают, видно, пальцы-то, врачи велели их в теплом держать. «Ой, кабы не облила она меня!» — подумал я, и только так подумал, баба

хлесь мне уху па брюки, на французские-то. Угодила точь-в-точь ниже живота... Я вскочил, петухом закукарекал, брюки горячие оттягиваю, чтобы спасти что еще от войны осталось, а баба мне: «Расселся тута, как хер на именинах!...».

Идем в гостиницу, уху не похлебавши. Молчим, потрясенные достижениями советского сервиса, я газетой «Правдой» ошпаренный перед прикрыл, ребята даже и не острят. Перед-то ладно, может, еще и заживет до свадьбы до серебряной, но вот как без штанов жить и папу домой везти?

По большому благу, активно и широко развитому в городе Астрахани, велеречивый Юра Селенский и неотразимо обаятельный поэт Луконин устроили мои штаны в сверхсрочную чистку за сверхвознаграждение. Луконин жил в люксе, там у него затеивался прием в честь героического отца. Весь вечер вместе с многочисленными гостями просидел я при галстукке, во французском пиджаке, прикрывшись бархатной скатертью с кистями. Меня норовили вытащить на танцы, я говорил, что танцевать не умею, что было сущей правдой, и вообще как мог отбивался от дружных гулеванов. С горя и досады хорошо наклюкавшись, печалился я о прошлом, о героической жизни нашего семейства, зимогорившего, где и медведи бурые уже не живут, потому как не всякий даже самый лохматый зверь там выдерживает...

Например, между исчезнувшими ныне станками Карасино и Полой в дровазаготовительном бараке, строенном на скорую руку и на большую артель. Папа время от времени выезжал из барака то на охоту, то за боеприпасами, то за вазелином, необходимым ему ежедневно, бросив в тайге на произвол судьбы молодую жену на сносях с двумя детьми, из которых я, старший, добывал удочкой рыбу и кормил мачеху и Кольку до тех пор, пока кормилец и глава семейства не вспоминал наконец о нас.

До дровазаготовительного пункта — темного и сырого барака, рубленного на одну зиму, потому как полусухой тонкомерный лес здесь будет подчистую выпластан на пароходные дрова и другой зимой заготовки пойдут в другом месте, — жили мы в станке Карасино, где папа начальствовал на засольном рыбном пункте. После длительной разлуки да и от хорошей возбудительной пицци мигом он сотворил новое брюхо потерявшей бдительность мачехе. Всего же он пятерых детей произвел на свет, не считая меня, шестого. Слава Богу, ни одному из нас не передалась страшная папина болезнь — псориаз, но вот тоже неизлечимый недуг, или тяжкий российский порок, — алкогольное замыкание прошло через голову. Одного брата уже смыло хмельной волной и унесло в могилу, младшая, самая красивая и боевая дочь папы, изображая из себя альпинистку, упала с

приенисейских скал; Коля умер от рака. Осталось нас на свете трое: Галя, Володя и я. Иногда младшие советуются со старшим, слушаются его, иногда — нет, живем-то далеко друг от друга и жизнью разной.

Колька после лютой игарской зимы и голодухи в Карасине обыгался, качал неуклюжую деревянную кровать на дугах так, что она на волне бьющимся кораблем валилась с борта на борт, порой малец вываливался из нее, бился головой об пол, орал на весь станок. Не раз мне за него попадало, поскольку, вернувшись под родительский кров, я снова был определен на старую должность — в няньки — и одновременно на новую, более ответственную — в сторожа при рыбоделе.

А мне хотелось бродить по лесам, удить и стрелять. Когда не очень донимали комары, я брал за руки восставшего почти из мертвых братана, вел его на Енисей, забрасывал удочки. Колька пулял в воду камни, пускал щепочки и добытую мной рыбу, восторженно заливаясь, хлопая в ладоши, радовался, если, отдышавшись, рыбина уплывала восвояси. В моей рыбе никто не нуждался, поскольку в папином распоряжении был рыбодел, полный стерляди, осетра, нельмы, муксуна, чира. Случалось, папа сдавал по пять-шесть бочек икры, тоннами соленую и живую рыбу. Пил рыбный начальник напропалую и в конце концов согнан был с кормного места, из начальников угодил на самую захудалую должность дровяного караульщика и на совсем-совсем нищенскую зарплату.

Еще когда мы жили в Карасине, я развлекался с малым братиком на берегу, пел на всю речку «с подтрясом», как артист, заверял папа, учил Кольку бодрым песням той поры, также и матершинным частушкам, которые он усваивал лучше, чем патриотические песни, — удался и этот малый в нашу залихватскую породу.

Петь-то я, значит, пел, но и природу наблюдал.

...Часу во втором мертвенно бледной заполярной ночи от острова Тальничного через Енисей тянул одинокий, молчаливый гусь и садился на нашем берегу по-за станком Карасино. Я выследил, куда он садился, вострепенулась во мне охотничья душа, стал я клянчить у отца ружье и патроны. «Ты знаш, что тако добыть гуся? Да ишшо летошного, гнездового? Надо масло здесь иметь! — звонко постучал себя по голове папа. — И стрелять, как я стреляю! Р-раз! — и ваша не пляшет!» — отец покуражился, поораторствовал, и, безнадежно махнув рукой, разрешил взять ружье, но наказывал припас беречь, патронов много не жечь.

И вот, уторкав Кольку в старой лодке, вытащенной на берег, сию я в кусту тальника, сросшегося с ольхою, жду заречного гуся. Давно жду. Тишь накрыла округу. Комары меня едят, как им хочется. Енисей перестал

блестеть под солнцем, как бы в тень отодвинувшись, солнце, зависшее поза островами, сморилось, никуда больше не катится, маревом его окутало. Убавляясь в ярости и размере, светило задремало, серым гусиным пухом окутавшись. Стоп! Пух есть, солнце, пусть и сонное, есть, но где же гусь-то? Не продремал ли я его? Только так я подумал и увидел в небе сером точечку. Она возникла там, в истаивающем, но все еще прозрачном крае неба, вылетела из-за острова, из-за солнечного кругляша и, пошарившись в нем, словно малая пчелка в подсолнушке, молча и величаво потянула над рекой.

Чувствовалось, что енисейские просторы гусю родны, подвластны, что зовут они его, радуют и томят прохладными ночными далями. Из комарика, пчелки, малой серой птахи превращаясь в размашистую, как бы из тлена прошедшего дня народившуюся птицу, шел гусь все так же спокойно, все так же величаво, сваливаясь к карасинскому берегу. Коротким гармонным перебором поприветствовал гусь наш берег, может, предупредил кого, сторожко огибая куст, в котором я сидел, может, себя взбодрил, и полетел над прибрежной полосой так близко, что я увидел прижатые к светлomu животу рябиново-алые лапы, даже заметил, что одну лапу вроде бы как отогнуло ветром на сторону. Широко размахнутые, остро изогнутые крылья с нарядным окаймлением из зубчатого пера, походившим на девичье кружево, пронесли надо мной птицу, и вроде бы опажнуло мое лицо воздухом, вроде бы даже просвистело над моей головой что-то.

В утихшем мире сделалось совсем тихо, когда, бесшумно паря над водой, птица пошла на снижение, на посадку, и гусь, легко тормознув крыльями, опустил на мысок в устье небольшой безымянной речки. Отшумев в половодье, речка эта заснула среди кустов, заилилась, густо заросла травой, превратилась в стоялые лужи. Там в надежном крепе водяного сора, в непролазной шараге росла, набиралась сил, обзаводилась чешуей, колючками мелкая рыбешка, утята ныряли, кулички плясали, и всякая водяная и лесная тварь, нуждающаяся в изобильной пище, в надежной ухоронке, чувствовала себя здесь как дома. Когда речка кипела и угорело неслась в Енисей, намыла она в устье своем бугор. Енисей встречными волнами нахлестывал сюда песка, ила, камней и запечатал речкин ход, остановил ее. В этом-то бугорке, в высохшем песчаном русле рылся гусь, выбирая чутким расплюснутым клювом всякое добро, за тем и летал сюда каждую ночь.

Прежде чем начать кормиться, гусь, вытянув шею, постоял недвижно, вслушиваясь в ночь, повертел головой, оглядел прибрежные кусты, реку: не плывет ли в тени бесшумная лодка с охотником, не притаился ли в

утенении кустов песчишка линияльй либо другой какой коварный зверь? Переступив на месте, как бы разминая лапы, коротко, успокоенью гагакнув: «Добро-добро», гусь пошел вверх по руслу, кланяясь, шевеля наносный сохлый ил.

Подбираться к птице было далеконоько. Сбросив башмаки, чтобы не стучали, пригнувшись, побежал под берегом, меж летошных побегов тальника, ольхи и смородинника. Как и всякий с детства избегавшийся парнишка, был я скор на ногу, легок телом от не особо обременительного харча, но гусь все равно что-то почуял, взнял голову от водомоины, насторожился, и тогда я решил ползти. Берег реки, как и всюду в Заполярье, был лестницею. Ближе к подмытому обрыву и лесу, уроненному водой, ступени узкие, с крутым взъемом, затем лесенки ниже, травянистой, в камешнике, где сиренево цветет береговой лук, пиканник, кровохлебка, шире, шире ступени, ниже и ниже уступ, нет уже ни бурых камней, ни кустов, ни даже луку дикого, одни хвоци да редкие травинки.

Отступая после весеннего половодья, вливаясь в меженное русло, Енисей оплодотворял природу, стелил по берегам намытую бурной водой почву, разносил по ней семя и успокаивался чистой, промытой полосой песочка, словно в горнице, застеленной желтыми половиками, млея, нежился, пошевеливался, потягивался, вздыхал, дымкой светлого песка шелестя, катался туда и обратно, вымывал мелкую разноцветную гальку; прибрежная кормная полоса кипела сплошною тучкою пугливых мальков, которые пригоршнями взлетали над водой, чего-то испугавшись, возле берега мелководье искрило, светилось, расходилось кружками, и шептало, умиротворенно шептало отштормившее, бородатое, морщинистое лицо Енисея, будто он, батенька, никого и не губил никогда, только жаловал да привечал.

Я решил ползти под укрытием средней ступени, не самой высокой, но все же способной укрыть человека, если он постарается ползти, совсем ужавшись в землю, почти сделавшись землею. Над ступенькой этой густо росли хвоци, цветом схожие с моими волосами, хитро все я продумал, даже кепку снял, чтобы гусь, глядя на мои волосья, верил, что это никакая не голова человечья, а хвоци пошевеливаются от легкого дуновения с реки. Комары грозovým облаком ворочались, клубились надо мною, ели меня дружно, безнаказанно, потому как я даже и отмахнуться от них не мог. Чем далее в ночь, в безветрии, в волглый морок, тем более налетало этой заразы, но мне было уже не до комаров, не до боли и крови своей, от которой липла рубаха к спине и шее. Не встревожился бы гусь от пирующего комара. Марал вон, зверина, лишь чутьем и бегом

спасающийся, замечает и загустевшего над человеком комара.

Я приближался к гусю.

Он вальяжно, враскачку вышел из водомоины, щипал желтенько цветущую узорчатую травку, зовущуюся гусятником, которой сочно заросли бугристые полянки по-над высохшей речкой. Гусь кормился, но бдительности не терял, все время вскидывал голову, смотрел, слушал, и смотрел-то все в одну и ту же сторону, в мою! Стало быть, не надо и вовсе головы поднимать, пугать птицу алчным человеческим взглядом. Улетит гусь — значит, жить ему, не улетит — на верный уж выстрел подлезу, и тогда, как молвит мой папа, «ваша не пляшет».

Подлез!

Приподнял голову, раздвинул носом хвоци — вот он, голубчик, вот он, красавец ненаглядный, стоит, смотрит, глаз круглый видно, в глазу ядрышко золотое сверкает, значит, солнце просыпается, из пуху из гусяного-то распеленывается. С солнцем гусь кормиться перестанет, улетит. Но еще будут туманы наутренние. Если туман поползет густой, островной гость тоже не останется на нашем берегу, подастся к себе домой. Возьми его там, достань. Хитер, зараза!

Я разговариваю сам с собой, пережидая, когда уймется мое сердце. Мне кажется, птице слышно даже, как оно бухает. Но нет, не слышит, не чувствует меня гусь, опустил голову, стрижет вкусную травку, аж слышно, как причмокивает от сладости и удовольствия зеленью сочащимся клювом: га-гак, га-гак.

Не тревожа и песчинки, без шороха просовываю ружье в хвоци. Чтоб не щелкнуло, курок я давно уже взвел, вытер глаз, которым целить, от пота о плечо, долго-долго, напряженно целюсь в бок гуся, чтобы не промахнуться, чтоб уж наверняка, в крылатый, не одним, а двумя иль тремя резными кружевцами украшенный бок, да еще и сине-зелеными перышками подкрашенный.

«Ну, Господи, благослови!» — облизав губы, соленые от пота и крови, молвил я и давнул на собачку, так опять же папа называет курок, и еще до дыма, до гула выстрела увидел, как огнем снесло перед моим лицом полосу русских хвоцей и разбрызгало с дальних травинок росу. Выстрела я отчего-то не услышал, только ощутил толчок в плечо от сильного заряда и увидел в черном ворохе дыма оседающую в траву, бьющую нарядным крылом крупную птицу, рвущуюся в небо. Крик, напоминающий звук все той же родной, но уже надвое разорванной старой гармонии, крик отчаянья, прощальный крик оглушал берег дохлой безымянной речки, заманившей, прикормившей дальнего гуся.

Крича: «Есть! Есть!» — я подбежал к гусю, схватил его. Он еще пытался бить меня целым крылом, поднимал голову, еще глаз его с гаснущим ядрышком света глядел на меня с ужасом и упреком. Я прижимал тугую, горячую птицу к груди, зарывался носом в холодное перо. Гусь зазевал судорожно, предсмертно, шевеля в клюве окроветелую травку, с которой реже и реже капало, пока наконец не выдулась в две дыхательные дырки на клюве пузыристая пена. Клюв беспомощно открылся, черная от крови выпала травинка, что-то клекнуло в горле птицы, она уронила голову, и с клюва длинно потекла жидко окрашенная слюна. В разнятых перьях шарилась комары, вязли в красном мокре, пытаюсь улететь. Под моими пальцами тише и реже стучало, все глубже утопая в птичье перо, вольное и сильное сердце, скребло мне в брюхо лапами, дрожало у моего подбородка изнемогшее крыло.

Не жалость, нет, восторг добытчика сотрясал меня, мое сердце рвало счастьем, меня звало прыгать, кричать: «Вот! Я сам! Сам добыл гуся!..» — наверно, и кричал и прыгал, потому что надо мной кружили чайки и орали, ворохами взмывали утки с насиженной поймы речки и, панически клохча, неслись куда-то, ударяясь в навислые кусты.

— Вот, смотри!..

Папа сонно глянул на меня, подержал в руках птицу, взвесил, заметил, видимо, еще во время весенней охоты перебитую, криво сросшуюся лапу — отчего и отстал гусь от стаи, отчего и жил бобылем, кормился в одиночку.

— В натуре гусь. Из тюрьмы лытал, — небрежно сказал папа, так и сказал презрительно, по-блатному, — не «летал», а «лытал». Заметив по моему лицу, что ляпнул не ко времени остроту, миролюбиво зевнул и добавил: — На пороход завтра продам, рубаху тебе куплю.

Я бережно, как это делают настоящие охотники, заложил голову птице под крыло, унес ее в кладовку, убрал в ларь, закрыл железную накладку, и подумав, просунул в петлю накладки палочки, чтоб ни собаки, ни кошки, ни какая другая тварь не добралась до моей добычи.

Усталый, в кровь объединенный комарами, но счастливый, полез я на чердак спать, сладко думая, какой я удачливый, какую папа купит мне рубаху на вырученные за мою добычу деньги. Если хорошо, с умом и выгодой продаст папа гуся, может, и на штаны сойдется. Сапоги он мне сулитесь сшить давным-давно, сапоги я заработал на рыбоделе еще до приезда Кольки и мачехи, днем пластая рыбу, ночью сторожа рыбный

склад. Папа мне уже показывал кожаный фартук, выданный в качестве спецовки на рыбодел. Из фартука выкроются переда и голенища, оставался сущий пустяк — достать подошвы и найти сапожника, папа сапожника знает в станке Полое, пьяница, конечно, как и все сапожники, но зато первого класса сапожник, вот время подходящее наступит, сплавает в Полой папа, закажет сапоги, тогда совсем все хорошо будет.

Лафа моя детдомовская кончилась. Пожил я на всем бесплатном, поел бесплатные харчи, поносил бесплатную одежду всю-то зимушку. И довольно! Хватит государство обирать! Раз родители объявились, пусть платят за содержание в интернате, одевают, обувают своего ребенка. Государству есть кого кормить и содержать, оно большое, и народу в нем много живет, тем более государство не обязано содержать такого неслуха, варнака, у которого нет никакого порядка ни в поведении, ни в учебе. По половине предметов сплошные отличные оценки, по другой половине сплошные очень плохие оценки. Без всякой середины! Этот всем надоевший ученик только разлагает здоровый коллектив, дурно влияет на детей и явно метит в бродяги иль в преступный мир.

Поскольку папа в интернат, объединенный с детдомом, за меня не платил и платить не собирался, то мне там из сердобольности отдавали обноски детдомовцев. Явился я под родительский кров в ветхой рубахе, в драных штанах и ботинках, которые просили каши. Только кепка на мне была новенькая рябенького, птичьего цвета. Кепку ту я выменял на горсть урючных косточек и за жошку у одного плахинского паревана. Очень я гордился этой ценной вещью и берег ее, но вот одежонку разбил до того, что мачеха уж и не знала, с какого боку ее чинить. Обновы, которые сулил мне папа, были бы совсем не лишние.

Проснувшись среди дня, первым делом забежал я в кладовку посмотреть на моего гуся, но его в ларе уже не было. Мачеха крикнула из избы: пристал пароход и отец унес мою добычу продавать. Что-то заныло во мне от нехороших предчувствий.

Пароход прогудел и отчалил. Папа домой не возвращался. Ждет, когда магазин откроют, чтоб рубаху мне купить... — со слабой уже верой в справедливое дело утешал я себя. Не было папы до обеда и после обеда. Вернулась мачеха и, отводя глаза, сказала мне, совсем упавшему духом:

— Не жди. Продал и пропил он твоего гуся... — Потрясла головой, отвернулась и добавила: — Да еще и глаз сулится нам обоим выбить. В натуре.

Мне казалось, давно, еще в раннем детстве, я выплакал все слезы, но в ту ночь на карасинском чердаке, забитом комарами, зарывшись в дряхлую

постеленку, я так горько плакал и так еще оказалось много слез, что обессилили они меня, просветлили и тяжело успокоили. Я решил уплыть от отца своего и больше никогда к нему не возвращаться, навсегда вычеркнуть его из своей жизни. Ах, мальчишка, мальчишка, наивный человек! Жизнь посильнее, поизворотливей твоих твердых рвений и намерений. Жить да быть тебе еще с отцом, никуда вам друг от друга не деться — так судьбой и Богом велено.

Летней, сенокосной порой папа отбыл из барака в сторону станка Полой с попутчиками, братьями Губиными, дровозаготовителями из соседнего, верстах в пяти ниже по течению Енисея расположенного дровяного табора. День, другой, третий — нету родителя. Рыбой питаемся, она уже приелась, горчит, как трава. Колька выплевывает рыбу, орет, хлеба просит. Мачеха сказала, слава Богу, перстун лодку не забрал, велела мне плыть, искать родимого кормильца. Мачехе страшно было оставаться в тайге одной, помня, что по берегам Енисея идут беглые арестанты из Норильска, да что же делать-то, голод неволит. И кроме того, никто ведь наш дровяной склад не освобождал от дел и служб. На обрывистом берегу было сложено тысяч пятнадцать кубометров дров, заготовленных зимою. Приставали пароходы, загружались дровами, топливом, выписывали квитанции, накладные и всякие бумаги, в которых надлежало расписываться о сдаче продукции дровяному начальнику, и он это делал с большой охотой, расписывался-то, важно вынося на берег папку с бумагами и карандаш за ухом. Меня и мачеху начальник записал в списки работников дровосклада, в наши обязанности входило спускать с крутояра по деревянному лотку к воде поленья дров, но мачехе, ходившей последние сроки, уже было не под силу делать эту довольно тяжелую работу, я же был склонен больше стрелять и удить, затянуть песню на весь Енисей с подтрясом, а не заниматься хлопотным делом. Поленья, катясь по лотку, часто в нем застревали, доски катка, сколоченные уголко, сваливались с козлин, и надо было бегать снизу вверх, сверху вниз ликвидировать технические прорухи. К приходу парохода надлежало стаскать от табора кубометров двести-триста, а табор с каждым днем отдалялся в глубь смятой, иссеченной тайги, потому как поленицы, будто стены храма, разбирались, исчезали, сгорая в утробах пароходных ненасытных котлов, и к осени здесь не должно было остаться ни единого полена.

Приставали к нашему табору чаще всего буксирные трудяги, сопровождающие вниз по Енисею огромные матки-плоты до Игарки, и вот, пристав и не найдя на берегу приготовленного для себя топлива, пароходные капитаны и матросы сами выполняли назначенную нам работу,

по лотку спуская дрова, или, ругаясь, уходили к другим дровяным складам, или составляли акт на дровяного начальника, не выполняющего свои прямые обязанности, неизвестно куда исчезнувшего, к пароходу на зов гудка не являвшегося. Словом, папе, а значит, и нашей семье, грозила новая беда — потерять и это таежное рабочее место, и ту жалкую зарплату, что отец получал как руководитель, те рублишки, что выплачивались нам с мачехой за подхватный труд на вверенном ему объекте.

И вот мачеха оставалась при ответственной должности выполнять обязанности дровяного начальника, а я, штатный грузовой трудяга, впряг собаку под названием Полюс в бечевку и начал правиться вверх по Енисею, зорко высматривая на его просторах лодку с непосредственным дровяным начальником, но нигде его не видно было, ни на водах, ни на суше. Начальник снова загудел, кинув свой объект и забыв про ответственность. Переплыв через реку на лодке в станок Полой, ходил я от избы к избе, вслушиваясь, нюхиваясь, как хорошо натасканная собака лайка, старался взять след родителя. И взял! В новом дощатом доме, в развеселой компании лихо отплясывал мой родитель, пятками об пол стучал, пальцами прищелкивал, ахал, охал, показульки озорные выдавал. Лицо его было вдохновенно, несколько отстраненно и серьезно — все видели, на какой высокой волне волнующего искусства пребывает он, в какие недостижимые выси захватило и занесло редкостно талантливое человека. Некрасовского толка и могущества братья Губины с соседнего участка, не способные ни к какому искусству, только в ладоши хлопали да завистливо глядели на развеселого своего товарища и, видно по лицам, сообразить не могли, как же вот с этими-то выдающимися артистическими данными человек на дрова угодил?

Папа, как когда-то в овощном ларьке, долго не замечал меня и не узнавал, но все же наконец выделил взглядом из публики, недовольно поинтересовался, отдыхиваясь, вытирая пот со лба: «Ты! Зачем ты суды приплыл? Кто те велел? Она?..» — и тут же посулился выбить мачехе глаз, но, отдохнув и выплеснув с досадой в себя рюмаху, решил оба глаза ей выбить, всех нас, в натуре, перестрелять, поскольку навязались мы на его «горькую головушку», мешаем ему везде и всюду, путаемся в его ногах.

Однако, как тут же выяснилось, стрелять папе было уже не из чего — он пропил ружье, нашу последнюю надежду и выручку. Жены братьев Губиных, бабы бывалые, всего навидавшиеся за свою вербованную жизнь, общарили папин пиджак, добыли какие-то мятые рублишки, велели мне бежать за хлебом, пока не закрылся магазин. Я купил полный мешок хлеба, да еще и на кило сахару для малого Кольки выгадал. Завернув мешочек с

сахаром все в тот же кожаный фартук, предназначенный для сапог, продукцию я тайком и поскорее снес в лодку. Предстояла боевая и трудная задача вытащить папу с гулянки из Полоя домой, к дровяному объекту, подманить к лодке Полюса, который сорвался с поводка и убежал в селение.

На Енисее тем временем подразгулялась волна от крепчающего к ночи ветра. Много времени я потратил на поиски двух беглецов, и когда поздней уже ночью решил бросить их и плыть через Енисей к мачехе и ребенку, по реке катили беляки. Ночь летняя северная хотя и светла, но хмарна, и мне показалось, что под другим, высоким, каменным, как говорят на Севере, берегом волна еще не крута, стоит мне перемахнуть туда — и я в безопасности.

Ширь реки возле Полоя версты четыре, может, пять, может, и больше, годиков же мне было всего тринадцать, с весны с будущей пойдет четырнадцатый. К тому же без сна и отощал на рыбе, рыская по Полою в поисках беглецов, выдохся, и силенок моих не хватило на всю реку. На середине ее начало захлестывать лодку, обвялыми руками, из последних сил держал я лодку носом на волну, безволие охватило пловца, хотелось бросить весла, не сопротивляться. Утону, так утону, экая потеря! Но там, в забитом комарами и кратким мороком лесу, ждали меня молодая женщина и ребенок, ждали, сжавшись от горя и страха, запершись на крючок. И пароход за дровами должен вот-вот подойти, по низкому лесному окоему уже растягивало, трепало дым из пароходной трубы...

Бился я, боролся с волной до потемнения в глазах, пока со стоном и плачем выгребся за середину реки. Под каменным берегом волна и в самом деле была не такая навальная, как на стрежи. Течение валкое, но не быстрое. Меня медленно сносило и сносило на пониз реки, к дровозаготовительному бараку. Я лежал в носу лодки, прикрыв собою мешок с хлебом и кулек с сахаром для брата малого, собираясь с силами и пытаюсь выловить корье, плавающее в полузатопленной лодке, чтобы снова прикрыть хлеб от хлестких брызг. Фигурку в белом платке, которая металась по берегу, махала мне, звала, я и увидел на берегу не сразу. Меня несло мимо барака. Где, у кого, каких еще сил я набрался? Всевышний, должно быть, и на этот раз мне пособил. Выбился я под высокий берег, снова ушел из-под волны, все более звереющей, в совсем отяжелевшей лодке. Скребусь к берегу, плачу, кашляю, мачеха в ледяную северную воду забрела, за нос лодку ловит, диким голосом кричит и не мешок с хлебом, меня под мышки волочит из лодки, волочит и целует, целует в мокрую голову, повторяя: «Царица Небесная! Господи, батюшка, помог!

Милостивец!..». И на угор, на угор, в теплую баню, одежду срывает с меня, но я уже большой, зажимаюсь. «Да не стыдись ты меня, не стыдись! Мать я тебе, мать!..».

Потом уж, сквозь тяжкую муть и смертельный сон, доносило до меня слова мачехи, научившейся говорить с самой собой: «Сахар-то, сахар-то обернул, бечевкой обвязал! Вот откуда чё берется? Пустобрехом рожон...». И про хлеб что-то успокоительное напевает; подмокли булки-то, да мы их подсушим, которые совсем раскисли, перемесим, перестряпаем па лепешки... «Не-э пропадем, ребята, не пропаде-ом!..».

Явился папа, больной, трясущийся, со спекшимся черным ртом, и сразу в наступление, почему я уплыл, бросив его одинокого на чужом берегу? Почему не купил ему «визилину» и табаку? Денежки вот из кармана выгрести догадался, жульман городской, но о больном человеке не подумал! И в наказание приказал мне идти на соседний дровоучасток к братанам Губиным за ружьем.

Не пропил, а променял он ружье — старую, заслуженную двустволку — на одноствольный дробовик, поскольку нужны были деньги на продукты и вазелин, и ему дали придачу братья Губины, да еще какую придачу! Мозга у него шевелится, масла достаточно, чтобы обмозговать выгодно обменную операцию. Выходило, папа на полойском берегу не пил, не гулеванил, за копейку бился, соображал, как нас, дармоедов, дальше и лучше содержать. Голова его от забот поседела, мы же не только не ценим его радений, но и ведем себя черт знает как — недостойно, вольно, во вред ему и не на пользу общественному делу.

Ветер все еще не унялся. По Енисею шла уверенная волна, комаров с берега сдуло, загнало в прибрежную шарагу. Светлой ночью, под незакатным солнцем босиком шлепал я по мягкому приплеску, и вольно мне было. Никуда я не торопился, никого и ничего не боялся, пел песни, ел ягоды смородины, пил воду из ключей, пулял камнями в чаек, кружащихся надо мной, и не знал еще, что поход тот останется во мне на всю жизнь таким ярким озарением. Я озорно торжествовал, когда от берега вплавь бросилась врасплох застигнутая утка с выводком, выедавшим на отмели мулявку и всякие корешки, выброшенные волной. Утят, будто пробочки, подбрасывало на волне. Я хлопал в ладоши, пугал пташек, утка, изображая из себя предсмертно раненную, больную птаху, бултыхалась на воде, кружилась на прибрежном урезе, где ходила мутная вода, отманивая меня от выводка и одновременно командуя, чтоб детишки не лезли в круто

бьющую волну. Поняв, что весь «тиятр» этот разгадан, утка, сердито крякая, летала над моей головой, прогоняла меня вон, обрызгала водой с крыльев и даже целилась обкакать, но я увернулся; глухарь, тоже подбирающий на берегу корм и камешки, уже сменивший перо, но не окрепший крылом, под шум волны не услышал моих шагов и, застигнутый врасплох, по-мужицки пьяно почесал от меня в чащобу, и я чуть было его не настиг; сидящие на чисто выдугом песчаном осередке гуси перестали кормиться, тянули шеи вверх и, словно на собрании или в кино, вдруг радостно загорготели обо мне — он без ружья, он же так, для испугу глаз щурит и палкой целит. Одного нашего брата угробил зазря, отец все равно потом пропил добычу, теперь вот и ружье пропил, и бояться нам стало вовсе нечего и незачем.

Гагару, вылетевшую на Енисей проветриться, надо мной забазарившую и плюхнувшуюся на мелководье, пугал я, бросал в нее камешки. Способная занырнуть при выстреле от дробы, гагара не улетела. Бесстрашно играла со мною, поныривала, мелькая юрким задом, и я говорил гагаре: возьму вот у братьев Губиных дробовик да пальну, узнаешь тогда, как баловаться.

В одном месте в логовину налило штормом воды, набило туда рыбешки, и над губельно обсыхающей лужей густо, будто бабочки боярышницы, клубились чайки, трепетали, суетились, дрались, играли и жрали, жрали. Весь уже песок обгадили, но не давали прожоры приблизиться к корму воронам, возмущенно орущим с вершин леса, по которым они расселись и, глядя сверху, страдали, что ничего им не останется от дармовой трапезы. Я снес несколько пригоршней рыбешек в Енисей. Да разве спасешь тут всех, вычерпнешь руками губельный водоем?

Братья Губины шибко удивились моему явлению: никакого ружья они папе не обещали, наоборот, он им остался должен, поскольку спьяну положил цену за свое ружье ничтожную. Так уж и быть, долг они прощают. Однако ж поговорят с моим отцом при встрече — сделан был договор, при народе ударено по рукам, и нечего этому артисту клепать на них напрасно. Сердобольные бабы братанов Губиных покормили меня, дали поспать в пристройке.

Папа шибко гневался на меня и на братьев Губиных, мачеха гневалась на папу. Трепло несусветное, говорила она, мало что склад на произвол судьбы бросил, парнишку чуть не утопил, так еще его же и за пропитым ружьем послал и теперь вот «тиятр», в натуре, разыгрывает. Папа упорно стоял на своем: он, увидите, еще разберется с этими братанами Губиными и даже которому-то из них выбьет глаз. В натуре.

Подлая, унижающая привычка посылать мачеху и меня кланяться за деньги, выглядывать куски, жаться по чужим углам сохранилась в папе на все время, пока мы были с ним, а он с нами.

Там, в дровозаготовительном морхлом бараке, я доходил до того, что иной раз, боясь себя, думал, не выдержу и зарублю, застрелю или зарежу папу. Мачеха молода, издергана жизнью, однако хорошо битым и тертым бабьим чутьем улавливала неладное.

— Не надо, парень, не надо! Ты что задумал? Бог с тобой — прижимая к округлому, горячо пекущемуся животу, гладила она меня по голове. — Не связывайся с ним. Характер твой потылицинский, чижолай, нерва издергана, сгребешь его да и уконтромишь. Мне не отобрать, я вот-вот растелюсь. И пойдешь ты по отцом проторенной дорожке, по тюрмам да по этапам и погибнешь там. А воротись? Таким же, как он, и воротись, испортишь чью-то бабью жисть, может, и не едину, как он мою жисть испортил, загубил, подлец. — Глядя отрешенно в мутное, сплошь покрытое окроветелыми комарами, паутами да мухами окошко, мачеха вздыхала. — Лучше уж я сама. Терплю, терплю да и ухоньдехаю этого плясуна-блядуна. С бабы какой спрос? Да ишшо с брюхатой?

Мачеха неуклюже, но по-женски умно отводила от меня беду и говорила, чтоб терпел я до осени, там. Бог даст, в Игарку уеду, люди добрые, Бог даст, снова не оставят на ветру, снова в интернат определяют на казенное содержание.

— Тебе бы лучше было у бабушки остаться. Аль уж одному скитаться. Каки мы тебе родители? Сами свою жисть запутали, хоть в петлю лезь.

Годы минули, жизнь папина прокатилась по земле, он ее почти и не заметил. Сидит вон в гудящем самолете, клюет носом с тяжкого похмелья и не до конца понимает, куда опять, зачем влечет его бурная судьба, да и понимать не хочет, не приучен он отвечать за себя и за кого-либо.

Перед улетом побыли мы на астраханском кладбище, как и всюду по Руси, довольно запущенном, захламленном. Была там лишь одна достопримечательность, ее показывали всем гостям Астрахани, и папа, конечно же, мне показал. Скульптура из белого девственного мрамора, излаженная под греческую пышнотелую и пустоглазую матрону, стыдливовыми ладошками зажавшую голую письку, — памятник юной любовнице, доморощенная прихоть какого-то здешнего купца. На новом кладбище среди множества ничем друг от друга не отличимых могил, плавающих в вязкой глине, виднелся голый холмик с привязанными по

кресту двумя до бледности промытыми дождем венками — здесь покоилась последняя жена папы.

Покаянно склоняясь головой, сиротливо стоял отец над холмиком. Ни о чем не обмолвившись, сделал мне отмашку, отойди, дескать, и мелко-мелко затрясся, шепча что-то, затем пошлепал по глине, не выбирая сухого пути, швыряя носом, утирая платочком лицо. Не крестясь, не прочтя ни одной молитвы, навсегда простился с близким человеком. До самой смерти он оставался неприкаянным безбожником, да и молитвы он давно все перезабыл.

В отдаленном московском аэропорту Быково народу не протолкнуться. Папа совсем плох, сидит на рыхло увязанном узлице, прижав ногой бечевкой перепоясанный чемодан, просит глоток водицы. А за водицей той, точнее за мутным соком, наливаемым прямо из пузатой банки, очередь в сотню человек.

Пока я сидел в астраханской гостинице без штанов, папу в дорогу собирали Юра Селенский и лучший друг папы Евлаша. Навязали они всяческого барахла, хотя просил я взять с собой самое необходимое. Однако по стародавней привычке деревенского жителя ценить каждую тряпку и показать нам, что явился он с нажитым добром, собрал папа подушки, ватные одеяла, недоношенную обувь, портреты со стены, альбом с фотокарточками, что-то из вещей Варвары Ивановны в подарок жене и Ерине — так в России повелось издавна, раздавать вещи покойного живым. Всплакнув, попрощался папа с опустевшей конурой, положил ключ под крылечко — для племянницы покойной жены — вышел на середину двора, остановился возле вечной астраханской лужи, скульптурно отразился в ней, стащил с головы кепчонку, поклонился направо, налево: «Прощайте, люди добрые, и простите меня за мое нескромное поведение».

Никакого ответа ниоткуда не последовало, лишь послышался вдогонку волосатый бабий бас: «Езжай-таки, езжай! Да не портишь своим детям нервов, как ты их портил нам продолжительное время».

Э-эх, папа, папа, забубенная головушка! Как теперь-то с моей-то доблестной семьей жить станешь? Непростая семейка-то, ох непростая. Но папа уже едва шушкает, в узел уткнулся, ртом обсохшим шевелит, да не жалуется — на этапах, видать, бывало и хуже ему.

Вся надежда на девчонок, работавших в Быкове. Были они в те поры в Богом и «Аэрофлотом» забытом аэропорту вконец отчаянные, озорные, невозмутимые, почти бесстрашные, но все еще к народу сочувственные. Как и вся наша советская бытовая обслуга, клиентов не любили, но по христианскому завету жалели, поскольку сами вышли из того же народа.

Не раз и не два выручали меня быковские девушки на пути в Вологду, не требуя никаких воздаяний, на торопливое «спасибо, спасибо» дружелюбно махали рукой: «Лети, дяденька, домой, свои люди!» Одна проводница, Зина, прониклась ко мне особенным участием. У Зины той, в общем-то красивой, фигуристой девахи, от судороги иль испуга был перекошен рот, у меня на фронте покорябало лицо, и эта деталь иль с детдома доставшееся понимание чужой доли — несчастья и ранимости, из-за физического изъяна никогда «не замечаемых» собратом по несчастью — пожалуй, и сблизило нас. Да и видал я уже девушку с таким-же повреждением в сорок втором году в Красноярске перед отправкой на фронт и даже влюбился в нее односторонне, без всяких, впрочем, последствий для жизни и судьбы.

«Господи! Помоги мне увидеть Зину!» — взмолился я и уже через минуточку вижу — спешит она по залу, запруженному пассажирской клейкой массой, за рукава ее цепляющейся. Я приветливо заулыбался на всякий случай, да много тут таких приветливо-то, заискивающе улыбающихся. Ловко набрался я наглости и окликнул ее. Глянув критически на меня и на папу, Зина покачала головой: «На вологодский? С таким багажищем?! Да и посадка заканчивается».

Папа мой, совсем было скуксившийся, вдруг воспрянул для борьбы, сказал девушке, что он в голову ранен на войне, в натуре, болен опасной неизлечимой болезнью, ему середь народа долго находиться нельзя. Зина сказала: «Я сейчас узнаю» — и умчалась куда-то. Смотрю, тем же наметом мчится обратно, издали рукой машет. Сгреб я узел, чемодан да и за Зиной к самолету. Тот уж под парами, турбинами нетерпеливо визжит. «Дедушка, дедушка, скорее, миленький, самолет задерживаем!» — вскричала Зина и, под руку моего папу поддев, поволокла его к трапу. Заскочив в подпрыгивающий, лапами шевелящий самолет, бросил я узлище, чемодан в багажном отсеке и навстречу папе кинулся, чтобы схватить его за шкурку, втянуть наверх, — вижу, капитан мой, директор, непобедимый зверобой, плясун на карачках ползет по выдвижному трапу, хватаясь за ступеньки. «Счас коньки отброшу, счас коньки отброшу», — повторяет.

Тут на глиной припачканных, скользких ступеньках самолета вскипело, рассиропилось мое траченное российское сердце, и простил я папе все и навсегда.

Сколько потом было всего и всякого в нашей совместной жизни — не пересказать. Папа пил, гулял, паясничал, невзирая на преклонный возраст, пытался завлекать женщин, поиспортил отношения со всеми моими

домашними, даже с дочерью, больше других его обожавшей. Однажды я пробыл в Москве вместо суток четыре дня. Хозяйничая дома с моим папой и с больным ребенком, дочь моя с порога заявила, что с этим идиотом больше никогда ни на час не останется домовничать. Я в сердцах заявил в ответ, что всем бы вам, современным деткам, хоть с годик побыть в обществе моего папы, вот тогда, может, все вы лучше почитали бы родителей своих.

Все чаще и чаще надолго сваливался папа. Предчувствуя смерть, просил меня уже не для «театра», не для того, чтобы разжалобить: «Увези меня в Сибирь! Хочу быть похороненным возле жены моей Лидии Ильиничны в Овсянке». Я уже готовился к переезду с Вологодчины в Сибирь, просил папу хотя бы какое-то время не пить, побережь себя и тогда непременно свезу я его на родину, к родным могилам.

Был я в Сибири в творческой командировке, когда пришла мне телеграмма из дома о том, что отец находится в тяжелом состоянии. Если бы было не опасно и терпимо, меня не потревожили бы. Билеты на самолет из Красноярска, как всегда, достать было трудно, я не вдруг вылетел домой. Папа мой, меряя весь свет и всех на свете на свой аршин, сказал жене: «А что, Витя бросил нас?». Жена его успокоила: мол, если раньше, когда помоложе был и поздоровее, не бросил, то теперь, Бог даст, подобное происшествие уже не случится. И в больнице возле папы дежурила она, моя отходчивая сердцем жена, которой он тоже успел причинить многовато обид, да кто ж на умирающего человека обижается. Что папа умирал, было достаточно одного взгляда — сделался весь желтый, почти коричневым, речь его сыпкая, звонкая заторможена, сжевана от снотворных и обезболивающих лекарств, но голосок, но манеры, все не унывающие, все юноше под стать. Попросил папа, чтобы мы подняли его с постели и поводили по палате. Идет, обнявши меня и жену, ноги его плясовые-то, бегучие, нетерпеливые ноги отстают, сзади волокутся. Я и говорю: «Папа, тебе сейчас в самый раз сплясать». Он мне с потугой на озорную улыбку: «Не сплясать, а сбацать».

Главный хирург областной больницы отозвал меня, заговорил насчет операции. Папе стукнуло семьдесят восемь, и я спросил хирурга, в чем ведении он ныне, в медицинском или в Боговом. «Больше в Боговом», — честно признался хирург.

— Не надо мне никакой операции, — оставшись со мной наедине, повел «мужицкий разговор» папа. — Наступил конец моему пределу. — Подышал, отвернулся к стене и как бы сам себе молвил: — Хватит с меня хворей, больниц, тюрем, лагерей, скитаний.

Без сознания он был совсем недолго и умер во сне от распространенного ныне среди пьющих наших мужиков недуга — цирроза печени. Легко жил человек. Нетрудно в отличие от других моих родичей ушел в мир иной.

У гроба отца сидючи, я думал о том, что не прав был, когда говорил ему: Господь, мол, избавил маму от него, пусть и такой мучительной смертью. Конечно же, не прав. С годами эту неправоту ощущаю все больше. Папа — крестьянский сын, пусть из бурной, непутевой, но деревенской семьи. Я знаю доподлинно, что мама любила его, и не он, а она несла бы свой крест насколько хватало сил. По распространенному на Руси верованию, весьма и весьма редко исполняющемуся, может, и человека бы из него сделала, если б сама не сломилась прежде.

Деревня не терпит баловства и ветрогонства. Здесь надо жить трудом и заботами о семье. Главное в деревенской жизни — постоянство, остойчивость, надежность. Сшибленный, сжитый с Богом ему определенного места, несомый по земле, что выветренный осенний лист, папа, не то придуриваясь, не то основываясь на жизненном опыте, не то политически выламываясь, на вопрос, кто во всем виноват, неизменно отвечал: «Ворошилов виноват!»

Других вождей он, видать, не терпел, не хотел помнить, воссоединял их всех в образе первого маршала, но есть тут и моя личная догадка: дался тот Ворошилов папе потому, что шибко они пошибали друг на друга лицами и носили одинаковые усики.

Так вот и остался папа на чужой стороне, в неглубокой вологодской могиле, заваленной мокрыми комками, так и не додюжил до Сибири, где могилы роятся такие, что «не вылезешь и не сбежишь», заверяла моя покойная тетка Апраксинья Ильинична, в жизни — Апроня, покоящаяся вместе с Кольчей-младшим и моей дочерью уже на новом овсянском кладбище, среди березового леса, где были до коллективизации деревенские пашни, но потом земля стала ничья.

От папы остался альбом с фотокарточками, увеличенный фотопортрет и записная книжка. В книжке текущие впечатления, записи погоды, стихи, которые он таил от меня и доверял печатать на машинке только жене моей. Надо заметить, что стихи нисколь не хуже тех, что еще совсем недавно широко печатались и печатаются по нашим газетам, альманахам, даже в столичных журналах. Немножко бы папе грамотешки добавить, непререкаемости же в образованности своей поубавить, и он вполне мог стать в ряды членов Союза писателей СССР, пить и кормиться с помощью поэзии, как это делает легион отечественных стихосложителей.

Самая знаменательная в записной книжке папы оказалась последняя, крепко засекреченная запись: «У Любки фамиль Ковалева». Развеселое мое семейство доподлинно установило — Любка эта работает продавцом в «сорокашке», стало быть, в вологодском железнодорожном магазине номер сорок, располагавшемся через улицу от дома, в котором мы жили. В «сорокашке» папа частенько разживался винишком. Любка Ковалева на шестьдесят лет моложе папы, и какие он имел на нее виды, никто уж и никогда не узнает.

Говорят, и в последнее время довольно часто, что родину не выбирают. От себя добавлю: родителей тоже. Да и детей не выбирают, они на свет являются сами. Готовых угланов только в род— и детдомах отсортировывают и выбирают, точно овощ и фрукт, но все остальные со дня мирсотворения живут по велению судьбы и природы.

Она, природа, и Создатель подарили мне моих родителей, родители подарили мне мою жизнь, отечество родное — судьбу мою сотворило. Не судья я им, и не указчик, и не идейный наставитель. Лишь вздохну, помолюсь и молча вымолвлю: «Пусть тебе, папа, спокойно будет хотя бы на том свете. Блатные, помнится, пели в твоё время: „Выпьем, хлопцы, выпьем тут, на том свете не дадут!..“

Трезвый же ты непременно углядишь своим зорким охотничьим взглядом среди несметной молчаливой толпы молодую рослую женщину с одной косой — другую у нее оторвало сплавной боной, когда она плыла к тебе в тюрьму с передачей. Ступая босыми ногами по облакам, она непременно пойдет навстречу тебе, ведя за руку маленьких ангелочков — узнай их, это жена твоя из дальнего далека вместе с детьми и внуками твоими, покинувшими сей свет раньше тебя, спешат соединиться с тобою на блаженном небесном покое. Полюби же и пожалей их всевечной любовью, коли здесь, на шатучей земле, во взбаламученном мире, времени и сердца на нас, на детей твоих, у тебя не хватило.

Вечерние раздумья

Но хаос, однажды выбранный, хаос застывший, — есть уже система.
Александр Солженицын

Прошло одиннадцать лет как я возвратился на родину, купил избу в Овсянке, в родном переулке, против бабушкиного и дедушкиного дома, и стал ждать, чего ждут и не могут дожждаться многие люди, — возвращения прошлого, прежде всего детства. Но когда-то я ставил к первому изданию «Последнего поклона» эпиграф из стихов замечательного поэта Кайсына Кулиева: «Мир детства, с ним навечно расставанье, назад ни тропок нету, ни следа, тот мир далек, и лишь воспоминанья все чаще возвращают нас туда...».

Однако и воспоминания иссякают. Так, какие-то вспышки далеких зарниц, отголоски прошлого, печаль о прожитом и пережитом еще настигнут в этом дерганом, шумном и суетном пути, по ним, по этим озвученным памятью дальним звукам, всколыхнется, воскреснет что-то, и «недаром мне вздыхалось сладко в Сибири, в чистой стороне, где доверительно и слабо растенья никнули ко мне». Да, верно, еще вздыхалось, еще никнули растенья, люди, песни, воспоминания, и написал я здесь, уже в родной деревне, несколько глав, вроде бы не утратив звука и строя повести, но почувствовал тогда же: книгу пора заканчивать, надо жить дальше или доживать и перелистывать другие страницы, в этой же книге настало время ставить точку.

А жизнь в последнюю главу, словно в угасающий костер, все подбрасывает и подбрасывает хворосту. Таково свойство ее, жизни; и материалу — только в записях, письмах, документах, воспоминаниях моих читателей — накопилось, пожалуй, на целую книгу, но, вероятно и скорей всего, — на книгу совсем другую.

В первые годы, когда в селе моем жило и было еще много гробовозов и оно не превратилось в придаток пригородных дачных поселков, я любил поздним вечером, «после телевизору», пройти по спящим улицам, сделать круг, посмотреть, повспоминать, подумать, подвести итоги жизни вот этого вот села, в котором от бывшего скоро останется лишь название.

Из Овсянки вышли академик, два майора и один полковник, несколько приличных учителей и врачей, два-три инженера, много шоферов,

трактористов, мотористов, механиков, три-четыре пары мастеровых людей и много-много солдат, polegших на дальней стороне. Но сколько же оно породило за мой только век убийц, хулиганья, воров, стяжателей, кляузников, сплетников и просто людей недобрых, кроме зла ничего на свете не сделавших и не оставивших... Много, слишком много мешающего утвердительно говорить о разумном смысле человеческой жизни. Люди в моем селе не столько жили, сколько мучались и мучали. Тропа народная с котомками в город и из города так до сих пор и не заросла, потому как камениста она да и полита солеными горькими слезами, на которых, как известно, даже трава не растет.

Какую же память оставляет за собой мое родное село? Чего и кого оно помнит?

Никого и ничего, кроме близкого горя, оно не ведает.

В поссовете нет ни летописи, ни документов, ни метрик, ни бумаг о том, откуда село взялось, кто и как основал его, почему так назвал. Оставшиеся еще в живых гробовозы помнят дедушку и бабушку, редко — прадеда и прабабушку. Новожители не помнят, не знают и знать не хотят никого и ничего. Рожденные с тюремной моралью «умри ты сегодня, а я завтра», они живут сегодняшним днем, с растренированной памятью, угасающим сознанием, и только жажда наживы и поживы еще руководит их инстинктами, движет к близкой цели. Даже собаки повывродились, вместо благородной труженицы лайки бродят по улицам и переулкам трусливые, грязные чудища, в которых смешались все собачьи породы и земные эпохи. За сахар, за кусок послаще служат, голос дают. Во дворе гремят цепями, на звук шагов бросаются псы, стерегущие добро, повиснув подбородком на заплоте, храпят, слюною брызжут, сжирая человека кровью налитыми глазами. Иногда им удается сбежать. С обрывками цепи на шее, будто каторжник, рванувший из руд, пес лезет в кусты, в крапиву, чего-то там нюхает, фыркает, скалится на встречных собачонок, готовый в любую секунду перекусать их, затрепать до смерти.

Пока не вымерли мои погодки — инвалиды Отечественной войны, повествовали они об одной яркой странице жизни села.

Было это еще до перекрытия Енисея, в пятидесятых годах. Шел из города в село грузовик с бормотухой, шел уже весной, в распары, чтобы помочь народу перед праздником Пасхи и Первомай взбодриться, магазину выполнить квартальный финансовый план. Шел, значит, шел грузовик с бормотухой, миновал уже Собакинский совхоз, который, полностью

перейдя на изготовление и производство продукции «без химии» для руководящей элиты, обрел наконец надлежащее название «Удачный». На самом подходе к цели опрокинулась машина в водомоину, и почти весь ее груз вывалился на лед. Шофер на машине был овсянский, он донес до родного села печальную весть о погублении ценной продукции, принялся звонить в город, чтобы помогли ему выручить хотя бы машину.

Ночью гулкой, все еще студеной, на верхней стрелке по другую сторону Енисея возле острова Собакинского, по-собачьи позорно поджав лапы и оголив промежность с задним мостом посередке, напоминающим собачьи же мужские принадлежности, пьяно лежала на боку орсовская машиненка, не раз чиненая-перечиненая как поверху, так и понизу.

И начался пир на весь здешний мир! К машине — кто бегом, кто пешком, кто на санках, кто на костылях, кто на инвалидной коляске — спешил народ со всей округи, прежде всего из Овсянки, из двух слизневских рабочих поселков, с известкового завода, из совхоза, тогда еще Собакинского. Когда весть докатилась до подсобного хозяйства и манского сплавного поселка — толпы народа уже не просто пили и лежали вокруг машины, они уже жили здесь, жгли костры из ящиков, тащили крашенные заборы от ближних дач, катили вытаявшие сплавные деревья. Где-то вблизи, не иначе как с совхозной фермы, гуляки смарали, без лишних слов приволокли на место пиршества предсмертно кричащего подсвинка, почти живьем его опалили и пустили на закуску.

Поначалу в ящиках, вывалившихся из машины, старатели находили целые бутылки, и оглашал тогда окрестности победный крик, затем пили вино из битого стекла, резались об него, и весь лед вокруг поверженной машины был красный, где от бормотухи, где от крови — не разберешь. Наконец дело дошло до того, что лопатами, ломами и всяким другим железом выдалбливали лед, таяли его в сподручной посуде, не умеющие терпеть и ждать крошили зубами сладкие комки. Машину, чтобы не хлопотать насчет костра, ослабевшие гуляки подожгли. Хорошо им было, даже жарко возле такого пекла, но шибко закоптились да и от пьянства почернели мужики. Когда дети пришли за папами, жены с палками за мужьями, чтобы побить их и увести иль унести под родимый кров, то где чей папа и муж — узнать они уже не могли.

«Но-но-о, парень, дали мы тогда! Во погуляли дак погуляли!..» — и годы спустя с восторгом вещал мне мой однокашник по школе и детским играм. «Что ж, кто-то замерз и помер?» — «А как жа! Как жа! Поспи-ка пьяный на леде, да этъ и сосали его, лед-то, в брюхе холодно, трясет всего, но голова проясняцца, дух бодрееет! Дядя Егор помер сразу, даже не успел

опохмелиться, бедолага. Ишшо на том конце деревни, за речкой, два мужика, слышно, концы отдали. Совхозный тожа, говорят, и слизневские, которые не поднялись, на известковом двое моих корешей-инвалидишек скосопузились... Да и сам я едва обыгался, собак ел, барсучье сало горячее пил, медвежье тожа, месяца четыре подряд кажин день в баню гонял, до-олгонько животом и лехкими маялся... Но ничё-о, ничё-о, снова в строю, поставишь — опохмелюсь...».

Внимаю товарищу детства моего, обрюзгшему от пьянства и безделья, а из проигрывателя с подаренной мне записи современный монах плаксиво ведет: «Мир тебе, одиноко бредущий, и тому, кто тебя приютит...».

Вот у этого мужика иль старика была тетка. Про нее говорили жуткое: родив двоих детей, остальных она при родах давила в ногах. Везде хотела быть эта женщина первой, азартна была до того, что когда брала ягоды, сикала в штаны, чтоб не терять времени, не отвлекаться по пустякам. Никого и ничего она не боялась, мужика своего лупила, но когда делали первый раз прививку от оспы в селе, упала без сознания на пол. Оспу ставили в сельсовете. Несколько ламп сразу горело. Народу — толпа. По деревне смятение, рев, кто храбрится, кто причитает, кто молится, кто на сеновале прячется. Колдунья Тришиха вместе с ненаглядным сынком спрятались в печку, едва вытащили их оттудова. Орлы дяди Левонтия и те чуть в леса не сбежали, но Санька — опять же Санька! — обреченно ступил следом за отцом в сельсовет, будто на шаткую палубу корабля. Вышел бледный, держа рукав выше локтя закатанным, прошептал: «Ништяк...» — и скрылся. Как ни наказывали людям после прививки не чесаться, во сне и наяву, не выдюжив зуда, грязными ногтями царапали красно набухшие пятнышки. Заболели несколько человек, затемпературили, руки у них покраснели, распухли, по селу слух: «Мор напустили!». Сейчас вон хилым детям в башку уколы ставят, из вен кровищу высасывают, и ничего.

Сестра моего сотоварища, непобедимая ягодница, как подкулачница угодила в ссылку аж на Таймыр, потеряла там детей, мужа да и осталась при женской пересыльной тюрьме надзирательницей. Пила, обирала эчек, поставляла их начальству и забивала насмерть, если которая смела в чем-то ослушаться. Она еще жива, извела двух городских мужей, насорила на себя похожих внуков, реденько появляется в родном селе. Не согнутая годами, вся золотом обвешанная, покрашенная, что современная девка, без нормы курящая, матерится громко с блатными вывертами и обязательно в людных

местах, напившись с племянником, громко плачет она, лицо ее линяет, и обращается тогда в страшную, беззубую старуху, тряся облезлой головой, жалуется: «Горемычная, горемычная я...» — и тихо, незаметно исчезает куда-то из села.

И у меня была тетка. По отцу. Звали ее Авдотьей, но на селе знали как Дуню, потому что до взрослого бабьего звания она здесь не дотянула. Когда начались гонения на крестьян, и в первую голову на мельника, главного мироеда на селе, стало быть, на моего прадеда Якова Максимовича Мазова, и на деда — Павла Яковлевича, тетке Дуне, девахе видной, нравом, как и вся отцовская родова, звонкой, шел восемнадцатый год и она встречалась с сидоровским Федором, жившим тоже на нижнем конце села. Федор состоял в колхозе кладовщиком, входил в правление колхоза имени сибирского героя-партизана Щетинкина, невеста же у него — подкулачница. Когда всю ораву мазовских выгнали на улицу, партийцы начали растаскивать добро из дома, пилить и колоть дворовые крепкие столбы, отыскивать в них золото, тетка Дуня прислонилась к сидоровским, стала невенчаной женой Федора, так как церковь на селе закрыли, все в ней добились, колокола сбросили и камнями покололи. Семейство сидоровских, среди которых был Леня, мой одноклассник и дружок по играм, человек смиренный и добрый, как и остальные его братья, отличала могучесть женской половины. Все сидоровские девки и бабы, ныне уже старухи, — боевые, работящие, с могучими голосами, не утраченными и по сию пору.

Коллективизация в нашем селе, как и всюду по Руси, смешала добро и зло, перепутала меж собой людей, оголодила. Стали ко кладовщику ходить-похаживать один по одному селяне, просили помочь хоть горстью мучки, хоть совком зерна, хоть крупкой иль картошкой на варю. Федор на беду и просьбу был отзывчив, отказать никому не мог, и в кладовой у него получалась растрата.

Надвигалась гроза, скорый суд и расправа. Подбросив ключи от кладовой в окно правления колхоза, Федор ушел, скорее уплыл из села ночной порою вместе с беременной невенчаной женой — моей теткой Дуней. Доходили слухи, что осели они в новопостроенном шахтерском поселке Черемхово, сменив фамилию, имена, купив иль достав себе документы и право на труд. Слухи оказались верными: тетка Дуня и Федор дожили в Черемхове до смерти, оставили после себя двух дочерей, одну из которых в прошлом году мне пособил Господь увидеть и от нее узнать историю папиной сестры.

Федор работал в шахте, тетка Дуня поварихой в рабочей столовой. Однажды струей пара или железной пробкой ей выжгло глаз, с тех пор она

стала сильно болеть и умерла в знаменательный, трагический для страны нашей день — 22 июня 1941 года. Федор женился вторично, прожил еще сколько-то, но потом заболел и, чуя надвигающуюся смерть, решил навестить родное село, повидаться и проститься с родней. И опять ночью, тайком пробрался в село. Собралась родня, не узнают сестры родного брата, а он все плачет и просит: «Попойте, сестрицы, попойте, тетушки!..» Сидоровские бабы как грянули, Федор и со стула скатился. «Что вы! Что вы! — испуганно замахал руками. — Шепотом, шепотом попойте!..». Пели шепотом, за закрытыми ставнями» Большой, до костей изработанный мужик все тряс седою головой и заливался слезами. Потом тихонько уехал и вскоре тихо помер в шахтерском городе Черемхове.

Было это на исходе семидесятых годов, и тогда же, приехав из Вологды погостить в Сибирь, узнал я адрес двоюродной сестры и послал ей письмо на Сахалин, где она живет и работает. Почерк мой таков, что я его порой и сам не разбираю, попросил я жену отпечатать письмо на машинке, чтобы легче было людям. И никакого ответа на письмо свое не получил. Сперва решил, что письмо затерялось, потом задумался и понял — я просто-напросто напугал еще в животе напуганного человека письмом, отпечатанным на машинке. Так оно и вышло: «Я думала, из органов каких или из конторы высокой, потом мне кто-то сказал, что это в самом деле мой брат. А я думала, че уж теперь писать-то? Об чем? Поплакала, заплакала да и успокоилась». Сестра эта, Лиза, уже пожилая женщина, у нее есть дети, — неужели и внукам ее перейдет по наследству страх наш, униженность наша?

Ведь вот передался же от меня мой змеиный страх детям.

Я не раз упоминал в своей книге о том, как прежде было много змей по-за селом, на пашнях, да и в самом селе. Играешь, бывало, в лапту, закатился мячик в жалицу или в бурьян деревенский, топчутся пареваны возле межи, заглядывают в гущу зарослей, но идти туда боятся.

Деревенские рассказы, предания — кто их не слыхивал, тот и страсти не знал. О том, как в рот спящему человеку залезает змея и живет в его утробе, сосет кровь и человек чахнет, знали все поголовно деревенские люди. О том, как ее, тварь гремучую, выжить из человека, тоже знали все. Для этого требовалось натопить жарко баню, завалить на полок болезного, парить его веником, пока дышать он способен, при этом поить холодным квасом. Какой змей выдержит? Или как в люльку к младенцу залезал змей и он, младенец, мерз и мерз от гадюки, пока вовсе не замерз. Иль вот из одной коровы молоко теплое течет, а из другой холодное. Что тому причиной? Догадались? Смешно? Да не очень. К рассказням и легендам

немножко яви и фактов, чтобы на всю жизнь обуял тебя страх. Я вот полोल, полोल грядку с морковкой — она уже густенькая, морковка-то, — и что-то вроде бы шипит и шипит рядом. Я подумал — в ухе у меня, в брюхе или еще где шипит, и никакого значения тому явлению не придал. Тружусь. Хвать травинку, другую, морковку-то раздвинул, а на гряде серая змейка, свившись, лежит, нежится на солнышке в густой морковной ботве и за палец норовит меня сцапать. Я так хватил с огорода, что и сапожишко с меня спал. Пришли пареваны левонтьейские, сапог принесли, говорят, что змея-то заползла в сапог, дожидалась там, тварина хитрая, когда я ногу в обутку суну. С тех пор я — хоть в городе, хоть в селе, хоть в России, хоть за рубежом, хоть летом, хоть зимой — обутку-то хорошо потрясу, прежде чем обуться.

И дети мои при одном слове «змея» дрожмя дрожат, но внуки уж, слава Богу, ничего не боятся. Правда, они и змей, кроме как в телевизоре, нигде не видели, и я последний раз змею зрел лет двадцать назад в змеином распадке, что спускался на Усть-Ману. Глупая такая пестренькая змейка в траве ползала. Дети дачные клубнику щиплют, она тут же возле ягодниц шевелится, с интересом глазеет на них. Ныне в том распадке ни клубники, ни змей, ни бурундука, ни цветочка — все выпластано, скопано, дачами застроено.

А что ж ты это, друг сердечный, начал за здравие, а кончил за упокой? Эвон о каком вселюдном страхе разговор повел и к шуточкам съехал?! Нет, никуда не съехал. Просто до смерти надоело слышать, говорить и писать о бедах наших, хоть маленько хочется роздыху.

Наступила пора рассказать, как и за что были посажены в тюрьму мой отец, дед и дядя Вася. Да, да, тот самый, который Сорока. Я уже упоминал, что, на его беду, в год высылки дедовой семьи ему исполнилось шестнадцать лет. Большую, видать, он стал угрозой для бдительного государства представлять, вот его на всякий случай и изолировали да до осени и продержали в тюрьме без суда, следствия и выяснения причин. Затем сослали с отцом его, моим дедом Павлом, в Игарку. А дед Павел и отец мой привлечены были к ответственности якобы «за создание вооруженной контрреволюционной организации в селе Овсянка», и с ними вместе еще четырнадцать человек — организация ж, сила!

Спустя годы и годы я смотрел следственное и судебное дело, читал протоколы допросов и еще и еще поражался тому оглушительному бесправию, той оголтелой среде, в которую попали и от которой тысячами,

затем и миллионами гибли ни в чем не повинные русские крестьяне и рабочие мужики.

Но тогда, в 1931 году, еще велось дело, снимались допросы, делались записи, дознания, тогда еще персонаж, вершащий правосудие, обязан был представить законный вид и толк, перед тем как съесть ягненка. Позднее мужиков просто скороспешно уничтожали и задним числом чохом составляли списки подсудимых. Пьяные от крови и вина тройки подмахивали те списки. Трупы, вымытые из реки Кан в пятидесятом году, так в спецовках и тлели, железнодорожники в мазутной одежде сохранились лучше других.

В тридцать первом году в красноярской тюрьме еще фотографировали подследственных. Анфас и в профиль. Тогда еще выдавались казенная одежда, тюремные рубахи, шитые на косой ворот, и какое-то подобие курток или пиджаков.

Я смотрю и смотрю не отрываясь на хорошо сохранившиеся фотографии. Отец в реденькой, чуть вьющейся бороденке похож на русского разночинца или на недоучившегося студента. Глаза его полны слез, на красивом лице щенячья преданность. Одетый в непривычную грубую одежду, без усиков-бабочек, без форсистой прически с пробором он особенно жалок. Ему двадцать девять лет, тюремная рубаха его не старит, но давит грубыми швами, сминает личность его нервную, развеселую, бесшабашную.

Другое дело — дед Павел! Наголо остриженный, в щетинистой бороде, спекшиеся губы непримиримо сжаты, голова вознесена, зрячий глаз смотрит прямо, с вызовом — пуля литая, не глаз! Яростную его скорбь не унижает даже незрячий глаз, эта инвалидно смеженная, раздетая, беспомощная глазница. Он, именно он и есть организатор «вооруженной контрреволюции...».

Сын его, слабый, безвольный человек, оговорил отца и своих товарищей-односельчан. Что стоило его сломать? Ничего не стоило. Ломали не таких. Среди множества услышанных и вычитанных историй мне более других запомнился хвастливый рассказ одного костолома о том, как они терзали железной воли человека, еще дореволюционного подпольщика, и ничего с ним сделать не могли. Тогда в разнузданной ярости один мордovorот свалил допрашиваемого на пол, другой помочился ему на лицо, норовя угодить струею в рот. И человек сдался, подписал все, что велели...

Почти всех овсянских злоумышленников отпустили из тюрьмы. Но не такова советская власть, чтобы взять да так вот запросто признаться в своей

ошибке или в заблуждении. На всякий случай, «на сберкнижку», другим во страх и назидание, троих подследственных приговаривают к пяти годам: деда моего Павла Яковлевича, отца Петра Павловича и Фокина Дмитрия Петровича. Деду заменяют пять лет тюрьмы высылкой в Игарку к бедствующей семье, отца посылают на великую стройку Беломорканала. Дмитрий Петрович Фокин еще в тюрьме затемнился рассудком и, будучи отпущен по болезни домой, со страха, не иначе, стал скрываться в тайге и где-то там загинал.

Даже простым невооруженным взглядом видно, какое это липовое дело, о контрреволюционной-то, вооруженной-то, овсянской-то организации, которая не могла быть и тем паче иметь оружие. Да и организатор ее, мой дед, сидел уже в тюрьме, осужденный на два года за неуплату налогов.

Платить ему было не из чего и нечем. Семья мазовских пашни не имела, жила мельницей, огородом и скотом, который я имел удовольствие описать в этой книге. Мельницу отобрали, скот угнали в колхоз и уморили, семью из дома выгнали, и она шаталась по чужим углам, но когда нарастала революционная бдительность, надлежало карать не только мироедов-кулаков, но и их покровителей, значит, родственников и товарищей, проявляющих милосердие. Тогда жили раскулаченные по баням, сараям, стайкам, почти всю зиму и половину лета до выселения в Игарку неприкаянно шлялись семьями по селу, ютились по чужим углам. Почти все мужики-лишенцы, главы семейств, оказались за это время в тюрьме — не выплатили налогов ни по первому, ни по второму твердому обложению. Говорят, нечем. Но кто же им поверит? Вон домнинские, соколовские, платоновские чем-то ж нашли платить, раскопали кубышки, в огородах да на заимках спрятанные.

Все от мала до велика в селе знали-ведали, что родственники разоренных семей, еще способные кормиться самостоятельно, дышать и работать, изворачивались как могли, жилы из себя вытягивали, чтобы помочь бедующим братьям, иногда и родителям перезимовать, не погибнуть, платили за лишенцев налоги, всякие займы и подати, неумолимой рукой налагаемые на села новой властью. Крепкие крестьяне многолюдного села впадали во все больший разор, и бедствия, последствия которых не можем мы исправить и по сию пору, потому как один русский дурак может наделать столько дел и бед, что тысяче умных немцев не исправить. Для мудрого, говорилось еще в древности, достаточно одной человеческой жизни, глупый же не знает, что делать ему и с вечностью. А если этот глупый с хватками бандюги, оголтелый пьяница, да еще и

вооружен передовыми идеями всеобщего коммунизма, братства и равенства?

Не хочется пятнать эту мою заветную книгу дерьмом, не для того она затеивалась. Но все же об одном самом передовом коммунисте — осквернителе нашей жизни — поведаю, чтобы не думали его собратья и последователи из тех, кто живет по заветам отцов и дедов своих, что все забыто, тлену предано, быльем заросло.

Главным заправилкой новой жизни в нашем селе был Ганя Болтухин. Не всегда, но все же Бог шельму метит. Мужичонка пришлый, самоход, пробавлявшийся случайными заработками, женившийся на случайно подвернувшейся бабенке из нашего села, стуча в грудь свою кулаком, называл себя почтительно Ганька — красный партизан. Какой уж он был партизан, никому не известно, но что человек пакостный, явственно видно и по морде, битой оспой, узкорылой, бесцветной, немытой. Если бы портрет этого большевика придумывать нарочно, то лучше бы и точнее оригинала ничего не измыслить.

Разорение села Болтухин и его помощники начали с нашего, нижнего конца, где жило в основном пролетарское отродье, нахлебники, и совсем немного крестьян, кормившихся пашней. Дядя Левонтий, кстати, как его ни склоняли к борьбе за лучшее будущее, за дармовой корм, за добро разоренных крестьян, не шел в коммунистический колхоз, упорно держался за работу на «известке» и ничем себя в смутные годы не запятнал, даже пить воздерживался, не бушевал более, семейство не гонял. Бабушка и тетка Васена говорили о нем с уважением, но отчего-то шепотом. Самой крепкой семьей на нижнем конце села, конечно же, считалась семья мельника, а какова она, какие ее богатства — я уже рассказывал. Село большое и потребности его разнообразны, много чего для жителя крестьянину нужно, вот и обретались на селе, кормились от дворов долбильщики лодок, столяры, бондари, кровельщики, печники, сапожники, строители, жестянщики, стекольщики, собачники (это те, кто давил собак петлей и выдeldывал их шкуры), самогонщики, знахари, колдуны, охотники, рыбаки, бобыли, даже поп — все-все они зимогорили в нижнем конце села, и лишь кузнец дядя Иннокентий Астахов, друг и собутыльник моего отца, какими-то судьбами оказался на верхнем конце села, где, заверяла бабушка Катерина Петровна, жили только «самостоятельные люди».

Советская власть плюс поспешание — так бы я определил крутость того достославного времени. В бесшабашной, даже удалой пока еще спешке активисты решали зорить село с домов и дворов, что поближе, чтоб неумотительно было ходить далеко.

Здесь же, в нижнем конце села, в освобожденных от «вредного элемента» избах обосновался сельсовет, правление колхоза имени товарища Щетинкина, клуб, потребиловка, почта и другие общественные организации, которые, кстати, и по сию пору не изменили своего географического месторасположения.

Возле нашего села, раз оно расположено недалеко от города, на берегу проезжей и проплавной реки, всегда обреталось много всякого приبلудного народа, кто с «известки», стало быть, с заречной известковой артели, громко именуемой заводом, кто тес пилить пришел, кто что-то кому-то строить и застрял здесь, пропивши заработки, кто от обоза отстал, кто коня потерял, кто приплыл на плоту, сам не зная откуда и зачем, кто шел на заработки в город и на последнем рубеже, в виду уже города, приостановился отдохнуть, чаю напитокся, но увлекся овсянской девахой и подбортнулся к ней да и увеличил население села, иногда и в изрядном количестве. Но больше наскоком жили самоходы. Пошумев, поозорничав, утащат чего-нибудь и испарятся навсегда, оставив молодую бабу с ребенком, и когда от неумелости в тайге, когда на лесозаготовках иль на охоте погинут, когда просто утеряются в миру, — и какое-то время спустя села и бабы достигали слухи: «Твово на базаре видели», «на пристане», «на сплаву», — но чаще всего вести докатывались с тюремного этапа.

Нежданно-негаданно, вроде дяди Терентия, являлся ко двору мятый, цингой порченый, беззубый человек и долго у ворот шамкал, объясняя взрослым детям и жене, что это он и есть истинный муж. хозяин, стало быть, и отец детей. Гнали бродягу от ворот, и случалось, второй, уже настоящий, давно в сельсовете расписанный муж еще и наладит по заливку бедолаге. Чаще же со вздохом говорили: «Заходи». Второй, когда и третий муж затоплял баню, посылал за бутылочкой, и выслушивало тогда семейство такую историю человека, такой его ход по жизни, что и в три романа не уместить.

Случалось, оставался приبلудный человек при дворе и семье в качестве кого и сказать не знаешь. Что-то посильное делал в хозяйстве, пилил, подметал, помогал на сенокосе, на пашне и так вот проживал свой век или, оправившись от странствий, заводил себе бабенку, кулемал избушку и начинал жить «своим двором». Все эти приبلудные людишки были потом расписаны по кулацким дворам батраками. В уголовном деле деда Павла увидел фамилию первого мужа тетки Августы, которая сейчас вот, когда я заканчиваю эту книгу, умирает мучительно и тяжко.

Мало еще намучил ее Господь! Фамилия теткингого мужа была Девяткин, имя Александр. Как уж он улестил и охмурил молоденькую,

голосистую, курносенькую Гуску, узнать нам не дано, однако про жизнь его непутевую я знаю и от бабушки, и от самой тетушки. Работал Александр куда позовут, гулял всюду, где вином пахнет, и однажды собутыльник со зловещей фамилией Убиенных взял и прикончил его. Вышли гулеваны во двор отлить, пристроились к ограде. Убиенных облегчительную процедуру закончил раньше Девяткина, взял палку, ударил его сзади по голове и попал в «шишку», как говорит тетка. Мужик охнуть не успел, свалился замертво, оставив молодую бабенку с сосунком, да еще, оказалось, и глухонемым. Убили Девяткина в двадцать восьмом году, в батраки деду записали в тридцать первом.

Все страшное на Руси великой происходит совсем как бы и не страшно, обыденно, даже и шутливо, и никакой русский человек со своими пороками по доброй воле не расстанется. Разорение села, утробление людей началось с шутками, с прибаутками. Как бы понарошку, как бы спектакль играя, во главе с Митрохой, Болтухиным, колдуньей Тришихой или неутомимой нашей коммунисткой теткой Татьяной в избу вваливалась компания человек из пяти — власть, понятые. «Здорово живем! („Кум, кума“, или „дорогой соседушко“, или „хресный и хресная“, или „золушка“, или „шуряк“). Мы вот по делам пришли...»

— «Кто нонче без делов ходит? Проходите, садитесь, в ногах правды нет...». Конечно же, все давно знают, кто и зачем пожаловал, хозяева предупреждены, что поценнее спрятано. «Описыватели» же испытывали неловкое смущение — ведь век бок о бок прожили, и если бы не «хозяева», дети прилипал и сами пролетарьи давно бы с голоду и холоду околели иль в других местах ошивались. Христосовались в святцы по праздникам, в Прощенный день прощенья просили, болезни травой лечили, детей крестили, в тайге и на реке друг друга спасали, займы хлеб и деньги брали, женились, роднились, дрались и мирились — это ж жизнь, и каждый двор — государство в государстве, население ж его — народ. Братья во Христе.

Словом, начиналось недоброе дело в нашем пестром селе совестливо-туго, с раскачкой, редко кто решался на отпор, редко кто гнал со двора потешную банду, чаще, переморгнувшись с хозяином, сама шась в подпол или в погреб за грибочками, за огурчиками, сам цап за дверку буфета или шкапа, а в шкапу-то она, родимая, томится, череду своего ждет, к застолью сзывает. Опись после возлияния и бесед соответственная: что хозяин с хозяйкой назовут, то и опишут. Все думали, может, обойдется, может, прокатит туча над головой: «Власть совецка пострацат-пострацат да и отпустит — она ж народная, власть-то, мы за ее боролись, себя не

жалееючи...». И частенько, бывало, активисты-коммунисты и в подозрение впавшие соседи иль другие какие элементы, братски обнявшись, провожали по улице до полуночи друг друга, единым дружным хором исполняя: «Рив-валю-уция огнин-ным пламенем пронесла-аая над миром гра-а-азо-ой, з-за слабоду нарр-роднаю, во-ооо-олю ала кроф про-ооо-ли-ла-ся рр-ико-ооой...».

Погоуляли, потешились, пообнимались, с активом поцеловались, в любви и братстве поклялись, но вот пришла пора и кончать спектакль, закрывать занавес.

Осенью, уже поздней, навсегда увезли попа. Ребятишки лезли на колокольню, куда им прежде ходу не было, балуясь, звенели в колокола. Чтоб звон не мешал спать, кто-то обрезал веревки, и колокола упали в прицерковный садик, в котором росли большие березы, пихта и еще что-то. Я бывал в этой церкви уже разоренной, поднимался по скрипучим, местами исхряпанным ступенькам. Помню хлам, ломь, ласточкины гнезда и голубей на страшной высоте, с которой довелось мне впервые обозреть окрестный мир и родное угодьё. Не умеющий держать даже «теплого молочка в заднице», по заверению бабушки, я ей рассказал о церкви, о том, что в ней отчего-то все желто, все в пыли, сор на полу, на стенах углем написана матерщина. Я думал, бабушка надерет мне уши, но она положила мне тяжелую ладонь на голову и, глядя за окошко, за таежную даль, тяжко-тяжко вздохнула: «Как жить-то без Бога будете?..».

Но вот ныне преспокойно живет на месте церкви бывший руководитель районного масштаба, мелкий пакостник, ашаульник, ворюга. Конечно, как и все руководящие деятели этого уровня, осквернитель слова и дела Божьего, он прячется за плотным крашеным забором. Машина в гараже у него дорогая, на месте церковного садика и прицерковных могил теплица сооружена, кусты ягодные насажены, цветки поливает, телевизор с разодетыми внуками и детьми смотрит, губы кривит на современную политику, уверенный, что при нем она была правильной и качественней. Внуки, в иностранное одетые, собаку колли нежат, по селу прогуливают, жвачку пузырем надувают. Бог все терпит, ни пожара, ни мора, ни глада, никакого утеснения в житье и в совести в сей передовой семье не происходит...

Накатила вторая разорная волна на село — не совсем еще гибельная, но все же крутая, забирали имущество, выселяли из домов всех «меченых звездой» — часто на воротах и дверях рядом с крестом ставилась

звездочка. И звезду и крест люди стирать страшились.

Пряча добро, отдавая родичам деньжонки и что поценней, при первой описи люди и не таились особо, иногда даже показывали ямы, погреба, амбары, таежные избушки и заимки с тайниками. Эк торжествовали, эк ликовали прозорливые большевики, найдя упрятанное добро. «Да ты ж, курвенский твой рот, сам велел суда прятать!» — «Разговорчики! Поболтай у меня! Быстро пулю схлопочешь!..». У Митрохи, Шимки Вершкова, Гани Болтухина появились наганы, и они, грозно хмурясь, совали руку в карман. Даже тетка Татьяна кричала на дворе, чтобы все мы, прежде всех бабушка Катерина Петровна, слышали: «Вот выдадут мне наган, дак тады узнаете!..». И ребятишки ее и левонтьевские орлы тоже чуть чего — и загремят: «Вот выдадут мне наган...».

В те годы как-то незаметно рассеивался, исчезал куда-то сельский народ, частые случались похороны, торопливые, даже украдчивые, без отпевания, без поминок, без лишнего шума и слез. Долго лежала в неубранной постели, в недостроенном доме Акулина Вершкова: сама себе что-то кипятила, пила, шатаясь ходила до ветру за избу, потому как ни стаек, ни отхожего места на голом, рано опустевшем огороде не было. Как, когда умерла Акулина, где ее похоронили, кто хоронил? Исчезла женщина, и все. Осталось трое ребятишек и муж-гуляка с наганом, балагур, скабресник, часто он и не ночевал дома, наган терял.

Дом этот, без заборов, со свисающим из пазов мхом, с небеленой печью посредине, с недорубленными, наспех горбылем забранными сенями, с едва сколоченной оградой, но зато с парадно высящимися воротами, с резными ставнями, конечно же, сделался пристанищем левонтьевской и всякой другой братвы. Тут, в этом доме с выбитыми стеклами, твори Бог волю — можно было рубить, пилить, топить дымящую печку и варить чего Бог послал, матершинничать, но главное, можно позабавляться настоящим наганом, который у пьяного Вершкова из кармана выуживали ребята, да он и сам давал «поиграть курком». Здесь, в пролетарском приюте, парнишки показывали девочкам, а девочки парнишкам стыдные места, и здесь же мы впервые попробовали жареных грибов — шпеенов. Росло их, этих шпеенов-шампиньонов, за околицей, в логу, куда вывозили со дворов навоз, видимо-невидимо, и китайцы, приезжавшие из города за назьмом, показывали большой палец, чмокали губами, мол, съедобно и вкусно, учили, как грибы надо собирать и готовить, крошить, жарить с луком.

Когда первый раз мы нажарили этих грибов и наелись от пуза, то долго с напряжением ждали, кто первый помрет. Бабушка в ответ на мое

сообщение о невиданных грибах ощупала мое брюхо, лоб и, как было часто в последнее время, загорюнилась: «Ой, робятишки, робятишки, совецка влагсь токо-токо накатила, а вы уж всякого сраму наимались и наелись. Дале-то чё будет? Чем жить, чем питаться станете? Ведь спагубите землю-то, изведете все живое, траву стопчете, лес срубите и утопите. Ты погляди, погляди уж по селу да по берегу голой ногой не ступишь...».

Но не больно-то я вслушивался тогда в бабушкины слова, кликушество оно и есть кликушество, старушья ворожба, старушьи причуды — мели, Емеля, твоя неделя. Мы еще поживем, мы еще тряхнем все вокруг, и эту тайгу, и реку эту, и богатства проклятущие прокутим, и попа сивого за бороду с колокольни стащим. Э-эх, подрасти бы скорее да мотануть куда-нибудь, где шумно, где весело, где наганы выдают и бабушка не пилит с утра до вечера...

Мы и на выселения ходили гурьбой, норовили под шумок упереть что-нибудь, били покорных, не сопротивляющихся куркулят, не принимали их в игру, и дело кончилось тем, что совершенно трезвый дядя Левонтий собрал собрание в своем доме и сказал, что, если он узнает, что его орлы матросы или Витька дразнить будут и без того обиженных ребятишек иль принесут чего краденое в дом, он в кровь испорет всех и Витьку тоже, несмотря что сирота, и бабушка ему еще за это спасибо скажет.

Выселенные из домов богатеи всю зиму мыкались по селу. За это время в пустых избах были побиты окна, растаскана нехитрая крестьянская мебелишка, порублены на дрова заплоты, где и ворота свалены. Крушили, озоруя, все — лампы, фонари, топтали деревянные ложки и поварешки, били горшки и чугуны, вспарывали перины и подушки, кое-где даже печи своротили неистовые борцы за правое дело. По дворам валялись колеса, ступы и пестики, опрокинутые точила, шестерни от молотилок, крупорушки, старые шкуры, веревки, сыромятина, какое-то железо, подобранные хозяевами на всякий случай. В пустых избах блудничали парни с девками, на стыд и срам как-то сразу понизилась цена, в потемках, в глуши сиротских изб, невзирая на классовую принадлежность, сыны пролетарьев мяли юбки кулачек, кулацкое отродье лезло лапой под подола к бесстрашной бедноте. Работа у бабушки шла ударно, дни и ночи она со слезной просьбой полюбовниц, чаще их родителей, «терла живот» молодежи. Шатаясь, заткнув от боли рот платком, удалялись блудницы из нашего дома под звук сурового бабушкиного напутствия: «Дорасшаперивасся! Изблудничасся! Семя из тебя кровью вымоет...».

Под окнами и на мосту под пляс и перестук каблуков с вызовом, охальством пелось возжигающее, на подвиг и последний срам взывающее:

«Девочки, капут, капут, как засунут во хомут, засупонят и е.., ноги кверху ж... внис, штоб родился комунис!».

«Весело было нам, все делили пополам!» — пелось тогда же. Отобрали, разделили добро и худобу, пропили, прокутили все. Ближе к весне малость унялась карающая сила. Плануя бросок за фокинскую речку, где затаился и помалкивал самый коварный враг — наиболее крепкий и справный крестьянин, овсянские большевики собирались с новыми силами. В пустые избы, в разоренные подворья тем временем пробно, ночами, стали возвращаться хозяева. И как же были, выдирали на себе волосья бабы, обнаружив открытые и разоренные погреба, подполья с замороженной овощью, пустые сеновалы, стайки с засохшим пометом и мокрым пером, порушенную в доме рухлядишку!.. Казалось, никогда ничего не прибрать, не наладить в разоренном гнезде. Но эта ж контра-то, элемент-то вон какой живучий, несводимый, он же трудом своим чего угодно достигнет!

Я слышал рассказ о вологодском крестьянине, которого разоряли несколько раз принципиальные, непримиримые строители новой жизни. Когда упрямого, загнанного в самое болото мужика пришли кулачить в пятый раз — он повесился.

Нет на свете ничего подлее русского тупого терпения, разгильдяйства и беспечности. Тогда, в начале тридцатых годов, сморкнись каждый русский крестьянин в сторону ретивых властей — и соплями смыло бы всю эту нечисть вместе с наседающим на народ обезьяноподобным грузином и его приспешниками. Кинь по крошке кирпича — и Кремль наш древний со вшивотой, в ней засевшей, задавило бы, захоронило бы вместе со зверующей бандой по самые звезды. Нет, сидели, ждали, украдкой крестились и негромко, с шипом воняли в валенки. И дождались!

Окрепла кремлевская клика, подкормилась пробной кровью красная шпана и начала расправу над безропотным народом размашисто, вольно и безнаказанно.

Ганька Болтухин ходил дни и ночи пьян, нарочно, как заключала бабушка, не застегивал ширинку, чтобы показать, что наш брат демократ сраму никакого не имеет. Тетке Татьяне нагана так и не выдали, поскольку она обладала оружием более сильным — ораторским словом. День и ночь звала она на борьбу, приветствовала, обещала зажиточную, свободную жизнь и все неистовее кричала заключительные слова речи: «Сольем свой трудовой энтузиазм с волнующим окияном мирового пролетариата!» — сорвала голос, однако признаться в этом не хотела, уверяла всех, что напилась холодной воды, но горло у нее пролетарское и скоро

восстановится, тогда она во всю мощь, как велит родная партия, будет обличать и проклинать врагов социализма и коммунизма.

Подошла, подкатила весна тридцать первого года, первая весна коллективного хозяйствования, когда надлежало показать «трудоу энтузиазм» на деле, а не на слове. За зиму много чего было порушено, пропито, пала большая часть обобществленного скота, растасканы семена, бесхозно поморожены, погноены и стравлены скоту овощи — вечная и главная опора жизни нашего деревенского населения.

Конечно же, во всем виноваты оказались они, враги, которых, правда, заметно поубавилось. За зиму, поразобрав избы, умыкнулись наиболее крепкие семьи, уже не надеющиеся на справедливость властей, на законное решение вопроса с обложением, с коллективизацией. Да и какая может быть справедливость от непросыхающего одичавшего Болтухина с его шайкой? А таких болтухиных, как опять же глаголила моя боевая бабушка, было «до Москвы раком не переставить».

Из той поры на дно памяти тяжким балластом огрузило многое. Детская память, конечно же, колодец, и колодец со светлой водой, в которой отражается не только небо, не только все самое яркое, но прежде всего поразившее воображение.

А и было чему сотрясти воображение!

Праздники в годы коллективизации были особенно какие-то пьяные, дикие, с драками, с резней, с бегством по улицам, стрельбой, хрипением, треском ломаемых жердей, звоном стекол, криками, плачем.

В Пасху или в Первомай после раннего ледохода метет народ по берегу, несет толпою малого и старого, все чего-то орут, на реку показывают. И вот из-за Майского мыса, от займища среди кипящего ледяного крошева, суется друг друга обгоняющих, друг друга толкающих, крушащих, скрежещущих льдин выносит льдину белую, широкую, что пашенная полоса. На льдине сани с привязанным к головке конем, конь спокойнешенько сено ест, на санях, кинув ногу на ногу, мужик лежит и табак курит, вокруг саней и хозяина спокойно живет почти весь двор — собака, да еще и две (одна собака сидит зевает, вторая, рыжая, все бегаёт, бегаёт по краю льдины), на головке саней как на насесте куры сидят, иные чего-то в санях же поклевывают, цветочек там в горшке, фикус вроде бы, чугулки, ведра, кринки, ухваты; коровенки же с теленком, поросят, но, главное, бабы и детей нету.

По всем правилам здешней природы льдину эту должно было сразу же от мыса попереть стремниной в реку, на простор, и ладно затрет ее там, а если вынесет к Караульному быку? Енисей эту льдину как окуроч

выплюнет, сунет в каменную пасть унырка, тот хрусткой каменной пастью схрумкает, раздавит, искрошит...

Но все тогда шло нарастатур с природой, с Божьими правилами и велениями. Льдину притормозило на ходу, повертело, пощупало, малость пообкусало, закружило, закружило — да и вытолкнуло со стремнины в затишье, понесло к овсянскому берегу.

Народ заахал, закрестился, катится толпа по берегу, кто визжит, кто хохочет, кто советы мужику подает, кто велит в колокола ударить, забыв, что они сняты и побиты, кто-то икону принес, бегаёт с ней по берегу, реку закрещивает, силы небесные призывает. Мужик же, лежавший в санях нога на ногу, с лагухой в головах, покосился на приближающийся берег, нехотя поднялся, подтянул штаны, прямо из лагухи, обливая заросшее лицо, попил браги иль пива, бережно определил посудину в головки саней, утерся и начал выступать. Грохотал, неистовствовал тот самый страшный ледоход, который случался по малой воде, по матерому льду, сорванному волной хакаса — ранней южной весны, — а с реки доносило патриотические слова: «Народ... смычка... как один... прозреньё революционно... ход... вперед... пощады нету...».

— Вперед, токо вперед! — как Ленин, выкинув руку, показывал мужик вниз по течению, а там, ниже-то села, на слизневской косе, затор, лед ломает, громоздит горою.

Народу, вою, крику все прибавлялось и прибавлялось, но помочь мужику никто и ничем не мог. Никто, кроме Бога. Он следил, видать, за льдиной и за мужиком, подсунул льдину к берегу, тут в нее сразу десятки багров всадились, мужики и парнишки на льдину посигали, сани, лошадь, мужика волокут. Но еще раньше, пока еще льдина не сунулась в берег, кроша окрайки и трескаясь вдоль и поперек, спрыгнула с нее рыжая, почти красная собака, доплыла до берега ихватила к лесу.

— Волк! Хакасский волк! — шатнулась в ужасе толпа. Пес же домашний, лопухий, мирно сосуществовавший рядом с диким зверем на льдине, прошел, лап не замочив, и начал крутить облезлым хвостом, знакомиться с народом. Тем временем, не выдержав напряженного момента, поднялись на крыло и, кудахтая, полетели на берег курицы, одна из них, дернув отвислым задом, выронила яйцо, и народ снова заахал и закрестился: «Не к добру это! Не к добру!». Под шум, крик, аханье, оханье свели мужика и лошадь на берег, даже сани с рухлядишкой за оглобли стащили. Сойдя на сушу с совсем искрошившейся, в лоскутья белые изорвавшейся льдины, мужик как ни в чем не бывало продолжал пьяную речь:

— Пролетарьят в смычке с коммунистами даст невиданный лизурьтат...

— Тошно мне, тошнехонько, — взвыли бабы. — Повернулся мужик умом! Жана-то, дети-то твои где?

— Движение, токо передово движение и мысля передова...

Мужики уже добрались до лагухи, в ней еще много было питья, лакали из посуды, в ковши и кринки наливали, пили сами и мужика не забывали. Он тут, на берегу, и свалился на клок сена, брошенного из саней, сверху его накрыли лоскутным, в середине пропревшим одеялом. Потом коня запрягли в сани, и по грязи он уволок воз с худобой в сельсоветский двор.

К этой поре долетела уже до Овсянки весть — да, смыло со льда под Ошаровым семью и избенку разобранную и приготовленную к бегству, но избенка — Бог с ней, дело наживное, но вот женщина, дети, корова...

— А может, оно к лучшему. Может, избавил Господь от мук и от горя ту бабу горемычную, тех детей...

Конечно же, этот злобный контрреволюционный разговор вели выгнанные из своих домов, назначенные к выселению из села кулацкие элементы.

После ледохода начали стремительно разбегаться и наши мужики и подкулачники. Кто как, кто на чем, кто с чем — чаще всего за одну ночь наши боевые мужики разбирали дома, амбары, стайки, вязали плоты, сколачивать боялись: явятся на стук «эти», освободители-то. К восходу солнца плоты уже были у речки Гремячей, выше городского железнодорожного моста. Оттуда они свозились за Качу или в Покровку и сикось-накось, без всякого плана и разрешения располагались на горе и под горою. Скоро не осталось за Качей места, начали вдабливаться и в сам Красный яр.

Когда власти хватились, за речкой уже оказалось целое поселение с кривою глинисто-красной улицей, которую новые моралисты нарекли именем великого философа Лассалья, спутав его с революционером мадьярского происхождения или со здешним героем-партизаном. Беженцы не выговаривали закордонного имени и называли улицу — Вассалья, так и на конвертах и на посылках писали. Ныне эта улица именуется Брянской, там развернули свое хозяйство красноярская линейная милиция, городской базар, кожно-венерический диспансер, еще какие-то конторы и конторишки. Домов крестьян, бежавших из сел, прижулькнутых к горе, почти не осталось, да и сама Красная гора от зимних испарений с Енисея и Качи и всяких других городских помойных выделений начала покрываться

ядовитой зеленью или сине-зеленой плесенью, смахивающей на купорос...

Второе выселение из домов в Овсянке было совсем тяжелым, случилась даже трагедия на этот раз. Я уже в одной из глав писал, как глухонемой Кирила платоновский, заступаясь за мать, зарубил городского уполномоченного. Все остальные мужики наши, такие боевые в драках, неистовые при лупцовке баб своих, лошадей и всякой другой беззащитной скотины, при крушении стекол в собственном доме, при стрельбе по маралу, забывшемуся в любовном гоне и на солонцах, по зайцу, по птице в тайге, слиняли, как ныне говорят, в защиту свою не только пальцем не шевелили, но и пикнуть боялись.

Ныне известно, каким покорным многочисленным стадом брели русские крестьяне в гибельные места на мучение и смерть. Они позволяли с собой делать все, что хотела делать с ними куражливая, от крови осатаневшая власть. По дури, по норову она иной раз превосходила свое хотение, устраивала такие дикие расправы над своим народом, что даже фашисты завидовали ей.

Овсянские семьи поместили на плоты. Густой коровий рев отплывающих и провожающих оглашал гористую местность. Пришла кара Божия. В Красноярске кулачье загнали на горы. Марья Егоровна, дедушкина жена и моя бабушка, угодила с мазовским выводком — детьми и дремучим дедом Мазовым, уже тронувшимся умом, — за поселок Николаевку, на скотный выгон. Прабабка моя Анна умерла на Усть-Мане в клопном бараке сплавщиков, где проживал мой папа с мачехой. Папа той порой был в тайге, добывал для лесозаготовительного рабочего класса дичь. Прабабку в неструганой домовине сволокли на новый пролетарский погост, свалили в неглубокую мерзлую яму, да тут же ту могилу и забыли.

В Николаевке загон был огорожен колючей проволокой. Ни столовой, ни уборной, ни воды, ни света, и никого никуда не выпускали, суля скорую отправку. Какое-то время к загону никого не подпускали. В загоне была вытоптана трава, и люди лежали вповалку, ходили по колено в грязи, в моче, в размешанном дерьме. Тучи мух, осатанелые стремительные крысы, кашель, понос, вши, кожные болезни начали косить этот никем еще не виданный лагерь, за который вроде бы никто не отвечал. Лишь выбирали, выдергивали мужиков, парней и уводили куда-то. Скорей всего загоняли сюда людей на короткое время, на несколько дней, но где-то что-то не согласовалось, может, в низовьях Енисея ледоход еще не прошел, может, у пароходства судов не хватало, может, и справку-бумагу какую-нибудь окончательную не подписали. Таких вот загонов тогда по стране были тысячи, и чем больше мерло людей за проволокой, тем большая победная

радость торжествовала в народе, еще не угодившем за колючку. Однако люд крестьянского роду был еще крепок, не так просто было уморить, задавить его. Те же родичи с улицы Вассаля да из деревень, придя или приплывши, не бросали своих в беде, пронюхивали, где они бедуют, толпами валили туда с передачками, проявляя изворотливость, подмасливали, подпаивали охрану, делились хлебом, табаком, тайком уносили и захоранивали на николаевском кладбище замученных младенцев.

Прошлой весной военные люди на этом кладбище благоустроили травяной пустырь, где захоронены японцы, пленные прошлой войны. Японцы посулили нашему великому государству какие-то подачки, вот и пристигла пора проявлять, пусть и шибко запоздалую, гуманность; но когда же самая гуманная в мире власть, когда борцы за правое дело вспомнят о замученных русских младенцах? Хотя бы о младенцах! На всех загубленных русских людей не хватит никаких сил, никаких средств, уворованных у народа же, «обслужить» и обиходить убиенных!

За младенцев Бог первый заступник, не гневите Его!

Лишь за серединой лета вывезли из спецпереселенческих лагерей семьи раскулаченных на Север, где они частью повымирали, частью были еще раз репрессированы и постреляны за создание все тех же контрреволюционных вооруженных организаций.

Один ретивый работник красноярского НКВД отмечал погашенные, испепеленные гнезда повстанцев черными флажками, действующие же, подлежащие ликвидации — красными. И когда другой молодой сибирский парень, посланный работать в органы, увидел эту карту, то зачесал затылок: «Н-н-на-а-а, ничего себе дружественная республика рабочих и крестьян!»

Возле Ашхабада велись раскопки древнего городища, столицы Фирюзанского государства. Здесь жил большой, трудолюбивый народ, превративший свою землю в сад, жизнь — в сытое, мирное довольство, в то самое благоденствие, ради которого российские комиссары не жалели пуль и крови. На это государство нахлынуло монгольское войско. На долю каждого воина-завоевателя определена была норма — вырубить человек пятьсот-шестьсот. Уставши рубить, воин отдыхал, ел, пил, забавлялся женщинами и снова рубил, рубил. Фирюзанский народ покорно шел к своему палачу, выстраивался в очередь, подставлял головы.

В 1941 году попавшие в окружение советские воины, сложив оружие в указанном месте, бесконечной серой вереницей шли по дорогам. К вечеру движение замирало, немцы обносили толпу заранее приготовленной ниткой колючей проволоки, прикрепленной к стандартным кольшкам, строго наказывали, что ежели кто шагнет за огорожу, того будут стрелять, и

спокойно шли пить свой кофе, шнапс, ночевать без забот, заранее зная — редко кто решится на побег. Поскольку пленные были сплошь почти рядовые, а рядовых от века поставляла деревня, то вот она, на колени поставленная советской властью, забитая, запуганная, тупая масса крестьян, и оказалась так хорошо подготовленной для тяжелой доли пленного, нисколько, впрочем, не горше доли тех, кто томился и умирал той же порой в советских концлагерях.

Деревня наша рассеялась. Колхоз развалился. Вчерашние крестьяне стали ничем, потеряли основу жизни, свое хозяйство и сделались междомками. Где-то в Заполярном круге мыкались, умирали, приспособлялись к новой, неслыханной жизни сибирские крестьяне, и, что самое поразительное, часть из них, пройдя все муки ада, заломала эту самую жизнь, приспособлялась к ней и приспособлявала ее к себе.

Жила в нашем деревенском переулке семья самоходов Федотовских. Семья совершенно бедная, рабочая и по этой причине не желавшая вступать в колхоз. Федотовские выселялись из домишка, не имевшего даже заборок внутри дома, не подведенного под крышу, и, как я уже упоминал в одном из рассказов, один федотовский парень в путешествие отправлялся босиком, и якобы активист по прозвищу Федоран снял па берегу бахилы, бросил их парню на плот, заплакал и пошел домой.

Как в деревне, так и в ссылке деревенские люди держались союзно, продолжали родниться, куму звать кумой, кума кумом, откликались на беды, помогали делом, советом и копейкой друг другу. Выжившие семьи, которым разрешено было в Игарке строиться, обзаводились хозяйством, не только освоились на Севере и освоили его, но и зажили гораздо лучше, чем в далеком селе, из которого были выброшены. Заработки в карскую путину на лесозаводе и на рейде по тем временам были хорошие, товаров и продуктов в изобилии, рядом река, кишевшая тогда рыбой, лесотундра, захлестнувшая ягодой, грибами. В порту и на лесозаводе спецпереселенцев обучали на всевозможных курсах нужным профессиям, и цепкий крестьянский ум быстро схватывал суть нехитрого лесопильного и лесопогрузочного дела. Так и шла жизнь по новой модели: одних стреляли, других учили жить по новому закону, о котором мой папа пел, приплясывая: «Как у нашего царя новые законы — начинают пропивать старые иконы...». Окрепла в Игарке и федотовская семья: построила дом, обзавелась двумя коровами, кормила свиней, держала свору собак, лодку, рыболовные снасти.

После войны, приехавши за бабушкой Марией Егоровной, иду я по Игарке и вижу — у бывшего здания второй школы, в котором

расположился какой-то склад, сидит с батожком крупный седой старец. Я замедлил шаги, приостановился.

— Дядя Митрофан? Федотовский? Из Овсянки?

А он мне:

— Кажись, Витька? Мазовский?

Обнялись мы с ним. Старик провел по моему лицу шершавой рукой.

— Эк оне тебя разукрасили!.. И моих робят... Трех тама положили... двоих енвалидами возвернули... — Старик говорил, глядя поверх моей головы за Енисей, отстраненно и о чужеземных и о своих начальниках «оне», но безо всякого зла, с каким-то нашему народу только свойственным усталым, как бы уже обуглившимся горем.

Климатическое и географическое положение Игарки располагало к сезонному житью, действию и вынужденной сплоченности. Вот уж воистину не было бы счастья, да несчастье помогло — в глухую зиму, когда всему замереть бы и остановиться, под крышами школ, контор, бараков, возле жарко натопленных печек шли не только картежные игры, которыми так истово увлекался дед Павел, но и велись занятия по музыке, готовились постановки, показывали кино, которое многие переселенцы тут впервые и увидели. Все игарчане, способные к столярному, слесарному, пилоправному делу, учили детей, при лесокомбинате действовали курсы лесовозных машин, шоферов, медсестер, кочегаров, мотористов, рулевых. По улицам города, звонко брякая черпаком по обледенелым бочкам, катили полупьяные водовозы и золотари, на столбах кричало радио, в ресторане и в клубах играл баян, дети много читали, маршировали в военных кружках, изучали винтовку, кидали учебные гранаты и не зря учились — воевали потом, после первого провального периода, на фронтах как надо.

Даже наша самая мудрая партия, также не менее мудрое правительство оценили по достоинству игарчан и от удивления, не иначе, особым указом еще в 1945 году реабилитировали игарских спецпереселенцев, велели выдать им паспорта и отправляться кому куда захочется в пределах родной страны.

Очень и очень мало уехало. Остались в Игарке и Федотовские, распавшиеся уже на несколько семей.

— Ну сам посуди, — говорил мне федотовский старик, — куды мы и к чему поедем? К избе без крыши? Да и ту, поди-ко, растаскали на дрова? Растаскали, вот вишь. И деревню всю порастаскали, и не только нашу Овсянку... Да-а вот. Тутока ж мы укрепились, ребятишки грамоте какой-никакой научились. Узнали еду, даже сладку, лопотешку нову поносили, лисапед в семье, радива на стене говорит, патехвон на угловике играет,

инвентарь для жисти необходимай накопился, могил наших с десяток в болотной тундре потонуло — словом перемолвиться, выпить есть с кем. Благодарить бы за это власти-то... — Дядя Митрофан вздохнул, поискал глазами батожок с заеложеной поперечиной, оперся на него руками и, снова глядя вдаль на Енисей, с коротким вздохом молвил: — Да чё-то не хочетца.

Вернувшись «на магистраль», бывшие спецпереселенцы обустраивались, обживались капитально, везде умели добыть свой хлеб и копейку. За Качей на улице Лассаля одно время свалка была выдающаяся даже среди знаменитых красноярских свалок. Приезжаю однажды с Урала в гости — свалки нету. Дома стоят на ее месте, подсолнухи цветут, дети бегают.

Что за чудо на неприкаянной земле?

— А, кулаки, б... — со свойственной ей, как всегда, непосредственностью сообщила тетка Таля, закачинский «прокурор». — Приехали, навалились, разгребли городское дерьмо, обиходили землю — на те, советская власть, ишшо один подарок трудового народа: вы нас морить, мы вас кормить...

Тогда же от тети Тали узнал я, что не всякий элемент недобитый являлся с деньжонками и добром к родным берегам, кто и с одной святой надеждой. Какая-то свояченица под названием Капитолина Васильевна прибыла из Игарки на берега Качи и Христом Богом молит «пристроить ее на Вассаля», поближе к родным людям», узелок развязывает, в узелке чуть больше тыщи старыми мятыми-перемятыми деньгами, зато большие мечты простерлись вдаль дожить жизнь в своем углу и быть на погост унесенной из него же.

— Што на тышшу-то сделать? Место в горе выкопать токо и хватит, других площадей нам не припасено, вон даже свалка освоена вашим братом.

Но не отступать же! Препятствия и тяга к вспомоществованию ближним своим всегда утраивали силу и энергию тети Талину. Посоображала-посоображала она и перво-наперво купила на рынке у базарных джигитов дешевого вина. Аж бочку! Дядя Коля привез с пивзавода несколько ящиков пива. Неблагоустроенные закачинские шаромыжники, вчерашние эки, люди без паспорта и определенных занятий — все эти Мишки, Гришки, Цигари, Ухваты, Малюски и просто захожие мужичонки, — копали резво, пили резвей того, где-то узрели плохо лежащие материалы, привезли плахи, гвозди, кирпичи, цемент, да еще старых шпал вперемежку с новыми сбондили трудяги целую машину,

проникшись сочувствием к одинокой женщине. Воссочувствовали они ей оттого, что сами были когда-то крестьянами, да потеряли семьи, жизненную основу и надеялись: когда в новопостроенной избенке и ткнутся на ночь в непогоду. Большая мастерица выпить и поплакать, тетя Таля, поддерживая трудовой энтузиазм, выкатила из погреба еще один бочонок кислухи, и мигом была собрана, скулемана в глиняной норке халупа с банной крышей. Окно халупы, что было с рамою, радостно пиялилось за Качу, на бурно кипящую жизнь краевого центра, борющегося за прогресс и высокую культуру. Одностекольное окошко, вмазанное прямо в глину, настороженным оком моргало вдоль улицы Лассаля, будто ждало чего-то из-за устья Качи, из забедованных северных далей.

И дождалось!

Власти нагрянули! Пальцем грозят — незаконное строение, незаконное строение! Все в стране Советов всегда делается по закону по строгому, а тут прямое нарушение. Генеральный план градоустройства пренебрежен — р-раз! Строение не вписывается в общую атмосферу краевого центра и в конфигурацию улицы Лассаля — дв-ва! Строение не может быть охвачено благоустройством ввиду отсутствия к нему подъезда — тр-ри! Строение не обладает противопожарными средствами защиты — ч-четы-ре! Строение не застраховано, не согласовано, в горсхему не внесено, в реестры не записано, в бэ-тэ-тэи не зарегистрировано...

Как про бэ-тэ-тэи вымолвили, баба Капитолина и слегла, думая, что так нынче именуется энкавэдэ. Но битых баб во главе с закачинским «прокурором» — теткой Талей голой рукой не возьмешь, все они видели, всех победили вплоть до собственных мужей. В наступ бабы пошли, представительную комиссию отбросили за Качу, в руины старого базара.

Через шаткий мостик из-за Качи комиссия грозила прислать бульдозер и снести под корень не только строение бабы Капитолины, но и все это осиное гнездо, под шумок свитое, властями пропущенное оттого, что они, власти, не переводя дыхания боролись за справедливость на земле. Закачинские бабы все это не раз уже слышали, бабу Капитолину успокоили: покуль, мол, постановление о сносе вынесут, покуль бульдозер вырешат, покуль трезвого бульдозериста сыщут, хозяйка и век свой в избушке изживет.

Ан не далее как осенью гул по улице Лассаля раздался, железо загрохотало, мотор зарычал: от устья Качи, со стороны улицы Игарской — надо же и улицу-то с таким родным и проклятым названием для наступления избрать! — двигался бульдозер. Медленно, неустрашимо, как и полагается большевистской силе наступать, пер бульдозер и в прах

крошил гусеницами мерзлые глыбы, сминая рыжий кювет, выворачивая камень из земли. Дребезжали стекла в избах отсталого деревенского отброса, избежавшего в тридцатых годах справедливого возмездия грозной карающей руки, свившего паразитическое гнездо вопреки недреманому надзору властей. Недорезанный этот, недобитый, недотравленный, недовоспитанный, ушлый, увертливый людской хлам попер уже барахлишко в ямы и погреба, гнал скот в гору. Началась спешная эвакуация жен, детей и стариков за Качу к своякам, к знакомым горожанам. Лишь тетя Таля, хозяйка незаконного строения баба Капитолина да еще несколько недораскулаченных кулачек стояли скрестя руки среди дороги, преградив путь наступающей могучей машине. У «прокурора», как и положено прокурору, блуждала на лице надменная улыбка.

Бульдозер шел! Что ему эти бабы, эта улыбка, он каменные стены сносил, церковные стены рушил, в заповедных столбах гранит греб, братские могилы с костями и ошметками недогнивших расстрелянных людей загребал, клумбы с цветами сметал, подводы и автомашины с добром и ребятишками в кюветы сваливал, когда готовилось ложе Красноярского рукотворного моря, он...

Но лассалевские бабы с пути его победоносного не сходили. Бульдозерист сперва сбавил газ, потом выключил скорость, но все равно рычал мотором, из кабины понужая народ гигантским матом. Бабы не отступали, мужики, покуривая, из подворотен лыбились. Изнемогший в словесной борьбе бульдозерист спустился на землю и, поигрывая ломиком, пошел на баб. Начиналась дискуссия, однако еще не было такой дискуссии, чтоб закачинские труженицы не одержали в ней верха. Как и все бурные российские дискуссии, эта закончилась тем, что бульдозерист напился, плакал и говорил, что ему тоже народ жалко, что ни в чем он не виноват, и все этот гад Нечипоренко, прораб, взял вот его, всякого горя навидавшегося, и послал на такое антиобщественное дело, и он этому Нечипоренке непременно когда-нибудь набьет морду... Поздним уж вечером дядя Коля на телеге доставил бесчувственное тело труженика советской индустрии домой, в поселок энергостроителей.

Бульдозер стоял среди дороги, мешал автодвижению, парнишки играли на нем в войну, изображая, что находятся на полях сражения в непобедимом красном танке.

Через неделю бульдозерист появился снова. Пеший, морду воротит. В дискуссии более не вступает. Разогрел костром машину, завел ее и решительно двинулся вперед, на избушку бабы Капитолины. Но только из-за поворота вышел — и отворился у бульдозериста рот, промаргиваться он

начал, черным кулаком глаз тереть, от напряжения и страха даже вспотел, несмотря на холодную ветреную погоду.

На незаконном строении бабы Капитолины алел красный пролетарский флаг! Подле сволочного, антизаконного, скандального строения, скрестив руки на груди, стояли все те же бабы, все так же неуязвимо и победоносно улыбаясь. Бульдозерист еще яростней нажал на газ, еще грозней взревела машина, еще крепче зазвучало рабочее слово:

— Мне хоть флаг, хоть чё!..

— Давай-давай! — призывали его. — Жми-дави! Надругивайся над красным знаменем, обагранным кровью рабочих и крестьян. А мы тя тут же сдадим куда надо, и поплывешь ты в те места, откуль Капитолина прибыла, на десять лет даже без права переписки, по статье пиисят восьмая...

Кто ж выдержит разговор про пятьдесят восьмую статью — народ в Сибири насчет этих статей шибко просвещенный. Бульдозерист воздел руки в небо, поматерился-поматерился, плюнул на мерзлую землю в сторону митинга и, люто гремя железом, уехал.

С тех пор на улице Брянской, бывшей Лассалья, никаких комиссий больше не появлялось, бульдозеры тоже не приходили. Вокруг избенки, рядом со строением Капитолины Васильевны, превращенной со временем в стайку для свиней и кур, образовался выводок строений, по-за домом выбит был в рыжей горе даже огородишко. Ныне все почти строения на исторической улице снесены, все застроено солидными законными помещениями, выводок бабы Капитолины пугливо вжался в гору, живет себе, вечерами телевизорной голубой полоской беспечно в щели ставен светится.

Всякий раз проходя или проезжая по Брянской улице, я думаю, что так, видно, никуда не внесли, в бэтэи не зарегистрировали это поселение, но, может, и по причине, самих нас удивляющей — пашен неистребимости, — живо еще оно, да и мы вместе с ним живы.

После разорения села и крушения колхоза имени товарища Щетинкина его организаторы и разорители никуда не делись. Лишь отъехала Татьяна-активистка в город, работала на нефтебазе неподалеку от железнодорожного моста, там и век спой кончила. Дети ее разбрелись по земле, многих уже и на свете нет. Посланцы партии на выручку колхоза имени товарища Щетинкина тоже слиняли куда-то, а наши деревенские деятели, посуетившиеся на руководящих постах уполномоченными, десятниками, бригадирами, милиционерами, заготовителями, завхозами, кладовщиками, затем сторожами в магазине, истопниками в школе иль на

сплавном пикетном посту наблюдателями, постепенно старели, опускались и уходили в мир иной, оставив круги в грязной луже, которую сами и налили всевозможной нечистью.

Самой запоминающейся фигурой оказался и здесь Ганька Болтухин. Скулемав избушку из леса-жердника на месте вражеского мазовского гнезда, он спяну произвел выводок больных и агрессивных детей. Пили и буянили они с самого детства. Старшой из парнишек уже в шестнадцатилетнем возрасте изнасиловал на Достоваловском острове пионервожатую, произведя это боевое действие прямо на глазах у советских пионеров. Тогда еще не было у нас видео, новой волны отечественного кино, дискотек, интеллектуальных встреч, зажигающего нижние чувства танца ламбады, и оттого пионеры не проявили здорового освежающего любопытства, не пришли в восторг от сцены изнасилования, они с воплями бросились врассыпную, созвали гуляющий по острову народ, который и повязал овсянского сладострастника. И пошел он по тюрьмам, появляясь на короткое время в селе, чтобы совершить новое преступление и отправиться «домой». В один из кратких отпусков под крышу отчего дома брата Болтухины совместно с родным племянником хором изнасиловали малолетнюю сестру, и она помешалась. Потом старший сын зарубил своего дядю. Самого старшего, уже при моем житье в Овсянке, зарубил сын дяди, значит, его племянник. Самого же племянника не то зарубили, не то зарезали уже «на химии», где-то в таежных далях.

Между тем сам большевик Болтухин и его жена Екатерина, Катькой все привычно ее кликали, жили как ни в чем не бывало. Главная их задача была добыть выпивку. Иногда Катька и ее дочь наряжались белить и мыть избы, копать картошку, нанимались куда-либо уборщицами на время и заработанное тут же пропивали. Но чаще всего они все-таки выпрашивали, сшибали на выпивку, ничем уже не брезгуя, никаких преград не зная.

После войны на окраине нашего села были построены столярные мастерские. Инвалидкой звали это заведение, оттого что работали там сплошь инвалиды войны. Делали они оконные рамы, косяки и двери, кое-какую нехитрую мебелишку, но чаще гробы и кресты строгаили. Об инвалидах была проявлена единственная осязательная забота: чтобы не ходить им далеко пропивать получку на костылях, не катить на тележках, не утруждать поврежденные кости, рядом со столяркой построили пивнушку. Ребяшня написала на ее стене «Ромашиска». Кинокомедию тогда отечественного производства показывали, и в ней влюбленный в русскую девушку героический летчик-союзник, эдак вот называл полевой наш цветок, даря его юной участнице войны. В этой «Ромашиске» инвалиды

сплошь и поспивались, дойдя до клеев, химических препаратов, употребляемых в деревообработке.

Вся деревенская нечисть и ближних рабочих поселков толкалась в «Ромашинке» с утра и до вечера. Впереди, конечно же, как всегда, коммунист Болтухин. Он допивал из кружек. Случалось, кто-нибудь из недорезанных и недобитых куркулей, чаще их родичи или дети, брали коммуниста Болтухина за грудки, крошили на его замызганной телогрейке последние пуговицы: «Ты, кур-ва, помнишь, как зорил наших, голодил их, обирал, теперь у меня же допить просишь?» «Помню, помню. Как не помнить. Дурак был...». Ему плевали в кружку, и он, не брезгуя ничем, пил, валялся, обнявшись с инвалидами, возле пивнушки. На партучете он с началом строительства ГЭС состоял на деревообрабатывающем заводишке, что пилил и еще пилит брус для нужд социалистического хозяйства. На этом заводике работала моя двоюродная сестра и по поручению парторганизации собирала партийные взносы. Болтухин никогда никому ничего не платил, он только брал, взимал, отымал. Вызовут его на завод, он партбилетишко черный, затасканный, с отклеившейся карточкой шлеп на стол. «Ну что же делать? — рассказывала сестра, все детство росшая на картошке, чаще на мерзлой, и к пенсионному возрасту ставшая воистину инвалидом, полным. — Старый большевик, почитать полагается, их в школе в пример ученикам ставили. Начну собирать в конторе по двадцать копеек, чтобы заплатить взносы за Болтухина, кто дает, кто ругается, клянет его...»

Приехал я как-то в деревню. Иду по берегу, смотрю: сидят Ганька с Каткой па бережку на камешке, где и в молодости сиживать любили, вдаль за Енисей смотрят. Он, как в старые годы, несмотря на летнюю пору, в подшитых валенках, в шапке с распущенными ушами, в шубенке с оторванным карманом и лопнувшими рукавами. Она в телогрейке, в полушалке.

— Да это Витька мазовский, ли чё ли? — жизнерадостно приветствует меня Болтухин, Катка тоже заулыбалась ущербным, почти беззубым ртом. — Петра-то живой ли ишшо? Поклон ему сказывай.

Как возможно сердиться на таких людей? Господь и без того наказал их жестоко — запившись до потери облика, Болтухин уже мочился под себя, пах псиной и однажды свалился под окнами своей избенки да и замерз. Катерину парализовало. Она валялась в избушке совсем заброшенная, догнивала во вшах и грязи, лишь наши, опять же наши деревенские бабы, не помнящие зла, выскребут ее, бывало, из грязного угла, из тлелого тряпья, снесут в баню, оберут с нее гнус, вымоют,

покормят. Она им про Господа напомнит, поблагодарит, поплачет вместе с ними.

Однажды, уже после смерти обоих супругов Болтухиных, постучал ко мне незнакомый человек. Маленький, с круглым морщинистым личиком — кожа на нем не вызрела и напоминала пленку куриного яйца, на котором из-за недостатка корма не образовалась скорлупа.

— Внук красного партизана Болтухина, — беспрестанно подергивая кругленьким маленьким носиком, представился он.

— Откуда же вы приехали? И что вас привело ко мне?

— Из Крас-рска. Раб-таю на хмыр-зводе, — скороговоркой сыпал он, сглатывая середину слов. — Ударником работаю. Хочу, шб написали книгу о дешке. Героичску книгу. Дешка мой — герой-партизан.

— Это конечно, хорошо, что вы ударник труда и дедушка ваш — герой.

— Я не ударник, я работаю ударником...

Долго мы толковали с внуком Болтухина, пока я наконец уяснил, что он работает ударником, то есть бьет в барабаны в джаз-оркестре и Доме культуры одного из красноярских, как он произнес, хмырь-заводов.

Дочь Болтухина и внучка его, поврежденная умом, долго жившие в избушке на месте нашего родового гнезда, все же завершили путь к своему и нашему полному исчезновению. Недавно они поднялись наверх, в рабочий поселок, отдав избушку свою, но, главное, приусадебный участок, за комнатенку в полусгнившем бараке и какие-то деньжонки, которые тут же и пропили вместе с мужичонкой, прибывшим из мест, от Сибири совсем не отдаленных, и прилипшим к изнахраченной девчонке, которая неожиданно для болтухинской породы вымахала в крупную и красивую бабу.

По безалаберности жизни земля возле болтухинской избенки одичала, здесь появился осот и, как полагается заразе, расплзся по всему селу. Но в палисаднике росли старые яблоньки, и дивно цвели они летами, зимою питали яблочками птах, на приусадебном участке выросла криво саженная и оттого криво сидящая ель, и, что кустодиевская купчиха, раскинула она подол по земле, вольная, пышнотелая. И еще в палисаднике росла редкостная саранка, одна себе, в тени, но на жирной почве раздобрела. В талину толщиной, шерстью по стеблю, словно изморозью охваченная, восходила она уже за серединой лета и такие ли ясные сережки развешивала! «Это душа всех мазовских погубленных младенцев единым цветком взошла», — сказала мне уже древняя наша соседка. И я подумал, что две мои маленькие сестры, умершие в доме деда и прадеда, тоже двумя

сережками на пышном стебле отцвели.

Хваткий мужик из современных новопровозглашенных хозяев жизни и радетелей перестройки пришел с бензопилой и бульдозером, сгреб все под яр, свалил ель, испилил ее на дрова, везде посадил картошку, слепил тепличку, привез пиломатериал для нового, основательного дома, вырыл глубокий котлован, собираясь жить и строить с размахом. Хватит баловать! Хватит в коммунизм играть! Хватит кустики да цветочки садить — никакой от них пользы нету, никакого плода!

Исчез еще один род на русской земле, род по прозвищу мазовский, даже место его стерло с лица земли. Но какие-то мои однофамильцы из разных концов России, тоже разбитые, рассеянные, нет-нет и пришлют мне письмо с рассказом о своей семье и с вопросом — не родня ли мы? Да, да, все мы, русские люди, родня, и однофамильцы мои — достойные доброй памяти и доброго слова родственники.

Николай Игнатьевич Астафьев из волжской саратовской стороны поведал о своем боевом пути на войне и о том, что его предок некогда выехал на новые земли за реку Енисей, из хутора под названием Астафьев из Баландинского района, попутно еще и сообщил, что фамилия в переводе с греческого *Astafii* значит устойчивый; что в центре Парижа есть однофамильный собор, что астафьевские морозы на Руси незлобны и добры, бывают они на исходе зимы и заканчиваются теплом.

Смотрю в окошко через переулок. В огороде ковыряется глухая баба Ульяна, из-под серенького платочка цигарка торчит. Нездешняя она. Из зоны затопления Красноярского водохранилища с мужем прибыли и соседнюю избу приобрели да и копошились на земле, вели домишко как умели. Баба Уля человек не только курящий, но и много читающий. Деда Дима не курящий был и не читающий. Болел он тяжело, операцию почти смертельную перенес, работой и землей отдалял свой конец. В сорок втором году на фронте вступил он в партию и на учете состоял все на том же богоспасаемом дозе, то есть на овсянском деревообрабатывающем заводике, туда и партвзносы с пенсии платил. Ему говорили: «Выплатите за полгода взносы, чего вам в такую даль тащиться». Нет, он каждый месяц плелся на завод. Поговорить деду Диме охота, с людьми пообщаться. Нацепит он медали на пиджак, привинтит орден Отечественной войны, за просто так всем нам выданный Брежневым, — нам орден, себе Золотую Звезду Героя, чтоб «незаметно» было. Стоит деда Дима час, два у ворот, иногда меня изловит, иногда соседку, в магазин за хлебом сходит, с бабами покалякает — и все тут его общение заканчивается, людям некогда.

Зимней порою отправился деда Дима на завод, взносы партийные

заплатил, поговорил не поговорил, развлекся не развлекся, теперь уж не узнаешь. На обратном пути его прихватило, упал на мостике через фокинскую речку. Какой-то добрый человек еще нашелся в наших сознательных рядах, подобрал старика, домой привез. Тут он и скончался ввечеру. Бросилась баба Уля к соседям стучать, голосом кричать, никто ворота не отпирает, никто на голос не отзывается, кроме собак. Лишь вечный тюремщик-громило, на старости лет покончивший с позорным прошлым, откликнулся на зов страждущей, заругался: «Да што мы, хрещоные или не хрещоные?» — и пошел помогать бабе Уле.

Хоронили деда Диму скудно, никто с парторганизации, часто посещающейся аккуратным коммунистом, не пришел на его похороны, ни веночка, ни цветочка братья-коммунисты на могилу его не положили, с завода ни машины, ни автобуса не дали. Билась баба Уля одна-одинешенька, да какие-то дальние родственники хлопотали.

Всем нам в укор и в назидание жизнь и кончина деда Димы, да и его ли только. А баба Уля теперь одна за оградой копошится, серый дым из-под серого платка валит — папирос нету в продаже, на махорку старушка перешла. Нынче многие гробовозы, как и в старину, табак в огороде посадили. Еще и скот заводить будут, и детей труду учить, и хлеб выращивать, и печи класть, и валенки катать, и рубахи починять, и...

Изнежила нас советская власть, но она же обратно и уму-разуму научит, самим кормиться и обстирываться придется. Тогда и жалобы некуда и не на кого будет писать, митинговать не об чем, что, как встарь, дома на печке поорешь, окна разобьешь, бабе фингал поставишь, так сам потом и окна стеклить будешь, с бабой мириться и самого себя казнить — погодь-погодь, российский человек, докличешься свободы, сам с нею и управляться станешь, а она — ох кобыла норовистая, того и гляди до смерти залягает.

«Еще одно, последнее сказанье» — рассказ тетушки Августы о том, как умирала и умерла моя беззаветная бабушка Екатерина Петровна.

Лежа в избушке по-над фокинской речкой, слепая и до того худущая, что комары ее не кусают, боясь сломать хобот, как шутил покойный дядя Кольча-младший, часто одинокая — у всех дела и заботы свои, все заняты хлопотами о пропитанье, как раз наступила огородная пора (еще в прошлом году пыталась тетка брать на ощупь малину с огородных кустов, нащупывала и срывала огурцы, самые хрушкие, уже перезрелые только ей давались, теперь вот смерти молит, а та не торопится, терзает человека), — запавшим, беззубым ртом, с обнажившимися, как у всех наших к старости, скулами, с совершенно отлично, как опять же у всех наших, сохранившейся

памятью, бабушкиным голосом тетушка вещала:

— Вот и мама так же. Вырастила дюжину нас, дураков, а голову приклонить не к кому. Апронька за стеной, в другой половине дома, жила, так у нее свои дела: надо в огород, надо на базар лучишко, огурчишки продать, пензии у нее на погибшего на войне Пашку пошто-то не было, осударство нам еще тогда пензий за старость не давало. Вот я отволохала на лесозаготовках, на сплаву, на базайском деревянном заводе, дак мне пензия сперва вышла сорок восемь рублей, потом набавка, и я пятьдесят четыре долго получала. Потом, при Брежнев, ишшо набавка — и восемсят четыре стала получать, нонче аж сто семисят рублей! Я и деньги не знаю куда девать. Куда она мне? Зачем? В гроб положить? — Силы на весь рассказ не хватило, Августа закрыла глаза, и делались видны круглые, на темные очки похожие глазницы. Я подавал ей питье. — Ты ишшо не уходишь? Посиди. Успешь к людям.

Надо заметить, что при других людях, даже при своих детях, она почти ничего не рассказывала о себе, пошутит через силу, поговорит о сегодняшнем, поругает внуков, забывших ее, — и никаких воспоминаний. Может, я действительно внимательный, достойный слушатель? Да нет, как и все мы, нынешние граждане, вечно куда-то спешащий тоже. Скорей всего тетка пыталась удержать хоть на время подле себя живого человека.

— Апронька ж заполошная. С вечера соберет на продажу котомку с огородиной, чтоб на ране в город учесать, и от волнения у нее понос. Всю ночь и бегат, почту носит. Утром в путь-дорогу — не ближний свет: двадцать верст туда и двадцать обратно, в городе ишшо милиция гонит, лучишко не даст продавать. Что как расейская баба богатой сделается, и капиталиски выйdet? Мама ей стучит, стучит в стенку — не достучится. Я жила тогда — вот опять ругаться будешь, что простодыра, что из дому ушла, из большого и хорошего, в дяди Лукашину избушонку. А я те скажу весь секрет, чичас вот токо и скажу: семенную картошку мы съели. Вот что было-то. Девчонки плачут, ись просят, я с работы прибегу и в подпольишко, кажну картошшонку в руках подержу, пощупаю, поглажу, ко груди прижму, покуль в чугунку-то положить, картошинка по картошинке — незаметно и съели семена. И все уж променяли и проели. Садить в огороде надо, а нечего. И тут оне, благодетели, миня и скараулили, шкандыбают два начальника, Митроха и Федор Трифонович Бетехтин, пятьсот рублей мне да куль картошки за переселение, место уборщицы в этом же доме, где магазин наладились открыть...

Тетка забылась, скрестила руки на груди, исхудалые, с широкими плоскими кистями, с так и не сошедшим до локтей загаром. Пальцы у нее

все в узлах и узелках, с провалившейся меж косточками плотью, с истраченно выступившими жилами цвета спитого молока. Забылась? Спит? Померла? Лицо отстраненно и вроде бы как сердито. Но нет, не спит, не померла.

— Отсадились. Едовая трава пошла, щавель, черемша, жалица, медуница, петушки, саранки потом и пучки. Девчонки черемши в чашку крошат, водой зальют, посолят, хлебают и черемшой же прикусывают — хлеб, говорят... О. Господи! Господи-и! Ягоденки пошли. Менять земляницу на хлеб начали в совхозе и на дачах у баров у советских. Мама хоть и близко, но выдаемся вечером, всегда на бегу да на скаку. — Тетка не отвернулась, а, глядя мимо меня в пустоту, пошарила по халату на груди, совсем иссохшейся, собрала его и вдруг спросила: — Счас чё, ночь или день? А число како? А-а, как Ильин день придет, тятю-то помяни. Он завсегда в этот день посылал нас картошек накопать. Первых. Ах какие же картошки с новины вкусны были! И тятя у нас хороший был, смиренный. Никого из нас никогда пальцем не трогал, а мы ево боя-аались! Мама раздавала шлепки направо и налево, и ничего, ровно так и надо, получил, отряхнулся и живи дальше... А знаешь, мама-то кака в старости приспособлена стала. Прихожу один раз, у нее в сенях картошки на полу ровно маслом намазаны. Я не сразу догадалась, что она уже обессилела, воду с Енисея таскать не может, а ведь по тридцать пять коромысел натаскивала, бывало, за вечер — на варево, питье скотине, когда поливка в огороде, баня, даже и не пересчитать тех коромысел. И вот она овощь рано на утре в траву высыплет да граблями ее, граблями катает, эдак вот в былках росой намочет. Господи! Да прости ты всех нас непутевых ее детей и внуков!

Тетка закашлялась в плаче, прилегла, подышала, утерла платком незрячие глаза и снова повела буднично, ровно свой рассказ:

— С теплого места, из уборщиц, меня скоро выжили, и опять я па сплав подалась. Девчонки по дому управляют, варят чего Бог пошлет. Апронька бегат, дрищит да копейку зашибат. Кольча и Марея на бакалах, Иван Ильич и сам уж старый. Ты где-то далеко, на Урале застрял. Никому нет дела до мамы. Катанки у нее были, мало еще ношены. Вот она придет в нашу избушку, покомандует девчонками — боле-то уж некем командовать. Рассеялось войско! Покомандует-покомандует и говорит: «Гуска, однако я катанки продам. К зиме ближе продам, чичас кака имя цена?» Назавтре явится: «Нет, Гуска, всю я ночь думала и решила: катанки продавать не буду — что как зима люта придет, я в ботиках стеганых и начну лапки поджимать, как воробей. Не-э, пусть уж катанки при мне будут. Я их в

изголовье положу — вдруг какой лихой человек...» Посидит, посидит, на девок поқыркает — уходить-то неохота. «Гуска, тебе тот каторжанец-то письма присылат?» — это она про тебя спрашивает. Реденько, говорю, но пишет, всегда поклон тебе передает, приехать сулит, как с женой обживутся и деньжонок подкопят... «Жена-то у него хоть не пьюшша?» Не пьюшша, не пьюшша, говорю. «И не курит?» И не курит, говорю. Из рабочей семьи она, и починиться умеет, и состряпать, и сварить. «Ну ладно, ковды так. Пушшай ему Бог пособлят. А то я думала: как в прежне время голову-то завернет, запоет, зальется, про все на свете забудет, и кака-нибудь Тришиха подхватит песню-то, и спонутся, чего доброго. Без бабушкиного благословенья женился, мошенник! Ну ладно, пошла я. Спите с Богом, ночуйте со Христом да дверь-то на крючок запирайте!..» Да чо, говорю, у нас воровать-то? Ребятишек? «Воровать не воровать, а завернет какой охальник вроде Девяткина, и не отобьешься. А у тебя эвон какой выводок настряпан»... Постоялицу она на квартиру пустила. Хороша, молода девушка, в сплавной конторе работала. Серединой лета свалилась наша Катерина Петровна — совсем ногами ослабела, и сердце у ней шибко-шибко стало болеть, никаки уж капли не помогали. Ухо ко груди приложишь — совсем ниче не слышать, потом как под гору на телеге — тук-тук-тук...

Тетка говорила про бабушку и не знала, что ее изработанное сердце каталось так же срывисто, как и у бабушки когда-то, ударит раз-другой да и закатится куда-то в глубь, и долго-долго ничего, никакого эха не возвращается назад.

— Приступ у мамы вечером начался. Трясло ее шибко, мы отваживались, как могли, она кричала: «Илья! Илюшенька! Возьми меня к себе... Измучилась я. Возьми!..» Утром перед сменой я забежала к маме, она слабая, завялая вся. «Причеши меня, — говорит, — умой да водички поставь на табуретку». Я говорю, может, мне отгул взять, штоб с тобой посидеть? «Какой те отгул? Кто за него платить станет? У тебя робятишки, да и постоялица сулилась из конторы прибежать, меня попроведать...». Работаю я на рейде, багром орудую, мама из ума не идет. Смотрю, постоялица по боне чешет — у меня и сердце оборвалось. «Тетя Гутя, тетя Гутя, бабушка, кажется, умерла...» Прибежали мы. Лежит мама на правом боку причесанная, прибранная — как я ее оставила в этаким положении, так она скоро после меня и преставилась, без причастия и соборования, молиться, правда, старушки-подружки молились за нее, чё-то шептали. Похоронили маму рядом с тятей, как она того и хотела, поминки справили, все чесгь по чести, хоть и время тяжелое было, тебя на похороны ждали, да

вишь вон, не живи, как душа просит, а живи, как судьба велит...

Мать моих внуков, моя дочь, родилась в тот год, когда умерла бабушка, — природа восполнила потерю, но кто когда восполнит наши потери, утишит боль и тоску в нашем сердце?

Я поднимаюсь и ухожу к себе. Дела. А тетка смотрит вослед шагов.

Еще когда Кольча-младший, дядя мой, живой был, ходит вечером до ветру и посмеивается, вернувшись: «За речкой собака лает, видно, Гуску опять медведь дерет!» Отшутился дядя, отгулял, отполохал, отдыхает среди деревенского народа, вот и сестра его туда же собралась.

Сижу средь родного села, куда всю жизнь стремился в неосознанной надежде найти здесь маму, бабушку с дедушкой, детство свое и все, все прошлое. Нынче весной уехал в Вологду мой внук, туда, где он родился и жил, рвался со внутренней дрожью, с горящими глазами и все с той же, что и у деда, надеждой: найти дом, в котором он рос, на том же месте, в нем — живую мать, подросших друзей, деревья чуть выше головы и город все такой же добрый, белый, тихий.

Какие горькие разочарования ждут его!

Разве вернешь то томительное, сладкое ощущение приближающейся весны, незнаемое, кстати, в благостных полуденных странах. В этом ожидании тепла и солнца, радости их пришествия кроется то чувство, что рождало нашу русскую складную поэзию, вызванивало голоса наших российских певцов!

Для меня весна в детстве начиналась с первого яичка. Еще на дворе едва отпотело, на сугробах выступил мусор, опилки, деревянная кора, былки сена, по двору шляются куры с бледными гребнями, копошатся, крыльями обмахиваются, выбивая застоялую пыль из перьев, петух, взнявшись на цыпочки, пробный голос подает, и однажды на всю округу вдруг закудахчет курица. Гнезда, где несутся курицы и в котором непременно оставляется одно яичко для положительного примера и указания рабочего места, еще нету. Первое яйцо курица кладет где попало, и вот его всем домом ищут, ищут, ищут, ищут и найти не могут, а я только на сеновал взойду — и вот на тебе, тут же его и найду! Яйцо-то в уголочке, на теплой трухе прошлогоднего сена, — и с воплем радости к бабушке, держа в ладонях как награду за все зимнее долгое бдение это живое творение природы, греющее детские ладошки нежным теплом. «Ой, робяты, какой у нас Витька-то глазастый! Какой молодец! Все мы полоротые ходим, ходим и яичка не видим, он вот и нашел! Ну-у, ковды так, значит, перьво яичко добытчику перьвому и исти...»

Дядя Кольча-младший, колхозный бригадир, еще и добавит: «Я эту

хохлатку на доску почета занесу как ударницу!..»

Нынче новое поветрие — куриц на селе почитай что и нету, коли у кого есть, со двора не выпускают, потому как шоферня и мотоциклисты норовят во что бы то ни стало свободно гуляющую птицу задавить, на аварию ради этого пойдут и, пока не задавят, не успокоятся. Вот какая ретивость, вот какое развлечение у нас на селе нынче.

Леса вокруг села, на горах и даже на скалах выжжены, оподолья обрублены под жалкие дачные участки. Река обмелела, вода в ней холодная и безжизненная, по дну стелется зеленая слизь водяной чумы. Выродились ягоды и нежные цветы — от зимних туманов, наплывающих с реки, от кислотных дождей, опадающих с неба, сорок самых распространенных и нежных растений исчезло из лесу и с полян только вокруг села. Исчезли и наши чудные деревенские и лесные поляны, под корень срубаются пригородные леса — буйствует дачная стихия. Человек, российский человек, не вынеся города и его промышленного ада, зигзагами, в судорогах, в панической спешности возвращается к земле, осваивает пятак свой, лепит избушку из ворованного стройматериала с претензией на какой-то терем или заграничную аристократическую виллу. Вчерашний крестьянин, отравленный городом, играет в землю, в пресыщенного богатством и благами высокомерного богача, но получается пока из него ничтожный собственник ма-а-ахонького царства, готовый урвать хоть шерсти клочок с паршивой овцы, то есть с государства нашего захудалого, нажать жалкую копейку своим одиноким, первобытным трудом.

Село Овсянка населено каким-то праздным, вялым людом. Здесь триста душ пенсионеров, столько же шатучих, ни к какому берегу не прибавшихся людей. Какое-то непривычное, скудное, потаенное население обретается в Овсянке, оно где-то работает, куда-то ездит, бьется как рыба об лед, ни прибыли от него, ни надежды, пашен нет, заимок тоже нет, на все село несколько десятков голов скота, но и тот пасти некому и негде — вся земля поделена и разгорожена на дачные клочки. На фокинском улусе, откуда давным-давно ушел в леса и не вернулся маленький мальчик в белой рубашечке, престижные люди строят престижные дачи. Зябко ежась, вечером лениво пробредет по селу стайка неприкаянных, нарядно одетых девчонок, окончивших школу и никуда не пристроившихся. Промчатся по улице молодые мотоциклисты, ряженные под иностранных киногероев, вспугнут собак, и те погавкают по дворам да и уснут. Ни гармошки за селом, ни пляса на деревенском мосту, ни гуляний, ни песен почти до рассвета, когда остается до выезда на пашню час-другой поспать.

«Милый мой, а я твоя, укрой полой, замерзла я...» Неужели здесь, на

этой земле, на улице этого угрюмо настороженного села. я слышал такие складные слова и был поражен нежностью, в них выпеваемой? Какие же залежи тепла, любви, добра, светлости таились под грубой крестьянской кожей, под той самой поллой полушубка своедельной выделки и пошива. Неужели пелись эти чудесные слова одной из злых старух одному из этих ко всему и к себе тоже безразличных стариков?

Боже, Боже! Что есть жизнь? И что с нами произошло? Куда мы делись? В какие пределы улетучились, не вознеслись, не уехали, не уплыли, а именно улетучились? Куда делась наша добрая душа? Где она запропастилась-то? Где?

На похоронах тетки Апрони я вдруг увидел тетки Авдотьиных девок, все таких же мордастых, востроносых и молодых. «Свят-свят!» — хотел уж я занести руку для крестного знамения, но тут ко мне подошла еще крепенькая, опрятно одетая пожилая женщина и, подавая большую рабочую руку, представилась:

— Я есть Аганька, тетки Авдотьиная дочь. Маму-то помнишь? Давно уж отмаялась, царство ей небесное. А папуля наш где-то на Севере так и загинул. — Отвела взгляд, вздохнула. — И Костинтин тоже. Помаялась я с ним, ох помаялась, мама избаловала его, пил он шибко, по пожаркам да по шаражкам разным сшивался. Из тюрем, почитай не вылезал. А я, — Аганька усмехнулась, пообнажив вставные зубы из золота, — удалась в маму. Четверо ишшо девок у миня. От перьвого мужа две и от второго. Две перьвы девки при деле, при мужьях, а эти вот стрикулиски, — показала она на одинаковых ростом девах, затянутых в джинсы и в кофточки со словом «Адидас» на взбитых грудях. — Эти вот погодки замуж не идут, али их, дур, не берут. В огороде полить или там садить не загонишь, корову подоить не умеют, чашку-ложку за собой не уберут, полы не вымоют, все имя брик да брик, вот те и сплавшыцкие дети.

— Мама! Ну сколько тебе можно говорить, не брик, а брэйк.

Мать на это им заметила, что добрыкаются они, допрыгаются, но девицы, дальние мои родственницы, не слушали мать, подхватив меня под руку, гладкотелые, духами дорогими пахнущие, с дорогими перстнями на пальцах и с сережками в ушах, старомодно жеманясь, поводя глазами в сторону молодых парней, присутствующих во дворе, говорили, что давно со мной прознакомиться желали, но стеснялись, они книжку мою читали, правда, название забыли, и горячо уверяли, что брэйк на Усть-Мане гораздо лучше идет, чем в Дивногорске да и в Красноярске самом, в клубах и домах культуры не всегда удается, разве что в железнодорожном дэка да в танцевальном зале иногда, но танцевальный же зал все время используется

не по назначению, то под художественные выставки, то под встречи «Кому за тридцать». Зачем, скажите вы, встречаться, если уже за тридцать и тем более за пятьдесят? Никакого же смысла нет!

Я смотрю на Аганьку, тасканную-перетасканную за волосы бедолагой-матерью, и едва нахожу в ней сходство с нею, разве что усталость в глазах, обвислое тело и душа одинаковы. И хоть скорбная минута, вся родня с постными лицами, встретившись, целуются, едва узнают, а то и не узнают друг друга, говорят же шепотом, пока на поминках не выпили. Жалко мне Аганьку. Я пытаюсь вспомнить что-нибудь веселое, и она напоминает мне, как обшаренный матерью с головы до ног папуля их Терентий нашел-таки ухоронку, свернул в дудочку и запихал тридцатку в ружье. Мать и подозревает неладное, но ружья боится. Позвала старшего братца, бобыля Ксенофонта, тот ружье переломил, поглядел, понюхал даже и деверя не выдал.

— Дак тятенька-то наш, — сбиваясь на смех, повествовала Аганька, — всю-то зимушку ко Ксенофонту ходил, наскребет из кадки мороженой холодной соленой капусты в карман, косушку самогонки у матери сопрет — и через дорогу в хибарку к бобылю, целует его, братом называет. Как-то мать его прихватила, из дому не выпускает, а у папули капуста тает, по штанам течет, все предметы морозит и шшипет. Дюжил-дюжил папуля, давай мокрую капусту горстями выгружать: «Ишшо икзэма получится на причинном месте!»

Мы оба с Аганькой зажали рты ладонями, девицы глаза закатили критически — чего смешного?

Недавно Алеша мне сказал на доступном ему языке, показывая два пальца: «Мама умрет, мы останемся двое. — Глаза его наполнились слезами, и он добавил: — Мне будет жалко, когда умрет Витя». И я сказал брату: «Мне будет больно, когда умрет Алеша».

Встретимся ли мы на том высоком берегу, безбожники, утратившие веру не только в высшую силу, но и в свой народ, в его дальнейшее существование? Кто-то мудро сказал: «Надежда исчезнет последней». Но на что нам надеяться? Где отыскивать ее, эту надежду? Успеем ли воскреснуть? Хватит ли сил и мужества? Крут он и труден, путь к надежде.

В огороде своем я насадил лес и дикие лесные цветы, пытаюсь, как все современные люди, приладить природу к себе. Ныне ребятишки уже не

пропадают в лесу, не копают саранки, не жуют медуницу, петушки, пучку, черемшу, не скоблят сосновый сок. Как-то, идя из лесу, нес я в руке подснежники, и катающиеся на велосипедах с подвешенными на шею транзисторами подростки, с фигурами уже взрослых мужиков, удивленно воскликнули: «Ой, уже весна!» А когда-то в деревне о весне, о первых цветах жители села узнавали от нас, ребяташек, и о ледоходе, и о первом пароходе, и об ягодах первых и грибах, — счастлив бывал тот, кто первым находил не только яичко на сеновале, но и в первую зрелую земляничку, первый масленок.

Неохотно что-то приживаются дикие лесные цветы в огороде.

Садил, садил орхидеи — венерины башмачки, — прижились они в одном месте, возле стены избушки, растут вяло, цветут уныло, стародубы под березой в тени забора прижились. Нынче сыро и холодно весной было — цвели таежные цветы густо, сочно. Я склонился над пышной зеленью стародубов, надеясь уловить тот таинственный запах дремучей тайги, который в детстве вбивал меня в пугливое чувство, что бывает от соприкосновения с тайной. От цветка все еще веяло древностью. Из древности той вышли все мы, ведь получились мы все из того, что было до нас. И не весточка ли из прошлого встревожила сердце тем горьким вздохом древности? Не в онемелом ли цветке озарилось тысячелетие, не ему ли дано нежным рупором сообщить с нами, поведать о вечности? Не остановившийся ли звук прошлой, неведомой нам и все же близкой сердцу жизни тревожит нас, донося щемящую тоску о чем-то безвозвратно утраченном нашей ленивой, полусонной памятью?

Музыка и цветы — это оттуда, из недостижимых далей, из окаменелых напластований времени, только им оказалось доступно пробиться к нам. И мы плачем, слушая музыку, умиляемся, глядя на тщеты, плачем о самих себе, свято задуманных природой и утраченных нами же, горюем о существе, самого себя заморочившем, обобравшем, изголодавшемся и норовящем на четвереньках, с лаем, рычанием, мыком вернуться в каменные пещеры, чтобы через миллионы и миллионы лет возвратиться оттуда на свет, обрести разум и снова умилиться цветку, плакать от той музыки, которую слушал кто-то до нас...

В лесу, в первой Россохе, где росли раньше нам, детям, доступные, самые близкие ягоды брусники и черники, черничник исчез вовсе, бруснику ровно кто-то обкусил, и она каждое лето пытается ожить, выбрасывая на глиста похожий бледный побег со щепоточкой вялых тычек, похожих на чахоточные палочки.

Но не кончился совсем пока мир-то этот, не кончился. Для меня он и

по сию пору делится на два мира — на маленький и на большой, устрашающе манящий в пределы, кои видел я недавно и содрогнулся...

Подлетая к Нью-Йорку, самолет лег на крыло, и вместо неба стеной стала кипящая, расплавленная магма, которую наискось, вдоль, поперек прошивали ручейки огней, непрерывно текущие куда-то в бесконечность. Жуткая, цепенящая красота огромного вечернего города. Будто фантастический сон наяву.

Но мне родней и ближе тот малый, привычный мир. Я даже речки люблю малые, особенно нашу фокинскую. По ней можно бродить, брать воду на чай, умываться, плескаться, ловить пищуженца под камнем, зреть, как сбиваются в стайку пестрые харюзки — настороженно пошевеливая нарядными лепестками хвостов и плавников, вдруг рыбки россыпью бросаются вверх по течению и где-то исчезают. Если совсем мелко в перекате, брызги изовьют, серебром кусты наклоненные осыплют, брюхатого жука в воду сшибут, и он, шевеля лапами, плывет, кружится, короткий всплеск, и его не стало — леночек или харюз покрупней поживился. Куличок бегаёт по камешкам, засунув длинный клюв в глинистую морщинку, подернутую голубыми мошками незабудок, достал еду птенцам; шустрая трясогузка из коряжек и корней выклевывает тлю и личинок, приветливо всем кивая хвостом. Булькнула ягода смородины в воду, пикнул бурундучок, мышка травой прощуршала, и чутко дрогнул крылом заложивший круг над речкой зоркий ястреб.

Этот мир можно потрогать ладошкой, к нему хочется прильнуть, быть в нем, он казался в детстве бесконечным.

И как прежде, на той еще не вспоротой бульдозером речке, возле раздавленных гусеницами ключей трудятся двое — он и она. Мальчик и девочка. «Мальчики играют в легкой мгле, сотни тысяч лет они играют: умирали царства на земле, детство никогда не умирает». Он складывает дом, она месит глину, носит в ладошках воду, и, когда вода проливается меж пальцев, он ворчит на нее, и она снова и снова спешит к речке, терпеливо доставляя воду на замес. Построив дом, он, хозяин, идет за дровами, может, и рыбу добывать, она стряпает пироги из глины, укладывает под лопушок сделанных из сучков деточек — спать. Накрыли хозяева стол, ягодок черемухи и смородины на него насыпали, хозяйка желтенький цветочек-недотрогу в серединку поставила — огонек в доме затеплила, ромашек, называемых лебязья шейка, на постель детей набросала. Спешите, гости и все люди добрые, на огонек во вновь построенный дом — вам тут всегда рады.

Над домом и над детьми солнце светит, лес шумит, речка плещется,

неугомонная бессмертная речка детства, устьем ластящаяся к Енисею, который тысячи лет уже течет и течет в вечность, и над ним нависают рыжие скалы. Караульный бык, в ночи похожий на речное каменное веко, все так же спокойно кладет свою недвижимую тень до середины реки, и лес, на нем выросший, видится ресницами. По-за Енисеем, над речкой Караульной в середине июня все так же отстаивается свет прошлого дня, сливаясь со днем сегодняшним.

Еще не все покорил, не все уничтожил самоед человек, еще цветут цветы на склонах гор, растет целительная черемша в тайге, рыщут редкие, смертельно испуганные, не добытые нами звери, птицы, нами недоотравленные, пусть и поределым хором славят восход солнца, трудно и негусто рожаемые дети щурятся на белом свету, улыбаются ему и жизни ртом, похожим на алый цветочек.

И снова и снова вижу я столь давнюю, столь мне с детства близкую картину бытия. Снова и снова испытываю вину перед жившими до нас, как испытывали ее миллионы лет миллиарды людей. Вина тем более на нас тяжкая, тем более горькая, что вижу я на овсянском кладбище умерших своей смертью только стариков, молодые ушли к праотцам от современных неизлечимых болезней, от пьянства, перебили друг дружку, передавили автомобилями, перестрелялись, утонули, отравились, повесились, заблудились в жизни...

О жизни же нашей повседневной лучше всех, по-моему, сказала соседка, давно живущая в бабушкином доме:

«Как была, б..., инархия, так инархия, б..., и осталась!»

Прошлой зимой, ознакомившись с делом на деда, отца и односельчан, я написал довольно пространное и резкое письмо в краевую прокуратуру и вот, опять же во время работы над заключительной главой, получил ответы на официальных бланках — привожу их дословно с соблюдением всех параграфов и форм.

Сверху под горбом крупно и четко напечатано:

«Прокуратура СССР. Прокуратура Красноярского края
18—06—91 № 13/229—91

г. Красноярск

Уважаемый Виктор Петрович!

Ваше заявление о необоснованном привлечении в 1931 году к уголовной ответственности Астафьева П. Я. и др. рассмотрено в прокуратуре края и УКГБ СССР по Красноярскому краю.

С учетом ваших доводов следственным отделением УКГБ по

делу проведено дополнительное расследование, в результате которого установлено, что постановление тройки при ПП ОГПУ Восточно-Сибирского края от 1 апреля 1932 года в отношении Астафьева Павла Яковлевича, Астафьева Петра Павловича и Фокина Дмитрия Петровича и признания их виновными в совершении контрреволюционных преступлений является необоснованным и незаконным.

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16-01-1989 г. «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-х, 40-х и начала 50-х годов», Астафьев П. Я., Астафьев П. П. и Фокин Д. П. реабилитированы.

Справки о реабилитации прилагаются.

Верно — прокурор края, государственный советник юстиции
3 класса

А. П. Москалец».

И в заключение довольно решительная подпись человека, честно и принципиально исполнившего свой долг. Мне бы благодарить от имени деда, отца и односельчанина моего партию и правительство, краевое управление КГБ, действительно приложившего немало труда для восстановления справедливости прокурора Москальца — «да чё-то не хочетца», как сказал мне когда-то в Игарке еще один законопаченный в Заполярье односельчанин, Митрофан Федотовский. Не хватит моего старого, уже не гибкого хребта, кланяться за всех погубленных, убиенных, а ныне прощенных русских людей. На каком-нибудь многомиллионном поклоне хребет этот не разогнется, хрустнет, не выдержав непосильной работы.

Ездят по сибирской земле литовцы, латыши, эстонцы, выкапывают из могил родных, погубленных в чудовищных ссылках, и увозят их останки на родину. А куда свозить нам, россиянам, прах наших мучеников, коли вся Россия — кладбище?

Много лет назад меня мучал один и тот же сон — родной деревенский переулочек и в конце его дряхлый, дряхлый дом с закрытыми ставнями, с обвалившейся гнилой крышей, рассыпавшийся трухой, со двором, заросшим бурьяном, в который опали балки, заплотины, створки ворот. Я знаю, там, в этом глухом и темном доме, лежит одиноко в холодном тлеющем тряпье моя бабушка и ждет меня. И я хочу дойти до нее, приласкать ее и непременно лечь рядом, но что-то все время мешает мне дойти до этого

обиталища, войти в него, какие-то встречные люди и дела отвлекают. Так ни разу я и не дошел до бабушки, так еще не дождалась и не дозвалась она меня, и землю не пахнет в моем рту, да и сон этот по прибытии в родное село погас, будто экран беззвучного кино.

Я гляжу в окно. За Енисеем рыжеют хребты — это следы страшных пожаров. Горит тайга каждый почти год, достигая окраин города. Заречный пожар возле речки Боровой разгорался несколько дней. За рекой тысячи дач имущих, зажиточных людей, десятки тысяч пенсионеров, возделывающих грядки, глядящих в телевизор на перестройку, ругающих устно и письменно власти за то, что медленно налаживается или совсем разлагивается жизнь.

Оторвись от телевизора и своих грядок пара пенсионеров, возьми пару лопат, прикопай огонь, оставленный молодыми беспечными гуляками-разгильдяями, и не было бы этого страшного, все с хребтов сметающего огня, который взрывался в скалистых распадках от скопившегося там сущья и мелкого хвойнолесья, будто склад боеприпасов от прямого попадания бомбы на фронте.

Там, за рекою, бывший ученый муж цепью от лодки перебил позвоночник маленькому мальчишке за то, что тот сорвал без спроса на его грядке спелую земляничинку, и папа этого навек изувеченного ребенка переплыл ко мне с просьбой писать жалобу в Верховный Совет. В ту сухую весну от страшных пожаров сгорело немало деревень, горела и наша, и мои нынешние односельчане воровали с пожара все, вплоть до навоза и саженцев. Назовите мне «такую обитель», где бы это было возможно!

Но, но во всем находится еще какое-то утешение, какая-то отдушина. Деревенские старухи уверяли меня, что пожар удалось потушить только благодаря «четверговым яйцам». Горело вскоре после святого четверга, на который по стародавней привычке и поверью красили яйца, и вот эти-то яйца начали бросать в огонь старые люди. «И что ты думаешь? Ветер тише, тише, огонь-то эдак вот к Аписею отгибат, отгибат, и... утихло, унялось».

О том, что с реки и с железной дороги по пожару хлестанули могучие противопожарные средства, батареями их нынче называют, старухи не поминали, да и не верили они той силе, в коей не было чудодействия.

Вот на вере в чудо, способное затушить пожар, успокоить мертвых во гробе и обнадежить живых, я и закончу эту книгу, сказав в заключение от имени своего и вашего.

Боже праведный, подаривший нам этот мир и жизнь нашу, спаси и сохрани нас!

Комментарии

Когда-то, очень давно, журнал «Смена» опубликовал мои первые зарисовки, затем очерк, затем что-то похожее на рассказ, и не просто опубликовал, но и «приютил» меня, и я, начинающий автор, приехавший из далекого уральского городка Чусового в столицу, бывал накормлен в буфете, устроен па ночлег как командированный, снабжен пусть и не богатыми, но очень необходимыми средствами на житье и пропитание.

Случалось это нечасто, бухгалтерию «Правды», к которой прикреплена «Смена», я не разорил, но поддержку, так мне в ту пору необходимую, получил и однажды угодил во «всамделишную» командировку от того журнала.

Узнавши, что я родом с Енисея, да еще из тех мест, где начинается возведение самой могучей в мире гидростанции, тогдашний редактор «Смены» Михаил Арсеньевич Величко посчитал, что никто так емко и живописно не отразит героические дела на новостройке, как я.

Ничего героического я на стройке не обнаружил, она еще только развертывалась, но уж такой был на ней беспорядок, неразбериха и кавардак, граничащие с преступностью, что я, повидавший уже виды в наших лесах, на водах и заводах, приуныл, однако как журналист, с некоторым уже опытом работы в газете, быстро нашелся и почетную командировку ударно отработал, написав очерк об одной из молодежныхстроек Красноярска.

Очерк, типичный для той поры, газетный, трескучий, и потому он широко печатался, в особенности по юбилейным изданиям, и принес мне заработку в несколько раз больше, чем моя первая книжка. Нужда в семье тогда была большая, и я едва устоял против этакого добычливого творчества и легкого писательского хлеба.

Будучи в командировке, я, уже привыкший к неудержимой болтовне, демагогии и краснобайству, был все же поражен тем, какой размах это приобрело на просторах родной Сибири — оно и сейчас здесь соответствует просторам — такое же широкое, вольное и безответственное. Но тогда я еще не был таким усталым от нашей дорогой действительности, все воспринимал обостренно, взаболь, и меня потрясло, что люди, владеющие пером, и даже «выдвиженцы пера» — из рабочих и местной интеллигенции, пишут здесь и «докладывают» по давно известному, крикливому и хвастливому, Советами рожденному, принципу: «Не верь

глазам своим, верь моей совести».

И совсем исчез человек из этих писаний, одни только герои населяли многочисленные творения, раз герои, значит, и дела у них только героические, а бардак на производстве и в жизни, он как бы и не касался их белых рубах, алых полотниц и светлых душ.

Я жил в родной деревне, смотрел на своих односельчан, занятых земельным и рабочим повседневным делом, и думал: «Ну, хорошо. Все герои, и все героическими делами обуяны, а кто же тогда их-то, моих родных гробовозов (такое неблагозвучное прозвище у моего родного села Овсянка), отразит и расскажет о их вечной жизни и о труде, которым земля и все на земле держится? А тут еще и строители „масла в огонь подлили“, явились в Сибирь с ружьями, фотоаппаратами, купленными на „подъемные“ деньги. Значит, как они сойдут с поезда, ступят на дикую сибирскую землю, сразу же завалят медведя и сфотографируются, поставив победительно ногу на поверженного зверя. Квартировали молодые строители в палаточных городках, по окрестным селениям, и все избы моей родной деревни тоже были забиты новопоселенцами.

Не обнаружив бородатых мужиков, обутих в чуни, в звериные шкуры, в медвежьи шубы, жрущих сырое мясо и живую рыбу (хотя есть любители и того, и другого на Севере, да и в Москве они есть), шумные строители сразу утратили к сибирякам интерес, игнорировали их как в жизни, так и в своих художественных творениях. Более того, не приложив труда заглянуть поглубже в душу сибиряка, по внешней грубой его оболочке составили мнение о нем и враждебное к нему отношение выявили. Впрочем, часто оно бывало обоюдным, и не облагородилась от наплыва строителей сибирская сторона, наоборот, погрубела еще больше, осатанилась, хотя внешне вроде бы «обстроилась», выглядит куда как культурней, чем в «старое время».

Словом, думал я думал, и вышло, что мне надо рассказывать о своих земляках, в первую голову о своих односельчанах, о бабушке и дедушке и прочей родне, стараясь но особо-то унижать и не до небес возвышать их словом. Они были интересны мне и любимы мной такими, какие есть на самом деле, и жизнь их обыкновенная была привлекательней всех выдуманных, из папье-маше слепленных, бутафорской краской выкрашенных героев, у которых всегда грудь вперед и «передовая мысль» наготове.

Вот и начал я помаленьку да полегоньку писать рассказы о своем детстве, о селе родном и его обитателях, о дедушке и бабушке, ни с какой стороны не годных в литературные герои той поры. Первоначально цикл

рассказов и назывался «Страницы детства». И чудесный эпитаф Кайсына Кулиева со сладкой грустью предварял его: «Мир детства, с ним навечно расставанье, назад ни тропок нету, ни следа, тот мир далек, и лишь воспоминанья все чаще возвращают нас туда».

Рассказы писались легко, быстро, радуя сердце. С появлением рассказов «Конь с розовой гривой» и «Монах в новых штанах», я понял, что из всего этого может получиться книга. И она получилась. В 1968 году в Перми вышла книга под названием «Последний поклон». Я долго искал это название, а оно уже было в книге — так называлась одна из глав. И однажды мой товарищ ткнул пальцем в это название.

Книгу ту оформлял покойный уже пермский художник Алексей Мотовилов. Больше года он работал, на каких-то цинковых пластинках гравюры резал, когда книгу печатали, художник ночевал в типографии, чтоб все было напечатано как надо. И все Пермское издательство старалось, и книга получилась как надо, в суперобложке, с цветным шрифтом.

Я это к тому, что везде, хоть на стройке, хоть в издательстве, нужны в работе самоотверженность и любовь, увы, куда-то во многих местах и на предприятиях наших подевавшиеся.

Говорят: «Хорошая весть на месте лежит, худая по земле бежит», да не всегда, к счастью, жизнь идет по пословице. Книга «Последний поклон», была замечена в столице, благосклонно встречена критикой. Пошла хвалебная почта, которую я, конечно же, читал с большим удовольствием и млея еще ненадорванным, горячим сердцем.

Но жизнь шла вперед, и я вместе с нею куда-то двигался, съездил, и не раз, в Сибирь, на родину, побывал на Енисее, на Оби. Урал, к той поре почти на голову разбитый, досконально изучил, из газеты и с радио ушел — шибко они растревожили и поранили мою совесть. Не вдруг, не сразу, но понял я, что чего-то в «Поклоне» не договорил, «перекосил» книгу в сторону благодушия, и получилась она несколько умильной, хотя я к этому сознательно и не стремился, а все же жизнь пообтесал, острые углы пообпиливал, чтоб дорогие читатели, советские, прежде всего, за них штанами не цеплялись и коленки не ушибли. А ведь жизнь-то тридцатых годов не из одних веселых детских игрушек и затейливых игр состояла, в том числе и моя жизнь и жизнь близких мне людей.

Продолжались раздумья, воспоминанья, продолжалась во мне книга.

Уже живя в Вологде, я написал новые главы «Последнего поклона» и однажды издал книгу в Москве, состоящую из двух частей. Встретивший меня как-то мудрый горец и славный поэт Кайсын Кулиев спросил: «Что же

эпиграф-то снял? — и сам себе ответил, грустно покачивая головой: — Понимаю. Книга переросла воспоминания детства».

Нет, книга не «переросла детства». Как его перерастешь? Оно вечно с нами, со своим вечным, прекрасным, радостным обликом и звонким голосом. Книга ушла из детства дальше, в жизнь, и двигалась вместе с нею, с жизнью.

В 1980 году я переехал жить на родину и уже через год-другой почувствовал, что моя заветная книга снова «зашевелилась» во мне, — я заметил в ней неточности, неизбежные оттого, что писалась она вдали от «натуры», ощутил пропуски в книге и какие-то упущения памяти, а главное — позывы «рожать».

И снова, с радостью, с тем удовольствием, какого мне не доставляла работа ни над одной моей книгой, принялся я за «Поклон». Конечно же, не так уж легко и прытко писалось, как в литературной «верхоглядной» молодости, однако, одолел я и третью часть книги. Издательство «Молодая гвардия», объединив три книги, выпустило «Последний поклон» в двух томах в 1989 году. Двухтомник с большой любовью прекрасно оформили художники-супруги Алла Озеревская и Анатолий Яковлев.

На меня надвигалась работа над давно задуманным романом о войне, но завершение «Последнего поклона» также висело над душой, надо было заканчивать этот многолетний труд. Я думал написать одну большую, заключительную главу, но жизнь подбрасывала и подбрасывала материалу, как хворосту в костер. Я в одну главу не уложился, написал две: «Забубенную головушку» и «Вечерние раздумья», которые и были напечатаны во втором и третьем номерах журнала «Новый мир» за 1992 год.

Более я продолжать комментарии не буду, пусть книгу комментируют читатели, отмечу лишь, что на «Поклон» пришло очень много писем и некоторые из них куда как увлекательны, интересны и по существу являются самостоятельными рассказами.